

ДУШЕЧКИНЪ.
НАША
РПЧЪ



ХРЕСТОМАТІЯ
КНИГАШ

ПОДЛЕЖИТ
В
ОБРАТНОМУ

1941

✓
ПРОВЕРЕНО
1939 г.

95105

3312-1

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ПО НАЧАЛЬНОМУ НАРОДНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ.
С. П. В. О-во ГРАМОТНОСТИ
Театральн. ул. 5.

I-511

491.7
А

80

1951

1955

1958

Я. И. ДУШЕЧКИНЪ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

ПО НАЧАЛЬНОМУ НАУЧНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
С. П. В. О. во Г. Р. МОСКОВСКИ
Центральн. ул. 5.

НАША РѢЧЬ.

ХРЕСТОМАТІЯ

для городскихъ 4-классныхъ и сельскихъ
2-классныхъ училищъ и для младшихъ
классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

съ картинами и портретами писателей.



Е 19 87.0

Книга III-я.

БИБЛИОТЕКА
Обл. А. Д. Учителя



Издание Т-ва И. Д. Сытина.

88

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ВЪЗРАСТОВЫЕ

СЕРИИ

ИЗДАНИЕ

НАША Р.Д.Р.

ХРЕСТОМАТИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И НАСТАВЛЕНИЯ И СЕВЕРНЫХ
УЧЕНИКОВЪ И НАСТАВНИКОВЪ И ДРУГ. МЛАДШИХЪ
МОНАХОВЪ СРЕДНИХЪ КЛАССОВЪ

ВЪЗРАСТОВЫЕ И ПОДГОТОВКА ПОСЛАТНИКОВЪ

1888

Книга III-я



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
Москва. — 1910.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Третья книга «Нашей рѣчи» составлена по тому же плану, какъ и двѣ первыя. Частныя отступленія слѣдующія: 1) значительно сокращенъ отдѣлъ статей о природѣ, такъ какъ на чтеніи ихъ приходится останавливаться по преимуществу въ первые два года; 2) статьи о жизни людей распределены, вмѣсто одного, въ двухъ отдѣлахъ, озаглавленныхъ: «Быть» и «Характеры». Расчлененіе второго отдѣла вызывается потребностью въ дальнѣйшей дифференціи матеріала примѣнительно къ возрастающему стремленію дѣтей все болѣе и болѣе углубляться въ вопросы окружающей жизни и разбираться въ поступкахъ и настроеніяхъ людей. По изслѣдованіямъ новѣйшей психологіи, дѣти, постепенно переходя отъ предметнаго (конкретнаго) мышленія къ мышленію словами, въ возрастѣ 13—14 лѣтъ проявляютъ уже признаки перевѣса второго рода мышленія надъ первымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ не мало имѣется данныхъ, показывающихъ, что приблизительно около этого времени въ нихъ замѣтно усиливается и процессъ самоопредѣленія: дѣти начинаютъ болѣе интересоваться тѣмъ впечатлѣніемъ, какое они производятъ на другихъ людей, чаще останавливаются на оцѣнкѣ чужихъ и своихъ поступковъ и проч. По всѣмъ этимъ основаніямъ намъ представляется своевременнымъ съ 3-го года приступить къ чтенію статей, заключающихъ въ себѣ первые моменты обобщенія, а также нетрудный анализъ съ одной стороны внѣшнихъ, бытовыхъ явленій, съ другой—внутреннихъ, психическихъ состояній. Обобщающій матеріалъ («Петербургъ и провинція», «Глухой край», Гончарова; «Крестьянскіе работники», Г. Успенскаго; «Подневольный трудъ», Достоевскаго и т. п.) мы старались подбирать такъ, чтобы онъ охватывалъ преимущественно тотъ кругъ представленій и понятій, который долженъ получиться у дѣтей отъ наблюденія окружающей жизни и знакомства съ матеріаломъ, помѣщеннымъ и указаннымъ въ первыхъ двухъ частяхъ хрестоматіи. Тѣмъ же соображеніемъ мы руководствовались и при выборѣ статей, объясняющихъ бытовую сторону жизни («Смерть мальчика», «Въ мальчикахъ», Г. Успенскаго; «Тоска», Чехова; «Голодные», Горькаго; «Малые ребята», Г. Успенскаго и др.). Для анализа психическихъ состояній мы брали, главнымъ образомъ, произведенія, относящіяся къ жизни дѣтей («Горе», «Я большой», «Песовѣдъ», Л. Толстого; «Похороны Плюшечки», «Первыя воспоминанія Нечки Незвановой», Достоевскаго; затѣмъ: «Возвращеніе въ родной домъ», Тургенева; «Казнь военно-плѣнныхъ», Л. Толстого и другія).

Половина книги отведена подъ характеристики. По нашему мнѣнію, изученіе и оцѣнка характеровъ—это самая полезная, самая продуктивная работа въ курсѣ литературы не только на 2-й, но въ теченіе значительнаго времени и на 3-й ступени школы. Въ самомъ дѣлѣ, направимъ ли мы главное вниманіе на литературное развитіе и подготовку учащихся къ самостоятельному чтенію художественныхъ произведеній,—умѣне разбираться въ психологіи и положеніяхъ изображаемыхъ писателями лицъ и знакомство съ важнѣйшими типами, выведенными въ литературѣ, является существенно-необходимымъ признакомъ и этого развитія, и этой подготовки, такъ какъ характеристика представляетъ собою наиболѣе цѣнный и наиболѣе распространенный элементъ въ беллетристику и пользуется преимущественнымъ вниманіемъ художественной критики. Поставимъ ли мы въ основу литературныхъ занятій въ школѣ воспитательное вліяніе,—

изученіе и оцѣнка характеровъ болѣе всего будетъ содѣйствовать выработкѣ нравственной личности и сознательнаго отношенія къ собственному поведенію. Зададимся ли практическою цѣлью расширить опытъ учениковъ въ знакомствѣ съ людьми, со всѣмъ разнообразіемъ ихъ взглядовъ, стремленій, настроеній, поступковъ, взаимоотношеній—и тутъ изученіе характеровъ должно быть выдвинуто на первый планъ.

Къ сожалѣнію, при преподаваніи литературы въ нашихъ школахъ на эту сторону дѣла слишкомъ мало обращается вниманія. Ученики среднихъ классовъ, вмѣсто изученія характеровъ, все еще продолжаютъ заниматься изученіемъ характеристики, какъ литературнаго сочиненія, все еще продолжаютъ разбираться въ планахъ и построеніяхъ традиціонныхъ образцовъ. Въ старшихъ классахъ большая часть времени уходитъ на ознакомленіе сначала съ памятниками, а потомъ съ литературными и общественными теченіями, и преподаватель лишь наскоро успѣваетъ остановиться на нѣкоторыхъ типахъ, встрѣчающихся на пути къ заветному гоголевскому періоду. Такимъ образомъ наиболѣе важный литературно-образовательный матеріалъ остается едва затронутымъ до конца средней школы.

Мы полагаемъ, что въ III, IV и V классахъ средней школы въ курсѣ литературы главное мѣсто должно быть отведено чтенію и разбору произведеній, заключающихъ въ себѣ художественную характеристику. Этимъ разборамъ не слѣдуетъ придавать лишь формально-образовательное значеніе, а необходимо поставить ихъ такъ, чтобы въ окончательномъ результатѣ ученики запаслись и фактическими знаніями: составили ясное представленіе о рядѣ выдающихся въ нашей литературѣ типовъ, были бы въ состояніи дать себѣ отчетъ, въ какой мѣрѣ, въ какихъ образахъ и въ какое время получили литературное отраженіе различные слои и группы населенія. Послѣднія свѣдѣнія необходимы для того, чтобы изученные типы не остались въ памяти учениковъ только въ качествѣ книжнаго матеріала, а переводились въ реальную, живую среду, прикрѣплялись къ жизненному корню. Для достиженія такихъ результатовъ особенно полезными являются сравненіе и классификація: при разборахъ надо принять за правило, чтобы каждый вновь изученный характеръ былъ сопоставленъ съ извѣстными уже ученикамъ однородными образами и введенъ въ соответствующую группу ихъ. Въ подборѣ статей для третьей книги мы стремились дать возможно больше матеріала для сравненій подобнаго рода. Вмѣстѣ съ тѣмъ нами введена и простѣйшая, естественная группировка характеровъ по принадлежности ихъ къ тому или иному классу населенія. Для начала мы выбирали наиболѣе доступныя для дѣтскаго пониманія характеристики, поэтому въ книгѣ и отведено главное мѣсто типамъ крестьянъ и прежнихъ помѣщиковъ. По той же причинѣ мы здѣсь мало даемъ матеріала и для знакомства съ интеллигентной средой, полагая, что болѣе сложная психологія этого круга людей требуетъ и болѣе значительнаго возраста и развитія для ея усвоенія.

Судя по нѣкоторымъ отзывамъ о первыхъ книгахъ «Нашей рѣчи», мы чувствуемъ потребность дать гораздо болѣе подробныя объясненія о содержаніи новой книги и назначеніи помѣщеннаго въ ней матеріала, но, къ сожалѣнію, въ предисловіи не представляется возможнымъ обстоятельно изложить свои взгляды на постановку чтенія и литературныхъ занятій въ школѣ, а потому мы вынуждены отложить эти объясненія до выпуска «Методическаго руководства».

А. Душечкинъ.

С.-Петербургъ,

7 декабря 1909 г.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

Предисловіе ІІ

І. Картины и явленія природы.

Стр.	Стр.
Лѣсъ и степь, <i>И. Тургенева</i> 1	Конецъ свѣта (сонъ), стих. въ прозѣ
Повѣяло черемухой, стих. <i>К. Р.</i> 7	<i>И. Тургенева</i> 25
Сосна, стих. <i>М. Лермонтова</i> —	Охота на дупелей, <i>Л. Толстого</i> („ <i>Анна Каренина</i> “) 27
Море въ движеніи, <i>М. Горькаго</i> (изъ разск. „ <i>Мой спутникъ</i> “) —	Ока, <i>Д. Григоровича</i> („ <i>Рыбаки</i> “) 30
Пловецъ, стих. <i>Н. Языкова</i> 8	Послѣдній лучъ, <i>В. Короленко</i> 33
Садъ Плюшкина, <i>Н. Гоголя</i> 9	Морозъ въ Сибири, <i>его же</i> („ <i>Морозъ</i> “) 38
Вечеръ въ Бессарабіи, <i>М. Горькаго</i> („ <i>Старуха Изергиль</i> “) 10	Разговоръ, стих. въ прозѣ <i>И. Тургенева</i> 40
Поѣзка на долги, <i>Л. Толстого</i> („ <i>Отрочество</i> “) 11	Притча о человѣческой жизни, стих. <i>В. Жуковскаго</i> („ <i>Двѣ повѣсти</i> “) 41
Гроза, <i>его же</i> (оттуда же) 15	Огонекъ, стих. <i>Анюткина</i> 42
Туча (плачь соотѣдки по убитомъ громомъ-молніей) 18	Южное небо, <i>И. Гончарова</i> („ <i>Фрегатъ-Паллада</i> “) 43
Послѣдняя борьба, стих. <i>А. Кольцова</i> 21	Парусъ, стих. <i>М. Лермонтова</i> 45
Солнечное затменіе, <i>В. Короленко</i> („ <i>На затменіи</i> “) —	Набатъ, <i>Л. Андреева</i> 46

ІІ. Б ы т ь.

Интеллигентная семья, <i>А. Чехова</i> („ <i>Домъ съ мезониномъ</i> “) 49	Твердая торговля, <i>Г. Успенскаго</i> („ <i>Изъ деревенскаго дневника</i> “) 119
Случай съ классикомъ, <i>его же</i> 52	Дѣтство Обломова, <i>И. Гончарова</i> 122
Горе, <i>Л. Толстого</i> („ <i>Дѣтство</i> “) 55	Воспитаніе Штольца, <i>его же</i> 129
Стансы, стих. <i>А. Пушкина</i> 58	Врагъ и другъ, стих. въ прозѣ <i>И. Тургенева</i> 135
Три смерти, <i>Л. Толстого</i> —	Малые ребята, <i>Г. Успенскаго</i> 136
Петербургъ и провинція, <i>И. Гончарова</i> („ <i>Обыкновенная исторія</i> “) 64	Я большой, <i>Л. Толстого</i> („ <i>Юность</i> “) 141
Путь, стих. <i>А. Кольцова</i> 67	Похороны Илюшечки, <i>О. Достоевскаго</i> („ <i>Братья Карамазовы</i> “) 144
Тоска, <i>А. Чехова</i> 68	Новый годъ, стих. <i>Плещеева</i> 152
На станціи, <i>М. Горькаго</i> („ <i>Скуки ради</i> “) 71	Исповѣдь, <i>Л. Толстого</i> („ <i>Юность</i> “) —
Глухой край (сонъ Обломова), <i>И. Гончарова</i> 73	Вѣтка Палестины, стих. <i>М. Лермонтова</i> 157
Усадьба въ великорусской Украйнѣ, <i>И. Тургенева</i> („ <i>Бригадиръ</i> “) 78	Возвращеніе въ родной домъ, <i>И. Тургенева</i> („ <i>Фаустъ</i> “) 158
Крестьянская жизнь, <i>А. Чехова</i> („ <i>Мушкетеры</i> “) 79	Вновь я посѣтилъ, стих. <i>А. Пушкина</i> 160
Смерть мальчика, <i>Г. Успенскаго</i> („ <i>Изъ деревенскаго дневника</i> “) 83	Первыя воспоминанія Нечочки Незвановой, <i>О. Достоевскаго</i> („ <i>Нечочка Незванова</i> “) 161
Слезы людскія, стих. <i>О. Тютчева</i> 86	Тайное горе, стих. <i>Никиткина</i> 165
Пѣсня (Въ непогоду вѣтеръ...), стих. <i>А. Кольцова</i> —	Уличный гаеръ, <i>Д. Григоровича</i> („ <i>Петербургскіе шарманщики</i> “) —
Волостной судъ, <i>Н. Астырева</i> („ <i>Въ волостныхъ писаряхъ</i> “) —	Въ Москвѣ на Трубной площади, <i>А. Чехова</i> 168
Ермила Гиринъ, стих. <i>Н. Некрасова</i> 99	Палата № 6, <i>его же</i> 170
Гребенскіе казаки, <i>Л. Толстого</i> („ <i>Казаки</i> “) 102	Работа арестантовъ, <i>О. Достоевскаго</i> („ <i>Записки изъ Мертваго дома</i> “) 172
Крестьянскіе работники, <i>Г. Успенскаго</i> 104	Подневольный трудъ, <i>его же</i> (оттуда же) 175
Желѣзная дорога, стих. <i>Н. Некрасова</i> 106	Вельможа, басня <i>И. Крылова</i> —
Въ мальчикахъ, <i>М. Горькаго</i> („ <i>Трое</i> “) 109	

	Стр.		Стр.
Голодные, <i>М. Горького</i> („Въ степи“)	176	Какъ и братъ къ сестрѣ, <i>народная пѣсня</i>	226
Дружки, <i>его же</i>	182	Куликовская битва, <i>Карамзина</i>	227
Пѣвецъ, <i>Л. Толстого</i> („Люцернъ“)	186	Ужъ какъ палъ туманъ на синемъ море, <i>народная пѣсня</i>	229
Пѣвцы, <i>И. Тургенева</i>	190	Москва передъ вступленіемъ Наполеона, <i>Л. Толстого</i> („Война и миръ“)	230
Дума сокола, стих. <i>А. Кольцова</i>	196	Разстройство арміи, <i>его же</i> (оттуда же)	232
Кубокъ, баллада (изъ Шиллера) <i>В. Жуковского</i>	197	Казнь военно-плѣнныхъ, <i>его же</i> (оттуда же)	233
Перчатка, повѣсть (изъ Шиллера) <i>его же</i>	199	Ночной смотръ (изъ Цедлица), стих. <i>В. Жуковского</i>	237
Плѣвннй рыцарь, стих. <i>Лермонтова</i>	200	Четвертый бастионъ, <i>Л. Толстого</i> („Севастополь въ декабрь 1854 г.“)	239
Выборъ жениха, <i>Жуковского</i> („Наль и Дамаянти“)	201	Бѣглець (горская легенда), стихотв. <i>М. Лермонтова</i>	243
Прощаніе Ректора съ Андромахой, <i>Гнѣдича</i> (изъ „Иліады“ Гомера)	204	Солдатское житіе, <i>В. Гаршина</i> („Изъ воспоминаній рядового Иванова“)	245
Пиръ у царя Алкиноя, стих. <i>В. Жуковского</i> (изъ „Одиссеи“ Гомера)	208	Война, <i>его же</i> („Трусъ“)	251
Сватовство, стих. <i>А. Толстого</i>	220	Русь, стих. <i>Н. Некрасова</i>	252
Дѣвицы-красавицы, стих. <i>Пушкина</i>	224	Русскій языкъ, стих. въ прозѣ, <i>И. Тургенева</i>	—
Ты почто, злая кручинушка, стих. <i>А. Толстого</i>	225		
Пѣсня (Ахъ, зачѣмъ меня силой вы-дали...), стих. <i>Кольцова</i>	226		

III. Х а р а к т е р ы .

1. Крестьяне.

Хоръ и Калинычъ, <i>И. Тургенева</i>	253
Касьянъ съ Красивой-Мечи, <i>его же</i>	255
Ужъ ты, нива моя, нивушка, стих. <i>А. Толстого</i>	260
Бурмистръ, <i>И. Тургенева</i>	—
Ефремъ, <i>его же</i> („Поѣздка въ Полѣсье“)	266
Цѣловальникъ Николай Ивановичъ, <i>его же</i> („Пѣвцы“)	269
Захаръ, <i>И. Гончарова</i> („Обломовъ“)	271
Дядя Акимъ, <i>Григоревича</i> („Рыбаки“)	277
Нахаръ Иванъ Анисимычъ, <i>его же</i> („Нахаръ“)	279
Юродивый Гриша, <i>Л. Толстого</i> („Дѣтство“)	289
Платонъ Каратаевъ, <i>его же</i> („Война и миръ“)	292
Наталья Саввишна, <i>его же</i> („Дѣтство“)	297
Сушиловъ, <i>Достоевскаго</i> („Записки изъ Мертваго дома“)	303
Прислужники, <i>его же</i> (оттуда же)	306
Орловъ, <i>его же</i> (оттуда же)	307
На постояломъ дворѣ, стих. <i>Некрасова</i> (Изъ стих. „Ночлеги“)	308
Крестьянинъ Иванъ Аванасьевъ, <i>Г. Успенскаго</i> („Изъ деревенскаго дневника“)	310
Варвара, <i>его же</i> („Изъ разговоровъ съ пріятелями“)	313
Русская женщина, стих. <i>Некрасова</i>	318
Макаръ, <i>В. Короленко</i>	319

2. Городское простонародье и пролетаріатъ.

Петровъ, <i>Достоевскаго</i> („Записки изъ Мертваго дома“)	320
Челкашъ, <i>М. Горькаго</i>	325

Перекутъе, стих. <i>Кольцова</i>	329
Забитая, <i>Г. Успенскаго</i> („Правы Рас-терлевой улицы“)	—
Баргамотъ, <i>Л. Андреева</i> („Баргамотъ и Гараска“)	332
Максимъ Ивановичъ Скотобойниковъ, <i>Достоевскаго</i> („Подростокъ“)	333

3. Помѣщики.

Старая графиня и ея воспитанница, <i>А. Пушкина</i> („Пиковая дама“)	343
Старосвѣтскіе помѣщики, <i>Гоголя</i>	346
Петръ Петровичъ Пѣтухъ, <i>его же</i>	354
Плюшкинъ, <i>его же</i>	360
Не грусти, что листья..., стих. <i>И. Сурикова</i>	365
Ноздревъ, <i>Гоголя</i>	—
Маниловъ, <i>его же</i>	367
Генералъ Ветрицевъ, <i>его же</i>	369
Вячеславъ Илларионовичъ Хвалынскій, <i>Тургенева</i> („Два помѣщика“)	370
Евгенія Степановна Аксакова и Васи-лій Васильевичъ Угличининъ, <i>Аксакова</i> („Семейная хроника“)	372
Степанъ Михайловичъ Багровъ, <i>Аксакова</i> („Семейная хроника“)	374
Илья Ильичъ Обломовъ, <i>Гончарова</i>	385
Одюдворецъ Овсяниковъ, <i>Тургенева</i>	392
Дикій баринъ, <i>его же</i> („Пѣвцы“)	395
Андрей Николаевичъ Полтевъ, <i>его же</i> („Отчаянный“)	—
Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ, <i>его же</i> („Два помѣщика“)	396
Татьяна Борисовна Богданова, <i>его же</i> („Татьяна Борисовна и ея племянникъ“)	400
Чертопхановъ, <i>его же</i>	401
Ивины, <i>Л. Толстого</i> („Дѣтство“)	404
Мароенька, <i>Гончарова</i> („Обрывъ“)	408

Стр.

Стр.

4. Чиновники и разночинцы.

Ревизоръ, комедія Гоголя, Дѣйствіе I.	411
Молчалинъ, А. Грибоедова (изъ комедіи „Горе отъ ума“)	422
Толстѣй и тонкій, А. Чехова	425
Діаконъ Филиппъ Сперанскій, М. Андреева („Жили-были“)	426

5. Иностранцы и инородцы.

Лезгинъ Пурра, Достоевскаго („Записки изъ Мертваго дома“)	429
Татаринъ Алей, его же (оттуда же)	430
Исторія Карла Ивановича, М. Толстого („Отрочество“)	433

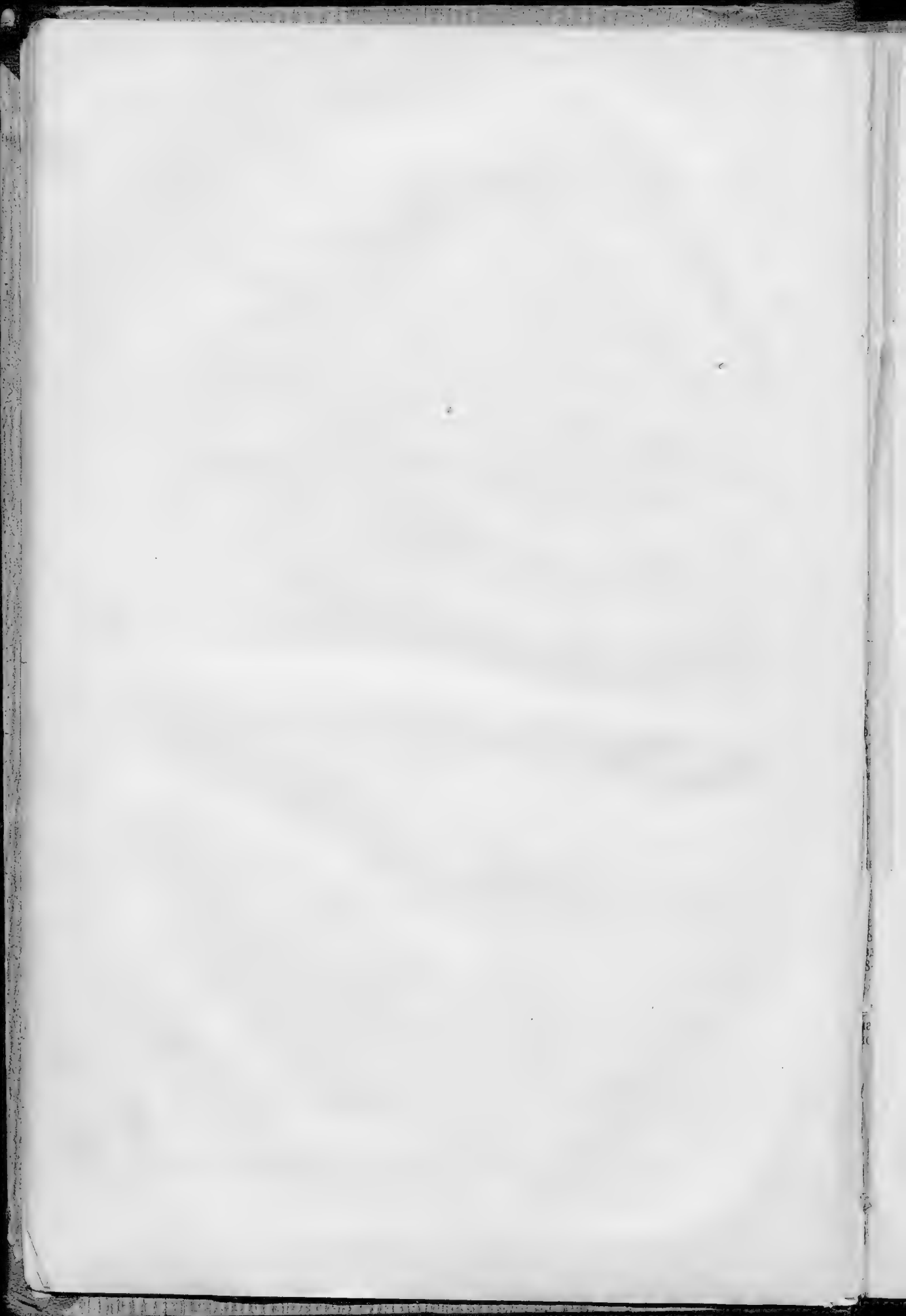
6. Характеры, поступки и настроенія, имѣющіе общечеловѣческое значеніе или психологическій интересъ; передовые люди (интеллигенція).

Старшій братъ, М. Толстой („Отрочество“)	440
Катенька и Любочка, его же (оттуда же)	442
Дмитрій Неклюдовъ, его же („Юность“)	443
Поручикъ Козельцовъ, его же („Севастополь въ августѣ 1855 г.“)	444
Фустовъ, П. Тургенева („Несчастная“)	444
Благоразуміе, стих. А. Толстого	445
Коль любить, такъ безъ разсудку, стих. его же	—
Довольный человѣкъ, стих. въ прозѣ, П. Тургенева	446
Елена Стахова, его же („Наканунъ“)	—
Горничи тихо летѣла душа небесами, стих. А. Толстого	448
Ты жаждалъ правды, жаждалъ свѣта, стих. Плещеева	—
Софія Б., Тургенева („Страшная исторія“)	449

Мадонна Рафаэля, стих. А. Толстого	450
Единственный сынъ, Тургенева („Сонъ“)	451
Добрая женщина, Достоевскаго („Записки изъ Мертваго дома“)	—
Березниковъ, Г. Успенскаго („Изъ разговоровъ съ пріятелями“)	452
Призывъ, стих. И. Некрасова	454
Огоньки, В. Короленко	455
Христосъ и апостолъ Іоаннъ, стих. А. Толстого („Грѣшница“)	—
Пророкъ, стих. А. Пушкина	457
Пророкъ, стих. М. Лермонтова	458
Іуда, стих. Надсона	—
Егда славнии ученицы, церковная пѣснь	461
Слово въ великій лѣтокъ, Иннокентія	462
Притча рабби Менахема, В. Короленко	463
Понски, стих. Плещеева	467

7. Историческіе лица и типы; героическіе образы.

Тарасъ Бульба, Гоголя	468
Сыновья Тараса Бульбы, его же	469
Мазепа, А. Пушкина („Полтава“)	470
Князь Серебряный, А. Толстого	471
Наль, царь Ишадскій, стих. Жуковскаго („Наль и дамаянти“)	472
Вой Рустема и Зораба, стих. его же („Рустемъ и Зорабъ“)	473
Былины объ Ильѣ Муромѣ:	
1. Вой Ильи Муромца съ Иродовиномъ	486
2. Ильи Муромца и поганое Подлище	488
Садко, богатый гость (новгородская былина)	490
Пляска морского царя, стих. А. Толстого	496
Митрополитъ Филиппъ, Карамзина	497
Словарь	501
Списокъ произведеній для дополнительнаго чтенія учениковъ	508
Алфавитный указатель статей	510





Николай Васильевичъ Гоголь.

I. КАРТИНЫ И ЯВЛЕНІЯ ПРИРОДЫ.

ЛѢСЪ И СТЕПЬ.

..... И понемногу начало назадъ
Его тянуть: въ деревню, темный садъ,
Гдѣ липы такъ огромны, такъ тѣнисты,
И ландыши такъ дѣвственно душисты,
Гдѣ круглыя ракиты надъ водой
Съ плотины наклонились чередой,
Гдѣ тучный дубъ растетъ надъ тучной пивой,
Гдѣ пахнетъ конопелью да крапивой..
Туда, туда, въ раздольныя поля,
Гдѣ бархатомъ чернѣется земля.
Гдѣ рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами,
И падаетъ тяжелый желтый лучъ
Изъ-за прозрачныхъ, бѣлыхъ, круглыхъ тучъ;
Тамъ хорошо
(Изъ поэмы, преданной сожженію.)

Охота съ ружьемъ и собакой прекрасна сама по себѣ, für sich ¹⁾, какъ говаривали въ старину; но, положимъ, вы не родились охотникомъ: вы все-таки

¹⁾ Фюръ sichъ, т.-е. сама по себѣ.

любите природу; вы, слѣдовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, на примѣръ, какое наслажденіе выѣхать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сѣромъ небѣ кое-гдѣ мигаютъ звѣзды; влажный вѣтерокъ изрѣдка набѣгаетъ легкой волной; слышится сдержанный, неясный шопотъ ночи; деревья слабо шумятъ, облитыя тѣнью. Вотъ кладутъ коверъ на телѣгу, ставятъ въ ноги ящикъ съ самоваромъ. Пристяжные ѣжатся, фыркаютъ и щеголевато переступаютъ ногами; пара только что проснувшихся бѣлыхъ гусей молча и медленно перебирается черезъ дорогу. За плетнемъ, въ саду, мирно похрапываетъ сторожъ; каждый звукъ словно стоитъ въ застывшемъ воздухѣ, стоитъ и не проходить. Вотъ вы сѣли; лошади разомъ тронулись, громко застучала телѣга... Вы ѣдете—ѣдете мимо церкви, съ горы направо, черезъ плотину... Прудъ едва начинаетъ дымиться. Вамъ холодно пемножко; вы закрываете лицо воротникомъ шинели; вамъ дремлетъ. Лошади звучно шлепаютъ ногами по лужамъ; кучеръ посвистываетъ. Но вотъ вы отѣхали версты четыре... край неба алѣетъ; въ березахъ просыпаются, неловко перелетываютъ галки; воробьи чирикаютъ около темныхъ скверовъ. Свѣтлѣетъ воздухъ, виднѣй дорога, яснѣетъ небо, бѣлѣютъ тучки, зеленѣютъ поля. Въ избахъ краснымъ огнемъ горятъ лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тѣмъ зари разгорается; вотъ уже золотыя полосы протянулись по небу, въ оврагахъ клубятся пары; жаворонки звонко поютъ, предразсвѣтный вѣтеръ подулъ,— и тихо всплываетъ багровое солнце. Свѣтъ такъ и хлынетъ потокомъ; сердце въ васъ встрепенется, какъ птица. Свѣжо, весело, любо! Далеко видно кругомъ. Вонъ за рощей деревня; вонъ, подальше, другая, съ бѣлой церковью, вонъ березовый лѣсокъ на горѣ; за нимъ болото, куда вы ѣдете... Живѣе, кони, живѣе! Крупной рысью впередъ!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будетъ славная. Стадо потянулось изъ деревни къ намъ навстрѣчу. Вы взобрались на гору... Какой видъ! Рѣка вьется версты на десять, тускло синѣя сквозь туманъ; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологіе холмы; вдали чибисы съ крикомъ выются надъ болотомъ; сквозь влажный блескъ, разлитый въ воздухъ, ясно выступаетъ даль!.. не то, что лѣтомъ. Какъ вольно дышитъ грудь, какъ быстро движутся члены, какъ крѣпнѣетъ весь человѣкъ, охваченный свѣжимъ дыханьемъ весны!..

А лѣтнее, июльское утро! Кто, кромѣ охотника, испыталъ, какъ отрадно бродить на зарѣ по кустамъ? Зеленой чертой ложится слѣдъ вашихъ ногъ по росистой, поблѣвшей травѣ. Вы раздвинете мокрый кустъ, — васъ такъ и обдастъ накопившимся теплымъ запахомъ ночи; воздухъ весь напоенъ свѣжей горечью полыни, медомъ гречихи и «кашпи», вдали стѣной стоитъ дубовый лѣсъ и блеститъ, и алѣетъ на солнцѣ; еще свѣжо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится отъ избытка благоуханій. Кустарнику нѣтъ конца... Кое-гдѣ развѣ вдали желтѣетъ поспѣвающая роза, узкими полосками краснѣетъ гречиха. Вотъ заскрипѣла телѣга; шагомъ пробирается мужикъ, ставитъ заранѣе лошадь въ тѣнь... Вы поздоровались съ нимъ, отошли — звучный лязгъ косы раздастся за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнетъ трава. Вотъ уже жарко стало. Проходитъ часть, другой... Небо темнѣетъ по краямъ; колючимъ зноемъ пышетъ неподвижный воздухъ. «Гдѣ бы, братъ, тутъ напиться?» спрашиваете вы у косаря. «А вонъ, въ оврагѣ колодезь». Сквозь густые кусты орѣш-

ника, перенутанные цѣпкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: подъ самымъ обрывомъ таится источникъ; дубовый кустъ жадно раскинулъ надъ водою свои лапчатые сучья; большіе серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытаго мелкимъ, бархатнымъ мхомъ. Вы бросаетесь на землю, вы напиллись, но вамъ лѣнь пошевелиться. Вы въ тѣни, вы дышите пахучей сыростью, вамъ хорошо, а противъ васъ кусты раскаляются и словно желтѣютъ на солнцѣ. Но что это? Вѣтеръ внезапно налетѣлъ и промчался; воздухъ дрогнулъ кругомъ, — ужъ не громъ ли? Вы выходите изъ оврага... что за свинцовая полоса на небосклонѣ? Зной ли густѣетъ? туча ли надвигается?.. Но вотъ слабо сверкнула молнія... Э, да это гроза! Кругомъ еще ярко свѣтитъ солнце: охотиться еще можно. Но туча растетъ: передній ея край вытягивается рукавомъ, наклоняется сво- домъ. Трава, кусты, все вдругъ потемнѣло... Скорѣй! вонъ, кажется, видѣется сѣнной сарай... скорѣй!.. Вы добѣжали, вошли... Каковъ дождикъ! каковы молніи! Кое-гдѣ сквозь соломенную крышу закапала вода на душное сѣно... Но вотъ солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, какъ весело сверкаетъ все кругомъ, какъ воздухъ свѣжъ и жидокъ, какъ пахнетъ земля- никой и грибами!..

Но вотъ наступаетъ вечеръ. Заря запылала пожаромъ и обхватила пол- неба. Солнце садится. Воздухъ вблизи какъ-то особенно прозраченъ, словно стеклинный; вдали ложится мягкій паръ, теплый на видъ; вмѣстѣ съ росой па- дается алый блескъ на поляны, еще недавно облитыя потоками жидкаго золота; отъ деревьевъ, отъ кустовъ, отъ высокихъ стоговъ сѣна побѣжали длинныя тѣни... Солнце сѣло; звѣзда зажглась и дрожить въ огнистомъ морѣ заката... Вотъ оно блѣднѣетъ; синѣетъ небо; отдѣльныя тѣни исчезаютъ; воздухъ наливается мглой. Пора домой, въ деревню, въ избу, гдѣ вы почуваете. Закинувъ ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тѣмъ наступаетъ ночь; за двадцать шаговъ уже не видно; собаки едва бѣлѣютъ во мракѣ. Вонъ надъ черными кустами край неба смутно яснѣетъ... Что это? — пожаръ? Нѣтъ, это восходитъ луна. А вонъ, внизу, направо, уже мелькаютъ огоньки деревни... Вотъ, наконецъ, и ваша изба. Сквозь окошко видите вы столъ, покрытый бѣлой скатертью, горящую свѣчу, ужинъ...

А то велишь заложить бѣговья дрожки и поѣдешь въ лѣсъ на рябчиковъ. Весело пробираться по узкой дорожкѣ, между двумя стѣнами высокой ржи. Ко- лосья тихо быютъ васъ по лицу, васильки цѣпляются за ноги, перепела кри- чать кругомъ, лошадь бѣжитъ лѣнливой рысью. Вотъ и лѣсъ. Тѣнь и тишина. Статныя осины высоко лепечутъ надъ вами; длинныя, висячія вѣтки березъ едва шевелятся; могучій дубъ стоитъ, какъ боецъ, подлѣ красивой липы. Вы ѣдете по зеленой, испещренной тѣнями дорожкѣ, большія желтыя мухи непо- движно висятъ въ золотистомъ воздухѣ и вдругъ отлетаютъ; мошки выются столбомъ, свѣтлѣя въ тѣни, темнѣя на солнцѣ; птицы мирно поютъ. Золотой голосокъ малиновки звучитъ невинной, болатливой радостью: онъ идетъ къ за- паху ландышей. Далѣе, далѣе, глубже въ лѣсъ... Лѣсъ глохнетъ... Непзъясни- мая тишина западаетъ въ душу; да и кругомъ такъ дремотно и тихо. Но вотъ вѣтеръ набѣжалъ, и зашумѣли верхушки, словно падающія волны. Сквозь про- нилогодную бурю листь кое-гдѣ растутъ высокія травы; грибы стоятъ отдѣльно подъ своими шляпками. Бѣлякъ вдругъ выскочитъ, собака съ звонкимъ лаемъ помчится вслѣдъ.

И какъ этотъ же самый лѣсъ хорошъ поздней осенью, когда прилетаютъ вальдшнепы! Они не держатся въ самой глуши: ихъ надобно искать вдоль опушки. Вѣтра нѣтъ, и нѣтъ ни солнца, ни свѣта, ни тѣни, ни движенія, ни шума; въ мягкомъ воздухѣ разлитъ осенній запахъ, подобный запаху вина; тонкій туманъ стоитъ вдали надъ желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревь мирно бѣлѣетъ неподвижное небо; кое-гдѣ на липахъ висятъ послѣдніе золотые листья. Сырая земля упруга подъ ногами; высокія, сухія былинки не шевелятся; длинныя нити блестятъ на поблѣднѣвшей травѣ. Спокойно дышитъ грудь, а на душу находитъ странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тѣмъ любимые образы, любимыя лица, мертвыя и живыя, приходятъ



Подмерзаетъ. Съ карт. Крыжницкаго.

на память, давнымъ-давно заснувшія впечатлѣнія неожиданно просыпаются; воображеніе рѣетъ и носится, какъ птица, и все такъ ясно движется и стоитъ передъ глазами. Сердце то вдругъ задрожитъ и забьется, страстно бросится впередъ, то безвозвратно потонетъ въ воспоминаніяхъ. Вся жизнь развертывается легко и быстро, какъ свитокъ; всѣмъ своимъ прошедшимъ, всѣми чувствами, силами, всею своею душою владѣетъ человѣкъ. И ничего кругомъ ему не мѣшаетъ — ни солнца нѣтъ, ни вѣтра, ни шуму...

А осенній, ясный, немножко холодный, утроемъ морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на блѣдно-го-

лубомъ небѣ, когда низкое солнце уже не грѣетъ, но блеститъ ярче лѣтняго, небольшая осиновая роща вся сверкаетъ насквозь, словно ей весело и легко стоять

голою, пѣморозъ еще бѣлѣтъ на днѣ долинъ, а свѣжій вѣтеръ тихонько шевелить и гонить упавшіе, покоробленные листья,—когда по рѣкѣ радостно мчатся синія волны, мѣрно вздымая разбѣянныхъ гусей и утокъ; вдали мельница стучитъ; полузакрѣтая вербами, и, пестрѣя въ свѣтломъ воздухѣ, голуби быстро кружатся надъ ней...

Хороши также лѣтніе туманные дни, хотя охотники ихъ и не любятъ. Въ такіе дни нельзя стрѣлять: птица, выпорхнувъ у васъ изъ-подъ ногъ, тотчасъ же исчезаетъ въ бѣловатой мглѣ неподвижнаго тумана. Но какъ тихо, какъ невыразимо тихо все кругомъ! Все проснулось, и все молчитъ. Вы проходите мимо дерева—оно не шелохнется: оно нѣжится. Сквозь тонкій паръ, ровно разлитый въ воздухъ, чернѣется передъ вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкій лѣсъ; вы подходите—лѣсъ превращается въ высокую грядку полей на межѣ. Надъ вами, кругомъ васъ—всюду туманъ... Но вотъ вѣтеръ слегка шевельнется—клочокъ блѣдно-голубого неба смутно выступитъ сквозь рѣдѣющій, словно задымившійся паръ, золотисто-желтый лучъ ворвется вдругъ, заструится длиннымъ потокомъ, ударитъ по полямъ, упрется въ рошу,—и вотъ опять все заволокло. Долго продолжается эта борьба; но какъ несказанно великолѣпенъ и ясенъ становится день, когда свѣтъ, наконецъ, восторжествуетъ, и послѣднія волны согрѣтаго тумана то скатываются и разстилаются скатертями, то извиваются и исчезаютъ въ глубокой, нѣжно-сіяющей вышинѣ...



Туманъ. Съ карт. Шишкина.

Но вотъ вы собрались въ отъѣзжее поле, въ степь. Верстъ десять пробирались вы по проселочнымъ дорогамъ—вотъ, наконецъ, большая. Мимо безконечныхъ обозовъ, мимо постоянныхъ двориговъ съ шипящимъ самоваромъ подъ навѣсомъ, раскрытыми настежь воротами и колодезѣмъ, отъ одного села до другого, черезъ необозримыя поля, вдоль зеленыхъ коноплянниковъ, долго, долго ѣдете. Сороки перелетаютъ съ ракиты на ракиту; бабы, съ длинными граблями

въ рукахъ, бредутъ въ поле; прохожій человѣкъ, въ поношенномъ нанковомъ кафтанѣ, съ котомкой за плечами, плетется усталымъ шагомъ; грузная помѣщицья карета, запряженная шестерикомъ рослыхъ и разбитыхъ лошадей, плыветъ вамъ навстрѣчу. Изъ окна торчитъ уголь подушки, а на запяткахъ, на кулъкѣ, придерживаясь за веревочку, сидитъ бокомъ лакей, въ шинели, забрызганный до самыхъ бровей. Вотъ уѣздный городокъ съ деревянными, кривыми домишками, безконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строеніями, стариннымъ мостомъ надъ глубокимъ оврагомъ... Далѣе, далѣе!.. Пошли степныя мѣста. Глянешь съ горы—какой видъ! Круглые, низкіе холмы, распаханные и засѣянные доверху, разбѣгаются широкими волнами; заросшіе кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшія рощи; отъ деревни до деревни бѣгутъ узкія дорожки, церкви бѣлѣютъ; между лозниками сверкаетъ рѣчка, въ четырехъ мѣстахъ перехваченная плотинами, далеко въ полѣ гуськомъ торчатъ драхвы; старенькій господскій домъ со своими службами, фруктовымъ садомъ и гумномъ пріютился къ небольшому пруду. Но далѣе, далѣе ѣдете вы. Холмы все мельче и мельче, деревья почти не видать. Вотъ она, наконецъ, безграничная, необозримая степь!..

А въ зимній день ходить по высокимъ сугробамъ за зайцами, дышать морознымъ, острымъ воздухомъ, невольно шуриться отъ ослѣпительнаго мелкаго сверканья мягкаго снѣга, любоваться зеленымъ цвѣтомъ неба надъ красноватымъ лѣсомъ!.. А первые весенніе дни, когда кругомъ все блеститъ и обрушается, сквозь тяжелый паръ талаго снѣга уже пахнетъ согрѣтой землей, на проталинкахъ, подъ косымъ лучомъ солнца, доверчиво поютъ жаворонки, и, съ веселымъ шумомъ и ревомъ, изъ оврага въ оврагъ клубятся потоки...

Однако пора кончить. Кстати—заговорилъ я о веснѣ: весной легко разставаться, весной и счастливыхъ тянетъ вдаль... Прощайте, читатель; желаю вамъ постоянного благополучія.

И. Тургеневъ.



Ранняя весна. Съ карт. Харина.

Повѣяло черемухой.

Повѣяло черемухой,
Проснулся соловей,
Ужъ пѣснью заливаётся
Онъ въ зелени вѣтвей.
Учи меня, соловушка,
Искусству твоему!
Пусть пѣснь твою волшебную
Прочувствую, пойму.

Пусть раздаётся пѣснь моя
Могуча и сильна,
Пусть людямъ въ душу просится,
Пусть ихъ живить она;
И пусть все имъ становится
Дороже и милѣй,
Какъ первая черемуха,
Какъ первый соловей.

К. Р.

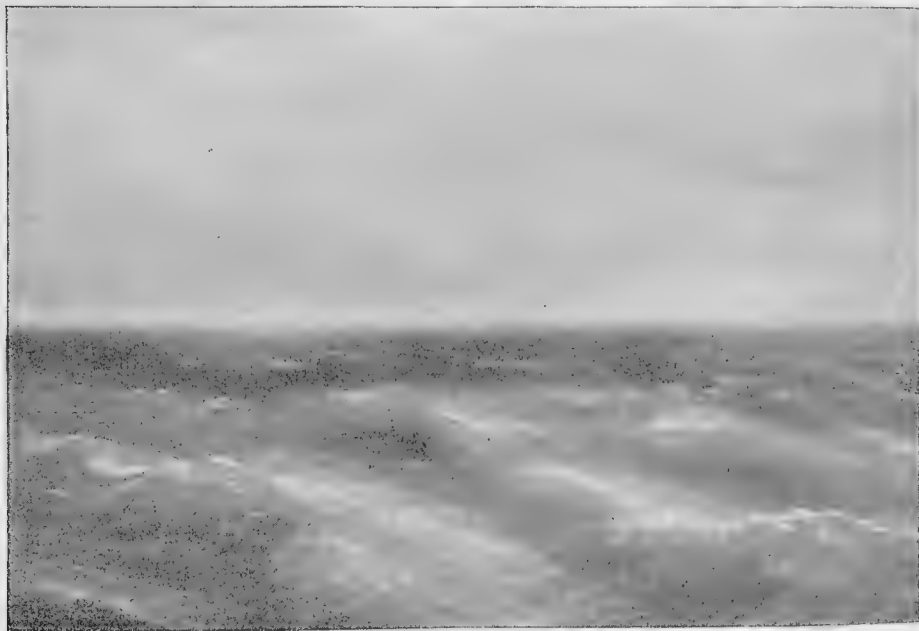
С о с н а.

На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко
На голой вершинѣ сосна,
И дремлетъ качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ
Одѣта, какъ ризой, она.
И снится ей все, что въ пустынѣ далекой,
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,
Одна и грустна на утесѣ горячемъ
Прекрасная пальма растётъ.

М. Лермонтовъ.

Море въ движеніи.

Свѣтало. Даль моря уже блестяла розоватымъ золотомъ. Море жило своей широкой жизнью, полной мощнаго движенія. Стаи волнъ съ шумомъ катились на берегъ и разбивались о песокъ, а онъ слабо шипѣлъ, впитывая воду. Взмахивая бѣлыми гривами, передовыя волны съ шумомъ ударились грудью о берегъ

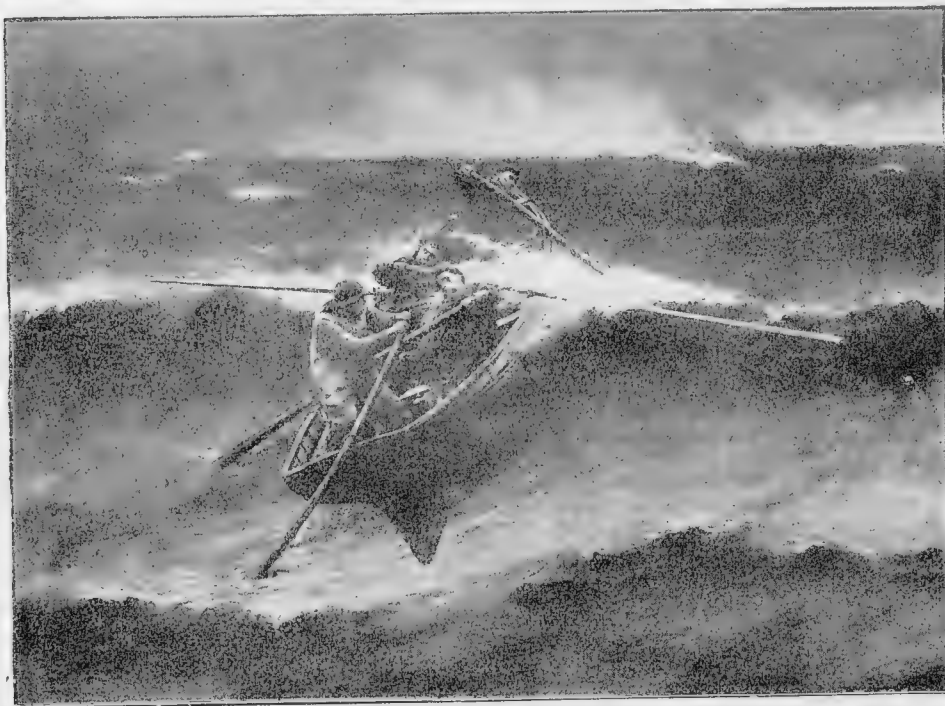


Черное море. Съ карт. Айвазовскаго.

и отступали, отраженные имъ, а ихъ уже встрѣчали другія, шедшія поддержать ихъ. Обнявшись крѣпко въ пѣнѣ и брызгахъ, онѣ снова катились на берегъ и били его въ стремленіи расширить предѣлы своей жизни. Отъ горизонта до берега, на всемъ протяженіи моря, рождались эти гибкія и сильныя волны и все шли, шли плотной массой, тѣсно связанныя другъ съ другомъ единствомъ цѣли... Солнце все ярче освѣщало ихъ хребты, и у далекихъ волнъ, на горизонтѣ, они казались кроваво-красными. Ни одной капли не пропало безслѣдно въ этомъ титаническомъ движеніи водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-то сознательной цѣлью, и вотъ достигаетъ ея этими широкими, ритмичными ударами. Увлекательна была красивая храбрость передовыхъ, задорно прыгавшихъ на молчаливый берегъ, и хорошо было смотрѣть, какъ вслѣдъ за ними спокойно и дружно плетъ все море, могучее море, уже окрашенное солнцемъ во всѣ цвѣта радуги и полное сдержаннаго сознанія своей красоты и силы...

Изъ-за мыса, разсѣкая волны, выплылъ громадный пароходъ и, важно качаясь на взволнованномъ лонѣ моря, понесся по хребтамъ волнъ, бѣшено бросавшихся на его борта. Красивый и сильный, блестящій на солнцѣ своимъ металломъ, въ другое время онъ, пожалуй, могъ бы навести на мысль о гордомъ творествѣ людей, порабошающихъ стихіи.

М. Горькій.



Лоцманъ. Съ карт. Рену.

П л о в е ц ъ.

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумитъ оно,
Въ роковомъ его просторѣ
Много бѣдъ погребено.

Смѣло, братья! Вѣтромъ полный,
Парусъ мой направилъ я:
Полетитъ на скользкі волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бѣгутъ надъ моремъ,
Крѣпнеть вѣтеръ, зыбъ чернѣй:
Будетъ буря! Мы поспоримъ
И помужествуемъ съ ней.

Смѣло, братья! Туча грянетъ,
Закипитъ громада водъ,
Выше валъ сердитый встанетъ,
Глубже бездна упадетъ!

Тамъ, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнѣютъ неба своды,
Не проходитъ тишина.
Но туда выносить волны
Только сильнаго душой!..
Смѣло, братья! Бурей полный,
Прямъ и крѣпокъ парусъ мой.

Лысковъ.

Садъ Плюшкина.

Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходившій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и заглохлый, казалось, одинъ освѣжалъ эту обширную деревню и одинъ былъ вполне живописенъ въ своемъ картинномъ опустѣнн. Зелеными облаками и неправильными, тренолистными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревь. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухъ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косою, остроконечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался сверху вмѣсто капители, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная птица. Хмель, глушнвшій внизу кусты бузины, рябины и лѣсного орѣшника и пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ, наконецъ, вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревь или же висѣлъ на воздухъ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленые чащи, озаренныя солнцемъ, и показывали неосвѣщенное между нихъ углубленіе, зиявшее какъ темная пастъ; оно было все окутано тѣнью, и чуть-чуть мелькали въ черной глубинѣ его: бѣжавшая узкая дорожка, обрушенные перила, пошатнувшаяся бесѣдка, дуплистый дряхлый стволъ ивы, сѣдой чапыжникъ, густой щетинною вытыкавшій изъ-за ивы изсохшіе отъ страшной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья и сучья, и, наконецъ, молодая вѣтвь клена, протянувшая съ боку свои зеленые лапы-листы, подъ одинъ изъ которыхъ забравшись, Богъ вѣсть, какимъ образомъ, солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно сіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края сада, нѣсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя вороньи гнѣзда на треногныя свои вершины. У иныхъ изъ нихъ отдернутыя и не вполне отдѣленные вѣтви висѣли внизъ вмѣстѣ съ изсохшими листьями. Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, но какъ бываетъ только тогда, когда они соединяются вмѣстѣ, когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду человѣка пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облегчитъ тяжелыя массы, уничтожитъ грубоощутительную правильность и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ нескрытый, нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создано въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности.

Н. Гоголь.

Вечеръ въ Бессарабіи.

Однажды вечеромъ, кончивъ дневной сборъ винограда, партія молдаванъ, съ которой я работалъ, ушла на берегъ моря, а я и старуха Изергиль остались подъ густой тѣнью виноградныхъ лозъ и, лежа на землѣ, молчали, глядя, какъ таютъ въ глубокой мглѣ ночи и темной зелени листвы силуэты тѣхъ людей, что пошли къ морю.

Они шли, пѣли и смѣялись; мужчины—бронзовые, съ пышными, черными усами и густыми кудрями до плечъ, въ короткихъ курткахъ и широкихъ шароварахъ; женщины и дѣвушки—веселыя, гибкія, какъ лозы, съ темно-синими глазами,—тоже бронзовые. Ихъ волосы, шелковые и черные, были распущены, и вѣтеръ, теплый и легкій, играя ими, звякалъ монетами, вылетевшими въ нихъ. Вѣтеръ текъ широкой, ровной волной, но иногда онъ точно прыгалъ черезъ что-то невидимое и, рождая сильный порывъ, развѣвалъ волосы женщинъ въ фантастическія гривы, вздымавшіяся вокругъ ихъ головъ. Это дѣлало женщинъ странными и сказочными. Онѣ уходили все дальше отъ насъ, а ночь и фантазія одѣвали ихъ все прекраснѣе.

Кто-то игралъ на скрипкѣ... дѣвушка пѣла мягкимъ контральто, слышался смѣхъ... и воображеніе рисовало всѣ звуки гирляндой разноцвѣтныхъ лентъ, рѣзавшихъ въ воздухъ надъ темными фигурами людей, поглощаемыхъ мглой.

Воздухъ былъ пропитанъ острымъ запахомъ моря и жирными испареніями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождемъ. Еще и теперь по небу бродили обрывки тучъ, пышные, странныхъ очертаній и красокъ, тутъ—мягкіе, какъ клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, тамъ—рѣзкіе, какъ обломки скалъ, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестѣли темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звѣздъ. И все это — звуки и запахи, тучи и люди — было волшебнo красиво, но грустно, казалось началомъ чудной сказки. Все было дивно и гармонично, но казалось остановившимся въ своемъ ростѣ и умирающимъ, такъ какъ мало было шума, живого, нервнаго шума, пылающаго отъ времени все ярче; шумъ же, который былъ,—былъ слабъ, часто прерывался и все гасъ, удаляясь, онъ перерождался въ печальные вздохи сожалѣнія о чемъ-то.

Я созерцалъ все это, и во мнѣ рождался фантастическія желанія: хотѣлось превратиться въ пыль и быть разнесеннымъ повсюду вѣтромъ; хотѣлось разлиться теплой рѣкой по степи, вливаться въ море и дышать въ небо опаловымъ туманомъ; хотѣлось наполнить собой весь этотъ чарующе-печальный вечеръ... и было грустно почему-то.

— Что ты не пошелъ съ ними?—кивнувъ мнѣ головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополамъ, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ея сухой голосъ звучалъ странно, онъ хрустѣлъ, точно старуха говорила костями.

— Не хочу,—отвѣтилъ я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русскіе. Мрачные всѣ, какъ демоны... Боятся тебя наши дѣвушки... А вѣдь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ея дискъ былъ великъ, кроваво-красенъ, и она казалась вышедшей изъ нѣдръ этой степи, которая на своемъ вѣку такъ много погло-

тила человеческого мяса и выпила крови, отчего, навѣрное, и стала такой жирной и щедрой. На насъ упали кружевные тѣни отъ листвы, я и старуха покрылись ими, какъ сѣтью, и онѣ дрожали. И по степи, влѣво отъ насъ, поплыли тѣни отъ облаковъ, пропитанныхъ голубымъ сіяніемъ луны и ставшихъ прозрачнѣй и свѣтлѣй. Чуть-чуть долетали до насъ звуки съ моря: то плакала скрипка, то смѣялась дѣвушка, то паренъ пѣлъ глубокимъ баритономъ, и все это мѣшалось съ тихимъ, ровнымъ плескомъ волнъ о берегъ.

На берегу запѣли, — странно запѣли. Сначала раздался контральто — онъ пропѣлъ двѣ-три ноты, и раздался другой голосъ, начавшій пѣсню сначала, а первый все лился впереди его...—третій, четвертій, пятый вступили въ пѣсню въ томъ же порядкѣ. И вдругъ ту же пѣсню, опять-таки сначала, запѣлъ хоръ мужскихъ голосовъ.

Получилось что-то удивительно оригинальное. Каждый голосъ женщинъ звучалъ совершенно отдѣльно, всѣ они казались разноцвѣтными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступамъ, прыгая и звеня, вливаясь въ густую волну мужскихъ голосовъ, плавно лившуюся кверху, потонули въ ней, вырывались изъ нея, заглушали ее и снова одинъ за другимъ взывались, чистые и сильные, высоко вверхъ. И мелодія была оригинальна: мужчины пѣли безъ вибрацій, и могучіе звуки ихъ голосовъ гудѣли глухо, какъ бы рассказывая о чемъ-то печальномъ, а голоса женщинъ, догоняя другъ друга, точно торопились рассказать то же самое прежде мужчинъ и звенѣли колокольчиками весело, живо, съ массой смѣющихся трелей.

Шума волнъ не слышно было за голосами...

М. Горькій.

Поѣздка на долгиxъ.

Снова поданы два экипажа—къ крыльцу Петровскаго дома; одинъ—каreta, въ которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и самъ приказчикъ Яковъ, на козлахъ; другой—бричка, въ которой ѣдемъ мы съ Володей и недавно взятый съ оброка лакей Василій.

Папа, который нѣсколько дней послѣ насъ долженъ тоже пріѣхать въ Москву, безъ шапки стоитъ на крыльцѣ и креститъ окно кареты и бричку.

«Ну, Христосъ съ вами! трогай!» Яковъ и кучера (мы ѣдемъ на своихъ) снимаютъ шапки и крестятся. «Но, но! съ Богомъ!» Кузовъ кареты и бричка начинаютъ подпрыгивать по неровной дорогѣ, и березы большой аллеи, одна за другою, бѣгутъ мимо насъ. Мнѣ нѣсколько не грустно: умственный взоръ мой обращенъ не на то, что я оставляю, а на то, что ожидаетъ меня. По мѣрѣ удаленія отъ предметовъ, связанныхъ съ тяжелыми воспоминаніями, наполнявшими до сей поры мое воображеніе, воспоминанія эти теряютъ свою силу и быстро замѣняются отраднымъ чувствомъ сознанія жизни, полной силы, свѣжести и надежды.

Рѣдко провелъ я нѣсколько дней — не скажу весело: мнѣ еще какъ-то совѣстно было предаваться веселью¹⁾, — но такъ пріятно, хорошо, какъ четыре дня нашего путешествія. У меня передъ глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не могъ проходить безъ содроганія, ни за-

¹⁾ У него незадолго передъ тѣмъ умерла мать.

крытого рояля, къ которому не только не подходили, но на который и смотрѣли съ какою-то боязнью, ни траурныхъ одеждъ (на всѣхъ насъ были простыя дорожныя платья), ни всѣхъ тѣхъ вещей, которыя, живо напоминая мнѣ невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждаго проявленія жизни изъ страха оскорбить какъ-нибудь ея память. Здѣсь, напротивъ, безпрестанно новыя живописныя мѣста и предметы останавливаютъ и развлекаютъ мое вниманіе, а весенняя природа вселяетъ въ душу отрадныя чувства довольства настоящимъ и свѣтлой надежды на будущее.

Рано, рано утромъ безжалостный и, какъ всегда бываютъ люди въ новой должноти, слишкомъ усердный Василій сдергиваетъ одѣяло и увѣряетъ, что пора ѣхать, и все уже готово. Какъ ни жмешься, ни хитришь, ни сердисься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкій утренній сонъ, по рѣшительному лицу Василья видишь, что онъ неумолимъ и готовъ еще двадцать разъ сдернуть одѣяло, вскакиваешь и бѣжишь на дворъ умываться.

Въ сѣняхъ уже кипитъ самоваръ, который, раскраснѣвшійся какъ ракъ, раздуваетъ Митька форейторъ: на дворѣ сыро и туманно, какъ будто паръ подымается отъ пахучаго навоза; солнышко веселымъ, яркимъ свѣтомъ освѣщаетъ восточную часть неба, и соломенные крыши просторныхъ навѣсовъ, окружающихъ дворъ, глянцевоитыя отъ росы, покрывающей ихъ. Подъ ними виднѣются наши лошади, привязанныя около кормягъ, и слышно ихъ мѣрное жеваніе. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая передъ зарей на сухой кучѣ навоза, лѣниво потягивается и, помахивая хвостомъ, мелкою рысцою отправляется въ другую сторону двора. Хлопотунья-хозяйка отворяетъ скрипяція ворота, выгоняетъ задумчивыхъ коровъ на улицу, по которой уже слышны топотъ, мычаніе и блеяніе стада, и перекидывается словечкомъ съ сонною сосѣдкой. Филиппъ, съ засученными рукавами рубашки, вытягиваетъ колесомъ бадью изъ глубокаго колодца, плеская свѣтлую воду, выливаетъ ее въ дубовую колоду, около которой въ лужѣ уже полощутся проснувшіяся утки; и я съ удовольствіемъ смотрю на значительное, съ окладистою бородой, лицо Филиппа и на толстыя жилы и мускулы, которые рѣзко обозначаются на его голыхъ мощныхъ рукахъ, когда онъ дѣлаетъ какое-нибудь усиліе.

За перегородкой, гдѣ спала Мими съ дѣвочками, и изъ-за которой мы переговаривались вечеромъ, слышно движеніе. Мама съ различными предметами чаще и чаще перебѣгаетъ мимо насъ, наконецъ, отворяется дверь, и насъ зовутъ пить чай.

Василій, въ припадкѣ излишняго усердія, безпрестанно вбѣгаетъ въ комнату, выносить то то, то другое, подмигиваетъ намъ и всячески упраниваетъ Марью Ивановну выѣзжать ранѣе. Лошади заложены и выражаютъ свое нетерпѣніе, изрѣдка побрякивая бубенчиками: чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по мѣстамъ. Но каждый разъ въ бричку мы находимъ гору вмѣсто сидѣнія, такъ что никакъ не можемъ понять, какъ все это было уложено наканунѣ и какъ теперь мы будемъ сидѣть; особенно одинъ орѣховый чайный ящикъ съ треугольною крышкою, который отдають къ намъ въ бричку и ставятъ подъ меня, приводитъ меня въ сильнѣйшее негодованіе. Но Василій говоритъ, что это обомнется, и я принужденъ вѣрить ему.

Солнце только что поднялось надъ сплошнымъ бѣлымъ облакомъ, покрывающимъ востокъ, и вся окрестность озарилась спокойно-радостнымъ свѣтомъ.

Все такъ прекрасно вокругъ меня, а на душѣ такъ легко и спокойно... Дорога широкою дикою лентой вьется впередъ, между полями засохшаго жнивья и блестящею росой зелени; кое-гдѣ при дорогѣ попадаетъ угрюмая ракета или молодая березка съ мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тѣнь на засохшія глинистыя колѣн и мелкую зеленую траву дороги... Однообразный шумъ колесъ и бубенчиковъ не заглушаетъ пѣсенъ жаворонковъ, которые вьются около самой дороги. Запахъ сѣдѣннаго молю сукна, пыли и какой-то кислоты, которымъ отличается наша бричка, покрывается запахомъ утра, и я чувствую въ душѣ отрадное безпокойство, желаніе что-то сдѣлать — признакъ истиннаго наслажденія.

Я не успѣлъ помолиться на постояломъ дворѣ: но такъ какъ уже не разъ замѣчено мною, что въ тотъ день, въ который я, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ забываю исполнить этотъ обрядъ, со мною случается какое-нибудь несчастіе, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваюсь въ уголъ брички, читаю молитвы и крещусь подъ курточкой такъ, чтобы никто не видалъ этого. Но тысячи различныхъ предметовъ отвлекаютъ мое вниманіе, и я нѣсколько разъ сряду въ разсѣянности повторяю одни и тѣ же слова молитвы.

Вотъ на пѣшеходной тропинкѣ, вьющейся около дороги, видѣются какія-то медленно движущіяся фигуры: это богомолки. Головы ихъ закутаны грязными платками; за спинами берестовыя котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты въ тяжелыя лапти. Равномѣрно размахивая палками и едва оглядываясь на насъ, онѣ медленнымъ тяжелымъ шагомъ подвигаются впередъ одна за другою, и меня занимаютъ вопросы: куда, зачѣмъ онѣ идутъ? долго ли продолжится ихъ путешествіе, и скоро ли длинныя тѣни, которыя онѣ бросаютъ на дорогу, соединятся съ тѣнью ракиты, мимо которой онѣ должны пройти? Вотъ коляска, четверкой, на почтовыхъ быстро несется навстрѣчу. Двѣ секунды, и лица, на разстояніи двухъ аршинъ привѣтливо любопытно смотрѣвшія на насъ, уже промелькнули и какъ-то странно кажется, что эти лица не имѣютъ со мной ничего общаго, и что ихъ никогда, можетъ-быть, и не увидишь больше.

Вотъ стороной дороги бѣгутъ двѣ потныя, косматыя лошади въ хомутахъ съ захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свѣсивъ длинныя ноги въ большихъ сапогахъ, по обѣимъ сторонамъ лошади, у которой на холкѣ виситъ дуга и изрѣдка чуть слышно побрякиваетъ колокольчикомъ, ѣдетъ молодой паренъ ямщикъ и, сбивъ на одно ухо поярковую шляпу, тянетъ какую-то протяжную пѣсню. Лицо и поза его выражаютъ такъ много лѣниваго, безпечнаго довольства, что мнѣ кажется верхомъ счастья быть ямщикомъ, ѣздить обратнымъ и пѣть грустныя пѣсни. Вонъ далеко за оврагомъ видѣется на свѣтло-голубомъ небѣ деревенская церковь съ зеленою крышей; вонъ село, красная крыша барскаго дома и зеленый садъ. Кто живетъ въ этомъ домѣ? есть ли въ немъ дѣти, отецъ, мать, учитель? Отчего бы намъ не поѣхать въ этотъ домъ и не познакомиться съ хозяевами? Вотъ длинный обозъ огромныхъ возовъ, запряженныхъ тройками сытыхъ толстоногихъ лошадей, который мы принуждены обѣзжать стороною. «Что везете?» спрашиваетъ. Василій у перваго извозчика, который, спустивъ огромныя ноги съ грядокъ и помахивая кнутикомъ, долго пристально безсмысленнымъ взоромъ слѣдитъ за нами и отвѣчаетъ что-то только тогда,

когда его невозможно слышать. «Съ какимъ товаромъ?» обращается Василій къ другому возу, на огороженномъ передкѣ котораго, подъ новою рогожей, лежитъ другой извозчикъ. Русая голова съ краснымъ лицомъ и рыжеватою бородкой на минуту высовывается изъ-подъ рогожи, равнодушно-презрительнымъ взглядомъ окидываетъ нашу бричку и снова скрывается — и мнѣ приходятъ мысли, что вѣрно эти извозчики не знаютъ, кто мы такіе, и откуда и куда ѣдемъ?..

Часа полтора, углубленный въ разнообразныя наблюденія, я не обращаю вниманія на кривыя цифры, выставленныя на верстахъ. Но вотъ солнце начинаетъ жарче печь мнѣ голову и спину, дорога становится пыльнѣе, треугольная крышка чайницы начинаетъ сильно безпокоить меня, я нѣсколько разъ перемѣняю положеніе: мнѣ становится жарко, неловко и скучно. Все мое вниманіе обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленныя на нихъ; я дѣлаю различныя математическія вычисленія насчетъ времени, въ которое мы можемъ пріѣхать на станцію. «Двѣнадцать верстъ составляютъ треть тридцати-шести, а до Липецъ сорокъ-одна, слѣдовательно, мы проѣхали одну треть и сколько?» и т. д.

«Василій,—говорю я, когда замѣчаю, что онъ начинаетъ *удить рыбу* на козлахъ,—пусти меня на козлы, голубчикъ». Василій соглашается. Мы перемѣняемся мѣстами: онъ тотчасъ же начинаетъ хрипѣть и разваливается такъ, что въ бричкѣ уже не остается больше ни для кого мѣста; а передо мной открывается съ высоты, которую я занимаю, самая пріятная картина: наши четыре лошади, Перучинская, Дьячокъ, Лѣвая коренная и Аптекарь, всѣ изученныя мною до малѣйшихъ подробностей и оттѣнковъ свойствъ каждой.

— Отчего это нынче Дьячокъ на правой пристяжкѣ, а не на лѣвой, Филиппъ?—нѣсколько робко спрашиваю я.

— Дьячокъ?

— А Перучинская ничего не везетъ,—говорю я.

— Дьячка нельзя налѣво впрягать,—говоритъ Филиппъ, не обращая вниманія на мое послѣднее замѣчаніе:—не такая лошадь, чтобъ его на лѣвую пристяжку впрягать. Налѣво ужъ нужно такую лошадь, чтобъ, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филиппъ съ этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжей изъ всѣхъ силъ, принимается стегать бѣднаго Дьячка по хвосту и по ногамъ, какъ-то особеннымъ манеромъ, снизу, и несмотря на то, что Дьячокъ старается изъ всѣхъ силъ и воротить всю бричку, Филиппъ прекращаетъ этотъ маневръ только тогда, когда чувствуетъ необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвѣстно для чего свою шляпу на одинъ бокъ, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидѣла на его головѣ. Я пользуюсь такою счастливою минутой и прошу Филиппа дать мнѣ *поправить*. Филиппъ даетъ мнѣ сначала одну вожжу, потомъ другую; наконецъ всѣ шесть вожжей, и кнутъ переходятъ въ мои руки, и я совершенно счастливъ. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли, но обыкновенно кончается тѣмъ, что онъ остается мною недоволенъ: говорить, что та много везетъ, а та ничего не везетъ, высовываетъ локоть изъ-за моей груди и отнимаетъ у меня вожжи. Жаръ все усиливается, барашки начинаютъ вздуваться какъ мыльные пузыри, выше и выше, сходятся и принимаютъ темно-сѣрыя тѣни. Въ окно кареты высовывается рука съ бутылкой и узелкомъ; Василій, съ удивительною ловкостью, на ходу соскакиваетъ съ козелъ и приносить намъ ватрушекъ и квасу.

На крутомъ спускѣ мы всё выходимъ изъ экипажей и иногда въ перегонки бѣжимъ до моста, между тѣмъ какъ Василій и Яковъ, подтормозивъ колеса, съ обѣихъ сторонъ руками поддерживаютъ карету; какъ будто они въ состояніи удержать ее, ежели бы она упала. Потомъ съ позволенія Мими, я или Володя отправляемся въ карету, а Любочка или Катенька садятся въ бричку. Перемѣненія эти доставляютъ большое удовольствіе дѣвочкамъ, потому что онѣ справедливо находятъ, что въ бричкѣ гораздо веселѣй. Иногда во время жара, проѣзжая черезъ рошу, мы отстаемъ отъ кареты, нарываемъ зеленыхъ вѣтокъ и устраниваемъ въ бричкѣ бесѣдку. Движущаяся бесѣдка во весь духъ догоняетъ карету, и Любочка пищитъ при этомъ самымъ пронзительнымъ голосомъ, чего она никогда не забываетъ дѣлать, при каждомъ случаѣ, доставляющемъ ей большое удовольствіе.

Но вотъ и деревня, въ которой мы будемъ обѣдать и отдыхать. Вотъ ужъ запахло деревней—дымомъ, дегтемъ, баранками, слышались звуки говора, шаговъ и колесъ; бубенчики уже звенятъ не такъ какъ въ чистомъ полѣ, и съ обѣихъ сторонъ мелькаютъ избы, съ соломенными кровлями, рѣзными тесовыми крылечками и маленькими окнами съ красными и зелеными ставнями, въ которыхъ кое-гдѣ просовывается лицо любопытной бабы. Вотъ крестьянскіе мальчики и дѣвочки въ одиѣхъ рубашонкахъ: широко раскрывъ глаза и растопыривъ руки, неподвижно стоятъ они на одномъ мѣстѣ или, быстро сѣменя въ пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающіе жесты Филиппа, бѣгутъ за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вотъ и рыжеватые дворники съ обѣихъ сторонъ подбѣгаютъ къ экипажамъ и привлекательными словами и жестами одинъ передъ другимъ стараются заманить проѣзжающихъ! Тпрру! ворота скрипятъ, вальки цѣпляютъ за воротнища, и мы въѣзжаемъ на дворъ. Четыре часа отдыха и свободы!

Л. Толстой.

Г р о з а.

Солнце склонилось къ западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мнѣ шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленныхъ краевъ брички; густая пыль поднималась по дорогѣ и наполняла воздухъ. Не было ни малѣйшаго вѣтерка, который бы отпихивалъ ее. Впереди насъ на одинаковомъ разстояніи, мѣрно покачивался высокій, запыленный кузовъ кареты съ важами, изъ-за котораго виднѣлся изрѣдка кнутъ, которымъ помахивалъ кучеръ, его шляпа и фуражка Якова. Я не зналъ, куда дѣваться: ни черное отъ пыли лицо Володи, дремавшего подлѣ меня, ни движенія спины Филиппа, ни длинная тѣнь нашей брички, подъ косымъ угломъ бѣжавшая за нами, не доставляли мнѣ развлеченія. Все мое вниманіе было обращено на верстовыя столбы, которые я замѣчалъ издалека, и на облака, прежде разсыпанные по небосклону, которые, принявъ зловѣщія, черныя тѣни, теперь собирались въ одну большую мрачную тучу. Изрѣдка погромыхивалъ дальній громъ. Это послѣднее обстоятельство болѣе всего усиливало мое нетерпѣніе скорѣе пріѣхать на постоянный дворъ. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верстъ десять, а большая темноплодовая туча, взявшаяся Богъ знаетъ откуда, безъ малѣйшаго вѣтра, но быстро

подвигалась къ намъ. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освѣщаетъ ея мрачную фигуру и сѣрыя полосы, которыя отъ нея идутъ до самаго горизонта. Пѣръдка, вдалекѣ, всыхиваетъ молнія и слышится слабый гулъ, постепенно усиливающийся, приближающійся и переходящій въ прерывистые раскаты, обнимающіе весь небосклонъ. Василій приподнимается съ козелъ и поднимаетъ верхъ брички, кучера надѣваютъ армяки и при каждомъ ударѣ грома снимаютъ шапки и крестятся; лошади настораживаютъ уши, раздуваютъ ноздри, какъ будто припихиваясь къ свѣжему воздуху, которымъ пахнетъ отъ приближающейся тучи, и бричка скорѣе катитъ по пыльной дорогѣ. Миѣ становится жутко, и я чувствую, какъ кровь быстрѣе обращается въ моихъ жилахъ. Но вотъ передовыя облака уже начинаютъ закрывать солнце; вотъ оно выглянуло въ послѣдній разъ, освѣтило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдругъ измѣняется и принимаетъ мрачный характеръ. Вотъ задрожала осиновалъ роща; листья становятся какого-то блѣдно-мутнаго цвѣта, ярко выдающагося на лиловомъ фонѣ тучи, шумятъ и вертятся; макушки большихъ березъ начинаютъ раскачиваться, и пучки сухой травы летятъ черезъ дорогу. Стрижи и блѣлогрудыя ласточки, какъ будто съ намѣреніемъ остановить насъ, рѣютъ вокругъ брички и пролетаютъ подъ самую грудь лошадей; галки съ растрепанными крыльями какъ-то бокомъ летаютъ по вѣтру; края кожанаго фартука, которымъ мы застегнулись, начинаютъ подниматься, пропускать къ намъ порывы влажнаго вѣтра и, размахиваясь, бьются о кузовъ брички. Молнія всыхиваетъ какъ будто въ самой бричкѣ, ослѣпляетъ зрѣніе и на одно мгновеніе освѣщаетъ сѣрое сукно, басонъ и прижавшуюся въ углу фигуру Володи. Въ ту же секунду надъ самою головою раздается величественный гулъ, который, какъ будто поднимаясь все выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линіи, постепенно усиливается и переходитъ въ оглушительный трескъ, невольно заставляющій трепетать и сдерживать дыханіе. Глѣвъ Божій! какъ много поэзіи въ этой просто-народной мысли.

Колеса вертятся скорѣе и скорѣе; по спинамъ Василія и Филиппа, который нетерпѣливо помахиваетъ вожжами, я замѣчаю, что и они боятся. Бричка шибко катится подъ гору и стучитъ по дощатому мосту; я боюсь пошевелиться и съ минуты на минуту ожидаю нашей общей гибели.

Тпру! оторвался валежъ, и на мосту, несмотря на непрерывные, оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонивъ голову къ краю брички, я, съ захватывающимъ дыханіемъ замѣраніемъ сердца, безнадежно слѣжу за движеніями толстыхъ черныхъ пальцевъ Филиппа, который медлительно захлестываетъ петлю и выравниваетъ постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищемъ.

Тревожныя чувства тоски и страха увеличивались во мнѣ вмѣстѣ съ усиленіемъ грозы, но когда пришла величественная минута безмолвія, обыкновенно предшествующая разраженію грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояніе еще четверть часа, я увѣренъ, что умеръ бы отъ волненія. Въ это самое время изъ-подъ моста вдругъ появляется въ одной грязной дырявой рубахѣ, какое-то человѣческое существо съ опухшимъ безмысленнымъ лицомъ, качающееся, ничѣмъ не покрытой, обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и съ какою-то красною, глянцевиной культиякой вмѣсто руки, которую онъ суетъ прямо въ бричку.

«Ба-а-шка! убо-го-му, Хри-ста-ради», звучит болѣзненный голосъ, и ни-
щій съ каждымъ словомъ крестится и кланяется въ поясъ.

Не могу выразить чувства холоднаго ужаса, охватившаго мою душу въ
эту минуту. Дрожь пробѣгала по моимъ волосамъ, а глаза съ безсмыслиемъ
страха были устремлены на нищаго..

Василій, въ дорогѣ подающій милостыню, даетъ наставленія Филиппу на-
считать укрѣпленія валька, и, только когда все уже готово, и Филиппъ, собирая
возжи, лѣзетъ на козлы, начинается что-то доставать изъ бокового кармана. Но
только что мы трогаемся, ослѣпительная молнія, мгновенно наполняя огненнымъ
свѣтомъ всю лощину, заставляетъ лошадей остановиться и, безъ малѣйшаго
промѣжутка, сопровождается такимъ оглушительнымъ трескомъ грома, что, ка-
жется, весь сводъ небесъ рушится надъ нами. Вѣтеръ еще усиливается: гривы
и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимаютъ одно направле-
ніе и отчаянно развѣваются отъ порывовъ неистоваго вѣтра. На кожаный верхъ
брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдругъ
какъ будто кто-то забарабанилъ надъ нами, и вся окрестность огласилась равно-
мѣрнымъ шумомъ падающаго дождя. По движеніямъ локтей Василья, я замѣчаю,
что онъ развязываетъ кошелекъ, нищій, продолжая креститься и кланяться, бѣ-
житъ подлѣ самыхъ колесъ, такъ что того и гляди раздавятъ его. «Подай, Хри-
ста-ради!» Наконецъ мѣдный грошъ летитъ мимо насъ, и жалкое созданье въ
объгнувшемъ его худые члены, промокшемъ до нитки рубищѣ, качаясь отъ
вѣтра, въ недоумѣніи останавливается посреди дороги и исчезаетъ изъ мо-
ихъ глазъ.

Косой дождь, гонимый сильнымъ вѣтромъ, лилъ какъ изъ ведра; съ фри-
зовой спины Василья текли потоки въ лужу мутной воды, образовавшейся на
фартукѣ. Сначала сбитая катушками пыль превратилась въ жидкую грязь, ко-
торую мѣсили колеса, толчки стали меньше, и по глинистымъ колеямъ потекли
мутные ручьи. Молнія свѣтила шире и блѣднѣе, и раскаты грома уже были не
такъ поразительны за равномернымъ шумомъ дождя.

Но вотъ дождь становится мельче; туча начинаетъ раздѣляться на волни-
стыя облака, свѣтлѣть въ томъ мѣстѣ, въ которомъ должно быть солнце, и
сквозь сѣровато-бѣлые края тучи чуть видѣется клочокъ ясной лазури. Черезъ
минуту робкій лучъ солнца уже блеститъ въ лужахъ дороги, на полосахъ па-
дающаго, какъ сквозь сито, мелкаго прямого дождя и на обмытой, блестящей
зелени дорожной травы. Черная туча также грозно застилаетъ противоположную
сторону небосклона, но я уже не боюсь ея. Я испытываю невыразимо-отрадное
чувство надежды въ жизни, быстро замѣняющее во мнѣ тяжелое чувство страха.
Душа моя улыбается такъ же, какъ и освѣженная, повеселѣвшая природа. Ва-
силій откидываетъ воротникъ шинели, снимаетъ фуражку и отряхиваетъ ее;
Володя откидываетъ фартукъ; я высовываюсь изъ брички и жадно впиваю въ
себя освѣженный, душный воздухъ. Блестящій, обмытый кузовъ кзеты съ
ваками и чемоданами покачивается передъ нами, спины лошадей, шлеи, возжи,
шины колесъ, — все мокро и блеститъ на солнцѣ, какъ покрытое лакомъ.
Съ одной стороны дороги — необозримое озное поле, кое-гдѣ перерѣзанное
неглубокими овражками, блеститъ мокрою землею и зеленью и разстилается тѣ-
нистымъ ковромъ до самаго горизонта; съ другой стороны — осиновая роща, по-
росшая орѣховымъ и черемухнымъ подлѣдомъ, какъ бы въ избыткѣ счастья

стоитъ, не шелохнется и медленно роняетъ съ своихъ обмытыхъ вѣтвей свѣтлыя капли дождя на сухіе прошлогоднія листья. Со всѣхъ сторонъ вьются съ веселою пѣснью и быстро падаютъ хохлатые жаворонки; въ мокрыхъ кустахъ слышно хлопотливое движеніе маленькихъ птичекъ, и изъ середины рощи ясно долетаютъ звуки кукушки. Такъ обаятеленъ этотъ чудный запахъ лѣса, послѣ весенней грозы, запахъ березы, фіалки, прѣлага листа, сморчковъ, черемухи, что я не могу успѣть въ брѣвчѣ, соскакиваю съ подножки, бѣгу къ кустамъ и, несмотря на то, что меня осыпаетъ дождевыми каплями, рву мокрыя вѣтви распутившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь ихъ чуднымъ запахомъ. Не обращаю даже вниманія на то, что къ сапогамъ моимъ липнутъ огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бѣгу къ окну кареты

— Любочка, Катенька! — кричу я, подавая туда нѣсколько вѣтокъ черемухи: — посмотри, какъ хорошо!

Дѣвочки пищатъ, ахаютъ; Мими кричитъ, чтобъ я ушелъ, а то меня непременно раздавятъ.

— Да ты понюхай, какъ пахнетъ! — кричу я.

Л. Толстой.



Передъ грозой. Съ карт. Дюккера.

Т у ч а.

(Плачь сосѣдки по убитомъ громомъ-молніей.)

Какъ по этой по разливной красной веснушкѣ,
На троичкой-то было на недѣлюшкѣ,
Накрывать стала крестьянская работушка,
Стали пахари на полѣ объявлятися.
Тутъ повыѣхалъ спорядной нашъ сусѣдушка,
Онъ въ раздольице повыѣхалъ, въ чисто поле,
На эти на распашисты полосушки.

Съ утра жалобно вѣдь солнце воспекало,
Была тишина на широкой на улочкѣ;
На часу вдругъ тутъ да объявилосѣ,
Стало солнышко за облака тулятися,
Наставала туча темна—неспособная,
Съ громомъ эта туча со толкучимъ,
Вдругъ со молніей-то тученька свистучеей,
Со злымъ огнемъ да она плящимъ;
На горы шла туча на высокія,
Горы съ этой тучи порастрескались,
Мелки камышки со страсти покатились.
Ужъ и шла да грозна туча эта темная,
По лѣсамъ шла она по дремучимъ,
Лѣса къ земи съ этой тучи преклонились,
По корешку они все приломались.
Ужъ и такъ шла грозна эта тученька,
Въ темномъ лѣсѣ дикіи звѣри убоились,
По своимъ мѣстамъ звѣри убирались;
Становилась туча темна на синее море,
Синее море со дна все расходилося,
Страшно-ужасно тутъ море расшумѣлося;
Съ луды камни оно тутъ вырывало,
Волной на берегъ оно да ихъ бросало;
Въ синемъ морѣ бѣлы рыбы убоились,
По своимъ стапамъ рыбы разметались;
По селамъ пошла туча деревенскимъ,
Знать, деревнями-то туча разгремѣлася,
Мать сыра земля со грому надрожалася;
Съ тучи добрыя дома да пошатались;
Со чиста поля крестьяне убирались,
Во своихъ домахъ они да сохранялись;
Съ этой страсти крестьяне, съ перенолоху,
Затопляли свѣщи воску ярова,
Тутъ молили они Бога отъ желаньца,
Оны кланялись во матушку сыру землю:
«Спаси, Господи, вѣдь душъ да нашихъ грѣшныхъ,
Отъ стрѣлы ты сохрани да насъ отъ молніи,
Пронеси, Господи, тучу со чиста поля,
На чисто поле тучу, за синее море!»
На чисто поле тутъ туча своротилася,
Страшно-ужасно тутъ туча разгремѣлася,
Очень плящи огни да разгорѣлись;
Все вѣдь думалъ-то спорядиой нашъ сусѣдушко,
Торокомъ да пройде темна эта тученька;
Становился подъ кудряву деревиночку...
Стрѣла Божья тутъ вдругъ да разлетѣлася,
Не на воду вѣдь стрѣлушка, не на землю,

Не на звѣря въ темномъ лѣсушкѣ съѣдучаго,
Она пала на сосѣда спорядоваго—
Изорвала все ретливое сердечушко;
Заразилъ-побилъ Илья—свѣтъ преподобной
Да онъ славнаго крестьянина могучаго.
Туча темная за разъ же уходилася,
Стрѣла молнія за разъ же приукрылася.
Вдругъ пороспекло тутъ красно это солнышко...
Какъ схватилася спорядная сусѣдушка,
За свою она надежную головушку:
Гдѣ отъ тучи-молніи онъ сохраняется,
Подъ какой да деревиночкой спасается:
Подъ малымъ ли ракитовымъ подъ кустышкомъ,
Аль сидитъ онъ на катучемъ бѣломъ камышкѣ.
Тутъ вѣдь бросилась спорядная сусѣдушка,
По селу она пошла по деревенскому,
Тутъ въ раздольице бросалась во чисто поле,
Скоро шла да по распашистымъ полосушкамъ.
Вдругъ увидѣла ступистую лошадушку,
Доброй конь стоитъ—головушка наклонена;
Тутъ ужахнулось ретливое сердечушко,
Не видать да все надежной головушки.
Тутъ глядѣть стала по чистому по полюшку,
Какъ вглянула на курчаву деревиночку,
Стоитъ деревце теперь—въ щепу разломано;
Ко сырой землѣ вѣдь деревце приклонено;
Она бросилась къ кудрявой деревиночкѣ,
Какъ лежитъ ейна надежная головушка,
На матушкѣ лежитъ да на сырой землѣ,
Бѣла грудь его стрѣдой этой прострѣлена,
Ретливо сердце все молніей разорвано,
Бѣлы рученьки его да пораскинуты.
Задрожала тутъ побѣдная семейшка,—
Испугалася надежной головушки;
Нѣту душеньки его да во бѣлой груди,
Нѣту зрѣнья у его да во ясныхъ очахъ,
Во устахъ его языкъ да не воротится,
Какъ убитъ лежитъ надеженька подстрѣленной
Отъ страсти онъ, надежа, тучи темной...
Воротилася побѣдная сусѣдушка
Она взадъ да во село тутъ деревенское,
Со раздольица—побѣдна—со чиста поля,
Объявила тутъ сусѣдамъ спорядовымъ,
Какъ надѣлала тревоги всему обществу,
Безпокойства-то крестьянамъ православнымъ;
Караулъ да къ тѣлу мертву полагали,
Къ становому тутъ нарочныхъ отправляли.

Последняя борьба.

Надо мною буря выла,
Громъ по небу грохоталъ,
Слабый умъ судьба страшила,
Холодъ въ душу проникалъ.

Но не палъ я отъ страданья,
Гордо выдержалъ ударъ,
Сохранилъ въ душѣ желанья,
Въ тѣлѣ—силу, въ сердцѣ—жаръ.

Что погубель! что спасенье!
Будь, что будетъ—все равно!
На святое Провидѣнье
Положился я давно!

Въ этой вѣрѣ нѣтъ сомнѣнья,
Ею жизнь моя полна;
Безконечно въ ней стремленье,
Въ ней покой и тишина...

Не грози жъ ты мнѣ бѣдою,
Не зови, судьба, на бой:
Готовъ биться я съ тобою,—
Но не сладишь ты со мной!

У меня въ душѣ есть сила,
У меня есть въ сердцѣ кровь,
Подъ крестомъ — моя могила,
На крестъ — моя любовь!

Кольцовъ.

Солнечное затменіе.

I.

Грубы установлены, съ балагановъ сняты брезенты, ученые пробуютъ инструменты.

Толпа удивленно стихаетъ.

Минутная тишина. Вдругъ раздается звонкій ударъ маятника метронома, отбивающаго секунды.

— Часы бьютъ. Должно, шесть часовъ.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать,—нѣтъ, не часы... Что такое?!

— Началось, — догадывается кто-то въ толпѣ, видя, что астрономы припали къ трубамъ.

— Вотъ-те и началось, ничего нѣту,—небрежно и увѣренно произносить вдругъ въ заднихъ рядахъ голосъ стараго скенника.

Я вынимаю свое стекло съ самодѣльной ручкой. Оно производитъ нѣкоторую ироническую сенсацию, такъ какъ бумагу, которой оно обклеено, я прилѣпилъ къ ручкѣ сургучомъ.

— Вотъ такъ машина!—говорить кто-то изъ моихъ сосѣдей. — За семью печатями...

Я оглядываю свой инструментъ. Дѣйствительно, печатей оказывается ровно семь—роковая цифра. Однако некогда заниматься кабалистическими соображеніями, тѣмъ болѣе, что моя «машина» служить отлично. Среди быстро пробѣгающихъ озаренныхъ облаковъ я вижу ясно очерченный солнечный кругъ. Съ правой стороны, сверху, онъ будто обрѣзанъ чуть замѣтно.

Минута молчанія.

— Ущербилось! — внятно раздается голосъ изъ толпы.

— Не толкуй пустого! — рѣзко обрываетъ старецъ.

Я нарочно подхожу къ нему и предлагаю посмотреть въ мое стекло. Онъ отворачивается съ отвращеніемъ.

— Старъ я, старъ въ ваши стекла глядѣть. Я его, родимое, и такъ вижу, и глазами. Вонъ оно въ своемъ видѣ.

Но вдруг по лицу его пробѣгаетъ, точно судорога, не то испугъ, не то глубокое сторченіе.

— Господи, Иисусе Христе, Царица Небесная..

Солнце тонетъ на минуту въ широкомъ мгlistомъ пятнѣ и показывается изъ облака уже значительно уцѣрбленнымъ. Теперь уже это видно простымъ глазомъ, чему помогаетъ тонкій паръ, который все еще курится въ воздухѣ, смягчая ослѣпительный блескъ.

Тишина. Кое-гдѣ слышно нервное, тяжелое дыханіе, на фонѣ напряженного молчанія метрономъ отбиваетъ секунды металлическимъ звономъ. Я оглядываюсь. Старый скептикъ шагаетъ прочь быстрыми шагами, съ низко опущенною головой

II.

Проходитъ полчаса. День сиеетъ почти все такъ же, облака закрываютъ и открываютъ солнце, теперь плывущее въ вышинѣ въ видѣ серпа. Какой-то мужичокъ «изъ-за Пучежа» въѣзжаетъ на площадь, торопливо поворачиваетъ къ забору и начинаетъ выпрягать лошадь, какъ будто его внезапно застигла ночь, и онъ собрался на ночлегъ. Подвязавъ лошадь къ возу, онъ растерянно смотритъ на холмъ съ инструментами, на толпу людей съ поблѣднѣвшими лицами, потомъ находитъ глазами церковь и начинаетъ креститься механически, сохраняя въ лицѣ все то же испуганно-вопросительное выраженіе.

Между тѣмъ мальчишки и подростки убѣгаютъ домой и оттуда возвращаются съ самодѣльными, наскоро закопченными стеклами, которыхъ теперь появляется много. Среди молодежи царятъ безпечное оживленіе и любопытство. Старики вздыхаютъ, старухи какъ-то истерически ахаютъ, а кто даже вскрикиваетъ и стонетъ, точно отъ сильной боли.

День начинаетъ замѣтно блѣднѣть. Лица людей принимаютъ странный оттѣнокъ, тѣни человѣческихъ фигуръ лежатъ на землѣ блѣдныя, неясныя. Пареходъ, идущій внизъ, проплываетъ какимъ-то призракомъ. Его очертанія стали легче, потеряли опредѣленность красокъ. Количество свѣта, видимо, убываетъ; но такъ какъ нѣтъ сгущенныхъ тѣней вечера, нѣтъ игры отраженного на низшихъ слояхъ атмосферы свѣта, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзажъ будто расплывается въ чемъ-то; трава теряетъ зелень, горы какъ бы лишаются своей тяжелой плотности.

Однако пока остается тонкій серповидный ободокъ солнца, все еще царитъ впечатлѣніе сильно поблѣднѣвшаго дня, и мнѣ казалось, что рассказы о темнотѣ во время затмѣній преувеличены. «Неужели, — думалось мнѣ, — эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая, какъ послѣдняя, забытая свѣчка въ огромномъ мірѣ, такъ много значить?.. Неужели, когда она потухнетъ, вдругъ должна наступить ночь?»

Но вотъ эта искра исчезла. Она какъ-то порывисто, будто вырвавшись съ усиліемъ изъ-за темной заслонки, сверкнула еще золотымъ брызгомъ и погасла. И вмѣстѣ съ этимъ пролилась на землю густая тьма. Я уловилъ мгновение, когда среди сумрака набѣжала полная тѣнь. Она появилась на югѣ и точно громадное покрывало быстро пролетѣла по горамъ, по рѣкѣ, по полямъ, обмахнувъ все небесное пространство, укутала насъ и въ одно мгновеніе сомкнулась

на сѣверѣ. Я стоялъ теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. Въ ней царило гробовое молчаніе. Только метрономъ отбивалъ металлическіе удары. Фигуры людей сливались въ одну темную массу, а огни пожара на той сторонѣ опять пріобрѣли прежнюю яркость...

Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько свѣтло, что глазъ невольно искалъ серебристаго луннаго сіянія, пронизывающаго насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигдѣ не было сіянія, не было синевы. Казалось, тонкій, неразличимый для глаза, пепелъ разсыпался сверху надъ землей, или будто тончайшая и густая сѣтка повисла въ воздухѣ. А тамъ, гдѣ-то по бокамъ, въ верхнихъ слояхъ чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозитъ въ нашу тьму, смывая тѣни, лишая темноту ея формы и густоты. И надъ всею смущенною природой чудною панорамой бѣгутъ тучи, а среди нихъ пронсходитъ захватывающая борьба... Круглое, темное, враждебное тѣло, точно паукъ, впилося въ яркое солнце, и они несутся вмѣстѣ въ заоблачной вышинѣ. Какое-то сіяніе, льющееся измѣнчивыми переливами изъ-за темнаго щита, придаетъ зрѣлищу движеніе и жизнь, а облака еще усиливаютъ эту иллюзію своимъ тревожнымъ, безшумнымъ бѣгомъ.

— Владычице святая, Господи-Батюшко, помилуй насъ, грѣшныхъ!

И какая-то старушка набѣгаетъ на меня, торопливо спускаясь съ холма.

— Куда ты, тетка?

— Домой, родимый, домой; помирать, видно, всѣмъ, помирать съ дѣтками съ малыми...

Вдоль берега, въ сумракѣ, надвигается къ намъ какое-то темное пятно, изъ котораго слышенъ смѣшанный, все усиливающийся говоръ. Это кучка фабричныхъ. Впереди, размахивая руками, шагаетъ угрюмый атлетъ-рабочій, который сидѣлъ со мной на мосту. Я иду къ нимъ по отмели навстрѣчу.

— Нѣтъ, какъ онъ могъ узнать, вотъ что! — останавливается онъ вдругъ прямо противъ меня. — Говорили тогда ребята: раскидать надо ихнія трубы... Вишь, нацѣлили въ Бога!.. Отъ этого всей нашей странѣ можетъ гибель произойти. Шутка ли: Господь знаменіе посылаетъ, а они въ небо трубами... А какъ Онъ, Батюшко, прогнѣвается, да вдругъ сюда, въ это самое мѣсто, полыхнетъ молоньей?..

— Да вѣдь это сейчасъ пройдетъ, — говорю я.

— Пройдетъ, говоришь? Должны мы живы остаться? — онъ спрашиваетъ, какъ человѣкъ, потерявшій планъ дѣйствій и тяготящій ко всякому рѣшительно высказываемому убѣжденію.

— Конечно, пройдетъ, и даже очень скоро.

— А какъ?

Я смотрю на часы.

— Да, должно быть, менѣе минуты еще.

— Меньше минуты? Ахъ ты Господи-Боже!..

Прошло не болѣе 15 секундъ. Всѣ мы стояли вмѣстѣ, поднявъ глаза кверху, туда, гдѣ все еще продолжалась молчаливая борьба свѣта и тьмы, какъ вдругъ вверху, съ правой стороны, вспыхнула искорка, и сразу лица моихъ собесѣдниковъ освѣтились. Такъ же внезапно, какъ прежде онъ набѣжалъ на насъ, мракъ убѣгаетъ теперь къ сѣверу. Темное покрывало взметнулось гигантскимъ взмахомъ въ безпредѣльныхъ пространствахъ, пробѣжало по волистымъ

очертаніямъ облаковъ и исчезло. Свѣтъ струпится теперь, послѣ темноты, еще ярче и веселѣе прежняго разливаясь побѣднымъ сіяніемъ. Теперь земля одѣлась опять въ тѣ же блѣдныя тѣни и странные цвѣта, но они производятъ другое впечатлѣніе: то было угасаніе и смерть, а теперь наступало возрожденіе...

III.

Солнце, солнце!.. Я не подозрѣвалъ, что и на меня его новое появленіе произведетъ такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатлѣніе, близкое къ благоговѣнію, къ преклопенію, къ молитвѣ... Что это было: отзвукъ стараго залегающаго въ далекихъ глубинахъ каждаго человѣческаго сердца преклопенія передъ источникомъ свѣта, или, проще, я почувствовалъ въ эту минуту, что этотъ первый проблескъ прогналъ прочь густо столпившіеся призраки предразсудка, предубѣжденія, вражду этой толпы?.. Мелькнулъ свѣтъ — и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздохъ присоединился къ общему облегченному вздоху толпы... Мрачный великанъ стоялъ съ поднятымъ кверху лицомъ, на которомъ разливалось отраженіе рождавшагося свѣта. Онъ улыбался.

— Ахъ ты, Боже мой!..—повторилъ онъ совершенно съ другимъ, благодушнымъ выраженіемъ. — И до чего только, братцы, народъ дошелъ. Ну!..

Конецъ страхамъ, конецъ озлобленію. Въ толпѣ говоръ и шумъ.

— Должны мы Господа благодарить... Дозволилъ намъ живымъ остаться, Батюшка!..

— А еще хотѣли остроумовъ бить. То-то вотъ глупость...

— А развѣ правда, что хотѣли бить? — спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, безъ прежней напряженной неловкости.

— Да вѣдь это что: отъ питія это, отъ виннаго. Пьяненькій мужичокъ первый и взбунтовался... Ну, да вѣдь ничего не вышло, слава те, Господи!

— А у насъ, братцы, мужики и безъ остроумовъ знали, что будетъ затменіе, — выступаетъ внезапно мужичокъ изъ-за Пучежа. — Ей Богу... Потому старики учили: ежели, говорятъ, мѣсяцъ по зорямъ ходитъ, — непременно къ затменію... Ну, только въ какой день — этого не знали... Это, нечего говорить, было намъ неизвѣстно.

— А они, видишь, какъ рассчитали. Въ аккуратъ! Какъ ихній маятникъ ударилъ, тутъ и началось...

— Премудрость...

— Зачѣмъ и разумъ даденъ человѣку...

— Вишь, и опять выиграло... Гляди, какъ разгорается.

— Сдвигается тьма-то!

— Теперь сползетъ, небось!

— Сдвинется на сторону — и шабашъ.

— И опять радуется всякая тварь...

— Слава Христу, опять живы мы...

— А что, господа, дозвольте спросить у васъ... — благодушно подходитъ въ это время кто-то къ самой оградѣ. Но ближайшій изъ наблюдателей нетерпѣливо машетъ рукой: онъ смотритъ и считаетъ секунды.

— Не мѣшай! — останавливаютъ изъ толпы. — Чего лѣзешь, — не видишь, что ли?

Солнце играет все сильнее; туманъ все болѣе и болѣе утопчется, и уже становится трудно глядѣть невооруженнымъ глазомъ на увеличивающійся серпъ солнца. Чирикаютъ примолкшія было птицы, луговая зелень на зарѣчной сторонѣ проступаетъ все ярче, облака расцвѣчиваются... Въ настроеніи толпы недобѣрыя, вражда и страхи умчались куда-то далеко вмѣстѣ съ целеной полной тѣни, улетѣвшей въ безпредѣльное пространство...

Мы сидѣли уже на пароходѣ, когда послѣдній слѣдъ затменія соскользнулъ ни для кого уже незамѣтно съ просіявшаго солнечнаго диска.

Въ третьемъ классѣ въ публикѣ живо ходила по рукамъ брошюра: «О солнечномъ затменіи 7 августа 1887 года».

Вл. Короленко.

К о н е ц ъ с в ѣ т а.

Сонъ.

Чудилось мнѣ, что я нахожусь гдѣ-то въ Россіи, въ глуши, въ простомъ деревенскомъ домѣ.

Комната большая, низкая, въ три окна; стѣны вымазаны бѣлой краской; мебели нѣтъ. Передъ домомъ голая равнина; постепенно понижаясь, уходитъ она вдаль; сѣрое, одноцвѣтное небо виситъ надъ нею, какъ пологъ.

Я не одинъ; человѣкъ десять со мною въ комнатѣ. Люди все простые, просто одѣтые; они ходятъ вдоль и поперекъ, молча, словно крадучись. Они избѣгаютъ другъ друга—и, однако, безпрестанно мѣняются тревожными взорами.

Ни одинъ не знаетъ, зачѣмъ онъ попалъ въ этотъ домъ, и что за люди съ нимъ? На всѣхъ лицахъ безпокойство и унылость... всѣ поочередно подходятъ къ окнамъ и внимательно оглядываются, какъ бы ожидая чего то извнѣ.

Потомъ опять принимаются бродить вдоль и поперекъ. Между нами вертится небольшого росту мальчикъ; отъ времени до времени онъ пищитъ тонкимъ, однозвучнымъ голосомъ: «Тятенька, боюсь!»—Мнѣ тошно на сердцѣ отъ этого писку—и я тоже начинаю бояться... чего?—не знаю самъ. Только я чувствую: идетъ и близится большая, большая бѣда.

А мальчикъ нѣтъ-нѣтъ—да запищитъ. Ахъ, какъ бы уйти отсюда! Какъ душно! Какъ темно! Какъ тяжело... Но уйти невозможно.

Это небо—точно саванъ. И вѣтра нѣтъ... Умеръ воздухъ, что ли?

Вдругъ мальчикъ подскочилъ къ окну и закричалъ тѣмъ же жалобнымъ голосомъ: «Гляньте! гляньте, земля провалилась!»

— «Какъ? провалилась?»—Точно: прежде передъ домомъ была равнина, а теперь онъ стоитъ на вершинѣ страшной горы!—Небосклонъ упалъ, ушелъ внизъ, а отъ самаго дома спускается почти отвѣсная, точно разрытая, черная кручь.

Мы всѣ столпились у окна... Ужасъ леданить наши сердца. «Вотъ оно... вотъ оно!» шепчетъ мой сосѣдъ.

И вотъ вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какіе-то небольшіе, кругловатые бугорки.

«Это море! — подумалось всѣмъ намъ въ одно и то же мгновеніе. — Оно сейчасъ насъ всѣхъ затопитъ... Только какъ же оно можетъ расти и подниматься вверхъ? на эту кручь?»



Всепрѣный котловъ. Съ карт. Алазосеиано.

И, однако, оно растеть, растеть громадно... Это уже не отдѣльные бугорки мечутся вдаль.. Одна сплошная, чудовищная волна обхватываетъ весь кругъ небосклона.

Она летить, летить на насъ!—Морознымъ вихремъ несется она, крутится тьмой кромѣшной. Все задрожало вокругъ, а тамъ, въ этой палетающей громадѣ, и трескъ, и громъ, и тысячегортанный, желѣзный лай...

Га! Какой ревъ и вой! Это земля завывала отъ страха...

Конецъ ей! Конецъ всему!

Мальчикъ пискнулъ еще разъ... Я хотѣлъ было ухватиться за товарищей, но мы уже всѣ раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, какъ черпила черной, льдистой, грохочущей волной!

Темнота... темнота вѣчная!

Едва перевода дыханіе, я проснулся.

И. Тургеневъ.

Охота на дупелей.

I.

Обувшись, взявъ ружье и осторожно отворивъ скрипучую дверь сарая, Левинъ вышелъ на улицу. Кучера спали у экипажей, лошади дремали. Одна только лѣнливо фла овесъ, раскидывая его храпомъ по колодѣ. На дворѣ еще было сѣро.

— Что рано такъ поднялся, касатикъ?—дружелюбно, какъ къ старому доброму знакомому, обратилась къ нему вышедшая изъ избы старуха-хозяйка.

— Да на охоту, тетушка! Тутъ пройду на болото?

— Прямо задами; нашими гумнами, милый человекъ, да коноплями; стелка тамъ.

Осторожно шагая босыми загорѣлыми ногами, старуха проводила Левина и откинула ему загородку у гумна.

— Прямо такъ и стеганешь въ болото. Наши ребята туда вѣчоръ погнали.

Ласка весело бѣжала впереди по тропинкѣ; Левинъ шелъ за нею быстрымъ, легкимъ шагомъ, безпрестанно поглядывая на небо. Ему хотѣлось, чтобы солнце не взошло прежде, чѣмъ онъ дойдетъ до болота. Но солнце не мѣшало. Мѣсяцъ, еще свѣтившій, когда онъ выходилъ, теперь только блестѣлъ, какъ кусокъ ртуті; утреннюю зарницу, которую прежде нельзя было не видѣть, теперь надо было искать; прежде неопредѣленные пятна на дальнемъ полѣ теперь



уже ясно были видны. Это были ржаныя конны. Невидная еще безъ солнечнаго свѣта, роса въ душистой высокой коноплѣ, изъ которой выбраны были уже замашки, мочила ноги и блузу Левина выше пояса. Въ прозрачной тишинѣ утра слышны были малѣйшіе звуки. Пчелка со свистомъ пули пролетѣла мимо уха Левина. Онъ приглядѣлся и увидѣлъ еще другую и третью. Всѣ онѣ вылетали изъ-за плетня пчельника и надъ коноплей скрывались по направленію къ болоту. Стежка вывела прямо въ болото. Болото можно было узнать по парамъ, которые поднимались изъ него гдѣ гуще, гдѣ рѣже, такъ что осока и ракитовые кустики, какъ островки, колебались на этомъ парѣ. На краю болота и дороги мальчишки и мужики, стерегшіе ночное, лежали и передъ зарей всѣ спали подъ кафтанами. Недалеко отъ нихъ ходили три спутанныя лошади. Одна изъ нихъ гремѣла кандалами. Ласка шла рядомъ съ хозяиномъ, просясь впередъ и оглядываясь. Пройдя спавшихъ мужиковъ и поравнявшись съ первою мочежинкой, Левинъ осматрѣлъ пистоны и пустил собаку. Одна изъ лошадей, сытый бурый третьякъ, увидавъ собаку, шарахнулся и, поднявъ хвостъ, фыркнулъ. Остальныя лошади тоже испугались и, спутанными ногами шлепая по водѣ и производя вытаскиваемыми изъ густой глины конытами звукъ, подобный хлопанью, запрыгали изъ болота. Ласка остановилась, насмѣшливо посмотрѣвъ на лошадей и вопросительно на Левина. Левинъ погладилъ Ласку и посвисталъ, въ знакъ того, что можно начинать.

Ласка весело и озабоченно побѣжала по колеблющейся подъ нею трясинѣ. Вбѣжавъ въ болото, Ласка тотчасъ же, среди знакомыхъ ей запаховъ кореньевъ, болотныхъ травъ, ржавчины и чуждаго запаха лошаднаго помета, почувствовала разсѣянный по всему этому мѣсту запахъ птицы, той самой пахучей птицы, которая болѣе всѣхъ другихъ волновала ее. Кое-гдѣ по мху и лопушкамъ болотнымъ запахъ этотъ былъ очень силенъ, но нельзя было рѣшить, въ какую сторону онъ усиливался и ослабѣвалъ. Чтобы найти направленіе, надо было отойти дальше подъ вѣтеръ. Не чувствуя движенія своихъ ногъ, Ласка напряженнымъ галопомъ, такимъ, что при каждомъ прыжкѣ она могла остановиться, если вступится необходимость, поскакала направо прочь отъ дувшаго съ востока предразсвѣтнаго вѣтерка, и повернулась на вѣтеръ. Вдохнувъ въ себя воздухъ расширенными ноздрями, она тотчасъ же почувствовала, что не слѣды только, а *они* сами были тутъ, передъ нею, и не одинъ, а много. Ласка уменьшила быстроту бѣга. Они были тутъ, но гдѣ именно, она не могла еще опредѣлить. Чтобы найти это самое мѣсто, она начала уже кругъ, какъ вдругъ голосъ хозяина развлекъ ее. «Ласка, тутъ!» сказалъ онъ, указывая ей въ другую сторону. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли дѣлать, какъ она начала. Но онъ повторилъ приказаніе сердитымъ голосомъ, показывая въ залитый водою кочкарникъ, гдѣ ничего не могло быть. Она послушала его, притворясь, что ничего, чтобы сдѣлать ему удовольствіе, излазила кочкарникъ и вернулась къ прежнему мѣсту, и тотчасъ же опять почувствовала ихъ. Теперь, когда онъ не мѣшалъ ей, она знала, что дѣлать, и, не глядя себѣ подъ ноги и съ досадой спотыкаясь по высокимъ кочкамъ и попадая въ воду, но, справляясь гибкими, сильными ногами, начала кругъ, который все долженъ былъ объяснить ей. Запахъ *ихъ* все сильнѣе и сильнѣе, опредѣленіе и опредѣленіе поражалъ ее, и вдругъ ей вполнѣ стало ясно, что одинъ изъ нихъ тутъ, за этою кочкой, въ пяти шагахъ передъ нею, и она остановилась и замерла

всѣмъ тѣломъ. На своихъ низкихъ ногахъ она ничего не могла видѣть передъ собой, но она по запаху знала, что онъ сидѣлъ не далѣе пяти шаговъ. Она стояла, все больше и больше ощущая его и наслаждаясь ожиданіемъ. Напряженный хвостъ ея былъ вытянутъ и вздрагивалъ только въ самомъ кончикѣ. Ротъ ея былъ слегка раскрытъ, уши приподняты. Одно ухо заворотилось еще на бѣгу, и она тяжело, но осторожно дышала, и еще осторожнѣе оглянулась, больше глазами, чѣмъ головой, на хозяина. Онъ, съ его привычнымъ ей лицомъ, но всегда страшными глазами, шелъ, спотыкаясь по кочкамъ, и необыкновенно тихо, какъ ей казалось. Ей казалось, что онъ шелъ тихо, а онъ бѣжалъ.

Замѣтивъ тотъ особенный поискъ Ласки, когда она прижималась вся къ землѣ, какъ будто загребала большими шагами задними ногами, и слегка раскрывая ротъ, Левинъ понялъ, что она тянула по дупелямъ, и, въ душѣ помолвившись Богу, чтобы былъ успѣхъ, особенно на первую птицу, подбѣжалъ къ ней. Подойдя къ ней вплотъ, онъ сталъ съ своей высоты смотрѣть передъ собою и увидалъ глазами то, что она видѣла носомъ. Въ пролѣчкѣ между кочками, на разстояніи одной сажни, виднѣлся дупель. Повернувъ голову, онъ прислушивался. Потомъ, чуть расправивъ и опять сложивъ крылья, онъ, неловко вильнувъ задомъ, скрылся за уголъ.

— Пиль, пиль! — крикнулъ Левинъ, толкая въ задъ Ласку.

«Но я не могу идти, — думала Ласка. — Куда я пойду? Отсюда я чувствую ихъ, а если я двинусь впередъ, я ничъго не пойму, гдѣ они, и кто они».

Но вотъ онъ толкнулъ ее колѣномъ и взволнованнымъ шопотомъ проговорилъ:

— Пиль, Ласочка, пиль!

«Ну, такъ если онъ хочетъ этого, я сдѣлаю, но я за себя уже не отвѣчаю т перъ», подумала она, и со всѣхъ ногъ рванулась впередъ между кочекъ. Она ничего уже не чужа теперь, а только видѣла и слышала, ничего не понимая.

Въ десяти шагахъ отъ прежняго мѣста, съ жирнымъ хорканьемъ и особеннымъ дупелинымъ выпуклымъ звукомъ крыльевъ, поднялся одинъ дупель. И вслѣдъ за выстрѣломъ тяжело шлепнулся бѣлою грудью о мокрую трясиину. Другой не дождался и сзади Левина поднялся безъ собаки.

Когда Левинъ повернулся къ нему, онъ былъ уже далеко. Но выстрѣлъ досталъ его. Пролетѣвъ шаговъ двадцать, второй дупель поднялся кверху коломъ и кубаремъ, какъ брошенный мячикъ, тяжело упалъ на сухое мѣсто.

«Вотъ это будетъ толкъ! — думалъ Левинъ, запрягивая въ ягдташъ теплыхъ и жирныхъ дупелей. — А, Ласочка, будетъ толкъ?»

Когда Левинъ, зарядивъ ружье, тронулся дальше, солнце, хотя еще и не видно за тучками, уже взошло. Мѣсяцъ, потерявъ весь блескъ, какъ облачко, бѣлѣлъ на небѣ; звѣздъ не видно было уже ни одной. Мочегинки, прежде серебрившіяся росой, теперь золотились. Ржавчина была вся янтарная. Синеватая трава перешла въ желтоватую зелень. Болотныя птички копанились на блестящихъ росой и клавшихъ длинную тѣнь кустикахъ у ручья. Ястребъ проснулся и сидѣлъ на копнѣ, съ боку на бокъ поворачивая голову, недолюбно глядя на болото. Галки летѣли въ поле, и босоногій мальчишка уже подгонялъ лошадей къ поднявшемуся изъ-подъ кафтана и почесывавшемуся старику. Дымъ отъ выстрѣловъ какъ и локо бѣлѣлъ по зелени травы.

Одинъ изъ мальишекъ подбѣжалъ къ Левину.

— Дяденька, утки вчера тутъ были! — прокричалъ онъ ему и пошелъ за ними издалека.

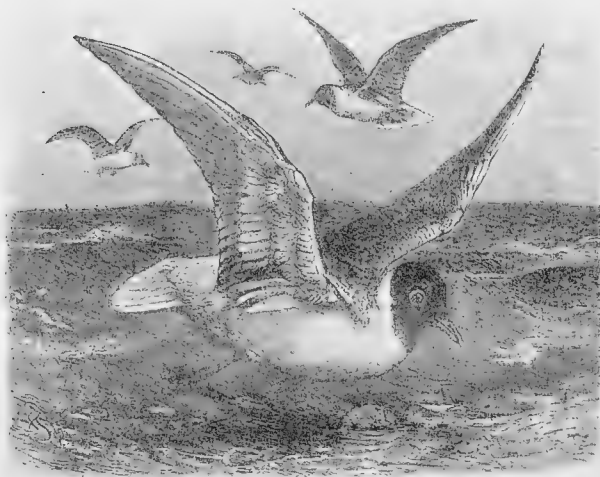
И Левину, въ виду этого мальчика, выразившаго свое одобреніе, было вдвойнѣ пріятно убить еще тутъ же разъ за разомъ трехъ бекасовъ.

Охотничья примѣта, что если не упущенъ первый звѣрь и первая птица, то поле будетъ счастливо, оказалась справедливою.

Усталый, голодный, счастливый, Левинъ въ десятомъ часу утра, неходивъ верстъ тридцать, съ девятнадцатью штуками красной дичи и одною уткой, которую онъ привязалъ за поясъ, такъ какъ она уже не влѣзала въ ягдташъ, вернулся на квартиру.

Л. Толстой.

О к а.



Я былъ на Волгѣ въ первые годы моего дѣтства. Въ памяти моей успѣли изгладиться живописные холмы, лѣса и села, которые, на протяженіи многихъ и многихъ сотенъ верстъ, смотрятся въ свѣтлѣ, благодатныя волжскія воды. Судьба забросила меня въ другую сторону, перенесла на другую рѣку; съ тѣхъ поръ я не разлучался съ Окою. Не знаю, обдѣлила меня судьба или наградила, знаю только,

что, проживъ двадцать пять лѣтъ сряду на Окѣ, я ни разу не жаловался. Я скоро сроднился съ нею и теперь люблю ее, какъ вторую отчизну. Не вините же меня въ пристрастіи — въ нѣкоторыхъ случаяхъ пристрастіе извинительно — не вините же, если берега Оки, ея окрестности и маленькія рѣчки, въ нее впадающія, кажутся мнѣ краше и живописнѣе другихъ береговъ, мѣстностей и рѣчекъ Россіи. Не стану распространяться о преимуществахъ одной рѣки передъ другою, не скажу, напримѣръ, что Ока пространнѣе Волги и тому подобное... Тутъ же сознаюсь, что необъятное, обаяющее раздолье, жизнь и кипучая, одушевленная дѣятельность принадлежатъ Волгѣ. Ока уже, молчаливѣе, мельче и безрыбнѣе, — по крайней мѣрѣ, въ нашихъ мѣстахъ. Она вполнѣ оживляется только въ половодье. Въ остальное время года, и особенно лѣтомъ, рѣдко увидите вы на ней нескончаемые караваны расшивъ; не промелькнутъ передъ очами вашими вереницы громадныхъ судовъ и барокъ, нагруженныхъ богатствомъ цѣлаго края; рѣдко услышите вы тѣ звонкіе клики и удалыя, веселящія сердце пѣсни бурлаковъ, которыя немолчно, говорятъ, раздаются на Волгѣ. Не тревожатъ также Оку колеса пароходовъ: невозмутимо гладкою скатертью стелются ея мирныя воды. Барка цѣликомъ повторяется на ея ровной поверхности, — повторяется вмѣстѣ съ высокимъ, бородастымъ рулевымъ въ круглой ба-

ранней шапкѣ,— повторяется съ соломеннымъ шалашомъ, служащимъ работникамъ защитой отъ дождя и зноя, съ бѣлою костлявою бечевною клячей, которая, смиренно стоя на носу и пережевывая тощее сѣно, терпѣливо ждетъ своей участи. Огонекъ, зажженный ночью на баркѣ, отражается въ водѣ, какъ въ зеркалѣ. Въ знойную лѣтнюю пору Ока оживаетъ по большій части одними бѣлыми чайками или рыболовами, спующими какъ угорѣлые по всѣмъ возможнымъ направленіямъ. На песчаныхъ отмеляхъ, выдающихся иногда изъ середины рѣки,— отмеляхъ, усѣянныхъ мелкими, бѣлыми, какъ сахаръ, раковинами, покрытыхъ кое-гдѣ широкими, пахучими листьями лонуха, трещать цѣлыя полчища коростелей, чибисовъ, куликовъ; кое-гдѣ надъ ними, стоя на одной ногѣ и живописно изогнувъ шею, высится сѣрая цапля. Къ вечеру воцаряется совершеннѣйшая тишина; какъ словно приостанавливается даже тогда самое теченіе; поверхность рѣки не дрогнетъ. Съ такою отчетливостью повторяется въ водѣ высокій хребетъ нагорнаго берега, что нѣтъ никакой возможности опредѣлить границы между водою и землею; берегъ кажется продолженіемъ рѣки. Въ этомъ, часто темномъ отраженіи начинаютъ сверкать, какъ искры, играющія рыбки, появляются круги, и долго потомъ дрожать серебряныя, разбѣгающіяся нити. Тихо, безъ шума, безъ погрома, отрываются тогда отъ берега легкіе челноки рыбаковъ, которые спѣшатъ забросить свои верши.

Не знаю, какъ вамъ, мой читатель, но что до меня касается, люблю я эту торжественную тишину посреди широкаго простора водъ, замкнутаго высокимъ, величественно живописнымъ берегомъ! Въ виду природы, на душу впечатлительную нисходятъ иногда минуты невообразимо благодатныя и свѣтлыя. Душа превращается какъ будто тогда въ глубокое, невозмутимо-тихое, прозрачное озеро, отчетливо отражающее въ себѣ голубое небо, надъ нимъ раскинувшееся, и весь міръ, его окружающій. Достаточно уже ничтожнаго звука, чтобы докучливо потревожить сладкую задумчивость. Малѣйшій шумъ въ эти созерцательныя минуты возмущаетъ душу такъ же точно, какъ возмущается заснувшая поверхность озера отъ слабаго прикосновенія: все давнымъ-давно уже смолкло; а между тѣмъ водной кругъ все еще дрожитъ на его ровномъ зеркалѣ... Къ тому же, тишина никогда не бываетъ безмолвна. Чуткій, счастливый слухъ всегда сумѣетъ передать душѣ таинственно робкіе, но гармоническіе напѣвы...

Итакъ, тишина, въ которую большую часть года погружены берега Оки, придаетъ имъ въ глазахъ моихъ еще новую прелесть. Особенно пріятно любоваться высокимъ берегомъ, спускаясь въ лодкѣ внизъ по теченію отъ Серпухова до Коломны.

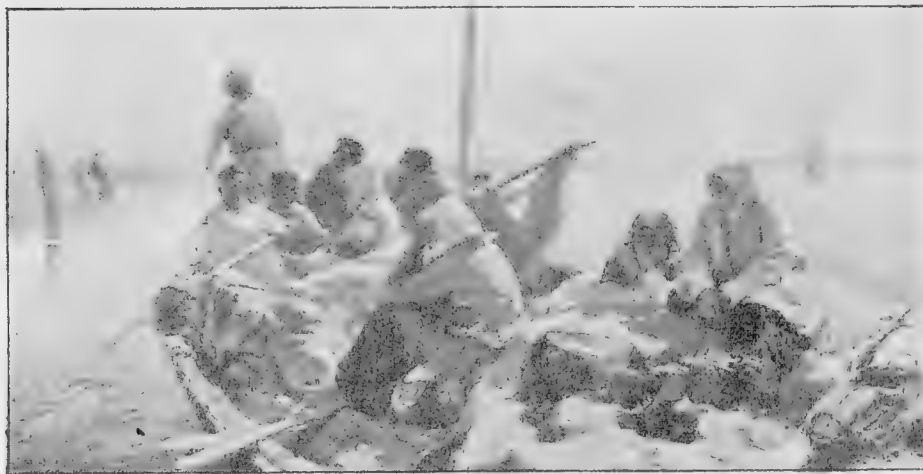
То покрытый плотною, кудрявою чащей орѣшника или молодого дубняка, то спускаясь въ водѣ ярко-зелеными, закругленными какъ куполь холмами, то исполосованный пашнями наподобіе шахматной доски, берегъ этотъ перерѣзывается иногда пропастями, глубина которыхъ даетъ еще сильнѣе чувствовать подъемъ хребта надъ поверхностью рѣки. Виды измѣняются непрерывно; точно стоите вы на мѣстѣ и разворачиваютъ передъ вами громадную панораму. Кое-гдѣ, по зеленымъ косогорамъ, то плавнымъ, то крутымъ, лѣнятся села, вьются тропинки, кажущіяся издали нѣжными полосками, нарисованными тонкою, прихотливою кистью. Тамъ и сямъ бѣлѣютъ монастыри и скромныя деревенскія церкви, съ зеленеющими кровлями и блистающими на солнцѣ крестами. Порѣдко между кремнистыми, отвѣсными обрывами открываются, какъ бы для

контраста, свѣтлыя, улыбающіяся долины. Рѣзвые ручьи и маленькія рѣчки въ родѣ Смедвы, мѣстами заслоненныя ветлами, живописно извиваются посреди ярко-зеленыхъ лощинъ, покрытыхъ мелкимъ березнякомъ. Иногда весь берегъ представляетъ одну сплошную, снѣговатую стѣну соснового бора, который не прерывается цѣлыя версты. На песчаныхъ прибрежныхъ отмеляхъ мелькаютъ кое-гдѣ лачужки рыбаковъ, съ прислоненными къ нимъ баграми и саками, съ раскинутымъ бреднемъ, лежащими неподалеку вершами и черными, опрокинутыми кверху, насквозь просмоленными чеплоками. Мѣстами берегъ, подмытый водою, осыпался весь сверху донизу и отвѣсною стѣною стоитъ надъ водою, показывая свои мѣловые, глиняные и песчаные слои, пробуравленные норками стрижей, водяныхъ ласточекъ. Въ такихъ мѣстахъ этихъ птичекъ появляется обыкновенно несмѣтное множество. Падъ ними, въ неизмѣримой вышинѣ неба, вы ужъ непременно увидите беркута, родъ орла: распластавъ дымчатыя крылья свои, зазубренные по краямъ, распушивъ хвостъ и издавая слабый крикъ, похожій на пискъ младенца, онъ стоитъ неподвижно въ воздухѣ или водитъ плавные круги, постепенно понижаясь къ добычѣ. Мѣстами берегъ удаляется, расходится амфитеатромъ и даетъ мѣсто значнымъ лугамъ, оживленнымъ одинокими столѣтними дубами, подъ тѣнью которыхъ отдыхаетъ стадо ближней деревни. Но всего не опишешь! Однимъ словомъ — великолѣпная, непрерывная, блестящая панорама, которая ждетъ еще своего поэта и живописца. Но поэты и живописцы... впрочемъ, намъ нѣтъ до этого дѣла.

Не думайте, однакожъ, чтобы луговой берегъ не имѣлъ также своей прелести. Есть время въ году, когда онъ кажется еще красивѣе, еще разнообразнѣе нагорнаго берега. Время это—Петровки. Не мѣшаетъ вамъ сказать мимоходомъ, что луга эти въ общей сложности могутъ составить добрый десятокъ маленькихъ германскихъ герцогствъ; они проходятъ непрерывною лентою черезъ нѣсколько губерній,—однимъ словомъ, длина ихъ равняется длинѣ Оки. Въ ширину простираются они среднимъ числомъ верстъ на восемь и оканчиваются тамъ, гдѣ начинаются лѣса и села. Ближе не селятся къ рѣкѣ за водопольемъ. Къ июлю пространство это представляетъ сплошное море травъ, въ которыхъ крестьянскіе ребятишки могутъ свободно прятаться, какъ въ лѣсу. Миріады душистыхъ цвѣтовъ и растений разливаютъ въ вечернемъ воздухѣ свое благоуханіе. Въ знойный полдень пестрое цвѣтное море какъ словно зыблется и переливается изъ края въ край, хотя вѣтеръ не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ. Сюда-то въ Петровки стекается народъ окрестныхъ деревень и толпы косарей, которыхъ заблаговременно нанимаютъ къ этому времени жители Комарева, Горь, Болотова, Озеръ и другихъ. Въ нашемъ простонародьи покосъ считается праздникомъ. Все является сюда въ полной воскресной пестротѣ своей. Если бы собрать весь кумачъ, всѣ платки, понявы, пестрыя рубашки и позументъ, которые пестрятъ здѣсь во время покоса, можно бы, кажется, покрыть ими пространство въ пятьдесятъ верстъ въ окружности. Народъ располагается кучками, артелями или даже цѣлыми вотчинами, каждая семья подлѣ своей подводы, подлѣ котелка. Три недѣли сряду проживаютъ здѣсь нѣсколько тысячъ человѣкъ. Подымитесь на нагорный берегъ, — подымитесь ночью и взгляните тогда на луга: костры замелькаютъ передъ вами какъ звѣзды, имъ конца нѣтъ въ обѣ стороны, они пропадаютъ за горизонтомъ... Съ восходомъ солнца весь этотъ луговой берегъ представляетъ картину самаго полного, веселаго оживленія. Косари выстраиваются

въ одну линію и, дружно звеня косами, начинаютъ подвигаться къ рѣкѣ, укладывая направо и налево тучные ряды травы, перемѣшанной съ клеверомъ, душистою голкой, кашкой, медункой и сотнями другихъ цвѣтовъ. Такъ подвигаются они, однакожъ, цѣлыя двѣ недѣли, между тѣмъ какъ бабы и дѣвки, слѣдуя за ними съ граблями, ворочаютъ сѣно или навиваютъ его островерхими стогами. Вотъ тогда-то полюбуйтеcя этими лугами,—полюбуйтеcя въ праздникъ, когда по всему ихъ протяженію несется одинъ общій говоръ тысячи голосовъ и одна общая пѣсня: точно весь русскій людъ собрался сюда на какое-то семейное празднество! Давно уже наступила ночь, давно зажглись костры. Уже заря брезжитъ на востокъ, уже серебряный серпъ мѣсяца клонится къ горизонту и блѣднѣетъ, а пѣсня между тѣмъ все еще не умолкаетъ... и нѣтъ, кажется, конца этой пѣснѣ, какъ нѣтъ конца этимъ раздольнымъ лугамъ. Пѣсню эту затянули еще, быть-можетъ, въ далекой губерніи, и вотъ понеслась она,—понеслась дружнымъ, неумоляемымъ хоромъ и, постепенно разливаясь мягкими волнами все дальше и дальше, до самой Нижегородской губерніи, а тамъ, подхваченная волжскими косарями, пойдетъ до самой Астрахани, до самаго Каспійскаго моря!.. И если пѣсня эта, если видъ этихъ луговъ не порадуютъ тогда вашего сердца, если душа ваша не дрогнетъ, но останется равнодушною, совѣтую вамъ пощупать тогда вашу душу, не каменная ли она... а если не каменная, то ужъ вѣрно способна только оживиться за преферансомъ, волноваться при словахъ: «насъ», «ремизъ», «куплю», и прочей дрянн...

Григоровичъ.



На рѣкѣ Окѣ. Съ карт. *Архинова.*

Послѣдній лучъ.

Нюйскій станокъ расположенъ на небольшой полянкѣ, на берегу Лены. Нѣсколько убогихъ избушекъ задами прижимаются къ отвѣснымъ скаламъ, какъ бы пятась отъ сердитой рѣки. Лена въ этомъ мѣстѣ узка, необыкновенно быстра и особенно угрюма. Горы противоположнаго берега стоятъ подошвами въ водѣ, и если гдѣ, то здѣсь особенно, Лена заслуживаетъ свое названіе «Проклятой щели». Дѣйствительно, это какъ будто гигантская трещина, по дну которой

глубится темная рѣка, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями. Въ ней надолго останавливаются туманы, стоит холодная сырость и почти непрерывныя сумерки. Населеніе этого станка даже среди остальныхъ приленскихъ жителей поражаетъ своей вялостью, худосочиємъ и безнадежной апатіей. Унылый гулъ лиственницъ на горныхъ хребтахъ составляетъ вѣчный аккомпанементъ къ этому печальному существованію...

Пріѣхавъ наканунѣ на этотъ станокъ ночью, усталый и озябшій, я проснулся на слѣдующее утро, повидимому, довольно рано.

Лежа на своей постели, я могъ видѣть изъ-за перегородки столъ съ лампой у противоположной стѣны. За этимъ столомъ сидѣлъ старикъ, съ довольно красивымъ, но блѣднымъ лицомъ.

Рядомъ съ нимъ сидѣлъ мальчикъ лѣтъ около восьми. Миѣ была видна только его наклоненная голова, съ тонкими, какъ лентъ, бѣлокурыми волосами. Старикъ, щура сквозь очки свои подслѣповатыя глаза, водилъ указкой по страницѣ лежавшей на столѣ книги, а мальчикъ съ напряженнымъ вниманіемъ читалъ по складамъ. Когда ему не удавалось, старикъ поправлялъ его съ ласковымъ терпѣніемъ.

— Люди-онъ... *ло...* вѣди-есть и краткое...

Мальчикъ остановился. Незнакомое слово, очевидно, не давалось... Старикъ сощурился и помогъ:

— Соловей, — прочелъ онъ.

— Соловей, — добросовѣстно повторилъ ученикъ и, поднявъ недоумѣвающіе глаза на учителя, спросилъ:

— Со-ло-вей... Что такое?

— Птица, — сказалъ старикъ.

— Птица... — И онъ продолжалъ чтеніе. — «Слово-иже, *си*, добро-ять-люди, *дѣль...* Соловей си-дѣлъ... на че... на чере... на че-ре-му-хѣ...

— Что такое? — опять вопросительно прозвучало какъ будто деревянный, безучастный голосъ ребенка.

— На черемухѣ. Черемуха, стало-быть, дерево. Онъ и сидѣлъ.

— Сидѣлъ... Зачѣмъ сидѣлъ?... Большая птица?

— Махонька, поетъ хорошо.

— Поетъ хорошо...

Мальчикъ пересталъ читать и, кажется, задумался. Въ избушкѣ стало тихо. Стучалъ маятникъ, за окномъ плыли туманы... Клокъ неба вверху приводилъ на память яркій день гдѣ-то въ другихъ мѣстахъ, гдѣ весной поютъ соловьи на черемухахъ... «Что это за жалкое дѣтство?» подумалъ я невольно, подъ однотонные звуки этого дѣтскаго голоса... — Безъ соловьевъ, безъ цвѣтущей весны... Только вода, да камень, заграждающій взгляду просторъ Божьяго міра. Изъ птицъ — чуть ли не одна ворона, по склонамъ — скучная лиственница да изрѣдка сосна...

Мальчикъ прочелъ еще какую-то фразу все тѣмъ же тусклымъ, не понимающимъ голосомъ и вдругъ остановился.

— А что, дѣдъ, — спросилъ онъ, — намъ не пора ли, гляди?..

На этотъ разъ въ его голосѣ слышались уже живыя, взволнованныя ноты, и свѣтлые глаза, освѣщенные огнемъ лампы, съ видимымъ любопытствомъ обратились на дѣда.

Тотъ посмотрѣлъ на часы, равнодушно тикавшіе маятникомъ, потомъ на окно съ клубившеюся за стеклами мглою и отвѣтилъ спокойно:

— Рано еще. Только половина!..

— Можетъ, дѣдушка, часы-то испортились.

— Ну, ну... темно еще... Да оно, глупый, намъ же лучше. Вишь вѣтеръ... Можетъ, мѣроки-те прогонить, а то ничего и не увидишь, какъ третьево-дня...

— Лучше,—повторилъ мальчикъ своимъ прежнимъ, покорнымъ голосомъ, и чтеніе опять продолжалось.

Въ сосѣдней каморкѣ послышался дѣтскій плачь, тихій и жалобный. Старикъ вошелъ туда и сталъ укачивать дѣвочку. Плачь понемногу стихалъ, потомъ перешелъ въ невнятное бормотаніе, и дѣвочка заснула.

Старикъ на цыпочкахъ вышелъ отъ нея, взглянулъ на часы, потомъ въ окно и задулъ лампочку. Стало замѣтно, что за это время въ комнатѣ посвѣтлѣло.

— Одѣвайся тихонько,—шепнулъ дѣдъ,—чтобъ Таня не услышала.

Мальчикъ быстро соскочилъ со стула.

— А ее не возьмемъ?—спросилъ онъ тоже шопотомъ.

— Нѣ... куда ей... И то кашляетъ... Не трогъ ее, спать.

Мальчикъ принялся одѣваться съ осторожной торопливостью, и вскорѣ обѣ фигуры—дѣда и внука—промелькнули въ полусумеркахъ комнаты. На мальчикѣ было надѣто что-то въ родѣ пальто городского покроя, на ногахъ большіе валенки, шея закутана женскимъ шарфомъ. Дѣдъ былъ въ полушубкѣ. Дверь скрипнула, и оба вышли наружу.

Я остался одинъ. За перегородкой слышалось тихое дыханіе спящей дѣвочки и хрипкое постукиваніе маятника. Движеніе за окномъ все усиливалось, туманы проносились все быстрѣе, разрывались чаще, и въ промежуткахъ все шире проглядывали суровыя пятна темныхъ скалъ и ущелій. Комната то свѣтлѣла, то опять погружалась въ сумракъ.

Мой сонъ прошелъ. Мнѣ было скучно и тоскливо, какъ будто я поддался невольно молчаливой печали этого мѣста. Я ждалъ съ чѣмъ-то въ родѣ нетерпѣнія, что дверь опять скрипнетъ, и дѣдъ съ внукомъ опять примутся за урокъ. Но ихъ все не было... Тогда я поднялся, въ свою очередь, и рѣшилъ посмотрѣть, что это ихъ выманило изъ избы въ туманъ и холодъ. Спалъ я одѣтый, поэтому мнѣ не нужно было много времени, чтобы натянуть сапоги и пальто и выйти... Итти, впрочемъ, пришлось недалеко: оба — и старикъ, и мальчикъ — стояли на крыльцѣ, заложивъ руки въ рукава и какъ будто чего-то ожидая.

Мѣстность показалась мнѣ теперь еще угрюмѣе, чѣмъ изъ окна. Небо вверху было синее, и вершины горъ рисовались особенно сурово на посвѣтлѣвшемъ небосклонѣ. Туманъ разсѣялся, на темномъ фонѣ горъ проносились только отдѣльные горизонтальные клочья, но внизу все еще стояли холодныя сумерки. Ленскія струи, еще не замерзшія, но уже тяжелыя и темныя, сталкивались въ тѣсномъ руслѣ, заворачивались воронками и омутами. Казалось, рѣка въ иѣмомъ отчаяніи кипитъ и рвется, стараясь пробиться на волю изъ мрачной щели... Холодный предутренній вѣтеръ, прогнавшій остатки ночного тумана, трепалъ на крыльцѣ нашу одежду и сердито мчался далѣе...

Я остановился въ иѣкоторомъ недоумѣніи, оглядывая непривѣтливую картину. Дома станка, неопредѣленными кучками раскиданные по каменной пло-

щадѣ, начинали просыпаться. Кое-гдѣ тянулся дымокъ, кое-гдѣ мерцали окна; ямщикъ, зѣвая, провелъ въ поводу пару лошадей къ водою и скоро ступалъ въ тѣни берегового спуска. Все было буднично и уныло.

— Что это вы ждете?—спросилъ я у старика.

— Да вотъ, внучку охота солнышко посмотрѣть, — отвѣтилъ онъ и спросилъ, въ свою очередь:

— Вы чьи? Россійскіе?

— Да.

Старикъ хотѣлъ спросить еще что-то, но въ это время мальчикъ рѣзко задвигался и тронулъ его за рукавъ... Его глаза были расширены, блѣдное лицо оживилось и засвѣтилось восторгомъ... Я невольно поглядѣлъ въ направленіи его взгляда, устремленного на вершину утеса, стоявшаго на нашей сторонѣ, у поворота Лены...

До сихъ поръ это мѣсто казалось какимъ-то темнымъ жерломъ, откуда все еще продолжали выползать туманы. Теперь, надъ ними, въ вышинѣ, на остроконечной вершинѣ каменнаго утеса, внезапно какъ будто вспыхнула и засвѣтилась верхушка сосны и нѣсколькихъ уже обнаженныхъ лиственницъ. Прорвавшись откуда-то изъ-за горъ противоположнаго берега, первый лучъ еще не взошедшаго для насъ солнца уже коснулся этого каменнаго выступа и группы деревьевъ, выросшихъ въ его разсѣлинахъ. Надъ холодными синими тѣнями нашей щели они стояли, какъ будто въ облакахъ, и тихо сіяли, вздрагивая и радуясь первой ласкѣ утра.

Всѣ мы молча смотрѣли на эту вершину, какъ будто боясь спугнуть торжественно-тихую радость одинокаго камня. Между тѣмъ около него что-то опять дрогнуло, затрепетало, и другой утесъ, до сихъ поръ утопавшій въ общей синевѣ угрюмаго фона горы, тоже загорѣлся, присоединившись къ освѣщенной группѣ. Еще недавно безлично сливавшіеся съ отдаленными склонами, теперь они смѣло выступили впередъ, а ихъ фонъ сталъ какъ будто еще отдаленнѣе, мгlistѣе и темнѣе.

Мальчикъ опять дернулъ дѣда за рукавъ, и его лицо уже совершенно преобразилось. Глаза сверкали, губы улыбались, на блѣдно-желтыхъ щекахъ, казалось, проступилъ яркій румянецъ.

На противоположной сторонѣ рѣки тоже произошла перемѣна. Горы все еще скрывали за собой взошедшее солнце, но небо надъ ними совсѣмъ посвѣтлѣло, и очертанія хребта рисовались рѣзко и отчетливо, образуя между двумя вершинами значительную впадину. По темнымъ еще склонамъ, обращеннымъ къ намъ, сползали внизъ струи молочно-бѣлаго тумана и какъ будто искали мѣста потемнѣе и посырѣе... А вверху небо расцвѣчалось золотомъ, и ряды лиственницъ на гребнѣ выступали на свѣтломъ фонѣ отчетливыми, рѣзко фіолетовыми силуэтами. За ними, казалось, шевелится что-то радостное, неугомонное и живое. Въ углубленіи отъ горы къ горѣ проплыла легкая тучка, вся въ огнѣ, и исчезла за сосѣдней вершиной. За ней другая, третья, цѣлая стая... За горами совершалось что-то ликующее и радостное. Дно разсѣлины все разгоралось. Казалось, солнце подымается съ той стороны по склонамъ хребта, чтобы заглянуть сюда, въ эту убогую щель, на эту темную рѣку, на эти сиротливыя избушки, на старика съ блѣднымъ мальчикомъ, ждавшихъ его появленія.

Наконецъ, оно появилось. Нѣсколько ярко-золотистыхъ лучей брызнули безпорядочно, въ самомъ днѣ разсѣлины между двумя горами, пробивъ отверстія въ густой стѣнѣ лѣса. Огненные искры посыпались пучками внизъ, на темныя пади и ущелья, вырывая изъ синяго, холоднаго сумрака—то отдѣльное дерево, то верхушку сланцеваго утеса, то небольшую горную полянку... Подъ ними все задвигалось и засуетилось. Группы деревьевъ, казалось, перебѣгали съ мѣста на мѣсто, скалы выступали впередъ и опять топили во мглѣ, полянки свѣтились и гасли... Полосы тумана змѣнились внизу тревожныѣ и быстрѣе.

Потомъ на нѣсколько мгновений засвѣтилась даже темная рѣка... Вспыхнули верхушки зыбкихъ волнъ, бѣжавшихъ къ нашему берегу, засверкала береговой песокъ съ черными пятнами ямничьихъ лодокъ и группами людей и лошадей у водооя. Косые лучи скользнули по убогимъ лачугамъ, отразились въ слюдяныхъ окнахъ, ласково коснулись блѣднаго, восхищеннаго лица мальчика...

А на самомъ днѣ разсѣлины между горами уже ясно продвигалась часть огненнаго солнечнаго круга, и на нашей сторонѣ весь берегъ радовался и свѣтился, сверкая, искраясь и переливаясь разноцвѣтными слоями сланцевыхъ породъ и зеленою пушистыхъ сосенъ...

Но это была лишь недолгая ласка утра. Еще нѣсколько секундъ, и дно долины опять стало холодно и сине. Рѣка потасла и мчалась опять въ своемъ темномъ руслѣ, бѣшено крутя водоворотами, слюдяныя окна померкли, тѣни подымались все выше, горы задержали недавнее разнообразіе своихъ склоновъ одноцвѣтною синею мглою. Еще нѣсколько секундъ горѣла на нашей сторонѣ одинокая вершина, точно угасающій факель надъ темными туманами... Потомъ и она померкла. Въ разсѣлинѣ закрылись всѣ отверстія, лѣса сомкнулись попрежнему сплошной траурной каймой, и только два-три отсталыя облачка продвигались надъ ними, обезцвѣченные и холодныя...

— Все,—сказалъ мальчикъ грустно. И черезъ нѣсколько секундъ, поднявъ на дѣда свои печальные, потускнѣвшіе глаза, прибавилъ вопросительно, — больше не будетъ?

— Не будетъ, чай,—отвѣтилъ тотъ.—Самъ ты видѣлъ: только край солнышка показался. Завтра уже пойдемъ низомъ.

— Кончалъ, братъ!—крикнулъ возвращавшійся съ рѣки ямщикъ.—Здравствуйте, дѣдъ со внукомъ!..

Повернувшись, я увидѣлъ, что у другихъ избушекъ тоже кое-гдѣ видѣлись зрители. Скрипѣли двери, ямщики уходили въ избы, станокъ утопалъ опять въ обезцвѣчивающемъ холодномъ туманѣ.

И это уже на долгіе мѣсяцы!.. Старикъ разсказалъ мнѣ, что лѣтомъ солнце ходитъ у нихъ надъ вершинами, къ осени оно опускается все ниже и скрывается за широкимъ хребтомъ, безсильное уже подняться надъ его обрѣзомъ. Но затѣмъ точка восхода передвигается къ югу, и тогда на нѣсколько дней оно опять показывается по утрамъ, въ разсѣлинѣ между двумя горами. Сначала оно переходитъ отъ вершины къ вершинѣ, потомъ все ниже, наконецъ, лишь на нѣсколько мгновений золотые лучи сверкаютъ на самомъ донькѣ впадины. Это и было сегодня.

Ньюйскій станокъ прощался съ солнцемъ на всю зиму. Ямщики, конечно, увидятъ его во время своихъ разъѣздовъ, но старики и дѣти не увидятъ до самой весны или, вѣрнѣе, до лѣта...

Послѣдніе отблески исчезли... Внизу опять сгустился туманъ, склоны горъ задержались мутной одноцвѣтной дымкой. Разсѣянный свѣтъ просачивался изъ-за горъ, холодный и непривѣтливый...

Вл. Короленко.



Дѣдушка глуховать. Съ карт. Шелесина.

Морозъ въ Сибири.

Нѣсколько дней шель густой пушистый снѣгъ, покрывшій на $\frac{3}{4}$ аршина и ледъ, и землю. Онъ массами лежалъ на деревьяхъ и порой падалъ съ нихъ комьями, рассыпаясь мелкою пылью въ свѣтломъ воздухѣ.

Потомъ ударилъ морозъ въ 30, 35, 40 градусовъ. Потомъ на одной изъ станцій мы уже увидѣли замерзшую въ термометрѣ ртуть, и намъ сказали, что такъ она стоитъ нѣсколько дней.

Птицы замедляли полетъ, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медвѣди зябли въ берлогахъ и выходили тощіе, испуганные и злые... Охотники на бѣлокъ прекратили промыселъ.

Мы тоже начали зябнуть. Вы вѣдь знаете, что это такое: дыханія не хватаетъ, моргнешь глазами—между рѣсницами протягиваются тонкія льдинки, холодъ забирается подъ одежду, потомъ въ мускулы, въ кости, до мозга костей, какъ говорится,—и говорится не даромъ... Васъ охватываетъ дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, непріятная и даже, право, унижительная... При-

ѣдешь на станцію,— до полуночи едва начнешь обогрѣваться, а на утро трогаться въ путь и чувствуешь, что въ тебѣ что-то убыло, что начнешь зябнуть раньше, чѣмъ вчера, и пріѣдешь на ночлегъ еще болѣе озлобшій... Настроenie мѣняется, впечатлѣнія постепенно тускнѣютъ, люди кажутся непріятнѣе... Самъ себѣ тоже становишься противенъ... Въ концѣ-концовъ, закутываешься какъ можно плотнѣе, садишься поудобнѣе и стараешься объ одномъ: какъ можно меньше мыслей... организмъ инстинктивно избѣгаетъ всякой траты... Сидишь, и понемногу стынешь, и ждешь съ какимъ-то испугомъ, когда кончатся эти ужасные 40—50-верстные перегоны...

Наконецъ, мы стали приближаться къ Витиму. Съ N-ской станціи выѣхали мы свѣтлымъ, сверкающимъ, синѣющимъ утромъ. Вся природа какъ будто застыла, умерла подъ своимъ холоднымъ, но поразительно роскошнымъ нарядомъ. Среди дня солнце свѣтило ярко, и его косые лучи были густы и желты, точно вечеромъ... Пронизывая сквозь чащу сосноваго бора, они играли кое-гдѣ на стволахъ, на вѣтвяхъ, выхватывая ихъ изъ бѣлаго, одноцвѣтнаго и сверкающаго сумрака.

Станокъ былъ необычайно длиненъ. Ямщикъ (имъ здѣсь ѣздить приходится не очень часто) сначала былъ очень бодръ и даже пѣлъ какую-то безобразную принсковую пѣсню... Потомъ и онъ смолкъ и то и дѣло бѣжалъ въ припрыжку рядомъ съ саними, усиленно топая ногами и хлопая ознобленными руками въ рукавицахъ... Мой спутникъ, казалось, совсѣмъ застылъ. Во все время онъ заговаривалъ только разъ, но его голосъ показался мнѣ скрипучимъ и непріятнымъ, и я проворчалъ что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потомъ онъ молчалъ, какъ закованный, и я представлялъ себѣ его лицо — съ мизантропическимъ и противно злымъ выраженіемъ. Я тоже молчалъ и отворачивался въ сторону, чтобы изморозь отъ моего дыханія не попадала мнѣ въ лицо — черезъ отверстіе въ башлыкѣ...

Дорога пошла лѣсомъ, полозья скрипѣли, лошади то и дѣло фыркали, и тогда ямщикъ останавливался и извлекалъ пальцами льдины изъ ихъ поздрей... Высокія сосны проходили передъ глазами, какъ привидѣнія, бѣлыя, холодныя и какъ-то не оставлявшія впечатлѣнія въ памяти..

Уже вечерѣло, послѣдніе лучи солнца, еще желтѣе и гуще, уходили изъ лѣсу, съ трудомъ карабкаясь по вершинамъ. А внизу ровный бѣлый сумракъ какъ бы еще болѣе наставалъ и синѣлъ. Звонъ колокольчика болтался густо и какъ-то особенно плотно: точно ударили ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы...

Въ одномъ мѣстѣ, въ глаза мнѣ попало неожиданное впечатлѣніе: невдалекѣ отъ дороги вился тонкій дымокъ между валежникомъ. На пни сидѣлъ человекъ, и его фигура одна чернѣла среди общей бѣлизны темнымъ пятномъ... Надъ нимъ со всѣхъ сторонъ свѣсились мохнатыя лапы лѣсной заросли... вверху еще освѣщенные солнцемъ, внизу уже охваченные сумракомъ наступающей ночи. Зрѣлище это промелькнуло мимо моего неподвижнаго взгляда... Въ послѣднее мгновеніе мнѣ показалось, что фигура шевельнулась, и что это имѣло какое-то отношеніе къ намъ, къ нашему суетливому колокольчику, къ нашему быстрому движенію. Но я не повернулъ головы, не повелъ глазами. Видѣніе пронеслось мимо и исчезло, и впечатлѣнія плыли къ сознанию застывшія, мертвыя, неподвижныя, ничего въ немъ не будя и не шевеля воображенія...

Ямщикъ повернулся къ намъ и, наклоняясь, сталъ говорить что-то, и помню, что онъ смѣялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенѣли льдинки... Самыя слова были пусты, въ нихъ для меня въ ту минуту не было никакихъ понятій. Смѣхъ ямщика тоже не казался мнѣ смѣхомъ и не производилъ на меня того впечатлѣнія, какое произвелъ бы при другихъ обстоятельствахъ. Я просто видѣлъ непріятно желтоватое лицо, въ рамкѣ мѣхового малахая, два глаза съ рѣсницами, опущенными инеемъ. Челюсти на этомъ лицѣ двигались, ротъ былъ непріятно перекошенъ и изъ него вылетали вмѣстѣ съ паромъ пустые звуки, какъ звонъ по стеклу... Вотъ и все... Мой спутникъ зашевелился и тоже пробормоталъ что-то. Кажется, онъ сердито торопилъ ямщика.

Короткій день давно угасъ, когда мы достигли станка и расположились на ночлегъ.

Вл. Короленко.

Разговоръ.

„Ни на Юнгфрау ни на Финстерааргорнѣ
еще не бывало человѣческой поги!“

Вершины Альпъ... Цѣлая цѣнь крутыхъ уступовъ... Самая сердцевина горъ. Надъ горами блѣдно-зеленое, свѣтлое, нѣмое небо. Сильный, жесткій морозъ; твердый, искристый снѣгъ; изъ-подъ снѣгу торчатъ суровыя глыбы обледѣнѣлыхъ, обвѣтренныхъ скалъ.

Двѣ громады, два великана вздымаются по обѣимъ сторонамъ небосклона: *Юнгфрау* и *Финстерааргорнъ*.

И говоритъ Юнгфрау сосѣду:

— Что скажешь новаго? тебѣ виднѣй. — Что тамъ, внизу?

Проходитъ нѣсколько тысячъ лѣтъ: одна минута. И грохочетъ въ отвѣтъ *Финстерааргорнъ*:

— Сплошныя облака застилаютъ землю... Погоди!

Проходятъ еще тысячелѣтія: одна минута.

— Ну, а теперь?—спрашиваетъ Юнгфрау.

— Теперь вижу; тамъ внизу, все то же: пестро, мелко. Воды синѣютъ; чернѣютъ лѣса; сѣрѣютъ груды скученныхъ камней. Около нихъ все еще копошатся козявки, знаешь, тѣ двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.

— Люди?

— Да, люди.

Проходятъ тысячи лѣтъ: одна минута.

— Ну, а теперь?—спрашиваетъ Юнгфрау.

— Какъ будто меньше видать козявокъ, — гремитъ *Финстерааргорнъ*: — яснѣе стало внизу; сузились воды; порѣдѣли лѣса.

Прошли еще тысячи лѣтъ: одна минута.

— Что ты видишь? — говоритъ Юнгфрау.

— Около насъ, вблизи, словно прочистилось, — отвѣчаетъ *Финстерааргорнъ*: — ну, а тамъ, вдали, по долинамъ есть еще пятна, и шевелится что-то.

— А теперь?— спрашивает Юнгфрау, спустя другія тысячи лѣтъ — одну минуту.

— Теперь хорошо, — отвѣчает Финстерааргорнъ:—опрятно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь... Вездѣ нашъ снѣгъ, ровный снѣгъ, и ледъ. Застыло все. Хорошо теперь, спокойно.

— Хорошо, — промолвила Юнгфрау. — Однако довольно мы съ тобой поболтали, старикъ. Пора вздремнуть.

— Пора!

Спать громадныя горы; спать зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкшей землей.

И. Тургеневъ.



Альпійскія горы.

Притча о человѣческой жизни.

Черезъ степь
Однажды велъ верблюда путникъ; вдругъ
Верблюдъ озлился, началъ страшно фыр-
кать,
Храпѣть, бросаться; путникъ испугался
И побѣжалъ; верблюдъ за нимъ. Куда
Укрыться? Степь пуста. Но вотъ уви-
дѣлъ

У самой онъ дороги водоемъ
Ужасной глубины, но безъ воды;
Изъ нѣдра темнаго его торчали
Вѣтвями длинными кусты малины,
Разросшейся межъ трещинами стѣнъ,
Покрытыхъ мохомъ старины. Въ него

Гонимый бѣшенымъ верблюдомъ путникъ
Въ испугѣ прынулъ; онъ за гибкій сукъ
Малины ухватился и повисъ
Надъ темной бездной. Голову поднявъ,
Увидѣлъ онъ разинутую пасть
Верблюда надъ собой: его схватить
Рвался ужасный звѣрь. Онъ опустилъ
Глаза ко дну пустого водоема:
Тамъ змѣй ворочался, и на него
Зіялъ голоднымъ зѣвомъ, ожидая,
Что онъ, съ куста сорвавшись, упадетъ.
Такъ онъ висѣлъ на гибкой тонкой
вѣткѣ
Межъ двухъ погибелей. И что жъ еще

Ему представилось? Въ томъ самомъ
мѣстѣ,
Гдѣ кустъ малины (за который онъ
Держался) корнемъ въ землю сквозь
проломъ
Стѣны состарѣвшейся водоема
Входилъ, двѣ мыши, бѣлая одна,
Другая черная, сидѣли рядомъ
На корнѣ, и его поочередно
Съ большою жадностію грызли, землю
Со всѣхъ сторонъ скребли, и обнажали
Всѣ вѣтви корня, а когда земля
Шумѣла, падая на дно, оттуда
Выглядывалъ проворно змѣй, какъ будто
Спѣша провѣдать, скоро ль мыши корень
Перегрызутъ, и скоро ль съ ношей кустъ
Къ нему на дно обрушится. Но что же?
Вися надъ этимъ страшнымъ дномъ, безъ
всякой
Надежды на спасенье, вдругъ увидѣлъ
На ближней вѣткѣ путникъ много ягодъ
Малины, зрѣлыхъ, крупныхъ: сильно
Желаніе полакомиться ими
Зажглося въ немъ; онъ все тутъ поза-
былъ:
И грознаго верблюда надъ собою,
И подъ собой на днѣ далекомъ змѣя,
И двухъ мышей коварную работу;
Оставилъ онъ вверху храпѣть верблюда,
Внизу зятья голодной пастью змѣя,
И въ сторонѣ грызть корень и копать
Въ землѣ мышей—а самъ, рукой до-
бравшись,
До ягодъ, началъ ихъ спокойно рвать
И ѣсть; и страхъ его пропалъ. Ты
спросишь:

Кто этотъ жалкій путникъ? *Человѣкъ.*
Пустыня жъ съ водоемомъ—*свѣтъ*; а
путь
Черезъ пустыню—наша *жизнь* земная;
Гонящійся за путникомъ верблюдъ
Есть врагъ души, тревогъ создатель,
грѣхъ:
Намъ гибелью грозитъ онъ; мы жъ без-
печно
На вѣткѣ трепетной висимъ надъ бездной,
Гдѣ въ темнотѣ могильной скрыта
смерть—
Тотъ змѣй, который, пасть разинувъ,
ждетъ,
Чтобъ вѣтка тонкая переломилась.
А мыши? Ихъ названье *день* и *ночь*;
Безъ отдыха, смѣняясь, онѣ
Работаютъ, чтобъ сукъ твой, вѣтку
жизни,
Которая межъ смертію и свѣтомъ
Тебя невѣрно держитъ, перегрызть;
Прилежно черная грызетъ всю ночь,
Прилежно бѣлая грызетъ весь день;
А ты, прельщенный ягодой душистой,
Усладой чувствъ, желаній уто-
леньемъ,
Забылъ и грѣхъ—верблюда въ вышинѣ,
И смерть—внизу зіяющаго змѣя,
И быструю работу дня и ночи—
Мышей, грызущихъ тонкій корень жизни;
Ты все забылъ—тебя манить одно
Невѣрное минуты наслажденіе.
Вотъ свѣтъ и жизнь, и смертный чело-
вѣкъ.

В. Жуковский.

О г о н е к ъ .

Дрожа отъ холода, измучившись въ пути,
Застигнутый врасплохъ суровою метелью,
Я думалъ: лошадямъ меня не довезти,
И будетъ мнѣ сугробъ послѣднею постелью...

Вдругъ яркій огонекъ блеснулъ въ лѣсу глухомъ,
Гостепріимная открылась дверь предъ нами,

Въ уютной комнатѣ, предъ свѣтлымъ камелькомъ,
Сажу, обвѣянный крылатыми мечтами...

Давно молчавшая, опять звучитъ струна,
Опять трепещетъ грудь волненіями былыми,
И въ сердцѣ оживла старинная весна, —
Весна съ черемухой и липами родными...

Теперь не страшень мнѣ протяжный буря вой,
Грозный пѣдали бѣдою полуночной,
Здѣсь — пристань мирная, здѣсь — счастье и покой,
Хоть кратокъ тотъ покой, и счастье то непрочное...

О, что до этого! Пускай мой путь далекъ,
Пусть завтра вновь меня настигнетъ буря злая,
Теперь мнѣ хорошо... Свѣти, мой огонекъ,
Свѣти и грѣй меня, на подвигъ ободряя!

Анжстимъ.

Ю ж н о е н е б о .

Въ шестомъ часу, по окончаніи трудовъ и съесты, общество мореплавателей выходило наверхъ корабля освѣжиться, и тутъ-то широко распахивалась душа для страстныхъ и нѣжныхъ впечатлѣній, какими дарилъ насъ невиданный на сѣверѣ чудеса. Да, чудеса эти не покорились никакимъ выкладкамъ, цифрамъ, грубымъ прикосновеніямъ науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудесъ его, нельзя измѣрить этого необъятнаго ощущенія, которому отдаешься съ трепетной покорностью, какъ чувству любви. Какъ назвать этотъ нѣжный воздухъ, который, какъ теплыя волны, омываетъ, нѣжитъ и лелѣетъ васъ, этотъ блескъ неба въ его фантастическомъ неопisanномъ уборѣ, эти цвѣта, среди которыхъ утопаетъ вечернее солнце? Океанъ въ золотѣ или золото въ океанѣ, багровый пламень, чистый, ясный, прозрачный, вѣчный, непрерывный пожаръ безъ дыма, безъ малѣйшей былинки, напоминающей землю. Покой неба и моря — не мертвый и сонный покой, это покой, въ которомъ небо и море, какъ будто отдыхая отъ сильнаго чувства, любятъ взаимно въ объятіяхъ другъ друга.

На этомъ пламенно-золотомъ, необозримомъ полѣ, лежатъ цѣлые міры волшебныхъ городовъ, зданій, башенъ, чудовищъ, звѣрей — все изъ облаковъ. Вотъ, смотрите, громада испанской крѣпости рушится медленно, безъ шума; упалъ одинъ бастіонъ, за нимъ валится другой; тамъ опустилась, подавляя собственный фундаментъ, высокая башня, и опять все тихо отливается въ формѣ горы, острововъ, съ лѣсами, съ куполами. Не успѣло воображеніе воспринять этотъ рисунокъ; а онъ ужъ таетъ и распадается, и на мѣсто его тихо воздвигся откуда-то корабль и повисъ на воздушной почвѣ; изъ огромной колесницы уже сложился станъ испанской женщины: плечи еще цѣлы, а бока уже отпали и вышла голова верблюда; на нее напираетъ и поглощаетъ все зобомъ рядъ солдатъ, несущихся цѣлымъ строемъ.

Изумленный глазъ смотритъ вокругъ, не увидитъ ли руки, которая, играя, строитъ воздушныя видѣнія. Тихо, нѣжно и лѣниво ползутъ эти тонкіе и прозрачные узоры въ золотой атмосферѣ, какъ мечты тянутся въ дремлющей душѣ,

слагаясь въ илѣнительные образы и разлагаясь опять, чтобъ слиться въ фантастической игрѣ...

Пусть живописцы найдутъ у себя краски, пусть хоть назовутъ эти цвѣта, которыми угасающее солнце окрашиваетъ небеса! Посмотрите: фіолетовая пелена покрыла небо и смѣшалась съ пурпуромъ; прошло еще мгновеніе и сквозь нее проступаетъ темно-зеленый, яшмовый оттѣнокъ: онъ, въ свою очередь, овладѣлъ небомъ. А замки, башни, лѣса; розовые, палевые, коричневыя, сквозятъ отъ послѣднихъ лучей быстро исчезающаго солнца, какъ освѣщенный храмъ... Вы недвижны, безмолвны, млѣете передъ радужными слѣдами солнца: оно жаркимъ, прощальнымъ лучомъ раздражаетъ нервы глазъ, но вы погружены въ туманъ поэтической думы; вы не отводите взора; вамъ не хочется выйти изъ этого млѣнія, изъ нѣги покоя. Очнувшись, со вздохомъ скажешь себѣ: ахъ, если бъ всегда и вездѣ такова природа, такъ же горяча и такъ величаво и глубоко покойна! Если бъ такова была и жизнь!... Вѣдь бури, бѣшенныя страсти не норма природы и жизни, а только переходный моментъ, безпорядокъ и зло, процессъ творчества, черная работа — для выдѣлки спокойствія и счастья въ лабораторіи природы...

Солнце не успѣло еще догорѣть, вы не успѣли еще додумать вашей думы, а оглянитесь назадъ: на западѣ еще золото и пурпуръ, а на востокѣ сверкаютъ и блещутъ уже миллионы глазъ: звѣзды и звѣзды, и между ними скромно и ровно сіяетъ Южный Крестъ! Темнота, какъ шапка, накрыла васъ: острова, башни, чудовища — все пропало. Звѣзды искрятся сильно, дерзко, и какъ будто спѣшатъ пользоваться промежуткомъ отъ солнца до луны; ихъ прибываетъ все больше и больше, онѣ проступаютъ сквозь небо. Та же невидимая рука, которая чертила воздушныя картины, поспѣшно зажигаетъ огни во всѣхъ углахъ тверди и — засіялъ вечерній пиръ! Новыя силы, новыя думы и новая нѣга проснулись въ душѣ. Опять, какъ вчера, она ищетъ въ огняхъ — разума, жадно читаетъ огненные буквы и порывается туда...

Но вотъ луна: она не тускла, не блѣдна, не задумчива, не туманна, какъ у насъ, а чиста, прозрачна, какъ хрусталь, гордо сіяетъ бѣлымъ блескомъ. Это не зрѣлая, увядшая красавица, а бодрая, полная силъ, жизни и строгаго цѣломудрія дѣва, какъ сама Діана. Хлынула по морю и по небу ея пронзительный свѣтъ; она усмирила дерзкое сверканье звѣздъ и воцарилась кротко и величаво до утра. А океанъ, вы думаете, заснулъ? Нѣтъ; онъ кипитъ и сверкаетъ пуще звѣздъ. Подъ кораблемъ разверзается пучина пламени, съ шумомъ вырываются потоки золота, серебра и раскаленныхъ углей. Вы ослѣплены, объаты сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взглядъ въ небо: тамъ наливается, то золотомъ, то кровью, то изумрудной влагой, Конопусъ, яркое свѣтило корабля Арго, двѣ огромныя звѣзды Центавра. Но вы съ любовью успокаиваетесь отъ нестерпимаго блеска на четырехъ звѣздахъ Южнаго Креста: онѣ сіяютъ скромно и, кажется, смотрятъ на васъ такъ пристально и умно. Южный Крестъ... Увидя его въ первый, второй и третій разъ, вы спросите, что въ немъ особеннаго? Долго станете вглядываться и кончите тѣмъ, что, съ наступленіемъ вечера, взглядъ вашъ будетъ искать его перваго; потомъ, обозрѣвъ всѣ появившіяся звѣзды, вы опять обратитесь къ нему и будете по часу и подолгу поконить на немъ ваши глаза.

Наступаетъ, за знойнымъ днемъ, душно-сладкая, долгая ночь, съ мерцаньемъ въ небесахъ, съ огненнымъ потокомъ подъ ногами, съ трепетомъ иѣги въ воздухъ. Боже мой! Даромъ пропадаютъ здѣсь эти ночи: ни серенадъ, ни вздоховъ, ни шопота любви, ни пѣнья соловьевъ! Только фрегатъ напряженно движется и изрѣдка простонетъ, да хлопнетъ обезсиленный парусъ или подъ кормой плеснетъ волна — и опять все торжественно и прекрасно-тихо!

Смотрите вы на всѣ эти чудеса, міры и огни и, остѣпленные, уничтоженные величіемъ, но богатые и счастливые небывалыми грезами, стоите, какъ статуя, и шепчете задумчиво: «Нѣтъ, этого не сказали мнѣ ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учителя».

П. Гончаровъ.

П а р у с ъ.

Вѣлѣтъ парусъ одинокой
Въ туманѣ моря голубомъ...
Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?
Что кинулъ онъ въ краю родномъ?
Играютъ волны, вѣтеръ свищетъ
И мачта гнется и скрипитъ...

Увы! онъ счастья не ищетъ
И не отъ счастья бѣжитъ.
Подъ нимъ струя свѣтлой лазури,
Надъ нимъ лучъ солнца золотой;
А онъ, мятежный, проситъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой!

М. Лермонтовъ.



Н а б а т ъ.

I.

Въ то жаркое и зловѣщее лѣто горѣло все. Горѣли цѣлые города, села и деревни; лѣсъ и поля больше уже не были имъ охраной: покорно вспыхивалъ самъ беззащитный лѣсъ, и красной скатертью разстилался огонь по высохшимъ лугамъ. Днемъ въ ѣдкомъ дыму пряталось багровое, тусклое солнце, а по ночамъ въ разныхъ концахъ неба вспыхивало безмолвное зарево, колебалось въ молчаливой фантастической пляскѣ, и страшныя, смутныя тѣни отъ людей и деревьевъ ползали по землѣ, какъ невѣдомыя гады. Собаки перестали брехать привѣтнымъ лаемъ, издалека зовущимъ путника и сулящимъ ему кровь и ласку, а протяжно и жалобно выли, или угрюмо молчали, забывшись въ подполье? И люди, какъ собаки, смотрѣли другъ на друга злыми и испуганными глазами и громко говорили о поджогахъ и таинственныхъ поджигателяхъ. Въ одной глухой деревнѣ убили старика, который не могъ сказать, куда онъ идетъ, а потомъ бабы плакали надъ убитымъ и жалѣли его сѣдую бороду, слипшуюся отъ темной крови.

Въ то жаркое и зловѣщее лѣто я жилъ въ одномъ помѣщичьемъ домѣ, гдѣ было много старыхъ и молодыхъ женщинъ. Днемъ мы работали, говорили и мало думали о пожарахъ, но когда наступала ночь, насъ охватывалъ страхъ. Владѣлецъ имѣнія часто уѣзжалъ въ городъ; тогда мы не спали по цѣлымъ ночамъ и пугливымъ дозоромъ обходили усадьбу, ища поджигателя. Мы прижимались другъ къ другу и говорили шопотомъ, а ночь была безмолвна, и темными, чуждыми массами подымались строенія. Они казались намъ незнакомыми, какъ будто раньше мы никогда не видали ихъ, и страшно непрочными, точно ожидающими огня и уже готовыми къ нему. Разъ, въ трещинѣ стѣны, передъ нами блеснуло что-то свѣтлое. Это было небо, а мы подумали, что огонь, и женщины съ крикомъ бросились ко мнѣ, тогда почти еще мальчику, прося защиты.

...А я самъ отъ испуга пересталъ дышать и не могъ тронуться съ мѣста...

Иногда глубокой ночью я вставалъ съ горячей, разметанной постели и черезъ окно вылѣзалъ въ садъ. Это былъ старый, величественно-угрюмый садъ, на самую сильную бурю отвѣчавшій только сдержаннымъ гуломъ; внизу его было темно и мертвенно тихо, какъ на днѣ пропасти, а вверху стоялъ неясный шорохъ и шумъ, похожій на далекій степенный говоръ. Прячась отъ кого-то, кто по пятамъ крался за мной и заглядывалъ черезъ плечо, я пробирался въ конецъ сада, гдѣ на высокомъ валу стоялъ плетень, а за плетнемъ далеко внизъ разбѣгались поля, лѣса и скрытые мракомъ поселки. Высокія, мрачно-молчаливыя липы разступались передо мною, — и между ихъ толстыми черными стволами, въ разсѣлины плетня, въ просвѣты между листьями я видѣлъ нѣчто страшное и необыкновенное, отчего безпокойной жутью наполнялось мое сердце, и мелкой дрожью подергивались ноги. Я видѣлъ небо, но не темное спокойное небо ночей, а розовое, какого никогда не бываетъ ни днемъ, ни ночью. Могуція липы стояли серьезно и молчаливо и, какъ люди, чего-то ждали, а небо неестественно розовѣло, и багряными судорогами пробѣгали по небу зловѣщіе отсвѣты горячей внизу земли. Медленно всплывали и уходили вверхъ клубящіеся столбы, и въ томъ, что они были такъ безмолвны, когда внизу все скрежетало, такъ неторопливы и величавы, когда внизу все металось — была загадка и та же страшная неестественность, какъ и въ розовой окраскѣ неба.

Точно опомнившись, высокія липы всё сразу начинали переговариваться вершинами и также внезапно умолкали, надолго застывая въ угрюмомъ ожиданіи. Становилось тихо, какъ на днѣ пропасти. Далеко за собой я чувствовалъ насторожившійся домъ, полный испуганныхъ людей, вокругъ меня сторожко толпились липы, а впереди безмолвно колыхалось красно-розовое небо, какого не бываетъ ни днемъ ни ночью.

И оттого, что я видѣлъ его не все цѣликомъ, а только въ просвѣты между деревьями, становилось еще страшнѣе и непонятнѣе.

II.

Была ночь, и я безпокойно дремалъ, когда въ мое ухо вошелъ тупой и отрывистый звукъ, какъ будто шедшій изъ-подъ пола, вошелъ и застылъ въ мозгу, какъ круглый камень. За нимъ ворвался другой, такой же короткий и тяжелый, и головѣ сдѣлалось тяжело и больно, словно густыми каплями на нее падалъ расплавленный свинецъ. Капли буравили и прожигали мозгъ; ихъ становилось все больше, и скоро частымъ дождемъ отрывистыхъ, стремительныхъ звуковъ онъ наполнили мою голову.

— Бамъ! Бамъ! Бамъ! — издалека выбрасывалъ кто-то высокій, сильный и нетерпѣливый.

Я открылъ глаза и сразу понялъ, что это набать, и что горитъ ближайшее село — Слободищи. Въ комнатѣ было темно, и окно закрыто, но отъ страшнаго зова она вся, съ своей мебелью, картинами и цвѣтами, какъ будто вышла на улицу, и не чувствовалось ни стѣнъ, ни потолка.

Не помню, какъ я одѣлся, и не знаю, почему я побѣжалъ одинъ, а не съ людьми. Или они меня забыли, или я не вспомнилъ объ ихъ существованіи. Набатъ звалъ настойчиво и глухо, словно не изъ прозрачнаго воздуха падали звуки, а выбрасывала ихъ неизмѣримая толща земли, и я побѣжалъ.

Въ розовомъ сіяніи неба померкли надъ головой звѣзды, и въ саду было странно свѣтло, какъ не бываетъ ни днемъ, ни въ царственные лунныя ночи, а когда я побѣжалъ къ плетню, на меня сквозь просвѣты взглянуло что-то ярко-красное, бурливое, отчаянно мечущееся. Высокія липы, словно обрызганныя кровью, трепетали круглыми листьями и боязливо заворачивали ихъ назадъ, но голоса ихъ не было слышно за короткими и сильными ударами раскачавшагося колокола. Теперь звуки были ясны и точны и летѣли съ безумной быстротой, какъ рой раскаленныхъ камней. Они не кружились въ воздухѣ, какъ голуби тихаго вечерняго звона, они не расплывались въ немъ ласкающей волной торжественнаго благовѣста—они летѣли прямо, какъ грозные глашатаи бѣдствія, у которыхъ нѣтъ времени оглянуться назадъ, и глаза расширены отъ ужаса.

— Бамъ! Бамъ! Бамъ! — летѣли они съ неудержимой стремительностью, и сильные обгоняли слабыхъ, и всё вмѣстѣ вливались въ землю и пронизывали небо.

Такъ же прямо, какъ и они, бѣжалъ я по большому вспаханному полю, тускло мерцавшему кровавыми отблесками, какъ чешуя огромнаго чернаго звѣря. Надъ моей головой, на страшной высотѣ, плавно проносились одинокія яркія искры, а впереди былъ страшный деревенскій пожаръ, въ которомъ на одномъ кострѣ гибнуть дома, животныя и люди. Тамъ, за прихотливой линіей черныхъ деревьевъ, то круглыхъ, то острыхъ, какъ пики, взвивалось ослѣпительное пламя, изгибалось горделиво шею, какъ взбѣсившійся конь, прыгало, отбрасывало

отъ себя въ черное небо огненные клочки и хищно нагибалось внизъ за новой добычей. Въ ушахъ моихъ шумѣло отъ быстрого бѣга, сердце билось быстро и громко и, обгоняя его удары, прямо въ голову и грудь били меня безпорядочные звуки набата. И было въ нихъ такъ много отчаянія, словно это не мѣдный колоколь звучалъ, а въ предсмертныхъ судорогахъ колотилось сердце самой многострадающей земли.

— Бамъ! Бамъ! Бамъ! — выбрасывало изъ себя раскаленное пожарище, и трудно было повѣрить, что эти властные и отчаянные крики издаетъ церковная колокольня, такая маленькая и тонкая, такая спокойная и тихая, какъ дѣвочка въ розовомъ платьѣ.

Я падалъ, опираясь руками на комья сухой земли, и они разсыпались подъ моими руками; я подымался и снова бѣжалъ, а навстрѣчу мнѣ бѣжалъ огонь и призывные звуки набата. Уже слышно было, какъ трещитъ дерево, пожираемое огнемъ, и разноголосый людской крикъ съ господствующими въ немъ нотами отчаянія и страха. И когда стихало змѣиное шипѣние огня, явственно выдѣлялся продолжительный стонущій звукъ: то выли бабы, и ревѣла въ паническомъ страхѣ скотина.

Болото остановило меня. Широкое заросшее болото, далеко бѣжавшее направо и налево. Я вошелъ въ воду по колѣна, потомъ по грудь, но болото засасывало меня, и я вернулся на берегъ. Напротивъ, совсѣмъ близко, бушевалъ огонь и выбрасывалъ въ небо тучи золотистыхъ искръ, похожихъ на огненные листья гигантскаго дерева; въ черной рамкѣ камыша и осоки огненными блестящими зеркалами вставала болотная вода — и набатъ звалъ, отчаянно, въ смертельной мукѣ:

— Иди! иди же!

III.

Я метался по берегу, и сзади меня металась моя черная тѣнь, а когда я нагибался къ водѣ, допытываясь у нея дна, на меня изъ черной бездны глядѣлъ призракъ огненнаго человѣка, и въ искаженныхъ чертахъ его лица, въ разметавшихся волосахъ, точно приподнятыхъ на головѣ какой-то страшной силой, я не могъ узнать самого себя.

— Да что же это? Господи! — молилъ я, протягивая руки.

А набатъ звалъ. Колоколь уже не молилъ — онъ кричалъ, какъ человѣкъ, стоналъ и задыхался. Звукъ потерялъ свою правильность и громоздились другъ на друга, быстро, безъ отзвука, умирая, рождаясь и снова умирая.

Участившійся набатъ внезапно смолкъ, и громче затрещало пламя. Оно двигалось, какъ живое, и длинными руками, словно въ истомѣ, тянулось къ умолкнувшей колокольнѣ. Теперь, вблизи, она казалась высокой и вмѣсто розоваго на ней было уже красное платье. На верху темнаго отверстія, гдѣ находились колокола, показался робкій и спокойный огонекъ, похожій на пламя свѣчи, и блѣднымъ лучомъ отразился на ихъ мѣдныхъ бокахъ. И снова затрепеталъ колоколь, посылая послѣдніе, безумно-отчаянные крики, и я снова заметался по берегу, а за мной металась моя черная тѣнь.

Въ предсмертныхъ мукахъ задыхался колоколь и кричалъ, какъ человѣкъ, который не ждетъ уже помощи, и для котораго уже нѣтъ надежды.

Л. Андреевъ.



Сиринь и Алконость. (Пѣснь радости и пѣснь печали.) Съ карт. *Васнецова.*

II. БЫТЪ.

Интеллигентная семья.

Это было 6—7 лѣтъ тому назадъ, когда я жилъ въ одномъ изъ уѣздовъ Т—ой губерніи, въ имѣніи помѣщика Бѣлокурова, молодого человѣка, который вставалъ очень рано, ходилъ въ поддевкѣ, по вечерамъ пилъ пиво и все жаловался мнѣ, что онъ нигдѣ и ни въ комъ не встрѣчаетъ сочувствія. Онъ жилъ въ саду во флигелѣ, а я въ старомъ барскомъ домѣ, въ громадной залѣ съ колоннами, гдѣ не было никакой мебели, кромѣ широкаго дивана, на которомъ я спалъ, да еще стола, на которомъ я раскладывалъ пасьянсъ. Тутъ всегда, даже въ тихую погоду, что-то гудѣло въ старыхъ амосовскихъ печахъ, а во время грозы весь домъ дрожалъ и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда всѣ десять большихъ оконъ вдругъ освѣщались молніей.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не дѣлалъ рѣшительно ничего. По цѣлымъ часамъ я смотрѣлъ въ свои окна на небо, на птицъ, на аллеи, читалъ все, что привозили мнѣ съ почты, спалъ. Иногда я уходилъ изъ дому и до поздняго вечера бродилъ гдѣ-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрелъ въ какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цвѣтушей рѣкѣ растянулись вечернія тѣни. Два ряда старыхъ, тѣсно посаженныхъ, очень высокихъ елей стояли, какъ двѣ сплошныя стѣны, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелѣзъ черезъ изгородь и пошелъ по этой аллеѣ, скользя по словымъ игламъ, которыя тутъ на вершокъ покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинахъ кое-гдѣ дрожалъ яркій золотой свѣтъ и переливался радугой въ сѣтяхъ паука. Сильно, до духоты пахло хвоемъ. Потомъ я повернулъ на длинную ли-



повую аллею. И тутъ тоже заустѣніе и старость; прошлогоднія листва печально шелестѣла подѣ ногами, и въ сумеркахъ между деревьями пряталась тѣни. Направо, въ старомъ фруктовомъ саду, нехотѣ, слабымъ голосомъ пѣла пволга, должно-быть, тоже старушка. Но вотъ и липы кончились; я прошелъ мимо бѣлаго дома съ террасой и съ мезониномъ, и передо мною неожиданно развернулся видъ на барскій дворъ и на широкій прудъ съ купальней, съ толпой зеленыхъ ивъ, съ деревней на томъ берегу, съ высокой, узкой колокольней, на которой горѣлъ крестъ, отражая въ себѣ заходившее солнце. На мигъ на меня повѣяло очарованіемъ чего-то родного, очень знакомаго, будто я уже видѣлъ эту самую панораму когда-то въ дѣтствѣ.

А у бѣлыхъ каменныхъ воротъ, которыя вели со двора въ поле, у старинныхъ крѣпкихъ воротъ со львами, стояли двѣ дѣвушки. Одна изъ нихъ, постарше, тонкая, блѣдная, очень красивая, съ цѣлой копкой каштановыхъ волосъ на головѣ, съ маленькимъ упрямымъ ртомъ, имѣла строгое выраженіе и на меня едва обратила вниманіе; другая же, совсѣмъ еще молоденькая—ей было 17—18 лѣтъ, не больше—тоже тонкая и блѣдная, съ большимъ ртомъ и съ большими глазами, съ удивленіемъ посмотрѣла на меня, когда я проходилъ мимо, сказала что-то по-англійски и сконфузилась, и мнѣ показалось, что и эти два милыхъ лица мнѣ давно уже знакомы. И я вернулся домой съ такимъ чувствомъ, какъ будто видѣлъ хорошій сонъ.

Вскорѣ послѣ этого, какъ-то въ полдень, когда я и Бѣлокуровъ гуляли около дома, неожиданно, шурша по травѣ, въѣхала во дворъ рессорная коляска, въ которой сидѣла одна изъ тѣхъ дѣвушекъ. Это была старшая. Она пріѣхала съ подписнымъ листомъ просить на погорѣльцевъ. Не глядя на насъ, она очень серьезно и обстоятельно рассказала намъ, сколько сгорѣло домовъ въ селѣ Сіановѣ, сколько мужчинъ, женщинъ и дѣтей осталось безъ крова, и что намѣренъ предпринять на первыхъ порахъ погорѣльчeskій комитетъ, членомъ котораго она теперь была. Давши намъ подписаться, она спрягала листъ и тотчасъ же стала прощаться.

— Вы совсѣмъ забыли насъ, Петръ Петровичъ,—сказала она Бѣлокурову, подавая ему руку.—Пріѣзжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилію) захочетъ взглянуть, какъ живутъ почитатели его таланта, и пожелаетъ къ намъ, то мама и я будемъ очень рады.

Я поклонился.

Когда она уѣхала, Петръ Петровичъ сталъ рассказывать. Эта дѣвушка, по его словамъ, была изъ хорошей семьи и звали ее Лидіей Волчаниновой, а имѣніе, въ которомъ она жила съ матерью и сестрой, такъ же, какъ и село на другомъ берегу пруда, называлось Шелковкой. Отецъ ея когда-то занималъ видное мѣсто въ Москвѣ и умеръ въ чинѣ тайнаго совѣтника. Несмотря на хорошія средства, Волчаниновы жили въ деревнѣ безвыѣдно, лѣто и зиму, и Лидія была учительницей въ земской школѣ у себя въ Шелковкѣ и получала 25 рублей въ мѣсяцъ. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живетъ на собственный счетъ.

— Интересная семья,—сказалъ Бѣлокуровъ.—Пожалуй, сходимъ къ нимъ какъ-нибудь. Онѣ будутъ вамъ очень рады.

Какъ-то послѣ обѣда, въ одинъ изъ праздниковъ, мы вспомнили про Волчаниновыхъ и отправились къ нимъ въ Шелковку. Онѣ, мать и обѣ дочери,



За чтеніемъ. Съ карт. Галкина.

были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, повидимому, красивая, теперь же сырая не по лѣтамъ, больная одышкой, грустная, разсѣянная, старалась занять меня разговоромъ о живописи. Узнавъ отъ дочери, что я, быть-можетъ, приѣду въ Шелковку, она торопливо припомнила два-три моихъ пейзажа, какіе видѣла на выставкахъ въ Москвѣ, и теперь спрашивала, что я хотѣлъ въ нихъ выразить. Лидія, или, какъ ее звали дома, Лида говорила больше съ Бѣлокуровымъ, чѣмъ со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему онъ не служить въ земствѣ и почему до сихъ поръ не былъ ни на одномъ земскомъ собраніи.

— Нехорошо, Петръ Петровичъ,—говорила она укоризненно. — Нехорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда,—соглашалась мать.—Пехорошо.

— Весь нашъ уѣздъ находится въ рукахъ Балагина,—продолжала Лида, обращаясь ко мнѣ.—Самъ онъ предѣдатель управы, и всѣ должности въ уѣздѣ роздалъ своимъ племянникамъ и зятямъ и дѣлаетъ, что хочетъ. Надо бороться. Молодежь должна составить изъ себя сильную партію, но вы видите, какая у насъ молодежь. Стыдно, Петръ Петровичъ!

Младшая сестра, Женья, пока говорили о земствѣ, молчала. Она не принимала участія въ серьезныхъ разговорахъ, ее въ семьѣ еще не считали взрослой и, какъ маленькую, называли Мисюсю, потому что въ дѣтствѣ она называла такъ *мисъ*, свою гувернантку. Все время она смотрѣла на меня съ любопытствомъ и, когда я осматривалъ въ альбомѣ фотографіи, объясняла мнѣ: «Это дядя... Это крестный папа», и водила пальчикомъ по портретамъ, и въ это время по-дѣтски касалась меня своимъ плечомъ, и я близко видѣлъ ея слабую, неразвитую грудь, тонкія плечи, косу и худенькое тѣло, туго стинутое поясомъ.

Мы играли въ крокетъ и lawn-tennis¹⁾, гуляли по саду, пили чай, потомъ долго ужинали. Послѣ громадной пустой залы съ колоннами мнѣ было какъ-то по себѣ въ этомъ небольшомъ уютномъ домѣ, въ которомъ не было на стѣнахъ олеографій, и прислугѣ говорили «вы», и все мнѣ казалось молодымъ и чистымъ, благодаря присутствію Лиды и Мисюсю, и все дышало порядочностью. За ужиномъ Лида опять говорила съ Бѣлокуровымъ о земствѣ, о Балагинѣ, о школьныхъ бібліотекахъ. Это была живая, искренняя, убѣжденная дѣвушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть-можетъ, оттого, что привыкла говорить въ школѣ. Зато мой Петръ Петровичъ, у котораго еще со студенчества осталась манера всякій разговоръ сводить на споръ, говорилъ скучно, вяло и длинно, съ явнымъ желаніемъ казаться умнымъ и передовымъ человѣкомъ. Жестикулируя, онъ опрокинулъ рукавомъ соусникъ, и на скатерти образовалась большая лужа, но кромѣ меня, казалось, никто не замѣтилъ этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо

— Хорошее воспитаніе не въ томъ, что ты не прольешь соуса на скатерть, а въ томъ, что ты не замѣтишь, если это сдѣлаетъ кто-нибудь другой,—сказалъ Бѣлокуровъ и вздохнулъ.—Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отсталъ я отъ хорошихъ людей, ахъ, какъ отсталъ! А все дѣла, дѣла! Дѣла!

А. Чеховъ.

Случай съ классикомъ.

Собираясь идти на экзаменъ греческаго языка, Ваня Оттепелевъ перецѣловалъ всѣ иконы. Въ животѣ у него перекатывало, подъ сердцемъ вѣяло холодомъ, само сердце стучало и замирало отъ страха передъ неизвѣстностью. Что-то ему будетъ сегодня? Тройка или двойка? Разъ шесть подходилъ онъ къ мамашѣ подъ благословеніе, а уходя, просилъ тетю помолиться за него. Идя въ гимназію, онъ подаль нищему двѣ копейки, въ расчетъ, что эти двѣ копейки окупятъ его незнанія, и что ему, Богъ дастъ, не попадутся числительныя съ этими «тессараконта» и «октокайдека»

¹⁾ Лаунъ-теннисъ.

Воротился онъ изъ гимназіи поздно, въ пятомъ часу. Пришелъ и безшумно легъ. Тощее лицо его было блѣдно. Около покрасѣвшихъ глазъ темнѣли круги.

— Ну, что? Какъ? Сколько получилъ?—спросила мамаша, подойдя къ кровати.

Ваня замигалъ глазами, скривилъ въ сторону ротъ и заплакалъ. Мамаша поблѣднѣла, разинула ротъ и всплеснула руками. Штанишки, которыя она печинила, выпали у нея изъ рукъ.

— Чего же ты плачешь? Не выдержалъ, стало-быть?—спросила она.

— По... порѣзался... Двойку получилъ...

— Такъ и знала! И предчувствіе мое такое было!—заговорила мамаша.— Охъ, Господи! Какъ же ты это не выдержалъ? Отчего? По какому предмету?

— По греческому... Я, мамочка... Спросили меня, какъ будетъ будущее отъ «фиро», а я... я вмѣсто того, чтобъ сказать «ойсомай», сказалъ «онсомай». Потомъ... потомъ... обложенное удареніе не ставится, если послѣдній слогъ долгій, а я... я оробѣлъ... забылъ, что альфа тутъ долгая... взялъ да и поставилъ обложенное. Потомъ Артаксерксовъ велѣлъ перечислить энклитическія частицы... Я перечислялъ и печально мѣстоименіе впуталъ... Ошибся... Онъ и поставилъ двойку... Несчастный... я человекъ... Всю ночь занимался... Всю эту недѣлю въ четыре часа вставалъ...

— Нѣтъ, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты изъ меня сдѣлалъ, продъ, мучитель, злое мое произволеніе! Плачу за тебя, за дрянъ этакую непутищую, синю гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое отъ тебя вниманіе? Какъ ты учишься?

— Я... я занимаюсь. Всю ночь... Сами видѣли...

— Молила Бога, чтобъ смерть мнѣ послалъ, не посылаетъ, грѣшницѣ... Мучитель ты мой! У другихъ дѣти, какъ дѣти, а у меня одинъ-единственный— и никакой точки отъ него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да гдѣ же мнѣ силъ взять? Гдѣ же, Божья Матерь, силъ взять?

Мамаша закрыла лицо ладонью кофточки и зарыдала. Ваня завертѣлся отъ тоски и прижалъ свой лобъ къ стѣнѣ. Вошла тетя.

— Ну, вотъ... Предчувствіе мое...—заговорила она, сразу догадавшись, въ чемъ дѣло, блѣднѣя и всплескивая руками.—Все утро тоска... Ну-у, думаю, быть бѣдѣ... Оно вотъ такъ и вышло...

— Разбойникъ мой, мучитель!—проговорила мамаша.

— Чего же ты его ругаешь?—набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочекъ кофейнаго цвѣта.—Нешто онъ виноватъ? Ты виноватая! Ты! Ну, съ какой стати ты его въ эту гимназію отдала? Что ты за дворянка такая? Въ дворяне лѣзете? А-а-а... Какъ же, безпремѣнно, такъ вотъ васъ и сдѣлаютъ дворянами! А было бы вотъ, какъ я говорила, по торговой бы части... въ контору-то, какъ мой Кузя. Кузя-то, вотъ, пятьсотъ въ годъ получаетъ. Пятьсотъ—шутка ли? И себя ты замучила, и мальчишку замучила ученостію этой, чтобъ ей пусто было. Худенькій, кашляетъ... погляди: тринадцать лѣтъ ему, а видъ у него, точно у десятилѣтняго.

— Нѣтъ, Настенька, нѣтъ, милая! Мало я его била, мучителя моего! Бить бы пужно, вотъ что! У-у-у... іезуитъ, магометъ, мучитель мой!—замахнулась она на сына.—Пороть бы тебя, да силы у меня нѣтъ. Говорили мнѣ прежде, когда онъ еще малъ былъ: «Бей, бей»... Не послушала, грѣшница. Вотъ и мучаюсь теперь. Пстой же! Я тебя выдеру! Пстой...

Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, пошла въ комнату жильца. Ея жилецъ, Евтихій Кузьмичъ Купоросовъ, сидѣлъ у себя за столомъ и читалъ «Самоучитель танцевъ». Евтихій Кузьмичъ—человѣкъ умный и образованный. Онъ говоритъ въ носъ, умывается съ мыломъ, отъ котораго пахнетъ тѣмъ-то такимъ, отчего чихаютъ всѣ въ домѣ, кушаетъ онъ въ постные дни скоромное и ищетъ образованную невѣсту, а потому считается самымъ умнымъ жильцомъ. Поетъ онъ теноромъ.

— Батюшка!—обратилась къ нему мамаша, заливаясь слезами.—Будьте столь благородны, посѣкните моего... Сдѣлайте милость! Не выдержалъ, горе мое! Вѣрите ли, не выдержалъ! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья... Посѣкните его замѣсто меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихій Кузьмичъ! Уважьте больную женщину!

Купоросовъ нахмурился и выпустилъ сквозь ноздри глубочайшій вздохъ. Онъ подумалъ, постучалъ пальцами по столу и, еще разъ вздохнувъ, пошелъ къ Ванѣ.

— Васъ, такъ сказать, учать!—началъ онъ.—Образовываютъ, ходъ даютъ, возмутительный молодой человѣкъ! Вы почему?

Онъ долго говорилъ, сказалъ цѣлую рѣчь. Упомянулъ о наукѣ, о свѣтѣ и тѣмѣ—

— И-да-съ, молодой человѣкъ!

Кончивъ рѣчь, онъ снялъ съ себя ремень и потянулъ Ваню за руку.

— Съ вами иначе нельзя!—сказалъ онъ.

Ваня покорно нагнулся и сунулъ голову въ его колѣни. Розовыя, торчащія уши его задвигались по новымъ триковымъ брюкамъ съ коричневыми лампасами...

Ваня не издалъ ни одного звука. Вечеромъ, на семейномъ совѣтѣ, рѣшено было отдать его по торговой части.

А. Чеховъ.



У богатого родственника. Съ карт. Букавскаго.

Г о р е.

Матап скончалась въ ужасныхъ страданіяхъ.

На другой день, поздно вечеромъ мнѣ захотѣлось еще разъ взглянуть на нее: преодолевъ невольное чувство страха, я тихо отворилъ дверь и на цыпочкахъ вошелъ въ залу.

Посрединѣ комнаты, на столѣ, стоялъ гробъ, вокругъ него нагорѣвшіе свѣчи, въ высокихъ серебряныхъ подсвѣчникахъ; въ дальнемъ углу сидѣлъ дячокъ и тихимъ однообразнымъ голосомъ читалъ псалтирь.

Я остановился у двери и сталъ смотрѣть; но глаза мои были такъ заплаканы, и нервы такъ разстроены, что я ничего не могъ разобрать; все какъ-то странно сливалось вмѣстѣ: свѣтъ, парча, бархатъ, большіе подсвѣчники, розовая обшитая кружевами подушка, вѣчникъ, чепчикъ съ лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвѣта. Я сталъ на стулъ, чтобы разсмотрѣть ея лицо; но на томъ мѣстѣ, гдѣ оно находилось, мнѣ опять представился тотъ же блѣдно-желтоватый, прозрачный предметъ. Я не могъ вѣрить, чтобъ это было ея лицо. Я сталъ вглядываться въ него пристальнѣе и мало-по-малу сталъ узнавать въ немъ знакомыя, милыя черты. Я вздрогнулъ отъ ужаса, когда убѣдился, что это была она; но отчего закрытые глаза такъ впили? Отчего эта страшная блѣдность и на одной щекѣ черноватое пятно подъ прозрачною кожей? Отчего выраженіе всего лица такъ строго и холодно? Отчего зубы такъ блѣдны и складъ ихъ такъ прекрасенъ, такъ величественъ и выражаетъ такое неземное спокойствіе, что холодная дрожь пробѣгаетъ по моей спинѣ и волосамъ, когда я вглядываюсь въ него?..

Я смотрѣлъ и чувствовалъ, что какая-то непонятная непреодолимая сила притягиваетъ мои глаза къ этому безжизненному лицу. Я не спускалъ съ него глазъ, а воображеніе рисовало мнѣ картины, цвѣтущія жизнью и счастьемъ. Я забывалъ, что мертвое тѣло, которое лежало предо мною, и на которое я бессмысленно смотрѣлъ, какъ на предметъ, не имѣющій ничего общаго съ моими воспоминаніями, была *она*. Я воображалъ ее то въ томъ, то въ другомъ положеніи: живою, веселою, улыбающеюся; потомъ вдругъ меня поражала какаинбудь черта въ блѣдномъ лицѣ, на которомъ остановились мои глаза: я вспоминалъ ужасную дѣйствительность, содрогался, но не переставалъ смотрѣть. И снова мечты замѣняли дѣйствительность, и снова сознаніе дѣйствительности разрушало мечты. Наконецъ воображеніе устало, оно переставало обманывать меня; сознаніе дѣйствительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробылъ я въ этомъ положеніи, не знаю, въ чемъ состояло оно; знаю только то, что на время я потерялъ сознаніе своего существованія и испытывалъ какое-то высокое, неизъяснимо-пріятное и грустное наслажденіе.

Можетъ-быть, отлетая къ міру лучшему, ея прекрасная душа съ грустью оглянулась на тотъ, въ которомъ она оставляла насъ; она увидѣла мою печаль, сжалась надъ нею и на крыльяхъ любви съ небесною улыбкою сожалѣнія спустилась на землю, чтобъ утѣшить и благословить меня.

Дверь скрипнула, и въ комнату вошелъ дячокъ на смѣну. Этотъ шумъ разбудилъ меня, и первая мысль, которая пришла мнѣ, была та, что, такъ какъ

я не плачу и стою на стулѣ въ позѣ, не имѣющей ничего трогательнаго, дьячокъ можетъ принять меня за безчувственнаго мальчика, который изъ жалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакалъ.

Вспоминая теперь свои впечатлѣнія, я нахожу, что только одна эта минута самозабвенія была настоящимъ горемъ. Прежде и послѣ погребенія я не переставалъ плакать и быть грустнымъ, но мнѣ совѣстно вспомнить эту грусть, потому что къ ней всегда примѣшивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желаніе показать, что я огорченъ больше всѣхъ, то заботы о дѣйствіи, которое я произвожу на другихъ, то безцѣльное любопытство, которое заставляло дѣлать наблюденія надъ чепцомъ Мими и лицами присутствующихъ. Я презиралъ себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать всѣ другія: отъ этого печаль моя была неискренняя и неестественная. Сверхъ того, я испытывалъ какое-то наслажденіе, зная, что я несчастливъ, старался возбуждать сознаніе несчастія, и это эгоистическое чувство больше другихъ заглушало во мнѣ истинную печаль.

Проспавъ эту ночь крѣпко и спокойно, какъ всегда бываетъ послѣ сильнаго огорченія, я проснулся съ высохнувшими слезами и успокоившимися нервами. Въ десять часовъ насъ позвали къ панихидѣ, которую служили передъ выносомъ. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые, всѣ въ слезахъ, пришли проститься съ своею барыней. Во время службы я прилично плакалъ, крестился и кланялся въ землю, но не молился въ душѣ и былъ довольно хладнокровенъ; заботился о томъ, что новый полу-фрачекъ, который на меня надѣли, очень жалъ мнѣ подъ мышками, думалъ о томъ, какъ бы не запачкать слишкомъ панталонъ на колѣняхъ, и украдкой дѣлалъ наблюденіе надъ всѣми присутствовавшими. Отецъ стоялъ у изголовья гроба, былъ блѣденъ, какъ платокъ, и съ замѣтнымъ трудомъ удерживалъ слезы. Его высокая фигура, въ черномъ фракѣ, блѣдное, выразительное лицо и, какъ всегда, граціозныя и увѣренныя движенія, когда онъ крестился, кланялся, доставая рукою землю, бралъ свѣчу изъ рукъ священника или подходилъ ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мнѣ не нравилось въ немъ именно то, что онъ могъ казаться такимъ эффектнымъ въ эту минуту. Мими стояла, прислонившись къ стѣнѣ, и, казалось, едва держалась на ногахъ; платье на ней было измято и въ пуху, чепецъ сбить на сторону; опухшіе глаза были красны, голова ея тряслась; она не переставала рыдать раздирающимъ душу голосомъ и безпрестанно закрывала лицо платкомъ и руками. Мнѣ казалось, что она это дѣлала для того, чтобы, закрывъ лицо отъ зрителей, на минуту отдохнуть отъ притворныхъ рыданій. Я вспомнилъ, какъ наканунѣ она говорила отцу, что смерть маман для нея такой ужасный ударъ, котораго она никакъ не надѣется перенести, что она лишила ее всего, что этотъ ангелъ (такъ она называла маман) передъ самою смертью не забылъ ея и изъявилъ желаніе обезпечить навсегда будущность ея и Катеньки. Она проливала горькія слезы, рассказывая это, и, можетъ-быть, чувство горести ея было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, въ черномъ платьицѣ, обшитомъ плерезами, вся мокрая отъ слезъ, опустила головку, изрѣдка взглядывала на гробъ, и лицо ея выражало при этомъ только дѣтскій страхъ. Катенька стояла подлѣ матери и, несмотря на ея вытянутое личико, была такая же розовенькая,

какъ и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и въ горести: онъ то стоялъ задумавшись, уставивъ неподвижные взоры на какой-нибудь предметъ, то ротъ его вдругъ начиналъ кривиться, и онъ поспѣшно крестился и кланялся. Всѣ посторонніе, бывшіе на похоронахъ, были мнѣ неспосны. Утѣшительныя фразы, которыя они говорили отцу—что ей тамъ будетъ лучше, что она была не для этого міра,—возбуждали во мнѣ какую-то досаду.

Какое они имѣли право говорить и плакать о ней? Нѣкоторые изъ нихъ, говоря про насъ, называли насъ *сиротами*. Точно безъ нихъ не знали, что дѣтей, у которыхъ нѣтъ матери, называютъ этимъ именемъ! Имъ, вѣрно, правилось, что они первые даютъ намъ его, точно такъ же, какъ обыкновенно торопятся только что вышедшую замужъ дѣвушку въ первый разъ назвать «madame».

Въ дальнемъ углу залы, почти спрятавшись за отворенною дверью буфета, стояла на колѣняхъ сгорбленная, сѣдая старушка. Соединивъ руки и поднявъ глаза къ небу, она не плакала, но молилась. Душа ея стремилась къ Богу, она просила Его соединить ее съ тою, кого она любила больше всего на свѣтѣ, и твердо надѣялась, что это будетъ скоро.

«Вотъ кто истинно любилъ ее!» подумалъ я, и мнѣ стало стыдно за самого себя.

Панихида кончилась; лице покойницы было открыто, и всѣ присутствующіе, исключая насъ, одинъ за другимъ стали подходить къ гробу и прикладываться.

Одна изъ послѣднихъ подошла проститься съ покойницей какая-то крестьянка, съ хорошенькою пятилѣтнею дѣвочкой на рукахъ, которую, Богъ знаетъ зачѣмъ, она принесла сюда. Въ это время я нечаянно уронилъ свой мокрый платокъ и хотѣлъ поднять его; но только что я нагнулся, меня поразилъ страшный пронзительный крикъ, исполненный таковаго ужаса, что проживи я сто лѣтъ, я никогда его не забуду, и когда вспомню, всегда пробѣжитъ холодная дрожь по моему тѣлу. Я поднялъ голову—на табуретѣ, подлѣ гроба, стояла та же крестьянка и съ трудомъ удерживала въ рукахъ дѣвочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинувъ назадъ испуганное личико и уставивъ выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшнымъ, неистовымъ голосомъ. Я вскрикнулъ голосомъ, который, я думаю, былъ еще ужаснѣе того, который поразилъ меня, и выбѣжалъ изъ комнаты. Только въ эту минуту я понялъ, отчего происходилъ тотъ сильный, тяжелый запахъ, который, смѣшиваясь съ запахомъ ладана, наполнялъ комнату; и мысль, что то лицо, которое за нѣсколько дней было исполнено красоты и нѣжности, лицо той, которую я любилъ больше всего на свѣтѣ, могло возбуждать ужасъ, какъ будто въ первый разъ открыла мнѣ горькую истину и наполнила душу отчаяніемъ.

Л. Толстой.





С т а н с ы.

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храмъ,
Сижу ль межъ юношей безумныхъ,
Я предаюсь моимъ мечтамъ.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здѣсь ни видно насъ,
Мы все сойдемъ подъ вѣчны своды—
И чей-нибудь ужъ близокъ часъ.

Гляжу ль на дубъ уединенный,
И мыслю: патриархъ лѣсовъ
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебѣ я мѣсто уступаю:
Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти.

День каждый, каждую минуту
Привыкъ я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараюсь угадать.

И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина:
Въ бою ли, въ странствіи, въ волнахъ?
Или сосѣдняя долина
Мой приметъ охладѣлый прахъ?

И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все бѣ хотѣлось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

А. Пушкинъ.

Т р и с м е р т и.

I.

Карета была заложена, но ящикъ мѣшкалъ, — онъ зашелъ въ ямскую избу. Въ избѣ было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильемъ, печенымъ хлѣбомъ, капустой и овчиной. Нѣсколько человекъ ящиковъ было въ горницѣ, кухарка возилась у печи, на печи въ овчинахъ лежалъ больной.

— Дядя Хвѣдоръ, а дядя Хвѣдоръ! — сказалъ молодой парень, ящикъ, въ тулупѣ и съ кнутомъ за поясомъ, входя въ комнату и обращаясь къ больному.

— Ты чаво, шабала, тебѣку спрашиваешь? — отозвался одинъ изъ ящиковъ. — Вишь, тебя въ карету ждуть.

— Хочу сапогъ попросить, свои избилъ, — отвѣчалъ парень, скидывая волосы и оправляя рукавицы за поясомъ. — Аль спитъ? А, дядя Хвѣдоръ! — повторилъ онъ, подходя къ печи.

— Чаво?— послышался слабый голосъ, и рыжее худое лицо нагнулось съ печи. Широкая, исхудалая и поблѣднѣвшая рука, покрытая волосами, натягивала армякъ на острое плечо въ грязной рубахѣ.— Дай испить, братъ! Ты чаво?

Парень подаль ковшикъ съ водой.

— Да что, Оедя,— сказалъ онъ, переминяясь,— тебѣ, чай, сапогъ новыхъ не надо теперь, отдай мнѣ,— ходить, чай, не будешь?

Больной, припавъ усталою головою къ глянцевитому ковшу и макая рѣдкіе, отвисшіе усы въ темной водѣ, слабо и жадно пилъ. Спутанная борода его была не чиста; впалые, тусклые глаза съ трудомъ подыались на лицо парня. Отставъ отъ воды, онъ хотѣлъ поднять руку, чтобъ отереть мокрыя губы, но не могъ, и отерся о рукавъ армяка. Молча и тяжело дыша носомъ, онъ смотрѣлъ прямо въ глаза парня, собираясь съ силами.

— Може, ты кому пообѣщалъ уже?— сказалъ парень.— Такъ, даромъ. Главное дѣло, мочить на дворѣ, а мнѣ съ работой ѣхать, я и подумалъ себѣ, дай, у Оедьки сапогъ попрошу,— ему, чай, не надо. Може, тебѣ самому надобны, ты скажи?

Въ груди больного что-то стало переливаться и бурчать; онъ перегнулся и сталъ давиться горловымъ, неразрѣшавшимся кашлемъ.

— Ужъ гдѣ надобны! — неожиданно сердито, на всю избу, затрещала кухарка.— Второй мѣсяцъ съ печи не слѣзаетъ! Вишь, надывается, даже у самой внутренность болить, какъ слышишь только. Гдѣ ему сапоги надобны? Въ новыхъ сапогахъ хоронить не стануть... А ужъ давно пора, прости, Господи, согрѣшеніе! Вишь, надывается. Либо перевести его, что ль, въ избу въ другую, или куда! Такія больницы, слышь, въ городу есть; а то развѣ дѣло — занять весь уголь, да и шабашъ? Нѣтъ тебѣ простору никакого. А тоже чистоту спрашиваютъ!

— Эй, Серега, иди, садись, господа ждуть!— крикнулъ въ дверь почтовый староста.

Серега хотѣлъ уйти, не дождавшись отвѣта, но больной глазами во время кашля давалъ ему знать, что хочетъ отвѣтить.

— Ты сапоги возьми, Серега, — сказалъ онъ, подавивъ кашель и отдохнувъ немного. — Только, слышь, камень купи, какъ помру, — хрипя, прибавилъ онъ.

— Спасибо, дядя! Такъ я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

— Вотъ, ребята, слышали?— могъ выговорить еще больной и снова перегнулся внизъ и сталъ давиться.

— Ладно, слышали,— сказалъ одинъ изъ ямщиковъ.— Иди, Серега, садись, а то вонъ опять староста бѣжитъ. Барыня, вишь, Ширкинская больная.

Серега живо скинулъ свои прорванные, несоразмѣрно большіе сапоги и швырнулъ подъ лавку. Новые сапоги дяди Оедора припились какъ разъ по ногамъ, и Серега, поглядывая на нихъ, вышелъ къ каретѣ.

— Эхъ сапоги важные! Дай помажу,— сказалъ ямщикъ съ помазкомъ въ рукѣ, въ то время, какъ Серега, взлѣзая на козлы, подбиралъ вожжи.— Даромъ отдашь?

— Аль завидно? — отвѣчалъ Серега, приподнимаясь и подвертывая около ногъ полы армяка.— Пуцай! Эхъ, вы, любезныя! — крикнулъ онъ на лошадей, взмахнулъ кнутикомъ, и карета и коляска съ своими сѣдоками, чемоданами и

важами, скрываясь въ сѣромъ осеннемъ туманѣ, шибко покатались по мокрой дорогѣ.

Больной ямщикъ остался въ душной избѣ на печи и, не выкашлявшись, черезъ силу перевернулся на другой бокъ и затихъ.

Въ избѣ до вечера приходили, уходили, обѣдали,—больного было не слышно. Передъ ночью кухарка взлѣзла на печь и черезъ его ноги достала тулунъ.

— Ты на меня не серчай, Настасья,—проговорилъ больной,—скоро опростаю уголь-то твой.

— Ладно, ладно, что жъ, ничаво,—пробормотала Настасья. — Да что у тебя болитъ-то, дядя, ты скажи?

— Все нутро изныло. Богъ его знаетъ, что.

— Небось, и глотка болитъ, какъ капляешь?

— Вездѣ больно. Смерть моя пришла — вотъ что! Охъ-охъ-охъ... — простоналъ больной.

— Ты ноги-то укрой вотъ такъ,—сказала Настасья, по дорогѣ натягивая на него армякъ и слѣзая съ печи.

Ночью въ избѣ слабо свѣтилъ ночникъ. Настасья и человекъ десять ямщиковъ съ громкимъ храпомъ спали на полу и по лавкамъ. Одинъ больной слабо кряхтѣлъ, кашлялъ и ворочался на печи. Къ утру онъ затихъ совершенно.

— Чудно что-то я нынче во снѣ видѣла,—говорила кухарка, въ полу-свѣтѣ потягиваясь на другое утро.—Вижу я, будто дядя Хвѣдоръ съ печи слѣзъ и пошелъ дрова рубить. Дай, говоритъ, Настя, я тебѣ подсоблю; а я ему говорю: куда ужъ тебѣ дрова рубить? А онъ какъ схватитъ топоръ, да почнетъ рубить, такъ шибко, шибко, только щепки летятъ. Что жъ, я говорю, ты вѣдь боленъ былъ? Нѣтъ, говоритъ, я здоровъ, да какъ замашнется, на меня страхъ и нашелъ. Какъ я закричу... и проснулась. — Ужъ не померъ ли?.. Дядя Хвѣдоръ, а дядя!

Федоръ не откликнулся.

— И то не померъ ли? Пойти посмотрѣть,—сказалъ одинъ изъ проснувшихся ямщиковъ.

Свисшая съ печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и блѣдна.

— Пойти смотрителю сказать. Кажись, померъ,—сказалъ ямщикъ.

Родныхъ у Федора не было,—онъ былъ дальній. На другой день его похорошили на новомъ кладбищѣ за рощей, и Настасья нѣсколько дней рассказывала всѣмъ про сонъ, который она видѣла, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

II.

Пришла весна. По мокрымъ улицамъ города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвѣта одеждъ и звуки говора движущагося народа были ярки. Въ садикахъ за заборами пухнули почки деревьевъ, и вѣтви ихъ чуть слышно покачивались отъ свѣжаго вѣтра. Вездѣ лились и капали прозрачныя капли... Воробьи несладно подпискивали и подпархивали на своихъ маленькихъ крыльяхъ. На солнечной сторонѣ, на заборахъ, домахъ и деревьяхъ — все двигалось и блестяло. Радостно, молодо было и на небѣ, и на землѣ, и въ сердцѣ человека.

На одной изъ главныхъ улицъ, передъ большимъ барскимъ домомъ, была постлана свѣжая солома; въ домѣ была та самая умирающая больная, которая спѣшила за границу.

У затворенныхъ дверей комнаты стояли: мужъ больной и пожилая женщина. На диванѣ сидѣлъ священникъ, опустивъ глаза и держа что-то завернутымъ въ епитрахили. Въ углу, въ вольтеровскомъ креслѣ, лежала старушка, мать больной, и горько плакала. Подлѣ нея горничная держала на рукѣ чистый носовой платокъ, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чѣмъ-то терла виски старушки и дула ей подѣ чепчикъ въ сѣдую голову.

— Ну, Христосъ съ вами, мой другъ,—говорилъ мужъ пожилой женщины, стоявшей съ нимъ у двери,—она такое имѣетъ довѣріе къ вамъ, вы такъ умѣете говорить съ ней; уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же.—Онъ хотѣлъ уже отворить ей дверь, но кузина удержала его, приложила нѣсколько разъ платокъ къ глазамъ и встряхнула головой.

— Вотъ теперь, кажется, я не заплакана,—сказала она и, сама отворивъ дверь, прошла въ нее.

Мужъ былъ въ сильномъ волненіи и казался совершенно растерянъ. Онъ направился было къ старушкѣ, но, не дойдя нѣсколько шаговъ, повернулся, прошелъ по комнатѣ и подошелъ къ священнику. Священникъ посмотрѣлъ на него, поднялъ брови къ небу и вздохнулъ. Густая съ просѣдью борода тоже поднялась кверху и опустилась.

— Боже мой, Боже мой! — сказалъ мужъ.

— Что дѣлать?—вздыхая, сказалъ священникъ, и снова брови и борода его поднялись кверху и опустились.

— И матушка тутъ!—почти съ отчаяніемъ сказалъ мужъ.—Она не вынесетъ этого! Вѣдь такъ любить, такъ любить ее, какъ она... я не знаю. Хотѣ бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священникъ всталъ и подошелъ къ старушкѣ.

— Точно-съ, материнское сердце никто оцѣнить не можетъ, — сказалъ онъ, — однако Богъ милосердѣ.

Лицо старушки вдругъ все стало подергиваться, и съ ней сдѣлалась истерическая икота.

— Богъ милосердѣ,—продолжалъ священникъ, когда она успокоилась немного.—Я вамъ доложу, въ моемъ приходѣ былъ одинъ больной много-много хуже Марьи Дмитріевны, и что же?—простой мѣщанинъ травами вылѣчилъ въ короткое время. И даже мѣщанинъ этотъ самый теперь въ Москвѣ. И говорилъ Василію Дмитріевичу: можно бы испытать... По крайности, утѣшеніе для больной бы было. Для Бога все возможно.

— Нѣтъ, ужъ ей не жить!—проговорила старушка.—Чѣмъ бы меня, а ее Богъ беретъ.—И истерическая икота усилилась такъ, что чувства оставили ее.

Мужъ больной закрылъ лицо руками и выбѣжалъ изъ комнаты.

Въ коридорѣ первое лицо, встрѣтившее его, былъ шестилѣтній мальчикъ, во весь духъ догонявшій младшую дѣвочку.

— Что жъ, дѣтей-то не прикажете къ мамашѣ сводить?—спросила няня.

— Нѣтъ, она не хочетъ ихъ видѣть. Это разстроить ее.

Мальчикъ остановился на минуту, пристально всматриваясь въ лицо отца, и вдругъ подпрыгнулъ ногой и съ веселымъ крикомъ побѣжалъ дальше.

— Это она будто бы ворона, папаша! — прокричал мальчикъ, указывая на сестру.

Между тѣмъ въ другой комнатѣ кузина сидѣла подлѣ больной и искусно веденымъ разговоромъ старалась приготовить ее къ мысли о смерти. Докторъ у другого окна мѣшалъ питье.

Больная, въ бѣломъ капотѣ, вся обложенная подушками, сидѣла на постели и молча смотрѣла на кузину.

— Ахъ, мой другъ, — сказала она, неожиданно перебивая ее, — не приготовляйте меня! Не считайте меня за дитя. Я — христіанка. Я все знаю. Я знаю, что мнѣ жить недолго; я знаю, что ежели бы мужъ мой раньше послушалъ меня, я бы была въ Италіи и, можетъ-быть, — даже навѣрно, — была бы здорова. Это все ему говорили. Но что жъ дѣлать, видно, Богу было такъ угодно. На всѣхъ насъ много грѣховъ, я знаю это; но надѣюсь на милость Бога, всѣмъ простится, должно-быть, всѣмъ простится. Я стараюсь понять себя. И на мнѣ было много грѣховъ, мой другъ. Но зато сколько я выстрадала! Я старалась сносить съ терпѣніемъ свои страданія...

— Такъ позвать батюшку, мой другъ? Вамъ будетъ еще легче, причастившись, — сказала кузина.

Больная нагнула голову въ знакъ согласія.

— Боже, прости меня, грѣшную! — прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшкѣ.

— Это ангелъ! — сказала она мужу со слезами на глазахъ.

Мужъ заплакалъ, священникъ прошелъ въ дверь, старушка все еще была безъ памяти, и въ первой комнатѣ стало совершенно тихо. Черезъ пять минутъ священникъ вышелъ изъ двери и, снявъ епитрахиль, оправилъ волосы.

— Слава Богу, онѣ спокойнѣе теперь, — сказалъ онъ: — желаютъ васъ видѣть.

Кузина и мужъ вышли. Больная тихо плакала, глядя на образъ.

— Поздравляю тебя, мой другъ! — сказалъ мужъ.

— Благодарствуй... Какъ мнѣ теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю! — говорила больная, и легкая улыбка играла на ея тонкихъ губахъ. — Какъ Богъ милостивъ, не правда ли?.. Онъ милостивъ и всемогущъ! — И она снова съ жадною мольбой смотрѣла полными слезъ глазами на образъ.

Потомъ вдругъ какъ будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала къ себѣ мужа.

— Ты никогда не хочешь сдѣлать, что я прошу... — сказала она слабымъ и недовольнымъ голосомъ.

Мужъ, вытянувъ шею, покорно слушалъ ее.

— Что, мой другъ?

— Сколько разъ я говорила, что эти доктора ничего не знаютъ. Есть простыя лѣкарки, онѣ вылѣчиваютъ... Вотъ батюшка говорилъ... мѣщанинъ... Пошли!

— За кѣмъ, мой другъ?

— Боже мой, ничего не хочетъ понимать!.. — И больная сморщилась и закрыла глаза.

Докторъ, подойди къ ней, возьми ее за руку. Пульсъ замѣтно бился слабѣе и слабѣе. Онъ мигнулъ мужу. Больная замѣтила этотъ жестъ и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня, — говорила больная: — это отнимаетъ у меня послѣднее спокойствіе.

— Ты ангелъ! — сказала кузина, цѣлуя ея руку.

— Цѣлуй, сюда поцѣлуй, — только мертвыхъ цѣлуютъ въ руку... Боже мой, Боже мой!

Въ тотъ же вечеръ больная уже была тѣло, и тѣло въ гробу стояло въ залѣ большого дома. Въ большой комнатѣ съ затворенными дверями сидѣлъ одинъ дьячокъ и въ носъ, мѣрнымъ голосомъ читалъ пѣсни Давида. Яркій восковой свѣтъ съ высокихъ серебряныхъ подсвѣчников надалъ на блѣдный лобъ усопшей, на тяжелыя восковыя руки и окаменѣлыя складки покрыва, страшно поднимающагося на колѣняхъ и пальцахъ ногъ. Дьячокъ, не понимая своихъ словъ, мѣрно читалъ, и въ тихой комнатѣ странно звучали и замирали слова. Изрѣдка изъ дальней комнаты долетали звуки дѣтскихъ голосовъ и ихъ топота.

«Сокроешь лице Твое — смущаются, — гласилъ псалтирь, — возмешь отъ нихъ духъ — умираютъ и въ прахъ свой возвращаются. Пошлешь духъ Твой — соиздаются и обновляютъ лице земли. Да будетъ Господу слава вѣки».

Лицо усопшей было строго и величаво. Ни въ чистомъ холодномъ лбѣ, ни въ твердо сложенныхъ устахъ ничто не двигалось. Она вся была вниманіе. Но понимала ли она хоть теперь великія слова эти?

III.

Черезъ мѣсяцъ надъ могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Надъ могилой ямщика все еще не было камня, и только свѣтло-зеленая трава пробивалась надъ бугоркомъ, служившимъ единственнымъ признакомъ прошедшаго существованія человѣка.

— А грѣхъ тебѣ будетъ, Серега, — говорила разъ кухарка на станціи, — коли ты Хвѣдору камня не купишь. То говорилъ — зима, зима, а нынче что жъ слова не держишь? Вѣдь при мнѣ было. Онъ ужъ приходилъ къ тебѣ разъ просить; не купишь, — еще разъ придетъ, душить станетъ.

— Да что, я развѣ отрекаюсь? — отвѣчалъ Серега. — Я камень куплю, какъ сказалъ, куплю, въ полтора цѣлковыхъ куплю. Я не забылъ, да вѣдь привезти надо. Какъ случай въ городѣ будетъ, такъ и куплю.

— Ты бы хошь крестъ поставилъ — вотъ что! — отозвался старый ямщикъ: — а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Гдѣ его возьмешь, крестъ-то?.. Изъ полѣна не вытешешь.

— Что говоришь-то — изъ полѣна не вытешешь? Возьми топоръ, да въ рошу пораньше сходи, вотъ и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь, вотъ и голубецъ будетъ. А то пойдн еще объѣздчика пой водкой... За всякою дрянью поить не наготовишься. Воиъ я наемни вагу сломалъ, новую вырубилъ важную, — никто слова не сказалъ.

Раннимъ утромъ, чуть зорька, Серега взялъ топоръ и пошелъ въ рошу.

На всемъ лежалъ холодный матовый покровъ еще надавшей, не освѣщенной солнцемъ росы. Востокъ незамѣтно яснилъ, отражая свой слабый свѣтъ на

подернутомъ тонкими тучами сводъ неба. Ни одна травка внизу, ни одинъ листъ на верхней вѣткѣ дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ деревьевъ или шелеста по землѣ нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ, звукъ разнесся и замеръ на опушкѣ лѣса. Но снова послышался звукъ, и равномерно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушекъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перескочила два раза, и, подергивая хвостикомъ, сѣла на другое дерево.

Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше, сочные бѣлые щепки лѣзли на росистую траву, и легкій трескъ послышался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебалось на своемъ корнѣ. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и опустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звукъ топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями.

Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и побѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачныя побѣлѣвшія тучки, снѣжа, разбѣгались по снѣжному своду. Птицы гомозились въ чащѣ и, какъ потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались на вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревьевъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ поникшимъ деревомъ

Л. Толстой.



Петербургъ и провинція.

«Такъ вотъ какъ здѣсь, въ Петербургѣ...» думалъ Александръ ¹⁾, сидя въ новомъ своемъ жилищѣ.

Молодой Адуевъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатамъ въ сильной задумчивости, а Евсей ²⁾ говорилъ самъ съ собою, убирая комнату:

— Что это за житье здѣсь,—ворчалъ онъ:—у Петра Ивановича ³⁾ кухня-то, слышь, разъ въ мѣсяцъ топится, люди-то у чужихъ обѣдаютъ... Эко, Го-

¹⁾ Адуевъ, молодой помѣщикъ, пріѣхавшій изъ деревни въ Петербургъ.

²⁾ Слуга Александра Адуева.

³⁾ Дядя Александра Адуева.

споди! Ну, народенъ! печего сказать, а еще петербургскіе называются! У насъ и собака каждая изъ своей площадки лакаетъ.

Александръ, кажется, раздѣлялъ мнѣніе Евсея, хотя и молчалъ. Онъ подошелъ къ окну и увидѣлъ однѣ трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домовъ... и сравнилъ съ тѣмъ, что видѣлъ, назадъ тому двѣ недѣли, изъ окна своего деревенскаго дома. Ему стало грустно.

Онъ вышелъ на улицу—суматоха, всѣ бѣгутъ куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящихъ, и то развѣ для того, чтобъ не наткнуться другъ на друга. Онъ вспомнилъ про свой губернский городъ, гдѣ каждая встрѣча, съ кѣмъ бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вотъ Иванъ Ивановичъ идетъ къ Петру Петровичу—и всѣ въ городѣ знаютъ, зачѣмъ. То Марья Мартыновна ѣдетъ отъ вечерни, то Афанасій Саввичъ на рыбную ловлю. Тамъ проскакалъ, сломя голову, жандармъ отъ губернатора къ доктору, и всякій знаетъ, что ея превосходительство изволить родить, хотя, по мнѣнію разныхъ кумушекъ и бабушекъ, объ этомъ заранѣе знать не слѣдовало бы. Всѣ спрашиваютъ, что: дочку или сына? Барыни готовятъ парадные чепцы. Вонъ Матвѣй Матвѣичъ вышелъ изъ дому, съ толстой палкой, въ шестомъ часу вечера, и всякому извѣстно, что онъ идетъ дѣлать вечерній моціонъ, что у него безъ того желудокъ не варить, и что онъ остановится непременно у окна стараго совѣтника, который, также извѣстно, пьетъ въ это время чай. Съ кѣмъ ни встрѣтишься—поклонъ да пару словъ, а съ кѣмъ и не кланяешься, такъ знаешь, кто онъ, куда и зачѣмъ идетъ, и у того въ глазахъ написано: и я знаю, кто вы, куда и зачѣмъ идете. Если, наконецъ, встрѣтятся незнакомые, еще не видавшіе другъ друга, то вдругъ лица обонхъ превращаются въ знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назадъ раза два, а пришедши домой, опишутъ и костюмъ, и походку новаго лица, и пойдутъ толки и догадки, и кто, и откуда, и зачѣмъ? А здѣсь такъ взглядомъ и сталкиваютъ прочь съ дороги, какъ будто всѣ враги между собою.

Александръ сначала съ провинціальнымъ любопытствомъ вглядывался въ каждого встрѣчнаго и каждого порядочно одѣтаго человѣка, принимая ихъ то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не онъ ли?—думалъ онъ.—Не этотъ ли?» Но вскорѣ это надоѣло ему—министры, писатели, посланники встрѣчались на каждомъ шагу.

Онъ посмотрѣлъ на дома—и ему стало еще скучнѣе: на него наводили тоску эти однообразныя каменные громады, которыя, какъ колоссальныя гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вотъ кончается улица, сейчасъ будетъ приволье глазамъ,—думалъ онъ:—или горка, или зелень, или развалившійся заборъ»,—нѣтъ, опять начинается та же каменная ограда одинакихъ домовъ, съ четырьмя рядами оконъ. И эта улица кончилась, ее преграждаетъ опять то же, а тамъ новый порядокъ такихъ же домовъ. Заглянешь направо, налево—всюду обступили вась, какъ рать исполиновъ, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно... нѣтъ простора и выхода взгляду: заперты со всѣхъ сторонъ,—кажется, и мысли, и чувства людскія также заперты.

Тяжелы первыя впечатлѣнія провинціала въ Петербургѣ. Ему дико, грустно; его никто не замѣчаетъ; онъ потерялся здѣсь; ни новости, ни разнообразіе, ни толпа не развлекаютъ его. Провинціальный эгоизмъ его объявляетъ войну всему, что онъ видитъ здѣсь, и чего не видѣлъ у себя. Онъ задумывается и мысленно

переносится въ свой городъ. Какой отрадный видъ! Одинъ домъ съ острокопечной крышей и съ палисадничкомъ изъ акацій. На крышѣ надстройка, пріютъ голубей,—купецъ Изюминъ охотникъ гонять ихъ: для этого онъ взялъ да и выстропилъ голубятню на крышѣ; и по утрамъ, и по вечерамъ, въ колпакѣ, въ халатѣ, съ палкой, къ концу которой привязана тряпичка, стоитъ на крышѣ и посвистываетъ, размахивая палкой. Другой домъ—точно фонарь: со всѣхъ четырехъ сторонъ весь въ окнахъ и съ плоской крышей, домъ давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгоритъ отъ самовозгорѣнія; тесъ принялъ какой-то свѣтло-сѣрый цвѣтъ. Страшно жить въ такомъ домѣ, но тамъ живутъ. Хозяинъ иногда, правда, посмотреть на скопившіеся потолокъ и покачаетъ головой, примолвивъ: простоятъ ли до весны? А все! скажетъ потомъ и продолжатъ жить, опасаясь не за себя, а за кармаиъ. Подлѣ него кокетливо красуется диконскій домъ лѣкаря, раскинувшійся полукружіемъ, съ двумя похожими на будки флигелями, а этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на двѣ версты тянется заборъ, изъ-за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки, искушеніе мальчишекъ. Отъ церквей дома отступили на почтительное разстояніе. Кругомъ ихъ растетъ густая трава, лежатъ надгробныя плиты. Присутственныя мѣста—такъ и видно, что присутственныя мѣста: близко безъ надобности никто не подходитъ. А тутъ, въ столицѣ, ихъ и не отличишь отъ простыхъ домовъ, да еще, срамъ сказать, и лавочка тутъ же въ домѣ. А пройдешь тамъ, въ городѣ, двѣ, три улицы, ужъ и чуюшь вольный воздухъ, начинаются плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а неподвижность, а скука—и на улицѣ и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И все живутъ вольно, нараспашку, никому не тѣсно, даже куры и пѣтухи свободно расхаживаютъ по улицамъ, козы и коровы щиплютъ траву, ребятишки пускаютъ змѣй.

А здѣсь... какая тоска! И провинціалъ вздыхаетъ и по заборѣ, который напротивъ его оконъ, и по пыльной и грязной улицѣ, и по тряскому мосту, и по вывѣскѣ на питейной конторѣ. Ему противно сознаться, что Исаакіевскій соборъ лучше и выше собора въ его городѣ, что зала Дворянскаго Собранія больше залы тамошней. Онъ сердито молчитъ при подобныхъ сравненіяхъ, а иногда рискнетъ сказать, что такую-то матерію или такое-то вино можно у нихъ достать и лучше и дешевле, а что на заморскія рѣдкости, этихъ большихъ раковъ и раковинъ, да красныхъ рыбокъ, тамъ и смотрѣть не станутъ, и что вольно, дескать, вамъ покупать у иностранцевъ разныя матеріи да бездѣлушки; они обдираютъ васъ, а вы и рады быть олухами! Зато, какъ онъ вдругъ обрадуется, какъ посравнитъ да увидитъ, что у него въ городѣ лучше икра, груши или колачи. «Такъ это-то называется груша у васъ?—скажетъ онъ.—Да у насъ это и люди не станутъ ѣсть!..»

Еще болѣе взгрустнется провинціалу, какъ онъ войдетъ въ одинъ изъ этихъ домовъ, съ письмомъ издалека. Онъ думаетъ, вотъ откроется ему широкія объятія, не будутъ знать, какъ принять его, гдѣ посадить, какъ угостить; станутъ искусно вывѣдывать, какое его любимое блюдо, какъ ему станетъ совѣстно отъ этихъ ласкъ, какъ онъ, подъ конецъ, броситъ все церемоніи, расцѣлуетъ хозяйина и хозяйку, станетъ говорить имъ *ты*, какъ будто двадцать лѣтъ знакомы: все подошютъ наливочки, можетъ-быть, запоютъ пѣсню...

Куда! на него едва глядятъ, морщатся, извиняются занятіями; если есть дѣло, такъ назначаютъ такой часъ, когда не обѣдаютъ и не ужинаютъ, а адмиральскаго часу вовсе не знаютъ—ни водки ни закуски. Хозяинъ пьитися отъ объятій, смотритъ на гости какъ-то странно. Въ сосѣдней комнатѣ звенятъ ложками, стаканами: тутъ-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Все назанерти, вездѣ колокольчики: не мизерно ли это? да какія-то холодныя пелюдимыя лица. А тамъ, у насъ, входи смѣло; если отобѣдали, такъ опять для гостей станутъ обѣдать; самоваръ утромъ и вечеромъ не сходитъ со стола, а колокольчиковъ и въ магазинахъ нѣтъ. Обнимаются, цѣлуются всѣ, и встрѣчный и поперечный. Сосѣдъ тамъ—такъ настоящий сосѣдъ, живутъ рука въ руку, душа въ душу; родственникъ—такъ родственникъ: умереть за своего... Эхъ, грустно!

Александръ добрался до Адмиралтейской площади и остолбенѣлъ. Опъ съ часъ простоялъ передъ *Мѣднымъ всадникомъ*, но не съ горькимъ упрекомъ въ душѣ, какъ бѣдный *Евгеній*, а съ восторженной думой. Взглянулъ на Неву, окружающія ее зданія—и глаза его заверкали. Опъ вдругъ застыдился своего пристрастія къ трясинамъ мостамъ, палисадникамъ, разрушеннымъ заборамъ. Ему стало весело и легко. И суматоха и толпа—все въ глазахъ его получило другое значеніе. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустнымъ впечатлѣніемъ; новая жизнь отверзала ему объятія и манила къ чему-то неизвѣстному. Сердце его сильно билось. Опъ мечталъ о благородномъ трудѣ, о высокихъ стремленіяхъ, и преважно выступалъ по Невскому проспекту, считая себя гражданиномъ новаго міра... Въ этихъ мечтахъ воротился опъ домой.

И. Гончаровъ.

П у т ь.

Путь широкій давно
Предо мною лежитъ,
Да нельзя мнѣ по немъ
Ни летать, ни ходить...

Кто же держитъ меня,
И что кинуть мнѣ жаль?
И зачѣмъ до сихъ поръ
Не стремлюся я вдаль?

Или доля моя
Сиротой родилась?
Иль со счастьемъ слѣпнымъ
Безъ ума разошлась?

По лѣтамъ и кудрямъ
Не старикъ еще я:
Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня!

Много слугъ и казны
Подъ замками лежить;
И лихой-вороной
Ужъ осѣдланъ стоитъ.

Да на путь — по душѣ —
Крѣпкой воли мнѣ нѣтъ,
Чтобъ въ чужой сторонѣ
На людей поглядѣть;

Чтобъ порой предъ бѣдой
За себя постоять,
Подъ грозой роковой
Назадъ шагу не дать;

И чтобъ съ горемъ въ пиру,
Быть съ веселымъ лицомъ;
На погибель идти —
Пѣсни пѣть соловьемъ!

А. Кольцовъ.

Т о с к а.

Кому повѣмъ печаль мою?..

Вечернія сумерки. Крупный, мокрый снѣгъ лѣнливо кружится около только что зажженныхъ фонарей и тонкимъ, мягкимъ пластомъ ложится на крыши, лошадиныя спины, плечи, шапки. Извозчикъ Иона Потаповъ весь бѣлъ, какъ привидѣніе. Онъ согнулся, насколько только возможно согнуться живому тѣлу, сидитъ на козлахъ и не шевелится. Упавъ на него цѣлый сугробъ, то и тогда бы, кажется, онъ не нашелъ нужнымъ стряхивать съ себя снѣгъ... Его лошаденка тоже бѣла и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью формъ и палкообразной примизною ногъ она даже вблизи похожа на копеечную прачичную лошадку. Она, по всей вѣроятности, погружена въ мысль. Кого оторвали отъ плуга, отъ привычныхъ, сѣрыхъ картинъ и бросили сюда въ этотъ омутъ, полный чудовищныхъ огней, неугомоннаго треска и бѣгущихъ людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются съ мѣста уже давно. Выѣхали они со двора еще до обѣда, а почина все нѣтъ и нѣтъ. Но вотъ на городъ спускается вечерняя мгла. Блѣдность фонарныхъ огней уступаетъ свое мѣсто живой краскѣ, и уличная суматоха становится шумнѣе.

— Извозчикъ, на Выборгскую!—слышитъ Иона.—Извозчикъ!

Иона вздрагиваетъ и сквозь рѣсницы, облѣвленные снѣгомъ, видитъ военного въ шинели съ капюшономъ.

— На Выборгскую!—повторяетъ военный.—Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

Въ знакъ согласія Иона дергаетъ вожжи, отчего со спины лошади и съ его плечъ сыплются пласты снѣга... Военный садится въ сани. Извозчикъ чмокаетъ губами, вытягиваетъ по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычкѣ, чѣмъ по нуждѣ, машетъ кнутомъ. Лошаденка тоже вытягиваетъ шею, кривитъ свои палкообразныя ноги и нерѣшительно двигается съ мѣста...

— Куда прешь, лѣшій!—на первыхъ же порахъ слышитъ Иона возгласы изъ темной, движущейся взадъ и впередъ массы.—Куда черти несутъ? Пррава держи!

— Ты ѣздить не умѣешь! Права держи!—сердится военный.

Бранится кучеръ съ кареты, злобно глядитъ и стряхиваетъ съ рукава снѣгъ прохожій, перебѣгавшій дорогу и палетѣвшій плечомъ на морду лошаденки. Иона ерзаетъ на козлахъ, какъ на иголкахъ, тыкаетъ въ стороны локтями и водитъ глазами, какъ угорѣлый, словно не понимаетъ, гдѣ онъ и зачѣмъ онъ здѣсь.

— Какіе всѣ подлецы!—острить военный.—Такъ и норовятъ столкнуться съ тобой, или подъ лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на сѣдока и шевелитъ губами... Хочетъ онъ, повидимому, что-то сказать, но изъ горла не выходитъ ничего, кромѣ сопѣнья.

— Что?—спрашиваетъ военный.

Иона кривитъ улыбкой ротъ, напрягаетъ свое горло и шепчетъ:

— А у меня, баринъ, тово... сынъ на этой недѣлѣ померъ.

— Гмъ!.. Отчего же онъ умеръ?

Иона оборачивается всѣмъ туловищемъ къ сѣдоку и говоритъ:

— А кто жъ его знаетъ! Должно, отъ горячки... Три дня лежалъ въ больницѣ и померъ... Божья воля.

— Сворачивай, дьяволъ!—раздается въ потемкахъ.—Повылазило, что ли, старый пестъ? Гляди глазами!

— Поѣзжай, поѣзжай!—говоритъ сѣдокъ.—Этакъ мы и до завтра не доѣдемъ. Подгони-ка!

Извозчикъ опять вытягиваетъ шею, приподнимается и съ тяжелой граціей взмахиваетъ кнутомъ. Нѣсколько разъ потомъ оглядывается онъ на сѣдока, но тотъ закрылъ глаза и, повидимому, не расположенъ слушать. Высадивъ его на Выборгской, онъ останавливается у трактира, сгибается на козлахъ и опять не шевельнется... Мокрый снѣгъ опять краситъ набѣло его лошадедку. Проходить часъ, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходятъ трое молодыхъ людей: двое изъ нихъ высоки и тонки, третій малъ и горбатъ.

— Извозчикъ, къ Полицейскому мосту!—кричитъ дребезжащимъ голосомъ горбачъ.—Троихъ... двугривенный!

Иона дергаетъ вожжами и чмокаетъ. Двугривенный цѣна не сходная, но ему не до цѣны... Что рубль, что пятакъ—для него теперь все равно, были бы только сѣдоки... Молодые люди, толкались и сквернословя, подходятъ къ санимъ и всѣ трое сразу лѣзутъ на сидѣнье. Начинаясь рѣшеніе вопроса: кому двумъ сидѣть, а кому третьему стоять? Послѣ долгой перебранки, капризничанья и попрековъ, приходятъ къ рѣшенію, что стоять долженъ горбачъ, какъ самый маленькій.

— Ну, погоняй!—дребезжитъ горбачъ, устанавливаясь и дыша въ затылокъ Ионы.—Дупи! Да и шанка же у тебя, братецъ! Хуже во всемъ Петербургѣ не найти...

— Гы-ы... гы-ы...—хохочетъ Иона.—Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этакъ ты всю дорогу будешь ѣхать? Да? А по шеѣ?..

— Голова трещить!...—говоритъ одинъ изъ длинныхъ.—Вчера у Дукма-совыхъ мы вдвоемъ съ Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачѣмъ врать!—сердится другой длинный.—Вретъ, какъ скотина.

— Накажи меня Богъ, правда...

— Это такая же правда, какъ то, что вошь кашляетъ.

— Гы-ы!—ухмыляется Иона.—Веселые господа!

— Тфу, чтобъ тебя черт!..—возмущается горбачъ.—Поѣдешь ты, старая холера, или нѣтъ? Развѣ такъ ѣздить?! Хлобысини-ка ее кнутомъ! Но, чортъ! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствуетъ за своей спиной вертящееся тѣло и голосовую дрожь горбача. Онъ слышитъ обращенную къ нему ругань, видитъ людей, и чувство одиночества начинаетъ мало-по-малу отлегать отъ груди. Горбачъ бранится до тѣхъ поръ, пока не давится вычурнымъ, шестипэтажнымъ ругательствомъ и не раздражается кашлемъ. Длинные начинаютъ говорить о какой-то Надеждѣ Пе-

тровнѣ. Иона оглядывается на нихъ. Дождавшись короткой паузы, онъ оглядывается еще разъ и бормочетъ:

— А у меня на этой недѣлѣ... тово... сынъ померъ!

— Всѣ померъ...—вздыхаетъ горбачъ, вытирая послѣ кашля губы.—Ну, погоний, погоний! Господа, я рѣшительно не могу дальше такъ ѣхать! Когда онъ насъ доведетъ?

— А ты его легонечко подбодри... въ шею!

— Старая холера, слышишь? Вѣдь шею наkostenяю!.. Съ вашимъ братомъ церемониться, такъ пѣшкомъ ходить!.. Ты слышишь, Змѣй Горынычъ? Или тебѣ плевать на наши слова?

И Иона больше слышитъ, чѣмъ чувствуетъ, звуки подзатыльника.

— Гы-ы...—смѣется онъ.—Веселые господа... дай Богъ здоровья!

— Извозчикъ, ты женатъ?—спрашиваетъ длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Танеря у меня одна жена—сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то-есть! Сынъ-то вотъ померъ, а я живъ... Чудное дѣло, смерть дверью обозналась... За мѣсто того, чтобъ ко мнѣ идтить, она къ сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, какъ умеръ его сынъ, но тутъ горбачъ легко вздыхаетъ и заявляетъ, что, слава Богу, они, наконецъ, пріѣхали. Получивъ двугривенный, Иона долго глядитъ вслѣдъ гулякамъ, исчезающимъ въ темномъ подъѣздѣ. Опять онъ одинокъ, и опять наступаетъ для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распираетъ грудь еще съ большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бѣгаютъ по толпамъ, снующимъ по обѣ стороны улицы: не найдется ли изъ этихъ тысячъ людей хоть одинъ, который выслушалъ бы его? Но толпы бѣгутъ, не замѣчая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границъ. Лопни грудь Ионы, и вылейся изъ нея тоска, такъ она бы, кажется, весь свѣтъ залила, но, тѣмъ не менѣе, ея не видно. Она сумѣла помѣститься въ такую ничтожную скорлупу, что ея не увидишь днемъ съ огнемъ...

Иона видитъ дворника съ кулькомъ и рѣшаетъ заговорить съ нимъ.

— Милый, который теперь часъ будетъ?—спрашиваетъ онъ

— Десятый... Чего же сталъ здѣсь? Проѣзжай!

Иона отъѣзжаетъ на нѣсколько шаговъ, изгибается и отдается тоскѣ... Обращаться къ людямъ онъ считаетъ уже бесполезнымъ. Но не проходитъ и пяти минутъ, какъ онъ выпрямляется, встряхиваетъ головой, словно почувствовалъ острую боль, и дергаетъ вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору,—думаетъ онъ.—Ко двору!»

И лошаденка, точно понявъ его мысль, начинаетъ бѣжать рысцей. Спустя часа полтора, Иона сидитъ уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьяхъ хранитъ народъ. Въ воздухѣ «спираль» и духота... Иона глядитъ на спящихъ, почесывается и жалѣетъ, что такъ рано вернулся домой...

И на овесъ не выѣздитъ,—думаетъ онъ.—Оттого-то вотъ и тоска. Человѣкъ, который знающій свое дѣло... который и самъ сытъ, и лошадь сыта, завсегда покоенъ...

Въ одномъ изъ угловъ поднимается молодой извозчикъ, сбино крикаетъ и тянется къ ведру съ водой.

— Пить захотѣлъ?—спрашиваетъ Иона

— Стало-быть, пить!

— Такъ... На здоровье... А у меня, братъ, сынъ померъ... Слыхалъ? на этой недѣлѣ въ больницѣ... Исторія!

Иона смотритъ, какой эффектъ произвели его слова, но не видитъ ничего. Молодой укрылся съ головой и уже спитъ. Старикъ вздыхаетъ и чешется... Какъ молодому хотѣлось пить, такъ ему хочется говорить. Скоро будетъ недѣля, какъ умеръ сынъ, а онъ еще путемъ не говорилъ ни съ кѣмъ... Нужно поговорить съ толкомъ, съ разстановкой... Надо рассказать, какъ заболѣлъ сынъ, какъ онъ мучился, что говорилъ передъ смертью, какъ умеръ... Нужно описать похороны и поѣздку въ больницу за одеждой покойника. Въ деревнѣ осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чемъ онъ можетъ теперь поговорить! Слушатель долженъ охатъ, вздыхать, причитывать... А съ бабами говорить еще лучше. Тѣ хоть и дуры, но ревутъ отъ двухъ словъ.

«Пойти лошадь поглядѣть,—думаетъ Иона.—Спать всегда уснѣшь... Небось, выспнѣшься...»

Онъ одѣвается и идетъ въ конюшню, гдѣ стоитъ его лошадь. Думаетъ онъ объ овсѣ, сѣнѣ, о погодѣ... Про сына, когда одинъ, думать онъ не можетъ... Поговорить съ кѣмъ-нибудь о немъ можно, но самому думать и рисовать себѣ его образъ невыносимо жутко...

— Жуешь?—спрашиваетъ Иона свою лошадь, видя ея блестящіе глаза.— Ну, жуй, жуй... Коли на овесъ не выѣздили, сѣно ѣсть будемъ... Да... Старъ ужъ сталъ я ѣздить... Сыну бы ѣздить, а не мнѣ... То настоящій извозчикъ былъ... Жить бы только...

Иона молчитъ нѣкоторое время и продолжаетъ:

— Такъ-то, братъ, кобылочка... Нѣту Кузьмы Юныча... Приказалъ долго жить... Взялъ и померъ зря... Таперь, скажемъ, у тебя жеребеночекъ, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдругъ, скажемъ, этотъ самый жеребеночекъ приказалъ долго жить... Вѣдь жалко?

Лошаденка жуетъ, слушаетъ и дышитъ на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказываетъ ей все...

А. Чеховъ.

Н а с т а н ц і и.

...Извергая клубы тяжелаго сѣраго дыма, пассажирскій поѣздъ, какъ огромное пресмыкающееся, исчезалъ въ степной дали, въ желтомъ морѣ хлѣбовъ. вмѣстѣ съ дымомъ поѣзда въ знойномъ воздухѣ таялъ сердитый шумъ, нарушавшій въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ равнодушное молчаніе широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая желѣзнодорожная станція возбуждала своимъ одиночествомъ чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шумъ поѣзда разсѣялся и замеръ подъ яснымъ куполомъ безоблачнаго неба, вокругъ станціи снова воцарилась угнетающая тишина, и съ нею унылое однообразіе степи увеличилось.

Степь была золотисто-желтая, небо—ярко-голубое. И та и другое были необъятно велики; коричневые постройки станціи, брошенной среди нихъ, производили впечатлѣніе случайнаго мазка, портившаго центръ меланхолической картины. трудолюбиво написанной художникомъ, лишеннымъ фантазіи и вдохновенія.

Ежедневно въ 12 дня и въ 4 пополудни къ станціи приходятъ изъ степи поѣзда и стоятъ по двѣ минуты. Эти четыре минуты—главное и единственное развлеченіе станціи: онѣ приносятъ съ собой впечатлѣнія ея служащимъ.

Въ каждомъ поѣздѣ толпа разнообразныхъ людей, разнообразно одѣтыхъ. Они являются на мигъ; въ окнахъ вагоновъ мелькнутъ ихъ утомленные, нетерпѣливыя, равнодушныя лица—звонокъ, свистки—и съ грохотомъ, возбуждающимъ нервы, они уносятся въ степь, вдаль, въ города, гдѣ кипитъ шумная жизнь.

Служащимъ станціи, скучающимъ въ своемъ одиночествѣ, любопытно видѣть эти лица, и, проводивъ поѣздъ, они дѣлятся другъ съ другомъ наблюденіями, схваченными на лету. Вокругъ нихъ лежитъ молчаливая степь, и надъ ними равнодушное небо, а въ ихъ сердцахъ смутная зависть къ тѣмъ людямъ, которые ежедневно куда-то стремятся мимо нихъ, тогда какъ они остаются, заключенные въ пустынь, живя какъ бы вѣкъ жизни и имѣя возможность видѣть людей только въ продолженіе четырехъ минутъ.

И вотъ, проводивъ поѣздъ, они стоятъ на перронѣ станціи, провожая глазами черную ленту, исчезающую въ золотомъ морѣ хлѣба, и молчатъ подъ впечатлѣніемъ жизни, пролетѣвшей мимо нихъ.

Они почти все тутъ: начальникъ станціи—добродушный и полный блондинъ съ большими казацкими усами; его помощникъ—рыжеватый молодой человекъ съ острой бородкой; станціонный сторожъ Лука—маленькій, юркій и хитрый, и одинъ изъ стрѣлочниковъ—Гомозовъ, плотный, широкобородый, молчаливый мужикъ съ лицомъ серьезнымъ и сытымъ.

На скамьѣ у двери станціи сидитъ жена начальника, маленькая и толстая женщина, сильно страдающая отъ жары. На колѣняхъ у нея спитъ ребенокъ, и лицо у него такое же пухлое и красное, какъ у матери.

Поѣздъ скрывается подъ уклономъ, и кажется, что онъ зарылся въ землю.

Тогда начальникъ станціи говоритъ, обращаясь къ женѣ:

— А что, Соня, самоваръ готовъ?

— Конечно,—лѣниво и тихо отвѣчаетъ она.

— Лука! Ты тутъ, тово... подмети полотно и перронъ... видишь—сколько нашивыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвѣй Егоровичъ...

— Да... ну что же? Будемъ чай пить, Николай Петровичъ?

— По обыкновенію...—говоритъ помощникъ.

А послѣ прохода дневного поѣзда Матвѣй Егоровичъ спрашивалъ жену:

— А, что, Соня, обѣдъ готовъ?

Потомъ онъ отдастъ приказаніе Лукѣ, всегда одно и то же, приглашаетъ помощника, который столуется у нихъ:

— Ну, что же? Будемъ обѣдать?

А помощникъ резонно отвѣчаетъ ему:

— Какъ всегда...

Уходятъ съ перрона въ комнату, гдѣ много цвѣтовъ и мало мебели, гдѣ пахнетъ кухней и пеленками, и тамъ, вокругъ стола, разговариваютъ о томъ, что промелькнуло мимо нихъ.

А въ окно смотритъ степь, очарованная молчаніемъ, и небо, важное въ своемъ великолѣпномъ спокойствіи.

Почти каждый часъ являются товарные поѣзда, но прислуга, сопровождающая ихъ, давно знакома. Всѣ эти кондуктора—люди полусонные, подавленные скучной ѣздой по степи. Впрочемъ, иногда они рассказываютъ о происшествіяхъ на линіи: на такой-то верстѣ раздавили человѣка; или говорятъ о новостяхъ по службѣ: тотъ оштрафованъ, этотъ переведенъ. Эти новости не обсуждаются—ихъ пожираютъ, какъ лакомки пожираютъ вкусное и рѣдкое блюдо.

А солнце медленно сползаетъ съ неба на край степи, и когда оно тамъ почти коснется земли, то становится багровымъ. На степь ложится красноватое освѣщеніе, возбуждающее тоскливое чувство неудовлетворенности, смутное влеченіе куда-то вдаль, вопъ изъ этой пустоты. Потомъ солнце прикасается краемъ къ землѣ и лѣниво уходитъ въ нее или за нее. Въ небѣ еще долго послѣ него тихо играетъ музыка яркихъ цвѣтовъ вечерней зари, но она все блѣднѣетъ, и наступаютъ сумерки, теплыя и молчаливыя. Вспыхиваютъ звѣзды и трепещутъ въ небѣ, точно испуганныя скукой на землѣ.

Въ сумеркахъ степь суживается; на станцію со всѣхъ сторонъ безшумно ползетъ тьма ночи. И вотъ приходитъ ночь, черная и угрюмая.

На станціи зажигаютъ огни; ярче и выше всѣхъ ихъ зеленоватый огонь семафора. Вокругъ него тьма и молчаніе.

Порой раздается звонокъ,—повѣстка къ поѣзду; торопливый звукъ колокола несется въ степь и быстро тонетъ въ ней.

Вскорѣ послѣ звонка изъ темной дали выбѣгаетъ красный сверкающій огонь, и тишина въ степи содрогается отъ глухого грохота поѣзда, идущаго къ одинокой станціи, окруженной тьмой.

М. Горькій.

Глухой край.

(Сонъ Обломова.)

Гдѣ мы? въ какой благословенный уголокъ земли перенесъ насъ сонъ Обломова? Что за чудный край!

Нѣтъ, правда, тамъ моря, нѣтъ высокихъ горъ, скалъ и пропастей, ни дремучихъ лѣсовъ—нѣтъ ничего грандіознаго, дикаго и угрюмаго.

Да и зачѣмъ оно, это дикое и грандіозное? Море, напимѣръ? Богъ съ нимъ! Оно наводитъ только грусть на человѣка: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью передъ необозримой пеленой водъ, и не на чемъ отдохнуть взгляду, измученному однообразіемъ безконечной картины.

Ревъ и бѣшеные раскаты валовъ не нѣжатъ слабого слуха: они все твердятъ свою, отъ начала міра одну и ту же пѣснь мрачнаго и неразгаданнаго содержанія; и все слышится въ ней одинъ и тотъ же стонъ, одинъ и тѣ же жалобы будто обреченнаго на муку чудовища, да чьи-то пронзительные, злобные голоса. Птицы не щебечутъ вокругъ; только безмолвныя чайки, какъ осужденныя, уныло носятся у побережья и кружатся надъ водой.

Безсиленъ ревъ звѣря передъ этими воплями природы, ничтоженъ и голосъ человѣка, и самъ человѣкъ такъ малъ, слабъ, такъ незамѣтно исчезаетъ

въ мелкихъ подробностяхъ широкой картины! Отъ этого, можетъ-быть, такъ и тяжело ему смотрѣть на море.

Нѣтъ, Богъ съ нимъ, съ моремъ! Самая тишина и неподвижность его не рождаютъ отраднато чувства въ душѣ: въ едва замѣтномъ колебаніи водяной массы человѣкъ все видитъ ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчасъ такъ ядовито издѣвается надъ его гордой волей и такъ глубоко хоронитъ его отважные замыслы, всѣ его хлопоты и труды.

Горы и пропасти созданы тоже не для увеселенія человѣка. Онѣ грозны, страшны, какъ выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикаго звѣря; онѣ слишкомъ живо напоминаютъ намъ бранный составъ нашъ и держатъ въ страхѣ и тоскѣ за жизнь. И небо тамъ, надъ скалами и пропастями, кажется такимъ далекимъ и недостижимымъ, какъ будто оно отступилось отъ людей.

Не таковъ мирный уголокъ, гдѣ вдругъ очутился нашъ герой.

Небо тамъ, кажется, напротивъ, ближе жметъ къ землѣ, но не съ тѣмъ, чтобъ метать сильнѣе стрѣлы, а развѣ только, чтобъ обнять ее покрѣпче, съ любовью: оно распростерлось такъ невысоко надъ головой, какъ родительская надежная кровля, чтобъ уберечь, кажется, избранный уголокъ отъ всякихъ невзгодъ.

Солнце тамъ ярко и жарко свѣтитъ около полугода и потомъ удаляется оттуда не вдругъ, точно нехотя, какъ будто оборачивается назадъ взглянуть еще разъ или два на любимое мѣсто и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы тамъ какъ будто только модели тѣхъ страшныхъ гдѣ-то воздвигнутыхъ горъ, которыя ужасаютъ воображеніе. Это рядъ отлогихъ холмовъ, съ которыхъ приятно кататься, рѣзвясь, на спинѣ, или, сидя на нихъ, смотрѣть въ раздумьи на заходящее солнце.

Рѣка бѣжитъ весело, шала и играя; она то разольется въ широкій прудъ, то стремится быстрой нитью, или присмирѣетъ, будто задумавшись, и чужь-чуть ползетъ по камешкамъ, выпуская изъ себя по сторонамъ рѣзвые ручьи, подъ журчанье которыхъ сладко дремлетъ.

Весь уголокъ верстъ на пятнадцать или на двадцать вокругъ представлялъ рядъ живописныхъ этюдовъ, веселыхъ, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогіе берега свѣтлой рѣчки, подбирающійся съ холма къ водѣ мелкій кустарникъ, искривленный оврагъ съ ручьемъ на днѣ и березовая роща — все какъ будто было нарочно прибрано одно къ одному и мастерски нарисовано.

Измученное волненіями или вовсе незнакомое съ ними сердце такъ и просится спрятаться въ этотъ забытый всѣми уголокъ и жить никому невѣдомымъ счастьемъ. Все сулитъ тамъ покойную, долговременную жизнь до желтизны волосъ и незамѣтную, сну подобную, смерть.

Правильно и невозмутимо совершается тамъ годовой кругъ.

По указанію календаря, наступитъ въ мартѣ весна, побѣгутъ грязные ручьи съ холмовъ, оттаеетъ земля и задымится теплымъ паромъ; скинетъ крестьянинъ полушубокъ, выйдетъ въ одной рубашкѣ на воздухъ и, прикрывъ глаза рукой, долго любуется солнцемъ, съ удовольствіемъ пожимая плечами; потомъ онъ потянетъ опрокинутую вверхъ дномъ телѣгу, то за одну, то за другую оглоблю, или осмотритъ и ударитъ ногой праздно лежащую подъ навѣсомъ соху, готовясь къ обычнымъ трудамъ.

Не возвращаются внезапныя вьюги весной, не засыпаютъ полей и не ломаютъ снѣгомъ деревьевъ.

Зима, какъ неприступная, холодная красавица, выдерживаетъ свой характеръ вплоть до узаконенной поры тепла; не дразнитъ неожиданными оттепелями и не гнетъ въ три дуги неслыханными морозами; все идетъ обычнымъ, предписаннымъ природой общимъ порядкомъ.

Въ ноябрѣ начинается снѣгъ и морозъ, который къ Крещенію усиливается до того, что крестьянинъ, выйдя на минуту изъ избы, воротится непременно съ инеемъ на бородѣ; а въ февралѣ чуткій носъ ужъ чувствуетъ въ воздухѣ мягкое вѣяніе близкой весны.

Но лѣто, лѣто особенно-употительно въ томъ краю. Тамъ надо искать свѣжаго, сухого воздуха, напоеннаго—не лимономъ и не лавромъ, а просто запахомъ полыни, сосны и черемухи; тамъ искать ясныхъ дней, слегка жгучихъ, но не палящихъ лучей солнца и почти въ теченіе трехъ мѣсяцевъ безоблачнаго неба.

Какъ пойдутъ ясные дни, то и длятся недѣли три-четыре; и вечеръ тенель тамъ, и ночь душна. Звѣзды такъ привѣтливо, такъ дружески мигаютъ съ небесъ.

Дождь ли пойдетъ—какой благотворный лѣтній дождь! Хлынетъ бойко, обильно, весело запрыгаетъ, точно крупныя и жаркія слезы внезапно-обрадованнаго человѣка; а только перестанетъ—солнце уже опять съ ясной улыбкой любви осматриваетъ и сушитъ поля и пригорки: и вся страна опять улыбается счастьемъ въ отвѣтъ солнцу.

Радостно привѣтствуетъ дождь крестьянинъ: «Дождичекъ вымочить, солнышко высушить!» говоритъ онъ, подставляя съ наслажденіемъ подъ теплый ливень лицо, плечи и спину.

Грозы не страшны, а только благотворны тамъ. бываютъ постоянно въ одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, какъ будто для того, чтобъ поддержать извѣстное преданіе въ народѣ. И число, и сила ударовъ, кажется, всякій годъ одни и тѣ же, точно какъ будто изъ казны отпускалась на годъ на весь край извѣстная мѣра электричества.

Ни страшныхъ бурь, ни разрушеній не слыхать въ томъ краю.

Въ газетахъ ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобнаго объ этомъ благословенномъ Богомъ уголкѣ. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этотъ край, если бъ только крестьянская вдова Марина Кулькова, 28 лѣтъ, не родила за разъ четырехъ младенцевъ, о чемъ уже умолчать никакъ было нельзя.

Не наказывалъ Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. Никто изъ жителей не видалъ и не помнитъ никакихъ страшныхъ небесныхъ знаменій, ни шаровъ огненныхъ, ни внезапной темноты; не водится тамъ ядовитыхъ гадовъ; саранча не залетаетъ туда; нѣтъ ни львовъ рыкающихъ, ни тигровъ ревущихъ, ни даже медвѣдей и волковъ, потому что нѣтъ лѣсовъ. По полямъ и по деревнѣ бродятъ только въ обилии коровы жующія, овцы блеющія и куры кудахтающія.

Богъ знаетъ, удовольствовался ли бы поэтъ или мечтатель природой мирнаго уголка. Эти господа, какъ извѣстно, любятъ засматриваться на луну и слушать щелканье соловьевъ. Любятъ они луну-кокетку, которая бы наряжалась

въ палевыя облака, да сквозила таинственно черезъ вѣтви деревь, или сыпала снопы серебряныхъ лучей въ глаза своимъ поклонникамъ.

А въ этомъ краю никто и не зналъ, что за луна такая — всё называли ее мѣсяцемъ. Она какъ-то добродушно, во всё глаза смотрѣла на деревни и поле и очень походила на мѣдный, вычищенный тазъ.

Напрасно поэтъ сталъ бы глядѣть восторженными глазами на нее: она такъ же бы простодушно глядѣла и на поэта, какъ круглолицая деревенская красавица глядитъ въ отвѣтъ на страстные и краснорѣчивые взгляды городского волокиты.

Соловьевъ тоже не слыхать въ томъ краю, можетъ-быть, оттого, что не водилось тамъ тѣнистыхъ пріютовъ и розъ; но зато какое обиліе перепеловъ! Лѣтомъ, при уборкѣ хлѣба, мальчишки ловятъ ихъ руками.

Да не подумаютъ, однакожъ, чтобы перепела составляли тамъ предметъ гастрономической роскоши — нѣтъ, такое развращеніе не проникло въ нравы жителей того края: перепелъ — птица, уставомъ въ пищу не показанная. Она тамъ услаждаетъ людской слухъ пѣніемъ: оттого почти въ каждомъ дому подъ кровлей, въ нитяной клѣткѣ, виситъ перепелъ.

Какъ все тихо, все сонно въ трехъ-четырехъ деревенькахъ, составляющихъ этотъ уголокъ! Онѣ лежали недалеко другъ отъ друга и были какъ будто случайно брошены гигантской рукой и разсыпались въ разныя стороны, да такъ съ тѣхъ поръ и остались.

Какъ одна изба попала на обрывъ оврага, такъ и виситъ тамъ съ незапамятныхъ временъ, стоя одной половиной на воздухѣ и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколѣнія тихо и счастливо прожили въ ней.

Кажется, курицѣ страшно бы войти въ нее, а тамъ живетъ съ женой Онисимъ Сусловъ, мужчина солидный, который не устаетъ во весь ростъ въ своемъ жилищѣ.

Не всякій и сумѣетъ войти въ избу къ Онисиму; развѣ только что посѣтитель упроситъ ее *стать къ лѣсу задомъ, а къ нему—передомъ*.

Крыльцо висѣло надъ оврагомъ, и чтобъ попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой—за кровлю избы и потомъ шагнуть прямо на крыльцо.

Другая изба прильпнлась къ пригорку, какъ ласточкино гнѣздо; тамъ три очутились рядомъ, а двѣ стоятъ на самомъ днѣ оврага.

Тихо и сонно все въ деревнѣ: безмолвныя избы отворены настежь; не видно ни души; однѣ мухи тучами летаютъ и жужжать въ духотѣ.

Войдя въ избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчаніе будетъ отвѣтомъ: въ рѣдкой избѣ отзовется болѣзненнымъ стономъ или глухимъ кашлемъ старуха, доживающая свой вѣкъ на печи, или появится изъ-за перегородки босой, длинноволосый трехлѣтній ребенокъ, въ одной рубашонкѣ, молча, пристально поглядитъ на вошедшаго и робко спрячется опять.

Та же глубокая тишина и миръ лежатъ и на поляхъ; только кое-гдѣ, какъ муравей, гомозится на черной нивѣ палимый зноемъ пахарь, налегая на соху и обливаясь потомъ.

Тишина и невозмутимое спокойствіе царствуютъ и въ правахъ людей въ томъ краю. Ни грабежей, ни убійствъ, никакихъ страшныхъ случайностей не бывало тамъ; ни сильныя страсти, ни отважныя предпріятія не волновали ихъ.

И какія бы страсти и предпріятія могли волновать ихъ? Всякій зналъ тамъ самого себя. Обитатели этого края далеко жили отъ другихъ людей. Ближайшія деревни и уѣздный городъ были верстахъ въ двадцати-пяти и тридцати.

Крестьяне въ извѣстное время возили хлѣбъ на ближайшую пристань къ Волгѣ, которая была ихъ Колхидой и Геркулесовыми Столпами, да разъ въ годъ ѣздили нѣкоторые на ярмарку, и болѣе никакихъ сношеній ни съ кѣмъ не имѣли.

Интересы ихъ были сосредоточены на нихъ самихъ, не перекрещивались и не соприкасались ни съ чѣмъ.

Они знали, что въ восьмидесяти верстахъ отъ нихъ была «губернія», т.-е. губернский городъ, но рѣдкіе ѣзжали туда; потомъ знали, что подальше, тамъ, Саратовъ или Нижній; слышали, что есть Москва и Питеръ, что за Питеромъ живутъ французы или нѣмцы, а далѣе уже начинался для нихъ, какъ для деревенныхъ, темный міръ, неизвѣстныя страны, населенныя чудовищами, людьми о двухъ головахъ, великанами; тамъ слѣдовалъ мракъ — и, наконецъ, все оканчивалось той рыбой, которая держитъ на себѣ землю.

И какъ уголокъ ихъ былъ почти непроѣзжій, то и неоткуда было почерпать новѣйшихъ извѣстій о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ: обозники съ деревянной посудой жили только въ двадцати верстахъ и знали не больше ихъ. Не съ чѣмъ даже было сличить имъ своего житья-бытья: хорошо ли они живутъ, нѣтъ ли; богаты ли они, бѣдны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у другихъ.

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не можетъ быть, увѣренные, что и всѣ другіе живутъ точно такъ же, и что жить иначе — грѣхъ.

Они бы и не повѣрили, если бъ сказали имъ, что другіе какъ-нибудь иначе пашутъ, сѣютъ, жнутъ, продаютъ. Какія же страсти и волненія могли быть у нихъ?

У нихъ, какъ и у всѣхъ людей, были и заботы и слабости, взносъ подати или оброка, лѣнь и сонъ; но все это обходилось имъ дешево, безъ волненій крови.

Въ послѣднія пять лѣтъ, изъ нѣсколькихъ сотъ душъ не умеръ никто, не то что насильственною, даже естественною смертію.

А если кто отъ старости или отъ какой-нибудь застарѣлой болѣзни и почилъ вѣчнымъ сномъ, то тамъ долго послѣ того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.

Между тѣмъ имъ нисколько не показалось удивительно, какъ это, напри- мѣръ, кузнецъ Тарасъ чуть было собственноручно не запарился до смерти въ землянкѣ, до того, что надо было отливать его водой.

Изъ преступленій одно, именно: кража гороху, моркови и рѣпы по огородамъ, было въ большемъ ходу, да однажды вдругъ исчезли два поросенка и курица — происшествіе, возмутившее весь околотокъ и приписанное единогласно проходившему наканунѣ обозу съ деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякаго рода были весьма рѣдки.

Однажды, впрочемъ, еще найденъ былъ лежащій, за околницей, въ канавѣ, у моста, видно, оставшій отъ проходившей въ городъ артели человѣкъ.

Мальчишки первые замѣтили его и съ ужасомъ приближались въ деревню съ вѣстью о какомъ-то страшномъ змѣѣ, или оборотнѣ, который лежитъ въ канавѣ, прибавивъ, что онъ погнался за ними и чуть не съѣлъ Кузьку.

Мужики, поудалѣе, вооружились вилами и топорами, и гурьбой пошли къ канавѣ.

— Куда васъ несетъ?—унимали старики.—Аль шея-то крѣпка? Чего вамъ надо? Не замайте: васъ не гонять.

Но мужики пошли и сажень за пятьдесятъ до мѣста стали окликать чудовище разными голосами: отвѣта не было; они остановились; потомъ опять двинулись.

Въ канавѣ лежалъ мужикъ, опершись головой въ пригорокъ; около него валялись мѣшокъ и палка, на которой навѣшаны были двѣ пары лаптей.

Мужики не рѣшались ни подходить близко, ни трогать.

— Эй! ты, братъ! — кричали они по очереди, почесывая, кто затылокъ, кто спину.—Какъ тамъ тебя? Эй, ты! Что тебѣ тутъ?

Прохожій сдѣлалъ движеніе, чтобъ приподнять голову, но не могъ: онъ, повидимому, былъ нездоровъ или очень утомленъ.

Одинъ рѣшился было тронуть его вилой.

— Не замай, не замай!—закричали многіе.—Почемъ знать; какой онъ: ишь, не баетъ ничего; можетъ-быть, какой-нибудь такой... Не замайте его, ребята!

— Пойдемъ,—говорили нѣкоторые:—право слово, пойдемъ: что онъ намъ, дядя, что ли? Только бѣды съ нимъ!

И всѣ ушли назадъ, въ деревню, рассказавъ старикамъ, что тамъ лежитъ нездѣшній, ничего не баетъ, и, Богъ его вѣдаетъ, что онъ тамъ...

— Нездѣшній, такъ и не замайте!—говорили старики, сидя на завалинкѣ и положивъ локти на колѣни.—Пусть его себѣ! И ходить не по что было вамъ!

Таковъ былъ уголокъ, куда вдругъ перенесся во снѣ Обломовъ.

Изъ трехъ или четырехъ, разбросанныхъ тамъ деревень, была одна Сосновка, другая Вавилровка, въ одной верстѣ другъ отъ друга.

Сосновка и Вавилровка были наслѣдственной отчиной рода Обломовыхъ, и оттого извѣстны были подъ общимъ именемъ Обломовки.

Въ Сосновкѣ была господская усадьба и резиденція. Верстахъ въ пяти отъ Сосновки лежало село Верхлево, тоже принадлежавшее нѣкогда фамиліи Обломовыхъ и давно перешедшее въ другія руки, и еще нѣсколько причисленныхъ къ этому же селу, кое-гдѣ разбросанныхъ избъ.

Село принадлежало богатому помѣщику, который никогда не показывался въ свое имѣніе: имъ завѣдывалъ управляющій изъ нѣмцевъ.

Вотъ и вся географія этого уголка.

И. Гончаровъ.

Усадьба въ великорусской Украинѣ.

Читатель, знакомы ли тебѣ тѣ небольшія дворянскія усадьбы, которыми двадцать пять, тридцать лѣтъ тому назадъ ¹⁾ изобилвала наша великорусская Украина? Теперь онѣ попадаются рѣдко, а лѣтъ черезъ десять и послѣднія изъ нихъ, пожалуй, исчезнутъ безслѣдно. Проточный прудъ, заросшій лозникомъ и камышами, приволье хлопотливыхъ утокъ, къ которымъ изрѣдка присоединяется осторожный «чирокъ»; за прудомъ садъ съ аллеями липъ, этой красоты и чести нашихъ черноземныхъ равнинъ, съ загложившими градами «шпанской» земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой, въ томный часъ неподвижнаго полуденнаго зноя, ужъ непремѣнно мелькнетъ пестрый платочекъ дворовой дѣвушки и зазвенитъ ся пронзительный голосокъ; тутъ же амбарчикъ на курыхъ ножкахъ, оранжерейка, плохенькій ого-

¹⁾ Это писалъ Тургеневъ въ 1867 г.

родъ, со стаей воробьевъ на тычинкахъ и прикорнувшей кошкой близъ проваливагося колодца; дальше—кудрявыя яблоки падъ высокой, снизу зеленой, кверху сѣдой травой. Жидкія вишни, груши, на которыхъ никогда не бываетъ плода; потомъ клумбы съ цвѣтами—макомъ, піонами, анютиными глазками, крыжантами, «дѣвицей въ зелени», кусты татарской жимолости, дикаго жасмина, сирени и акаціи, съ непрерывнымъ пчелинымъ, шмелинымъ жужжаніемъ въ густыхъ, пахучихъ, липкихъ вѣткахъ; наконецъ, господскій домъ, одноэтажный, на кирпичномъ фундаментѣ, съ зеленоватыми стеклами въ узкихъ рамахъ, съ покатою, нѣкогда крашеною крышею, съ балкончикомъ, изъ котораго новынадали кувшино-образныя перила, съ кривымъ мезонинномъ, съ безголосой старой собакой въ ямѣ подъ крыльцомъ; за домомъ широкій дворъ съ кропивою, полынью и лопухами по угламъ, службы съ захватанными дверями, съ голубыми и галками на пробуравленныхъ соломенныхъ крышахъ, погребокъ съ заржавѣлымъ флюгеромъ, двѣ-три березы съ грациными гнѣздами на голыхъ верхнихъ сучьяхъ, а тамъ уже дорога съ подушечками мягкой пыли по колеямъ—и поле, и длинныя плетни конопляниковъ, и сѣренькія избушки деревни, и крики гусей съ отдаленныхъ заливныхъ луговъ... Знакомо ли тебѣ все это, читатель? Въ самомъ домѣ все немножко на бокъ, немножко распаталось, а ничего! Стоитъ крѣпко и держать тепло: печи, что твои слоны, мебель сбродная, домодѣльщина; бѣловатыя протоптанныя дорожки бѣгутъ отъ дверей по крашенымъ поламъ; въ передней чижы и жаворонки въ крошечныхъ клѣткахъ; въ углу столовой громадные англійскіе часы въ видѣ башни, съ надписью: «Strike,—silent»; въ гостиной портреты хозяевъ, написанные масляными красками, съ выраженіемъ суроваго испуга на кирпичнаго цвѣта лицахъ, а иногда и старая покоробленная картина, представляющая либо цвѣты и фрукты, либо мнѳологическій сюжетъ; вездѣ пахнетъ кваскомъ, яблокомъ, олифой, кожей; мухи гудятъ и звенятъ подъ потолкомъ и на окнахъ, бойкій прусакъ внезапно запрыгаетъ усиками изъ-за зеркальной рамы... Ничего! жить можно—и даже очень недурно можно жить.

И. Тургеневъ.

Крестьянская жизнь.

Лакей при московской гостиницѣ «Славянскій Базаръ», Николай Чикильдѣевъ, заболѣлъ. У него онѣмѣли ноги и измѣнилась походка, такъ что, однажды, идя по коридору, онъ споткнулся и упалъ вмѣстѣ съ подносомъ, на которомъ была ветчина съ горошкомъ. Пришлось оставить мѣсто. Какія были деньги, свои и женыны, онъ пролѣчилъ, кормиться было уже не на что, стало скучно безъ дѣла, и онъ рѣшилъ, что, должно-быть, надо ѣхать къ себѣ домой, въ деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и не даромъ говорится: дома стѣны помогаютъ.

Пріѣхавъ онъ въ свое Жуково подъ вечеръ. Въ воспоминаніяхъ дѣтства родное гнѣздо представлялось ему свѣтлымъ, уютнымъ, удобнымъ, теперь же, войдя въ избу, онъ даже испугался: такъ было темно, тѣсно и нечисто. Пріѣхавшія съ нимъ жена Ольга и дочь Саша съ недоумѣніемъ поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не полъ-избы, темную отъ копоти и мухъ. Сколько мухъ! Печь покосилась, бревна въ стѣнахъ лежали

криво, и казалось, что изба сію минуту развалится. Въ переднемъ углу, возлѣ пконъ, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги—это вмѣсто картинъ. Бѣдность, бѣдность! Изъ взрослыхъ никого не было дома, всѣ жали. На печи сидѣла дѣвочка лѣтъ восьми, бѣлоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедшихъ. Внизу терлась о рогачь бѣлая кошка.

— Кисъ, кисъ!—поманила ее Саша.—Кисъ!

— Она у насъ не слышитъ,—сказала дѣвочка.—Оглохла.

— Отчего?

— Такъ. Побили.

Николай и Ольга съ перваго взгляда поняли, какая тутъ жизнь, но ничего не сказали другъ другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Ихъ изба была третья съ краю и казалась самою бѣдною, самою старою на видъ; вторая—не лучше, зато у крайней—желѣзная крыша и занавѣски на



Деревня. Съ карт. Ознобишина.

окнахъ. Эта изба, неогороженная, стояла особнякомъ, и въ ней былъ трактиръ. Избы шли въ одинъ рядъ, и вся деревушка, тихая и задумчивая, съ глядѣвшими изъ дворовъ ивами, бузиной и рябиной, имѣла пріятный видъ.

За крестьянскими усадьбами начинался спускъ къ рѣкѣ, крутой и обрывистый, такъ что въ глини, тамъ и сямъ, обнажились громадные камни. По скату, около этихъ камней и ямъ, вырытыхъ гончарами, вились тропинки, цѣлыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а тамъ внизу разстилался широкій, ровный, ярко-зеленый лугъ, уже скошенный, на которомъ теперь гуляло крестьянское стадо. Рѣка была въ верстѣ отъ деревни, извилистая, съ чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкій лугъ, стадо, длинныя вереницы бѣлыхъ гусей, потомъ такъ же, какъ на этой сторонѣ, крутой подъемъ на гору, а вверху, на горѣ, село съ пятиглавою церковью и немного поодаль господскій домъ.

— Хорошо у васъ здѣсь!—сказала Ольга, крестясь на церковь.—Раздолье, Господи!

Какъ разъ въ это время ударили ко всенощной (былъ канунъ воскресенья). Двѣ маленькія дѣвочки, которыя внизу тащили ведро съ водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звонъ.

— Объ эту пору въ «Славянскомъ Базарѣ» обѣды...— проговорилъ Николай мечтательно.

Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видѣли, какъ заходило солнце, какъ небо, золотое и багровое, отражалось въ рѣкѣ, въ окнахъ храма и во всемъ воздухѣ, пѣжномъ, покойномъ, невыразимо-чистомъ, какого никогда не бываетъ въ Москвѣ. А когда солнце сѣло, съ блеяньемъ и ревомъ прошло стадо, прилетѣли съ той стороны гуси,—и все смолкло, тихій свѣтъ погасъ въ воздухѣ, и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тѣмъ вернулись старики, отецъ и мать Николая, тощіе, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы—невѣстки, Марья и Оекла, работавшія за рѣкой у помѣщика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро дѣтей, у Оеклы, жены брата Дениса, ушедшаго въ солдаты,—двое; и когда Николай, войдя въ избу, увидѣлъ все семейство, все эти большія и маленькія тѣла, которыя шевелились на полатахъ, въ люлькахъ и во всѣхъ углахъ, и когда увидѣлъ, съ какою жадностью старики и бабы ѣли черный хлѣбъ, макая его въ воду, то сообразилъ, что напрасно онъ сюда пріѣхалъ, больной, безъ денегъ да еще съ семьей,—напрасно!

— А гдѣ братъ Кирьякъ?—спросилъ онъ, когда поздоровались.

— У купца въ сторожахъ живетъ,—отвѣтилъ отецъ,—въ лѣсу. Мужикъ бы ничего, да заливаешь шибко.

— Не добытчикъ!—проговорила старуха слезливо.— Мужики наши горькіе, не въ домъ несутъ, а изъ дому. И Кирьякъ пьетъ, и старики тоже, грѣха таить нечего, знаетъ въ трактиръ дорогу. Прогнѣвалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самоваръ. Отъ чая пахло рыбой, сахаръ былъ огрызанный и сѣрый, по хлѣбу и посудѣ сновали тараканы; было противно пить, и разговоръ былъ противный—все о пущѣ да о болѣзняхъ. Но не успѣли выпить и по чашкѣ, какъ со двора донесся громкій, протяжный пьяный крикъ:

— Ма-арья!

— Похоже, Кирьякъ идетъ,—сказалъ старики:—легко на поминѣ.

Все притихли. И немного погодя, опять тотъ же крикъ, грубый и протяжный, точно изъ-подъ земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невѣстка, поблѣднѣла, прижалась къ печи, и какъ-то странно было видѣть на лицѣ у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выраженіе испуга. Ея дочь, та самая дѣвочка, которая сидѣла на печи и казалась равнодушною, вдругъ громко заплакала.

— А ты чего, холера?—крикнула на нее Оекла, красивая баба, тоже сильная и широкая въ плечахъ.—Небось, не убьетъ!

Отъ старика Николай узналъ, что Марья боялась жить въ лѣсу съ Кирьякомъ, и что онъ, когда бывалъ пьянъ, приходилъ всякій разъ за ней и при этомъ шумѣлъ и билъ ее безъ пощады.

— Ма-арья!—раздался крикъ у самой двери.

Вступитесь Христа ради, родименькіе, — заленетала Марья, дыша такъ, точно ее опускали въ очень холодную воду: — вступитесь, родименькіе...

Заплакали всѣ дѣти, сколько ихъ было въ избѣ, и, глядя на нихъ, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и въ избу вошелъ высокій, черно-бородый мужикъ въ зимней шапкѣ и оттого, что при тускломъ свѣтѣ лампочки не было видно его лица, страшный. Это былъ Кирьякъ. Подойдя къ женѣ, онъ размахнулся и ударилъ ее кулакомъ по лицу, она же не издала ни звука, ошеложенная ударомъ, и только присѣла, и тотчасъ же у нея изъ носа пошла кровь.

— Экой срамъ-то, срамъ,—бормоталъ старикъ, полѣзая на печь:—при гостяхъ-то! Грѣхъ какой!

А старуха сидѣла молча, сгорбившись, и о чемъ-то думала; Оскла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшнымъ и довольный этимъ, Кирьякъ схватилъ Марью за руку, потащилъ ее къ двери и зарычалъ звѣремъ, чтобы казаться еще страшнѣе, но въ это время вдругъ увидѣлъ гостей и остановился.

— А, пріѣхали...—проговорилъ онъ, выпуская жену.—Родной братецъ съ семействомъ...

Онъ помолился на образъ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжалъ:

— Братецъ съ семействомъ пріѣхали въ родительскій домъ... изъ Москвы, значить. Первопрестольный, значить, градъ Москва, мать городовъ... Извините...

Онъ опустился на скамью около самовара и сталъ пить чай, громко хлебая изъ блюдечка, при общемъ молчаніи... Выпилъ чашекъ десять, потомъ склонился на скамью и захрапѣлъ.

Стали ложиться спать. Николая, больного, положили на печи со старикомъ; Саша легла на полу, а Ольга пошла съ бабами въ сарай.

— И-и, касатка,—говорила она, ложась на сѣнѣ рядомъ съ Марьей:—слезами горю не поможешь! Терпи, и все тутъ. Въ писаніи сказано: аще кто ударитъ тебя въ правую щеку, подставь ему лѣвую... И-и, касатка!

Потомъ она вполголоса, нараспѣвъ, рассказывала про Москву, про свою жизнь, какъ она служила горничной въ меблированныхъ комнатахъ.

— А въ Москвѣ дома большіе, каменные,—говорила она:—церквей много, много, сорокъ сороковъ, касатка, а въ домахъ все господа, да такіе красивые, да такіе приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только въ Москвѣ, но даже въ своемъ уѣздномъ городѣ; она была неграмотна, не знала никакихъ молитвъ, не знала даже «Отче нашъ». Она и другая невѣстка, Оскла, которая теперь сидѣла поодаль и слушала,—обѣ были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обѣ не любили своихъ мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда онъ оставался съ нею, то она тряслась отъ страха и возлѣ него всякій разъ уго-

рала, такъ какъ отъ него сильно пахло водкой и табакомъ. А Фекла, на вопросъ, не скучно ли ей безъ мужа, отвѣтила съ досадой:

— А ну его!

Поговорили и затихли..

А. Чеховъ.



На родниѣ. Съ карт. Лебедева.

Смерть мальчика.

Была темная, дождливая осенняя ночь; неумолчно и обильно лилъ дождь, при порывахъ вѣтра начинавшій «сѣчь» въ окна и шаркать по крышѣ... Вся деревня давнымъ-давно спала мертвымъ сномъ; былъ ужъ второй часъ ночи, пора самая глухая, непробудная: ни одного живого челоуѣка не встрѣтишь на эта верстахъ кругомъ. Въ такую-то пору сидѣлъ я за книгой. Какой-то стонъ и оханье подъ окномъ остановили меня. «О-о-о-о!.. О-о-о-о!..» слышалось, мнѣ, когда я прислонился къ стеклу окна...

— Мих-хайла-а!—изо всей мочи, напрягая послѣднія истомленные силы, прокричалъ стонущій челоуѣкъ и опять устало заохалъ.

— Кто тутъ?—пріотворивъ окно, спросилъ я.

— Охъ, родимый, мальчишку ищутъ... съ отцомъ поѣхалъ: ни отца, ни мальчишки... И что сталося!.. О-охъ-охъ-охъ!

Это была женщина.

— Куда ѣздили-то вы?

— На мельницу, родной,—молодъ.

— Ты была на мельницѣ-то?

— Была, была... Иѣту-ти, уѣхали, да вишь... до дождя... Хожу, ищутъ съ конхъ поръ... Видно, что недоброе случилось.

— Теперь ничего не пайдешь, темно!

— О-охъ, не найду!..

Этотъ разговоръ разбудилъ моихъ сожителей, которые кое-какъ уговорили женщину переночевать въ кухнѣ или погодить до свѣта. Измученная, она было согласилась, вошла въ кухню, присѣла, охая и стоная, но не осталась, несмотря ни на что... «Не дома ли?—твердила.—Можетъ, и дома... Куда имъ дѣться? Некуда... Пѣтъ, недоброе... Охъ, худое-худое»... И наконецъ-таки ушла. «Михайло-о...» снова слышался ей голосъ, издалека доносимый вѣтромъ.

Чѣмъ свѣтъ, по деревнѣ разнеслась недобрая вѣсть: на разсвѣтѣ крестьянка нашла своихъ, но въ какомъ видѣ! Мужъ валялся на полѣ, верстѣ за десять, и спалъ пьяный; въ сторонѣ отъ него паслась высвободившаяся изъ упряжи лошадь, а подъ телѣгой и подъ мѣшками съ новой мукой лежалъ мертвый мальчикъ...

Какъ случилось это несчастье? Никто путемъ рассказать не могъ. Разбуженный отецъ только съ ужасомъ таращилъ глаза и меньше всѣхъ зналъ, что такое съ нимъ случилось. Онъ помнилъ только, что вчера поѣхалъ на мельницу, что взялъ съ собой шестилѣтняго сынишку (все человѣкъ: подержитъ лошадь, сумѣетъ сказать «тиру» въ то время, когда отецъ будетъ на мельницѣ). Помнитъ, какъ онъ радовался, таская мѣшки новой муки... Помнитъ, какъ подѣхали дядя Егоръ да дядя Пахомъ; ѣхали они со станицы и везли ведро хорошаго вина. «Ай, новина?» спросилъ Егоръ. «Она самая!..»—«Никакъ вино везешь?»—«Вино!»—«Дай стаканчикъ, я тебѣ новинки отсыплю.»—«Что отсыпать, давай мѣшокъ-то—пей!»—«Такъ ужъ тогда давай всей компаніей выпьемъ, новину обмоемъ»... Выпили по стаканчику, по другому, по третьему... «а тутъ и не помню». Не помнитъ также ничего и дядя Егоръ, и дядя Пахомъ тоже чуть-чуть, что-то домекаетъ... Помнится ему, будто мальчишки и не было въ телѣгѣ... «Ежели бъ было, авось бы замѣтили, не ввалились бы въ телѣгу цѣлой гурьбой пѣсни пѣть»...—«Господи, помилуй! Ужъ неужто мы не видали его, да навалились и задавили?.. Царица небесная! Да не спалъ ли мальчикъ-отъ?»—«Спалъ, спалъ и есть!» воспоминаетъ отецъ. «Какъ же это, Господи?—«Вино-то дюже забрало!.. Вино хорошее! вино, надо сказать прямо, первый сортъ!»—«Много ль ты его выпилъ-то?..»—«Да Господь его знаетъ... Дядя Егоръ ни бутыли, ни муки не привезъ, да и то очутился вмѣстѣ съ телѣгой невѣдомо гдѣ»...

Идутъ толки, разспросы; но никто путемъ не знаетъ, какъ случилось это несчастье. Кто и когда свалился изъ телѣги, какъ, кто и гдѣ очутился? Раздавили ли мальчика люди, или мѣшки и телѣга? Всякій помнитъ только стаканчики, а потомъ ничего и не помнитъ, потому вино дюже хорошо попалося. А мальчикъ лежитъ мертвый на лавкѣ, и бѣлымъ холстомъ покрыты его изуродованные члены!.. Вчера онъ еще бѣгалъ, игралъ въ лошадки, въ воровъ, т.-е. ловилъ вора, вель его въ арестантскую, кричалъ: «отдай деньги!», а теперь вотъ—мертвый... Какъ? За что? Сразу, Богъ знаетъ за что, Богъ знаетъ почему, свалилась на людей бѣда, истинная деревенская бѣда, которая бьетъ, какъ громъ, никому ничего не объясняя: и пришибленъ человѣкъ, да какъ пришибленъ! Разбита, какъ дерево молніей, мать, ошеломленъ и въ глубинѣ своей совѣсти заклеименъ ощущеніемъ ужаснаго преступленія отецъ, простой, сѣрый, работающій мужикъ... Есть ли какая-нибудь возможность распутаться,

разобрать что-нибудь въ этомъ глубокомъ несчастіи всему этому несчастному народу?.. Облегчить ли кто-нибудь эту безконечную боль матери, ненастижимый ужасъ отца? «Вино дюже крѣпко!» можетъ только сообразить этотъ несчастный человѣкъ во всей массѣ нахлынувшего на него горя.

Цѣлый день надо всей деревней, не говоря о семьѣ маленькаго покойнаго, висѣло ощущеніе неразгаданнаго несчастія, которое всякому говорило, что есть надъ всѣми что-то беспощадное, что можетъ грянуть на насъ невѣдомо когда и разнести вдребезги.

Наконецъ пронеслась вѣсть: «Становой!»

И всѣмъ стало легче... Хотя кто-нибудь покончить съ этимъ тяжелымъ недоумѣніемъ. Такъ, самъ по себѣ, только будешь думать и мучиться, мучиться и думать, и все-таки ничего, ровно ничего не придумаешь. Становой взялъ листы бумаги и написалъ протоколъ, въ которомъ была смерть отъ давленія телѣгой. Понятые подписались и разошлись по домамъ. Дѣло конченное. Далѣе мыслей начальства не приходится распускать, темныя мысли мужицкія—не къ чему...

Мальчишку зарыли, и вотъ изъ деревенской дѣвушки, изъ деревенской молодухи образовалась деревенская женщина съ разбитой грудью, съ угнетеннымъ выраженіемъ лица и съ сознаніемъ, что пѣтъ на свѣтѣ ничего, кромѣ муки-мученской... А изъ парня и работающаго отца вышелъ мужикъ молчаливый въ полѣ, молчаливый дома, снимающій молча шапку передъ каждымъ тарантасомъ и издали сворачивающій съ дороги въ грязь, въ лужу отъ всякаго встрѣчнаго: всякій встрѣчный лучше его, всякій имѣетъ право идти по дорогѣ, тогда какъ онъ—сѣрый мужикъ, «суконное рыло»!

Г. Успенскій.



Похороны. Съ карт. *Маковского.*

С л е з ы л ю д с к і я.

Слезы людскія, о, слезы людскія!
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,
Неисчислимыя, неисчислимыя,
Льетесь, какъ льются струи дождевыя
Въ осень глухую, порою ночной.

О. Тютчевъ.

П ѣ с н я.

Въ непогоду вѣтеръ
Воетъ, завываетъ;
Буйную головку
Злая грусть терзаетъ.

Горемычной долѣ
Нѣтъ нигдѣ привѣта:
До сѣдыхъ волосъ любовью
Душа не согрѣта.

Нѣту силъ; усталъ я
Съ этимъ горемъ биться,
А на свѣтъ посмотришь:
Жалко съ нимъ проститься!

Доля жъ, моя доля!
Гдѣ ты запропала?
До поры, до время
Въ воду камнемъ пала?

Поднимись,—что силы
Размахни крылами:
Можетъ, наша радость
Живетъ за горами.

Если пѣть—у моря
Сядемъ да дождемся;
Безъ любви и съ горемъ
Жизнью наживемся!

А. Кольцовъ.

Волостной судъ ¹⁾.

— Петровичъ! — зываю я почти каждое воскресенье между тремя и четырьмя часами пополудни:—сажай судей.

Это значитъ, что старость я отпустилъ, просителей всѣхъ удовлетворилъ и теперь намѣреваюсь приступить къ отправленію правосудія. Петровичъ—отставной солдатъ; семидесяти пяти лѣтъ отроду, но бодрый и свѣжій, съ зычнымъ голосомъ и представительною наружностью; онъ—сторожъ при волостномъ правленіи, получаетъ шесть рублей жалованья въ мѣсяцъ; въ будни вставляетъ свѣчи въ подсвѣчники, «соблюдаетъ» сидящихъ въ арестантской и спитъ по почамъ на денежномъ сундукѣ правленія; по воскресеньямъ же его главная обязанность заключается въ извлеченіи, по мѣрѣ надобности, изъ «Центральной Бѣлой харчевни» то старшины, то судей, то тяжущихся... Ахъ, эта «Бѣлая харчевня»! Сколько она мнѣ крови испортила за эти три года!.. Расположена она какъ разъ напротивъ волости, саженьяхъ въ двадцати отъ нея (есть за-

¹⁾ Писатель служилъ волостнымъ писаремъ и рассказываетъ здѣсь о томъ, что самъ видѣлъ на службѣ.

конъ, что кабаки не могутъ быть ближе 40 саж. отъ волости, а «Бѣлыя харчевни», т.-е. тѣ же кабаки, но съ продажей горячаго чая—это ничего), флаги надъ ней такъ весело полощутся, а въ открытыя двери несется такой заманчивый гулъ, что рѣдкій посѣтитель волости утерпѣть не заглянуть и въ «Харчевню», считая ее какимъ-то необходимымъ дополненіемъ къ волостному управленію. Просовывается, наприимѣръ, ко мнѣ въ дверь канцеляріи чья-нибудь кудластая голова и спрашиваетъ:

— Яковъ Ивановича, старшины, нѣтъ тутъ?

— Нѣтъ,—отвѣчаешь съ сердцемъ, потому что приходится въ это утро въ десятый разъ отвѣчать на подобный вопросъ. Посѣтитель, ничего болѣе не разспрашивая, твердыми стопами направляется въ «Центральную» и, пробывъ тамъ болѣе или менѣе долгое время, возвращается уже съ румянцемъ на лицѣ, предшествуемый обезпеченнымъ старшиной, который, торопясь, открываетъ денежный сундукъ, вынимаетъ требуемую гербовую марку или паспортъ и вновь спѣшитъ въ «Центральную», гдѣ такъ внезапно была прервана его дружеская съ кѣмъ-нибудь бесѣда... И такъ ежедневно, по десяти и болѣе разъ. По воскресеньямъ же «харчевня» рѣшительно отравляетъ мое существованіе...

— Петровичъ! Гдѣ Петровичъ?—взываю я во всю глотку до тѣхъ поръ, пока кто-либо изъ десятскихъ не скажется надо мной и не объяснитъ, что «Петровичъ въ трактиръ-съ!»

— Бѣги скорѣй, тащи его сюда, да и судей захвати.

Я очень боюсь, чтобы Петровичъ не напился, потому что онъ незамѣнимъ въ роли судебного пристава для вызыванія тяжущихся и свидѣтелей и водворенія между ними порядка. Онъ такъ зычно покрикиваетъ, такъ энергично поворачиваетъ и выпроваживаетъ изъ комнаты какого-нибудь забредшаго «на огонекъ» пьянчужку, что публика боится его гораздо больше, чѣмъ самого старшины.

Вообще Петровичъ — рѣдкій и крайне симпатичный типъ стараго служака, всѣмъ существомъ своимъ преданнаго начальству... Миръ праху его, этого вѣрнаго слуги, нашедшаго разъ начку съ деньгами до пятисотъ рублей, забытую старшиною на столѣ, и возвратившаго ее безъ всякаго промедленія: за этотъ подвигъ онъ получилъ отъ старшины рубль серебра... Исполнитель онъ былъ замѣчательно; бывало, скажешь ему: «пришли мнѣ завтра въ 4^{1/2} часа утра лошадей на квартиру», и ужъ вполнѣ увѣренъ, что лошади ни на пять минутъ не опоздаютъ, ни на четверть часа ранѣе назначеннаго срока не пріѣдутъ... Былъ однажды на судѣ такой случай: тягались два мужика о запродажной лошади; свидѣтелемъ у одного изъ тяжущихся былъ священникъ изъ сосѣдняго села, который очень тянулъ руку своего кліента и даже съ азартомъ насканивалъ на судей, покрикивая такъ: «Да чего вы думаете? Тутъ и думать нечего! Пишите прямо «отказать» и проч. Между тѣмъ я замѣтилъ, что дѣло попова кліента неправое, да и судьи хотя поддакивали «батюшкѣ», но тоже что-то маялись; необходимо было имъ дать поговорить между собой, но никакъ не въ присутствіи полуначальственнаго лица, т.-е. священника. Поэтому я по обыкновенію предложилъ всѣмъ присутствующимъ оставить комнату, «такъ какъ судьи будутъ совѣщаться». Всѣ вышли, кромѣ священника, переважно разсѣявшагося на диванѣ, съ видимымъ намѣреніемъ производить «давленіе» на судей.

— Батюшка.—говорю я ему,—предложеніе мое—на время удалиться изъ этой комнаты—относилось къ вамъ въ той же степени, какъ и ко всѣмъ прочимъ.

— А вы что жъ не уходите?—придирчиво спрашиваетъ онъ меня.

— Моя обязанность быть здѣсь въ качествѣ секретари суда. Постороннимъ же здѣсь нѣтъ мѣста.

— Я уйду только въ томъ случаѣ, если и вы уйдете,—настойчиво твердить расходившійся пастырь.

— Петровичъ,—говорю я,—попроси батюшку оставить эту комнату

Несмотря на свою набожность и полное уваженіе къ духовенству, Петровичъ мигомъ подскочилъ къ священнику и, взявъ его легонько за рукавъ рясы, вѣжливо, но настойчиво просилъ удалиться; тотъ во избѣжаніе пущаго скандала покорился... Я потомъ спрашивалъ Петровича, какъ онъ рѣшился вывести священника? «Мнѣ покойный предводитель Софоновъ говорилъ, — отвѣчалъ онъ:—старикъ, ты знай только старшину да писаря,—ихъ только и слушайся; а становые, урядники и прочая шушера—для тебя не начальники. Вотъ я теперь и знаю, что старшина или писарь сказалъ, такъ тому и быть. Онъ, батюшка-то, у себя въ церкви хозяйствуй, а здѣсь онъ не хозяинъ...» Такъ вотъ каковъ былъ Петровичъ.

Возвращаясь къ прерванному разсказу.

Десятскій бѣжить въ харчевню, но судей беспокоить не рѣшается, а приглашаетъ только «дяденьку Петровича» (такъ всѣ его называютъ) «сходить къ писарю». Этотъ послѣдній на полусловъ обрываетъ рѣчь и мгновенно является въ дверяхъ канцеляріи, вопрошая: что прикажете?

— Ты, другъ мой, который счетомъ шкаликъ пропустилъ?.. Только говори по совѣсти!

— Врать не буду, Николай Михайловичъ, четвертый.

— Ну, это ничего; только больше до конца суда ни-ни!.. Зови же судей.

— Слушаю-съ.

Онъ дѣлаетъ нѣсколько кругомъ и бѣглымъ шагомъ отправляется въ харчевню... Иду пять, десять минутъ, наконецъ появляются и судьи.

— Ужъ вы простите великодушно, Николай Михайловичъ,—признаться, чайкомъ съ морозу побаловались. Морозецъ нынѣ важный, благодаря Создателю!

— Доброго здоровьица, Николай Михайловичъ, съ праздничкомъ-съ! Все ли по-добру себѣ, по-здорову?

— Слава Богу, благодарю... Садитесь, пожалуйста, пора начинать, а то поздно засидимся: нынче восемнадцать дѣлъ.

— Господи, Создатель милосердный! Да откуда жъ ихъ такая пропасть?.. Нѣтъ, вы ужъ насъ не держите, Николай Михайловичъ, выпустите поскорѣ: пельзя ли кой-какія до будущаго воскресенья отложить?..

— Къ будущему воскресенью опять наберется десятка два дѣлъ, ужъ сейчасъ семь жалобъ новыхъ записано. Садитесь, начнемъ поскорѣ, чего народъ зря держать...

Крестясь и погряхтывая, залѣзаютъ судьи на свои мѣста, позади длиннаго стола, покрытаго зеленымъ сукномъ. Ихъ четверо. Но позвольте мнѣ сначала разсказать, кто сейчасъ со мной сидитъ за судейскимъ столомъ.

На самомъ дальнемъ концѣ стола, противъ того мѣста, гдѣ обыкновенно стоятъ тяжущіеся, сидитъ Петръ Колесовъ, мужикъ изъ средне состоятельнаго дома, лѣтъ около сорока, живой и юркій, любящій вести допросы и ежеминутно перебивающій какъ свидѣтелей, такъ и тяжущихся своими восклицаніями и замѣчаніями. Колесовъ всегда съ живѣйшимъ интересомъ слушаетъ дѣло, задаетъ вопросы, очень остроумные, хотя подчасъ къ дѣлу не относящіеся, а имѣющіе цѣлью уяснить лично Колесову какое-нибудь непонятное ему побочное обстоятельство, о которомъ кто-либо упомянулъ на судѣ. Когда дѣло доходитъ до постановки рѣшенія, то онъ всегда первый предлагаетъ что-нибудь, но зачастую отказывается отъ своего мнѣнія подъ вліяніемъ разсужденій сосѣда, Дениса Черныхъ. Денисъ, безспорно, мужикъ умный, разсудительный, несмотря на свои 60 лѣтъ, онъ еще крѣпокъ и не покидаетъ сохи, хотя у него трое взрослыхъ сыновей. Говоритъ Денисъ мало, слушаетъ тяжущихся, опустивъ глаза въ землю и сохраняя безстрастное выраженіе лица; онъ, несомнѣнно, предсѣдатель нашего суда, хотя такой должности въ дѣйствительности и нѣтъ; но его авторитетъ настолько великъ, что при постановкѣ рѣшенія очень рѣдкіе осмѣливаются перечить ему. Колесовъ уступаетъ ему охотно, хотя и позволяетъ себѣ иногда задать нѣсколько вопросовъ или хотя бы сдѣлать нѣсколько восклицаній, долженствующихъ выразить его удивленіе и сомнѣніе. Совершенно иначе относится къ Черныхъ его другой сосѣдъ, Василій Пузанкинъ, или, какъ его попросту называютъ, лишь только онъ выйдетъ изъ-за судейскаго стола, — Васька Голопузь. Этотъ Васька—типъ деревенскаго прохвоста, на все готового за рубль и за полштофъ водки; въ судьи онъ попалъ благодаря поддержкѣ подобныхъ ему, которымъ онъ «стравилъ» рубля полтора на водку,—и вотъ онъ теперь старается «вернуть свое». Онъ совершенно продаженъ; съ упорствомъ, достойнымъ лучшей участи, отстаиваетъ онъ кругомъ неправого, если этотъ неправый посулитъ ему могорычъ; онъ со злобью уступаетъ только соединеннымъ успіямъ Дениса и Петра, подкрѣпленнымъ и моимъ писарскимъ авторитетомъ, и часто имѣетъ нахальство, уступивъ, приговаривать: «Смотрите, дѣло ваше; человека, извѣстно, недолго обидѣть... А нужно такъ, чтобы, то-есть, по правдѣ...» Въ эти минуты великолѣпнѣй Черныхъ, бросающій на озлобленнаго взяточника мрачно-презрительные взгляды; подъ вліяніемъ этихъ взглядовъ причитанія Васьки становятся все тише и тише и, наконецъ, переходятъ въ невнятный шопотъ про себя. На судѣ Васька является всегда нѣсколько зарумянившимся отъ трехъ, четырехъ выпитыхъ «въ задатокъ» стаканчиковъ; выпить сверхъ этого онъ не рѣшается до суда, съ того времени, какъ и однажды потребовалъ, чтобы онъ вышелъ изъ-за судейскаго стола, такъ какъ онъ былъ окончательно пьянъ; Васька было запротестовалъ, не желая оставлять теплаго мѣстечка, но я объявилъ, что не буду продолжать дѣла и покину судейскую комнату на все то время, пока будетъ тамъ засѣдать пьяный Васька. Это подѣйствовало: онъ вышелъ изъ-за стола и впослѣдствіи остерегался уже «перенускать» лишній стаканчикъ, изъ боязни вновь осрамиться; зато по окончаніи судовъ Пузанкинъ переставалъ стѣнаться и напивался съ тяжущимися до положенія ризъ. Любопытнѣе всего то, что его угощали даже тѣ изъ судившихся, которые, несмотря на его заступничество въ судѣ, проигрывали тяжбы; дѣлалось это изъ благодарности за подмогу: все-таки, молъ, старался человекъ, а и такъ сказать надо, можетъ-быть, и хуже безъ него было бы...

Но большею частью, Васяка долъ имѣющихъ еще судиться въ будущемъ, за-страшивая однихъ и суля другимъ всякую благодать, а зачастую не стѣнялся выинти и съ противной стороны стаканчикъ-другой, при чемъ склонилъ ее на мировую съ уступкою, страдая всякими ужасами... Словомъ, это былъ въ пол-номъ смыслѣ негодай.

Четвертый судья, Федька-ямщикъ, былъ, дѣйствительно, ямщикомъ и по-палъ въ судьи именно потому, что онъ былъ ямщикъ. Свою судебскую обязан-ность онъ отпиралъ какъ натуральную повинность; во время дѣлопроизвод-ства обыкновенно дремалъ, во всемъ соглашался съ мнѣніемъ большинства, по нѣскольку разъ мѣняя свои рѣшенія, и думалъ только объ одномъ: какъ бы скорѣе отпустили его «ко двору». Это онъ-то всегда и проситъ меня передъ началомъ засѣданія,—нельзя ли нѣсколько дѣлъ отложить до другого раза? Такимъ образомъ Федька сидѣлъ только для счета, никакого вліянія на ходъ дѣла не оказывая.

Итакъ, мы усаживаемся за столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; судьи сидятъ у стѣны по длинѣ стола, я—сбоку, за узкимъ концомъ его. Петро-вичъ мнѣ порадѣлъ, поставилъ единственное имѣющееся у насъ кресло; онъ это дѣлаетъ каждое воскресенье, несмотря на мои протесты. «Вы больше ихъ работаете—пишете, а они только языкомъ болтаютъ; вамъ и отдохнуть надо, а на креслѣ и мягче и откинуться можно», говоритъ онъ; судьи сидятъ на раз-нокалиберныхъ стульяхъ. Засѣданіе наше носитъ вначалѣ официально- торже-ственный характеръ: судьи сидятъ въ застегнутыхъ наглухо полшубкахъ, туго-перепоясанныхъ праздничными домоткаными кушаками; но по мѣрѣ того, какъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы засѣдаемъ, становится все душнѣе,—полшубки разстегиваются, позы становятся свободнѣе, на лицахъ сказывается утомленіе, рѣчь принимаетъ болѣе домашній характеръ. Но вначалѣ, какъ я сказалъ, всѣ держатся чопорно, глубоко вздыхаютъ, шепчутся другъ съ другомъ впло-голоса, какъ бы боясь нарушить торжественность обстановки; Петровичъ стоитъ у дверей навытяжку; на диванѣ сидятъ два официальныхъ свидѣтеля, при ко-торыхъ читаются постановленія суда, что и отмѣчается въ книгѣ такимъ обра-зомъ: «Рѣшеніе это объявлено такого-то числа, при свидѣтеляхъ, крестьянахъ такихъ-то». Такъ какъ комнатка наша мала, и къ тому же случается, что пу-блика не ведетъ себя достаточно чинно, то, кромѣ этихъ двухъ свидѣтелей, присутствовать при допросахъ допускается лишь избраннымъ, изрѣдка приходя-щимъ «скуки ради» послушать суды: учителю, священникамъ, мѣстнымъ тор-говцамъ и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, составляющимъ сливки кочетковскаго общества. Для прочей, «черной» публики двери нашей залы засѣданій рас-творяются только въ моментъ объявленія рѣшенія суда.

Выступаетъ на сцену истецъ, старикъ лѣтъ шестидесяти. Онъ жалуется, что сынъ его пересталъ слушаться, бранится, бросается съ кулаками на мачеху, его, старика, вторую жену... Старикъ проситъ судъ «пострадать» сына, всы-пать ему десятокъ горячихъ. Зовемъ парня, входитъ малый лѣтъ двадцати-пяти, самъ ужъ отецъ двоихъ дѣтей; за его спиной становится его жена, а сбоку старика—мачеха. Бабы эти вторглись къ намъ, несмотря на прогесты Петро-вича; я оставляю ихъ, однако, въ покоѣ, думая, что изъ имѣющей пропойги семейной сцены скорѣе выяснится, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ.

— Батюшки мои, заступитесь, родные!.. — причитает мачеха. — Житья мнѣ не стало, со свѣта споняетъ...

— Кто тебя споняетъ? Сама всѣхъ изъ дому выгоняешь, поѣдомъ меня ѣшь, — замѣчаетъ молодая.

Отецъ съ сыномъ молчатъ, не глядя другъ на друга.

— Ты, что жъ это, молодецъ, дѣлаешь? А? Нешто годится это отца родного да мать забижать? — спрашиваетъ Колесовъ.

— Отца я не обижаю, а она, какая же мнѣ она мать? — нехотя замѣчаетъ бунтовщикъ.

Судьи молчатъ; съ двухъ словъ становится для всѣхъ понятной семейная драма тяжущихся: мачеха не уживается съ молодой и натравляетъ на нее старика, сынъ заступаетъ за свою жену и отстаиваетъ ее передъ стариками. «Отцы» не ладятъ со своими «дѣтьми», исторія далеко не новая.

— Проси, чего жъ ты не просишь? — слышу я шопотъ старухи.

— Такъ какъ же, господа судейскіе, пострачайте малаго-то!.. Совсѣмъ отъ рукъ отбился.

— Старикъ! ты не дарма ли просишь на него? Не твоя ли хозяйка тебя подбиваетъ свое дѣтище тѣснить? — строго спрашиваетъ Черныхъ.

— Да разрази меня Мать Пресвятая Богородица!.. Да провались я на этомъ мѣстѣ, — начала было причитать старуха, но быстро умолкнула при грозномъ жестѣ Петровича.

Старикъ ничего на вопросъ не отвѣтилъ.

— Эй, молодецъ, слухай сюда, — говоритъ Черныхъ. — Можетъ, тутъ и не вся вина твоя, а все жъ ты супротивъ отца родного не долженъ идти, не смѣешь ругаться, это великій грѣхъ!.. Проси прощенья: онъ, може, и проститъ, а то, не прогнѣвайся, отстегаетъ.

«Молодецъ» угрюмо молчитъ, не поднимая глазъ съ полу.

— Дѣдушка! А то, на первый разъ, вы бы простили его! — дѣлаю я слабую, что и самъ замѣчаю, попытку смягчить старика.

— Какъ же мнѣ прощать, коли онъ не проситъ? — говоритъ онъ и этимъ порываетъ всякую надежду на мирный исходъ дѣла.

По предложенію Петровича (онъ понялъ кивокъ головой, сдѣланный Денисомъ Ивановичемъ), вся группа тяжущихся выходитъ изъ комнаты.

Наступаетъ моментъ рѣшенія участи малаго, почему-то пріобрѣвшаго мою симпатію. Я выжидаю, что скажетъ Денисъ Ивановичъ: мнѣнія прочихъ не имѣютъ для меня такого значенія. Первымъ, по обыкновенію, начинаетъ говорить Колесовъ.

— Что жъ, господа товарищи, всыпать ему десяточекъ или много?

— Чего много! — поддерживаетъ Пузанкинъ, не воспользовавшийся ничѣмъ отъ обвиняемаго и поэтому сохраняющій суровый ригоризмъ. — Чего много! Въ самый разъ! Имъ гляди въ зубы-то; они живо осѣдлаютъ...

— Такъ, такъ, это первымъ дѣломъ! — поддакиваетъ Федька, всегда согласный съ чужимъ авторитетно-высказаннымъ мнѣніемъ.

Въ эту минуту Федька даже забылъ, какъ прошлый праздникъ, напившись въ кабакъ, пришелъ домой и такъ саданулъ въ бокъ своего родного батюшку, начавшаго дѣлать ему выговоръ, что тотъ дня два кряхтѣлъ и грозилъ идти жаловаться въ судъ на драчливаго судью...

Денисъ Ивановичъ все молчитъ; я начинаю надѣяться, что онъ не согласенъ съ мнѣніемъ прочихъ, и стараюсь расчистить ему путь, указывая на выяснившееся на судѣ обстоятельство,—злющій характеръ мачехи, притѣсняющей, по всей вѣроятности, жену обвиняемаго, что и послужило поводомъ къ открытой ссорѣ между «отцами и дѣтьми». Я намекаю, что не худо бы на первый разъ оставить все дѣло безъ послѣдствій, предупредивъ отвѣтчика, что если на него еще будутъ жалобы, то онъ въ слѣдующій разъ будетъ подвергнутъ тяжелому взысканію.

— Нѣтъ, вовсе прощать, ку-быть, не годится,—замѣчаетъ Черныхъ.—А дать ему одинъ лозанъ для острастки.

Но я окончательно встаю противъ тѣлеснаго наказанія. Парень, доказываю я, кажется, хорошій и долженъ теперь пропастъ изъ-за ехидной старушонки. Если пороть, то разница между однимъ и двадцатью ударами—только въ относительной боли, а послѣдствія для осужденнаго одни и тѣ же: онъ лишается многихъ правъ, не можетъ быть выбранъ старостой, старшиной и проч. Я горячо защищаю жертву семейныхъ неурядицъ и, какъ крайнее средство, предлагаю остановиться на арестѣ, если судъ найдетъ окончательно невозможнымъ совершенно простить обвиняемаго... Прежде всѣхъ со мной соглашается Ѳедька-ямщикъ, такъ какъ онъ, изъ уваженія къ моему писарскому званію, считаетъ необходимымъ согласоваться съ моими взглядами даже въ ущербъ авторитету Дениса Ивановича; но остальные молчатъ, упорно отстаивая права родительской власти. Совѣщаніе наше тянется около получаса; Колесовъ и Пузанкинъ, наконецъ, начинаютъ сдаваться и говорить Черныху: «А то, ну его къ лѣшему!.. Давай его въ холодную сутокъ на пять посадимъ, коли закона нѣтъ пороть?», на что Черныхъ отрывисто отвѣчаетъ: «Дѣлайте, какъ знаете». Я ухватываюсь за эту полууступку съ его стороны и пишу рѣшеніе: арестовать такого-то при волостномъ правленіи на пять сутокъ... Денисъ Ивановичъ устранилъ себя отъ рѣшенія вопроса, не осмѣливаясь измѣнить ветхозавѣтнымъ традиціямъ, по которымъ въ данномъ случаѣ требовалось выдать сына головой огцу, т.-е. сдѣлать съ нимъ все, что пожелаетъ отецъ; но новыя времена съ такой неудержимой силой разрушаютъ всѣ отцовскіе и дѣдовскіе обычаи, что Денисъ Ивановичъ иногда въ полномъ недоумѣніи,—гдѣ же ложь, и гдѣ истина, и, не умѣя разрѣшить этихъ жгучихъ вопросовъ, вовсе отстраняется отъ активного вмѣшательства, ограждая себя словами: «Дѣлайте, какъ знаете»...

Недоразумѣніямъ, возникшимъ по поводу этого дѣла, не суждено было, однако, кончиться на этомъ: когда я прочелъ постановленіе суда о «подвергнутіи Порфирія Алексѣевича пятидневному аресту за неповиновеніе родительской власти», то старикъ вдругъ завопилъ.

— Батюшки, господа судейные!.. Да что жъ это вы со мной дѣлаете? Намъ съ нимъ завтра надо ѣхать къ Сысоеву дрова возить, — я договорился и задатки на три подводы взялъ, — а вы его въ холодную посадить хотите!.. Да гдѣ жъ мнѣ одному, старику, справиться? Вѣдь онъ у меня одинъ, какъ перстъ!.. Ослобоните, родимые, не зорите...

Я пытаюсь успокоить старика, увѣряя, что его сына арестуютъ не сейчасъ, а по истеченіи тридцатидневнаго срока, и что онъ самъ можетъ явиться, какъ посвободнѣе будетъ. Но старикъ и на этотъ компромиссъ нейдетъ.

— Завсегда работа около дома найдется: помолотиться, сбьчки скотинѣ на-рѣзать; гдѣ ужъ мнѣ одному нять-то дней справляться со всѣмъ хозяйствомъ!.. Итъ, господа судейные, ужъ вы его лучше постегайте, да и отпустите домой.

Черныхъ глубоко вздыхаетъ; Колесовъ ерзаетъ на стулѣ; Пузанкинъ шепчетъ: «я говорилъ, постегать...» Подсудимый все время стоитъ, потушивъ глаза, и только изрѣдка нетерпѣливо встряхиваетъ волосами, когда стоящая позади его молодуха что-то шепчетъ ему на ухо. Я объявляю, что постановленіе суда уже сдѣлано и измѣнено быть не можетъ; недовольные же имъ имѣютъ право обратиться съ жалобой въ уѣздное присутствіе.

— Коли такъ,— съ сердцемъ объявляетъ старикъ,— не надо жъ мнѣ вашего суда!.. Ничего не хочу,—помарайте, ку-быть я и не судился!.. Видно, нонѣ законъ такой есть: сыновьямъ на шеѣ отцовской ѣздить!.. Прощенья просимъ, что обезпокоили васъ.

И онъ величественно—не подберу другого слова—уходитъ, шмыгая избитыми лаптями; сынъ тоже молча поворачивается къ выходу, одна только молодуха низко кланяется и говоритъ: «Дай вамъ, Господи!.. Помогни царица небесная!..» Петровицъ ласково толкаетъ ее къ двери... Мы сидимъ, словно воды въ ротъ набрали; всѣмъ тяжело, даже и Оедькѣ,— про Дениса Ивановича я и не говорю: онъ, видимо, даже въ лицѣ измѣнился... Не суду возстановлять дискредитированную власть «отцовъ» надъ «дѣтьми»!

Слѣдующее за этимъ дѣломъ нѣсколько разгоняетъ мрачное настроеніе нашего духа. Тяжущіеся: мужъ, плюгавый мужичонка, горбатый, со слезящимися глазами, и жена — по городскому одѣтая женщина, лѣтъ 32—34, все еще довольно красивая, несмотря на отпечатокъ бурной жизни на лицѣ; она держитъ себя модно, говоритъ по-«благородному» и вообще смахиваетъ на горничную средней руки. Истица проситъ судъ заставить отвѣтника выдать ей паспортъ для проживанія въ городѣ.

— Я вотъ уже шесть годовъ по господамъ живу, хорошія мѣста имѣю, и вдругъ онъ требуетъ меня къ себѣ, господину стариннѣ не дозволяетъ документъ мнѣ выдать...

— Не хочу, чтобъ болталась: иди ко мнѣ жить.

— Никакъ эго невозможно-съ, господа!.. Очень прошу принять въ разсудъ, что если бъ у него хозяйство было, если бъ онъ меня, какъ должно, соблюдать могъ, то это разговоръ иной былъ бы; а то домишко у него весь развалился, самъ онъ въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка хватить соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю,—ничего отъ него не прошу, только дай мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-наперво спросить?.. — презрительно спрашиваетъ горничная.

— Вотъ что, другъ, покайся-ка: ты вѣдь самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно, самъ,—мрачно отвѣчаетъ «другъ».

— И все время начпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу! Самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чап-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешь?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа-судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобы только онъ не нудилъ меня.

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Оедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится?—Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Настухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересоваться мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ пущенной давно на вольную жизнь дражайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать о своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гнѣздо, не принявъ только въ расчетъ полного разлада между своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдѣте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ

— Что съ ними дѣлать?—обращается онъ къ Денису Черныхъ.—Отпустить ее: пусть беретъ хвостъ въ зубы и убивается, куда глаза глядятъ?

— Тоже баловать-то не приходится ихнюю сестру: онъ такъ всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряннѣ всегда хватить... На какой лядъ она ему,—вѣдь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Извѣстно—городская...

— Николай Михайловичъ, а можемъ мы ей пачпортъ-то дать?.. Какъ тамъ, въ законахъ-то?

— Въ законѣ о томъ, что пельзя давать—ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А не доволенъ, бери «скопію», — пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ, намъ и того пріятнѣе будетъ!.. Пиши, Николай Михайловичъ,—дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ «скопію», но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился со своей судьбой, — доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата: старшему, Андрею — 30 лѣтъ, младшему, Егору — 26 лѣтъ. Они рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго, ни старшей въ домъ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ, ну, и не стало житья самимъ братьямъ,—лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ дворамъ не умѣститься; надобно которому-нибудь изъ нихъ удалиться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонъ-пустырѣ; спорили, спорили, два раза до драки доходило,—а толку нѣтъ никакого... Селеніе ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева родня имъ: ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и

порѣшили они разобратъся на судѣ: что чужіе умственные люди скажутъ, — такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Ивановичъ? — спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Ивановича, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ заседающихъ судей онъ одинъ только вполне компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслынкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писанаго закона.

— А вотъ какъ, — говоритъ Денисъ Ивановичъ, послѣ минутной паузы: — итти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмишь, во что старики положить взаимѣнъ ся, клѣтку съ амбаромъ или еще что...

— Это мы очень понимаемъ; только почему же и помѣстье ему и изба, а мнѣ одиѣ клѣтки? — говоритъ Андрей.

— А потому, молодецъ, что это еще дѣдами нашими заведено такъ: всегда старшій братъ уходитъ отъ младшаго. Не будь этого, старшіе-то всегда сникивали бы молодшихъ на выгона; знамо, они посильнѣе будутъ, они въ годахъ, ну, и потяжелѣе жеребій имъ долженъ итти. Не дѣлнсь, а сталъ дѣлаться, начинай хозяйство сызнова; такъ-то!..

Андрей покоряется и остается доволенъ рѣшеніемъ: видно, онъ «не дошелъ» еще до отрицанія власти стариковъ.

Истецъ по слѣдующему дѣлу предъявляетъ ко взысканію расписку въ 90 рублей, засвидѣтельствованную въ волостномъ правленіи; срокъ уплаты давно истекъ.

— Сколько же вы взыскиваете? — спрашиваю я, чтобы оформить дѣло.

— Пятьдесятъ два рубля съ полтиной, — къ моему удивленію отвѣчаетъ истецъ.

— Какъ такъ? А расписка на 90 рублей?

— Это точно-сѣ. Только я ужъ получилъ по ней тридцать рублей земли, да осьмину ржи, да четверть овса, да поросенка, да пахалъ онъ на меня день... Вотъ мы сочлись: какъ разъ на тридцать семь съ полтиной вышло. Остальные пишу, какъ срокъ, собственно, давно ужъ прошелъ.

— Должны вы ему? — спрашиваю отвѣтника.

— Что зря болтать — долженъ.

— А много ли?

— Да подсчитались, ку-быть, пятьдесятъ два рубля.

— Анъ, съ полтиной, — вмѣшивается истецъ.

— Анъ, нѣтъ!

— Врешь!..

— Анъ, не вру. Перекрестись, коль съ полтиной!..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что и не перекрещусь?..

— А слегн-то забылъ, что бралъ у меня десятокъ о заговѣннѣ? Но пятачку положили?

— Такъ онъ за картошку пошелъ...

— Разуи глаза-то! За картошку даве пофитались, какъ за землю-то уснитывались!

— А ну-те къ Богу въ рай!.. — говоритъ истецъ унавшимъ голосомъ, должно-быть, смутно припоминая, что слегн точно не шлн за картошку, но все-

такъ не желая признать своей ошибки.—Пятьдесятъ два, такъ пятьдесятъ два... не обѣдяю съ полтинника.

— Да не разживешься...

— Ну, вотъ что, почтенные, — вступается Колесовъ, — чего браниться? Честь-честью сталкивались, и слава Богу, зачѣмъ Его, Батюшку, гнѣвить... Такъ какъ же, милушка, отчего деньги-то не отдаешь?

— Да у насъ уговоръ былъ землей расплачиваться, по двѣ десятины ему каждый годъ отдаю; только больно ужъ обидную цѣну онъ кладетъ—десять съ полтиной; вотъ я и сталъ покупщика искать, съ четырнадцатью рублями за десятину ужъ набиваются.

— А ты денежки-то умѣлъ брать, а отдавать-то не любо?.. А что я второй годъ жду на тебѣ, это ты въ счетъ не кладешь?..

— А ты не кладешь, что поросенка-то у меня за два рубля зачелъ, а онъ на худой конецъ четыре стоитъ?

— Да не ты ли кланялся, Христомъ Богомъ просилъ просеца на сѣмена?.. Это ты забылъ?..

Долго препираются такимъ образомъ пріатели; ихъ денежныя отношенія такъ запутаны, что крайне мудрено опредѣлить, кто изъ нихъ больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанныя кредиторомъ, обошлись не дешево, это вѣдѣ всякаго сомнѣнія, и симпатія Черныха и Колесова, какъ я замѣчаю, лежатъ къ нему, потому что они общими усиліями стараются сбить истца на мировую, что имъ, наконецъ, и удастся послѣ получасового усовѣщиванія. Тяжущіеся кончаютъ дѣло миромъ: десятина идетъ за тринадцать безъ четверти, а уплата остального долга отсрочивается до будущей осени.

Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ дѣлъ о взысканіи за землю, о недожитіи въ работникахъ и проч. Это дѣла заурядныя, составляющія самый значительный процентъ всѣхъ тяжбъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ.

Вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брызжетъ злостью, накопившейся у нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ со своими сосѣдами, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпенку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдамъ; мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпенку шею и трупъ его обратно перебросилъ къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпенку рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истца, отвѣтчикъ-отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпенки и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершенное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судьи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я? Праведные судьи! Помиловосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы стойте!.. Вы расскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Пискалка у меня задушила его змѣенышъ... Они у меня такъ всѣхъ буръ передушатъ.



Волостной судъ. Съ карт. Зоценко.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?—останавливаю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго завода. Еще упокойная барыни, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Пойдите, пойдите!.. Такъ рубль просите?

— Да-съ, рубликъ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость будетъ, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!..—прервалъ ее Черныхъ.—Ты, Игнатичъ, сына, говоришь, поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Ивановичъ, какъ же, въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздастся жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!..»

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Ивановичъ экзекуцію.—Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣляется... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятналтынный-то за пискала...

— Что жъ, Денисъ Ивановичъ, я цѣну настоящую завсегда отдать готовъ... А то вдругъ—рупъ!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятналтыничекъ мнѣ на убожество пожаловали?—алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятналтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку мнѣ вы это дѣлаете?—Такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстѣ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѣсты читала, да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Сколю мнѣ пожалуйста, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому пристава... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копией приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстѣ переть?.. Понимаю-съ, очень даже претлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромя Черныхъ), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?—спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполне понятно, ибо уже одиннадцатые часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальные пять

дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ не явились истцы, въ одномъ не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!..—шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны предъ иконой.

Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ. Черныхъ благоговѣнно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Оедька — за то, что, наконецъ-то, настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ—за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...

Н. Астыревъ.

Ермила Гиринъ.

— Слыхали про Адовщину,
Юрлова князя вотчинну?
— Слыхали, ну, такъ что жъ?
— Въ ней главный управляющій
Былъ корпуса жандармскаго,
Полковникъ со звѣздой;
При немъ пять-шесть помощниковъ,
А нашъ Ермилъ писаремъ
Въ канторѣ состоялъ.

Лѣтъ двадцать было малому;
Какая воля писарю?
Однако для крестьянина
И писарь человѣкъ.
Къ нему подходишь къ первому,
А онъ и посовѣтуетъ,
И справку наведетъ;
Гдѣ хватить силы — выручить,
Не спросить благодарности,
И дашь, такъ не возьметъ!
Худую совѣсть надобно
Крестьянину съ крестьянина
Копейку вымогать.

Такимъ путемъ вся вотчина
Въ пять лѣтъ Ермилу Гирину
Узнала хорошо.
А тутъ его и выгнали...
Жалѣли крѣпко Гирину,
Трудненько было къ новому,
Ханугъ привыкать;
Однако дѣлать нечего,
По времени приладились

И къ новому писцу.
Тотъ ни строки безъ трешника,
Ни слова безъ семинника,—
Проженный, изъ кутейниковъ,
Ему и Богъ велѣлъ!
Однако, волей Божіей,
Недолго онъ поцарствовалъ!—
Скончался старый князь,
Пріѣхалъ князь молоденькій,
Прогналъ того полковника,
Прогналъ его помощника,
Кантору всю прогналъ;
А намъ велѣлъ изъ вотчины
Бурмистра избрать.
Ну, мы недолго думали:
Шесть тысячъ душъ всей вотчиной
Кричимъ: «Ермилу Гирину!»
Какъ человѣкъ единъ.
Зовутъ Ермилу къ барину.
Поговоривъ съ крестьянникомъ,
Съ балкона князь кричитъ:
«Ну, братцы! будь по-вашему!
Моей печатью княжеской
Вашъ выборъ утверждетъ;
Мужикъ проворный, грамотный,
Одно скажу: не молодъ ли?..»

А мы: «Нужды нѣтъ, батюшка,
И молодъ, да уменъ!»
Пошелъ Ермилъ царствовать
Надъ всей княжою вотчиной —
И царствовалъ же онъ!

Въ семь лѣтъ мірской копеечки
Подъ поготь не зажалъ;
Въ семь лѣтъ не тронулъ праваго,
Не попустилъ виновному,
Душой не покривилъ...

— Стой, — крикнулъ укорительно
какой-то попикъ сѣденькій
Разсказчику: — грѣшишь!
Шла борода прямехонько,
Да вдругъ махнула въ сторону —
На камень зубъ попалъ!
Коли взялся разсказывать,
Такъ слова не выкидывай
Изъ пѣсни: или странникамъ
Ты сказку говоришь?
Я зналъ Ермилу Гиррина...

— А я, небось, не зналъ!
Одной мы были вотчины,
Одной и той же волости,
Да насъ перевели...
— А коли зналъ ты Гиррина,
Такъ зналъ и брата Митрія;
Подумай-ка, дружокъ. —
Разсказчикъ призадумался
И, помолчавъ, сказалъ:
— Совралъ я: слово лишнее
Сорвалось на-маху!
Былъ случай, и Ермилъ мужикъ
Свихнулся: изъ рекрутчины
Меньшого брата Митрія
Новгородилъ онъ.
Молчимъ: тутъ спорить нечего,
Самъ баринъ брата старосты
Забрать бы не велѣлъ;
Одна Непила Власьева
По сынѣ горько плачется,
Кричитъ: «Не нашъ чередъ!»
Извѣстно, покрпчала бы,
Да съ тѣмъ бы и отъѣхала.
Такъ что же? Самъ Ермилъ,
Покончивши съ рекрутчиной,
Сталъ тосковать, печалиться,
Не пьетъ, не ѣстъ: тѣмъ кончи-
лось,
Что въ денникѣ съ веревкою
Засталъ его отецъ.
Тутъ сынъ отцу покался:

«Съ тѣхъ поръ, какъ сына Власьевнъ
Поставилъ я не въ очередь,
Постылъ мнѣ бѣлый свѣтъ!»
А самъ къ веревкѣ типется.
Пытали уговаривать
Отецъ его и братъ,
Онъ все одно: «Преступникъ я!
Злодѣй! Вяжите руки мнѣ,
Ведите въ судъ меня!»
Чтобъ хуже не случилось,
Отецъ связалъ сердечнаго,
Приставилъ караулъ.

Сомелся міръ, шумитъ, галдитъ:
Такого дѣла чуднаго
Вовѣкъ не приходилось
Ни видѣть, ни рѣшать.
Ермиловы семейные
Ужъ не о томъ старался,
Чтобъ мы имъ помирволили,
А строже разсуди —
Верни парнишку Власьевнѣ,
Не то Ермилъ повѣсится,
За нимъ не углядишь!
Пришелъ и самъ Ермилъ Плычъ,
Босой, худой, съ колодками,
Съ веревкой на рукахъ;
Пришелъ, сказалъ: «Была пора,
Судилъ я васъ по совѣсти,
Теперь я самъ грѣшнѣе васъ:
Судите вы меня!»
И въ ноги поклонился намъ.
Ни дать, ни взять — юродивый*
Стоитъ, вздыхаетъ, крестится;
Жаль было намъ глядѣть,
Какъ онъ передъ старухою —
Передъ Непилой Власьевной,
Вдругъ на колѣни палъ!

Ну, дѣло все обладилось!
У господина сильнаго
Вездѣ рука: сынъ Власьевны
Вернулся, сдали Митрія,
Да, говорятъ, и Митрію
Не тяжело служить:
Самъ князь о немъ заботится;
А за провинность съ Гиррина
Мы положили штрафъ:
Штрафныя деньги — рекруту,

Часть небольшая — Власевнѣ,
Часть — міру на вино...

Однако послѣ этого
Ермилъ не скоро справился,
Съ годъ какъ шальной ходилъ.
Какъ ни просила вотчина,—
Отъ должности уволился,
Въ аренду снялъ ту мельницу,
И сталъ онъ пуще прежнего
Всему народу любъ:
Бралъ за помоль по совѣсти,
Народу не задерживалъ —
Приказчикъ, управляющій,
Богатые помѣщики
И мужики бѣднѣйшіе,—
Всѣ очереди слушались,
Порядокъ строгій велѣ!
Я самъ ужъ въ той губерніи
Давненько не бывалъ,
А про Ермилу слыхивалъ:
Народъ имъ не нахвалится!—
Сходите вы къ нему.

— Напрасно вы проходите,—
Сказалъ ужъ разъ заспорившій
Сѣдоволосый попъ:—
Я зналъ Ермилу Гирину;
Попалъ я въ ту губернію
Назадъ тому лѣтъ пять.
(Я въ жизни много странствовалъ,
Преосвященный нашъ
Переводить священниковъ
Любилъ...) Съ Ермилой Гиринымъ
Сосѣди были мы.
Да! былъ мужикъ единственный!
Имѣлъ онъ все, что надобно
Для счастья: и спокойствіе,
И деньги, и почетъ —
Почетъ завидный, истинный,
Не купленный ни деньгами,
Ни страхомъ: строгой правдою,
Умомъ и добротой!
Да только, повторяю вамъ,
Напрасно вы проходите:
Въ острогѣ онъ сидитъ...

— Какъ такъ?—

— А воля Божія!

Слыхалъ ли кто изъ васъ,

Какъ бунтовалась вотчина
Помѣщика Обрубкова,
Испуганной губерніи,
Уѣзда Недыханьева,
Деревня Столбняки?..
Какъ о пожарахъ пишется
Въ газетахъ (я ихъ читывалъ):
«Осталась неизвѣстною
Причина» — такъ и тутъ:
До сей поры невѣдомо
Ни земскому исправнику,
Ни высшему правительству,
Ни Столбнякамъ самимъ,
Съ чего стряслась оказія.
А вышло дѣло дрянъ.
Потребовалось воинство;
Самъ государевъ посланный
Къ народу рѣчь держалъ:
То руганью попробуетъ
И плечи съ эполетами
Подыметъ высоко;
То ласкою попробуетъ,—
Да брань была тутъ лишняя,
А ласка непопятная:
«Крестьянство православное!
Русь-матушка! Царь-батюшка!»
И больше ничего.
Побившись такъ достаточно,
Хотѣли ужъ солдатикамъ
Скомандовать: «пали!»
Да волостному писарю
Пришла тутъ мысль счастливая:
Онъ про Ермилу Гиринѣ
Начальнику сказалъ:
«Народъ повѣритъ Гирину,
Народъ его послушаетъ...»
— Позвать его, живѣй!

.....

— Эй, эй! Куда жъ ты, батюшка?
Ты доскажи исторію,
Какъ бунтовалась вотчина
Помѣщика Обрубкова,
Деревни Столбняки.
— Пора домой, родимую.
Богъ дастъ, опять мы встрѣтимся,
Тогда и доскажу!

Н. Некрасовъ.

Гребенскіе казаки.

Вся часть Терской линіи, по которой расположены гребенскія станицы, около 80 верстъ длины, носитъ на себѣ одинаковый характеръ и по мѣстности, и по населенію. Терекъ, отдѣляющій казаковъ отъ горцевъ, течетъ мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно наноситъ сѣроватый песокъ на низкій, заросшій камышомъ, правый берегъ и подмывая обрывистый, хотя и не высокій, лѣвый берегъ съ его корнями столѣтнихъ дубовъ, гніющихъ чинаръ и молодого подростка. По правому берегу расположены мирныя, но еще безпоянные аулы; вдоль по лѣвому берегу, въ полуверстѣ отъ воды, на разстояніи семи и восьми верстъ одна отъ другой, расположены станицы. Встарину большая часть этихъ станицъ были на самомъ берегу; но Терекъ, каждый годъ отклоняясь къ сѣверу отъ горъ, подмылъ ихъ, и теперь видны только густозаросшія старыя городища, сады, груши, лычи и райны, переплетенныя ежевичникомъ и одичавшимъ виноградникомъ. Никто уже не живетъ тамъ, и только видны по песку слѣды оленей, бирюковъ¹⁾, зайцевъ и фазановъ, полюбившихъ эти мѣста. Отъ станицы до станицы идетъ дорога, прорубленная въ лѣсу на пущечный выстрѣлъ. По дорогѣ расположены кордоны, въ которыхъ стоятъ казаки; между кордонами, на вышкахъ, находятся часовые. Только узкая, сажень въ триста, полоса лѣсной плодородной земли составляетъ владѣнія казаковъ. Въ этой-то плодородной, лѣсной и богатой растительностью полосѣ живетъ съ незапамятныхъ временъ воинственное, красивое и богатое, старовѣрческое русское населеніе, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно, предки ихъ, старовѣры, бѣжали изъ Россіи и поселились за Теркомъ, между чеченцами, на Гребнѣ, первомъ хребтѣ лѣсныхъ горъ Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились съ ними и усвоили себѣ обычаи, образъ жизни и права горцевъ; но удержали и тамъ, во всей прежней чистотѣ, русскій языкъ и старую вѣру. Еще до сихъ поръ казакіе роды считаются родствомъ съ чеченскими, и любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляетъ главныя черты ихъ характера. Вліяніе Россіи выражается только съ невыгодной стороны — стѣпненіемъ въ выборахъ, снятіемъ колоколовъ и войсками, которыя стоятъ и проходятъ тамъ. Казакъ, по влеченію, менѣе ненавидитъ джигита-горца, который убилъ его брата, чѣмъ солдата, который стоитъ у него, чтобы защитить его станицу, но который закурилъ табакомъ его хату. Онъ уважаетъ врага-горца, но презираетъ чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русскій мужикъ для казака есть какое-то чуждое, дикое и презрѣнное существо, котораго образчикъ онъ видалъ въ заходящихъ торгашахъ и переселенцахъ-малороссянахъ, которыхъ казаки презрительно называютъ шаповалами. Щегольство въ одеждѣ состоитъ въ подражаніи черкесу. Лучшее оружіе добывается отъ горца, лучшія лошади покупаются и крадутся у нихъ же. Молодецъ казакъ щеголяетъ знаніемъ татарскаго языка и,

¹⁾ Волковъ.

разгулявшись, даже съ своимъ братомъ говорить по-татарски. Несмотря на то, этотъ христіанскій народецъ, закинутый въ уголокъ земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считаетъ себя на высокой степени развитія и признаетъ человѣкомъ только одного казака, на все же остальное смотритъ съ презрѣніемъ. Казакъ большую часть времени проводитъ на кордонахъ, въ походахъ, на охотѣ или рыбной ловлѣ. Онъ почти никогда не работаетъ дома. Пребываніе его въ станицѣ есть исключеніе изъ правила, и тогда онъ гуляетъ. Вино у казаковъ у всѣхъ свое, и пьянство есть не столько общая всѣмъ склонность, сколько обрядъ, неисполненіе котораго сочлось бы за отступничество. На женщину казакъ смотритъ какъ на орудіе своего благосостоянія; дѣвѣ только позволяетъ гулять, бабу же заставляетъ съ молодости и до глубокой старости работать для себя, и смотритъ на женщину съ восточнымъ требованіемъ покорности и труда. Вслѣдствіе такого взгляда, женщина, усиленно развиваясь и физически, и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получаетъ, какъ вообще на Востокъ, безъ сравненія большее, чѣмъ на Западѣ, вліяніе и вѣсь въ домашнемъ быту. Удаленіе ея отъ общественной жизни и привычка къ мужской тяжелой работѣ даютъ ей тѣмъ болѣе вѣсъ и силу въ домашнемъ быту. Казакъ, который при постороннихъ считаетъ неприличнымъ ласково или праздно говорить съ своею бабой, невольно чувствуетъ ея превосходство, оставаясь съ ней съ глазу на глазъ. Весь домъ, все имущество, все хозяйство пріобрѣтено ею и держится только ея трудами и заботами. Хотя онъ и твердо убѣжденъ, что трудъ постыденъ для казака и приличенъ только работнику-погайцу и женщинѣ, онъ смутно чувствуетъ, что все, чѣмъ онъ пользуется и называетъ своимъ, есть произведеніе этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую онъ считаетъ своею холопкой, лишить его всего, чѣмъ онъ пользуется. Кромѣ того, постоянный мужской, тяжелый трудъ и заботы, переданныя ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характеръ гребенской женщинѣ и поразительно развили въ ней физическую силу, здравый смыслъ, рѣшительность и стойкость характера. Женщины болѣе частью и сильнѣе, и умнѣе, и развитѣе, и красивѣе казаковъ. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединеніемъ самаго чистаго типа черкесскаго лица съ широкимъ и могучимъ сложеніемъ сѣверной женщины. Казачки носятъ одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешметъ и чувяки, но платки завязываютъ по-русски. Щегольство, чистота и изящество въ одеждѣ и убранствѣ хатъ составляютъ привычку и необходимость ихъ жизни. Станица Новомлинская считалась копьемъ гребенскаго казачества. Въ ней, болѣе чѣмъ въ другихъ, сохранились нравы старыхъ гребенцовъ, и женщины этой станицы изстари славятся своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаковъ составляютъ виноградные и фруктовые сады, бахчи съ арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посѣвы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоитъ въ трехъ верстахъ отъ Терека, отдѣляясь отъ него густымъ лѣсомъ. Съ одной стороны дороги, проходящей черезъ станицу, рѣка; съ другой—зеленѣютъ виноградные, фруктовые сады и виднѣются песчаные буруны (наносные пески) Иогайской стени. Станица обнесена землянымъ валомъ и колючимъ терновникомъ. Въѣзжаютъ изъ станицы и въѣзжаютъ въ нее высокими, на столбахъ, воротами, съ небольшою, крытою камышомъ, крышкой, около которыхъ стоитъ на деревянномъ лафетѣ пушка, уродливая,

сто лѣтъ не стрѣлявшая, когда-то отбитая казаками. Казакъ въ формѣ, въ пашкѣ и ружьѣ, иногда стоитъ, иногда не стоитъ на часахъ у воротъ; иногда дѣлаетъ, иногда не дѣлаетъ фрунтъ проходящему офицеру. Подъ крышкою воротъ, на бѣлой дощечкѣ, черною краской написано: домовъ 266, мужского пола душъ 897, женского пола 1012. Дома казаковъ всѣ подняты на столбахъ отъ земли на аршинъ и болѣе, опратно покрыты камышомъ, съ высокими князьками. Всѣ—ежели не новы, то прямы, чисты, съ разнообразными высокими крылечками, и не прилѣплены другъ къ другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Предъ свѣтлыми, большими окнами многихъ домовъ, за огородами, поднимаются выше хатъ темно-зеленыя райны, нѣжныя свѣтлолиственные акаціи съ бѣлыми душистыми цвѣтами, и тутъ же нагло блестящіе желтые подсолнухи и вьющіеся лозы травянокъ и винограда. На широкой площади виднѣются три лавочки съ краснымъ товаромъ, сѣмечкомъ, стручками и припиками; и за высокою оградой, изъ-за ряда старыхъ райнъ, виднѣется, длиннѣе и выше всѣхъ другихъ, домъ полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно лѣтомъ, всегда мало виднѣется въ будни по улицамъ станицы. Казаки—на службѣ: на кордонахъ и въ походѣ; старики—на охотѣ, рыбной ловлѣ или съ бабами на работѣ въ садахъ и огородахъ. Только совсѣмъ старые, малые и больные остаются дома.

Л. Толстой.

Крестьянскіе работники.

Иванъ Ермолаевичъ ропщеть...

Онъ ропщеть не на цивилизацію, не на ея гибельное вліяніе,—онъ ропщеть не на порядки, уваженіе къ которымъ вкоренено въ немъ слишкомъ основательно, а ропщеть онъ на *народъ*, на своихъ односельчанъ-сообщниковъ. Народъ, видите ли, сталъ не тотъ, испортился и избаловался.

Необходимо упомянуть, что Иванъ Ермолаевичъ долженъ нанимать работника и работницу, такъ какъ его семейныхъ силъ недостаточно для успѣшнаго удовлетворенія земледѣльческому идеалу. Братъ у него молодъ, шестнадцати лѣтъ, старшему сыну одиннадцать лѣтъ, а у жены еще на рукахъ двое ребятъ. Платить онъ за двѣ души, работникъ и работница для него необходимы, и на неудовлетворительность ихъ нравственныхъ качествъ Иванъ Ермолаевичъ, будучи работникомъ самъ лично, жалуется даже гораздо болѣе, чѣмъ любой крупный землевладѣлецъ. У него существуетъ для работника опредѣленный идеалъ; вотъ напримѣръ, говоритъ онъ, Лукьянъ—это работникъ. Дѣйствительно, Лукьянъ—человѣкъ особенный. Работу онъ считаетъ дѣломъ богоугоднымъ. Богъ труды любить, говоритъ онъ, и вѣрить въ это твердо, а въ видахъ этого ворочаетъ пни, бревна, камни,—словомъ, надсѣдается надъ самыми тяжеловѣсными предметами не только безъ ожесточенія, а, напротивъ, съ полною вѣрою, что все это Богу пріятно. «Онъ любить!» говоритъ Лукьянъ, красный какъ ракъ, весь въ поту, съ страшными успіями вытаскивая изъ рѣчки пенъ, по указанію Ивана Ермолаевича; онъ, весь мокрый, крихтитъ и охаетъ, но Богъ видитъ эти старанія и ободряетъ Лукьяна. Пенъ захрюкалъ, зачавкалъ, вылѣзая изъ тины рѣчного дна, и Лукьянъ твердо знаетъ, что это у Бога зачлось, что ко всѣмъ его трудамъ прибавился новый номеръ... Лукьянъ, кромѣ того, холостъ; онъ

дожилъ до старости лѣтъ подѣ какимъ-то страннымъ страхомъ брака; въ деревнѣ у него изба и огородъ; онъ не платитъ никакихъ налоговъ. Весной онъ вскопаетъ гряды, посѣетъ и посадитъ разные овощи: хрѣнъ, морковь, капусту, картофель. И ухаживать; домъ онъ запираетъ наглухо, а огородъ поручаетъ вдовѣ-солдаткѣ; съ весны до глубокой осени онъ на работѣ; косить, пилить. Осенью, послѣ Покрова, накопивъ немного денегъ, возвращается домой; въ огородѣ все выросло и поспѣло, и всю зиму Лукьянъ не знаетъ нужды, а когда придетъ, наконецъ, старость, когда устанутъ и руки, и ноги — вотъ тогда Лукьянъ намѣренъ вступить въ бракъ. «Никакой свадьбы,—говоритъ онъ,—не будетъ, а просто возьму за руку ту самую солдатку-вдову, которая ходитъ за огородомъ, да и пойдемъ вдвоемъ къ попу, деньги отдадимъ. Пускай подѣ старость мнѣ поможетъ, а помру—пусть владѣетъ, что останется отъ меня».

Такого человѣка, по мнѣнію Ивана Ермолаевича, еще можно бываетъ называть работникомъ вполне, но идеальный работникъ не такой; идеальный работникъ тотъ, кто не корыстуется, готовъ работать «съ кусу», никакихъ цѣнъ, ни условій не ставитъ, говоритъ, «только корми» или самое большее—«что положишь, то и ладно»; идеальный работникъ тотъ, который увлекается общимъ теченіемъ работъ въ той семьѣ, куда онъ входитъ, который забываетъ, что работаетъ на чужихъ людей, который сливается съ этими чужими людьми, съ ихъ интересами, который тысячу дѣлъ сдѣлаетъ «играючи» — вотъ это работникъ идеальный; но, по увѣренію Ивана Ермолаевича, такихъ идеаловъ по нынѣшнему времени нѣтъ, и куда они дѣвались — никому неизвѣстно. Напротивъ, въ настоящее время работникъ не только не увлекается трудомъ, не только не видитъ въ этомъ трудѣ никакой игры, но, напротивъ, не хочетъ дѣлать дѣла, не смотря на то, что условій ставитъ множество, критикуетъ, сплетничаетъ, разглагольствуетъ, обманываетъ и, въ концѣ-концовъ, опять-таки ничего не дѣлаетъ. Надъ такимъ человѣкомъ нужно *стоять*, не отходя ни на шагъ, понукать, воли не давать; словомъ, такой человѣкъ ожесточаетъ простодушнаго Ивана Ермолаевича. Поглядите вотъ на этого нынѣшняго работника. Идетъ паниматься, и не успѣлъ онъ и Иванъ Ермолаевичъ сказать двухъ словъ, какъ слѣдомъ является жена нанимающагося.

— Не давай ты ему, подлецу, денегъ! — начинается она. — Сдѣлай милость, не давай! Знаю я его, очень хорошо знаю.

— Что пасть-то разинула, кобыла сумасшедшая? Чать, не все пропивалъ, чать работалъ! Кто васъ, чертей, сорокъ-то лѣтъ кормилъ, ты что ль? Кто сыновей вырастилъ и женилъ? Орало дурацкое! «Не давай денегъ!» Вамъ же, чертямъ, достанутся.

— Ни-и-ни грошика, ни полумечки не давай, и не слухай ты его ни въ единомъ словѣ; а наймется — вотъ какъ, ужъ вотъ какъ гляди, глазъ не пускай, а то заснетъ! Передъ Богомъ, какъ отвернулся — спитъ! И всю жизнь, съ нимъ мучилась, я знаю, у меня хребетъ-то хорошо знаетъ, каковъ человѣкъ онъ есть...

Начинается божба, клятвы, упрямиванія, дѣлешка задатка: часть работнику, часть бабѣ. А работы нѣтъ настоящей! Все надо сказать, напомнить. Не скажешь, не напомнишь — сидитъ, пойдетъ нехотя, смотрѣть тошно, — словомъ, каждый шагъ дѣлаетъ только изъ-подъ палки. Въ интересы семейства не только не входитъ, но, напротивъ, подѣ все подкапывается, въ каждомъ словѣ слы-

шенъ упрекъ: «что-то снѣтки-то бытъо мельконьки!» непремѣнно замѣтитъ, и непремѣнно насплетничаетъ насчетъ снѣтковъ и въ лавочкѣ, и въ кабацѣ, и у первыхъ хорошихъ знакомыхъ Ивана Ермолаевича. Насплетничаетъ, прибавитъ, присочинитъ и уйдетъ, не отработавъ задатка, къ другому, уйдетъ бранясь, ругаясь, распускать позорящія Ивана Ермолаевича небылицы: «снѣтки, молъ, покупаешь съ несомъ, послѣдній сортъ, самъ не ѣстъ, для прилигу только ложкой болтаетъ, а въ печкѣ спрятана свиннина». Поминутно Иванъ Ермолаевичъ остается безъ работника или съ такимъ работникомъ, который, кажется, только и думаетъ, чтобы уйти прочь, хотя и пришелъ всего-то два дня назадъ. Вотъ въ прошломъ году работникъ полѣнился слѣзть съ воза сѣна, которое вывозилъ изъ болота,—полѣнился потому, что сапоги на немъ новые были, только что купленные, въ задатокъ остались, и, сидя на возу, дралъ лошадей кнутомъ: лошадь билась-билась и повредила задъ (оторвала задъ), а лошадь стоитъ около ста рублей. Убытокъ изъ-за сапоговъ въ три цѣлковыхъ.

Или вотъ хромоногий солдатъ. Вотъ поглядите на него: Христомъ-Богомъ упраниваетъ, умаливаетъ, чтобы Иванъ Ермолаевичъ взялъ его дѣвчонку въ работу, и проситъ *только куль*, одинъ куль хлѣба за все лѣто, что по нынѣшнимъ цѣнамъ стоитъ 16 рублей. Если Иванъ Ермолаевичъ взялъ дѣвчонку хромого, то единственно только изъ жалости, но не прошло двухъ недѣль, какъ хромой взялъ ее, взялъ самымъ наглымъ образомъ. Пришелъ къ Ивану Ермолаевичу и объявилъ: «Хочешь держать — давай двадцать пять цѣлковыхъ, а не дашь — у меня есть ей мѣсто». — «А куль?» — «Что жъ куль? Вотъ продамъ сѣно, отдамъ, авось, не пропадетъ». Но подъ это сѣно выклянчилъ и въ лавчонкѣ и соли, и хлѣба, и чаю, и табаку, цѣлковыхъ на пять. «Вотъ продамъ, отдамъ». Подъ это сѣно выклянчилъ въ сосѣдней деревнѣ у кабатчика картофелю, рѣпы, брюквы... «Продамъ — отдамъ». Подъ это сѣно у овчинника взялъ въ долгъ лошадь въ сорокъ цѣлковыхъ и въ два мѣсяца загналъ ее, потому что почти не кормилъ, а гонялъ со станціи на станцію поминутно: даже сыннишка, который на ней ѣздилъ, и тотъ заморился и захворалъ. Мало того, сѣно, заложенное ужъ въ двадцати рукахъ, продалъ *на советъ* за пятнадцать рублей третьему, совершенно постороннему лицу, при чемъ оказалось, что и сѣна-то всего въ дѣйствительности на три цѣлковыхъ.

Г. Успенскій.

Ж е л ѣ з н а я д о р о г а .

В а н я .

— Папаша, кто строилъ эту дорогу?

П а п а ш а .

— Инженеры, душенька!

Разговоръ съ вагонъ.

I.

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздухъ усталыя силы бодрить;
Ледъ, не окрѣпшій на рѣчкѣ студеной,
Словно какъ тающій сахаръ, лежитъ;

Около лѣса, какъ въ мягкой постели,
Выспаться можно — покой и просторъ! —
Листья поблекнуть еще не успѣли,
Желты и свѣжи лежатъ, какъ коверъ.

Славная осень! Морозныя ночи,
Ясные, тихіе дни...
Нѣтъ безобразья въ природѣ! И кочн,
И моховыя болота, и пни —

Все хорошо подъ сіяніемъ луннымъ;
Всюду родимую Русь узнаю...

Быстро лечу я по рельсамъ чугуннымъ,
Думаю думу свою...

II.

Добрый папаша! Къ чему въ обаяніи
Умнаго Ваню держать?
Вы мнѣ позвольте при лунномъ сіяніи
Правду ему показать.

Трудъ этотъ, Ваня, былъ страшно гро-
маденъ —

Не по плечу одному!
Въ мірѣ есть царь: этотъ царь безпо-
шаденъ;

Голодъ—пазванье ему!

Водить онъ арміи; въ морѣ судами
Правитъ; въ артели сгоняетъ людей;
Ходитъ за плугомъ; стоитъ за плечами
Каменотесцовъ, ткачей.

Онъ-то согналъ сюда массы народныя.
Многіе въ страшной борьбѣ,
Къ жизни воззвавъ эти дебри бесплодныя,
Гробъ обрѣли здѣсь себѣ.

Прямо дороженька: пасыпи узкія,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокамъ-то все косточки русскія...
Сколько ихъ! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья слышались грозныя,
Топотъ и скрежетъ зубовъ;
Тѣнь набѣжала на окна морозныя...
Что тамъ? Толпа мертвецовъ!

То обгоняютъ дорогу чугунную,
То сторонами бѣгутъ.
Слышишь ты пѣніе?... «Въ ночь эту лунную
Любо намъ видѣть свой трудъ!

Мы надрывались—подъ зноемъ, подъ
холодомъ,

Съ вѣчно согнутой спиной,
Жили въ землянкахъ, боролися съ го-
лодомъ,

Мерзли и мокли, болѣли цынгой,
Грабили насъ грамотей-десятники,
Сѣкло начальство, давила нужда...
Все претерпѣли мы, Божіи ратники,
Мирныя дѣти труда!

Братья! Вы наши труды пожинаете!
Намъ же въ землѣ истлѣвать суждено...
Все ли насъ, бѣдныхъ, добромъ поми-
наете,

Или забыли давно?..»

Не ужасайся ихъ пѣнія дикаго!
Съ Волхова, съ матушки - Волги, съ
Оки,

Съ разныхъ концовъ государства ве-
ликаго—

Это все братья твои—мужики!

Стыдно робѣть, закрываться перчаткою,
Ты ужъ не маленький!.. Волосомъ русъ,
Видишь, стоитъ, изможденъ лихорадкою,
Высокорослый, больной бѣлорусъ:

Губы безкровныя, вѣки упавшія,
Язвы на тощихъ рукахъ;
Вѣчно въ водѣ по колено стоявшія
Ноги опухли; колтуны въ волосахъ;

Ямою грудь, что на заступъ стара-
тельно

Изо дня въ день налегала весь вѣкъ...
Ты приглянись къ нему, Ваня, внима-
тельно:

Трудно свой хлѣбъ добывать человѣкъ!

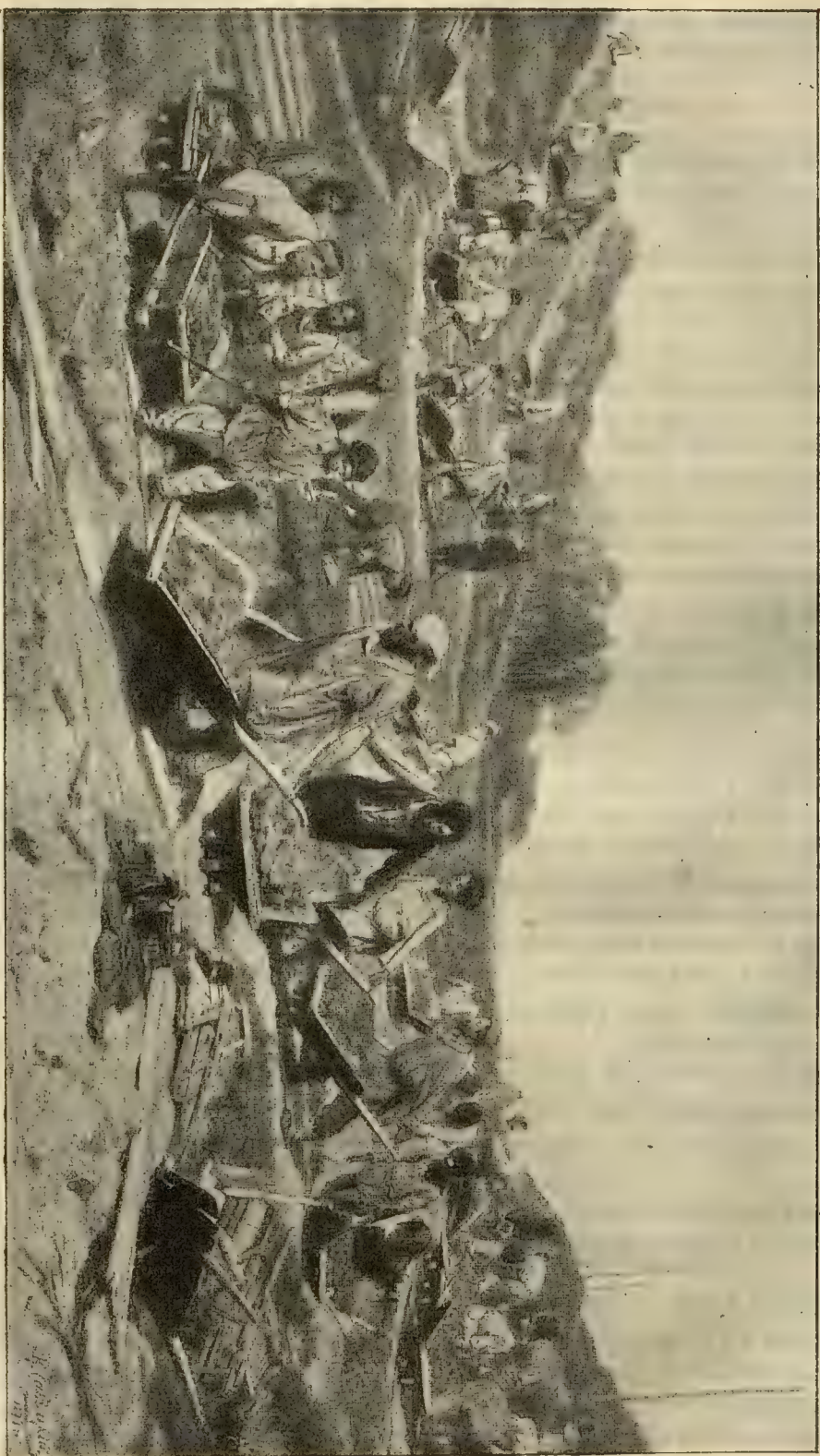
Не разогнулъ свою спинну горбатую
Онъ и теперь еще: туно молчитъ
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбитъ!

Эту привычку къ труду благородную
Намъ бы не худо съ тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робѣй за отчизну любезную...
Вынесъ достаточно русскій народъ,
Вынесъ и эту дорогу желѣзную—
Вынесетъ все, что Господь ни по-
шлетъ! —

Вынесетъ все—и широкую, ясную
Грудью дорогу проложитъ себѣ.
Жаль только—жить въ эту пору пре-
красную
Ужъ не придется ни мнѣ, ни тебѣ...

II. Некрасовъ.



Ремонтъ желѣзной дороги. Съ карт. Саичкина.

Въ мальчикахъ.

Однажды утромъ дядя разбудилъ Илью, говоря:

— Умойся почище, да скорѣе...

— Куда? — сонно спросилъ Илья

— На мѣсто! Слава Богу! Нашлось!.. Въ рыбной лавкѣ будешь служить.

У Илья сжалось сердце отъ какого-то непріятнаго предчувствія. Желаніе уйти изъ этого дома, гдѣ онъ все зналъ и ко всему привыкъ, вдругъ исчезло, а эта комната, которую онъ не любилъ, теперь показалась ему такой чистой, свѣтлой. Сидя на кровати, онъ смотрѣлъ въ полъ, и ему не хотѣлось одѣваться...

Черезъ нѣсколько минутъ онъ шелъ по улицѣ съ Петрухой¹⁾, парадно одѣтымъ въ длинный сюртукъ и скрипучіе сапоги, и буфетчикъ внушительно говорилъ ему:

— Веду я тебя служить человѣку почтенному, всему городу извѣстному, Кириллу Ивановичу Строганову... Онъ за доброту свою и благодѣянія медали получалъ — не токмо что! И состоитъ онъ глашнымъ въ думѣ, а можетъ, будетъ избранъ даже и въ градскіе головы. Служи ему вѣрой и правдой, а онъ тебя, между прочимъ, въ люди произведетъ... Ты парнишка сурьезный, не баловникъ... А для него оказать человѣку благодѣяніе — все равно, что — плюнуть...

Илья слушалъ и пытался представить себѣ купца Строганова. Ему почему-то стало казаться, что купецъ этотъ долженъ быть похожъ на дѣдушку Еремѣя, — такой же тошій, добрый и пріятный. Но когда онъ пришелъ въ лавку, тамъ за конторкой стоялъ высокій мужикъ съ огромнымъ животомъ. На головѣ у него не было ни волоса, но лицо отъ глазъ до шеп заросло густой, рыжей бородой. Брови тоже были густыя и рыжія, а подъ ними сердито бѣгали маленькіе, зеленоватые глазки.

— Кланяйся! — шепнулъ Петруха Ильѣ, указывая глазами на рыжаго мужика.

Илья разочарованно опустилъ голову.

— Какъ зовутъ? — загудѣлъ въ лавкѣ густой басъ.

— Ильей, — отвѣтилъ Петруха.

— Ну, Илья, гляди у меня въ оба, а зри — въ три! Теперь у тебя, кромѣ хозяина, никого нѣтъ! Ни родныхъ, ни знакомыхъ — понялъ? Я тебѣ мать и отецъ — а больше отъ меня никакихъ рѣчей не будетъ...

Илья исподлобья осматривалъ лавку. Въ корзинахъ со льдомъ лежали огромные сомы и осетры, на полкахъ полѣвницами были сложены сушеные судаки, сазаны и всюду блестѣли жестяныя коробки. Густой запахъ тузлука стоялъ въ воздухѣ, и въ лавкѣ было душно, тѣсно. На полу въ большихъ чанахъ тихо и безшумно плавала живая рыба — стерляди, налимы, окуни, язп. Но одна небольшая щука дерзко металась въ водѣ, толкала другихъ рыбъ и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на полъ. Ильѣ стало жалко ее.

Одинъ изъ приказчиковъ — маленькій, толстый, съ круглыми глазами и крючковатымъ посомъ, очень похожій на филина, — заставилъ Илью выбрать изъ чана уснувшую рыбу. Мальчикъ засучилъ рукава и началъ хватать рыбъ, какъ попало

¹⁾ Дальній родственникъ Илья, служившій буфетчикомъ въ трактирѣ

— За башки бери, дубина!—вполголоса сказалъ приказчикъ.

Иногда Илья по ошибкѣ хваталъ живую неподвижно стоявшую рыбу; она выскальзывала изъ его пальцевъ и, судорожно извиваясь, тыкалась головой въ стѣны чапа.

— Возись живѣе!—командовалъ приказчикъ.

Но Илья укололъ себѣ палецъ костью плавника и, сунувъ его въ ротъ, сталъ сосать.

— Выпѣ палецъ!—басомъ крикнулъ хозяинъ.

Потомъ мальчику дали большой, тяжелый топоръ, велѣли ему слѣзть въ подвалъ и разбивать тамъ ледъ такъ, чтобъ онъ улегся ровно. Осколки льда прыгали ему въ лицо, попадали за воротъ, въ подвалѣ было холодно и темно, топоръ, при неосторожномъ размахѣ, задѣвалъ за потолокъ. Черезъ нѣсколько минутъ Илья, весь мокрый, вылѣзъ изъ подвала и заявилъ хозяину:

— Я разбилъ тамъ какую-то банку...

Хозяинъ внимательно поглядѣлъ на него и молвилъ:

— На первый разъ прощаю. За то прощаю, что самъ сказалъ... За второй разъ нарву уши...

И завертѣлся Илья незамѣтно и однообразно, какъ винтикъ въ большой и шумной машинѣ. Онъ вставалъ въ пять часовъ утра, чистилъ обувь хозяина, его семьи и приказчиковъ, потомъ шелъ въ лавку, мель ее, мылъ столы и вѣсы. Являлись покупатели,—онъ подавалъ товаръ, выносилъ покупки, потомъ шелъ домой за обѣдомъ. Послѣ обѣда дѣлать было нечего, и если его не посылали куда-нибудь, онъ стоялъ у дверей лавки, смотрѣлъ на суету базара и думалъ о томъ, какъ много на свѣтѣ людей, и какъ много ѣдятъ они рыбы, мяса, овощей. Однажды онъ спросилъ приказчика, похожаго на филина:

— Михаилъ Игнатьичъ!

— Ну-съ?

— А что будутъ люди ѣсть, когда выловятъ всю рыбу и изрѣжутъ весь скотъ?

— Дуракъ!—отвѣтилъ ему приказчикъ.

Другой разъ онъ взялъ газету съ прилавка и, стоя у двери, сталъ читать ее. Но приказчикъ вырвалъ газету изъ его рукъ, щелкнулъ его пальцемъ по носу и угрожающе спросилъ:

— Кто тебѣ позволилъ? А? Оселъ...

Этотъ приказчикъ не понравился Ильѣ. Говоря съ хозяиномъ, онъ почти ко всякому слову прибавлялъ почтительный свистящій звукъ, а за глаза называлъ кунца Строганова мошенникомъ, ханжей и рыжимъ чортомъ. По субботамъ и передъ праздниками хозяинъ уѣзжалъ изъ лавки ко всенощной, а къ приказчику приходила его жена или сестра, и онъ отправлялъ съ ними домой кулекъ рыбы, икры, консервовъ. Любилъ приказчикъ издѣваться надъ нищими. Когда къ дверямъ лавки подходилъ какой-нибудь старикъ и, кланяясь, тихо просилъ милостыню, приказчикъ бралъ за голову маленькую рыбку и совалъ ее въ руку нищаго хвостомъ—такъ, чтобъ кости плавниковъ вонзились въ мякоть ладони просящаго. И когда нищій, вздрагивая отъ боли, отдергивалъ руку, приказчикъ насмѣшливо и сердито кричалъ:

— Не хочешь? Мало? Ишелъ прочь...

А однажды старуха-нищая взяла тихонько сушеного судака и спрятала его въ своихъ лохмотьяхъ; а приказчикъ видѣлъ это; и вотъ онъ схватилъ ста-

руху за воротъ, отнялъ украденную рыбу, а потомъ нагнулъ голову старухи и правой рукой, снизу вверхъ, ударилъ ее по лицу. Она не охнула и не сказала ни слова, а, наклонивъ голову, молча пошла прочь, и Илья видѣлъ, какъ изъ ея разбитаго носа, въ два ручья, текла темная кровь.

— Получила? — крикнулъ приказчикъ вслѣдъ ей.

И, обращаясь къ другому приказчику, Карпу, сказалъ:

— Ненавижу я нищихъ!.. Дармоѣды! Ходить, просить п—сыты! И хорошо живутъ... Братія Христова, говорятъ про нихъ. А я кто Христу? Чужой? Я всю жизнь верчусь, какъ червь на солнцѣ, а нѣтъ мнѣ ни покоя, ни уваженія...

Другой приказчикъ, Карпъ, былъ человекъ богомольный, разговаривалъ онъ только о храмахъ, пѣвчихъ, архіерейской службѣ, и каждую субботу онъ беспокоился, что опоздаетъ ко всенощной. Еще его интересовали фокусы, и каждый разъ, когда въ городѣ появлялся какой-нибудь «магъ и чародѣй», Карпъ непременно шелъ смотрѣть на него... Былъ онъ высокъ, худъ и очень ловокъ; когда въ лавкѣ скопилось много покупателей, онъ извивался среди нихъ, какъ змѣя, всемъ улыбаясь, со всеми разговаривая, и все поглядывая на большую фигуру хозяина, точно хвастаясь предъ нимъ своимъ умѣньемъ дѣлать дѣло. Къ Ильѣ онъ относился пренебрежительно и насмѣшливо, и мальчикъ тоже не влюбилъ его. Но хозяинъ правилъ Ильѣ. Съ утра до вечера купецъ стоялъ за конторкой, открывалъ ящикъ и швырялъ въ него деньги. Илья видѣлъ, что онъ дѣлалъ это равнодушно, безъ жадности, и мальчику почему-то было пріятно видѣть это. Пріятно было и то, что хозяинъ разговаривалъ съ нимъ чаще и ласковѣе, чѣмъ съ приказчиками. Въ тихое время, когда покупателей не было, купецъ иногда обращался къ Ильѣ, понуро стоявшему у двери:

— Эй, Илья, дремлешь?

— Нѣтъ...

— То-то... А чего ты сурьезный всегда?

— Не знаю...

— Скушно, что ли?

— Да-а...

— Ну, ладно, поскучай! И я скучалъ, было время... Съ девяти до тридцати двухъ лѣтъ скучалъ я по чужимъ людямъ... А теперь двадцать третій годъ гляжу, какъ другіе скучаютъ...

И онъ покачивалъ головой, какъ бы договаривая:

— Ничего не подѣлаешь больше-то!

Послѣ двухъ-трехъ такихъ разговоровъ Ильѣ сталъ занимать вопросъ: зачѣмъ этотъ богатый, почетный человекъ торчитъ цѣлый день въ грязной лавкѣ и дышитъ кислымъ, ѣдкимъ запахомъ соленой рыбы, когда у него есть такой большой чистый домъ? Это былъ странный домъ: въ немъ все было строго и тихо, все совершалось въ неизбѣжномъ порядкѣ. И было въ немъ тѣсно, хотя въ обонхъ этажахъ, кромѣ хозяина, хозяйки и трехъ дочерей, жили только кухарка, она же и горничная, и дворникъ, она же и кучеръ. Все въ домѣ говорили не полнымъ голосомъ, а проходя по огромному чистому двору, жалась къ сторонкѣ, точно боясь выйти на широкое, открытое пространство.

И мальчику страшно захотѣлось спросить купца: зачѣмъ онъ беспокоитъ себя, живя весь день на базарѣ, въ шумѣ и суетѣ, а не дома, гдѣ тихо и смиренно?

Однажды, когда Карпъ ушелъ куда-то, а Михаилъ отбиралъ въ подвалѣ попорченную рыбу для богадѣльни, хозяинъ заговорилъ съ Ильей, а мальчикъ вдругъ и торопливо сказалъ ему:

— Вамъ бы, Кирилль Ивановичъ, пора ужъ бросить торговлю-то... Вы уже вѣдь богатый... Дома у васъ хорошо, а здѣсь вонь... и скука...

Строганный, облокотясь о конторку, зорко смотрѣлъ на него, рыжія брови у купца вздрагивали.

— Ну? — спросилъ онъ, когда Илья замолчалъ. — Все сказалъ?

— Все... — смущенно, съ испугомъ въ сердцѣ, отозвался Илья.

— Подъ-ка сюда!

Илья подошелъ. Тогда купецъ взялъ его за подбородокъ, поднялъ его голову вверхъ и, прищуренными глазами глядя въ лицо ему, спросилъ:

— Это тебя научили говорить такъ, или ты самъ выдумалъ?

— Ей Богу, самъ.

— И-да... Коли самъ такъ... ладно... Ну, скажу я тебѣ вотъ что... больше ты со мной, хозяиномъ твоимъ — понимаешь? — хозяиномъ! — говорить такъ не смѣй! Запомни! Пошелъ на свое мѣсто..

А когда пришелъ Карпъ, хозяинъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, заговорилъ, обращаясь къ приказчику, но искоса и замѣтно для Ильи, поглядывая на него:

— Человѣкъ всю жизнь долженъ какое-нибудь дѣло дѣлать—всю жизнь!.. Дуракъ тотъ, кто этого не понимаетъ. Какъ можно зря жить, ничего не дѣлая? Никакого смыслу нѣтъ въ человѣкѣ, который къ дѣлу своему не приверженъ...

— Совершенно справедливо, Кирилль Ивановичъ! — отозвался приказчикъ и внимательно повелъ глазами по лавкѣ, какъ бы отыскивая въ ней какое-нибудь дѣло для себя.

Илья взглянулъ на хозяина и задумался. Все скучнѣе жилось ему среди этихъ людей. Дни тянулись одинъ за другимъ, какъ длинныя сѣрыя нити, разматываясь съ какого-то невидимаго огромнаго клубка, и мальчику стало казаться, что ужъ конца не будетъ этимъ днямъ, всю жизнь свою онъ простоплѣ у дверей, слушая базарный шумъ.

Прошло еще нѣсколько недѣль такой жизни, и вдругъ судьба сурово, но все же милостиво улыбнулась Ильѣ. Однажды утромъ, во время оживленной торговли, хозяинъ, стоя за конторкой, вдругъ быстро началъ перебирать все на ней. Лобъ его покраснѣлъ, густо налившись кровью, и на шеѣ туго вздулись жилы.

— Илья! — крикнулъ онъ. — Погляди-ка на полу... не лежитъ ли гдѣ десяти-рублевка...

Илья взглянулъ на купца, потомъ быстрымъ взглядомъ окинулъ полъ и спокойно сказалъ:

— Нѣтъ...

— Я те говорю — погляди, какъ слѣдуетъ... — рявкнулъ хозяинъ густымъ басомъ.

— Да я глядѣлъ...

— Мм... хорошо же, упрямая шельма! — пригрозилъ ему хозяинъ.

А когда покупатели ушли, онъ позвалъ Илью, схватилъ крѣпкими и толстыми пальцами его ухо и началъ рвать изъ стороны въ сторону, приговаривая рычащимъ голосомъ:

— Велятъ глядѣть—гляди, велятъ глядѣть—гляди...

Илья уперся обѣими руками въ брюхо хозяина, сильно оттолкнулся, вырвалъ ухо изъ его пальцевъ и злымъ голосомъ, съ дрожью обиды во всемъ тѣлѣ, громко закричалъ:

— Что вы деретесь? Деньги Михаилъ Игнатьичъ утащилъ... Да! Онъ у него въ лѣвомъ карманѣ, въ жилеткѣ...

Совиное лицо приказчика изумленно вытянулось, дрогнуло, и вдругъ, размахнувшись правой рукой, онъ ударилъ Илью по головѣ. Мальчикъ упалъ со стономъ и, заливаясь слезами, поползъ по полу въ уголъ лавки. Какъ съвозъ сонъ онъ слышалъ звѣриный ревъ хозяина:

— Стой! Куда? Подай деньги...

— Онъ вреть-съ...—раздавался тонкій голосъ приказчика.

— Поди сюда...

— Ей Богу-съ...

— Гирей кину въ башку!

— Кирилъ Ивановичъ... Мои это-съ... Р-разрази меня...

— Молчать!..

И стало тихо. Хозяинъ ушелъ въ свою комнату, оттуда донеслось громкое шелканье косточекъ на счетахъ. Илья, держась за голову руками, сидѣлъ на полу и съ ненавистью смотрѣлъ на приказчика, который стоялъ въ другомъ углу лавки и тоже смотрѣлъ на мальчика нехорошими глазами.

— Что, сволочь, здорово я тебя двинулъ?—тихо спросилъ онъ, оскаливъ зубы.

Илья дернулъ плечами и промолчалъ.

— А сейчасъ я тебѣ еще дамъ... памятку!

Приказчикъ, не торопясь, пошелъ на мальчика, уставивъ въ лицо его свои круглые, злые глаза. Но Илья всталъ на ноги, твердымъ движеніемъ взялъ съ прилавка длинный и тонкій ножъ и сказалъ:

— Иди!

Тогда приказчикъ остановился, неподвижными глазами измѣряя коренастую крѣпкую фигурку съ пожомъ въ рукѣ, остановился и презрительно протянулъ:

— А, ка-аторжное отродье...

— Ну, иди, иди!—повторилъ мальчикъ, шагнувъ навстрѣчу ему.

Предъ глазами Ильи все вздрагивало и кружилось, а въ груди своей онъ ощущалъ большую силу, смѣло толкавшую его впередъ.

— Брось ножъ!—раздался голосъ хозяина.

Илья вздрогнулъ, взглянувъ на рыжую бороду и налитое кровью лицо, но не тронулся съ мѣста.

— Положи, говорю, ножъ!—тише сказалъ хозяинъ.

Илья, плавая въ какомъ-то мутномъ туманѣ, положилъ ножъ на прилавокъ, громко всхлипнулъ и снова сѣлъ на полъ. Голова у него кружилась и болѣла, ухо саднило, онъ задыхался отъ огромной тяжести, выросшей въ его груди. Она затрудняла біеніе сердца, медленно поднималась къ горлу и мѣшала ему говорить. Голосъ хозяина донесся до него откуда-то издали:

— Получи расчетъ, Мишка...

— Позвольте-съ...

— Вонъ! А то полицію позову...

— Хорошо-сь! Я уйду... Но и за этим мальчиком вы поглядывайте... Опъ съ ножичкомъ... Хе-хе! У него папенька-то въ каторгѣ-сь... Хе-хе!

— Вонъ!

И снова въ лавкѣ стало тихо. Илья оглянулся отъ непріятнаго ощущенія: ему показалось, что по лицу его что-то ползаетъ. Опъ провелъ рукой по щекѣ, отеръ слезы и увидалъ, что изъ-за конторки на него смотритъ хозяинъ острымъ, царапающимъ взглядомъ. Тогда онъ всталъ и пошелъ нетвердымъ шагомъ къ двери, на свое мѣсто.

— Стой, погоди!—сказалъ хозяинъ.—Могъ ты ударить его ножомъ?

— Ударилъ бы!—тихо, но твердо отвѣтилъ мальчикъ.

— Та-акъ... У тебя отецъ за что въ каторгу ушелъ — убилъ?

— Поджогъ...

— И то хорошо...

Пришелъ Карпъ, смиренно сѣлъ у двери на табуретку и сталъ смотрѣть на улицу.

— Карпушка!—съ усмѣшкой глядя на него, сказалъ хозяинъ,—Михайла-то я прогналъ...

— Воля ваша, Кирилъ Ивановичъ!

— Воровать сталъ. А?

— А-я-яй!—тихонько и съ испугомъ воскликнулъ Карпъ.—Да неужто? А-а? Рыжая борода хозяина вздрогнула отъ усмѣшки, и онъ расхохотался, поначиваясь за конторкой.

— Хо-хо-хо! Ахъ, Карпушка... Фокусникъ ты у меня... смиренная душа...

Потомъ онъ вдругъ пересталъ смѣяться, глубоко вздохнулъ и задумчиво, сурово сказалъ:

— Эхъ, люди, люди! Человѣки... Всѣ-то вы жить хотите, всѣмъ-то жрать падо, да чтобы каждому получше, повкуснѣе...

Онъ кивнулъ головой и замолчалъ.

— И-ну, Илья,—послѣ долгаго и внушительнаго молчанія заговорилъ купецъ,—давай побесѣдуемъ... Перво-наперво скажи-ка мнѣ — замѣчалъ ты раньше, что Михайло воруетъ?

— Замѣчалъ...

— А что же ты мнѣ не сказалъ про это?

— Такъ...—подумавъ, отвѣтилъ Илья.

— Боялся его, что ли?

— Нѣтъ, не боялся...

— Та-акъ... Что же ты мнѣ не сказалъ: хозяинъ, молъ, грабятъ тебя...

— Не знаю... не хотѣлось...

— М-м... Значитъ, теперь ты мнѣ со зла сказалъ...

— Да,—твердо отвѣтилъ Илья.

— Ишь-ты... какой! — воскликнулъ хозяинъ.

Потомъ онъ долго гладилъ свою рыжую бороду, не говоря ни слова и серьезно разглядывая Илью.

— Ну, а самъ ты, Илья, воровалъ?

— Нѣтъ...

— Вѣрю... Ты не воровалъ... Ну-съ, а Карпъ, вотъ этотъ самый Карпъ, онъ какъ,—воруетъ?

— Воруеть!—какъ эхо, повторилъ мальчикъ.

Карпъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него, мигнулъ глазами и спокойно отворотился въ сторону. Хозяинъ угрюмо сдвинулъ брови и снова началъ гладить бороду. Илья чувствовалъ, что происходитъ что-то странное, и напряженно ждалъ конца. Въ пахучемъ воздухѣ лавки жужжали мухи, былъ слышенъ тихій плескъ воды въ чанѣ съ живой рыбой.

— Карпушка! — окрикнулъ кунецъ приказчика, неподвижно и со вниманіемъ смотрѣвшаго на улицу.

— Чего изволите? — откликнулся Карпъ, быстро подходя къ хозяину и глядя въ лицо ему своими вѣжливо-ласковыми глазами.

— Слышалъ ты, что про тебя сказано?—съ усмѣшкой спросилъ Строганый.

— Слышалъ...

— Ну, и что же?

— Ничего...—пожавъ плечами, сказалъ Карпъ.

— То-есть какъ же—ничего?

— Очень просто, Кирилль Ивановичъ. Я, Кирилль Ивановичъ, имѣю свое достоинство, будучи человѣкомъ, уважающимъ себя, и потому на мальчика мнѣ не подобаетъ обижаться. Какъ сами изволите видѣть, мальчикъ откровенно глухъ, не имѣетъ никакихъ понятій... и я могу его дерзость совершенно простить...

— Ногоди! Ты мнѣ зубовъ не заговаривай! Ты скажи — правду онъ говорилъ?

— Что такое правда, Кирилль Ивановичъ? — тихо воскликнулъ Карпъ, снова пожимая плечами и склонивъ голову на бокъ. — Всякъ по-своему ее разумѣетъ... И, конечно, ежели вамъ угодно, то вы его слова примете за правду.. воля ваша.

Карпъ вздохнулъ и обиженно развелъ руками.

— Н-да, на все здѣсь воля моя...—согласился хозяинъ. —Такъ по-твоему мальчонка-то глухъ?

— Совершенно глухъ,—съ глубокой увѣренностью сказалъ Карпъ.

— Ну, это ты, пожалуй, и врешь...—неопредѣленно сказалъ Строганый и вдругъ захохоталъ. — Итъ, какъ это онъ лянулъ прямо въ зенки тебѣ.... Хо-хо! Воруетъ Карпъ? Воруетъ! Хо-хо-хо!

Илья отошелъ къ двери и всталъ тамъ, слушая этотъ разговоръ, а когда хозяинъ засмѣялся, онъ почувствовалъ, что въ сердцѣ его вспыхнула мстительная радость, съ торжествомъ на лицѣ взглянулъ на Карпа и съ благодарностью—на хозяина. Карпъ прислушался къ хозяйскому смѣху и тоже выпустилъ изъ горла сухонькій и осторожный смѣшокъ:

— Хе-хе-хе!..

Но Строганый, услыхавъ эти жиденькіе звуки, сурово скомацдовалъ:

— Запирай лавку!..

Когда Илья шелъ домой, Карпъ, потрясая головою, говорилъ ему:

— Дуракъ ты, дуракъ! Ну, сообрази, зачѣмъ затѣялъ ты канитель эту? Развѣ такъ предъ хозяевами выслуживаются на первое мѣсто? Дубина! Ты думаешь, онъ не знаетъ, что мы съ Мишкой воровали? Да онъ самъ съ того жизни начиналъ... Хе-хе! Что онъ Мишку прогналъ—за это я обязанъ по всей моей совѣсти сказать тебѣ спасибо! А что ты про меня сказалъ—это тебѣ не простится никогда... заранѣе говорю! Это называется — глухая дерзость! При мнѣ

и про меня—эдакое слово сказать. Пѣ-ѣть! Я тебѣ его припомню... Оно указываетъ, что ты меня не уважаешь...

Илья молча слушалъ эту рѣчь, но плохо понималъ ее. По его разумѣнію, Карпъ долженъ былъ сердиться на него не такъ: онъ былъ увѣренъ, что приказчикъ дорогой поколотитъ его, и даже боялся идти домой... Но вмѣсто злобы въ словахъ Карпа звучала только насмѣшка, и даже угрозы его не пугали Илью. Вечеромъ хозяинъ позвалъ Илью къ себѣ, наверхъ.

— Ага! Пу-ка, поди-ка!—проводилъ его Карпъ зловѣщимъ восклицаніемъ.

Войдя наверхъ, Илья остановился у двери большой комнаты, среди которой подъ тяжелой лампой, опускавшейся съ потолка, стоялъ круглый столъ съ огромнымъ самоваромъ на немъ. Вокругъ стола сидѣлъ хозяинъ съ женой и дочерями—всѣ три дѣвочки были какъ разъ на голову ниже одна другой, волосы у всѣхъ были рыжіе, и блѣлая кожа на ихъ длинныхъ лицахъ была густо усыяна веснушками. Когда Илья вошелъ, онъ плотно придвинулись одна къ другой и со страхомъ уставились на него тремя парами голубыхъ глазъ.

— Вотъ онъ!—сказалъ хозяинъ.

— Скажите, пожалуйста, какой!—опасливо воскликнула хозяйка и такъ посмотрѣла на Илью, точно раньше она никогда не видала его. Строганный усмѣхнулся, погладилъ бороду, постучалъ пальцами по столу и внушительно заговорилъ:

— Позвалъ я тебя, Илья, за тѣмъ, чтобы сказать тебѣ—ты мнѣ больше не нуженъ, стало-быть, собрай свою хурду-мурду и уходи...

Илья вздрогнулъ, удивленно раскрылъ ротъ и, повернувшись, пошелъ вонъ изъ комнаты.

— Стой!—сказалъ купецъ, протянувъ къ нему руку, и, стукнувъ по столу ладонью, повторилъ тономъ ниже:— Стой!

Затѣмъ онъ поднялъ палецъ вверхъ и солидно, медленно заговорилъ снова:

— Позвалъ я тебя не за однимъ этимъ... Пѣть... Поучить тебя надо... Надо объяснить тебѣ, почему ты сталъ мнѣ вреденъ. Никакого худа ты мнѣ не сдѣлалъ... Паренекъ ты грамотный... и не лѣнивый... честный и здоровый... Н-да! Все это твои козыри. Но и съ этими козырями ты мнѣ не нуженъ... такъ сказать, не ко двору... Почему, — вопросъ?... н-да...

Илья понималъ, что его хвалятъ и гонять вонъ. Это не объединялось въ его головѣ, вызывая въ немъ двойственное чувство удовольствія и обиды; ему казалось, что хозяинъ самъ не понимаетъ того, что онъ дѣлаетъ... А лицо Строганого, словно подтверждая догадку мальчика, было напряжено какой-то мыслью, которую купцу, должно-быть, не удавалось поймать и заключить въ слова. Тогда мальчикъ шагнулъ впередъ и смирно, съ почтеніемъ въ голосъ, спросилъ:

— Это вы меня за то прогоняете, что я—съ ножомъ давеча?..

— А, багюшки!—испуганно воскликнула хозяйка.— Какой дерзкій! Ахъ. Господи!

— Вотъ!—сказалъ хозяинъ съ удовольствіемъ, улыбаясь Ильѣ и тыкая пальцемъ по направленію къ нему.— Ты дерзокъ! Именно такъ! Ты дерзокъ... А служащій мальчикъ долженъ быть смиренъ... смиennemудръ, какъ сказано въ писаніи... Онъ живетъ на всемъ хозяйскомъ... У него пища хозяйская, и умъ хозяйскій, и честность тоже... А у тебя свое... И оттого ты дерзокъ... Ты,



Мальчикъ передъ часовымъ магазиномъ. Съ карт. Рубина.

напримѣръ, въ глаза человѣку лѣпишь — воръ! Это нехорошо, это дерзко... Ты, ежели честный, мнѣ скажи объ этомъ человѣкѣ, но тихонько скажи... Я ужъ самъ опредѣлю все... я — хозяинъ!.. А ты вслухъ — воръ... Итъ, ты погоди... Коли изъ троихъ одинъ честенъ — это для меня ничего не значитъ... Тутъ особый счетъ надобенъ... Если же одинъ честенъ, а девять подлецы, никто не выигрываетъ... Но человѣкъ пропадаетъ. А ежели семеро честныхъ на трехъ подлецовъ — твоя взяла... Понялъ? Которыхъ больше, тѣ и правы. . А ежели одинъ — что въ немъ? Вотъ какъ о честности разсуждать надо...

Строганный отеръ ладонью потъ со лба и продолжалъ:

— Опять же — хватаешь ты ножикъ...

— О Господи Исусе! — съ ужасомъ воскликнула хозяйка, а дѣвочки еще плотнѣе прислонились одна къ другой.

— Сказано — взявши ножъ, отъ него и погибнешь... И-да... Вотъ почему ты мнѣ совсѣмъ лишній... Такъ-то... На вотъ тебѣ полтинку и — иди... Уходи... Помни — ты мнѣ ничего худого, я тебѣ тоже... Даже — вотъ, на! Дарю полтинникъ... И разговоръ велъ я съ тобой, мальчишкой, серьезный, какъ надо быть и... все такое... Можетъ, мнѣ даже жалко тебя... но неподходящій ты! Колѣчка не по оси, — такъ ее до ѣзды надо бросить... Ну, иди...

— Прощайте! — сказалъ Илья.

Рѣчь хозяина онъ выслушалъ внимательно и понялъ ее просто — купецъ прогонялъ его потому, что не могъ прогнать Карпа, боясь остаться безъ приказчика. Отъ этого Ильѣ стало легко и радостно. И хозяинъ показался ему особеннымъ какимъ-то — простымъ, милымъ.

— Держи деньги!

— Прощайте! — повторилъ Илья, крѣпко сжавъ въ рукѣ серебряныя монетки. — Покорно благодарю!

— Не на чемъ! — отвѣтилъ Строганный, кивнувъ ему головой.

— А-я-яй! Ни слезинки не выронилъ... — донесся вслѣдъ Ильѣ укоризненный возгласъ хозяйки.

Когда Илья, съ узломъ на спинѣ, вышелъ изъ крѣпкихъ воротъ купеческаго дома, ему показалось, что онъ идетъ издалека, изъ сѣрой и пустой страны, о которой онъ читалъ въ одной книжкѣ, и гдѣ не было ничего, ни людей, ни деревьевъ, только одни камни, а среди нихъ жилъ старый, добрый волшебникъ, ласково указывавшій дорогу всѣмъ, кто попадалъ въ эту страну.

Былъ вечеръ яснаго дня весны. Заходило солнце, на стеклахъ оконъ пылалъ красный огонь. Это напомнило мальчику тотъ день, когда онъ впервые увидалъ городъ съ берега рѣки. Тяжесть узла съ пожитками давила ему спину, — онъ замедлилъ шаги. По тротуару шли люди, задѣвая его пошу, съ трескомъ и грохотомъ ѣхали экипажи; въ косыхъ лучахъ солнца носилась пыль, было шумно, суетливо, весело. Въ памяти мальчика вставало все то, что онъ пережилъ въ городѣ за эти годы. Онъ чувствовалъ себя взрослымъ человѣкомъ, сердце его билось гордо и смѣло, и въ ушахъ его звучали слова купца:

— Ты мальчикъ грамотный, не глупый, здоровый, не лѣнивый... Это твои козыри...

Илья снова ускорилъ шаги, чувствуя въ себѣ крѣпкую, ясную радость и улыбаясь при мысли, что завтра ужъ не надо идти въ рыбную лавку...

М. Горькій.

Твердая торговля.

Сегодня утромъ, окончательно порѣшивъ уѣхать, я въ ожиданіи минуты отъѣзда безцѣльно бродилъ по деревнѣ, заходилъ къ знакомымъ и, наконецъ, заглянулъ въ помѣщеніе мѣстнаго товарищества, въ «банку», какъ говорятъ крестьяне. Въ просторной комнатѣ товарищества, за столомъ сидѣлъ писъмоводитель, что-то писалъ и щелкалъ на счетахъ; въ сторонкѣ, около небольшого простого бѣлаго стола, на которомъ кипѣлъ самоваръ, сидѣли два посѣтителя и вели разговоръ.

Одинъ былъ знакомый мнѣ раскольникъ, промышляющій откармливаніемъ и продажею разной живности. Это былъ человѣкъ громаднаго роста, съ широчайшими плечами, съ таліей въ два обхвата, но съ совершенно дѣтскимъ выраженіемъ крошечныхъ глазъ. Крошечный лобъ, огромный сомовій ротъ и отвислая толстая щеки — вотъ возможно точный обликъ этой допотопной фигуры. Другой собесѣдникъ, по профессіи мелкій подрядчикъ, былъ человѣкъ совершенно другого вида: раскольникъ былъ одѣтъ по-русски, собесѣдникъ — по-нѣмецки; послѣдній былъ въ пальто съ бобровымъ воротникомъ, въ пестрыхъ панталонахъ, новыхъ сапогахъ и калошахъ, которыхъ онъ не снималъ. Волоса, обстриженные «полькой», были тщательно припосажены, тогда какъ у раскольника они частой и жесткой щетиной безпорядочно надвигались чуть не на самыя брови. Словомъ, въ этомъ второмъ собесѣдникѣ все было лоскъ, «благородство», тонкое обращеніе, хотя рыжая, какъ мѣдная проволока жесткая, подстриженная борода, волчьи бакенбарды и красныя вязаныя перчатки значительно разрушали этотъ видъ благородства, невольно почему-то напониная толкучку.

— Я твою манеру знаю! — слышимъ, беззвучнымъ голосомъ говорилъ раскольникъ собесѣднику. — Суета! — больше ничего. Сегодня ты кирпичъ представляешь... Такъ али нѣтъ?

— Ну, предположимъ, кирпичъ? — мотивъ ногой въ новой калошѣ, вопро- сительно произнесъ собесѣдникъ.

— А завтрашняго числа тебя на муку перешвырнуть. Набросился ты на муку, хватъ — крупа пошла ходуномъ: ты — на крупу!

— Само собой: не на муку же я буду обращать вниманіе... Въ этомъ случаѣ была бы одна цѣльность...

— Погоди!

Допотопныхъ размѣровъ человѣкъ поднялъ допотопныхъ размѣровъ палецъ:

— А завтрашняго числа, — сказалъ онъ, грозя пальцемъ и какъ бы давая противнику время приготовиться для удара, — ты на курицу!

Противникъ только было хотѣлъ что-то сказать, но допотопный человѣкъ перебилъ его, заговоривъ такъ, какъ говорятъ при желаніи рядомъ неопровержимыхъ фактовъ добить врага:

— Судакъ тебѣ попался малосольный — ты съ судакомъ связался... Утка ли, цыпленокъ, заяцъ, или такъ что — баранина, козлятина, всякая, напимѣръ, падалъ, — въ тебѣ и на это со-вѣ-сти нѣтъ, ты за все «обѣимъ руками»!

— Хотя бы и такъ! Польза есть — больше ничего. Судакъ ли, заяцъ ли: есть барышъ — давай сюда!

— Коли ты ежели съ судака на зайца... — желая перебить рѣчь, наставительно началъ было раскольникъ, но подрядчикъ оживленно перебилъ его:

— Ты суди дѣло по человѣчеству, а не по судаку! Ты возьми въ расчетъ: я женился на вдовѣ; у ней сынъ мальчикъ, отецъ у него офицеръ былъ... Судака! Я по совѣти долженъ его вывести въ люди, воспитать, научить, чтобы онъ соответствовалъ званію, а не мужицкому положенію... Ты разсуди это! Въ такомъ случаѣ судака ли, зайца ли, хоть дятель — мнѣ все одно! Я долженъ за все взяться! По крайности, Господь дастъ, изъ мужицкой компаніи выдеремся... А то судака!

Великанъ, поминутно порывавшійся возражать и, очевидно, не слыхавшій и не понимавшій ничего изъ рѣчи своего собесѣдника, едва только подрядчикъ произнесъ послѣднее слово, немедленно заговорилъ:

— Я тебѣ говорю не про вдову; мнѣ твоя вдова—Господь съ ней, а говорю я тебѣ: это не дѣло, ежели ты живешь разбросомъ... Вѣдь ты долженъ вертѣться, какъ бѣсъ передъ заутреней, потому твой товаръ неосновательный... Хорошо—ты выѣхалъ на базаръ раньше другихъ, предположимъ хоть съ курицей, съ гусемъ: да и тутъ ты изловчайся: ты привезъ пять возовъ, рассозвалъ ихъ на пяти постоянныхъ дворахъ, чтобы глаза отвести, и вывозишь по возику—послѣдній, молъ... Да хорошо, Богъ дастъ погоду, морозъ... Ну, а ежели да тепло, куда годится твоя курица, либо гусь? У тебя вѣдь ихъ ни одинъ нищій не возьметъ, потому они на морозъ только и форсятъ... на теплѣ они, видишь вонъ, тряпка валяется—вотъ! Это не дѣло! А вотъ что я тебѣ хотѣлъ сказать, такъ это ты долженъ вникать... Я твоей вдовы не знаю; Богъ съ ней. Я тебѣ говорю (раскольникъ опять поднялъ указательный палецъ и, медленно разсѣкая имъ воздухъ, сталъ говорить какимъ-то торжественнымъ тономъ): изъ древнихъ временъ, съ самыхъ неприступныхъ вѣковъ, отъ нашихъ прародителей, искони бѣ, въ нашемъ роду идетъ одно: свинина, утятина, гусятина. Больше ничего! Ни зайцы, ни судаки, ни всякая прочая провизія—это для насъ ничего не составляетъ! Отъ родителей къ дѣтямъ, какъ было, такъ и будетъ у насъ все одно. Заяцъ—мнѣ его не надо! Тетеревъ—проходи своей дорогой! Лисица, или тамъ крупа, или мука что ли—Господь съ вами, оставьте меня въ покоѣ! Но коль скоро касаемое, напимѣръ, свинины, или гуся, или утки—давай! Чего другого мнѣ не надо; но коль скоро гусь—это мое дѣло. Свинья!—это ужъ позвольте, съ моимъ удовольствіемъ. Утка—очень пріятно. Потому у насъ—все одно, изъ самыхъ безконечныхъ предѣловъ до сегодня; и какъ родители наши, древнѣйшіе патріархи, такъ и дѣды, и мы, и дѣти наши будемъ стоять на одномъ! Это, по-моему, называется дѣло дѣлать... Зато ужъ вашему брату, въ морозъ ли, въ оттепель ли за нами не угнаться—нѣтъ! Я кормлю свинью ли, гуся ли, утку ли, я не жалѣю: я знаю. Я знаю, что въ каждой птицѣ чего стоитъ; съ издали вижу, на много ли въ ней потроховъ, пера. Ты мнѣ дай взглянуть на свинью—я тебѣ скажу, сколько въ ней вѣсу и что и чего: что сала, что мяса, во сколько стануть потроха... Я только взгляну—у меня цѣна готова! Такъ моему товару, хоть бы васъ цѣлое ополченіе собралось,—ни во вѣки вѣковъ пренятетвія нѣтъ; мой товаръ вѣзжастъ на базаръ безпрекословно! Морозъ, не морозъ, или громъ, буря, буранъ,—товаръ мой идетъ. Хоть бы публика до моего вѣзда у вашего брата нахватала: это для меня наплевать, потому товаръ

видень, его не взять нельзя. Только слѣпой не возьметъ, зрячій не можетъ себя воздержать... Я вотъ про что говорю. А ты толкуешь: «вдова»!

Подрядчикъ помоталъ новымъ сапогомъ въ новой калошѣ и, вздохнувъ, произнесъ:

— Очень можетъ быть.

— Вдова! У меня у самого есть вдова; да шутъ съ ней... А ты гляди, вотъ что я тебѣ разъясню, что такое утка...

Раскольникъ взялъ счеты и, какъ истинный знатокъ дѣла, началъ разъяснять подрядчику, который слушалъ съ глубокимъ вниманіемъ, что именно заключается въ себѣ, для всѣхъ; кажется, вполне ясно представляемая, утка.

— Вотъ что такое утка,—началъ онъ и, откидывая на счетахъ по одной косточкѣ, произносилъ съ разстановкою: — первое потроха, второе — головка и лапки, третье — перо, четвертое — пухъ, пятое — утка. Слѣдовательно, четыре предмета, окромѣ самой утки!.. Видишь?.. Теперь (пять костей на счетахъ были сброшены, и счеты были приведены въ порядокъ, очевидно, для новыхъ вычислений), теперь обсудимъ каждый предметъ въ полномъ видѣ. Предположимъ на первый взглядъ хоть лапки.

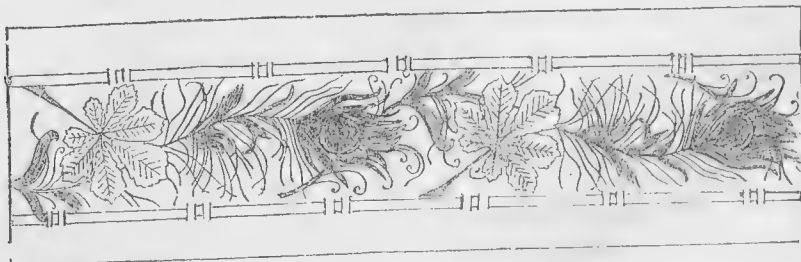
И затѣмъ началось самое точное опредѣленіе цѣны на лапки, потроха и т. д. Утка была раздѣлена и оцѣнена по частямъ и вмѣстѣ. Былъ брошенъ взглядъ на всевозможныя случайности, могущія вдругъ поднять потроха и уронить перо, или поднять цѣну на пухъ и уронить цѣну на самую утку. Словомъ, утиный вопросъ былъ обследованъ со всѣхъ сторонъ и, надо отдать справедливость изслѣдователю, обследованъ превосходно. Тутъ же, какъ бы мимоходомъ, изслѣдовавъ утку, раскольникъ, желавшій показать подрядчику, что всякое дѣло требуетъ обстоятельнаго знанія, остановилъ его вниманіе на пшеничномъ зернѣ.

— Кажется,—сказалъ онъ,—что такое пшеничное зерно? Купилъ мѣшокъ пшеницы, свезъ на базаръ, получилъ рубль—и все!..

Однако оказалось, что пшеничное зерно въ рукахъ знающаго человѣка даетъ цѣлыхъ восемь отдѣльныхъ торговыхъ «предметовъ», именно пять сортовъ муки—въ разныя цѣны и разнаго вкуса и цвѣта, два сорта отрубей и одинъ сортъ крупы манной. Это все изъ одного зерна.

Подрядчикъ заслушался своего лектора. Да и было что послушать, чему поучиться. Я съ величайшимъ вниманіемъ приготовился было слушать изслѣдованіе о свинѣ, къ которому лекторъ готовился приступить, такъ какъ не было никакого сомнѣнія, что свинья разработана имъ въ совершенствѣ, но вниманіе мое было отвлечено новымъ лицомъ.

П. Успенскій.





Дѣти. Съ карт. *Сизрова.*

ДѢТСТВО ОБЛОМОВА.

Илья Ильичъ проснулся утромъ въ своей маленькой постелькѣ. Ему только семь лѣтъ. Ему легко, весело.

Какой онъ хорошенькій, красненькій, полный! Щечки такія кругленькія, что иной шалуниъ надуетъ нарочно, а такихъ не сдѣлаешь.

Няня ждетъ его пробужденія. Она начинаетъ натягивать ему чулочки; онъ не дается, шалитъ, болтаетъ ногами; няня ловитъ его, и оба они хохочутъ.

Наконецъ удалось ей поднять его на ноги; она умываетъ его; причесываетъ головку и ведетъ къ матери.

Обломовъ, увидѣвъ давно умершую мать, и во снѣ затрепеталъ отъ радости, отъ жаркой любви къ ней: у него, у соннаго, медленно выплыли изъ подъ рѣсницъ и стали неподвижно двѣ теплыя слезы.

Мать осыпала его страстными поцѣлуями, потомъ осмотрѣла его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болитъ ли что-нибудь, разспросила няньку, покойно ли онъ спалъ, не просыпался ли ночью, не метался ли во снѣ, не было ли у него жару. Потомъ взяла его за руку и подвела его къ образу.

Тамъ, ставъ на колѣни и обнявъ его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчикъ разсѣянно повторялъ ихъ, глядя въ окно, откуда лилась въ комнату прохлада и запахъ сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдемъ гулять?—вдругъ спрашивалъ онъ среди минуты.

— Пойдемъ, душенька,—торопливо говорила она, не отводя отъ иконы глазъ и спѣша договорить святыя слова.

Мальчикъ вяло повторялъ ихъ, но мать влагала въ нихъ всю свою душу. Потомъ шли къ отцу, потомъ къ чаю.

Около чайнаго стола Обломовъ увидалъ живущую у нихъ престарѣлую тетку, восьмидесяти лѣтъ, непрерывно ворчавшую на свою дѣвчонку, которая, трясая отъ старости головой, прислуживала ей, стоя за ея стуломъ. Тамъ и три пожилыя дѣвушки, дальнія родственницы отца его, и немного помѣшанный деверь его матери, и помѣщикъ семи душъ, Чекаменевъ, гостившій у нихъ, и еще какіе-то старушки и старички.

Весь этотъ штатъ и свита дома Обломовыхъ подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами: онъ едва успѣвалъ утирать слѣды непрощенныхъ поцѣлуевъ.

Послѣ того начиналось кормленіе его булочками, сухариками, сливочками. . . . Потомъ мать, приласкавъ его еще, отпускала гулять въ садъ, по двору, на дугъ, со строгимъ подтвержденіемъ нянѣ не оставлять ребенка одного, не допускать къ лошадямъ, къ собакамъ, къ козлу, не уходить далеко отъ дома, а главное, не пускать его въ оврагъ, какъ самое страшное мѣсто въ околоткѣ, пользовавшеяся дурною репутаціей.

Тамъ нашли однажды собаку, признанную бѣшеною потому только, что она бросилась отъ людей прочь, когда на нее собрались съ вилами и топорами, исчезла гдѣ-то за горой; въ оврагъ свозили падалъ; въ оврагъ предполагались и разбойники, и волки, и разныя другія существа, которыхъ или въ томъ краю, или совсѣмъ на свѣтѣ не было.

Ребенокъ не дождался предостереженій матери: онъ ужъ давно на дворѣ.

Онъ съ радостнымъ изумленіемъ, какъ будто въ первый разъ, осмотрѣлъ и обѣжалъ кругомъ родительскій домъ, съ покривившимся на бокъ воротами, съ сѣвшею на серединѣ деревянной кровлей, на которой росъ нѣжный зеленый мохъ, съ шатающимся крыльцомъ, разными пристройками и надстройками и съ запущеннымъ садомъ.

Ему страсть хочется взбѣжать на огибавшую весь домъ висячую галлерею, чтобъ посмотрѣть оттуда на рѣчку; но галлерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людямъ», а господа не ходить.

Онъ не внималъ запрещеніямъ матери и уже направился было къ соблазнительнымъ ступенямъ, но на крыльцѣ показалась няня и кое-какъ поймала его.

Онъ бросился отъ нея къ сѣновалу, съ намѣреніемъ возвратиться туда по крутой лѣстницѣ, и едва она успѣвала дойти до сѣновала, какъ ужъ надо было спѣшить разрушать его замыслы взлѣзть на голубятню, проникнуть на скотный дворъ и—чего Боже сохрани!—въ оврагъ.

— Ахъ ты, Господи, что за ребенокъ, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно!—говорила нянька.

И цѣлый день, и всѣ дни и ночи няни наполнены были суматохой; бѣготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхомъ, что онъ упадетъ и расшибетъ носъ, то умиленіемъ отъ его непритворной дѣтской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность: этимъ только и билось сердце

ея, этими волненіями подогрѣвалась кровь старухи, и поддерживалась кое-какъ ими сонная жизнь ея, которая безъ того, можетъ-быть, угасла бы давнымъ-давно.

Не все рѣзвъ, однакожь, ребенокъ: онъ иногда вдругъ присмирѣетъ, сяди подлѣ няни, и смотритъ на все такъ пристально. Дѣтскій умъ его наблюдаетъ всѣ совершающіяся передъ нимъ явленія; они западаютъ глубоко въ душу его, потомъ растутъ и зрѣютъ вмѣстѣ съ нимъ.

Утро великолѣпное; въ воздухѣ прохладно; солнце еще не высоко. Отъ дома, отъ деревьевъ, и отъ голубятни, и отъ галлерей — отъ всего побѣжали далеко длинныя тѣни. Въ саду и на дворѣ образовались прохладные уголки, манящіе къ задумчивости и сну. Только вдали поле съ рожью точно горитъ огнемъ, да рѣчка такъ блеститъ и сверкаетъ на солнцѣ, что глазамъ больно.

— Отчего это, няня, тутъ темно, а тамъ свѣтло, а уже будетъ и тамъ свѣтло? — спрашивалъ ребенокъ.

— Оттого, батюшка, что солнце идетъ навстрѣчу мѣсяцу и не видитъ его, такъ и хмурится; а уже какъ завидитъ издали, такъ и просвѣтлѣетъ.

Задумывается ребенокъ и все смотритъ вокругъ: видитъ онъ, какъ Антипъ поѣхалъ за водой, а по землѣ, рядомъ съ нимъ, шелъ другой Антипъ, вдесатеро больше настоящаго, и бочка казалась съ домъ величиной, а тѣнь лошади покрыла собой весь лугъ, тѣнь шагнула только два раза по лугу и вдругъ двинулась за гору; а Антипъ еще и со двора не успѣлъ съѣхать.

Ребенокъ тоже шагнулъ раза два, еще шагъ — и онъ уйдетъ за гору.

Ему хотѣлось бы къ горѣ, посмотрѣть, куда дѣлась лошадь. Онъ къ воротамъ, но изъ окна послышался голосъ матери:

— Няня! Не видишь, что ребенокъ выбѣжалъ на солнышко! Уведи его въ холодокъ; напечетъ ему головку — будетъ болѣть, тошно сдѣлается, кушать не станетъ. Онъ этакъ у тебя въ оврагъ уйдетъ.

— У, баловень! — тихо ворчитъ нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотритъ ребенокъ и наблюдаетъ острымъ и переносчивымъ взглядомъ, какъ и что дѣлаютъ взрослые, чему посвящаютъ они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо врѣзывается въ душу картина домашняго быта; напитывается мягкій умъ живыми примѣрами и безсознательно чертитъ программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтобъ утро пропадало даромъ въ домѣ Обломовыхъ. Стукъ ножей, рубившихъ котлеты и зелень въ кухнѣ, долеталъ даже до деревни.

Изъ людской слышалось шипѣнье веретена да тихій, тоненькій голосъ бабы: трудно было распознать, плачетъ ли она или импровизируетъ заунывную пѣсню безъ словъ.

На дворѣ, какъ только Антипъ воротился съ бочкой, изъ разныхъ угловъ поползли къ ней, съ ведрами, корытами и кувшинами, бабы, кучера.

А тамъ старуха пронесетъ изъ амбара въ кухню чашку съ мукой да кучу яицъ; тамъ поваръ вдругъ выплеснетъ воду изъ окошка и обольетъ Арапку, которая цѣлое утро, не сводя глазъ смотреть въ окно, ласково виляя хвостомъ и облизывая...

Самъ Обломовъ старикъ тоже не безъ занятій. Онъ цѣлое утро сидитъ у окна и неукоснительно наблюдаетъ за всѣмъ, что дѣлается на дворѣ.

— Эй, Пгнашка! Что несешь, дуракъ? — спросить онъ идущаго по двору человека.

— Несу ножи точить въ людскую, — отвѣчаетъ тотъ, не взглянувъ на барина.

— Ну, неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потомъ остановить бабу:

— Эй, баба! Баба! Куда ходила?

— Въ погребъ, батюшка, — говорила она, останавливаясь, и, прикрывъ глаза рукой, глядѣла на окно: — молока къ столу достать.

— Ну, иди, иди! — отвѣчалъ баринъ. — Да смотри, не пролей молоко-то. — А ты, Захарка, пострѣленокъ, куда опять бѣжишь? — кричалъ потомъ. — Вотъ я тебѣ дамъ бѣгать! Ужъ я вижу, что ты это въ третій разъ бѣжишь. Пошелъ назадъ, въ прихожую!

И Захарка шелъ опять дремать въ прихожую.

Придутъ ли коровы съ поля, старикъ первый позаботится, чтобъ ихъ напоили; завидитъ ли изъ окна, что дворняжка преслѣдуетъ курицу, тотчасъ приметъ строгія мѣры противъ безпорядковъ.

И жена его сильно занята: она часа три толкуетъ съ Аверкой, портнымъ, какъ изъ мужиной фуфайки перешить Плюшъ курточку, сама рисуетъ мѣломъ и наблюдаетъ, чтобъ Аверка не укралъ сукна; потомъ перейдетъ въ дѣвичью, задастъ каждой дѣвкѣ, сколько сплести въ день кружевъ; потомъ позоветъ съ собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую изъ своей свиты погулять по саду съ практической цѣлью: посмотрѣть, какъ наливаются яблоко, не упало ли вчерашнее, которое ужъ созрѣло; тамъ чирвить, тамъ подрѣзать и т. п.

Но главною заботою была кухня и обѣдъ. Объ обѣдѣ совѣщались цѣлымъ домою, и престарѣлая тетка приглашалась къ совѣту. Всякій предлагалъ свое блюдо: кто супъ съ потрохами, кто ланшу или желудокъ, кто рубцы, кто красную, кто бѣлую подливку къ соусу.

Всякій совѣтъ принимался въ соображеніе, обсуживался обстоятельно и потомъ принимался, или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посылались безпрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна, напомнить о томъ, прибавить это, или отнять то, отнести сахару, меду, вина для кушанья, и посмотрѣть, все ли положить поваръ, что отпущено.

Забота о пищѣ была первая и главная жизненная забота въ Обломовкѣ. Какіе телята утучнялись тамъ къ годовымъ праздникамъ! Какая птица воспитывалась! Сколько тонкихъ соображеній, сколько заботъ и заботъ въ ухаживаніи за нею! Индѣйки и цыплята, назначаемые къ именинамъ и другимъ торжественнымъ днямъ, откармливались орѣхами; гусей лишали моціона, заставляли висѣть въ мѣшкѣ неподвижно за нѣсколько дней до праздника, чтобъ они заплыли жиромъ. Какіе запасы были тамъ вареній, соленій, печеній! Какіе меды, какіе квасы варились, какіе пироги пеклись въ Обломовкѣ!

И такъ до полудня все суетилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною, такою замѣтною жизнью.

Въ воскресенье и въ праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стукъ ножей на кухнѣ раздавался чаще и сильнѣе; баба совершала нѣсколько разъ путешествіе изъ амбара въ кухню съ двойнымъ ко-

личествомъ муки и яицъ: на птичьемъ дворѣ было болѣе стонотъ и кровопоротий. Пекли исполнинскій пирогъ, который сами господа ѣли еще на другой день; на третій и четвертый день остатки поступали въ дѣвичью; пирогъ дожидаль до пятницы, такъ что одинъ совсѣмъ черствый копецъ, безъ всякой начинки, доставался, въ видѣ особой милости, Антипу, который, перекрестясь, съ трескомъ неустрашимо разрушалъ эту любопытную окаменѣлость, наслаждаясь болѣе сознаніемъ, что это господскій пирогъ, нежели самымъ пирогомъ, какъ археологъ, съ наслажденіемъ пьющій дрянное вино изъ черенка какой-нибудь тысячелѣтней посуды.

А ребенокъ все смотрѣлъ и все наблюдалъ своимъ дѣтскимъ, ничего не пропускающимъ умомъ. Онъ видѣлъ, какъ, послѣ полезно и хлопотливо проведеннаго утра, наставалъ полдень и обѣдъ.

Полдень знойный; на небѣ ни облачка. Солнце стоитъ неподвижно надъ головой и жжетъ траву. Воздухъ пересталъ струиться и виситъ безъ движенія. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; надъ деревней и полемъ лежитъ невозмутимая тишина—все какъ будто вымерло. Звонко и далеко раздается человѣческій голосъ въ пустотѣ. Въ двадцати саженьяхъ слышно, какъ пролетитъ и прожужжитъ жукъ, да въ густой травѣ кто-то все хрипитъ, какъ будто кто-нибудь завалился туда и спитъ сладкимъ сномъ.

И въ домѣ воцарилась мертвая тишина. Наступилъ часъ всеобщаго послѣобѣденнаго сна.

Ребенокъ видитъ, что и отецъ, и мать, и старая тетка, и свита — всѣ разбрелись по своимъ угламъ; а у кого не было его, тотъ шелъ на сѣноваль, другой въ садъ, третій искалъ прохлады въ сѣняхъ, а иной, прикрывъ лицо платкомъ отъ мухъ, засыпалъ тамъ, гдѣ сморила его жара и повалилъ громоздкій обѣдъ. И садовникъ растянулся подъ кустомъ, въ саду, подлѣ своей изгороди, и кучеръ спалъ на конюшнѣ.

Плѣя Пльичъ заглянулъ въ людскую: въ людской всѣ легли вповалку, по лавкамъ, по полу и въ сѣняхъ, предоставивъ ребятишекъ самимъ себѣ; ребятишки ползаютъ по двору и роются въ песокъ. И собаки далеко залѣзли въ конуры, благо, не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встрѣтить ни души; легко было обокрасть все кругомъ и свезти со двора на подводахъ: никто не помѣшалъ бы, если бъ только водились воры въ томъ краю.

Это былъ какой-то всепоглощающій, ничѣмъ непобѣдимый сонъ, истинное подобіе смерти. Все мертво, только изъ всѣхъ угловъ несется разнообразное храпѣнье на всѣ тоны и лады.

Изрѣдка кто-нибудь вдругъ подниметъ со сна голову, посмотритъ безсмысленно, съ удивленіемъ, на обѣ стороны и перевернется на другой бокъ, или, не открывая глазъ, плюнетъ спросонья и, почавкавъ губами или поворачавъ что-то подъ носъ себѣ, опять заснетъ.

А другой быстро, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій, вскочитъ обѣими ногами съ своего ложа, какъ будто боясь потерять драгоценныя минуты, схватитъ кружку съ квасомъ и, подувъ на плавающихъ тамъ мухъ, такъ, чтобы ихъ отнесло къ другому краю, отчего мухи, до тѣхъ поръ неподвижныя, сильно начинаютъ шевелиться, въ надеждѣ на улучшеніе своего положенія, промочить горло и потомъ падаетъ опять на постель, какъ подстрѣленный.

А ребенокъ все наблюдать да наблюдать.

Онъ съ няней послѣ обѣда опять выходилъ на воздухъ. Но и няня, несмотря на всю строгость наказовъ барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянію сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей въ Обломовкѣ повальной болѣзнію.

Сначала она бодро смотрѣла за ребенкомъ, не пускала далеко отъ себя, строго ворчала за рѣзвость, потомъ, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрасивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню.

Сама она усаживалась гдѣ-нибудь въ холодкѣ: на крыльцѣ, на порогѣ погреба или просто на травкѣ, повидимому, съ тѣмъ, чтобъ вязать чулокъ и смотрѣть за ребенкомъ. Но вскорѣ она лѣниво унимала его, кивая головой.

«Влѣзеть, ахъ, того и гляди, влѣзеть эта юла на галерею,—думала она почти сквозь сонъ:—или еще... какъ бы въ оврагъ»...

Тутъ голова старухи клонилась къ колѣнямъ, чулокъ выпадалъ изъ рукъ; она теряла изъ виду ребенка и, открывъ немного ротъ, непускала легкое храпѣнье.

А онъ съ нетерпѣніемъ дожидался этого мгновенья, съ которымъ начиналась его самостоятельная жизнь.

Онъ былъ какъ будто одинъ въ цѣломъ мірѣ; онъ на цыпочкахъ убѣгалъ отъ няни, осматривалъ всѣхъ, кто гдѣ спитъ; остановится и осмотритъ пристально, какъ кто очнется, плюнетъ и промочить что-то во снѣ, потомъ, съ замирающимъ сердцемъ, взбѣгалъ на галерею, обѣгалъ по скрипучимъ доскамъ кругомъ, лазилъ на голубятню, забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжитъ жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухъ; прислушивался, какъ кто-то все стрекочетъ въ травѣ, искалъ и ловилъ нарушителей этой тишины; поймаетъ стрекозу, оторветъ ей крылья и смотритъ, что изъ нея будетъ, или проткнетъ сквозъ нее соломинку и слѣдитъ, какъ она летаетъ съ этимъ прибавленіемъ; съ наслажденіемъ, боясь дохнуть, наблюдаетъ за паукомъ, какъ онъ сосетъ кровь пойманной мухи, какъ бѣдная жертва бьется и жужжитъ у него въ лапахъ. Ребенокъ кончитъ тѣмъ, что убьетъ и жертву, и мучителя.

Потомъ онъ заберется въ канаву, роется, отыскиваетъ какіе-то корешки, очищаетъ отъ коры и ѣстъ власть, предпочитая яблокамъ и варенью, которыя даетъ маменька.

Онъ выбѣжитъ и за ворота: ему бы хотѣлось въ березнякъ; онъ такъ близко кажется ему, что вотъ онъ въ пять минутъ добрался бы до него, не кругомъ, по дорогѣ, а прямо, черезъ канаву, илетины и ямы; но онъ бѣнтся тамъ, говорятъ, и лѣніе, и разбойники, и страшные звѣри.

Хочется ему и въ оврагъ сбѣгать: онъ всего саженьхъ въ пятидесяти отъ сада; ребенокъ ужъ прибѣгалъ къ краю, зажмурилъ глаза, хотѣлъ заглянуть, какъ въ кратеръ вулкана... но вдругъ передъ нимъ возстали всѣ толки и преданія объ этомъ оврагѣ: его обуялъ ужасъ, и онъ, ни живъ ни мертвъ, мчится назадъ и, дрожа отъ страха, бросился къ нянѣ и разбудилъ старуху.

Она вспрянула отъ сна, поправила платокъ на головѣ, подобрала подъ него пальцемъ клочки сѣдыхъ волосъ и, притворяясь, что будто не спала совсѣмъ, подозрительно поглядываетъ на Плюшу, потомъ на барскія окна, и на-

чинаетъ дрожащими пальцами тыкать одну въ другую спицы чулка, лежавшаго у нея на колѣняхъ.

Между тѣмъ жара начала понемногу спадать; въ природѣ стало все поживѣе; солнце уже подвинулось къ лѣсу.

И въ домѣ мало-по-малу нарушалась тишина: въ одномъ углу гдѣ-то скрипнула дверь; слышались по двору чьи-то шаги; на сѣновалѣ кто-то чихнулъ.

Вскорѣ изъ кухни торопливо пронесъ человѣкъ, нагибаясь отъ тяжести, огромный самоваръ. Начали собираться къ чаю: у кого лицо измито и глаза заплавлены слезами; тотъ належае себѣ красное пятно на щекѣ и вискахъ; третій говорить со сна не своимъ голосомъ. Все это сонитъ, охаетъ, зѣваетъ, почесываетъ голову и разминается, едва приходя съ себя.

Обѣдъ и сонъ рождали неутолимую жажду. Жажда палить горло; выпивается чашекъ по двѣнадцати чаю, но это не помогаетъ: слышится оханье, стенанье; прибѣгаютъ къ брусничной, къ грушевой водѣ, къ квасу, а иные и къ врачебному пособию, чтобъ только залить засуху въ горлѣ.

Всѣ искали освобожденія отъ жажды, какъ отъ какого-нибудь наказанія Господня; всѣ мечутся, всѣ томятся, точно караванъ путешественниковъ въ арабской степи, не находящій нигдѣ ключа воды.

Ребенокъ тутъ, подлѣ маменьки: онъ вглядывается въ странныя окружающія его лица, вслушивается въ ихъ сонный и вялый разговоръ. Весело ему смотрѣть на нихъ, любопытенъ кажется ему всякій сказанный ими вздоръ.

Послѣ чая всѣ займутся чѣмъ-нибудь: кто пойдетъ къ рѣчкѣ и тихо бродить по берегу, толкая ногой камешки въ воду; другой сядетъ къ окну и ловить глазами каждое мимолетное явленіе: пробѣжитъ ли кошка по двору, пролетитъ ли галка, наблюдатель и ту и другую преслѣдуетъ взглядомъ и кончикомъ своего носа, поворачивая голову то направо, то налѣво. Такъ иногда собаки любятъ сидѣть по цѣлымъ днямъ на окнѣ, подставляя голову подъ солнышко и тщательно оглядывая всякаго прохожаго.

Мать возьметъ голову Плюши, положить къ себѣ на колѣни и медленно расчесываетъ ему волосы, любясь мягкостью ихъ и заставляя любоваться и Настасью Ивановну и Степаниду Тихоновну, и разговариваетъ съ ними о будущности Плюши, ставитъ его героемъ какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Тѣ сулятъ ему золотыя горы.

Но вотъ начинается смеркаться. На кухнѣ опять трещитъ огонь, опять раздается дробный стукъ пожей: готовится ужинъ.

Дворня собралась у воротъ: тамъ слышится балалайка, хохотъ. Люди играютъ въ горѣлки.

А солнце ужъ опускалось за лѣсъ; оно бросало нѣсколько чуть-чуть теплыхъ лучей, которые прорѣзывались огненной полосой черезъ весь лѣсъ, ярко обливая золотомъ верхушки сосенъ. Потомъ лучи гасли одинъ за другимъ; послѣдній лучъ оставался долго; онъ, какъ тонкая игла, вонзился въ чашу вѣтвей; но и тотъ потухъ.

Предметы теряли свою форму: все сливалось сначала въ сѣрую, потомъ въ темную массу. Пѣніе птицъ постепенно ослабѣвало; вскорѣ онѣ совсѣмъ замолкли, кромѣ одной какой-то упрямой, которая, будто наперекоръ всѣмъ, среди общей тишины, одна монотонно чирикала съ промежутками, но все рѣже и

рѣже, и та, наконецъ, свистнула слабо, незвучно, въ послѣдній разъ, встрепенулась, слегка пошевеливъ листья вокругъ себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнѣе. Изъ земли поднялись бѣлые пары и разостлались по лугу и по рѣкѣ. Рѣка тоже приемирѣла; немного погодя, и въ ней вдругъ кто-то плеснулъ еще въ послѣдній разъ, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнѣе и темнѣе. Деревья сгруппировались въ какихъ-то чудовищъ; въ лѣсу стало страшно: тамъ кто-то вдругъ заскрипитъ, точно одно изъ чудовищъ переходитъ съ своего мѣста на другое, и сухой сучокъ, кажется, хруститъ подъ его ногой.

На небѣ ярко сверкнула, какъ живой глазъ, первая звѣздочка, и въ окнахъ дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, — тѣ минуты, когда сильнѣе работаетъ творческій умъ, жарче кипятъ поэтическія думы, когда въ сердцѣ живѣе вспыхиваетъ страсть, или большѣе поетъ тоска, когда въ жестокой душѣ невозмутимѣе и сильнѣе зрѣетъ зерно преступной мысли, и когда... въ Обломовкѣ всѣ почиваютъ такъ крѣпко и покойно.

— Пойдемъ, мама, гулять, — говоритъ Плюша.

— Что ты, Богъ съ тобой! Теперь гулять, — отвѣчаетъ она: — сыро, ножки простудить; и страшно: въ лѣсу теперь лѣшій ходитъ, онъ уноситъ маленькихъ дѣтей.

— Куда онъ уноситъ? Какой онъ бываетъ? Гдѣ живетъ? — спрашиваетъ ребенокъ.

И мать давала волю своей необузданной фантазіи.

Ребенокъ слушалъ ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконецъ, сонъ не сморитъ его совсѣмъ. Приходила нянька и, взявъ его съ колѣней матери, уносила соннаго, съ повисшей черезъ ее плечо головой, въ постель.

— Вотъ день-то и прошелъ, и слава Богу! — говорили обломовцы, ложась въ постель, кряхтя и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. — Прожили благополучно; дай Богъ и завтра такъ! Слава тебѣ, Господи! Слава тебѣ, Господи!

II. Гончаровъ.

Воспитаніе Штольца.

Штолецъ былъ нѣмецъ только вполонину, по отцу: мать его была русская; вѣру онъ исповѣдывалъ православную; природная рѣчь его была русская; онъ учился ей у матери и изъ книгъ, въ университетской аудиторіи и въ играхъ съ деревенскими мальчишками, въ толкахъ съ ихъ отцами и на московскихъ базарахъ. Нѣмецкій же языкъ онъ наследовалъ отъ отца да изъ книгъ.

Въ селѣ Верхлевѣ, гдѣ отецъ его былъ управляющимъ, Штолецъ выросъ и воспитывался. Съ восьми лѣтъ онъ сидѣлъ съ отцомъ за географической картой, разбиралъ по складамъ Гердера, Виланда, библейскіе стихи и подводилъ итоги безграмотнымъ счетамъ крестьянъ, мѣщанъ и фабричныхъ, а съ матерью читалъ священную исторію, училъ басни Крылова и разбиралъ по складамъ же Телемака.

Оторвавшись отъ указки, бѣжалъ разорять птичьи гнѣзда съ мальчишками, и нерѣдко, среди класса, или за молитвой, изъ кармана его раздавался пискъ галчаты.

Бывало и то, что отецъ сидитъ въ послѣобѣденный часъ подъ деревомъ въ саду и куритъ трубку, а мать вяжетъ какую-нибудь фуфайку или вышиваетъ по канвѣ: вдругъ съ улицы раздается шумъ, крики, и цѣлая толпа людей врывается въ домъ.

— Что такое?— спрашиваетъ испуганная мать.

— Вѣрно, опять Андрея ведутъ, — хладнокровно говоритъ отецъ.

Двери размахиваются и толпа мужиковъ, бабъ, мальчишекъ вторгается въ садъ. Въ самомъ дѣлѣ, привели Андрея — но въ какомъ видѣ: безъ сапогъ, съ разорваннымъ платьемъ и съ разбитымъ носомъ, или у него самого, или у другого мальчишки.

Мать всегда съ беспокойствомъ смотрѣла, какъ Андриуша исчезалъ изъ дома на полсутки, и если бѣ только не положительное запрещеніе отца мѣшать ему, она бы держала его возлѣ себя.

Она его обмоститъ, перемѣнитъ бѣлье, платье, и Андриуша полсутки ходитъ такимъ чистенькимъ, благовоспитаннымъ мальчикомъ, а къ вечеру, иногда и къ утру, опять его кто-нибудь притащитъ вынечканнаго, растрепаннаго, неузнаваемого, или мужики привезутъ на возу съ сѣномъ, или, наконецъ, съ рыбаками пріѣдетъ онъ на лодкѣ, заснувши на неводу.

Мать въ слезы, а отецъ ничего, еще смѣется.

— Добрый буршъ будетъ, добрый буршъ! — скажетъ иногда.

— Помилуй, Иванъ Богданычъ, — жаловалась она: — не проходитъ дня, чтобъ онъ безъ синяго пятна воротился, а наемдин носъ до крови разбилъ.

— Что за ребенокъ, если ни разу носу себѣ или другому не разбилъ? — говорилъ отецъ со смѣхомъ.

Мать поплачетъ, поплачетъ, потомъ сядетъ за фортепiano и забудется за Герцомъ: слезы каплютъ, одна за другой, на клавиши. Но вотъ приходитъ Андриуша, или его приведутъ; онъ начнетъ рассказывать такъ бойко, такъ живо, что разсмѣшитъ и ее, притомъ онъ такой понятливый! Скоро онъ сталъ читать Телемака, какъ она сама, и играть съ ней въ четыре руки.

Однажды онъ пропалъ уже на недѣлю: мать выплакала глаза, а отецъ ничего — ходитъ по саду да куритъ.

— Вотъ, если бѣ Обломова сынъ пропалъ, — сказалъ онъ на предложеніе жены поѣхать поискать Андрея, — такъ я бы поднялъ на ноги всю деревню и земскую полицію, а Андрей пріѣдетъ. О, добрый буршъ!

На другой день Андрея нашли преспокойно спящаго въ своей постели, а подъ кроватью лежало чье-то ружье и фунтъ пороху и дроби.

— Гдѣ ты пропадалъ? Гдѣ взялъ ружье? — засыпала мать вопросами. — Что жъ молчишь?

— Такъ! — только и было отвѣта.

Отецъ спросилъ: готовъ ли у него переводъ изъ Корнелія Непота на нѣмецкій языкъ.

— Итъ, — отвѣчалъ онъ.

Отецъ взялъ его одной рукой за воротникъ, вывелъ за ворота, надѣлъ ему на голову фуражку и ногой толкнулъ сзади такъ, что спихнулъ съ ногъ.

— Ступай, откуда пришелъ,—прибавилъ онъ:—и приходи опять съ переводомъ, вмѣсто одной, двухъ главъ, а матери выучи роль изъ французской комедіи, что она задала: безъ этого не показывайся!

Андрей воротился черезъ недѣлю и принесъ и переводъ и выучилъ роль.

Когда онъ подросъ, отецъ сажалъ его съ собой на рессорную телѣжку, давалъ вожжи и велѣлъ везти на фабрику, потомъ въ поля, потомъ въ городъ, къ купцамъ, въ присутственныя мѣста, потомъ посмотрѣть какую-нибудь глину, которую возьметъ на палецъ, понюхаетъ, иногда лизнетъ, и сыну дастъ понюхать, и объяснить, какая она, на что годится. Не то, такъ отправятся посмотреть, какъ добываютъ поташъ, или деготь, топятъ сало.

Четырнадцать-пятнадцать лѣтъ мальчикъ отправлялся частенько одинъ, въ телѣжкѣ или верхомъ, съ сумкой у сѣдла, съ порученіями отъ отца въ городъ, и никогда не случалось, чтобъ онъ забылъ что-нибудь, переначилъ, не доглядѣлъ, далъ промахъ.

— *Recht gut, mein lieber Junge!* ¹⁾ — говорилъ отецъ, выслушавъ отчетъ и трепалъ его широкой ладонью по плечу, давалъ два-три рубля, смотря по важности порученія.

Мать послѣ долго отмываетъ копотъ, грязь, глину и сало съ Андриюши.

Ей не совсѣмъ правилось это трудовое, практическое воспитаніе. Она боялась, что сынъ ея сдѣлается такимъ же нѣмецкимъ бюргеромъ, изъ какихъ вышелъ отецъ.

«Какъ ни наряди нѣмца, — думала она, — какую тонкую и бѣлую рубашку онъ ни надѣнетъ, пусть обуется въ лакированные сапоги, даже надѣнетъ желтыя перчатки, а все онъ скроется какъ будто изъ сапожной кожи; изъ-подъ бѣлыхъ манжетъ все торчатъ жесткія и красноватыя руки, и изъ-подъ изящнаго костюма выглядываетъ, если не булочникъ, такъ буфетчикъ. Эти жесткія руки такъ и просятся приняться за шило, или много-много что за смычокъ въ оркестръ».

А въ сынѣ ей мерещился идеалъ барина, хотя выскочки, изъ чернаго тѣла, отъ отца-бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки бѣленькаго, прекрасно-сложеннаго мальчика, съ такими маленькими руками и ногами, съ чистымъ лицомъ, съ яснымъ, бойкимъ взглядомъ, такого, на какихъ она наглядѣлась въ русскомъ богатомъ домѣ, и тоже за границею, конечно, не у нѣмцевъ.

И вдругъ онъ будетъ чуть не самъ ворочать жернова на мельницѣ, возвращаться домой съ фабрикъ и полей, какъ отецъ его: въ салѣ, въ навозѣ, съ красно-грязными, загрузѣвшими руками, съ волчьимъ аппетитомъ!

Она бросалась стричь Андриюшѣ ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки; заказывала въ городѣ курточки; учила его прислушиваться къ задумчивымъ звукамъ Герца, пѣла ему о цвѣтахъ, о поэзии жизни, шептала о блестящемъ призваніи, то воина, то писателя, мечтала съ нимъ о высокой роли, какая выпадаетъ инымъ на долю...

И вся эта перспектива должна сокрушиться отъ щелканья счетовъ, отъ разбора замасленныхъ расписокъ мужиковъ, отъ обращенія съ фабричными!

¹⁾ Очень хорошо, мой милый юноша.

Она возненавидѣла даже телѣжку, на которой Андрюша ѣздилъ въ городъ.. и клеенчатый плащъ, который подарилъ ему отецъ, и замшевыя зеленые перчатки—все грубые атрибуты трудовой жизни.

На бѣду, Андрюша отлично учился, и отецъ сдѣлалъ его ренетиторомъ въ своемъ маленькомъ пансіонѣ.

Ну, пусть бы такъ; но онъ положилъ ему жалованье, какъ мастеровому, совершенно по-нѣмецки: по десяти рублей въ мѣсяцъ, и заставлялъ его расписываться въ книгѣ.

Утѣшся, добрая мать: твой сынъ выросъ на русской почвѣ—не въ будничной толпѣ, съ бюргерскими коровьими рогами, съ руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка: тамъ вѣчный праздникъ! Тамъ сбываютъ съ плечъ работу, какъ иго; тамъ баринъ не встаетъ съ зарей и не ходитъ по фабрикамъ, около намазанныхъ саломъ и масломъ колесъ и пружинъ.

Да и въ самомъ Верхлевѣ стоитъ, хотя большую часть года, пустой, запертый домъ, но туда частенько забирается шаловливый мальчикъ, и тамъ видитъ онъ длинные залы и галереи, темные портреты на стѣнахъ, не съ грубой свѣжестью, не съ жесткими большими руками,—видитъ томные голубые глаза, волосы подъ пудрой, бѣлыя, изнѣженные лица, полныя груди, нѣжныя съ синими жилками руки, въ трепещущихъ манжетахъ, гордо положенныя на эфесъ шпаги; видитъ рядъ благородно-безполезно въ нѣгѣ протекшихъ поколѣній, въ парчѣ, бархатѣ и кружевахъ.

Онъ въ лицахъ проходитъ исторію славныхъ временъ, битвъ, именъ; читаетъ тамъ повѣсть о старинѣ, не такую, какую рассказывалъ ему сто разъ, поплывавая, за трубкой, отецъ о жизни въ Саксоніи, между брюквой и картофелемъ, между рынкомъ и огородомъ...

Года въ три разъ этотъ замокъ вдругъ наполнился народомъ, кипѣлъ жизнью, праздниками, балами; въ длинныхъ галереяхъ сіяли по ночамъ огни.

Пріѣзжали князь и княгиня съ семействомъ: князь, сѣдой старикъ, съ выпѣтшимъ пергаментнымъ лицомъ, тусклыми на выкатъ глазами и большимъ плѣшивымъ лбомъ, съ тремя звѣздами, съ золотой табакеркой, съ тростью съ яхонтовымъ набалдачникомъ, въ бархатныхъ сапогахъ; княгиня—величественная красотой, ростомъ и объемомъ женщина, къ которой, кажется, никогда никто не подходилъ близко, не обнялъ, не поцѣловалъ ея, даже самъ князь, хотя у ней было пятеро дѣтей.

Она казалась выше того міра, въ который нисходила въ три года разъ; ни съ кѣмъ не говорила, никуда не выѣзжала, а сидѣла въ угольной зеленой комнатѣ съ тремя старушками, да черезъ садъ, пѣшкомъ, по крытой галлерей, ходила въ церковь и садилась на стулъ за ширмы.

Зато въ домѣ, кромѣ князя и княгини, былъ цѣлый, такой веселый и живой міръ, что Андрюша дѣтскими зелененькими глазками своими смотрѣлъ вдругъ въ три или четыре разныя сферы, бойкимъ умомъ жадно и безсознательно наблюдалъ типы этой разнородной толпы, какъ пестрыя явленія маскарада.

Тутъ были князя Пьеръ и Мишель, изъ которыхъ первый тотчасъ преподавалъ Андрюшѣ, какъ бьютъ зорю въ кавалеріи и пѣхотѣ, какія сабли и шпоры гусарскія и какія драгунскія, какихъ мастей лошади въ каждомъ полку, и куда непременно надо поступить послѣ ученья, чтобъ не опозориться.

Другой, Минель, только лишь познакомился съ Андриюшей, какъ поставилъ его въ позицію и началъ выдѣлывать удивительныя штуки кулаками, попадая ими Андриюшѣ то въ носъ, то въ брюхо, потомъ сказалъ, что это англійская драка.

Дня черезъ три Андрей, на основаніи только деревенской свѣжести и съ помощью мускулистыхъ рукъ, разбилъ ему носъ и по англійскому, и по русскому способу, безъ всякой науки, и приобрѣлъ авторитетъ у обоихъ князей.

Были еще двѣ княжны, дѣвочки одиннадцати и двѣнадцати лѣтъ, высоконькія, стройныя, парадно-одѣтыя, ни съ кѣмъ не говорившія, никому не кланявшіяся и боявшіяся мужиковъ.

Была ихъ гувернантка, m-lle Ernestine¹⁾, которая ходила пить кофе къ матери Андриюши и научила дѣлать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колѣни и завивала въ бумажки до сильной боли, потомъ брала бѣлыми руками за обѣ щеки и цѣловала такъ ласково!

Потомъ былъ нѣмецъ, который точилъ на станкѣ табакерки и пуговицы, потомъ учитель музыки, который напивался отъ воскресенья до воскресенья, потомъ цѣлая шайка горничныхъ, наконецъ, сталъ собакъ и собачонокъ.

Все это наполняло домъ и деревню шумомъ, гамомъ, стукомъ, кликами и музыкой.

Съ одной стороны Обломовка, съ другой княжескій замокъ, съ широкимъ раздольемъ барской жизни встрѣтились съ нѣмецкимъ элементомъ, и не вышло изъ Андрея ни добраго бурша, ни даже филистера.

Отецъ Андриюши былъ агрономъ, технологъ, учитель. У отца своего, фермера, онъ взялъ практическіе уроки въ агрономіи, на саксонскихъ фабрикахъ изучилъ технологию, а въ ближайшемъ университетѣ, гдѣ было около сорока профессоровъ, получилъ призваніе къ преподаванію того, что кое-какъ успѣли ему растолковать сорокъ мудрецовъ.

Дальше онъ не пошелъ, а упрямо поворотилъ назадъ, рѣшивъ, что надо дѣлать дѣло, и возвратился къ отцу. Тотъ далъ ему сто талеровъ, новую котомку, и отпустилъ на всѣ четыре стороны.

Съ тѣхъ поръ Иванъ Богдановичъ не видалъ ни родины, ни отца. Шестъ лѣтъ пространствовалъ онъ по Швейцаріи, Австріи, а двадцать лѣтъ живетъ въ Россіи и благословляетъ свою судьбу.

Онъ былъ въ университетѣ и рѣшилъ, что сынъ его долженъ быть также гамъ—нужды нѣтъ, что это будетъ не нѣмецкій университетъ, нужды нѣтъ, что университетъ русскій долженъ будетъ произвести переворотъ въ жизни его сына и далеко отвести отъ той коленъ, которую мысленно проложилъ отецъ въ жизни сына.

А онъ сдѣлалъ это очень просто: взялъ колею отъ своего дѣда и продолжилъ ее, какъ по линейкѣ, до будущаго своего внука, и былъ покоенъ, не подозревая, что варіаціи Герца, мечты и рассказы матери, галлерей и будуаръ въ княжескомъ замкѣ обратятъ узенькую нѣмецкую колею къ такой широкой дороге, какая не спилась ни дѣду его, ни отцу, ни ему самому.

Впрочемъ, онъ не былъ педантъ въ этомъ случаѣ и не сталъ бы настаивать на своемъ; онъ только не умѣлъ бы начертать въ своемъ умѣ другой дороги сыну.

Онъ мало объ этомъ заботился. Когда сынъ его воротился изъ университета и прожилъ мѣсяца три дома, отецъ сказалъ, что дѣлать ему въ Верхлѣвѣ

¹⁾ Мадмуазель Эрлестина.

больше нечего, что вонъ ужъ даже Обломова отправили въ Петербургъ, что, слѣдовательно, и ему пора.

А отчего нужно ему въ Петербургъ, почему не могъ онъ остаться въ Верхлѣвѣ и помогать управлять имѣніемъ — объ этомъ старикъ не спрашивалъ себя; онъ только помнилъ, что когда онъ самъ кончилъ курсъ ученія, то отецъ отослалъ его отъ себя.

И онъ отослалъ сына — таковъ обычай въ Германіи. Матери не было на свѣтѣ, и противорѣчить было некому.

Въ день отъѣзда Иванъ Богдановичъ далъ сыну сто рублей ассигнаціями.

— Ты поѣдешь верхомъ до губернскаго города, — сказалъ онъ: — тамъ получи отъ Калининкова триста пятьдесятъ рублей, а лошадь оставь у него. Если жъ его нѣтъ, продай лошадь; тамъ скоро ярмарка: дадутъ четыреста рублей и не на охотника. До Москвы доѣхать тебѣ станетъ рублей сорокъ, оттуда въ Петербургъ — семьдесятъ пять; останется довольно. Потомъ — какъ хочешь. Ты дѣлалъ со мной дѣла, стало-быть, знаешь, что у меня есть нѣкоторый капиталъ; но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай, а я, вѣроятно, еще проживу лѣтъ двадцать, развѣ только камень упадетъ на голову. Лампада горитъ ярко, и масла въ ней много. Образованъ ты хорошо: передъ тобой всѣ карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй — не знаю, что ты изберешь, къ чему чувствуешь больше охоты...

— Да я посмотрю, нельзя ли вдругъ по всѣмъ, — сказалъ Андрей.

Отецъ захохоталъ изъ всей мочи и началъ трепать сына по плечу такъ, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего.

— Ну, а если не станетъ умѣнья, не сумѣешь самъ отыскать вдругъ свою дорогу, понадобится посовѣтоваться, спросить — зайди къ Рейнгольду: онъ научитъ. О! — прибавилъ онъ, поднявъ пальцы вверхъ и трясая головой: — это... это... (онъ хотѣлъ похвалить и не нашелъ слова). Мы вмѣстѣ изъ Саксоніи пришли. У него четырехъэтажный домъ. Я тебѣ адресъ скажу...

— Не надо, не говори, — возразилъ Андрей: — я пойду къ нему, когда у меня будетъ четырехъэтажный домъ, а теперь обойдусь безъ него...

Опять трепанье по плечу.

Андрей вспрыгнулъ на лошадь. У сѣдла были привязаны двѣ сумки: въ одной лежалъ клеенчатый плащъ и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги да нѣсколько рубашекъ изъ верхлевскаго полотна, вещи купленные и взятые по настоянію отца; въ другой лежалъ изящный фракъ тонкаго сукна, мохнатое пальто, дюжина тонкихъ рубашекъ и ботинки, заказанныя въ Москвѣ, въ память наставленій матери.

— Ну! — сказалъ отецъ.

— Ну! — сказалъ сынъ.

— Все? — спросилъ отецъ.

— Все! — отвѣчалъ сынъ.

Они посмотрѣли другъ на друга молча, какъ будто пронзали взглядомъ одинъ другого насквозь.

Между тѣмъ около собралась кучка любопытныхъ сосѣдей посмотрѣть, съ разпнутыми ртами, какъ управляющій отпуститъ сына на чужую сторону.

Отецъ и сынъ пожали другъ другу руки. Андрей поѣхалъ крупнымъ шагомъ.

— Каковъ щенокъ: ни слезинки! — говорили сосѣди. — Вошь двѣ вороны такъ и надсѣдаются, каркаютъ на заборѣ: накаркаютъ онѣ ему — погоди ужо!..

— Да что ему вороны? Онѣ на Ивана Купала по ночамъ въ лѣсу одинѣ шатаются: къ нимъ, братцы, это не пристасть. Русскому бы не сошло съ рукъ!

— А старый-то нехристь хорошъ! — замѣтила одна мать. — Точно котенка выбросилъ на улицу: не обнялъ, не взвылъ!

— Стой! Стой, Андрей! — закричалъ старикъ.

Андрей остановилъ лошадь.

— А! Заговорило, видно, ретивое! — сказали въ толпѣ съ одобреніемъ.

— Ну? — спросилъ Андрей.

— Подпруга слаба, надо подтянуть.

— Довѣду до Шамшевки, самъ поправлю. Время тратить нечего, надо за свѣтло прѣхать.

— Ну! — сказалъ, махнувъ рукой, отецъ.

— Ну! — кивнувъ головой, повторилъ сынъ и, нагнувшись немного, только хотѣлъ прищипорить коня.

— Ахъ, вы, собаки, право, собаки! Словно чужіе! — говорили сосѣди.

Но вдругъ въ толпѣ раздался громкій плачь: какая-то женщина не выдержала.

— Батюшка ты, свѣтъ! — приговаривала она, утирая концомъ головного платка глаза. — Сиротка бѣдный! Нѣтъ у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя... Дай хоть я перекрещу тебя, красавецъ мой!..

Андрей подѣхалъ къ ней, соскочилъ съ лошади, обнялъ старуху, потому хотѣлъ было ѣхать — и вдругъ заплакалъ, пока она крестила и цѣловала его. Въ ея горячихъ словахъ послышался ему будто голосъ матери, возникъ на минуту ея нѣжный образъ.

Онѣ еще крѣпко обнялъ женщину, наскоро отеръ слезы и вскочилъ на лошадь. Онѣ ударилъ ее по бокамъ и исчезъ въ облакѣ пыли; за нимъ съ двухъ сторонъ отчаянно бросились вдогонку три дворняжки и залились лаемъ.

И. Гончаровъ.

Врагъ и другъ.

Осужденный на вѣчное заточенье узникъ вырвался изъ тюрьмы и стремглавъ пустился бѣжать... За нимъ по пятамъ мчалась погоня.

Онѣ бѣжалъ изо всѣхъ силъ... Преслѣдователи начинали отставать.

Но вотъ передъ нимъ рѣка съ крутыми берегами, узкая, но глубокая рѣка... А онѣ не умѣетъ плавать!

Съ одного берега на другой перекинута тонкая, гнилая доска. Бѣглецъ уже занесъ на нее погу... Но случилось такъ, что тутъ же, возлѣ рѣки, стояли: лучший его другъ и самый жестокій его врагъ.

Врагъ ничего не сказалъ и только скрестилъ руки; зато другъ закричалъ во все горло:

— Помилуй! Что ты дѣлаешь? Опомнись, безумецъ! Развѣ ты не видишь, что доска совсѣмъ сгнила? Она сломится подъ твоею тяжестью — и ты неизбѣжно погибнешь!

— Но вѣдь другой переправы нѣтъ... а погоню слышишь? — отчаянно простоналъ несчастный и ступилъ на доску.

— Не допущу!.. Нѣтъ, не допущу, чтобы ты погибнуть!—возопилъ ревностный другъ и выхватилъ изъ-подъ ногъ бѣглеца доску. — Тотъ мгновенно бухнулъ въ бурныя волны—и утонулъ.

Врагъ засмѣялся самодовольно и пошелъ прочь; а другъ присѣлъ на берегу—и началъ горько плакать о своемъ бѣдномъ... бѣдномъ другѣ!

Обвинять самого себя въ его гибели онъ, однако, не подумалъ... ни на мигъ.

«Не послушался меня! Не послушался!» шепталъ онъ уныло.

— А впрочемъ!—промолвилъ онъ, наконецъ.—Вѣдь онъ всю жизнь свою долженъ былъ томиться въ ужасной тюрьмѣ! По крайней мѣрѣ, онъ теперь не страдаетъ! Теперь ему легче! Знать, ужъ такая ему вышала доля!

«А все-таки жалко, по человѣчеству?»

И добрая душа продолжала неутѣшно рыдать о своемъ злополучномъ другѣ.

И. Тургеневъ.



Улица въ деревнѣ. Съ карт. Маковского.

М а л ы е р е б я т а .

Все лѣто дѣти Ивана Ивановича¹⁾ ежедневно находились въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Ивановичъ видѣлъ, что въ расчетахъ своихъ ошибся. Дѣти крестьянскія были чисты ду-

¹⁾ Дачникъ изъ Петербурга, который не зналъ деревенской жизни и воображалъ со слишкомъ хорошей.

комъ и сердцемъ, но въ этой крестьянской чистотѣ отражалась только голая дѣйствительность, которая къ тому же отражалась съ безошибочной фотографической вѣрностью. Дѣтскій умъ и душа принимали все, что эта дѣйствительность предлагала имъ, а она предлагала въ большинствѣ случаевъ матеріалъ далеко не кристальнаго достоинства.

Въ деревнѣ, напримѣръ, поймали почтальона, который хотѣлъ было утащить сумку съ деньгами. Ребятишки играютъ въ вора, и блистательно, т.-е. художественно и вмѣстѣ съ тѣмъ фотографически вѣрно исполняютъ это представленіе. По всѣмъ комнатамъ и черезъ комнаты на дворъ несется въ садъ толпа ребятишекъ, лѣтъ до десяти въ среднемъ возрастѣ, догоняютъ вора. Воръ, какъ вѣтеръ, несется съ сумкой, закинувъ голову назадъ, прижавъ сумку къ груди, весь потный и блѣдный. Вотъ онъ спотыкнулся о бревно—и вся орава, гнавшаяся за нимъ, наваливается на него: «Вережку! давай кушакъ! вяжи ему руки! А! ты отбиваться! Утымай, Егорка, сумку, отдавай «начальнику»! Сумка отнята, воръ связанъ; онъ усталъ, онъ еле стоитъ на ногахъ, волоса у него спутаны; словомъ, онъ отлично исполняетъ роль вора, котораго «поймали», «связали». Но и не одинъ онъ, а вся толпа вѣрна дѣйствительности до мелочей. Кто такой воръ? Сынъ одного деревенскаго бобыля, красильщика, человѣка, который просидѣлъ годъ въ острогѣ. Ему быть воромъ; два сына лавочника—полицейскіе. Дѣти простыхъ крестьянъ, какъ и въ дѣйствительности, — толпа, которая «содѣйствуетъ», бѣжитъ, галдитъ, исполняетъ, что прикажутъ. А дѣти Ивана Ивановича? Разумѣется, они исполняютъ господскія роли; одинъ оказывается исправникомъ, другой — становымъ. И ихъ заставляютъ съ точностью выполнять возложенныя на нихъ обязанности.

Вора поймали, связали.

— Что теперь? — спрашиваютъ мужики.

— Теперь къ становому! — отвѣчаютъ лавочники. — Мы—десятекіе, вы—свидѣтели, а Володя съ Колей — становой и исправникъ. Володя! садись на стулъ, допрашивай!

Володя садится на стулъ, но не знаетъ, что дѣлать.

— Ругай, — совѣтуютъ ему. — Ругай его наперво: мошенникъ! каналья! упеку!

Володя ругаетъ.

— Ударь его по мордѣ

Но Володя конфузится, а лавочники говорятъ:

— Это исправникъ его ударить! Володя! ты говори: «ведите его, подлеца, къ исправнику».

Ведутъ къ исправнику, по дорогѣ толкая вора въ спину. Коля-исправникъ сидитъ на стулѣ, но также не знаетъ, что ему дѣлать.

— Бей его сначала по щекѣ! — совѣтуютъ знатоки.

Коля затрудняется, но ему говорятъ:

— Ты такъ, невзправду, коснись только! Ну, теперь приказывай: «въ холодную его, шельму!»

— Въ холодную его, шельму!

Вора сажаютъ въ холодную, на лѣстницу, ведущую на чердакъ, и лавочниковы дѣти припираютъ дверь палкой.

— Вотъ такъ-то, — говоритъ десятскій: — поспиди-ка, другъ любезный, въ теплое мѣсто.

— Что жъ теперь? — спрашиваетъ исправникъ.

— Ты молчи; теперь онъ прощенья будетъ просить, а ты не слушай.

И точно, запертый въ холодной вора такимъ рыдающимъ голосомъ, съ такими надрывающими душу мольбами начинаетъ умолять о помилованіи, что у исправника немедленно же глаза наливается слезами.

— Выходи, Миша! — говоритъ онъ жалобно, забывая, что онъ — исправникъ.

Но тутъ ужъ самъ воръ дѣлаетъ ему замѣчаніе.

— Такъ нельзя скоро! — уже своимъ и нѣсколько обиженнымъ голосомъ отзывается онъ изъ-за двери. — Какая же это игра будетъ? Ты меня до-олго не пушай! Я буду вопить, а ты мнѣ кричи: «нѣтъ тебѣ, подлецу, пощады!»

И начинается вопль. Мальчикъ-воръ, навѣрное, слышалъ этотъ вопль, раздирающій душу, отъ отца, котораго тоже сажали въ острогъ, отъ матери, которая, навѣрно, рыдала и выла, горюя объ участи мужа, и онъ истинно артистически выполняетъ эту сцену. Но исправникъ уже старается не плакать, чтобы не испортить игры, пріучается не слышать этихъ воплей и твердить: «нѣтъ! нѣтъ!»

— Ну, будетъ! — говоритъ самъ воръ и толкаетъ дверь.

Его выпускаютъ. Порядокъ спектакля требуетъ, чтобы за тюрьмой слѣдовало наказаніе «скрозь строй»!

— Сколько прикажете дать ударовъ? — спрашиваютъ лавочники.

— Сто! — говоритъ исправникъ, не умѣющій считать до десяти.

— Ну, что больно много! — возражаетъ воръ. — Эва!

— Двадцать будетъ! — говорятъ мужики.

Приносятъ прутья, «силомъ» валятъ вора на полъ. Исправнику совѣтуютъ кричать: «бей сильнѣй!» Воръ, само собой разумѣется, «вопитъ», но все слабѣй и слабѣй: это значитъ, что его «засѣкаютъ». Наконецъ онъ умолкаетъ. Онъ безъ памяти. Десятскіе и мужики на рукахъ несутъ его и кладутъ на большую плетеную корзину.

Это лазаретъ!

Игра кончилась.

Не правится вамъ эта игра—вотъ другая. «Пропиваютъ» невѣсту, сватья ѣздятъ изъ одной деревни въ другую, останавливаются въ кабакахъ, выпиваютъ, шатаются, валяются... Словомъ, все, что даетъ дѣйствительность, и что всего обиднѣй казалось Ивану Ивановичу—что его дѣтямъ, какъ дѣтямъ господскимъ, отводилась въ этой дѣйствительности, во имя самой сущей правды, болѣею частью неблагодарная, непріятная роль барина, при чемъ этими играми развивались иногда самыя нежелательныя качества. Баринъ бьетъ, наказываетъ—это нехорошо; но и право миловать, въ которомъ игра увѣряла дѣтей, благодаря своей правдивости,—тоже не особенно нравственное право.

Плоха, забита, груба была жизнь; жесткій ея впечатлѣнія. И въ результатѣ, какъ казалось Ивану Ивановичу, извѣстная доля жестокосердія или, по крайней мѣрѣ, равнодушія ко многому, что требуетъ сочувствія и должно вызывать состраданіе. Вотъ, на примѣръ, сценка.

Пріѣхалъ подъ окна усадьбы мужикъ. На телѣгѣ стоитъ кадушка, а въ кадушкѣ теленокъ. Дѣти и ихъ деревенская компанія смотрятъ на мужика, на телѣгу и на кадушку, стоя въ садикѣ.

— Теленочка продаю! — говоритъ мужикъ.

— А гдѣ теленочекъ?

— А вотъ, въ кадушкѣ.

— Зачѣмъ въ кадушкѣ?

— Да еще онъ маленокъ, двухъ недѣль нѣту... Онъ еще и на ногахъ не стоитъ.

— Покази намъ теленочка.

— А поглядите, съ моимъ удовольствіемъ.

Дѣти облѣпили телѣгу. Мужикъ открылъ дерюгу и оттуда выглянула красивенькая мордочка, тепло дохнула на дѣтскую руку, поглядѣла добрыми дѣтскими глазами, какой-то звукъ издала.

— Какой хорошенькій!..

— Славный теленочекъ, только мало кормленъ. Что ребенокъ малый!.. Ему молочка надобно, а нѣту молока-то, вотъ и продаю.

Выходитъ кухарка и торгуетъ теленка.

— Купи, купи! — кричатъ дѣти.

Теленка покупаютъ. Мужикъ на рукахъ несетъ его неуклюжую дѣтскую фигуру, кое-какъ устанавливаетъ на слабыхъ ногахъ къ частоколу налесадики, и, когда всѣ любятъ его, спрашиваетъ кухарку:

— Сами рѣзать будете, али мнѣ?

И привыкаютъ дѣти не плакать и смотрѣть, «какъ рѣжутъ», и потомъ кушать.

Въ общихъ чертахъ оказалось, что не въ Петербургѣ, а именно въ деревнѣ дѣти Ивана Ивановича узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать; получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, приучившихся быть нечувствительными во многихъ, весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ получили какую-то сынь, требующую серьезнаго леченія, и, наконецъ, приобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ. Деревенскій чортъ былъ такое же дѣйствительно существующее лицо, какъ вотъ этотъ лавочникъ или кузнецъ, или становой. Всѣ видѣли его собственными глазами: одного онъ схватилъ въ водѣ за ногу; другой наткнулся на него въ банѣ; третьяго онъ водилъ цѣлую ночь вокругъ болота и чуть не утопилъ; четвертый «своими глазами» видѣлъ, какъ чортъ ходилъ у него по крышѣ, и ростомъ былъ болѣе четырехъ саженъ. Разказы обо всемъ этомъ отличались, конечно, необыкновенною реальностью, а, слѣдовательно, неотразимо дѣйствовали на воображеніе. Чувство страха, почти паническаго, до сихъ поръ совершенно незнакомаго дѣтямъ Ивана Ивановича, передъ невѣдомымъ, таин-

стремимъ зломъ было также однимъ изъ приобретений, «позаимствованныхъ» у деревни. Правда, дѣти Ивана Ивановича совершенно отвыкли врать, къ чему начали было привыкать въ городѣ; деревня во всемъ поступала совершенно правдиво, по сущей совѣсти, но Иванъ Ивановичъ, въ концѣ-концовъ, всѣмъ этимъ далеко былъ неудовлетворенъ.

Г. Успенскій.



Между уроками. Съ карт. Богданова-Вульскаго.

Я большой.

8 мая, вернувшись съ послѣдняго экзамена Закона Божія¹⁾, я нашелъ дома знакомаго мнѣ подмастерья отъ Розанова, который еще прежде приносилъ на живую нитку сметанные мундиръ и сюртукъ изъ глянцевого чернаго сукна съ отливомъ, и отбивалъ мѣломъ лацкана, а теперь принесъ соевѣмъ готовое платье, съ блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.

Надѣвъ это платье и найдя его прекраснымъ, несмотря на то, что St. Jérôme²⁾ увѣрялъ, что спина сюртука морщила, я сошелъ внизъ, съ самовольною улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моемъ лицѣ, и зашелъ къ Володѣ, чувствуя и какъ будто не замѣчая взглядовъ домашнихъ, которые изъ передней и изъ коридора съ жадностью были устремлены на меня. Гаврило, дворецкій, догналъ меня въ залѣ, поздравилъ съ поступленіемъ, передалъ, по приказанію папа, четыре бѣленькія бумажки, и сказалъ, что, тоже по приказанію папа, съ нынѣшняго дня кучеръ Кузьма, пролетка и гнѣдой Красавчикъ въ моемъ полномъ распоряженіи. Я такъ обрадовался этому почти неожиданнымъ счастью, что никакъ не могъ притвориться равнодушнымъ предъ Гаврилой, и, нѣсколько растерявшись и задохнувшись, сказалъ первое, что мнѣ пришло въ голову, — кажется, что «Красавчикъ отличный рысакъ». Взглянувъ на головы, которыя высывались изъ дверей передней и коридора, не въ силахъ болѣе удерживаться, я рысью побѣжалъ черезъ залу въ своемъ новомъ сюртукѣ съ блестящими золотыми пуговицами. Въ то время, какъ я входилъ къ Володѣ, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова³⁾, которые пріѣхали поздравить меня и предложить ѣхать обѣдать куда-нибудь и пить шампанское въ честь моего вступленія. Дмитрій⁴⁾ сказалъ мнѣ, что онъ хотя и не любитъ пить шампанское, нынче побѣдетъ съ папѣ, чтобы выпить со мною *на ты*. Дубковъ сказалъ, что я почему-то похожъ вообще на полковника; Володя не поздравилъ меня и весьма сухо только сказалъ, что теперь мы послѣзавтра можемъ ѣхать въ деревню. Какъ будто, хотя онъ былъ и радъ моему поступленію, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, какъ и онъ. St. Jérôme, который тоже пришелъ къ намъ, сказалъ очень напыщенно, что его обязанность кончена, что онъ не знаетъ, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что онъ сдѣлалъ все, что могъ, и что завтра онъ переѣзжаетъ къ своему графу. Въ отвѣтъ на все, что мнѣ говорили, я чувствовалъ, какъ противъ моей воли на лицѣ моемъ расцвѣтала сладкая, счастливая, нѣсколько глупо-самодовольная улыбка, и замѣчалъ, что улыбка эта даже сообщалась всѣмъ, кто со мной говорилъ.

И вотъ у меня нѣтъ гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано въ спискѣ студентовъ, у меня шпага на портупеѣ, будочники могутъ иногда дѣлать мнѣ честь... я большой, я, кажется, счастливъ.

Обѣдать мы рѣшили у Яра⁵⁾ въ пятомъ часу; но такъ какъ Володя по-

1) Это рассказываетъ Николенька Иртеневъ, державшій экзамены для поступленія въ Московскій университетъ.

2) Сень-Жеромъ, гувернеръ Володи и Николеньки Иртеневыхъ.

3) Студенты, товарищи Володи.

4) Нехлюдовъ.

5) Дорогой трактиръ въ Москвѣ.

ѣхалъ къ Дубкову, а Дмитрій тоже по своей привычкѣ исчезъ куда-то, сказавъ, что у него есть до обѣда одно дѣло, то я могъ употребить два часа времени, какъ мнѣ хотѣлось. Довольно долго я ходилъ по всѣмъ комнатамъ и смотрѣлся во всѣ зеркала, то въ застегнутомъ сюртукѣ, то совѣмъ въ разстегнутомъ, то въ застегнутомъ на одну верхнюю пуговицу, и все мнѣ казалось отлично. Потомъ, какъ мнѣ ни совѣстно было показывать слишкомъ большую радость, я не удержался, пошелъ въ конюшню и каретный сарай, посмотрѣлъ Красавчика, Кузьму и дрожки, потомъ снова вернулся и сталъ ходить по комнатамъ, поглядывая въ зеркала и разсчитывая деньги въ карманѣ, и все также счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, какъ я почувствовалъ нѣкоторую скуку или сожалѣніе въ томъ, что никто меня не видитъ въ такомъ блестящемъ положеніи, и мнѣ захотѣлось движенія и дѣятельности. Вслѣдствіе этого я велѣлъ заложить дрожки и рѣшилъ, что мнѣ лучше всего съѣздить на Кузнецкій Мостъ¹⁾ сдѣлать покупки.

Я вспомнилъ, что Володи, при вступленіи въ университетъ, купилъ себѣ литографіи лошадей Виктора Адама, табакъ и трубки, и мнѣ показалось необходимымъ сдѣлать то же самое.

При обращенныхъ со всѣхъ сторонъ на меня взглядахъ и при яркомъ блескѣ солнца на моихъ пуговицахъ, кокардѣ шляпы и шпагѣ, я пріѣхалъ на Кузнецкій Мостъ и остановился подлѣ магазина картинъ Даціаро. Оглядываясь на всѣ стороны, я вошелъ въ него. Я не хотѣлъ покупать лошадей В. Адама, для того чтобы меня не могли упрекнуть въ обезьянствѣ Володи, но, торопясь отъ стыда, въ безпокойствѣ, которое я доставлялъ услужливому магазинщику, выбрать поскорѣе, я взялъ гуашью сдѣланную женскую голову, стоявшую на окнѣ, и заплатилъ за нее двадцать рублей. Однако, заплативъ въ магазинѣ двадцать рублей, мнѣ все-таки казалось совѣстно, что я обезпокоилъ двухъ красиво одѣтыхъ магазинщиковъ такими пустяками, и притомъ казалось, что они все еще слишкомъ небрежно на меня смотрятъ. Желая имъ дать почувствовать, кто я такой, я обратилъ вниманіе на серебряную штучку, которая лежала подъ стекломъ, и узнавъ, что это былъ *porte-crayon*²⁾, который стоилъ восемнадцать рублей, попросилъ завернуть его въ бумажку и, заплативъ деньги и узнавъ еще, что хорошіе чубуки и табакъ можно найти рядомъ въ табачномъ магазинѣ, учтиво поклонясь обоимъ магазинщикамъ, вышелъ на улицу съ картиной подъ мышкой. Въ сосѣднемъ магазинѣ, на вывѣскѣ котораго былъ написанъ негръ, курящій сигару, я купилъ тоже изъ желанія не подражать никому, не Жукова, а султанскаго табакъ, стамбулку-трубку и два липовыхъ и розовыхъ чубука. Выходя изъ магазина къ дрожкамъ, я увидѣлъ Семенова³⁾, который въ штатскомъ сюртукѣ, опустивъ голову, скорыми шагами шелъ по тротуару. Мнѣ было досадно, что онъ не узналъ меня. Я довольно громко сказалъ: «подавай!» и, сѣвъ на дрожки, догналъ Семенова.

— Здравствуйте-съ,—сказалъ я ему.

— Мое почтеніе,—отвѣчалъ онъ, продолжая идти.

— Что же вы не въ мундирѣ?—спросилъ я.

1) Главная улица въ Москвѣ.

2) Портъ-крэйонъ—ручка для вставки карандаша.

3) Бѣдный студентъ, поступившій въ университетъ вмѣстѣ съ Николенькой.

Семеновъ остановился, прищурилъ глаза и, оскаливъ свои бѣлые зубы, какъ будто ему было больно смотрѣть на солнце, но, собственно, за тѣмъ, чтобы показать свое равнодушіе къ моимъ дрожкамъ и мундиру, молча посмотрѣлъ на меня и пошелъ дальше.

Съ Кузнецкаго Моста я заѣхалъ въ кондитерскую на Тверской, и хотя желалъ притвориться, что меня въ кондитерской преимущественно интересуютъ газеты, не могъ удержаться и началъ ѣсть одинъ сладкій пирожокъ за другимъ. Несмотря на то, что мнѣ было стыдно предъ господиномъ, который изъ-за газеты съ любопытствомъ посматривалъ на меня, я съѣлъ чрезвычайно быстро пирожковъ восемь всѣхъ сортовъ, которые только были въ кондитерской.

Пріѣхавъ домой, я почувствовалъ маленькую изжогу; но не обративъ на нее никакого вниманія, занялся разсматриваніемъ покупокъ, изъ которыхъ картина такъ мнѣ не понравилась, что я не только не обдѣлалъ ея въ рамку и не повѣсилъ въ своей комнатѣ, какъ Володя, но даже тщательно спряталъ ее за комодъ, гдѣ никто не могъ ее видѣть. *Porte-crayon* дома мнѣ тоже не понравился; я положилъ его въ столъ, утѣшая себя, однако, мыслью, что это вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчасъ рѣшилъ пустить въ дѣло и испробовать.

Распечатавъ четвертку, тщательно набивъ стамбулку красно-желтымъ, мелкой рѣзки, султанскимъ табакомъ, я положилъ на нее горящій трутъ и, взявъ чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ (положеніе руки особенно мнѣ правившееся), сталъ тянуть дымъ.

Запахъ табака былъ очень пріятенъ, но во рту было горько и дыханіе захватывало. Однако, сѣрѣвши сердце, я довольно долго втягивалъ въ себя дымъ, пробовалъ пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипѣть, горящій табакъ подпрыгивать, а во рту я почувствовалъ горечь, и въ головѣ маленькое круженіе. Я хотѣлъ уже перестать и только посмотрѣться съ трубкой въ зеркало, какъ, къ удивленію моему, зашатался на ногахъ; комната пошла кругомъ и, взглянувъ въ зеркало, къ которому я съ трудомъ подошелъ, я увидѣлъ, что лицо мое было блѣдно, какъ полотно. Едва я успѣлъ упасть на диванъ, какъ почувствовалъ такую тошноту и такую слабость, что, вообразивъ себѣ, что трубка для меня смертельна, мнѣ показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотѣлъ уже звать людей на помощь и посылать за докторомъ.

Однако страхъ этотъ продолжался недолго. Я скоро понялъ, въ чемъ дѣло, и съ страшною головною болью, разслабленный, долго лежалъ на диванѣ, съ тупымъ вниманіемъ вглядываясь въ гербъ Бостанжогло, изображенный на четверткѣ, въ валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерскихъ пирожковъ, и съ разочарованіемъ грустно думалъ: «Вѣрно, я еще несовсѣмъ больной, если не могу курить, какъ другіе, и что, видно, мнѣ не судьба, какъ другимъ, держать чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ, затягиваться и пускать дымъ черезъ русые усы».

Дмитрій, заѣхавъ за мною въ пятомъ часу, засталъ меня въ этомъ непріятномъ положеніи. Выпивъ стаканъ воды, однако, я почти оправился и былъ готовъ ѣхать съ нимъ.

— И что вамъ за охота курить, — сказали онъ, глядя на слѣды моего куренія: — это все глупости и напрасная трата денегъ. Я далъ себѣ слово не курить... Однако поѣдемъ скорѣй, еще надо заѣхать за Дубковымъ.

Л. Толстой.



Похороны Илюшечки.

Алешу ждали и даже ужъ рѣшились безъ него пестить хорошенькій, разубранный цвѣтами гробикъ въ церковь. Это былъ гробъ Илюшечки, бѣднаго мальчика. Алеша еще у воротъ дома былъ встрѣченъ криками мальчиковъ, товарищей Илюшиныхъ. Они всѣ съ нетерпѣніемъ ждали его и обрадовались, что онъ, наконецъ, пришелъ. Всѣхъ ихъ собралось человѣкъ двѣнадцать, всѣ пришли со своими ранчиками и сумочками черезъ плечо. «Папа плакать будетъ, будьте съ папой», завѣщаль имъ Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главѣ ихъ былъ Коля Красоткинъ.

— Какъ я радъ, что вы пришли, Карамазовъ! — воскликнулъ онъ, протягивая Алешѣ руку. — Здѣсь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снѣгиревъ¹⁾ не пьантъ, мы знаемъ навѣрно, что онъ ничего сегодня не пилъ, а какъ будто пьантъ... Я твердъ всегда, но это ужасно.

Алеша вошелъ въ комнату. Въ голубомъ, убранномъ бѣлымъ рюшемъ гробъ лежалъ, сложивъ ручки и закрывъ глазки, Илюша. Черты нехудалаго лица его совсѣмъ почти не измѣнились и, странно, отъ трупя почти не было запаха. Выраженіе лица было серьезное и какъ бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрестъ, точно вырѣзанныя изъ мрамора. Въ руки ему вложили цвѣтовъ, да и весь гробъ былъ уже убранъ снаружи и внутри цвѣтами. Когда Алеша отворилъ дверь, штабсъ-капитанъ, съ пучкомъ цвѣтовъ въ дрожащихъ рукахъ своихъ, обсыпалъ имъ снова своего дорогого мальчика. Онъ едва взглянулъ на вошедшаго Алешу, да и ни на кого не хотѣлъ глядѣть, даже на плачущую, помѣшанную жену свою, свою «мамочку», которая все старалась приподняться на свои больныя ноги и заглянуть поближе на своего мертвого маль-

¹⁾ Отецъ Илюшечки, очень бѣдный отставной штабсъ-капитанъ.

чика. Ниночку¹⁾ же дѣти приподняли съ ея стуломъ и придвинули вплоть къ гробу. Она сидѣла, прижавшись къ нему своею головою, и тоже, должно-быть, тихо плакала. Лицо Сибгирева имѣло видъ оживленный, но какъ бы растерянный, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ожесточенный. Въ жестахъ его, въ вырывавшихся словахъ его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» восклицалъ онъ поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша былъ въ живыхъ, говорить ему ласкаючи: «батюшка, милый батюшка!»

— Папочка, дай и мнѣ цвѣточковъ, возьми изъ его ручки, вотъ этотъ бѣленькій, и дай!—всхлиывая, попросила помѣшанная «мамочка».

Или ужъ ей такъ понравилась маленькая бѣленькая роза, бывшая въ рукахъ Илюши, или то, что она изъ его рукъ захотѣла взять цвѣтокъ на память, но она вся такъ и заметалась, протягивая за цвѣткомъ руки.

— Никому не дамъ, ниче не дамъ!—жестокосердно воскликнулъ Сибгиревъ.—Его цвѣточки, а не твои. Все его, ниче твоего!

— Папа, дайте мамѣ цвѣтокъ!—подняла вдругъ свое смоченное слезами лицо Ниночка.

— Ниче не дамъ, а ей пуще не дамъ! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а онъ ей подарилъ,—вдругъ въ голосъ прорыдалъ штабсъ-капитанъ при воспоминаніи о томъ, какъ Илюша уступилъ тогда свою пушечку мамѣ.

Бѣдная помѣшанная такъ и залилась вся тихимъ плачемъ, закрывъ лицо руками. Мальчики, видя, наконецъ, что отецъ не выпускаетъ гробъ отъ себя, а между тѣмъ пора нести, вдругъ обступили гробъ тѣсною кучкой и стали его подымать.

— Не хочу въ оградѣ хоронить!—возопилъ вдругъ Сибгиревъ.—У камня похороню, у нашего камушка! Такъ Илюша велѣлъ. Не дамъ нести!

Онъ и прежде, всѣ три дня говорилъ, что похоронить у камня; но вступились Алеша, Красоткинъ, квартирная хозяйка, сестра ея, всѣ мальчики

— Вишь, что выдумалъ, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника,—строго проговорила старуха-хозяйка.—Тамъ въ оградѣ земля со крестомъ. Тамъ по немъ молиться будутъ. Изъ церкви пѣніе слышно, а дьяконъ такъ чисторѣчиво и словесно читаетъ, что все до него каждый разъ долетитъ, точно бы надъ могилкой его читали.

Штабсъ-капитанъ замахалъ, наконецъ, руками: «Несите, дескать, куда хотите!» Дѣти подняли гробъ, но, пронося мимо матери, остановились предъ ней на минутку и опустили его, чтобъ она могла съ Илюшей проститься. Но, увидавъ вдругъ это дорогое личико вблизи, на которое всѣ три дня смотрѣла лишь съ нѣкотораго разстоянія, она вдругъ вся затряслась и начала истерически дергать надъ гробомъ своею сѣдою головою взадъ и впередъ.

— Мама, окрести его, благослови его, поцѣлуй его! — прокричала ей Ниночка.

Но та, какъ автоматъ, все дергалась своею головою и безмолвно, съ искривленнымъ отъ жгучаго горя лицомъ, вдругъ стала бить себя кулакомъ въ грудь. Гробъ понесли дальше. Ниночка въ послѣдній разъ прильнула губами къ устамъ покойнаго брата, когда проносили мимо нея. Алеша, выходя изъ дому,

¹⁾ Больная, горбатая сестра Илюшечки.

обратился было къ квартирной хозяйкѣ съ просьбой присмотрѣть за оставшимся, но та и договорить не дала:

— Знамо дѣло, при нихъ буду, христіане и мы тоже.

Старуха, говоря это, плакала. Нести до церкви было недалеко; шаговъ триста, не болѣе. День сталъ ясный, тихій, морозило, но немного. Благовѣстный звонъ еще раздавался. Снѣгиревъ суетливо и растерянно бѣжалъ за гробомъ въ своемъ старенькомъ, коротенькомъ, почти лѣтнемъ пальтишкѣ, съ непокрытою головою и со старою, широкополою, мягкою шляпою въ рукахъ. Онъ былъ въ какой-то неразрѣшимой заботѣ, то вдругъ протягивалъ руку, чтобъ поддержать изголовье гроба, и только мѣшалъ несущимъ, то забѣгалъ сбоку и искалъ, гдѣ бы хоть тутъ пристроиться. Упалъ одинъ цвѣтокъ на снѣгъ, и онъ такъ и бросился подымать его, какъ будто отъ потери этого цвѣтка Богъ знаетъ что зависѣло.

— А корочку-то, корочку-то забыли!—вдругъ воскликнулъ онъ въ страшномъ испугѣ.

Но мальчики тотчасъ напомнили ему, что корочку хлѣбца онъ уже захватилъ еще давеча, и что она у него въ карманѣ. Онъ мигомъ выдернулъ ее изъ кармана и, удостовѣрившись, успокоился.

— Илюшечка велѣлъ, Илюшечка,—пояснилъ онъ тотчасъ Алешѣ;—лежалъ онъ ночью, а я подлѣ сидѣлъ, и вдругъ приказалъ: «Папочка, когда засыплютъ мою могилку, покроши на ней корочку хлѣбца, чтобъ воробышки прилетали, я услышу, что они прилетѣли, и мнѣ весело будетъ, что я не одинъ лежу».

— Это очень хорошо,—сказалъ Алеша,—надо чаще носить.

— Каждый день, каждый день!—залепеталъ штабсъ-капитанъ, какъ бы весь оживившись.

Прибыли, наконецъ, въ церковь и поставили посреди ея гробъ. Всѣ мальчики обступили его кругомъ и чинно простояли такъ всю службу. Церковь была древняя и довольно бѣдная, много иконъ стояло совсѣмъ безъ окладовъ, но въ такихъ церквахъ какъ-то лучше молишься. За обѣдней Снѣгиревъ какъ бы нѣсколько попритихъ, хотя временами все-таки прорывалась въ немъ та же безсознательная и какъ бы сбитая съ толку озабоченность: то онъ подходилъ къ гробу оправлять покровъ, вѣничикъ, то, когда упала одна свѣчка изъ подсвѣчника, вдругъ бросился вставлятъ ее и ужасно долго съ ней провозился. Затѣмъ уже успокоился и сталъ смирно у изголовья съ глупо-озабоченнымъ и какъ бы недоумѣвающимъ лицомъ. Послѣ апостола онъ вдругъ шепнулъ стоявшему подлѣ него Алешѣ, что апостола *не такъ* прочтали, но мысли своей, однако, не разъяснилъ. За херувимской принялся было подиѣвать, но не докончилъ и, опустившись на колѣна, прильнулъ лбомъ къ каменному церковному полу и пролежалъ такъ довольно долго. Наконецъ приступили къ отиѣванію, роздали свѣчи. Обезумѣвшій отецъ засуетился было опять, но умиленное, потрясающее надгробное пѣніе пробудило и сотрясло его душу. Онъ какъ-то вдругъ весь съежился и началъ часто, укороченно рыдать, сначала тая голосъ, а подъ конецъ громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гробъ, онъ обхватилъ его руками, какъ бы не давая накрыть Илюшечку, и началъ часто, жадно, не отрываясь, цѣловать въ уста своего мертвого мальчика. Его, наконецъ, уговорили и уже свели было со ступеньки, но онъ вдругъ стремительно протянулъ руки и захватилъ изъ гробика нѣсколько цвѣтковъ. Онъ смотрѣлъ на нихъ, и

какъ бы новая какая идея осѣнила его, такъ что о главномъ онъ словно забылъ на минуту. Мало-по-малу онъ какъ бы впалъ въ задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гробъ къ могилкѣ. Послѣ обычнаго обряда могильщики гробъ опустили. Снѣгиревъ до того нагнулся, съ своими цвѣточками въ рукахъ, надъ открытою могилой, что мальчики въ испугѣ уцѣпились за его пальто и стали тянуть его назадъ. Но онъ какъ бы уже не понималъ хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, онъ вдругъ озабоченно сталъ указывать на валившуюся землю и начиналъ даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не могъ, да и онъ самъ вдругъ утихъ. Тутъ напомнили ему, что надо покрошить корочку, и онъ ужасно заволновался, выхватилъ корку и началъ щипать ее, разбрасывая по могилкѣ кусочки:

— Вотъ и прилетайте, птички, вотъ и прилетайте, воробышки!—бормоталъ онъ озабоченно.

Кто-то изъ мальчиковъ замѣтилъ было ему, что съ цвѣтами въ рукахъ ему неловко щипать, и чтобъ онъ на время далъ ихъ кому-то поддержать. Но онъ не далъ, даже вдругъ испугался за свои цвѣты; точно ихъ хотѣли у него совсѣмъ отнять и, поглядѣвъ на могилку и какъ бы удостовѣрившись, что все уже сдѣлано, кусочки покрошены, вдругъ, неожиданно и совсѣмъ даже спокойно повернулся и побрелъ домой. Шагъ его, однако, становился все чаще и утороплениѣе, онъ спѣшилъ, чуть не бѣжалъ. Мальчики и Алеша отъ него не отставали.

— Мамочкѣ цвѣточковъ, мамочкѣ цвѣточковъ! Обидѣли мамочку,—началъ онъ вдругъ восклицать.

Кто-то крикнулъ ему, чтобъ онъ надѣлъ шляпу, а то теперь холодно, но, услышавъ, онъ, какъ бы въ злобѣ, шваркнулъ шляпу на снѣгъ и сталъ приговаривать:

— Не хочу шляпу, не хочу шляпу!

Мальчикъ Смуровъ поднялъ ее и понесъ за нимъ. Всѣ мальчики до единаго плакали, а пуще всѣхъ Коля и Карташовъ, и хотъ Смуровъ, съ капитанскою шляпой въ рукахъ, тоже ужасно какъ плакалъ, но успѣлъ-таки, чуть не на бѣгу, захватить обломокъ кирпичика, краснѣвшій на снѣгу дорожки, чтобъ метнуть имъ въ быстро пролетѣвшую стаю воробышковъ... Конечно, не попалъ, и продолжалъ бѣжать, плача. На половинѣ дороги Снѣгиревъ внезапно остановился, постоялъ съ полминуты, какъ бы чѣмъ-то пораженный и вдругъ, поверотивъ назадъ, къ церкви, пустился бѣгомъ къ оставленной могилкѣ. Но мальчики мигомъ догнали его и уцѣпились за него со всѣхъ сторонъ. Тутъ онъ, какъ въ безсиліи, какъ сраженный, палъ на снѣгъ и, біясь, вопія и рыдая, началъ выкрикивать:

— Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!

Алеша и Коля стали поднимать его, упрасивать и уговаривать.

— Капитанъ, полноте, мужественный человѣкъ обязанъ переносить,—бормоталъ Коля.

— Цвѣты-то вы испортите,—проговорилъ и Алеша,—а «мамочка» ждетъ ихъ, она сидитъ—плачетъ, что вы давеча ей не дали цвѣтовъ отъ Илюшечки. Тамъ постелька Илюшина еще лежитъ...

— Да, да, къ мамочкѣ,—вспомнилъ вдругъ опять Снѣгиревъ,—постельку уберутъ, уберутъ!—прибавилъ онъ какъ бы въ испугѣ, что и въ самомъ дѣлѣ уберутъ, вскочилъ и опять побѣжалъ домой.

Но было уже недалеко, и всё приближали вместе. Снѣгиревъ стремительно отворилъ дверь и завопилъ женѣ, съ которою давеча такъ жестокосердно поспорилъ:

— Мамочка, дорогая, Илюшечка цвѣточковъ тебѣ прислалъ, ножки твои больныя!—прокричалъ онъ, протягивая ей пучокъ цвѣтовъ, померзшихъ и поломанныхъ, когда онъ бился сейчасъ объ снѣгъ.

Но въ это самое мгновеніе увидѣлъ онъ передъ постелькой Илюши, въ уголку, Илюшины сапожки, стоявшіе оба рядышкомъ, только что прибранные хозяйкой квартиры,—старенькіе, порыжѣвшіе, закорузлые сапожки, съ заплатками. Увидавъ ихъ, онъ поднялъ руки и такъ и бросился къ нимъ, палъ на колѣни, схватилъ одинъ сапожокъ и, прильнувъ къ нему губами, началъ жадно цѣловать его, выкрикивая:

— Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои гдѣ?

— Куда ты его унесъ? Куда ты его унесъ?—раздирающимъ голосомъ завопила помѣшанная.

Тутъ ужъ зарыдала и Ниночка. Коля выбѣжалъ изъ комнаты, за нимъ стали выходить и мальчики. Вышелъ, наконецъ, за ними и Алеша.

— Пусть переплачутъ,—сказалъ онъ Колѣ,—тутъ ужъ, конечно, нельзя утѣшать. Переждемъ минутку и воротимся.

— Да, нельзя, это ужасно,—подтвердилъ Коля.—Знаете, Карамазовъ,—понизилъ онъ вдругъ голосъ, чтобъ никто не услышалъ,—мнѣ очень грустно, и если бы только можно было его воскресить, то я бы отдалъ все на свѣтъ!

— Ахъ, и я тоже,—сказалъ Алеша.

— Какъ вы думаете, Карамазовъ, приходитъ намъ сюда сегодня вечеромъ? Вѣдь онъ напьется.

— Можетъ-быть, и напьется. Придемъ мы съ вами только вдвоемъ, вотъ и довольно, чтобъ посидѣть съ ними часокъ, съ матерью и съ Ниночкой, а если всё придемъ разомъ, то имъ опять все напомнимъ,—посоветовалъ Алеша.

— Тамъ у нихъ теперь хозяйка столъ накрываетъ,—эти поминки, что ли, будутъ, попь придется; возвращаться намъ сейчасъ туда, Карамазовъ, или нѣтъ?

— Непремѣнно,—сказалъ Алеша.

— Страшно все это, Карамазовъ, такое горе и вдругъ какіе-то блины, какъ это все неестественно по нашей религіи.

— У нихъ тамъ и семга будетъ,—громко замѣтилъ вдругъ Карташовъ.

— Я васъ серьезно прошу, Карташовъ, не вмѣшиваться болѣе съ вашими глупостями, особенно, когда съ вами не говорятъ и не хотятъ даже знать, есть ли вы на свѣтъ,—раздражительно отрѣзалъ въ его сторону Коля.

Мальчикъ такъ и вспыхнулъ, но отвѣтить ничего не осмѣлился. Между тѣмъ всё тихонько брели по тропинкѣ, и вдругъ Смуровъ воскликнулъ:

— Вотъ Илюшинъ камень, подъ которымъ его хотѣли похоронить!

Всѣ молча остановились у большого камня. Алеша посмотрѣлъ, и цѣлая картина того, что Снѣгиревъ рассказывалъ когда-то объ Илюшечкѣ, какъ тотъ, плача и обнимая отца, восклицалъ: «Папочка, папочка, какъ онъ унижилъ тебя!»¹⁾—разомъ представилась его воспоминанію. Что-то какъ бы сотряслось

¹⁾ Илюша очень страдалъ за отца, которому нанеся большое оскорбленіе братъ Алеша Карамазова.

въ его душѣ. Онъ съ серьезнымъ и важнымъ видомъ обвелъ глазами всѣ эти милыя, свѣтлыя лица школьниковъ, Илюшиныхъ товарищей, и вдругъ сказалъ имъ:

— Господа, мнѣ хотѣлось бы вамъ сказать здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчасъ устремили на него пристальные, оживающіе взгляды.

— Господа, мы скоро разстанемся. Я теперь пока нѣсколько времени съ двумя братьями, изъ которыхъ одинъ пойдетъ въ ссылку, а другой лежитъ при смерти. Но скоро я здѣшній городъ покину, можетъ-быть, очень надолго. Вотъ мы и разстанемся, господа. Согласимся же здѣсь, у Илюшина камушка, что не будемъ никогда забывать—во-первыхъ, Илюшечку, а во-вторыхъ, другъ о другѣ. И что бы тамъ ни случилось съ нами потомъ въ жизни, хотя бы мы и двадцать лѣтъ потомъ не встрѣчались,—все-таки будемъ помнить о томъ, какъ мы хоронили бѣднаго мальчика, въ котораго прежде бросали камни, помните, тамъ, у мостика-то?—а потомъ такъ всѣ его полюбили. Онъ былъ славный мальчикъ, добрый и храбрый мальчикъ, чувствовалъ честь и горькую обиду отцовскую, за которую и возсталъ. Итакъ, во-первыхъ, будемъ помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными дѣлами, достигли почестей или впали бы въ какое великое несчастіе,—все равно, не забывайте никогда, какъ намъ было разъ здѣсь хорошо, всѣмъ сообща, соединеннымъ такимъ хорошимъ и добрымъ чувствомъ, которое и насъ сдѣлало на это время любви нашей къ бѣдному мальчику, можетъ-быть, лучшимъ, чѣмъ мы есть въ самомъ дѣлѣ. Голубчики мои,—дайте я васъ такъ назову—голубчиками, потому что вы всѣ очень похожи на нихъ, на этихъ хорошенькихъ синихъ птичекъ, теперь, въ эту минуту, какъ я смотрю на ваши добрыя, милыя лица,—милыя мои дѣточки, можетъ-быть, вы не поймете, что я вамъ скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потомъ когда-нибудь согласитесь съ моими словами. Знайте же, что ничего нѣтъ выше и сильнѣе, и здоровѣе, и полезнѣе впредь для жизни, какъ хорошее какое-нибудь воспоминаніе, и особенно вынесенное еще изъ дѣтства, изъ родительскаго дома. Вамъ много говорятъ про воспитаніе ваше, а вотъ какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминаніе, сохраненное съ дѣтства, можетъ-быть, самое лучшее воспитаніе и есть. Если много набрать такихъ воспоминаній съ собою въ жизнь, то спасенъ человекъ на всю жизнь. И даже если одно только хорошее воспоминаніе при насъ останется въ нашемъ сердцѣ, то и то можетъ послужить когда-нибудь намъ во спасеніе. Можетъ-быть, мы станемъ даже злыми потомъ, даже предъ дурнымъ поступкомъ устоять будемъ не въ силахъ, надъ слезами человѣческими будемъ смѣяться, и надъ тѣми людьми, которые говорятъ, вотъ какъ давеча Коля воскликнулъ: «Хочу пострадать за всѣхъ людей», и надъ этими людьми, можетъ-быть, злобно издѣваться будемъ. А все-таки, какъ ни будемъ мы злы, чего не дай Богъ, но какъ вспомнимъ про то, какъ мы хоронили Илюшу, какъ мы любили его въ послѣдніе дни, и какъ вотъ сейчасъ говорили такъ дружно и такъ вмѣстѣ у этого камня, то самый жестокій изъ насъ человекъ и самый насмѣшливый, если мы такими сдѣлаемся, все-таки не посмѣетъ внутри себя посмѣяться надъ тѣмъ, какъ онъ былъ добръ и хорошъ въ эту теперешнюю минуту! Мало того, можетъ-быть, именно это воспоминаніе одно его отъ вели-

каго вла удержитъ, и онъ одумается и скажетъ: «Да я былъ тогда добръ, смѣлъ и честенъ». Пусть усмѣхнется про себя, это ничего, человѣкъ часто смѣется надъ добрымъ и хорошимъ; это лишь отъ легкомыслія; но увѣряю васъ, господа, что какъ усмѣхнется, такъ тотчасъ же въ сердцѣ скажетъ: «Нѣтъ, это я дурно сдѣлалъ, что усмѣхнулся, потому что надъ этимъ нельзя смѣяться!»

— Это непременно такъ будетъ, Карамазовъ, я васъ понимаю, Карамазовъ!—воскликнулъ, сверкнувъ глазами, Коля.

Мальчики заволновались и тоже хотѣли что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тотъ страхъ, что мы дурными сдѣлаемся, — продолжалъ Алеша, — но зачѣмъ намъ и дѣлаться дурными, не правда ли, господа? Будемъ, во-первыхъ, и прежде всего, добры, потомъ честны, а потомъ — не будемъ никогда забывать другъ объ другѣ. Это я опять-таки повторяю. Я слово вамъ даю отъ себя, господа, что я ни одного изъ васъ не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчасъ, смотреть, припомню, хотя бы и чрезъ тридцать лѣтъ. Давеча вотъ Коля сказалъ Карташову, что мы будто бы не хотимъ знать, «есть онъ или нѣтъ на свѣтѣ?» Да развѣ я могу забыть, что Карташовъ есть на свѣтѣ, и что вотъ онъ смотритъ на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будемъ все великодушны и смѣлы, какъ Илюшечка, умны, смѣлы и великодушны, какъ Коля (но который будетъ гораздо умнѣе, когда подрастетъ), и будемъ такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, какъ Карташовъ. Да чего я говорю про нихъ обоихъ! Все вы, господа, милы мнѣ отнынѣ, всехъ васъ заключу въ мое сердце, а васъ прошу заключить и меня въ ваше сердце! Ну, а кто насъ соединилъ въ этомъ добромъ хорошемъ чувствѣ, о которомъ мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будемъ и вспоминать намѣрены, кто, какъ не Илюшечка, добрый мальчикъ, милый мальчикъ, дорогой для насъ мальчикъ на вѣки вѣковъ! Не забудемъ же его никогда, вѣчная ему и хорошая память въ нашихъ сердцахъ, отнынѣ и во вѣки вѣковъ!

— Такъ, такъ, вѣчная, вѣчная!—прокричали все мальчики, своими звонкими голосами, съ умиленными лицами.

— Будемъ помнить и лицо его, и платье его, и бѣдненькіе сапожки его, и гробикъ его, и несчастнаго грѣшнаго отца его, и о томъ, какъ онъ смѣло одинъ возсталъ на весь классъ за него!

— Будемъ, будемъ помнить! — прокричали опять мальчики. — Онъ былъ храбрый, онъ былъ добрый.

— Ахъ, какъ я любилъ его!—воскликнулъ Коля.

— Ахъ, дѣточки, ахъ, милые друзья, не бойтесь жизни! Какъ хороша жизнь, когда что-нибудь сдѣлаешь хорошее и правдивое!

— Да, да,—восторженно повторили мальчики.

— Карамазовъ, мы васъ любимъ!—воскликнулъ неудержимо одинъ голосъ, кажется, Карташова.

— Мы васъ любимъ, мы васъ любимъ,—подхватили и все.

У многихъ сверкали на глазахъ слезинки.

— Ура Карамазову!—восторженно провозгласилъ Коля.

— И вѣчная память мертвому мальчику!—съ чувствомъ прибавилъ опять Алеша.

— Вѣчная память!—подхватили снова мальчики.

— Карамазовъ!—крикнулъ Коля,—неужели и взаправду религія говоритъ, что мы всѣ встанемъ изъ мертвыхъ и оживемъ и увидимъ опять другъ друга, и всѣхъ, и Илюшечку?

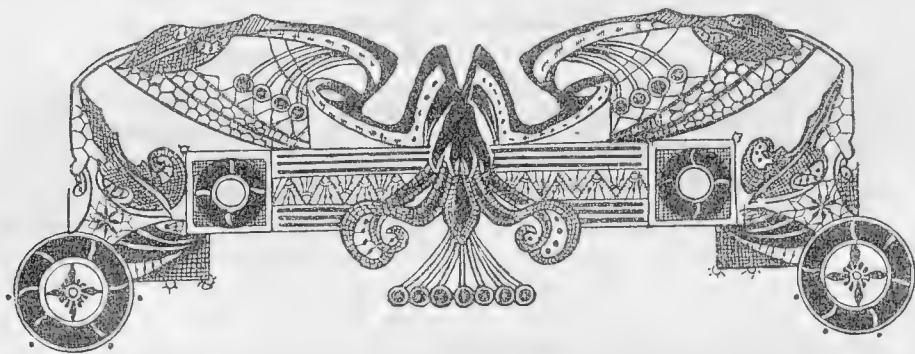
— Непремѣнно возстанемъ, непременно увидимъ и весело, радостно расскажемъ другъ другу все, что было,—полусмѣясь, полу-въ-восторгъ отвѣтилъ Алеша.

— Ахъ, какъ это будетъ хорошо!—вырвалось у Коли.

— Ну, а теперь кончимъ рѣчи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будемъ ѣсть. Это вѣдь старинное, вѣчное, и тутъ есть хорошее,—засмѣялся Алеша.—Ну, пойдемте же! Вотъ мы теперь и идемъ рука въ руку.

— И вѣчно такъ, всю жизнь рука въ руку! Ура Карамазову!—еще разъ восторженно прокричалъ Коля, и еще разъ всѣ мальчики подхватили его восклицаніе.

Ф. Достоевскій.





Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ.

Н О В Ы Й Г О Д Ъ .

Всѣмъ, застигнутымъ непастьемъ,
Всѣмъ, кого межъ нами нѣтъ,
«Съ новымъ годомъ, съ новымъ
счастьемъ!»

Шлю сердечный я привѣтъ.
Пусть его умчитъ съ собою
Вѣтеръ въ дальшіе края —
Къ вамъ, житейскою волною
Унесенные, друзья!

Всѣмъ врагамъ неправды черной,
Возстающимъ противъ зла,
Не склоняющимъ покорно
Передъ пошлостью чела —
Всѣмъ привѣтъ и всѣмъ желанье,
Чтобъ и новый этотъ годъ
Далъ вамъ силу на страданье,
Бодрый духъ среди невзгодъ!

Плещеевъ.

И С П О В Ъ Д Ъ .

— Духовникъ пріѣхали, пожалуйста внизъ правила слушать, — пришелъ доложить Николай.

Я спряталъ тетрадь въ столъ, посмотрѣлъ въ зеркало, причесалъ волосы кверху, что, по моему убѣжденію, давало мнѣ задумчивый видъ, и сошелъ въ диванную, гдѣ уже стоялъ накрытый столъ съ образомъ и горѣвшими восковыми свѣчами. Папа въ одно время со мною вошелъ изъ другой двери. Духовникъ, сѣдой монахъ, съ строгимъ старческимъ лицомъ, благословилъ папу. Папа поцѣловалъ его небольшую широкую, сухую руку; я сдѣлалъ то же.

Первый прошелъ исповѣдываться папа. Онъ очень долго пробылъ въ бабушкиной комнатѣ, и во все это время мы всѣ въ диванной молчали, или шопотомъ переговаривались о томъ, кто пойдетъ прежде. Наконецъ опять изъ двери послышался голосъ монаха, читавшаго молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и онъ вышелъ оттуда, по своей привычкѣ покашливая, подергивая плечомъ и не глядя ни на кого изъ насъ.

— Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри, все скажи. Ты вѣдь у меня большая грѣшница, — весело сказалъ папа, щипнувъ ее за щеку.

Любочка поблѣднѣла и покраснѣла, вынула записочку изъ фартука и опять спрятала и, опустивъ голову, какъ-то укоротивъ шею, какъ будто ожидая удара

сверху, прошла въ дверь. Она пробыла тамъ недолго, но, выходя оттуда, у нея плечи подергивались отъ всхлипываній.

Наконецъ насталъ и мой чередъ. Я съ тѣмъ же тупымъ страхомъ и желаніемъ умышленно все больше и больше возбуждать въ себѣ этотъ страхъ, вошелъ въ полуосвѣщенную комнату. Духовникъ стоялъ предъ налоемъ и медленно обратилъ ко мнѣ свое лицо.

Я пробылъ не болѣе пяти минутъ въ бабушкиной комнатѣ, но вышелъ оттуда счастливымъ и, по моему тогдашнему убѣжденію, совершенно чистымъ, нравственно переродившимся и новымъ человекомъ. Несмотря на то, что меня непріятно поражала вся старая обстановка жизни, тѣ же комнаты, тѣ же мебели, та же моя фигура (мнѣ бы хотѣлось, чтобы все внѣшнее измѣнилось такъ же, какъ, мнѣ казалось, я самъ измѣнился внутренно),—несмотря на это, я пробылъ въ этомъ отрадномъ настроеніи духа до самаго того времени, какъ легъ въ постель.

Я уже засыпалъ, перебирая воображеніемъ все грѣхи, отъ которыхъ очистился, какъ вдругъ вспомнилъ одинъ стыдный грѣхъ, который утаилъ на исповѣди. Слова молитвы предъ исповѣдью вспомнились мнѣ и не переставая звучали у меня въ ушахъ. Все мое спокойствіе мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грѣхъ будете имѣть»... слышалось мнѣ безпрестанно, и я видѣлъ себя такимъ страшнымъ грѣшникомъ, что не было для меня достойнаго наказанія. Долго я ворочался съ боку на бокъ, передумывая свое положеніе и съ минуты на минуту ожидая Божьяго наказанія и даже внезапной смерти,—мысль, приводившая меня въ неописанный ужасъ. Но вдругъ мнѣ пришла счастливая мысль: чѣмъ свѣтъ идти или ѣхать въ монастырь къ духовнику и снова исповѣдаться, и я успокоился.

Я нѣсколько разъ просыпался ночью, боясь проспять утро, и въ шестомъ часу уже былъ на ногахъ. Въ окнахъ едва брезжилось. Я надѣлъ свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищенные, лежали у постели, потому что Николай еще не успѣлъ убрать, и не молясь Богу, не умываясь, вышелъ въ первый разъ въ жизни одинъ на улицу.

На противоположной сторонѣ, изъ-за зеленой крыши большого дома, краснѣлась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренній весенній морозъ сковалъ грязь и ручьи, кололъ подъ ногами и щипалъ мнѣ лицо и руки. Въ нашемъ переулкѣ не было еще ни одного извозчика, на которыхъ я рассчитывалъ, чтобы скорѣе съѣздить и вернуться. Только тянулись какіе-то возы по Арбату и два рабочіе каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шаговъ тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшіе съ корзинками на рыпокъ; бочки, ѣдущія за водой; на перекрестокъ вышелъ пирожникъ; открылась одна калашная, и у Арбатскихъ воротъ попался извозчикъ, старичокъ, спавшій, покачиваясь, на своихъ калиберныхъ, облѣзлыхъ, голубоватенькихъ и заплатанныхъ дрожкахъ. Онъ спросонковъ, должно-быть, запросилъ съ меня всего двугривенный до монастыря и назадъ, но потомъ вдругъ опомнился, и, только что я хотѣлъ садиться, захлесталъ свою лошаденку концами вожжей и совсѣмъ было уѣхалъ отъ меня. «Кормить лошадь надо! Нельзя, баринъ», бормоталъ онъ.

Насилу я уговорилъ его остановиться, предложивъ ему два двугривенныхъ. Онъ остановилъ лошадь, внимательно осмотрѣлъ меня и сказалъ: «сидись, ба-

ринъ». Признаюсь, я боялся пѣсколько, что онъ завезетъ меня въ глухой переулочекъ и ограбить. Ухвативъ его за воротникъ изорваннаго армячишка, при чемъ его сморщенная шея, надъ сильно сгорбленною спиною, какъ-то жалобно обнажалась, я влѣзъ верхомъ на волнообразное голубенькое колыхающееся сидѣнье, и мы затряслись внизъ по Воздвиженкѣ. Дорогой я успѣлъ замѣтить, что спинка дрожекъ была обита кусочкомъ зеленоватенькой матеріи, изъ которой были и армякъ извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчикъ завезетъ меня въ глухой переулочекъ и ограбить.

Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъѣхали къ монастырю. Въ тѣни еще держался морозъ, но по всей дорогѣ текли быстрые, мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя въ монастырскую ограду, у перваго лица, которое я увидалъ, я спросилъ, какъ бы мнѣ найти духовника.

— Вонъ его келья, — сказалъ мнѣ проходившій монахъ, останавливаясь на минуту и указывая на маленькій домикъ съ крылечкомъ.

— Покорно васъ благодарю, — сказалъ я...

Но что обо мнѣ могли думать монахи, которые, другъ за другомъ выходя изъ церкви, всѣ глядѣли на меня? Я былъ ни большой, ни ребенокъ; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье въ пуху, сапоги не чищены и еще въ грязи. Къ какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядѣвшіе на меня? А они смотрѣли на меня внимательно. Однако я все-таки шелъ по направленію, указанному мнѣ молодымъ монахомъ.

Старичокъ въ черной одеждѣ, съ густыми сѣдыми бровями, встрѣтился мнѣ на узенькой дорожкѣ, ведущей къ кельямъ, и спросилъ: «что мнѣ надо?»

Была минута, что я хотѣлъ сказать «ничего», бѣжать назадъ къ извозчику и ѣхать домой, но, несмотря на надвинутыя брови, лицо старика внушало довѣріе. Я сказалъ, что мнѣ нужно видѣть духовника, назвавъ его по имени.

— Пойдемте, *барчукъ*, я васъ проведу, — сказалъ онъ, поворачиваясь назадъ и, повидимому, сразу угадавъ мое положеніе: — батюшка въ утрени: онъ скоро пожалуетъ.

Онъ отворилъ дверь, и черезъ чистенькія сѣни и переднюю, по чистому полотняному половнику, провелъ меня въ келью.

— Вотъ тутъ и подождите, — сказалъ онъ мнѣ съ добродушнымъ, успокоительнымъ выраженіемъ, и вышелъ.

Комнатка, въ которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли: столикъ, покрытый клеенкой, стоявшій между двумя маленькими створчатыми окнами, на которыхъ стояли два горшка гераніи, стоичка съ образами и лампадка, висѣвшая предъ ними, одно кресло и два стула. Въ углу висѣли стѣнные часы съ разрисованнымъ цвѣточками циферблатомъ и подтянутыми на цѣпочкахъ мѣдными гири; на перегородкѣ, соединявшейся съ потолкомъ деревянными, выкрашенными известкой, палочками (за которою, вѣрно, стояла кровать), висѣли на гвоздикахъ двѣ рясы.

Окна выходили на какую-то бѣлую стѣну, видѣвшуюся въ двухъ аршинахъ отъ нихъ. Между ними и стѣной былъ маленький кустъ сирени. Никакой звукъ снаружи не доходилъ въ комнату, такъ что въ этой тишинѣ равномерное пріятное постукиваніе маятника казалось сильнымъ звукомъ. Какъ только я остался одинъ въ этомъ тихомъ уголкѣ, вдругъ всѣ мои прежнія мысли и вос-

поминанія выскочили у меня изъ головы, какъ будто ихъ никогда не было, и я весь погрузился въ какую-то невыразимо-пріятную задумчивость. Эта нанковая, пожелтѣвшая ряса съ протертою подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книгъ съ мѣдными застѣжками, эти мутно-зеленые цвѣты съ тщательно политою землей и обмытыми листьями, а особенно этотъ однообразный прерывистый звукъ маятника, говорили мнѣ внятно про какую-то новую, доселѣ бывшую мнѣ неизвѣстную, жизнь, про жизнь уединенія, молитвы, тихаго спокойнаго счастья...

«Проходятъ мѣсяцы, проходятъ годы,—думалъ я,—онъ все одинъ, онъ все спокоенъ, онъ все чувствуетъ, что совѣсть его чиста предъ Богомъ, и молитва услышана Имъ». Съ полчаса я просидѣлъ на стулѣ, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушить гармонію звуковъ, говорившихъ мнѣ такъ много. А маятникъ все стучалъ такъ же, направо громче, налево тише.

Шаги духовника вывели меня изъ этой задумчивости.

— Здравствуйте, — сказалъ онъ, поправляя рукой свои сѣдые волосы. — Что вамъ угодно?

Я попросилъ его благословить меня и съ особеннымъ удовольствіемъ поцѣловалъ его желтоватую, небольшую руку.

Когда я объяснилъ ему свою просьбу, онъ ничего не сказалъ мнѣ, подошелъ къ иконамъ и началъ исповѣдь.

Когда исповѣдь кончилась, и я, преодолевъ стыдъ, сказалъ все, что было у меня на душѣ, онъ положилъ мнѣ на голову руки и своимъ звучнымъ, тихимъ голосомъ произнесъ: «Да будетъ, сынъ мой, надъ тобою благословеніе Отца небеснаго, да сохранить Онъ въ тебѣ навсегда вѣру, кротость и смиреніе. Аминь».

Я былъ совершенно счастливъ; слезы счастья подступали мнѣ къ горлу, я поцѣловалъ складку его драдедамовой рясы и поднялъ голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.

Я чувствовалъ, что наслаждаюсь чувствомъ умиленія и, боясь чѣмъ-нибудь разогнать его, торопливо простился съ духовникомъ и, не глядя по сторонамъ, чтобы не разсѣяться, вышелъ за ограду и снова сѣлъ на колышущіяся полосатыя дрожжи. Но толчки экипажа, пестрота предметовъ, мелькавшихъ предъ глазами, скоро разогнали это чувство, и я уже думалъ о томъ, какъ теперь духовникъ, вѣрно, думаетъ, что такой прекрасной души молодого человѣка, какъ я, онъ никогда не встрѣчалъ въ жизни, да и не встрѣтитъ, что даже и не бываетъ подобныхъ. Я въ этомъ былъ убѣжденъ; и это убѣжденіе произвело во мнѣ чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.

Мнѣ ужасно хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь; но такъ какъ никого подъ рукой не было, кромѣ извозчика, я обратился къ нему.

— Что, долго я былъ? — спросилъ я.

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора, вѣдь я *ночной*, — отвѣчалъ старичокъ-извозчикъ, теперь, повидимому, съ солнышкомъ повеселѣвшій сравнительно съ прежнимъ.

— А мнѣ показалось, что я былъ всего одну минуту, — сказалъ я. — А знаешь, зачѣмъ я былъ въ монастырѣ? — прибавилъ я, пересаживаясь въ углубленіе, которое было на дрожжахъ ближе къ старичку-извозчику.

— Наше дѣло какое? Куда сѣдокъ скажетъ, туда и веземъ, — отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ, все-таки, какъ ты думаешь? — продолжалъ я допрашивать.

— Да, вѣрно, хоронить кого, ѣздили мѣсто покупать, — сказалъ онъ.

— Нѣтъ, братецъ; а знаешь, зачѣмъ я ѣздилъ?

— Не могу знать, баринъ, — повторилъ онъ.

Голосъ извозчика показался мнѣ такимъ добрымъ, что я рѣшился въ назиданіе его рассказать ему причины моей поѣздки и даже чувство, которое я испытывалъ.

— Хочешь, я тебѣ расскажу? Вотъ видишь ли...

И я рассказалъ ему все и описалъ всѣ свои прекрасныя чувства. Я даже теперь краснѣю при этомъ воспоминаніи.

— Такъ-съ, — сказалъ извозчикъ недовѣрчиво.

И долго послѣ этого онъ молчалъ и сидѣлъ недвижно, только изрѣдка, поправляя полу армяка, которая все выбивалась изъ-подъ его полосатой ноги, прыгавшей въ большомъ сапогѣ на подножкѣ калибера. Я уже думалъ, что и онъ думаетъ про меня то же, что духовникъ, т.-е., что такого прекраснаго молодого человѣка, какъ я, другого нѣтъ на свѣтѣ, но онъ вдругъ обратился ко мнѣ.

— А что, баринъ, ваше дѣло господское?

— Что? — спросилъ я.

— Дѣло-то, дѣло господское? — повторилъ онъ, шамкая беззубыми губами.

«Нѣтъ, онъ меня не понялъ», подумалъ я, но уже больше не говорилъ съ нимъ до самаго дома.

Хотя не самое чувство умиленія и набожности, но самодовольство въ томъ, что я испыталъ его, удержалось во мнѣ всю дорогу, несмотря на народъ, который при яркомъ солнечномъ блескѣ пестрѣлъ вездѣ на улицахъ; но какъ только я пріѣхалъ домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двухъ двугривенныхъ, чтобы заплатить извозчику. Дворецкій Гаврило, которому я уже былъ долженъ, не давалъ мнѣ больше взаймы. Извозчикъ, увидавъ, какъ я два раза пробѣжалъ по двору, чтобы доставать деньги, должно-быть, догадавшись, зачѣмъ я бѣгаю, слѣзъ съ дрожекъ и, несмотря на то, что казался мнѣ такимъ добрымъ, громко началъ говорить, съ видимымъ желаніемъ уколоть меня, о томъ, какіе бываютъ шаромыжники, которые не платятъ за ѣзду.

Дома еще всѣ спали, такъ что, кромѣ людей, мнѣ не у кого было занять двухъ двугривенныхъ. Наконецъ Василій подъ самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видѣлъ) онъ не вѣрилъ нисколько, но такъ, потому что любилъ меня и помнилъ услугу, которую я ему оказалъ, заплатилъ за меня извозчику. Такъ дымомъ разлетѣлось это чувство. Когда я сталъ одѣваться въ церковь, чтобы со всѣми вмѣстѣ идти причащаться, и, оказалось, что мое платье не было перешиито и его нельзя было надѣть, я пропасть нагрѣшилъ. Надѣвъ другое платье, я пошелъ къ причастію въ какомъ-то странномъ положеніи торопливости мыслей и съ совершеннымъ недовѣріемъ къ своимъ прекраснымъ наклонностямъ.

Л. Толстой.

Вѣтка Палестины.

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины:
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины
Ты украшеніемъ была?
У водъ ли чистыхъ Иордана
Востока лучъ тебя ласкалъ,
Почной ли вѣтръ въ горахъ Ливана
Тебя сердито колыхалъ?
Молитву ль тихую читали,
Иль пѣли пѣсни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бѣдные сыны?
И пальма та жива ль понынѣ?
Все также ль манитъ въ лѣтній зной
Она прохожаго въ пустынѣ
Широколиственной главой?
Или въ разлукѣ безотрадной
Она увяла, какъ и ты,
И дальній прахъ ложится жадно
На пожелтѣвшіе листы?..
Повѣдай: набожной рукою
Кто въ этотъ край тебя занесъ?
Грустилъ онъ часто надъ тобою?
Хранишь ты слѣдъ горючихъ слезъ?
Иль Божьей рати лучший воинъ,
Онъ былъ, съ безоблачнымъ челомъ
Какъ ты, всегда небесъ достоинъ
Передъ людьми и божествомъ?..
Заботой тайною хранима,
Передъ иконою золотой
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,
Святыни вѣрный часовой!
Прозрачный сумракъ, лучъ лампы,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой.

М. Лермонтовъ





Возвращеніе въ родной домъ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Отъ Павла Александровича Б... къ Семену Николаевичу В...

Сельцо М—ское, 6 іюня 1850.

Четвертаго дня прибылъ я сюда, любезный другъ, и, по обѣщанію, берусь за перо и пишу къ тебѣ. Мелкій дождь съѣтъ съ утра: выйти невозможно; да и мнѣ же хочется поболтать съ тобой. Вотъ я опять въ своемъ старомъ гнѣздѣ, въ которомъ не былъ — страшно вымолвить — цѣлыхъ девять лѣтъ. Право, какъ подумаешь, я точно другой человѣкъ сталъ. Да и въ самомъ дѣлѣ другой: помнишь ты въ гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, съ такими странными завитушками по угламъ, — ты все, бывало, раздумывалъ о томъ, что оно видѣло сто лѣтъ тому назадъ, — я, какъ только пріѣхалъ, подошелъ къ нему и невольно смутился. Я вдругъ увидѣлъ, какъ я постарѣлъ и перемѣнился въ послѣднее время. Впрочемъ, не я одинъ постарѣлъ. Домнишко мой, уже давно ветхій, теперь чуть держится, покривился, вросъ въ землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, навѣрно, не забылъ: она тебя такимъ славнымъ вареньемъ потчевала), совсѣмъ высохла и сгорбилась; увидавъ меня, она вскрикнуть не могла и не заплакала, а только захохала и раскашлялась, сѣла въ изнеможеніи на стулъ и замахала рукою. Старикъ Терентій еще бодрится, попрежнему держится прямо и на ходу выворачиваетъ ноги, вдѣтая въ тѣ же самые желтые нанковые панталонки и обутая въ тѣ же самые скрипучіе козловые башмаки, съ высокимъ подъемомъ и бантиками, отъ которыхъ ты не однажды приходилъ въ умиленіе... по—Боже мой! — какъ болтаются теперь эти панталонки на его худенькихъ ногахъ! какъ волосы у него побѣлѣли! и лицо совсѣмъ съежилось въ кулачокъ; а когда онъ заговорилъ со мной, когда онъ началъ распоряжаться и отдавать приказанія въ сосѣдней комнатѣ, мнѣ и смѣшно, и жалко его стало. Всѣ зубы у него пропали, и онъ шамкаетъ съ присвистомъ и шипѣньемъ. Зато садъ удивительно похорошѣлъ: скромные кустики сирени, акаціи, жимолости (помнишь, мы ихъ съ тобой сажали) разрослись въ велико-

лѣпные, сплошные кусты; березы, клены — все это вытянулось и раскинулось; липовыя аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю сѣро-зеленый нѣжный цвѣтъ и тонкій запахъ воздуха подъ ихъ сводами; люблю пестрящую сѣтку свѣтлыхъ кружковъ по темной землѣ — песку у меня, ты знаешь, нѣту. Мой любимый дубокъ сталъ уже молодымъ дубомъ. Вчера, среди дня, я болѣе часа сидѣлъ въ его тѣни на скамейкѣ. Миѣ очень хорошо было. Кругомъ трава такъ весело цвѣла; на всемъ лежалъ золотой свѣтъ, сильный и мягкій; даже въ тѣнь проникалъ онъ... а что слышалось птицъ! Ты, я надѣюсь, не забылъ, что птицы — моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изрѣдка свистала иволга, зябликъ выдѣлывалъ свое милое колѣнце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдругъ, какъ сумасшедшій, пронзительно кричалъ дятель. Я слушалъ, слушалъ весь этотъ мягкій, слитный гулъ, и пошевеливаться не хотѣлось, а на сердцѣ не то лѣнь, не то умиленіе. И не одинъ садъ выросъ: миѣ на глаза безпрестанно попадаются плотные, дюжіе ребята, въ которыхъ я никакъ не могу признать прежнихъ знакомыхъ мальчишекъ. А твой фаворитъ, Тимоша, сталъ теперь такимъ Тимошеемъ, что ты себѣ представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывалъ ему чахотку; а посмотрѣлъ бы ты теперь на его огромныя, красныя руки, какъ онѣ торчатъ изъ узенькихъ рукавовъ нанковаго сюртука, и какія у него повсюду выпираются круглыя и толстыя мышцы! Затылокъ какъ у быка, и голова вся въ крутыхъ, бѣлокурыхъ завиткахъ — совершенный Гераклъ Фарнезскій! Впрочемъ, лицо его измѣнилось меньше, чѣмъ у другихъ, даже не очень увеличилось въ объемѣ, и веселая, какъ ты говорилъ, «зѣвающая» улыбка осталась та же. Я его взялъ къ себѣ въ камердинеры; своего петербургскаго я бросилъ въ Москвѣ; очень ужъ онъ любилъ стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство въ столичномъ обращеніи. Собакъ моихъ я не пашелъ ни одной; всѣ перевелся. Одна Нефка долѣе всѣхъ жила — и та не дождалась меня, какъ Аргосъ дождался Улисса; не пришлось ей увидѣть бывшаго хозяина и товарища по охотѣ своими потускнѣвшими глазами. А Шавка цѣла и такъ же лаетъ синю, и одно ухо такъ же прорвано, и репейники въ хвостѣ, какъ быть слѣдуетъ. Я поселился въ бывшей твоей комнаткѣ. Правда, солнце въ нее ударяетъ, и мухъ въ ней много; зато меньше пахнетъ старымъ домомъ, чѣмъ въ остальныхъ комнатахъ. Странное дѣло! этотъ затхлый, немного кислый и вялый запахъ сильно дѣйствуетъ на мое воображеніе: не скажу, чтобъ онъ былъ миѣ непріятенъ, напротивъ; но онъ возбуждаетъ во миѣ грусть, а наконецъ унылость. Я, такъ же, какъ и ты, очень люблю старыя пузатыя комоды съ мѣдными бляхами, бѣлыя кресла съ овальными спинками и кривыми ножками, засиженныя мухами, стеклянныя люстры, съ большимъ яйцомъ изъ лиловой фолги посрединѣ, — словомъ, всякую дѣдовскую мебель; но постоянно видѣть все это не могу: какая-то тревожная скука (именно такъ!) овладѣетъ мною. Въ комнатѣ, гдѣ я поселился, мебель самая обыкновенная, домодѣльщина; однако я оставилъ въ углу узкій и длинный шкафъ съ полочками, на которыхъ сквозъ пыль едва виднѣется разная старозавѣтная дутая посуда изъ зеленого и синяго стекла; а на стѣнѣ я приказалъ повѣсить, помнишь, тотъ женскій портретъ, въ черной рамѣ, который ты называлъ портретомъ Манонъ Леско. Онъ немного потемнѣлъ въ эти девять лѣтъ; но глаза глядятъ такъ же задумчиво, лукаво и нѣжно, губы такъ же легкомысленно и грустно смѣются, и полу-ощипанная роза такъ

же тихо валится изъ тонкихъ пальцевъ. Очень забавляютъ меня шторы въ моей комнатѣ. Онѣ когда-то были зеленыя, но пожелтѣли отъ солнца; по нимъ черными красками написаны сцены изъ д'Арленкуровскаго «Пустынника». На одной шторѣ этотъ пустынный, съ огромнѣйшей бородой, глазами на выкатъ и въ сандаляхъ, увлекаетъ въ горы какую-то растрепанную барышню; на другой — происходитъ ожесточенная драка между четырьмя витязями въ беретахъ и съ буфами на плечахъ; одинъ лежитъ en rassoise¹⁾, убитый, — словомъ, все ужасы представлены, а кругомъ такое невозмутимое спокойствіе, и отъ самыхъ шторъ ложатся такіе кроткіе отблески на потолокъ... Какая-то душевная тишь нашла на меня съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь поселился; ничего не хочется дѣлать, никого не хочется видѣть, мечтать не о чемъ, лѣнь мыслить; но думать не лѣнь: это двѣ вещи разныя, какъ ты самъ хорошо знаешь. Воспоминанія дѣтства сперва нахлынули на меня... Куда я ни шелъ, на что ни взглядывалъ, они возникали отовсюду, ясныя, до малѣйшихъ подробностей ясныя, и какъ бы неподвижныя въ своей отчетливой опредѣленности... Потомъ эти воспоминанія смѣнились другими, потомъ... потомъ я тихонько отвернулся отъ прошедшаго, и только осталось у меня въ груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сиди на плотинѣ, подъ ракитой, я вдругъ неожиданно заплакалъ, и долго бы проплакалъ, несмотря на свои уже преклонныя лѣта, если бы не устыдился проходившей бабы, которая съ любопытствомъ посмотрѣла на меня, потомъ, не обращая ко мнѣ лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желалъ остаться въ такомъ настроеніи (плакать, разумѣется, я уже больше не буду) до самаго моего отъѣзда отсюда, т.-е. до сентября мѣсяца, и очень былъ бы огорченъ, если бъ кто-нибудь изъ сосѣдей вздумалъ посѣтить меня. Впрочемъ, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нѣтъ близкихъ сосѣдей. Ты, я увѣренъ, поймешь меня; ты знаешь самъ по опыту, какъ часто бываетъ благотворно уединеніе... Оно мнѣ пужно теперь, послѣ всяческихъ странствованій.

И. Тургеневъ.

Вновь я посѣтилъ.

... Вновь я посѣтилъ
Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ
Отшельникомъ два года незамѣтныхъ.
Ужъ десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ,
и много
Перемѣнилось въ жизни для меня,
И самъ, покорный общему закону,
Перемѣнился я; но здѣсь опять
Минувшее меня объемлетъ живо —
И кажется, вчера еще бродилъ
Я въ этихъ рощахъ.

Вотъ опальный домикъ,
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей.
Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною

Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни утреннихъ ея дозоровъ...
А вечеромъ, при завываньи бури,
Ея разсказовъ, мною затверженныхъ
Отъ малыхъ лѣтъ, но никогда не скуч-
ныхъ.
Вотъ холмъ лѣсистый, надъ которымъ
часто
Я сиживалъ недвижимъ и глядѣлъ
На озеро, вспоминая съ грустью
Иные берега, иныя волны...
Межъ нивъ золотыхъ и пахитей зеле-
ныхъ
Оно, спиѣвъ, стелется широко:

¹⁾ *En rassoise*, т.-е. въ уменьшеніи: такъ выходятъ предметы въ нѣкоторыхъ ихъ положеніяхъ при рисованіи въ перспективѣ.

Черезъ его невѣдомыя воды
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой
Убогій неводъ. По брегамъ отлогимъ
Разсыяны деревни; тамъ за ними
Скривилась мельница, насплу крылья
Ворочая при вѣтрѣ...

На границѣ

Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ въ гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоять: одна поодаль, двѣ другія
Другъ къ другу близко. Здѣсь, когда

ихъ мимо

Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лун-
ной ночи,

Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вер-
шинъ

Меня привѣтствовалъ. По той дорогѣ
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою

Увидѣлъ ихъ опять; онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый слуху шо-
рохъ,

Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти. А вдали
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вокругъ него
Попрежнему все пусто.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой

внукъ

Услышитъ вашъ привѣтный шумъ,
когда,

Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнѣ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ
ночи

И обо мнѣ вспомнитъ...

Въ разны годы

Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи,
Являлся я. Когда вы въ первый разъ
Увидѣли меня, тогда я былъ

Веселымъ юношей. Безпечно, жадно

Я приступалъ лишь только къ жизни.

Годы

Промчались—и вы во мнѣ пріяли

Усталаго пришельца. Я еще

Былъ молодъ, но уже судьба

Меня борьбой неравной истомила;

Я былъ ожесточенъ. Въ унынѣ часто

Я помышлялъ о юности моей,

Утраченной въ безплодныхъ испы-
таньяхъ,

О строгости заслуженныхъ упрековъ,

О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой

За жаръ души довѣрчивой и нѣжной

И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства...

А. Пушкинъ.

Первыя воспоминанія Неточки Незвановой.

Я начала себя помнить очень поздно, только съ десятаго года. Не знаю, какимъ образомъ все, что было со мною до этого года возраста, не оставило во мнѣ никакого яснаго впечатлѣнія, о которомъ бы я могла теперь вспомнить. Но съ половины девятаго года я помню все отчетливо, день за днемъ, непрерывно, какъ будто все, что ни было потомъ, случилось не далѣе, какъ вчера. Правда, я могу какъ будто во снѣ припомнить что-то и раньше: всегда затепленную лампаду въ темномъ углу, у стариннаго образа; потомъ, какъ меня однажды сшибла на улицѣ лошадь, отчего, какъ мнѣ послѣ рассказывали, я пролежала больная три мѣсяца; еще, какъ во время этой болѣзни, ночью проснулась я подлѣ матушки, съ которою лежала вмѣстѣ, какъ я вдругъ испугалась моихъ болѣзненныхъ сновидѣній, ночной тишины и скребшихся въ углу мышей; и дрожала отъ страха всю ночь, забиваясь подъ одѣяло, но не смѣя

будить матушку, изъ чего я заключаю, что я ея боялась больше всякаго страха. Но съ той минуты, когда я вдругъ начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недѣтскихъ впечатлѣній стали для меня какъ-то страшно доступны. Все проявилось передо мной, все чрезвычайно скоро становилось понятнымъ. Время, съ котораго я начинаю себя хорошо помнить, оставило во мнѣ рѣзкое и грустное впечатлѣніе; это впечатлѣніе повторялось потомъ каждый день и росло съ каждымъ днемъ; оно набросило темный и странный колоритъ на все время житія моего у родителей, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и на все мое дѣтство.

Теперь мнѣ кажется, что я очнулась вдругъ, какъ будто отъ глубокаго сна (хотя тогда это, разумѣется, не было для меня такъ поразительно). Я очутилась въ большой комнатѣ съ низкимъ потолкомъ, душной и нечистой. Стѣны были окрашены грязновато-сѣрою краскою; въ углу стояла огромная русская печь; окна выходили на улицу, или, лучше сказать, на кровлю противоположнаго дома, и были низенькія, широкія, словно щели. Подоконники приходились такъ высоко отъ полу, что я помню, какъ мнѣ нужно было подставлять стулъ, скамейку и потомъ уже кое-какъ добираться до окна, на которомъ я любила сидѣть, когда никого не было дома. Изъ нашей квартиры было видно полгорода; мы жили подъ самой кровлей, въ шеститажномъ, огромнѣйшемъ домѣ. Вся наша мебель состояла изъ какого-то остатка клеенчатаго дивана, всего въ пыли и въ мочалахъ, простого бѣлаго стола, двухъ стульевъ, матушкиной постели, шкапика съ чѣмъ-то въ углу, комода, который всегда стоялъ покачнувшись набокъ, и разодранныхъ бумажныхъ ширмъ.

Помню, что были сумерки; все было въ безпорядкѣ и разбросано: щетки, какіи-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и не знаю, что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчимъ сидѣлъ въ углу, въ своемъ всегдашнемъ изодранномъ сюртукѣ. Онъ отвѣчалъ ей что-то съ усмѣшкой, что разсердило ее еще болѣе, и тогда опять полетѣли на полъ щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась къ нимъ обоимъ. Я была въ ужасномъ испугѣ и крѣпко обняла батюшку, чтобъ заслонить его собою. Богъ знаетъ, отчего показалось мнѣ, что матушка на него напрасно сердится, что онъ не виноватъ; мнѣ хотѣлось просить за него прощенія, вынести за него какое угодно наказаніе. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и всѣ такъ же боятся ея. Матушка сначала изумилась, потомъ схватила меня за руку и оттащила за ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно; но испугъ былъ сильнѣе боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня (я буду и впередъ въ этомъ разсказѣ называть его отцомъ, потому что уже гораздо послѣ узнала, что онъ мнѣ не родной). Вся эта сцена продолжалась часа два, и я, дрожа отъ ожиданія, старалась всѣми силами угадать, чѣмъ все это кончится. Наконецъ ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тутъ батюшка позвалъ меня, поцѣловалъ, погладилъ по головѣ, посадилъ на колѣни, и я крѣпко, сладко прижалась къ груди его. Это была, можетъ-быть, первая ласка родительская, можетъ-быть, оттого-то и я начала все такъ отчетливо помнить съ того времени. Я замѣтила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась, и тутъ, кажется, въ первый разъ, меня поразила идея, что онъ много терпитъ и выносить горя отъ матушки. Съ тѣхъ поръ

эта идея осталась при мнѣ навсегда и съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе возмущала меня.

Съ этой минуты началась во мнѣ какая-то безграничная любовь къ отцу, но чудная любовь, какъ будто вовсе не дѣтская. Я бы сказала, что это было скорѣе какое-то сострадательное, *материнское* чувство, если бѣ такое опредѣленіе любви моей не было немного смѣшно для дитяти. Отецъ казался мнѣ всегда до того жалкимъ, до того терпящимъ гоненія, до того задавленнымъ, до того страдальцемъ, что для меня было страннымъ, неестественнымъ дѣломъ не любить его безъ памяти, не утѣшать его, не ласкаться къ нему, не стараться о немъ всѣми силами. Но до сихъ поръ не понимаю, почему именно могло войти мнѣ въ голову, что отецъ мой такой страдалецъ, такой несчастный человекъ въ мірѣ! Кто мнѣ внушилъ это? Какимъ образомъ я, ребенокъ, могла хоть что-нибудь понять въ его личныхъ неудачахъ? А я ихъ понимала, хотя перетолковавъ, передѣлавъ все въ моемъ воображеніи по-своему; но до сихъ поръ не могу представить тебѣ, какимъ образомъ составилось во мнѣ такое впечатлѣніе. Можетъ-быть, матушка была слишкомъ строга ко мнѣ, и я привязалась къ отцу, какъ къ существу, которое, по моему мнѣнію, страдаетъ вмѣстѣ со мною, заодно.

Я уже рассказала первое пробужденіе мое отъ младенческаго сна, первое движеніе мое въ жизни. Сердце мое было уязвлено съ перваго мгновенія, и съ непостижимою, утомляющею быстротой началось мое развитіе. Я уже не могла довольствоваться одними внѣшними впечатлѣніями. Я начала думать, разсуждать, наблюдать; но это наблюденіе произошло такъ неестественно рано, что воображеніе мое не могло не передѣлывать всего по-своему, и я вдругъ очутилась въ какомъ-то особенномъ мірѣ. Все вокругъ меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывалъ мнѣ отецъ, и которую я не могла не принять въ то время за чистую истину. Родились странные понятія. Я очень хорошо узнала, — но не знаю, какъ это сдѣлалось, — что живу въ странномъ семействѣ, и что родители мои какъ-то вовсе не похожи на тѣхъ людей, которыхъ мнѣ случалось встрѣчать въ это время. Отчего, думала я, — отчего я вижу другихъ людей, какъ-то и съ виду не похожихъ на моихъ родителей? Отчего я замѣчала смѣхъ на другихъ лицахъ, и отчего меня тутъ же поражало то, что въ нашемъ углу никогда не смѣются, никогда не радуются? Какая сила, какая причина заставила меня, девятилѣтняго ребенка, такъ прилежно осматриваться и вслушиваться въ каждое слово тѣхъ людей, которыхъ мнѣ случалось встрѣчать или на нашей лѣстницѣ, или на улицѣ, когда я по вечеру, прикрывъ свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла въ лавочку съ мѣдными деньгами купить на нѣсколько грошей сахару, чаю или хлѣба. Я поняла, и ужъ не помню какъ, что въ нашемъ углу — какое-то вѣчное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это такъ, и не знаю, кто мнѣ помогъ разгадать все это по-своему; я обвиняла матушку, признала ее за злодѣйку моего отца, и опять говорю: не понимаю, какъ такое чудовищное понятіе могло составить въ моемъ воображеніи. И насколько я привязалась къ отцу, настолько возненавидѣла мою бѣдную мать. До сихъ поръ воспоминаніе обо всемъ этомъ глубоко и горько терзаетъ меня.

И какъ могла родиться во мнѣ такая ожесточенность къ такому вѣчно страдавшему существу, какъ матушка? Только теперь понимаю я ея страдаль-

ческую жизнь и безъ боли въ сердцѣ не могу вспомнить объ этой мученицѣ. Даже и тогда, въ темную эпоху моего чуднаго дѣтства, въ эпоху такого неестественнаго развитія моей первой жизни, часто сжималось мое сердце отъ боли и жалости,—и тревога, смущеніе и сомнѣніе западали въ мою душу. Уже и тогда совѣсть возставала во мнѣ, и часто, съ мученіемъ и страданіемъ, я чувствовала несправедливость свою къ матушкѣ. Но мы какъ-то чуждались другъ друга, и не помню, чтобъ я хоть разъ приласкалась къ ней. Теперь часто самыя ничтожныя воспоминанія язвятъ и потрясаютъ мою душу. Разъ, помню (конечно, что я расскажу теперь, ничтожно, мелко, грубо, но именно такія воспоминанія какъ-то особенно терзаютъ меня и мучительнѣе всего напечатлѣлись въ моей памяти),—разъ, въ одинъ вечеръ, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня въ лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не рѣшалась, и вслухъ считала мѣдныя деньги,—жалкую сумму, которою могла располагать. Она считала, я думаю, съ полчаса, и все не могла окончить расчетовъ. Къ тому же, въ нѣкоторыя минуты, вѣроятно, отъ горя, она впадала въ какое-то безмысліе. Какъ теперь помню, она все что-то приговаривала, считая тихо, размыренно, какъ будто роняя слова ненарочно; губы и щеки ея были блѣдны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда разсуждала наединѣ. «Нѣтъ, не нужно,—сказала она, поглядѣвъ на меня.—Я лучше спать лягу. А? Хочешь ты спать, Нечочка?» Я молчала; тутъ она приподняла мою голову и посмотрѣла на меня такъ тихо, такъ ласково, лицо ея прояснѣло и озарилось такою материнскою улыбкой, что все сердце запыло во мнѣ и крѣпко забилося. Къ тому же она меня назвала Нечочкой, что значило, что въ эту минуту она особенно любитъ меня. Это названіе она изобрѣла сама, любовно передѣлавъ мое имя, Анна, въ уменьшительное Нечочка, и когда она называла меня такъ, то значило, что ей хотѣлось приласкать меня. Я была тронута; мнѣ хотѣлось обнять ее, прижаться къ ней и заплакать съ нею вмѣстѣ. Она, бѣдная, долго гладила меня потомъ по головѣ,—можетъ-быть, уже машинально и позабывъ, что ласкаетъ меня, и все приговаривала: «Дитя мое, Аннета, Нечочка!» Слезы рвались изъ глазъ моихъ, но я крѣпилась и удерживалась. Я какъ-то упорствовала, не выказывая передъ ней моего чувства, хотя сама мучилась. Да, это не могло быть естественнымъ ожесточеніемъ во мнѣ. Она не могла такъ возбудить меня противъ себя единственно только строгостью своею со мною. Нѣтъ! Меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя къ отцу. Иногда я просыпалась по ночамъ, въ углу, на своей коротенькой подстилкѣ, подъ холоднымъ одеяломъ, и мнѣ всегда становилось чего-то страшно. Вспросонкахъ я вспоминала о томъ, какъ еще недавно, когда я была поменьше, спала вмѣстѣ съ матушкой и меньше боялась проснуться ночью; стоило только прижаться къ ней, зажмурить глаза и крѣпче обнять ее,—и тотчасъ, бывало, заснешь. Я все еще чувствовала, что какъ-то не могла не любить ее потихоньку. Я замѣтила потомъ, что и многія дѣти часто бываютъ уродливо безчувственны, и если полюбить кого, то любятъ исключительно. Такъ было и со мною.

Иногда въ нашемъ углу наступала мертвая тишина на цѣлыя педѣли. Отецъ и мать уставали ссориться, и я жила между ними попрежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь въ мечтахъ моихъ. Приглядываясь къ нимъ обоимъ, я поняла вполнѣ ихъ взаимныя отношенія другъ

къ другу: я поняла эту глухую, вѣчную вражду ихъ, поняла все это горе и весь этотъ чадъ беспорядочной жизни, которая угнѣздилась въ нашемъ углу,— конечно, поняла безъ причинъ и слѣдствій, поняла настолько, насколько понять могла. Бывало, въ длинные зимніе вечера, забившись куда-нибудь въ уголь, я по цѣлымъ часамъ жадно слѣдила за ними, всматривалась въ лицо отца и все старалась догадаться, о чемъ онъ думаетъ, что такъ занимаетъ его. Потомъ меня поражала и пугала матушка. Она все ходила, не уставая, взадъ и впередъ по комнатѣ, по цѣлымъ часамъ, часто даже и ночью, во время безсонницы, которою мучилась, ходила, что-то шепча про себя, какъ будто была одна въ комнатѣ, то разводя руками, то скрестивъ ихъ у себя на груди, то ломая ихъ въ какой-то страшной, нестоимой тоскѣ. Иногда слезы струились у ней по лицу, слезы, которыхъ она часто и сама, можетъ-быть, не понимала, потому что по временамъ впадала въ забытье. У нея была какая-то очень трудная болѣзнь, которою она совершенно пренебрегала.

Θ. Достоевскій.

Тайное горе.

Есть горе тайное: оно
Вниманья чуждаго боится
И въ глубинѣ души одно,
Незлѣчимое таится.
Улыбку холодомъ мертвить,
Оно не ищетъ и не проситъ,
И, если горе переноситъ,—

Молчанье гордое хранить.
Не всякому нужна пощада,
Не всякъ наслѣдовать готовъ
Удѣлъ иль нищихъ, иль рабовъ,
Участье—жалкая отрада.
Къ чему колѣни преклонять?
Свободнымъ легче умирать.

Никитинъ.

Уличный гаеръ.

Чердакъ одного изъ огромныхъ домовъ, окружающихъ Сѣнную площадь¹⁾, служитъ обыкновенно мѣстомъ его рожденія. Птичка покидаетъ гнѣздо, едва почувствуетъ свои силы, и летитъ далеко въ небо, кунаясь въ синевѣ его, или спускается въ кущу пахучей липовой рощи, оглашая громкимъ чилюканьемъ песчаный берегъ близъ-журчащей рѣчки; точно такъ же и герой нашъ оставляетъ родной чердакъ, почувствовавъ себя въ силахъ помощью рукъ и ногъ спуститься по грязной лѣстницѣ на улицу. Воспитаніе его окончено; природа была первымъ его наставникомъ, время довершить остальное. Тротуары и мостовая, давно пожираемые жаднымъ его взоромъ съ чердака, гдѣ получилъ онъ существованіе, появляясь ему теперь въ полномъ блескѣ, представляютъ тысячу разлеченій и удовольствій. Толпы такихъ же, какъ онъ, мальчишекъ, шарманщики, кукольная комедія, бабки, лотки, уставленные апельсинами и пряниками, солдаты, проходящіе по площади съ музыкою впереди,—все это до такой степени очаровываетъ молодое его воображеніе, что онъ готовъ лучше цѣлые сутки просидѣть на улицѣ подъ дождемъ, любовясь на воду, извергаемую жолобомъ, нежели идти домой. Но извѣстно всякому, даже не читавшему дѣтскихъ прописей, что счастье скоротечно и исполнено тревоженій. Едва минуло мальчугану восемь лѣтъ, какъ заботливая мать уже думаетъ о томъ, какъ бы доставить ему

¹⁾ Сѣнная площадь находится въ Петербургѣ.

честное хлѣбное ремесло. То вталкиваетъ его въ общую колею уличной промышленности, привѣсивъ ему на шею деревянный ящикъ, наполненный спичками, снабдивъ его тросточками, сургучомъ, зелеными яблоками, или, если есть кой-какія средства, избираетъ своему дѣтнцу болѣе прочное ремесло, поручая его богатому мастерскому. Натянувъ на плечи толстый полосатый халатъ, мальчикъ становится подмастерьемъ. Хотя халатъ можетъ помѣститься въ широкихъ полахъ своихъ трехъ такихъ молодцовъ, но подмастерье, уже вкусившій разъ свободы, чувствуетъ его тѣснымъ и, по возможности, старается страсти съ себя это иго. Избалованные мальчишки-товарищи скоро увлекаютъ новичка; каждое воскресенье отправляются они на Крестовскій на цѣлый день, гдѣ проявляется впервые идея о кутежѣ. Съ пряниковъ и кедровыхъ орѣховъ переходитъ на трубку, съ трубки на вино; бѣднякъ, увлеченный болѣе и болѣе, дѣлается негодяемъ и кончаетъ обыкновенно карьеру свою у хозяина воровствомъ или побѣгомъ.

Выгнанный хозяиномъ или бѣжавшій отъ него, онъ случайно сталкивается съ содержателемъ труппы кочующихъ фигляровъ; мать ли его стираетъ бѣлье на эту труппу, или онъ самъ заводитъ знакомство,—однимъ словомъ, бывший подмастерье дѣлается членомъ труппы, въ качествѣ портного или сапожника, съ назначеніемъ перекраивать извѣстныя лохмотья или приставлять подметки. Но званіе это, вмѣсто того, чтобъ доставить ему кусокъ хлѣба, дѣлается источникомъ всѣхъ его бѣдъ и несчастій. Фигляры, волтижоры, канатные плясуны являются предъ нимъ господами, героями; страждущее самолюбіе не даетъ ему покоя ни днемъ ни ночью; ему грезится бархатный камзолъ, шитый блестками, рукоплесканія, дружба и радушіе фигляровъ, вмѣсто презрѣнія, и онъ рѣшается, во что бы то ни стало, достигнуть высокой для него цѣли. Хитрый хозяинъ, подмѣтивъ эту слабость и не имѣя особеннаго желанія платить своему работнику, предлагаетъ ему, вмѣсто денегъ, услуги; бѣднякъ съ восторгомъ принимаетъ предложеніе и ввѣряетъ свои члены бичу и палкѣ хозяина.

Тутъ наступаетъ для него трудная школа, и если онъ до конца выдерживаетъ ее, то по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ удостоивается приѣма въ компанію. Разумѣется, претензіи его на жалованье считаются дерзостію, и потому онъ немедленно переходитъ въ другую труппу уже дѣйствующимъ лицомъ, съ правомъ быть выставленнымъ на афишѣ. Въ этихъ труппахъ герой нашъ обязанъ выполнять всѣ возможныя «амплуа» по благоусмотрѣнію антрепренера, какого-нибудь г. Каспара, Вейнерта, Добрандини и т. д. Начиная съ обязанности ламповщика и кончая почетнымъ званіемъ волтижора, переходитъ онъ всѣ состоянія: поочередно является передъ почтеннѣйшей публикой клоуномъ Кассандромъ, паяцомъ, чортомъ, глотаетъ шпаги, зажженный ленъ, подымаетъ гири, играетъ въ пантомимахъ, кончающихся обыкновенно тѣмъ, что всѣ дѣйствующія лица, безъ исключенія, исчезаютъ въ исполнинской пасти холстяного чорта; дѣятельность его иногда баснословна: онъ въ одно и то же представленіе сзываетъ зрителей, продаетъ билеты на входъ, дѣлаетъ *salto mortale*¹⁾, танцуетъ на канатѣ, перепрыгиваетъ помощью трамплина чрезъ двѣнадцать солдатъ, танцуетъ на лошади, играетъ какую-нибудь роль въ слѣдующей за симъ пантомимѣ и часто довершаетъ представленіе колѣнцемъ изъ русской пляски, отхвачаннымъ съ примадонною труппы. Но не продолжительна блестящая эпоха его жизни; когда

¹⁾ Сальто-мортале, т.-е. прыжокъ черезъ голову, вообще, отчаянный прыжокъ въ гимнастикѣ.

масленная, а затѣмъ и святая недѣля миновали онъ вынужденъ, безчестить (такъ выражается гаеръ) благородное ремесло свое, вступивъ гаеромъ къ богатому шарманщику, съ условіемъ получать по двадцати пяти копеекъ мѣди съ рубля добытаго на дворахъ и улицахъ.

Должно замѣтить, что уличный гаеръ всегда почти русскій; балаганные его товарищи, будучи иностранцами, тотчасъ же по истеченіи праздниковъ уѣзжаютъ за границу, оставивъ его на произволъ судьбы. Спустясь съ своихъ подмостковъ на худошавый коверъ, бывшій Геркулесъ показываетъ намъ свое искусство при завываніи шарманки и гудѣніи тамбурина. Бѣольшую часть года уличный гаеръ проводитъ у шарманщиковъ, и это время составляетъ несчастнѣйшую часть его жизни.

Деньги, получаемыя на улицахъ, едва достаточны на содержаніе, а такъ какъ онъ любитъ послѣ дневныхъ трудовъ поспѣвать, то нажитое въ балаганѣ мало-по-малу исчезаетъ въ заведеніяхъ. Съ каждымъ днемъ положеніе его становится хуже и хуже; къ концу года остается у него одно платье, и онъ уже, по русскому обычаю, собирается угостить товарищей на послѣдній камзолъ, шитый блестками, какъ является хозяинъ балагана и завербовываетъ его на слѣдующіе праздники. Безъ этого и прощай и камзолъ и человѣкъ, все бы погибло! Несмотря на скудную жизнь уличнаго гаера у шарманщика, онъ не унываетъ духомъ, и хотя наружность его пасмурна, смотритъ онъ исподлобья и всегда ворчитъ, но это продолжается только до минуты, когда онъ входитъ на дворъ, намѣреваясь дать представленіе. Въ то время, какъ одинъ изъ его товарищей разстилаетъ на мостовой тощій коверъ, служащій ему ареною, гаеръ гордо поглядываетъ на толпу, собравшуюся смотрѣть на него. Взгляните, съ какою самодовольною улыбкою сбрасываетъ онъ съ себя длиннопольный сюртукъ, скрывающій пунцовый камзолъ и широкіе бѣлые шаровары. Бубенъ и шарманка играютъ интродукцію, гаеръ встряхиваетъ курчавою головою, отходитъ нѣсколько шаговъ назадъ и, разбѣжавшись, становится на руки; *salto mortale* слѣдуютъ одно за другимъ, публика рукоплещетъ, гроши сыплются изъ оконъ, но гаеръ ничего этого не примѣчаетъ; у него давно на носу стулъ, на которомъ сидитъ маленькая дѣвочка, взятая изъ толпы... Унылые звуки «Лучи-пушки» возвѣщаютъ конецъ представленія; гаеръ надѣваетъ снова сюртукъ, нахлобучиваетъ на взъерошенные свои волосы избитую шляпу и покидаетъ дворъ, преслѣдуемый тою же публикою, еще долго не покидающею его.

Не всѣ уличные гаеры случайно попадаютъ въ тяжкое свое ремесло; есть такіе, которые посвящаются ему съ самаго дѣтства. Дѣти стараго фигляра или гаера, они поневолѣ должны идти по стопамъ отца и обыкновенно кончаютъ жизнь или на этомъ поприщѣ, или отъ неудачнаго *salto mortale*. Положеніе ихъ самое несчастное; отъ колыбели до гроба обречены они немовѣрнымъ трудомъ, не имѣя другого способа кормить себя, такъ какъ гаеръ по призванію имѣетъ всегда время отказаться отъ гаерства, коль скоро почувствуетъ его тягостнымъ. Часто случается, что, проведши нѣсколько лѣтъ въ этомъ званіи, онъ возвращается къ прежнему ремеслу своему, и вы не мало удивитесь, увидѣвъ того самаго гаера, которымъ восхищались на дворѣ, который такъ ловко ходилъ на рукахъ, держалъ на носу стулъ и повертывалъ на мизинцѣ тамбурина, съ шиломъ или ножницами въ рукахъ.

Григорьевъ.

Въ Москвѣ на Трубной площади.

Небольшая площадь близъ Рождественскаго монастыря, которую называютъ Трубной, или просто Трубой; по воскресеньямъ на ней бываетъ торгъ. Копшатся, какъ раки въ рѣшетѣ, сотни тулуновъ, бекешъ, мѣховыхъ картузовъ, цилиндровъ. Слышно разноголосое пѣніе птицъ, напоминающее весну. Если свѣтитъ солнце и на небѣ пѣтъ облаковъ, то пѣніе и запахъ сѣна чувствуются сильнѣе, и это воспоминаніе о веснѣ возбуждаетъ мысль и уноситъ ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется рядъ воевъ. На возахъ не сѣно, не капуста, не бобы, а щеглы, чижы, красавки, жаворонки, черные и сѣрые дрозды, синицы, снѣгири. Все это прыгаетъ въ плохихъ самодѣльныхъ клѣткахъ, поглядываетъ съ завистью на свободныхъ воробьевъ и щебечетъ. Щеглы по пятаку, чижы подороже, остальная же птица имѣетъ самую неопредѣленную цѣнность.

— Почему жаворонокъ?

Продавецъ и самъ не знаетъ, какая цѣна его жаворонку. Онъ чешетъ затылокъ и спрашиваетъ, сколько Богъ на душу положить — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогія птицы. На запачканной жердочкѣ сидитъ полинялый старикъ-дрождъ съ опипаннымъ хвостомъ. Онъ солидентъ, важенъ и неподвиженъ, какъ отставной генералъ. На свою неволю онъ давно уже махнулъ лапкой и на голубое небо давно уже глядитъ равнодушно. Должно-быть, за это свое равнодушіе онъ и почитается разсудительной птицей. Его нельзя продать дешевле, какъ за сорокъ копеекъ. Около птицъ толкуются, шленая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди въ модныхъ пальто, любители въ до нельзя поношенныхъ шапкахъ, въ подсушенныхъ, истрепанныхъ, точно мышами изъѣденныхъ брюкахъ. Юнцамъ и мастеровымъ продаютъ самокъ за самцовъ, молодыхъ за старыхъ... Они мало смыслятъ въ птицахъ. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видитъ и понимаетъ птицу.

— Положительности нѣтъ въ этой птицѣ,—говоритъ любитель, засматривая чижу въ ротъ и считая перья въ его хвостѣ. — Онъ теперь поетъ, это вѣрно, но что жъ изъ этого? И я въ компаніи запою. Пѣтъ, ты, братъ, мнѣ безъ компаніи, братъ, запой; запой въ одиночку, ежели можешь... Ты подай мнѣ того вонъ, что сидитъ и молчитъ! Тихоню подай! Этотъ молчитъ, стало-быть, себѣ на умѣ...

Между возами съ птицей попадаютъ возы и съ другого рода живностью. Тутъ вы видите зайцевъ, кроликовъ, ежей, морскихъ свинокъ, хорьковъ. Сидитъ заяцъ и съ горя соломѣ жуесть. Морскія свинки дрожатъ отъ холода, а ежи съ любопытствомъ посматриваютъ изъ-подъ своихъ колючекъ на публику.

— Я гдѣ-то читалъ,—говоритъ чиновникъ почтоваго вѣдомства въ полиняломъ пальто, ни къ кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца: — я читалъ, что у какого-то ученаго кошка, мышь, кобчикъ и воробей изъ одной чапки ѣли.

— Очень это возможно, господинъ. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвостъ повыверганъ. Никакой учености тутъ нѣтъ, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ѣла. Недѣли двѣ полосовалъ кну-

товнищемъ, покуда выучилъ. Заяцъ, ежели его бить, спички можетъ зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьметъ въ ротъ спичку и — чиркъ. Животное то же, что и человѣкъ. Человѣкъ отъ битья умнѣй бываетъ, такъ и тварь.

Въ толпѣ спуютъ чуйки съ пѣтухами и утками подѣ мышкой. Птица все гощая, голодная. Изъ клѣтокъ высовываютъ свои некрасивыя, облѣзлыя головы цыплята и клюютъ что-то въ грязи. Мальчишки съ голубями засматриваютъ вамъ въ лицо и тѣются узнать въ васъ голубинаго любителя.

— Да-съ! Говорить вамъ нечего! — кричитъ кто-то сердито. — Вы посмотрите, а потомъ и говорите! Нешто это голубь? Это орелъ, а не голубь!

Высокій, тонкій человѣкъ съ бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продаетъ бѣлую, какъ снѣгъ, болонку. Старуха-болонка плачетъ.

— Велѣла вотъ продать эту пакость, — говоритъ лакей, презрительно усмѣхаясь. — Обанкрутилась на старости лѣтъ, ѣсть нечего, и теперь вотъ собакъ да кошекъ продаетъ. Плачетъ, цѣлуетъ ихъ въ поганыя морды, а сама продаетъ отъ нужды. Ей Богу, фактъ! Купите, господа! На кофій деньги надобны.

Но никто не смѣется. Мальчишка стоитъ возлѣ и, прищуривъ одинъ глазъ, смотритъ на него серьезно, съ состраданіемъ.

Интереснѣе всего рыбный отдѣлъ. Душъ десять мужиковъ сидятъ въ рядѣ. Передъ каждымъ изъ нихъ ведро, въ ведрахъ же маленькій, кромѣшный адъ. Тамъ въ зеленоватой, мутной водѣ копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большіе рѣчные жуки съ поломанными ногами шныряютъ по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая черезъ лягушекъ. Лягушки лѣзутъ на жуковъ, тритоны на лягушекъ. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, какъ болѣе дорогая рыба, пользуются льготой: ихъ держать въ особой баночкѣ, гдѣ плавать нельзя, но все же не такъ тѣсно...

— Важная рыба карась! Держанный карась, ваше высокоблагородіе, чтобъ онъ издохъ! Его хоть годъ держи въ ведрѣ, а онъ все живъ! Недѣля ужъ, какъ поймалъ я этихъ самыхъ рыбокъ. Наловилъ я ихъ, милостивый государь, въ Перервѣ, и оттуда пѣшкомъ. Караси по двѣ копейки, вьюны по три, а малявки гривенникъ за десятокъ, чтобъ онѣ издохли! Извольте малявокъ за пятакъ. Червячковъ не прикажете ли?

Продавецъ лѣзетъ въ ведро и достаетъ оттуда своими грубыми, жесткими пальцами пѣжнюю малявку, или карасика, величиной съ поготъ. Около ведеръ разложены дески, крючки, жерлицы, и отливаютъ на солнцѣ пунцовымъ огнемъ прудовые червяки.

Около воевъ съ птицей и около ведеръ съ рыбой ходитъ старикъ-любитель въ мѣховомъ картузѣ, желѣзныхъ очкахъ и калошахъ, похожихъ на два броненосца. Это, какъ его называютъ здѣсь, «типъ». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, онъ торгуется, волнуется, пристаетъ къ покупателямъ съ совѣтами. За какой-нибудь часъ онъ успѣваетъ осмотрѣть всѣхъ зайцевъ, голубей и рыбъ, — осмотрѣть до тонкостей, опредѣлить всѣмъ, каждой изъ этихъ тварей породу, возрастъ и цѣну. Его, какъ ребенка, интересуютъ щеглята, карасики и малявки. Заговорите съ нимъ, напимѣръ, о дроздахъ, и чудакомъ расскажетъ вамъ такое, чего вы не найдете ни въ одной книгѣ. Расскажетъ вамъ съ восхищеніемъ, страстно и вдобавокъ еще и въ невѣжествѣ упрекнуть.

Про щеглять и снигирей онъ готовъ говорить безъ конца, выпучивъ глаза и сильно размахивая руками. Здѣсь на Трубѣ его можно встрѣтить только въ холодное время, лѣтомъ же онъ гдѣ-то за Москвой перепеловъ на дудочку ловить и рыбку удить.

А вотъ и другой «типъ»,—очень высокій, очень худой господинъ въ темныхъ очкахъ, бритый, въ фуражкѣ съ кокардой, похожій на подьячаго стараго времени. Это любитель; онъ имѣетъ не малый чинъ, служитъ учителемъ въ гимназiи, и это извѣстно завсегдатаямъ Трубы, и они относятся къ нему съ уваженіемъ, встрѣчаютъ его поклонами и даже придумали для него особенный титулъ: «ваше мѣстоименіе». Подъ Сухаревой онъ роется въ книгахъ, а на Трубѣ ищетъ хорошихъ голубей.

— Пожалуйте!—кричатъ ему голубятники.—Господинъ учитель, ваше мѣстоименіе, обратите ваше вниманіе на турмановъ! Ваше мѣстоименіе!

— Ваше мѣстоименіе! — кричатъ ему съ разныхъ сторонъ.

— Ваше мѣстоименіе! — повторяетъ гдѣ-то на бульварѣ мальчишка.

А «его мѣстоименіе», очевидно, давно уже привыкшій къ этому своему титулу, серьезный, строгій, беретъ въ обѣ руки голубя и, поднявъ его выше головы, начинаетъ разсматривать и при этомъ хмурится и становится еще болѣе серьезнымъ, какъ заговорщикъ...

И Труба, этотъ небольшой кусочекъ Москвы, гдѣ животныхъ любятъ такъ пѣжно и гдѣ ихъ такъ мучаютъ, живетъ своей маленькой жизнью, шумитъ и волнуется, и тѣмъ дѣловымъ и богомольнымъ людямъ, которые проходятъ мимо по бульвару, не понятно, зачѣмъ собралась эта толпа людей, эта пестрая смѣсь шанокъ, картузовъ и цилиндровъ, о чемъ тутъ говорить, чѣмъ торгуютъ.

А. Чеховъ.

П а л а т а № 6.

Въ больничномъ дворѣ стоитъ небольшой флигель, окруженный цѣлымъ лѣсомъ репейника, кропивы и дикой конопли. Крыша на немъ ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а отъ штукатурки остались одни только слѣды. Переднимъ фасадомъ обращенъ онъ къ больницѣ, заднимъ — глядитъ въ поле, отъ котораго отдѣляетъ его сѣрый больничный заборъ съ гвоздями. Эти гвозди, обращенные остріями къверху, и заборъ, и самый флигель имѣютъ тотъ особый унылый, окаянный видъ, какой у насъ бываетъ только у больничныхъ и тюремныхъ построекъ.

Если вы не боитесь ожечься о кропиву, то пойдите по узкой тропинкѣ, ведущей къ флигелю, и посмотримъ, что дѣлается внутри. Отворивъ первую дверь, мы входимъ въ сѣни. Здѣсь у стѣнъ и около печки навалены цѣлыя горы больничнаго хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи съ синими полосками, нигуда негодная, истасканная обувь,—вся эта рвань свалена въ кучи, перемята, спуталась, гниетъ и издаетъ душливый запахъ.

На хламѣ всегда съ трубкой въ зубахъ лежитъ сторожъ Никита, старый отставной солдатъ съ порыжѣлыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшія брови, придающія лицу выраженіе стеной овчарки, и красный носъ; онъ невысокъ ростомъ, на видъ сухошавъ и жилистъ, но осанка у него внушительная, и кулаки здоровенные. Принадлежитъ онъ къ числу тѣхъ просто-

душныхъ, положительныхъ, исполнительныхъ и тупыхъ людей, которые большъ всего на свѣтѣ любятъ порядокъ, и потому убѣждены, что имъ надо бить. Онъ бьетъ по лицу, по груди, по спинѣ, по чѣмъ попало, и увѣренъ, что безъ этого не было бы здѣсь порядка.

Далѣе вы входите въ большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сѣней. Стѣны здѣсь вымазаны грязно-голубой краской, потолокъ закопченъ, какъ въ курной избѣ, — ясно, что здѣсь зимой дымятъ печи, и бываетъ угарно. Окна изнутри обезображены желѣзными рѣшетками. Полъ сѣръ и занозистъ. Воняетъ кислою капустой, фитильною гарью, клопами и амміакомъ, и эта вонь въ первую минуту производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы входите въ звѣринецъ.

Въ комнатѣ стоятъ кровати, привинченныя къ полу. На нихъ сидятъ и лежатъ люди въ синихъ больничныхъ халатахъ и, постаринному, въ колпакахъ. Это — сумасшедшіе.

Всѣхъ ихъ здѣсь пять человѣкъ. Только одинъ благороднаго званія, остальные же всѣ мѣщане. Первый отъ двери, высокій, худощавый мѣщанинъ съ рыжими, блестящими усами и съ заплаканными глазами, сидитъ, подперевъ голову, и глядитъ въ одну точку. День и ночь онъ груститъ, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; въ разговорахъ онъ рѣдко принимаетъ участіе и на вопросы обыкновенно не отвѣчаетъ. Ъсть и пить онъ машинально, когда даютъ. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобѣ и румянцу на щекахъ, у него начинается чахотка.

За нимъ слѣдуетъ маленькій, живой, очень подвижной старикъ съ острою бородкой и съ черными, кудрявыми, какъ у негра, волосами. Днемъ онъ прогуливается по палатѣ отъ окна къ окну или сидитъ на своей постели, поджавъ по-турецки ноги, и неугомонно, какъ снигирь, насвистываетъ, тихо поетъ и хихикаетъ. Дѣтскую веселость и живой характеръ проявляетъ онъ и ночью, когда встаетъ за тѣмъ, чтобы помолиться Богу, т.-е. постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцемъ въ дверяхъ. Это жидъ Мойсейка, дурачокъ, помѣшавшійся лѣтъ двадцать назадъ, когда у него сгорѣла шаночная мастерская.

Изъ всѣхъ обитателей палаты № 6 только ему одному позволено выходить изъ флигеля и даже изъ больничнаго двора на улицу. Такой привилегіей онъ пользуется издавна, вѣроятно, какъ больничный старожилъ и какъ тихій, безвредный дурачокъ, городской шутъ, котораго давно уже привыкли видѣть на улицахъ окруженнымъ мальчишками и собаками. Въ халатникѣ, въ смѣшиномъ колпакѣ и въ туфляхъ, иногда босикомъ и даже безъ панталонъ, онъ ходитъ по улицамъ, останавливаясь у воротъ и лавочекъ, и просить конеечку. Въ одномъ мѣстѣ дадутъ ему квасу, въ другомъ — хлѣба, въ третьемъ — конеечку, такъ что возвращается онъ во флигель обыкновенно сытымъ и богатымъ. Все, что онъ приноситъ съ собой, отбираетъ у него Никита въ свою пользу. Дѣлаетъ это солдатъ грубо, съ сердцемъ, выворачивая карманы и призывая Бога въ свидѣтели, что онъ никогда уже больше не станетъ пускать жида на улицу, и что безпорядки для него хуже всего на свѣтѣ.

Мойсейка любитъ услуживать. Онъ подаетъ товарищамъ воду, укрываетъ ихъ, когда они спятъ, общается каждому принести съ улицы по конеечкѣ и спитъ по новой шанкѣ; онъ же кормитъ съ ложки своего сосѣда съ лѣвой стороны, паралитика. Поступаетъ онъ такъ не изъ состраданія и не изъ какихъ-

либо соображений гуманнаго свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему сосѣду съ правой стороны, Громову.

Иванъ Дмитріичъ Громовъ, мужчина лѣтъ тридцати трехъ, изъ благородныхъ, бывшій судебный приставъ и губернскій секретарь, страдаетъ маніей преслѣдованія. Онъ или лежитъ на постели, свернувшись колачикомъ, или же ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ бы для моціона, сидитъ же очень рѣдко. Онъ всегда возбужденъ, взволнованъ и напряженъ какимъ-то смутнымъ, неопредѣленнымъ ожиданіемъ. Достаточно малѣйшаго шороха въ сѣняхъ или крика на дворѣ, чтобы онъ поднялъ голову и сталъ прислушиваться: не за нимъ ли это идутъ? Не его ли ищутъ? И лицо его при этомъ выражаетъ крайнее безпокойство и отвращеніе.

Мнѣ нравится его широкое, скуластое лицо, всегда блѣдное и несчастное, отражающее въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, замученную борьбой и продолжительнымъ страхомъ душу. Grimасы его странны и болѣзненны, но тонкія черты, положенныя на его лицо глубокимъ искреннимъ страданіемъ, разумны и интеллигентны, и въ глазахъ теплый, здоровый блескъ. Нравится мнѣ онъ самъ, вѣжливый, услужливый и необыкновенно деликатный въ обращеніи со всѣми, кромѣ Никиты. Когда кто-нибудь роняетъ пуговку или ложку, онъ быстро вскакиваетъ съ постели и поднимаетъ. Каждое утро онъ поздравляетъ своихъ товарищей съ добрымъ утромъ, ложась спать—желаетъ имъ спокойной ночи.

Кромѣ постоянно напряженнаго состоянія и гримасничанья, сумасшествіе его выражается еще въ слѣдующемъ. Иногда по вечерамъ онъ запакивается въ свой халатикъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, стуча зубами, начинаетъ быстро ходить изъ угла въ уголъ и между кроватей. Похоже на то, какъ будто у него сильная лихорадка. Но тому, какъ онъ внезапно останавливается и взглядываетъ на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, повидимому, соображая, что его не будутъ слушать или не поймутъ, онъ нетерпѣливо встряхиваетъ головой и продолжаетъ шагать. Но скоро желаніе говорить беретъ верхъ надъ всякими соображеніями, и онъ даетъ себѣ волю и говоритъ горячо и страстно. Рѣчь его безпорядочна, лихорадочна, какъ бредъ, порывиста и не всегда понятна, но зато въ ней слышится, и въ словахъ, и въ голосѣ, что-то чрезвычайно хорошее. Когда онъ говоритъ, вы узнаете въ немъ сумасшедшаго и человѣка. Трудно передать на бумагѣ его безумную рѣчь. Говоритъ онъ о человѣческой подлости, о насиліи, попирающемъ правду, о прекрасной жизни, какая со временемъ будетъ на землѣ, объ оконныхъ рѣшеткахъ, напоминающихъ ему каждую минуту о тупости и жестокости насильниковъ. Получается безпорядочное, нескладное попури изъ старыхъ, но еще недопытыхъ пѣсенъ.

А. Чеховъ.

Работа арестантовъ.

Пришли на берегъ. Внизу, на рѣкѣ, стояла замерзшая въ водѣ старая барка, которую надо было ломать. На той сторонѣ рѣки синѣла степь; видъ былъ угрюмый и пустынный. Я ждалъ, что такъ всѣ и бросятся за работу, но объ этомъ и не думали. Иные разсѣлись на валавшихся по берегу бревнахъ; почти всѣ вытащили изъ сапогъ кисеты съ туземнымъ ¹⁾ табакомъ, продавав-

¹⁾ Сибирскимъ.

шимся на базарѣ въ листахъ по три копейки за фунтъ, и коротенькіе талинновыя чубучки съ маленькими деревянными трубочками-самодѣльщиной. Трубки закурились: конвойные солдаты обтянули насъ цѣпью и съ скучившимъ видомъ принялись насъ стеречь.

— И кто догадался ломать эту барку? — промолвилъ одинъ какъ бы про себя, ни къ кому, впрочемъ, не обращаясь.—Щепокъ, что ль, захотѣлось.

— А кто насъ не боится, тотъ и догадался, — замѣтилъ другой.

— Куда это мужичье-то валить? — помолчавъ, спросилъ первый, разумѣется, не замѣтивъ отвѣта на прежній вопросъ и указывая вдаль на толпу мужиковъ, пробиравшихся куда-то гуськомъ по цѣльному снѣгу.

Всѣ лѣнливо оборотились въ ту сторону и отъ нечего дѣлать принялись ихъ пересмѣивать. Одинъ изъ мужичковъ, послѣдній, шелъ какъ-то необыкновенно смѣшно, разставивъ руки и свѣсивъ на бокъ голову, на которой была длинная мужичья шапка, гречневикомъ. Вся фигура его цѣльно и ясно обозначалась на бѣломъ снѣгу.

— Ишь, братанъ Петровичъ, какъ оболокся! — замѣтилъ одинъ, передразнивая выговоромъ мужиковъ.

Замѣчательно, что арестанты вообще смотрѣли на мужиковъ нѣсколько свысока, хотя половина изъ нихъ была изъ мужиковъ.

— Задній-то, ребята, ходить точно рѣдью садить.

— Это тяжкодумъ, у него денегъ много, — замѣтилъ третій.

Всѣ засмѣялись, но какъ-то тоже лѣнливо, какъ будто нехотя. Между тѣмъ подошла колачница, бойкая и разбитная бабенка.

У нея взяли колачей на подаанный нятакъ и раздѣлили тутъ же поровну.

Молодой парень, торговавшій въ острогѣ колачами, забралъ десятка два и крѣпко сталъ спорить, чтобъ выторговать три, а не два колача, какъ слѣдовало по обыкновенному порядку. Но колачница не соглашалась.

Наконецъ, появился и приставъ надъ работами, унтеръ-офицеръ съ налочкой.

— Эй, вы, что разсѣлись? Начинать!

— Да что, Иванъ Матвѣичъ, дайте урокъ, — проговорилъ одинъ изъ «начальствующихъ», медленно подымаясь съ мѣста.

— Чего давеча на разводѣ не спрашивали? Барку растащи, вотъ-те и урокъ.

Кое-какъ, наконецъ, поднялись и спустились къ рѣкѣ, едва волоча ноги. Въ толпѣ тотчасъ же появились и «распорядители», по крайней мѣрѣ, на словахъ. Оказалось, что барку не слѣдовало рубить зря, а надо было по возможности сохранить бревна и въ особенности поперечныя кокоры, прибитыя по всей длинѣ своей ко дну барки деревянными гвоздями, — работа долгая и скучная.

— Вотъ надоть бы перво-наперво оттащить это бревнушко. Принимайся-ка, ребята! — замѣтилъ одинъ, вовсе не распорядитель и не начальствующій, а просто чернорабочій, безсловесный и тихій малый, молчавшій до сихъ поръ, и, нагнувшись, обхватилъ руками толстое бревно, поджидая помощниковъ. Но никто не помогъ ему.

— Да, подымешь, небось! И ты не подымешь, да и дѣдъ твой, медвѣдь, приди — и тотъ не подыметъ! — проворчалъ кто-то сквозь зубы.

— Такъ что жъ, братцы, какъ начинать-то? Я ужъ и не знаю...—проговорилъ озадаченный выскочка, оставивъ бревно и приподымаясь.

— Всей работы не переработаешь... Чего выскочилъ?

— Треть курамъ корму раздать обочтется, а туда же первый... Стрепета!

— Да я, братцы, ничего,— отговаривался озадаченный.—Я только такъ...

— Да что жъ миѣ на васъ чехлы понадѣть, что ли? Аль солить васъ прикажете на зиму? — крикнулъ опять приставъ, съ недоумѣніемъ смотря на двадцатиголовую толпу, не знавшую, какъ приняться за дѣло. — Начинать! Скорѣй!

— Скорѣй скорого не сдѣлаешь, Иванъ Матвѣичъ.

— Да ты и такъ ничего не дѣлаешь! Эй, Савельевъ! Разговоръ Петровичъ! Тебѣ говорю: что стоишь, глаза продаешь!.. Начинать!

— Да я что жъ одинъ сдѣлаю?..

— Ужъ задайте урокъ, Иванъ Матвѣичъ.

— Сказано — не будетъ урока. Растащи барку, и иди домой. Начинать!

Принялись, наконецъ, но вяло, нехотя, неумѣло. Даже досадно было смотреть на эту здоровенную толпу дюжихъ работниковъ, которые, кажется, рѣшительно недоумѣвали, какъ взяться за дѣло. Только было принялись вынимать первую, самую маленькую кокору, — оказалось, что она ломается, «сама ломается», какъ принесено было въ оправданіе приставу; слѣдственно, такъ нельзя было работать, а надо было приняться какъ-нибудь иначе. Пошло долгое разсужденіе промежъ собой о томъ, какъ приняться иначе, что дѣлать? Разумѣется, мало-по-малу дошло до ругани, грозило зайти и подальше... Приставъ опять прикрикнулъ и помахалъ палочкой; но кокоры опять сломались. Оказалось, наконецъ, что топоровъ мало, и что надо еще принести какой-нибудь инструментъ. Тотчасъ же отрядили двухъ парней, подъ конвоемъ, за инструментомъ въ крѣпость, а въ ожиданіи всѣ остальные преспокойно усѣлись на баркѣ, вынули свои трубочки и опять закурили.

Приставъ, наконецъ, плюнулъ.

— Ну, отъ васъ работа не заплачетъ! Эхъ, народъ, народъ! — проворчалъ онъ сердито, махнулъ рукой и пошелъ въ крѣпость, помахивая палочкой.

Черезъ часъ пришелъ кондукторъ. Спокойно выслушавъ арестантовъ, онъ объявилъ, что даетъ на урокъ вынуть еще четыре кокоры, но такъ, чтобы ужъ онѣ не ломались, а цѣликомъ, да сверхъ того, отдѣлили разобрать значительную часть барки, съ тѣмъ, что тогда ужъ можно будетъ идти домой. Урокъ былъ большой, но, батюшки, какъ принялись! Куда дѣлась лѣнь, куда дѣлось недоумѣніе! Застучали топоры, начали вывертывать деревянные гвозди. Остальные подкладывали толстые шесты и, налегая на нихъ въ двадцать рукъ, бойко и мастерски выламывали кокоры, которыя, къ удивленію моему, выламывались теперь совершенно цѣлыя и непопорченныя. Дѣло кипѣло. Всѣ вдругъ какъ-то замѣчательно поумнѣли. Ни лишнихъ словъ, ни ругани, всякъ зналъ, что сказать, что сдѣлать, куда стать, что посоветовать. Ровно за полчаса до барабана заданный урокъ былъ оконченъ, и арестанты пошли домой усталые, но совершенно довольные, хоть и выиграли всего-то какихъ-нибудь полчаса противъ указанного времени.

Ф. Достоевскій.

Подневольный трудъ.

Первое впечатлѣніе мое при поступленіи въ острогъ вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то,—странное дѣло!—мнѣ показалось, что въ острогѣ гораздо легче жить, чѣмъ я воображалъ себѣ дорогой. Самая работа, на примѣръ, показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы—не столько въ трудности и непрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная, изъ-подъ палки. Мужикъ на волѣ работаетъ, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночамъ, особенно лѣтомъ: но онъ работаетъ на себя, работаетъ съ разумною цѣлью, и ему несравненно легче, чѣмъ каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работѣ. Мнѣ пришло разъ на мысль, что если бъ захотѣли вполнѣ раздавить, уничтожить челоуѣка, наказать его самымъ ужаснымъ наказаніемъ, такъ что самый страшный убійца содрогнулся бы отъ этого наказанія и пугался его заранѣе, то стоило бы только придать работѣ характеръ совершенной, полнѣйшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна, и скучна для каторжнаго, то сама въ себѣ, какъ работа, она разумна: арестантъ дѣлаетъ кирпичъ, копаетъ землю, штукатуритъ, строитъ; въ работѣ этой есть смыслъ и цѣль. Каторжный работникъ иногда даже увлекается ею, хочетъ сработать ес ловче, спорѣе, лучше. Но если бъ заставить его, на примѣръ, переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое и обратно,—я думаю, арестантъ удушился бы черезъ нѣсколько дней или надѣлалъ бы тысячу преступленій, чтобъ хоть умереть, да выйти изъ такого униженія, стыда и муки. Разумѣется, такое наказаніе обратилось бы въ пытку, въ мщеніе и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цѣли. Но такъ какъ часть такой пытки, бессмыслицы, униженія и стыда есть непремѣнно и во всякой вынужденной работѣ, то и каторжная работа несравненно мучительнѣе всякой вольной, именно тѣмъ, что вынужденная.

Ө. Достоевскій.

В е л ь м о ж а.

Какой-то, въ древности, вельможа
Съ богато-убраннаго ложа
Отправился въ страну, гдѣ царствуетъ Плутонъ.
Сказать простѣе,—умеръ онъ;
И такъ, какъ встарь велось, въ аду на судъ явился.
Тотчасъ допросъ ему: «Чѣмъ былъ ты? гдѣ родился?»—
«Родился въ Персіи, а чиномъ былъ сатрапъ;
Но, такъ какъ, живучи, я былъ здоровьемъ слабъ,
То самъ я областю не правилъ,
А всѣ дѣла секретарю оставилъ».
—«Что жъ дѣлалъ ты?»—«Пилъ, ѣлъ и спалъ,
Да все подписывалъ, что онъ ми подавалъ».

— «Скорѣй же въ рай его!» — «Какъ! Гдѣ же справедливость?»

Меркурій тутъ вскричалъ, забывши всю учтивость.

Эхъ, братецъ! — отвѣчалъ Эакъ; —

Не знаешь дѣла ты никакъ.

Не видишь развѣ ты? Покойникъ былъ дуракъ!

Что, если бы съ такою властью

Взялся онъ за дѣла, къ несчастью?

Вѣдь погубилъ бы цѣлый край!..

И ты бѣ тамъ слезъ не обобрался!

Затѣмъ-то и попалъ онъ въ рай,

Что за дѣла не принимался».

Вчера я былъ въ судѣ, и видѣлъ тамъ судью:

Ну, такъ и кажется, что быть ему въ раю!

И. Крыловъ.

Г о л о д н ы е.

... Мы вышли изъ Перекопа въ самомъ сквернѣйшемъ настроеніи духа — голодные, какъ волки, и злые на весь міръ. Въ продолженіе цѣлой половины сутокъ мы безуспѣшно употребляли въ дѣло всѣ наши таланты и усилія для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и когда убѣдились, наконецъ, что ни то, ни другое намъ не удастся, рѣшили идти дальше. Куда? Вообще дальше.

Насъ было трое; мы всѣ недавно познакомились, столкнувшись другъ съ другомъ въ Херсонѣ, въ кабачкѣ на берегу Днѣпра.

Одинъ изъ насъ былъ солдатъ желѣзнодорожнаго баталіона, потомъ — якобы — дорожный мастеръ на одной изъ привислянскихъ дорогъ, рыжій и мускулистый человѣкъ, съ холодными, сѣрыми глазами; онъ умѣлъ говорить по-нѣмецки и обладалъ очень подробнымъ знаніемъ тюремной жизни.

Нашъ братъ не любитъ много говорить о своемъ прошломъ, всегда имѣя на это болѣе или менѣе основательныя причины, и потому всѣ мы вѣрили другъ другу — по крайней мѣрѣ, наружно вѣрили, ибо внутренно каждый изъ насъ и самъ-то себѣ плохо вѣрилъ.

Когда второй нашъ товарищъ, сухонькій и маленькій человѣчекъ съ тонкими губами, всегда скептически поджатыми, говорилъ о себѣ, что онъ — бывшій студентъ Московскаго университета — я и солдатъ принимали это за фактъ. Въ сущности намъ было рѣшительно все равно, былъ ли онъ когда-то студентомъ, сыщикомъ или воромъ, — важно было лишь то, что въ моментъ нашего знакомства онъ былъ равенъ намъ — голодалъ, пользовался особымъ вниманіемъ полиціи въ городахъ и подозрительнымъ отношеніемъ мужиковъ въ деревняхъ, ненавидѣлъ и ту и другихъ ненавистью безсильнаго, загнаннаго и голоднаго звѣря, мечталъ объ универсальной мести всѣмъ и всему, — однимъ словомъ, и по своему положенію среди царей природы и владыкъ жизни и по настроенію былъ нашего поля ягода.

Третій былъ я.

Итакъ, мы вышли изъ Перекона и шли дальше, имѣя въ виду на этотъ день чабановъ, у которыхъ всегда можно попросить хлѣба, и которые очень рѣдко отказываютъ въ этомъ прохожимъ людямъ.

Я шелъ рядомъ съ солдатомъ, «студентъ» шагаль сзади насъ. На плечахъ у него висѣло нѣчто, напоминавшее собой пиджакъ; на головѣ, острой, угловатой и гладко остриженной, побойлся остатокъ широкополой шляпы; сѣрые брюки въ разноцвѣтныхъ заплаткахъ обтягивали его тонкія ножки, а къ ступнямъ онъ пристроилъ веревочками, свитыми изъ подкладки его костюма, найденное на дорогѣ голенище сапога, назвалъ это сооруженіе сандалями и шагаль себѣ молча, поднимая много пыли и поблескивая своими зеленоватыми маленькими глазками. Солдатъ былъ одѣтъ въ красную кумачевую рубаху, которую, по его словамъ, онъ «собственноручно» приобрѣлъ въ Херсонѣ; сверхъ рубахи на немъ былъ еще теплый ватный жилетъ; на головѣ, по воинскому уставу, «съ заломомъ верхняго круга на правую бровь», надѣта была солдатская фуражка неопредѣленнаго цвѣта; на ногахъ болтались широкія чумацкія шаровары. Онъ былъ босъ.

Я тоже былъ одѣтъ и босъ.

Мы шли, а вокругъ насъ во всѣ стороны богатырскимъ размахомъ простерлась степь и, покрытая синимъ знойнымъ куполомъ безоблачнаго лѣтняго неба, лежала какъ громадное, круглое черное блюдо. Сѣрая, пыльная дорога рѣзала ее широкой полосой и жгла намъ ноги. Мѣстами попадались щетинистыя полосы сжатого хлѣба, имѣвшія странное сходство съ давно небритыми щеками солдата.

Солдатъ шелъ и пѣлъ синеватымъ басомъ:

— ... И святое Воскресеніе Твое поемъ и хва-алимъ...

Во время своей службы онъ несъ что-то въ родѣ должности дьячка въ баталіонной церкви и зналъ безчисленное множество тронарей, ирмосовъ и кондаковъ, знаніемъ которыхъ и злоупотреблялъ каждый разъ, когда бесѣда наша почему-либо не вязалась.

Впереди, на горизонтѣ, росли какія-то фигуры мягкихъ очертаній и ласковыхъ оттѣнковъ отъ лиловаго до нѣжно-розоваго.

— Очевидно, это и есть Крымскія горы,—сказалъ «студентъ» сухимъ голосомъ.

— Горы?—воскликнулъ солдатъ.—Больно рано, другъ, увидалъ ты ихъ. Облака это... просто облака. Видишь, какія—точно клюквенный кисель съ молокомъ...

Я замѣтилъ, что было бы въ высшей степени пріятно, если бы облака и въ самомъ дѣлѣ состояли изъ киселя. Это сразу возбудило нашъ голодъ—злобу нашихъ дней.

— Ахъ, дьяволъ!—выругался солдатъ, сплевывая.—Хоть бы одна живая душа попалась! Никого... Приходится, какъ медвѣдямъ зимой, собственныя лапы сосать...

— Я говорилъ, что надо было къ заселеннымъ мѣстамъ двигаться,—почтительно заявилъ «студентъ».

— Ты говорилъ!—возмутился солдатъ.—На то ты и ученый, чтобы говорить. Какія тутъ заселенныя мѣста? Чортъ ихъ знаетъ, гдѣ они!

«Студентъ» замолчалъ, поджавъ губы. Солнце садилось, и облака на горизонтѣ играли разнообразными, неуловимыми словомъ красками. Пахло землей и солью.

И отъ этого сухого и вкуснаго запаха наши аппетиты еще болѣе усиливались.

Въ желудкахъ сосало. Это было странное и неприятное ощущеніе: казалось, что изъ всѣхъ мускуловъ тѣла соки медленно вытекаютъ куда-то, испаряются, и мускулы теряютъ свою живую гибкость. Ощущеніе колющей сухости наполняло полость рта и глотку, въ головѣ мутилось, а передъ глазами то и дѣло вставали и мелькали темныя пятна. Иногда они принимали видъ дымящихся кусковъ мяса, короваевъ хлѣба; воспоминаніе снабжало эти «видѣнья былого, видѣнья нѣмыя» свойственными имъ запахами, и тогда въ желудкѣ точно ножъ повертывался.

Мы все-таки шли, дѣлясь другъ съ другомъ описаніемъ нашихъ ощущеній, зорко поглядывая по сторонамъ—не видать ли гдѣ-либо отары овецъ, и слушая, не раздастся ли рѣзкій скрипъ арбы татарина, везущаго фрукты на армянскій базаръ.

Но степь была пуста и безмолвна.

Наканунѣ этого тяжелаго дня мы втроемъ съѣли четыре фунта ржаного хлѣба и штукъ пять арбузовъ, а прошли около сорока верстъ—расходъ не по приходу! — и, заснувъ на базарной площади Перекопа, мы проснулись отъ голода.

Итакъ, глотая голодную слюну и стараясь дружеской бесѣдой подавить боли въ желудкахъ, мы шли по пустынной и безмолвной степи, шли въ красноватыхъ лучахъ заката, полные смутной надежды на что-то; предъ нами закатывалось солнце, тихо опускаясь въ мягкія облака, щедро окрашенные его лучами, а сзади насъ и съ боковъ голубоватая мгла, поднимаясь со степи въ небо, суживала непривѣтливые горизонты, окружавшіе насъ.

— Собирайте, братцы, матеріалъ для костра, — сказалъ солдатъ, поднимая съ дороги какую-то чурбашку. — Придется ночевать въ степи... роса. Кизяки, всякій пруть — все берн!

Мы разошлись по сторонамъ дороги и стали собирать сухой бурьянъ и все, что могло сгорѣть. Каждый разъ, какъ приходилось наклоняться къ землѣ, во всемъ тѣлѣ возникало страстное желаніе упасть на нее, лежать неподвижно и ѣсть ее, черную и жирную, — много ѣсть, ѣсть до изнеможенія и потомъ заснуть. Хотя навсегда заснуть, только бы ѣсть, жевать и чувствовать, какъ теплая и густая каша изъ рта медленно опускается по ссохшемуся пищеводу въ алчущій, сжавшійся желудокъ, горящій отъ желанія впитать въ себя что-либо.

— Хотя бы коренья какіе-нибудь найти... — вздохнулъ солдатъ. — Есть такіе съѣдобные коренья...

Но въ черной вспаханной землѣ не было никакихъ кореньевъ. Южная ночь наступала быстро, и еще не успѣвъ угаснуть послѣдній лучъ солнца, какъ уже въ темно-синемъ небѣ заблестѣли звѣзды, а вокругъ насъ все плотнѣе сливались темныя тѣни, суживая безконечную гладь степи.

— Братцы, — вполголоса сказалъ «студентъ», — тамъ влѣво чловѣкъ лежитъ...

— Человѣкъ?—усомнился солдатъ.—А чего ему тамъ лежать?

— Иди и спроси. Навѣрное, у него есть хлѣбъ, коли онъ расположился въ степи...—пояснилъ «студентъ».

Солдатъ посмотрѣлъ въ сторону, гдѣ лежалъ человѣкъ, и, рѣшительно сплюнувъ, сказалъ:

— Идемъ къ нему!

Только зеленые и острые глаза «студента» могли разобрать, что темная куча, возвышавшаяся саженьхъ въ пятидесяти влѣво отъ дороги, есть человѣкъ. Мы шли къ нему, быстро шагая по комьямъ пашни, и чувствовали, какъ зародившаяся въ насъ надежда на ѣду обостряетъ боли голода. Мы были уже близко—человѣкъ не двигался.

— А можетъ, это не человѣкъ?—угрюмо выразилъ солдатъ общую всѣмъ намъ мысль.

Но наше сомнѣніе разсѣялось въ тотъ же моментъ, ибо куча на землѣ вдругъ зашевелилась, выросла, и мы увидали, что это самый настоящій, живой человѣкъ, который стоялъ на колѣняхъ, простирая къ намъ руку.

И онъ говорилъ намъ глухимъ и дрожащимъ голосомъ:

— Не подходи—застрѣлю!

Въ мутномъ воздухѣ раздался сухой и краткій щелчокъ.

Мы остановились, какъ по командѣ, и нѣсколько секундъ молчали, ошеломленные такой пелюбезной встрѣчей.

— Вотъ такъ мерзавецъ!—выразительно пробормоталъ солдатъ.

— Н-да, — задумчиво сказалъ «студентъ». — Съ револьверомъ ходить... видно, пкрная рыба...

— Эй!—крикнулъ солдатъ, очевидно, рѣшивъ что-то.

Человѣкъ, не измѣняя позы, молчалъ.

— Эй, ты! Мы не тронемъ тебя... Дай намъ только хлѣба... Есть, чай? Дай, братъ, Христа ради!.. Будь ты анаема проклять!

Послѣднія слова солдатъ произнесъ себѣ въ усы.

Человѣкъ молчалъ.

— Слышишь?—съ дрожью, злобы и отчаянія снова заговорилъ солдатъ.— Дай, молъ, хлѣба. Мы не подойдемъ къ тебѣ... брось намъ его...

— Ладно... — кратко сказалъ человѣкъ.

Онъ могъ бы сказать намъ—«дорогіе братья мои!» и если бъ онъ влилъ въ эти три христіанскія слова всѣ самыя свѣтыя и чистыя чувства, они не возбудили бы насъ такъ и не очеловѣчили бы настолько, какъ это глухое и краткое:

— Ладно!

— Ты не бойся насъ, добрый человѣкъ,—мягко и съ сладкой улыбкой на лицѣ заговорилъ солдатъ, хотя человѣкъ не могъ видѣть его улыбки, ибо былъ отдѣленъ отъ насъ разстояніемъ, по крайней мѣрѣ, въ двадцать шаговъ.— Мы люди смиренныя... идемъ изъ Россіи въ Кубань... посиблись деньгой въ дорогѣ, все съ себя проѣли... а теперь вотъ ужъ вторыя сутки не жрамыи...

— Держи! — сказалъ добрый человѣкъ, взмахнувъ рукой въ воздухъ.

Черный кусокъ мелькнулъ и упалъ неподалеку отъ насъ на пашню. «Студентъ» бросился за нимъ.

— Еще держи! Еще! Больше нѣтъ...

Когда «студентъ» собралъ эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имѣемъ фунта четыре пшеничнаго черстваго хлѣба. Онъ былъ вывалянь въ землѣ и очень черствъ. Черствый хлѣбъ сытнѣе мягкаго, въ немъ меньше влаги...

— Такъ... и такъ... и такъ! — сосредоточенно распредѣлялъ солдатъ куски. — Стой... не ровно! У тебя, ученый, надо уцѣпнуть кусочекъ, а то ему мало...

«Студентъ» безпрекословно подчинился утратѣ кусочка хлѣба золотниковъ въ пять вѣсомъ; я получилъ его и положилъ въ ротъ.

И сталъ жевать его, медленно жевать, едва сдерживая судорожное движеніе челюстей, готовыхъ искрошить камень. Мнѣ доставляло острое наслажденіе чувствовать торопливыя судороги пищевода и понемножку, капельками, удовлетворять его. Глотокъ за глоткомъ, теплые и неизъяснимо, неопишимо вкусные, проникали въ желудокъ и, казалось, тотчасъ же превращались въ кровь и мозгъ. Радость, такая странная, тихая и оживляющая радость, грѣла сердце по мѣрѣ того, какъ наполнялся желудокъ, и общее состояніе мое было сходно съ какимъ-то полусномъ. Я позабылъ объ этихъ проклятыхъ дняхъ хроническаго голода и позабылъ о моихъ товарищахъ, весь погруженный въ наслажденіе тѣми ощущеніями, которыя я переживалъ.

Но когда я сбросилъ съ ладони въ ротъ послѣднія крошки хлѣба, то почувствовалъ, что смертельно хочу ѣсть.

— У него, анаемы, сало тамъ еще осталось или мясо какое-то... — ворчалъ солдатъ, сѣдя на землѣ противъ меня и потирая руками желудокъ.

— Навѣрное, потому хлѣбъ имѣлъ запахъ мяса... Да и хлѣбъ, чай, остался еще... — сказалъ «студентъ» и тихонько добавилъ: — Если бы не револьверъ...

— Кто онъ такой? А?

— Видно, нашъ же братъ Исакій...

— Собака! — рѣшилъ солдатъ.

Мы сѣдѣли тѣсной группой и искоса посматривали туда, гдѣ сѣдѣлъ нашъ благодѣтель съ револьверомъ. Оттуда до насъ не доносилось ни звука, ни признака жизни.

Ночь собирала вокругъ насъ свои темныя силы. Мертвенно-тихо было въ степи — мы слышали дыханіе другъ друга. Иногда гдѣ-то раздавался меланхолическій свистъ суслика... Звѣзды, живые цвѣты неба, горѣли надъ нами... Мы хотѣли ѣсть.

Съ гордостью говорю — я былъ не хуже и не лучше моихъ случайныхъ товарищей въ эту нѣсколько странную ночь. Я предложилъ имъ встать и идти на этого человѣка. Не нужно трогать его, но мы съѣдимъ у него все, что найдемъ. Онъ будетъ стрѣлять — пускай! Изъ троихъ попадетъ только въ одного, если попадетъ; а если и попадетъ, такъ едва ли револьверная пуля убьетъ насмерть.

— Идемъ! — сказалъ солдатъ, вскочивъ на ноги.

«Студентъ» поднялся медленно его.

И мы пошли, почти побѣжали. «Студентъ» держался сзади насъ.

— Товарищъ! — укоризненно крикнулъ ему солдатъ.

Навстрѣчу намъ несло глухое бормотаніе и рѣзкій звукъ щелкающаго курка. Вотъ сверкнулъ огонь, раздался сухой звукъ выстрѣла.

— Мимо!—радостно воскликнул солдатъ, однимъ прыжкомъ достигая до человѣка.—Ну, дьяволъ, я жъ тебѣ теперь задамъ...

«Студентъ» бросился къ котомкѣ.

А дьяволъ упалъ съ колѣнъ на спину и, разметавъ руки, хрипѣлъ...

— Что за чортъ! — изумился солдатъ, уже поднявшій ногу, чтобы дать пинка этому человѣку.— Неужто онъ въ себя ахнулъ? Ты! Что ты? Эй! Застрѣлился, что ли?

— И мясо, и какія-то лепешки, и хлѣбъ... много, братцы!—раздался ликующій голосъ «студента».

— Ну, чортъ съ тобой, издыхай... Ыдимъ, дружки!—крикнулъ солдатъ.

Я вынулъ револьверъ изъ руки человѣка, который уже пересталъ хрипѣть и лежалъ теперь неподвижно. Въ барабанѣ былъ еще одинъ патронъ.

Мы снова ѣли, ѣли молча. Человѣкъ тоже лежалъ и молчалъ, не двигая ни однимъ членомъ. Мы не обращали на него вниманія.

— Неужто, братцы мои родные, вы это все только изъ-за хлѣба?—вдругъ раздался хриплый и дрожащій голосъ.

Мы всё вздрогнули. «Студентъ» даже поперхнулся и, согнувшись къ землѣ, сталъ кашлять.

Солдатъ, прожевавъ кусокъ, началъ ругаться.

— Собачья ты душа, чтобъ те треснуть, какъ сухой колодѣ! Шкуру, что ли мы съ тебя сдеремъ? На кой она намъ нужна? Дурье твое рыло, поганный духъ! Нако! вооружился и палить въ людей! Апаеема ты...

Онъ ругался и ѣлъ, отчего руганъ его теряла всю выразительность и силу...

— Погоди, вотъ мы поѣдимъ, такъ разсчитаемся съ тобой,—зловѣще пообѣщалъ «студентъ».

Тогда въ тишинѣ ночи раздались воющій рыданія, испугавшія насъ.

— Братцы... развѣ я зналъ? Стрѣлялъ... потому что боюсь. Иду изъ Поваго Аэона... въ Смоленскую губернію... О-охъ, Господи! Лихорадка смаяла... какъ солнце зайдетъ—бѣда моя! Отъ лихорадки и съ Аэона ушелъ... столарилъ тамъ... столарь я... Дома жена... двѣ дѣвочки... три года четвертый не видалъ ихъ... братцы! Все ѣшьте...

— Съѣдимъ, не проси,—сказалъ «студентъ».

— Господи Боже! кабы я зналъ, что вы мирные, хорошіе люди... развѣ бы я сталъ стрѣлять! А тутъ, братцы, стень, ночь... виновать я? А?

Онъ говорилъ и плакалъ, вѣрнѣе—издавалъ какой-то дрожащій, пугливый вой.

— Вотъ скулить!—презрительно сказалъ солдатъ.

— У него должны быть деньги съ собой,—заявилъ «студентъ».

Солдатъ прищурилъ глаза, посмотрѣлъ на него и усмѣхнулся.

— А ты догадливый... Вотъ что, давайте-ка костеръ запалимъ, да и спать...

— А онъ?—освѣдомился «студентъ».

— А чортъ съ нимъ! Жарить намъ его, что ли?

— Слѣдовало бы,—сказалъ «студентъ», качнувъ своей острой головой.

Мы сходили за набранными нами матеріалами, которые бросили тамъ, гдѣ остановилъ насъ столарь своимъ окрикомъ, принесли ихъ и скоро сидѣли во

кругъ костра. Онъ тихо теплился въ безвѣтренную ночь и свѣщаль въ ней маленькое пространство, занятое нами. Насъ клонило ко сну, хотя мы все-таки могли бы еще разъ поужинать.

М. Горькій.



Босьяки. Съ карт. *Макозскаго.*

Д р у ж к и.

Одного изъ нихъ звали Пляши-нога, другого — Уповающій, а по роду занятій оба они были воры.

Жили они на окраинѣ города, въ слободѣ, странно разметающейся по оврагу, въ одной изъ ветхихъ лачугъ, слѣпленныхъ изъ глины и полусгнившаго дерева, похожихъ на кучи мусора, сброшенныхъ въ оврагъ. Воровать «друзки» ходили въ ближайшія къ городу деревни, ибо въ городѣ воровать трудно, а въ слободкѣ у сосѣдей украсть было нечего.

Оба они были парни осторожные и скромные: стащатъ кусокъ полотна, армякъ или топоръ, сбрую, рубаху или курицу, и уже долго потомъ не посѣщаютъ ту деревню, въ которой имъ удалось что-нибудь «слямзить». Но, несмотря на такой умный образъ дѣйствій, подгородніе мужики хорошо знали ихъ и грозились при случаѣ избить до-смерти. Однако такого случая не представлялось мужикамъ, и кости двухъ друзей были цѣлы, хотя уже лѣтъ шесть кряду друзья слушали угрозы мужиковъ.

Пляши-нога былъ человѣкъ лѣтъ сорока, высокій, сутулый, худой и жилистый. Онъ ходилъ, опустивъ голову къ землѣ, заложивъ за спину длинныя руки, шагая неторопливо, но широко, и на ходу онъ всегда оглядывался по сторонамъ, озабоченно прищуренными, безпокойно-зоркими глазами. Волосы на головѣ онъ стригъ, бороду брилъ; густые сивые солдатскіе усы закрывали ему ротъ, придавая лицу его какое-то ошетинившееся, суровое выраженіе. Лѣвая нога у него, должно-быть, была вывихнута или сломана и срослась такъ, что стала длиннѣе правой; когда онъ, шагая, поднималъ ее, она у него подпрыги-

вала въ воздухѣ и виляла въ сторону; эта особенность его походки и дала ему прозвище.

Уповающій былъ старше товарища лѣтъ на пять, ниже ростомъ и шире въ плечахъ. Но онъ часто и глухо кашлялъ, и лицо его, скуластое, обросшее большой черной съ просѣдью бородой, покрывала болѣзненная желтизна. Глаза у него были большіе, черные, а смотрѣли они на все виновато и ласково. На ходу онъ складывалъ большія губы сердечкомъ и тихо насвистывалъ какую-то пѣсню, однообразную, печальную, всегда одну и ту же. На плечахъ у него болталась короткая одежка изъ разноцвѣтныхъ лохмотьевъ — что-то похожее на ватный пиджакъ; а Пляши-нога ходилъ въ длинномъ сѣромъ кафтанѣ, подпоясаннымъ кушакомъ.

Уповающій былъ крестьяниномъ, его товарищъ — сынъ пономаря, бывшій лакей и маркеръ. Ихъ всегда видѣли вмѣстѣ, и крестьяне говорили при видѣ ихъ:

— Опять дружки появились... гляди въ оба!

— Ахъ, дьяволы!

— И когда они подохнутъ?

А дружки шли гдѣ-нибудь проселочной дорогой, зорко поглядывая по сторонамъ и избѣгая встрѣчъ. Уповающій кашлялъ и насвистывалъ свою пѣсню; а нога его товарища плясала въ воздухѣ, какъ бы стремясь оторваться и убѣжать въ сторону съ опаснаго пути своего хозяина. Или они лежали гдѣ-нибудь на опушкѣ лѣса во ржи, въ оврагѣ и тихо разговаривали о томъ, какъ украсть, для того, чтобы поѣсть.

Зимою даже и волки, — болѣе приспособленные къ борьбѣ за свою жизнь, чѣмъ два друга, — плохо живутъ. Тощіе, голодные и злые, они рыскаютъ по дорогамъ, и хотя ихъ убиваютъ, но боятся: у нихъ есть когти и зубы для самозащиты, а главное — сердца ихъ ничѣмъ не смягчены. Последнее очень важно, ибо для того, чтобы побѣждать въ борьбѣ за существованіе, человѣкъ долженъ имѣть или много ума, или сердце звѣря.

Зимою дружкамъ приходилось плохо; зачастую оба они выходили по вечерамъ на улицы города и просили милостыню, стараясь не попадаться на глаза полиціи. Очень рѣдко удавалось имъ украсть что-нибудь; ходить по деревнямъ было неудобно, потому что холодно, и на снѣгу оставались слѣды, да и бесполезно посѣщать деревни, когда все въ нихъ заперто и запесено снѣгомъ. Много силъ теряли товарищи зимой, борясь съ голодомъ, и, можетъ-быть, никто не ждалъ весны такъ жадно, какъ они ждали ее...

И вотъ, наконецъ, подходила весна. Товарищи, истощенные и больные, вылѣзали изъ своего оврага, радостно смотрѣли на поля, гдѣ съ каждымъ днемъ быстрѣе таялъ снѣгъ, являлись бурыя проталины, лужи блестя, какъ зеркала, и весело журчали ручьи. Солнце лило на землю свои безкорыстные ласки, и оба друга грѣлись въ его лучахъ, разсуждая о томъ, какъ скоро просохнетъ земля и когда, наконецъ, можно будетъ идти по деревнямъ «стрѣлять». Часто Уповающій, страдавшій бессонницей, будилъ своего друга рашнимъ утромъ и радостно объявлялъ ему:

— Эй! вставай... Грачи прилетѣли!

— Прилетѣли?

— Ей Богу! Слышишь, какъ галдятъ?

Выйдя изъ своей лачуги, они со вниманіемъ и подолгу слѣдили, какъ черные вѣстники весны хлопотливо вили новыя гнѣзда и исправляли старыя, наполняя воздухъ своимъ громкимъ, озабоченнымъ крикомъ...

— Теперь за жаворонками очередь, — говорилъ Уповающій и принимался чинить старую, подустгившую сѣть.

Являлись жаворонки; тогда товарищи шли въ поле, ставили сѣть на одной изъ проталинъ и, бѣгая по полю, мокрые и грязные, гнали подъ сѣть голодныхъ и утомленныхъ перелетомъ птицъ, искавшихъ корма на сырой, только что освободившейся изъ-подъ снѣга землѣ. Наловивъ птичекъ, они продавали ихъ по пятачку и гривеннику за штуку. Потомъ являлась кропива, которую они собирали и тащили на базаръ торговкамъ овощами. Почти каждый день весны давалъ имъ что-нибудь новое, новый, хотя и маленькій заработокъ. Они умѣли всѣмъ пользоваться: верба, щавель, шампиньоны, земляника, грибы — ничто не миновало ихъ рукъ. Солдаты выходили на стрѣльбу — друзья послѣ окончанія стрѣльбы рылись въ валахъ, отыскивая пули, которые потомъ продавали по двѣнадцати копеекъ за фунтъ. Всѣ эти занятія, хотя и не позволяли друзьямъ умереть съ голоду, но очень рѣдко давали имъ возможность насладиться чувствомъ сытости, приятнымъ чувствомъ полноты желудка и горячей работой его надъ проглоченной пищей.

Однажды, въ апрѣлѣ, когда на деревьяхъ еще только наливаются почки, и лѣса стоятъ, подернутые сизымъ сумракомъ, а на бурыхъ, жирныхъ поляхъ, облитыхъ солнцемъ, чуть-чуть пробивается трава, друзья шли по большой дорогѣ, шли и, куря самодѣльные папиросы изъ махорки, разговаривали.

— Все гуще ты кашляешь-то... — спокойно предупреждалъ Пляши-нога товарища.

— Это — наплевать!.. Вотъ солнышкомъ меня подогрѣть — и я оживу...

— Мм... А то, можетъ, сходить бы тебѣ въ больницу...

— Ну! На что она мнѣ? Коли помереть надо, и такъ помру.

— Это, конечно...

Они шли мимо березъ по тракту, и березы бросали на нихъ узорчатые тѣни своихъ тонкихъ вѣтвей. Воробьи прыгали по дорогѣ, оживленно чирикавая.

— Ходить ты плохо сталъ... — помолчавъ, замѣтилъ Пляши-нога.

— Это оттого, что душитъ меня... — объяснилъ Уповающій. — Воздухъ теперь густой, жирный воздухъ, ну, и трудно мнѣ глотать-то его...

И, остановившись, онъ закашлялся.

Пляши-нога стоялъ рядомъ съ нимъ, курилъ и неопредѣленно смотрѣлъ на него. Уповающій трясся въ припадкѣ кашля, теръ грудь руками; а лицо у него стало синимъ.

— Здорово продрало дыхалки-то, — сказалъ онъ, когда пересталъ кашлять.

И они пошли дальше, спугивая воробьевъ.

Долго они шли молча и медленно.

Пѣлъ пѣтухи гдѣ-то близко; собака провыла; потомъ печальный звукъ сторожевого колокола прилетѣлъ изъ дальней сельской церкви и утонулъ въ суровомъ молчаніи лѣса... Большимъ чернымъ пятномъ въ мутный лунный свѣтъ ринулась откуда-то большая птица, и въ оврагѣ зловѣщимъ звукомъ проплылъ торопливый свистъ и шорохъ крыльевъ.

— Воронъ... а то грачъ,—замѣтилъ Пляши-нога.

— Вотъ что...—заговорилъ Уповающій, тяжело опускаясь на землю,—иди ты, а я тутъ останусь... не могу я больше,—душить... въ головѣ круженье...

— Ну... вотъ-те разъ!—недовольно сказалъ Пляши-нога. — Неужто такъ-таки и не можешь?

— Не могу...

— Съ праздникомъ! Тфу!

— Ослабъ я совсѣмъ...

— Еще бы! не жрамши шляемся съ утра.

— Нѣтъ, это, видно, ужъ... шабашъ мнѣ! Вонъ она, кровинца-то какъ хлещеть!

И Уповающій поднялъ къ лицу Пляши-ноги свою руку, выпачканную чѣмъ-то темнымъ. Тотъ покосился на руку и пониженнымъ голосомъ спросилъ:

— Что же будемъ дѣлать?

— Иди ты... а я останусь... отлежусь, можетъ...

— Куда я пойду? Въ деревню если... сказать имъ — человѣку, молъ, плохо...

— Нѣ... смотри, побьютъ.

— Это какъ есть... Имъ только попадись!..

Уповающій откинулся на спину, глухо кашляя и выплевывая изо рта цѣлые шматки крови...

— Идешь?—спросилъ Пляши-нога, стоя надъ нимъ, но глядя въ сторону.

— Шибко идешь...—еле слышно сказалъ Уповающій и закашлялся.

Пляши-нога цинично и громко ругнулся.

— Хоть бы позвать кого!

— Кого?—грустнымъ эхомъ повторилъ Уповающій.

— А можетъ, ты... всталъ бы, да и пошелъ... помаленьку?

— Нѣтъ ужъ...

Пляши-нога сѣлъ около головы товарища и, обнявъ колѣни руками, сталъ смотрѣть ему въ лицо. Грудь Уповающаго подымалась неровно, съ глухимъ хрипомъ, глаза провалились, а губы какъ-то странно растянулись и какъ бы при-стали къ зубамъ. Изъ лѣваго угла рта по щекѣ ползла живая темная струйка.

— Все еще течетъ?—тихо спросилъ Пляши-нога, и въ тонѣ его вопроса было что-то близкое къ почтению.

Лицо Уповающаго дрогнуло.

— Течетъ...—раздался слабый хрипъ.

Пляши-нога наклонилъ голову къ колѣнямъ и замолчалъ.

Надъ ними висѣла стѣна оврага, изборожденная глубокими рытвинами отъ весеннихъ потоковъ. Съ вершины ея смотрѣлъ въ оврагъ косматый рядъ деревьевъ, освѣщенныхъ луной. Другой скатъ оврага, болѣе пологій, весь поросъ кустарникомъ; кое-гдѣ изъ его темной массы вздымались сѣрые стволы осинъ, и на ихъ голыхъ вѣтвяхъ ясно были видны гнѣзда грачей... И оврагъ, облитый луной, былъ похожъ на сповидѣние, на скучный сонъ, лишенный красокъ жизни; а тихое журчаніе ручья еще болѣе усиливало его безжизненность, отгѣняло то-скливую тишину въ немъ...

— Умираю...—еле слышно шепнулъ Уповающій и вслѣдъ за тѣмъ громко и ясно повторилъ:—Умираю я, Степанъ!

Пляши-нога дрогнулъ всёмъ тѣломъ, завозился, засопѣлъ и, поднявъ голову съ колѣнъ, смущенно, тихонько, точно боялся помѣшать чему-то, заговорилъ:

— А ты не того... не бойся! Ничего... можетъ, это такъ просто... ничего, братъ! ей Богу!

— Господи Иисусе Христе...— тяжело вздохнулъ Уповающій.

— Ничего!— шепталъ Пляши-нога, наклонясь надъ его лицомъ.— Ты поддержишь немного... можетъ, пройдетъ...

Но Уповающій началъ кашлять; въ груди у него явился новый звукъ—точно мокрая тряпка шлепалась о его ребра. Пляши-нога смотрѣлъ на него и молча шевелилъ усами. Откашлявшись, Уповающій началъ громко и прерывисто дышать—такъ, точно онъ изъ всѣхъ силъ бѣжалъ куда-то. Долго онъ дышалъ такъ, потомъ заговорилъ:

— Прости, Степанъ!... коли что я... прости, братокъ!..

— Ты меня прости...— перебилъ Пляши-нога его рѣчь и, помолчавъ, добавилъ:— Я... куда я теперь пойду? И какъ быть?

— Ничего! дай тебѣ Гос...

Онъ охнулъ, не докончивъ словъ, и замолчалъ.

Потомъ началъ хрипѣть... потомъ вытянулъ ноги... одну изъ нихъ отвелъ въ сторону...

Пляши-нога, не сводя глазъ, смотрѣлъ на него. Проходили минуты, длинныя, какъ часы.

Вотъ Уповающій приподнялъ голову; но она у него тотчасъ же безсилно упала на землю.

— Что, братъ?— наклонился къ нему Пляши-нога. Но онъ не отвѣчалъ уже, спокойный и неподвижный.

Посидѣлъ еще немного около товарища суровый Пляши-нога, а потомъ всталъ, снялъ шапку, перекрестился и медленно пошелъ вдоль оврага. Лицо у него обострилось, брови и усы оцетинились, и шагаль онъ такъ твердо, точно билъ землю ногами, точно больно сдѣлать ей хотѣлъ.

Уже свѣтало. Небо было сѣрое, неласковое; въ оврагѣ царила угрюмая тишина; только ручей, никому не мѣшая, вель свою однообразную, тусклую рѣчь.

Но вотъ раздался шорохъ... должно-быть, комъ земли покатила на дно оврага. Проснулся грачъ и, тревожно крикнувъ, полетѣлъ куда-то. Потомъ синица прозвенѣла. Въ сыромъ, холодномъ воздухѣ оврага звуки жили недолго—родятся и тотчасъ же исчезнуть...

М. Горькій.

П ѣ в е ц ъ .

И, глядя только себѣ подъ ноги, шелъ по набережной къ Швейцергофу ¹⁾, какъ вдругъ меня поразили звуки странной, но чрезвычайно пріятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живоительно подѣйствовали на меня. Какъ будто яркій, веселый свѣтъ проникъ въ мою душу. Мнѣ стало хорошо, весело. Забывшее вниманіе мое снова устремилось на всѣ окружающіе предметы. И красота ночи и озера, къ которымъ я прежде былъ равнодушенъ, вдругъ, какъ

¹⁾ Дорогая гостиница въ г. Люцернѣ, въ Швейцаріи.

новость, отрадно поразили меня. Я невольно, въ одно мгновеніе, успѣлъ замѣтить и пасмурное, сѣрыми кусками на темной синевѣ, небо, освѣщенное поднимавшимся мѣсяцемъ, и темно-зеленое гладкое озеро, съ отражающимися въ немъ огоньками, и вдали мгlistыя горы, и крики лягушекъ изъ Фрешенбурга, и росистый свѣжій свистъ перепеловъ съ того берега. Прямо же передо мной, съ того мѣста, съ котораго слышался звукъ, и на которое преимущественно было устремлено мое вниманіе, я увидалъ въ полумракѣ, на срединѣ улицы, полукругомъ стѣснившуюся толпу народа, а передъ толпой, въ нѣкоторомъ разстояніи, крошечнаго человѣка въ черной одеждѣ. Сзади толпы и человѣка, на темномъ, сѣромъ и синемъ разорванномъ небѣ, стройно отдѣлялось нѣсколько черныхъ райнъ сада и величаво возвышались по обѣимъ сторонамъ стариннаго собора два строгіе шпича башенъ.

Я подходилъ ближе, звуки становились яснѣе. Я разбиралъ ясно дальніе, сладко колеблющіеся въ вечернемъ воздухѣ, полные аккорды гитары и нѣсколько голосовъ, которые, перебивая другъ друга, не пѣли тему, а кое-какъ выпѣвая самыя выступающія мѣста, давали ее чувствовать. Тема была что-то въ родѣ милой и граціозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки; то слышался теноръ, то басъ, то горловая фистула съ воркующими тирольскими переливами. Это была не пѣсня, а легкій мастерской эскизъ пѣсни. Я не могъ понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные, слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодія и эта одинокая фигура чернаго человѣчка, среди фантастической обстановки темнаго озера, просвѣчивающей луны и молчаливо возвышающихся двухъ громадныхъ шпичевъ башенъ и черныхъ райнъ сада,—все было странно, но невыразимо прекрасно или показалось мнѣ такимъ.

Всѣ спутанныя, невольныя впечатлѣнія жизни вдругъ получили для меня значеніе и прелесть. Въ душѣ моей какъ будто распустился свѣжій, благоухающій цвѣтокъ. вмѣсто усталости, разсѣянья, равнодушія ко всему на свѣтѣ, которыя я испытывалъ за минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потребность любви, полноту надежды и безпричинную радость жизни. Чего хотѣть, чего желать?—сказалось мнѣ невольно. Вотъ она со всѣхъ сторонъ обступаетъ тебя, красота и поэзія. Вдыхай ее въ себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся,—чего тебѣ еще надо? Все твое, все благо...

Я подошелъ ближе. Маленькій человѣчекъ былъ, какъ казалось, странствующій тиролецъ. Онъ стоялъ передъ окнами гостиницы, выставивъ ножку, закинувъ кверху голову, и, бренча на гитарѣ, пѣлъ на разные голоса свою граціозную пѣсню. Я тотчасъ же почувствовалъ нѣжность къ этому человѣчку и благодарность за тотъ переворотъ, который онъ произвелъ во мнѣ. Пѣвецъ, сколько я могъ разсмотрѣть, былъ одѣтъ въ старенькій черный сюртукъ; волосы у него были черные, короткіе, и на головѣ была самая мѣщанская, простая, старенькая фуражка. Въ одеждѣ его ничего не было артистическаго, но лихая, дѣтски-веселая поза и движенія, съ его крошечнымъ ростомъ, составляли трогательное и вмѣстѣ забавное зрѣлище. Въ подъѣздѣ, окнахъ и балконахъ великолѣпно освѣщенной гостиницы стояли блестящіе наряды, широкоюбчыя барыни, господа съ бѣлѣйшими воротничками, швейцаръ и лакеи въ золотонитныхъ ливреяхъ; на улицѣ, въ полукругѣ толпы и дальше по бульвару, между липками,

собрались и остановились изящно одѣтые кельнеры, повара въ бѣлѣйшихъ колпакахъ и курткахъ, обнавшіяся дѣвицы и гуляющіе. Всѣ, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывалъ и я. Всѣ молча стояли вокругъ пѣвца и внимательно слушали. Все было тихо, только въ промежуткахъ пѣсни, гдѣ-то вдалекѣ, равномерно по водѣ, долеталъ звукъ молота, и изъ Фрешенбурга разсыпчатою трелью неслись голоса лягушекъ, перебиваемые влажнымъ, однозвучнымъ свистомъ перепеловъ.

Маленькій человѣчекъ въ темнотѣ, среди улицы, заливался какъ соловей, куплетъ за куплетомъ и пѣсня за пѣсней. Несмотря на то, что я подошелъ вплотъ къ нему, его пѣніе продолжало доставлять мнѣ большое удовольствіе. Небольшой голосъ его былъ чрезвычайно пріятенъ, пѣжность же, вкусъ и чувство мѣры, съ которыми онъ владѣлъ этимъ голосомъ, были необыкновенны и показывали въ немъ огромное природное дарованіе. Припѣвъ каждаго куплета онъ всякій разъ пѣлъ различно, и видно было, что всѣ эти граціозныя измѣненія свободно, мгновенно приходили ему.

Въ толпѣ—и наверху въ Швейцергофѣ и внизу на бульварѣ—слышался часто одобрителный шопотъ и царствовало почтительное молчаніе. На балконахъ и въ окнахъ все болѣе и болѣе прибавлялось нарядныхъ, живописно въ свѣтѣ огней дома облокотившихся мужчинъ и женщинъ. Гуляющіе останавливались, и въ тѣни на набережной повсюду кучками около липокъ стояли мужчины и женщины. Около меня, куры сигары, стояли, нѣсколько отдѣлившись отъ всей толпы, аристократическіе лакеи и поваръ. Поваръ сильно чувствовалъ прелесть музыки и при каждой высокой фистульной нотѣ восторженно, недоумѣваяще подмигивалъ всею головой лакею и толкалъ его локтемъ, съ выраженіемъ, говорившимъ: каково поетъ? А?.. Лакей, по распусѣвшейся улыбкѣ котораго я замѣчалъ все имъ испытываемое удовольствіе, на толчки повара отвѣчалъ пожиманіемъ плечъ, показывавшимъ, что его удивить довольно трудно, и что онъ слыхалъ много лучше этого.

Въ промежуткѣ пѣсни, когда пѣвецъ прокашливался, я спросилъ у лакея, кто онъ такой, и часто ли сюда приходитъ.

— Да въ лѣто раза два приходитъ,—отвѣчалъ лакей.—Онъ изъ Арговіи. Такъ, нищенствуетъ.

— А что, много ихъ такихъ ходитъ?—спросилъ я.

— Да, да,—отвѣчалъ лакей, не понявъ сразу того, о чемъ я спрашивалъ, но, разобравъ уже потомъ мой вопросъ, прибавилъ:—О нѣтъ! Здѣсь я только одного его видаю. Больше нѣту.

Въ это время маленький человѣчекъ кончилъ первую пѣсню, бойко перевернулъ гитару и сказалъ что-то про себя на своемъ пѣмецкомъ *patois*¹⁾, чего я не могъ понять, но что произвело хохотъ въ окружающей толпѣ.

— Что это онъ говорить?—спросилъ я.

— Говорить, что горло пересохло, выпилъ бы вина,—перевелъ мнѣ лакей, стоявшій подлѣ меня.

— А что, онъ, вѣрно, любитъ пить?

— Да это всѣ люди такіе,—отвѣчалъ лакей, улынувшись и махнувъ на него рукою.

¹⁾ Простонародный языкъ.

Пѣвецъ снялъ фуражку и, размахнувъ гитарой, приблизился къ дому. Закинувъ голову, онъ обратился къ господамъ, стоявшимъ у оконъ и на балконахъ: „Messieurs et mesdames,—сказалъ онъ полунитальянскимъ, полунѣмецкимъ акцентомъ и съ тѣми интонаціями, съ которыми фокусники обращаются къ публикѣ:—*Si vous croyez, que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je ne suis qu'un pauvre diable** 1). Онъ остановился, помолчалъ немного; но такъ какъ никто ему ничего не далъ, онъ снова вскинулъ гитару и сказалъ: „*À présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi*“ 2). Наверху публика молчала, но продолжала стоять въ ожиданіи слѣдующей пѣсни; внизу, въ толпѣ, засмѣялись, должно-быть, тому, что онъ такъ странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я далъ ему нѣсколько сантимовъ, онъ ловко перекинулъ ихъ изъ руки въ руку, засунулъ въ карманъ жилета и, надѣвъ фуражку, снова началъ пѣть граціозную, милую тирольскую пѣсенку, которую онъ называлъ *l'air du Righi*. Эта пѣсня, которую онъ оставлялъ для заключенія, была еще лучше всѣхъ прежнихъ, и со всѣхъ сторонъ въ увеличившейся толпѣ слышались звуки одобренія. Онъ кончилъ. Снова онъ размахнулъ гитарой, снялъ фуражку, выставилъ ее впередъ себя, на два шага приблизился къ окнамъ и снова сказалъ свою непонятную фразу: „*Messieurs et mesdames, si vous croyez, que je gagne quelque chose*“, которую онъ, видимо, считалъ очень ловкою и остроумною, но въ голосѣ и въ движеніяхъ его я замѣтилъ теперь нѣкоторую нерѣшительность и дѣтскую робость, которыя были особенно поразительны съ его маленькимъ ростомъ. Элегантная публика все такъ же живописно, въ свѣтѣ огней, стояла на балконахъ и въ окнахъ, блестя богатыми одеждами; нѣкоторые умѣренно, приличнымъ голосомъ, разговаривали между собой, очевидно, про пѣвца, который съ вытянутою рукой стоялъ передъ ними; другіе внимательно, съ любопытствомъ смотрѣли внизъ на эту маленькую черную фигурку; на одномъ балконѣ послышался звучный и веселый смѣхъ молодой дѣвушки. Въ толпѣ, внизу, громче и громче слышался говоръ и посмѣиваніе. Пѣвецъ въ третій разъ повторилъ свою фразу, но еще слабѣйшимъ голосомъ, и даже не dokonчилъ ея, и снова вытянулъ руку съ фуражкой, но тотчасъ же и опустилъ ее. И во второй разъ изъ этихъ сотенъ блестяще одѣтыхъ людей, столпившихся слушать его, ни одинъ не бросилъ ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленькій пѣвецъ, какъ мнѣ показалось, сдѣлался еще меньше, взялъ въ другую руку гитару, поднялъ надъ головой фуражку и сказалъ: „*Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit*“ 3), и надѣлъ фуражку. Толпа загоготала отъ радостнаго смѣха. Съ балконовъ стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульварѣ снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пѣнія улица снова оживилась; нѣсколько человѣкъ только, не подходя къ нему, смотрѣли издалека на пѣвца и смѣялись. Я слышалъ, какъ маленький человѣчекъ что-то проговорилъ себѣ подъ носъ,

1) Милостивые государи и государыни, если вы думаете, что я беру что-нибудь, вы ошибаетесь: я не бѣднякъ.

2) Теперь, милостивые государи и государыни, я вамъ спою пѣсню Риги (гора въ Швейцаріи).

3) Милостивые государи и государыни, благодарю васъ и желаю вамъ доброй ночи.

повернулся и, какъ будто сдѣлавшись еще меньше, скорыми шагами пошелъ къ городу. Веселые гуляки, смотрѣвшіе на него, все такъ же, въ нѣкоторомъ разстояніи, слѣдовали за нимъ и смѣялись...

Л. Толстой.



Люцернъ.

П Ъ В Ц Ы.

Быль невыносимо жаркій іюльскій день, когда я, медленно передвигая ноги, вмѣстѣ съ моей собакой поднимался вдоль Колотовскаго оврага въ направленіи Притыннаго-Кабачка. Солнце разгоралось на небѣ, какъ бы свирѣпѣя; парило и пекло неотступно; воздухъ былъ весь пропитанъ душной пылью. Покрытые лоскомъ грачи и вороны, разинувъ рты, жалобно глядѣли на проходящихъ, словно прося ихъ участія; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнѣе прежняго чиркали и дрались по заборамъ, дружно взлетали съ пыльной дороги, сѣрыми тучами носились надъ зелеными коноплянниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: въ Колотовкѣ, какъ и во многихъ другихъ степныхъ деревняхъ, мужики, за неимѣніемъ ключей и колодцевъ, пьютъ какую-то жидкую грязь изъ пруда... Но кто же назоветъ это отвратительное пойло водою? Я хотѣлъ спросить у Николая Иваныча ¹⁾ стаканъ пива или квасу.

Усталыми шагами приближался я къ жилищу Николая Иваныча, какъ вдругъ на порогъ кабачка показался мужчина высокаго роста, безъ шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубымъ кушачкомъ. На видъ онъ казался дворовымъ; густые сѣдые волосы въ безпорядкѣ вздымались надъ сухимъ и сморщеннымъ его лицомъ. Онъ звалъ кого-то, торопливо дѣйствуя руками, которыя, очевидно, размахивались гораздо далѣе, чѣмъ онъ самъ того желалъ. Замѣтно было, что онъ уже успѣлъ выпить.

¹⁾ Цѣловальникъ.

— Иди, иди же! — заленеталъ онъ, съ усиліемъ поднимая густыя брови: — иди, Моргачъ, иди! Экой ты, братецъ, ползешь, право слово. Это нехорошо, братецъ. Тутъ ждутъ тебя, а ты вотъ ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащій голосъ, и изъ-за избы направо показался человѣкъ низенькій, толстый и хромоу. — Иду, любезный, — продолжалъ онъ, ковыляя въ направленіи питейнаго заведенія: — зачѣмъ ты меня зовешь?.. Кто меня ждетъ?

— Зачѣмъ я тебя зову? — сказалъ съ укоризной человѣкъ во фризовой шинели. — Экой ты, Моргачъ, чудной, братецъ: тебя зовутъ въ кабакъ, а ты еще спрашиваешь: зачѣмъ? А ждутъ тебя все люди добрые: Турокъ-Яшка, да Дикій-Баринъ, да рядчикъ съ Яздры. Яшка-то съ рядчикомъ объ закладъ побилсъ: осьмуху пива поставили — кто кого одолѣетъ, лучше споетъ, то-есть... понимаешь?

— Яшка пѣтъ будетъ? — съ живостью проговорилъ человѣкъ, прозванный Моргачомъ. — И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру, — съ достоинствомъ отвѣчалъ Обалдуй: — а ты брешь. Стало-быть, будетъ пѣтъ, коли объ закладъ побилсъ, божья-коровка ты этакая, плутъ ты этакой, Моргачъ!

— Ну, пойдемъ, простота, — возразилъ Моргачъ.

— Ну, поцѣлуй же меня, по крайней мѣрѣ, душа ты моя, — заленеталъ Обалдуй, широко раскрывъ объятія.

— Вишь, Езопъ изнѣженный, — презрительно отвѣтилъ Моргачъ, отгалкивая его локтемъ, и оба, нагнувшись, вошли въ низенькую дверь.

Слышанный мною разговоръ сильно возбудилъ мое любопытство. Ужъ не разъ доходили до меня слухи объ Яшкѣ-Туркѣ, какъ о лучшемъ пѣвцѣ въ округѣ, и вдругъ мнѣ представился случай услышать его въ состязаніи съ другимъ мастеромъ. Я удвоилъ шаги и вошелъ въ заведеніе.

Когда я вошелъ въ Притынный-Кабачокъ, въ немъ уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, какъ водится, почти во всю ширину отверстія, стоялъ Николай Ивановичъ, въ пестрой ситцевой рубахѣ, и, съ лѣнивой усмѣшкой на пухлыхъ щекахъ, наливалъ своей полной и бѣлой рукою два стакана вина вошедшимъ пріятелямъ, Моргачу и Обалдую; а за нимъ, въ углу, возлѣ окна, видѣлась его востроглазая жена. Посрединѣ комнаты стоялъ Яшка-Турокъ, худой и стройный человѣкъ лѣтъ двадцати-трехъ, одѣтый въ долгополый нанковый кафтанъ голубого цвѣта. Онъ смотрѣлъ удалымъ фабричнымъ малымъ и, казалось, не могъ похвастаться отличнымъ здоровьемъ. Его впаляя щеки, большіе, безпокойные сѣрые глаза, прямой носъ съ тонкими, подвижными ноздрями, бѣлый покатыи лобъ съ закинутыми назадъ свѣтло-русыми кудрями, крупныя, но красныя, выразительныя губы — все его лицо изобличало человѣка впечатлительнаго и страстнаго. Онъ былъ въ большомъ волненіи: мигалъ глазами, неровно дышалъ, руки его дрожали, какъ въ лихорадкѣ, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая такъ знакома всѣмъ людямъ, говорящимъ или поющимъ передъ собраніемъ. Подлѣ него стоялъ мужчина лѣтъ сорока, широкоплечій, широкоскулый, съ низкимъ лбомъ, узкими татарскими глазами, короткимъ и плоскимъ носомъ, четверугольнымъ подбородкомъ и черными, блестящими волосами, жесткими какъ щетина. Выраженіе

его смуглаго съ свинцовымъ отливомъ лица, особенно его блѣдныхъ губъ, можно было бы назвать почти свирѣпымъ, если бы оно не было такъ спокойно-задумчиво. Онъ почти не шевелился и только медленно поглядывалъ кругомъ, какъ быкъ изъ-подъ ярма. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то поношенный сюртукъ съ мѣдными, гладкими пуговицами; старый черный шелковый платокъ окутывалъ его огромную шею. Звали его Дикимъ-Баринѣмъ. Прямо противъ него, на лавкѣ подъ образами, сидѣлъ соперникъ Яшки — рядчикъ изъ Жиздры: это былъ невысокаго роста, плотный мужчина лѣтъ тридцати, рябой и курчавый, съ тупымъ вздернутымъ носомъ, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Онъ бойко поглядывалъ кругомъ, подсунувъ подъ себя руки, безпечно болталъ и постукивалъ ногами, обутыми въ щегольскіе сапоги съ оторочкой. На немъ былъ новыи, тонкій армякъ изъ сѣраго сукна съ плисовымъ воротникомъ, отъ котораго рѣзко отдѣлялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокругъ горла. Въ противоположномъ углу, направо отъ двери, сидѣлъ за столомъ какой-то мужичокъ въ узкой, изношенной свитѣ, съ огромной дырой на плечѣ. Солнечный свѣтъ струился жидкимъ желтоватымъ потокомъ сквозь запыленные стекла двухъ небольшихъ окошекъ и, казалось, не могъ побѣдить обычной темноты комнаты: всѣ предметы были освѣщены скупо, словно пятнами. Зато въ ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня съ плечъ, какъ только я переступилъ порогъ.

Мой приходъ — я это могъ замѣтить — сначала нѣсколько смутилъ гостей Николая Иваныча; но, увидѣвъ, что онъ поклонился мнѣ, какъ знакомому человеку, они успокоились и уже болѣе не обращали на меня вниманія. Я спросилъ себя пива и сѣлъ въ уголокъ, возлѣ мужика въ изорванной свитѣ.

— Ну, что жъ! — возопилъ вдругъ Обалдуй, выпивъ духомъ стаканъ вина и сопровождая свое восклицаніе тѣми странными размахиваніями рукъ, безъ которыхъ онъ, повидимому, не произносилъ ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать, такъ начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватилъ Николай Иванычъ.

— Начнемъ, пожалуй, — хладнокровно и съ самоувѣренной улыбкой промолвилъ рядчикъ: — я готовъ.

— И я готовъ, — съ волненіемъ произнесъ Яковъ.

— Ну, начинайте, ребята, начинайте, — пропищалъ Моргачъ.

— Какую же мнѣ пѣсню пѣть? — спросилъ рядчикъ, приходя въ волненіе.

— Какую хочешь, — отвѣчалъ Моргачъ. — Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь, — прибавилъ Николай Иванычъ, медленно складывая руки на груди. — Въ этомъ тебѣ указу нѣту. Пой, какую хочешь; да только пой хорошо; а мы ужъ потомъ рѣшимъ по совѣсти.

— Разумѣется, по совѣсти, — подхватилъ Обалдуй и полизалъ край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорилъ рядчикъ, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — рѣшилъ Дикій-Баринъ и потушился.

Рядчикъ подумалъ немного, встряхнулъ головой и выступилъ впередъ. Яковъ впился въ него глазами...

Рядчикъ закрылъ до половины глаза и запѣлъ высочайшимъ фальцетомъ. Голосъ у него былъ довольно пріятный и сладкій, хотя нѣсколько сиплый; онъ игралъ и вилялъ этимъ голосомъ, какъ юлою, безпрестанно заливался и переливался сверху внизъ и безпрестанно возвращался къ верхнимъ нотамъ, которыя выдерживалъ и вытягивалъ съ особеннымъ стараньемъ, умолкалъ, и потомъ вдругъ подхватывалъ прежній напѣвъ съ какой-то залихватской, заносистой удалю. Его переходы были иногда довольно смѣлы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствія; пѣмецъ пришелъ бы отъ нихъ въ негодованіе. Это былъ русскій *tenore di grazia*, *ténor léger*. Пѣлъ онъ веселую, плясовую пѣсню, слова которой, сколько я могъ уловить сквозь безконечныя украшенія, прибавленныя согласныя и восклицанія, были слѣдующія:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько:
Я поѣю, молода-молоденька,
Цвѣтика аленька.

Онъ пѣлъ; всѣ слушали его съ большимъ вниманьемъ. Онъ, видимо, чувствовалъ, что имѣетъ дѣло съ людьми свѣдущими, и потому, какъ говорится, просто лѣзъ изъ кожи. Дѣйствительно, въ нашихъ краяхъ знаютъ толкъ въ пѣніи, и не даромъ село Сергіевское, на большой орловской дорогѣ, славится во всей Россіи своимъ особенно пріятнымъ и согласнымъ напѣвомъ. Долго рядчикъ пѣлъ, не возбуждая слишкомъ сильнаго сочувствія въ своихъ слушателяхъ; ему недоставало поддержки хора; наконецъ, при одномъ особенно удачномъ переходѣ, заставившемъ улыбнуться самого Дикаго-Барина, Обалдуй не выдержалъ и вскрикнулъ отъ удовольствія. Всѣ встрепнулись. Обалдуй съ Моргачомъ начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо... Забирай, шельмецъ!.. Забирай, вытягивай, аспидъ! Вытягивай еще! Накалывай еще, собака ты этакая, песь!.. Погуби Иродъ твою душу!» и пр. Николай Ивановичъ изъ-за стойки одобрительно качалъ головой направо и налево. Обалдуй, наконецъ, затопалъ, засмѣнилъ ногами и задергалъ плечикомъ, — а у Якова глаза такъ и разгорѣлись, какъ уголья, и онъ весь дрожалъ, какъ листъ, и безпорядочно улыбался. Одинъ Дикій-Баринъ не измѣнился въ лицѣ и попрежнему не двигался съ мѣста; но взглядъ его, устремленный на рядчика, нѣсколько смягчился, хотя выраженіе губъ оставалось презрительнымъ. Ободренный знаками всеобщаго удовольствія, рядчикъ совсѣмъ завихрился, и ужъ такія началъ отдѣлывать завитушки, такъ защелкалъ и забарабанилъ языкомъ, такъ неистово заигралъ горломъ, что когда, наконецъ, утомленный, блѣдный и облитый горячимъ потомъ, онъ пустилъ, перекинувшись назадъ всѣмъ тѣломъ, послѣдній замирающій возгласъ, — общій, слитный крикъ отвѣтилъ ему неистовымъ взрывомъ. Обалдуй бросился ему на шею и началъ душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирномъ лицѣ Николая Ивановича выступила краска, и онъ словно помолодѣлъ; Яковъ, какъ сумасшедшій, закричалъ: «Молодецъ, молодецъ!» Даже мой сосѣдъ, мужикъ въ изорванной свитѣ, не вытерпѣлъ и, ударивъ кулакомъ по столу, воскликнулъ:

— А-га! хорошо, чортъ побери—хорошо!—и съ рѣшительностью плюнулъ въ сторону.

— Ну, братъ, потѣшилъ!—кричалъ Обалдуй, не выпуская изнеможеннаго рядчика изъ своихъ объятій. — Потѣшилъ, нечего сказать! Выигралъ, братъ,

выигралъ! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшкѣ до тебя далеко... Уже я тебѣ говорю: далеко... А ты мнѣ вѣрь! (И онъ снова прижалъ рядчика къ своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — съ досадой заговорилъ Моргачъ: — дай ему присѣсть на лавку-то; вишь, онъ усталъ!.. Экой ты фофанъ, братецъ, право, фофанъ! Что присталъ, словно банный листъ?

— Ну, что жъ, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказалъ Обалдуй и подошелъ къ стойкѣ. — На твой счетъ, братъ, — прибавилъ онъ, обращаясь къ рядчику.

Тотъ кивнулъ головой, сѣлъ на лавку, досталъ изъ шапки полотенце и началъ утирать лицо; а Обалдуй съ торопливой жадностью выпилъ стаканъ и по привычкѣ горькихъ пьяницъ, крикая, принялъ грустно-озабоченный видъ.

— Хорошо поешь, братъ, хорошо, — ласково замѣтилъ Николай Ивановичъ. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробѣй. Посмотримъ, кто кого; посмотримъ... А хорошо поетъ рядчикъ, ей Богу, хорошо.

— Очинна хорошо, — замѣтила Николая Ивановичева жена и съ улыбкой поглядѣла на Якова.

— Хорошо-га! — повторилъ вполголоса мой сосѣдъ.

— А, заворотень-полѣха! ¹⁾ — завопилъ вдругъ Обалдуй и, подойдя къ мужичку съ дырой на плечѣ, уставилъ на него пальцемъ, запрыгалъ и залился дребезжащимъ хохотомъ. — Полѣха! полѣха! Га, бадѣ панай ²⁾, заворотень? За чѣмъ пожаловалъ, заворотень? — кричалъ онъ сквозь смѣхъ.

Бѣдный мужикъ смутился и уже собрался было встать да уйти поскорѣй, какъ вдругъ раздался мѣдный голосъ Дикаго-Барина:

— Да что жъ это за несносное животное такое? — произнесъ онъ, скрипнувъ зубами.

— Я ничего, — забормоталъ Обалдуй: — я ничего... я такъ...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразилъ Дикій-Баринъ. — Яковъ, начинай! Яковъ взялся рукой за горло.

— Что, братъ, того... что-то... Гмъ... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робѣй. Стыдись!.. Чего вертишься?.. Пой, какъ Богъ тебѣ велитъ.

II Дикій-Баринъ потупился, выжидая.

Яковъ помолчалъ, взглянулъ кругомъ и закрылся рукой. Всѣ такъ и впились въ него глазами, особенно рядчикъ, у котораго на лицѣ, сквозь обычную самоувѣренность и торжество успѣха, проступило невольное, легкое безпокойство. Онъ прислонился къ стѣнѣ и опять положилъ подъ себя обѣ руки, но уже не болталъ ногами. Когда же, наконецъ, Яковъ открылъ свое лицо — оно было блѣдно, какъ у мертваго, глаза едва мерцали сквозь опущенныя рѣсницы. Онъ глубоко вздохнулъ и запѣлъ... Первый звукъ его голоса былъ слабъ и неровенъ и, казалось, не выходилъ изъ его груди, но принеся откуда-то издалека, словно залетѣлъ случайно въ комнату. Странно подѣйствовалъ этотъ тре-

¹⁾ Полѣхами называются обитатели южнаго Полѣсся, длинной лѣсной полосы, начинающейся на границѣ Болховскаго и Жиздринскаго уѣздовъ. Они отличаются многими особенностями въ образѣ жизни, правахъ и языкѣ. Заворотнями же ихъ зовутъ за подозрительный и тугой нравъ.

²⁾ Полѣхи прибавляютъ почти къ каждому слову восклицанія: „га!“ и „бадѣ“. — „Панай“ вмѣсто погоняй.

пещущій, звенищій звукъ на всѣхъ насъ; мы взглянули другъ на друга, а жена Николая Иваныча такъ и выпрямилась. За этимъ первымъ звукомъ послѣдовалъ другой, болѣе твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащій, какъ струна, когда, внезапно прозвенѣвъ подъ сильнымъ пальцемъ, она колеблется послѣднимъ, быстро замирающимъ колебаньемъ, за вторымъ — третій, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. «Не одна во полѣ дороженька пролегала» — пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, рѣдко слыхивалъ подобный голосъ: онъ былъ слегка разбитъ и звенѣлъ какъ надтреснутый; онъ даже сначала отзывался чѣмъ-то болѣзненнымъ; но въ немъ была и неподдѣльная, глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какал-то увлекательно-безпечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ, видимо, овладѣвало упоеніе; онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе — онъ дрожалъ, но той едва замѣтной внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся. Помнится, я видѣлъ однажды, вечеромъ, во время отлива, на плоскомъ песчаномъ берегу моря, грозно и тяжело шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, поставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья навстрѣчу знакомому морю, навстрѣчу низкому, багровому солнцу: я вспомнилъ о ней, слушая Якова. Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника и всѣхъ насъ, но, видимо, поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участиемъ. Онъ пѣлъ, и отъ cadaго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо-широкимъ, словно знакомая стѣна раскрывалась передъ вами, уходя въ безконечную даль. У меня, я чувствовалъ, закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы; глухія, сдержанныя рыданья внезапно поразили меня... я оглянулся — жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну. Яковъ бросилъ на нее быстрый взглядъ и залился еще звонче, еще слаще прежняго; Николай Иванычъ потупился, Моргачъ отвернулся; Обалдуй, весь разиженный, стоялъ, глупо разинувъ ротъ; сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой; и по желѣзному лицу Дикаго-Барина, изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчикъ поднесъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился... Не знаю, чѣмъ бы разбѣшилось всеобщее томленье, если бъ Яковъ вдругъ не кончилъ на высокомъ, необыкновенно тонкомъ звукѣ — словно голосъ у него оборвался. Никто не крикнулъ, даже не шевельнулся; всѣ какъ будто ждали, не будетъ ли онъ еще пѣть; но онъ раскрылъ глаза, словно удивленный нашимъ молчаньемъ, вопрошающимъ взоромъ обвелъ всѣхъ кругомъ и увидать, что побѣда была его...

— Яша, — проговорилъ Дикій-Баринъ, положилъ ему руку на плечо, и — смолкъ.

Мы всѣ стояли, какъ оцѣпенѣлые. Рядчикъ тихо всталъ и подошелъ къ Якову.

— Ты... твоя... ты выигралъ, — произнесъ онъ, наконецъ, съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Его быстрое, рѣшительное движеніе какъ будто нарушило очарованье: всѣ вдругъ заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнулъ кверху, залепеталъ, замахалъ руками, какъ мельница крыльями; Моргачъ, ковыляя, подошелъ къ Якову и сталъ съ нимъ цѣловаться; Николай Иванычъ приподнялся и торжественно объявилъ, что прибавляетъ отъ себя еще осьмуху пива; Дикій-Баринъ посмѣивался какимъ-то добрымъ смѣхомъ, котораго я никакъ не ожидалъ встрѣтить на его лицѣ; сѣрый мужичокъ то и дѣло твердилъ въ своемъ уголку, утирая обонми рукавами глаза, щеки, носъ и бороду: «А хорошо, ей Богу, хорошо; ну, вотъ, будь я собачій сынъ, хорошо!» А жена Николая Иваныча, вся раскраснѣвшаяся, быстро встала и удалилась. Яковъ наслаждался своей побѣдой, какъ дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза такъ и засіяли счастьемъ. Его потащили къ стойкѣ; онъ подозвалъ къ ней расплакавшагося сѣраго мужичка, послалъ цѣловальникова сынишку за рядчикомъ, котораго, однако, тотъ не сыскалъ, и начался ширъ.

— Ты еще намъ споешь, ты до вечера намъ пѣть будешь, — твердилъ Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще разъ взглянулъ на Якова и вышелъ. Я не хотѣлъ остаться: я боялся испортить свое впечатлѣніе.

И. Тургеневъ.

Дума сокола.

Долго ль буду я
Сиднемъ дома жить,
Мою молодость
Ни за что губить?
Долго ль буду я
Подъ окномъ сидѣть,
По дорогѣ вдаль
День и ночь глядѣть?
Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Всѣ заказаны?
Иль боится онъ
Въ чужихъ людяхъ быть,
Съ судьбой-мачехой
Самъ-собою жить?
Для чего жъ на свѣтъ
Глядѣть хочется,

Облетѣть его
Душа просится?
Иль зачѣмъ она,
Моя милая,
Здѣсь сидитъ со мной,
Слезы льетъ рѣкой?
Отъ меня летитъ,
Пѣсню мнѣ поетъ,
Все рукой манитъ,
Все съ собой зоветъ?
Нѣтъ, ужъ полно мнѣ.
Дома вѣкъ сидѣть,
По дорожкѣ вдаль
Изъ окна глядѣть!
Со двора пойду,
Куда путь манитъ,
А жить стану тамъ—
Гдѣ ужъ Богъ велитъ.

А. Кошцовъ.



К у б о к ъ.

БАЛЛАДА.

(Изъ Шплера.)

«Кто, рыцарь ли знатный или латникъ
простой
Въ ту бездну прыгнетъ съ вышины?
Бросаю мой кубокъ туда золотой:
Кто сыщеть во тѣмъ глубины
Мой кубокъ и съ нимъ возвратится
безвредно,
Тому онъ и будетъ наградой побѣдной». .
Такъ царь возгласилъ и съ высокой
скалы,

Висѣвшей надъ бездною морской,
Въ пучину бездонной, зіяющей мглы
Онъ бросилъ свой кубокъ златой.
«Кто, смѣлый, на подвигъ опасный
рѣшится?
Кто сыщеть мой кубокъ и съ нимъ
возвратится?»

Но рыцарь и латникъ недвижно
стоятъ;
Молчанье — на вызовъ отвѣтъ;
Въ молчаньи на грозное море глядять;
За кубкомъ отважнаго нѣтъ.
И въ третій разъ царь возгласилъ громо-
гласно:

«Отыщется ль смѣлый на подвигъ
опасный?»
И все безотвѣтны... Вдругъ пажъ
молодой

Смирненно и дерзко впередъ;
Онъ спялъ епанчу, спялъ поясъ онъ свой;
Ихъ молча на землю кладезь...
И дамы и рыцари мыслятъ, безгласны:
«Ахъ! юноша, кто ты? Куда ты, пре-
красный?»

И онъ подстунаетъ къ наклону скалы,
И взоръ устремилъ въ глубину...
Изъ чрева пучины бѣжали валы,
Шумя и гремя, въ вышину;
И волны спирались, и пѣна кипѣла:
Какъ будто гроза, наступая, ревѣла.

И востъ, и свищетъ, и бѣсть, и
шинить,

Какъ влага, мѣшаясь съ огнемъ,
Волна за волною; и къ небу летитъ
Дымящимся пѣна столбомъ;
Пучина бунтуется, пучина клокочетъ...
Не море ль изъ моря извергнуться хо-
четъ?

И вдругъ, успокоясь, волненье легло;
И грозно изъ пѣны сѣдой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощеннаго чрева;
И глубь застонала отъ грома и рева.

И онъ, упрямъ разъяренный приливъ,
Спасителя-Бога призывалъ...
И дрогнули зрители, все возопивъ...
Ужъ юноша въ безднѣ пропалъ.
И бездна таинственно зѣвъ свой закрыла:
Его не спасетъ никакая ужъ сила.

Надъ бездною утихло... Въ ней глухо
И каждый, очей отвести [шумитъ...
Не смѣя отъ бездны, печально твердить:
«Красавецъ отважный, прости!»
Все тише и тише на днѣ ея востъ...
И сердце у всехъ ожиданіемъ ноетъ...
Хоть брось ты туда свой вѣнецъ
золотой,

Сказавъ: кто вѣнецъ возвратитъ,
Тотъ съ нимъ и престолъ мой раз-
дѣлитъ со мной!

Меня твой престолъ не прельститъ.
Того, что скрываетъ та бездна пѣмая,
Ничья здѣсь душа не расскажетъ живая.
Не мало судовъ, закруженныхъ волной,
Глотала ея глубина:

Все мелкой назадъ вылетали щепой
Съ ея неприступнаго дна»...
Но слышится снова въ пучинѣ глубокой
Какъ будто роптанье грозы недалеко.

И востъ, и свищетъ, и бѣсть, и
шинить,

Какъ влага, мѣшаясь съ огнемъ,
Волна за волною; и къ небу летитъ

Дымящимся пѣна столбомъ...
И брызнулъ потокъ съ оглушительнымъ
ревомъ,
Извергнутый бездны зіяющимъ зѣвомъ.
Вдругъ... что-то сквозь пѣну сѣдой
глубины
Мелькнуло живой бѣлизной...
Мелькнула рука и плечо изъ волны...
И борется, спорить съ волной...
И видать — весь берегъ потрясся отъ
клича —
Онъ лѣвою править, а въ правой до-
быча.
И долго дышалъ онъ, и тяжело ды-
шалъ,
И Божій привѣтствовалъ свѣтъ...
И каждый съ весельемъ, «онъ живъ!» —
повторялъ. —
Чудеснѣ подвига нѣтъ!
Изъ темнаго гроба, изъ пропасти влажной
Спасъ душу живую красавецъ отважной». —
Онъ на берегъ вышелъ; онъ встрѣ-
ченъ толпой;
Къ царевымъ ногамъ онъ упалъ;
И кубокъ у ногъ положилъ золотой;
И дочери царь приказалъ:
Дать юношѣ кубокъ съ струей вино-
града;
И въ сладость была для него та на-
града.
«Да здравствуетъ царь! Кто живетъ
на землѣ,
Тотъ жизнью земной веселись!
Но страшно въ подземной таинственной
мглѣ...
И смертный предъ Богомъ смиришь:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, Имъ мудро отъ насъ со-
кровенной!
Стрѣлою стремглавъ полетѣлъ я туда...
И вдругъ мнѣ навстрѣчу потокъ;
Изъ трещины камня лилася вода;
И вихорь ужасный повлекъ
Меня въ глубину съ непонятною сплой...
И страшно меня тамъ кружило и било.
Но Богу молитву тогда я принесть,
И Онъ мнѣ спасителемъ былъ:

Торчащій изъ мглы я увидѣлъ утесъ
И крѣпко его обхватилъ;
Висѣлъ тамъ и кубокъ на вѣтви коралла:
Въ бездоннее влага его не умчала.
И смутно все было впизу подо мной
Въ пурпуровомъ сумракѣ тамъ;
Все спало для слуха въ той безднѣ
глухой;
Но видѣлось страшно очамъ,
Какъ двигались въ ней безобразныя
груды,
Морской глубины несказанныя чуды.
Я видѣлъ, какъ въ черной пучинѣ
кипять,
Въ громадный свиваяся клубъ:
И млатъ водяной, и уродливый скатъ,
И ужасъ морей однозубъ;
И смертью грозилъ мнѣ, зубами сверкая,
Мокой ненасытнѣй, гѣна морская.
И былъ я одинъ съ неизбежной судь-
бой,
Отъ взора людей далеко;
Одинъ межъ чудовищъ съ любящей
душой,
Во чревѣ земли, глубоко,
Подъ звукомъ живымъ человѣчьяго
слова,
Межъ страшныхъ жильцовъ подземелья
пѣмова.
И я содрогался... вдругъ слышу:
ползеть
Стоногое грозно изъ мглы,
И хотеть схватить, и разинулся ротъ...
Я въ ужасѣ прочь отъ скалы!..
То было спасеньемъ: я схваченъ при-
ливомъ
И выброшенъ вверхъ водомета поры-
вомъ». —
Чудесенъ рассказъ показался царю:
«Мой кубокъ возьми золотой;
Но съ нимъ я и перстень тебѣ подарю,
Въ которомъ алмазъ дорогой,
Когда ты на подвигъ отважишься снова
И тайны всѣ дна перескажешь мор-
скаго». —
То слыша, царица съ волненьемъ
въ груди,

Краснѣя, царю говорить:
— Довольно, родитель! его пощади!
Подобное кто совершитъ?
И если ужъ должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младава.—
Но царь, не внимая, свой кубокъ
златой

Въ пучину швырнулъ съ высоты:
«И будешь здѣсь рыцарь любимѣйшій
мой,

Когда съ нимъ воротиться ты;
И дочь моя, нынѣ твоя предо мною
Заступница, будетъ твоею женою».
Въ немъ жизнью небесной душа за-
жжена;

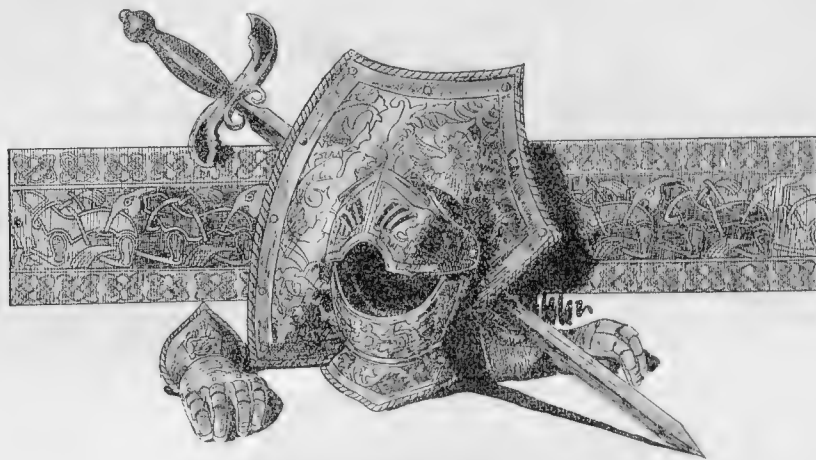
Отважность сверкнула въ очахъ;

Онъ видитъ: краснѣетъ, блѣднѣетъ она
Онъ видитъ: въ ней жалость и страхъ...
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель онъ кинулся въ
волны...

Утихнула бездна... и снова шумить...
И пѣною снова полна...
И съ трепетомъ въ бездну царевна гля-
дитъ...

И бѣетъ за волною волна...
Приходить, уходитъ волна быстро-
течно...
А юноши нѣтъ и не будетъ ужъ
вѣчно.

В. Жуковский.



Перчатка.

повѣсть.

(Изъ Шиллера.)

Передъ своимъ звѣринцемъ,
Съ баронами, съ наслѣднымъ прин-
цемъ,
Король Францискъ сидѣлъ;
Съ высокаго балкона онъ глядѣлъ
На поприще, сраженья ожидая;
За королемъ, обворожая
Цвѣтущей прелестію взглядъ,
Придворныхъ дамъ являлся пышный
рядъ.
Король далъ знакъ рукою —

Со стукомъ растворилась дверь:
И грозный звѣрь
Съ огромной головою,
Косматый левъ
Выходитъ;
Кругомъ глаза угрюмо водить;
И вотъ, все оглядѣвъ,
Наморщилъ лобъ съ осанкой горде-
ливой,
Пошевелилъ густою гривой,
И потянулся, и зѣвнулъ,

И легъ. Король опять рукой махнулъ—
Затворъ желѣзной двери грянулъ,
И смѣлый тигръ изъ-за рѣшетки пря-
нулъ;

Но видѣть льва, робѣеть и реветъ,
Себя хвостомъ по ребрамъ бьетъ,
И крадется, косяся взглядомъ,
И лижетъ морду языкомъ,
И, обошедши льва кругомъ,
Рычитъ и съ нимъ ложится рядомъ.
И въ третій разъ король махнулъ
рукой—

Два барса дружною четой
Въ одинъ прыжокъ надъ тигромъ очу-
тились;

Но онъ ударъ имъ тяжелой лапой далъ,
А левъ съ рыканьемъ всталъ...
Они смирились,
Оскаливъ зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

И гости ждутъ, чтобъ битва началась.
Вдругъ женская съ балкона сорвалася
Перчатка... всѣ глядятъ за ней...
Она упала межъ звѣрей.
Тогда на рыцаря Делоржа съ лице-
мѣрной

И колкою улыбкою глядитъ
Его красавица и говоритъ:
«Когда меня, мой рыцарь вѣрной,
Ты любишь такъ, какъ говоришь,
Ты мнѣ перчатку возвратишь».
Делоржъ, не отвѣчавъ ни слова,
Къ звѣрямъ идетъ,
Перчатку смѣло онъ беретъ,
И возвращается къ собранью снова.
У рыцарей и дамъ при дерзости
такой

Отъ страха сердце помутилось;
А витязъ молодой,
Какъ будто ничего съ нимъ не случи-
лось,

Спокойно входитъ на балконъ;
Рукоплесканьемъ встрѣченъ онъ;
Его привѣтствуютъ красавицыны
взгляды...

Но, холодно принявъ привѣтъ ея очей,
Въ лицо перчатку ей
Онъ бросилъ и сказалъ: «Не требую
награды».

В. Жуковский.

Плѣнный рыцарь.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы.
Синее небо отсюда мнѣ видно:
Въ небѣ играютъ все вольныя птицы;
Глядя на нихъ, мнѣ и больно и стыдно.

Нѣтъ на устахъ моихъ грѣшной молитвы,
Нѣту ни пѣсни во славу любезной;
Помню я только старинныя битвы,
Мечъ мой тяжелый да панцырь желѣзный.

Въ каменный панцырь я нынѣ закованъ,
Каменный шлемъ мою голову давитъ,
Щитъ мой отъ стрѣлъ и меча заколдованъ,
Конь мой бѣжитъ, и никто имъ не правитъ.

Быстрое время—мой конь неизмѣнный,
Шлема забрало—рѣшотка бойницы,
Каменный панцырь—высокія стѣны,
Щитъ мой—чугунныя двери темницы.

Мчись же быстрѣе, летучее время!
Душно подь новой броней мнѣ стало!
Смерть, какъ прїдемъ, поддержитъ мнѣ стремя;
Слѣзу и сдерну съ лица я забрало.

М. Лермонтовъ.



Выборъ жениха¹⁾.

Вотъ съ наступленіемъ дня пригласилъ царь Бима на выборъ
Всѣхъ своихъ знаменитыхъ гостей. Собралися въ обширной
Царской палатѣ цари и царевичи; взоры ихъ жаркой
Жадной любви пламенѣли; они прошли сквозь золотыя
Своды высокихъ дверей, какъ львы сквозь разсѣлину; въ блескѣ
Свѣжихъ душистыхъ вѣнковъ, въ серьгахъ драгоценныхъ сидѣли
Тамъ величавые гости на пышныхъ, упругихъ подушкахъ;
Тѣсно ихъ сонмище было, какъ львиная грива густая;
Полная жъ ими палата казалась разинутымъ зѣвомъ
Тигра, полнымъ зубовъ. И было тутъ чѣмъ любоваться:
Крѣпкія бедра, какъ будто столбы, литые изъ мѣди,
Сильныя мышцы и плечи, какъ будто могучіе дубы,
Съ гибкими пальцами руки, какъ змѣи съ нѣтью головами,
Гордые шеи, свѣтлымъ гранитнымъ зубцамъ на вершинахъ
Горныхъ подобныя, въ блескѣ прекрасныхъ, весельемъ горящихъ
Лицъ и пышныхъ волосъ, и высокихъ бровей, и огнистыхъ

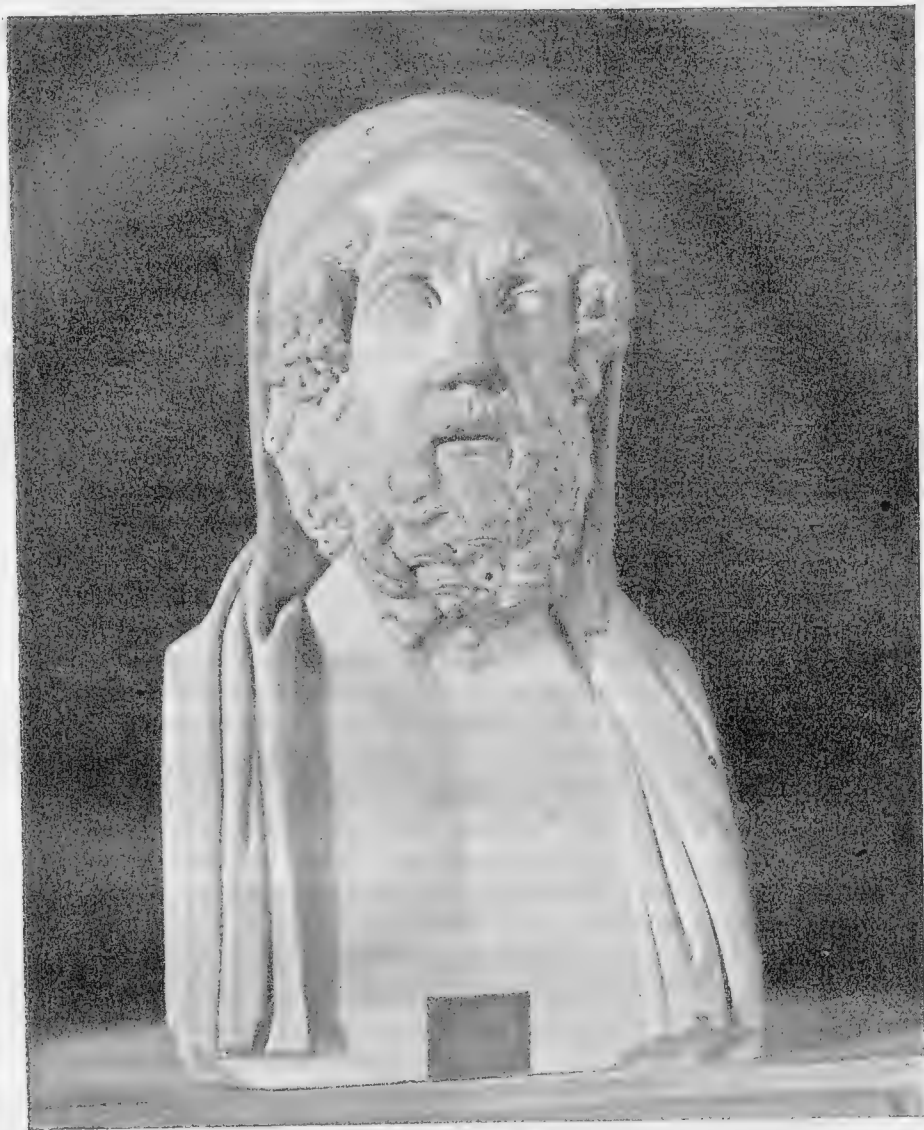
¹⁾ Это стихотвореніе взято изъ поэмы „Наль и Дамаянти“, составляющей часть древней индійской поэмы „Магабгарата“. Наль—царь индійскаго царства Нишадскаго. Дамаянти—дочь Бимы, царя Видарбскаго.

Глазъ. И въ собраніе гостей вошла Дамаянти, чтобъ умъ ихъ
Взглядомъ однимъ помутить, чтобъ глаза и сердца ихъ опутать
Сътью любви. И всѣ къ ней очами прильнули, какъ птицы
Къ клейкой охотничьей жерди. Долго кругомъ Дамаянти
Взоръ свой водила; но тотъ, кто одинъ былъ и въ сердцѣ, и мысляхъ,
Ей не являлся. Вдругъ видитъ царевна пять одинакихъ
Образовъ; были они передъ нею; то къ ней приближались,
То отъ нея отходили; и каждый ей представлялся
Наемъ, какъ скоро глаза на него она обращала;
Мысли ея помутились. Она подумала: «Что мнѣ
Дѣлать? Какъ четырехъ боговъ отличу я отъ Наля?»
Взоры ея напрасно божественныхъ знаковъ искали.
«Знаковъ, о коихъ дошли къ намъ издревле сказанья, не носить
Здѣсь на себѣ ни одинъ изъ видимыхъ мною», царевна
Думала. Вотъ, наконецъ, по долгомъ съ собой размышленіи,
Такъ рѣшилась она: «Къ богамъ подойду я съ молитвой;
Боги молитвы моей не отринуть». И съ вѣрой смиренной,
Руки сложивъ и къ грудямъ богомольно прижавъ ихъ, царевна
Такъ сказала: «Боги безсмертные, боги святые,
Мною избраннаго, сердцемъ желаннаго мнѣ покажите;
Если предъ вами я дѣломъ и мыслию правду хранила,
Если молюся вамъ съ теплою вѣрою, если вы сами
Мнѣ, ужъ избраннаго мною самою, въ супруги избрали,
Если его я любить поклѣлася, и если должны быть
Клятвы священны, то мнѣ вы его покажите, благіе
Боги, и знаки свои мнѣ откройте, чтобъ васъ я почитала».
Столь сердечную жалобу слыша изъ устъ Дамаянти,
Видя ея чистоту и любовь и покорность ихъ волѣ,
Видя правдивость ея и кроткое сердце и свѣтлый
Умъ, согласились немедля ея желанье исполнить
Боги, и приняли знаки свои. Тогда Дамаянти
Ихъ во мгновение узнала по зорко-спокойному оку,
Лицамъ безпотнымъ, свѣтло-нетлѣннымъ вѣнкамъ, недоступнымъ
Пыли бѣлымъ одеждамъ, безтѣнному тѣлу и дивной
Легкости быстрыхъ движеній, съ какою они передъ нею
Вѣяли съ мѣста на мѣсто, земли не касаясь ногами.
Рядомъ съ ними, полуотѣненный, въ вѣнкѣ ужъ завядшемъ,
Пылью и потомъ покрытый, стоялъ на землѣ, съ помраченнымъ,
Грустно потупленнымъ взоромъ, задумчивый Наль. Дамаянти
Вызвала тотчасъ его изъ середины безсмертныхъ и выборъ
Свой изъявила обычнымъ обрядомъ, смиренно коснувшись
Края одежды его и на кудри ему наложивши
Свѣжій душисто-блестящій вѣнокъ. Совершился великій
Выборъ: со всѣхъ сторонъ раздалися торжественно клики;
Всѣ цари и царевичи, мужи святые и боги,
Выборъ одобrivъ, воскликнули: *Слава!* счастливому Налю.
Онъ же, полный блаженства любви, своей нареченной,

Робко краснѣющей, очи склонившей, дрожащей невѣстѣ
Такъ сказалъ съ трепетаніемъ сердца, но голосомъ твердымъ:
«Если могла при безсмертныхъ богахъ ты смертнаго мужа
Такъ почтить, Дамаянти, то слушай: тебя я
Самъ предъ людьми и богами своею женой именую,
Весь на цѣлую жизнь отдаюся тебѣ, и доколѣ
Будетъ духъ жизни въ тѣлѣ моемъ, дотолѣ, о дѣва,
Роза Видарбы, я буду твоимъ: мое общанье
Съ вѣрой прими, на меня положишь; отнынѣ тебя я
Буду питать, защищать и чтить и хранить, и останусь
Вѣренъ тебѣ всегда, во всемъ, и словомъ и дѣломъ,
Радость и горе, богатство и бѣдность, и все неизмѣнно
Въ жизни съ тобой раздѣляя». Обѣтъ такой произнесши,
Свѣтлый женихъ передъ всѣми своей лучезарной невѣстѣ
Далъ цѣломудренно первый любви поцѣлуй; и другъ другомъ
Долго въ блаженствѣ нѣмомъ любовались они; напоследокъ,
Вспомнивъ, что боги близко, и царь, и царица предъ ними
Пали съ молитвой; и боги скрѣпили своей благодатью
Бракъ ихъ; податели всякаго блага, они даровали
Налю четыре великія силы: могучій властитель
Воздуха далъ ему зоркость очей съ способностью въ каждомъ
Мѣстѣ просторъ находить и вездѣ освѣжаться прохладой;
Богъ огня даровалъ обладанье огнемъ и возможность
Видѣть безъ ужаса блескъ мірозданья; правитель земныя
Тверди далъ твердую поступь, чтобъ былъ для него безопасенъ
Всякій путь по землѣ, и тонкій вкусъ для разбора
Пищи; владыка воды наградилъ могуществомъ воду
Всюду творить и цвѣты рождать единымъ желаньемъ.
Такъ одаривши царя, и царицѣ всѣ четверо вмѣстѣ
Дали одно общанье: что брака ихъ радостью будутъ
Сынъ, какъ отецъ, и дочь, какъ мать, прекрасныя. Милость
Имъ изъявивши такую, боги сокрылись; за ними
Велѣдъ и цари и царевичи, выборъ невѣсты одобривъ,
Въ путь обратный пустились. Царь Бима, увидя, что схлынулъ
Этотъ приливъ гостей, устроилъ свадебный праздникъ.

В. Жуковский.





Гомеръ.

Прощаніе Гектора съ Андромахой¹⁾.

(Изъ „Иліады“ Гомера.)

... Гекторъ стремительно изъ дому вышелъ
Презней дорогой назадъ, по красностроеннымъ стогнамъ.
Онъ приближался уже, протекая обширную Трою,
Къ Скейскимъ воротамъ (черезъ нихъ былъ выходъ изъ города въ поле).
Тамъ Андромаха, супруга, бѣгущая въ встрѣчу, предстала,
Отрасль богатаго дома, прекрасная дочь Гетіона:

¹⁾ Гекторъ—сынъ троянскаго царя Приама; Андромаха—его супруга. Троя или Иліонъ—древній городъ въ Малой Азіи, разрушенный греками послѣ продолжительной осады. Гекторъ прощается, отправляясь въ бой съ греками передъ городскими стѣнами.

Сей Гетіонъ обиталъ при подошвахъ лѣсистаго Плака¹⁾,
Въ Ойвахъ Плакійскихъ, мужей киликійскъ властитель державный,
Онаго дочь сочеталась съ Гекторомъ мѣдподоспѣшнымъ.
Тамъ предстала супруга; за нею одна изъ прислужницъ
Сына у персей держала, безсловаго вовсе младенца,
Плодъ ихъ единый, прелестный, подобный звѣздѣ лучезарной.
Гекторъ его называлъ Скамандріемъ; граждане Трои —
Астіанаксомъ: единый бо Гекторъ защитой былъ Трои.
Тихо отецъ улыбнулся, взглянувши на сына безмолвный.
Подлѣ него Андромаха стояла, ллющая слезы;
Руку пожала ему и такія слова говорила:
«Мужъ удивительный, губишь тебя твоя храбрость! Ни сына
Ты не жалѣешь, младенца, ни бѣдной матери; скоро
Буду вдовой я, несчастная! Скоро тебя аргивяне,
Вмѣстѣ напавъ, умертвятъ! А тобою покинутой, Гекторъ,
Лучше мнѣ въ землю сойти: никакой мнѣ не будетъ отрады,
Если, постигнутый рокомъ, меня ты оставишь: удѣлъ мой —
Горести! Нѣтъ у меня ни отца, ни матери нѣжной!
Старца, отца моего, умертвилъ Ахиллесъ быстроногій
Въ день, какъ и градъ разорилъ киликійскихъ народовъ цвѣтушій,
Ойвы высоковоротныя. Самъ онъ убилъ Гетіона,
Но не смѣлъ обнажить: устрасался нечестія сердцемъ;
Старца онъ предалъ сожженію вмѣстѣ съ оружіемъ пышнымъ,
Создалъ надъ прахомъ могилу, и окрестъ могилы той улымы
Нимфы холмовъ насадили, Зевеса²⁾ великаго дщери.
Братья мои однородные — семь оставалось ихъ въ домѣ —
Всѣ, и въ единый день, переселились въ обитель Анда³⁾:
Всѣхъ злополучныхъ избилъ Ахиллесъ, быстроногій ристатель,
Въ стадѣ застигнувъ тяжелыхъ тельцовъ и овецъ бѣлорунныхъ.
Матерь мою, при долинахъ дубравнаго Плака царицу,
Плѣнницей въ станъ свой привлекъ онъ съ другими добычами брани,
Но даровалъ ей свободу, принявъ неисчислимый выкупъ;
Феба⁴⁾ жъ и матеръ мою поразила въ отеческомъ домѣ!
Гекторъ, ты все мнѣ теперь: и отецъ, и любезная матеръ,
Ты и братъ мой единственный, ты и супругъ мой прекрасный!
Сжался же ты надо мною и съ нами останься на башнѣ,
Сына не сдѣлай ты спрымъ, супруги не сдѣлай вдовою.
Воинство наше поставь у смоковницы: тамъ наипаче
Городъ приступенъ врагамъ, и восходъ на твердыню удобенъ;
Трижды туда приступая, на градъ покушались герои:
Оба Аякса могучіе, Идомеи знаменитый,
Оба Атрея сыны⁵⁾ и Тидидъ, дерзновеннѣйшій воинъ:

1) Гора въ греческомъ городѣ Ойвахъ.

2) Зевесъ или Зевсъ — главный богъ грековъ.

3) Андъ — главный богъ подземнаго царства.

4) Феба — Діана, богиня луны и охоты.

5) Сыны Атрея — Агамемнонъ, царь Арголіды, и Менелай, царь Спарты.

Вѣрно, о томъ имъ сказать прорицатель какой-либо мудрый,
Или, быть-можетъ, самихъ устремляло ихъ вѣщее сердце». Ей отвѣчалъ знаменитый, шеломомъ сверкающій Гекторъ:
«Все и меня то, супруга, не меньше тревожить; но страшный
Стыдъ мнѣ предъ каждымъ троянцемъ и длинноодежной троянкой,
Если, какъ робкій, останусь я здѣсь, удаляясь отъ боя.
Сердце мнѣ то запретить; научился быть я безстрашнымъ,
Храбро, всегда межъ троянами первыми, биться на битвахъ,
Доброй славы отцу и себѣ самому добывая.
Твердо я вѣдаю самъ, убѣждаясь и мыслью, и сердцемъ:
Будетъ нѣкогда день, и погибнетъ священная Троя,
Съ нею погибнетъ Пріамъ и народъ копыеносца Пріама.
Но не столько меня сокрушаетъ грядущее горе
Трои, Пріама родителя, матери дряхлой Гекубы,
Горе тѣхъ братьевъ возлюбленныхъ, юношей многихъ и храбрыхъ,
Кои полягутъ во прахъ подъ руками враговъ разъяренныхъ—
Сколько твое! какъ тебя аргивянинъ, мѣдью покрытый,
Слезы лющую, въ плѣнъ повлечетъ и похитить свободу:
И, невольница, въ Аргосѣ¹⁾ будешь ты ткать чужеземкѣ,
Воду носить отъ ключей Мессенса или Гипперей
Съ ропотомъ горькимъ въ душѣ, но заставить жестокая нужда!
Лющую слезы—тебя кто-нибудь тамъ увидитъ и скажетъ:
«Гектора это жена, превышавшаго храбростью въ битвахъ
Всѣхъ конеборцевъ троянъ, какъ сражался вдругъ Иліона!»
Скажетъ—и въ сердцѣ твоёмъ пробудится новая горестъ:
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитилъ бы отъ рабства!
Но да погибну и буду засыпанъ я перстью землею,
Прежде чѣмъ плѣнъ твой увижу и жалобный вопль твой услышу!»
Рекъ—и сына обнять устремился блистательный Гекторъ;
Но младенецъ назадъ, пышноризою кормилицы къ лону
Съ крикомъ припалъ, усташась любезнаго отчаго вида,
Яркою мѣдью испуганъ и гребень увидѣвъ косматый,
Грозно надъ шлемомъ отца всколебавшійся конскою гривой.
Сладко любезный родитель и нѣжная мать улыбнулись.
Шлемъ съ головы немедля снимаетъ божественный Гекторъ,
Наземъ кладетъ его пышноблестящій и, на руки взявши
Милаго сына, цѣлуетъ, качаетъ его и, поднявши,
Такъ говорить, умолая и Зевса и прочихъ безсмертныхъ:
«Зевсъ и безсмертные боги! О, сотворите, да будетъ
Сей мой возлюбленный сынъ, какъ и я, знаменитъ среди гражданъ,
Такъ же и силою крѣпокъ, и въ Троѣ да царствуетъ мощно.
Пусть о немъ нѣкогда скажутъ, изъ боя идущаго вида:
«Онъ и отца превосходитъ! И пусть онъ съ кровавой корыстью
Входитъ, враговъ сокрушитель, и радуется матери сердцу!»
Рекъ—и супругъ любезной на руки онъ полагаетъ

¹⁾ Главный городъ Арголіды.



Прощание Гектора съ Андромахой. Съ барельефа Торвальдссена.

Милаго сына; его къ благовонному лону прижала
Мать, улыбаясь сквозь слезы. Супругъ умилился душевно,
Обнялъ ее и, рукою ласкающей, такъ говорилъ ей:
«Добрая! сердце себѣ не круши неумѣренной скорбью.
Противъ судьбы меня человекъ не пошлетъ къ Андесу;
Но судьбы, какъ я мню, не избѣгъ ни одинъ земнородный
Мужъ, ни отважный, ни робкій, какъ скоро на свѣтъ онъ родится.
Шествуй, любезная, въ домъ, озаботься своими дѣлами:
Тканьемъ, пражей займися, приказывай женамъ домашнимъ
Дѣло свое исправлять; а война мужей озаботитъ
Всѣхъ, наиболѣе жъ меня, въ Иліонѣ священномъ рожденныхъ».
Рѣчи окончивши, поднялъ съ земли бронеблещущій Гекторъ
Гривистый шлемъ, и пошла Андромача безмолвная къ дому,
Часто назадъ озираясь, слезы ручьемъ проливая.
Скоро достигла она устроениемъ славнаго дома
Гектора мужегубителя; въ ономъ служительницъ многихъ,
Собранныхъ вмѣстѣ, нашла и къ плачу ихъ всѣхъ возбудила:
Всѣ о живомъ еще Гекторѣ плакали въ Гектора домѣ.

Гнѣдичъ.



Аврора. Съ картины *Гвидо Рени*.

Пиръ у царя Алкиноя ¹⁾.

(Изъ „Одиссеи“ Гомера.)

Встала изъ мрака младая съ перстами пурпурными Эось ²⁾—
Мирный покинула сонъ Алкиноева сила святая;
Всталъ и божественный мужъ Одиссей, городовъ сокрушитель.
Царь Алкиной многовластный повелъ знаменитаго гостя
На площадь, гдѣ невдали кораблей феакійцы сбирались.
Сѣли, пришедши, на гладко-обтесанныхъ камняхъ другъ съ другомъ
Рядомъ они. Той порою Паллада Аѳина ³⁾ по улицамъ града,
Въ образъ облекшись, глашатая царскаго, быстро ходила;

¹⁾ Алкиной—царь феакійцевъ, на островѣ Схеріи, куда попалъ Одиссей во время своихъ странствованій послѣ взятія Трои.

²⁾ Богиня зари, иначе Аврора.

³⁾ Богиня мудрости, наукъ и искусствъ, покровительствовавшая Одиссею.

Сердцемъ заботясь* о скоромъ возвратѣ домой Одиссея,
Къ каждому встрѣчному ласково рѣчь обращала богиня:
«Вы, феакійскіе люди, вожди и владыки, скорѣе
На площадь всѣ соберитесь, дабы иноземца, который
Въ домъ Алкиной премудраго прибылъ вчера, тамъ увидѣть:
Бурей къ намъ брошенный, Богу онъ образомъ свѣтлымъ подобенъ».
Такъ говоря, возбудила она любопытное рвеніе
Въ каждомъ, и скоро наполнилась площадь народомъ; и сѣли
Всѣ по мѣстамъ. Съ удивленьемъ великимъ они обращали
Взоръ на Лаэрта сына ¹⁾; ему красотой несказанной
Плечи одѣла Паллада, главу и лицо озарила,
Станъ возвеличила, сдѣлала тѣло плотнѣе, дабы онъ
Могъ приобрѣсть отъ людей феакійскихъ пріязнь и вселить въ нихъ
Трепетъ почтительный, мужеской силой на играхъ, въ которыхъ
Имъ испытать надлежало его, отличась предъ народомъ.
Всѣ собралися они, и собраніе сдѣлалось полнымъ.
Тутъ, обратясь къ нимъ, царь Алкиной произнесъ: «Приглашаю
Выслушать слово мое васъ, людей феакійскихъ, дабы я
Высказать могъ вамъ все то, что велитъ мнѣ разсудокъ и сердце.
Гость иноземный—его я не знаю; бездомно скитаясь,
Онъ отъ восточныхъ народовъ сюда или отъ западныхъ прибылъ—
Молить о томъ, чтобъ ему помогли мы достигнуть отчизны.
Мы, сохраняя обычай, молящему гостю поможемъ;
Ибо еще ни одинъ чужеземецъ, мой домъ посѣтившій,
Долго здѣсь, плача, не ждалъ, чтобъ его я услышалъ молитву.
Должно спустить на священныя воды корабль чернобокій,
Въ море еще не ходившій; потомъ изберемъ пятьдесятъ два
Самыхъ отважныхъ межъ лучшими здѣсь молодыми гребцами;
Весла къ скамьямъ прикрѣпивъ корабельнымъ, пускай соберутся
Въ царскихъ палатахъ они и поспѣшно себѣ на дорогу
Вкусный обѣдъ приготовить; я всѣхъ ихъ къ себѣ приглашаю.
Такъ отъ меня объявите гребцамъ молодымъ; а самихъ васъ,
Скиптродержавныхъ владыкъ и судей, я прошу въ мой пространный
Домъ, чтобъ со мною, какъ слѣдуетъ, тамъ угостить иноземца;
Всѣхъ васъ прошу, отказаться невластенъ никто; позовите
Также пѣвца Демодока: даръ пѣсней пріять отъ боговъ онъ
Дивный, чтобъ все воспѣвать, что въ его пробуждается сердце».
Кончивъ, пошелъ впередъ онъ; за нимъ всѣ судьи и владыки
Скиптродержавные; звать Понтоной побѣждалъ Демодока.
Скоро по волѣ царя пятьдесятъ два гребца, на отлогомъ
Брегѣ безплодносоленого моря собравшися, вмѣстѣ
Къ ждавшему ихъ на пескѣ кораблю подошли, совокупиной
Силою черныи корабль на священныя сдвинули воды,
Подняли мачты, устроили всѣ корабельныя снасти,
Въ крѣпкоременныя петли просунули длинныя весла,

¹⁾ Одиссей былъ сынъ Лаэрта.

Должнымъ порядкомъ потомъ паруса утвердили. Отведши Легкій корабль на открытое взморье, они собралися Всѣ во дворцѣ Алкиноя, царемъ приглашенные. Скоро Всѣ переходы палатъ и дворы, и притворы народомъ Сдѣлались полны—тамъ были и юноши, были и старцы. Жирныхъ двѣнадцать овецъ, двухъ быковъ криворогихъ и восемь Остроклычистыхъ свиней Алкиной повелѣлъ имъ зарѣзать; Ихъ ободравъ, изобильный обѣдъ приготовили гости. Тою порой съ знаменитымъ пѣвцомъ Понтоной возвратился; Муза ¹⁾ его при рожденіи зломъ и добромъ одарила: Очи затмила его, даровала за то сладкопѣнье. Стулъ среброкованный подалъ пѣвцу Понтоной, и на немъ онъ Сѣлъ предъ гостями, спиной прислонясь къ колоннѣ высокой. Лпу слѣнца на гвоздѣ надъ его головою повѣсивъ, Къ ней прикоснуться рукою ему—чтобъ ее могъ найти онъ— Далъ Понтоной, и корзину съ ѣдою принесъ, и подвинулъ Столъ и вина приготовилъ, чтобъ пить онъ, когда пожелаетъ. Подняли руки они къ предложенной имъ пищѣ; когда же Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкимъ питьемъ и ѣдою, Муза внушила пѣвцу возгласить о вождахъ знаменитыхъ, Выбравъ изъ пѣсни, въ то время вездѣ до небесъ возносимой, Повѣсть о храбромъ Ахиллѣ и мудромъ царѣ Одиссѣй, Какъ между ними однажды на жертвенномъ пирѣ великомъ Распря въ ужасныхъ словахъ загорѣлась, и какъ веселился Въ духѣ своемъ Агамемнонъ враждой знаменитыхъ ахеянъ ²⁾: Знаменьемъ добрымъ ему ту вражду предсказалъ Аполлоновъ Въ храмѣ Пнѣйскомъ оракулъ ³⁾, когда черезъ каменный прагъ онъ Бога спросить перешелъ—а случилось то въ самомъ началѣ Бѣдствій, ниспосланныхъ богомъ боговъ ⁴⁾ на троянъ и данаевъ ⁵⁾. Началъ великую пѣснь Демодокъ; Одиссей же, своею Сильной рукою широкопурпурную мантию взявши, Голову ея облекъ и лицо благородное скрылъ въ ней. Слезъ онъ своихъ не хотѣлъ показать феакійцамъ. Когда же, Пѣнье прервавъ, сладкогласный на время умолкъ пѣснопѣвецъ, Слезы отерши, онъ мантию снялъ съ головы и, наполнивъ Кубокъ двудонный виномъ, совершилъ возліянье безсмертнымъ. Снова запѣлъ Демодокъ, отъ внимавшихъ ему феакіянъ, Гласомъ его очарованныхъ, вызванный къ пѣнью вторично; Голову мантией снова облекъ Одиссей, прослезаяся.

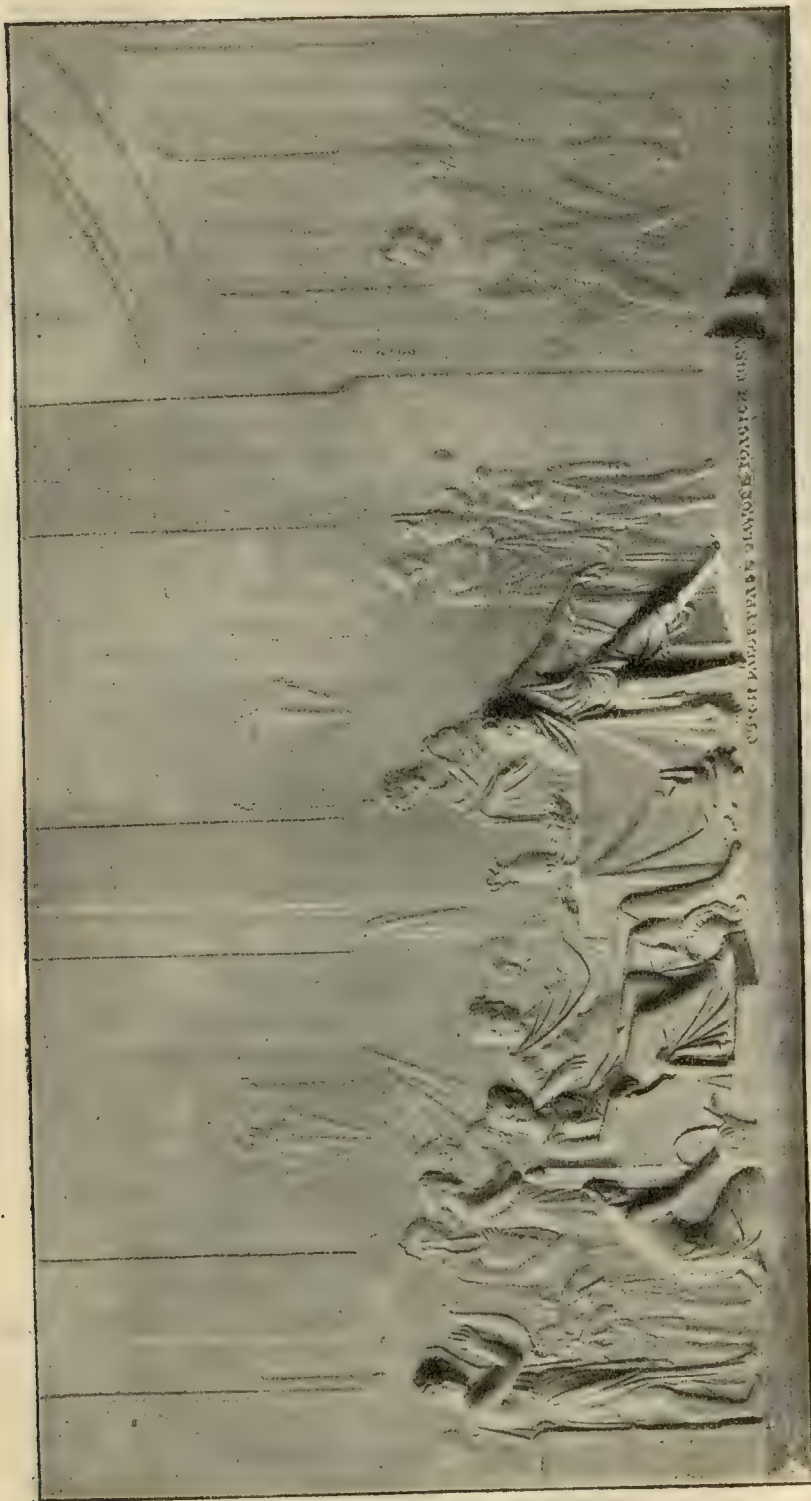
1) Музы—богини наукъ и искусствъ.

2) Господствовавшее въ древнее время племя грековъ.

3) Оракулъ—прорицатель. Особенной славой у древнихъ грековъ пользовался оракулъ въ городѣ Дельфахъ, въ Пнѣйскомъ храмѣ, устроенномъ въ честь бога Аполлона.

4) Зевсомъ—главнымъ богомъ древнихъ грековъ.

5) Европейскихъ грековъ; одно изъ сильнѣйшихъ племенъ ихъ, по преданію, происходило отъ Даная, выходца изъ Египта.



Плачъ Одиссея во время пѣнія Демодока. Съ барельефа Ф. П. Толстого.

Были другими его незамѣчены слезы, но мудрый
Царь Алкиной ихъ замѣтилъ и понялъ причину ихъ, сидя
Близъ Одиссея и слыша скорбящаго тяжкіе вздохи.
Опѣ фѣакіанамъ вестолубивымъ сказалъ: «Приглашаю
Выслушать слово мое вась, судей и вельможъ фѣакійскихъ;
Душу свою насладили довольно мы вкусно-обильной
Пищей и звуками лиры, подруги пировъ сладкогласной;
Время отсюда пойти намъ и въ мужескихъ подвигахъ крѣпость
Силы своей оказать, чтобъ нашъ гость, возвратясь, домашнимъ
Могъ возвѣстить, сколь другихъ мы людей превосходимъ въ кулачномъ
Боѣ, въ борьбѣ утомительной, въ прыганьи, въ бѣгѣ проворномъ».
Кончивъ, поспѣшно пошелъ впереди онъ, за нимъ всѣ другіе.
Звонкую лиру принявъ и повѣсивъ на гвоздь, Демодока
За руку взялъ Понтоной и изъ залы пиршественной вывелъ;
Велѣдъ за другими, ведя пѣснопѣвца, пошелъ онъ, чтобъ видѣть
Игры, въ которыхъ хотѣли себя отличить фѣакійцы.
На площадь всѣ собралися; толпой многочисленно-шумной
Тамъ окружилъ ихъ народъ. Благородные юноши къ бою
Вышли изъ сонма его: Акроней, Окіаль, съ Элатреемъ,
Навтій, Примней, Анхіаль, Эретмей съ Анабазіоменомъ;
Съ ними явились Понтей, Прореонъ и Феоопъ съ Амфіаломъ,
Сыномъ Политія, внукомъ Тектона; присталъ напоследокъ
Къ нимъ и молодой Эвріаль, Навболидъ, равносильный Арю ¹⁾:
Всѣхъ фѣакіанъ затмилъ бы чудесной своей красотой онъ,
Если бъ его самого не затмилъ Лаодамъ безпорочный.
Къ нимъ подошли, наконецъ, Лаодамъ, Галіонтъ съ богоравнымъ
Клитонеономъ—три бодрые сына царя Алкиноя.
Первые въ бѣгѣ себя испытали они. Устремившись
Съ мѣста того, на которомъ стояли, пустилися разомъ,
Пыль подымая, они черезъ поприще: всѣхъ былъ проворнѣй
Клитонеонъ благородный—какую по свѣжему полю
Борозду плугомъ два мула проводятъ, настолько оставивъ
Братьевъ своихъ позади, возвратился онъ первый къ народу.
Стали другіе въ борьбѣ многотрудной испытывать силу:
Всѣхъ Эвріаль одолѣлъ, превзошедши искусствомъ и лучшихъ.
Въ прыганьи былъ Анхіаль побѣдителемъ. Тяжкого диска
Легкимъ бросаньемъ отъ всѣхъ Эретмей отличился. Въ кулачномъ
Боѣ взялъ верхъ Лаодамъ, сынъ царя Алкиноя прекрасный.
Тутъ, какъ у всѣхъ ужъ довольно насытилось играми сердце,
Къ юношамъ рѣчь обративши, сказалъ Лаодамъ, Алкиноевъ
Сынъ: «Не прилично ли будетъ спросить намъ у гостя, въ какихъ онъ
Играхъ способенъ себя отличить? Онъ не низкаго роста,
Голени, бедра и руки его преисполнены силы,
Шея его жиливата, онъ мышцами крѣпокъ; годами
Также не старъ; но превратности жизни его изнурили.

¹⁾ Богъ войны.

Итъ ничего, утверждаю, сильнѣй и губительнѣй моря;
 Крѣпость и самого бодраго мужа оно сокрушаетъ». —
 «Умнымъ, — сказалъ, отвѣчая на то, Эвриалъ Лаодаму, —
 Кажется мнѣ предложеніе твое, Лаодамъ благородный.
 Самъ подойди къ иноземному гостю и сдѣлай свой вызовъ». —
 Сынъ молодой Алкиноя, слова Эвриала услышавъ,
 Вышелъ впередъ и сказалъ, обратясь къ царю Одиссею:
 «Милости просимъ, отецъ-иноземецъ; себя покажи намъ.
 Въ играхъ, въ какихъ ты искусенъ — но вѣрно во всѣхъ ты искусенъ —
 Бодрому мужу ничто на землѣ не дастъ столь великой
 Славы, какъ легкія ноги и крѣпкія мышцы, яви же
 Силу свою намъ, изгнавъ изъ души всѣ печальныя думы.
 Путь для тебя ужъ теперь не далекъ; ужъ корабль быстроходный
 Съ берега сдвинуть, и наши готовы къ отплытію люди.
 Кончилъ. Ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитроумный:
 «Другъ, не обидѣть ли хочешь меня ты своимъ предложеніемъ?
 Мнѣ не до игръ; на душѣ несказанное горе; довольно
 Бѣдъ испыталъ и не мало великихъ трудовъ перенесъ я;
 Нынѣ жъ, крушимый тоской по отчизнѣ, сижу передъ вами,
 Васъ и царя умоляя помочь мнѣ въ мой домъ возвратиться». —
 Но Эвриалъ Одиссею отвѣтствовалъ съ колкой насмѣшкой:
 «Странникъ, я вижу, что ты не подобинься людямъ, искуснымъ
 Въ играхъ, однимъ лишь могучимъ атлетамъ приличныхъ; конечно,
 Ты изъ числа промышленныхъ людей, обтекающихъ море
 Въ многovesельныхъ своихъ корабляхъ для торговли, о томъ лишь
 Мысля, чтобъ, сбывъ свой товаръ и опять корабли нагрузивши,
 Болѣ нажить барыша: но съ атлетомъ ты вовсе не сходишь». —
 Мрачно взглянувъ неподобья, сказалъ Одиссей благородный:
 «Слово обидно твое; человекъ ты, я вижу, злоумный.
 Боги не всякаго всѣмъ надѣляютъ; не каждый имѣетъ
 Вдругъ и плѣнительный образъ, и умъ, и могущество слова;
 Тотъ по наружному виду вниманія мало достоинъ —
 Прелестью рѣчи за то одаренъ отъ боговъ; веселятся
 Люди, смотря на него, говорящаго съ мужествомъ твердымъ
 Или съ привѣтливой кротостью; онъ — украшеніе собраній;
 Бога въ немъ видятъ, когда онъ проходитъ по улицамъ града.
 Тотъ же, напротивъ, безсмертнымъ подобенъ лица красотою,
 Прелести жъ бѣдное слово его никакой не имѣетъ,
 Такъ и твоя красота безпорочна, тебя и Зевесъ бы
 Краше не создалъ; зато не имѣешь ты здраваго смысла.
 Милое сердце въ груди у меня возмутилъ ты своею
 Дерзкою рѣчью. Но я не безопытенъ, долженъ ты вѣдать,
 Въ мужескихъ играхъ; изъ первыхъ бывалъ я въ то время, когда мнѣ
 Свѣжая младость и крѣпкія мышцы служили надежно.
 Нынѣ жъ мои отъ трудовъ и печалей истрачены силы;
 Видѣлъ не мало я браней и долга среди бѣдоносныхъ
 Странствовалъ водъ, но готовъ я себя испытать и лишенный

Силъ; оскорбленъ я твоимъ безразсудно-ругательнымъ словомъ». Такъ отвѣчавъ, поднялся онъ и, мантию съ плечъ не сложивши, Камень схватилъ—онъ огромнѣй, плотнѣй и тяжелѣ всѣхъ дисковъ. Брошенныхъ прежде людьми феакійскими, былъ; и сразмаха Кинулъ его Одиссей, жилистую руку напругши; Камень, жужжа, полетѣлъ; и подъ нимъ до земли головами Веселюбивые, смѣлые гости морей, феакійцы Всѣ наклонились; а онъ далеко черезъ всѣ перемчался Диски, легко улетѣвъ изъ руки; и Аенна подъ видомъ Старца, отыгравши знакомъ его, Одиссею сказала: «Странникъ, твой знакъ и слѣпой различить безъ ошибки, осяпавъ. Просто рукою; лежитъ онъ отдѣльно отъ прочихъ, гораздо Далѣе всѣхъ ихъ. Ты въ этомъ бою побѣдилъ; ни одинъ здѣсь Камня ни далѣ, ни такъ же далеко, какъ ты, не способенъ Бросить». Отъ словъ сихъ веселье проникло во грудь Одиссея. Радуюсь тѣмъ, что ему хотъ одинъ благосклонный въ собраньи Былъ судя, съ обновленной душой онъ сказалъ предстоявшимъ: «Юноши, прежде добросьте до этого камня; за вами Брошу другой я и столь же далеко, быть-можетъ и далѣ. Пусть всѣ другіе, кого побуждаетъ отважное сердце, Выйдутъ и сдѣлаютъ опытъ; при всѣхъ оскорбленный, я нынѣ Всѣхъ васъ на бой рукопашный, на бѣгъ, на борьбу вызываю; Съ каждымъ сразиться готовъ я—съ однимъ не могу Лаодамомъ: Гость я его—подыму ли на друга любящаго руку? Тотъ неразуменъ, тотъ пользы своей различать не способенъ, Кто на чужой сторонѣ съ дружелюбнымъ хозяиномъ выйти Вздумаетъ въ бой; несомнѣнно, себѣ самому повредитъ онъ. Но межъ другими никто для меня не презрителенъ, съ каждымъ Радъ я схватиться, чтобъ силу мою, грудь на грудь, испытать съ нимъ. Знайте, что я ни въ какомъ не безопытенъ мужескомъ боѣ. Гладкимъ лукомъ и самымъ тугимъ я владѣю свободно; Первой стрѣлой поражу я на выборъ противника въ тѣсномъ Сонмѣ враговъ, хотъ кругомъ бы меня и товарищей много Было и мѣткую каждый стрѣлу на врага бы нацѣлилъ. Только однимъ Филоктетомъ бывалъ я всегда побѣждаемъ Въ Троѣ, когда мы, ахейцы, тамъ, споря, изъ лука стрѣляли. Но утверждаю, что въ этомъ искусствѣ со мной ни единый Смертный, себя насыщающій хлѣбомъ, сравниться не можетъ; Я не дерзнулъ бы, однако, бороться съ героями древнихъ Лѣтъ, ни съ Пракломъ¹⁾ ни съ Эвритомъ²⁾, мѣткимъ стрѣлкомъ эхалійскимъ; Спорить они и съ богами въ искусствѣ своемъ не страшились; Эвритъ великій погибъ оттого; не достигъ онъ глубокой Старости въ домѣ семейномъ своемъ; раздраживъ Аполлона

¹⁾ Геркулесъ—древнѣйшій греческій герой, обладавшій огромной силой.

²⁾ Эвритъ—царь греческаго города Эхалин (въ Фессаліи), по баснословнымъ сказаніямъ, былъ необыкновенный стрѣлокъ изъ лука.

Вызовомъ въ бой святотатнымъ, онъ изъ лука имъ былъ застрѣленъ.
Далѣ копьемъ я достигнуть могу, чѣмъ другіе стрѣлю;
Можетъ случиться, однако, что кто изъ людей феакійскихъ
Въ бѣгѣ меня побѣдитъ: окруженный волнами, я силы
Всѣ истощилъ, на невѣрномъ плоту не вкушая столь долго
Пищи, покоя и сна; и мои всѣ разрушены члены». —
Такъ онъ сказалъ; всѣ кругомъ неподвижно хранили молчанье.
По Алкиной, возражая, отвѣтствовалъ такъ Одиссею:
«Странникъ, ты словомъ своимъ не обидѣть насъ хочешь; ты только
Всѣмъ показать намъ желаешь, какая еще сохранилась
Крѣпость въ тебѣ; ты разгнѣванъ безумцемъ, тебя оскорбившимъ
Дерзкой насмѣшкой—за то ни одинъ, говорить здѣсь привыкшій
Съ здравымъ разсудкомъ, ни въ чемъ не помыслить тебя опорочить.
Выслушай слово, однако, мое со вниманьемъ, чтобъ послѣ
Дома его повторить при друзьяхъ благородныхъ, когда ты,
Сидя съ женой и дѣтми за веселой семейной трапезой,
Вспомнишь о доблестяхъ нашихъ и тѣхъ дарованьяхъ, какія
Намъ отъ отцовъ благодатью Зевеса достались въ наслѣдство.
Мы, я скажу, ни въ кулачномъ бою, ни въ борьбѣ не отличны;
Быстры ногами за то несказанно и первые въ морѣ;
Любимъ обѣды роскошныя, пѣніе, музыку, пляску,
Свѣжестъ одеждъ, сладострастныя бани и мягкое ложе.
Но пригласите сюда плясуну въ феакійскихъ; зову я
Самыхъ искусныхъ, чтобъ гость нашъ, увидя ихъ, могъ, возвратясь
Въ домъ свой, тамъ всѣмъ рассказать, какъ другихъ мы людей превосходимъ
Въ плаваньи по морю, въ бѣгѣ проворномъ и въ пляскѣ и въ пѣньи.
Пусть принесутъ Демодокъ его звонкогласную лиру;
Гдѣ-нибудь въ нашихъ просторныхъ палатахъ ее онъ оставилъ». —
Такъ Алкиной говорилъ, и глашатай, его исполняя
Волю, поспѣшно пошелъ во дворецъ за желаемой лирой.
Судьи, въ народѣ избранные, девять числомъ, на средину
Поприща, строгіе въ играхъ порядка блюстители, вышли,
Мѣсто для пляски уладили, поприще сдѣлали шире.
Тою порой изъ дворца возвратился глашатай, и лиру
Подавъ пѣвцу; предъ собранье онъ выступилъ; справа и слѣва
Стали цвѣтушіе юноши, въ легкой искусные пляскѣ.
Топали въ мѣру ногами подъ пѣсню они; съ наслажденьемъ
Легкость сверкающихъ ногъ замѣчать Одиссей и дивился.
Лирой гремя сладкозвучною, пѣлъ Демодокъ вдохновенный
Пѣснь о прекраспокудрявой Кипридѣ¹⁾ и богѣ Арѣ.
Въ сердцѣ, внимая ему, Одиссей веселился, и съ нимъ веселились
Веселюбивые, смѣлые гости морей, феакійцы.
Но Алкиной повелѣлъ Галіонту вдвоемъ съ Лаодамомъ
Пляску начать: въ ней не могъ превосходствомъ никто побѣдить ихъ.
Мячъ разноцвѣтный, для нихъ руководѣльнымъ Полибемъ сшитый,

¹⁾ Богиня красоты и любви.

Взявъ, Лаодамъ съ молодымъ Галіонтомъ на ровную площадь
Вышли; закинувши голову, мячъ къ облакамъ темно-свѣтлымъ
Бросилъ одинъ; а другой разбѣжался и, прыгнувъ высоко,
Мячъ на лету подхватилъ, до земли не коснувшись ногами.
Легкимъ бросаньемъ меча въ высоту отличась предъ народомъ,
Начали оба по гладкому лону земли плодоносной
Быстро плясать; и затопали юноши въ мѣру ногами,
Стоя кругомъ, и отъ топота ногъ ихъ вся площадь гремѣла.
Долго смотрѣвъ, напоследокъ сказалъ Одиссей Алкиною:
«Царь Алкиной, благороднѣйшій мужъ изъ мужей феакійскихъ,
Ты похвалился, что пляскою съ вами никто не сравнится;
Правда твоя; то глазами я видѣлъ; безмѣрно дивлюся». —
Такъ онъ сказавъ, возбудилъ Алкиноеву силу святую.
Царь феакіанамъ веселюбивымъ сказалъ: «Приглашаю
Выслушать слово мое васъ, судей и владыкъ феакійскихъ;
Разумъ великій имѣеть, я вижу, нашъ гость иноземный;
Должно ему, какъ обычай велитъ, предложить намъ подарки;
Областью нашею правятъ двѣнадцать владыкъ знаменитыхъ,
Праведно-строгихъ судей; я тринадцатый, главный. Пусть каждый
Чистое верхнее платье съ хитономъ и съ полнымъ талантомъ
Золота нашему гостю въ подарокъ назначить обычный.
Все повелите сюда принести и своими руками
Страннику сдайте, чтобъ весель онъ былъ за трапезою нашей.
Ты жъ, Эвриаль, удовлетвори его, передъ нимъ повинившись,
Давъ и подарокъ: его оскорбилъ неприличнымъ ты словомъ». —
Такъ онъ сказалъ, изъявили свое одобренье другіе;
Каждый глашатай въ домъ свой послалъ, чтобъ подарки принесъ онъ.
Но Эвриаль, повинувся, отвѣтствовалъ такъ Алкиною:
«Царь Алкиной, благороднѣйшій мужъ изъ мужей феакійскихъ,
Я удовольствую гостя, желанье твое исполняю.
Мѣдный свой мечъ съ рукоятію серебряной въ новыхъ
Чудной работы ножнахъ изъ слоновья кости охотно
Дамъ я ему, и, конечно, онъ даръ мой высоко оцѣнитъ». —
Такъ говоря, сереброванный мечъ свой онъ снялъ и возвысилъ
Голосъ и бросилъ крылатое слово Лаэртovu сыну:
«Радуйся, добрый отецъ иноземецъ! И если сказалъ я
Дерзкое слово, пусть вѣтеръ его унесетъ и развѣетъ;
Ты же, хранимый богами, да скоро увидишь супругу,
Въ домъ возвратися по долгопечальной разлукѣ съ семьею». —
Кончилъ; ему отвѣчая, сказалъ Одиссей хитроумный:
«Радуйся также и ты, и, хранимый богами, будь счастливъ.
Въ сердцѣ жъ своемъ никогда не раскайся, что мнѣ драгоцѣнный
Мечъ подарилъ свой, повиннымъ меня удовольствовавъ словомъ». —
Такъ отвѣчавъ, сереброванный мечъ на плечо онъ повѣсилъ.
Солнце зашло; всѣ богатые собраны были подарки;
Ихъ поспѣшили глашатаи въ домъ отнести Алкиноевъ:
Тамъ сыновья Алкиной владыки, принявши подарки,

Отдали матери ихъ, многоумной царицѣ Аретѣ.
Царь же повелъ знаменитаго гостя со всѣми другими
Въ домъ свой, и сѣли, пришедши, они на возвышенныхъ креслахъ.
Тутъ, обратясь къ царицѣ Аретѣ, сказалъ благородный
Царь: «Принеси намъ, жена, драгоценнѣйшій самый цзъ многихъ
Нашихъ ковчеговъ, въ него положивши и верхнее платье
Съ тонкимъ хитономъ. Поставьте котелъ на огонь, вскипятите
Воду, чтобъ гость нашъ омылся и, всѣ осмотрѣвши подарки,
Имъ полученные здѣсь отъ людей феакійскихъ, былъ веселъ,
Съ нами сядя за вечерней трапезой и пѣнью внимая.
Я же еще драгоценный кувшинъ золотой на прощаньи
Дамъ, чтобъ, меня вспоминая, онъ могъ изъ него ежедневно
Дома творить возліянье Зевсу и прочимъ безсмертнымъ».
Такъ онъ сказалъ, и царица Арета велѣла рабынямъ
Яркій огонь разложить подъ огромнымъ котломъ троеножнымъ.
Тотчасъ котелъ троеножный на яркомъ огнѣ былъ поставленъ.
Налили воду въ котелъ и усилили хворостомъ пламя;
Чрево сосуда оно обхватило, вода закипѣла.
Тою порою Арета, прекрасный ковчегъ изъ покоевъ
Внутреннихъ вынесла гостю; въ ковчегъ положила подарки,
Золото, ризы и все, что ему феакійскіе мужи
Дали; сама жъ къ нимъ прибавила верхнее платье съ хитономъ.
Кончивъ, она Одиссею крылатое бросила слово:
«Кровлей накрывъ и тесьмою опутавъ ковчегъ, завяжи ты
Узелъ, чтобъ кто на дорогѣ чего не похитилъ, покуда
Будешь покоиться сномъ ты, пlying въ кораблѣ чернобокомъ».
То Одиссей богоравный, въ бѣдахъ постоянный, услышавъ,
Кровлей накрывъ и тесьмою опуталъ ковчегъ и искусный
Узелъ (какъ былъ наученъ хитроумной Цирцею ¹⁾) сдѣлалъ.
Тутъ пригласила его домовитая ключница въ баню
Члены свои оживить омовеньемъ; и теплой купальнѣ
Радъ былъ испытанный мужъ Одиссей, той улады лишенный
Съ самыхъ тѣхъ поръ, какъ покинулъ жилище Калипсы ²⁾, въ которомъ
Нимфы ему, какъ безсмертному богу, служили. Когда же
Тѣло омыла ему и слеемъ натерла рабыня,
Легкій надѣвши хитонъ и богатой облекшись хламидой,
Вышелъ онъ свѣжій изъ бани и къ пьющимъ гостямъ въ пировую
Залу вступилъ. Павзкая царица, богиня красою,
Подлѣ столба, потолокъ подпиравшаго залы, стояла.
Взоръ изумленный подыавъ на прекраснаго гостя, царица
Голосъ возвысила свой и крылатое бросила слово:
«Радуйся, странникъ, но, въ милую землю отцовъ возвратися,
Помни меня; ты спасеніемъ встрѣчѣ со мною обязанъ».

¹⁾ Богиня—чародѣйка, жившая, по сказаніямъ грековъ, на одномъ островѣ. У нея прожилъ Одиссей цѣлый годъ.

²⁾ Нимфа, жившая на островѣ Огиліа; у нея Одиссей прожилъ 7 лѣтъ.

Юной царевнѣ отвѣтствовалъ такъ Одиссей многоумный:
 «О, Навзикая, прекраснѣйшая дочь Алкиноя,
 Если мнѣ Пры ¹⁾ супругъ, громоносный Кроніонъ, дозволить
 Въ домѣ отеческомъ сладостный день возвращенья увидѣть,
 Буду тамъ помнить тебя и тебѣ ежедневно, какъ Богу,
 Сердцемъ молиться: спасеніемъ встрѣчѣ съ тобой я обязанъ».
 Такъ отвѣчавъ ей, на креслахъ онъ сѣлъ близъ царя Алкиноя.
 Было ужъ роздано мясо; ужъ чаши виномъ наполнялись.
 Тою порой возвратился глашатай съ пѣвцомъ Демодокомъ,
 Чтимымъ въ народѣ. Пѣвецъ посреди свѣтлозданной палаты
 Сѣлъ предъ гостями, синіи прислонившись къ колоннѣ высокой.
 Полную жира хребтовую часть острозубаго вепря
 Взявши съ тарелки своей (для себя же оставя тамъ болѣ),
 Царь Одиссей многославный сказалъ, обратясь къ Понтопою:
 «Эту почетную часть изготовленной вкусно веприны
 Дай Демодокъ; его и печальный я чту несказанно.
 Всѣмъ на обильной землѣ обитающимъ людямъ любезны,
 Всѣмъ высоко честимы пѣвцы; ихъ сама научила
 Пѣнію Муза; ей мило пѣвцовъ благородное племя».
 Такъ онъ сказалъ и проворно отнесъ отъ него Демодокъ
 Мясо глашатай; пѣвецъ благодарно даяніе принялъ.
 Подняли руки они къ приготовленной пищѣ; когда же
 Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкимъ питьемъ и ѣдою,
 Такъ, обратясь къ Демодокъ, сказалъ Одиссей хитроумный:
 «Выше всѣхъ смертныхъ людей я тебя, Демодокъ, поставляю;
 Музою, дочерью Діа ²⁾, иль Фебомъ ³⁾ самимъ наученный,
 Все ты поешь по порядку, что было съ ахейцами въ Троѣ,
 Что совершили они и какія бѣды претерпѣли;
 Можно подуматъ, что самъ былъ участникъ всему иль отъ вѣрныхъ
 Все очевидцевъ узналъ ты. Теперь о конѣ деревянномъ,
 Чудномъ Энеоса съ помощью дѣвы Паллады созданный,
 Спой намъ, какъ въ городъ онъ былъ хитроумнымъ введенъ Одиссеемъ,
 Полный вождей, напоследокъ святой Иліонъ сокрушившихъ.
 Если объ этомъ понестишь все намъ, какъ было, споешь ты,
 Буду тогда передъ всѣми людьми повторять повсемѣстно
 Я, что божественнымъ пѣніемъ боги тебя одарили».
 Такъ онъ сказалъ и запѣлъ Демодокъ, преполненный бога:
 Началъ съ того онъ, какъ всѣ на своихъ корабляхъ крѣпкозданныхъ
 Въ море отплыли данаи, предавши на жертву пожару
 Брошенный станъ свой, какъ первые мужи изъ нихъ съ Одиссеемъ
 Были оставлены въ Троѣ, замкнутые въ конской утробѣ,
 Какъ напоследокъ коню Иліонъ отворили тройне.
 Въ градѣ стоялъ онъ; кругомъ, нерѣшимыя въ мысляхъ, сидѣли

¹⁾ Пра или Гера—супруга Зевса, богиня земли. Кроніонъ—Зевсъ, сынъ Кроноса (бога времени).

²⁾ Зевса.

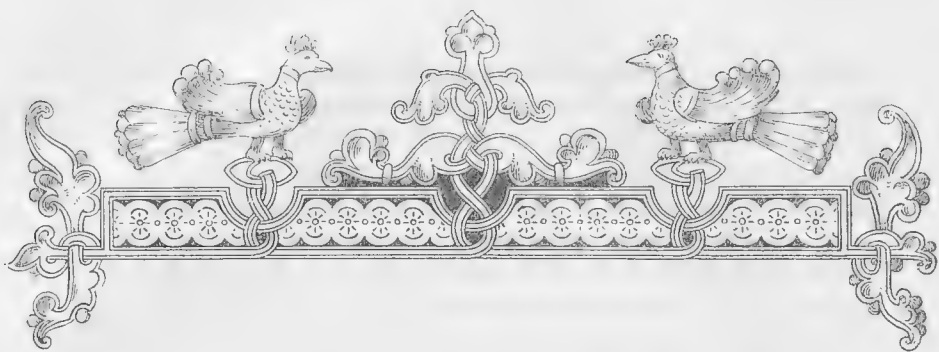
³⁾ Богъ солнца, наукъ и искусствъ, иначе Аполлонъ.

Люди троянскіе; было межъ ними троякое мнѣніе:
Или губительной мѣдой громаду пронзить и разрушить,
Или, ее докативши до замка, съ утеса низвергнуть,
Или оставить среди Иліона мирительной жертвой
Вѣчнымъ богамъ: на послѣднее всѣ согласились, понеже
Было судьбой рѣшено, что падеть Иліонъ, отворивши
Стѣны коноу, гдѣ ахейцы избранные будутъ скрываться,
Черную участь и смерть приготовивъ троянамъ враждебнымъ.
Послѣ воспѣлъ онъ, какъ мужи ахейскіе въ градъ ворвались,
Чрево коня отворивъ и изъ темнаго выбѣжавъ склепа;
Какъ разъяренные, каждый по-своему, градъ разоряли,
Какъ Одиссей къ Деифобову дому, подобный Арею,
Бросился вмѣстѣ съ божественно-грознымъ въ бою Менелаемъ.
Тамъ истребительный бой (продолжалъ пѣснопѣвецъ) возжегши,
Онъ, наконецъ, побѣдилъ, подкрѣпленный великой Палладой.
Такъ объ ахейнахъ пѣлъ Демодокъ; несказанно растроганъ
Былъ Одиссей, и рѣсницы его орошались слезами.
Такъ сокрушенная плачетъ вдовица надъ тѣломъ супруга,
Падшаго въ битвѣ упорной у всѣхъ впереди передъ градомъ,
Силясь отъ дня рокового спасти согражданъ и семейство,
Видя, какъ онъ содрогается въ смертной борьбѣ и, прижавшись
Грудью къ нему, злополучная стонетъ; враги же нещадно
Древками копій ее по плечамъ и хребту поражая,
Бѣдную въ плѣнъ увлекаютъ на рабство и долгое горе;
Тамъ отъ печали и плача ланиты ея увядаютъ.
Такъ отъ печали текли изъ очей Одиссеевыхъ слезы.

В. Жуковскій.



Аида присуждаетъ Одиссею вооруженіе Ахиллеса. Съ барельефа *Торвальдсена*.



Сватовство.

1.

По вешнему по складу
Мы пѣсню завели,
Ой, ладо, диди-ладо,
Ой, ладо, лель-люли!

2.

Повѣдай, пѣсня паша,
На весь на русскій край,
Что мѣсяцевъ всѣхъ краше
Веселый мѣсяцъ май!

3.

Въ лѣсахъ, въ поляхъ отрада,
Всѣ вербы расцвѣли,
Ой, ладо, диди-ладо,
Ой, ладо, лель-люли!

4.

Затѣмъ такъ бодръ и веселъ
Владимиръ, старый князь,
На подлокотни кресель
Сидить облокотясь.

5.

И съ нимъ, блестя нарядомъ,
Въ красть сѣдыхъ кудрей,
Сидитъ княгиня рядомъ
За пряжей за своей.

6.

Кружась, жужжитъ и пляшетъ
Ея веретено,
Черемухою пашетъ
Въ открытое окно.

7.

И тутъ же молодья,
Потупившія взглядъ,

Двѣ дочери княжія
За пальцами сидятъ.

8.

Сидятъ онѣ такъ тихо,
И взоры въ ткань ушли,
Въ груди жъ поется лихо:
Ой, ладо, лель-люли!

9.

И вовсе имъ не шьется,
Хоть иглы изломай!
Такъ сильно сердце бьется
Въ веселый мѣсяцъ май!

10.

Когда жъ беретъ изъ мочки
Княгиня волокно,
Убравкой обѣ дочки
Косятся на окно.

11.

Но вотъ, забывъ о пряжѣ,
Княгиня молвитъ вдругъ:
— Смотри, два гостя, княже,
Подѣхали самъ-другъ;

12.

Съ коней спрыгнули смѣло
У самого крыльца—
Узнать я не успѣла
Ни платья, ни лица.

13.

А князь смѣется:—Знаю!
Пусть входятъ молодцы;
Не дальняго, чай, краю
Залетные птенцы!

14.

И вотъ ихъ входитъ двое,
Въ лохмотьяхъ и тряпьяхъ,
Съ пеньковой бородою,
Въ пеньковыхъ волосахъ.

15.

Вошедши, на икону
Крестятся въ красный кутъ,
А послѣ по поклону
Хозяевамъ кладутъ.

16.

Князь проситъ ихъ садиться,
Онъ хитрость ихъ проникъ,
Заранѣ веселится
Обману ихъ старикъ.

17.

Но онъ обычай знаетъ
И рѣчь заводитъ самъ:
— Отколѣ, — вопрошаетъ, —
Пожаловали къ намъ?

18.

— Мы, княже-господине,
Мы съ моря рыбаки;
Сейчасъ завязли въ тинѣ
Среди Диѣпра-рѣки;

19.

Двухъ рыбокъ златопѣрыхъ
Хотѣли мы поймать,
Да спрятались въ кокорахъ,
Пришлось подождать.

20.

Но князь на это:—Братя,
Неправда, ей-же-ей!
Не мокры ваши платья,
И съ вами пѣтъ сѣтей!

21.

Диѣпра жъ свѣтлы стреминны,
Чиста его вода,
Не видано въ немъ тины
Отъ вѣку никогда!

22.

На это гости:—Княже,
Коль мы не рыбаки,

Пожалуй, скажемъ глаже:
Мы брыньскіе стрѣлки!

23.

Стрѣляемъ звѣрь да птицы
По дебрямъ по лѣснымъ,
А нонѣ двѣ кунницы
Пушистыя слѣдимъ;

24.

Трущобой шли да дромомъ,
Досель удачи нѣтъ,
До насъ къ твоимъ херомамъ.
Двойной приводитъ слѣдъ!

25.

А князь на это:—Что вы!
Трущобой вы не шли,
Лохмотья ваши новы
И даже не въ пыли!

26.

Кунницъ же бьютъ зимою,
А нонѣ мѣсяцъ май,
За звѣрью за иною
Пришли ко мнѣ вы, чай!

27.

— Ну, княже,—молвятъ гости,
Тебя не обмануть!
Такъ скажемъ ужъ попроси,
Кто мы такіе суть:

28.

Мы бѣдные калики,
Мы старцы-гусяры,
Но пѣть не горемыки,
Гдѣ только есть пиры;

29.

Мы скрозь отъ Новаграда
Сюда съ припѣвомъ шли:
— Ой, ладо, диди-ладо,
Ой, ладо, лель-люли!

30.

И если бы двѣ свадьбы
Затѣялъ ты сыграть,
Мы стали распѣвать бы
Да струны разбирать!

31.

— Вотъ это,—князь отвѣтилъ,—
Другой выходить стихъ:
Но гуслей не замѣтилъ
При васъ я никакнхъ!

32.

А что съ припѣвомъ шли вы
Севозъ цѣлый русскій край,
Оно теперь не диво,
Въ веселый мѣсяцъ май!

33.

Теперь въ вѣтвяхъ березы
Поютъ и соловьи,
Въ лугахъ поютъ стрекозы,
Въ поляхъ поютъ ручьи,

34.

И много, въ небѣ рѣя,
Поетъ пернатыхъ стай—
Всѣхъ мѣсяцевъ звонче
Веселый мѣсяцъ май!

35.

Но строй гусларный, други,
Наврядъ ли вамъ знакомъ:
Вы носите кольчуги,
Вы рубитесь мечомъ!

36.

Въ мѣшкѣ не спрятать шила!
Васъ выдалъ рѣчи звукъ:
Пленковичъ ты, Чурило,
А ты Степанычъ, Дюкъ!

37.

Тутъ съ нихъ лохмотья спали,
И, свѣтлы какъ заря,
Два славные предстали
Предъ нимъ богатыря;

38.

Ихъ бороды упали,
Смѣются ихъ уста—
Подобная едва ли
Встрѣчалась красота!

39.

Ихъ кровь, отъ силъ избытка,
Играетъ горячо,

Корсунская накидка
Надѣта на плечо,

40.

Коты изъ аксамита
Съ каменіемъ цвѣтнымъ,
А бѣрца вкрестъ обвиты
Оборомъ золотнымъ;

41.

Орлинымъ мечутъ окомъ
Не взоры, но лучи!
На поясѣ широкомъ
Крыжатые мечи.

42.

Съ притворнымъ со смущеньемъ
Глядятъ на нихъ княжны,
Какъ будто превращеньемъ
И впрямь удивлены;

43.

И взоры тотчасъ тихо
Склонили до земли,
А сердце скачетъ лихо:
Ой, ладо, лель-люли!

44.

Княгиня жъ молвить:—Знала
Я это напередъ,
Недаромъ куковала
Кукушка у воротъ,

45.

И спилось мнѣ съ полночи,
Что, голову поднявъ
И въ лѣсъ устава очи,
Нашъ лаеъ волкодавъ!

46.

Но, видъ принявъ суровый,
Пришельцамъ молвить князь:
— Отвѣтствуйте, почто вы
Вернулись, не спросясь?

47.

Указанъ былъ отселъ
Вамъ путь на девять лѣтъ—
Какимъ же дѣломъ смѣли
Забуть вы мой запретъ?

48.

— Не будь, о княже, глѣвенъ,
Твой дворъ чтобъ видѣтъ вновь,
Армянскихъ двухъ царевенъ
Отвергли мы любовь;

49.

Зане твоихъ издавна
Мы любимъ дочерей—
Отдай же ихъ, державный,
За насъ, богатырей!

50.

Но, видѣ храня суровый,
А самъ въ душѣ смѣясь:
— Миѣ эта вѣсть не нова, —
Отвѣтилъ старый князь: —

51.

Отъ русской я державы
Велѣлъ вамъ быть вдали,
А вы ко миѣ лукаво
На промыселъ пришли!

52.

Но, рыбъ чтобъ вы не смѣли
Ловить въ моемъ Дибирѣ,
Всѣ глубинъ я и мелн
Оцѣпами запру!

53.

Чтобъ впредь вы не дерзали
Слѣдить моихъ куницъ,
Ограду я изъ стали
Поставлю кругъ границъ!

54.

Ни неводомъ вамъ болѣ,
Ни сѣтью не ловить —

Но будетъ въ вашей волѣ
Добромъ ихъ приманить:

55.

Коль быть хотятъ за вами,
Никто имъ не мѣшай!
Пускай рѣшаются сами
Въ веселый мѣсяцъ май!

56.

Услыша слово это,
Съ Чурилой славный Дюкъ
Отъ дочекъ ждутъ отвѣта,
Сердечъ ихъ слышенъ стукъ...

57.

Что дочки имъ сказали,
Кто можетъ, отгадай —
Мы словъ ихъ не слышали
Въ веселый мѣсяцъ май!

58.

Мы словъ ихъ не слышали,
Намъ свистѣ мѣшалъ дроздовъ,
Намъ иволги мѣшали
И рокотъ соловьевъ;

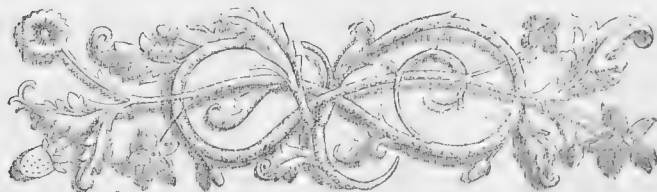
59.

И звонко такъ въ болотѣ
Кричали журавли,
Что мы, при всей охотѣ,
Разслышать не могли!

60.

Такая намъ досада!
Разслышать не могли!
Ой, ладо, диди-ладо,
Ой, ладо, лель-люли!

А. Толстой.





Боярышня. Съ карт. Боброва.

Дѣвицы-красавицы.

Дѣвицы-красавицы,
 Душеньки, подруженьки,
 Разыграйтесь, дѣвицы,
 Разгуляйтесь, милыя!
 Затяните пѣсенку,
 Пѣсенку завѣтную,
 Заманиге молодца
 Въ хороводу нашему.
 Какъ заманимъ молодца,

Какъ завидимъ издали,
 Разбѣжимтесь, милыя,
 Закидаемъ вишеньемъ,
 Вишеньемъ, малиною,
 Красною смородиной:
 Не ходи подслушивать
 Пѣсенки завѣтныя,
 Не ходи подсматривать
 Игры наши дѣвичьи

А. Пушкинъ.

П ѣ с н я.

Ахъ, зачѣмъ меня
Силой выдали
За немилова —
Мужа старова?
Небось, весело
Теперь матушкѣ
Утирать мои
Слезы горькія!
Небось, весело
Глядѣть батюшкѣ
На житье-бытье
Горемычное!
Небось, сердце въ нихъ
Разрывается,
Какъ приду одна
На великой день;

Отъ дружка дары
Принесу съ собой:
На лицѣ — печаль,
На душѣ — тоску!
Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!
Пусть изъ-за моря
Корабли плывутъ,
Пушай золото
На полъ сыпится:
Не расти травѣ
Послѣ осени;
Не цвѣсти цвѣтамъ
Зимой по снѣгу!

Кольцовъ.

Какъ и братъ къ сестрѣ.

Какъ и братъ къ сестрѣ
Пріѣзжалъ въ гости.
Онъ и день гостилъ,
И другой гостилъ;
Онъ на третій день
Убираться сталъ,
Сталъ коня сѣдлатъ,
Со двора съѣзжать.
Какъ сестра брата
Провожать пошла,
Черезъ три поля,
Черезъ чистыя,
На четвертомъ полѣ
Становилася,
Становилася,
Распростилася.

Какъ сестра брату
Стала жалиться,
Слезно плакаться:
— Какъ меня вечеръ,
Меня мужъ побилъ;
Онъ не столько билъ,
Сколько выбранилъ! —
Какъ и братъ сестрѣ
Сталъ рассказывать:
— Да и гдѣ жъ, сестра,
Мужья женѣ не быють?
Я и самъ, сестра,
Самъ жену побилъ,
И не больно билъ,
Да все выпугалъ!





Николай Михайлович Карамзинъ.

Куликовская битва.

6 сентября войско наше приблизилось къ Дону, и князья разсуждали съ боярами: тамъ ли ожидать моголовъ или идти далѣе. Мысли были несогласны. Ольгердовичи, князья литовскіе, говорили, что надобно оставить рѣку за собою, дабы удержать робкихъ отъ бѣгства; что Ярославъ Великій такимъ образомъ побѣдилъ Святополка и Александръ Невскій—шведовъ. Еще и другое, важнѣйшее обстоятельство было опорою сего мнѣнія: надлежало предупредить соединеніе Ягайла съ Мамаемъ.

Великій князь рѣшился и, къ ободренію своему, получилъ отъ св. Сергія письмо, въ коемъ онъ благословлялъ его на битву, совѣтуя ему не терять времени. Тогда же пришла вѣсть, что Мамай идетъ къ Дону, ежечасно ожидая Ягайла. Уже легкіе наши отряды встрѣчались съ татарскими и гнали ихъ. Димитрій собралъ воеводъ и сказалъ имъ: «Часъ суда Божія наступаетъ!» 7 сентября велѣлъ искать въ рѣкѣ удобнаго брода для конницы и наводить мосты для пѣхоты. Въ слѣдующее утро былъ густой туманъ, но скоро разсѣялся. Войско перешло за Донъ и стало на берегахъ Непрядвы, гдѣ Димитрій устроилъ всѣ полки къ битвѣ. Стоя на высокомъ холмѣ и видя стройные, необозримые ряды войска, безчисленныя знамена, развѣваемые легкимъ вѣтромъ, блескъ оружія и доспѣховъ, озаряемыхъ яркимъ осеннимъ солнцемъ; слыша всеобщія громогласныя восклицанія: «Боже, даруй побѣду государю нашему!» и вообразивъ, что многія тысячи сихъ добрыхъ витязей надутъ чрезъ нѣсколько часовъ, какъ усердныя жертвы любви къ отечеству, Димитрій въ умиленіи преклонилъ колѣна и, простирая руки къ золотому образу Спасителя, сіявшему на черномъ знамени великокняжескомъ, молился въ послѣдній разъ за христіанъ и Россію; сѣлъ на коня, объѣхалъ всѣ полки и говорилъ рѣчь къ каждому, называя воиновъ своими вѣрными товарищами, милыми братьями, утверждая ихъ въ мужествѣ и каждому изъ нихъ общая славную память въ мірѣ, съ вѣнцомъ мученическимъ за гробомъ.

Войско тронулось, и въ шестомъ часу дня увидѣло непріятеля среди обширнаго поля Куликова. Съ обѣихъ сторонъ вожди наблюдали другъ за другомъ и шли впередъ медленно, измѣряя глазами силу противниковъ: сила татаръ еще превосходила нашу. Димитрій, пылая ревностію служить для всѣхъ примѣ-

ромъ, хотѣлъ сражаться въ передовомъ полку; усердные бояре молили его остаться за густыми рядами главнаго войска, въ мѣстѣ безопаснѣйшемъ. «Долгъ князя,—говорили они,—смотрѣть на битву, видѣть подвиги воеводъ и награждать достойныхъ. Мы всѣ готовы на смерть, а ты, государь любимый, живи и предай нашу память временамъ будущимъ! Безъ тебя нѣтъ побѣды». Но Димитрій отвѣтствовалъ: «Гдѣ вы, тамъ и я. Скрываясь назади, могу ли сказать вамъ: братья! умремъ за отечество? Слово мое да будетъ дѣломъ! Я вождь и начальникъ; стану впереди и хочу положить свою голову въ примѣръ другимъ». Онъ не измѣнилъ себѣ и великодушію: громогласно читая псаломъ: «Богъ намъ прибѣжище и сила», первый ударилъ на враговъ и бился мужественно, какъ рядовой воинъ; наконецъ отбѣхалъ въ средину полковъ, когда битва сдѣлалась общеою.

На пространствѣ десяти верстъ лилась кровь христіанъ и невѣрныхъ. Ряды смѣшались: индѣ Россіяне тѣснили моголовъ, индѣ моголы—Россіяны; съ обѣихъ сторонъ храбрые падали на мѣстѣ, а малодушные бѣжали: такъ нѣкоторые московскіе неопытные юноши, думая, что все погибло, обратили тылъ. Непріятель открылъ себѣ путь къ большимъ, или княжескимъ знаменамъ и едва не овладѣлъ ими; вѣрная дружина отстояла ихъ съ напряженіемъ всѣхъ силъ. Еще князь Владимиръ Андреевичъ, находясь въ засадѣ, былъ только зрителемъ битвы и скучалъ своимъ бездѣйствіемъ, удерживаемый опытнымъ Димитріемъ Волынскимъ. Насталъ девятый часъ дня: сей Димитрій, съ величайшимъ вниманіемъ примѣчая движеніе обѣихъ ратей, вдругъ извлекъ мечъ и сказалъ Владимиру: «Теперь наше время!» Тогда засадный полкъ выступилъ изъ дубравы, скрывавшей его отъ глазъ непріятеля, и быстро устремился на моголовъ. Сей внезапный ударъ рѣшилъ судьбу битвы: враги, изумленные, разбѣянные, не могли противиться новому строю войска свѣжаго, бодрого, и Мамай, съ высокаго кургана смотря на кровопролитіе, увидѣлъ общее бѣгство своихъ; терзаемый гнѣвомъ, тоскою, воскликнулъ: «Великъ Богъ христіанскій!» и бѣжалъ вслѣдъ за другими. Полки Россійскіе гнали ихъ до самой рѣки Мечи, убивали, топили, взявъ станъ непріятельскій и несмѣтную добычу, множество телѣгъ, коней, верблюдовъ, навьюченныхъ разными драгоценностями.

Мужественный князь Владимиръ, герой сего незабвеннаго для Россіи дня, совершивъ побѣду, сталъ на «костяхъ» или на полѣ битвы, подъ чернымъ знаменемъ княжескимъ, и велѣлъ трубить въ воинскія трубы; со всѣхъ сторонъ съѣзжались къ нему князья и полководцы, но Димитрія не было. Изумленный Владимиръ спрашивалъ: «Гдѣ братъ мой и первоначальникъ нашей славы?» Никто не могъ дать о немъ вѣсти. Въ безпокойствѣ, въ ужасѣ воеводы разбѣжались искать его, живого или мертваго; долго не находили; наконецъ два воина увидѣли великаго князя, лежащаго подъ срубленнымъ деревомъ. Оглушенный въ битвѣ сильнымъ ударомъ, онъ упалъ съ коня, обезпамятѣлъ и казался мертвымъ, но скоро открылъ глаза. Тогда Владимиръ, князья, чиновники, преклонивъ колѣна, воскликнули единогласно: «Государь! ты побѣдилъ враговъ!» Димитрій всталъ: видя брата, видя радостныя лица окружающихъ и знамена христіанскія надъ трупами моголовъ, въ восторгъ сердца изъясилъ благодарность Небу; обнялъ Владимира, чиновниковъ; цѣловалъ самыхъ простыхъ воиновъ, и сѣлъ на коня, здравый веселіемъ духа и не чувствуя изнуренія силъ. Шлемъ и латы его были изсѣчены, но обагрены единственно кровію не-

вѣрныхъ: Богъ чудеснымъ образомъ спасъ сего князя среди безчисленныхъ опасностей, коимъ онъ съ излишнею пылкостью подвергался, сражаясь въ толпѣ непріятелей и часто оставляя за собою дружину свою.

Димитрій, провожаемый князьями и боярами, объѣхалъ поле Куликово, гдѣ легло множество россіянъ, но вчетверо болѣе непріятелей, такъ что, по сказанію нѣкоторыхъ историковъ, число всѣхъ убитыхъ простиралось до двухсотъ тысячъ. Князья бѣлозерскіе Ѳеодоръ и сынъ его Іоаннъ, торусскіе Ѳеодоръ и Мстиславъ, дорогобужскій Димитрій Монастыревъ, первостепенные бояре: Симеонъ Михайловичъ, сынъ тысяцкаго Николай Васильевичъ, внукъ Акинѳовъ Михаилъ, Андрей Серкизъ, Валуи Бренко, Левъ Морозовъ и многіе другіе положили головы за отечество, а въ числѣ ихъ и Сергіевъ инокъ, Александръ Пересвѣтъ, о коемъ пишутъ, что онъ еще до начала битвы палъ въ единоборствѣ съ печенѣгомъ, богатыремъ Мамаевымъ, сразилъ его съ коня и вмѣстѣ съ нимъ испустилъ духъ; кости сего и другого Сергіева священно-витазя, Ослябя, покоятся донынѣ близъ монастыря Симонова. Остановливаясь надъ трупами мужей знаменитѣйшихъ, великій князь платилъ имъ дань слезами умиленія и хвалою: окруженный воеводами, торжественно благодарилъ ихъ за оказанное мужество, обѣщалъ наградить каждого по достоинству, и велѣлъ хоронить тѣла россіянъ. Послѣ, въ знакъ признательности къ добрымъ сподвижникамъ, тамъ убиеннымъ, онъ установилъ праздновать вѣчно ихъ память въ субботу Дмитровскую, доколѣ существуетъ Россія.

Карамзинъ.

Ужъ какъ палъ туманъ на сине море...

Ужъ какъ палъ туманъ на сине море,
А злодѣй-тоска въ ретиво сердце;
Не сходить туману съ синя моря,
Ужъ не выйти кручинѣ изъ сердца вонъ.
Не звѣзда блеснить далече во чистомъ полѣ,
Курится огонечекъ малешенекъ;
У огонечка разостланъ шелковый коверъ,
На коврикѣ лежитъ удалъ добрый молодецъ,
Прижимаетъ платкомъ рану смертную,
Унимаетъ молодецку кровь, горячую;
Подлѣ молодца стоитъ тутъ его добрый конь,
И онъ бьетъ своимъ копытомъ въ мать сыру землю,
Будто слово хочетъ вымолвить своему хозяину:
«Ты вставай, вставай, удалъ добрый молодецъ!
Ты садись на меня, своего слугу;
Отвезу я добра молодца на родиму сторону,
Къ отцу, матери родимой, къ роду-племени,
Къ малымъ дѣтушкамъ, къ молодой женѣ!»
Какъ вздохнетъ тутъ добрый молодецъ;
Подымалась у удалаго его крѣпка грудь,
Опустились у молодца бѣлы руки,
Растворилась его рана смертельная,

Попилась ручьемъ кровь горячая;
Тутъ промолвилъ добрый молодецъ своему коню:
«Ахъ, ты конь мой, конь, лошадь вѣрная!
Ты товарищъ въ полѣ ратномъ,
Добрый пайщикъ службы царской!
Ты скажи моей молодой вдовѣ,
Что женился я на другой женѣ,
Что за ней я взялъ поле чистое:
Насъ сосватала сабля острая,
Положила спать калена стрѣла .

Москва передъ вступленіемъ Наполеона.

Увлеченный движеніемъ войскъ, Наполеонъ доѣхалъ съ войсками до Дорогомиловской заставы, но тамъ опять остановился и, слѣзши съ лошади, долго ходилъ у Камеръ-Коллежскаго вала, ожидая депутаціи.

Москва между тѣмъ была пуста. Въ ней были еще люди, въ ней оставалась еще пятидесятая часть всѣхъ бывшихъ прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, какъ пустъ бываетъ домирающій, обезматочившій улей.

Въ обезматочившемъ ульѣ уже нѣтъ жизни, но на поверхностный взглядъ онъ кажется такимъ же живымъ, какъ и другіе. Такъ же весело, въ жаркихъ лучахъ полуденнаго солнца, вьются пчелы вокругъ обезматочившаго улья, какъ и вокругъ другихъ живыхъ ульевъ; такъ же издалека пахнетъ отъ него медомъ, такъ же влетаютъ и вылетаютъ изъ него пчелы. Но стоить приглядѣться къ нему, чтобы понять, что въ ульѣ этомъ уже нѣтъ жизни. Не такъ, какъ въ живыхъ ульяхъ, летаютъ пчелы, не тотъ запахъ, не тотъ звукъ поражаютъ пчеловода. На стукъ пчеловода въ стѣнку большого улья, вмѣсто прежняго, мгновеннаго, дружнаго отвѣта, шипѣнья десятковъ тысячъ пчелъ, грозно поджимающихъ задъ и быстрымъ боемъ крыльевъ производящихъ этотъ воздушный жизненный звукъ, ему отвѣчаютъ разрозненные жужжанія, гулко раздающіеся въ разныхъ мѣстахъ пустого улья. Изъ летка не пахнетъ, какъ прежде, спиртовымъ, душистымъ запахомъ меда и яда, не несетъ оттуда тепломя полноты, а съ запахомъ меда сливается запахъ пустоты и гнили. У летка нѣтъ больше готовящихся на погибель для защиты, поднявшихъ къверху зады, трубящихъ тревогу стражей. Нѣтъ больше того ровнаго и тихаго звука, трепетанья труда, подобнаго звуку кипѣнья, а слышится нескладный, разрозненный шумъ безпорядка. Въ улей изъ улья робко и увертливо влетаютъ и вылетаютъ черныя, продолговатыя, смазанныя медомъ пчелы-грабительницы; онѣ не жалятъ, а ускользаютъ отъ опасности. Прежде только съ ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетаютъ съ ношами. Пчеловодъ открываетъ нижнюю колодезю и вглядывается въ нижнюю часть улья. Вмѣсто прежде висѣвшихъ до уза (нижняго дна) черныхъ усмиранныхъ трудомъ плетей сочныхъ пчелъ, держащихъ за ноги другъ друга и съ непрерывнымъ шопотомъ труда тянущихъ вощину, сонныя, ссохшіеся пчелы въ разныя стороны бредутъ разсѣянно по дну и стѣнкамъ улья. Вмѣсто чисто залѣпленнаго клеемъ и сметеннаго вѣрами крыльевъ пола, на днѣ лежатъ крошки вощины, испражненія пчелъ, полумертвыя, чуть шевеляція ножками, и совершенно мертвыя, не прибранныя пчелы.

Пчеловодъ открываетъ верхнюю колодезю и осматриваетъ голову улья. Въмѣсто сплошныхъ рядовъ пчелъ, облѣпившихъ всѣ промежутки сотовъ и грѣющихихъ дѣтву, онъ видитъ искусную, сложную работу сотовъ, но уже не въ томъ видѣ дѣятельности, въ которомъ она бывала прежде. Все запущено и загажено; грабительницы, черныя пчелы шныряютъ быстро и украдисто по работамъ; свои пчелы, ссохшіяся, короткія, вялыя, какъ будто старыя, медленно бродятъ, никому не мѣшая, ничего не желая и потерявъ сознаніе жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки безтолково стучатся на лету о стѣнки улья. Кое-гдѣ между вощинами съ мертвыми дѣтми и медомъ изрѣдка слышится съ разныхъ сторонъ сердитое брюзжаніе; гдѣ-нибудь двѣ пчелы, по старой привычкѣ и памяти, очищая гнѣздо улья, старательно, сверхъ силъ тащатъ прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего онѣ это дѣлаютъ. Въ другомъ углу другія двѣ старыя пчелы лѣзливо дерутся, или чистятся, или кормятъ одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно онѣ это дѣлаютъ. Въ третьемъ мѣстѣ толпа пчелъ, давя другъ друга, нападаетъ на какую-нибудь жертву и бьетъ, душитъ ее. И ослабѣвшая или убитая пчела медленно, легко, какъ пухъ, спадаетъ сверху въ кучу труповъ. Пчеловодъ разворачиваетъ двѣ среднія вошины, чтобы видѣть гнѣздо. Въмѣсто прежнихъ сплошныхъ, черныхъ круговъ тысячъ пчелъ, сидящихъ спинка со спинкой и блюдущихъ высшія тайны родного дѣла, онъ видитъ сотни унылыхъ, полуживыхъ и заснувшихъ остововъ пчелъ. Онѣ почти всѣ умерли, сами не зная этого, сидя на святилѣ, которую онѣ блюли, и которой уже нѣтъ больше. Отъ нихъ пахнетъ гнилью и смертью. Только нѣкоторые изъ нихъ шевелятся, поднимаются, вяло летятъ и садятся на руку врагу, не въ силахъ умереть, жала его, — остальные, мертвыя, какъ рыбы чешуя, легко сыплются внизъ. Пчеловодъ закрываетъ колодезю, отмѣчаетъ мѣломъ колодку и, выбравъ время, выламываетъ и выжигаетъ ее.

Такъ пуста была Москва, когда Наполеонъ, усталый, безпокойный и нахмуренный, ходилъ взадъ и впередъ у Камеръ-Коллежскаго вала, ожидая того, хотя-внѣшняго, но необходимаго, по его понятіямъ, соблюденія приличій — депутаціи.

Въ разныхъ углахъ Москвы только безмысленно еще шевелились люди, соблюдая старыя привычки и не понимая того, что они дѣлали.

Когда Наполеону съ должною осторожностью было объявлено, что Москва пуста, онъ сердито взглянулъ на доносившаго объ этомъ и, отвернувшись, продолжалъ ходить молча.

— Подать экипажъ, — сказалъ онъ.

Онъ сѣлъ въ карету рядомъ съ дежурнымъ адъютантомъ и поѣхалъ въ предмѣстье.

— Москва пуста. Какое невѣроятное событіе! — говорилъ онъ самъ съ собой.

Онъ не поѣхалъ въ городъ, а остановился на постояломъ дворѣ Дорогомиловскаго предмѣстья.

Не удалась развязка театральнаго представленія!

Л. Толстой.

Разстройство арміи.

Французы вошли въ ворота (Кремля) и стали размѣщаться лагеремъ на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья изъ оконъ Сената на площади и раскладывали огни.

Другіе отряды проходили черезъ Кремль и размѣщались по Маросейкѣ, Лубянкѣ, Покровкѣ. Третьи еще размѣщались по Воздвиженкѣ, Знаменкѣ, Никольской, Тверской. Вездѣ, не находя хозяевъ, французы размѣщались не какъ въ городѣ на квартирахъ, а какъ въ лагерѣ, который расположенъ въ городѣ.

Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до $\frac{1}{2}$ части своей прежней численности, французскіе солдаты вступили въ Москву еще въ стройномъ порядкѣ. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирамъ. Какъ только люди полковъ стали расходиться по пустымъ и богатымъ домамъ, такъ навсегда уничтожилось войско и образовались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое мародерами. Когда, черезъ пять недѣль, тѣ же самые люди вышли изъ Москвы, они уже не составляли болѣе войска. Это была толпа мародеровъ, изъ которой каждый везъ или несъ съ собою кучу вещей, которыя ему казались цѣнны и нужны. Цѣль каждаго изъ этихъ людей при выходѣ изъ Москвы не состояла, какъ прежде, въ томъ, чтобы завоевать, а только въ томъ, чтобы удержатъ пріобрѣтенное. Подобно той обезьянѣ, которая, запустивъ руку въ узкое горло кувшина и захвативъ горсть орѣховъ, не разжимаетъ кулака, чтобы не потерять схваченнаго, и этимъ губитъ себя, французы при выходѣ изъ Москвы, очевидно, должны были погибнуть вслѣдствіе того, что они тащили съ собою награбленное, но бросить это награбленное имъ было такъ же невозможно, какъ невозможно обезьянѣ разжать горсть съ орѣхами. Черезъ десять минутъ послѣ вступленія каждаго французскаго полка въ какой-нибудь кварталъ Москвы не оставалось ни одного солдата и офицера. Въ окнахъ домовъ видны были люди въ шинеляхъ и штиблетахъ, смѣясь прохаживающіеся по комнатамъ; въ погребахъ, въ подвалахъ такіе же люди хозяйничали съ провизіей; на дворахъ такіе же люди отпирали и отбивали ворота сараевъ и конюшенъ; въ кухняхъ раскладывали огни, съ засученными руками пекли, мѣсили и варили, пугали, смѣшили и ласкали женщинъ и дѣтей. И этихъ людей вездѣ — и по лавкамъ, и по домамъ — было много, но войска уже не было.

Въ тотъ же день приказъ за приказомъ отдавались французскими начальниками о томъ, чтобы запретить войскамъ расходиться по городу, строго запретить насилие жителей и мародерство, о томъ, чтобы нынче же вечеромъ сдѣлать общую переключку: но, несмотря ни на какія мѣры, люди, прежде составлявшіе войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Какъ голодное стадо идетъ кучей по голому полю, но тотчасъ же неудержимо разбредается, какъ только нападетъ на богатая пастбища, такъ же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.

Жителей въ Москвѣ не было, и солдаты, какъ вода въ песокъ, всачивались въ нее и неудержимо звѣздой расплывались во всѣ стороны отъ Кремля, въ который они вошли прежде всего. Солдаты-кавалеристы, входя въ оставленный со всѣмъ добромъ купеческій домъ и находя стойла не только для своихъ

лошадей, но и лишнія, все-таки шли рядомъ занимать другой домъ, который имъ казался лучше. Многіе занимали нѣсколько домовъ, надписывая мѣломъ, кѣмъ онъ занятъ, и спорили и даже дрались съ другими командами. Не успѣвъ еще помѣститься, солдаты бѣжали на улицу осматривать городъ, и по слуху о томъ, что все брошено, стремились туда, гдѣ можно было забрать даромъ цѣнныя вещи. Начальники ходили останавливать солдатъ—и сами вовлекались невольно въ тѣ же дѣйствія. Въ Каретномъ ряду оставались лавки съ экипажами, и генералы толпились тамъ, выбирая коляски и кареты. Оставшіеся жители приглашали къ себѣ начальниковъ, надѣясь тѣмъ обезпечиться отъ грабежа. Богатствъ было пропасть, и конца имъ не видно было; вездѣ кругомъ того мѣста, которое заняли французы, были еще неизвѣданныя, незанятые мѣста, въ которыхъ, какъ казалось французамъ, было еще больше богатствъ. И Москва все дальше и дальше всасывала ихъ въ себя. Точно такъ, какъ вслѣдствіе того, что наливается вода на сухую землю, исчезаютъ вода и сухая земля, точно такъ же вслѣдствіе того, что голодное войско вошло въ обильный, пустой городъ, уничтожилось войско и уничтожился обильный городъ; и сдѣлалась грязь, сдѣлались пожары и мародерство.

Л. Толстой.

Казнь военно-плѣнныхъ ¹⁾.

Отъ дома князя Щербатова плѣнныхъ повели прямо внизъ по Дѣвичьему полю, лѣвѣе Дѣвичьяго монастыря, и подвели къ огороду, на которомъ стоялъ столбъ. За столбомъ была вырыта большая яма съ свѣжевыкопанною землею, и около ямы и столба полукругомъ стояла большая толпа народа. Толпа состояла изъ малаго числа русскихъ и большаго числа наполеоновскихъ войскъ въ строю: нѣмцевъ, итальянцевъ и французовъ въ разнородныхъ мундирахъ. Справа и слѣва столба стояли фронты французскихъ войскъ въ синихъ мундирахъ съ красными эполетами, въ штиблетахъ и киверахъ.

Преступниковъ разставили по извѣстному порядку, который былъ въ спискѣ (Пьеръ ²⁾ стоялъ шестымъ), и подвели къ столбу. Нѣсколько барабановъ вдругъ ударили съ двухъ сторонъ, и Пьеръ почувствовалъ, что съ этимъ звукомъ какъ будто оторвалась часть его души. Онъ потерялъ способность думать и соображать. Онъ только могъ видѣть и слышать. И только одно желаніе было у него,—желаніе, чтобы поскорѣе сдѣлалось что-то страшное, что должно было быть сдѣлано. Пьеръ оглядывался на своихъ товарищей и разсматривалъ ихъ.

Два человѣка съ края были бритые острожные: одинъ высокій, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, съ приплюснутымъ носомъ. Третій былъ дворовый, лѣтъ 45-ти, съ сѣдѣющими волосами и полнымъ хорошо откормленнымъ тѣломъ. Четвертый былъ мужикъ, очень красивый, съ окладистою, русою бородой и черными глазами. Пятый былъ фабричный, желтый, худой малый, лѣтъ 18, въ халатѣ.

¹⁾ Занявши Москву въ 1812 г., французы много страдали отъ пожаровъ. Чтобы прекратить пожары, они стали казнить захваченныхъ въ плѣн и подозрѣваемыхъ въ поджогахъ.

²⁾ Пьеръ Безуховъ — широко образованный русскій аристократъ, захваченный французами въ Москвѣ.

Пьеръ слышалъ, что французы совѣщались, какъ стрѣлять, по одному или по два?

— По два,—холодно-спокойно отвѣчалъ старшій офицеръ.

Сдѣлалось передвиженіе въ рядахъ солдатъ, и замѣтно было, что всѣ торопились, и торопились не такъ, какъ торопятся, чтобы сдѣлать понятное для всѣхъ дѣло, но такъ, какъ торопятся, чтобы окончить необходимое, но непріятное и непостижимое дѣло.

Чиновникъ - французъ въ шарфѣ подошелъ къ правой сторонѣ шеренги преступниковъ и прочелъ по-русски и по-французски приговоръ.

Потомъ двѣ пары французовъ подошли къ преступникамъ и взяли, по указанію офицера, двухъ острожныхъ, стоявшихъ съ края. Острожные, подойдя къ столбу, остановились и, пока принесли мѣшки, молча смотрѣли вокругъ себя, какъ смотритъ подбитый звѣрь на подходящаго охотника. Одинъ все крестился, другой чесалъ спину и дѣлалъ губами движеніе подобное улыбкѣ. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать имъ глаза, надѣвать мѣшки и привязывать къ столбу.

12 человѣкъ стрѣлковъ съ ружьями мѣрнымъ, твердымъ шагомъ вышли изъ-за рядовъ и остановились въ 8 шагахъ отъ столба. Пьеръ отвернулся, чтобы не видать того, что будетъ. Вдругъ послышался трескъ и грохотъ, показавшіеся Пьеру громче самыхъ страшныхъ ударовъ грома, и онъ оглянулся. Былъ дымъ, и французы съ блѣдными лицами и дрожащими руками что-то дѣлали у ямы. Повели другихъ двухъ. Такъ же, такими же глазами, и эти двое смотрѣли на всѣхъ, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не вѣря тому, что будетъ. Они не могли вѣрить, потому что они знали, что такое была для нихъ ихъ жизнь, и потому не понимали и не вѣрили, чтобы можно было отнять ее.

Пьеръ хотѣлъ не смотрѣть и опять отвернулся; но опять какъ будто ужасный взрывъ поразилъ его слухъ, и вмѣстѣ съ этими звуками онъ увидалъ дымъ, чью-то кровь и блѣдныя, испуганныя лица французовъ, опять что-то дѣлавшихъ у столба, дрожащими руками толкая другъ друга. Пьеръ, тяжело дыша, оглядывался вокругъ себя, какъ будто спрашивая: что это такое? Тотъ же вопросъ былъ и во всѣхъ взглядахъ, которые встрѣчались со взглядомъ Пьера.

На всѣхъ лицахъ русскихъ, на лицахъ французскихъ солдатъ, офицеровъ, всѣхъ безъ исключенія, онъ читалъ такой же испугъ, ужасъ и борьбу, какіе были въ его сердцѣ.

«Да кто же это дѣлаетъ, наконецъ? Они всѣ страдаютъ такъ же, какъ и я. Кто же, кто же?» на секунду блеснуло въ душѣ Пьера.

— Стрѣлки восемьдесятъ шестого впередъ!—прокричалъ кто-то.

Повели пятого, стоявшаго рядомъ съ Пьеромъ — одного. Пьеръ не понималъ того, что онъ спасенъ, что онъ и всѣ остальные были приведены сюда только для присутствія при казни. Онъ со все возрастающимъ ужасомъ, не ощущая ни радости, ни успокоенія, смотрѣлъ на то, что дѣлалось. Пятый былъ фабричный въ халатѣ. Только что до него дотронулись, какъ онъ въ ужасѣ отпрыгнулъ и схватился за Пьера (Пьеръ вздрогнулъ и оторвался отъ него). Фабричный не могъ идти. Его тащили подъ мышки, и онъ что-то кричалъ. Когда его подвели къ столбу, онъ вдругъ замолкъ. Онъ какъ будто вдругъ что-то понималъ. То ли

онъ понялъ, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобъ его убили люди, но онъ сталъ у столба, ожидая повязки вмѣстѣ съ другими и, какъ подстрѣленный звѣрь, оглядываясь вокругъ себя блестящими глазами.



Пожаръ Москвы въ 1812 г. Съ карт. Верещагина.

Пьеръ уже не могъ взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волненіе его и всей толпы при этомъ пятномъ убійствѣ дошло до высшей степени. Такъ же, какъ и другіе, этотъ пятый казался спякоенъ: онъ запахивалъ халатъ и почесывалъ одною босою ногой о другую.

Когда ему стали завязывать глаза, онъ поправилъ самъ узелъ на затылкѣ, который рѣзалъ ему; потомъ, когда прислонили его къ окровавленному столбу,

онъ завалился назадъ, а такъ какъ ему въ этомъ положеніи было неловко, онъ поправился и, ровно поставивъ ноги, покойно прислонился. Пьеръ не сводилъ съ него глазъ, не упуская ни малѣйшаго движенія.

Должно-быть, послышалась команда, должно-быть, послѣ команды раздались выстрѣлы 8-ми ружей. Но Пьеръ, сколько онъ ни старался вспомнить потомъ, не слышалъ ни малѣйшаго звука отъ выстрѣловъ. Онъ видѣлъ только, какъ почему-то вдругъ опустился на веревкахъ фабричный, какъ показалась кровь въ двухъ мѣстахъ, и какъ самыя веревки, отъ тяжести повисшаго тѣла, распустились, и фабричный, неестественно опустивъ голову и подвернувъ ногу, сѣлъ. Пьеръ подбѣжалъ къ столбу. Никто не удерживалъ его. Вокругъ фабричнаго что-то дѣлали испуганные, блѣдные люди. У одного стараго усатаго француза тряслась нижняя челюсть, когда онъ отвязывалъ веревки. Тѣло спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столбъ и стали сталкивать въ яму.

Всѣ, очевидно, несомнѣнно, знали, что они были преступники, которымъ надо было скорѣе скрыть слѣды своего преступленія.

Пьеръ заглянулъ въ яму и увидѣлъ, что фабричный лежалъ тамъ колѣнами кверху, близко къ головѣ, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и подымалось. Но уже лопатины земли сыпались на все тѣло. Одинъ изъ солдатъ сердито, злобно и болѣзненно крикнулъ на Пьера, чтобъ онъ вернулся. Но Пьеръ не понялъ его и сталъ у столба, и никто не отгонялъ его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его мѣсто, и французскія войска, стоявшія фронтами по обѣимъ сторонамъ столба, сдѣлали полуоборотъ и стали проходить мѣрнымъ шагомъ мимо столба. 24 человѣка стрѣлковъ съ разряженными ружьями, стоявшіе въ срединѣ круга, примыкали бѣгомъ къ своимъ мѣстамъ въ то время, какъ роты проходили мимо нихъ.

Пьеръ смотрѣлъ теперь безмысленными глазами на этихъ стрѣлковъ, которые попарно выбѣгали изъ круга. Всѣ, кромѣ одного, присоединились къ ротамъ. Молодой солдатъ съ morto-блѣднымъ лицомъ, въ киверѣ, свалившимся назадъ, опустивъ ружье, все еще стоялъ противъ ямы на томъ мѣстѣ, съ котораго онъ стрѣлялъ. Онъ какъ пьяный шатался, дѣлая то впередъ, то назадъ нѣсколько шаговъ, чтобы поддержать свое падающее тѣло. Старый солдатъ, унтеръ-офицеръ, выбѣжалъ изъ рядовъ и, схвативъ за плечо молодого солдата, втащилъ его въ роту. Толпа русскихъ и французовъ стала расходиться. Всѣ шли молча съ опущенными головами.

— Это научить ихъ поджигать, — сказалъ кто-то изъ французовъ.

Пьеръ оглянулся на говорившаго и увидалъ, что это былъ солдатъ, который хотѣлъ утѣшиться чѣмъ-нибудь въ томъ, что было сдѣлано, но не могъ. Не договоривъ начатаго, онъ махнулъ рукою и пошелъ прочь.

Л. Толстой.



Ночной смотръ.

(Изъ Цедлица).

Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ
Изъ гроба встаетъ барабанищикъ;
И ходитъ онъ взадъ и впередъ,
И бьетъ онъ проворно тревогу.
И въ темныхъ гробахъ барабанъ
Могучую будитъ пѣхоту:
Встаютъ молоды егеря,
Встаютъ старики гренадеры,
Встаютъ изъ-подъ русскихъ снѣговъ,
Съ роскошныхъ полей италійскихъ,
Встаютъ съ африканскихъ степей,
Съ горячихъ песковъ Палестины.

Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ
Выходитъ трубачъ изъ могилы;
И скачетъ онъ взадъ и впередъ,
И громко трубятъ онъ тревогу.
И въ темныхъ могилахъ труба
Могучую конницу будитъ:
Сѣдые гусары встаютъ,
Встаютъ усачи кирасиры;
И съ сѣвера, съ юга летятъ,
Съ востока и съ запада мчатся
На легкихъ воздушныхъ коняхъ
Одинъ за другимъ эскадроны.

Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ
Изъ гроба встаетъ полководецъ;
На немъ сверхъ муштира сюртукъ;
Онъ съ маленькой шляпой и пиагой;
На старомъ конѣ боевомъ
Онъ медленно ѣдетъ по фронту;
И маршалы ѣдутъ за нимъ,
И ѣдутъ за нимъ адъютанты;
И армія честь отдаетъ.
Становится онъ передъ нею;
И съ музыкой мимо его
Проходятъ полки за полками.

И всѣхъ генераловъ своихъ
Потомъ онъ въ кружокъ собираетъ,
И ближнему на ухо самъ
Онъ шепчетъ пароль свой и лозунгъ;
И арміи всей отдаютъ
Они тотъ пароль и тотъ лозунгъ:
И Франція — тотъ ихъ пароль,

Тотъ лозунгъ—*Святая Елена*.
Такъ къ старымъ солдатамъ своимъ
На смотръ генеральный изъ гроба
Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ
Встаетъ императоръ усопшій.

В. Жуковскій.



1812 годъ. Св. Андрея Ивоня.

Четвертый бастионъ.

(Въ Севастополѣ въ 1854 г.)

— Чортъ возьми, какъ нынче у насъ плохо! — говоритъ басомъ бѣлобрысенькій, безусый морской офицерикъ въ зеленомъ вязаномъ шарфѣ.

— Гдѣ у насъ? — спрашиваетъ его другой.

— На четвертомъ бастионѣ, — отвѣчаетъ молоденькій офицеръ.

И вы непременно съ большимъ вниманіемъ и даже нѣкоторымъ уваженіемъ посмотрите на бѣлобрысенькаго офицера при словахъ: «на четвертомъ бастионѣ». Вы подумаете, что онъ станетъ вамъ рассказывать, какъ плохо на 4-мъ бастионѣ отъ бомбъ и пуль, — ничуть не бывало: плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», скажетъ онъ, показывая на сапоги, выше нѣтъ покрытые грязью.

Когда кто-нибудь говоритъ, что онъ былъ на 4-мъ бастионѣ, онъ говоритъ это съ особеннымъ удовольствіемъ и гордостью; когда кто говоритъ: я иду на 4-й бастионъ, непременно замѣтны въ немъ маленькое волненіе или слѣшкомъ большое равнодушіе; когда хотятъ подшутить надъ кѣмъ-нибудь, говорятъ: тебя бы поставить на 4-й бастионъ; когда встрѣчаютъ носилки и спрашиваютъ: откуда? — большею частью отвѣчаютъ: съ 4-го бастиона. Вообще же, существуютъ два, совершенно различныя мнѣнія про этотъ страшный бастионъ: тѣхъ, которые никогда на немъ не были и которые убѣждены, что 4-й бастионъ есть вѣрная могила для каждаго, кто пойдетъ на него, — и тѣхъ, которые живутъ на немъ, какъ бѣлобрысенькій мичманъ, и которые, говоря про 4-й бастионъ, скажутъ вамъ сухо или грязно тамъ, тепло или холодно въ землянкѣ, и т. д.

Вы поднимаетесь вверхъ по большой улицѣ. Дома по обѣимъ сторонамъ улицы необитаемы, вывѣсокъ нѣтъ, двери закрыты досками, окна выбиты, гдѣ отбитъ уголъ стѣны, гдѣ пробита крыша. Строенія кажутся старыми, пенитенціальными всякое горе и нужду ветеранамъ, и какъ будто гордо и нѣсколько презрительно смотрятъ на васъ. По дорогѣ спотыкаетесь вы на валяющіяся ядра и въ ямы съ водой, вырытыя въ каменномъ грунтѣ бомбами. По улицѣ встрѣчаете вы и обгоняете команды солдатъ, пластуновъ, офицеровъ; изрѣдка встрѣчаются женщина или ребенокъ, но женщина уже не въ шляпкѣ, а матроска въ старой шубейкѣ и въ солдатскихъ сапогахъ. Проходи дальше по улицѣ и спустясь подъ маленькій изволокъ, вы замѣчаете вокругъ себя уже не дома, а какія-то странныя груды развалинъ-камней, досокъ, глины, бревенъ; впереди себя, на крутой горѣ, видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть 4-й бастионъ... Здѣсь народу встрѣчается еще меньше, женщинъ совсѣмъ не видно, солдаты идутъ скоро, по дорогѣ попадаются капли крови, и непременно встрѣтите тутъ четырехъ солдатъ съ носилками и на носилкахъ блѣдно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда раненъ?» — носильщики сердито, не поворачиваясь къ вамъ, скажутъ: въ ногу или руку, ежели онъ раненъ легко; или сурово промолчатъ, ежели изъ-за носилокъ не видно головы, и онъ уже умеръ или тяжело раненъ.

Недалекій свистъ ядра или бомбы въ то самое время, какъ вы станете подниматься на гору, неприятно поразитъ васъ. Вы вдругъ поймете, и совсѣмъ

иначе, чѣмъ понимали прежде, значеніе тѣхъ звуковъ выстрѣловъ, которые вы слышали въ городѣ. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминаніе вдругъ блеснетъ въ вашемъ воображеніи; собственная ваша личность начнетъ занимать васъ больше, чѣмъ наблюденія: у васъ станетъ меньше вниманія ко всему окружающему, и какое-то непріятное чувство нерѣшимости вдругъ овладѣетъ вами. Несмотря на этотъ подленькій голосъ при видѣ опасности, вдругъ заговорившій внутри васъ, вы, особенно взглянувъ на солдата, который, размахивая руками и оскользаясь подъ гору по жидкой грязи, рысью, со смѣхомъ, бѣжитъ мимо васъ,—вы заставляете молчать этотъ голосъ, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверхъ на скользкую глинистую гору. Только что вы немного выбрались въ гору, справа и слѣва васъ начинаютъ жужжать шуцерныя пули, и вы, можетъ-быть, призадумаетесь, не идти ли вамъ по траншеѣ, которая ведетъ параллельно съ дорогой; но траншея эта наполнена такою жидкою, желтою, вонючею грязью выше колѣна, что вы непременно выберете дорогу по горѣ, тѣмъ болѣе, что, вы видите, *все идутъ по дорогѣ*. Пройдя шаговъ двѣсти, вы выходите въ изрытое, грязное пространство, окруженное со всѣхъ сторонъ турами, насыпями, погребями, платформами, землянками, на которыхъ стоятъ большія чугунныя орудія и правильными кучами лежатъ ядра. Все это кажется вамъ нагроможденнымъ безъ всякой цѣли, связи и порядка. Гдѣ на батарее сидитъ кучка матросовъ, гдѣ посреди площади, до половины потонувъ въ грязи, лежитъ разбитая пушка, гдѣ пѣхотный солдатикъ, съ ружьемъ переходящій черезъ батарею и съ трудомъ вытаскивающій ноги изъ липкой грязи. Но вездѣ, со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ мѣстахъ, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, слѣды лагеря, и все это—затопленное въ жидкой, вязкой грязи. Какъ вамъ кажется, недалеко отъ себя слышите вы ударъ ядра; со всѣхъ сторонъ, кажется, слышите различные звуки пуль, жужжащія, какъ пчела, свистящія, быстрые или визжащія, какъ струна,—слышите ужасный гулъ выстрѣла, потрясающій всѣхъ васъ, и который вамъ кажется чѣмъ-то ужасно страшнымъ.

«Такъ вотъ онъ, 4-й бастионъ! Вотъ оно, это страшное, дѣйствительно ужасное мѣсто!» думаете вы себѣ, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не 4-й бастионъ. Это—Язеновскій редутъ, мѣсто, сравнительно, очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобъ идти на 4-й бастионъ, возьмите направо, по этой узкой траншеѣ, по которой, нагнувшись, побрелъ пѣхотный солдатикъ. По траншеѣ этой встрѣтите вы, можетъ-быть, опять носилки, матроса, солдатъ съ лопатами, увидите проводники минъ, землянки въ грязи, въ которыя, согнувшись, могутъ влѣзть только два человѣка, и тамъ увидите пластуновъ черноморскихъ баталіоновъ, которые тамъ переобуваются, ѣдятъ, курятъ трубки, живутъ, и увидите опять вездѣ ту же вонючую грязь, слѣды лагеря и брошенный чугунъ во всевозможныхъ видахъ. Пройдя еще шаговъ триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудіями на платформахъ и земляными валами. Здѣсь увидите вы, можетъ-быть, человѣка пять матросовъ, играющихъ въ карты подъ брустверомъ, и морского офицера, который, замѣтивъ въ васъ новаго человѣка, любопытнаго, съ удовольствіемъ покажетъ вамъ свое хозяйство и все, что для васъ можетъ быть интереснаго. Офицеръ этотъ такъ спокойно свертываетъ папиросу

изъ желтой бумаги, сидя на орудіи, такъ спокойно прохаживается отъ одной амбразуры къ другой, такъ спокойно, безъ малѣйшей аффектаціи, говорить съ вами, что, несмотря на пули, которыя чаще, чѣмъ прежде, жужжать надъ вами,



вы сами становитесь хладнокровны и внимательно разспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицеръ этотъ расскажетъ вамъ,—но только ежели вы его разспросите,—про бомбардированіе 5-го числа: расскажетъ, какъ на его батареѣ только одно орудіе могло дѣйствовать и изъ всей прислуги осталось 8 человѣкъ,

и какъ все-таки на другое утро, 6-го, онъ *палмъ* ¹⁾ изъ всѣхъ орудій; расскажетъ вамъ, какъ 5-го попала бомба въ матросскую землянку и положила одиннадцать человѣкъ; покажетъ вамъ, изъ амбразуры, батареи и траншеи непріятельскія, которыя не дальше здѣсь, какъ въ 30—40 саженьяхъ. Одного я боюсь, что, подъ вліяніемъ жужжанія пуль, высовываясь изъ амбразуры, чтобы посмотреть непріятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этотъ бѣлый каменный валъ, который такъ близко отъ васъ, и на которомъ вспыхиваютъ бѣлые дымки, этотъ-то бѣлый валъ и есть непріятель, — онъ, какъ говорятъ солдаты и матросы.

Даже очень можетъ быть, что морской офицеръ, изъ тщеславія или просто такъ, чтобы доставить себѣ удовольствіе, захочетъ при васъ пострѣлять немного. «Послать комендора и прислугу къ пушкѣ!» — и человѣкъ четырнадцать матросовъ живо, весело, кто засовывая въ карманъ трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформѣ, подойдутъ къ пушкѣ и зарядятъ ее. Вглядитесь въ лица, въ осанки и въ движенія этихъ людей: въ каждой морщинѣ этого загорѣлаго, скуластаго лица, въ каждой мышцѣ, въ шпринѣ этихъ плечъ, въ толщинѣ этихъ ногъ, обутыхъ въ громадные сапоги, въ каждомъ движеніи, спокойномъ, твердомъ, неторопливомъ, видны эти главные черты, составляющія силу русскаго, — простоты и упрямства; но здѣсь на каждомъ лицѣ кажется вамъ, что опасность, злоба и страданія войны, кромѣ этихъ главныхъ признаковъ, приложили еще слѣды сознанія своего достоинства, высокой мысли и чувства.

Вдругъ ужаснѣйшій, потрясающій не одни ушные органы, но все существо ваше, гулъ поражаетъ васъ такъ, что вы вздрагиваете всѣмъ тѣломъ. Вслѣдъ за тѣмъ вы слышите удаляющійся свистъ снаряда, и густой пороховой дымъ застилаетъ васъ, платформу и черныя фигуры движущихся по ней матросовъ. По случаю этого нашего выстрѣла вы услышите различные толки матросовъ и увидите ихъ одушевленіе и проявленіе чувства, котораго вы не ожидали видѣть, можетъ-быть: это чувство злобы, мщенія врагу, которое таится въ душѣ каждаго. «Въ саму амбразуру попало! Кажись, убило двухъ... вонь понесли!» услышите вы радостныя восклицанія. «А вотъ онъ разсерчаетъ: сейчасъ пуститъ сюда», скажетъ кто-нибудь, и, дѣйствительно, скоро вслѣдъ за этимъ вы увидите впереди себя молнію, дымъ; часовой, стоящій на брустверѣ, крикнетъ: «пу-ушка!» И вслѣдъ за этимъ мимо васъ взвизгнетъ ядро, шлепнется въ землю и воронкой взброситъ вокругъ себя брызги и камни. Батареинный командиръ разсердится за это ядро, прикажетъ зарядить другое и третье орудіе, непріятель тоже станетъ отвѣчать намъ, и вы испытаете интересныя чувства, услышите и увидите интересныя вещи. Часовой опять закричитъ: «пушка!» — и вы услышите тотъ же звукъ и ударъ, тѣ же брызги, или закричитъ: «маркела!» ²⁾ — и вы услышите равномерное, довольно пріятное и такое, съ которымъ съ трудомъ соединяется мысль объ ужасномъ, посвистываніе бомбы, услышите приближающееся къ вамъ и ускоряющееся это посвистываніе, потомъ увидите черный шаръ, осязательный ударъ о землю и звенящій разрывъ бомбы. Со свистомъ и визгомъ разлетятся потомъ осколки, зашуршатъ въ воздухъ камни и забрызгаютъ васъ грязью. При этихъ звукахъ вы испы-

¹⁾ Моряки всѣ говорятъ — палить, а не стрѣлять.

²⁾ Мортира.

таете странное чувство наслаждения и вмѣстѣ страха: Въ ту минуту, какъ снарядъ, вы знаете, летитъ на васъ, вамъ непременно придетъ въ голову, что снарядъ этотъ убьетъ васъ; но чувство самолюбія поддерживаетъ васъ, и никто не замѣчаетъ пожара, который рѣжетъ вамъ сердце. Но за то, когда снарядъ пролетѣлъ, не задѣвъ васъ, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо-приятное чувство, но только на мгновеніе, овладѣваетъ вами, такъ что вы находите какую-то особенную прелесть въ опасности, въ этой игрѣ жизнью и смертью; вамъ хочется, чтобъ еще и еще поближе упали около васъ ядро или бомба. Но вотъ еще часовой прокричалъ своимъ громкимъ, густымъ голосомъ: «марше!»—еще посвистыванье, ударъ и разрывъ бомбы, но вмѣстѣ съ этимъ звукомъ васъ поражаетъ стои́тъ человѣка. Вы подходите къ раненому, который въ крови и грязи, имѣетъ какой-то странный, не человѣческій видъ, въ одно время съ носилками. У матроса вырвана часть груди. Въ первыя минуты на забрызганномъ грязью лицѣ его видны одинъ испугъ и какое-то притворное преждевременное выраженіе страданія, свойственное человѣку въ такомъ положеніи; но въ то время, какъ ему приносятъ носилки, и онъ самъ, на здоровый бокъ, ложится на нихъ, вы замѣчаете, что выраженіе это смѣняется выраженіемъ какой-то восторженности и высокой, не высказанной мысли: глаза горятъ ярче, зубы сжимаются, голова съ успіемъ поднимается выше, и въ то время, какъ его поднимаютъ, онъ останавливаетъ носилки и съ трудомъ, дрожащимъ голосомъ, говоритъ товарищамъ: «Простите, братцы!» — еще хотеть сказать что-то, и видно, что хотеть сказать что-то трогательное, но повторяетъ еще разъ: «Простите, братцы!» Въ это время товарищъ-матросъ подходитъ къ нему, надѣваетъ фуражку на голову, которую подставляетъ ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается къ своему орудію. «Это каждый день этакъ человѣкъ семь или восемь», говоритъ вамъ морской офицеръ, отвѣчая на выраженіе ужаса, выражающагося на вашемъ лицѣ, зѣвая и свертывая папиросу изъ желтой бумаги...

Л. Толстой.

Б ѣ г л е ц ъ.

(Горская легенда).

Гарунъ бѣжалъ быстрѣ лани,
Быстрѣй чѣмъ заяцъ отъ орла:
Бѣжалъ онъ въ страхѣ съ поля брани,
Гдѣ кровь черкесская текла.
Отецъ и два родные брата
За честь и вольность тамъ легли—
И подъ пятой у супостата
Лежатъ ихъ головы въ пыли.
Ихъ кровь течетъ и проситъ мщенья.
Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ,
Онъ растерялъ въ пылу сраженья
Винтовку, пашку—и бѣжитъ.
И скрылся день; клубясь, туманы
Одѣли темныя поляны
Широкой бѣлой пеленой.

Нахнуло холодомъ съ востока
И надъ пустынею пророка
Всталъ тихо мѣсяцъ золотой.
Усталый, жаждою томимый,
Съ лица стирая кровь и потъ,
Гарунъ межъ скалъ аулъ родимый
При лунномъ свѣтѣ узнаетъ.
Подкрался онъ, никѣмъ незримый;
Кругомъ молчанье и покой.
Съ кровавой битвы невредимый
Лишь онъ одинъ пришелъ домой,
И къ скалѣ онъ спѣшитъ знакомой;
Тамъ блещетъ свѣтъ: хозяинъ—дома;
Скрѣпясь душой, какъ только могъ,
Гарунъ ступилъ черезъ пороги.

Селима звалъ онъ прежде другомъ;
 Старикъ пришельца не узналъ;
 На ложѣ мучимый недугомъ,
 Одинъ, онъ молча умиралъ.
 «Великъ Аллахъ: отъ злой отравы
 Онъ свѣтлымъ ангеламъ своимъ
 Велѣлъ беречь тебя для славы...
 Что новаго?..» спросилъ Селимъ,
 Поднявъ слабѣющія вѣжды.
 И взоръ блеснулъ огнемъ надежды,
 И онъ привсталъ, и кровь бойца
 Вновь разыгралась въ часъ конца.
 — Два дня мы бились въ тѣснинѣ:
 Отецъ мой палъ, и братья съ нимъ,
 И скрылся я одинъ въ пустынѣ.
 Какъ звѣрь преслѣдуемъ, гонимъ,
 Съ окровавленными ногами
 Отъ острыхъ камней и кустовъ,
 Я шель безвѣстными тропами
 По слѣду вепрей и волковъ.
 Черкесы гибнутъ. Врагъ повсюду.
 Прими меня, мой старый другъ,
 И, вотъ пророкъ!—твоихъ заслугъ,
 Я до могилы не забуду.—
 А умирающій въ отвѣтъ:
 «Ступай! достоинъ ты презрѣнья!
 Ни крова, ни благословенья
 Здѣсь у меня для труса нѣтъ!»
 Стыда и тайной муки полный,
 Безъ гнѣва вытерпѣвъ упрекъ,
 Ступилъ опять Гарунъ безмолвный
 За непривѣтливый порогъ.
 И саклю новую минуя,
 На мигъ остановился онъ,
 И прежнихъ дней летучій сонъ
 Вдругъ обдалъ жаромъ поцѣлуя
 Его холодное чело.
 И стало сладко и свѣтло
 Его душѣ; во мракѣ ночи,
 Казалось, пламенные очи
 Блеснули ласково предъ нимъ,
 И онъ подумалъ: «Я люблю...
 Она лишь мной живетъ и дышитъ...»
 И хотеть онъ войти—и слышитъ...
 И слышитъ пѣсню старины.
 И сталъ Гарунъ блѣдный луны.

«Мѣсяцъ плыветъ,
 И тихъ и спокоенъ,
 А юноша-воинъ
 На битву идетъ.
 Ружье заряжаетъ джигитъ,
 И дѣва ему говоритъ:
 «Мой милый, смѣлѣе
 Вѣрайся ты року.
 Молися Востоку,
 Будь вѣренъ пророку,
 Будь славѣ вѣрнѣй.
 Своимъ измѣнившій—
 Измѣной кровавой,
 Врага не сразивши,
 Погибнетъ безъ славы;
 Дожди его ранъ не обмоютъ,
 И звѣри костей не зароютъ».
 Въ горахъ никого нѣтъ,
 Кто бъ вынесъ позоръ,
 И труса прогонитъ
 Красавица горъ!»

Главой поникнувъ, съ быстротою
 Гарунъ свой продолжаетъ путь,
 И крупная слеза, порою,
 Съ рѣсницы падаетъ на грудь.
 Но вотъ, отъ бури наклоненный,
 Предъ нимъ родной бѣлѣтъ домъ;
 Надеждой снова ободренный,
 Гарунъ стучится подъ окномъ;
 Тамъ, вѣрно, теплыя молитвы
 Восходятъ къ небу за него;
 Старуха-мать ждетъ сына съ битвы,
 Но ждетъ его—не одного.
 «Мать, отвори! я странникъ бѣдный,
 Я твой Гарунъ, твой младшій сынъ,
 Сквозь пули русскія безвредно
 Пришелъ къ тебѣ...»

— Одинъ?

«Одинъ!»

—А гдѣ отецъ и братья?

«Пали.

Пророкъ ихъ смерть благословилъ,
 И ангелы ихъ души взяли».
 —Ты отомстилъ?

«Не отомстилъ...»

Но я стрѣлой пустился въ горы,

Оставилъ мечъ въ чужомъ краю,
Чтобы твои утѣшить взоры
И утереть слезу твою». —
Молчи, молчи! гяуръ лукавый,
Ты умереть не могъ со славой!
Такъ удались, живи одинъ.
Твоимъ стыдомъ, бѣглець свободы,
Не омрачу я стары годы.
Ты рабъ и трусъ... а мнѣ не сынъ! —
Умолкло слово отверженья,
И все кругомъ объято сномъ.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго подъ окномъ,
И, наконецъ, ударъ кинжала
Пресѣкъ несчастнаго позоръ,
И мать поутру увидала,
И холодно отвернула взоръ.

И трупъ, отъ праведныхъ изгнанный,
Никто къ кладбищу не отнесъ,
И кровь его съ глубокой раны
Лизалъ, рыча, домашній песъ.
Ребята малые ругались
Надъ хладнымъ тѣломъ мертвеца;
Въ преданьяхъ вольности остались
Позоръ и гибель бѣглеца.
Душа его отъ глазъ пророка
Со страхомъ удалилась прочь,
И тѣнь его въ горахъ Востока
Понынѣ бродить въ темну ночь;
И подъ окномъ, поутру рано,
Опъ въ саклю просится, стуча;
Но, внемля громкій стихъ Корана,
Вѣжить опять подъ сѣнь тумана,
Какъ прежде бѣгалъ отъ меча.

М. Лермонтовъ.



Вѣсти съ родины. Съ карт. Пастернака.

Солдатское житье.

I.

Четвертаго мая тысяча восемьсотъ семьдесятъ седьмого года я пріѣхалъ въ Клиппиневъ и черезъ полчаса узналъ, что черезъ городъ проходить 56-я пѣхотная дивизія. Такъ какъ я пріѣхалъ съ цѣлью поступить въ какой-нибудь

поить и побывать на войнѣ, то седьмого мая, въ четыре часа утра, я уже стоялъ на улицѣ въ сѣрыхъ рядахъ, выстроившихся передъ квартирой полковника 222-го старобѣльскаго полка. На мнѣ была сѣрая шинель съ красными погонями и синими петлицами, кепи съ синимъ околышемъ; за спиной ранецъ, на поясѣ—патронныя сумки, въ рукахъ—тяжелая кринковская виштовка.

Музыка грянула: отъ полковника выпосили знамена. Раздалась команда; полкъ беззвучно сдѣлалъ на караулъ. Потомъ поднялся ужасный крикъ: скомандовалъ полковникъ, за нимъ батальонный и ротные командиры и взводные унтеръ-офицеры. Слѣдствіемъ всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движеніе сѣрыхъ шинелей, кончившееся тѣмъ, что полкъ вытянулся въ длинную колонну и мѣрно зашагалъ подъ звуки полкового оркестра, гремѣвшаго веселый маршъ. Шагалъ и я, стараясь попадать въ ногу и идти наравнѣ съ сосѣдомъ. Ранецъ тянулъ назадъ, тяжелыя сумки впередъ, ружье соскакивало съ плеча, воротникъ сѣрой шинели теръ шею; но, несмотря на всѣ эти маленькія непріятности, музыка, стройное, тяжелое движеніе колонны, раннее свѣжее утро, видъ щетины штыковъ, загорѣлыхъ и суровыхъ лицъ настраивали душу твердо и спокойно.

У воротъ домовъ, несмотря на раннее утро, толпились народъ; изъ оконъ глядѣли полураздѣтыя фигуры. Мы шли по длинной, прямой улицѣ, мимо базара, куда начали съѣзжаться молдаване на своихъ воловьихъ возахъ; улица поднималась въ гору и упиралась въ городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывалъ дождикъ; деревья кладбища виднѣлись въ туманѣ; изъ-за мокрыхъ воротъ и стѣны выглядывали верхушки памятниковъ. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мнѣ, что оно смотритъ на насъ сквозь туманъ въ недоумѣніи. «Зачѣмъ идти вамъ, тысячамъ, за тысячи верстъ умирать на чужихъ поляхъ, когда можно умереть и здѣсь, умереть спокойно и лечь подъ моими деревянными крестами и каменными плитами? Оставайтесь!»

Но мы не остались. Насъ влекла невѣдомая тайная сила: нѣтъ силы болѣе сильной въ человѣческой жизни. Каждый отдѣльно ушелъ бы домой, но вся масса шла, повинувшись по дисциплинѣ не сознанію правоты дѣла, не чувству ненависти къ неизвѣстному врагу, не страху наказанія, а тому невѣдомому и безсознательному, что долго еще будетъ водить человѣчество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможныхъ людскихъ бѣдъ и страданій.

За кладбищемъ открылась широкая и глубокая долина, уходившая изъ глазъ въ туманъ. Дождь пошелъ сильнѣе; кое-гдѣ, далеко-далеко, тучи, раздвигаясь, пропускали солнечный лучъ; тогда косыя и прямыя полосы дождя сверкали серебромъ. По зеленымъ склонамъ долины ползли туманы; сквозь нихъ можно было различить длинныя, вытянувшіяся колонны войскъ, шедшихъ впереди насъ. Изрѣдка блестѣли кое-гдѣ штыки; орудіе, понавѣ въ солнечный свѣтъ, горѣло нѣсколько времени яркою звѣздочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнѣе; дождь шелъ чаще. Черезъ часъ послѣ выступленія я почувствовалъ, какъ струйка холодной воды побѣжала у меня по спинѣ.

Первый переходъ былъ невеликъ: отъ Кишинева до деревни Гаурени всего восемнадцать верстъ. Однако, съ непривычки нести на себѣ фунтовъ двадцать пять-тридцать груза, я, добравшись до отведенной намъ хаты, сначала даже сѣсть не могъ: приклонился ранцемъ къ стѣнѣ, да такъ и стоялъ минутъ десять въ полной амуниціи и съ ружьемъ въ рукахъ. Одинъ изъ солдатъ, идя

на кухню за обѣдомъ, сжалившись надо мной, взялъ и мой котелокъ по когдѣ; онъ пришелъ, то засталъ меня спящимъ глубокимъ сномъ. Я проснулся только въ четыре часа утра отъ нестерпимо рѣзкихъ звуковъ рожка, игравшаго генераль-маршъ, и черезъ пять минутъ снова шагаль по грязной глинистой дорогѣ, подъ мелко сыпавшимъ, точно сквозь сито, дождикомъ. Передо мною двигалась чья-то сѣрая спина съ навьюченнымъ на нее бурнымъ телячьимъ ранцемъ, побрякивавшимъ желѣзнымъ котелкомъ, и ружьемъ на плечѣ; съ боковъ и сзади тоже шли такія же сѣрыя фигуры. Первые дни я не могъ отличать ихъ другъ отъ друга. 222-й пѣхотный полкъ, куда я попалъ, состоялъ большею частью изъ вятскихъ (вѣчскихъ, какъ они говорили) и костромскихъ мужиковъ. Все широкія, скуластыя лица, побурѣвшія отъ холода; сѣрые небольшіе глаза, блѣлые, цвѣтныя волосы и бороды. Хотя я и помнилъ нѣсколько фамилій, по кому онѣ принадлежать—не зналъ. Черезъ двѣ недѣли я не могъ понять, какъ я могъ смѣшивать двухъ своихъ сосѣдей: одного, шедшаго рядомъ со мною, и другого, шедшаго рядомъ съ обладателемъ сѣрой спины, бывшей постоянно передъ моими глазами. Я безразлично называлъ ихъ Федоровымъ и Житковымъ, постоянно ошибался, а между тѣмъ они были совершенно непохожи другъ на друга.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, и мы двигались безъ палатокъ. Безконечная глинистая дорога подымалась на холмъ и спускалась въ оврагъ чуть ли не на каждой верстѣ. Ити было тяжело. На ногахъ комья грязи, сѣрое небо низко повисло, и непрерывно сѣть на насъ мелкій дождь. И нѣтъ ему конца; нѣтъ надежды, приди на почлегъ, высушиться и отогрѣться: румыны не пускали насъ въ жилье, да имъ и негдѣ было помѣстить такую массу народа. Мы проходили городъ или деревню и становились гдѣ-нибудь на выгонѣ.

— Стой!.. Составь!

И приходилось, поѣвши горячей похлебки, укладываться прямо въ грязь. Снизу вода, сверху вода; казалось, и тѣло все пропитано водой. Дрожишь, кутаешься въ шинель, понемногу начинаешь согрѣваться влажною теплотой и крѣпко засыпаешь опять до проклинаемаго всѣми генераль-марша. Снова сѣрая колонна, сѣрое небо, грязная дорога и печальные, мокрые холмы и долины. Людямъ приходилось трудно.

— Растворились всѣ хляби небесныя,—со вздохомъ говорилъ нашъ полувзводный унтеръ-офицеръ Карповъ, старый солдатъ, сдѣлавшій хивинскій походъ.—Мокнемъ-мокнуемъ безъ конца.

— Высохнемъ, Василь Карпычъ! Вотъ солнышко выглянетъ, всѣхъ высушитъ. Походъ дологъ: поспѣемъ и высохнуть и вымокнуть, пока дойдемъ. Михайлычъ!—обращается сосѣдъ ко мнѣ,—далече ли до Дуная-то?

— Недѣли три еще пройдетъ.

— Три недѣли! Да двѣ идемъ вотъ...

— Идемъ къ чорту въ лапы,—проворчалъ дядя Житковъ.

— Чего ты тамъ, старый чортъ, ворчишь? Народъ смущаешь! Къ какому чорту въ лапы? Почему ты такое произносишь?

— На праздникъ, что ли, идемъ?—огрызается Житковъ.

Однако всему бываетъ конецъ. Однажды, проснувшись утромъ на бивуакѣ, около деревни, гдѣ была назначена дневка, я видѣлъ голубое небо, бѣлыя мазанки и виноградники, ярко залитые утреннимъ солнцемъ, слышалъ повеселѣвшіе, живые голоса. Всѣ ужъ встали, обсушились и отдыхали отъ тяжелаго

полуторанедѣльнаго похода подъ дождемъ, безъ палатокъ. Во время дневки привезли и ихъ. Солдаты тотчасъ же принялись натягивать ихъ и, устроивъ все, какъ слѣдуетъ, забивъ колышки и наткнувъ полотнища, почти все улеглись подъ тѣнь.

— Отъ дождя не помогли, отъ солнышка сберегутъ.

— Да, чтобы личико у барина не почернѣло, — пошутилъ Ѳедоровъ, лукаво подмигивая въ мою сторону.

II.

За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли съ поселка, гдѣ ноги вязли въ расплзавшейся почвѣ, на большое шоссе, ведущее изъ Яссы въ Бухарестъ. Первый нашъ переходъ по шоссе, отъ Текуча къ Берладу, навсегда останется въ памяти сдѣлавшихъ его. Было 35 градусовъ въ тѣни; переходъ былъ сорокъ восемь верстъ. Было тихо; мелкая известковая пыль, поднимаемая тысячами ногъ, стояла надъ шоссе; она лѣзла въ носъ и ротъ, пудрила волосы, такъ что нельзя было разобрать ихъ цвѣта; смѣшанная съ потомъ, она покрыла все лица грязью и превратила всехъ въ негровъ. Почему-то мы шли тогда не въ рубахахъ, а въ мундирахъ. Солнце нагрѣвало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черныя кепи; ноги чувствовали сквозь подошву раскаленный щебень шоссе. Люди задыхались. На бѣду, колодцы были рѣдки, и въ большей части ихъ было такъ мало воды, что голова нашей колонны (шла цѣлая дивизія) вычерпывала всю воду, и намъ, послѣ страшной давки и толкотни у колодцевъ, доставалась только глинистая жидкость, скорѣе грязь, чѣмъ вода. Когда не хватало и ея, люди падали. Въ этотъ день въ одномъ нашемъ батальонѣ упало на дорогѣ около девяноста человекъ. Трое умерло отъ солнечнаго удара.

Я выносилъ эту пытку сравнительно съ другими легко. Можетъ-быть, потому, что нашъ полкъ былъ набранъ большею частью изъ сѣверянъ, а я съ дѣтства привыкъ къ степнымъ жарамъ; а можетъ-быть, тутъ дѣйствовала иная причина. Мнѣ случилось замѣтить, что простые солдаты вообще принимаютъ физическія страданія ближе къ сердцу, чѣмъ солдаты изъ такъ называемыхъ привилегированныхъ классовъ (говорю только о тѣхъ, кто пошелъ на войну по собственному желанію). Для нихъ, простыхъ солдатъ, физическія бѣды были настоящимъ горемъ, способнымъ наводить тоску и вообще мучить душу. Тѣ же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдатъ изъ простыхъ людей — вслѣдствіе изнѣженнаго воспитанія, сравнительно, тѣлесной слабости и проч. — но душевно были спокойнѣе. Душевный міръ ихъ не могъ быть нарушенъ избитыми въ кровь ногами, невыносимымъ жаромъ и смертельною усталостью. Никогда не было во мнѣ такого полнаго душевнаго спокойствія, мира съ самимъ собой и кроткаго отношенія къ жизни, какъ тогда, когда я испытывалъ эти невзгоды и шелъ подъ пули убивать людей. Дико и странно можетъ показаться все это, но я пишу одну правду.

Какъ бы то ни было, когда другіе падали на дорогѣ, я все-таки еще помнилъ себя. Въ Текучѣ я запасся огромною тыквенною кубышкою, въ которую входило, по крайней мѣрѣ, бутылки четыре. Дорогой мнѣ пришлось не разъ наполнять ее водой; половину этой воды я вылилъ въ себя, другую раздавалъ сосѣдямъ. Идетъ человекъ, перемогается, но жара беретъ свое: ноги начинаютъ подгибаться, тѣло качается, какъ у пьянаго; сквозь слой грязи и пыли видно, какъ багровѣетъ лицо; рука судорожно стискиваетъ винтовку. Глотокъ воды

оживляетъ его на нѣсколько минутъ, но въ концѣ-концовъ человѣкъ безъ памяти валится на пыльную и жесткую дорогу. «Дневальный!» кричатъ хриплые голоса. Обязанности дневального—стащить упавшаго въ сторону и помочь ему; но и самъ дневальный почти въ такомъ же состояніи. Канавы по сторонамъ шоссе усеяны лежащими людьми... Федоровъ и Житковъ идутъ рядомъ со мною, и хотя, видимо, страдаютъ, но крѣбятся. Жара произвела на нихъ дѣйствіе своеобразно съ ихъ характерами, но только въ обратную сторону: Федоровъ молчитъ и только иногда тяжело вздыхаетъ, жалобно поглядывая своими прекрасными, а теперь воспаленными отъ пыли глазами; дядя Житковъ ругается и резонерствуетъ.

— Ишь, валится... Штыкомъ задѣнешь, чо-ортъ!—сердито кричитъ онъ, отклоняясь отъ штыка упавшаго солдата, который чуть не попалъ ему остриемъ въ глазъ.—Господи! Царица Небесная! За что ты на насъ посылаешь? Кабы не живодеръ этотъ, и самъ бы, кажись, упалъ.

— Кто живодеръ, дядя?—спрашиваю я.

— Нѣмцевъ, штабсъ-капитанъ. Понче онъ дежурный; сзади идетъ. Лучше итти, а то такъ отработаетъ... Мѣста живого не оставитъ.

Я зналъ уже, что солдаты передѣляли фамилію «Венцель» въ «Нѣмцевъ». Выходило и похоже—и по-русски.

Я вышелъ изъ рядовъ. Въ сторонкѣ отъ шоссе итти было немного легче: не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многіе: въ этотъ несчастный день никто не заботился о сохраненіи правильного строя. Понемногу я отсталъ отъ своей роты и очутился въ хвостѣ колонны.

Пройдя нѣсколько шаговъ и повернувъ голову назадъ, я увидѣлъ, что Венцель наклонился надъ упавшимъ солдатомъ и тащитъ его за плечо.

— Вставай, капалья! Вставай!

Онъ сыпалъ грубыми ругательствами безъ перерыва. Солдатъ былъ почти безъ чувствъ и съ безнадежнымъ выраженіемъ смотрѣлъ на взбѣшеннаго офицера. Губы его шептали что-то.

— Вставай! Сейчасъ же вставай! А! Ты не хочешь? Такъ вотъ тебѣ, вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!

Венцель схватилъ свою саблю и началъ наносить ея желѣзными познами ударъ за ударомъ по измученнымъ ранцемъ и ружьемъ плечамъ несчастнаго. Я не выдержалъ и подошелъ къ нему.

— Петръ Николаевичъ!

— Вставай!..—Рука съ саблею еще разъ поднялась для удара. Я успѣлъ крѣпко схватить ее.

— Бога ради, Петръ Николаевичъ, оставьте его.

Онъ обернулъ ко мнѣ разъяренное лицо. Съ выкатившимися глазами и съ судорожно искривленнымъ ртомъ онъ былъ страшенъ. Рѣзкимъ движеніемъ онъ вырвалъ свою руку изъ моей. Я думалъ, что онъ разразится на меня грозой за мою дерзость (схватить офицера за руку дѣйствительно было крупною дерзостью), но онъ сдержалъ себя.

— Слушайте, Ивановъ, не дѣлайте этого никогда! Если бъ на моемъ мѣстѣ былъ какой-нибудь бурбонъ, въ родѣ Щурова или Тимоосева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой, и что васъ за подобныя вещи могутъ безъ дальнихъ словъ—разстрѣлять!

— Все равно. Я не могъ видѣть и не вступиться.

— Это дѣлаете честь вашимъ нѣжнымъ чувствамъ. Но прилагаете вы ихъ не въ то мѣсто. Развѣ можно иначе съ этими... (его лицо выразило презрѣніе, даже больше, какую-то ненависть). Изъ этихъ десятковъ свалившихся, какъ бабы, можетъ-быть, только нѣсколько человѣкъ дѣйствительно изнемогли. Я дѣлаю это не изъ жестокости—во мнѣ ея нѣтъ: нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если бъ съ ними можно было говорить, я бы дѣйствовалъ словомъ. Слово для нихъ—ничто. Они чувствуютъ только физическую боль.

Я не дослушалъ его и пустился догонять свою, уже далеко ушедшую роту. Я догналъ Федорова и Житкова, когда нашъ батальонъ свелъ съ шоссе на поле и скомандовали остановиться.

— Что это вы, Михайлычъ, съ штабсъ-капитаномъ Венцелемъ говорили?—спросилъ Федоровъ, когда я въ изнеможеніи упалъ возлѣ него, едва успѣвъ поставить ружье.

— Говорилъ!—пробурчалъ Житковъ.—Нешто такъ говорить? Онъ его за руку схватилъ. Эхъ, баринъ Ивановъ, берегитесь Иѣмцева, не смотрите, что онъ разговаривать съ вами охочъ, пропадете вы съ нимъ ни за денежку!

III.

Поздно вечеромъ мы добрались до Фокшанъ, прошли черезъ неосвѣщенный, безмолвный и пыльный городокъ и вышли куда-то въ поле. Не было видно ни зги, кое-какъ поставили батальоны, и измученные люди уснули, какъ убитые; никто почти не захотѣлъ ѣсть приготовленного «обѣда». Солдатская ѣда всегда «обѣдъ», случится ли она раннимъ утромъ, днемъ или ночью. Цѣлую ночь подтягивались отсталые. На зарѣ мы опять выступили, утѣшаясь тѣмъ, что черезъ переходъ будетъ дневка.

Снова движущіеся ряды, снова ранецъ давить онѣмѣвшія плечи, снова болятъ истертыя и палившіяся кровью ноги. Но первыя десять верстъ почти ничего не сознаешь. Короткій сонъ не можетъ уничтожить усталости вчерашняго дня, и люди шагаютъ совсѣмъ сонные. Мнѣ случалось спать на ходу до такой степени крѣпко, что остановившись на привалѣ, я не вѣрилъ, что мы уже прошли десять верстъ, и не помнилъ ни одного мѣста изъ пройденнаго пути. Только когда передъ приваломъ колонны начинаютъ подтягиваться и перестраиваться для остановки, просыпаешься и съ радостью думаешь о цѣломъ часѣ отдыха, когда можно развѣючиться, вскипятить воду въ котелкѣ и полежать на свободѣ, попивая горячій чай. Какъ только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо—почти всегда сухіе стебли прошлогодней кукурузы. Въ землю втыкаются два штыка; на нихъ кладется шомполъ, а на него вѣшаютъ два или три котелка. Сухіе, рыхлые стебли горятъ ясно и весело; раскладываютъ ихъ всегда съ надвѣтренной стороны; пламя лижетъ закопченные котелки, и черезъ десять минутъ вода бьетъ ключомъ. Чай бросали прямо въ кипятокъ и давали ему вывариться, получалась крѣпкая, почти черная жидкость, которую пили большею частью безъ сахара, такъ какъ казна, выдававшая очень много чая (его даже курили, когда не хватало табаку), давала очень мало сахара; и пили въ огромномъ количествѣ. Котелокъ, въ который входило семь стакановъ, составляетъ обыкновенную порцію для одного.

Может-быть, страннымъ покажется, что я такъ распространяюсь о мелочахъ. Но солдатская походная жизнь такъ тяжела, въ ней столько лишений и мученья, впереди такъ мало надежды на хороший исходъ, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость.

В. Гаршинъ.

В о й н а.

Первы, что ли, у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ—это незначительная вещь! Отчего же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстія о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тилиульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныя дѣла, съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, никто не обращаетъ вниманія?

Я не могу ничего дѣлать и не могу ни о чемъ думать. Я прочиталъ о третьемъ Плевненскомъ боѣ. Выбыло изъ строя двѣнадцать тысячъ однихъ русскихъ и румынъ, не считая турокъ... Двѣнадцать тысячъ... Эта цифра то носится передо мною въ видѣ знаковъ, то растягивается безконечной лентой лежащихъ рядомъ труповъ. Если ихъ положить плечо съ плечомъ, то составитъ дорога въ восемь верстъ... Что же это такое?



Забутый. Съ карт. Верещагина.

Мнѣ говорили что-то про Скобелева, что онъ куда-то кинулся, что-то атаковалъ, взять какой-то редутъ, или у него его взяли... я не помню. Въ этомъ страшномъ дѣлѣ я помню и вижу только одно—гору труповъ, служащую пьедесталомъ грандіознымъ дѣламъ, которыя занесутся на страницы исторіи. Можетъ-быть, это необходимо—я не берусь судить, да и не могу; я не разсуждаю о войнѣ и отношусь къ ней съ непосредственнымъ чувствомъ, возмущаемымъ массою пролитой крови. Быкъ, на глазахъ котораго убиваютъ подобныхъ ему быковъ, чувствуетъ, вѣроятно, что-нибудь похожее... Онъ не понимаетъ, чему его смерть послужить, и только съ ужасомъ смотритъ выкатившимися глазами на кровь и реветъ отчаяннымъ, надрывающимъ душу голосомъ.

В. Гаршинъ.

Р у с ь.

Битву кровавую
Съ сильной державою
Царь замышлялъ.
«Хватитъ ли силушки?
Хватитъ ли золота?»
Думалъ, гадалъ.

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и безсильная,
Матушка-Русь!

Въ рабствѣ спасенное
Сердце свободное—
Золото, золото
Сердце народное!

Сила народная,
Сила могучая,
Совѣсть спокойная,
Правда живучая!

Сила съ неправдою
Не уживается,

Жертва неправдою
Не вызывается—
Русь не шелохнется,
Русь—какъ убитая!
А загорѣлась въ ней
Искра сокрытая—

Встали—не бужены,
Вышли не прошены,
Жита по зернышку
Горы паношены,

Рать подымается
Ненаслимая,
Сила въ ней скажется
Несокрушимая!

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!..

Н. Некрасовъ.

Р у с с к і й я з ы к ъ.

Во дни сомнѣній, во дни тягостныхъ раздумій о судьбахъ моей родины,—
ты одинъ мнѣ поддержка и опора, о великій, могучій, правдивый и свободный
русскій языкъ!

Не будь тебя — какъ не впасть въ отчаяніе при видѣ всего, что совершается дома? Но нельзя вѣрить, чтобы такой языкъ не былъ данъ великому народу!

И. Тургеневъ.

III. Х А Р А К Т Е Р Ы.

1. Крестьяне.

Хорь и Калинычъ.

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голосъ, — и Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую нарвалъ онъ для своего друга, Хоря.

Старикъ радушно его привѣтствовалъ. Я съ изумленіемъ поглядѣлъ на Калиныча: признаюсь, я не ожидалъ такихъ «нѣжностей» отъ мужика.

Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чѣмъ я заслужилъ ихъ довѣріе, но они непринужденно разговаривали со мной. Я съ удовольствіемъ слушалъ ихъ и наблюдалъ за ними. Оба пріятеля нисколько не походили другъ на друга. Хорь былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, рационалистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т.-е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ барининомъ и съ прочими властями; Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ. Хорь расплодилъ большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой онъ боялся, а дѣтей и не бывало вовсе. Хорь пасквозь видѣлъ г-на Полутыкина ¹⁾; Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ. Хорь любилъ Калиныча и оказывалъ ему покровительство; Калинычъ любилъ и уважалъ Хоря. Хорь говорилъ мало, посмѣивался и разумѣлъ про себя; Калинычъ объяснялся съ жаромъ, хотя и не пѣлъ соловьемъ, какъ бойкій фабричный человѣкъ... Но Калинычъ былъ одаренъ преимуществами, которыя признавалъ самъ Хорь, напримѣръ: онъ заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мнѣ попросилъ его ввести въ конюшню повокупленную лошадь, и Калинычъ съ добросовѣстною важностью исполнилъ просьбу стараго скептика. Калинычъ стоялъ ближе къ природѣ; Хорь же — къ людямъ, къ обществу; Калинычъ не любилъ разсуждать и всему вѣрилъ слѣпо; Хорь возвышался даже до проницательной точки зрѣнія на жизнь. Онъ много видѣлъ, много зналъ, и отъ него я многому научился. Но Хорь не все рассказывалъ; онъ самъ меня спрашивалъ о многомъ. Узналъ онъ, что я бывалъ за границей, и любопытство его разгорѣлось... Калинычъ отъ него не отставалъ; но Калиныча болѣе трогали описанія природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку: «Что, у нихъ это тамъ есть такъ же, какъ у насъ или иначе?.. Ну, говори, батюшка, — какъ же?..» — «А! ахъ, Господи, Твоя воля!» восклицалъ Калинычъ во время моего разсказа; Хорь молчалъ, хмурилъ густыя брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что «дескать это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо — это порядокъ». Всѣхъ его разспросовъ я передать вамъ не могу, да и не зачѣмъ; по изъ нашихъ разговоровъ я вынесъ одно убѣжденіе, котораго, вѣроятно, никакъ

¹⁾ Помѣщикъ, которому принадлежали Хорь и Калинычъ по крѣпостному праву.

не ожидаютъ читатели,—убѣжденъе, что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что онъ не прочь и поломать себѣ: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ—ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ. Благодаря исключительности своего положенія, своей фактической независимости, Хорь говорилъ со мной о многомъ, чего изъ другого рычагомъ не выворишишь, какъ выражаются мужики, жерновомъ не вымелешь. Онъ дѣйствительно понималъ свое положеніе. Толкуя съ Хоремъ, я въ первый разъ услышалъ простую, умную рѣчь русскаго мужика. Его познанія были довольно, по-своему, обширны, но читать онъ не умѣлъ; Калинычъ умѣлъ. «Этому шалопая грамота далась,—замѣтилъ Хорь;—у него и пчелы отродясь не мерли».—«А дѣтей ты своихъ выучилъ грамотѣ?»—Хорь помолчалъ.—«Отедѣ знаетъ».—«А другіе?»—«Другіе не знаютъ».—«А что?»—Старикъ не отвѣчалъ и перемѣнилъ разговоръ. Впрочемъ, какъ онъ уменъ ни былъ, водились и за нимъ многіе предрасудки и предубѣжденія. Бабу онъ, напримѣръ, презиралъ отъ глубины души, а въ веселый часъ тѣшился и издѣвался надъ нею. Жена его, старая и сварливая, цѣлый день не сходила съ печи и безпрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее вниманія, но невѣстокъ она содержала въ страхѣ Божіемъ. Не даромъ въ русской пѣсенкѣ свекровь поетъ: «Какой ты мнѣ сынъ, какой семьянинъ! не бѣшь ты жены, не бѣшь молодой...» Я разъ было вздумалъ заступиться за невѣстокъ, попытался возбудить состраданіе Хоря; но онъ спокойно возразилъ мнѣ, что «Охота де вамъ такими... пустяками заниматься,—пускай бабы ссорятся... Ихъ что разнимать — то хуже, да и рукъ марать не стоитъ». Иногда злая старуха слѣзала съ печи, вызывала изъ сѣней дворовую собаку, приговаривая: «сюды, сюды, собачка!» и била ее по худой спинѣ кочергой, или становилась подъ навѣсъ и «лаялась», какъ выражался Хорь, со всѣми проходящими. Мужа своего она, однакоже, боялась и, по его приказанію, убиралась къ себѣ на печь. Но особенно любопытно было послушать споръ Калиныча съ Хоремъ, когда дѣло доходило до г-на Полутыкина. «Ужъ ты, Хорь, у меня его не трогай», говорилъ Калинычъ. «А что жъ онъ тебѣ сапоговъ не сошьетъ?» возражалъ тотъ. «Эка, сапоги!.. На что мнѣ сапоги? Я мужикъ...» — «Да вотъ и я мужикъ, а вишь...» При этомъ словѣ Хорь поднималъ свою ногу и показывалъ Калинычу сапогъ, скроенный, вѣроятно, изъ мамонтовой кожи. «Эхъ, да ты развѣ нашъ братъ!» отвѣчалъ Калинычъ. «Ну, хоть бы на лапти далъ: вѣдь ты съ нимъ на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Онъ мнѣ даетъ на лапти». — «Да, въ прошломъ году гривенникъ пожаловалъ». Калинычъ съ досадою отворачивался, а Хорь заливался смѣхомъ, при чемъ его маленькіе глазки исчезали совершенно.

Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и подгравывалъ на балалайкѣ. Хорь слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: «Доля ты моя, доля!» Отедѣ не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. «Чего, старикъ, разжалобился?» Но Хорь подпиралъ щеку рукой, закрывалъ глаза и продолжалъ жаловаться на

свою долю... Зато въ другое время не было человѣка дѣятельнѣе его: вѣчно надъ чѣмъ-нибудь копаются — телѣгу чинить, заборъ подиравать, сбрую пересматривать. Особенной чистоты онъ, однако, не придерживался, и на мои замѣчанія отвѣчалъ мнѣ однажды, что «надо де избѣ жильемъ пахнуть».

— Посмотри-ка, — возразилъ я ему, — какъ у Калиныча на пасѣкѣ чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказалъ онъ со вздохомъ.

— А что, — спросилъ онъ меня въ другой разъ: — у тебя своя вотчина есть? — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верстѣ сто». — «Что же ты, батюшка, живешь въ своей вотчинѣ?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьемъ проба-вляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, дѣлаешь; стрѣлай себѣ на здоровье тетеревовъ, да старосту мѣняй почаще».

На четвертый день, вечеромъ, г. Полутыкинъ прислалъ за мной. Жаль мнѣ было разставаться съ старикомъ. Вмѣстѣ съ Калинычемъ сѣлъ я въ телѣгу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоровъ, — сказалъ я. — Прощай, Одея». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай насъ». Мы поѣхали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будетъ», замѣтилъ я, глядя на свѣтлое небо. «Нѣтъ, дождь пойдетъ, — возразилъ мнѣ Калинычъ: — утки, вонъ, плещутся, да и трава больно сильно пахнетъ». — Мы вѣхали въ кусты. Калинычъ запѣлъ вполголоса, подпрыгивая на облучкѣ, и все глядѣлъ да глядѣлъ на зарю...

И. Тургеневъ.

Касьянъ съ Красивой-Мечи.



— А что, пташекъ стрѣлять идешь? — заговорилъ Касьянъ. — А?

— Да, если найду.

— Я пойду съ тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли. — Вырубленнаго мѣста было всего съ версту. Я, признаюсь, больше глядѣлъ на Касьяна, чѣмъ на свою собаку. Не даромъ его прозвали Блохой. Его черная, ничѣмъ не прикрытая головка (впрочемъ, его волосы могли замѣнить любую шапку) такъ и мелькала въ кустахъ. Онъ ходилъ необыкновенно проворно и словно все подпрыгивалъ на ходу, безпрестанно нагибался, срывалъ какія-то травки, совалъ ихъ за пазуху, бормоталъ себѣ что-то подъ носъ и все поглядывалъ на меня и на мою собаку, да такимъ пытливымъ, страннымъ взглядомъ. Въ низкихъ кустахъ, «въ мелочахъ», и

на сѣвкахъ часто держатся маленькія сѣрыя птички, которыя то и дѣло перемѣщаются съ деревца на деревцо и посвистываютъ, внезапно ныряя на

лету. Касьянъ ихъ передразнивалъ, перекликался съ ними; поршокъ ¹⁾ полетѣлъ, чиликая, у него изъ-подъ ногъ, — онъ зачлпикалъ ему вслѣдъ; жаворонокъ сталъ спускаться надъ нимъ, трепеща крылами и звонко распѣвая—Касьянъ подхватилъ его пѣсенку. Со мной онъ все не заговаривалъ...

Долго не находилъ я никакой дичи; наконецъ, изъ широкаго дубоваго куста, насквозь проросшаго полынью, полетѣлъ коростель. Я ударилъ; онъ вернулся на воздухъ и упалъ. Услышавъ выстрѣлъ, Касьянъ быстро закрылъ глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядилъ ружья и не поднялъ коростеля. Когда же я отправился далѣе, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ упала убитая птица, нагнулся къ травѣ, на которую брызнуло нѣсколько капель крови, покачалъ головой, пугливо взглянулъ на меня... Я слышалъ послѣ, какъ онъ шепталъ: «Грѣхъ!.. Ахъ, вотъ это грѣхъ!»

Жара заставила насъ, наконецъ, войти въ рощу. Я бросился подъ высокій кустъ орѣшника, надъ которымъ молодой, стройный кленъ красиво раскинулъ свои легкія вѣтки. Касьянъ присѣлъ на толстый конецъ срубленной березы. Я глядѣлъ на него. Листья слабо колебались въ вышинѣ, и ихъ жидко-зеленоватыя тѣни тихо скользили взадъ и впередъ по его тѣдущему тѣлу, кое-какъ закутанному въ темный армякъ, по его маленькому лицу. Онъ не поднималъ головы. Наскучивъ его безмолвіемъ, я легъ на спину и началъ любоваться мирной игрой перепутанныхъ листьевъ на далекомъ, свѣтломъ небѣ.

— Баринъ, а баринъ! — промолвилъ вдругъ Касьянъ своимъ звучнымъ голосомъ.

Я съ удивленіемъ приподнялся; до сихъ поръ онъ едва отвѣчалъ на мои вопросы, а то вдругъ самъ заговорилъ.

— Что тебѣ? — спросилъ я.

— Ну, для чего ты птишку убилъ? — началъ онъ, глядя мнѣ прямо въ лицо.

— Какъ для чего?.. Коростель — это дичь: его ѣсть можно.

— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

— Да вѣдь ты самъ, небось, гусей или курицъ, напримѣръ, ѣшь?

— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель — птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... А человѣку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлѣбъ — Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ.

Я съ удивленіемъ поглядѣлъ на Касьяна. Слова его лились свободно; онъ не искалъ ихъ, онъ говорилъ съ тихимъ одушевленіемъ и кроткою важностію, изрѣдка закрывая глаза.

— Такъ и рыбу, по-твоему, грѣшно убивать? — спросилъ я.

— У рыбы кровь холодная, — возразилъ онъ съ увѣренностію: — рыба тварь нѣмая. Она не боится, не веселится; рыба тварь безсловесная. Рыба не чувствуетъ, въ ней и кровь не живая... Кровь, — продолжалъ онъ, помолчавъ: — святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!

¹⁾ Молодой перепелъ.

Онъ вздохнулъ и потупился. Я, признаюсь, съ совершеннымъ изумленіемъ посмотрѣлъ на страннаго старика. Его рѣчь звучала не мужичьей рѣчью: такъ не говорятъ простолюдины, и краснобаи такъ не говорятъ. Этотъ языкъ, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхалъ ничего подобнаго.

— Скажи, пожалуйста, Касьянъ, — началъ я, не спуская глазъ съ его слегка раскраснѣвшагося лица: — чѣмъ ты промышляешь?

Онъ не тотчасъ отвѣтилъ на мой вопросъ. Его взглядъ безпокойно забѣгалъ на мгновеніе.

— Живу, какъ Господь велитъ, — промолвилъ онъ наконецъ, — а чтобы, то-есть, промышлять — нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно, съ малства; работаю, пока мочно, — работникъ-то я плохой... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ, и руки глупы. Ну, весной соловьевъ ловлю.

— Соловьевъ ловишь?.. А какъ же ты говоришь, что всякую лѣсную и полевою и прочую тамъ тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и такъ свое возьметъ. Вотъ, хоть бы Мартынъ-плотникъ: жилъ Мартынъ-плотникъ, и недолго жилъ, и померъ; жена его теперь убивается о мужъ, о дѣткахъ малыхъ... Противъ смерти ни человѣку, ни твари не слукавить. Смерть и не бѣжить, да и отъ нея не убѣжишь; да помогать ей не должно... А я соловушекъ не убиваю, — сохрани Господи! Я ихъ не на муку ловлю, не на погибель ихъ живота, а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселіе.

— Ты въ Курскъ ихъ ловить ходишь?

— Хожу я и въ Курскъ, и подалѣ хожу, какъ случится. Въ болотахъ ночую да въ залѣсахъ, въ полѣ ночую одинъ, во глуши: тутъ кулички разсвистятся, тутъ зайцы кричатъ, тутъ селезни стрекочутъ... По вечеркамъ замѣчаю, по утренничкамъ выслушиваю, по зарямъ обыскаю сѣткой кусты... Иной соловушко такъ жалостно поетъ, сладко... жалостно даже.

— И продаешь ты ихъ?

— Отдаю добрымъ людямъ.

— А что жъ ты еще дѣлаешь?

— Какъ дѣлаю?

— Чѣмъ ты занятъ?

Старикъ помолчалъ.

— Ничѣмъ я этакъ не занятъ... Работникъ я плохой. Грамотѣ, однако, разумѣю.

— Ты грамотный?

— Разумѣю грамотѣ. Помогъ Господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человѣкъ?

— Нѣту-ти, безсемейный.

— Что такъ?.. Перемерли, что ли?

— Нѣтъ, а такъ: задачи въ жизни не вышло. Да это все подъ Богомъ, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ; а справедливъ долженъ быть человѣкъ, — вотъ что! Богу угоденъ, то-есть.

— И родни у тебя нѣтъ?

— Есть... да... такъ...

Старикъ замаялся.

— Скажи, пожалуйста,—началь я:—миѣ слышалось, мой кучеръ у тебя спрашивалъ, что, дескать, отчего ты не вылѣчилъ Мартына? Развѣ ты умѣешь лѣчить?

— Кучеръ твой справедливый человѣкъ, — задумчиво отвѣчалъ миѣ Касьянъ,—а тоже не безъ грѣха. Лѣкаркой меня называютъ... Какая я лѣкарка!.. и кто можетъ лѣчить? Это все отъ Бога. А есть... есть травы, цвѣты есть: помогаютъ, точно. Вотъ, хоть череда, напримѣръ, трава добрая для человѣка; вотъ, подорожникъ тоже; объ нихъ и говорить не зазорно; чистыя травки — Божіи. Ну, а другія не такъ: и помогаютъ-то онѣ, а грѣхъ; и говорить о нихъ грѣхъ. Еще съ молитвой развѣ... Ну, конечно, есть и слова такія... А кто вѣруеть — спасется, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.

— Ты ничего Мартыну не давалъ? — спросилъ я.

— Поздно узналъ, — отвѣчалъ старикъ. — Да что! — кому какъ на роду написано. Не жилецъ былъ плотникъ Мартынъ, не жилецъ на землѣ: ужъ это такъ. Нѣтъ, ужъ какому человѣку не жить на землѣ, того и солнышко не грѣеть, какъ другого, и хлѣбушекъ тому не въ прокъ, — словно что его отзы-васть... Да; упокой Господь его душу!

— Давно васъ переселили къ намъ? — спросилъ я послѣ небольшого мол-чанія.

Касьянъ встрепенулся.

— Нѣтъ, недавно: года четыре. При старомъ баринѣ мы все жили на своихъ прежнихъ мѣстахъ, а вотъ опека переселила. Старый баринъ у насъ былъ кроткая душа, смиренникъ, — царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо разсудила; видно, ужъ такъ пришлось.

— А вы гдѣ прежде жили?

— Мы съ Красивой-Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верстъ сто.

— Что жъ, тамъ лучше было?

— Лучше... лучше. Тамъ мѣста привольныя, рѣчныя, гнѣздо наше, а здѣсь тѣснота, сухмень... Здѣсь мы осиротѣли. Тамъ у насъ, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холмъ, взойдешь — и Господи, Боже мой, что это? А?... И рѣка-то, и луга, и лѣсъ; а тамъ церковь, а тамъ опять пошла луга. Далече видно, далече. Вотъ, какъ далеко видно... смотришь, смотришь, ахъ ты, право! Ну, здѣсь, точно, земля лучше: суглинокъ, хорошій суглинокъ, говорятъ кре-стьяне; да съ меня хлѣбушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старикъ, скажи правду: тебѣ, чай, хочется на родинѣ-то по-бывать?

— Да, посмотрѣлъ бы. А впрочемъ, вездѣ хорошо. Человѣкъ я безсеме-йный, непосѣдъ. Да и что! Много, что ли, дома-то высидишь? А вотъ, какъ пой-дешь, какъ пойдешь, — подхватилъ онъ, возвысивъ голосъ, — и полежитъ, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты видѣй, и поестя-то ладнѣе. Тутъ, смотришь, — трава какая растетъ; ну, замѣтишь, — сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напримѣръ, ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься, — замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя... А то, за Курекомъ пойдутъ степи, этакія степныя мѣста, вотъ удивленіе, вотъ удовольствіе человѣку, вотъ раздолье-то, вотъ Бо-

жизни-то благодать! И идутъ онѣ, люди сказываютъ, до самыхъ теплыхъ морей, гдѣ живетъ птица Гамаюнъ сладкогласная, и съ деревь листь ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растутъ золотыя на серебряныхъ вѣткахъ, и живетъ всякъ челоѣкъ въ довольствѣ и справедливости... И вотъ, ужъ я бы туда пошелъ... Вѣдь я мало ли куда ходилъ! И въ Роменъ ходилъ, и въ Синбирскъ славный-градъ, и въ самую Москву золотыя-маковки; ходилъ на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видалъ, добрыхъ хрестьянъ, и въ городахъ побывалъ честныхъ... Ну, вотъ, пошелъ бы я туда... и вотъ... и ужъ и... И не одинъ я грѣшный... много другихъ хрестьянъ въ лантяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... Да!.. А то, что дома-то? А? Справедливости въ челоѣкъ нѣтъ,—вотъ оно что...

Эти послѣднія слова Касьянъ произнесъ скороговоркой, почти невнятно; потомъ онъ еще что-то сказалъ, чего я даже разслышать не могъ, а лицо его такое странное приняло выраженіе, что мнѣ невольно вспомнилось названіе «юродивца». Онъ потупился, откашлянулся и какъ будто пришелъ въ себя.

— Эко солнышко!—промолвилъ онъ вполголоса.—Эка благодать, Господи! Эка теплынь въ лѣсу!

Онъ поведъ плечами, помолчалъ, разсѣянно глянулъ и запѣлъ потихоньку. Я не могъ уловить всѣхъ словъ его протяжной пѣсенки; слѣдующія послышались мнѣ:

А зовутъ меня Касьяномъ,
А по прозвищу Блоха...

«Э!—подумалъ я,—да онъ сочиняетъ»...

Видя, что всѣ мои усилія заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на сѣчки. Притомъ же и жара немного спала; по неудача или, какъ говорятъ у насъ, незадача моя продолжалась, и я съ однимъ коростелемъ вернулся въ выселки. Уже подъѣзжая ко двору, Касьянъ вдругъ обернулся ко мнѣ.

— Баринъ, а баринъ,—заговорилъ онъ,—вѣдь я впиовать передъ тобой: вѣдь это я тебѣ дичь-то всю отвелъ.

— Какъ такъ?

— Да ужъ это я знаю. А вотъ, и ученый песъ у тебя, и хорошій, а ничего не смогъ. Подумаешь, люди что, люди? А? Вотъ и звѣрь, а что изъ него сдѣлали?

Я бы напрасно сталъ убѣждать Касьяна въ невозможности «заговорить» дичь, и потому ничего не отвѣчалъ ему. Притомъ же мы тотчасъ повернули въ ворота.

Я, какъ только вернулся, успѣлъ замѣтить, что Ерофей мой снова находился въ сумрачномъ расположеніи духа... И въ самомъ дѣлѣ, ничего съѣстного онъ въ деревнѣ не нашелъ, водоной для лошадей былъ плохой. Мы вышли.

— Скажи, пожалуйста, Ерофей,—заговорилъ я:—что за челоѣкъ этотъ Касьянъ?

Ерофей не скоро мнѣ отвѣчалъ: онъ, вообще, челоѣкъ былъ обдумывающій и неторопливый; но я тотчасъ могъ догадаться, что мой вопросъ его развеселилъ и успокоилъ.

— Блоха-то?—заговорилъ онъ, наконецъ, передернувъ вожжами.—Чудной челоѣкъ: какъ есть юродивецъ; такого чудного челоѣка и не скоро найдешь

другого. Вѣдь, напимѣрь, вѣдь онъ ни дать, ни взять нашъ вотъ саврасый: отъ рукъ отбился тоже.. отъ работы, то-есть. Ну, конечно, что онъ за работникъ!—въ чемъ душа держится,—ну, а все-таки... Вѣдь онъ сызмалства такъ. Сперва онъ со дядьями со своими въ извозъ ходилъ: они у него были троечные; ну, а потомъ, знать, наскучило—бросилъ. Сталъ дома жить, да и дома-то не усиживался: такой безпокойный — ужъ точно блоха. Баринъ ему попался, спасибо, добрый — не принуждалъ. Вотъ онъ такъ съ тѣхъ поръ все и болтается, что овца безпредѣльная. И вѣдь такой удивительный, Богъ его знаетъ: то молчитъ, какъ пень, то вдругъ заговорить, — а что заговорить, Богъ его знаетъ. Развѣ это манеръ? Это не манеръ. Несообразный человѣкъ, какъ есть. Поетъ, однако, хорошо. Этакъ важно—ничего, ничего.

— А что, онъ лѣнитъ, точно?

— Какое лѣнитъ?.. Ну, гдѣ ему! Таковский онъ человѣкъ! Меня, однако, отъ золотухи вылѣчилъ... Гдѣ ему! Глупый человѣкъ, какъ есть, — прибавилъ онъ, помолчавъ.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы имъ по Сычовкѣ сосѣди, на Красивой-то на Мечп.

И. Тургеневъ.

УЖЪ ТЫ, НИВА МОЯ, НИВУШКА.

Ужъ ты, нива моя, нивушка,
Не скосить тебя съ маху единого,
Не связать тебя всю во единый снопокъ!
Ужъ вы, думы мои, думушки,
Не стряхнуть васъ разомъ съ плечъ долой,
Одной рѣчью-то васъ не высказать!
По тебѣ ль, нива, вѣтеръ разгуливалъ,
Гнулъ колосья твои до земли,
Зрѣлы зерна всѣ разметывалъ!
Широко вы, думы, поразсыпались,
Куда пала какая думушка,
Тамъ виходила люта печаль-травя,
Вырастало горе горячее.

А. Толстой.

Б у р м и с т р ъ.

Вошелъ бурмистръ.

Этотъ, по словамъ Аркадія Павлыча ¹⁾, государственный человѣкъ былъ роста небольшого, плечистъ, сѣдъ и плотенъ, съ краснымъ носомъ, маленькими голубыми глазами и бородой въ видѣ вѣера. Замѣтимъ кстати, что съ тѣхъ поръ, какъ Русь стоитъ, не бывало еще на ней примѣра раздобрѣвшаго и разбогатѣвшаго человѣка безъ окладистой бороды; иной весь свой вѣкъ носилъ бороду жидкую, клиномъ, — вдругъ, смотришь, обложился кругомъ словно сіяньемъ, —

¹⁾ Аркадій Павлычъ Пѣночкинъ — помѣщикъ, владѣвшій деревней Шипиловкой, которую пріѣхалъ осматривать.

откуда волосъ берется! Бурмистръ, должно-быть, въ Перовѣ подгулялъ: и лицо-то у него отекло порядкомъ, да и виномъ отъ него пахивало.

— Ахъ, вы, отцы наши, милостивцы вы наши,—заговорилъ онъ нараспѣвъ и съ такимъ умиленіемъ на лицѣ, что вотъ-вотъ, казалось, слезы брызнутъ,—насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, — прибавилъ онъ, уже заходя-протягивая губы.

Аркадій Павлычъ удовлетворилъ его желаніе.

— Ну, что, братъ Софронъ, каково у тебя дѣла идутъ?—спросилъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Ахъ, вы, отцы наши,—воскликнулъ Софронъ,—да какъ же имъ худо идти, дѣламъ-то! Да вѣдь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просвѣтить изволили пріѣздомъ-то своимъ, осчастливили по гробъ дней. Слава Тебѣ, Господи, Аркадій Павлычъ, слава Тебѣ, Господи! Благополучно обстоитъ все милостью вашей.

Тутъ Софронъ помолчалъ, поглядѣлъ на барина и, какъ бы снова увлеченный порывомъ чувства (притомъ же и хмель бралъ свое), въ другой разъ попросилъ руки и запѣлъ пуще прежняго.

— Ахъ, вы, отцы наши, милостивцы... и... ужъ что! Ей Богу, совѣмъ дуракъ отъ радости сталъ... Ей Богу, смотрю, да не вѣрю... Ахъ, вы, отцы наши!..

Аркадій Павлычъ глянулъ на меня, усмѣхнулся и спросилъ: „N'est-ce pas que c'est touchant“¹⁾.

— Да, батюшка Аркадій Павлычъ,—продолжалъ неугомонный бурмистръ,—какъ же вы это? Сокрушаете вы меня совѣмъ, батюшка: извѣститъ меня не изволили о вашемъ пріѣздѣ-то. Гдѣ же вы ночку-то проведете? Вѣдь тутъ нечистота, соръ...

— Ничего, Софронъ, ничего,—съ улыбкой отвѣчалъ Аркадій Павлычъ,—здѣсь хорошо.

— Да вѣдь, отцы вы наши,—для кого хорошо? для нашего брата мужика хорошо; а вѣдь вы... ахъ, вы, отцы мои, милостивцы, ахъ, вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, съ ума спятилъ, ей Богу, одурѣлъ вовсе.

Между тѣмъ подали ужинъ; Аркадій Павлычъ началъ кушать. Сына своего старикъ прогналъ—дескать, духоты напускаешь.

— Ну, что, размежевался, старина?—спросилъ г-нъ Пѣночкинъ, который явно желалъ поддѣлаться подъ мужицкую рѣчь и мнѣ подмигивалъ.

— Размежевались, батюшка: все твоею милостью. Третьяго дня сказку подписали. Хлыновскіе-то сначала поломались... поломались, отецъ, точно. Требовали... требовали... и Богъ знаетъ, чего требовали: да вѣдь дурачье, батюшка, народъ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею, благодарность заявили и Николая Миколаича, посредственника, удовлетворили; все по твоему приказу дѣйствовали, батюшка; какъ ты изволилъ приказать, такъ мы и дѣйствовали, и съ вѣдома Егора Дмитрича все дѣйствовали.

— Егоръ мнѣ докладывалъ,—важно замѣтилъ Аркадій Павлычъ.

— Какъ же, батюшка, Егоръ Дмитричъ, какъ же.*

— Ну, и, стало-быть, вы теперь довольны?

¹⁾ Не правда ли, какъ это трогательно.

Софронъ только того и ждалъ.

— Ахъ, вы, отцы наши, милостивцы наши!—запѣлъ онъ опять.—Да помилуйте вы меня... да вѣдь мы за васъ, отцы наши, день и ночь Господу Богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пѣночкинъ перебилъ его:

— Ну, хорошо, хорошо, Софронъ, знаю, ты мнѣ усердный слуга... А что, какъ умолотъ?

Софронъ вздохнулъ.

— Ну, отцы вы наши, умолотъ-то не больно хорошъ. Да что, батюшка Аркадій Павлычъ, позвольте вамъ доложить, дѣльцо какое вышло. (Тутъ онъ приблизился, разводя руками, къ господину Пѣночкину, нагнулся и прищурилъ одинъ глазъ.) Мертвое тѣло на нашей землѣ оказалось.

— Какъ такъ?

— И самъ ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, врагъ попуталъ. Да, благо, подлѣ чужой межи оказалось; а только, что грѣха таить, на нашей землѣ. Я его тотчасъ на чужой-то клинъ и приказалъ стащить, пока можно было, да караулъ приставилъ и своимъ заказалъ: молчать! говорю. А становому, на всякій случай, объяснилъ: вотъ какіе порядки, говорю; да чайкомъ его, да благодарность... Вѣдь что, батюшка, думаете? Вѣдь осталось у чужаковъ на шеѣ; а вѣдь мертвое тѣло, что двѣсти рублей—какъ колачъ.

Г-нъ Пѣночкинъ много смѣялся уловкѣ своего бурмистра и нѣсколько разъ сказалъ мнѣ, указывая на него головой: „*Quel gaillard* ¹⁾! А?“

Между тѣмъ на дворѣ совсѣмъ стемнѣло; Аркадій Павлычъ велѣлъ со стола прибрать и сѣна принести. Камердинеръ постлалъ намъ простыни, разложилъ подушки; мы легли. Софронъ ушелъ къ себѣ, получивъ приказаніе на слѣдующій день. Аркадій Павлычъ, засыпая, еще потолковалъ немного объ отличныхъ качествахъ русскаго мужика, и тутъ же замѣтилъ мнѣ, что со времени управленія Софрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недомыслия... Сторожъ заколотилъ въ доску; ребенокъ, видно, еще не успѣвшій проникнуться чувствомъ должнаго самоотверженія, запищалъ гдѣ-то въ избѣ... Мы заснули.

На другой день утромъ мы встали довольно рано. Я было собрался ѣхать въ Рябово, но Аркадій Павлычъ желалъ показать мнѣ свое имѣніе и упросилъ меня остаться. Я и самъ былъ не прочь убѣдиться на дѣлѣ въ отличныхъ качествахъ государственнаго человѣка—Софрона. Явился бурмистръ. На немъ былъ синій армякъ, подпоясанный краснымъ кушакомъ. Говорилъ онъ гораздо меньше вчерашняго, глядѣлъ зорко и пристально въ глаза барину, отвѣчалъ складно и дѣльно. Мы вмѣстѣ съ нимъ отправились на гумно. Софроновъ сынъ, трехъаршинный староста, по всѣмъ признакамъ человѣкъ весьма глупый, также пошелъ за нами, да еще присоединился къ намъ земскій Ѳедосейчъ, отставной солдатъ съ огромными усами и престраннымъ выраженіемъ лица: точно онъ весьма давно тому назадъ чему-то необыкновенно удивился, да съ тѣхъ поръ ужъ и не пришелъ въ себя. Мы осмотрѣли гумно, ригу, овины, саран, вѣтряную мельницу, скотный дворъ, зелена, конопляники; все было, дѣйствительно, въ отличномъ порядкѣ: одни унылыя лица мужиковъ приводили меня въ пѣко-

¹⁾ Какой весельчакъ.

торое недоумѣніе. Кромѣ полезнаго, Софронъ заботился еще о пріятномъ: всѣ канавы обсадилъ раkitникомъ, между скирдами на гумнѣ дорожки провель и песочкомъ посыпалъ, на вѣтряной мельницѣ устроилъ флюгеръ въ видѣ медвѣдя съ разинутой пастью и краснымъ языкомъ, къ кирпичному скотному двору прилѣпилъ нѣчто въ родѣ греческаго фронтона и подъ фронтономъ бѣлыми надписалъ: «Пастроен всемо Шинилофке втысеча восемь Сотъ саракавомъ году. Сей скотный дворъ». — Аркадій Павлычъ разиѣжился совершенно, пустился излагать мнѣ на французскомъ языкѣ выгоды оброчнаго состоянія, при чемъ, однако, замѣтилъ, что барщина для помѣщиковъ выгоднѣе, — да мало ли чего нѣтъ!.. Началъ давать бурмистру совѣты, какъ сажать картофель, какъ для скотины кормъ заготовлять и проч. Софронъ выслушивалъ барскую рѣчь со вниманіемъ, иногда возражалъ, но уже не величалъ Аркадія Павлыча ни отцомъ, ни милостивцемъ, и все напиралъ на то, что земли де у нихъ маловато, прикупить бы не мѣшало. «Что жъ, купите, — говорилъ Аркадій Павлычъ, — на мое имя, я не прочь». На эти слова Софронъ не отвѣчалъ ничего, только бороду поглаживалъ. «Однако, теперь бы не мѣшало съѣздить въ лѣсъ», замѣтилъ г. Пѣночкинъ. Тотчасъ привели намъ верховыхъ лошадей; мы поѣхали въ лѣсъ или, какъ у насъ говорится, въ «заказъ». Въ этомъ «заказѣ» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадій Павлычъ похвалилъ Софрона и потрепалъ его по плечу. Г-нъ Пѣночкинъ придерживался насчетъ лѣсоводства русскихъ понятій, и тутъ же разсказалъ мнѣ презабавный, по его словамъ, случай, какъ одинъ шутникъ-помѣщикъ вразумилъ своего лѣсника, выдравъ у него около половины бороды, въ доказательство того, что отъ порубки лѣсъ гуще не вырастетъ... Впрочемъ, въ другихъ отношеніяхъ и Софронъ, и Аркадій Павлычъ — оба не чуждались нововведеній. По возвращеніи въ деревню бурмистръ повелъ насъ посмотреть вѣялку, недавно выпсанную имъ изъ Москвы. Вѣялка, точно, дѣйствовала хорошо, но если бы Софронъ зналъ, какая непріятность ожидала и его, и барина на этой послѣдней прогулкѣ, онъ, вѣроятно, остался бы съ нами дома.

Вотъ что случилось. Выходя изъ сарая, увидали мы слѣдующее зрѣлище. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, подлѣ грязной лужи, въ которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: одинъ — старикъ лѣтъ шестидесяти, другой — малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земскій Ѳедосейчъ усердно хлопоталъ около нихъ и, вѣроятно, успѣлъ бы уговорить ихъ удалиться, если бы мы замѣшались въ сараѣ, но, увидѣвъ насъ, онъ вытянулся въ струнку и замеръ на мѣстѣ. Тутъ же стоялъ староста съ разинутымъ ртомъ и недоумѣвающими кулаками. Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губы и подошелъ къ просителямъ. Оба, молча, поклонились ему въ ноги.

— Что вамъ надобно? О чемъ вы просите? — спросилъ онъ строгимъ голосомъ и нѣсколько въ носъ. (Мужики взглянули другъ на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно отъ солнца, да поскорѣй дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжалъ Аркадій Павлычъ, и тотчасъ же обратился къ Софрону: — Изъ какой семьи?

— Изъ Тоболѣвой семьи, — медленно отвѣчалъ бурмистръ.

— Ну, что же вы?—заговорилъ опять г. Пѣночкинъ.—Языковъ у васъ нѣтъ, что ли? Сказывай ты, чего тебѣ надобно?—прибавилъ онъ, качнувъ головой на старика.—Да не бойся, дуракъ.

Старикъ вытянулъ свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинулъ посинѣвшія губы, сильнымъ голосомъ произнесъ: «Заступись, государь!»—и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Молодой мужикъ тоже поклонился. Аркадій Павлычъ съ достоинствомъ посмотрѣлъ на ихъ затылки, закинулъ голову и разставилъ немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсѣмъ. (Старикъ говорилъ съ трудомъ.)

— Кто тебя замучилъ?

— Да Софронъ Яковличъ, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Антипомъ, батюшка.

— А это кто?

— А сынокъ мой, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ опять и усами повелъ.

— Ну, такъ чѣмъ же онъ тебя замучилъ?—заговорилъ онъ, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперь и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ—воиъ его милость. (Онъ указалъ на старосту.)

— Гмъ!—произнесъ Аркадій Павлычъ.

— Не дай въ конецъ разориться, кормилецъ!

Г-нъ Пѣночкинъ нахмурился.

— Что же это, однако, значитъ?—спросилъ онъ бурмистра вполголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человекъ-съ,—отвѣчалъ бурмистръ, въ первый разъ употребляя «слово-еръ»,—неработающій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ ужъ пятый годъ-съ.

— Софронъ Яковличъ за меня недоимку взнесъ, батюшка,—продолжалъ старикъ,—вотъ, пятый годочекъ пошелъ, какъ взнесъ, а какъ взнесъ—въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и...

— А отчего недоимка за тобой завелась?—грозно спросилъ г. Пѣночкинъ. (Старикъ понурилъ голову.)—Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (Старикъ разинулъ было ротъ.) Знаю я васъ,—съ запальчивостью продолжалъ Аркадій Павлычъ,—ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубиянъ тоже,—ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужъ это само собою разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужъ я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грубитъ, а теперь въ ногахъ валяется.

— Батюшка, Аркадій Павлычъ,—съ отчаяніемъ заговорилъ старикъ,—помилуй, заступись,—какой я грубиянъ? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю,

невозмогу приходится. Не взлюбилъ меня, Софронъ Яковличъ, за что не взлюбилъ—Господь ему судья! Разоряетъ въ конецъ, батюшка... Последняго, вотъ, сыночка... и того... (На желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись...

— Да и не насъ однихъ,—началь было молодой мужикъ.

Аркадій Павлычъ вдругъ вспыхнулъ:

— А тебя кто спрашиваетъ? А? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи... Это что такое? Молчать, говорятъ тебѣ! молчать!.. Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ! Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую... у меня... (Аркадій Павлычъ шагнулъ впередъ, да, вѣроятно, вспомнилъ о моемъ присутствіи, отвернулся и положилъ руки въ карманы...) Je vous demande bien pardon, mon cher ¹⁾),—сказалъ онъ съ принужденной улыбкой, значительно понизивъ голосъ.—C'est le mauvais coté de la médaille ²⁾... Ну, хорошо, хорошо,—продолжалъ онъ, не глядя на мужиковъ,—я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да вѣдь я сказалъ вамъ... Хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорятъ вамъ.

Аркадій Павлычъ обернулся къ нимъ спиной. «Вѣчно неудовольствія», проговорилъ онъ сквозь зубы и пошелъ большими шагами домой. Софронъ отправился вслѣдъ за нимъ. Земскій выпучилъ глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнулъ утокъ изъ лужи. Просители постояли еще немного на мѣстѣ, посмотрѣли другъ на друга и поплелись, не оглядываясь, во-свояси.

Часа два спустя, я уже былъ въ Рябовѣ и вмѣстѣ съ Анпадистомъ, знакомымъ мнѣ мужикомъ, собирался на охоту. До самого моего отъѣзда Пѣночкинъ дулся на Софрона. Заговорилъ я съ Анпадистомъ о шиниловскихъ крестьянахъ, о г. Пѣночкинѣ, спросилъ его, не знаетъ ли онъ тамошняго бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что онъ за человѣкъ?

— Собака, а не человѣкъ: такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да вѣдь Шиниловка только что числится за тѣмъ, какъ бишь его, за Пѣнкинымъ-то; вѣдь не онъ ей владѣетъ: Софронъ владѣетъ.

— Неужто?

— Какъ своимъ добромъ владѣетъ. Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него, словно батраки: кого съ обозомъ посылаетъ, кого куды...—затормошилъ совсѣмъ.

— Земли у нихъ, кажется, не много?

— Не много? Онъ у однихъ хлыновскихъ восемьдесятъ десятинъ нанимаетъ, да у нашихъ сто двадцать; вотъ-те и цѣлыхъ полтора десятинъ. Да онъ не одной землей промышляетъ: и лошадьми промышляетъ, и скотомъ, и дегтемъ, и масломъ, и пенькой, и чѣмъ-чѣмъ... Умень, больно умень, и богать же, бестія! Да вотъ чѣмъ плохъ—дерется. Звѣрь—не человѣкъ; сказано: собака, песъ, какъ есть, песъ.

— Да что жъ они на него не жалуются?

¹⁾ Прошу извинить, мой дорогой.

²⁾ Это худая (оборотная) сторона медали.

— Экста! Барину-то что за нужда! Педонмокъ не бываетъ, такъ ему что? Да, поди ты,—прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія,—пожалуйся. Нѣтъ, онъ тебя... да, поди-ка... Нѣтъ ужъ, онъ тебя вотъ какъ, того...

Я вспомнилъ про Антипа и рассказалъ ему, что видѣлъ.

— Ну,—промолвилъ Анпадистъ,—заѣсть онъ его теперь; заѣсть человѣка совсѣмъ. Староста теперь его забыть. Экой безталанный, подумаешь, бѣдняга! И за что терпѣть... На сходкѣ съ нимъ повздорилъ, съ бурмистромъ-то, не-втерпѣжъ, знать, пришлось... Велико дѣло! Вотъ онъ его, Антипа-то, клеветать и началъ. Теперь дождетъ. Вѣдь онъ такой песь, собака, прости, Господи, мое прегрѣшенъе, знаетъ, на кого налечъ. Стариковъ-то, что побагаче да посемейнѣе, не трогаетъ, лысый чортъ, а тутъ вотъ и расходился! Вѣдь онъ Антиповыхъ-то сыновей безъ очереди въ пекруты отдалъ, мошенникъ безиардонный, песь, прости, Господи, мое прегрѣшенъе!

Мы отправились на охоту.

И. Тургеневъ.

Е ф р е м ъ.

На слѣдующее утро мы опять втроемъ¹⁾ отправились на «Гарь». Лѣтъ десять тому назадъ, нѣсколько тысячъ десятинъ выгорѣло въ Полѣсѣ и до сихъ поръ не заросло; кой-гдѣ пробиваются молодыя елки и сосенки, а то все мохъ, да передежалая зола. На этой «Гари», до которой отъ Святого считается верстъ двѣнадцать, растутъ всякія ягоды въ великомъ множествѣ и водятся те-терева, большіе охотники до земляники и брусники.

Мы ѣхали молча, какъ вдругъ Кондрать поднялъ голову.

—Э! —воскликнулъ онъ,—да это никакъ Ефремъ стоитъ. Здорово, Александрычъ,—прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ и приподнявъ шапку.

Небольшого роста мужикъ въ черномъ, короткомъ армякѣ, подпоясанномъ веревкой, вышелъ изъ-за дерева и приблизился къ телѣгѣ.

— Аль отпустили?—спросилъ Кондрать.

— А то, небось, нѣтъ! —возразилъ мужичокъ и оскалилъ зубы. —Нашего брата держать не приходится.

— И Петръ Филиппычъ ничего?

— Филипповъ-то? Знамо дѣло, ничего.

— Вишь ты! А я, Александрычъ, думалъ: ну, братъ, думалъ я, теперь ложись гусь на сковороду!

— Отъ Петра Филиппова-то? Вона! Видали мы такихъ. Суется въ волки, а хвостъ собачій. На охоту, что ль, ѣдешь, баринъ?—спросилъ вдругъ мужичокъ, быстро вскинувъ на меня свои прищуренные глазки, и тотчасъ опустил ихъ снова.

— На охоту.

— А куда, примѣрно?

— На Гарь,—сказалъ Кондрать.

— Ыдете на Гарь, не наѣхать бы на пожаръ.

— А что?

¹⁾ Тургеневъ, Кондрать и Егоръ.

— Видалъ я глухарей много, — продолжалъ мужичокъ, все какъ бы по-смѣиваясь и не отвѣчая Кондрату, — да вамъ туда и не попастьъ; прямикомъ вереть двадцать будетъ. Вотъ и Егоръ—что говорить! въ бору, какъ у себя на дворе, а и тотъ не продерется. Здорово, Егоръ, Божія душа въ полтора гроша! — гаркнулъ онъ вдругъ.

— Здорово, Ефремъ, — медленно возразилъ Егоръ.

Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на этого Ефрема. Такого страннаго лица я давно не видалъ. Носъ имѣлъ онъ длинный и острый, крупныя губы и жидкую бородку. Его голубые глазки такъ и бѣгали, какъ живчики. Стоялъ онъ развязно, легонько подпершись руками въ бока и не ломая шапки.

— На побывку домой, что ли? — спросилъ его Кондратъ.

— Экъ-ста, на побывку! Теперь, братъ, погода не та: разгулялось. Широко, братъ, стало, во-какъ. Хоть до зимы на печи лежи, никака собака не чукнетъ. Мнѣ въ городѣ говорилъ этотъ-та производитель: брось, молъ, насъ, Лександрычъ, выѣзжай изъ уѣзда вонъ, начпортъ дадимъ первый сортъ... да жаль мнѣ васъ, святовскихъ-то: такого вамъ вора другого не нажить.

Кондратъ засмѣялся.

— Шутникъ ты, дядюшка, право, шутникъ, — проговорилъ онъ и тряхнулъ вожжами.

Лошади тронулись.

— Тиру! — промолвилъ Ефремъ.

Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка.

— Полно озорничать, Александрычъ, — замѣтилъ онъ вполголоса. — Вишь, съ баринкомъ ѣдемъ. Осерчаетъ, гляди.

— Экъ ты, морской селезень! Съ чего ему серчать-то? Баринъ онъ добрый. Вотъ, посмотри, онъ мнѣ на водку дастъ. Экъ, баринъ, дай проходимцу на косушку! Ужъ раздавлю жъ я ее, — подхватилъ онъ, поднявъ плечо къ уху и скрипнувъ зубами.

Я невольно улыбнулся, далъ ему гривенникъ и велѣлъ Кондрату ѣхать.

— Много довольны, ваше благородіе! — крикнулъ по солдатски намъ вслѣдъ Ефремъ. — А ты, Кондратъ, напередъ знай, у кого учиться: оробѣлъ — пропасть, смѣлъ — сѣлъ. Какъ вернешься, у меня побывай, слышь, у меня три дня попойка стоять будетъ, сшибемъ горла два; жена у меня баба хлѣцкая, дворъ на полозу... Гей, сорока-бѣлобока, гуляй, пока хвостъ цѣлъ!

И засвиставъ рѣзкимъ свистомъ, Ефремъ юркнулъ въ кусты.

— Что за человѣкъ? — спросилъ я Кондрата, который, сидя на облучкѣ, все потряхивалъ головой, какъ бы разсуждая самъ съ собою.

— Тотъ-то? — возразилъ Кондратъ и потупился. — Тотъ-то? — повторилъ онъ.

— Да. Онъ вашъ?

— Нашъ, святовскій. Эго такой человѣкъ... Такого на сто вереть другого не сыщешь. Воръ и плутъ такой — и Боже ты мой! На чужое добро у него глазъ такъ и коробится. Отъ него и въ землю не зароешься, а что деньги, напри-мѣръ, изъ-подъ самага хребта у тебя вытащить, ты не замѣтишь.

— Какой онъ смѣлый!

— Смѣлый? Да онъ никого не боится. Да вы посмотрите на него: по физіономіи бестыянь, съ носу виденъ. (Кондратъ часто ѣзживалъ съ господами и въ губернскомъ городѣ бывалъ, а потому любилъ при случаѣ показать себя.)

Ему и сдѣлать-то ничего нельзя. Сколько разъ его въ городъ возили и въ острогъ сажали, — только убытки одни. Его стануть вязать, а онъ говоритъ: «Что жъ, молъ, вы ту ногу не путаете? Путайте и ту, да покрѣиче, я пока посплю; а домой я раньше вашихъ провожатыхъ поспѣю». Глядишь: точно, опять вернулся, опять тутъ, ахъ ты, Боже ты мой! Ужъ на что мы все, здѣшніе, лѣсъ знаемъ, приобыкли сызмала, а съ нимъ поравняться невмочь. Прошлымъ лѣтомъ, ночью, напрямки изъ Алтухина въ Святое пришелъ, а тутъ никто и не хаживалъ отродясь, верстъ сорокъ будетъ. Вотъ, и медъ красть, на это онъ первый человѣкъ; и пчела его не жалить. Все пасѣки разорилъ.

— Я думаю, онъ и бортамъ спуска не даетъ.

— Ну, нѣтъ, что напраслину на него возводить? Такого грѣха за нимъ не замѣчали. Бортъ у насъ — святое дѣло. Пасѣка огорожена; тутъ караулъ; коли утащилъ — твое счастье; а бортовая пчела — дѣло Божіе, не береженое; одинъ медвѣдь ее трогаетъ.

— Зато онъ и медвѣдь, — замѣтилъ Егоръ.

— Онъ женатъ?

— Какъ же. И сынъ есть. Да и воръ же будетъ сынъ-то! Въ отца вышелъ весь. Ужъ онъ его и теперь учитъ. Намеднись горшокъ съ старыми пятаками притащилъ, укралъ гдѣ-нибудь, значить; пошелъ, да и зарылъ его на полянкѣ въ лѣсу, а самъ вернулся домой, да и послалъ сына на полянку. «Пока, говоритъ, горшка не отыщешь, ѣсть тебѣ не дамъ и на дворъ не пущу». Сынъ-то день цѣлый просидѣлъ въ лѣсу, и ночевалъ въ лѣсу, а нашелъ-таки горшокъ. Да, мудреный этотъ Ефремъ. Пока дома — любезный человѣкъ, всехъ потчуетъ: пей, ѣшь, сколько хочешь, пляска тутъ у него поднимается, балагурство всякое; а что коли на сходкѣ — такая у насъ сходка на селѣ бываетъ — ужъ лучше его никто не разсудить; подойдетъ сзади, послушаетъ, скажетъ слово, какъ отрубить, и прочъ; да ужъ и слово-то вѣское. А какъ вотъ уйдетъ въ лѣсъ, ну, такъ бѣда! Жди разоренія. А и то сказать: онъ своихъ не трогаетъ, развѣ самому тѣсно придется. Коли встрѣтитъ кого святовскаго — «обходи, братъ, мимо, — кричитъ издали, — на меня лѣсной духъ нашелъ: убью!» — Бѣда!

— Чего же вы смотрите? Цѣлая вотчина съ однимъ человѣкомъ справиться не можетъ?

— Да ужъ пожалуй, что такъ.

— Колдунъ онъ, что ли?

— Кто его знаетъ! Вотъ, намеднись онъ къ сосѣднему дьячку на пасѣку забрался ночью, а дьячокъ-то караулилъ самъ. Ну, поймалъ его, да впотемкахъ и приколотилъ. Какъ кончилъ, Ефремъ-то и говоритъ ему: «А знаешь ты, кого билъ?» Дьячокъ, какъ узналъ его по голосу, такъ и обомлѣлъ. «Ну, братъ, — говоритъ Ефремъ, — это тебѣ даромъ не пройдетъ». Дьячокъ ему въ ноги: возьми, молъ, что хочешь. «Нѣтъ, — говоритъ, — я съ тебя въ свое время возьму, да и чѣмъ захочу». Что жъ вы думаете? Вѣдь съ самаго того дня дьячокъ-то, словно ошпаренный, какъ тѣнь бродитъ! «Сердце, — говоритъ, — во мнѣ изныло; слово больно крѣпкое, знать, залѣпилъ мнѣ разбойникъ». Вотъ что съ нимъ случилось, съ дьячкомъ-то.

— Дьячокъ этотъ, должно-быть, глупъ, — замѣтилъ я.

— Глупъ? А вотъ это какъ вы разсудите? Вышелъ разъ приказъ изловить эттаго самаго Ефрема. Становой такой у насъ завелся вострый. Вотъ, и

пошло человекъ десять въ лѣсъ ловить Ефрема. Смотрять, а онъ имъ навстрѣчу идетъ... Одинъ-то изъ нихъ и закричи: вотъ онъ, держите его, вяжите! А Ефремъ вошелъ въ лѣсъ да вырѣзалъ себѣ дерево, этакъ перста въ два, да какъ выскочить опять на дорогу, безобразный такой, страшный, какъ скомандуетъ, словно енераль на разводѣ: «на колѣнки!»—всѣ такъ и попадали. «А кто,—говорить,—тутъ кричалъ: держите, вяжите? Ты, Серѣга?» Тотъ-то какъ вскочить, да бѣжать... А Ефремъ за нимъ, да древомъ-то его по пяткамъ... Съ версту его гладилъ. И потомъ все еще жалѣлъ: «Эхъ, молъ, досадно: заговѣться ему не помѣшалъ». Дѣло-то было передъ самыми Филипповками. Ну, а станowego въ скоромъ времени смѣстили,—тѣмъ все и покончилось.

— Зачѣмъ же они ему всѣ покорились?

— Зачѣмъ! то-то и есть...

— Онъ васъ всѣхъ запугалъ, да и дѣлаетъ теперь съ вами, что хочетъ.

— Запугалъ... Да онъ кого хочешь запугаетъ. И ужъ гораздо же онъ на выдумки, Боже ты мой!—Я разъ въ лѣсу на него наткнулся, дождь такой шелъ здоровый, я было въ сторону... А онъ поглядѣлъ на меня, да этакъ меня ручкою и подозвалъ. «Подойди, молъ, Кондрать, не бойся. Поучись у меня, какъ въ лѣсу жить, на дождю сухимъ быть». Я подошелъ, а онъ подъ елкой сидитъ и огонекъ развелъ изъ сырыхъ вѣтокъ: дымъ-то набрался въ елку и не даетъ дождю капать. Подивился я тутъ ему. А то вотъ онъ разъ что выдумалъ (и Кондрать засмѣялся); вотъ ужъ потѣшилъ. Овесъ у насъ молотили на току, да не кончили; послѣдній ворохъ сгрести не успѣли; ну, и посадили на ночь двухъ караульчиковъ, а ребята-то были не изъ бойкихъ. Вотъ сидятъ они да гуторягъ, а Ефремъ возьми, да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себѣ рубаху и надѣнь. Вотъ подкрался онъ въ этакое-то видѣ къ овину, да и ну изъ-за угла показываться, помаленьку роги-то свои выставлять. Одинъ-то малый и говорить другому: «видишь?»—«Вижу», говоритъ другой, да какъ ахнулъ вдругъ... только плетни затрещали. А Ефремъ нагребъ овса въ мѣшокъ, да и стащилъ къ себѣ домой. Самъ потомъ все рассказаль. Ужъ стыдилъ же онъ, стыдилъ ребятъ-то... Право!

Кондрать засмѣялся опять. И Егоръ улыбнулся.

— Такъ только плетни затрещали?—промолвилъ онъ.

— Только ихъ и видно было, — подхватилъ Кондрать. — Такъ и пошли сгигать!

Мы опять всѣ притихли. Вдругъ Кондрать всполохнулся и выпрямился.

— Э, батюшанъ,—воскликнулъ онъ,—да это никакъ пожаръ!

— Гдѣ, гдѣ?—спросили мы.

— Вонъ, смотрите, впереди, куда мы ѣдемъ... Пожаръ и есть! Ефремъ-то, Ефремъ—вѣдь напороочилъ! Ужъ не его ли это работа, окаинная онъ душа...

И. Тургеневъ.

Цѣловальникъ Николай Ивановичъ.

Николай Ивановичъ — нѣкогда стройный, кудравый и румяный парень, теперь же необычайно-толстый, уже посѣдѣвшій мужчина съ заплывшимъ лицомъ, хитро-добродушными глазками и жирнымъ лбомъ, перетянутымъ морщинами, словно нитками,—уже болѣе двадцати лѣтъ проживаетъ въ Колотовкѣ. Николай

Иванычъ человекъ расторопный и смѣтливый, какъ большая часть цѣловальниковъ. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, онъ обладаетъ даромъ привлекать и удерживать у себя гостей, которымъ какъ-то весело сидѣть передъ его стойкой, подъ спокойнымъ и пріятнымъ, хотя зоркимъ взглядомъ флегматическаго хозяина. У него много здраваго смысла; ему хорошо знакомъ и помѣщичій бытъ, и крестьянскій, и мѣщанскій; въ трудныхъ случаяхъ онъ могъ бы подать неглупый совѣтъ, но, какъ человекъ осторожный и эгоистъ, предпочитаетъ оставаться въ сторонѣ, и развѣ только отдаленными, словно безъ всякаго намѣренія произнесенными намеками наводить своихъ по-



Пьяница. Съ карт. *Архипова.*

сѣтителей — и то любимыхъ имъ посѣтителей — на путь истинны. Онъ знаетъ толкъ во всемъ, что важно или занимательно для русскаго человека: въ лошадяхъ и въ скотинѣ, въ лѣсѣ, въ кирпичахъ, въ посудѣ, въ красномъ товарѣ и въ кожаномъ, въ пѣсняхъ и пляскахъ. Когда у него нѣтъ посѣщенія, онъ обыкновенно сидитъ, какъ мѣшокъ, на землѣ передъ дверью своей избы, подвернувъ подъ себя свои тонкія ножки, и перекидывается ласковыми словами со всѣми прохожими. Много видалъ онъ на своемъ вѣку, пережилъ не одинъ десятокъ мелкихъ дворянъ, заѣзжавшихъ къ нему за «очищеннымъ», знаетъ все, что дѣлается на сто верстъ кругомъ, и никогда не пробалтывается, не показываетъ даже вида, что ему и то извѣстно, чего не подозреваетъ самый прощательный становой. Знай-себѣ помалчиваетъ, да посмѣивается, да стаканчиками пошевеливаетъ. Его сосѣди уважаютъ: штатскій генералъ Щерпетенко,

первый по чину владѣлецъ въ уѣздѣ, всякій разъ снисходительно ему кланяется, когда проѣзжаетъ мимо его домика. Николай Ивановичъ—человѣкъ со вліяніемъ: онъ извѣстнаго конокрада заставилъ возвратить лошадь, которую тотъ свелъ со двора у одного изъ его знакомыхъ, образумилъ мужиковъ сосѣдней деревни, не хотѣвшихъ принять новаго управляющаго, и т. д. Впрочемъ, не должно думать, чтобы онъ это дѣлалъ изъ любви къ справедливости, изъ усердія къ ближнимъ—нѣтъ! онъ просто старается предупредить все то, что можетъ какъ-нибудь нарушить его спокойствіе. Николай Ивановичъ женатъ, и дѣти у него есть. Жена его бойкая, остроноса и быстроглазая мѣщанка, въ послѣднее время тоже нѣсколько отяжелѣла тѣломъ, подобно своему мужу. Онъ во всемъ на нее полагается, и деньги у ней подъ ключомъ. Пьяницы-крикуны ея боятся; она ихъ не любитъ: выгоды отъ нихъ мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорѣе по сердцу. Дѣти Николая Ивановича еще малы; первыя всѣ перемерли, но оставшія пошли въ родителей: весело глядѣть на умныя личики этихъ здоровыхъ ребятъ.

И. Тургеневъ.

З а х а р ъ.

Захару было за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ былъ уже не прямой потомокъ тѣхъ русскихъ Калевыхъ, рыцарей лакейской безъ страха и упрека, исполненныхъ преданности къ господамъ до самозабвенія, которые отличались всѣми добродѣтелями и не имѣли никакихъ пороковъ.

Этотъ рыцарь былъ и со страхомъ, и съ упрекомъ. Онъ принадлежалъ двумъ эпохамъ, и обѣ положили на него печать свою. Отъ одной перешла къ нему, по наслѣдству, безграничная преданность къ дому Обломовыхъ, а отъ другой, позднѣйшей, утонченность и развращеніе нравовъ.

Страстно преданный барину, онъ, однакожъ, рѣдкій день въ чемъ-нибудь не солжетъ ему. Слуга стараго времени удерживалъ, бывало, барина отъ расточительности и невоздержанія, а Захаръ самъ любилъ выпить съ пріятелями на барскій счетъ. Тотъ крѣпче всякаго сундука сбережетъ барскія деньги, а Захаръ норовитъ усчитать у барина, при какой-нибудь издержкѣ, гривенникъ, и непременно присвоитъ себѣ лежащую на столѣ мѣдную гривну или пятакъ. Точно такъ же, если Илья Ильичъ забудетъ потребовать сдачи отъ Захара, она уже къ нему обратно никогда не поступитъ.

Важнѣе суммъ онъ не кралъ, можетъ-быть, потому, что потребности свои измѣрялъ гривнами и гривенниками, или боялся быть замѣченнымъ, но, во всякомъ случаѣ, не отъ избытка честности.

Старинный Калевъ умереть скорѣе, какъ отлично-выдрессированная охотничья собака, надъ съѣстнымъ, которое ему поручать, нежели тронетъ; а этотъ такъ и выглядываетъ, какъ бы съѣсть и выпить и то, чего не поручаютъ: тотъ заботился только о томъ, чтобъ баринъ кушалъ больше, и тосковалъ, когда онъ не кушаетъ, а этотъ тоскуетъ, когда баринъ съѣдаетъ до тла все, что ни положить на тарелку.

Сверхъ того, Захаръ и сплетникъ. Въ кухнѣ, въ лавочкѣ, на сходбахъ у воротъ, онъ каждый день жалуется, что житья нѣтъ, что такого дурного барина еще и не слышано: и капризенъ-то онъ, и скупъ, и сердитъ, и что не угодилъ ему ни въ чемъ, что, словомъ, лучше умереть, чѣмъ жить у него.

Это Захаръ дѣлалъ не изъ злости и не изъ желанія повредить барину, а такъ, по привычкѣ, доставшейся ему по наслѣдству отъ дѣда его и отца—обругать барина при всякомъ удобномъ случаѣ.

Онъ иногда, отъ скуки, отъ недостатка матеріала для разговора, или чтобъ впустить болѣе интереса слушающей его публикѣ, вдругъ распускалъ про барина какую-нибудь небывальщину.

Объявить, напримѣръ, что баринъ его такой картежникъ и пьяница, какого свѣтъ не производилъ; что всѣ ночи напролетъ до утра бьется въ карты и пьетъ горькую.

А ничего не бывало: Илья Ильичъ по ночамъ мирно почиваетъ, картъ въ руки не беретъ.

Захаръ неопрятенъ. Онъ бреется рѣдко, и хотя моетъ руки и лицо, но, кажется, больше дѣлаетъ видъ, что моетъ; да и никакимъ мыломъ не отмоешь. Когда онъ бываетъ въ банѣ, то руки у него изъ черныхъ сдѣлаются только, часа на два, красными, а потомъ опять черными.

Онъ очень неловокъ: станеть ли отворить ворота или двери, отворяетъ одну половинку, другая затворяется, побѣжить къ той, эта затворяется.

Сразу онъ никогда не подымаетъ съ пола платка или другой какой-нибудь вещи, а нагнется всегда раза три, какъ будто ловить ее, и ужъ развѣ въ четвертый поднимается, и то еще иногда уронить опять.

Если онъ несетъ чрезъ комнату кучу посуды или другихъ вещей, то съ перваго же шага верхнія вещи начинаютъ дезертировать на полъ. Сначала полетитъ одна; онъ вдругъ сдѣлаетъ позднее и бесполезное движеніе, чтобъ помѣшать ей упасть, и уронить еще двѣ. Онъ глядитъ, разиня ротъ, отъ удивленія на падающія вещи, а не на тѣ, которыя остаются на рукахъ, и оттого держитъ поднось косо, а вещи продолжаютъ падать,—и такъ иногда онъ принесетъ на другой конецъ комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда, съ бранью и проклятіями, броситъ самъ и послѣднее, что осталось въ рукахъ.

Проходя по комнатѣ, онъ задѣнетъ то ногой, то бокомъ за столъ, за стулъ, не всегда попадетъ прямо въ отворенную половину двери, а ударится плечомъ о другую, и обругаетъ при этомъ обѣ половинки, или хозяина дома, или плотника, который ихъ дѣлалъ.

У Обломова въ кабинетѣ переломаны или перебиты почти всѣ вещи, особенно мелкія, требующія осторожнаго обращенія съ ними, — и все по милости Захара. Онъ свою способность брать въ руки вещь прилагаетъ ко всѣмъ вещамъ одинаково, не дѣлая никакого различія въ способѣ обращенія съ той или другой вещью.

Велятъ, напримѣръ, снять со свѣчи или налить въ стаканъ воды: онъ употребитъ на это столько силы, сколько нужно, чтобъ отворить ворота.

Не дай Богъ, когда Захаръ воспламенится усердіемъ угодить барину и вздумаетъ все убрать, вычистить, установить, живо, разомъ привести въ порядокъ! Вѣдамъ и убыткамъ не бывало конца: едва ли непріятельскій солдатъ, ворвавшись въ домъ, нанесетъ столько вреда. Начинаясь ломка, паденье разныхъ вещей, битье посуды, опрокидыванье стульевъ; кончалось тѣмъ, что надо было его выгнать изъ комнаты, или онъ самъ уходилъ съ бранью и съ проклятіями.

Къ счастью, онъ очень рѣдко воспламенялся такимъ усердіемъ.

Все это происходило, конечно, оттого, что онъ получилъ воспитаніе и приобрѣталъ манеры не въ тѣснотѣ и полумракѣ роскошныхъ, прихотливо-убранныхъ кабинетовъ и будуаровъ, гдѣ чортъ знаетъ чего не наставлено, а въ деревнѣ, на покоѣ, просторѣ и вольномъ воздухѣ.

Тамъ онъ привыкъ служить, не стѣняя своихъ движеній ничѣмъ, около массивныхъ вещей: обращался все больше съ здоровыми и солидными инструментами, какъ-то: съ лопатой, ломомъ, желѣзными дверными скобками и такими стульями, которыхъ съ мѣста не своротишь.

Иная вещь, подсвѣчникъ, лампа, транспарантъ, прессъ-папье, стоитъ года три-четыре на мѣстѣ—ничего; чуть онъ возьметъ ее, смотришь—сломалась.

— Ахъ! — скажетъ онъ иногда при этомъ Обломову съ удивленіемъ. — Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взялъ только въ руки эту штучку, а она и развалилась.

Или вовсе ничего не скажетъ, а тайкомъ поставитъ поскорѣй опять на свое мѣсто и послѣ увѣритъ барина, что это онъ самъ разбилъ; а иногда оправдывается, какъ видѣли въ началѣ разсказа, тѣмъ, что и вещь должна же имѣть конецъ, хоть будь она желѣзная, что не вѣкъ ей жить.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ еще можно было спорить съ нимъ, но когда онъ, въ крайности, вооружался послѣднимъ аргументомъ, то уже всякое противорѣчіе было бесполезно, и онъ оставался правымъ безъ апелляціи.

Захаръ начерталъ себѣ, однажды навсегда, опредѣленный кругъ дѣятельности; за который добровольно никогда не переступалъ.

Онъ утромъ ставилъ самоваръ, чистилъ сапоги и то платье, которое баринъ спрашивалъ, но отнюдь не то, которое не спрашивалъ, хоть висн оно десять лѣтъ.

Потомъ онъ мелъ—не всякій день однакожъ—середину комнаты, не добираясь до угловъ, и обтиралъ пыль только съ того стола, на которомъ ничего не стояло, чтобъ не снимать вещей.

Затѣмъ онъ уже считалъ себя въ правѣ дремать на лежанкѣ или болтать съ Анисей въ кухнѣ и съ дворней у воротъ, ни о чемъ не заботясь.

Если ему приказывали сдѣлать что-нибудь сверхъ этого, онъ исполнялъ приказаніе неохотно, послѣ споровъ и убѣжденій въ бесполезности приказанія, или невозможности исполнить его.

Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью въ кругъ начертанныхъ имъ себѣ занятій.

Если ему велятъ вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это, онъ, по обыкновенію, съ ворчаньемъ исполнялъ приказаніе; но если бъ кто захотѣлъ, чтобъ онъ потомъ дѣлалъ то же самое постоянно самъ, то этого уже достигнуть было невозможно.

На другой, на третій день и такъ далѣе нужно было бы приказывать то же самое вновь, и вновь входить съ нимъ въ непріятныя объясненія.

Несмотря на все это, то-есть, что Захаръ любилъ выпить, посплетничать, бралъ у Обломова пятаки и гривны, ломалъ и билъ разныя вещи и лѣнился, все-таки выходило, что онъ былъ глубоко преданный своему барину слуга.

Онъ бы не задумался сгорѣть или утонуть за него, не считая этого подвигомъ, достойнымъ удивленія или какихъ-нибудь наградъ. Онъ смотрѣлъ на

это какъ на естественное, иначе быть немогущее дѣло, или, лучше сказать, никакъ не смотрѣлъ, а поступалъ такъ, безъ всякихъ умозрѣній.

Теоріи у него на этотъ предметъ не было никакихъ. Ему никогда не приходило въ голову подвергать анализу свои чувства и отношенія къ Ильѣ Ильичу; онъ не самъ выдумалъ ихъ; они перешли отъ отца, дѣда, братьевъ, двориш, среди которой онъ родился и воспитался, и обратились въ плоть и кровь.

Захаръ умеръ бы вмѣсто барина, считая это своимъ неизбѣжнымъ и природнымъ долгомъ, и даже не считая ничѣмъ, а просто бросился бы насмерть, точно такъ же, какъ собака, которая при встрѣчѣ съ звѣремъ въ лѣсу бросается на него, не разсуждая, отчего должна броситься она, а не ея господинъ.

Но зато, если бъ понадобилось, напримѣръ, просидѣть всю ночь подлѣ постели барина, не смыкая глазъ, и отъ этого бы зависѣло здоровье, или даже жизнь барина, Захаръ непременно бы заснулъ.

Наружно онъ не показывалъ не только подобострастія къ барину, но даже былъ грубоватъ, фамиліаренъ въ обхожденіи съ нимъ, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, какъ сказано, злословилъ его у воротъ; но все-таки этимъ только на время заслонилось, а отнюдь не умалилось кровное, родственное чувство преданности его, не къ Ильѣ Ильичу собственно, а ко всему, что носитъ имя Обломова, что близко, мило, дорого ему.

Можетъ-быть, даже это чувство было въ противорѣчій съ собственнымъ взглядомъ Захара на личность Обломова, можетъ-быть, изученіе характера барина внушало другія убѣжденія Захару. Вѣроятно, Захаръ, если бъ ему объяснили о степени привязанности его къ Ильѣ Ильичу, сталъ бы оспаривать это.

Захаръ любилъ Обломовку, какъ кошка свой чердакъ, лошадь — стойло, собака — конуру, въ которой родилась и выросла. Въ сферѣ этой привязанности у него вырабатывались уже свои особенныя, личныя впечатлѣнія.

Напримѣръ, обломовскаго кучера онъ любилъ больше, нежели повара, скотницу Варвару больше ихъ обоихъ, а Илью Ильича меньше ихъ всѣхъ; но все-таки обломовскій поваръ для него былъ лучше и выше всѣхъ другихъ поваровъ въ мірѣ, а Илья Ильичъ выше всѣхъ помѣщиковъ.

Тараску, буфетчика, онъ терпѣть не могъ, но этого Тараску онъ не промѣнялъ бы на самаго хорошаго человѣка въ цѣломъ свѣтѣ, потому только, что Тараска былъ обломовскій.

Онъ обращался фамиліарно и грубо съ Обломовымъ, точно такъ же, какъ шаманъ грубо и фамиліарно обходится съ своимъ идоломъ: онъ и обмечаетъ его, и уронить, иногда, можетъ-быть, и ударить съ досадой, но все-таки въ душѣ его постоянно присутствуетъ сознаніе превосходства природы этого идола надъ своей.

Малѣйшаго повода довольно было, чтобъ вызвать это чувство изъ глубины души Захара и заставить его смотрѣть съ благоговѣніемъ на барина, иногда даже удариться, отъ умиленія, въ слезы. Боже сохрани, чтобъ онъ поставилъ другого какого-нибудь барина, не только даже выше, наравнѣ съ своимъ! Боже сохрани, если бъ это вздумалъ сдѣлать и другой!

Захаръ на всѣхъ другихъ господъ и гостей, приходившихъ къ Обломову, смотрѣлъ нѣсколько свысока и служилъ имъ, подавалъ чай и проч., съ какимъ-то снисхожденіемъ, какъ будто давалъ имъ чувствовать честь, которою они пользуются, находясь у его барина. Отказывалъ имъ грубовато:

— Баринъ де почиваетъ, — говорилъ онъ, надменно оглядывая пришедшаго съ ногъ до головы.

Иногда, вмѣсто сплетней и злословія, онъ вдругъ припимался неумѣренно возвышать Илью Ильича по лавочкамъ и на сходкахъ у воротъ, и тогда не было конца восторгамъ. Онъ вдругъ начиналъ вычислять достоинства барина, умъ, ласковость, щедрость, доброту; и если у барина его недоставало качествъ для нанегирика, онъ занималъ у другихъ и придавалъ ему знатность, богатство или необычайное могущество.

Если нужно было постращать дворника, управляющаго домомъ, даже самого хозяина, онъ страшалъ всегда бариномъ: «Вотъ постой, я скажу барину, — говорилъ онъ съ угрозой: — будетъ уже тебѣ!» Сильнѣе авторитета онъ и не подозрѣвалъ на свѣтѣ.

Но наружныя сношенія Обломова съ Захаромъ были всегда какъ-то враждебны. Они, живучи вдвоемъ, надѣли другъ другу. Короткое, ежедневное сближеніе человѣка съ человѣкомъ не обходится ни тому ни другому даромъ: много надо, и съ той и съ другой стороны, жизненнаго опыта, логики и сердечной теплоты, чтобъ, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками.

Илья Ильичъ зналъ уже одно необъятное достоинство Захара — преданность къ себѣ, и привыкъ къ ней, считая также, съ своей стороны, что это не можетъ и не должно быть иначе; привыкши же къ достоинству однажды навсегда, онъ уже не наслаждался имъ, а между тѣмъ не могъ, и при своемъ равнодушіи ко всему, сносить терпѣливо безчисленныхъ мелкихъ недостатковъ Захара.

Если Захаръ, питая въ глубинѣ души къ барину преданность, свойственную стариннымъ слугамъ, разнился отъ нихъ современными недостатками, то и Илья Ильичъ, съ своей стороны, цѣня внутренно преданность его, не имѣлъ уже къ нему того дружескаго, почти родственнаго расположенія, какое питали прежніе господа къ слугамъ своимъ. Онъ позволялъ себѣ иногда крупно браниться съ Захаромъ.

Захару онъ тоже надѣлъ собой. Захаръ, отслуживъ въ молодости лакейскую службу въ барскомъ домѣ, былъ произведенъ въ дядьки къ Ильѣ Ильичу и съ тѣхъ поръ началъ считать себя только предметомъ роскоши, аристократическою принадлежностью дома, назначенною для поддержанія полноты и блеска старинной фамиліи, а не предметомъ необходимости. Отъ этого онъ, одѣвъ барчонка утромъ и раздѣвъ его вечеромъ, остальное время ровно ничего не дѣлалъ.

Лѣнивый отъ природы, онъ былъ лѣнивъ еще и по своему лакейскому воспитанію. Онъ важничалъ въ дворнѣ, не давалъ себѣ труда ни поставить самоваръ, ни подмести полость. Онъ или дремалъ въ прихожей, или уходилъ болтать въ людскую, въ кухню; не то, такъ по цѣлымъ часамъ, скрестивъ руки на груди, стоялъ у воротъ и съ сонною задумчивостью посматривалъ на всѣ стороны.

И послѣ такой жизни на него вдругъ навалили тяжелую обузу выносить на плечахъ службу цѣлаго дома! Онъ и служи барину, и мети, и чисть, онъ и на побѣгушкахъ! Отъ всего этого въ душу его залегла угрюмость, а въ правѣ проявилась грубость и жестокость; отъ этого онъ ворчалъ всякій разъ, какъ голосъ барина заставлялъ его покидать лежанку.

Несмотря, однакожъ, на эту наружную угрюмость и дикость, Захаръ былъ довольно мягкаго и добраго сердца. Онъ любилъ даже проводить время съ ребятами. На дворѣ, у воротъ, его часто видѣли съ кучей дѣтей. Онъ ихъ мирить, дразнить, устраиваетъ игры, или просто сидитъ съ ними, взявъ одного на одно колѣно, другого на другое, а сзади шею его обовьетъ еще какой-нибудь шалуны руками, или треплетъ его за бакенбарды.

И такъ Обломовъ мѣшалъ Захару жить тѣмъ, что требовалъ поминутно его услугъ и присутствія около себя, тогда какъ сердце, общительный нравъ, любовь къ бездѣйствію и вѣчная, никогда неумолкающая, потребность жевать влекли Захара то къ кумѣ, то въ кухню, то въ лавочку, то къ воротамъ.

Давно знали они другъ друга и давно жили вдвоемъ. Захаръ нянчилъ маленькаго Обломова на рукахъ, а Обломовъ помнитъ его молодымъ, проворнымъ, прозорливымъ и лукавымъ парнемъ.

Старинная связь была неистребима между ними. Какъ Илья Ильичъ не умѣлъ ни встать, ни лечь спать, ни быть причесаннымъ и обутымъ, ни отобѣдать безъ помощи Захара, такъ Захаръ не умѣлъ представить себѣ другого барина, кромѣ Ильи Ильича, другого существованія, какъ одѣвать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и въ то же время внутренно благоговѣть передъ нимъ.

И. Гончаровъ.



Алексѣичъ. Съ карт. *Маковского.*

Д Я Д Я А К И М Ъ.

Дядя Акимъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые весь свой вѣкъ плачутъ и жалуется, хотя сами не могутъ дать себѣ яснаго отчета, на кого сътуютъ и о чемъ плачутъ. Если было существо, на которое слѣдовало бы, по-настоящему, жаловаться дядѣ Акиму, такъ это ужъ, конечно, на самого себя. Исторія его заключается вся въ нѣсколькихъ строкахъ: у Акима была когда-то своя собственная изба, лошади, коровы, — словомъ, полное и хорошее хозяйство, доставшееся ему послѣ отца, зажиточнаго мужика, торговавшего скотомъ. Но не въ прокъ пошло такое добро. Не привыкши сызмала ни къ какой работѣ, избалованный матерью, вздорной, взбалмошной бабой, онъ такъ хорошо повелъ дѣла свои, что въ два года сталъ бѣднѣйшимъ мужикомъ своей деревни. Крестьянину разориться не трудно: прогулай недѣли двѣ во время пахоты, да недѣлю въ страдную, рабочую пору — и дѣлу конецъ! Дѣтей не было у Акима: послѣ смерти матери онъ остался одинъ съ женою. Жена его, существо страдальческое, безгласное, бывши при жизни родителей единственной батрачкой и отвѣтчицей за мужа, не смѣла ему перечить; къ тому же, какъ сама она говорила, и жизнь ей прискучила. Молча жила она, молча сошла и въ могилу. Дѣла Акима пошли тогда еще плоше. Остался онъ, наконецъ, безъ крова и пристанища, или, какъ выразительно сказалъ его сосѣдъ, остался онъ крытъ свѣтомъ да обнесенъ вѣтромъ. Акимъ заплакалъ, застоналъ и заохалъ. До того времени онъ въ усь не дулъ; обжигался день денской на печкѣ, какъ словно и не чаялъ своего горя. Но убивайся, не убивайся, а жить какъ-нибудь надо. Пошелъ Акимъ наниматься къ сосѣдямъ въ работники. Но уживался онъ недолго на одномъ и томъ же мѣстѣ. Этому не столько содѣйствовала лѣнь, сколько безалаберщина и какая-то странная мелочность его права. Требовалось ли починить телѣгу, онъ съ готовностью принимался за работу, и стукъ его топора немолчно раздавался по двору битыхъ два часа; въ результатѣ оказывалось, однакожь, что Акимъ искромсалъ на цѣлыя три подводы дерева, а дѣла все-таки никакого не сдѣлалъ, — запрягъ прямо, какъ говорится, да поѣхалъ криво! Хозяинъ поручаетъ ему плетень заплести: ладно! Акимъ отправляется въ болото, нарубааетъ цѣлый возъ хворосту, возвращается домой, съ пѣнями садится за работу, но вмѣсто плетня выплетаетъ настилку для подводы или верши для лова рыбы. Въ самонужную, рабочую пору онъ забавляется издѣліемъ скворечницъ или дудочекъ для ребятишекъ. Требуется ли исправить хомуты, онъ идетъ покрывать крышу; требуется ли покрывать крышу, онъ прочищаетъ колодезь. Но зато въ разговорѣ, — разговорѣ дѣльномъ, толковомъ, никто не могъ сравниться съ Акимомъ; послушать его: стоя ѣдетъ, семерыхъ везетъ! Жаль только, что слова его никогда не соответствовали дѣлу: наговорилъ много, да толку мало — ни дать, ни взять, какъ пузырь дождевой: вскочилъ — загремѣлъ, а лопнулъ — и стало ничего!

Разъ нанялся онъ работникомъ у одного смедовскаго мельника. Мельнику встрѣтилась надобность отлучиться недѣли на двѣ изъ дому. Наканунѣ отъѣзда приводить онъ Акима къ плотинѣ и говорить ему:

— Смотри, — говоритъ, — вотъ въ этомъ мѣстѣ вода начинаетъ подсачиваться; завтра же чѣмъ свѣтъ вали сюда землю и навозъ. Долго ли до грѣха: нѣтъ, нѣтъ, да и плотину промоетъ...

— Какъ не промыть! — говоритъ Акимъ разсудительнымъ, дѣловымъ тономъ, — тутъ не только промоешь — все снесетъ, пожалуй. Землей одной никакъ не удержишь — сила! Я, — говоритъ, — весь берегъ плитнякомъ выложу: оно будетъ надежнѣе... Какая земля! здѣсь камень только впору!

По этимъ еще не довольствуется Акимъ: онъ ведетъ хозяина по всѣмъ закоулкамъ мельницы, указываетъ ему, гдѣ что плохо, не пропускаетъ ни одной щели и все это обѣщаетъ исправить въ наилучшемъ видѣ. Обнадеженный и вполнѣ довольный, мельникъ отправляется. Проходятъ двѣ недѣли; возвращается хозяинъ. Подъѣзжая къ дому, онъ не узнаетъ его и глазамъ не вѣритъ: на макушкѣ провли красуется рѣзной деревянный конь; надъ воротами торчитъ шестъ, а на шестѣ придѣлана скворечница, подъ окнами пестрѣетъ вычурная рѣзба...

— Ай-да Акимъ! Вотъ нажилъ себѣ работника; мастакъ, нечего сказать! На всѣ руки парень!

Но въ это время глаза мельника устремляются на плотину — и онъ цѣплетъ отъ ужаса: плотины какъ не бывало; вода гуляетъ черезъ всѣ снасти... Вотъ тебѣ и мастакъ работникъ, вотъ тебѣ и парень на всѣ руки! Со всѣмъ тѣмъ, Боже сохрани, если недовольный хозяинъ начнетъ упрекать Акима: Акимъ ничего, правда, не скажетъ въ отвѣтъ, но ужъ зато съ этой минуты бросаетъ работу, ходитъ какъ словно обиженный, живетъ, какъ вонъ глядитъ; тамъ ко чергу швырнетъ, здѣсь ногой пихнетъ, съ хозяиномъ и хозяйкой слова не молвить, да вдругъ и перешелъ въ другой домъ.

Въ продолженіе семи лѣтъ онъ столько перемѣнилъ хозяевъ, что даже прозвища ихъ не помнилъ.

Живалъ онъ въ пастухахъ, нанимался сады караулить, нанимался на мельницахъ, на поромахъ, на фабрикахъ, исходилъ почти всѣ дома во всѣхъ прирѣчныхъ селахъ — и все-таки нигдѣ не пристраивался.

Разъ, однакожъ, счастье какъ словно улыбнулось ему. Это произошло ровно за восемь лѣтъ до начала нашего разсказа. Акимъ случайно какъ-то встрѣтился съ одинокой, вдовствующей солдаткой, проживавшей въ собственномъ домку на собственной землицѣ; онъ нанялся у нея батракомъ и прожилъ безъ малаго лѣтъ пять въ ея домѣ. Новая хозяйка Акима была самая задорная, назойливая и безпокойная баба; по увѣренію сосѣдокъ, она ѣла и «полоскала» своего работника съ ранней утренней зари вплоть до позднихъ пѣтуховъ. Несмотря на такое частое полосканье, Акимъ не думалъ, однакожъ, разставаться съ домомъ солдатки. Словоохотливыя сосѣдки утверждали, что такое упорство со стороны Акима единственно происходило изъ привязанности его къ сыну хозяйки. Привязанность Акима къ ребенку была дѣйствительно замѣчательна. Онъ не выпускалъ его изъ рукъ, нянчился съ нимъ какъ мамка; на собственные деньги купилъ ему кучерскую шапку. Онъ, правда, немножко ошибся въ расчетъ: шапка не только свободно входила на голову младенца, но даже покрывала его всего съ головы до ногъ; но это обстоятельство нимало не мѣшало Акимъ радоваться своей погункѣ и выхвалять ее встрѣчному и поперечному. Бывало, день денской сидитъ онъ надъ мальчикомъ и дуетъ ему надъ ухомъ въ самодѣльную берестовую дудку, или же возитъ его въ телѣжкѣ собственного издѣлія, которая имѣла свойство производить такой пискъ, что какъ только Акимъ тронется съ нею, бывало, по улицѣ, всѣ деревенскія собаки словно взбѣсятся: вытянуть шею и начнутъ выть.

— Эбъ ихъ подняло!.. Знать, Акимъ возитъ своего солдатенка!—говорятъ бабы.

Такъ прожилъ Акимъ пять лѣтъ, вплоть до той самой минуты, когда солдатка его отдала Богу душу.

Послѣдующая жизнь его была преисполнена горестей и неудачъ всякаго рода. Если бъ кто-нибудь изъ окрестныхъ мужиковъ нуждался въ нянькѣ, Акимъ могъ бы еще какъ-нибудь пристроиться, но дѣло въ томъ, что окрестнымъ мужикамъ нуженъ былъ только дюжій дѣловой батракъ. Къ тому же въ эти пять лѣтъ Акимъ окончательно уже облѣнился и сталъ негоденъ ни къ какой работѣ. Поднявъ онъ себѣ на плечи сиротку-мальчига и снова пошелъ стучаться подъ воротами, пошелъ толкаться изъ угла въ уголъ: гдѣ недѣлку проживетъ, гдѣ двѣ—а больше его и не держали; въ деревнѣ то же, что въ городѣхъ—никто себѣ не врагъ. «На тебѣ хлѣбца, да и Богъ съ тобой».

Григоровичъ.

Пахарь Иванъ Анисимычъ.

Савелій приложилъ ладонь къ глазамъ, въ видѣ зонтика, и пристально посмотрѣлъ въ поле. Такъ какъ въ послѣднее время слова его часто сопровождались этимъ движеніемъ, я невольно взглянулъ въ ту сторону. На дорогѣ, которая вилась по полю, я увидѣлъ бабу. Она быстро подвигалась впередъ, иногда даже принималась бѣжать; она махала руками и направлялась прямо къ опушкѣ рощи. Это была жена Савелья.

Она остановилась еще разъ, чтобы перевести духъ, и пустилась бѣжать быстрее прежняго.

— Савелій, Савелій! домой ступай! скорѣе ступай домой! — крикнула она, когда еще была на дорогѣ.

— Что случилось?—спросили мы.

— Батюшка отходить!.. Ступай прощаться!..—проговорила она, прижимая руки къ груди и едва переводя одышку.

П а х а р ь.

Я зналъ отца Савелія еще въ дѣтствѣ. Но не одни воспоминанія прошлаго привязывали меня къ нему и заставляли сожалѣть о немъ: можно сказать безъ преувеличенія, что вмѣстѣ съ нимъ весь околотокъ лишился одного изъ самыхъ почтенныхъ, самыхъ достойныхъ стариковъ своихъ.

Иванъ Анисимычъ, или, просто, Анисимычъ (такъ звали старика), принадлежалъ къ числу тѣхъ трудолюбивыхъ, дѣловыхъ пахарей стараго вѣка, которые, къ величайшему сожалѣнію, переводятся годъ отъ году. Особенно рѣдко теперь встрѣчаются въ нашихъ мѣстахъ. Но мѣрѣ того, какъ развивался у насъ фабричный промыселъ, воздѣлываніе полей приходило въ упадокъ; челнокъ, красная рубаха и гармонія замѣтно смѣняли соху, балалайку и лапти; вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно также исчезалъ типъ настоящаго, коренного, первобытнаго пахаря. Въ послѣдніе дни одинъ Анисимычъ исключительно, можно сказать, жилъ своимъ полемъ. Его не сокрушали даже неурожайные годы. Онъ продолжалъ пахать, боронить и сѣять даже въ то время, когда фабрики стали приносить очевидныя выгоды противъ пашни. Но не упрямство управляло имъ,

не закоснѣлая привычка къ старому прадѣдовскому ремеслу; не управляли имъ также расчетъ и тонкая смѣтливость: старикъ нисколько не соображалъ о томъ, что не вѣкъ же продлятся неурожайные годы, не вѣкъ же миткалю будетъ цѣна высокая! Въ умѣ его было меньше, можетъ-быть, хитрости и пронырства, чѣмъ у любого тридцатилѣтняго фабричнаго щеголя. Наконецъ, миѣ сказывали, онъ считалъ даже грѣшнымъ дѣломъ впередъ загадывать: «что будетъ, то все въ руцѣ Господа; словесами, либо думой тутъ не поможешь», говорилъ онъ. Старикъ не разставался съ полями потому только, кажется, что свыкся съ ними и шибко къ нимъ привязался. Мудренаго нѣтъ: онъ началъ привыкать къ нимъ еще въ то время, когда покойная его мать, отправляясь на жнитво, носила его туда въ люлькѣ. А это было очень давно: Анисимычъ доживалъ уже теперь восьмой десятокъ.

Съ мыслию о смерти стараго пахаря вся простая жизнь его, исполненная безропотнаго, неуныннаго труда и дѣтскаго простодушія, ясно представилась моему воображенію; даже мелкія черты характера и ничтожные эпизоды его скромнаго существованія, которые давнымъ-давно были мною забыты, стали выясняться, какъ бы для того, чтобы въ минуту смерти оставить о немъ еще больше сожалѣнія.

Меня особенно поражали въ немъ всегда необычайная кротость нрава, чистота помысловъ и благочестіе. Единственная вещь, быть-можетъ, которой не любилъ онъ, было миткалевое производство; но никогда, однакожь, не относился онъ съ насмѣшкой, злобой или пренебреженіемъ, когда рѣчь заходила объ этомъ предметѣ. Онъ, помнится, покручивалъ только сѣдою головою и говорилъ: «Худое ремесло то, когда ничего не дѣлаешь! Коли человѣкъ кормится фабриками, стало, и въ нихъ прокъ есть. Не хороша только жизнь фабричная — вотъ что похвалить нельзя; не хороши эти гулянки да кабаки да нищалки эти (какъ называлъ онъ гармоніи). Что денегъ-то даютъ хозяева, — присовокуплялъ онъ обыкновенно, — за этимъ гнаться нечего: деньги только въ соблазнъ вводятъ. Нашему брату денегъ не надобно; былъ бы хлѣбъ святой. Есть хлѣбъ, ни въ чемъ, значить, недостатка не будетъ, потому хлѣбъ всѣмъ надобенъ, всякому, то-есть, человѣку; на что хочешь можно промѣнять его!.. По-моему, пахота самое, выходить, первое дѣло!» заключалъ всегда старикъ, рѣдко пропускавшій случай поговорить о ремеслѣ своемъ, когда былъ въ духѣ, и стараясь при этомъ выставить всѣ его выгоды.

— Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть рукомесло, ужъ это все, значить, живешь при немъ какъ словно не въ удовольствіи: фабриканту ли какому, или хозяину работаешь, имъ, примѣрно, и отвѣчать должонъ. Люди-то неравны—вотъ что! И хорошо сдѣлаешь, всѣми силами стараешься, да не угоднѣе, ну, сердце-то и кипитъ въ тебѣ, все не въ удовольствіи... Ну, а съ пахотой этого не бываетъ: самъ себѣ работаешь, самъ себѣ и отвѣчаешь: старался—значить, тебѣ же хорошо; полѣнился, не родилось ничего—самъ выходитъ, на себя и пеняй!.. И живешь покойнѣе, потому, выходитъ, сердчать не на кого: весь ты, какъ есть, во власти Господней!

Анисимычъ доказывалъ на дѣлѣ, какъ мало имѣлъ пристрастія къ денежному барышу. Когда заводился лишній грошъ, онъ спѣшилъ принанять лишней земли, употреблялъ его на покупку какой-нибудь снасти или на поправку до-

машиней, хозяйственной принадлежности. Во всемъ околоткѣ дѣти, моложе даже восьми лѣтъ, занимались размоткою бумаги и доставали этой работой «на соль», какъ выражались отцы ихъ. Анисимычъ слышать не хотѣлъ объ этомъ. Ребятишки его пользовались полной свободой бѣгать по полямъ и рощамъ. На четырнадцатомъ году, однакожъ, старшій братъ Савелья ловко уже управлялъ сохою и никогда не портилъ борозды.

И не разстраивался какъ-то Анисимычъ, несмотря на неурожайные годы, несмотря на добровольное лишеніе выгодъ, которыя могли доставить ему фабрики. Соблюдая строгій хозяйственный порядокъ, живя просто, неприхотливо, онъ ни въ чемъ никогда не нуждался; онъ находилъ даже способъ быть запасливымъ. Часто даже доводилось зажиточнымъ крестьянамъ занимать у него муку и зерна на посѣвъ. Въ этихъ случаяхъ, надо замѣтить, старикъ оказывался всегда очень «крѣпкимъ». Человѣкъ безпутный, нетрезвый, не выманилъ бы у него куска льду зимою. Онъ не давалъ взаймы безъ разбора; но когда случалось ссужать сосѣда, то дѣлалъ это, никогда не требуя вознагражденія. Благодаря промышленному состоянію края, въ рѣдкой деревнѣ не сыщешь своего рода ростовщика, Мужикъ, застигнутый врасплохъ нуждою, беретъ у него овесъ, соль и деньги. съ тѣмъ, чтобы по истеченіи условнаго срока отдать въ полтора раза больше. У насъ, слѣдовательно, простолюдинъ знакомъ очень хорошо съ процентами. Старому пахарю часто предлагали отдать долгъ съ излишкомъ, лишь бы только смягчить его: онъ всегда отказывался. Ему выставляли на видъ, что если бы онъ бралъ лишки съ должниковъ, то въ скоромъ бы времени обогатился; но такія рѣчи встрѣчали всякій разъ въ пахарѣ самое полное равнодушіе: онъ слушалъ ихъ, какъ будто онъ вовсе не къ нему относились. Отвѣтъ его былъ постоянно одинъ и тотъ же:

— Я денегъ не даю, — говорилъ онъ, — денегъ у меня нѣтъ; я хлѣбъ даю... коли есть; хлѣбъ — даръ Божій!.. Господь съ насъ процентовъ не беретъ, стало, и намъ грѣхъ, не приходится... Хлѣбъ — дѣло святое, — не то, что деньги; деньги отъ человѣка! Онъ ихъ выдумалъ, онъ ихъ и дѣлаетъ...

Анисимычъ слылъ мастакомъ во всякомъ хозяйственномъ дѣлѣ. Знаніе его, соединенное съ услужливостію и необыкновенною терпимостію права, было причиной, что часто также прибѣгали къ нему съ просьбами другого рода. Къ нему ходили за совѣтомъ. Встрѣчалась ли сосѣду надобность купить корову и лошадь, Анисимычъ долженъ былъ осмотрѣть животное: приговоръ старика рѣшалъ тотчасъ же дѣло. Требовалось ли соорудить новую снасть, купить топливо на зиму или лѣсу на избу, опять обращались къ его опытности. Во всемъ, что касалось полевыхъ работъ, Анисимыча слушали, какъ оракула. Глядя на то, что онъ дѣлалъ, дѣлали и другіе: онъ выѣзжалъ сѣять — вся вотчина сѣяла, онъ не косилъ — никто не бралъ косы, хотя бы даже минули Петровки.

— Анисимычъ рассаду сажать выѣхалъ: стало, время! — говорили бабы.

И точно: лучше старика никто не могъ знать о времени жнитва и посѣва, о свойствахъ земли и зеренъ. Болѣе шестидесяти лѣтъ прожилъ онъ въ поляхъ; постепенно, годъ за годъ, сроднился онъ тѣснѣе съ почвой. Въ этомъ сродствѣ его съ полями было что-то трогательное. Эти три-четыре нивы, которыя пахали его отецъ, дѣдъ и прадѣдъ, обуславливали всю его жизнь: отъ нихъ зависѣло

благосостояніе дѣтей его и цѣлаго семейства; онъ возлагалъ на нихъ всѣ свои надежды и всегда съ жаркою молитвой поручалъ ихъ Богу. Сколько заботъ и попеченій онъ ему стоили, сколько тревогъ и радостей принесли онъ ему, сколько пота пролилъ онъ на нихъ въ эти шестьдесятъ лѣтъ своей трудовой жизни!

Но и онъ какъ будто понимали его; между ними установилось какъ словно тайное сочувствіе. «Эхъ!—скажетъ, бывало, старикъ, оглядывая лѣтомъ свое поле,—вотъ этотъ осьминничекъ какъ славно обманулъ меня! Мало ли положилъ я въ тебя зеренъ,—не жалѣлъ, кажется! и вспахалъ лучше быть нельзя! А колосъ-то жиденькій, соломка тощая!.. Обманулъ ты меня!..» Проходитъ лѣто, жатва скошена, ужъ журавли летятъ въ теплыя стороны. Анисимычъ снова въ полѣ, снова идетъ къ осьминнику, который не оправдалъ его надежды. Старикъ крестится, съ удвоеннымъ стараніемъ бороздитъ его вдоль и поперекъ, раза два лишнихъ боронитъ и вспахиваетъ, прилаживаетъ лишній камень на борону.

— Ну, теперь ладно, надо быть; не надо бы, кажется, теперь обманывать! — скажетъ онъ, обтирая рукавомъ крупныя капли пота, — такъ запахано, комушка нѣтъ! какъ пухъ земляца! Славная будетъ постелька для зернышка!..

И въ самомъ дѣлѣ, на другое лѣто, старикъ не натѣшится, глядя на свой осьминникъ, покрытый изъ края въ край частымъ высокимъ стеблемъ, который плавно колышется на вѣтрѣ, шумя тяжелыми гроздьями золотого овса. Эти три-четыре нивы были для него цѣлымъ міромъ, въ которомъ жилъ онъ всѣми своими помыслами, всею душою. Мысли его рѣдко переносились за предѣлы зеленѣющихъ межей, окружавшихъ его поле.

Но и въ этомъ тѣсномъ горизонтѣ научился онъ многому. Премудрость Божія не такъ же ли безконечно поразительна въ стеблѣ травы, какъ и въ громадныхъ явленіяхъ природы! Довольно было старому пахарю прожить свой вѣкъ подъ этимъ узенькимъ клочкомъ неба, между этими бѣдными холмами и рощами, чтобы пріобрѣсть опытъ и знаніе, которые составляютъ мудрость сельскаго жителя. Не этотъ ли опытъ и знаніе помогали старику поддерживать благосостояніе семьи и тѣхъ окружающихъ, которые хотѣли слушать его совѣтовъ?

— А что, Анисимычъ, не пора ли овесъ сѣять? — вымолвить сосѣдъ, выходя весною за ворота, чтобы погрѣться на солнцѣ. — Вишь, теплынь какая стала, даже паръ отъ земли пошелъ!

— Нѣтъ, погоди, — скажетъ старый пахарь, — ходилъ я нонче въ поле, глядѣлъ: листь что-то малъ на дубкахъ, не совсѣмъ еще развернулся, — ждать надо холоду, стало-быть; можетъ-статься, еще будетъ и сиверка: овесъ этого не любить! Сѣй его, какъ листь дубовый развернется въ заячье ухо: тогда и сѣй, потому, значить, земля тогда готова, за свой родъ принялась.

У него на все были свои примѣты. Онъ, надо полагать, постоянно оправдывались въ продолженіе цѣлыхъ шестидесяти лѣтъ: онъ слѣпо имъ вѣрилъ!

— Что ты, Анисимычъ, на лугъ-то уставился? — шутливо замѣчалъ сосѣдъ. — Лошадей, что ли, высматриваешь?

— Нѣтъ, на гусей гляжу.

— А что?

— Да все что-то на одну ногу становятся: надо-быть, скоро снѣжокъ выпадетъ!... Вотъ также и журавли: впшь, какъ низко летятъ. По всему сдается, рано нонче зима станеть.

Иной разъ радостно ожидалъ онъ дружную, теплую весну.

— Былъ я нонче въ полѣ, — говорилъ онъ, — ни одного грача не видно; а ужъ давно прилетѣли! Прямо, значить, на гнѣзда на свои сѣли: тепло, значить, чуютъ, торопятся дѣтей выводить.

Стоптъ иной разъ засуха, вся деревня носъ повѣсила; Анисимычъ ходить, бывало, всѣхъ ободряетъ. Полагаясь на какую-нибудь примѣту, онъ весело поглядываетъ на нивы, палимыя солнцемъ.

— О чемъ вы? — скажетъ, бывало, — и дождикъ, и вѣтры, и солнце, — все это въ рукѣ Божіей. Онъ знаетъ, что дѣлаетъ, у Него все сосчитано, всѣ дни и весь годъ уравнишь: не пропадетъ зря ни единой капельки во весь годъ, не колыхнетъ вѣтеръ стебля, коли не ко времени. Онъ знаетъ лучше, что надобно...

Въ истинно скорбное время, когда солнце спалило хлѣбъ, или градъ ско-силъ до тла дозрѣвающую рожь, онъ никогда не отчаивался, никогда не падалъ духомъ: имъ овладѣвало тогда какое-то сосредоточенное, задумчивое спокойствіе.

— Тутъ ничѣмъ не поможешь, — были всегдашнія слова его, — надо Бога просить, чтобъ на будущее время помиловалъ...

И снова принимался онъ съ прежней довѣренностью дѣлать свои наблюденія.

Анисимычъ никогда не былъ ни старостой, ни даже сотскимъ; онъ, какъ особенной милости, просилъ всегда, чтобъ избавили его отъ всякой почетной должности. При всемъ томъ его почитали и слушали больше даже, чѣмъ начальниковъ, которые избирались міромъ.

Не было примѣра, чтобы мірская сходка обходилась безъ Анисимыча. А между тѣмъ онъ стоялъ въ какомъ-то исключительномъ положеніи, какъ пахарь въ фабричной деревнѣ, не былъ ни особенно богатъ, ни силенъ, ни крикливъ; но его слушали, и совѣтъ его служилъ всегда послѣднимъ, рѣшительнымъ приговоромъ. То же самое было во всѣхъ крайнихъ, запутанныхъ дѣлахъ и даже въ семейныхъ распряхъ: что скажетъ, бывало, старикъ, то и свято. Миѣ ясно представляется теперь одинъ случай:

Дѣлились два брата. Всякій, кто жилъ въ деревнѣ, знаетъ, съ какими трудностями сопряжены дѣлежи такого рода. Какъ раздѣлить, на примѣръ, одну избу между двумя человѣками? Не разрубить же ее пополамъ, въ самомъ дѣлѣ! Какъ уравнивать цѣнность лошади съ нѣсколькими овцами или цѣнность хозяйственныхъ орудій съ домашнею утварью? Дѣлежъ между двумя братьями не подвигался къ концу, несмотря на дѣятельное участіе міра и конторы.

— Позвать развѣ Анисимыча: что онъ скажетъ! — замѣтилъ кто-то.

Братья и всѣ присутствующіе выразили согласіе. Послали за старикомъ, и, немного погодя, онъ явился. Сначала онъ долго отговаривался, говорилъ, что, что бы ни сказалъ онъ, одинъ изъ братьевъ все-таки останется не въ удовольствіи, и проч.; но къ нему приступили рѣшительнѣе и потребовали отвѣта.

— Ну, во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — сказалъ онъ тогда, набожно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.

(Онъ объяснилъ потомъ движеніе это тѣмъ, что «просилъ Господа помочь ему судить по-божески, по-справедливому, а не по-человѣческому».)

Затѣмъ онъ рѣшилъ споръ такимъ образомъ: все хозяйство и весь скотъ слѣдовало раздѣлить пополамъ, какъ «приобрѣтенное»; но хлѣбъ — даръ Божій! Богъ печется о каждомъ человѣкѣ и посылаетъ хлѣба каждому сколько нужно: хлѣбъ надо дѣлить, слѣдовательно, по душамъ; у одного брата три души, у другого восемь: такъ послѣднему больше надо.

Такъ и сдѣлали.

К о н ч и н а.

Мы вошли въ деревню въ ту самую минуту, какъ въ околицу вгоняли стадо. Оно бѣжало къ намъ прямо навстрѣчу, и еще больше усиливало движеніе, которое я замѣтилъ издали. Бабы, ребята и дѣвчонки поминутно перебѣгали намъ дорогу: ихъ точно держали до сихъ поръ взаперти и вдругъ разомъ всѣхъ выпустили. Всѣ стремились къ освѣщенной половинѣ деревни и направлялись къ одной избѣ, у воротъ которой стояла уже порядочная толпа. Ревъ, блеянье, топотъ, крики старухъ, которыя загоняли коровъ и овецъ, не позволяли мнѣ слышать говоръ народа, толпившагося у двери избы; разъ только съ той стороны послышался мнѣ какъ будто глухой сдвленный вопль нѣсколькихъ голосовъ.

— Савелій! брось лошадей-то! Старикъ умираетъ! — быстро проговорила какая-то баба и еще быстрѣе пронеслась мимо.

Савелій постепенно ускорялъ шагъ. Изъ избы явственно уже теперь приносились вопль, крики и голошенье; когда отворяли дверь, можно даже было разбирать слова и узнавать голоса. Въ толпѣ, тѣснившейся у избы, всѣ горячо и торопливо говорили. Когда мы приблизились къ воротамъ, всѣ смолкли и обратили любопытные глаза на Савелія.

Подъ навѣсомъ воротъ жались полдюжины овецъ и двѣ коровы; въ общей суматохѣ онѣ были забыты хозяевами. Савелій остановилъ лошадей, сдѣлалъ шагъ, съ очевиднымъ намѣреніемъ отворить ворота, снова вернулся къ лошадямъ, началъ было ихъ разнуздывать, но отчаянный вопль, вырывавшійся изъ избы, отнялъ, видно, у него послѣднюю твердость: руки его опустились, онъ то-скливо замоталъ головою и пошелъ къ низенькой боковой двери, которая вела въ сѣни. Въ толпѣ съ особенною какою-то торопливостію дали ему дорогу.

Мнѣ никогда не случалось присутствовать при послѣднихъ минутахъ умирающаго. Смерть дѣйствуетъ особеннымъ страхомъ, когда дѣло идетъ о знакомомъ человѣкѣ. Мимо чувства сожалѣнія, возбуждаемаго сознаниемъ вѣчной разлуки, душа въ этихъ случаяхъ невольно содрогается при мысли, что существо, лежащее теперь бездыханнымъ трупомъ, вчера еще говорило съ вами; я слышалъ звукъ его голоса, онъ и теперь еще явственно какъ будто раздается въ ушахъ моихъ; я дѣлилъ съ нимъ мысли и чувства, видѣлъ, что жизнь наполняла его до тончайшей фибры, — и вдругъ все это смолкло, остановилось, кончилось навсегда, и никогда, никогда больше не возобновится! Жутко...

Я окончательно смутился, войдя въ сѣни, биткомъ набитыя плачущимъ народомъ. Посреди протяжныхъ причитаній выходилъ иногда вопль, который какъ ножомъ надрѣзывалъ сердце. Въ избѣ было еще тѣснѣе: не было рѣшительно возможности подвигаться впередъ. Бабы, съ грудными младенцами на

рукахъ, стояли даже на лавкахъ; печь и полати устѣяны были головами, всё жалелось и тискалось. Вопль былъ такъ силенъ, что съ трудомъ можно было заставить понять себя, говоря громко на ухо. Въ толпѣ то и дѣло попадались распухнувшія, красныя лица, съ зажмуренными глазами и раскрытыми ртами, изъ которыхъ вырывались пронзительные крики. Большая часть бабъ стояла крѣпко обнявшись: положивъ голову на плечо другъ дружѣ, онѣ мѣрно раскачивались подъ тактъ унылаго, размѣреннаго голошенья.

До сихъ поръ, сколько я ни старался пробраться впередъ, передо мной мелькали только головы, и впереди виднѣлся темный уголокъ избы, въ которомъ тускло мерцало пламя желтой восковой свѣчи, прилѣпленной къ образу. Прежде всего я различилъ колѣни умирающаго. Меня съ ногъ до головы обдало холодомъ: самъ не знаю отчего, но мнѣ не такъ тягостно было увидѣть его самого, какъ увидѣть эти недвижныя, выступающія острымъ угломъ колѣни. Въ ногахъ пахари сидѣла жена его, древняя старуха, какъ и онъ самъ. Обнявъ руками шею двухъ замужнихъ дочерей, которыя рыдали, какъ безумныя, она безсильно свѣшивала голову то къ одной на плечо, то къ другой. Платокъ, покрывавшій ей голову, бросалъ густую тѣнь на лицо ея; изрѣдка слабый стонъ вырывался изъ впалой груди старушки. Она сама какъ будто умирала. Подлѣ стоялъ старшій сынъ, такой же видный мужчина, какъ Савелій, но только смуглѣе его. Прислонясь правымъ локтемъ въ стѣну, закрывъ правою ладонью лицо, онъ былъ недвижимъ, и только тяжкіе вздохи приподымали могучую грудь его. По другую сторону находился Савелій. Онъ стоялъ на колѣняхъ; кудрявая голова его лежала на обнаженной рукѣ, вытянутой вдоль сосѣдней лавки. Всё убивались надъ старикомъ, какъ надъ безчувственнымъ трупомъ покойника; а между тѣмъ предметъ ихъ скорби боролся еще съ жизнью; глаза его были закрыты, но грудь, время отъ времени, высоко еще подымалась.

Онъ лежалъ подъ образами, на лавкѣ, устланной соломой. Голова его покоилась на снопѣ овса. Длинные серебристые волосы старика не раскидывались въ беспорядкѣ, какъ у человѣка, который судорожно, отчаянно борется со смертію: они спускались мягкими волнистыми прядями вдоль худощавыхъ щекъ, покрытыхъ мелкими складками и тѣмъ смуглымъ, черствымъ отливомъ, который накладываетъ жизнь, проведенная на воздухѣ, во всякое время года: въ холодъ, зной, дождь и вѣтеръ.

Я стоялъ въ двухъ шагахъ и могъ различить мельчайшія черты почтеннаго лица его. Оно поражало своимъ контрастомъ съ лицами, меня окружавшими: сколько истинной, неподдѣльной скорби и безотраднaго отчаянія виднѣлось на послѣднихъ, столько же спокойствія написано было въ чертахъ умирающаго старца; нѣтъ, никогда потомъ, нигдѣ и никогда, не встрѣчалъ я такого тихаго, такого кроткаго выраженія! Ясно между тѣмъ видно было, что смерть не отняла еще у него полнаго сознанія: мысль какъ бы просвѣчивала сквозь закрытыя вѣки его и озаряла черты его; онъ долженъ былъ слышать все, что вокругъ происходило: слышалъ вопли родныхъ, слышалъ страшныя слова прощанья, слышалъ раздражившіе сердца возгласы двухъ дочерей, умолявшихъ его не покидать ихъ, пожить еще съ ними; слышалъ глухой плачъ Савелія и горькія всхлипыванья старшаго сына; но мысль, оживлявшая черты его, не принадлежала уже, видно, окружавшему его міру. Ни одна морщинка не показы-

вала душевной, внутренней тоски. Онъ какъ будто засыпалъ въ полѣ послѣ трудового утра и, отходя постепенно ко сну, сладко прислушивался къ пѣнію жаворонковъ, которые заливались въ вышинѣ небесной...

«Такъ вотъ смерть!» думалъ я, пристально всматриваясь въ лицо его. Я видѣлъ смерть въ первый разъ; но мнѣ страшнѣе было слушать вонли, страшнѣе было видѣ живыхъ лицъ, обезображенныхъ отчаяніемъ, чѣмъ видѣ самой смерти. Страшный, ужасающій образъ, который представлялся моему воображенію всякій разъ, когда я думалъ прежде о смерти, исчезалъ постепенно, по мѣрѣ того, какъ я всматривался въ кроткое, покойное лицо пахаря. Мнѣ стало казаться, что въ томъ трепетномъ мерцаніи, которое разливала свѣчка надъ изголовьемъ умирающаго, стоитъ не страшный, ужасающій образъ, — нѣтъ! но ясно улыбающійся ангелъ, который ласково простиралъ впередъ руки и тихо двигалъ бѣлыми лучезарными крылами...

Въ одну изъ тѣхъ минутъ, какъ я напрягалъ зрѣніе, чтобы уловить на лицѣ пахаря отраженіе окружающей его скорби, въ дальней части избы неожиданно стихли вопли. Послышалась давка, нѣсколько женскихъ голосовъ прокричало:

— Пропустите, касатики! пропустите дѣдушку Карпа... Дайте пройти! проститься хочетъ!

Я посторонился вмѣстѣ съ другими и далъ мѣсто сѣдому низенькому старичку.

Это былъ родной братъ пахаря. Хотя между лѣтами того и другого считался только годъ разницы, но Карпъ смотрѣлъ уже совершенной развалиной. Онъ давно оставилъ полевою работу, перемогался со дня на день и въ послѣднее время проводилъ жизнь на печкѣ, изрѣдка выходя на завалинку, чтобы погрѣться на солнцѣ. Крошечное лицо его изрыто было морщинами; каждый трудовой день провелъ, какъ словно, на немъ черту свою. Ноги его дрожали; руки тряслись; голова, на которой оставались по бокамъ рѣдкіе клочки волосъ, ходила изъ стороны въ сторону. Онъ, очевидно, дрожалъ не отъ волненія, но отъ дряхлости. Въ тусклыхъ глазахъ, устремленныхъ на брата, не было пока замѣтно замѣшательства. Онъ подошелъ ближе, медленно перекрестился и сказалъ:

— Эхъ, Иванъ, Иванъ! чаялъ я, поживешь еще съ нами... Рано, Иванъ, ты насъ покидаешь!

Страшный вопль двухъ дочерей умирающаго перебилъ старика. Онѣ неожиданно оторвались отъ матери, которая безсильно опустилась мужу на ноги, и бросились обнимать отца. Савелій и старшій братъ его громко зарыдали. Тихая мысль, освѣщавшая лицо умирающаго, стала какъ бы потухать. Въ чертахъ его, дышавшихъ спокойствіемъ, изобразилось вдругъ тяжкое томленіе. Голоса родныхъ точно въ первый разъ нашли дорогу въ его сердце и возвратили его на минуту къ дѣйствительному міру. Глаза его остались, однакожъ, закрытыми, и грудь попрежнему подымалась ровно и медленно.

— Бабы... полно вамъ!..—проговорилъ Карпъ, притрогиваясь къ племянницамъ.—Савелій, Петръ, вы бы ихъ удержали!.. ему и безъ того жаль съ вами разставаться... пуще всего-то душу мутать... оставили бы... будетъ еще время убиваться-то!..

Петръ и Савелій подняли сестеръ и отошли къ ногамъ отца. Лицо умирающаго постепенно вытягивалось и принимало грустное выраженіе. Грудь его приподымалась теперь едва замѣтно.

— Эхъ, братъ Иванъ, — произнесъ неожиданно Карпъ, и, я замѣтилъ, голосъ старика задрожалъ сильнѣе, — въ какое время ты насъ покидаешь!.. Встань, Иванъ!.. Погляди-ка поди, весна на дворѣ; наши вѣдь всѣ пахатъ поѣхали...

При этомъ каждая черта умирающаго наполнилась вдругъ выраженіемъ страшной тоски. Вѣки его, начинавшія уже углубляться, дрогнули, слегка раскрылись въ углахъ и пропустили двѣ крупныя слезы. Онѣ медленно потекли по морщинамъ и, видимо, казалось, застывали на холодѣвшихъ щекахъ его...

Свѣтлыя струи ручья многіе годы оживляли долину. Тихо журчали онѣ, отражая и небо, и зелень, и мирныя окрестныя виды; но время открыло скважину въ руслѣ: ручей замѣтно мельчаетъ; тусклѣй и тусклѣй дѣлается его поверхность, и, наконецъ, онъ вовсе пропадаетъ, оставивъ темное, земляное дно, въ которомъ не блеснетъ уже никогда лучъ солнца!

Такъ и жизнь, невидимымъ путемъ своимъ, покидала стараго пахаря. Грудь его подымалась все рѣже и рѣже; мертвенная блѣдность покрывала черты его. До сихъ поръ душа все еще какъ бы носилась надъ чертою, раздѣляющею земную жизнь отъ загробной. Она тревожно, хотя постепенно слабѣе и слабѣе, прислушивалась къ воплямъ и крикамъ; но вотъ стала она переходить роковую черту...

Лицо старца снова стало пріобрѣтать спокойствіе и ясность, и, казалось мнѣ, въ трепетномъ мерцаніи, разливавшемся надъ изголовьемъ пахаря, снова являлся улыбающійся ангелъ, который ласково простиралъ къ нему руки и тихо двигалъ бѣлыми лучезарными крыльями...

.

Прошло два дня. Я шелъ уже отдать послѣдній долгъ пахарю.

Не помню, чтобы было когда-нибудь такое тихое, такое ясное утро. Ни одна тучка не омрачала небо. Какой-то мягкій, яптарный блескъ разливался по всей окрестности, и не было, казалось, такого затаеннаго уголка, куда бы не проникалъ лучъ солнца; а между тѣмъ ранній часъ утра поддерживалъ прохладу въ воздухѣ и сообщалъ свѣжесть полямъ, холмамъ и рощамъ. Роса сверкала повсюду. Листья были недвижны. Изрѣдка подъ тѣмъ или другимъ деревомъ раздавался шорохъ, и слышалось, какъ била по листьямъ катившаяся капля росы. Но какъ звонко зато распѣвали птицы, какимъ жужжаньемъ, пискомъ и чиликаньемъ наполнялся недвижный воздухъ! Все, что имѣло только крылья, собралось какъ словно праздновать въ это утро. Кузнечики, какъ искры, сыпались подъ ногами, и жаворонки неумолкаемо заливались по обѣимъ сторонамъ дороги, которая вела изъ дома въ деревню.

Но зрѣлище, ожидавшее меня тамъ, сильно противорѣчило веселой, улыбающейся картинѣ утра. Я вошелъ въ деревню, когда совершался выносъ. Я увидѣлъ густую толпу народа и надъ нею, нѣсколько дальше, бѣлую верхушку гроба, которая сіяла на солнцѣ и медленно раскачивалась изъ стороны въ сторону, какъ бы посылая прощальныя поклоны избамъ и зеленѣющимъ нивамъ. Погребальное шествіе, сопровождаемое толпою и подводами, скрипъ которыхъ

заглушался рыданиями сплывшихъ въ нихъ бабъ, стало опускаться къ лугу. На немъ изгибалась дорога, которая вела къ приходу.

Достигнувъ точки, гдѣ начинался скатъ къ лугу, я встрѣтился съ однимъ изъ самыхъ древнихъ стариковъ деревни. У него, какъ видно, не достало силъ идти дальше за гробомъ; онъ провожалъ его глазами и крестился.

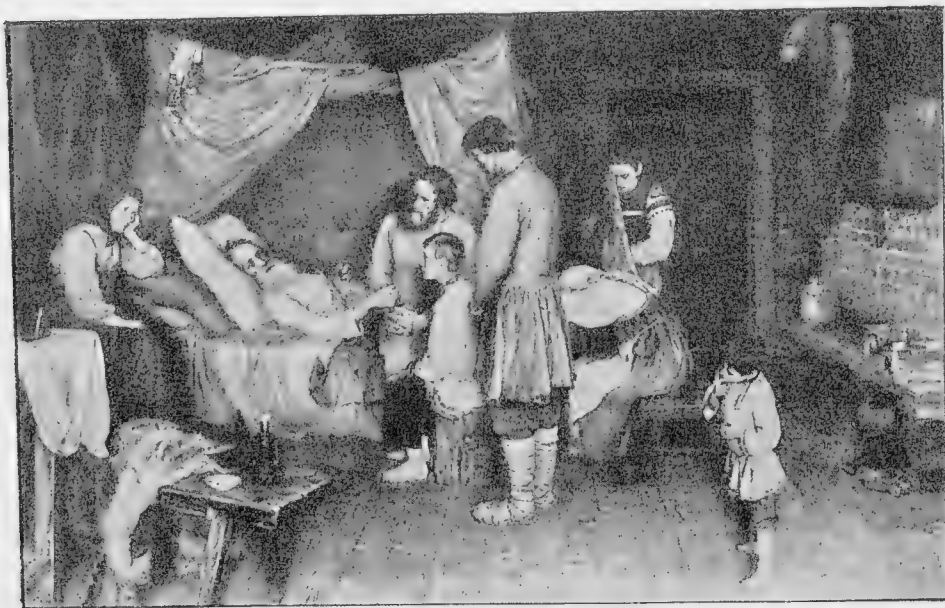
— Прощай, Анишмычъ! Прощай... Скоро всё тамъ будемъ! — сказалъ онъ, махнулъ рукою и медленно побрелъ къ избамъ.

Прежде чѣмъ подняться въ гору, скрывавшую приходское село, погребальное шествіе остановилось. На этомъ мѣстѣ, по обѣимъ сторонамъ дороги, кругомъ покрытой мелкимъ кустарникомъ, возвышаются два столѣтніе тополя: они обозначаютъ наши границы съ сосѣдскими землями. Здѣсь обыкновенно въ послѣдній разъ прощаются съ покойниками. Вопль и голошеніе, заглушаемые говоромъ, раздались сильнѣе. Народъ тѣсно жался вокругъ гроба, опущеннаго на землю. Каждый хотѣлъ проститься съ пахаремъ.

И подошелъ ближе. Но мнѣ не удалось уже видѣть почтенное лицо старца: оно было закрыто; наружу выставлялись однѣ смуглыя, загорѣвшія руки его. Каждый изъ присутствовавшихъ подходилъ къ гробу, кланялся въ землю и цѣловалъ эти смуглыя честныя пальцы, которые въ продолженіе семидесяти лѣтъ складывались только для труда и для крестнаго знаменія. Наконецъ обрядъ прощанья кончился. Гробъ, приподнятый на плечи носильщиковъ, снова озарился солнцемъ. Родственники, истомленные продолжительными слезами и скорбію, усажены были на подводы.

Мы стали подыматься въ гору, постепенно удаляясь отъ толпы, которая стояла у тополей и провожала насъ глазами до тѣхъ поръ, пока гробъ совершенно не скрылся изъ виду.

Григоровичъ.



Послѣдняя воля. Съ карт. *Богданова-Вильскаго.*

Юродивый Гриша.

Въ комнату вошелъ человекъ лѣтъ пятидесяти, съ блѣднымъ, изрытымъ оспою, продолговатымъ лицомъ, длинными сѣдыми волосами и рѣдкою рыжеватою бородкой. Онъ былъ такого большого роста, что для того, чтобы пройти въ дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всѣмъ тѣломъ. На немъ было надѣто что-то изорванное, похожее на кафтанъ и на подрясникъ; въ рукѣ онъ держалъ огромный посохъ. Войдя въ комнату, онъ изъ всѣхъ силъ стукнулъ имъ по полу и, скрививъ брови и чрезмѣрно раскрывъ ротъ, захохоталъ самымъ страшнымъ и неестественнымъ образомъ. Онъ былъ кривъ на одинъ глазъ, и бѣлый зрачокъ этого глаза прыгалъ безпрестанно и придавалъ его и безъ того некрасивому лицу еще болѣе отвратительное выраженіе.

— Ага! попались!—закричалъ онъ, маленькими шажками подбѣгая къ Володѣ, схватилъ его за голову и началъ тщательно разсматривать его макушку, потомъ съ совершенно серьезнымъ выраженіемъ отошелъ отъ него, подошелъ къ столу и началъ дуть подъ клеенку и крестить ее.—О-охъ жалко! О-охъ больно!.. сердечные... улетать,—заговорилъ онъ потомъ дрожащимъ отъ слезъ голосомъ, съ чувствомъ всматриваясь въ Володю, и сталъ утирать рукавомъ дѣйствительно падавшія слезы.

Голосъ его былъ грубъ и хриплъ, движенія торопливы и неровны; рѣчь бессмысленна и несвязна (онъ никогда не употреблялъ мѣстоименій), но ударенія такъ трогательны, и желтое, уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно-печальное выраженіе, что, слушая его, нельзя было удержаться отъ какого-то смѣшаннаго чувства сожалѣнія, страха и грусти.

Это былъ юродивый и странникъ Гриша.

Откуда былъ онъ, кто были его родители, что побудило его избрать странническую жизнь, какую онъ велъ, никто не зналъ этого. Знаю только то, что онъ съ пятнадцатаго года сталъ извѣстенъ какъ юродивый, который зиму и лѣто ходитъ босикомъ, посѣщаетъ монастыри, даритъ образочки тѣмъ, кого полюбитъ, и говоритъ загадочныя слова, которыя нѣкоторыми принимаются за предсказанія, что никто никогда не зналъ его въ другомъ видѣ, что онъ изрѣдка хаживалъ къ бабушкѣ, и что одни говорили, будто онъ несчастный сынъ богатыхъ родителей и чистая душа, а другіе, что онъ просто мужикъ и лѣнтяй.

Мы пошли внизъ обѣдать. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелѣпицу, шелъ за нами и стучалъ костылемъ по ступенькамъ лѣстницы.

Гриша обѣдалъ въ столовой, но за особеннымъ столикомъ; онъ не поднималъ глазъ съ своей тарелки, изрѣдка вздыхалъ, дѣлалъ страшныя гримасы и говорилъ, какъ будто самъ съ собою: «Жалко!.. улетѣла... улетитъ голубъ въ небо... Охъ, на могилѣ камень!..» и т. п.

Мама съ утра была разстроена; присутствіе, слова и поступки Гриши замѣтно усиливали въ ней это расположеніе.

— Ахъ, да! я было и забыла попросить тебя объ одной вещи,—сказала она, подавая отцу тарелку съ супомъ.

— Что такое?

— Вели, пожалуйста, запереть своихъ страшныхъ собакъ; а то онѣ чутъ не закусали бѣднаго Гришу, когда онъ проходилъ по двору. Онѣ этакъ и на дѣтей могутъ броситься.

Услыхавъ, что рѣчь идетъ о немъ, Гриша повернулся къ столу, сталъ показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

— Хотѣлъ, чтобы загрызли... Богъ не пустилъ. Грѣхъ собаками травить! большой грѣхъ! Не бей *большакъ* ¹⁾... что бить? Богъ простить... дни не такіе.

— Что это онъ говоритъ?—спросилъ папа, пристально и строго разсматривая его.—Я ничего не понимаю.

— А я понимаю,—отвѣчала тата. —Онъ мнѣ рассказывалъ, что какой-то охотникъ нарочно на него пускалъ собакъ, такъ онъ и говоритъ: «хотѣлъ, чтобы загрызли, но Богъ не пустилъ», и проситъ тебя, чтобы ты за это не наказывалъ его.

— А! вотъ что!—сказалъ папа.—Почемъ же онъ знаетъ, что я хочу наказывать этого охотника?—Ты знаешь, я вообще небольшой охотникъ до этихъ господъ,—продолжалъ онъ по-французски,—но этотъ особенно мнѣ не нравится и долженъ быть...

— Ахъ, не говори этого, мой другъ,—прервала его тата, какъ будто испугавшись чего-нибудь.—Почемъ ты знаешь?

— Кажется, я имѣлъ случай изучить эту породу людей—ихъ столько къ тебѣ ходятъ—все на одинъ покрой. Вѣчно одна и та же исторія.

— Я на это тебѣ только одно скажу: трудно повѣрить, чтобы человѣкъ, который, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, зиму и лѣто ходитъ босой и не снимая носить подъ платьемъ вериги въ два пуда вѣсомъ, и который не разъ отказывался отъ предложеній жить спокойно и на всемъ готовомъ,—трудно повѣрить, чтобы такой человѣкъ все это дѣлалъ только изъ лѣни.

Обѣдъ кончился; большіе пошли въ кабинетъ пить кофе, а мы побѣжали въ садъ шаркать ногами по дорожкамъ, покрытымъ упавшими желтыми листьями, и разговаривать.

Незадолго передъ ужиномъ въ комнату вошелъ Гриша. Онъ, съ самаго того времени, какъ вошелъ въ нашъ домъ, не переставалъ вздыхать и плакать, что, по мнѣнію тѣхъ, которые вѣрили въ его способность предсказывать, предвѣщало какую-нибудь бѣду нашему дому. Онъ сталъ прощаться и сказалъ, что завтра утромъ пойдетъ дальше. Я подмигнулъ Володѣ и вышелъ въ дверь.

— Что?

— Если хотите посмотрѣть Гришины вериги, то пойдемте сейчасъ на мужской верхъ. Гриша спитъ во второй комнатѣ, въ чуланѣ прекрасно можно сидѣть, и мы все увидимъ.

— Отлично! Подожди здѣсь: я позову дѣвочекъ.

Дѣвочки выбѣжали, и мы отправились наверхъ. Не безъ спора рѣшивъ, кому первому войти въ темный чуланъ, мы успѣли и стали ждать.

Намъ всѣмъ было жутко въ темнотѣ; мы жалсъ одинъ къ другому и ничего не говорили. Почти вслѣдъ за нами тихими шагами вошелъ Гриша. Въ одной рукѣ онъ держалъ свой посохъ, въ другой—сальную свѣчу въ мѣдномъ подсвѣчникѣ. Мы не переводили дыханія.

— Господи Іисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому Духу...—вдыхая въ себя воздухъ, твердилъ онъ, съ различными инто-

¹⁾ Такъ онъ безразлично называлъ всѣхъ мужчинъ.

націями и сокращеніями, свойственными только тѣмъ, которые часто повторяютъ эти слова.

Съ молитвой поставивъ свой посохъ въ уголъ и осмотрѣвъ постель, онъ сталъ раздѣваться. Распоясавъ свой старенькій черный кушакъ, онъ медленно снялъ изорванный нанковый zipунъ, тщательно сложилъ его и повѣсилъ на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, какъ обыкновенно, торопливости и тупоумія; напротивъ, онъ былъ спокоенъ, задумчивъ и даже величавъ. Движенія его были медленны и обдуманны.

Оставшись въ одномъ бѣлѣ, онъ тихо опустился на кровать, окрестилъ ее со всѣхъ сторонъ и, какъ видно было, съ усиленіемъ (потому что онъ поморщился) поправилъ подъ рубашкой вериги. Посидѣвъ немного и заботливо осмотрѣвъ прорванное въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бѣлье, онъ всталъ, съ молитвой поднялъ свѣчу въ уровень съ кивотомъ, въ которомъ стояло нѣсколько образовъ, перекрестился на нихъ и перевернулъ свѣчу огнемъ внизъ. Она съ трескомъ потухла.

Въ окна, обращенныя на лѣсъ, ударяла почти полная луна. Длинная бѣлая фигура юрочиваго съ одной стороны была освѣщена блѣдными, серебристыми лучами мѣсяца, съ другой—черною тѣнью; вмѣстѣ съ тѣнями отъ рамъ падала на полъ и стѣны и доставала до потолка. На дворѣ караульщикъ стучалъ въ мѣдную доску.

Сложивъ свои огромныя руки на груди, опустивъ голову и безпрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоялъ предъ иконами, потомъ съ трудомъ опустился на колѣни и сталъ молиться.

Сначала онъ тихо говорилъ извѣстныя молитвы, ударяя только на нѣкоторые слова, потомъ повторялъ ихъ, но громче и съ большимъ одушевленіемъ. Онъ началъ говорить свои слова, съ замѣтнымъ усиленіемъ стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Онъ молился о всѣхъ благодѣтеляхъ своихъ (такъ онъ называлъ тѣхъ, которые принимали его), въ томъ числѣ о матушкѣ, о насъ; молился о себѣ, просилъ, чтобы Богъ простилъ ему его тяжкіе грѣхи и твердилъ: «Боже, прости врагамъ моимъ!» Кряхти поднимался и, повторяя еще и еще тѣ же слова, припадалъ къ землѣ и опять поднимался, несмотря на тяжесть веригъ, которыя издавали сухой, рѣзкій звукъ, ударяясь о землю.

Володя уцѣпнулъ меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потеръ только рукой то мѣсто и продолжалъ, съ чувствомъ дѣтскаго удивленія, жалости и благоговѣнія, слѣдить за всѣми движеніями и словами Гриши.

Вмѣсто веселья и смѣха, на которые я рассчитывалъ, входи въ чуланъ, я чувствовалъ дрожь и замираніе сердца.

Долго еще находился Гриша въ этомъ положеніи религіознаго восторга и импровизировалъ молитвы. То твердилъ онъ нѣсколько разъ сряду: *Господи, помилуй*, но каждый разъ съ новою силой и выраженіемъ; то говорилъ онъ: *прости мя, Господи, научи мя, что творить... научи мя, что творити, Господи!* съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ожидалъ сейчасъ же отвѣта на свои слова; то слышны были одни жалобныя рыданія... Онъ приподнялся на колѣни, сложилъ руки на груди и замолкъ.

Я потихоньку высунулъ голову изъ двери и не переводилъ дыханія. Гриша не шевелился; изъ груди его вырывались тяжелые вздохи; въ мутномъ зрачкѣ его кривого глаза, освѣщеннаго луною, остановилась слеза.

— Да будетъ воля Твоя!—вскричалъ онъ вдругъ съ неподражаемымъ выраженіемъ, упалъ лбомъ на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, много воспоминаній о быломъ потеряли для меня значеніе и стали смутными мечтами, даже и странникъ Гриша давно окончилъ свое послѣднее странствованіе; но впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на меня, и чувство, которое возбудилъ, никогда не умрутъ въ моей памяти.

О, великій христіанинъ Гриша! Твоя вѣра была такъ сильна, что ты чувствовалъ близость Бога, твоя любовь такъ велика, что слова сами собою лились изъ устъ твоихъ,—ты ихъ не повѣрялъ разсудкомъ... И какую высокую хвалу ты принесъ Его величію, когда, не находя словъ, въ слезахъ повалился на землю!..

Л. Толстой.

Платонъ Каратаевъ.

Послѣ казни Пьера¹⁾ отдѣлили отъ другихъ подсудимыхъ и оставили одного въ небольшой, разоренной и загаженной церкви. Передъ вечеромъ караульный унтеръ-офицеръ съ двумя солдатами вошелъ въ церковь и объявилъ Пьеру, что онъ прощенъ и поступаетъ теперь въ бараки военноплѣннымъ. Не понимая того, что ему говорили, Пьеръ всталъ и пошелъ съ солдатами. Его привели къ построеннымъ вверху поля изъ обгорѣлыхъ досокъ, бревенъ и тесу балаганамъ и ввели въ одинъ изъ нихъ. Въ темнотѣ человѣкъ двадцать различныхъ людей окружили Пьера. Пьеръ смотрѣлъ на нихъ, не понимая, кто такіе эти люди, зачѣмъ они, и чего хотятъ отъ него. Онъ слышалъ слова, которыя ему говорили, но не дѣлалъ изъ нихъ никакого вывода и приложенія: не понималъ ихъ значенія. Онъ самъ отвѣчалъ на то, что у него спрашивали, но не соображалъ того, кто слушаетъ его, и какъ поймутъ его отвѣтъ. Онъ смотрѣлъ на лица и фигуры, и всѣ они казались ему одинаково бессмысленны. Съ той минуты, какъ Пьеръ увидалъ это страшное убійство, совершенное людьми, не хотѣвшими этого дѣлать, въ душѣ его какъ будто вдругъ выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живымъ, и все завалилось въ кучу бессмысленнаго сора. Въ немъ, хотя онъ и не отдавалъ себѣ отчета, уничтожилась вѣра и въ благоустройство міра, и въ человѣческую, и въ свою душу, и въ Бога. Это состояніе было испытываемо Пьеромъ прежде, но никогда съ такою силой, какъ теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнѣнія, сомнѣнія эти имѣли источникомъ собственную вину. И въ самой глубинѣ души Пьеръ тогда чувствовалъ, что отъ того отчаянія и тѣхъ сомнѣній было спасеніе въ самомъ себѣ. Но теперь онъ чувствовалъ, что не его вина была причиной того, что міръ завалился въ его глазахъ, и остались однѣ бессмысленныя развалины. Онъ чувствовалъ, что возвратиться къ вѣрѣ въ жизнь—не въ его власти.

Вокругъ него въ темнотѣ стояли люди: вѣрно, что-то ихъ очень занимало въ немъ. Ему рассказывали что-то, спрашивали о чемъ-то, потомъ повели

¹⁾ См. стр. 233.

куда-то, и онъ, наконецъ, очутился въ углу балагана рядомъ съ какими-то людьми, переговаривавшимися съ разныхъ сторонъ, смѣявшимися.

— И вотъ, братцы мои... тотъ самый принцъ, *который* (съ особеннымъ удареніемъ на словѣ который)...—говорилъ чей-то голосъ въ противоположномъ углу балагана.

Молча и неподвижно сѣдя у стѣны на соломѣ, Пьеръ то открывалъ, то закрывалъ глаза.

Рядомъ съ нимъ сидѣлъ согнувшись какой-то маленькій человѣкъ, присутствіе котораго Пьеръ замѣтилъ сначала по крѣпкому запаху пота, который отдѣлялся отъ него при всякомъ его движеніи. Человѣкъ этотъ что-то дѣлалъ въ темнотѣ съ своими ногами, и, несмотря на то, что Пьеръ не видалъ его лица, онъ чувствовалъ, что человѣкъ этотъ безпрестанно взглядывалъ на него. Присмотрѣвшись въ темнотѣ, Пьеръ понялъ, что человѣкъ этотъ разувался. И то, какимъ образомъ онъ это дѣлалъ, заинтересовало Пьера.

Размотавъ бечевки, которыми была завязана одна нога, онъ аккуратно свернулъ бечевки и тотчасъ принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вѣшала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Такимъ образомъ аккуратно, круглыми, спорыми, безъ замедленія слѣдовавшими одно за другимъ движеніями, разувшись, человѣкъ развѣсилъ свою обувь на колышки, вбитые у него надъ головой, досталъ ножикъ, обрѣзалъ что-то, сложилъ ножикъ, положилъ подъ изголовье и, получше усьвшись, обнялъ свои поднятыя колѣни обѣими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что-то пріятное, успокоительное и круглое въ этихъ спорыхъ движеніяхъ, въ этомъ благоустроенномъ въ углу его хозяйствѣ, въ запахѣ даже этого человѣка, и онъ, не спуская глазъ, смотрѣлъ на него.

— А много вы нужды увидали, баринъ? А?—сказалъ вдругъ маленький человѣкъ. И такое выраженіе ласки и простоты было въ пѣвучемъ голосѣ человѣка, что Пьеръ хотѣлъ отвѣчать, но у него задрожала челюсть, и онъ почувствовалъ слезы. Маленькій человѣкъ въ ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущеніе, заговорилъ тѣмъ же пріятнымъ голосомъ...

— Э, соколикъ, не тужи!—сказалъ онъ съ тою нѣжно-пѣвучею лаской, съ которою говорятъ старыя русскія бабы.—Не тужи, дружокъ: часъ терпѣть, а вѣкъ жить! Вотъ такъ-то, милый мой. А живемъ тутъ, слава Богу, обиды нѣтъ. Тоже люди, и худые, и добрые есть,—сказалъ онъ и, еще говоря, глубокимъ движеніемъ перегнулся на колѣни, всталъ и, прокашляваясь, пошелъ куда-то.

— Ишь шельма, пришла!—услыхалъ Пьеръ въ концѣ балагана тотъ же ласковый голосъ.—Пришла, шельма, помнить! Ну-ну, буде.—И солдатъ, оттапкая отъ себя собачонку, прыгавшую къ нему, вернулся къ своему мѣсту и сѣлъ. Въ рукахъ у него было что-то завернуто въ тряпкѣ.

— Вотъ, покушайте, баринъ,—сказалъ онъ, опять возвращаясь къ прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру нѣсколько печеныхъ картошекъ.—Въ обѣдъ похлебка была. А картошки важнѣющія!

Пьеръ не ѣлъ цѣлый день, и запахъ картофеля показался ему необыкновенно пріятнымъ. Онъ поблагодарилъ солдата и сталъ ѣсть.

— Что жъ такъ-то?—улыбаясь сказалъ солдатъ и взялъ одну изъ картошекъ.—А ты вотъ какъ.—Онъ досталъ опять складной ножикъ, разрѣзалъ на

своей ладони картошку на равныя двѣ половинны, посыпалъ соли изъ тряпки и поднесъ Пьеру.

— Картошки важнѣющія, — повторилъ онъ. — Ты покушай вотъ такъ-то.

Пьеру казалось, что онъ никогда не ѣлъ кушанья вкуснѣе этого.

— Иѣтъ, мнѣ все ничего, — сказалъ Пьеръ, — но за что они разстрѣляли этихъ несчастныхъ?.. Последній лѣтъ двадцати.

— Тс... тс... — сказалъ маленькій человѣкъ. — Грѣха-то, грѣха-то... — быстро прибавилъ онъ, и, какъ будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали изъ него, онъ продолжалъ: — Что жъ это, баринъ, вы такъ въ Москвѣ-то остались?

— Я не думалъ, что они такъ скоро придутъ. Я нечаянно остался, — сказалъ Пьеръ.

— Да какъ же они взяли тебя, соколикъ, изъ дома твоего?

— Иѣтъ, я пошелъ на пожаръ, а тутъ они схватили меня, судили за поджигателя.

— Гдѣ судъ, тамъ и неправда, — вставилъ маленький человѣкъ.

— А ты давно здѣсь? — спросилъ Пьеръ, дожевывая послѣднюю картошку.

— Я-то? — въ то воскресенье меня взяли изъ госпиталя въ Москвѣ.

— Ты кто же, солдатъ?

— Солдаты Аншеронскаго полка. Отъ лихорадки умиралъ. Намъ и не сказали ничего. Нашихъ человѣкъ двадцать лежало. И не думали, не гадали.

— Что жъ, тебѣ скучно здѣсь? — спросилъ Пьеръ.

— Какъ не скучно, соколикъ. Меня Платономъ звать, Каратаевы прозвище, — прибавилъ онъ, видимо, съ тѣмъ, чтобъ облегчить Пьеру обращеніе къ нему. — «Соколикомъ» на службѣ прозвали. Какъ не скучать, соколикъ! Москва — она городамъ мать. Какъ не скучать на это смотрѣть. Да червь капусту гложе, а самъ прежде того пропадаетъ: такъ-то старички говаривали, — прибавилъ онъ быстро.

— Какъ, какъ это ты сказалъ? — спросилъ Пьеръ.

— Я-то? — спросилъ Каратаевъ. — Я говорю не нашимъ умомъ, а Божиимъ судомъ, — сказалъ онъ, думая, что повторяетъ сказанное. И тотчасъ же продолжалъ: — Какъ же у васъ, баринъ, и вотчина есть? И домъ есть? Стало-быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики-родители живы? — спрашивалъ онъ, и хотя Пьеръ не видѣлъ въ темнотѣ, но чувствовалъ, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки въ то время, какъ онъ спрашивалъ это. Онъ, видимо, былъ огорченъ тѣмъ, что у Пьера не было родителей, въ особенности матери.

— Жена для совѣта, теща для привѣта, а нѣтъ милѣй родной матушки! — сказалъ онъ. — Ну, а дѣтки есть? — продолжалъ онъ спрашивать. Отрицательный отвѣтъ Пьера опять, видимо, огорчилъ его, и онъ поспѣшилъ прибавить: — Что жъ, люди молодые, еще дастъ Богъ будутъ. Только бы въ совѣтъ жить...

— Да теперь все равно, — невольно сказалъ Пьеръ.

— Эхъ, милый человѣкъ ты, — возразилъ Платонъ. — Отъ сумы да отъ тюрьмы никогда не отказывайся. — Онъ усѣлся получше, прокашлялся, видимо, приготовляясь къ длинному разсказу. — Такъ-то, другъ мой любезный, жилъ я еще дома, — началъ онъ. — Вотчина у насъ богатая, земли много, хорошо живутъ мужики, и нашъ домъ — слава тебѣ Богу. Самъ-сѣмъ, батюшка косить выходилъ.

Жили хорошо. Христьяне настоящіе были. Случись...—и Платонъ Каратаевъ разсказалъ длинную исторію о томъ, какъ онъ поѣхалъ въ чужую рошу за лѣсомъ и попался сторожу, какъ его сѣкли, судили и отдали въ солдаты.— Что жъ, соколикъ,—говорилъ онъ измѣняющимся отъ улыбки голосомъ,—думали горе, а нѣ радость. Брату бы итти, кабы не мой грѣхъ. А у брата меньшого самъ-пять ребятъ, а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была дѣвочка, да еще до солдатства Богъ прибралъ. Пришелъ я на побывку, скажу я тебѣ. Гляжу—лучше прежняго живутъ. Животовъ полонъ дворъ, бабы дома, два брата на заработкахъ. Одинъ Михайло, меньшей, дома. Батюшка и говоритъ: «Миѣ, говоритъ, всѣ дѣтки равны: какой палецъ ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайлѣ бы итти». Позвалъ насъ всѣхъ, вѣришь?—поставилъ передъ образа. «Михайло, говоритъ, поди сюда, кланяйся ему въ ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли?» говоритъ.—Такъ-то, другъ мой любезный. Рогъ головы ищеть. А мы все судимъ: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ: тинешь—падулась, а вытацишь—ничего нѣту. Такъ-то.—И Платонъ пересѣлъ на своей соломѣ.

Помолчавъ нѣсколько времени, Платонъ всталъ.

— Что жъ, я чай, спать хочешь?—сказалъ онъ и быстро началъ креститься, приговаривая:

— Господи Іисусъ Христосъ, Никола угодникъ, Фрола и Лавра... Господи Іисусъ Христосъ, Никола угодникъ! Фрола и Лавра, Господи Іисусъ Христосъ—помилуй и спаси насъ!—заклучилъ онъ, поклонился въ землю, всталъ, вздохнулъ и сѣлъ на свою солому.—Вотъ-такъ-то. Положи, Боже, камушкомъ, подними колачиномъ,—проговорилъ онъ и легъ, натягивая на себя шинель.

— Какую это ты молитву читалъ?—спросилъ Пьеръ.

— Ась!—проговорилъ Платонъ (онъ было уже заснулъ).—Читалъ что? Богу молился. А ты развѣ не молишься?

— Нѣтъ, и я молюсь,—сказалъ Пьеръ.—Но что ты говорилъ: Фрола и Лавра?

— А какъ же,—быстро отвѣчалъ Платонъ,—лошадинный праздникъ. И скота жалѣтъ надо,—сказалъ Каратаевъ.—Вишь, шельма, свернулась. Угрѣлась, сукина дочь,—сказалъ онъ, ощутивъ собаку у своихъ ногъ, и, повернувшись опять, готчасъ же заснулъ.

Снаружи слышались гдѣ-то вдалекѣ плачъ и крики, и сквозь щели балагана видѣлся огонь; но въ балаганѣ было тихо и темно. Пьеръ долго не спалъ и съ открытыми глазами лежалъ въ темнотѣ на своемъ мѣстѣ, прислушиваясь къ мѣрному храпѣнью Платона, лежавшаго подлѣ него, и чувствовалъ, что прежде разрушенный міръ теперь съ новою красотой, на какихъ-то новыхъ и незбылемыхъ основахъ, двигался въ его душѣ.

Въ балаганѣ, въ который поступилъ Пьеръ, и въ которомъ онъ пробылъ четыре недѣли, было 23 человѣка плѣнныхъ солдатъ, три офицера и два чиповника.

Всѣ они потомъ какъ въ туманѣ представлялись Пьеру, но Платонъ Каратаевъ остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго добраго и круглаго. Когда на дру-

гой день, на разсвѣтѣ, Пьеръ увидалъ своего сосѣда, первое впечатлѣніе чего-то круглаго подтвердилось вполне: вся фигура Платона въ его подпоясанной веревкою французской шинели, въ фуражкѣ и лантяхъ, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которыя онъ носилъ, какъ бы всегда собираясь обнять что-то, были круглы; пріятная улыбка и большіе каріе, нѣжные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за 50 лѣтъ, судя по его рассказамъ о походахъ, въ которыхъ онъ участвовалъ давнишнимъ солдатомъ. Онъ самъ не зналъ и никакъ не могъ опредѣлить, сколько ему было лѣтъ; но зубы его, ярко-бѣлые и крѣпкіе, которые всѣ выказывались своими двумя полукругами, когда онъ смѣялся (что онъ часто дѣлалъ), были всѣ хороши и цѣлы; ни одного сѣдого волоса не было въ его бородѣ и волосахъ, и все тѣло его имѣло видъ гибкости и въ особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкія круглыя морщинки, имѣло выраженіе невинности и юности; голосъ у него былъ пріятный и пѣвучій. Но главная особенность его рѣчи состояла въ непосредственности и спорости. Онъ, видимо, никогда не думалъ о томъ, что онъ сказалъ, и что скажетъ, и отъ этого въ быстротѣ и вѣрности его интонацій была особенная, неотразимая убѣдительность.

Физическія силы его и поворотливость были таковы первое время плѣна, что казалось, что онъ не понималъ, что такое усталость и болѣзнь. Каждый день утромъ и вечеромъ онъ, ложась, говорилъ: «положи, Господи, камушкомъ, подними колачикомъ»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорилъ: «легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся». И дѣйствительно, стоило ему лечь, чтобы тотчасъ же заснуть камнемъ, и стоило встряхнуться, чтобы тотчасъ же, безъ секунды промедленія, взяться за какое-нибудь дѣло, какъ дѣти вставши берутся за игрушки. Онъ все умѣлъ дѣлать не очень хорошо, но и не дурно. Онъ пекъ, варилъ, шилъ, строгалъ, точалъ сапоги. Онъ всегда былъ занятъ и только по ночамъ позволялъ себѣ разговоры, которые онъ любилъ, и пѣсни. Онъ пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсельники, знающіе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ, какъ поютъ птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было такъ же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расхотиться; и звуки эти всегда бывали тонкіе, нѣжные, почти женскіе, заунывные, и лицо его при этомъ было очень серьезное.

Попавъ въ плѣнъ и обросши бородой, онъ, видимо, отбросилъ отъ себя все напущенное на него, чуждое, солдатское, и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому, народному складу.

— Солдатъ въ отпуску—рубаха изъ портокъ,—говаривалъ онъ. Онъ неохотно говорилъ про свое солдатское время, хотя не жаловался и часто повторялъ, что онъ всю службу ни разу бить не былъ. Когда онъ рассказывалъ, то преимущественно рассказывалъ изъ своихъ старыхъ и, видимо, дорогихъ ему воспоминаній «христьянскаго», какъ онъ выговаривалъ крестьянскаго, быта. Поговорки, которыя наполняли его рѣчь, не были тѣ, большею частью, неприличные и бойкія поговорки, которыя говорятъ солдаты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначительными взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстати. Часто онъ говорилъ совершенно противоположное тому, что онъ говорилъ прежде, но и то, и другое было справедливо. Онъ любилъ говорить и говорилъ

хорошо, украшая свою рѣчь ласкательными словами и пословицами, которыя, Пьеру казалось, онъ самъ выдумывалъ; но главная прелесть его разсказовъ состояла въ томъ, что въ его рѣчи событія самыя простыя, иногда тѣ самыя, которыя, не замѣчая ихъ, видѣлъ Пьеръ, получали характеръ торжественнаго благообразія. Онъ любилъ слушать сказки, которыя разсказывалъ по вечерамъ (все одинъ и тѣ же) одинъ солдатъ, но больше всего онъ любилъ слушать разсказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, слушая такіе разсказы, вставляя слова и дѣлая вопросы, клонившіеся къ тому, чтобъ уяснить себѣ благообразіе того, что ему разсказывали. Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ; но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую иѣжность къ нему (которою онъ невольно отдавалъ должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ. И Пьеръ то же чувство начиналъ испытывать къ Каратаеву.

Платонъ Каратаевъ былъ для всѣхъ остальныхъ плѣнныхъ самымъ обыкновеннымъ солдатомъ; его звали «Соколикъ» или Платоша, добродушно трунили надъ нимъ, посылали его за посылками. Но для Пьера, какимъ онъ представился въ первую ночь, непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды, такимъ онъ и остался навсегда.

Платонъ Каратаевъ ничего не зналъ наизусть, кромѣ своей молитвы. Когда онъ говорилъ свои рѣчи, онъ, начиная ихъ, казалось, не зналъ, чѣмъ онъ ихъ кончить.

Когда Пьеръ, иногда пораженный смысломъ его рѣчи, просилъ повторить сказанное, Платонъ не могъ вспомнить того, что онъ сказалъ минуту тому назадъ, такъ же, какъ онъ никакъ не могъ словами сказать Пьеру свою любимую пѣсню. Тамъ было: «Родимая, березанька и тошненько мнѣ», но на словахъ не выходило никакого смысла. Онъ не понималъ и не могъ понять значенія словъ, отдѣльно взятыхъ изъ рѣчи. Каждое слово его и каждое дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ. Его слова и дѣйствія выливались изъ него такъ же равномерно, необходимо и непосредственно, какъ запахъ отдѣляется отъ цвѣтка. Онъ не могъ понять ни цѣны ни значенія отдѣльно-взятаго дѣйствія или слова.

Л. Толстой.

Наталья Саввишна.

Мама уже не было, а жизнь наша шла все тѣмъ же чередомъ: мы ложились и вставали въ тѣ же часы и въ тѣхъ же комнатахъ; утренній, вечерній чай, обѣдъ, ужинъ, — все было въ обыкновенное время; столы, стулья стояли на тѣхъ же мѣстахъ; ничего въ домѣ и въ нашемъ образѣ жизни не перемѣнилось; только ея не было...

Мнѣ казалось, что послѣ такого несчастія все должно бы было измѣниться; нашъ обыкновенный образъ жизни казался мнѣ оскорбленіемъ ея памяти и слишкомъ живо напоминалъ ея отсутствіе.

Наканунѣ погребенія, послѣ обѣда, мнѣ захотѣлось спать, и я пошелъ въ комнату Натальи Саввишны, рассчитывая помѣститься на ея постели, на мягкомъ пуховикѣ, подъ теплымъ стеганымъ одѣяломъ. Когда я вошелъ, Наталья Саввишна лежала на своей постели и, должно-быть, спала; услыхавъ шумъ моихъ шаговъ, она приподнялась, откинула шерстяной платокъ, которымъ отъ мухъ была покрыта ея голова и, поправляя чепецъ, усѣлась на край кровати.

Такъ какъ еще прежде случалось, что послѣ обѣда я приходилъ спать въ ея комнату, она догадалась, зачѣмъ я пришелъ, и сказала мнѣ, приподнимаясь съ постели:

— Что? вѣрно, отдохнуть пришли, мой голубчикъ? Ложитесь.

— Что вы, Наталья Саввишна?—сказалъ я, удерживая ее за руку.—Я совѣмъ не за этимъ... я такъ пришелъ... да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.

— Нѣтъ, батюшка, я ужъ выспалась, — сказала она мнѣ (я зналъ, что она не спала трое сутокъ).—Да и не до сна теперь,—прибавила она съ глубокимъ вздохомъ.

Мнѣ хотѣлось поговорить съ Натальей Саввишной о нашемъ несчастіи; я зналъ ея искренность и любовь, и потому поплакать съ нею было бы для меня отрадой.

— Наталья Саввишна, — сказалъ я, помолчавъ немного и усаживаясь на постель: — ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрѣла на меня съ недоумѣніемъ и любопытствомъ, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нея это.

— Кто могъ ожидать этого? — повторилъ я.

— Ахъ, мой батюшка, — сказала она, кинувъ на меня взглядъ самаго нѣжнаго состраданія: — не то, чтобъ ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну, ужъ мнѣ, старухѣ, давно бы пора сложить старыя кости на покой; а то вотъ до чего довелось дожить: стараго барина—вашего дѣдушку, вѣчная память, князя Николая Михайловича, двухъ братьевъ, сестру Аннушку, всѣхъ схоронила и всѣ моложе меня были, мой батюшка, а вотъ теперь, видно, за грѣхи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля! Онъ затѣмъ и взялъ ее, что она достойна была, а Ему добрыхъ и тамъ нужно.

Эта простая мысль отраднo поразила меня, и я ближе придвинулся къ Натальѣ Саввишнѣ. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; влажные глаза ея выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надѣялась, что Богъ не надолго разлучилъ ее съ тою, на которой столько лѣтъ была сосредоточена вся сила ея любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала, и она меня Нашей называла. Бывало, прибѣжить ко мнѣ, обхватить ручонками и начнетъ цѣловать и приговаривать:

«— Нашникъ мой, красавчикъ мой, индюшечка ты моя!

«А я, бывало, пошучу—говорю:

«— Неправда, матушка, вы меня не любите; вотъ дай только вырастете большія, выйдете замужъ и Нашу свою забудете. Она, бывало, задумывается. Нѣтъ, говорить, я лучше замужъ не пойду, если нельзя Нашу съ собой взять;

я Нашу никогда не покину. А вотъ покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу маменьку вамъ забывать нельзя; это не человѣкъ былъ, а ангелъ небесный. Когда ея душа будетъ въ царствіи небесномъ, она и тамъ будетъ васъ любить, тамъ будетъ на васъ радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Саввишна, когда будетъ въ царствіи небесномъ?—спросилъ я.—Вѣдь она, я думаю, и теперь уже тамъ.

— Нѣтъ, батюшка,—сказала Наталья Саввишна, понизивъ голосъ и усаживаясь ближе ко мнѣ на постели,—теперь ея душа здѣсь.

И она указывала вверхъ. Она говорила почти шопотомъ и съ такимъ чувствомъ и убѣжденіемъ, что я невольно поднялъ глаза кверху, смотрѣлъ на карнизы и искалъ чего-то. „Прежде чѣмъ душа праведника въ рай идетъ—она еще сорокъ мытарствъ проходить, мой батюшка, сорокъ дней и можетъ еще въ своемъ домѣ быть...“

Долго еще говорила она въ томъ же родѣ, и говорила съ такою простотою и увѣренностью, какъ будто рассказывала вещи самыя обыкновенныя, которыя сама видала, и насчетъ которыхъ никому въ голову не могло прійти ни малѣйшаго сомнѣнія. Я слушалъ ее, притаивъ дыханіе, и, хотя не понималъ хорошенько того, что она говорила, вѣрилъ ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здѣсь, смотритъ на насъ, слушаетъ, можетъ-быть, что мы говоримъ,—заключила Наталья Саввишна.

И, опустивъ голову, замолчала. Ей понадобился платокъ, чтобъ отереть падавшія слезы; она встала, взглянула мнѣ прямо въ лицо и сказала дрожащимъ отъ волненія голосомъ:

— На много ступеней подвинулъ меня этимъ къ Себѣ Господь. Что мнѣ теперь здѣсь осталось? Для кого мнѣ жить? Кого любить?

— А насъ развѣ вы не любите?—сказалъ я съ упрекомъ и едва удерживаясь отъ слезъ.

— Богу извѣстно, какъ я васъ люблю, моихъ голубчиковъ, но ужъ такъ любить, какъ я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.

Она не могла больше говорить, отвернувшись отъ меня и громко зарыдала.

Я не думалъ уже спать; мы молча сидѣли другъ противъ друга и плакали.

Въ комнату вошелъ Фока; замѣтивъ наше положеніе и, должно-быть, не желая тревожить насъ, онъ, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.

— Зачѣмъ ты, Фокаша?—спросила Наталья Саввишна, утираясь платкомъ.

— Изюму полтора, сахару четыре фунта и сарачинскаго пшена три фунта для кутыи-съ.

— Сейчасъ, сейчасъ, батюшка, — сказала Наталья Саввишна, торопливо понюхала табакъ и скорыми шажками пошла къ сундуку. Последніе слѣды печали, произведенной нашимъ разговоромъ, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.

— На что четыре фунта?—говорила она ворчливо, доставая и отвѣщая сахаръ на безменѣ.—И три съ половиною довольно будетъ.

И она сняла съ вѣсковъ нѣсколько кусочковъ.

— А это на что похоже, что вчера только восемь фунтовъ пшена отпустила, опять спрашиваютъ: ты какъ хочешь, Фока Демидычъ, а я пшена не отпущу. Этотъ Ванька радъ, что теперь суматоха въ домѣ: онъ думаетъ, авось,

не замѣтять. Нѣтъ, я потачки за барское добро не дамъ. Ну, виданное ли это дѣло — восемь фунтовъ?

— Какъ же быть-съ? Онъ говоритъ, все вышло.

— Ну, на, возьми, на! пусть возьметъ!

Меня поразили тогда этотъ переходъ отъ трогательнаго чувства, съ которымъ она со мной говорила, къ ворчливости и мелочнымъ расчетамъ. Разсуждая объ этомъ въ послѣдствіи, я понималъ, что, несмотря на то, что у нея дѣлалось въ душѣ, у нея доставало довольно присутствія духа, чтобы заниматься своимъ дѣломъ, а сила привычки тянула ее къ обыкновеннымъ занятіямъ. Горе такъ сильно подѣйствовало на нее, что она не находила нужнымъ скрывать, что можетъ заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, какъ можетъ прійти такая мысль.

Тщеславіе есть чувство самое несообразное съ истинною горестью, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувство это такъ крѣпко привито къ натурѣ человѣка, что очень рѣдко даже самое сильное горе изгоняетъ его. Тщеславіе въ горести выражается желаніемъ казаться или огорченнымъ, или несчастнымъ, или твердымъ; и эти низкія желанія, въ которыхъ мы не признаемся, по которыя почти никогда — даже въ самой сильной печали — не оставляютъ насъ, лишаютъ ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Саввишна была такъ глубоко поражена своимъ несчастіемъ, что въ душѣ ея не оставалось ни одного желанія, и она жила только по привычкѣ.

Выдавъ Фокъ требуемую провизію и напомнивъ ему о пирогѣ, который надо бы приготовить для угощенія причта, она отпустила его, взяла чулокъ и опять сѣла подлѣ меня.

Разговоръ начался про то же, и мы еще разъ поплакли и еще разъ утерли слезы.

Бесѣды съ Натальей Саввишной повторялись каждый день; ея тихія слезы и спокойныя набожныя рѣчи доставляли мнѣ отраду и облегченіе.

Но скоро насъ разлучили; черезъ три дня послѣ похоронъ мы всѣмъ домомъ пріѣхали въ Москву, и мнѣ суждено было никогда больше не видать ея.

Бабушка получила ужасную вѣсть только съ нашимъ пріѣздомъ, и горесть ея была необыкновенна. Насъ не пускали къ ней, потому что она цѣлую недѣлю была въ безпамятствѣ, доктора боялись за ея жизнь, тѣмъ болѣе, что она не только не хотѣла принимать никакого лѣкарства, но ни съ кѣмъ не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна въ комнатѣ, на своемъ креслѣ, она вдругъ начинала смѣяться, потомъ рыдать безъ слезъ, съ ней дѣлались конвульсіи, и она кричала неистовымъ голосомъ безсмысленныя или ужасныя слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее въ отчаяніе. Ей нужно было обвинить кого-нибудь въ своемъ несчастіи, и она говорила страшныя слова, грозила кому-то съ необыкновенной силой, вскакивала съ креселъ, скорыми, большими шагами ходила по комнатѣ и потомъ падала безъ чувствъ.

Одинъ разъ я вошелъ въ ея комнату; она сидѣла по обыкновенію на своемъ креслѣ и, казалось, была спокойна; но меня поразили ея взгляды. Глаза ея были очень открыты, но взоръ неопредѣленъ и тупъ: она смотрѣла прямо на меня, но, должно-быть, не видала. Губы ея начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательнымъ нѣжнымъ голосомъ: «Поди сюда, мой дружокъ,

подойди, мой ангелъ». Я думалъ, что она обращается ко мнѣ, и подошелъ ближе, но она смотрѣла не на меня. «Ахъ, коли бы ты знала, душа моя, какъ я мучилась, и какъ теперь рада, что ты пріѣхала...» Я понялъ, что она воображала видѣть маман, и остановился. «А мнѣ сказали, что тебя нѣтъ,—продолжала она, нахмурившись,—вотъ вздоръ! Развѣ ты можешь умереть прежде меня?» и она захохотала страшнымъ истерическимъ хохотомъ.

Только люди, способные сильно любить, могутъ испытывать и сильныя огорченія; но та же потребность любить служить для нихъ противодѣйствіемъ горести и исцѣляетъ ихъ. Отъ этого моральная природа человѣка еще живучѣе природы физической. Горе никогда не убиваетъ.

Черезъ недѣлю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию ея, когда она пришла въ себя, были мы, и любовь ея къ намъ увеличилась. Мы не отходили отъ ея кресла; она тихо плакала, говорила про маман и нѣжно ласкала насъ.

Въ голову никому не могло прійти, глядя на печаль бабушки, чтобъ она преувеличивала ее, и выраженія этой печали были сильны и трогательны; но не знаю, почему я больше сочувствовалъ Натальѣ Саввишнѣ, и до сихъ поръ убѣжденъ, что никто такъ искренно и чисто не любилъ и не сожалѣлъ о маман, какъ это простодушное и любящее созданье.

Послѣ нашего отъѣзда, какъ мнѣ потомъ рассказывали люди, оставшіеся въ деревнѣ, Наталья Саввишна очень скучала отъ бездѣлья. Хотя всѣ сундуки были еще на ея рукахъ, и она не переставала рыться въ нихъ, перекладывать, развѣшивать, раскладывать; но ей не доставало шуму и суетливости барскаго, обитаемаго господами, деревенскаго дома, къ которымъ она съ дѣтства привыкла! Горе, перемѣна образа жизни и отсутствіе хлопотъ скоро развили въ ней старческую болѣзнь, къ которой она имѣла склонность. Ровно черезъ годъ послѣ кончины матушки у нея открылась водяная, и она слегла въ постель.

Тяжело, я думаю, было Натальѣ Саввишнѣ жить и еще тяжелѣе умирать одной, въ большомъ пустомъ Петровскомъ домѣ, безъ родныхъ, безъ друзей. Всѣ въ домѣ любили и уважали Наталью Саввишну; но она ни съ кѣмъ не имѣла дружбы и гордилась этимъ. Она полагала, что въ ея положеніи — экономки, пользующейся довѣренностью своихъ господъ и имѣющей на рукахъ столько сундуковъ со всякимъ добромъ, дружба съ кѣмъ-нибудь непременно повела бы ее къ лицепріятію и преступной снисходительности; поэтому, или, можетъ-быть, потому что не имѣла ничего общаго съ другими слугами, она удалялась всѣхъ и говорила, что у нея въ домѣ нѣтъ ни кумовьевъ, ни сватовъ, и что за барское добро она никому потачки не дастъ.

Повѣряя Богу въ теплой молитвѣ свои чувства, она искала и находила утѣшеніе; но иногда, въ минуты слабости, которымъ мы всѣ подвержены, когда лучшее утѣшеніе для человѣка доставляютъ слезы и участіе живого существа, она клала себѣ на постель свою собачонку-моську (которая лизала ея руки, уставивъ на нее свои желтые глаза), говорила съ ней и тихо плакала, лаская ее. Когда моська начинала жалобно вѣть, она старалась успокоить ее и говорила: «полно, я и безъ тебя знаю, что скоро умру».

За мѣсяцъ до своей смерти она достала изъ своего сундука бѣлаго коленкору, бѣлой кисеи и розовыхъ лентъ; съ помощью своей дѣвушки сшила себѣ бѣлое платье, чепчикъ и до малѣйшихъ подробностей распорядилась всѣмъ,

что нужно было для ея похоронъ. Она тоже разобрала барскіе сундуки и съ величайшей отчетливостью, по описи, передала ихъ приказчицѣ: потомъ достала два шелковыхъ платья, старинную шаль, подаренныя ей когда-то бабушкой, дѣдушкинъ военный мундиръ, шитый золотомъ, то же отданный въ ея полную собственность. Благодаря ея заботливости, шитье и галуны на мундирѣ были совершенно свѣжи, и сукно не тронуто молью.

Передъ кончиной она изъявила желаніе, чтобъ одно изъ этихъ платьевъ — розовое — было отдано Володѣ на халатъ или бешметъ, другое — пюсовое въ клѣткахъ — мнѣ, для того же употребленія, а шаль — Любочкѣ. Мундиръ она завѣщала тому изъ насъ, кто прежде будетъ офицеромъ. Все остальное свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Братъ ея, еще давно отпущенный на волю, проживалъ въ какой-то дальней губерніи и велъ жизнь самую распутную: поэтому при жизни своей она не имѣла съ нимъ никакихъ сношеній.

Когда братъ Натальи Саввишны явился для полученія наслѣдства, и всего имущества покойной оказалось на двадцать пять рублей ассигнаціями, онъ не хотѣлъ вѣрить этому и говорилъ, что не можетъ быть, чтобы старуха, которая шестьдесятъ лѣтъ жила въ богатомъ домѣ, все на рукахъ имѣла, весь свой вѣкъ жила скупно и надъ всякою тряпкой тряслась, чтобъ она ничего не оставила. Но это дѣйствительно было такъ.

Наталья Саввишна два мѣсяца страдала отъ своей болѣзни и переносила страданія съ истинно-христіанскимъ терпѣніемъ: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычкѣ, безпрестанно поминала Бога. За часъ передъ смертью, она съ тихою радостію исповѣдалась, причастилась и соборовалась маломъ.

У всѣхъ домашнихъ она просила прощенья за обиды, которыя могла причинить имъ, и просила духовника своего, отца Василья, передать всѣмъ намъ, что не знаетъ какъ благодарить насъ за наши милости, и просить насъ простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «по воровкой никогда не была, и могу сказать, что барскою ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она цѣнила въ себѣ.

Надѣвъ приготовленный капотъ и чепчикъ и облокотившись на подушки, она до самаго конца не переставала разговаривать съ священникомъ, вспомнила, что ничего не оставила бѣднымъ, достала десять рублей и просила его раздать ихъ въ приходѣ; потомъ перекрестилась, легла и въ послѣдній разъ вздохнула, съ радостной улыбкой, пропнося имя Божіе.

Она оставляла жизнь безъ сожалѣнія, не боялась смерти и приняла ее, какъ благо. Часто это говорятъ, но какъ рѣдко дѣйствительно бываетъ! Наталья Саввишна могла не бояться смерти, потому что она умирала съ непоколебимою вѣрою и исполнивъ законъ Евангелія. Вся жизнь ея была чистая, безкорыстная любовь и самоотверженіе.

Что жъ! если ея вѣрованія могли бы быть возвышеннѣе, ея жизнь направлена къ болѣе высокой цѣли, — развѣ эта чистая душа отъ этого меньше достойна любви и удивленія?

Она совершила лучшее и величайшее дѣло въ этой жизни — умерла безъ сожалѣнія и страха

Ее похоронили, по ея желанію, недалеко отъ часовни, которая стоитъ на могилѣ матушки. Заросшія кропивою и репейникомъ бугорки, подъ которыми она лежитъ, огорожены черною рѣшеткою, и я никогда не забываю изъ часовни подойти къ этой рѣшеткѣ и положить земной поклонъ.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черною рѣшеткой. Въ душѣ моей вдругъ пробуждаются тяжелыя воспоминанія. Мнѣ приходитъ мысль: неужели Провидѣніе для того только соединило меня съ этими двумя существами, чтобы вѣчно заставить сожалѣть о нихъ?..

Л. Толстой.



Посѣщеніе больной. Съ карт. *Архипова.*

СУШИЛОВЪ.

Кромѣ Осипа, изъ людей, мнѣ помогавшихъ, былъ и Сушиловъ. Я не призывалъ его и не искалъ его. Онъ какъ-то самъ нашелъ меня и прикомандировался ко мнѣ; даже не помню, когда и какъ это сдѣлалось. Онъ сталъ на меня стирать. За казармами для этого нарочно была устроена большая помойная яма. Надъ этой-то ямой, въ казенныхъ корытахъ, и мылось арестантское бѣлье. Кромѣ того, Сушиловъ самъ изобрѣталъ тысячи различныхъ обязанностей, чтобы мнѣ угодить: наставлялъ мой чайникъ, бѣгалъ по разнымъ порученіямъ, отыскивалъ что-нибудь для меня, носилъ мою куртку въ починку, смазывалъ мнѣ сапоги раза четыре въ мѣсяцъ; все это дѣлалъ усердно, суетливо, какъ будто Богъ знаетъ какія на немъ лежали обязанности.—однимъ словомъ, совершенно

связать свою судьбу съ моею и взять всё мои дѣла на себя. Онъ никогда не говорилъ, напримѣръ: «у васъ столько-то рубахъ, у васъ куртка разорвана», и проч., а всегда: «у насъ теперь столько-то рубахъ, у насъ куртка разорвана». Онъ такъ и смотрѣлъ мнѣ въ глаза и, кажется, принялъ это за главное назначеніе всей своей жизни. Ремесла или, какъ говорятъ арестанты, рукомерла у него не было никакого, и, кажется, только отъ меня онъ и добывалъ копейку. Я платилъ ему, сколько могъ, то-есть грошами, и онъ всегда безотвѣтно оставался доволенъ. Онъ не могъ не служить кому-нибудь, и казалось, выбралъ меня особенно потому, что я былъ обходительнѣе другихъ и честнѣе на расплату. Былъ онъ изъ тѣхъ, которые никогда не могли разбогатѣть и поправиться, и которые у насъ брались сторожить майданы, простаивая по цѣлымъ ночамъ въ сѣняхъ на морозѣ, прислушиваясь къ каждому звуку на дворѣ на случай плацъ-майора, и брали за это по пяти копеекъ серебромъ чуть не за всю ночь, а въ случаѣ просмотра теряли все и отвѣчали спиной. Характеристика этихъ людей—уничтожать свою личность всегда, вездѣ и чуть ли передъ всѣми, а въ общихъ дѣлахъ разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у нихъ ужъ такъ по природѣ. Сушиловъ былъ очень жалкій малый, вполнѣ безотвѣтный и приниженный, даже забитый, хотя его и никто у насъ не билъ, а такъ ужъ отъ природы забитый. Мнѣ его всегда было отчего-то жаль. Я даже и взглянуть на него не могъ безъ этого чувства, а почему жаль, — я бы самъ не могъ отвѣтить. Разговаривать съ нимъ я тоже не могъ; онъ тоже разговаривать не умѣлъ, и видно, что ему это было въ большой трудъ, и онъ только тогда оживлялся, когда, чтобъ кончить разговоръ, дашь ему что-нибудь сдѣлать, попросишь его сходить, сбѣгать куда-нибудь. Я даже, наконецъ, увѣрился, что доставляю ему этимъ удовольствіе. Онъ былъ не высокъ и не малъ ростомъ, не хорошъ и не дуренъ, не глупъ и не уменъ, не молодъ и не старъ, немножко рябоватъ, отчасти бѣлокуръ. Слишкомъ опредѣлительнаго о немъ никогда ничего нельзя было сказать. Надъ нимъ иногда посмѣивались арестанты, главное за то, что онъ *смѣнялся* дорогою, идя въ партіи въ Сибирь, и смѣнялся за красную рубашку и за рубль серебромъ. Въ за эту-то ничтожную цѣну, за которую онъ себя продалъ, надъ нимъ и смѣялись арестанты. Смѣниться, значить, перемѣниться съ кѣмъ-нибудь именемъ, а слѣдственно, и участью. Какъ ни чуденъ кажется этотъ фактъ, а онъ справедливъ, и въ мое время онъ еще существовалъ между препровождающимися въ Сибирь арестантами въ полной силѣ, освященный преданіями и опредѣленный извѣстными формами. Сначала я никакъ не могъ этому повѣрить, хотя и пришлось, наконецъ, повѣрить очевидности.

Это вотъ какимъ образомъ дѣлается. Препровождается, напримѣръ, въ Сибирь партія арестантовъ. Идутъ всякіе: и въ каторгу, и въ заводъ, и на поселеніе; идутъ вмѣстѣ. Гдѣ-нибудь дорогою, ну, хоть въ Пермской губерніи, кто-нибудь изъ ссыльных пожелаетъ смѣниться съ другимъ. Напримѣръ, какой-нибудь Михайловъ, убійца или по другому капитальному преступленію, находитъ идти на многіе годы въ каторгу для себя невыгоднымъ. Положимъ, онъ малый хитрый, тертый, дѣло знаетъ; вотъ онъ и высматриваетъ кого-нибудь изъ той же партіи попростѣе, позабитѣе, побезотвѣтнѣе, и которому опредѣлено наказаніе небольшое сравнительно: или въ заводъ на малые годы, или на поселеніе, или даже въ каторгу, только поменьше срокомъ. Наконецъ, находитъ Суши-

лова. Сушиловъ изъ дворовыхъ людей и сосланъ просто на поселенье. Идетъ онъ уже тысячи полторы верстъ, разумѣется, безъ копейки денегъ, потому что у Сушилова никогда не можетъ быть ни копейки,—идетъ изнуренный, усталый, на одномъ казенномъ продовольствѣ, безъ сладкаго куска, хоть мимоходомъ, въ одной казенной одеждѣ, всѣмъ прислуживая за жалкіе мѣдные гроши. Михайловъ заговариваетъ съ Сушиловымъ, сходитъ, даже дружится, и, наконецъ, на какомъ-нибудь этапѣ поитъ его виномъ. Наконецъ предлагаетъ ему: не хочетъ ли онъ смѣняться? Сушиловъ подъ хмелькомъ, душа простая, полонъ благодарности къ обласкавшему его Михайлову, и потому не рѣшается отказать. Къ тому же онъ слышалъ уже въ партіи, что мѣняться можно, что другіе же мѣняются, слѣдственно, необыкновеннаго и неслыханнаго тутъ нѣтъ ничего. Соглашаются. Бесовѣстный Михайловъ, пользуясь необыкновенною простотою Сушилова, покупаетъ у него имя за красную рубашку и за рубль серебромъ, которые тутъ же и даетъ ему при свидѣтеляхъ. Назавтра Сушиловъ уже не пьянъ; но его поятъ опять, ну, да и плохо отказываться: полученный рубль серебромъ уже пропить, красная рубашка, немного спустя, тоже. Не хочешь, такъ деньги отдай. А гдѣ взять цѣлый рубль серебромъ Сушилову? А не отдать, такъ артель заставить отдать: за этимъ смотреть въ артели строго. Къ тому же, если далъ обѣщаніе, то исполни,—и на этомъ артель настоитъ. Иначе сгрызутъ. Забьютъ, пожалуй, или просто убьютъ, по крайней мѣрѣ, застрашаютъ.

Наконецъ Сушиловъ видитъ, что ужъ не отмолишься, и рѣшается вполне согласиться. На первомъ же этапѣ дѣлаютъ, напримѣръ, перекличку; доходитъ до Михайлова: «Михайловъ!» Сушиловъ откликается: я! «Сушиловъ!» Михайловъ кричитъ: я!—и пошли дальше. Никто и не говоритъ ужъ больше объ этомъ. Въ Тобольскѣ ссыльных разсортнируютъ. «Михайлова» — на поселеніе, а «Сушилова», подъ усиленнымъ конвоемъ, препровождаютъ въ особое отдѣленіе¹⁾. Далѣе никакой уже протестъ невозможенъ; да и чѣмъ въ самомъ дѣлѣ доказать? На сколько лѣтъ затянется такое дѣло? Чтò за него еще будетъ? Гдѣ, наконецъ, свидѣтели? Отрекутся, если бъ и были. Такъ и остается въ результатъ, что Сушиловъ за рубль серебромъ да за красную рубаху въ «особое отдѣленіе» пришелъ.

Арестанты смѣялись надъ Сушиловымъ,—не за то, что онъ смѣнился (хотя къ смѣнившимся на болѣе тяжелую работу съ легкой вообще питаютъ презрѣніе, какъ ко всякимъ попавшимся впросакъ дуракамъ), а за то, что онъ взялъ только красную рубаху и рубль серебромъ: слишкомъ ужъ ничтожная плата. Обыкновенно мѣняются за большія суммы, опять-таки судя относительно. Берутъ даже и по нѣскольکو десятковъ рублей. Но Сушиловъ былъ такъ безотвѣтенъ, безличенъ и для всѣхъ ничтоженъ, что надъ нимъ и смѣяться-то какъ-то не приходилось.

Долго мы жили съ Сушиловымъ, уже нѣсколько лѣтъ. Мало-по-малу онъ привязался ко мнѣ чрезвычайно; я не могъ этого не замѣтить, такъ что и я очень привыкъ къ нему. Но однажды,—никогда не могу простить себѣ этого,—онъ чего-то по моей просьбѣ не выполнилъ, а между тѣмъ только что взялъ у меня денегъ, и я имѣлъ жестокость сказать ему: «Вотъ, Сушиловъ, деньги-то вы берете, а дѣло-то не дѣлаете». Сушиловъ смолчалъ, сбѣгалъ по моему дѣлу, но что-то вдругъ загрустилъ. Прошло дня два. Я думалъ: не можетъ быть, чтобъ

¹⁾ Отдѣленіе на каторгѣ для самыхъ важныхъ преступниковъ.

онъ это отъ моихъ словъ. Я зналъ, что одинъ арестантъ, Антонъ Васильевъ, настоятельно требовалъ съ него какой-то грошовый долгъ. Вѣрно, денегъ нѣтъ, а онъ боится спросить у меня. На третій день я говорю ему: «Сушиловъ, вы, кажется, у меня хотѣли денегъ спросить для Антона Васильева? На-те». Я спѣлъ тогда на нарахъ; Сушиловъ стоялъ передо мной. Онъ былъ, кажется, очень пораженъ, что я самъ ему предложилъ денегъ, самъ вспомнилъ объ его затруднительномъ положеніи, тѣмъ болѣе, что въ послѣднее время онъ, по его мнѣнію, ужъ слишкомъ много у меня забралъ, такъ что и надѣяться не смѣлъ, что я еще дамъ ему. Онъ посмотрѣлъ на деньги, потомъ на меня, вдругъ отвернулся и вышелъ. Все это меня очень поразило. Я пошелъ за нимъ и нашелъ его за казармами. Онъ стоялъ у острожного частокола, лицомъ къ забору, прижавъ къ нему голову и облокотясь на него рукой. «Сушиловъ, чтѣ съ вами?» спросилъ я его. Онъ не смотрѣлъ на меня, и я, къ чрезвычайному удивленію, замѣтилъ, что онъ готовъ заплакать. «Вы, Александръ Петровичъ... думаете... началъ онъ прерывающимся голосомъ и стараясь смотрѣть въ сторону, — что я вамъ... за деньги.. а я... я... э-э-эхъ!» Тутъ онъ оборотился опять къ частоколу, такъ что даже стукнулся объ него лбомъ, — и какъ зарыдастъ!.. Первый разъ я видѣлъ въ каторгѣ человѣка плачущаго. Насилу я утѣшилъ его, и хотъ онъ съ этихъ поръ, если возможно это, еще усерднѣе началъ служить мнѣ и «наблюдать меня», но по нѣкоторымъ, почти неуловимымъ, признакамъ я замѣтилъ, что его сердце никогда не могло простить мнѣ попрекъ мой. А между тѣмъ другіе смѣялись же надъ нимъ, шпыняли его при всякомъ удобномъ случаѣ, ругали его иногда крѣпко, а онъ жилъ же съ ними ладно и дружелюбно и никогда не обижался. Да, очень трудно бываетъ распознать человѣка, даже и послѣ долгихъ лѣтъ знакомства!

Достоевскій.

П р и с л у ж н и к и.

Въ нашей компаніи, такъ же какъ и во всѣхъ другихъ казармахъ острога, всегда бывали нищіе, байгуши, проигравшіеся и пропившіеся, или такъ просто отъ природы нищіе. Я говорю «отъ природы» и особенно назираю на это выраженіе. Дѣйствительно, вездѣ въ народѣ нашемъ, при какой бы то ни было обстановкѣ, при какихъ бы то ни было условіяхъ, всегда есть и будутъ существовать нѣкоторыя странныя личности, смиренныя и перѣдко очень нелѣпыя, по которымъ ужъ такъ судьбой предназначено на вѣки вѣчныя оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрятъ какими-то забитыми и чѣмъ-то удрученными и вѣчно состоятъ у кого-нибудь на помычкѣ, у кого-нибудь на посылкахъ, обыкновенно у гулякъ или у внезапно разбогатѣвшихъ и возвысившихся. Всякій почетъ, всякая инициатива—для нихъ горе и тягость. Они какъ будто и родились съ тѣмъ условіемъ, чтобы ничего не начинать самимъ и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудкѣ, ихъ назначеніе—исполнять одно чужое. Въ довершеніе всего, никакія обстоятельства, никакіе перевороты не могутъ ихъ обогатить. Они всегда нищіе. Я замѣтилъ, что такія личности водятся и не въ одномъ народѣ, а во всѣхъ обществахъ, сословіяхъ, партіяхъ, журналахъ и ассоціаціяхъ.

Достоевскій.

Орловъ.

Въ одинъ лѣтній день распространился въ арестантскихъ палатахъ слухъ, что вечеромъ будутъ наказывать знаменитаго разбойника Орлова, изъ бѣглыхъ солдатъ, и послѣ наказанія приведутъ въ палаты. Больные арестанты, въ ожиданіи Орлова, утверждали, что накажутъ его жестоко. Всѣ были въ нѣкоторомъ волненіи, и, признаюсь, я тоже ожидалъ появленія знаменитаго разбойника съ крайнимъ любопытствомъ. Давно уже я слышалъ о немъ чудеса. Это былъ злодѣй, какихъ мало, рѣзавшій хладнокровно стариковъ и дѣтей, — человѣкъ съ страшной силой воли и съ гордымъ сознаніемъ своей силы. Онъ повинился во многихъ убійствахъ и былъ приговоренъ къ наказанію палками, сквозъ строй. Привели его уже вечеромъ. Въ палатѣ уже стало темно и зажгли свѣчи. Орловъ былъ почти безъ чувствъ, страшно блѣдный, съ густыми, вклокочеными, черными какъ смоль волосами. Спина его вспухла и была кроваво-синяго цвѣта. Всю ночь ухаживали за нимъ арестанты, перемѣняли ему воду, переворачивали его съ боку на бокъ, давали лѣкарство, точно они ухаживали за кровнымъ роднымъ, за какимъ-нибудь своимъ благодѣтелемъ. На другой же день онъ очнулся вполне и прошелся раза два по палатѣ! Это меня изумило: онъ прибылъ въ госпиталь слишкомъ слабый и измученный. Онъ прошелъ за разъ цѣлую половину всего назначеннаго ему числа палокъ. Докторъ оставилъ экзекуцію только тогда, когда замѣтилъ, что дальнѣйшее продолженіе наказанія грозило преступнику неминуемой смертью. Кромѣ того, Орловъ былъ малаго роста и слабого сложенія, и къ тому же истощенъ долгимъ содержаніемъ подъ судомъ. Кому случалось встрѣчать когда-нибудь подсудимыхъ арестантовъ, тотъ, вѣроятно, надолго запомнилъ ихъ изможденные, худыя и блѣдныя лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на то, Орловъ быстро поправлялся. Очевидно, внутренняя, душевная его энергія сильно помогала натурѣ. Дѣйствительно, это былъ человѣкъ не совсѣмъ обыкновенный. Изъ любопытства я познакомился съ нимъ ближе и цѣлую недѣлю изучалъ его. Положительно могу сказать, что никогда въ жизни я не встрѣчалъ болѣе сильнаго, болѣе желѣзнаго характеромъ человѣка, какъ онъ. Я видѣлъ уже разъ, въ Tobolskѣ, одну знаменитость въ такомъ же родѣ, одного бывшаго атамана разбойниковъ. Тотъ былъ дикій звѣрь вполне, и вы, стоя возлѣ него и еще не зная его имени, уже инстинктомъ предчувствовали, что подлѣ васъ находится страшное существо. Но въ томъ ужасало меня духовное отупѣніе. Плоть до того брала верхъ надъ всѣми его душевными свойствами, что вы съ перваго взгляда по лицу его видѣли, что тутъ осталась только одна дикая жажда тѣлесныхъ наслажденій. Я увѣренъ, что Кореневъ — имя того разбойника — даже упалъ бы духомъ и трепеталъ бы отъ страха передъ наказаніемъ, несмотря на то, что способенъ былъ рѣзать, даже не поморщившись. Совершенно противоположенъ ему былъ Орловъ. Это была наяву полная побѣда надъ плотью. Видно было, что этотъ человѣкъ могъ повелѣвать собою безгранично, презиралъ всякія муки и наказанія и не боялся ничего на свѣтѣ. Въ немъ мы видѣли одну безконечную энергію, жажду дѣятельности, жажду мщенія, жажду достичь предположенной цѣли. Между прочимъ, я пораженъ былъ его страннымъ высокомеріемъ. Онъ на все смотрѣлъ какъ-то до невѣроятности свысока, но вовсе не усиливаясь

подняться на ходули, а такъ какъ-то натурально. Я думаю, не было существа въ мірѣ, которое бы могло подѣйствовать на него однимъ авторитетомъ. На все онъ смотрѣлъ какъ-то неожиданно спокойно, какъ будто не было ничего на свѣтѣ, что бы могло удивить его. И хотя онъ вполне понималъ, что другіе арестанты смотрятъ на него уважительно, но нисколько не рисовался передъ ними. А между тѣмъ тщеславіе и заносчивость свойственны почти всѣмъ арестантамъ безъ исключенія. Былъ онъ очень не глупъ и какъ-то странно откровененъ, хотя отнюдь не болтливъ. На вопросы мои онъ прямо отвѣчалъ мнѣ, что ждетъ выздоровленія, чтобъ поскорѣе выходить остальное наказаніе, и что онъ боялся сначала, предъ наказаніемъ, что не перенесетъ его. «Но теперь, — прибавилъ онъ, подмигнувъ мнѣ глазомъ, — дѣло кончено. Выхожу остальное число ударовъ, и тотчасъ же отправить съ партіей въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу! Непремѣнно бѣгу! Вотъ только бы скорѣе спина зажила!» И всѣ эти пять дней онъ съ жадностью ждалъ, когда можно будетъ проситься на выписку. Въ ожиданіи же онъ былъ иногда очень смѣшливъ и веселъ. Я пробовалъ съ нимъ заговаривать объ его похожденіяхъ. Онъ немного хмурился при этихъ разспросахъ, но отвѣчалъ всегда откровенно. Когда же понялъ, что я добираюсь до его совѣсти и добиваюсь въ немъ хоть какого-нибудь раскаянія, то взглянулъ на меня до того презрительно и высокомерно, какъ будто я вдругъ сталъ въ его глазахъ какимъ-то маленькимъ, глупенькимъ мальчикомъ, съ которымъ нельзя и разсуждать какъ съ большими. Даже что-то въ родѣ жалости ко мнѣ изобразилось въ лицѣ его. Черезъ минуту онъ расхохотался надо мной самымъ простодушнымъ смѣхомъ, безъ всякой проны, и, я увѣренъ, оставшись одинъ и вспоминая мои слова, можетъ-быть, нѣсколько разъ онъ принимался про себя смѣяться. Наконецъ онъ выписался еще съ несовѣтъ поджившей спиной; я тоже пошелъ въ этотъ разъ на выписку, и изъ госпиталя намъ случилось возвращаться вмѣстѣ: мнѣ въ острогъ, а ему въ кордегардію подлѣ нашего острога, гдѣ онъ содержался и прежде. Прощаясь, онъ пожалъ мнѣ руку, и съ его стороны это былъ знакъ высокой довѣренности. Я думаю, онъ сдѣлалъ это потому, что былъ очень доволенъ собой и настоящей минутой. Въ сущности, онъ не могъ не презирать меня и неперемѣнно долженъ былъ глядѣть на меня, какъ на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всѣхъ отношеніяхъ передъ нимъ низшее. На завтра же его вывели къ вторичному наказанію...

Достоевскій.

На постояломъ дворѣ.

(Изъ стихотворенія: „Ночлеги“.)

Вступили кони подъ навѣсъ,
Гремя безчеловѣчно.
Усталый, я съ телѣги слѣзъ,
Ночлегу радъ сердечно.

Спрыгнули псы: задорный лай
Наполнилъ всю деревню,
Впустилъ насъ дворникъ Николай
Въ убогую харчевню.

Усердно кушая леца,
Сидѣлъ ужъ тамъ прохожій
Въ пальто съ господскаго плеча:
«Спознались, сударь, тоже?»

Онъ, низко кланяясь, сказалъ.
— Да, нынче дни коротки.—
Усѣлся я, а онъ стоялъ.—
Садитесь! выпьемъ водки!—

Прохожій выпилъ рюмки двѣ
И разболтался сразу:
«Иду домой... а жилъ въ Москвѣ...
До царскаго указа

Быль крѣпостной: отецъ и дѣдъ
Помѣщикамъ служили.
Мнѣ было двадцать восемь лѣтъ,
Какъ волю объявили;

Нашъ баринъ сталъ куда какъ
лихъ, —

Сердился, придирался,
А передъ самымъ срокомъ стихъ,
Съ рабами попросался,

Сказалъ намъ: «Вольны вы теперь, —
И очи помутились. —
Идите съ Богомъ!» Вѣрь, не вѣрь,
Мы тоже прослезились

И потянулись, кто куда...
Пришелъ я въ городишко,
А тамъ ужъ цѣлая орда
Такихъ же—нѣтъ мѣстинка!

Рѣшился я итти въ Москву,
Въ конторѣ записался,
И вышло мѣсто къ Покрову.
Не баринъ—кладъ попался!

Сначала, правда, злился онъ, —
Чѣмъ больше угождаю,
Тѣмъ онъ грубѣй: прогнать вонъ...
За что?.. Не понимаю!

Да съ нимъ, какъ я смекнулъ
позднѣй,

Знать надо было штучку:
Сплошалъ—сознайся поскорѣй,
Не лги, не чмокай въ ручку!

Не то разсердишь: «Ермолай!
Опомнись! какъ не стыдно!
Привычки рабства покидай!
Мнѣ за тебя обидно!

Ты человѣкъ, ты гражданинъ!
Знай: сила не въ богатствѣ,
Не въ томъ: великъ ли, малъ ли
чинъ,

А въ равенствѣ и братствѣ!

Я раболѣнства не терплю, —
Не льсти, не унижайся!
Случится можетъ: самъ всыплю —
И мнѣ не поддавайся!..»

Работы мало, да и той
Самъ половину правилъ;
Я захворалъ—всю ночь со мной
Сидѣлъ—пѣявки ставилъ;

За каждый шагъ благодарилъ
Съ любовью, не со страхомъ
Три года я ему служилъ —
И вдругъ пошло все прахомъ!

Однажды онъ сердитый всталъ,
Порѣзался, какъ брился, —
Все не по немъ! Весь день ворчалъ
И вдругъ совсѣмъ озлился.

Костить!.. «Потише, господинъ!»
Сказалъ я, вспыхнувъ тоже.

«Какъ?.. что?.. Зазнался, хамовъ
сынъ!»

И хлопъ меня по рожѣ!

По старой памяти, я прочъ,
А онъ за мной—бѣдовый!..
Такъ вотъ, продумалъ я всю ночь,
Каковъ онъ—баринъ новый!

Такія рѣчи поведетъ,
Что слушать любо-мило,
А кончить тѣмъ же, что прибѣтъ!
Нѣтъ, прежде проще было!

Обидно! Я его считалъ
Не бариномъ, а братомъ...
Настало утро—не позвалъ;
Свернувшись подъ халатомъ,
Стоналъ, какъ раненый, весь день.

Не выпилъ чашку чаю...
А ночью баринъ, словно тѣнь,
Прокрался къ Ермолаю:

Впередъ уставился лицомъ:
«Ударь меня скорѣе!
Мнѣ легче будетъ!.. (Мертвецомъ
Глядѣлъ онъ, быть бѣлѣе

Своей рубахи.) Мы равны...
Да, я сплошалъ... я знаю...
Какъ быть! Сквитаться мы должны...
Ударь!.. Я позволяю.

Не такъ ли, другъ? Скорѣе хлопъ —
И снова правы, святы»...
— «Не такъ! Вы—баринъ, я—холопъ,
Я бѣденъ, вы богаты! —

Сказалъ я.—Долженъ я служить,
Пока стаетъ терпѣнья,

И я служить готовъ... а бить
Не буду... съ позволенія!»
Онъ все свое, а я свое—
Споръ долго продолжался,
Смекнулъ я: тутъ мнѣ не житье!

И съ баринѣмъ разстался.
Иду покамѣсть въ Арзамасъ:
Тамъ у меня невѣста...
Нельзя ли будетъ черезъ васъ
Достать другое мѣсто?..»

Н. Некрасовъ.

Крестьянинъ Иванъ Аѳанасьевъ.

Въ Слѣпомъ-Литвинѣ живетъ крестьянинъ Иванъ Аѳанасьевъ — живой образецъ мужика, поставленнаго въ необходимость бросаться изъ стороны въ сторону, чтобы гдѣ-нибудь и какъ-нибудь захватить въ свои руки этотъ проклятый рубль серебромъ. Иванъ Аѳанасьевъ — рѣдкій экземпляръ «крестьянина» въ полномъ смыслѣ этого слова, т.-е. человѣка, который неразрывно связанъ съ землею—и умомъ, и сердцемъ. Земля, по его понятію,—истинная кормилица, источникъ радостей, горестей, счастья и несчастья, всѣхъ его молитвъ и благодарностей къ Богу... Земледѣльческій трудъ, земледѣльческія заботы и радости способны были бы наполнить собою весь внутренній міръ Ивана Аѳанасьева, не давая возможности и подумать о томъ, чтобы можно было промѣнять земледѣльческій трудъ на что-нибудь другое, на какой-нибудь другой, болѣе выгодный трудъ. Иванъ Аѳанасьевъ не влюбленъ въ землю, какъ можетъ быть покажется читателю изъ вышеприведенныхъ словъ моихъ объ этомъ человѣкѣ; нѣтъ, онъ связанъ съ ней, съ землею, и со всѣмъ, что переживаетъ она въ теченіе года, связанъ, какъ мужъ съ женою, даже тѣснѣе, потому что они въ самомъ дѣлѣ живутъ почти какъ одно цѣлое. Вмѣстѣ съ тѣмъ Иванъ Аѳанасьевъ и «не прикованъ» къ землѣ, нѣтъ: тѣмъ-то и дорогъ земледѣльческій трудъ, что отношенія между человѣкомъ и этой землею, этимъ трудомъ—не насильственные, что связь рождается чистая, изъ чистаго, ясно видимаго добра, которое дѣлаетъ земля человѣку, убѣжденному безъ всякаго насильства въ томъ, что за это даваемое землею добро надобно угодить и ей, надо похлопотать и за нее. На такихъ чистыхъ, совѣстливыхъ началахъ держится и весь обиходъ подлинной, неспорченной крестьянской семьи, и она бы была истинно и безпримѣрно прекрасна, если бы могла развивать эти начала, то-есть свободный, непринужденный союзъ, основанный на непоколебимомъ сознаніи, что добро добывается добромъ. Но—увы!—несмотря на то, что Иванъ Аѳанасьевъ и его кормилица-земля исполняютъ свое дѣло совѣстливо до послѣдней степени, пришли времена, которыя какъ будто даже и вниманія не желаютъ обращать ни на труды Ивана Аѳанасьева, ни на его отношенія къ землѣ, и вовсе не цѣнятъ ни чистоты этихъ отношеній, ни того, что на этихъ отношеніяхъ держится все русское крестьянство, вся русская сила. «Денегъ подавай!» вопіютъ эти времена и больше ничего знать не хотятъ. «Какъ же я брошу землю, помилуйте, сдѣлайте милость?»—возражаетъ Иванъ Аѳанасьевъ.—«Ну, пойду я на заработокъ; а какъ же земля-то останется? Вѣдь мы землею всю жизнь живемъ». Иванъ Аѳанасьевъ—такой истинный земледѣлецъ, истинный «крестьянинъ», что самый лучший заработокъ не въ силахъ былъ бы заглушить въ немъ тоски по землѣ, по тому разнообразію явленій, которыми окруженъ трудъ земледѣльца, связывающій его душу и мысль и съ небомъ, и съ землею, и съ солнцемъ краснымъ,

и съ зорями ясными, съ выюгами, дождями, метелями, морозами, со всёми созданиёмъ Божиимъ, со всёми чудесами этого Божьяго созданія...

«Денегъ подавай!» вопіють новыя времена — и, что подблаещь, Иванъ Аонасеевъ начинаетъ «биться» изъ-за денегъ...

— Пошла одно время, въ нашихъ мѣстахъ, — рассказываетъ Иванъ Аонасеевъ, — пошла въ ходъ тряпка. Стали наѣзжать покупщики; окромя какъ тряпку, ничего больше и не спрашиваютъ. Надумалъ и я этимъ самымъ дѣломъ заняться. Лошадка у меня была хоть и плохенькая, и тоща, а поги таскала, сказать нельзя. Померекали объ эфтомъ дѣлѣ съ женой, и та склоняется на тряпку, полагаетъ такъ, что польза будетъ. Порѣшили мы занять деньги на начатіе у женинаго дяди; человекъ былъ онъ пожилой, отъ всёхъ отдѣлившись, одинъ со старухой, и тоже этой тряпкой орудовалъ. Хорошо. Вотъ поѣхали мы къ дядѣ — за двадцать за пять верстъ жилъ — вымолили у него десять рублей, весной чтобъ отдать. Накупилъ онъ мнѣ на эти десять рублей ситцевъ, пряниковъ, колечекъ, серегъ — свой сундучокъ далъ и говорить: «Ну! теперь ступай съ Богомъ!» — «Дяденька, говорю, да какъ же я торговать-то буду. Что на что мѣнять? Сколько за что давать?» — «Я этому, говоритъ, всю зиму учился, и ты учись. Слушайся, что бабы будутъ говорить — онѣ тебя научатъ скоро»... Нечего дѣлать. Поѣхалъ я съ товаромъ по деревнямъ... Ъду по деревнямъ, кричу: «Тряпья, тряпья!..» Выбѣгаютъ съ тряпьемъ бабы, обступили меня, пошла торговля... На платки, на ситецъ, на серьги. На деньги не торговалъ, ни копейки не было... Вотъ хорошо. Поторговалъ я такъ-то въ одной деревнѣ, въ другой, въ третьей; выѣзжаю изъ третьей-то — дай, думаю, сочтусь, сколько будетъ моихъ барышей, наторговалъ ли хоть съ гривенникъ-то; а ужъ дѣло шло къ вечеру, и пора домой было ѣхать. Сталъ я считать, — вижу, плохо дѣло: товаръ мой я весь почестъ растерялъ, роздалъ, а тряпья у меня и наполовину противъ товару не потянетъ... Прямо сказать, въ первый же день начисто я проторговался... Тутъ я и понялъ дядины слова, что, молъ, бабы-то меня выучатъ. И ужъ точно — выучили, вѣкъ не забуду. Ъду я домой — ѣсть меня тоска. Приѣхалъ — ужъ совсѣмъ темно стало, огни ужъ вездѣ, а мнѣ хоть бы и глаза не глядѣли ни на что: товаръ растерялъ, а ничего не привезъ. Остался у меня одни пряники. (И пряниковъ тоже дядя купилъ — бабы, дѣвки любятъ; только у меня что-то бабы пряниковъ не брали: надо быть, видѣли, что я съ простинной торгую.) Остался только у меня эти самые пряники, да и тѣ всё въ мѣшкѣ переломались. Скучно мнѣ, очень непріятно было. Жена видитъ, что дѣло мое неладно, молчитъ. Сижу такъ-то, думаю, какъ мнѣ съ этимъ тряпьемъ быть? Смотрю, идутъ парни съ посидѣлокъ. «Мы, говорятъ, слышали отъ твоей бабы, что пряники, что ли то, у тебя есть?» — «Есть, говорю. — «Давай!» — Отпустилъ. Узнали на деревнѣ, что у меня пряники, повалилъ ко мнѣ народъ, и бабы, и парни, и дѣвки: лавочки въ ту пору у насъ еще не было. Не больше какъ часа въ полтора, всё мои пряники я и расторговалъ. Ничего что изломанные и все-такое — только подавай... Все начисто до послѣдней порошинки расторговалъ; сталъ считать — вижу: польза, и не маленькая!.. Вотъ, думаю, Господь мнѣ послалъ милость свою, хоть мало-мальски убытки мои покрою (теперича вся забота — хоть бы съ долгами-то расплатиться, а ужъ куда торговать...) На утро, чѣмъ свѣтъ, только что бѣлѣтъ начало, погналъ я свою кобылку на станцію — за пряниками. Вечеромъ — опять торговля, и опять все разобрали: польза идетъ

хорошая. На утро опять на станцію, опять вечеромъ торгую. И такъ пошло дѣло чудесно, что ежели бы мнѣ эдакъ-то проторговать недѣли съ двѣ—и долги бы заплатилъ, да и пользы имѣлъ, по крайности, рубля на три... Ну, только не вышло. Какъ провѣдали наши слѣпнискіе, что Иванъ, молъ, Аѳанасьевъ на пряникахъ расторговываться сталъ, и повалили тоже на станцію закупать. Развелось у насъ въ ту пору пряниковъ больше, чѣмъ хлѣба или снѣгу на дворѣ... И съ этихъ поръ всѣ мы остались въ чистомъ убыткѣ. Я-то, по крайности, хоть мало-мальски на отдачу сбилъ деньжонокъ, а другіе-прочіе такъ и остались съ пряниками. Съ тѣхъ поръ я ужъ торговлей не занимаюсь. Ни-ни, сохрани Богъ... Какъ отдалъ дядѣ заемныя, такъ у меня словно гора съ плечъ свалилась: Богъ съ ней и съ торговлей, не наше это, крестьянское дѣло!..

Изъ такихъ эпизодовъ соткана вся жизнь Ивана Аѳанасьева въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ. Не умѣя, какъ истинный крестьянинъ, ни хитрить, ни лукавить, ни обманывать (земледѣльческій трудъ ничему такому не учитъ), Иванъ Аѳанасьевъ прогораетъ на всѣхъ предпріятіяхъ, цѣль которыхъ добыть деньги. Разъ его заманила какая-то родственница, жившая въ кормилицахъ въ Петербургѣ, и сулила мѣсто дворника. Иванъ Аѳанасьевъ соблазнился, изстратилъ всѣ деньги, какія были, на машину, и пріѣхалъ въ Петербургъ. Мѣсто ему въ самомъ дѣлѣ нашлось; но странное дѣло: больше, чѣмъ малаго ребенка, его испугала эта бездонная пропасть «чужого» народа, которымъ кишитъ столица. Онъ испугался этой голой работы изъ-за денегъ; ему трудно было жить безъ «своихъ», трудно работать безъ ихъ поддержки. Въ тотъ день, когда нужно было идти на мѣсто, Иванъ Аѳанасьевъ затосковалъ, какъ школьникъ, которому не хочется покинуть родительскій домъ. Кормилица-родственница, которая раздобыла ему мѣсто, и у которой онъ остановился въ Петербургѣ, напрасно гнала его идти на мѣсто, напрасно торопила... Иванъ Аѳанасьевъ заскучалъ еще пуще отъ этихъ понуканій. Когда же, наконецъ, онъ почувствовался и пошелъ, то, пріѣдя на мѣсто, нашелъ, что оно занято другимъ. Триста верстъ Иванъ Аѳанасьевъ шелъ до деревни пѣшкомъ, питаясь Христовымъ именемъ, и, наконецъ, кое-какъ доплелся до двора.

— Тутъ-то я ужъ отдохну!.. Думаю, Богъ съ вами совѣмъ, съ мѣстами... Я на одномъ хлѣбѣ просижу—по крайности дома!.. А что намучился, такъ это одному Богу извѣстно...

Послѣ каждой изъ такихъ неудачъ и отлучекъ изъ дому Иванъ Аѳанасьевъ возвращался къ родному гнѣзду всегда съ необычайною дѣтскою радостью, несмотря на то, что, возвращаясь, былъ еще бѣднѣй, чѣмъ тогда, когда уходилъ. Онъ радъ корѣ хлѣба, лишь бы она была своя, домашняя, лишь бы ему быть въ понятной ему, знакомой, любимой средѣ...

«Денегъ! денегъ!» вопіетъ новѣйшее время, и не умѣющий ихъ доставать Иванъ Аѳанасьевъ вновь ловится на какомъ-нибудь денежномъ планѣ. Смациваютъ его на землекопную работу, рыть каналъ близъ Ладожскаго озера, даютъ десять рублей впередъ, обѣщаютъ поить, кормить. Нечего дѣлать, идетъ Иванъ Аѳанасьевъ, и—глядишь—черезъ полгода плетется домой безъ копейки, и безъ здоровья, и безъ одежды... Оказывается, что спать ему приходилось въ снѣгу, что кормили его падалью, что обсчитывали безъ зазрѣнія совѣсти, что многое множество перемерло отъ болѣзней рабочаго народа и зарыто кое-гдѣ... Насмотрѣвшись и настрадавшись, Иванъ Аѳанасьевъ радъ, что вынулъ паспортъ,

и ушелъ, куда глаза глядятъ. И ужъ какъ радъ дому-то, какъ радъ своей соломённой крышѣ, печкѣ, этому жидкому, кислому «своему» квасу!.. Какъ ни изнуришь, ни измучишь его, но свои мѣста, а главное—возвращеніе «къ крестьянству», т.-е. земледѣльческому труду, вновь возстановляетъ всё его нравственныя силы, уничтожаетъ на его лицѣ слѣды болѣзни, горя, негодованія,—и вновь это лицо глядитъ спокойно, благородно и привѣтливо...

Но деревенскія дѣла идутъ такимъ путемъ, что Ивану Аѳанасьеву никоимъ образомъ не придется остаться дома. Онъ ужъ и теперь поговариваетъ:

— Ежели бы хоть на пять рублей въ мѣсяцъ, т.-е. вѣрныхъ, какое мѣстечко было,—кажется, сейчасъ бы пошелъ. Право-слово!

Это-то именно и грустно.

Хуже всего въ этой случайности заработковъ то, что они разрушаютъ общность деревенскихъ интересовъ, деревенскій «міръ». Такіе заработки никоимъ образомъ не могутъ считаться мірскими; каждый, кому удалось ухватить, ухватилъ самъ, своимъ умомъ и для себя, и невольно тянетъ въ свою сторону. При такомъ ходѣ дѣлъ та правдивость имущественныхъ отношеній, которою держится міръ, благодаря земледѣльческому труду, нарушается неравенствомъ то тамъ, то сямъ прибавляющихся и вполне чуждыхъ землѣ средствъ. Тамъ, гдѣ заработокъ мало-мальски хорошъ, тамъ, гдѣ онъ дастъ больше денегъ,—пропадаетъ даже и охота жить земледѣльческимъ трудомъ, тянуть эту крестьянскую лямку, не дающую ни единой копейки денегъ, которыя именно и нужны. Является прямое желаніе уйти и отъ міра, и отъ деревни, и отъ земли, оплачиваясь отъ всего этого деньгами.

Г. Успенскій.



Глѣбъ Ивановичъ Успенскій.

В а р в а р а.

...Вспомнилъ я, наконецъ, и Варвару. Нельзя было не вспомнить о ней это была положительно идеальная работница и рѣшительно ничто во всѣхъ иныхъ отношеніяхъ.

Бѣдемъ мы какъ-то разъ съ Демьяномъ Плычемъ¹⁾ по большой дорогѣ (ѣздили за харчами) и видимъ, что впереди насъ во всю ширину дороги дви-

¹⁾ Крестьянинъ-промышленникъ.

гается цѣлая шеренга прохожаго народу, съ узлами и сапогами за спиной; были тутъ и мужики, и бабы. Между ними особенно была примѣтна высокая, могучая, хотя и сгорбленная фигура старика; длинная коса, лезвіе которой было обвернуто соломой (берегъ!), лежала на его плечѣ.

— Да вѣдь это никакъ Іовъ?—проговорилъ Демьянъ Ильичъ и тронулъ лошадь рысцой.

Толпа прохожихъ разступилась, заслыша стукъ копытъ, и старикъ съ ко-сой очутился какъ разъ рядомъ съ нашей повозкой.

— Куда путь держишь?—весело окрикнулъ его Демьянъ Ильичъ и прибавилъ:—Али Демьяна не узналъ?

Очевидно, уже слабѣвшій глазами старикъ, ласково улыбаясь беззубымъ ртомъ, вдругъ радостно проговорилъ:

— Къ тебѣ, къ тебѣ, Демьянъ!

— Тебѣ у меня всегда мѣсто будетъ,—не безъ важности произнесъ Демьянъ Ильичъ.—Правду тебѣ ежели сказать, артель у меня—вполнѣ, ну для тебя, какъ я тебя знаю, всегда будетъ мѣсто.

— Ужъ и Варьку возьми, дочку...

Тутъ мы увидѣли и Варвару. Это была довольно высокая дѣвушка съ самой обыкновенной, ординарной бѣлокурой фizioноміей и, кажется, немного косая. Бѣлокурые волосы, бѣлокурые глаза, бѣлокурая косичка съ мышинный хвостъ величиной—все говорило о томъ, что на красоту ея никто не позарится. Да и одежда у ней была не казистая: платочекъ въ гривенникъ на головѣ и старый шерстяной платокъ на плечахъ, узломъ завязанный на спинѣ, худенькое и вылинявшее ситцевое платье,—все это говорило прямо о бѣдности, но радушное выраженіе этого обыкновеннѣйшаго, кой-какъ вытѣпленнаго лица, пріятливое и притомъ «такъ просто» пріятливое, какъ просто выражалось оно у старика-отца, и та же отцовская сильная порода, которая сама собой чувствовалась въ его дочери, какъ-то невольно обязывали быть внимательнымъ къ нимъ обонмъ—и къ отцу, и къ дочери.

— Ну что жъ!—сказалъ Демьянъ Ильичъ, подумавъ немного.—Идите! найдется мѣсто. Не забылъ дорогу-то?

— Вотъ, забыть! Къ хорошимъ людямъ дорогу не забываютъ... Помню.

— А помнишь, такъ и ступайте съ Богомъ. Найдется!

— Возьми узелки-то,—сказалъ старикъ.—Домой, чай, ѣдешь?

— Домой—клади!

Старикъ и его дочь сняли свои ноши—старый полушубокъ отца и черную ваточную кацавейку дочери—которые они несли на спинкахъ, обвязавъ кушаками, и положили въ телѣгу. Сказавъ еще разъ: «Ступайте, ступайте съ Богомъ—найдется!», Демьянъ Ильичъ погналъ лошадъ пошибче. Старикъ и его дочь остались позади.

— Первѣйшій работникъ!—сказалъ мнѣ Демьянъ Ильичъ.—Онъ у меня четыре лѣта работалъ—куда молодымъ, даромъ что старикъ!..

— Онъ и ходить-то плохо!

— Раз-зойдется, не узнаешь! Это хорошо, что Іовъ подоспѣлъ. Хорошо! Теперь у меня артель будетъ за первый сортъ.

Но Іовъ не оправдалъ надеждъ Демьяна Ильича, не «увѣнчалъ зданія» артели; поработавъ сутокъ двое и поработавъ такъ, что, глядя на старика,

брала жалость—такъ упалъ онъ силами за послѣдній годъ—онъ не выдержалъ и чистосердечно порѣшилъ, что работѣ его насталъ конецъ: «отказались руки», «отказались ноги». Это было видно всѣмъ и каждому. Денька два онъ поотдохнулъ, ничего не работая, сиди на крыльцѣ подь солнцемъ, съ открытой головой. Тѣмъ временемъ Варвара перестирала ему рубахи и онучи, и когда все было готово, онъ ушелъ домой съ той же самой косой на плечѣ, какъ и пришелъ. Демьянъ Ильичъ далъ ему три цѣлковыхъ, которые и осталась отработать Варвара. Оставляя Варвару, старикъ не уговорился насчетъ ея съ Демьяномъ Ильичемъ, а сказалъ только: «Н-ну что... не обидишь!» А Варвара даже и не заикнулась о цѣнѣ. Она проводила отца до большой дороги и поздно вечеромъ вернулась домой.

На другой день она ужъ работала. И съ перваго же дня присутствія Варвары въ артели всѣ чувствовали, что именно она-то и «увѣнчала зданіе», внеся какую-то новую, неувимую, но, несомѣнно, поэтическую черту въ работу и трудъ, трудъ изъ-за харчей, изъ-за податей...

Чтобы лучше понять, что именно хотимъ мы сказать выраженіемъ «поэтический»,—посмотрите на слѣдующую сцену: на дворѣ льетъ дождь; гудитъ въ крыши, слезитъ стекла въ окнахъ, булькаетъ подь окнами и пузырями скачетъ по лужамъ; въ рабочей избѣ скука и тягота бездѣлья; вотъ и Варвара, ничего не дѣлая, сидитъ у окна и глядитъ въ тусклое мокрое стекло—посмотрите на ея лицо, на этотъ косой глазъ; въ лицѣ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго выраженія, оно глупо, просто глупо... «Дура какая-то—больше ничего, орясина!» Иной просто скажетъ: «корова» или что-нибудь еще хуже; но Варвару надобно смотрѣть и изучать не въ такой обстановкѣ. Любая великосвѣтская красавица-львица бываетъ и дурна, и желта, и зла, и непріятна, и глупа, когда она переживаетъ пустыя, мертвыя минуты жизни; но она совсѣмъ иная, когда попадаетъ въ живую струну поглощающихъ ее интересовъ. То же самое происходило и съ Варварой, когда она попадала въ свою живую струю, а такая струя для нея, некрасивой, топорно сколоченной двадцатилѣтней дѣвушки, была работа! Да, читатель, работа возбуждала Варвару такъ же, какъ балъ возбуждаетъ великосвѣтскую красавицу... Только въ работѣ она знала—что она, «зачѣмъ она на свѣтѣ, и чего она стоитъ»...

Въ артели было не мало женщинъ-работницъ, но все это было не то, что Варвара. Были бабы—и красавицы, веселыя пѣвуньи, но это были поденщицы: они торговались, считали суслоны, считали копы точно такъ же, какъ и мужики-работники. Не то была Варвара: она всю жизнь не знала, что такое деньги; двое они жили съ отцомъ почти съ ея дѣтства; какъ только она начала понимать себя, она всегда жила «съ куса», т.-е. работала за хлѣбъ въ чужихъ людяхъ, а отецъ, уходившій лѣтомъ на косѣбу, кое-какъ сколачивалъ ей нищенскую одежду. Она выросла въ работѣ, въ интересахъ работы, какъ иначе вырастаетъ въ интересахъ великосвѣтскихъ интригъ. Конечно, ее спасало отцовское здоровье, спасало физически, несмотря на страшные труды; но еще болѣе, чѣмъ природа, Варвару спасало опять-таки то поэтическое настроеніе, которое возбуждалось въ ней трудомъ, работой, если она была мало-мальски благопріятна, т.-е. если въ этой работѣ можно было «разойтись».

Демьянъ Ильичъ, какъ человѣкъ, въ высшей степени много понимающій въ «работѣ», сразу, съ одного взгляда опредѣлилъ Варвару и пришелъ въ восхищеніе. Въ восхищеніе-то онъ пришелъ, а молчитъ; но видно, что вся вну-

тренность въ немъ трепещетъ отъ удовольствія—нѣтъ, не отъ удовольствія, а именно отъ восхищенія. Его плѣнило (пожалуйста, понимайте это слово въ самомъ подлинномъ и буквальномъ смыслѣ) прежде всего то, что Варвара «не знаетъ себѣ цѣны», цѣны денежной. При взглядѣ на каждаго изъ своихъ рабочихъ онъ непремѣнно представлялъ какую-нибудь цифру—два рубля, двадцать рублей. При взглядѣ на Варвару никакой такой цифры ему не представлялось: при видѣ Варвары онъ ощущалъ только присутствіе какъ бы безплотнаго существа, веселаго духа, но духа, который «воротить» за семерыхъ, и воротить едва ли не потому только, что это доставляетъ ему личное удовольствіе. Варвара работала такъ же непринужденно, какъ работаетъ для человѣка солнце, которое сушитъ и раститъ, а денегъ не проситъ и не скупается, и не сердится... Вѣдь вонъ «и тѣ» бабы тоже работаютъ, вонъ и суслоны вяжутъ, и сѣно гребутъ, и молотятъ, но опять-таки «не то»! Въ каждой видна *нужда*; каждая добываетъ день, день трудный, думаетъ объ оставленномъ ребенкѣ, жалуется на деверя, нѣкоторые и злы, и беременны, и лѣнны, въ нихъ видна усталъ; издали чувствуешь, что у иной болитъ поясница, стонутъ ноженьки. А поглядите-ка на Варвару!—железная, неутомимая и веселая, т.-е. не то, чтобы хохочущая, играющая среди «преlestнѣйшихъ долинъ», а просто вся и всегда свѣтлая и радужная...

Вонъ баба-работница ворошитъ сѣно, поглядите на нее и увидите, что не легко ей, бѣдной, трудно. А поглядите на Варвару: грабли, обернутыя рукоятію внизъ, а зубцами вверхъ—играютъ въ ея рукахъ; легко ходить она по скошенному сѣну, легко касается острымъ концомъ рукоятки по верхушкамъ сѣнныхъ полосъ, и сѣно летаетъ у ея ногъ справа налево и слѣва направо; летаетъ не колями, не волочится по землѣ, а порхаетъ тонкими встрѣчными струями. И все это безъ малѣйшихъ усилій, безъ малѣйшихъ признаковъ утомленія, и тѣмъ менѣе малѣйшаго намека на присутствіе силы. Вонъ и другая баба тоже «ворошитъ», но вѣдь она ворошитъ, какъ косолапый медвѣдь, тогда какъ Варвара работаетъ, какъ работаетъ врожденное дарованіе, не представляя себѣ даже мысли о томъ, что «это»—работа, трудъ...

Или вонъ посмотрите—несетъ баба-работница ведро воды изъ-подъ горы, съ рѣчки; коромысло у нея скрипитъ, ей тяжело итти, тяжесть выпираетъ ей бокомъ... Чувствуешь, что когда она доберется до бочки, въ которую выльетъ это ведро, то тяжело вздохнуть и еле выговорить: «ухъ, батюшки!» Не то Варвара: коромысло ее не гнететъ. Это вы видите и чувствуете неотразимо; оно не рѣжетъ ей плеча, а лежитъ просто такъ, какъ будто это принадлежность костюма, будто украшеніе для Варвары, безъ котораго Варвара была бы некрасива... Она идетъ стройно, легко; стройно и легко одна рука ея лежитъ на коромыслѣ, а другая упирается въ край ведра, удерживая его въ равновѣсіи съ другимъ ведромъ. Вода въ ведрахъ не плещется, лежитъ смирно, слушается Варвары, точно знаетъ, кто несетъ. Не такъ, какъ баба-работница, Варвара и выльетъ воду въ кадку, не такъ она и коромысло съ ведрами спуститъ съ плечъ—все не такъ, какъ у работницы. А главное—не устаетъ! Не спѣшитъ, и не торопится, а легка во всемъ, и всегда опять-таки несокрушимо радужна.

Сунетъ ей какъ-нибудь на ходу жена Демьяна Ильича двухгодовалого мальчишку—и тутъ Варвара немедленно найдетъся, немедленно скажетъ что-нибудь мальчишкѣ, или сдѣлаетъ что-нибудь такое, отчего онъ притихнетъ, хоть и ревѣлъ до сихъ поръ благимъ матомъ. Мало того, какъ-то «сама-собою» она отлично

поймать состояніе его души и потрафить ему словомъ или дѣломъ безъ всякаго усилія. Сунула однажды ребенка жена Демьяна Ильича на руки какому-то солдату, тотъ взялъ его и, чтобъ позабавить, запѣлъ басомъ: «Благочестіе-вѣйшаго...» Ребенокъ такъ и залился; захрипѣлъ, задохнулся, закатился... Варвара бросила палку, которой гнала свинью, подскочила, выхватила ребенка, заговорила что-то про зайчика, про птичку: «Вотъ, поймаетъ его, вонъ-вонъ поймаетъ», и сразу утѣшила парнишку.

— Дуракъ ты этакой!—сказала она солдату (который, однако, только улыбнулся отъ этой брани),—заготовилъ какъ жеребецъ... Вѣдь ребенокъ всю ночь не заснетъ отъ твоего ржанья... Теперь ночь, а на ночь ему надо веселое рассказывать... Дуракъ горластый!

И опять солдату стало отъ брани только весело... Такой ужъ духъ веселый былъ въ Варварѣ.

Или было еще такое дѣло. Былъ у насъ быкъ, съ которымъ сладу не было. Загнать его вечеромъ въ хлѣвъ—это было дѣло весьма серьезное. Пастухъ отказался пгги на быка въ одиночку, и поэтому въ загонѣ быка обыкновенно принимала участіе вся артель рабочихъ, которая къ вечеру, къ приходу съ поля скотины, обыкновенно возвращалась домой. Каждый вечеръ посреди двора Демьяна Ильича шла чистая война. Со всѣхъ сторонъ въ быка летѣли палки, куски бревенъ, камни, кирпичи и т. д. Но обыкновенно ничто это не дѣйствовало на быка; раскачивая задомъ и уставившись на враговъ, онъ не трогался съ мѣста. Пробовали даже стрѣлять ему въ морду холостыми зарядами, ничего! Иной возьметъ длинную жердь и со всего размаха ударить ею быка между рогъ, или по спинѣ, но опять-таки ничего. Точно газетой, свернутой въ трубку, ударили это чудовище—стоитъ, злится, но ничего не чувствуетъ. Эта несокрушимость къ ударамъ обыкновенно ожесточала воевавшихъ съ быкомъ людей. Необходимость «загнать» быка превращалась въ настоящую вражду; начинали слышаться покрикиванія, въ которыхъ звучала страшная злость, глубокое ожесточеніе. Иные, не вытерпѣвъ, выходили на единоборство, рискуя быть посаженными на рога. Словомъ, быкъ каждый вечеръ разстраивалъ на нѣкоторое время всю артель, а иныхъ ожесточалъ, и засыпали они не съ добрымъ чувствомъ на душѣ. Но въ одну изъ такихъ битвъ подоспѣла откуда-то Варвара, и какъ-то мимоходомъ, безъ оранья и крика, и безъ страха и злости, какъ-то такъ съѣздила быка сзади, что онъ какъ сумасшедшій бросился бѣжать, сразу потерявъ все свое грозное величіе. Вышло это такъ какъ-то легко и просто, что вмѣсто криковъ, палокъ и каменьева, словомъ,—вмѣсто ожесточенія, злыхъ звуковъ, всѣ отъ мала и до велика покатались со смѣху и весь вечеръ хохотали до упаду. Тутъ-то и открыли секретъ, что его надо колотить сзади, а глупые мужичонки дрались съ нимъ «крыломъ къ крылу». Нечего сказать, нашли товарища! А сзади-то онъ не видитъ, что дѣлается, можетъ-быть тамъ, чортъ знаетъ, что происходитъ, и изъ льва рыкающаго превращается въ зайца...

И вездѣ Варвара вносила въ среду рабочихъ ощущеніе какой-то «легкости на душѣ». Именно *легче* становилось при Варварѣ и работать, и жить вообще. Хотя она для этого ни словъ ласковыхъ не говорила и, вообще, ни капли объ этомъ не старалась, ибо она уничтожала собою всякое представленіе о трудѣ, трудности, усиліи. Она *просто жила такъ*; ей было легко жить и съ граблями, и съ ведрами, и на покосѣ, и на жнивѣ.

Г. Успенскій.

Русская женщина.

Есть женщины въ русских селеньяхъ
Съ спокойною важностью лицъ,
Съ красивою силой въ движеньяхъ,
Съ походкой, со взглядомъ царицъ,—

Ихъ развѣ слѣпой не замѣтитъ,
А зрячій о нихъ говоритъ:
«Пройдетъ—словно солнце освѣтитъ!
Посмотритъ — рублемъ подаритъ!»

Идутъ онѣ той же дорогой,
Какой весь народъ нашъ идетъ,
По грязи обстановки убогой
Къ нимъ словно не липнетъ. Цвѣтетъ

Красавица, міру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одеждѣ красива,
Во всякой работѣ ловка!

И голодъ, и холодъ выносить,
Всегда терпѣлива, равна...
Я видывалъ, какъ она коситъ:
Что взмахъ — то готова копна!

Платокъ у ней на ухо сбился,
Того-гляди косы падутъ.
Какой-то парнекъ изловчился
И вверху подбросилъ ихъ, шутъ!

Тяжелыя русыя косы
Упали на смуглую грудь,
Покрыли ей ноженьки босы,
Мѣшаютъ крестьянкѣ взглянуть.

Она отвела ихъ руками,
На парня сердито глядитъ.
Лицо величаво, какъ въ рамѣ,
Смущеньемъ и гнѣвомъ горитъ...

По буднямъ не любитъ бездѣлья.
Зато вамъ ее не узнать,
Какъ стонитъ улыбка веселья
Съ лица трудовую печать.

Такого сердечнаго смѣха
И пѣсни, и пляски такой
За деньги не купишь. «Утѣха!»
Твердятъ мужики межъ собой.

Въ игрѣ ея конный не словить,
Въ бѣдѣ не сробѣетъ,— спасетъ:
Коня на скаку остановить,
Въ горящую избу войдетъ!

Красивые, ровные зубы,
Что крупные перлы у ней,
Но строго румяныя губы
Хранятъ ихъ красу отъ людей —

Она улыбается рѣдко...
Ей некогда ласы точить,
У ней не рѣшится сосѣдка
Ухвата, горшка попросить;

Не жалокъ ей нищій убогой —
Вольно жъ безъ работы гулять!
Лежитъ на ней дѣльности строгой
И внутренней силы печать.

Въ ней ясно и крѣпко сознанье,
Что все ихъ спасенье въ трудѣ,
И трудъ ей несетъ воздаянье:
Семейство не бьется въ нуждѣ,

Всегда у нихъ теплая хата,
Хлѣбъ выпеченъ, вкусенъ квасокъ,
Здоровы и сыты ребята,
На праздникъ есть лишній кусокъ.

Идетъ эта баба къ обѣднѣ
Предъ всею семьей впереди;
Сидитъ, какъ на стулѣ, двухлѣтній
Ребенокъ у ней на груди,

Рядкомъ шестилѣтняго сына
Нарядная matka ведетъ...
И по сердцу эта картина
Всѣмъ любящимъ русскій народъ!

Н. Некрасовъ.



Макаръ.

Это былъ тотъ самый Макаръ, на котораго, какъ извѣстно, валялся всѣ шипшн.

Его родина — глухая слободка Чалганъ — затерялась въ далекой якутской тайгѣ. Отцы и дѣды Макара отвоевали у тайги кусокъ промерзшей земли, и хотя угрюмая чаща все еще стояла вокругъ враждебной стѣной, они не унывали. По расчищенному мѣсту побѣжали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькія дымныя юртенки; наконецъ, точно побѣдное знамя, на холмикѣ изъ середины поселка выстрѣлила къ небу колокольня. Сталъ Чалганъ большою слободой.

По пока отцы и дѣды Макара воевали съ тайгой, жгли ее огнемъ, рубили желѣзомъ, сами они незамѣтно дичали. Женись на якуткахъ, они перенимали якутскій языкъ и якутскіе нравы. Характеристическія черты великаго русскаго стирались и исчезали.

Какъ бы то ни было, все же мой Макаръ твердо понималъ, что онъ коренной чалганскій крестьянинъ. Онъ здѣсь родился, здѣсь жилъ, здѣсь же предполагалъ умереть. Онъ очень гордился своимъ званіемъ и иногда ругалъ другихъ «погаными якутами», хотя, правду сказать, самъ не отличался отъ якутовъ ни привычками, ни образомъ жизни. По-русски онъ говорилъ мало и довольно плохо, одѣвался въ звѣриныя шкуры, носилъ на ногахъ «торбасъ», питался въ обычное время одною лепешкой съ настоемъ кирпичнаго чая, а въ праздники и въ другихъ экстренныхъ случаяхъ съѣдалъ топленнаго масла именно столько, сколько стояло передъ нимъ на столѣ. Онъ ѣздилъ очень искусно верхомъ на быкахъ, а въ случаѣ болѣзни призывалъ шамана, который, бѣснуясь, со скрежетомъ кидался на него, стараясь испугать и выгнать изъ Макара заѣвшую хворь.

Работалъ онъ страшно, жилъ бѣдно, терпѣлъ голодь и холодъ. Были ли у него какія-нибудь мысли, кромѣ непрестанныхъ заботъ о лепешкѣ и чаѣ? — Да, были.

Когда онъ бывалъ пьянъ, онъ плакалъ. «Какая наша жизнь, — говорилъ онъ, — Господи Боже!» Кромѣ того, онъ говорилъ иногда, что желалъ бы все бросить и уйти на «гору». Тамъ онъ не будетъ ни пахать, ни сѣять, не будетъ рубить и возить дрова, не будетъ даже молотъ зерно на ручномъ жерновѣ. Онъ будетъ только спасаться. Какая это гора, гдѣ она, онъ точно не зналъ; зналъ только, что гора эта есть, во-первыхъ, а во-вторыхъ, что она гдѣ-то далеко, — такъ далеко, что оттуда его нельзя будетъ добыть самому тойону — исправнику... Податей платить, понятно, онъ также не будетъ...

Трезвый очъ оставлялъ эти мысли, быть-можетъ, сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнѣе. Онъ допускалъ, что можетъ не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», говорилъ онъ, но все-таки собирался; если же не приводилъ этого намѣренія въ исполненіе, то, вѣроятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоящую, для крѣпости, на махоркѣ, отъ которой онъ вскорѣ впадалъ въ безсилье и становился боленъ.

В. Короленко.





2. Городское простонародье и пролетариатъ.

Петровъ.

Знакомства мои начались сами собою. Изъ первыхъ сталъ посѣщать меня арестантъ Петровъ. Я говорю *посѣщать*, и особенно назираю на это слово. Петровъ жилъ въ особомъ отдѣленіи и въ самой отдаленной отъ меня казармѣ. Связей между нами, повидимому, не могло быть никакихъ; общаго тоже рѣшительно ничего у насъ не было и быть не могло. А между тѣмъ въ это первое время Петровъ какъ будто обязанностью почиталъ чуть не каждый день заходить ко мнѣ въ казарму или останавливать меня въ шабашное время, когда, бывало, я хожу за казармами, по возможности подальше отъ всѣхъ глазъ. Мнѣ сначала было это неприятно. Но онъ какъ-то такъ умѣлъ сдѣлать, что вскорѣ его посѣщенія даже стали развлекать меня, несмотря на то, что это былъ вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый человекъ. Съ виду былъ онъ не высокаго роста, сильнаго сложенія, ловкій, вертлявый, съ довольно пріятнымъ лицомъ, блѣдный, съ широкими скулами, съ смѣлымъ взглядомъ, съ бѣлыми, частыми и мелкими зубами и съ вѣчной щепотью тертаго табаку за нижней губой. Класть на губу табакъ было въ обычаѣ у многихъ каторжныхъ. Онъ казался моложе своихъ лѣтъ. Ему было лѣтъ сорокъ, а на видъ только тридцать. Говорилъ онъ со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держалъ себя въ высшей степени на ровной ногѣ, то-есть чрезвычайно порядочно и деликатно. Если онъ замѣчалъ, на примѣръ, что я ищу уединенія, то, поговоривъ со мной минуты двѣ, тотчасъ же оставлялъ меня и каждый разъ благодарилъ за вниманіе, чего, разумѣется, не дѣлалъ никогда и ни съ кѣмъ изъ всей каторги. Любопытно, что такія же отношенія продолжались между нами не только въ первые дни, но и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду и почти никогда не становились короче, хотя онъ дѣйствительно былъ мнѣ преданъ. Я даже и теперь не могу рѣшить: чего именно ему отъ меня хотѣлось, зачѣмъ онъ лѣзъ ко мнѣ каждый день? Хоть ему и случалось воровать у меня впоследствии, но онъ воровалъ какъ-то *нечаянно*; денегъ же почти никогда у меня не просилъ, слѣдственно, приходилъ вовсе не за деньгами или за какимъ-нибудь интересомъ.

Не знаю тоже почему, но мнѣ всегда казалось, что онъ какъ будто вовсе не жилъ вмѣстѣ со мною въ острогѣ, а гдѣ-то далеко, въ другомъ домѣ, въ городѣ, и только посѣщалъ острогъ мимоходомъ, чтобъ узнать новости, провѣдать меня, посмотрѣть, какъ мы всѣ живемъ. Всегда онъ куда-то спѣшилъ, точно гдѣ-то кого-то оставилъ и тамъ ждутъ его, точно гдѣ-то что-то не додѣлалъ. А между тѣмъ какъ будто и не очень суетился. Взглядъ у него тоже былъ

какой-то странный: пристальный, съ отбѣнкомъ смѣлости и нѣкоторой насмѣшки, но глядѣлъ онъ какъ-то вдаль, черезъ предметъ: какъ будто изъ-за предмета, бывшаго передъ его носомъ, онъ старался рассмотреть какой-то другой, подальше. Это придавало ему разсѣянный видъ. Я нарочно смотрѣлъ иногда: куда пойдетъ отъ меня Петровъ? Гдѣ это его такъ ждуть? Но отъ меня онъ торопливо отправлялся куда-нибудь въ казарму или въ кухню, садился тамъ подлѣ кого-нибудь изъ разговаривающихъ, слушалъ внимательно, иногда и самъ вступалъ въ разговоръ, даже очень горячо, потомъ вдругъ какъ-то оборвется и замолчитъ. Но говорилъ ли онъ, сидѣлъ ли молча, а все-таки видно было, что онъ такъ только мимоходомъ, что гдѣ-то тамъ есть дѣло, и тамъ его ждуть. Страннѣе всего то, что дѣла у него не было никогда никакого; жилъ онъ въ совершенной праздности (кромѣ казенныхъ работъ, разумѣется). Мастерства никакого не зналъ, да и денегъ у него почти никогда не водилось. Но онъ и объ деньгахъ немного горевалъ. И о чемъ онъ говорилъ со мной? Разговоръ его бывалъ такъ же странный, какъ и онъ самъ. Увидитъ, напримѣръ, что я хожу гдѣ-нибудь одинъ за острогомъ, и вдругъ круто поворотить въ мою сторону. Ходилъ онъ всегда скоро, поворачивалъ всегда круто. Придетъ шагомъ, а кажется, будто онъ подбѣжалъ.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я вамъ не помѣшалъ?

— Нѣтъ.

— Я вотъ хотѣлъ васъ про Наполеона спросить. Онъ вѣдь родня тому, что въ двѣнадцатомъ году былъ? (Петровъ былъ изъ кантонистовъ и грамотный.)

— Родня

— Какой же онъ, говорятъ, президентъ?

Спрашивалъ онъ всегда скоро, отрывисто, какъ будто ему надо было какъ можно поскорѣе о чемъ-то узнать. Точно онъ справку наводилъ по какому-то очень важному дѣлу, не терпящему ни малѣйшаго отлагательства.

Я объяснилъ, какой онъ президентъ, и прибавилъ, что, можетъ-быть, скоро и императоромъ будетъ.

— Это какъ?

Объяснилъ я, по возможности, и это. Петровъ внимательно слушалъ, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонивъ въ мою сторону ухо.

— Гмъ... А вотъ я хотѣлъ васъ, Александръ Петровичъ, спросить: правда ли, говорятъ, есть такія обезьяны, у которыхъ руки до пятокъ, а величиной съ самаго высокаго человѣка?

— Да, есть такія.

— Какія же это?

Я объяснилъ, сколько зналъ, и это.

— А гдѣ же онѣ живутъ?

— Въ жаркихъ земляхъ. На островѣ Суматрѣ есть.

— Это въ Америкѣ, что ли? Какъ это говорятъ, будто тамъ люди внизъ головой ходятъ?

— Не внизъ головой. Это вы про антиподовъ спрашиваете.

Я объяснилъ, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Онъ слушалъ такъ же внимательно, какъ будто нарочно прибѣжалъ для однихъ антиподовъ.

— А-а! А вотъ я прошлаго года про графиню Лавальеръ читалъ, отъ адъютанта Арефьевъ книжку приносилъ. Такъ это правда, или такъ только — выдуманно? Дюма сочиненіе.

— Разумѣется, выдуманно.

— Ну, прощайте. Благодарствуйте.

И Петровъ исчезалъ, и въ сущности никогда почти мы не говорили иначе, какъ въ этомъ родѣ.

Я сталъ о немъ справляться. М., узнавши объ этомъ знакомствѣ, даже предостерегалъ меня. Онъ сказалъ мнѣ, что многіе изъ каторжныхъ вселяли въ него ужасъ, особенно сначала, съ первыхъ дней острога, но ни одинъ изъ нихъ не производилъ на него такого ужаснаго впечатлѣнія, какъ этотъ Петровъ.

— Это самый рѣшительный, самый безстрашный изъ всѣхъ каторжныхъ, — говорилъ М. — Онъ на все способенъ; онъ ни передъ чѣмъ не остановится, если ему придетъ капризъ. Онъ и васъ зарѣжетъ, если ему это вздумается, такъ, просто зарѣжетъ, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, онъ не въ полномъ умѣ.

Этотъ отзывъ сильно заинтересовалъ меня. Но М. какъ-то не могъ мнѣ дать отчета, почему ему такъ казалось. И странное дѣло: нѣсколько лѣтъ сряду я зналъ потомъ Петрова, почти каждый день говорилъ съ нимъ; все время онъ былъ ко мнѣ искренно привязанъ (хоть и рѣшительно не знаю за что) — и во всѣ эти нѣсколько лѣтъ, хотя онъ и жилъ въ острогѣ благоразумно и ровно ничего не сдѣлалъ ужаснаго, но я каждый разъ, глядя на него и разговаривая съ нимъ, убѣждался, что М. былъ правъ и что Петровъ, можетъ-быть, самый рѣшительный, безстрашный и не знающій надъ собою никакого принужденія человекъ. Почему это такъ мнѣ казалось, — тоже не могу дать отчета.

Замѣчу, впрочемъ, что этотъ Петровъ былъ тотъ самый, который хотѣлъ убить плацъ-майора, когда его позвали къ наказанію, и когда майоръ «спасся чудомъ», — какъ говорили арестанты, — уѣхавъ передъ самой минутой наказанія. Въ другой разъ, еще до каторги, случилось, что полковникъ ударилъ его на ученіи. Вѣроятно, его и много разъ передъ этимъ били; но въ этотъ разъ онъ не захотѣлъ снести и закололъ своего полковника открыто, среди бѣла дня, передъ развернутымъ фронтомъ. Впрочемъ, я не знаю въ подробности всей его исторіи; онъ никогда мнѣ ея не рассказывалъ. Конечно, это были только вспышки, когда натура объявлялась вдругъ вся, цѣликомъ. Но все-таки онъ были въ немъ очень рѣдки. Онъ дѣйствительно былъ благоразуменъ и даже смиренъ. Страсти въ немъ таились, и даже сильныя, жгучія; но горячіе угли были постоянно посыпаны золою и тлѣли тихо. Ни тѣни фанфаронства или тщеславія я никогда не замѣчалъ въ немъ, какъ, напримѣръ, у другихъ. Онъ ссорился рѣдко, зато и ни съ кѣмъ особенно не былъ друженъ. Разъ, впрочемъ, я видѣлъ, какъ онъ серьезно разсердился. Ему что-то не давали, какую-то вещь; чѣмъ-то обдѣлили его. Спорилъ съ нимъ арестантъ-силачъ, высокаго роста, злой, задира, насмѣшникъ и далеко не трусъ, Василій Антоновъ, изъ гражданскаго разряда. Они уже долго кричали, и я думалъ, что дѣло кончится

много-много что простыми колотушками, потому что Петровъ, хоть и очень рѣдко, но иногда даже дрался и ругался, какъ самый послѣдній изъ каторжныхъ. Но въ этотъ разъ случилось не то: Петровъ вдругъ поблѣднѣлъ, губы его затряслись и посинѣли; дышать сталъ онъ трудно. Онъ всталъ съ мѣста и медленно, очень медленно, своими неслышными, босыми шагами (лѣтомъ онъ очень любилъ ходить босой) подошелъ къ Антонову. Вдругъ, разомъ во всей шумной и крикливой казармѣ всѣ затихли; муху было бы слышно. Всѣ ждали, что будетъ. Антоновъ вскочилъ ему навстрѣчу; на немъ лица не было... Я не вынесъ и вышелъ изъ казармы. Я ждалъ, что еще не успѣю сойти съ крыльца, какъ услышу крикъ зарѣзаннаго человѣка. Но дѣло кончилось ничѣмъ и на этотъ разъ; Антоновъ, не успѣвъ еще Петровъ дойти до него, молча и поскорѣе выкинулъ ему спорную вещь. (Дѣло шло о какой-то самой жалкой ветошкѣ, о какихъ-то подвѣткахъ.) Разумѣется, минуты черезъ двѣ Антоновъ все-таки ругнулъ его помаленьку, для очистки совѣсти и для приличія, чтобъ показать, что не совсѣмъ же онъ такъ уже струсилъ. Но на ругань Петровъ не обратилъ никакого вниманія, даже и не отвѣчалъ: дѣло было не въ ругани, и выигралось оно въ его пользу; онъ остался очень доволенъ и взялъ себѣ ветошку. Черезъ четверть часа онъ уже попрежнему слонялся по острогу, съ видомъ совершеннаго бездѣлья и какъ будто искалъ, не заговорятъ ли гдѣ-нибудь о чемъ-нибудь любопытнѣе, чтобъ приткнуться туда и свой носъ и послушать. Его, казалось, все занимало, но какъ-то такъ случалось, что ко всему онъ по большей части оставался равнодушенъ и только такъ слонялся по острогу безъ дѣла, метало его туда и сюда. Его можно было тоже сравнить съ работникомъ, съ дюжимъ работникомъ, отъ котораго затрепичитъ работа, но которому покаместъ не даютъ работы, и вотъ онъ въ ожиданіи сидитъ и играетъ съ маленькими дѣтьми. Не понималъ я тоже, зачѣмъ онъ живетъ въ острогѣ, зачѣмъ не бѣжитъ? Онъ не задумался бы бѣжать, если бы только крѣпко того захотѣлъ. Надъ такими людьми, какъ Петровъ, разсудокъ властвуетъ только до тѣхъ поръ, покаместъ они чего не захотятъ. Тутъ ужъ на всей землѣ нѣтъ препятствія ихъ желанію. А я увѣренъ, что онъ бѣжать сумѣлъ бы ловко, надулъ бы всѣхъ, по недѣлѣ могъ бы сидѣть безъ хлѣба гдѣ-нибудь въ лѣсу или въ рѣчномъ камышѣ. Но, видно, онъ еще не набрелъ на эту мысль и не пожелалъ этого *вполнѣ*. Большого разсужденія, особеннаго здраваго смысла я никогда въ немъ не замѣчалъ. Эти люди такъ и родятся объ одной идеѣ, всю жизнь безсознательно двигающей ихъ туда и сюда; такъ они и мечутся всю жизнь, пока не найдутъ себѣ дѣла *вполнѣ* по желанію; тутъ ужъ имъ и голова нипочемъ. Удивлялся я иногда, какъ это такой человѣкъ, который зарѣзалъ своего начальника за побой, такъ безпрекословно ложится у насъ подъ розги. Его иногда и сѣкли, когда онъ попадался съ виномъ. Какъ и всѣ каторжные безъ ремесла, онъ иногда пускался проносить вино. Но онъ и подъ розги ложился какъ будто съ собственнаго согласія, то-есть какъ будто сознавалъ, что за дѣло; въ противномъ случаѣ ни за что бы не легъ, хоть убей. Дивился я на него тоже, когда онъ, несмотря на видимую ко мнѣ привязанность, обкрадывалъ меня. Находило на него это какъ-то пологамъ. Это онъ укралъ у меня Библію, которую я ему далъ только донести изъ одного мѣста въ другое. Дорога была въ нѣсколько шаговъ, но онъ успѣлъ найти по дорогѣ покупателя, продалъ ее и тотчасъ же пропилъ деньги. Вѣрно, ужъ очень ему пить захотѣлось, а ужъ что очень захотѣлось, то *должно* быть

исполнено. Вотъ такой-то и рѣжетъ человѣка за четвертакъ, чтобъ за этотъ четвертакъ выпить косушку, хотя въ другое время пропустить мимо и съ сотнею тысячъ. Вечеромъ онъ мнѣ самъ и объявилъ о покражѣ, только безъ всякаго смущенія и раскаянія, совершенно равнодушно, какъ о самомъ обыкновенномъ приключеніи. Я было пробовалъ хорошенько его побранить; да и жалко мнѣ было мою Библію. Онъ слушалъ не раздражаясь, даже очень смирно; соглашался, что Библія очень полезная книга, искренно жалѣлъ, что ея у меня теперь нѣтъ, но вовсе не сожалѣлъ о томъ, что укралъ ее; онъ глядѣлъ съ такою самоувѣренностью, что я тотчасъ же и пересталъ браниться. Брань же мою онъ сносилъ, вѣроятно, разсудивъ, что вѣдь нельзя же безъ этого, чтобъ не изругать его за такой поступокъ, такъ ужъ пусть, дескать, душу отведетъ, потѣшится, поругаетъ; но что въ сущности все это вздоръ, такой вздоръ, что серьезному человѣку и говорить-то было бы совѣстно. Мнѣ кажется, онъ вообще считалъ меня какимъ-то ребенкомъ, чуть не младенцемъ, не понимающимъ самыхъ простыхъ вещей на свѣтѣ. Если, наиримѣръ, я самъ съ нимъ о чемъ-нибудь заговаривалъ, кромѣ наукъ и книжекъ, то онъ, правда, мнѣ отвѣчалъ, но какъ будто только изъ учтивости, ограничиваясь самыми короткими отвѣтами. Часто я задавалъ себѣ вопросъ: что ему въ этихъ книжныхъ знаніяхъ, о которыхъ онъ меня обыкновенно разспрашиваетъ? Случалось, что во время этихъ разговоровъ я нѣтъ-нѣтъ, да и посмотрю на него сбоку: ужъ не смѣется ли онъ надо мной? Но нѣтъ; обыкновенно онъ слушалъ серьезно, внимательно, хотя, впрочемъ, не очень, и это послѣднее обстоятельство мнѣ иногда досаждало. Вопросы задавалъ онъ точно, опредѣлительно, но какъ-то не очень дивился полученнымъ отъ меня свѣдѣніямъ и принималъ ихъ даже разсѣянно... Казалось мнѣ еще, что про меня онъ рѣшилъ, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить какъ съ другими людьми, что, кромѣ разговора о книжкахъ, я ни о чемъ не пойму и даже не способенъ понять, такъ что и безконотъ мени нечего.

Я увѣренъ, что онъ даже любилъ меня, и это меня очень поражало. Считалъ ли онъ меня недоросшимъ, неполнымъ человѣкомъ, чувствовалъ ли ко мнѣ то особаго рода состраданіе, которое инстинктивно ощущаетъ всякое сильное существо къ другому, слабѣйшему, признавъ меня за такое, — не знаю. И хоть все это не мѣшало ему меня обворовывать, но, я увѣренъ, и обворовывая онъ жалѣлъ меня. «Эхъ, дескать, — думалъ онъ, можетъ-быть, запуская руку въ мое добро, — что жъ это за человѣкъ, который и за добро-то свое постоять не можетъ!» Но за это-то онъ, кажется, и любилъ меня. Онъ мнѣ самъ сказалъ одинъ разъ, какъ-то нечаянно, что я ужъ «слишкомъ доброй души человѣкъ», и «ужъ такъ вы просты, такъ просты, что даже жалость беретъ. Только вы, Александръ Петровичъ, не примите въ обиду, — прибавилъ онъ черезъ минуту, — я вѣдь такъ, отъ души сказалъ».

Съ такими людьми случается иногда въ жизни, что они вдругъ рѣзко и крупно проявляются и обозначаются въ минуты какого-нибудь крутого, поголовнаго дѣйствія или переворота, и такимъ образомъ разомъ попадаютъ на свою полную дѣятельность. Они не люди слова и не могутъ быть зачинщиками и главными предводителями дѣла; но они главные исполнители его и первые начинаютъ. Начинаютъ просто, безъ особыхъ возгласовъ, но зато первые пере-скакиваютъ черезъ главное препятствіе, не задумавшись, безъ страха, идя прямо

на всѣ ножи, — и всѣ бросаются за ними и идутъ слѣпо, идутъ до самой послѣдней стѣны, гдѣ обыкновенно и кладутъ свои головы. Я не вѣрю, чтобъ Петровъ хорошо кончилъ; онъ въ какую-нибудь одну минуту все разомъ кончитъ, и если не пропалъ еще до сихъ поръ, значитъ, случай его не пришелъ. Кто знаетъ, впрочемъ? Можетъ, и доживетъ до сѣдыхъ волосъ и преспокойно умретъ отъ старости, безъ цѣли слоняясь туда и сюда. Но, мнѣ кажется, М. былъ правъ, говоря, что это былъ самый рѣшительный человѣкъ изъ всей каторги.

Достоевскій.



Максимъ Горькій.

Челкашъ.

I.

Потемнѣвшее отъ поднятой въ гавани пыли голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотритъ въ зеленоватое море, точно сквозь тонкую сѣрую вуаль. Оно не можетъ отразиться въ водѣ, то и дѣло разсѣкаемой ударами веселъ, пароводныхъ винтовъ, острыми киллями турецкихъ фелюгъ и другихъ парусныхъ судовъ, бороздящихъ по всѣмъ направленіямъ тѣсную гавань, въ которой закованные въ гранитъ свободныя волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бьются о борта судовъ, о берега, — бьются и ропшутъ, вспѣнныя ударами, загрязненныя разнымъ хламомъ.

Звонъ якорныхъ цѣпей, грохотъ сѣвильей у вагоновъ, подвозящихъ грузъ, металлическій вопль желѣзныхъ листовъ, откуда-то падающихъ на камень мостовой, глухой стукъ дерева, дребезжаніе извозчичьихъ телѣгъ, свистки пароводовъ, то пронзительно рѣзкіе, то глухо ревущіе, крики грузчиковъ, матросовъ и таможенныхъ солдатъ, — всѣ эти звуки сливаются въ оглушительную симфонію трудового дня и, мятая колыхаясь, стоятъ въ небѣ надъ гаванью, какъ бы боясь всплыть выше и исчезнуть въ немъ. А къ нимъ вздымаются съ земли все новыя и новыя волны — то глухія, рокошующія, онѣ сурово сотрясаютъ все кругомъ, то рѣзкія, гремящія, рвутъ пыльный, знойный воздухъ.

Гранитъ, желѣзо, дерево, мостовая гавани, суда и люди, — все дышитъ мощными звуками бѣшено-страстнаго гимна Меркурію. Но голоса людей, еле

слышны въ немъ, слабы и смѣшны. И сами люди, первоначально родившіе этотъ шумъ, смѣшны и жалки: ихъ фигурки, пыльныя, оборванныя, юркія, согнутыя подъ тяжестью товаровъ, лежащихъ на ихъ спинахъ, суетливо бѣгаютъ то туда, то сюда въ тучахъ пыли, въ морѣ зноя и звуковъ, и такъ они ничтожны, малы по сравненію съ окружающими ихъ желѣзными колоссами, грудами товаровъ, гремящими вагонами и всѣмъ, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило ихъ.

Стоя подъ парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистѣли, то шипѣли, то какъ-то глубоко вздыхали, и въ каждомъ рожденномъ ими звукѣ чудилась насмѣшливая нота проницательнаго презрѣнія къ сѣрымъ, пыльнымъ фигурамъ людей, ползавшихъ по ихъ палубамъ и наполнявшихъ ихъ глубокіе трюмы продуктами своего рабскаго труда. До слезъ смѣшны были длинныя вереницы грузчиковъ, носившихъ на плечахъ своихъ тысячи чудовъ хлѣба въ желѣзные животы судовъ для того, чтобы заработать нѣсколько фунтовъ того же хлѣба для своего желудка. Рваные, потные, отупѣвшіе отъ усталости, шума и зноя люди и могучія, блестящія на солнцѣ дородствомъ и безмятежностью, машины, созданныя этими людьми, — машины, которыя, въ концѣ-концовъ, приводились въ движеніе все-таки не паромъ, а мускулами и кровью своихъ творцовъ... въ этомъ сопоставленіи была цѣлая поэма жестокой и холодной пропіи.

Шумъ подавлялъ, пыль, раздражая ноздри, слѣпила глаза, зной нектѣло и изнурялъ его, и все кругомъ казалось напряженнымъ, назрѣвшимъ, теряющимъ терпѣніе, готовымъ разразиться какой-то грандіозной катастрофой, взрывомъ, за которымъ въ освѣженномъ имъ воздухѣ будетъ дышаться свободно и легко, на землѣ воцарится тишина, а этотъ пыльный шумъ, оглушительный, раздражающій, доводящій до тоскливаго бѣшенства, исчезнетъ, и въ городѣ, на морѣ, въ небѣ станетъ тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человѣкъ еще не усталъ надѣяться на лучшее и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ...

Раздалось двѣнадцать мѣрныхъ и звонкихъ ударовъ въ колоколъ. Когда послѣдній мѣдный звукъ замеръ, дикая музыка труда уже звучала тише почти наполовину. Черезъ минуту еще она превратилась въ глухой недовольный ропотъ. Теперь голоса людей и плескъ моря стали слышнѣй. Это — наступило время обѣда.

II.

Когда грузчики, бросивъ работать, разсыпались по всей гавани, шумными группами, покупая себѣ у торговцевъ разную снѣдь и усаживаясь обѣдать тутъ же на мостовой, въ тѣнистыхъ уголкахъ, среди нихъ появился Гришка Челкашъ, старый травленный волкъ, хорошо знакомый гаванскому люду, какъ заядлый пьяница и ловкій, смѣлый воръ. Онъ былъ босъ, въ старыхъ, вытертыхъ плисовыхъ штанахъ, безъ шанки, въ грязной ситцевой рубахѣ съ разорваннымъ воротомъ, открывавшимъ его подвижныя, сухія и угловатыя кости, обтянутыя коричневой кожей. По всклокоченнымъ чернымъ съ просѣдью волосамъ и смятому, острому, хищному лицу было видно, что онъ только что проснулся. Въ одномъ буромъ усѣ у него торчала соломина, другая соломина запуталась въ щетинѣ лѣвой бритой щеки, а за ухо онъ заткнулъ себѣ маленькую, только что сорванную вѣтку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, онъ медленно шагаль по

камнямъ и, поводя своимъ горбатымъ, хищнымъ носомъ, кидалъ вокругъ себя острые взгляды, поблескивая холодными сѣрыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиковъ. Его бурые усы, густые и длинные, то и дѣло вздрагивали, какъ у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цѣпкими пальцами. Даже и здѣсь, среди сотенъ такихъ же, какъ онъ, рваныхъ и рѣзкихъ босяцкихъ фигуръ, онъ сразу обращалъ на себя вниманіе своимъ сходствомъ съ степнымъ ястребомъ своей хищной худобой и этой прицѣливающейся походкой, плавной и покойной съ виду, но внутренне возбужденной и зоркой, какъ летъ той хищной птицы, которую онъ напоминалъ.

Когда онъ поравнялся съ одной изъ группъ босяковъ-грузчиковъ, расположившихся въ тѣни подъ грудой корзинъ съ углемъ, ему навстрѣчу всталъ коренастый малый съ глухимъ, въ багровыхъ пятнахъ лицомъ и поцарапанной шеей, должно-быть, недавно избитый. Онъ всталъ и пошелъ рядомъ съ Челкашемъ, вполголоса говоря:

— Флотскіе двухъ мѣстъ мануфактуры хватились... Ищутъ. Слышь, Гришка?

— Ну? — спросилъ Челкашъ, спокойно смѣривъ его глазами.

— Чего — ну? Ищутъ, молъ. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтобъ помочь поискать?

И Челкашъ съ острой улыбкой посмотрѣлъ туда, гдѣ возвышался пакгаузъ Добровольнаго флота.

— Пошелъ инъ къ чорту!

Товарищъ повернулъ назадъ.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасилъ? Ишь какъ испортили вывѣску-то... Мишку не видалъ здѣсь?

— Давно не видалъ! — крикнулъ тотъ, уходя къ своимъ товарищамъ.

Челкашъ пошелъ дальше, встрѣчаемый всѣми, какъ человѣкъ хорошо знакомый. Но онъ, всегда веселый и ѣдкій, былъ сегодня, очевидно, не въ духѣ и отвѣчалъ на разпросы отрывисто и рѣзко.

Откуда-то изъ-за бунта товара вывернулся таможенный сторожъ, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Онъ загородилъ дорогу Челкашу, вставъ передъ нимъ въ вызывающей позѣ, схватившись лѣвой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за воротъ.

— Стой! Куда идешь?

Челкашъ отступилъ шагъ назадъ, поднялъ глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служиваго пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглымъ, багровымъ, двигало бровями, тарашило глаза, и было очень смѣшно.

— Сказано тебѣ — въ гавань не смѣй ходить, рѣбра изломаю! А ты опять? — грозно кричалъ сторожъ,

— Здравствуй, Семенычъ! Мы съ тобой давно не видалсь, — спокойно поздоровался Челкашъ и протянулъ ему руку.

— Хоть бы вѣкъ тебя не видать! Иди, иди!

Но Семенычъ все-таки пожалъ протянутую руку.

— Вотъ что скажи, — продолжалъ Челкашъ, не выпуская изъ своихъ цѣпкихъ пальцевъ руки Семеныча и пріятельски-фамиллярно потрахиывая ее, — ты Мишку не видалъ?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошелъ, братъ, вонъ! а то пакгаузный увидить, онъ те...

— Рыжого, съ которымъ я прошлый разъ работалъ на «Костромѣ», — стоялъ на своемъ Челкашъ.

— Съ которымъ воруюсь вмѣстѣ, вотъ какъ скажи! Въ больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдало чугунной штыкой. Поди, братъ, пока честью просить, поди, а то въ шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь вотъ. Ты его же такой сердитый, Семенычъ?..

— Вотъ что, Гришка, ты мнѣ зубы не заговаривай, а иди!..

Сторожъ началъ сердиться и, оглядываясь по сторонамъ, пытался вырвать свою руку изъ крѣпкой руки Челкаша: Челкашъ спокойно поглядывалъ на него изъ-подъ своихъ густыхъ бровей, улыбался себѣ въ усы и, не отпуская его руки, продолжалъ разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вотъ наговорюсь съ тобой вдосталь и уйду. Ну, рассказывай, какъ живешь?.. Жена, дѣтки — здоровы? — И злоѣще сверкая глазами, онъ, оскаливъ зубы насмѣшливой улыбкой, добавилъ: — Въ гости къ тебѣ собираюсь, да все времени нѣтъ — пью все вотъ...

— Ну... ну... ты это брось!.. Ты... не шути, дьяволъ костлявый! Я братъ, въ самомъ дѣлѣ... Али ты ужъ по домамъ, по улицамъ грабить собираешься?

— Зачѣмъ? И здѣсь на нашъ съ тобой вѣкъ добра хватить. Ей Богу, хватить, Семенычъ! Ты, слышь, опять два мѣста мануфактуры слямзилъ?.. Смотри, Семенычъ, осторожнѣй, не понадишься какъ-нибудь!

Возмущенный нахальствомъ Челкаша, Семенычъ весь затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкашъ отпустилъ его руку и спокойно зашагалъ длинными ногами назадъ къ воротамъ гавани. Сторожъ, неистово ругаясь, двинулся за нимъ.

Челкашъ повеселѣлъ; онъ тихо посвистывалъ сквозь зубы и, засунувъ руки въ карманы штановъ, шелъ медленной походкой свободного человѣка, отпуская направо и налево колкіе смѣшки и шутки. Вслѣдъ ему платили тѣмъ же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то какъ тебя оберегаетъ! — крикнулъ кто-то изъ толпы грузчиковъ, уже пообѣдавшихъ и валявшихся на землѣ, отдыхая.

— Я — босый, ну, такъ вотъ Семенычъ слѣдитъ, какъ бы мнѣ ногу не напороть, — отвѣтилъ Челкашъ.

Подшли къ воротамъ. Два солдата ошупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

— Не пускайте вы его! — крикнулъ Семенычъ, оставшійся во дворѣ гавани.

Челкашъ перешелъ черезъ дорогу и сѣлъ на тумбочку противъ дверей кабака. Изъ воротъ гавани съ грохотомъ выѣзжала вереница нагруженныхъ телѣгъ. Навстрѣчу имъ неслась порожняя телѣга съ извозчиками, подирыгивавшими на нихъ. Гавань изрыгала воющій громъ и бѣлую пыль...

М. Горькій.

П е р е п у т ь е.

До чего ты, моя молодость,
Довела меня, замыкала, —
Что ужь шагу ступить некуда,
Въ свѣтъ бѣломъ стало тѣсно мнѣ!

Что жъ теперь съ тобой, удалая,
Пригадемъ мы, придумаемъ?
Въ чужихъ людяхъ вѣкъ домаять ли?
Сидя дома ли состарѣться?

По людямъ ходить, за море плыть —
Надо кровь опять горячую,
Надо силу — силу прежнюю,
Надо волю безотмѣнную...

А у насъ съ тобой давно ихъ нѣтъ;
Мы, гуляя, все потратили,
Молодую жизнь до времени,
Какъ попало — такъ и прожили!

З а б и т а я.

Мало-по-малу Иванъ Алексѣевичъ¹⁾ сталъ рѣже показываться въ «растеряевской округѣ» и, повидимому, переселился въ мѣстности болѣе отдаленныя и глухія, глубоко сожалѣя о своихъ растеряевскихъ и томилинскихъ паціентахъ, нечаянныя встрѣчи съ которыми почиталъ за истинное счастье.

А встрѣчи эти иногда бывали.

Такъ онъ шелъ однажды по большой городской улицѣ; дѣло происходило въ субботу и по тротуарамъ валилъ народъ: шли ко всеобщей, въ баню, изъ бани; мастеровые спѣшили за расчетомъ, несли самовары, ружья и револьверы.

— Иванъ Алексѣевъ! — окликнулъ кто-то Хрипушина.

Хрипушинъ обернулся и увидѣлъ Семена Иваныча Толоконникова: онъ возвращался изъ бани.

— Какими судьбами? — воскликнули оба друга разомъ, пытливо оглядывая одинъ другого.

— Ахъ, батюшка, Семенъ Иванычъ! А? Сколько лѣтъ не видались-то? Какая перемѣна!

— Перемѣнишься, братъ!

— Ей Бо-огу! Ну, какъ же Господь милуетъ васъ?..

— Ничего, помаленьку. Ты-то какъ?

— Что мы! Наше дѣло тѣфу! Вы какъ поживаете?

¹⁾ Иванъ Алексѣевичъ Хрипушинъ занимался лѣченіемъ въ кругу зажиточнаго престолярства въ одномъ губернскомъ городѣ (въ Растеряевской и Томилинской уличахъ), хотя о медицинѣ не имѣлъ никакого понятія.

— Славу Богу. Слышалъ, али нѣтъ?

— Что такое?

— Женился!

— Семенъ Иванычъ?

— Я!

Хрипушинъ отскочилъ въ сторону, вытаращивъ глаза.

— Вы? Женились?

— Я, я! Чего ты ошетинился-то?.. Пойдемъ-ко! Какая жена-то!

Хрипушинъ долго не могъ опомниться. Семенъ Иванычъ, идя рядомъ съ медикомъ, рассказывалъ ему исторію женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившаго послѣ смерти сорокъ десятинъ земли въ приданое двумъ дочерямъ; одной изъ нихъ было въ то время двадцать четыре года, другой — шестнадцать; первая была крайне безобразна лицомъ и только пугала жениховъ, вслѣдствіе чего заслужила ненависть матери. Умирая, отецъ начерталъ въ духовномъ завѣщаніи, въ видахъ обезпеченія старшей дочери, слѣдующее: «Младшая можетъ выйти только тогда, когда выйдетъ старшая, въ противномъ случаѣ она лишается двадцати десятинъ земли, а старшей достаются всѣ сорокъ». Отецъ думалъ, что подобнымъ маневромъ онъ не заставитъ старшую дочь сидѣть въ дѣвкахъ, потому что если она оттолкнетъ жениха физіономіей, то притянетъ его землей. Младшая же можетъ выйти и по любви: она молода и недурна. Но этотъ маневръ на дѣлѣ осуществился иначе: старшая дочь была до того безобразна, что никакія сорокъ десятинъ не могли побѣдить отвращенія жениховъ; младшую же не брали, боясь остаться совсѣмъ безъ земли, что не было особенно привлекательно. Изъ всего этого вышло то, что, кромѣ отвращенія и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушилось отвращеніе и злоба молоденькой сестры. Старой дѣвой помыкали, какъ тряпкой; ей не было покою ни днемъ, ни ночью отъ упрековъ матери и сестры. Чтобы хоть какъ-нибудь побѣдить отвращеніе и презрѣніе родныхъ, Марья работала за семерыхъ: мыла полы, стирала бѣлье, ставила самовары, доила коровъ и проч. Но и это не спасало ея отъ семейнаго презрѣнія. Въ такомъ видѣ предстала она глазамъ Семена Иваныча.

Когда Толокошниковъ, рассказывая исторію женитьбы, дошелъ до изображенія достоинствъ жены, то остановился на тротуарѣ и громко воскликнулъ надъ самымъ ухомъ Хрипушина:

— Такъ настращена, такъ настращена, Боже защити!

Медикъ робко поглядѣлъ на Семена Иваныча и увидѣлъ, что отвѣтить надо такъ:

— Что жъ? Слава Богу!..

— То-есть вотъ какъ: ни-ни-ни!

— Слава Богу!—повторилъ Хрипушинъ.—Ей-ей!

Затѣмъ, въ доказательство «настращенности» жены, Семенъ Иванычъ рассказалъ, что во все время его сватовства тепенершняя жена его цѣловала у него руки.

— Позвольте попросить у васъ воды, скажешь иной разъ ей,—рассказывалъ Толокошниковъ.—Тую же минуту несешь воду и чмокъ въ руку!.. Каково?

— Чудесно!—бормоталъ Хрипушинъ.

Скоро они пришли къ воротамъ квартиры Семена Иваныча.

— Иванъ Алексѣевъ! — сказалъ онъ шопотомъ, держась за кольцо калитки, — ты погляди-ко вотъ, что я тебѣ говорилъ... какъ напугана-то!..

— Съ великимъ удовольствіемъ!

Едва только шаги Семена Иваныча раздались въ передней, какъ изъ соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свѣчкой въ рукѣ.

— Вотъ жена! — сказалъ Толоконниковъ.

Хрипушинъ засвидѣтельствовалъ почтеніе.

Жена Толоконникова была существо истинно жалкое; вся фізіономія ея носила слѣды какого-то нечеловѣческаго утомленія и ужаса, который громадностью своихъ размѣровъ не давалъ возможности обратить вниманія на ея безобразіе. Человѣкъ, впервые попавшій въ Томилинскую улицу, — словомъ, человѣкъ свѣжій, при взглядѣ на эту женщину, неминуемо долженъ былъ чувствовать боль въ сердцѣ и глубокую грусть; но томилинецъ, и на этотъ разъ Семень Иванычъ, засіялъ, какъ солнце, когда увидѣлъ, что Хрипушинъ раздѣляетъ его мысли. Съ какимъ-то удовольствіемъ подставилъ онъ женѣ спину, для того чтобы она сняла шинель, и изъ снисходительности не допустилъ ее снять съ себя калоши, къ которымъ она было уже бросилась.

— Самоваръ! — крѣтко и нѣжно проиѣлъ притворяющійся звѣрь, входя въ комнату.

Жена мгновенно исчезла въ кухню.

— Видѣлъ? — шепнулъ хозяинъ гостю.

— То-есть, вотъ какъ: лучше не надо!

— А?

— Золото! Какъ есть золото!

— Что еще будетъ! Ты погляди-ко!

Самоваръ явился мгновенно. Жена Семена Иваныча съ тѣмъ же испугомъ суежилась около чашекъ и ложекъ. Мужъ съ удовольствіемъ поглядывалъ на этотъ испугъ. Наконецъ онъ, не торопясь, опустился на диванъ и, мигнувъ Хрипушину, произнесъ:

— Мааш-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

— А что я тебѣ сегодня сказалъ?..

Семень Иванычъ подмигивалъ Хрипушину и указывалъ головою на жену, которая безумными глазами бѣгала по стѣнамъ, очевидно, торопясь что-то вспомнить...

— Я... Семень Иванычъ... все...

— Что я сказалъ?

Знакомая намъ сцена тянулась мучительно долго. Наконецъ, когда зрители увидѣли, что бѣдная женщина окончательно выбилась изъ силъ, Семень Иванычъ подозвалъ ее къ себѣ и сурово произнесъ:

— Гребешокъ! Я сказалъ: «приду изъ бани, чтобы гребешокъ!»

Но жены уже не было въ комнатѣ, она бросилась за гребешкомъ.

— Видѣлъ? — произнесъ хозяинъ.

— Самъ Богъ вамъ посылаетъ! Истинно: слава Богу!

Семень Иванычъ былъ доволенъ и тѣшился заботостью жены до усталости. Всѣ эти сцены были закончены угощеніемъ, устроеннымъ хозяиномъ ради того, чтобы показать жену въ новомъ свѣтѣ, со стороны хозяйственной.

Такие маневры Семенъ Ивановичъ устраивалъ передъ всѣми своими знакомыми, которыми въ послѣднее время обзавелся; знакомые эти были: почтальонъ, мучной лавочникъ и дьяконъ. Всѣ они хвалили Семена Ивановича за его умѣнье обращаться съ женой.

Встрѣча Хрипушина съ Толоконниковымъ доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна — жена Семена Ивановича. Зная, что женскій полъ въ отсутствіе мужей гораздо свободнѣе и предупредительнѣе, медикъ являлся къ ней по утрамъ, когда Семенъ Ивановичъ бывалъ на службѣ. Убѣжденіе въ предупредительности женщины не обманывало медика, и онъ всегда получалъ отъ Марьи Филипповны водку. Съ своей стороны, подобною же предупредительностью платилъ хозяйкѣ и Хрипушинъ. Всякій разъ, замѣчая, что при появленіи его Марья Филипповна утираетъ распухшіе отъ слезъ глаза, медикъ заботливо спрашивалъ:

— Али чѣмъ больны?

— Нѣтъ, Иванъ Алексѣевичъ, — это такъ,

— Какъ же такъ-то?

— Скучно!..

— О чемъ же скучать изволите?

— Да такъ... просто... скучно сдѣлалось!

— Гмъ!..

— Съ родными не видалась давно... вспомнила, ну и...

— Такъ, такъ... Да вы, Марья Филипповна, вотъ какъ: вы позвольте мнѣ хоть двадцать-то пять копеекъ... Я вамъ сварю одну примочку!

Хрипушинскія примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазахъ Марьи Филипповны: ей было о чемъ плакать. Впрочемъ, Семена Ивановича она не винила въ своихъ слезахъ: она чувствовала, что обязана ему свободой отъ презрѣнія родныхъ.

Г. Успенскій.

Б а р г а м о т ъ.

Было бы несправедливо сказать, что природа обидѣла Ивана Акинѣича Бергамотова, въ своей официальной части именовавшагося «городовой, бляха № 20», а въ неофициальной попросту «Баргамотовъ». Обитатели одной изъ окраинъ губернскаго города Орла, въ свою очередь, по отношенію къ мѣсту жительства называвшіеся пушкарями (отъ названія Пушкарной улицы), а съ духовной стороны характеризовавшіеся прозвищемъ «пушкарі — проломленные головы», давая Ивану Акинѣичу это имя, безъ сомнѣнія, не имѣли въ виду свойствъ, присущихъ столь нѣжному и деликатному плоду, какъ бергамотъ. По своей виѣшности «Баргамотъ» скорѣе напоминалъ мастодонта, или вообще одно изъ тѣхъ милыхъ, но погибшихъ созданій, которыя, за недостаткомъ помѣщенія, давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людшками. Высокій, толстый, сильный, громогласный, Баргамотъ составлялъ на полицейскомъ горизонтѣ видную фигуру, и давно, конечно, достигъ бы извѣстныхъ степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стѣнами, не была погружена въ богатырскій сонъ. Виѣшнія впечатлѣнія, проходя въ душу Баргамота черезъ его маленькіе запылившіе глазки, по дорогѣ теряли всю свою остроту и силу и доходили до

мѣста назначенія лишь въ видѣ слабыхъ отзвуковъ и отблесковъ. Человѣкъ съ возвышенными требованіями называлъ бы его кускомъ мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительно, для пушкарей же, наиболѣе заинтересованныхъ въ этомъ вопросѣ лицъ, онъ былъ степеннымъ, серьезнымъ и солиднымъ человѣкомъ, достойнымъ всяческаго почета и уваженія. То, что зналъ Баргамотъ, онъ зналъ твердо. Пусть это была одна инструкція для городскихъ, когда-то съ напряженіемъ всего громаднаго тѣла усвоенная имъ, но зато эта инструкція такъ глубоко засѣла въ его неповоротливомъ мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крѣпкой водкой. Не менѣе прочную позицію занимали въ его душѣ немногія истины, добытыя путемъ житейскаго опыта и безусловно господствовавшія надъ мѣстностью. Чего не зналъ Баргамотъ, о томъ онъ молчалъ съ такой несокрушимой солидностью, что людямъ знающимъ становилось какъ будто немного совѣстно за свое знаніе. А самое главное, — Баргамотъ обладалъ немѣрной силищей, сила же на Пушкарной улицѣ была все. Населенная сапожниками, пенько-тренажерами, кустарями-портными и иныхъ свободныхъ профессій представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедѣльниками, всѣ свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической дракѣ, въ которой принимали непосредственное участіе жены, растрепанныя, простоволосыя, растаскивавшія мужей, и маленькіе ребятишки, съ восторгомъ взиравшіе на отвагу тятекъ. Вся эта буйная волна пьяныхъ пушкарей, какъ о каменный оплотъ, разбивалась о непоколебимаго Баргамота, забирававшего методически въ свои мощныя длани пару наиболѣе отчаянныхъ крикуновъ и самолично доставлявавшего ихъ «за клинъ». Крикуны покорно вручали свою судьбу въ руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таковъ былъ Баргамотъ въ области международныхъ отношеній. Въ сферѣ внутренней политики онъ держался съ неменьшимъ достоинствомъ. Маленькая, покосившаяся хибарка, въ которой обиталъ Баргамотъ съ женой и двумя дѣтишками, и которая съ трудомъ вмѣщала его грузное тѣло, трясясь отъ дряхлости и страха за свое существованіе, когда Баргамотъ ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейнаго союза. Хозяйственный, рачительный, любившій въ свободные дни копаться въ огородѣ, Баргамотъ былъ строгъ. Путемъ того же физическаго воздѣйствія онъ училъ жену и дѣтей, не столько сообразуясь съ ихъ дѣйствительными потребностями въ наукѣ, сколько съ тѣми неясными на этотъ счетъ указаніями, которыя существовали гдѣ-то въ закоулкѣ его большой головы. Это не мѣшало женѣ его Марѣ, еще моложавой и красивой женщинѣ, съ одной стороны, уважать мужа, какъ человѣка степеннаго и непьющаго, а съ другой — вертѣть имъ, при всей его грузности, съ такой легкостью и силой, на которую только и способны слабыя женщины.

Л. Андреевъ.

Максимъ Ивановичъ Скотобойниковъ.

(Разсказъ Макара Ивановича).

А было у насъ въ городѣ Афи́мьевскомъ, скажу теперь, вотъ какое чудо. Жилъ купецъ, Скотобойниковъ прозывался, Максимъ Ивановичъ, и не было его богаче по всей округѣ. Ситцевую фабрику построилъ и рабочихъ нѣсколько сотъ держалъ; и возомнилъ о себѣ безмѣрно. И надо такъ сказать, что уже все ходило

по его знаку, и само начальство ни въ чемъ не препятствовало, архимандритъ за ревность благодарилъ: много на монастырь жертвовалъ и, когда стихъ находилъ, очень о душѣ своей вздыхалъ и о будущемъ вѣкѣ обозначенъ былъ не мало. Вдовъ былъ и бездѣтенъ; про супругу-то его былъ слухъ, что усахарилъ онъ ее будто еще на первомъ году, и что смолоду ручкамъ любилъ волю давать: только давно ужъ передъ тѣмъ это было; снова же обзавестись бракомъ не захотѣлъ. Слабъ былъ тоже и выпить, и когда наступалъ ему срокъ, то хмельной по городу бѣжить нагишомъ и вопить; городъ не знатный, а все зазорно. Когда же переставалъ срокъ, становился сердитъ, и все, что онъ разсудить, то и хорошо, и все, что повелить, то и прекрасно. А народъ разсчитывалъ произвольно, возьметъ счеты, надѣнетъ очки: «Тебѣ, Ѳома, сколько?»—«Съ Рождества не бралъ, Максимъ Ивановичъ; тридцать девять рублей моихъ есть».—«Ухъ, сколько денегъ! Это много тебѣ; ты и весь такихъ денегъ не стоишь; совсѣмъ не къ лицу тебѣ будетъ: десять рублей съ костей долой, а двадцать девять получай». И молчитъ человѣкъ; да никто не смѣетъ пикнуть, все молчатъ.

— Я,—говоритъ,—знаю, сколько ему слѣдуетъ дать. Съ здѣшнимъ народомъ по-другому нельзя. Здѣшній народъ развратенъ; безъ меня бъ они все здѣсь съ голоду перемерли, сколько ихъ тутъ ни есть. Опять сказать, народъ здѣшній—воръ, на что взглянуть, то и тянетъ, никакого въ немъ мужества нѣтъ. Опять взять и то, что онъ—пьяница; разочти его, онъ въ кабакъ снесетъ и сидитъ въ кабацѣ нагъ—ни ниточки, выходитъ голешенекъ. Опять же онъ и подлецъ; сидеть супротивъ кабака на камушекъ и пошелъ причитать: «Матушка моя родимая, и зачѣмъ же ты меня, такого горькаго пьяницу, на свѣтъ произвела? А и лучше бъ ты меня, такого горькаго пьяницу, на роду придавила!» Такъ развѣ это—человѣкъ? Это—звѣрь, а не человѣкъ; его перво-наперво образить слѣдуетъ, а потомъ ужъ ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать.

Вотъ такъ говорилъ Максимъ Ивановичъ объ народѣ афимьевскомъ; хоть худо онъ это говорилъ, а все жъ и правда была: народъ былъ стомчивый, не выдерживалъ.

Жилъ въ этомъ же городѣ и другой купецъ, да и померъ; человѣкъ былъ молодой и легкомысленный, прогорѣлъ и всего капиталу рѣшился. Бился въ послѣдній годъ, какъ рыба на пескѣ, да урокъ житію его приспѣлъ. Съ Максимъ Ивановичемъ все время не ладилъ и кругомъ ему долженъ остался. Въ послѣдній часъ еще Максима Ивановича проклиналъ. И оставилъ по себѣ вдову еще молодую да съ ней вмѣстѣ и пятерыхъ дѣтей. И одинокой-то вдовицѣ оставаться послѣ супруга, подобно какъ безпріютной ластовицѣ,—не малое испытаніе, а не то что съ пятерыми младенцами, которыхъ пропитать нечѣмъ: последнее имѣніе—ишко, домъ деревянный, Максимъ Ивановичъ за долгъ отбиралъ. И поставила она ихъ всехъ рядкомъ у церковной паперти; старшему мальчику восемь годовъ, а остальные все дѣвочки погодки, все малъ-малой меньше; старшенькая четырехъ годовъ, а младшая еще на рукахъ грудь сосетъ. Кончилась обѣдня, вышелъ Максимъ Ивановичъ, и все дѣточки, все-то рядкомъ, стали передъ нимъ на колѣни,—научила она ихъ передъ тѣмъ, и ручки передъ собой ладошками какъ одинъ сложили, а сама за ними, съ пятымъ ребенкомъ на рукахъ, земно при всехъ людяхъ ему поклонилась: «Батюшка, Максимъ Ивановичъ, помилуй сиротъ, не отымай послѣдняго куска, не выгоняй изъ родного гнѣзда!» И все,

кто тутъ ни былъ, всё прослезилась—такъ ужъ хорошо она ихъ научила. Думала: «при людяхъ-то возгордится и проститъ, отдастъ домъ сиротамъ», только не такъ оно вышло. Максимъ Ивановичъ прошелъ мимо и не отдалъ домъ. «Чего ихнимъ дурачествамъ подражать (то-есть поблажать)? Окажи благодареніе, еще пуще станутъ костить: все сіе ничтоже успѣваетъ, а лишь паче молва бываетъ».

Возопила мать со птенцами, выгналъ сиротъ изъ дому, и не по злобѣ токмо, а и самъ не знаетъ иной разъ человекъ, по какому побужденію стоитъ на своемъ. Ну, помогали сперва, а потомъ пошла наниматься въ работу. Да только какой у насъ, окромя фабрики, заработокъ; тамъ полы вымоетъ, тамъ въ огородѣ выколетъ, тамъ баньку вытопитъ, да съ ребеночкомъ-то на рукахъ и взвоетъ, а четверо прочихъ тутъ же по улицѣ въ рубашонкахъ бѣгаютъ. Когда на колѣнки ихъ у паперти ставила, все еще въ башмачонкахъ были, какихъ ни есть, да въ салопчикахъ, все какъ ни есть, а купецкія дѣти: а тутъ ужъ пошли бѣгать и босенькія: на ребенкѣ одешонка горитъ, извѣстно. Ну, а дѣткамъ что: было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуютъ, словно птички, голосочки ихъ, что колокольчики. Думаетъ вдова: «Станетъ зима, и куда я васъ тогда подѣваю; хоть бы васъ къ тому сроку Богъ прибралъ?» Только не дождалась зимы. Есть по нашему мѣсту такой на дѣтей кашель, коклюшъ, что съ одного на другого переходитъ. Перво-наперво померла грудная дѣвочка, а за ней заболѣли и прочія, и всѣхъ-то четырехъ дѣвочекъ въ ту же осень одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улицѣ лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила, да и взвыла: то проклинала, а какъ Богъ прибралъ, жалко стало. Материнское сердце!

Остался у ней въ живыхъ одинъ лишь старшенькій мальчикъ, и ужъ не надѣшнить она надъ нимъ, трепещетъ. Слабенькій былъ и нѣжный, и личикомъ миловидный, какъ дѣвочка. И свела она его на фабрику, къ крестному его отцу, управляющему, а сама въ нянюшки къ чиновнику нанялась. Только бѣгаетъ мальчикъ разъ на дворѣ, а тутъ вдругъ и подѣхалъ на парѣ Максимъ Ивановичъ, да какъ разъ выпивши; а мальчикъ-то съ лѣстницы прямо на него, невзначай, то-есть, поскользнулся, да прямо объ него стукнулся, какъ онъ съ дрожжѣмъ сходилъ, и обѣими руками ему прямо въ животъ. Схватилъ онъ его за волосенки, завопилъ: «Чей такой? Лозы! Высѣчь его, говорить, тотъ же часъ при мнѣ». Помертвѣлъ мальчикъ. Стали сѣчь, закричалъ. «Такъ ты еще и кричишь? Сѣки жъ его, пока кричать перестанетъ!» Мало ли, много ли сѣкли — не пересталъ кричать, пока не омертвѣлъ вовсе. Тутъ и бросили сѣчь, испугались, не дышитъ мальчикъ, лежитъ въ безчувствіи. Сказывали потомъ, что немного и сѣкли, да ужъ пугливъ былъ очень. Испугался было и Максимъ Ивановичъ! «Чей такой?» спросилъ. Сказали ему. «Ишь вѣдь! Снести его къ матери: чего онъ тутъ на фабрикѣ шляется?» Два дня потомъ молчалъ и опять спросилъ: «А что мальчикъ?» А съ мальчикомъ вышло худо; заболѣлъ, у матери въ углѣ лежитъ, та и мѣсто по тому случаю у чиновниковъ бросила, и вышло у него воспаленіе въ легкнхъ. «Ишь вѣдь!—произнесъ.—И съ чего, кажись? Диви бъ его больно сѣкли: самое лишь малое пристрастіе произвели. Я и надъ всѣми прочими такіе точно побои произносилъ; сходило безъ всякихъ такихъ пустяковъ». Ждалъ было онъ, что мать пойдетъ жаловаться, и, возгордясь, молчалъ. Только гдѣ ужъ, не посмѣла мать жаловаться. И послалъ онъ ей тогда

отъ себя пятнадцать рублей и лѣкаря отъ себя; и не то чтобъ поболвнишь чего, а такъ, задумался! А тутъ скоро ему срокъ подошелъ, зашилъ подѣли на три.

Миновала зима, и на самое Свѣтло-Христово Воскресенье, въ самый великій день, спрашиваетъ Максимъ Ивановичъ опять: «А что тотъ самый мальчикъ?» А всю зиму молчалъ, не спрашивалъ. И говорятъ ему: «Выздоровѣлъ, у матери, а та все подневно уходитъ». И поѣхалъ Максимъ Ивановичъ того же дня ко вдовѣ, въ домъ не вошелъ, а вызвалъ къ воротамъ; самъ на дрожкахъ сидитъ: «Вотъ что,—говорить,—честная вдова, хочу я твоему сыну, чтобы истиннымъ благодѣтелемъ быть и безпредѣльными милости ему оказать: беру его отселя къ себѣ, въ самый мой домъ. И ежели вмалѣ мнѣ угодить, то достаточный капиталъ ему отпишу; а совѣмъ ежели угодить, и всего состоянія нашего могу его, по смерти, пріемникомъ утвердить, равно какъ родного бы сына, съ тѣмъ, однако, чтобы ваша милость, окромя великихъ праздниковъ, въ домъ не жаловали. Коли складно по-вашему, такъ завтра утромъ приводи мальчика, не все ему въ бабки играть». И, сказавъ, уѣхалъ, мать оставивъ какъ бы въ безуміи. Прослышали люди, говорятъ ей: «Возрастетъ малый, самъ попрекать тебя станетъ, что лишила его такой судьбы». Ночь-то надъ нимъ поплакала, а поутру отвела дитя. А мальчикъ ни живъ, ни мертвъ.

Одѣлъ его Максимъ Ивановичъ какъ барчонка, и учителя нанялъ, и съ того самого часу за книгу засадилъ; и такъ дошло, что и съ глазъ его не спускаетъ, все при себѣ. Чуть мальчикъ зазѣвается, онъ ужъ и кричитъ: «За книгу! Учись: я тебя человѣкомъ сдѣлать хочу». А мальчикъ хилый, съ того самого разу, послѣ побоевъ-то кашлять сталъ. «У меня ль не житье?—дивится Максимъ Ивановичъ.—У матери босой бѣгалъ, корки жевалъ, съ чего жъ онъ пуще прежняго хилъ?» А учитель и говоритъ: «Всякому мальчику,—говорить,—падо и порѣзвиться, не все учиться; ему моціонъ необходимъ», и вывелъ ему все резономъ. Максимъ Ивановичъ подумалъ: «Это ты правду говоришь». А былъ тотъ учитель, Петръ Степановичъ, царство ему небесное, какъ бы словно юродивый, пилъ ужъ очень, такъ даже, что слишкомъ, и по тому самому его давно уже отъ всякаго мѣста отставили, и жилъ по городу все одно что мило-стыней, а ума былъ великаго и въ наукахъ твердъ. «Мнѣ бы не здѣсь быть,—самъ говорилъ про себя,—мнѣ въ университетѣ профессоромъ только быть, а здѣсь я въ грязь погруженъ, и «самыя одежды мои возгнушались мною». Съѣлъ Максимъ Ивановичъ и кричитъ мальчику: «рѣзвись!»—а тотъ передъ нимъ еле дышитъ. И до того дошло, что самого голосу его ребенокъ не могъ снести,—такъ весь и затрепещется. А Максимъ-то Ивановичъ все пуще удивляется: «Ни онъ такой, ни онъ этакій; я его изъ грязи взялъ, въ драдемаъ одѣлъ; на немъ полсапожки матерчатые, рубашка съ вышивкой, какъ генеральскаго сына держу, чего жъ онъ ко мнѣ не приверженъ? Чего какъ волчонокъ молчитъ?» И хотъ давно ужъ всѣ перестали удивляться на Максима Ивановича, но тутъ опять задивились: изъ себя вышелъ человѣкъ; къ этакому малому ребенку присталъ, отступиться не можетъ. «Живъ не желаю быть, а характеръ въ немъ искореню. Меня отецъ его, на смертномъ одрѣ, уже святаго причастія вкусивъ, проклиналъ; это у него отцовскій характеръ». И вѣдь даже ни разу лозы не употребилъ (съ того разу боялся). Запугалъ онъ его, вотъ что. Безъ лозы запугалъ.

И случилось дѣло. Только онъ разъ вышелъ, а мальчикъ вскочилъ изъ-за книги, да на стулъ: передъ тѣмъ на шифонерку мячъ забросилъ, такъ, чтобы

мячикъ ему достать, да объ фарфоровую лампу на шифонеркѣ рукавомъ и зацѣпилъ; лампа-то грохнулась, да на полъ, да вдребезги, ажно по всему дому зазвенѣло, а вещь дорогая—фарфоръ саксонскій. А тутъ вдругъ Максимъ Ивановичъ изъ третьей комнаты услышалъ и завопилъ. Бросился ребенокъ бѣжать, куда глаза глядятъ, съ перенугу, выбѣжалъ на террасу, да черезъ садъ, да задней калиткой прямо на набережную! А по набережной тамъ бульваръ идетъ, старыя ракиты стоятъ, мѣсто веселое. Сбѣжалъ онъ внизъ къ водѣ, люди видѣли, всплеснулъ руками, у самого того мѣста, гдѣ поромъ пристаеетъ, да ужаснулся, что ли, передъ водой—сталъ какъ вкопанный. А мѣсто это широкое, рѣка быстрая, барки проходятъ; на той сторонѣ лавки, площадь, храмъ Божій златыми главами сіяетъ. И какъ разъ тутъ на перевозъ поспѣшала съ дочкой полковница Ферзингъ—полкъ стоялъ пѣхотный. Дочка, тоже ребеночекъ лѣтъ восьми, идетъ въ бѣленькомъ платьицѣ, смотритъ на мальчика и смѣется, а въ рукахъ такую малую кошолочку деревенскую несетъ, а въ кошолочкѣ ежика. «Смотрите,—говоритъ,—маменька, какъ мальчикъ смотритъ на моего ежика». — «Нѣтъ,—говоритъ полковница,—а онъ испугался чего-то. Чего вы такъ испугались, хорошенькій мальчикъ?» (Такъ все это потомъ и рассказывалъ.) — «И какой,—говоритъ,—это хорошенькій мальчикъ, и какъ хорошо одѣтъ; чей вы,—говоритъ,—мальчикъ?» А онъ никогда еще ежика не видывалъ, подступилъ и смотритъ, и уже забылъ—дѣтскій возрастъ! «Что это,—говоритъ,—у васъ такое?» — «А это,—говоритъ барышня,—у насъ ежикъ, мы сейчасъ у деревенскаго мужика купили: онъ въ лѣсу нашелъ». — «Какъ же это,—говоритъ,—такой ежикъ?» и ужъ смѣется, и сталъ онъ его тыкать пальчикомъ, а ежикъ-то щетинится, а дѣвочка-то рада на мальчика: «мы,—говоритъ,—его домой несемъ и хотимъ приучать». — «Ахъ,—говоритъ,—подарите мнѣ вашего ежика!» И такъ онъ это ее умильно спросилъ, и только что выговорилъ, какъ вдругъ Максимъ-то Ивановичъ надъ нимъ сверху: «А! Вотъ ты гдѣ! Держи его!» (До того озвѣрѣлъ, что самъ безъ шапки изъ дому погнался за нимъ.) Мальчикъ, какъ вспомнилъ про все, вскрикнулъ, бросился къ водѣ, прижалъ себѣ къ обѣимъ грудкамъ по кулачку, посмотрѣлъ въ небеса (видѣли, видѣли!) — да бухъ въ воду! Ну, закричали, бросились съ порома, стали ловить, да водой отнесло, рѣка быстрая, а какъ вытащили, ужъ и захлебнулся—мертвенькій. Грудкой-то слабъ былъ, не стерпѣлъ воды, да и много ль такому надо? И вотъ на памяти людской еще не было въ тѣхъ мѣстахъ, чтобы такой малый ребеночекъ на свою жизнь посягнулъ! Такой грѣхъ! И что можетъ сія малая душка на томъ свѣтѣ Господу Богу сказать!

Надъ тѣмъ самымъ, съ тѣхъ поръ Максимъ Ивановичъ и задумался. И перемѣнился человекъ, что узнать нельзя. Больно ужъ тогда опечалился. Сталъ было пить, много пилъ, да бросилъ—не помогло. Бросилъ и на фабрику ѣздить, никого не слушаетъ. Говорятъ ему что—молчитъ, али рукой махнетъ. Такъ проводилъ онъ мѣсяца съ два, а потомъ сталъ самъ съ собой говорить. Ходитъ и самъ съ собой говорить. Сгорѣла подгорная деревнюшка Васькова, выгорѣло девять домовъ; поѣхалъ Максимъ Ивановичъ взглянуть. Обступили его погорѣльцы, взвыли,—обѣщаль помочь и приказъ отдалъ, а потомъ призвалъ управляющаго и все отмѣнилъ: «Не надо-тъ,—говоритъ,—ничего давать», и не сказалъ за что. «Въ поспраніе меня,—говоритъ,—отдалъ Господь всѣмъ людямъ,

яко же нѣкоего изверга, то ужъ пусть такъ и будетъ. Какъ вѣтеръ,—говорить,—развѣялась слава моя». Приѣхалъ къ нему самъ архимандритъ, старецъ былъ строгій и въ монастырѣ общежитіе ввелъ. «Ты чего?» говоритъ строго такъ. «А я вотъ чего», и раскрылъ ему Максимъ Ивановичъ и указалъ мѣсто:

«А иже еще соблазнитъ единого малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Мя, уне есть ему, да обѣсится жерновъ оселскій на выи его, и потонетъ въ пучинѣ морстей» (Мате. XVIII, 18, 6).

— Да,—сказалъ архимандритъ,—хоть и не о томъ сіе прямо сказано, а все же соприкасается. Бѣда, коли мѣрку свою потеряетъ человѣкъ — пропадетъ тотъ человѣкъ. А ты возмнилъ.

А Максимъ Ивановичъ сидитъ, словно столбнякъ на него напелъ. Архимандритъ глядѣлъ-глядѣлъ.

— Слушай,—говоритъ,—и запомни. Сказано: «Слова отчаяннаго летятъ на вѣтеръ». И еще то вспомни, что и ангелы Божіи несовершенны, а совершенъ и безгрѣшенъ токмо единый Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, Ему же ангелы служатъ. Да и не хотѣлъ же ты смерти сего младенца, а только былъ безразсуденъ. Только вотъ что,—говоритъ,—мнѣ даже чудесно: мало ль ты,—говоритъ,—еще горшихъ безчинствъ произносилъ, мало ль по міру людей пустилъ, мало ль погубилъ—все одно какъ бы убіеніемъ? И не его ли сестры еще прежде того всѣ перемерли, всѣ четыре младенчика, почти что на глазахъ твоихъ? Чего же тебя такъ сей единый смутилъ? Вѣдь о прежнихъ всѣхъ, полагаю, не то что сожалѣлъ, а и думать забылъ? Почему же такъ устранился младенца сего, въ коемъ и не весьма повиненъ?

— Во снѣ мнѣ снится,—изрекъ Максимъ Ивановичъ.

— И что же?

Но ничего болѣе не открылъ, сидитъ, молчитъ. Удивился архимандритъ, да съ тѣмъ и отъѣхалъ: ничего ужъ тутъ не подѣлаешь.

И послалъ Максимъ Ивановичъ за учителемъ, за Петромъ Степановичемъ; съ самаго того случая не видался.

— Помнишь ты?—говоритъ.

— Помню,—говоритъ.

— Ты,—говоритъ,—здѣсь масляной краской въ трактиръ картины мазалъ и съ архіереева портрета копію снималъ. Можешь ты мнѣ написать краской картину одну?

— Я,—говоритъ,—все могу, я, говоритъ, всякій талантъ имѣю и все могу.

— Напиши же ты мнѣ картину самую большую, во всю стѣну, и напиши на ней перво-наперво рѣку, и спускъ, и перевозъ, и чтобъ всѣ люди, какіе были тогда, всѣ тутъ были. И чтобъ полковница и дѣвочка были, и тотъ самый ежикъ. Да и другой берегъ весь мнѣ спиши, чтобъ виденъ былъ, какъ есть: и церковь, и площадь, и лавки, и гдѣ извозчики стоятъ,—все, какъ есть, спиши. И тутъ у перевоза мальчика, надъ самой рѣкой, на томъ самомъ мѣстѣ, и безпремѣнно, чтобы два кулачка вотъ такъ къ груди прижалъ къ обоимъ сосочкамъ. Безпремѣнно это. И раскрой ты передъ нимъ съ той стороны, надъ церковью небо, и чтобы всѣ ангелы во свѣтѣ небесномъ летѣли стрѣчать его. Можешь потрафить, аль нѣтъ?

— Я все могу.

— Я не то, чтобъ такого Трифона, какъ ты, я и первѣйшаго живописца изъ Москвы могу выписать, али хоша бы изъ самаго Лондона, да ты его ликъ помнишь. Если выйдетъ не схожъ, али мало схожъ, то дамъ тебѣ всего пятьдесятъ рублей, а если выйдетъ совсѣмъ похожъ, то дамъ двѣсти рублей. Помни, глазки голубенькіе... Да чтобы самая-самая большая картина вышла.

Изготовились; сталъ писать Петръ Степановичъ, да вдругъ и приходитъ:

— Нѣтъ,—говорить,—въ такомъ видѣ нельзя писать.

— Что такъ?

— Потому что грѣхъ сей, самоубивство, есть самый великій изъ всѣхъ грѣховъ. То какъ же ангели его будутъ стрѣчать послѣ такого грѣха?

— Да вѣдь онъ—младенецъ, ему невмѣнимо.

— Нѣтъ, не младенецъ, а ужъ отрокъ: восьми уже лѣтъ былъ, когда сіе совершилось. Все же онъ хотя нѣкій отвѣтъ долженъ дать.

Еще пуще ужаснулся Максимъ Ивановичъ.

— А я,—говоритъ Петръ Степановичъ,—вотъ какъ придумалъ: небо оторвать не станемъ и ангеловъ писать нечего; а спущу я съ неба, какъ бы въ встрѣчу ему, лучъ, такой одинъ свѣтлый лучъ: все равно, какъ бы нѣчто и выйдетъ.

Такъ и пустили лучъ. И видѣлъ я самъ потомъ, уже спустя, картину сію, и этотъ лучъ самый, и рѣку—во всю стѣну вытянулъ, вся синяя, и отрокъ малый тутъ же, обѣ ручки къ грудкамъ прижалъ, и маленькую барышню, и ежика—все потрафилъ. Только Максимъ Ивановичъ тогда никому картину не открылъ, а заперъ ее въ кабинетъ на ключъ отъ всѣхъ глазъ. А ужъ какъ рвались по городу, чтобъ повидать: всѣхъ гнать велѣлъ. Большой разговоръ пошелъ. А Петръ Степановичъ словно изъ себя тогда вышелъ: «Я,—говоритъ,—теперь уже все могу; мнѣ,—говоритъ,—только въ Санктъ-Петербургѣ при дворѣ состоять». Любезнѣйшій былъ человекъ, а превозноситься любилъ безпримѣрно. И постигла его участь: какъ получилъ всѣ двѣсти рублей, началъ тотчасъ же пить и всѣмъ деньги показывать, похваляясь; и убилъ его пьянаго ночью нашъ мѣщанинъ, съ которымъ и пилъ, и деньги ограбилъ; все сіе на утро и объяснилось.

А кончилось все такъ, что и теперь тамъ напрѣжъ всего вспоминаютъ. Вдругъ пріѣзжаетъ Максимъ Ивановичъ къ той самой вдовѣ: нанимала на краю у мѣщанки въ избушкѣ. На сей разъ уже во дворъ вошелъ; сталъ передъ ней, да и поклонился въ землю. А та, съ тѣхъ разовъ больна была, еле двигалась. «Матушка,—возопилъ,—честная вдовица, выйди за меня, изверга, замужъ, дай жить на свѣтѣ!» Та глядитъ ни жива, ни мертва. «Хочу,—говоритъ,—чтобъ у насъ еще мальчикъ родился, и ежели родится онъ, тогда, значитъ, тотъ мальчикъ простилъ насъ обоихъ: и тебя, и меня. Мнѣ такъ мальчикъ велѣлъ». Видитъ она, что не въ умѣ человекъ, а какъ бы въ изступленіи, да все же не утерпѣла:

— Пустяки это все,—отвѣчаетъ ему,—и одно малодушіе. Черезъ то самое малодушіе я всѣхъ моихъ птенцовъ потеряла. Я и видѣть-то васъ передъ собой не могу, а не то, чтобы такую вѣковѣченскую муку принять.

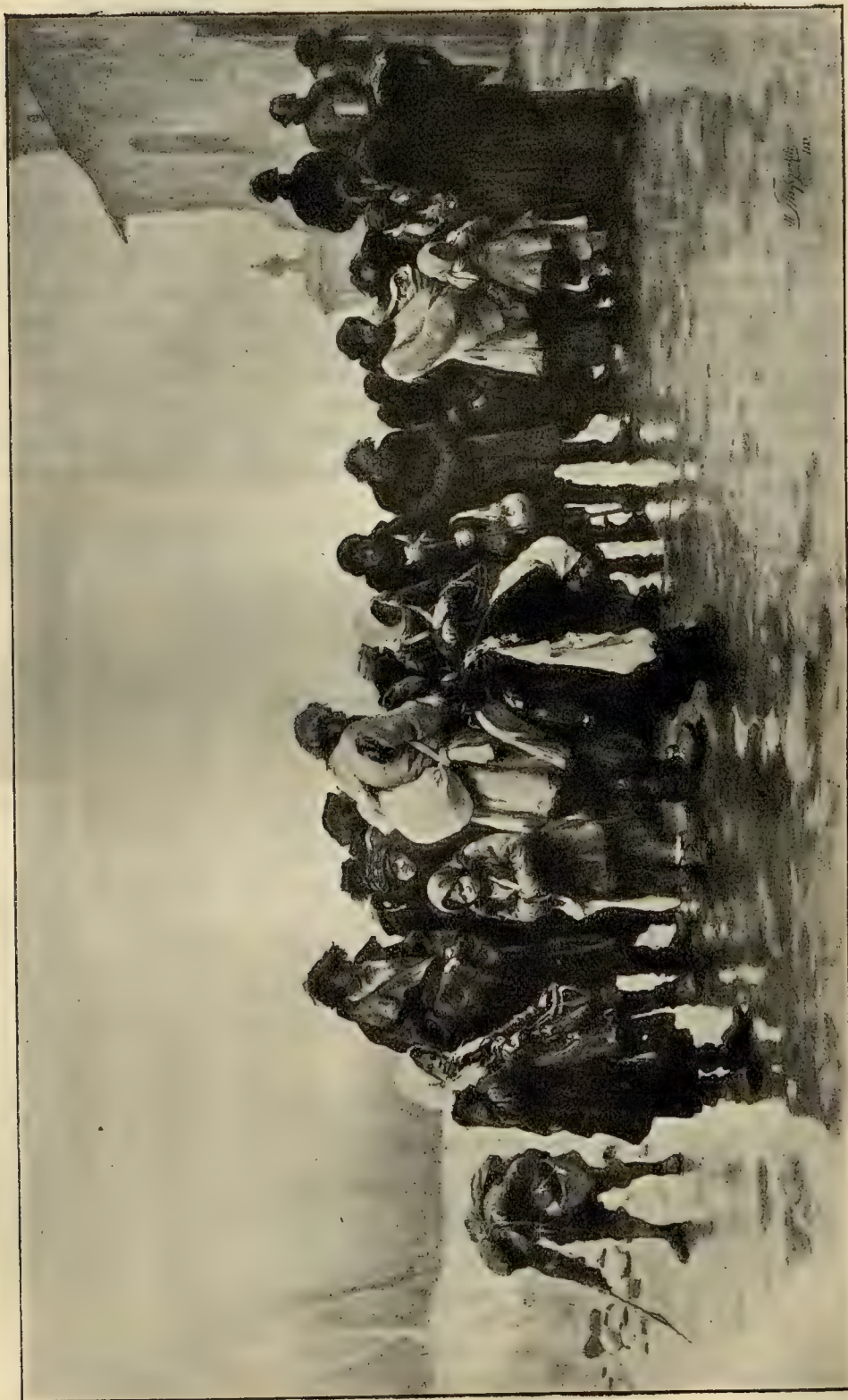
Отъѣхалъ Максимъ Ивановичъ, да не унялся. Загрохоталъ весь городъ отъ такого чуда. А Максимъ Ивановичъ свахъ заслалъ. Выписалъ изъ губерніи двухъ своихъ тетокъ, по мѣщанству жили. Тетки не тетки, все же родственницы, честь, значить: стали тѣ ее склонять, принялись улащать, изъ избы не

выходятъ. Заслалъ и изъ городскихъ, и по купечеству, и протопопшу соборную, и изъ чиновницъ; обступили ее всѣмъ городомъ, а та даже гнушается: «Если бѣ,—говорить,—сироты мои ожили, а теперь на что? Да я передъ сиротками моими какой грѣхъ приму!» Склонилъ и архимандрита, подулъ и тотъ въ ухо: «Ты,—говорить,—въ немъ новаго человѣка воззвать можешь». Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются: «Ужъ и какъ же это можно, чтобъ отъ такого счастья отказываться!» И вотъ, чѣмъ же онъ ее въ концѣ покорилъ: «Все же онъ,—говорить,—самоубивецъ, и не младенецъ, а уже отрокъ, и по лѣтамъ ко святому причастію его уже прямо допустить нельзя было, а, стало-быть, все же онъ хотя бы нѣкій отвѣтъ долженъ дать. Если же вступишь со мной въ супружество, то великое обѣщаніе даю: выстрою новый храмъ токмо на вѣчный поминъ души его». Противъ сего не устояла и согласилась. Такъ и повѣнчались.

И вышло всѣмъ на удивленіе. Стали они жить съ самаго перваго дня въ великомъ и неліцемерномъ согласіи, опасно соблюдая свое супружество. Зачала она въ ту же зиму, и стали они посѣщать храмы Божіи и трепетать гнѣва Господня. Были въ трехъ монастыряхъ и внимали пророчествамъ. Онъ же соорудилъ обѣщанный храмъ и выстроилъ въ городѣ больницу и богадѣльню. Отдѣлилъ капиталъ на вдовъ и сиротъ. И вспомнилъ всѣхъ, кого обидѣлъ, и возжелалъ возвратить; деньги же сталъ выдавать безмѣрно, такъ что уже супруга и архимандритъ придержали за руки, ибо «довольно, говорятъ, и сего». Послушался Максимъ Ивановичъ: «Я,—говорить,—въ тотъ разъ Ѳому обсчиталъ». Ну, Ѳомѣ отдали. А Ѳома такъ даже заплакалъ: «Я,—говорить,—я и такъ... Многимъ и безъ того довольны и вѣчно обязаны Богу молить». Всѣхъ, стало-быть, проникло оно, и, значитъ, правду говорятъ, что хорошимъ примѣромъ будетъ живъ человѣкъ. А народъ тамъ добрый.

Фабрикой сама супруга стала орудовать, и такъ, что и теперь вспоминаютъ. Пить не пересталъ, но стала она его въ эти самые дни соблюдать, а потомъ и лѣчить. Рѣчь его стала степенная, и даже самый гласъ измѣнился. Сталъ жалостливъ безпримѣрно, даже къ скотамъ: увидалъ изъ окна, какъ мужикъ стегалъ лошадь по головѣ безобразно, и тотчасъ выслалъ и купилъ у него лошадь, за вдвое цѣны. И получилъ даръ слезный: кто бы съ нимъ ни заговорилъ, такъ и зальется слезами. Когда же приспѣло время ея, внялъ, наконецъ, Господь ихъ молитвамъ и послалъ имъ сына, и сталъ Максимъ Ивановичъ, еще въ первый разъ съ тѣхъ поръ, свѣтель; много милостыни роздалъ, много долговъ простилъ, на крестины созвалъ весь городъ. Созвалъ онъ это городъ, а на другой день, какъ ночь, вышелъ. Видитъ супруга, что съ нимъ нѣчто случилось, и поднесла къ нему новорожденного: «Простилъ,—говорить,—насъ отрокъ, внялъ слезамъ и молитвамъ за него нашимъ». А о семъ предметѣ, надо такъ сказать, они во весь годъ ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядѣлъ на нее Максимъ Ивановичъ грозно, какъ ночь: «Подожди,—говорить,—онъ, почитай, весь годъ не приходилъ, а въ сію ночь опять приснился». — «Тутъ-то въ первый разъ проникъ и въ мое сердце ужасъ, послѣ сихъ странныхъ словъ», припоминала потомъ.

И не напрасно приснился отрокъ. Только что Максимъ Ивановичъ о семъ изрекъ, почти, такъ сказать, въ самую ту минуту приключилось съ новорожденнымъ нѣчто: вдругъ захворалъ. И болѣло дитя восемь дней, молились неустанно и докторовъ призывали, и выписали изъ Москвы самаго перваго доктора по



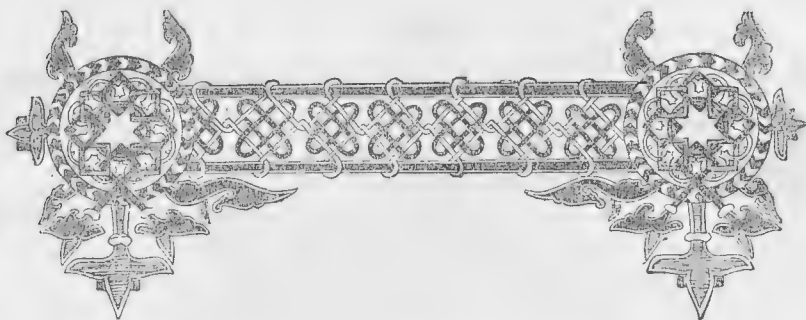
Около церкви. Съ карт. Георгиевкова.

чугункѣ. Прибыль докторъ, разсердился: «Я,—говоритъ,—самый первый докторъ, меня вся Москва ожидаетъ». Прописалъ капель и уѣхалъ послѣшно. Восемьсотъ рублей увезъ. А ребенокъ къ вечеру померъ.

И что же за симъ? Отписалъ Максимъ Ивановичъ все имущество любезной супругѣ, выдалъ ей всѣ капиталы и документы, завершилъ все правильно и законнымъ порядкомъ, а затѣмъ сталъ передъ ней и поклонился ей до земли: «Отпусти ты меня, безцѣнная супруга моя, душу мою спасти, пока можно. Ежели время мое безъ успѣха душѣ проведу, то назадъ уже не возвращусь. Былъ я твердъ и жестокъ, и тягости налагалъ, но мню, что за скорби и странствія предстоящія не оставитъ безъ воздаянія Господь, ибо оставить все сіе есть не малый крестъ и не малая скорбь». И унимала его супруга со многими слезами: «Ты мнѣ единъ теперь на землѣ, на кого же останусь? Я,—говоритъ,—за годъ въ сердцѣ милость нажила». И увѣщавали всѣмъ городомъ цѣлый мѣсяцъ, и молили его, и положили силой стеречь. Но не послушалъ ихъ, и ночью скрытно вышелъ и болѣе уже не возвращался. А, слышно, подвизается въ странствіяхъ и терпѣніи даже до сегодня, а супругу милую извѣщаетъ ежегодно...

Достоевскій.





3. Помѣщики.

Старая графиня и ея воспитанница.

Старая графиня*** сидѣла въ своей уборной передъ зеркаломъ. Три дѣвушки окружали ее. Одна держала банку румянъ, другая—коробку со шпильками, третья—высокій чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Графиня не имѣла ни малѣйшаго притязанія на красоту, давно увидшую, но сохраняла всѣ привычки своей молодости, строго слѣдовала модамъ семидесятыхъ годовъ¹⁾ и одѣвалась такъ же долго, такъ же старательно, какъ и шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ. У окошка сидѣла за пальцами барышня, ея воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman!²⁾—сказала, вошедши, молодой офицеръ.— Bonjour, mademoiselle Lise³⁾. Grand'maman, я къ вамъ съ просьбою.

— Что такое, Поль?

— Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ пріятелей и привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.

— Привези мнѣ его прямо на балъ, и тутъ мнѣ его и представишь. Былъ ты вчера у***?

— Какъ же! очень было весело; танцевали до пяти часовъ. Какъ хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова ли была ея бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я, чай, она ужъ очень постарѣла, княгиня Дарья Петровна?

— Какъ, постарѣла?—отвѣчалъ разсѣянно Томскій.—Она лѣтъ семь, какъ умерла.

Барышня подняла голову и сдѣлала знакъ молодому человѣку. Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини тайли смерть ея ровесницъ, и закусилъ себѣ губу. Но графиня услышала вѣсть для нея новую съ большимъ равнодушіемъ.

— Умерла!—сказала она.—А я и не знала! Мы вмѣстѣ были пожалованы во фрейлины, и когда мы представлялись, то государыня...

И графиня въ сотый разъ рассказала внуку свой анекдотъ.

¹⁾ XVIII столѣтія.

²⁾ Бабушка.

³⁾ Здравствуйте, Лиза.

— Ну, Поль,—сказала она потомъ,—теперь помоги мнѣ встать. Лизанька, гдѣ моя табакерка?

И графиня со своими дѣвушками пошла за ширмами оканчивать свой туалетъ. Томскій остался съ барышнею.

— Кого это вы хотите представить?—тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нѣтъ! Онъ военный или статскій?

— Военный.

— Инженеръ?

— Нѣтъ, кавалеристъ. А почему вы думали, что онъ инженеръ?

Барышня засмѣялась и не отвѣчала ни слова.

— Поль!—закричала графиня изъ-за ширмъ:—пришли мнѣ какой-нибудь новый романъ, только, пожалуйста, не изъ нынѣшнихъ.

— Какъ это, grand'maman?

— То-есть такой романъ, гдѣ бы герой не давилъ ни отца, ни матери, и гдѣ бы не было утопленныхъ тѣлъ. Я ужасно боюсь утопленниковъ.

— Такихъ романовъ нынче нѣтъ. Не хотите ли развѣ русскихъ?

— А развѣ есть русскіе романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спѣшу... Простите, Лизавета Ивановна!

Почему же вы думали, что Нарумовъ инженеръ?

И Томскій вышелъ изъ уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна; она оставила работу и стала глядѣть въ окно. Вскорѣ на одной сторонѣ улицы изъ-за угольного дома показался молодой офицеръ. Румянецъ покрылъ ея щеки; она принялась опять за работу и наклонила голову надъ самой канвою. Въ это время вошла графиня, совсѣмъ одѣтая.

— Прикажи, Лизанька,—сказала она,—карету закладывать, и поѣдемъ прогуляться.

Лизанька встала изъ-за палъцевъ и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя, глуха, что ли?—закричала графиня.—Вели скорѣй закладывать карету.

— Сейчасъ!—отвѣчала тихо барышня и побѣжала въ переднюю.

Слуга вошелъ и подалъ графинѣ книги отъ князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,—сказала графиня.—Лизанька, Лизанька, да куда жъ ты бѣжишь?

— Одѣваться.

— Успиѣешь, матушка. Сиди здѣсь. Раскрой-ка первый томъ, читай вслухъ...

Барышня взяла книгу и прочла нѣсколько строкъ.

— Громче!—сказала графиня.—Что съ тобою, мать моя? Съ голосу спала, что ли?.. Погоди... подвинь мнѣ скамеечку; ближе... Ну!

Лизавета Ивановна прочла еще двѣ страницы. Графиня зѣвнула.

— Брось эту книгу,—сказала она.—Что за вздоръ! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что жъ карета?..

— Карета готова,—сказала Лизавета Ивановна, взглянувъ на улицу.

— Что жъ ты не одѣта?—сказала графиня.—Всегда надобно тебя ждать.

Это, матушка, несносно!

Лиза побѣжала въ свою комнату. Не прошло двухъ минутъ, графиня начала звонить изо всей мочи. Три дѣвушки вбѣжали въ одну дверь, а камердинеръ въ другую.

— Что это васъ не докличешься?—сказала имъ графиня.—Сказать Лизаветѣ Ивановнѣ, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла въ капотъ и шляпкѣ.

— Наконецъ, мать моя!—сказала графиня.—Что за наряды! Зачѣмъ это?.. Кого прельщать?.. А какова погода? Кажется, вѣтеръ?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство! Очень тихо-съ!—отвѣчалъ камердинеръ.

— Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку. Такъ и есть: вѣтеръ! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поѣдемъ: нечего было наряжаться.

«И вотъ моя жизнь!» подумала Лизавета Ивановна.

Въ самомъ дѣлѣ, Лизавета Ивановна была пренесчастное созданіе. Горекъ чужой хлѣбъ, говорить Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца; а кому и знать горечь зависимости, какъ не бѣдной воспитанницѣ знатной старухи? Графиня^{***}, конечно, не имѣла злой души, но была своенравна, какъ женщина, избалованная свѣтомъ, скуна и погружена въ холодный эгоизмъ, какъ и всѣ старые люди, отлюбившіе въ свой вѣкъ и чуждые настоящему. Она участвовала во всѣхъ суетностяхъ большого свѣта; таскалась на балы, гдѣ сидѣла въ углу, разрумяненная и одѣтая по старинной модѣ, какъ уродливое и необходимое украшеніе бальной залы; къ ней съ низкими поклонами подходили прѣзжающіе гости, какъ по установленному обряду, и потомъ уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь городъ, наблюдая строгій этикетъ и не узнавая никого въ лицо. Многочисленная челядь ея, разжирѣвъ и посѣдѣвъ въ ея передней и дѣвичей, дѣлала, что хотѣла, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишній расходъ сахара: она вслухъ читала романы—и виновата была во всѣхъ ошибкахъ автора; она сопровождала княгиню въ ея прогулкахъ—и отвѣчала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; между тѣмъ требовали отъ нея, чтобъ она одѣта была, какъ и всѣ, т.-е., какъ очень немногія. Въ свѣтѣ играла она самую жалкую роль. Всѣ ее знали, и никто не замѣчалъ; на балахъ она танцевала только тогда, когда не доставало *vis-à-vis*¹⁾, и дамы брали ее подъ руку всякій разъ, какъ имъ нужно было идти въ уборную поправить что-нибудь въ своемъ нарядѣ. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положеніе и глядѣла кругомъ себя, съ нетерпѣніемъ ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые въ вѣтреномъ своемъ тщеславіи, не удостоивали ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ милѣе наглыхъ и холодныхъ невѣстъ, около которыхъ они увивались. Сколько разъ, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать въ бѣдной своей комнатѣ, гдѣ стояли ширмы, оклеенныя обоями, комодъ, зеркальце и крашенная кровать, и гдѣ сальная свѣча темно горѣла въ мѣдномъ шандалѣ.

А. Пушкинъ.

¹⁾ Визави.

Старосвѣтскіе помѣщики.

Я очень люблю скромную жизнь тѣхъ уединенныхъ владѣтелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называютъ «старосвѣтскими», которые, какъ дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣнъ не промылъ еще дождь, крыши не покрыла зеленая плѣсень, и лишенное штукатурки крыльцо не выказываетъ своихъ красныхъ кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, осѣненные вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владѣтелей такъ тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанія и беспокойныя порожденія злого духа, возмущающія міръ, вовсе не существуютъ, и ты ихъ видѣлъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сновидѣніи. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущихъ вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цѣлые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ вишенъ и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развѣсистый кленъ, въ тѣни котораго разостланъ, для отдыха, коверъ, передъ домомъ просторный дворъ съ низенькою свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкой отъ амбара до кухни и отъ кухни до барскихъ покоевъ; длинношейный гусь, пьющій воду, съ молодыми и нѣжными, какъ пухъ, гусятами; частоколъ, обвѣшанный связками сушеныхъ грушъ и яблокъ и провѣтривающимися коврами; возъ съ дынями, стоящій возлѣ амбара; отпряженный волъ, лѣнливо лежащій возлѣ него, — все это для меня имѣетъ непонятную прелесть, можетъ-быть, оттого, что я уже не вижу ихъ, и что намъ мило все то, съ чѣмъ мы въ разлукѣ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъѣзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали подъ крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и набивалъ трубку, какъ будто бы онъ пріѣзжалъ въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. Но болѣе всего мнѣ нравились самые владѣтели этихъ скромныхъ уголковъ—старички, старушки, заботливо выходившіе навстрѣчу. Ихъ лица мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и толпѣ среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находить полусонъ и мерещится бывшее. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мѣрѣ, на короткое время, отъ всѣхъ дерзкихъ мечтаній и незамѣтно переходишь всѣми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ—увы!—теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣлое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ

низенькій домикъ—и ничего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! Но обратимся къ разсказу.

Аѳанасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружныхъ мужиковъ, были тѣ старики, о которыхъ я на чалъ разсказывать. Если бы я былъ живописецъ и хотѣлъ изобразить на полотнѣ Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избралъ другого оригинала, кромѣ ихъ. Аѳанасію Ивановичу было шестьдесятъ лѣтъ, Пульхеріи Ивановнѣ пятьдесятъ пять. Аѳанасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикѣ, покрытомъ камлотомъ, сидѣлъ согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы разсказывалъ или, просто, слушалъ. Пульхерія Ивановна была нѣсколько серьезна, почти никогда не смѣялась; но на лицѣ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всѣмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, вѣрно, нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностью, что художникъ вѣрно бы укралъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, — жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатые фамиліи, всегда составляющія противоположность тѣмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, дерутъ послѣднюю копейку съ своихъ же земляковъ, паводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на о, слогъ *овъ*. Итъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія, такъ же какъ и всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Аѳанасій Ивановичъ! вы, Пульхерія Ивановна. «Это вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичъ?»—«Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я». Они никогда не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ. Когда-то, въ молодости, Аѳанасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послѣ секундмайоромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспоминалъ объ этомъ. Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ, по крайней мѣрѣ, никогда не говорилъ.

Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойною и уединенною жизнью, тѣмъ дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грѣзами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ,—или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а стеной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше спрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стариковъ, которые надѣются вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго; онъ, напротивъ, спрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говорить съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были маленькія, низенькія, какія обыкновенно встрѣчаются у старосвѣтскихъ людей. Въ каждой комнатѣ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аванасій Ивановичъ, и Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были всѣ проведены въ сѣни, всегда почти до самого потолка наполненные соломой, которую обыкновенно употребляютъ въ Малороссіи вмѣсто дровъ. Трескъ этой горячей соломы и освѣщеніе дѣлаютъ сѣни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда пылая молодежь вбѣгаетъ въ нихъ, похлопывая въ ладоши. Стѣны комнаты убраны были нѣсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увѣренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторые изъ нихъ были унесены, то они бы, вѣрно, этого не замѣтили. Два портрета было большихъ, писанныхъ масляными красками; одинъ представлялъ какого-то архіерея, другой—Петра III; изъ узенькихъ рамъ глядѣла герцогиня Лавальеръ, запачканная мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стѣнѣ и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всѣхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся съ такою опрятностію, съ какою, вѣрно, не содержался ни одинъ паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невыспавшимся господиномъ въ ливреѣ.

Комната Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами, цвѣточными, огородными, арбузными, висѣли по стѣнамъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полсто-лѣтіе, были уложены по угламъ въ сундучкахъ и между сундучками. Пульхерія Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ — были поющія двери. Какъ только становало утро, пѣніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержавѣвшія ли петли были тому виною, или самъ механикъ, дѣлавшій ихъ, скрылъ въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замѣчательно то, что каждая дверь имѣла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пѣла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую хрипѣла басомъ; но та, которая была въ сѣняхъ, издавала какой-то странный, дребезжащій и вмѣстѣ стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно, наконецъ, слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнетъ деревнею: низенькой комнаткой,

озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ; ужиномъ, уже стоящимъ на столѣ; майскою темною почюю, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдастъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи на тѣ стулья, на которые и донынѣ садятся архіереи. Треугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ листьями, которыя мухи усѣяли черными точками, передъ диваномъ коверъ съ птицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на птицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старики.

Дѣвичья была набита молодыми и немолдыми дѣвушками въ полосатыхъ исподнихахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездѣлушки и заставляла чистить ягоды, но которыя большею частью бѣгали на кухню и спали. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый басъ шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаніями осы; но, какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Аоанасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ, хотя, впрочемъ, ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя правленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пульхеріи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растений. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ яблоною вѣчно былъ разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ желѣзнаго треножника котелъ или мѣдный тазъ съ вареньемъ, желе, пастилою, дѣланными на меду, на сахарѣ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ вѣчно перегонялъ въ мѣдномъ лембикѣ водку на персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ, на золототысячникъ, на вишневья косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насаливалось, насушивалось такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы, наконецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребленіе, любила приготавливать еще на запасъ), если бы большая половина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками, которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стонали и жаловались на животы свои.

Въ хлѣбопашество и прочія хозяйственныя статьи внѣ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказчикъ, соединившись съ войтомъ, обкрадывали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновеніе входить въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные, надѣлывали множество саней и продавали ихъ на ближней ярмаркѣ, кромѣ того, всѣ толстые дубы они продавали на срубъ для мельницъ сосѣднимъ казакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обревизовать свои лѣса. Для этого были запряжены

дрожки, съ огромными кожаными фартуками, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встряхивалъ вожжами, и лошади, служившія еще въ милиціи, трогались съ своего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и желѣзная скоба звенѣли до того, что возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани выѣзжала со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстъ. Пульхерія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго опустошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые она еще въ дѣтствѣ знавала столѣтними.

— Отчего это у тебя, Ничипоръ, — сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся, — дубки сдѣлались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки.

— Отчего рѣдки? — говаривалъ обыкновенно приказчикъ. — Пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побилло, и черви проточили — пропали, пани, пропали.

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дулъ.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ, и эту половину привозили они заплѣснѣвшую или подмоченную, которая была обракована на ярмаркѣ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всѣ во дворѣ, начиная отъ ключницы до свиней, которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цѣлый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробы и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т.-е. къ шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего въ такомъ множествѣ, Аѳанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ.

Оба старичка, по старинному обычаю старосвѣтскихъ помѣщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заводили свой разноголосный концертъ, они уже сидѣли за столикомъ и пили кофе. Напившись кофе, Аѳанасій Ивановичъ выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ, говорилъ: «Кишъ, кишъ! пошли, гуси, съ крыльца!» На дворѣ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыкновенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, разспрашивалъ о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичокъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ обстрѣлянная птица: онъ зналъ, какъ нужно отвѣчать, а еще болѣе, какъ нужно хозяйничать.

Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорилъ, прибившись къ Пульхеріи Ивановнѣ:

— А что, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Аѳанасій Ивановичъ, закусить? Развѣ коржики съ саломъ или пирожки съ макомъ, или, можетъ-быть, рыжиковъ соленыхъ?

— Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ,—отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ,—и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирогами и рыжиками.

За часъ до обѣда Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбками и прочимъ. Обѣдать садился въ двѣнадцать часовъ. Кромѣ блюдъ и соусниковъ, на столѣ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное издѣлье старинной вкусной кухни. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду.

— Мнѣ кажется, какъ будто эта каша,—говаривалъ обыкновенно Аѳанасій Ивановичъ,—немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?

— Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней.

— Пожалуй,—говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, подставляя свою тарелку:—попробуемъ, какъ оно будетъ.

Послѣ обѣда Аѳанасій Ивановичъ шелъ отдохнуть одинъ часикъ, послѣ чего Пульхерія Ивановна приносила разрѣзанный арбузъ и говорила:

— Вотъ, попробуйте, Аѳанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ.

— Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный въ срединѣ,—говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть:—бываетъ, что и красный, да нехорошій.

Но арбузъ немедленно исчезалъ. Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обращеннымъ къ двору, и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и дѣвки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякаго дрязгу въ деревянныхъ ящикахъ, рѣшетахъ, почевкахъ и въ прочихъ фруктохранилищахъ. Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной или самъ отправлялся къ ней и говорилъ:

— Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерія Ивановна. — Гдѣ-жъ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить?

— И то добре,—отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ.

— Или, можетъ-быть, вы съѣли бы киселику?

— И то хорошо,—отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ.

Послѣ чего все это немедленно было приносимо, и, какъ водится, съѣдаемо.

Передъ ужиномъ Аѳанасій Ивановичъ еще кое-что закусывалъ. Въ половинѣ десятаго садился ужинать. Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголкѣ.

Комната, въ которой спали Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аѳанасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спалъ на лежанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставлялъ его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнатѣ. Иногда Аѳанасій Ивановичъ, ходя по комнатѣ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Аѳанасій Ивановичъ?

— Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна; какъ будто немного животъ болитъ,—говорилъ Аѳанасій Ивановичъ.

— А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть, Аѳанасій Ивановичъ?

— Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! Впрочемъ, чего жъ бы такого съѣсть?

— Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами.

— Пожалуй, развѣ такъ только попробовать,—говорилъ Аѳанасій Ивановичъ.

Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ:

— Теперь такъ какъ будто сдѣлалось легче.

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Аѳанасій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхеріею Ивановною и поговорить о чемъ-нибудь постороннемъ.

— А что, Пульхерія Ивановна,—говорилъ онъ: — если бы вдругъ загорѣлся домъ нашъ, куда бы мы дѣлись?

— Вотъ это, Боже сохрани!—говорила Пульхерія Ивановна крестясь.

— Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы перешли тогда?

— Богъ знаетъ, что вы говорите, Аѳанасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не попуститъ.

— Ну, а если бы сгорѣлъ?

— Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнату, которую занимаетъ ключница.

— А если бы и кухня сгорѣла?

— Вотъ еще! Богъ сохранитъ отъ такого поущенія, чтобы вдругъ и домъ и кухня сгорѣли! Ну, тогда въ кладовую, покаместъ выстроился бы новый домъ.

— А если бы и кладовая сгорѣла?

— Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія рѣчи!

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что подшутилъ надъ Пульхеріею Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стулѣ.

Но интереснѣе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домѣ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ всѣмъ, что только производило ихъ хозяйство. Но болѣе всего пріятно мнѣ было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шли къ нимъ, что поневолѣ согла-

шался на ихъ просьбы. Онѣ были слѣдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими стараніями, называющій васъ благодѣтелемъ и ползающій у ногъ вашихъ. Гость никакимъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же день: онъ долженъ былъ непременно переночевать.

— Какъ можно такую позднюю порою отправляться въ такую дальнюю дорогу!—всегда говорила Пульхерія Ивановна. (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ).

— Конечно, — говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, — неравно всякаго случая: нападутъ разбойники или другой недобрый человѣкъ.

— Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ! — говорила Пульхерія Ивановна. — И къ чему рассказывать этакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленький; его всякая кобыла побьетъ; да притомъ теперь онъ уже, вѣрно, наклюкался и спитъ гдѣ-нибудь.

И гость долженъ былъ непременно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнатѣ, радужный, грѣющій и усыпляющій рассказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда питательнаго и мастерски изготовленнаго, бывалъ для него наградою. Я вижу, какъ теперь, какъ Аѳанасій Ивановичъ, согнувшись, сидитъ на стулѣ со всегдашней своею улыбкой и слушаетъ со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и о политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто, съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и рассказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто рассказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аѳанасій Ивановичъ часто говорилъ, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

— Я самъ думаю пойти на войну; почему жъ я не могу итти на войну?

— Вотъ уже и пошелъ! — прерывала Пульхерія Ивановна. — Вы не вѣрьте ему, — говорила она, обращаясь къ гостю: — гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ застрѣлитъ! Ей Богу, застрѣлитъ! Вотъ такъ-таки прицѣлится и застрѣлитъ.

— Что жъ, — говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, — и я его застрѣлю.

— Вотъ слушайте только, что онъ говоритъ! — подхватывала Пульхерія Ивановна. — Куда ему итти на войну! И пистолы его давно уже заржавѣли и лежатъ въ коморѣ. Если бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, не жели выстрѣлять, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ, и лицо искалѣчитъ, и навѣки несчастнымъ останется!

— Что жъ, — говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, — я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или казацкую пику.

— Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ придетъ въ голову, и начнетъ рассказывать! — подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. — Я и знаю, что онъ шутитъ, а все-таки неприятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говоритъ; иной разъ слушаешь-слушаешь, да и страшно станетъ.

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнѣе всего тогда, когда подводила гостя къ закускѣ.

— Вотъ это,—говорила она, снимая пробку съ графина: — водка, настоящая на деревій и шалфей: если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ; вотъ это—на золототысячникъ: если въ ушахъ звенить, и по лицу липша дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ это перегонная на персиковыя косточки, вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжить на лбу гугля, то стоитъ только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ—и все какъ рукой сниметъ; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто вовсе не бывало.

Послѣ этого такой перечетъ слѣдовалъ и другимъ графинамъ, всегда почти имѣвшимъ какія-нибудь цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всюю этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ.

— Вотъ это грибки съ щебрецомъ! Это — съ гвоздиками и волошскими орѣхами. Солить ихъ выучила меня туркени, въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была добрая туркени, и незамѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру исповѣдывала: такъ совсѣмъ и ходитъ почти, какъ у насъ; только свинины не ѣла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ въ законѣ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиннымъ листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ! А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксусѣ; не знаю, каковы-то онѣ. Я узнала секретъ отъ отца Ивана: въ маленькой кадучкѣ прежде всего нужно разостлать дубовыя листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и положить еще, что бываетъ на нечуй-вигерѣ цвѣтъ, такъ этотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлать вверхъ. А вотъ это пирожки! Это пирожки съ сыромъ! это съ урдою! А вотъ это тѣ, которые Аѳанасій Ивановичъ очень очень любитъ, съ капустою и гречневою кашею.

— Да,—прибавлялъ Аѳанасій Ивановичъ,—я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе.

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ, когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся принадлежала гостямъ. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объѣдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ, хотя мнѣ это было очень вредно, однакожъ я всегда бывалъ радъ къ нимъ ѣхать. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго пищеваренію, потому что если бы здѣсь вздумалъ кто-нибудь такимъ образомъ накушаться, то, безъ сомнѣнія, вмѣсто постели очутился бы лежащимъ на столѣ.

Н. Гоголь.

Петръ Петровичъ Пѣтухъ.

Тихо вздрагивая на упругихъ пружинахъ, продолжалъ бережно спускаться незамѣтнымъ кособоромъ покойный экипажъ и, наконецъ, понесся дугами, мимо мельницъ, съ легкимъ громомъ по мостамъ, съ небольшою покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы одинъ бугорокъ или кочка дали себя почувствовать бокамъ! Утѣшеніе, а не коляска.

Быстро пролетали мимо ихъ кусты лозъ, тонкія ольхи и серебристыя тополи, ударяя вѣтвями сидѣвшихъ на козлахъ Селифана и Петрушку. Съ послѣдняго ежеминутно сбрасывали они картузъ. Суровый служитель соскакивалъ съ

козелъ, бранилъ глупое дерево и хозяина, который насадилъ его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотѣлъ, надѣясь, что въ послѣдній разъ, и дальше не случится. Къ деревьямъ же скоро присоединилась береза, тамъ ель. У корней гущина; трава—синяя ирь и желтый лѣсной тюльпанъ. Лѣсъ затемнѣлъ и готовился превратиться въ ночь. Но вдругъ отовсюду, промежъ вѣтвей и пней, сверкнули проблески свѣта, какъ бы сіяющія зеркала. Деревья зарѣдѣли, блески становились больше... и вотъ передъ ними озеро,—водная равнина версты четыре въ поперечникѣ. На супротивномъ берегу, надъ озеромъ, высилались сѣрыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались въ водѣ. Человѣкъ 20, по поясъ, по плеча и по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. Случилась оказія. Вмѣстѣ съ рыбою запутался какъ-то круглый человѣкъ, такой же мѣры въ вышину, какъ и въ толщину, точный арбузъ или боченокъ. Онъ былъ въ отчаянномъ положеніи и кричалъ во всю глотку: «Телепень Денисъ, передавай Козьмѣ! Козьма, бери конецъ у Дениса! Не напирай такъ, Ома Большой! Ступай туды, гдѣ Ома Меньшой. Черти! говорю вамъ, оборвете сѣти!» Арбузъ, какъ видно, боялся не за себя: потонуть, по причинѣ толщины, онъ не могъ, и, какъ бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверхъ; и если бы сѣло къ нему на спину еще двое, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкѣ воды, слегка голько подъ ними погряхтывая да пуская носомъ волдыри. Но онъ боялся брѣвко, чтобы не оборвался неводъ и не ушла рыба, и потому, сверхъ прочаго, тащили его еще накиннутыми веревками нѣсколько человѣкъ, стоявшихъ на берегу.

— Долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ,—сказалъ Селифанъ.

— Почему?

— Оттого, что тѣло у него, изволите видѣть, побѣлѣй, чѣмъ у другихъ, а дородство почтительное, какъ у барина.

Барина, запутаннаго въ сѣти, притянули между тѣмъ уже значительно къ берегу. Почувствовавъ, что можетъ достать ногами, онъ сталъ на ноги, и въ это время увидѣлъ спускавшуюся съ плотины коляску и въ ней сидящаго Чичикова.

— Обѣдали?—закричалъ баринъ, подходя съ пойманною рыбою на берегъ, весь опутанный въ сѣть,—какъ, въ лѣтнее время, дамская ручка въ сквозную перчатку,—держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солнца, другую же пониже—на манеръ Венеры Медицейской, выходящей изъ бани.

— Итъ,—сказалъ Чичиковъ, приподымая картузъ и продолжая раскланиваться изъ коляски.

— Ну, благодарите же Бога!

— А что?—спросилъ Чичиковъ любопытно, держа надъ головою картузъ.

— А вотъ что! Брось, Ома Меньшой, сѣть да приподыми осетра изъ лаханки! Телепень Кузьма, ступай, помоги!

Двое рыбаковъ приподняли изъ лаханки голову какого-то чудовища.—«Вона какой князь! изъ рѣки зашелъ!—кричалъ круглый баринъ.—Поѣзжайте во дворъ! Кучеръ, возьми дорогу пониже черезъ огородъ! Побѣги, Телепень Ома Большой, снять перегородку! Онъ васъ проводить, а я сейчасъ»...

Длинноногій, босой Ома Большой, какъ былъ, въ одной рубашкѣ, побѣжалъ впередъ коляски черезъ всю деревню, гдѣ у всякой избы развѣшены были

бредни, сѣти и морды: всѣ мужики были рыбаки; потомъ вынулъ изъ какого-то огорода перегородку, и огородами выѣхала коляска на площадь, близъ деревянной церкви. За церковью, подалѣе, видны были крыши городскихъ строеній.

«Чудаковать этотъ Кошкаревъ», думалъ онъ про себя.

— А вотъ я и здѣсь! — раздался голосъ сбоку. Чичиковъ оглянулся. Баринъ уже ѣхалъ возлѣ него, одѣтый: травяно-зеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны, и шея безъ галстука, на манеръ купидона! Бокомъ сидѣлъ онъ на дрожкахъ, занявши собою всѣ дрожки. Онъ хотѣлъ было что-то сказать ему, но толстякъ уже исчезъ. Дрожки показались снова на томъ мѣстѣ, гдѣ вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: «Тома Большой да Тома Меньшой! Козьма да Денисъ!» Когда же подѣхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленію его, толстый баринъ былъ уже на крыльцѣ и принималъ его въ свои объятія. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать—было непостижимо. Они поцѣловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрестъ: баринъ былъ стараго покроя.

— Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства, — сказалъ Чичиковъ.

— Отъ какого превосходительства?

— Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитріевича.

— Кто это Александръ Дмитріевичъ?

— Генералъ Бетрищевъ, — отвѣчалъ Чичиковъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

— Не знакомъ, — сказалъ онъ съ изумленіемъ.

Чичиковъ пришелъ еще въ большее изумленіе.

— Какъ же это?.. Я надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что имѣю удовольствіе говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?

— Нѣтъ, не надѣйтесь. Вы пріѣхали не къ нему, а ко мнѣ. Петръ Петровичъ Пѣтухъ! Пѣтухъ, Петръ Петровичъ! — подхватилъ хозяинъ.

Чичиковъ остолбенѣлъ. «Какъ же? — оборотился онъ къ Селифану и Петрушкѣ, которые тоже оба разинули ротъ и выпучили глаза, одинъ сидя на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски. — Какъ же вы, дураки? Вѣдь вамъ сказано: къ полковнику Кошкареву... А вѣдь это Петръ Петровичъ Пѣтухъ...»

— Ребята сдѣлали отлично! Ступай на кухню: тамъ вамъ дадутъ по чапорухѣ водки, — сказалъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ. — Откладывайте коней и ступайте сей же часъ въ людскую!

— Я совѣщусь: такая нежданная ошибка... — говорилъ Чичиковъ.

— Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ обѣдъ, да потомъ скажете: ошибка ли это? Покорнѣйше прошу, — сказалъ Пѣтухъ, взявши Чичикова подъ руку и вводя его во внутренніе покои. Изъ покоевъ вышли имъ навстрѣчу двое юношей, въ лѣтнихъ сюртукахъ, — тонкіе, точно пивовые хлысты; цѣлымъ аршиномъ выгнало ихъ вверхъ выше отцовскаго роста.

— Сыны мои, гимназисты, пріѣхали на праздники... Николаша, ты побудь съ гостемъ; а ты, Алексаша, ступай за мною. — Сказавъ это, хозяинъ исчезнулъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша, кажется, былъ будущій чловѣкъ-дрянце. Онъ разсказалъ съ первыхъ же разовъ Чичикову, что въ губернской гимназіи нѣтъ никакой выгоды учиться, что они съ братомъ хотятъ ѣхать въ Петербургъ, потому что провинція не стоитъ того, чтобы въ ней жить...

«Понимаю, — подумалъ Чичиковъ. — Кончится дѣло кондитерскими да бульварами...» — А что? — спросилъ онъ вслухъ. — Въ какомъ состояніи имѣніе вашего батюшки?

— Заложено, — сказалъ на это самъ батюшка, снова очутившійся въ гостиной, — заложено.

«Плохо, — подумалъ Чичиковъ. — Этакъ скоро не останется ни одного имѣнія. Нужно торопиться». — Напрасно, однакоже, — сказалъ онъ съ видомъ соболѣзнованія, — успѣшили заложить.

— Нѣтъ, ничего, — сказалъ Пѣтухъ. — Говорятъ, выгодно. Всѣ заклады-ваютъ: какъ же отставать отъ другихъ? Притомъ же все жилъ здѣсь: дай-ка еще попробую прожить въ Москвѣ. Вотъ сыновья тоже уговариваютъ, хотятъ просвѣщенія столичнаго.

«Дуракъ, дуракъ! — думалъ Чичиковъ. — Промотаешь все, да и дѣтей сдѣлаешь мотишками. Имѣніице порядочное. Поглядишь — и мужикамъ хорошо, и имъ недурно. А какъ просвѣтятся тамъ у ресторано-въ да по театрамъ, — все пойдетъ къ чорту. Жилъ бы себѣ, кулебяка, въ деревнѣ».

— А вѣдь я знаю, что вы думаете? — сказалъ Пѣтухъ.

— Что? — спросилъ Чичиковъ, смутившись.

— Вы думаете: «Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ: зазвалъ обѣдать, а обѣда до сихъ поръ нѣтъ». Будетъ готовъ, почтеннѣйшій. Не успѣетъ стриженная дѣвка косы заплести, какъ онъ поспѣетъ.

— Батюшка! Платонъ Михайлычъ ѣдетъ! — сказалъ Алексаша, глядя въ окно.

— Верхомъ на гнѣдой лошади! — подхватилъ Николаша, нагибаясь къ окну.

— Гдѣ, гдѣ? — закричалъ Пѣтухъ, подступивши къ окну.

Кто это Платонъ Михайловичъ? — спросилъ Чичиковъ у Алексаша.

— Сосѣдъ нашъ, Платонъ Михайловичъ Платоновъ, прекрасный человекъ, отличный человекъ, — сказалъ самъ Пѣтухъ.

Между тѣмъ вошелъ въ комнату самъ Платоновъ, красавецъ, стройнаго роста, съ свѣтло-русыми блестящими волосами, завивавшимися въ кудри. Гремя мѣднымъ ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, именемъ Яръ, вошелъ вослѣдъ за нимъ.

— Обѣдали? — спросилъ хозяинъ.

— Обѣдалъ.

— Что жъ вы, смѣяться, что ли, надо мной пріѣхали? Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?

Гость, усмѣхнувшись, сказалъ: «Утѣшу васъ тѣмъ, что ничего не ѣлъ: вовсе нѣтъ аппетита».

— А каковъ былъ уловъ, если бъ вы видѣли! Какой осетрище пожаловалъ! Какіе карасищи, карпищи какіе!

— Даже досадно васъ слушать. Отчего вы всегда такъ веселы?

— Да отчего же скучать? Помилуйте! — сказалъ хозяинъ.

— Какъ отчего скучать? — оттого, что скучно.

— Мало ѣдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообѣдать. Вѣдь это въ послѣднее время выдумали скуку; прежде никто не скучалъ.

— Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?

— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нѣтъ для скучанія. Поутру проснешься—вѣдь тутъ сейчасъ поварь, нужно заказывать обѣдъ, тутъ чай, тутъ приказчикъ, тамъ на рыбную ловлю, а тутъ и обѣдъ. Послѣ обѣда не успѣешь всхрапнуть—опять поварь, нужно заказывать ужинъ; тутъ пришелъ поварь—заказывать нужно назавтра обѣдъ... Когда же скучать?

— А вотъ мы скуку сейчасъ прогонимъ,—сказалъ хозяинъ.—Вѣжи, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскорѣй прислалъ намъ растегайчиковъ. Да гдѣ жъ ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка? Зачѣмъ не даютъ закуски?

Но дверь растворилась. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разноцвѣтныхъ настоекъ. Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ со всякой подстрекающей снѣдью. Слуги поворачивались расторопно, безпрестанно принося что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка расправлялись отлично. Названія эти были имъ даны такъ только—для поощренія. Баринъ былъ вовсе не охотникъ браниться, онъ былъ добрякъ; но ужъ русскій человѣкъ какъ-то безъ прянаго слова не обойдется. Оно ему нужно, какъ рюмка водки для сваренія въ желудкѣ. Что жъ дѣлать? такая натура: ничего прѣснаго не любить.

Закуска послѣдовала обѣдъ. Здѣсь добродушный хозяинъ сдѣлался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замѣчалъ у кого одинъ кусокъ—подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: «Безъ пары ни человѣкъ, ни птица не могутъ жить на свѣтѣ». У кого два—подкладывалъ ему третій, приговаривая: «Что жъ за число два? Богъ любитъ троицу». Съѣдалъ гость три—онъ ему: «Гдѣ жъ бываетъ телѣга о трехъ колесахъ? Кто жъ строитъ избу о трехъ углахъ?» На четыре у него была тоже поговорка, на пять—опять. Чичиковъ съѣлъ чего-то чуть ли не двѣнадцать ломтей и думалъ: «Ну, теперь ничего не приберетъ больше хозяинъ». Не тутъ-то было: хозяинъ, не говоря ни слова, положилъ ему на тарелку хребтовую часть телянка, жаренаго на вертелѣ, съ почками, да и какого телянка!

— Два года воспитывалъ на молокѣ,—сказалъ хозяинъ,—ухаживалъ, какъ за сыномъ!

— Не могу,—сказалъ Чичиковъ!

— Вы попробуйте да потомъ скажите: *не могу*.

— Не взойдетъ, нѣтъ мѣста.

— Да вѣдь и въ церкви не было мѣста, взошелъ городничій—нашлось. А была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусокъ тотъ же городничій.

Попробовалъ Чичиковъ—дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ городничаго: нашлось ему мѣсто, а, казалось, ничего нельзя было помѣстить.

«Ну, какъ этакому человѣку ѣхать въ Петербургъ или въ Москву? Слѣзъ такимъ хлѣбосольствомъ онъ тамъ въ три года проживется въ пухъ!» То-есть, онъ не зналъ того, что теперь это усовершенствовано: и безъ хлѣбосольства можно все спустить не въ три года, а въ три мѣсяца.

Онъ то и дѣло подливалъ да подливалъ; чего жъ не допивали гости, давалъ допить Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ и хлопали рюмку за рюмкой:

впередъ видно было, на какую часть человѣческихъ познаній обратятъ они вниманіе по прїѣздѣ въ столицу. Съ гостями было не то: въ силу, въ силу перетаскились они на балконъ и въ силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ, какъ сѣлъ въ свое, какое-то четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его, превратившись въ кузнечный мѣхъ, стала издавать, черезъ открытый ротъ и носовые продухи, такіе звуки, какіе рѣдко приходятъ въ голову и новаго сочинителя: и барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый гулъ, точный собачій лай.

— Экъ его насвистываетъ!—сказалъ Платоновъ.

Чичиковъ разсмѣялся.

— Разумѣется, если этакъ пообѣдаешь, какъ тутъ прійти скупъ! Тутъ сонъ придетъ—не правда ли?

— Да. Но я, однакоже,—вы меня извините,—не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ.

— Какія же?

— Да мало ли для молодого человѣка? Танцевать, играть на какомъ-нибудь инструментѣ... а не то—жениться.

— На комъ?

— Да будто въ окружности нѣтъ хорошихъ и богатыхъ невѣстъ?

— Да нѣтъ.

— Ну, поискать въ другихъ мѣстахъ, поѣздить.

И богатая мысль сверкнула вдругъ въ головѣ Чичикова.

— Да вотъ прекрасное средство!—сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.

— Какое?

— Путешествіе.

— Куда жъ ѣхать?

— Да если вамъ свободно, такъ поѣдемъ со мной,—сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ».

— А вы куда ѣдете?

— Покамѣстъ ѣду я не столько по своей нуждѣ, сколько по надобности другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ... Конечно, родственники родственниками; но отчасти, такъ сказать, и для самого себя: ибо видѣть свѣтъ, колдовращеніе людей—кто что ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука.

— А согласны ли вы, погостить у брата денька два? Иначе онъ меня не отпуститъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три.

— Ну, такъ по рукамъ! Ѣдемъ,—сказалъ, оживясь, Платоновъ.

Они хлопнули по рукамъ. Ѣдемъ!

— Куда, куда?—вскрикнулъ хозяинъ, проснувшись и выпуча на нихъ глаза.—Нѣтъ, сударики! и колеса у коляски приказано снять, а вашего жеребца, Платонъ Михайлычъ, угнали отсюда за пятнадцать верстъ. Нѣтъ, вотъ вы сегодня переночуйте, а завтра послѣ ранняго обѣда и поѣзжайте себѣ.

Что было дѣлать съ Пѣтухомъ? Нужно было остаться.

За ужиномъ опять объѣлись. Когда вошелъ Павелъ Ивановичъ въ отведенную комнату для сна и, лежа въ постель, пощупалъ животикъ свой:

«Барабанъ!» сказалъ (онъ),—никакой городничій не взойдетъ. Надобно такое стеченіе обстоятельствъ, что за стѣной былъ кабинетъ хозяина. Стѣна была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ ранняго завтрака, на завтрашній день рѣшительный обѣдъ,—и какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетитъ.

— Да кулебяку сдѣлай на четыре угла,—говорилъ онъ съ присасываніемъ и забирая къ себѣ духъ.—Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязиги, въ другой гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокоъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого... какого-нибудь тамъ того... Да чтобы она съ одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то... пропеки ее такъ, чтобы всю ее прососало, проняло бы такъ, чтобы она вся, знаешь, этакъ разтого—не то, чтобы разсыпалась, а истаяла бы во рту какъ снѣгъ какой, такъ чтобы и не услышалъ.—Говоря это, Пѣтухъ присмакывалъ и подшлепывалъ губами.

«Чортъ побери! не дастъ спать», думалъ Чичиковъ и закуталъ голову въ одѣяло, чтобы не слышать ничего. Но и съвозъ одѣяло было слышно:

— А въ обкладку къ осетру подпусти свеклу звѣздочкой, да сняточковъ, да груздочковъ, да тамъ знаешь, рѣпушки, да морковки, да бобковъ, тамъ чего-нибудь этакого, знаешь, того разтого, чтобы гарниру, гарниру всякаго побольше. Да въ свиной сычугъ положи ледку, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько.

Много еще Пѣтухъ заказывалъ блюдъ. Только и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопрѣть хорошенько!» Заснулъ Чичиковъ уже на какомъ-то индюкѣ.

На другой день до того объѣлись гости, что Платоновъ уже не могъ ѣхать верхомъ. Жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Пѣтуха. Они съѣли въ коляску. Мордатый пестъ лѣниво пошелъ за коляской: онъ тоже объѣлся.

Гоголь.

П Л Ю Ш К И Н Ъ.

У одного изъ строеній Чичиковъ скоро замѣтилъ какую-то фигуру, которая начала вздорить съ мужикомъ, пріѣхавшимъ на телѣгѣ. Долго онъ не могъ распознать, какого пола была фигура—баба или мужикъ. Платье на ней было совершенно неопредѣленное, похожее очень на женскій капотъ; на головѣ колпакъ, какой носятъ деревенскія дворовыя бабы; только одинъ голосъ показался ему нѣсколько сильнымъ для женщины. «Ой, баба!» подумалъ онъ про себя и тутъ же прибавилъ: «Ой, нѣтъ!»—«Конечно, баба!» наконецъ сказалъ онъ, разсмотрѣвъ попристальнѣе. Фигура, съ своей стороны, глядѣла на него тоже пристально. Казалось, гость былъ для нея въ диковинку, потому что она обсмотрѣла не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная съ хвоста и до морды. По висѣвшимъ у ней за поясомъ ключамъ и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиковъ заключилъ, что это, вѣрно, ключница.

— Послушай, матушка,—сказалъ онъ, выходя изъ брички:—чтѣ баринъ?..»

— Нѣтъ дома,—прервала ключница, не дожидаясь окончанія вопроса, и потомъ, спустя минуту, прибавила:—А чтѣ вамъ нужно?

— Есть дѣло.

— Идите въ комнаты!—сказала ключница, отворотившись и показавъ ему спину, запачканную мукою, съ большой прорѣхою пониже.

Онъ вступилъ въ темныя, широкія сѣни, отъ которыхъ подуло холодомъ, какъ изъ погреба. Изъ сѣней онъ попалъ въ комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную свѣтомъ, выходившимъ изъ-подъ широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, онъ, наконецъ, очутился въ свѣту и былъ пораженъ представшимъ беспорядкомъ. Казалось, какъ будто въ домѣ происходило мытье половъ и сюда на время нагромодили всю мебель. На одномъ столѣ стоялъ даже сломанный стулъ и, рядомъ съ нимъ, часы съ остановившимся маятникомъ, къ которому паукъ уже приладилъ паутину. Тутъ же стоялъ, при-слоненный бокомъ къ стѣнѣ, шкафъ съ стариннымъ серебромъ, графинчиками и китайскимъ фарфоромъ. На бюро, выложенномъ перламутною мозаикой, которая мѣстами уже выпала и оставила послѣ себя одни желтенькіе желобки, наполненные клеемъ, лежало множество всякой всячины: куча исписанныхъ легко бумажекъ, накрытыхъ мраморнымъ позеленѣвшимъ прессомъ съ яичкомъ наверху, какая-то старинная книга въ кожаномъ переплетѣ съ краснымъ обрѣзомъ, лимонъ весь высохшій, ростомъ не болѣе лѣсного орѣха, отломленная ручка кресель, рюмка съ какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмомъ, кусочекъ сургучика, кусочекъ гдѣ-то поднятой тряпки, два пера, запачканныя чернилами, высохшія какъ въ чахоткѣ, зубочистка совершенно пожелтѣвшая, которою хозяинъ, можетъ-быть, ковырялъ въ зубахъ своихъ еще до нашествія на Москву французовъ.

По стѣнамъ навѣшано было весьма тѣсно и безтолково нѣсколько картинъ, длинный, пожелтѣвшій гравюръ какого-то сраженія, съ огромными барабанами, кричащими солдатами въ треугольныхъ шляпахъ и тонущими конями, безъ стекла, вставленный въ раму красного дерева съ тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по угламъ. Въ рядъ съ ними занимала полетѣны огромная почернѣвшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цвѣты, фрукты, разрѣзанный арбузъ, кабанью морду и висѣвшую головою внизъ утку. Съ середины потолка висѣла люстра въ холстинномъ мѣшкѣ, отъ пыли сдѣлавшаяся похожею на шелковый коконъ, въ которомъ сидитъ червякъ. Въ углу комнаты была навалена на полу куча того, что поглубже и что недостойно лежать на столахъ. Что именно находилось въ кучѣ — рѣшить было трудно, ибо пыли на ней было въ такомъ изобиліи, что руки всякаго касавшагося становились похожими на перчатки; замѣтишь прочаго высывались оттуда отломленный кусокъ деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никакъ бы нельзя было сказать, чтобы въ комнатѣ сей обитало живое существо, если бы не возвѣщало его пребываніе старый, поношенный колпакъ, лежавшій на столѣ. Пока онъ разсматривалъ все странное ея убранство, отворилась боковая дверь, и вошла та же самая ключница, которую встрѣтилъ онъ на дворѣ. Но тутъ увидѣлъ онъ, что это былъ скорѣе ключникъ, чѣмъ ключница: ключница, по крайней мѣрѣ, не бреетъ бороды, а этотъ, напротивъ того, брилъ, и, казалось, довольно рѣдко, потому что весь подбородокъ съ нижней частью щеки походилъ у него на скребницу изъ желѣзной проволоки, какою чистятъ на конюшнѣ лошадей. Чичиковъ, давши вопросительное выраженіе лицу своему, ожидалъ съ нетерпѣніемъ, что хочетъ сказать ему ключникъ. Ключникъ тоже, съ своей стороны, ожидалъ, что хочетъ ему сказать

Чичиковъ. Наконецъ послѣдній, удивленный такимъ страннымъ недоумѣиємъ, рѣшился спросить:

— Что жъ баринъ? У себя, что ли?

— Здѣсь хозяинъ,— сказалъ ключникъ.

— Гдѣ же? — повторилъ Чичиковъ.

— Что, батюшка, слышн-то, что ли? — сказалъ ключникъ. — Эхва! А вѣтъ хозяинъ-то я!

Здѣсь герой нашъ поневолѣ отступилъ назадъ и поглядѣлъ на него пристально. Ему случилось видѣть не мало всякаго рода людей, даже такихъ, какихъ намъ съ читателемъ, можетъ-быть, никогда не придется увидать; но такого онъ еще не видывалъ. Лицо его не представляло ничего особеннаго: оно было почти такое же, какъ у многихъ худощавыхъ стариковъ; одинъ подбородокъ только выступалъ очень далеко впередъ, такъ что онъ долженъ былъ всякій разъ закрывать его платкомъ, чтобы не заплевать; маленькіе глазки его не потухнули и бѣгали изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, когда, высунувши изъ темныхъ норъ остренькія морды, насторожа уши и моргая усомъ, онѣ высматриваютъ, не затаился ли гдѣ котъ или шалунъ-мальчишка, и нюхаютъ подозрительно самый воздухъ. Гораздо замѣчательнѣе былъ нарядъ его. Никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, изъ чего состряпанъ былъ его халатъ: рукава и верхнія полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идетъ на сапоги; назадъ, вмѣсто двухъ, болтались четыре полы, изъ которыхъ охлопьями лѣзла хлопчатая бумага! На шеѣ у него тоже было повязано что-то такое, котораго нельзя было разобрать: чулокъ ли, подвязка ли, или набрюшникъ, только никакъ не галстукъ. Словомъ, если бы Чичиковъ встрѣтилъ его, такъ принаряженнаго, гдѣ-нибудь у церковныхъ дверей, то, вѣроятно, далъ бы ему мѣдный грошъ, ибо къ чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно, и онъ не могъ никакъ удержаться, чтобы не подать бѣдному человѣку мѣднаго гроша. Но предъ нимъ стоялъ не нищій, предъ нимъ стоялъ помѣщикъ. У этого помѣщика была тысяча слишкомъ душъ, и попробовалъ бы кто найти у кого другого столько хлѣба, зерномъ, мукою и, просто, въ кладяхъ, у кого бы кладовыя, амбары и сушилы загромождены были такимъ множествомъ холстовъ, суконъ, овчинъ, выдѣланныхъ и сыромятныхъ, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянулъ бы кто-нибудь къ нему на рабочій дворъ, гдѣ наготовлено было на запасъ всякаго дерева и посуды, никогда не употреблявшейся—ему бы показалось, ужъ не попалъ ли онъ какъ-нибудь въ Москву на щепной дворъ, куда ежедневно отправляются расторопныя тещи и свекрухи, съ кухарками позади, дѣлать свои хозяйственные запасы, и гдѣ горами бѣлѣтъ всякое дерево, шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересѣлки, ушаты, лагуны, жбаны съ рыльцами и безъ рылецъ, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладутъ свои мочки и прочій дрягъ, коробья изъ тонкой гнутой осины, бураки изъ плетеной берестки и много всего, что идетъ на потребу богатой и бѣдной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобныхъ издѣлій? Во всю жизнь не пришлось бы ихъ употребить даже на два такихъ имѣнія, какія были у него; но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь симъ, онъ ходилъ еще каждый день по улицамъ своей деревни, заглядывалъ подъ мостики, подъ перекладыны, и все, что ни попадалось ему: старая

подошва, бабья тряпка, желѣзный гвоздь, глиняный черепокъ,—все тащилъ къ себѣ и складывалъ въ ту кучу, которую Чичиковъ замѣтилъ въ углу комнаты. «Вонъ, уже рыболовъ пошелъ на охоту!» говорили мужики, когда видѣли его, идущаго на добычу. И въ самомъ дѣлѣ, послѣ него не зачѣмъ было мести улику: случилось проѣзжавшему офицеру потерять шпору, — шпора эта мигомъ отправилась въ извѣстную кучу; если баба, какъ-нибудь зазѣвавшись у колодца, позабывала ведро, онъ утаскивалъ и ведро. Впрочемъ, когда примѣтившій мужикъ уличалъ его тутъ же, онъ не спорилъ и отдавалъ похищенную вещь; но если только она попадала въ кучу, тогда все кончено: онъ божился, что вещь его, куплена имъ тогда-то, у того-то, или досталась отъ дѣда. Въ комнатѣ своей онъ подымалъ съ пола все, что ни видѣлъ: сургучикъ, лоскутокъ бумажки, перышко и все это клалъ на бюро или на окошко.

А вѣдь было время, когда онъ только былъ бережливымъ хозяиномъ! Былъ женатъ и семьянинъ; и сосѣдъ заѣзжалъ къ нему пообѣдать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размѣреннымъ ходомъ: двигались мельницы, валильни, работали суконныя фабрики, столярныя станки, прядильни; вездѣ, во все входилъ зоркій взглядъ хозяина и, какъ трудолюбивый паукъ, бѣгалъ хлопотливо, но расторопно, по всѣмъ концамъ своей хозяйственной паутины. Слишкомъ сильныя чувства не отражались въ чертахъ лица его, но въ глазахъ былъ виденъ умъ; опытностью и познаніемъ свѣта была проникнута рѣчь его, и гостю было пріятно его слушать; привѣтливая и говорливая хозяйка славилась хлѣбосольствомъ; навстрѣчу выходили двѣ миловидныя дочки, обѣ бѣлокुरыя и свѣжія, какъ розы; выбѣгалъ сынъ, разбитой мальчишка, и цѣловался со всѣми, мало обращая вниманія на то, радъ ли, или не радъ былъ этому гостю. Въ домѣ были открыты всѣ окна; антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и былъ большой стрѣлокъ: приносилъ всегда къ обѣду тетерекъ или утокъ, а иногда и одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказывалъ себѣ яичницу, потому что больше въ цѣломъ домѣ никто ея не ѣлъ. На антресоляхъ жила также его компаніюта, наставница двухъ дѣвицъ. Самъ хозяинъ является къ столу въ скрутокѣ, хотя нѣсколько поношенномъ, но опрятномъ; локти были въ порядкѣ; нигдѣ никакой заплата. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а съ ними мелкихъ заботъ, перешла къ нему. Плюшкинъ сталъ безпокойнѣе и, какъ всѣ вдовцы, подозрительнѣе и скупѣе. На старшую дочь, Александру Степановну, онъ не могъ во всемъ положиться, да и былъ правъ, потому что Александра Степановна скоро убѣжала съ штабсъ-ротмистромъ, Богъ вѣсть какого, кавалерійскаго полка и обвинчалась съ нимъ гдѣ-то наскоро, въ деревенской церкви, зная, что отецъ не любитъ офицеровъ по странному предубѣжденію, будто бы всѣ военные — картежники и мотишки. Отецъ послалъ ей на дорогу проклятіе, а преслѣдовать не заботился. Въ домѣ стало еще пустѣе. Во владѣльцѣ стала замѣтнѣе обнаруживаться скупость; сверкнувшая въ жесткихъ волосахъ его сѣдина, вѣрная подруга ея, помогла ей еще болѣе развиться. Учитель-французъ былъ отпущенъ, потому что сыну пришла пора на службу; мадамъ была прогнана, потому что оказалась не безгрѣшною въ похищеніи Александры Степановны. Сынъ, будучи отправленъ въ губернскій городъ съ тѣмъ, чтобы узнать въ палатѣ, по мнѣнію отца, службу существенную, опредѣлился вмѣсто того въ полкъ и написалъ къ отцу, уже по своему опредѣленію, прося

денегъ на обмундировку; весьма естественно, что онъ получилъ на это то, что называется въ простонародіи пиить. Наконецъ, послѣдняя дочь, оставшаяся съ нимъ въ домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сторожемъ, хранителемъ и владѣтелемъ своихъ богатствъ. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, какъ извѣстно, имѣетъ волчій голодъ и, чѣмъ болѣе пожираетъ, тѣмъ становится ненасытнѣе; человѣческія чувства, которыя и безъ того не были въ немъ глубоки, мелѣли ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось въ этой изношенной развалинѣ. Случись же подъ такую минуту, какъ будто нарочно въ подтвержденіе его мнѣнія о военныхъ, что сынъ его проигрался въ карты; онъ послалъ ему отъ души свое отцовское проклятіе и никогда уже не интересовался знать, существуетъ ли онъ на свѣтѣ, или нѣтъ. Съ каждымъ годомъ притворялись окна въ его домѣ, наконецъ, осталось только два, изъ которыхъ одно, какъ уже видѣлъ читатель, было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходили изъ вида его, болѣе и болѣе, главные части хозяйства, и мелкій взглядъ его обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, которыя онъ собиралъ въ своей комнатѣ; неуступчивѣе становился онъ къ покупателямъ, которые пріѣзжали забирать у него хозяйственные произведенія: покупщики торговались, торговались и, наконецъ, бросили его вовсе, сказавши, что это бѣсъ, а не человекъ; сѣно и хлѣбъ гнили; клади и стоги обращались въ чистый навозъ, хоть разводилъ на нихъ капусту; мука въ подвалахъ превратилась въ камень, и нужно было ее рубить; въ сукнамъ, холстамъ и домашнимъ матеріямъ страшно было притронуться: они обращались въ пыль. Онъ уже позабывалъ самъ, сколько у него было чего, и помнилъ только, въ какомъ мѣстѣ стоялъ у него въ шкапу графинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настойки, на которомъ онъ самъ сдѣлалъ намѣтку, чтобы никто воровскимъ образомъ ее не выпилъ, да гдѣ лежало перышко или сургучикъ. А между тѣмъ въ хозяйствѣ доходъ собирался попрежнему: столько же оброку долженъ былъ принести мужикъ, такимъ же приносомъ орѣховъ обложена была всякая баба, столько же поставовъ холста должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось въ кладовыя и все становилось гнить и прорѣха, и самъ онъ обратился, наконецъ, въ какую-то прорѣху на челоуѣчествѣ. Александра Степановна какъ-то пріѣзжала раза два съ маленькимъ сыномъ, пыталась, нельзя ли чего-нибудь получить: видно, походная жизнь съ штабсъ-ротмистромъ не была такъ привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкинъ, однакоже, ее простилъ и даже далъ маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столѣ, но денегъ ничего не далъ. Въ другой разъ Александра Степановна пріѣхала съ двумя малютками и привезла ему куличъ къ чаю и новый халатъ, потому что у батюшки былъ такой халатъ, на который глядѣтъ не только было совѣстно, но даже стыдно. Плюшкинъ приласкалъ обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ къ себѣ одного на правое колено, а другого—на лѣвое, покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они ѣхали на лошадахъ; куличъ и халатъ взялъ, но дочери рѣшительно ничего не далъ; съ тѣмъ и уѣхала Александра Степановна.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизойти человекъ? могъ такъ измѣниться? И похоже это на правду? — Все похоже на правду, все можетъ статься съ человекомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесто-

чающее мужество, — забирайте съ собою всё человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ: не подымете потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдастъ назадъ и обратно! Могила милосердіе ея, на могилѣ напишется: *«здесь погребенъ человекъ»*; но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости.

Гоголь.

Не грусти, что листья...

Не грусти, что листья
Съ дерева валятся, —
Будущей весною
Вновь они родятся, —
А грусти, что силы
Молодости таютъ,
Что черствѣетъ сердце,
Думы засыпаютъ...

Только лишь весною
Теплою повѣетъ —
Дерево роскошно
Вновь зазеленѣтъ...

Силы жъ молодыя
Сгибнуть — не вернуться,
Сердце очерствѣтъ,
Думы не проснутся!

И. Суриковъ.

Н о з д р е в ъ.

Это былъ средняго роста, очень недурно сложенный молодецъ, съ полными румяными щеками, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, зубами и черными, какъ смоль, бакенбардами. Свѣжъ онъ былъ, какъ кровь съ молокомъ; здоровье, казалось, такъ и прыскало съ лица его.

Лицо Ноздрева, вѣрно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Такихъ людей приходилось всякому встрѣчать не мало. Они называются разбитными малыми, слывуть еще въ дѣтствѣ и въ школѣ за хорошихъ товарищей, и при всемъ томъ бываютъ весьма больно поколачиваемы. Въ ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успѣешь оглянуться, какъ уже говорятъ тебѣ *ты*. Дружбу заведутъ, кажется, навѣкъ; но всегда почти такъ случается, что подружившійся подерется съ ними того же вечера на дружеской пирушкѣ. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народъ видный. Ноздревъ въ тридцать пять лѣтъ былъ таковъ же совершенно, какимъ былъ въ осьмнадцать и двадцать: охотникъ погулять. Женитьба его ничуть не перемѣнила, тѣмъ болѣе, что жена скоро отправилась на тотъ свѣтъ, оставивши двухъ ребятишекъ, которые рѣшительно ему были не нужны. За дѣтьми, однакожъ, присматривала смазливая нянька. Дома онъ больше дня никакъ не могъ усидѣть. Чуткій носъ его слышалъ за нѣсколько десятковъ верстъ, гдѣ была ярмарка со всякими стѣздами и балами; онъ ужъ въ одно мгновеніе ока былъ

тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ столомъ, ибо имѣлъ, подобно всѣмъ таковымъ, страстишку къ картишкамъ. Въ картишки игралъ онъ не совсѣмъ безгрѣшно и чисто, зная много разныхъ передержекъ и другихъ тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густымъ и очень хорошимъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ иногда съ одной только бакенбардой и то довольно жидкой. Но здоровыя и полныя щеки его такъ хорошо были сотворены и вмѣщали въ себѣ столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежнихъ. И, что всего страннѣе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ черезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми пріятелями, которые его тузили, и встрѣчался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего.

Ноздревъ былъ въ нѣкоторомъ отношеніи историческій человѣкъ. Ни на одномъ собраніи, гдѣ онъ былъ, не обходилось безъ исторіи. Какая-нибудь исторія непременно происходила: или выведутъ его подъ руки изъ зала жандармы, или принуждены бывають вытолкать свои же пріятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будетъ такое, чего съ другимъ никакъ не будетъ; или нарѣжется въ буфетѣ такимъ образомъ, что только смѣется, или провретъ самымъ жестокимъ образомъ, такъ что, наконецъ, самому сдѣлается совѣстно. И навретъ совершенно безъ всякой нужды: вдругъ разскажетъ, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, такъ что слушающіе, наконецъ, всѣ отходятъ, произнеся: «Ну, братъ, ты, кажется, ужъ началъ пули лить». Есть люди, имѣющіе страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе безъ всякой причины. Иной, напримѣръ, даже человѣкъ въ чинахъ, съ благородною наружностью, со звѣздой на груди, будетъ вамъ жать руку, разговаривать съ вами о предметахъ глубокихъ, вызывающихъ на размышленія, а потомъ, смотришь, тутъ же, предъ вашими глазами, и нагадитъ вамъ, какъ простой коллежскій регистраторъ, а вовсе не такъ, какъ человѣкъ со звѣздой на груди, разговаривающій о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, такъ что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего болѣе. Такую же странную страсть имѣлъ и Ноздревъ. Чѣмъ кто ближе съ нимъ сходилъ, тому онъ скорѣе всѣхъ насаливалъ: распускалъ небывицу, глупѣе которой трудно выдумать, разстраивалъ свадьбу, торговую сдѣлку, и вовсе не почиталъ себя вашимъ непріателемъ; напротивъ, если случай приводилъ его опять встрѣтиться съ вами, онъ обходился вновь по-дружески и даже говорилъ: «Вѣдь ты такой подлецъ,—никогда ко мнѣ не заѣдешь». Ноздревъ во многихъ отношеніяхъ былъ многосторонній человѣкъ, то-есть человѣкъ на всѣ руки. Въ ту же минуту онъ предлагалъ вамъ ѣхать, куда угодно, хоть на край свѣта, войти въ какое хотите предпріятіе, мѣнять все, что ни есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь—все было предметомъ мѣны, но вовсе не съ тѣмъ, чтобы выиграть; это происходило просто отъ какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмаркѣ посчастливилось напасть на простака и обыграть его, онъ покупалъ кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза въ лавкахъ: хомутовъ, курительныхъ свѣчехъ, платковъ для няньки, жеребца, пизюму, серебряный рукомошникъ, голландскаго холста, крупчатой муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картинъ, точильный инструментъ, горшковъ, сапоговъ, фаянсовую посуду—насколько хватало денегъ. Впрочемъ, рѣдко случалось, чтобы

это было доведено домой: почти въ тотъ же день спускалось оно все другому, счастливѣйшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка съ кисетомъ и мундштукомъ, а въ другой разъ и вся четверня со всѣмъ — съ коляской и кучеромъ, такъ что самъ хозяинъ отправлялся въ коротенькомъ сюртукѣ, или архалукѣ, искать какого-нибудь пріятеля, чтобы попользоваться его экипажемъ. Вотъ какой былъ Ноздревъ! Можетъ-быть, назовутъ его характеромъ избитымъ, стануть говорить, что теперь нѣтъ уже Ноздрева. Увы! — несправедливы будутъ тѣ, которые стануть говорить такъ. Ноздревъ долго еще не выведется изъ міра. Онъ вездѣ между нами и, можетъ-быть, только ходитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ.

Гоголь.

М а н и л о в ъ.

Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова. Есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: *люди такъ себѣ, ни то, ни се, ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ*, по словамъ пословицы. Можетъ-быть, въ немъ слѣдуетъ примкнуть и Манилова. На взглядъ онъ былъ человѣкъ видный; черты лица его были не лишены пріятности, но въ эту пріятность, казалось, черезчуръ было передано сахару; въ приемахъ и оборотахъ его было что-то заносчивающее расположенія и знакомства. Онъ улыбался заманчиво, былъ бѣлокуръ, съ голубыми глазами. Въ первую минуту разговора съ нимъ не можешь не сказать: «Какой пріятный и добрый человѣкъ!» Въ слѣдующую затѣмъ минуту ничего не скажешь, а въ третью скажешь: «Чортъ знаетъ, что такое!» и отойдешь подальше; если жъ не отойдешь, то почувствуешь скуку смертельную. Отъ него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчиваго слова, какое можешь услышать почти отъ всякаго, если коснешься задирающаго его предмета. У всякаго есть свой задоръ: у одного задоръ обратился на борзыхъ собакъ; другому кажется, что онъ сильный любитель музыки и удивительно чувствуетъ всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лихо пообѣдать; четвертый сыграть роль, хоть однимъ вершкомъ повыше той, которая ему назначена; пятый, съ желаніемъ болѣе ограниченнымъ, спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы пройтись на гуляньи съ флигель-адъютантомъ, на показъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ; шестой уже одаренъ такою рукою, которая чувствуетъ желаніе сверхъестественное заломить уголъ какому-нибудь бубновому тузу или двойкѣ, тогда какъ рука седьмого такъ и лѣзетъ произвести гдѣ-нибудь порядокъ, подобраться поближе къ личности станціоннаго смотрителя или ямщиковъ, — словомъ, у всякаго есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома онъ говорилъ очень мало и большею частью размышлялъ и думалъ, но о чемъ онъ думалъ, тоже развѣ Богу было извѣстно. Хозяйствомъ, нельзя сказать, чтобы онъ занимался, онъ даже никогда не ѣздилъ на поля; хозяйство шло какъ-то само собою. Когда приказчикъ говорилъ: «Хорошо бы, баринъ, то и то сдѣлать». — «Да, не дурно», отвѣчалъ онъ обыкновенно, куря трубку, которую курить сдѣлалъ привычку, когда еще служилъ въ арміи, гдѣ считался скромнѣйшимъ, деликатнѣйшимъ и образованнѣйшимъ офицеромъ. «Да, именно не дурно», повторялъ онъ. Когда приходилъ къ нему мужикъ и, почесавши рукою заты-

локъ, говорилъ: «Баринъ, позволъ отлучиться на работу, подать заработать». «Ступай», говорилъ онъ, куря трубку, и ему даже въ голову не приходило, что мужикъ шель пьянствовать. Иногда, глядя съ крыльца на дворъ и на прудъ, говорилъ онъ о томъ, какъ бы хорошо было, если бы вдругъ отъ дома провести подземный ходъ, или чрезъ прудъ выстроить каменный мостъ, на которомъ бы были по обѣимъ сторонамъ лавки, и чтобы въ нихъ сидѣли купцы и продавали разные мелкіе товары, нужные для крестьянъ. При этомъ глаза его дѣлались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выраженіе. Впрочемъ, всѣ эти проекты такъ и оканчивались только одними словами. Въ его кабинетѣ всегда лежала какая-то книжка, заложённая закладкою на 14 страницѣ, которую онъ постоянно читалъ уже два года. Въ домѣ его чего-нибудь вѣчно недоставало: въ гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой матеріей, которая, вѣрно, стоила весьма недешево; но на два кресла ея не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочемъ, хозяинъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ всякій разъ предостерегалъ своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». Въ иной комнатѣ и вовсе не было мебели, хотя и было говорено въ первые дни послѣ женитьбы: «Душенька, нужно будетъ завтра похлопотать, чтобы въ эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на столъ очень щегольской подсвѣчникъ изъ темной бронзы, съ тремя античными граціями, съ перламутрымъ щегольскимъ щитомъ, и рядомъ съ нимъ ставился какой-то просто мѣдный инвалидъ, хромою, свернувшійся на сторону и весь въ салѣ, хотя этого не замѣчалъ ни хозяинъ, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочемъ, они были совершенно довольны другъ другомъ. Несмотря на то, что минуло болѣе восьми лѣтъ ихъ супружеству, изъ нихъ все еще каждый приносилъ другому или кусочекъ яблочка, или конфетку, или орѣшекъ, и говорилъ трогательно-нѣжнымъ голосомъ, выражавшимъ совершенную любовь: «Разинъ, душенька, свой ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ». Само собою разумѣется, что ротикъ раскрывался при этомъ случаѣ очень граціозно. Ко дню рожденія приготовляемы были сюрпризы — какой-нибудь бисерный чехольчикъ на зубочистку. И весьма часто, сидя на диванѣ, вдругъ, совершенно неизвѣстно, изъ какихъ причинъ, одинъ, оставивши свою трубку, а другую работу, если только она держалась на ту пору въ рукахъ, они напечатлѣвали другъ другу такой томный и длинный поцѣлуй, что въ продолженіе его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словомъ, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы замѣтить, что въ домѣ есть много другихъ занятій, кромѣ продолжительныхъ поцѣлуевъ и сюрпризовъ, и много бы можно сдѣлать разныхъ запросовъ. Зачѣмъ, напримѣръ, глупо и безъ-толку готовится на кухнѣ? Зачѣмъ довольно пусто въ кладовой? Зачѣмъ воровка ключница? Зачѣмъ нечистоплотны и пьяницы слуги? Зачѣмъ вся дворня спитъ немилосерднымъ образомъ и повѣсничаетъ все остальное время? Но все это предметы низкіе, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитаніе, какъ извѣстно, получается въ пансіонахъ; а въ пансіонахъ, какъ извѣстно, три главные предмета составляютъ основу человѣческихъ добродѣтелей: французскій языкъ, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепьяно, для доставленія пріятныхъ минутъ супругу, и, наконецъ, собственно хозяйственная часть: вязаніе кошелевъ и другихъ сюрпризовъ. Впрочемъ, бываютъ разные усовершенствованія и измѣ-

пенія въ методахъ, особенно въ нынѣшнее время: все это болѣе зависигъ отъ благоразумія и способностей самихъ содержательницъ пансіона. Въ другихъ пансіонахъ бываетъ такимъ образомъ, что прежде фортепьяно, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже хозяйственная часть. А иногда бываетъ и такъ, что прежде хозяйственная часть, т.-е. вязаніе сюрпризовъ, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже фортепьяно. Разные бываютъ методы.

Гоголь.

Генералъ Бетрищевъ.

Добрые кони въ полчаса съ небольшимъ пронесли Чичикова черезъ десятиверстное пространство: сначала дубравую, потомъ хлѣбами, начинавшими зеленѣть посреди свѣжей орани, потомъ горной окраинкой, съ которой поминутно открывались виды на отдаленія; потомъ широкою аллеей липъ, едва начинавшихъ развиваться, внесли его въ самую середину деревни. Тутъ аллея липъ своротила направо и, превратясь въ улицу тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядѣлъ кудряво богатый рѣзной фронтономъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь коринтскихъ колоннъ. Повсюду несло масляной краской, все обновлявшей и ничему не дававшей состарѣться. Дворъ чистотой подобенъ былъ паркету. Съ почтеніемъ соскочилъ Чичиковъ, приказалъ о себѣ доложить генералу и былъ введенъ къ нему прямо въ кабинетъ. Генералъ поразилъ его величественной наружностью. Онъ былъ въ атласномъ стеганомъ халатѣ великолѣпнаго пурпура. Открытый взглядъ, лицо мужественное, усы и большіе бакенбарды съ просѣдью, стрижка на затылкѣ низкая, подъ гребенку, шея сзади толстая, называемая въ три этажа, или въ три складки, съ трещиной поперекъ, — словомъ, это былъ одинъ изъ тѣхъ картинныхъ генераловъ, которыми такъ богатъ былъ знаменитый 12-й годъ. Генералъ Бетрищевъ, какъ и многіе изъ насъ, заключалъ въ себѣ при кучѣ достоинствъ и кучу недостатковъ. То и другое, какъ водится въ русскомъ человѣкѣ, было набросано у него въ какомъ-то картинномъ безпорядкѣ. Въ рѣшительныя минуты—великодушіе, храбрость, безграничная щедрость, умъ во всемъ и, въ примѣсъ къ этому, капризы, честолюбіе, самолюбіе и тѣ мелкія личности, безъ которыхъ не обходится ни одинъ русскій, когда онъ сидитъ безъ дѣла. Онъ не любилъ всѣхъ, которые ушли впередъ его по службѣ, и выражался о нихъ ѣдко, въ колкихъ эпиграммахъ. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, котораго считалъ онъ ниже себя и умомъ, и способностями, и который, однакоже, обогналъ его и былъ уже генералъ-губернаторомъ двухъ губерній, и, какъ нарочно, тѣхъ, въ которыхъ находились его помѣстья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отместку явилъ онъ его при всякомъ случаѣ, порочилъ всякое распоряженіе и видѣлъ во всѣхъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ его верхъ неразумія. Въ немъ было все какъ-то странно, начиная съ просвѣщенія, котораго онъ былъ поборникъ и ревнитель; любилъ также знать то, чего другіе не знаютъ, и не любилъ тѣхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не знаетъ. Словомъ, онъ любилъ похвастать умомъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаніемъ, онъ хотѣлъ сыграть въ то же время роль русскаго барина. И не мудрено, что съ такой неровностью въ характерѣ, съ такими крупными, яркими

противоположностями, онъ долженъ былъ неминуемо встрѣтить множество непріятностей по службѣ, вслѣдствіе которыхъ и вышелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію, и не имѣя великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставку сохранилъ онъ ту же картинную величавую осанку. Въ сюртукѣ ли, во фракѣ ли, въ халатѣ—онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малѣйшаго тѣлодвиженія, въ немъ все было властительное, повелѣвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ, если не уваженіе, то, по крайней мѣрѣ, робость.

Гоголь.

Вячеславъ Иларіоновичъ Хвалынскій.

Я уже имѣлъ честь представить вамъ, благосклонные читатели, нѣкоторыхъ моихъ господъ-сосѣдей; позвольте же мнѣ теперь, кстати (для нашего брата-писателя все кстати), познакомить васъ еще съ двумя помѣщиками ¹⁾, у которыхъ я часто охотился, съ людьми весьма почтенными, благонамѣренными и пользующимися всеобщимъ уваженіемъ нѣсколькихъ уѣздовъ.

Сперва опишу вамъ отставного генералъ-майора Вячеслава Иларіоновича Хвалынскаго. Представьте себѣ человѣка высокаго и когда-то стройнаго, теперь же нѣсколько обрюзглаго, но вовсе не дряхлаго, даже не устарѣлаго, человѣка въ зрѣломъ возрастѣ, въ самой, какъ говорится, порѣ. Правда, нѣкогда правильныя и теперь еще пріятныя черты лица его немного измѣнились, щеки повисли, частыя морщины лучеобразно расположились около глазъ, иныхъ зубовъ уже нѣтъ, какъ сказалъ Саади, по увѣренію Пушкина; русые волосы, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые остались въ цѣлости, превратились въ лиловые, благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмаркѣ у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеславъ Иларіоновичъ выступает бойко, смѣется звонко, позвякиваетъ щорами, крутитъ усы, наконецъ, называетъ себя старымъ кавалеристомъ, между тѣмъ, какъ извѣстно, что настоящіе старики сами никогда не называютъ себя стариками. Носитъ онъ обыкновенно сюртукъ, застегнутый доверху, высокій галстукъ съ накрахмаленными воротничками и панталоны сѣрые съ искрой, военного покроя; шляпу же надѣваетъ прямо на лобъ, оставляя весь затылокъ наружи. Человѣкъ онъ очень добрый, по съ понятіями и привычками довольно странными. Напримѣръ, онъ никакъ не можетъ обращаться съ дворянами небогатыми или нечиновными, какъ съ равными себѣ людьми. Разговаривая съ ними, онъ обыкновенно глядитъ на нихъ сбоку, сильно опираясь щекою въ твердый и бѣлый воротникъ, или вдругъ возьметъ да озаритъ ихъ яснымъ и неподвижнымъ взоромъ, помолчитъ и двинетъ всею кожей подъ волосами на головѣ; даже слова иначе произноситъ и не говоритъ, напримѣръ: «благодарю, Павелъ Васильичъ», или: «пожалуйте сюда, Михайло Ивановичъ», а: «боллдарю, Пала' Асилитчъ», или: «па-ажалте сюда, Мѣхал' Ванычъ». Съ людьми же, стоящими на низшихъ ступеняхъ общества, онъ обходится еще странно: вовсе на нихъ не глядитъ, и прежде чѣмъ объяснить имъ свое желаніе, или отдастъ приказъ, нѣсколько разъ сряду, съ озабоченнымъ и мечтательнымъ видомъ, повторитъ: «какъ тебя зовутъ?.. какъ тебя зовутъ?», ударяя необыкновенно рѣзко на первомъ словѣ «какъ», а остальные произнося

¹⁾ Вячеславъ Иларіоновичъ Хвалынскій и Мардарій Аполлоновичъ Стегунцовъ.

очень быстро, что придает всей поговоркѣ довольно близкое сходство съ крикомъ самца-перепела. Хлопотунъ онъ и жила страшный, а хозяинъ плохой; взялъ къ себѣ въ управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупаго человѣка. Въ карты играть онъ любитъ, но только съ людьми званія низшаго; они-то ему: «ваше превосходительство», а онъ-то ихъ пушить и распекаетъ, сколько душъ его угодно. Когда жъ ему случится играть съ губернаторомъ, или съ какимъ-нибудь чиновнымъ лицомъ,—удивительная происходитъ въ немъ перемена: и улыбается-то онъ, и головой киваетъ, и въ глаза-то имъ глядитъ—медомъ такъ отъ него и несетъ... Даже проигрываетъ и не жалуется. Читаетъ Вячеславъ Иларіоновичъ мало; при чтеніи безпрестанно поводитъ усами и бровями, словно волну снизу вверхъ по лицу пускаетъ. Особенно замѣчательно это волнообразное движеніе на лицѣ Вячеслава Иларіоновича, когда ему случается (при гостяхъ, разумѣется) пробѣгать столбцы «*Journal des Débats*». На выборахъ играетъ онъ роль довольно значительную, но отъ почетнаго званія предводителя, по скупости, отказывается. «Господа,—говоритъ онъ обыкновенно приступающимъ къ нему дворянамъ, и говоритъ голосомъ, исполненнымъ покровительства и самостоятельности,—много благодаренъ за честь; но я рѣшился посвятить свой досугъ уединенію». И, сказавши эти слова, поведетъ головой нѣсколько разъ направо и налево, а потомъ съ достоинствомъ наляжетъ подбородкомъ и щеками на галстукъ. Состоялъ онъ въ молодые годы адъютантомъ у какого-то значительнаго лица, котораго иначе и не называетъ, какъ по имени и по отчеству; говорятъ, будто бы онъ принималъ на себя не однѣ адъютантскія обязанности, будто бы, напр., облачившись въ полную парадную форму и даже застегнувъ крючки, парилъ своего начальника въ банѣ—да не всякому слуху можно вѣрить. Впрочемъ, и самъ генералъ Хвалынский о своемъ служебномъ поприщѣ не любитъ говорить, что вообще довольно странно; на войнѣ онъ тоже, кажется, не бывалъ. Живетъ генералъ Хвалынский въ небольшомъ домикѣ, одинъ; супружескаго счастья онъ въ своей жизни не испыталъ, и потому до сихъ поръ еще считается женихомъ, и даже выгоднымъ женихомъ. Хорошо бываетъ Вячеславъ Иларіоновичъ на большихъ званныхъ обѣдахъ, даваемыхъ помѣщиками въ честь губернаторовъ и другихъ властей: тутъ онъ, можно сказать, совершенно въ своей тарелкѣ. Сидитъ онъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ если не по правую руку губернатора, то и не въ далекомъ отъ него разстояніи: въ началѣ обѣда болѣе придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назадъ, но не оборачивая головы, сбоку пускаетъ взоръ внизъ по круглымъ затылкамъ и стоячимъ воротникамъ гостей; зато къ концу стола развеселяется, начинаетъ улыбаться во всѣ стороны (въ направленіи губернатора онъ съ начала обѣда улыбался), а иногда даже предлагаетъ тостъ въ честь прекраснаго пола, украшенія нашей планеты, по его словамъ. Также не дуренъ генералъ Хвалынский на всѣхъ торжественныхъ и публичныхъ актахъ, экзаменахъ, собраньяхъ и выставкахъ; подъ благословеніе тоже подходитъ мастеръ. На разъѣздахъ, переправахъ и въ другихъ тому подобныхъ мѣстахъ люди Вячеслава Иларіоновича не шумятъ и не кричатъ; напротивъ, раздвигая народъ или вызывая карету, говорятъ пріятнымъ горловымъ баритономъ: «позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «генерала Хвалынскаго экипажъ»... Экипажъ, правда, у Хвалынскаго формы довольно старинной; на лакеяхъ ливрея довольно потертая (о томъ, что она сѣрая съ крас-

ными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своемъ вѣку; но на щегольство Вячеславъ Иларіоновичъ притязаній не имѣетъ и не считаетъ даже званію своему приличнымъ пускать пылъ въ глаза. Особеннымъ даромъ слова Хвалынской не владѣетъ, или, можетъ-быть, не имѣетъ случая высказать свое краснорѣчіе, потому что не только спора, но вообще возраженія не терпитъ, и всякихъ длинныхъ разговоровъ, особенно съ молодыми людьми, тщательно избѣгаетъ. Оно, дѣйствительно, вѣрнѣе; а то съ нынѣшнимъ народомъ бѣда: какъ разъ изъ повиновенія выйдетъ и уваженіе потеряетъ. Передъ лицами высшими Хвалынской большею частью безмолвствуетъ, а къ лицамъ низшимъ, которыхъ, повидимому, презираетъ, но съ которыми только и знается, держитъ рѣчи отрывистыя и рѣзкія, безпрестанно употребляя выраженія, подобныя слѣдующимъ: «это, однако, вы пус-тя-ки говорите»; или: «я, наконецъ, вынужденнымъ нахожусь, милосвѣй сдѣль мой, вамъ поставить на видъ», или: «наконецъ, вы должны, однакоже, знать, съ кѣмъ имѣете дѣло» и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непремѣнные засѣдатели и станціонные смотрителя. Дома онъ у себя никого не принимаетъ и живетъ, какъ слышно, скрагой. Со всѣмъ тѣмъ, онъ прекрасный помѣщикъ. «Старый奴才, человекъ безкорыстный, съ правилами, vieux grognard»¹⁾, говорятъ про него сосѣди. Одинъ прокуроръ губернской позволяетъ себѣ улыбаться, когда при немъ упоминаютъ объ отличныхъ и солидныхъ качествахъ генерала Хвалынского,—да чего не дѣлаетъ зависть...

И. Тургеневъ.

Евгенія Степановна Аксакова и Василій Васильевичъ Угличининъ.

Тетка моя Евгенія Степановна выходила замужъ, и черезъ нѣсколько дней назначена была свадьба. Евгенийъ Степановичъ стукнуло уже сорокъ лѣтъ, но она была очень свѣжа и моложава, ей наскучило жить въ домѣ у невестки и находится въ полной зависимости отъ хозяйки, которая въ старые годы много терпѣла отъ своихъ золовокъ и въ томъ числѣ отъ нея, хотя она была лучше другихъ. Евгенийъ Степановичъ захотѣлось, хоть подъ старость, зажить своимъ домкомъ, имѣть свой уголокъ и быть въ немъ полной хозяйкой. Она выходила замужъ за Василія Васильевича Угличинина, цѣлый вѣкъ служившаго въ военной службѣ и недавно вышедшаго въ отставку подполковникомъ. Это былъ человекъ очень простой, добрый, смиренный и честный; ему было далеко за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ не имѣлъ никакого состоянія, кромѣ пенсіи, и происходилъ изъ самобѣднѣйшихъ дворянъ или однодворцевъ, переселившихся въ Уфимское намѣстничество. Четырнадцать лѣтъ опредѣлили его въ военную службу: онъ служилъ тихо, исправно, терпѣлъ постоянную нужду, былъ во многихъ сраженіяхъ и получилъ нѣсколько легкихъ ранъ; онъ не имѣлъ никакихъ знаковъ отличія, хотя формулярный списокъ его былъ такъ длиненъ и краснорѣчивъ, что, кажется, должно бы его обвѣщать всякими орденами. Последнее время онъ служилъ на Кавказѣ, откуда вывезъ небольшую сумму денегъ, накопленную изъ жалованья, мундиръ безъ эполетъ, горскаго, побѣлѣвшаго отъ старости, коня, ревматизмъ во всемъ тѣлѣ и катарактъ на правомъ глазу; катарактъ, по счастью,

¹⁾ Старый ворчунъ.

былъ не так примѣтенъ, и Василій Васильевичъ старательно скрывалъ его, боясь, что за кривого не пойдетъ невѣста. У Евгеніи Степановны, въ семи верстахъ отъ ея сестры Александры Степановны, находилась деревушка изъ двадцати пяти душъ, при ней маленькій домикъ, сплоченный изъ двухъ крестьянскихъ срубовъ, на родниковой рѣчкѣ Бавлѣ, кипѣвшей форелью (уголокъ очаровательный!), и достаточное количество превосходной земли, со всякими угодами, купленной на ея имя у башкирцевъ за самую ничтожную цѣну, о чемъ хлопоталъ деверь ея, самъ полубашкирецъ, И. П. Кротковъ. И такое ничтожное имѣніе, казалось, заслуженному воину спокойной пристанью, кускомъ хлѣба на старость.

Въ положенный срокъ свадьба благополучно совершилась.

Несмотря на недостатки и нужду, которыхъ не знала Евгенія Степановна въ своей дѣвической жизни, проведя ее сначала въ домѣ родительскомъ, а потомъ въ домѣ брата и снохи, и которыя она узнала замужемъ, она была совершенно счастлива. Она любила нѣжно и горячо своего инвалида-полковника, который также очень нѣжно и глубоко любилъ ее. Къ сожалѣнію, они не имѣли дѣтей. Евгенія Степановна до глубокой старости сохранила какой-то дѣвическій, цѣломудренный видъ; въ обращеніи съ мужемъ она была стыдлива и никогда никакой ласки при свидѣтеляхъ ему не оказывала, надъ чѣмъ иногда подсмѣивался старый воинъ, намекая, что не всегда Евгенія Степановна бываетъ такъ неприступна. При другіхъ они были далеки между собой, всегда говорили другъ другу *вы* и вообще обходились очень учтиво. Съ перваго взгляда это могло показаться холодностью, но скоро взаимное, заботливое вниманіе, постоянное наблюденіе другъ за другомъ, участіе къ каждому слову и движенію дѣлались замѣтны, и всякій убѣждался, что Евгенія Степановна живетъ и дышитъ Василіемъ Васильевичемъ, а Василій Васильевичъ, хотя не такъ тревожно, живетъ и дышитъ Евгеніей Степановной. Домикъ ихъ блисталъ опрятностью и чистотою, привлекалъ уютностью, дышалъ спокойствіемъ. Нельзя сказать, чтобъ у нихъ были одинаковые вкусы, но само разногласіе сливалось у нихъ въ стройное теченіе жизни. Евгенія Степановна, напримѣръ, любила кошекъ, собачекъ, которыя, надобно замѣтить, какъ-то у нея не сорили, не пачкали и ничего не портили; Василій Васильевичъ совсѣмъ не любилъ ихъ, но самая безобразная, хрипучая моська, съ языкомъ на сторону, по прозванію «Калмыкъ», была ему пріятна и дорога, потому что ее любила Евгенія Степановна, и онъ кормилъ, ласкалъ отвратительнаго Калмыка съ удовольствіемъ и благодарностью. Даже сурокъ, который зимовалъ подъ печкой, который очень забавлялъ Евгенію Степановну и очень обижалъ Василія Васильевича, потому что затаскивалъ и пряталъ его туфли такъ искусно, что иногда цѣлый день не могли отыскать ихъ, отчего приходилось полковнику вставать съ постели босикомъ,—даже и сурокъ пользовался его благосклонностью. Все у нихъ въ домикѣ было какъ-то на своемъ мѣстѣ, какъ-то лучше, чѣмъ у другихъ: собаки и кошки жирнѣе и опрятнѣе, пѣвчія птички веселѣе и голосистѣе, растенія зеленѣе. Подарять, бывало, имъ горшокъ какихъ-нибудь засыхающихъ цвѣтовъ—они у нихъ оживутъ, позеленѣютъ и необыкновенно разрастутся, такъ что прежній хозяинъ выпроситъ ихъ назадъ. Въ маленькихъ комнатахъ у Евгеніи Степановны росли и стручковое дерево, и финикъ, и виноградъ отъ косточекъ изюма, и другія растенія, требующія тепличнаго содержанія. Какъ будто въ воздухѣ было нѣчто

успокоительное и живительное, отчего и животному, и растенію было привольно, и что замѣняло имъ хоть отчасти дикую свободу или природный климатъ... Василій Васильевичъ и Евгенія Степановна вмѣстѣ смотрѣли за своимъ маленькимъ хозяйствомъ, и безъ всякаго отягощенія всего дѣлалось у нихъ вдвое болѣе, скорѣе и лучше, чѣмъ у другихъ. Вмѣстѣ ходили они по грибы и по ягоды, вмѣстѣ ловили чудную форель въ своей рѣчкѣ и вмѣстѣ радовались всякой удачѣ... Но Боже мой, что дѣлалось съ ними, если кто-нибудь изъ нихъ захварывалъ! Тутъ только оказывалась вполнѣ эта взаимная, глубокая и нѣжная любовь, которую въ обыкновенное время не вдругъ и замѣтишь... Но я удержусь отъ дальнѣйшихъ подробностей, которыя завели бы меня далеко. Скажу только, что впоследствии, забывшая иногда въ этотъ уединенный уголокъ и посматривая нѣсколько часовъ на эту безцвѣтную, скромную жизнь, я всегда поддавался ея впечатлѣнію и спрашивалъ себя: не здѣсь ли живетъ истинное счастье человеческое, чуждое неразрѣшимыхъ вопросовъ, неудовлетворяемыхъ требованій, чуждое страстей и волненій? Долго звучалъ во мнѣ гармоническій строй этой жизни, долго чувствовалъ я какое-то грустное умиленіе, какое-то сожалѣніе о потери того, что имѣть казалось такъ легко, что было подъ руками. Но когда задавалъ я себѣ вопросъ: не хочешь ли быть Василиемъ Васильевичемъ?.. я пугался этого вопроса, и умирительное впечатлѣніе мгновенно исчезало.

Аксаковъ.

Степанъ Михайловичъ Багровъ.

I.

Тѣсно стало моему дѣдушкѣ жить въ Симбирской губерніи, въ родовой отчинѣ своей, жалованной предкамъ его отъ царей московскихъ; тѣсно стало ему, не потому, чтобъ въ самомъ дѣлѣ было тѣсно, чтобъ не доставало лѣсу, пашни, луговъ и другихъ угодьевъ,—всего находилось въ излишествѣ, а потому, что отчина, вполнѣ еще прадѣду его принадлежавшая, сдѣлалась разнопомѣстною. Событіе совершилось очень просто: три поколѣнія сряду въ роду его было по одному сыну и по нѣскольکو дочерей; нѣкоторые изъ нихъ выходили замужъ, и въ приданое имъ отдавали часть крестьянъ и часть земель. Части ихъ были небольшія, но уже четверо чужихъ хозяевъ имѣли право на общее владѣніе неразмежеваною землею,—и дѣдушкѣ моему, нетерпѣливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашнія кляузы, сдѣлалась такая жизнь несносною. Съ нѣкотораго времени сталъ онъ часто слышать объ Уфимскомъ намѣстничествѣ, о неизмѣримомъ пространствѣ земель, угодьяхъ, привольяхъ, неопisanномъ изобиліи дичи и рыбы и всѣхъ плодовъ земныхъ, о легкомъ способѣ пріобрѣтать цѣлыя области за самыя ничтожныя деньги.

Полюбилъ дѣдушкѣ моему такіе рассказы; и хотя онъ былъ человѣкъ самой строгой справедливости, и ему не нравилось надуваніе добродушныхъ башкирцевъ, но онъ разсудилъ, что не дѣло дурно, а способъ его исполненія, и что, поступая честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевести туда половину родовыхъ своихъ крестьянъ и переѣхать самому съ семействомъ, т.-е. достигнуть главной цѣли своего намѣренія: ибо съ нѣкотораго времени до того надобно ему безпрестанныя ссоры съ мелкопомѣстными своими родственниками за общее владѣніе землей, что бросить свое роди-

мое пепелище, гнѣздо своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, сдѣлалось любимую его мыслью, единственнымъ путемъ къ спокойной жизни, которую онъ, человѣкъ уже не молодой, предпочиталъ всему.

Итакъ, накопивши нѣсколько тысячъ рублей, простившись съ своей супругою, которую звалъ Аришей, когда былъ веселъ, и Ариной, когда былъ сердитъ; поцѣловавъ и благословивъ четырехъ малолѣтнихъ дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду стариннаго дворянскаго своего дома, ибо дочерей считалъ онъ ни за что: «Что въ нихъ проку! вѣдь онѣ глядятъ не въ домъ, а изъ дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда—Алексѣй...»—сказалъ на прощанье мой дѣдушка, и отправился за Волгу въ Уфимское намѣстничество.

Но не сказать ли вамъ напередъ, что за человѣкъ былъ мой дѣдушка?

Степанъ Михайловичъ Багровъ ¹⁾, такъ звали его, былъ не только средняго, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкія плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тѣло—обличали въ немъ силача. Въ разгульной юности, въ молодецкихъ потѣхахъ, кучу военныхъ товарищей, на него нацѣпившихся, стряхивалъ онъ, какъ брызги воды стряхиваетъ съ себя коренастый дубъ послѣ дождя, когда его покачнетъ вѣтеръ. Правильныя черты лица, прекрасныя большіе темно-голубые глаза, легко загоравшіеся гнѣвомъ, но тихіе и кроткіе въ часы душевнаго спокойствія, густыя брови, пріятный ротъ,—все это вмѣстѣ придавало самое открытое и честное выраженіе его лицу; волосы у него были русые. Не было человѣка, кто бы ему не вѣрилъ; его слово, его обѣщаніе было крѣпче и святѣ всякихъ духовныхъ и гражданскихъ актовъ. Природный умъ его былъ здоровъ и свѣтелъ. Разумѣется, при общемъ невѣжествѣ тогдашнихъ помѣщиковъ и онъ не получилъ никакого образованія, русскую грамоту зналъ плохо; но, служа въ полку, еще до офицерскаго чина, выучился онъ первымъ правиламъ ариметики и выкладѣ на счетахъ, о чемъ любилъ говорить даже въ старости. Вѣроятно, онъ служилъ не очень долго, ибо вышелъ въ отставку какимъ-то полковымъ квартирмейстеромъ. Впрочемъ, тогда дворяне долго служили въ солдатскомъ и унтеръ-офицерскомъ званіяхъ, если не проходили ихъ въ колыбели и не падали всѣ на голову изъ сержантовъ гвардіи капитанами въ армейскіе полки. О служебномъ поприщѣ Степана Михайловича я мало знаю: слышалъ только, что онъ бывалъ часто употребляемъ для поимки волжскихъ разбойниковъ, и что всегда оказывалъ благоразумную распорядительность и безумную храбрость въ исполненіи своихъ распоряженій; что разбойники знали его въ лицо и боялись, какъ огня. Вышедъ въ отставку, нѣсколько лѣтъ жилъ онъ въ своемъ наслѣдственномъ селѣ Троицкомъ, Багрово то жъ ²⁾, и сдѣлался отличнымъ хозяиномъ. Онъ не торчалъ день и ночь при крестьянскихъ работахъ, не стоялъ часовымъ при ссыпкѣ и отпускѣ хлѣба; смотрѣлъ рѣдко, да мѣтко, какъ говорятъ русскіе люди, и, ужъ прощу не прогнѣваться, если замѣчалъ что дурное, особенно обманъ, то уже не спускалъ никому. Дѣдушка, сообразно духу своего времени, разсуждалъ по-своему:

¹⁾ Т.-е. Степанъ Михайловичъ Аксаковъ. Сынъ его назывался не Алексѣемъ, а Тимошеемъ (отецъ автора „Семейной хроникѣ“). *И. А.*

²⁾ Троицкое, Аксаково то жъ, или Старое Аксаково (Симбирской губерніи) принадлежатъ нынѣ племяннику автора „Семейной хроникѣ“, одному изъ сыновей его меньшаго брата Аркадія. *И. А.*

наказать виноватаго мужика тѣмъ, что отнять у него собственные дѣла,—значить вредить его благосостоянію, т.-е. своему собственному; наказъ денежнымъ взысканіемъ—тоже; разлучить съ семействомъ, отослать въ другую вотчину, употребить въ тяжелую работу—тоже, и еще хуже, ибо отлучка отъ семейства—несомнѣнная порча; прибѣгнуть къ полиціи... Боже помилуй, да это казалось такимъ срамомъ и стыдомъ, что вся деревня принялась бы выть по виноватомъ, какъ по мертвомъ, а наказанный счелъ бы себя опозореннымъ, погибшимъ. Да и надо сказать, что дѣдушка мой былъ строгъ только въ пылу гнѣва; прошелъ гнѣвъ, прошла и вина. Этими пользовались: иногда виноватый успѣвалъ спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли въ такое положеніе, что было не на кого и не за что разсердиться.

Приводя въ порядокъ свое хозяйство, дѣдушка мой женился на Аришѣ Васильевнѣ Неклюдовой, небогатой дѣвицѣ, также изъ стариннаго дворянскаго дома. При этомъ случаѣ кстати объяснить, что древность дворянскаго происхожденія была конькомъ моего дѣдушки, и хотя у него было 180 душъ крестьянъ, но производя свой родъ, Богъ знаетъ по какимъ документамъ, отъ какого-то варяжскаго князя, онъ ставилъ свое семисотлѣтнее дворянство выше всякаго богатства и чиновъ. Онъ не женился на одной весьма богатой и прекрасной невѣстѣ, которая ему очень правилась, единственно потому, что прадѣдушка ея былъ не дворянинъ.

Итакъ, вотъ каковъ былъ Степанъ Михайловичъ; теперь возвратимся къ прерванному разсказу.

Дѣдушка купилъ около пяти тысячъ десятинъ земли и заплатилъ такъ дорого, какъ никто тогда не плачивалъ,—по полтинѣ за десятину. Двѣ тысячи пятьсотъ рублей въ то время была великая сумма. Совершивъ купчую крѣпость и принявъ землю во владѣніе, т.-е. справивъ и отказавъ ее за собою, весело воротился онъ въ Симбирскую губернію, къ ожидавшему его семейству, и живо, горячо принялся за всѣ приготовления къ немедленному переселенію крестьянъ: дѣло очень хлопотливое и трудное, по довольно большому разстоянію, ибо отъ села Троицкаго до новокупленной земли было около четырехсотъ верстъ.

Переселяясь на новыя мѣста, дѣдушка мой принялся съ свойственными ему неутомимостью и жаромъ за хлѣбопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духомъ, такъ привыкли работать настоящимъ образомъ, что скоро обстроились и обзавелись, какъ старожилы, и въ нѣсколько лѣтъ гумна «Новаго Багрова» занимали вдвое больше мѣста, чѣмъ самая (деревня), а табунъ добрыхъ лошадей и стадо коровъ, овецъ и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому богатому селенію.

Съ легкой руки Степана Михайловича переселеніе въ Уфимскій или Оренбургскій край начало умножаться съ каждымъ годомъ.

Въ нѣсколько лѣтъ Степанъ Михайловичъ умѣлъ снискать общую любовь и глубокое уваженіе во всемъ околоткѣ. Онъ былъ истиннымъ благодѣтелемъ дальнихъ и близкихъ, старыхъ и новыхъ своихъ сосѣдей, особенно послѣднихъ, по ихъ незнанію мѣстности, недостатку средствъ и по разнымъ надобностямъ, всегда сопровождающимъ переселенцевъ, которые нерѣдко пускаются на такое трудное дѣло, не принявъ предварительныхъ мѣръ, не заготовя хлѣбныхъ запасовъ и даже иногда не имѣя на что купить ихъ. Полные амбары дѣдушки были открыты всѣмъ — бери что угодно. «Сможешь—отдай при первомъ урожаѣ; не

сможешь—Богъ съ тобой»: съ такими словами раздавалъ дѣдушка щедрою рукою хлѣбные запасы на *стѣмны* и *пѣмны*. Къ этому надо прибавить, что онъ былъ такъ разуменъ, такъ снисходителенъ къ просьбамъ и нуждамъ, такъ неизмѣнно вѣренъ каждому своему слову, что скоро сдѣлался истиннымъ оракуломъ вновь заселяющагося уголка обширнаго Оренбургскаго края. Мало того, что онъ помогалъ, онъ воспитывалъ нравственно своихъ сосѣдей! Только правдою можно было получить отъ него все. Кто разъ солгалъ, разъ обманулъ, тотъ и не ходи къ нему на господскій дворъ: не только ничего не получить, да въ иной часъ дай Богъ и ноги унести. Много семейныхъ ссоръ примирилъ онъ, много тяжбныхъ дѣлъ потушилъ въ самомъ началѣ. Со всѣхъ сторонъ ѣхали и шли къ нему за совѣтомъ, судомъ и приговоромъ—и свято исполнялись они! Я зналъ внуковъ, правнуковъ тогдашняго поколѣнія, благодарной памяти которыхъ въ изустныхъ разсказахъ переданъ былъ благодѣтельный и строгій образъ Степана Михайловича, не забытаго еще и теперь. Много слыхалъ я простыхъ и вмѣстѣ глубокихъ воспоминаній, сопровождаемыхъ слезами и крестнымъ знаменіемъ объ упокоеніи души его. Неудивительно, что крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при немъ служившіе, часто переносившіе страшныя бури его неукротимой вспыльчивости. Впослѣдствіи нѣкоторые изъ молодыхъ слугъ его доживали свой вѣкъ при внукѣ Степана Михайловича уже стариками; часто разсказывали они о строгомъ, вспыльчивомъ, справедливомъ и добромъ своемъ старомъ баринѣ, и никогда безъ слезъ о немъ не вспоминали.

И этотъ добрый, благодѣтельный и даже снисходительный человѣкъ омрачался иногда такими вспышками гнѣва, которыя искажали въ немъ образъ человѣческій и дѣлали его способнымъ на ту пору къ жестокимъ, отвратительнымъ поступкамъ. Я видѣлъ его такимъ въ моемъ дѣтствѣ, что случилось много лѣтъ позднѣе того времени, про которое я разсказываю,—и впечатлѣніе страха до сихъ поръ живо въ моей памяти! Какъ теперь гляжу на него: онъ прогибался на одну изъ дочерей своихъ, кажется, за то, что она солгала и заперлась въ обманѣ; двое людей водили его подъ руки; узнать было нельзя моего прежняго дѣдушку; онъ весь дрожалъ, лицо дергали судороги, свирѣпый огонь лился изъ его глазъ, помутившихся, потемнѣвшихъ отъ ярости! «Подайте мнѣ ее сюда!» вопилъ онъ задыхающимся голосомъ. (Это я помню живо: остальное мнѣ часто разсказывали.) Бабушка кинулась было ему въ ноги, прося помилованія, но въ одну минуту слетѣлъ съ нея платокъ и волосникъ, и Степанъ Михайловичъ таскалъ за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тѣмъ, не только виноватая, но и всѣ другія сестры и даже братья ихъ съ молодою женою и маленькимъ сыномъ убѣжали изъ дома и спрятались въ рошу, окружавшую домъ; даже тамъ ночевали; только молодая не-вѣстка воротилась съ сыномъ, боясь простудить его, и провела ночь въ людской избѣ. Долго бушевалъ дѣдушка на просторѣ, въ опустѣломъ домѣ. Наконецъ, уставши колотить Танайченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился онъ въ изнеможеніи на постель и, наконецъ, впалъ въ глубокой сонъ, продолжавшійся до ранняго утра слѣдующаго дня.—Свѣтелъ, ясенъ проснулся на зарѣ Степанъ Михайловичъ, весело крикнулъ свою Аришу, которая сейчасъ прибѣжала изъ сосѣдней комнаты съ самымъ радостнымъ лицомъ, какъ будто вчерашняго ничего не бывало. «Чаю! Гдѣ дѣти, Алексѣй, не-

вѣстуха? Подайте Сережу», говорилъ проснувшійся безумецъ, и всѣ явились, спокойные и веселые, кромѣ невѣстки съ сыномъ ¹⁾). Это была женщина сама съ сильнымъ характеромъ, и никакія просьбы не могли ее заставить такъ скоро броситься съ ласкою къ вчерашнему дикому звѣрю, да и маленькій сынъ безпрестанно говорилъ: «Боюсь дѣдушки, не хочу къ нему». Чувствуя себя въ самомъ дѣлѣ нехорошо, она сказала больною и не пустила сына. Всѣ пришли въ ужасъ, ждали новой грозы. Но во вчерашнемъ дикомъ звѣрѣ сегодня уже проснулся человѣкъ. Послѣ чаю и шутивыхъ разговоровъ свекоръ самъ пришелъ къ невѣсткѣ, которая, дѣйствительно, была нездорова, похудѣла, перемѣнилась въ лицѣ и лежала въ постели. Старикъ присѣлъ къ ней на кровать, обнялъ ее, поцѣловалъ, назвалъ красавицей-невѣстынькой, обласкалъ внука и, наконецъ, ушелъ, сказавши, что ему «безъ невѣстыньки будетъ скучно». Черезъ полчаса невѣстка, щегольски, по-городскому разодѣтая, въ томъ самомъ платьѣ, про которое свекоръ говорилъ, что оно особенно идетъ ей къ лицу, держа сына за руку, вошла къ дѣдушкѣ. Дѣдушка встрѣтилъ ее почти со слезами: «Вотъ и больная невѣстка себя не пожалѣла, встала, одѣлась и пришла развеселить старика», сказалъ онъ съ нѣжностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, всѣ не любившія невѣстку, которая почтительно и весело отвѣчала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующіе взгляды на своихъ недоброхотокъ... Но я не стану болѣе говорить о темной сторонѣ моего дѣдушки; лучше опишу вамъ одинъ изъ его добрыхъ, свѣтлыхъ дней, о которыхъ я много слышался.

II.

Добрый день Степана Михайловича.

Въ исходѣ іюня стояли сильные жары. Послѣ душевной ночи потянуль на разсвѣтѣ восточный, свѣжій вѣтеръ, всегда упдающій, когда обогрѣетъ солнце. На восходѣ его проснулся дѣдушка. Жарко было ему спать въ небольшой горницѣ, хотя съ поднятымъ на всю подставку подъемомъ старинной оконной рамы съ мелкимъ переплетомъ, но зато въ пологу изъ домашней рѣдинки. Предосторожность необходимая: безъ полога заѣли бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими въ тонаую преграду крылатые музыканты, и всю ночь пѣли ему докучныя серенады. Смѣшно сказать, а грѣхъ утаить, что я люблю дишкантовый пискъ и даже кусанье комаровъ: въ нихъ слышно мнѣ знойное лѣто, роскошныя безсонныя ночи, берега Бугуруслана, обросшіе зелеными кустами, изъ которыхъ со всѣхъ сторонъ неслись соловьиныя пѣсни; я помню замираніе молодого сердца, и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдалъ бы теперь весь остатокъ угасающей жизни... Проснулся дѣдушка, обтеръ жаркою рукою потъ съ крутого, высокаго лба своего, высунулъ голову изъ-подъ полога и разсмѣялся. Ванька Мазанъ и Никанорка Танайченкохъ храпѣли въ растяжку на полу, въ карикатурно-живописныхъ положеніяхъ. «Экъ храпятъ собачьи дѣти!» сказалъ дѣдушка и опять улыбнулся. Степанъ Михайловичъ былъ загадочный человѣкъ: послѣ такого сильного

¹⁾ Невѣстка, съ сыномъ Сережей, жена Тимоея Степановича, Марія Николаевна Аксакова, урожденная Зубова, мать автора „Семейной хроники“. II. А.

словеснаго приступа, слѣдовало бы ожидать толчка калиновымъ подожкомъ (всегда у постели его стоявшимъ) въ бокъ спящаго, или пинка ногой, даже привѣтствія стуломъ: но дѣдушка разсмѣялся, просыпаясь, и на весь день попалъ въ добрый стихъ, какъ говорится. Онъ всталъ безъ шума, разъ-другой перекрестился, надѣлъ порыжѣлыя, кожаныя туфли на босыя ноги, и въ одной рубашкѣ изъ крестьянской оброчной льняной холстины (ткацкаго тонкаго полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышелъ на крыльцо, гдѣ пріятно обхватила его утренняя, влажная свѣжесть. Никого не беспокоя, онъ самъ досталъ войлочный потникъ, лежавшій всегда въ чуланѣ, подослалъ его подъ себя на верхней ступени крыльца, и сѣлъ встрѣчать солнышко по всегдашнему своему обычаю.—Передъ восходомъ солнца бываетъ весело на сердцѣ у человѣка какъ-то безсознательно; а дѣдушкѣ, сверхъ того, весело было глядѣть на свой господскій дворъ, всеми нужными по хозяйству строеніями тогда уже достаточно снабженный. Правда, дворъ былъ не обгороженъ, и выпущенная съ крестьянскихъ дворовъ скотина, собираясь въ общее мірское стадо, для выгона въ поле, посѣщала его мимоходомъ, какъ это было и въ настоящее утро и какъ всегда повторялось по вечерамъ. Нѣсколько запачканныхъ свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на которомъ сидѣлъ дѣдушка, и хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объѣдками, которые безъ церемоніи выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы, и овцы; разумѣется, отъ ихъ посѣщеній оставались неопрятные слѣды; но дѣдушка не находилъ въ этомъ ничего непріятнаго, а напротивъ, любовался, глядя на здоровый скотъ, какъ на вѣрный признакъ довольства и благосостоянія своихъ крестьянъ. Скоро громкое хлопанье длиннаго пастушьяго кнута угнало посѣтителей. Начала просыпаться дворня. Дюжій конюхъ Спиридонъ, котораго до глубокой старости звали «Спирькой», выводилъ, одного за другимъ, двухъ рыжепѣгихъ и третьяго бурога жеребца, привязывалъ ихъ къ столбу, чистилъ и проминалъ на длинной коновязи, при чемъ дѣдушка любовался ихъ статуями, заранѣе любовался и тою порождою, которую надѣялся повести отъ нихъ, въ чемъ и успѣлъ совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребницѣ, вышла изъ погреба, сходила на Бугурусланъ умыться, повздыхала, поохала (это была ея неизмѣнная привычка), помолчилась Богу, оборотилась къ солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились въ небѣ, щебетали и пѣли ласточки и касаточки, звонко били перепела въ поляхъ, разсыпались въ воздухѣ пѣсни жаворонковъ, надсѣдаясь хрипло кричали въ кустахъ дергуны; подсвистываніе погоннышей, токованье и блеянье дикаго барашка неслись съ ближняго болота, варакушки взапуски передразнивали соловьевъ,—выкатывалось изъ-за горы яркое солнце!.. Задымилась крестьянская избы, погнулись по вѣтру сизые столбы дыма, точно вереница рѣчныхъ судовъ выкинула свои флаги; потянулись мужички въ поле... Захотѣлось дѣдушкѣ умыться студеной водою и потомъ выпить чаю! Разбудилъ онъ безобразно спавшихъ слугъ своихъ. Повскакали они, какъ полоумные, въ испугѣ, но веселый голосъ Степана Михайловича скоро ободрилъ ихъ: «Мазанъ, умываться! Танайченко, будить Аксютку и барыню,—чаю!» Не нужно было повторять приказаній: неуклюжій Мазанъ уже летѣлъ со всѣхъ ногъ съ мѣднымъ свѣтлымъ рукомойникомъ на родинку за водою; а проворный Танайченко разбудилъ некрасивую молодую дѣвку Аксютку, которая, поправляя сва-

лившийся на бокъ платокъ, уже будила старую дорожную барыню Арину Васильевну. Въ нѣсколько минутъ весь домъ былъ на ногахъ, и всѣ уже знали, что старый баринъ проснулся веселъ. Черезъ четверть часа, стоялъ у крыльца столъ, накрытый бѣлою браною скатерткой домашняго издѣлія, кипѣлъ самоваръ въ видѣ огромнаго мѣднаго чайника, суежилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, съ Степаномъ Михайловичемъ, не охая и не стоная, что было нужно въ иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровьи: «Какъ почивалъ и что во снѣ видѣлъ?» Ласково поздоровался дѣдушка съ своей супругой и назвалъ ее Аришей; онъ никогда не цѣловалъ ея руки, а свою давалъ цѣловать въ знакъ милости. Арина Васильевна расцѣла и помолодѣла: куда дѣвалась ея тучность и неуклюжесть! Сейчасъ принесла скамеечку и усѣлась возлѣ дѣдушки на крыльцѣ, чего никогда не смѣла дѣлать, если онъ не ласково встрѣчалъ ее. «Напьемся-ка вмѣстѣ чайку, Ариша,—заговорилъ Степанъ Михайловичъ,—покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спалъ я крѣпко, такъ что и сны всѣ заснулъ. Ну, а ты?» Такой вопросъ былъ необыкновенная ласка, и бабушка поспѣшно отвѣчала, что которую ночь Степанъ Михайловичъ хорошо почиваетъ, ту и она хорошо спитъ; но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старикъ любилъ ее больше другихъ дочерей, какъ это часто случается; онъ обезпокоился такими словами и не приказалъ будить Танюшу до тѣхъ поръ, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вмѣстѣ съ Александрой и Елизаветой Степановнами, и она уже одѣлась; но объ этомъ сказать не осмѣлились. Танюша проворно раздѣлась, легла въ постель, велѣла затворить ставни въ своей горницѣ, и хотя заснуть не могла, но пролежала въ потемкахъ часа два; дѣдушка остался доволенъ, что Танюша хорошо выспалась. Единственнаго сына, которому было девять лѣтъ, никогда не будили рано. Старшія дочери явились немедленно; Степанъ Михайловичъ ласково далъ имъ поцѣловать руку и назвалъ одну Лизанькой, а другую Лексаней.

Накушавшись чаю и поговори о всякой всячинѣ съ своей семьей, дѣдушка собрался въ поле. Онъ уже давно сказалъ Мазану: «Лошадь!» и старый бурый меринъ, запряженный въ длинныя крестьянскія дроги или роспуски, чрезвычайно покойныя, переплетенныя частою веревочною рѣшеткою, съ длиннымъ лубкомъ посерединѣ, накрытымъ войлокомъ, уже стоялъ у крыльца. Конюхъ Спиридонъ сидѣлъ кучеромъ въ незатѣйливомъ костюмѣ, т.-е., просто въ одной рубахѣ, босикомъ, подпоясанный шерстянымъ, тесемочнымъ краснымъ поясомъ, на которомъ висѣлъ ключъ и мѣдный гребень. Въ предыдущій разъ Спиридонъ ѣздилъ въ такую же экспедицію даже безъ шляпы; но дѣдушка побранилъ его за то, и на этотъ разъ онъ приготовилъ себѣ что-то въ родѣ шапки, сплетенной изъ широкихъ лыкъ: дѣдушка посмѣялся надъ его *шляпкой*, и надѣвъ *полевой* кафтанъ изъ небѣленаго домашняго холста, да картузь, и подославъ подъ себя про запасъ отъ дожда армякъ, сѣлъ на дроги. Спиридонъ также подложилъ подъ себя сложенный втрое свой обыкновенный зипунъ, изъ крестьянскаго бѣлаго сукна, но окрашенный въ ярко-красный цвѣтъ марены, которой много родилось въ поляхъ. Этотъ красный цвѣтъ былъ въ такомъ употребленіи у стариковъ, что багровскихъ дворовыхъ сосѣди звали «марениками»; я самъ слышалъ это прозвище лѣтъ пятнадцать послѣ смерти дѣдушки. Въ полѣ Степанъ Михайловичъ былъ всѣмъ доволенъ. Онъ осмотрѣлъ

отцѣтавшую рожь, которая, въ человѣка вышиною, стояла какъ стѣна; дулъ легкій вѣтерокъ, и синія лиловыя волны ходили по ней, то свѣтлѣе, то темнѣе отражаясь на солнцѣ. Любо было глядѣть хозяину на такое поле! Дѣдушка объѣхалъ молодые овсы, полбы и всѣ яровые хлѣба; погомъ отправился въ паровое поле, и приказалъ возить себя взадъ и впередъ, по вспареннымъ десятинамъ. Это былъ его обыкновенный способъ узнавать доброту пашни: всякая цѣлизна, всякое нетронутое сохою мѣстечко, сейчасъ встряхивало качкія дроги, и если дѣдушка бывалъ не въ духѣ, то на такомъ мѣстѣ втыкала палочку или прутикъ, посылалъ за старостой, если его не было съ нимъ, и расправа производилась немедленно. Въ этотъ разъ все шло благополучно; можетъ-быть, и попадались цѣлизны, только Степанъ Михайловичъ ихъ не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣтить. Онъ заглянулъ также на мѣста степныхъ сѣнокосовъ и полюбовался густой высокой травой, которую чрезъ нѣсколько дней надо было косить. Онъ побывалъ и на крестьянскихъ поляхъ, чтобы знать самому, у кого уродился хлѣбъ хорошо и у кого плохо, даже паръ крестьянскій объѣхалъ и попробовалъ, все замѣтилъ и ничего не забылъ. Проѣзжая чрезъ залежи и увидѣвъ посѣвавшую клубнику, дѣдушка остановился и, съ помощью Мазана, набралъ большую кисть крупныхъ, чудныхъ ягодъ и повезъ домой своей Аришѣ. Несмотря на жаръ, онъ проѣзжалъ почти до полудня. Только завидѣли спускающіяся съ горы дѣдушкины дроги—кушанье уже стояло на столѣ, и вся семья ожидала хозяина на крыльцѣ. «Ну, Ариша,—весело сказалъ дѣдушка,—какіе хлѣба даетъ намъ Богъ! Велика милость Господня! А вотъ тебѣ и клубничка.—Бабушка растаяла отъ радости.—Наполовину посѣла,—продолжалъ онъ:—съ завтрашняго дня посылать по ягоды». Говоря эти слова, онъ входилъ въ переднюю; запахъ горячихъ щей несся ему навстрѣчу изъ залы. «А, готово!—еще веселѣе сказалъ Степанъ Михайловичъ.—Спасибо»; и не заходя въ свою комнату, прямо прошелъ въ залу и сѣлъ за столъ. Надобно сказать, у дѣдушки былъ обычай: когда онъ возвращался съ поля, рано или поздно, чтобъ кушанье стояло на столѣ, и Боже сохрани, если прозываютъ его возвращеніе и не успѣютъ подать обѣда. Бывали примѣры, что отъ этого происходили печальныя послѣдствія. Но въ этотъ блаженный день все шло, какъ по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый паренъ, Николка Рузанъ, сталъ за дѣдушкой съ цѣлымъ сучкомъ березы, чтобы обмахивать его отъ мухъ. Горячія щи, отъ которыхъ русскій человѣкъ не откажется въ самые палящіе жары, дѣдушка хлебалъ деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы; за ними слѣдовала ботвинья со льдомъ, съ прозрачнымъ балыкомъ, желтой, какъ воскъ, соленой осетриной и съ чистыми раками, и тому подобныя легкія блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасомъ, также со льдомъ. Обѣдъ былъ превеселый... Всѣ говорили громко, шутили, смѣялись; но бывали обѣды, которые проходили въ страшной тишинѣ и безмолвномъ ожиданіи какой-нибудь вспышки. Всѣ дворовыя мальчишки и дѣвчонки знали, что старый баринъ весело кушаетъ, и всѣ набились въ залу за подачками; дѣдушка щедро одѣлялъ всѣхъ, потому что кушанья готовилось впятеро болѣе, чѣмъ было нужно. Послѣ обѣда онъ сейчасъ легъ спать. Вымахали мухъ изъ полога, опустили его надъ дѣдушкой, подтыкали кругомъ края подъ перину; скоро сильный храпъ возвѣстилъ, что хозяинъ спитъ богатырскимъ сномъ. Всѣ разошлись по своимъ мѣстамъ также отды-

хоть. Мазанъ и Танайченко, предварительно пообѣдавъ и наглотавшись обѣдковъ отъ барскаго стола, также растянулись на полу въ передней, у самой двери въ дѣдушкину горницу. Они спали и до обѣда, но и теперь не замедлили заснуть; только духота и утѣка отъ солнца, ярко свѣтившаго въ окна, скоро ихъ разбудила. Отъ сна и отъ жара пересохло у нихъ въ гортѣ; захотѣлось имъ прохладить горячія гортани господской бражкой съ ледкомъ, и вотъ на какую штуку пустились дерзкіе лежебоки: въ непритворенную дверь достали они дѣдушкинъ халатъ и колпакъ, лежавшіе на стулѣ у самой двери. Танайченко надѣлъ на себя барское платье и сѣлъ на крыльцо, а Мазанъ побѣжалъ со жбаномъ на погребъ, разбудилъ ключницу, которая, какъ и всѣ въ домѣ, спала мертвымъ сномъ, требовалъ поскорѣ проснувшемуся барину студеной браги, и когда ключница изъявила сомнѣніе, проснулся ли баринъ, Мазанъ указалъ ей на фигуру Танайченка, сидящаго на крыльцѣ въ халатѣ и колпакѣ: нацѣдили браги, положили льду, проворно побѣжалъ Мазанъ съ добычей. Жбанъ выпили по-братски, положили халатъ и колпакъ на старое мѣсто, и цѣлый часъ еще дожидались, пока проспится дѣдушка. Еще веселѣе утренняя проснулся баринъ, и первое его слово было: «Студеной бражки». Перепугались лакеи: Танайченко побѣжалъ къ ключницѣ, которая сейчасъ догадалась, что первый жбанъ выпили они сами; она отпустила пошла, но вслѣдъ за посланнымъ сама подошла къ крыльцу, на которомъ сидѣлъ уже въ халатѣ настоящій баринъ. Съ первыхъ словъ обманъ открылся, и дрожащіе отъ страха Мазанъ и Танайченко повалились барину въ ноги, и что жъ, вы думаете, сдѣлалъ дѣдушка?.. Расхохотался, послалъ за Аришей и за дочерью и, громко смѣясь, рассказалъ имъ всю продолжку своихъ слугъ. Отдохнули бѣдняги отъ страха, и даже одинъ изъ нихъ улыбнулся. Степанъ Михайловичъ замѣтилъ, и чуть-чуть не разсердился; брови его начали было морщиться, но въ его душѣ такъ много было тихаго спокойствія отъ цѣлаго веселаго дня, что лобъ его разгладился, и, грозно взглянувъ, онъ сказалъ: «Ну, Богъ проститъ на этотъ разъ; но если въ другой»...—договаривать было не нужно.

Нельзя не подивиться, что у такого до безумія горячаго и въ горячности жестокаго господина люди могли рѣшиться на такую наглую шалость. Но много разъ я замѣчалъ въ продолженіе моей жизни, что у самыхъ строгихъ господъ прислуга пускалась на отчаянныя проказы. Съ дѣдушкой же моимъ это былъ не единственный случай. Тотъ же самый Ванька Мазанъ, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлатъ постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумалъ понѣжиться, полежать на барской кровати, легъ да и заснулъ. Дѣдушка самъ нашелъ его, крѣпко спящаго въ этомъ положеніи, и—только разсмѣялся! Правда, онъ отвѣсилъ ему добрый разъ своимъ калиновымъ подождкомъ; но это такъ, ради смѣха, чтобъ позабавиться испугомъ Мазана.

Дѣдушка проснулся часу въ пятомъ пополудни и послѣ студеной бражки, несмотря на палищій зной, скоро захотѣлъ накушаться чаю, вѣруя, что горячее питье уменьшаетъ тягость жара. Онъ сходилъ только пекупаться въ прохладномъ Бугурусланѣ, протекавшемъ подъ окнами дома, и, воротясь, нашелъ всю свою семью, ожидающую его у того же чайнаго стола, поставленнаго въ тѣни, съ тѣмъ же кипящимъ чайникомъ-самоваромъ и съ тою же Аксюткою. Наку-

павшихся досыта любимого потогоннаго напшка, съ густыми сливками и толстыми подрумянившимися пѣнками, дѣдушка предложилъ всѣмъ ѣхать для прогулки на мельницу. Разумѣется, всѣ съ радостію согласились; и двѣ тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли съ собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. Въ одну минуту запрягли двое длинныхъ дрогъ: на однихъ сѣлъ дѣдушка съ бабушкой, посадивъ промежъ себя единственнаго своего наслѣдника, драгоценную отрасль древняго своего дворянскаго рода; на другихъ дрогахъ помѣстились три тетки и парень, Николашка Рузанъ, взятый для того, чтобъ нарыть въ плотинѣ червяковъ и насаживать ими удочки у барышень. На мельницѣ бабушкѣ принесли скамейку, и она усѣлась въ тѣни мельничнаго амбара, неподалеку отъ кауза, около котораго удили ея меньшія дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько изъ угожденія къ отцу, столько и по собственному расположенію къ хозяйству, пошла съ Степаномъ Михайловичемъ осматривать мельницу и толчею. Малолѣтній сыночекъ то смотрѣлъ, какъ удятъ рыбу сестры (самому ему удить на глубокихъ мѣстахъ еще не позволяли), то игралъ около матери, которая не спускала съ него глазъ, боясь, чтобъ ребенокъ не свалился какъ-нибудь въ воду. Оба камня мололи: однимъ обдирали пшеницу для господскаго стола, а на другомъ мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дѣдушка былъ знатокъ всякаго хозяйственнаго дѣла; онъ хорошо разумѣлъ мельничный уставъ и толковалъ своей умной и понятливой дочери всѣ тонкости этого дѣла. Онъ мигомъ увидѣлъ всѣ недостатки въ снастяхъ или ошибки въ уставѣ жернововъ: одинъ изъ нихъ приказалъ опустить на ползарубки, и мука пошла мельче, чѣмъ помолецъ былъ очень доволенъ; на другомъ поставѣ по слуху угадалъ, что одна цѣвка въ шестернѣ начала подтираться; онъ приказалъ запереть воду, мельникъ Болтуненокъ соскочилъ внизъ, осмотрѣлъ и оцупалъ шестерню, и сказалъ: «Правда твоя, батюшка, Степанъ Михайловичъ! одна цѣвка маленько пообтерлась». — «То-то маленько, — безъ всякаго неудовольствія возразилъ дѣдушка: — кабы я не пришелъ, такъ шестерня-то бы ночью сломалась». — «Виноватъ, Степанъ Михайловичъ, не доглядѣлъ». — «Ну, Богъ проститъ, давай новую шестерню, а у старой подтертую цѣвку перемѣнить, да чтобы новая была не толще — не тоньше другихъ — въ этомъ вся штука». Сейчасъ принесли новую шестерню, заранѣе прилаженную и пробованную, вставили на мѣсто прежней, смазали, гдѣ надобно, дегтемъ, пустили воду не вдругъ, а понемногу (то же по приказанію дѣдушки), и запѣлъ, замолотъ жерновъ безъ перебора, безъ стука, а плавно и ровно. Потомъ пошелъ дѣдушка съ своей дочерью на толчею, захватилъ изъ ступы горсть толченаго проса, обдулъ его на ладони и сказалъ помольщику, знакомому мордвину: «Чего смотришь, сосѣдъ Васюха? Видишь, ни одного не отолченнаго зернышка нѣтъ. Вѣдь перепустишь, такъ пшена-то будетъ меньше». Васюха самъ попробовалъ и самъ увидѣлъ, что дѣдушка говоритъ правду; сказалъ спасибо, поклонился, т.-е. кивнулъ головой, и побѣжалъ запереть воду. Оттуда прошелъ дѣдушка съ своей ученицей на птичный дворъ; тамъ все нашлось въ отличномъ порядкѣ: гусей, утокъ, индѣекъ и куръ было великое множество, и за всѣмъ смотрѣла одна пожилая баба съ внучкой. Въ знакъ особенной милости дѣдушка далъ обѣимъ поцѣловать ручку и приказалъ, сверхъ мѣсячины, выдавать птичницѣ ежемѣсячно по полпуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степанъ Михайловичъ къ Аринѣ Васильевнѣ, всѣмъ

былъ онъ доволенъ: и дочь понятна, и мельница хорошо мелетъ, и птичница Татьяна Горожана ¹⁾ хорошо смотритъ за птицею.

Жаръ давно свалилъ, прохлада отъ воды умножала прохладу отъ наступающаго вечера, длинная туча пыли шла по дорогѣ и приближалась къ деревнѣ, слышалось въ ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотинѣ, любовался Степанъ Михайловичъ на широкій прудъ, какъ зеркало неподвижно лежавшій въ отлогихъ берегахъ своихъ; рыба играла и плескалась безпрестанно; но дѣдушка не былъ рыбакомъ. «Пора, Ариша, домой; староста, чай, ждетъ меня», сказалъ онъ. Меньшія дочери, видя его въ веселомъ расположеніи, стали просить позволенія остаться поудить, говоря, что на солнечномъ закатѣ рыба клюетъ лучше, и что черезъ полчаса онѣ придутъ пѣшкомъ. Дѣдушка согласился и уѣхалъ съ бабушкой домой, на своихъ дрогахъ, а Елизавета Степановна съ маленькимъ братомъ съѣла на другія дроги. Степанъ Михайловичъ не ошибся: у крыльца ожидалъ его староста, да и не одинъ, а съ нѣсколькими мужиками и бабами. Староста уже видѣлъ барина, зналъ, что онъ въ веселомъ духѣ, и рассказалъ о томъ кое-кому изъ крестьянъ; нѣкоторые, имѣвшіе до дѣдушки надобности или просьбы, выходящія изъ числа обыкновенныхъ, воспользовались благоприятнымъ случаемъ, и всѣ были удовлетворены: дѣдушка далъ хлѣба крестьянину, который не заплатилъ еще стараго долга, хотя и могъ это сдѣлать; другому позволилъ женить сына, не дожидаясь зимняго времени, и не на той дѣвкѣ, которую назначилъ самъ; позволилъ виноватой солдаткѣ, которую приказалъ было выгнать изъ деревни, жить попрежнему у отца, и проч. Этого мало: всѣмъ было поднесено по серебряной чаркѣ, вмѣщавшей въ себѣ болѣе краснаго стакана, домашняго крѣпкаго вина. Коротко и ясно отдалъ дѣдушка хозяйственныя приказанія старостѣ и поспѣшилъ за ужинъ, нѣсколько времени его уже ожидавшій. Вечерній столъ мало отличался отъ обѣденнаго, и, вѣроятно, кушали за нимъ даже поплотнѣе, потому что было не такъ жарко. Послѣ ужина Степанъ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе еще съ полчаса посидѣть въ одной рубахѣ и прохладиться на крыльцѣ, отпустя семью свою на покой. Въ этотъ разъ нѣсколько долѣе обыкновеннаго онъ шутилъ и смѣялся съ своей прислугой; заставлялъ Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки, и такъ ихъ поддразнивалъ, что они, не шутя, колотили другъ друга и вцѣпились даже въ волосы; но дѣдушка, досыта насмѣявшись, повелительнымъ словомъ и голосомъ заставилъ ихъ опомниться и разойтись.

Лѣтняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угасъ свѣтъ вечерней зари и не угаснетъ до начала сосѣдней утренней зари! Часъ отъ часу темнѣла глубь небеснаго свода, часъ отъ часу ярче сверкали звѣзды, громче раздавались голоса и крики ночныхъ птицъ, какъ будто они приближались къ человѣку! Ближе шумѣла мельница и толкла толчея въ ночномъ сыромъ туманѣ... Всталъ мой дѣдушка съ своего крылечка, перекрестился разъ другой на звѣздное небо и легъ почивать, несмотря на духоту въ комнатѣ, на жаркій пуховникъ, и приказалъ опустить на себя пологъ.

С. Аксаковъ.

¹⁾ Прозванье „Горожаны“ она имѣла потому, что нѣсколько времени смолodu жила въ какомъ-то городѣ.

Илья Ильичъ Обломовъ.

Въ Гороховой улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ, Илья Ильичъ Обломовъ.

Это былъ человѣкъ. лѣтъ тридцати двухъ-трехъ отроду, средняго роста, пріятной наружности, съ темно-сѣрыми глазами, но съ отсутствіемъ всякой опредѣленной идеи, всякой сосредоточенности въ чертахъ лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ, садилась на полуотворенныя губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ совсѣмъ пропадала, и тогда во всемъ лицѣ теплился ровный свѣтъ безпечности. Съ лица безпечность переходила въ позы всего тѣла, даже въ складки шлафрока.

Иногда взглядъ его помрачался выраженіемъ будто усталости или скуки; но ни усталость ни скука не могли ни на минуту согнать съ лица мягкость, которая была господствующимъ и основнымъ выраженіемъ, не лица только, а всей души; а душа такъ открыто и ясно свѣтилась въ глазахъ, въ улыбкѣ, въ каждомъ движеніи головы, руки. И поверхностно-наблюдательный, холодный человѣкъ, взглянувъ мимоходомъ на Обломова, сказалъ бы: «Добрякъ долженъ быть, простота!» Человѣкъ поглубже и посимпатичнѣе, долго вглядываясь въ лицо его, отошелъ бы въ пріятномъ раздумьѣ, съ улыбкой.

Цвѣтъ лица у Ильи Ильича не былъ ни румяный, ни смуглый, ни положительно-блѣдный, а безразличный, или казался такимъ, можетъ-быть, потому, что Обломовъ какъ-то обрюзгъ не по лѣтамъ: отъ недостатка ли движенія, или воздуха, а можетъ-быть, того и другого. Вообще же тѣло его, судя по матовому, черезчуръ блѣлому цвѣту шен, маленькихъ пухлыхъ рукъ, мягкихъ плечъ, казалось слишкомъ изнѣженнымъ для мужчины.

Движенія его, когда онъ былъ даже встревоженъ, сдерживались также мягкостью и не лишеною своего рода граціи лѣнью. Если на лицо набѣгала изъ души туча заботы, взглядъ туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнѣній, печали, испуга; но рѣдко тревога эта застывала въ формѣ опредѣленной идеи, еще рѣже превращалась въ намѣреніе. Вся тревога разрѣшалась вздохомъ и замирала въ апатіи или въ дремотѣ.

Какъ шелъ домашній костюмъ Обломова къ покойнымъ чертамъ лица его и къ изнѣженному тѣлу! На немъ былъ халатъ изъ персидской матеріи, настоящій восточный халатъ, безъ малѣйшаго намека на Европу, безъ кистей, безъ бархата, безъ таліи, весьма помѣстительный, такъ что и Обломовъ могъ дважды завернуться въ него. Рукава, по неизмѣнной азіатской модѣ, шли отъ пальцевъ къ плечу все шире и шире. Хотя халатъ этотъ и утратилъ свою первоначальную свѣжесть и мѣстами замѣнилъ свой первобытный, естественный лоскъ другимъ, благопріобрѣтеннымъ, но все еще сохранялъ яркость восточной краски и прочность ткани.

Халатъ имѣлъ въ глазахъ Обломова тѣмъ неоцѣненныхъ достоинствъ: онъ мягокъ, глубокъ; тѣло не чувствуетъ его на себѣ; онъ, какъ послушный рабъ, покоряется саможалѣйшему движенію тѣла.

Обломовъ всегда ходилъ дома безъ галстука и безъ жилета, потому что любилъ просторъ и приволье. Туфли на немъ были длинныя, мягкія и широкія;

когда онъ, не глядя, опускалъ ноги съ постели на полъ, то непременно попадалъ въ нихъ сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, какъ у больного, или какъ у человѣка, который хочетъ спать, ни случайностью, какъ у того, кто усталъ, ни наслажденіемъ, какъ у лѣнтяя: это было нормальнымъ состояніемъ. Когда онъ былъ дома,—а онъ былъ почти всегда дома,—онъ все лежалъ, и все постоянно въ одной комнатѣ, гдѣ мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетомъ и пріемной. У него было еще три комнаты, но онъ рѣдко туда заглядывалъ, утромъ развѣ, и то не всякій день, когда человѣкъ мелъ кабинетъ его, чего всякій день не дѣлалось. Въ тѣхъ комнатахъ мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, гдѣ лежалъ Илья Ильичъ, съ перваго взгляда казалась прекрасно убранною. Тамъ стояло бюро краснаго дерева, два дивана, обитые шелковою матеріею, красивыя ширмы, съ вышитыми, небывалыми въ природѣ птицами и плодами. Были тамъ шелковые занавѣсы, ковры, нѣсколько картинъ, бронза, фарфоръ и множество красивыхъ мелочей.

Но опытный глазъ человѣка съ чистымъ вкусомъ, однимъ бѣглымъ взглядомъ на все, что тутъ было, прочелъ бы только желаніе кое-какъ соблюсти *decorum*¹⁾ неизбѣжныхъ приличій, лишь бы отдѣлаться отъ нихъ. Обломовъ хлопоталъ, конечно, только объ этомъ, когда убиралъ свой кабинетъ. Утонченный вкусъ не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграціозными стульями краснаго дерева, шаткими этажерками. Задокъ у одного дивана осѣлся внизъ, наклеенное дерево мѣстами отстало.

Точно тотъ же характеръ носили на себѣ и картины, и вазы, и мелочи.

Самъ хозяинъ, однако, смотрѣлъ на убранство своего кабинета такъ холодно и разсѣянно, какъ будто спрашивалъ глазами: «кто сюда натащилъ и наставилъ все это?» Отъ такого холоднаго воззрѣнія Обломова на свою собственность, а, можетъ-быть, и еще болѣе холоднаго воззрѣнія на тотъ же предметъ слуги его, Захара, видъ кабинета, если осмотрѣть тамъ все повнимательнѣе, поражалъ господствующею въ немъ запущенностью и небрежностью.

По стѣнамъ, около картинъ, лѣпилась, въ видѣ фестоновъ, паутина, напытанная пылью; зеркала, вмѣсто того, чтобъ отражать предметы, могли бы служить скорѣе скрижалями, для записыванія на нихъ, по пыли, какихъ-нибудь замѣтокъ на память. Ковры были въ пятнахъ. На диванѣ лежало забытое полотенце; на столѣ рѣдкое утро не стояла неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка съ солонкой и съ обглоданной косточкой, да не валялись хлѣбныя крошки.

Если бъ не эта тарелка, да не прислоненная къ постели только что выгуренная трубка, или не самъ хозяинъ, лежавшій на ней, то можно было бы подумать, что тутъ никто не живетъ—такъ все запылилось, полиняло и вообще лишено было живыхъ слѣдовъ человѣческаго присутствія. На этажеркахъ, правда, лежали двѣ-три развернутыя книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница съ перьями; но страницы, на которыхъ развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что ихъ бросили давно; номеръ газеты былъ прошлогодній, а изъ чернильницы, если обмакнуть въ нее перо, вырвалась бы развѣ только, съ жужжаньемъ, испуганная муха.

¹⁾ Декорумъ.

Илья Ильич проснулся, противъ обыкновенія, очень рано, часовъ въ восемь. Онъ чѣмъ-то сильно озабоченъ. На лицѣ у него попеременно выступалъ не то страхъ, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а умъ еще не являлся на помощь.

Дѣло въ томъ, что Обломовъ наканунѣ получилъ изъ деревни, отъ своего старосты, письмо непріятнаго содержанія. Извѣстно, о какихъ непріятностяхъ можетъ писать староста: неурожай, недонмки, уменьшеніе дохода и т. п. Хотя староста и въ прошломъ и въ третьемъ году писалъ къ своему барину точно такія же письма, но и это послѣднее письмо подѣйствовало такъ же сильно, какъ всякій непріятный сюрпризъ.

Легко ли? предстояло думать о средствахъ къ принятію какихъ-нибудь мѣръ. Впрочемъ, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своихъ дѣлахъ. Онъ по первому непріятному письму старосты, полученному нѣсколько лѣтъ назадъ, уже сталъ создавать въ умѣ планъ разныхъ перемѣнъ и улучшеній въ порядкѣ управленія своимъ имѣніемъ.

По этому плану предполагалось ввести разныя новыя экономическія, полицейскія и другія мѣры. Но планъ былъ еще далеко не весь обдуманъ, а непріятныя письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его къ дѣятельности и, слѣдовательно, нарушали покой. Обломовъ сознавалъ необходимость, до окончанія плана, предпринять что-нибудь рѣшительное.

Онъ, какъ только проснулся, тотчасъ же вознамѣрился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этимъ дѣломъ, какъ слѣдуетъ.

Съ полчаса онъ все лежалъ, мучась этимъ намѣреніемъ, но потомъ разсудилъ, что успѣетъ еще сдѣлать это и послѣ чаю, а чай можно пить по обыкновенію въ постели, тѣмъ болѣе, что ничто не мѣшаетъ думать и лежать.

Такъ и сдѣлалъ. Послѣ чаю онъ уже приподнялся съ своего ложа и чуть было не всталъ; поглядывая на туфли, онъ даже началъ спускаться къ нимъ одну ногу съ постели, но тотчасъ же опять подобралъ ее.

Пробило половина десятаго, Илья Ильичъ встрепенулся.

— Что жъ это я въ самомъ дѣлѣ? — сказалъ онъ вслухъ съ досадой. — Надо совѣсть знать: пора за дѣло! Дай только волю себѣ, такъ и...

— Захаръ! — закричалъ онъ.

Въ комнатѣ, которая отдѣлялась только небольшимъ коридоромъ отъ кабинета Ильи Ильича, слышалось сначала точно ворчанье цѣнной собаки, потомъ стукъ прыгнувшихъ откуда-то ногъ. Это Захаръ прыгнулъ съ лежанки, на которой обыкновенно проводилъ время, сидя погруженный въ дремоту.

Въ комнату вошелъ пожилой человѣкъ, въ сѣромъ сюртукѣ, съ прорѣхою подъ мышкой, откуда торчалъ клочокъ рубашки, въ сѣромъ же жилетѣ, съ мѣдными пуговицами, съ голымъ, какъ колѣно, черепомъ и съ необъятно широкими и густыми, русыми съ просѣдью бакенбардами, изъ которыхъ каждой стало бы на три бороды.

Захаръ не старался измѣнить не только даннаго ему Богомъ образа, но и своего костюма, въ которомъ ходилъ въ деревнѣ. Платье ему шилось по выведенному имъ изъ деревни образцу. Сѣрый сюртукъ и жилетъ правились ему и потому, что въ этой полуформенной одеждѣ онъ видѣлъ слабое воспоминаніе ливреи, которую онъ носилъ нѣкогда, провожая покойныхъ господъ въ церковь

или въ гости; а либрѣя въ воспоминаніяхъ его была единственною представительницею достоинства дома Обломовыхъ.

Болѣе ничто не напоминало старику барскаго широкаго и покойнаго быта въ глуши деревни. Старые господа умерли, семейные портреты остались дома и, чай, валяются гдѣ-нибудь на чердакѣ; преданія о старинномъ бытѣ и важности фамиліи все гложутъ, или живутъ только въ памяти немногихъ, оставшихся въ деревнѣ же стариковъ. Поэтому для Захара дорогъ былъ сѣрый сюртукъ: въ немъ, да еще въ кое-какихъ признакахъ, сохранившихся въ лицѣ и манерахъ барина, напоминавшихъ его родителей, и въ его капризахъ, на которые хотя онъ и ворчалъ, и про себя, и вслухъ, но которые между тѣмъ уважалъ внутренно, какъ проявленіе барской воли, господскаго права, видѣлъ онъ слабыя намеки на отжившее величіе.

Безъ этихъ капризовъ онъ какъ-то не чувствовалъ надъ собой барина; безъ нихъ ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданій объ этомъ старинномъ домѣ, единственной хроникѣ, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой изъ рода въ родъ.

Домъ Обломовыхъ былъ когда-то богатъ и знаменитъ въ своей сторонѣ, но потомъ, Богъ знаетъ отчего, все бѣднѣло, мельчалъ и, наконецъ, незамѣтно потерялся между не старыми дворянскими домами. Только посѣдѣвшіе слуги дома хранили и передавали другъ другу вѣрную память о минувшемъ, дорожа ею, какъ святынею.

Вотъ отчего Захаръ такъ любилъ свой сѣрый сюртукъ. Можетъ-быть, и бакенбардами своими онъ дорожилъ потому, что видѣлъ въ дѣтствѣ своемъ много старыхъ слугъ съ этимъ стариннымъ, аристократическимъ украшеніемъ.

Илья Ильичъ, погруженный въ задумчивость, долго не замѣчалъ Захара. Захаръ стоялъ передъ нимъ молча. Наконецъ онъ кашлянулъ.

— Что ты? — спросилъ Илья Ильичъ.

— Вѣдь вы звали?

— Звалъ? Зачѣмъ же это я звалъ — не помню! — отвѣчалъ онъ, потягиваясь. — Поди пока къ себѣ, а я вспомню.

Захаръ ушелъ, а Илья Ильичъ продолжалъ лежать и думать о проклятомъ письмѣ.

Прошло съ четверть часа.

— Ну, полно лежать! — сказалъ онъ. — Надо же встать... А впрочемъ, дай-ка я прочту еще разъ со вниманіемъ письмо старосты, а потомъ ужъ и встану. Захаръ!

Опять тотъ же прыжокъ и ворчанье сильнѣе. Захаръ вошелъ, а Обломовъ опять погрузился въ задумчивость. Захаръ стоялъ минуты двѣ, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина и, наконецъ, пошелъ къ дверямъ.

— Куда же ты? — вдругъ спросилъ Обломовъ.

— Вы ничего не говорите, такъ что жъ тутъ стоять-то даромъ? — захрипѣлъ Захаръ, за неимѣніемъ другого голоса, который, по словамъ его, онъ потерялъ на охотѣ съ собаками, когда ѣздилъ со старымъ баринкомъ, и когда ему дунуло будто сильнымъ вѣтромъ въ горло.

Онъ стоялъ въ полуоборотѣ среди комнаты и глядѣлъ все стороной на Обломова.

— А у тебя развѣ ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабоченъ — такъ и подожди! Не належаю еще тамъ? Сыщи письмо, что я вчера отъ старосты получилъ. Куда ты его дѣлъ?

— Какое письмо? Я никакого письма не видалъ, — сказалъ Захаръ.

— Ты же отъ почтальона принялъ его: грязное такое.

— Куда жъ его положили — почему мнѣ знать? — говорилъ Захаръ, похлопывая рукой по бумагамъ и по разнымъ вещамъ, лежавшимъ на столѣ.

— Ты никогда ничего не знаешь. Тамъ въ корзинѣ посмотри! Или не завалилось ли за диванъ? Вотъ спинка-то у дивана до сихъ поръ не починена; чтобъ тебѣ призвать столяра да починить? Вѣдь ты же изломалъ. Ни о чемъ не подумашь.

— Я не ломалъ, — отвѣчалъ Захаръ, — она сама изломалась; не вѣтъ же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильичъ не считалъ за нужное доказывать противное.

— Нашелъ, что ли? — спросилъ онъ только.

— Вотъ какія-то письма.

— Не тѣ.

— Ну, такъ пѣтъ больше, — говорилъ Захаръ.

— Ну, хорошо, поди! — съ нетерпѣніемъ сказалъ Илья Ильичъ. — Я встану, самъ найду.

Захаръ пошелъ къ себѣ, но только онъ уперся было руками о лежанку, чтобъ прыгнуть на нее, какъ опять послышался торопливый крикъ:

— Захаръ, Захаръ!

— Ахъ ты, Господи! — ворчалъ Захаръ, отправляясь опять въ кабинетъ. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорѣе пришла!

— Чего вамъ? — сказалъ онъ, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, въ знакъ неблаговоленія; до того стороной, что ему приходилось видѣть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, изъ которой, такъ и ждешь, что вылетятъ двѣ-три птицы.

— Носовой платокъ, скорѣй! Самъ бы ты могъ догадаться: не видишь! — строго замѣтилъ Илья Ильичъ.

Захаръ не обнаружилъ никакого особеннаго неудовольствія или удивленія при этомъ приказаніи и упрекѣ барина, находя, вѣроятно, съ своей стороны, и то и другое весьма естественнымъ.

— А кто его знаетъ, гдѣ платокъ? — ворчалъ онъ, обходя вокругъ комнату и ощупывая каждый стулъ, хотя и такъ можно было видѣть, что на стульяхъ ничего не лежитъ.

— Все теряете! — замѣтилъ онъ, отворяя дверь въ гостиную, чтобъ посмотреть, нѣтъ ли тамъ.

— Куда? Здѣсь ницѣ! Я съ третьяго дня тамъ не былъ. Да скорѣе же! — говорилъ Илья Ильичъ.

— Гдѣ платокъ? Пѣту платка! — говорилъ Захаръ, разводя руками и озираясь во всѣ углы. — Да вонъ онъ, — вдругъ сердито захрипѣлъ онъ: — подъ вами! Вонъ коонецъ торчитъ. Сами лежите на немъ, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь отвѣта, Захаръ пошелъ было вонъ. Обломову стало немного неловко отъ собственнаго промаха. Онъ быстро нашелъ другой поводъ сдѣлать Захара виноватымъ.

— Какая у тебя чистота вездѣ: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вонъ, вонъ, погляди-ка въ углахъ-то — ничего не дѣлаешь!

— Ужъ коли я ничего не дѣлаю... — заговорилъ Захаръ обиженнымъ голосомъ: — стараюсь, жизни не жалѣю! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Онъ указаль на середину пола и на столъ, на которомъ Обломовъ обѣдалъ.

— Вонъ, вонъ, — говорилъ онъ: — все подметено, прибрано, словно къ свадьбѣ... Чего еще?

— А это что? — прервалъ Илья Ильичъ, указывая на стѣны и на потолокъ. — А это? А это?

Онъ указаль и на брошенное со вчерашняго дня полотенце и на забытую на столѣ тарелку съ ломтемъ хлѣба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказалъ Захаръ, снисходительно взявъ тарелку.

— Только это! А пыль по стѣнамъ, а паутина?.. — говорилъ Обломовъ, указывая на стѣны.

— Это я къ Святой недѣлѣ убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книжки и картины передъ Рождествомъ: тогда съ Анисейю все шкапы переберемъ. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите.

— Я иногда въ театръ хожу да въ гости: вотъ бы...

— Что за уборка ночью!

Обломовъ съ упрекомъ поглядѣлъ на него, покачалъ головой и вздохнулъ, а Захаръ равнодушно поглядѣлъ въ окно и тоже вздохнулъ. Баринъ, кажется, думалъ: «Ну, братъ, ты еще больше Обломовъ, нежели я самъ», а Захаръ чуть ли не подумалъ: «Врешь! ты только мастеръ говорить мудренныя да жалкія слова, а до пыли и до паутины тебѣ и дѣла нѣтъ».

— Понимаешь ли ты, — сказалъ Илья Ильичъ, — что отъ пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стѣнѣ!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захаръ.

— Развѣ это хорошо? Вѣдь это гадость! — замѣтилъ Обломовъ.

Захаръ усмѣхнулся во все лицо, такъ что усмѣшка охватила даже брови и бакенбарды, которыя отъ этого раздвинулись въ стороны, и по всему лицу до самаго лба расплылось красное пятно.

— Чѣмъ же я виноватъ, что клопы на свѣтѣ есть? — сказалъ онъ съ наивнымъ удивленіемъ. — Развѣ я ихъ выдумалъ?

— Это отъ нечистоты, — перебилъ Обломовъ. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумалъ

— У тебя, вотъ, тамъ, мыши бѣгаютъ по ночамъ — я слышу.

— И мышей не я выдумалъ. Этой твари, что мышей, что кошекъ, что клоповъ, вездѣ много.

— Какъ же у другихъ не бываетъ ни моли, ни клоповъ?

На лицѣ Захара выразилась недовѣрчивость или, лучше сказать, покойная увѣренность, что этого не бываетъ.

— У меня всего много, — сказалъ онъ упрямо: — за всякимъ клопомъ не усмотришь, въ щелку къ нему не влѣзешь.

А самъ, кажется, думалъ: «Да и что за спанье безъ клопа?»

— Ты мети, выбирай соръ изъ угловъ — и не будетъ ничего, — училъ Обломовъ.

— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорилъ Захаръ.

— Не наберется, — перебилъ баринъ: — не должно.

— Наберется — я знаю, — твердилъ слуга.

— А наберется, такъ опять вымети.

— Какъ это? Всякій день перебирай всѣ углы? — спросилъ Захаръ. — Да что жъ это за жизнь? Лучше Богъ по душу пошлѣ!

— Отчего жъ у другихъ чисто? — возразилъ Обломовъ. — Посмотри напротѣвъ, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна дѣвка...

— А гдѣ нѣмцы соръ возьмутъ, — вдругъ возразилъ Захаръ. — Вы поглядите-ка, какъ они живутъ! Вся семья цѣлую недѣлю кость гложетъ. Сюртукъ съ плечъ отца переходитъ на сына, а съ сына опять на отца. На женѣ и дочеряхъ платьишки коротенькія: все поджимаютъ подъ себя ноги, какъ гусыни... Гдѣ имъ соръ взять? У нихъ нѣтъ этого, вотъ, какъ у насъ, чтобъ въ шкапахъ лежала по годамъ куча стараго изношеннаго платья, или набрался цѣлый уголъ корокъ хлѣба за зиму... У нихъ и корка зря не валяется: надѣлаютъ сухариковъ, да съ пивомъ и выпьютъ!

Захаръ даже сквозь зубы плюнулъ, разсуждая о такомъ скарредномъ житѣ.

— Нечего разговаривать! — возразилъ Илья Ильичъ. — Ты лучше убирай.

— Иной разъ и убиралъ бы, да вы же сами не даете, — сказалъ Захаръ.

— Пошелъ свое! Все, видишь, я мѣшаю.

— Конечно, вы; все дома сидите: какъ при васъ станешь убирать? Уйдите на цѣлый день, такъ и уберу.

— Вотъ еще выдумалъ что — уйти. Пойди-ка ты лучше къ себѣ.

— Да право! — настаивалъ Захаръ. — Вотъ, хоть бы сегодня ушли, мы бы съ Анисей и убрали все. И то не управимся вдвоемъ-то: надо еще бабъ нанять, перемыть все.

— Э! какія затѣи: бабъ! Ступай себѣ, — говорилъ Илья Ильичъ.

Онъ уже былъ не радъ, что вызвалъ Захара на этотъ разговоръ. Онъ все забывалъ, что чуть тронешь этотъ деликатный предметъ, такъ и не оберешься хлопотъ.

Обломову и хотѣлось бы, чтобъ было чисто, да онъ бы желалъ, чтобъ это сдѣлалось какъ-нибудь такъ, незамѣтно, само собой; а Захаръ всегда заводилъ тяжбу, лишь только начинали требовать отъ него сметанія пыли, мытья половъ и т. п. Онъ въ такомъ случаѣ станеть доказывать необходимость громадной возни въ домѣ, зная очень хорошо, что одна мысль объ этомъ приводила барина его въ ужасъ.

Захаръ ушелъ, а Обломовъ погрузился въ размышленія.

Гончаровъ.

Однодворецъ Овсяниковъ.

Представьте себѣ, любезные читатели, человека полнаго, высокаго, лѣтъ семидесяти, съ лицомъ, напоминающимъ нѣсколько лицо Крылова, съ яснымъ и умнымъ взоромъ подъ нависшей бровью, съ важной осанкой, мѣрною рѣчью, медлительной походкой: вотъ вамъ Овсяниковъ. Носилъ онъ просторный синій сюртукъ съ длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платокъ на шеѣ, ярко вычищенные сапоги съ кистями, и вообще съ виду походилъ на зажиточнаго купца. Руки у него были прекрасныя, мягкія и бѣлыя; онъ часто въ теченіе разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяниковъ своею важностью и неподвижностью, смышленостью и лѣнью, своимъ прямодушіемъ и упорствомъ напоминалъ мнѣ русскихъ бояръ допетровскихъ временъ... Ферязь бы къ нему пристала. Это былъ одинъ изъ послѣднихъ людей стараго вѣка. Всѣ сосѣди его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться съ нимъ. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки передъ нимъ издали ломали, гордились имъ. Говоря вообще, у насъ до сихъ поръ однодворца трудно отличить отъ мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкаго, телята не выходятъ изъ гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяниковъ былъ исключеніемъ изъ общаго правила, хотъ и не слылъ за богача. Жилъ онъ одинъ съ своей женой въ уютномъ, опрятномъ домикѣ, прислугу держалъ небольшую, одѣвалъ людей своихъ по-русски и называлъ работниками. Они же у него и землю пахали. Онъ и себя не выдавалъ за дворянина, не прикидывался помѣщикомъ, никогда, какъ говорится, «не забывался», не по первому приглашенію садился, и при входѣ новаго гостя непременно поднимался съ мѣста, но съ такимъ достоинствомъ, съ такой величавой привѣтливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяниковъ придерживался старинныхъ обычаевъ не изъ суевѣрія (душа въ немъ была довольно свободная), а по привычкѣ. Онъ, напримѣръ, не любилъ рессорныхъ экипажей, потому что не находилъ ихъ покойными, и разтѣзалъ либо въ бѣговыхъ дрожжахъ, либо въ небольшой красивой телѣжкѣ съ кожаной подушкой, и самъ правилъ своимъ добрымъ гнѣдымъ рысакомъ. (Онъ держалъ однѣхъ гнѣдыхъ лошадей.) Кучеръ, молодой краснощекий парень, остриженный въ скобку, въ синеватомъ армякѣ и низкой бараньей шапкѣ, подпоясанный ремнемъ, почтительно сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Овсяниковъ всегда спалъ послѣ обѣда, ходилъ въ баню по субботамъ, читалъ однѣ духовныя книги (при чемъ съ важностью надѣвалъ на носъ круглыя серебряныя очки), вставалъ и ложился рано. Бороду, однакоже, онъ брилъ и волосы носилъ по-нѣмецки. Гостей онъ принималъ весьма ласково и радушно, но не кланялся имъ въ поясъ не суетился, не потчевалъ ихъ всякимъ сушенъемъ и соленъемъ. «Жена!—говорилъ онъ медленно, не вставая съ мѣста и слегка повернувшись къ ней головою:—принеси господамъ чего-нибудь полакомиться». Онъ почиталъ за грѣхъ продавать хлѣбъ—Божій даръ, и въ 40-мъ году, во время общаго голода и страшной дороговизны, роздалъ окрестнымъ помѣщикамъ и мужикамъ весь свой запасъ; они ему на слѣдующій годъ съ благодарностью внесли свой долгъ натурой. Къ Овсяникову часто прибѣгали сосѣди съ просьбой разсудить, помирить ихъ, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совѣта. Многие, по его милости, окончательно размежевались... Но послѣ двухъ или

трехъ спибокъ съ помѣщицами, онъ объявилъ, что отказывается отъ всякаго посредничества между особами женскаго пола. Терпѣть онъ не могъ поспѣшности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Разъ какъ-то у него домъ загорѣлся. Работникъ впопыхахъ вбѣжалъ къ нему съ крикомъ: «Пожаръ! пожаръ!»—«Ну, чего же ты кричишь?—спокойно сказалъ Овсяниковъ.—Подай мнѣ шапку и костыль»... Онъ самъ любилъ выѣзжать лошадей. Однажды рыаный битюкъ ¹⁾ помчалъ его подъ гору, къ оврагу. «Ну, полно, жеребенокъ малолѣтній,—убьешься», добродушно замѣчалъ ему Овсяниковъ и черезъ мгновеніе полетѣлъ въ оврагъ вмѣстѣ съ бѣговыми дрожками, мальчикомъ, сидѣвшимъ сзади, и лошадью. Къ счастью, на днѣ оврага грудami лежалъ песокъ. Никто не ушибся, одинъ битюкъ вывихнулъ себѣ ногу. «Ну, вотъ, видишь,—продолжалъ спокойнымъ голосомъ Овсяниковъ, поднимаясь съ земли:—я тебѣ говорилъ». И жену онъ сыскалъ по себѣ. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокаго роста, важная и молчаливая, вѣчно повязанная коричневымъ шелковымъ платкомъ. Отъ нея вѣяло холодомъ, хотя не только никто не жаловался на ея строгость, но, напротивъ, многіе бѣдняки называли ее матушкой и благодѣтельницей. Правильныя черты лица, большіе темные глаза, тонкія губы и теперь еще свидѣтельствовали о нѣкогда знаменитой ея красотѣ. Дѣтей у Овсяникова не было.

Я съ нимъ познакомился у Радилова, и дня черезъ два побѣжалъ къ нему. Я засталъ его дома. Онъ сидѣлъ въ большихъ кожаныхъ креслахъ и читалъ «Четы-Минен». Сѣрая кошка мурлыкала у него на плечѣ. Онъ меня принялъ, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились въ разговоръ.

— А скажите-ка, Лука Петровичъ, правду,—сказалъ я между прочимъ:—вѣдь прежде, въ ваше-то время, лучше было?

— Иное, точно, лучше было, скажу вамъ,—возразилъ Овсяниковъ:—спокойнѣе мы жили; довольства больше было, точно... А все-таки теперь лучше; а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ дастъ.

— А я такъ ожидалъ, Лука Петровичъ, что вы мнѣ старое время хвалить станете.

— Нѣтъ, стараго времени мнѣ особенно хвалить не изъ чего. Вотъ, хоть бы, примѣромъ сказать, вы помѣщикъ теперь, такой же помѣщикъ, какъ вашъ покойный дѣдушка, а ужъ власти вамъ такой не будетъ! да и вы сами не такой человѣкъ. Намъ и теперь другіе господа притѣсняютъ; но безъ этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется, авось, мука будетъ. Нѣтъ, ужъ я теперь не увижу, чего въ молодости насмотрѣлся.

— А чего бы, напримѣръ?

— А хоть бы, напримѣръ, опять-таки скажу про вашего дѣдушку. Властный былъ человѣкъ! обижалъ нашего брата. Вѣдь вотъ вы, можете, знаете,—да какъ вамъ своей земли не знать,—клинтъ-то, что идетъ отъ Чеплыгина къ Малинину?.. Онъ у васъ подъ овсомъ теперь... Ну, вѣдь онъ нашъ,—весь, какъ есть, нашъ. Вашъ дѣдушка у насъ его отнялъ; выѣхалъ верхомъ, показалъ рукой, говорить: мое владѣнье,—и завладѣлъ. Отецъ-то мой, покойникъ

¹⁾ Битюками или съ Битюка называются особенной породы лошади, которыя развелись въ Воронежской губерніи, около извѣстнаго „Хрѣноваго“ (бывшаго коннаго завода гр. Орловой).

(царство ему небесное!), человекъ былъ справедливый, горячій былъ тоже человекъ, не вытерпѣлъ,—да и кому охота свое добро терять?—и въ судъ просьбу подалъ. Да одинъ подалъ, другіе-то не пошли,—побоялись. Вотъ, вашему дѣдушкѣ и донесли, что Петръ Овсяниковъ, молъ, на васъ жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дѣдушка вашъ къ намъ тотчасъ и прислалъ своего ловчаго Бауша съ командой... Вотъ, и взяли моего отца и въ вашу вотчину повели. Я тогда былъ мальчишка маленькій, босикомъ за нимъ побѣжалъ. Что жъ?.. Привели его къ вашему дому да подъ окнами и высѣкли. А вашъ-то дѣдушка стоитъ на балконѣ да посматриваетъ; а бабушка подъ окномъ сидитъ и то же глядитъ. Отецъ мой кричитъ: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядываетъ. Вотъ, и взяли съ отца слово отступиться отъ земли и благодарить еще велѣли, что живого отпустили. Такъ она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своихъ мужиковъ: какъ, молъ, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубемъ отнята. Такъ вотъ, отъ этого и нельзя намъ, маленькимъ людямъ, очень-то жалѣть о старыхъ порядкахъ.

Я не зналъ, что отвѣчать Овсяникову, и не смѣлъ взглянуть ему въ лицо.

— А то другой сосѣдъ у насъ въ тѣ поры завелся,—Комовъ, Степанъ Никтополіонычъ. Замучилъ было отца совсѣмъ: не мытьемъ, такъ катаньемъ. Пьяный былъ человекъ и любилъ угощать, и какъ подопьетъ, да скажетъ по-французски: «Се бонъ», да облизнется—хоть святыхъ вонъ носи! По всѣмъ сосѣдамъ шлетъ просить пожаловать. Тройки такъ у него наготовѣ и стояли; а не поѣдешь,—тотчасъ самъ нагрянетъ... И такой странный былъ человекъ! Въ «тверезомъ» видѣ не лгалъ; а какъ выпьетъ—и начнетъ рассказывать, что у него въ Питерѣ три дома на Фонтанкѣ: одинъ красный съ одной трубой, другой—желтый съ двумя трубами, а третій—синій безъ трубъ,—и три сына (а онъ и женатъ не бывалъ): одинъ въ инфантеріи, другой въ кавалеріи, третій самъ по себѣ... И говоритъ, что въ каждомъ домѣ живетъ у него по сыну, что къ старшему ѣздить адмиралы, ко второму—генералы, а къ младшему—все англичане! Вотъ, и поднимется, и говоритъ: «За здравіе моего старшаго сына, онъ у меня самый почтительный!» и заплачетъ. И бѣда, коли кто отказываться станетъ. «Застрѣлю!»—говоритъ.—И хоронить не позволю!..» А то вскочитъ и закричитъ: «Пляши, народъ Божій, на свою потѣху и мое утѣшеніе!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Дѣвокъ своихъ крѣпостныхъ вовсе замучилъ. Бывало, всю ночь, какъ есть, до утра хоромъ поютъ, и какая выше голосомъ забираетъ, той и награда. А станутъ уставать,—голову на руки положить и загорюетъ: «Охъ, сирота я сиротливая! покидаютъ меня, голубчика!» Конюха тотчасъ дѣвокъ и приободрятъ. Отецъ-то мой ему и полюбись: что прикажешь дѣлать! Вѣдь чуть въ гробъ отца моего не вогналъ, и точно вогналъ бы, да самъ, спасибо, умеръ: съ голубятни въ пьяномъ видѣ свалился... Такъ вотъ, какіе у насъ сосѣдушки бывали!

Тургеневъ.

Дикій-Баринъ.

Первое впечатлѣніе, которое производилъ на васъ видъ этого человѣка, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложенъ онъ былъ неуклюже, «сбитнемъ», какъ говорятъ у насъ, но отъ него такъ и несло несокрушимымъ здоровьемъ, и — странное дѣло — его медвѣжеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной граціи, происходившей, можетъ-быть, отъ совершенно спокойной увѣренности въ собственномъ могуществѣ. Трудно было рѣшить съ перваго разу, къ какому сословію принадлежалъ этотъ Геркулесъ; онъ не походилъ ни на двороваго, ни на мѣщанина, ни на обѣднѣвшаго подьячаго въ отставку, ни на мелкопомѣстнаго разорившагося дворянина — псаря и драчуна: онъ былъ, ужъ точно, самъ по себѣ. Никто не зналъ, откуда онъ свалился къ намъ въ уѣздъ; поговаривали, что происходилъ онъ отъ однодворцевъ и состоялъ будто гдѣ-то прежде на службѣ, но ничего положительнаго объ этомъ не знали; да и отъ кого было узнавать, — не отъ него же самого: не было человѣка болѣе молчаливаго и угрюмаго. Также никто не могъ положительно сказать, чѣмъ онъ живетъ; онъ никакимъ ремесломъ не занимался, ни къ кому не ѣздилъ, не знался почти ни съ кѣмъ, а деньги у него водились; правда, небольшія, но водились. Велъ онъ себя не то, что скромно, — въ немъ вообще не было ничего скромнаго, — но тихо; онъ жилъ, словно никого вокругъ себя не замѣчалъ и рѣшительно ни въ комъ не нуждался. Дикій-Баринъ (такъ его прозвали; настоящее же его имя было Перевлѣсовъ) пользовался огромнымъ вліяніемъ во всемъ округѣ; ему повиновались тотчасъ и съ охотой, хотя онъ не только не имѣлъ никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже самъ не изъяслялъ малѣйшаго притязанія на послушаніе людей, съ которыми случайно сталкивался. Онъ говорилъ — ему покорялись; сила всегда свое возьметъ. Онъ почти не пилъ вина, не знался съ женщинами и страстно любилъ пѣніе. Въ этомъ человѣкѣ было много загадочнаго; казалось, какія-то громадныя силы угрюмо покоились въ немъ, какъ бы зная, что, разъ поднявшись, что сорвавшись разъ на волю, онѣ должны разрушить и себя, и все, до чего не коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если въ жизни этого человѣка не случилось уже подобнаго взрыва, если онъ, наученный опытомъ, и едва спасшись отъ гибели, неумолимо не держалъ теперь самого себя въ ежовыхъ рукавицахъ. Особенно поражала меня въ немъ смѣсь какой-то врожденной, природной свирѣпости и такого же врожденнаго благородства, — смѣсь, которой я не встрѣчалъ ни въ комъ другомъ.

Тургеневъ.

Андрей Николаевичъ Полтевъ.

Андрей Николаевичъ Полтевъ былъ настоящій, старозавѣтный помѣщикъ, богобоязненный, степенный человѣкъ, достаточно — по тому времени — образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и къ тому же страдавшій падучей болѣзью... Это тоже старозавѣтная, дворянская болѣзнь... Впрочемъ, припадки у Андрея Николаевича бывали тихіе, и разрѣшались они обыкновенно сномъ да уныlostью. Сердца онъ былъ добраго, обращенія привѣтливаго, не безъ нѣкоторой величавости; я себѣ всегда такимъ воображалъ царя Михаила Ѳеодоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекла въ неукоснительномъ

исполненіи всѣхъ съ давнихъ временъ установившихся обрядовъ, въ строгомъ соотвѣтствіи со всѣми обычаями древне-православнаго, свято-русскаго быта. Онъ вставалъ и ложился, кушалъ и въ баню ходилъ, веселился и гнѣвался (то и другое, правда, рѣдко), даже трубку курилъ, даже въ карты игралъ (два большихъ новшества!) не такъ, какъ бы ему вздумалось, не на свой манеръ, а по завѣту и преданію отцовъ—истово и чинно. Самъ онъ былъ высокаго роста, осанистъ и мясистъ, голосъ имѣлъ тихій и нѣсколько хрипловатый, какъ оно часто бываетъ у русскихъ добродѣтельныхъ людей; соблюдалъ опрятность въ бѣльѣ и одеждѣ, носилъ бѣлые галстуки и табачнаго цвѣта длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась; за поповича или купца никто бы его не принялъ! Всегда, при всѣхъ возможныхъ случаяхъ и встрѣчахъ, Андрей Николаевичъ, несомнѣнно, зналъ, какъ надо поступать, что надо говорить, и какія именно выраженія употреблять; зналъ, когда должно лѣчиться и чѣмъ именно, какимъ примѣтамъ должно вѣрить, и какія можно оставлять безъ вниманія... словомъ, зналъ все, что слѣдуетъ дѣлать... Ибо все, молъ, стариками предусмотрѣно и указано—своего только не придумывай... А главное: безъ Бога ни до порога! — Должно сознаться: скука смертельная царила въ его домѣ, въ этихъ низкихъ, теплыхъ и темныхъ комнатахъ, столь часто оглашаемыхъ пѣніемъ всенощныхъ и молебновъ, съ почти не переводившимся запахомъ ладана и постныхъ кушаній!

Женился Андрей Николаевичъ, уже не въ первой молодости, на сосѣдней бѣдной барышнѣ, очень первической и болѣзненной особѣ, бывшей институткѣ. Она недурно играла на фортепіано, говорила по-французски на институтскій ладъ, охотно восторгалась и еще охотнѣе предавалась меланхоли, даже слезамъ... Словомъ, характера была безпокойнаго. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который, «конечно», ея не понималъ; но она уважала... она сносила его. Ее постоянно поглощали заботы, во-первыхъ, о своемъ собственномъ, дѣйствительно, слабомъ здоровьѣ; во-вторыхъ, о здоровьѣ мужа, припадки котораго ей всегда внушали нѣчто въ родѣ суевѣрнаго ужаса, а наконецъ, и о единственномъ своемъ сынѣ, Мишѣ, котораго она воспитывала сама съ большимъ рвеніемъ. Андрей Николаевичъ не мѣшалъ жепѣ заниматься Мишей, но съ условіемъ: ни подъ какимъ видомъ не выступать изъ однажды навсегда назначенныхъ рамокъ, въ которыхъ все должно было вращаться у него въ домѣ! Такъ, напримѣръ: въ святки и подъ Новый годъ, въ Васильевъ вечеръ, Мишѣ позволялось наряжаться вмѣстѣ съ другими «хлопчиками», и не только позволялось, но даже ставилось въ обязанность... За то—сохрани Богъ, въ другое время! и т. д., и т. д.

Тургеневъ.

Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ.

Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ—старичокъ низенькій, пухленькій, лысый, съ двойнымъ подбородкомъ, мягкими ручками и порядочнымъ брюшкомъ. Онъ большой хлѣбосоль и балагуръ: живетъ, какъ говорится, въ свое удовольствіе; зиму и лѣто ходитъ въ полосатомъ шлафрокѣ на ватѣ. Онъ холостякъ. У него пятьсотъ душъ. Мардарій Аполлоновичъ занимается своимъ имѣніемъ довольно поверхностно; купилъ, чтобы не отстать отъ вѣка, лѣтъ десять тому на-

задъ, у Бутенопа въ Москвѣ молотильную машину, заперъ ее въ сарай, да и успокоился. Развѣ въ хорошій лѣтній день велитъ заложить бѣговья дрожки и съѣздить въ поле на хлѣбъ посмотрѣть да васильковъ нарвать. Живетъ Мардарій Аполлонычъ совершенно на старый ладъ. И домъ у него старинной постройки; въ передней, какъ слѣдуетъ, пахнетъ квасомъ, салными свѣчами и кожей; тутъ же, направо, буфетъ съ трубками и утиральниками; въ столовой фамильные портреты, мухи, большой горшокъ ерани и кисляя фортепианы; въ гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сильные часы, съ почернѣвшей эмалью и бронзовыми, рѣзными стрѣлками; въ кабинетъ столъ съ бумагами, ширмы синеватаго цвѣта съ наклеенными картинками, вырѣзанными изъ разныхъ сочиненій прошедшаго столѣтія, шкапы съ вонючими книгами, науками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь въ садъ... Словомъ, все, какъ водится. Людей у Мардарія Аполлоныча множество, и все одѣты постаринному: въ длинные синіе кафтаны съ высокими воротниками, панталоны мутнаго колорита и коротенькіе, желтоватые жилеты. Гостямъ они говорятъ: «батюшка». Хозяйствомъ у него завѣдываетъ бурмистръ изъ мужиковъ, съ бородой во весь тулупъ; домохъ — старуха, повязанная коричневымъ платкомъ, сморщенная и скупая. На конюшнѣ у Мардарія Аполлоныча стоитъ тридцать разнокалиберныхъ лошадей; выѣзжаетъ онъ въ домодѣланной коляскѣ въ полтора пуда. Гостей принимаетъ очень радушно и угощаетъ на славу, то-есть: благодаря одуряющимъ свойствамъ русской кухни, лишаетъ ихъ, вплоть до самаго вечера, всякой возможности заняться чѣмъ-нибудь, кромѣ преферанса. Самъ же никогда ничѣмъ не занимается, и даже «Сонникъ» пересталъ читать. Но такихъ помѣщиковъ у насъ, на Руси, еще довольно много; спрашивается: съ какой стати я заговорилъ о немъ и зачѣмъ?.. А вотъ, позвольте, вмѣсто отвѣта, рассказать вамъ одно изъ моихъ посѣщеній у Мардарія Аполлоныча.

Приѣхалъ я къ нему лѣтомъ, часовъ въ семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священникъ, молодой человѣкъ, повидимому, весьма робкій и недавно вышедшій изъ семинаріи, сидѣлъ въ гостиной, возлѣ двери, на самомъ краешкѣ стула. Мардарій Аполлонычъ по обыкновенію чрезвычайно ласково меня принялъ: онъ непритворно радовался каждому гостю, да и человѣкъ онъ былъ вообще предобрый. Священникъ всталъ и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка, — заговорилъ Мардарій Аполлонычъ, не выпуская моей руки: — не уходи... Я велѣлъ тебѣ водки принести.

— Я не пью-съ, — съ замѣшательствомъ пробормоталъ священникъ и покраснѣлъ до ушей.

— Что за пустяки! — отвѣчалъ Мардарій Аполлонычъ. — Мишка! Юшка! водки батюшкѣ!

Юшка, высокій и худощавый старикъ лѣтъ восьмидесяти, вошелъ съ рюмкой водки на темномъ крашеномъ подносѣ, испещренномъ пятнами тѣлеснаго цвѣта.

Священникъ началъ отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, — замѣтилъ помѣщикъ съ укоризной.

Бѣдный молодой человѣкъ повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь итти.

Священникъ началъ кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай... Прекрасный человекъ, — продолжалъ Мардарій Аполлонычъ, глядя ему вслѣдъ: — очень я имъ доволенъ, одно — молодъ еще. Но вы-то какъ, мой батюшка?.. Что вы, какъ вы? Пойдемте-ка на балконъ — вишь, вечеръ какой славный.

Мы вышли на балконъ, сѣли и начали разговаривать. Мардарій Аполлонычъ взглянулъ внизъ и вдругъ пришелъ въ ужасное волненье.

— Чьи это куры? Чьи это куры? — закричалъ онъ. — Чьи это куры по саду ходятъ?.. Юшка! Юшка! поди, узнай сейчасъ; чьи это куры по саду ходятъ?.. Чьи это куры? Сколько разъ я запрещалъ, сколько разъ говорилъ!

Юшка побѣжалъ.

— Что за безпорядки! — твердилъ Мардарій Аполлонычъ. — Это ужасъ!

Несчастныя куры, какъ теперь помню, двѣ крапчатые и одна бѣлая съ хохломъ, преспокойно продолжали ходить подъ яблонями, нѣрѣдка выражая свои чувства продолжительнымъ крехтаньемъ, какъ вдругъ Юшка, безъ шапки, съ палкой въ рукѣ, и трое другихъ совершеннолѣтнихъ дворовыхъ, всѣ вмѣстѣ дружно ринулись на нихъ. Пошла потѣха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бѣгали, спотыкались, падали; баринъ съ балкона кричалъ, какъ изступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконецъ одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавивъ ее грудью къ землѣ, и въ то же самое время черезъ плетень сада, съ улицы, перескочила дѣвочка лѣтъ одиннадцати, вся растрепанная и съ хворостиной въ рукѣ.

— А, вотъ, чьи куры! — съ торжествомъ воскликнулъ помѣщикъ: — Ермила кучера куры! вонъ свою Наталку загнать ихъ выслалъ... — Эй, Юшка! брось курицъ-то: поймай-ка мнѣ Наталку.

Но прежде чѣмъ запыхавшійся Юшка успѣлъ добѣжать до перепуганной дѣвочки, — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и нѣсколько разъ шлепнула ее по спинѣ...

— Вотъ такъ, а вотъ такъ, — подхватилъ помѣщикъ: — те, те, те! те, те, те!.. А куръ-то отбери, Авдотья, — прибавилъ онъ громкимъ голосомъ, и съ свѣтлымъ лицомъ обратился ко мнѣ: — Какѡва, батюшка, травля была? Ась? — Вспотѣлъ даже, посмотрите.

И Мардарій Аполлонычъ расхохотался.

Мы остались на балконѣ. Вечеръ былъ, дѣйствительно, необыкновенно хорошъ.

Намъ подали чай.

— Скажите-ка, — началъ я, — Мардарій Аполлонычъ: ваши это дворы выселены, вонъ тамъ, на дорогѣ, за оврагомъ?

— Мои... А что?

— Какъ же это вы, Мардарій Аполлонычъ? Вѣдь это грѣшно. Избенки отведены мужикамъ скверныя, тѣсныя, деревца кругомъ не увидишь; сажелки даже нѣту; колодезь одинъ, да и тотъ никуда не годится. Неужели вы другого мѣста найти не могли?.. И, говорятъ, вы у нихъ даже старые конопляники отняли?

— А что будешь дѣлать съ размежеваньемъ? — отвѣчалъ мнѣ Мардарій Аполлонычъ. — У меня это размежеваніе вотъ гдѣ сидитъ. (Онъ указалъ на свой

затылокъ.) И никакой пользы я отъ этого размежеванія не предвижу. А что я конопляники у нихъ отнялъ и сажелки, что ли, тамъ у нихъ не выкопалъ,— ужъ про это, батюшка, я самъ знаю. Я человѣкъ простой, — постарому поступаю. По-моему: коли баринъ—такъ баринъ, а коли мужикъ—такъ мужикъ... Вотъ что.

На такой ясный и убѣдительный доводъ отвѣчать, разумѣется, было нечего.

— Да притомъ,—продолжалъ онъ,—и мужики-то плохіе, опальные. Особенно тамъ двѣ семьи; еще батюшка покойный, дай Богъ ему царство небесное, ихъ не жаловалъ, больно не жаловалъ. А у меня, скажу вамъ, такая примѣта: коли отецъ воръ, то и сынъ воръ; ужъ тамъ какъ хотите... О кровь, кровь— великое дѣло!

Между тѣмъ воздухъ затихъ совершенно. Лишь изрѣдка вѣтеръ набѣгалъ струями и, въ послѣдній разъ замирая около дома, донесъ до нашего слуха звукъ мѣрныхъ и частыхъ ударовъ, раздававшихся въ направленіи конюшни. Мардарій Аполлонычъ только что донесъ къ губамъ налитое блюдечко и уже расширилъ было ноздри, безъ чего, какъ извѣстно, ни одинъ коренной русакъ не втягиваетъ въ себя чая, — но остановился, прислушался, кивнулъ головой, хлебнулъ и, ставя блюдечко на столъ, произнесъ съ добрѣйшей улыбкой и какъ бы невольно вторя ударамъ: «Чюли-чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ!»

— Это что такое? — спросилъ я съ изумленіемъ,

— А тамъ, по моему приказу, шалуннишку наказываютъ... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вотъ, что наемни за обѣдомъ намъ служилъ. Еще съ такими большими бакенбардами ходить.

Самое лютее негодованіе не устояло бы противъ яснаго и кроткаго взора Мардарія Аполлоныча.

— Что вы, молодой человѣкъ, что вы? — заговорилъ онъ, качая головой. — Что я, злодѣй, что ли, что вы на меня такъ уставились? Любій да наказуетъ: сами вы знаете.

Черезъ четверть часа я простился съ Мардаріемъ Аполлонычемъ. Пробѣгая черезъ деревню, увидѣлъ я буфетчика Васю. Онъ шелъ по улицѣ и грызъ орѣхи. Я велѣлъ кучеру остановить лошадей и подозвалъ его.

— Что, братъ, тебя сегодня наказали? — спросилъ я его.

— А вы почему знаете? — отвѣчалъ Вася.

— Мнѣ твой баринъ сказывалъ.

— Самъ баринъ?

— За что жъ онъ тебя велѣлъ наказывать?

— А подѣломъ, батюшка, подѣломъ. У насъ по пустякамъ не наказываютъ; такого заведенія у насъ нѣту — ни, ни. У насъ баринъ не такой; у насъ баринъ... такого барина въ цѣлой губерніи не сыщешь.

— Пошелъ! — сказалъ я кучеру. — «Вотъ она, старая-то Русь!» думалъ я на возвратномъ пути.

Тургеневъ.

Татьяна Борисовна Богданова.

Татьяна Борисовна—женщина лѣтъ пятидесяти, съ большими сѣрыми глазами на выкатѣ, нѣсколько тупымъ носомъ, румяными щеками и двойнымъ подбородкомъ. Лицо ея дышитъ привѣтомъ и лаской. Она когда-то была замужемъ; но скоро овдовѣла. Татьяна Борисовна весьма замѣчательная женщина. Живетъ она безвыѣздно въ своемъ маленькомъ помѣстьѣ, съ сосѣдями мало знаетъ, принимаетъ и любитъ однихъ молодыхъ людей. Родилась она отъ весьма бѣдныхъ помѣщиковъ и не получила никакого воспитанія, т.-е. не говорить по-французски; въ Москвѣ даже никогда не бывала,—и, несмотря на всѣ эти недостатки, такъ просто и хорошо себя держитъ, такъ свободно чувствуетъ и мыслить, такъ мало заражена обыкновенными недугами мелкопомѣстной бабыни, что, поистинѣ, невозможно ей не удивляться... И въ самомъ дѣлѣ: женщина круглый годъ живетъ въ деревнѣ, въ глуши—и не сплетничасть, не пищать, не присѣдать, не волнуется, не давится, не дрожитъ отъ любопытства... чудеса! Ходитъ она обыкновенно въ сѣромъ тафтяномъ платьѣ и бѣломъ чепцѣ съ висячими лиловыми лентами; любитъ покушать, но безъ излишества; варенье, сушеные и соленые предоставляетъ ключницѣ. Чѣмъ же она занимается цѣлый день? спросите вы... Читаетъ?—Нѣтъ, не читаетъ; да правду сказать, книги не для нея печатаются... Если нѣтъ у ней гостя, сидитъ себѣ моя Татьяна Борисовна подъ окномъ и чулокъ вяжетъ—зимой; лѣтомъ въ садѣ ходитъ, цвѣты сажаетъ и поливаетъ, съ котятками играетъ по цѣлымъ часамъ, голубей кормитъ... Хозяйствомъ она мало занимается. Но если заѣдетъ къ ней гость, молодой какой-нибудь сосѣдъ, котораго она жалуется,—Татьяна Борисовна вся оживится; усадитъ его, напоятъ чаемъ, слушаетъ его рассказы, смѣется, изрѣдка его по щекамъ потреплетъ, но сама говоритъ мало: въ бѣдѣ, въ горѣ утѣшить, добрый совѣтъ подастъ. Сколько людей повѣряли ей свои домашнія, задушевные тайны, плакали у ней на рукахъ! Бывало, сидеть она противъ гостя, обопретъ тихонько на локоть и съ такимъ участіемъ смотреть ему въ глаза, такъ дружелюбно улыбается, что гостю невольно въ голову придетъ мысль: «Какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка, я тебѣ расскажу, что у меня на сердцѣ». Въ ея небольшихъ, уютныхъ комнаткахъ хорошо, тепло человѣку; у ней всегда въ домѣ прекрасная погода, если можно такъ выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ея здравый смыслъ, твердость и свобода, горячее участіе въ чужихъ бѣдахъ и радостяхъ,—словомъ, всѣ ея достоинства точно родились съ ней, никакихъ трудовъ и хлопотъ ей не стоили... Ее иначе и вообразить невозможно; стало-быть, и не за что ее благодарить. Особенно любитъ она глядѣть на игры и шалости молодежи; сложить руки подъ грудь, закинуть голову, прищурить глаза и сидитъ, улыбаясь, да вдругъ вздохнетъ и скажетъ: «Ахъ, вы, дѣтки мои, дѣтки!..» Тагъ, бывало, и хочется подойти къ ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себѣ цѣны не знаете, вѣдь вы, при всей вашей простотѣ и неучености,—необыкновенное существо!» Одно имя ея звучитъ чѣмъ-то знакомымъ, привѣтнымъ, охотно произносится, возбуждаетъ дружелюбную улыбку. Сколько разъ мнѣ, напримѣръ, случилось спросить у встрѣчнаго мужика: какъ, братецъ, проѣхать, положимъ, въ Грачевку?—«А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттолѣ на Татьяну Борисовну, а отъ

Татьяны Борисовны всякъ вамъ укажетъ». И при имени Татьяны Борисовны мужикъ какъ-то особенно головой тряхнетъ. Прислугу она держитъ небольшую, по состоянію. Домомъ, прачечной, кладовой и кухней завѣдуетъ у нея ключница Агаея, бывшая ея няня, добрейшее, слезливое и беззубое существо; двѣ здоровыя дѣвки, съ крѣпкими сизыми щеками, въ родѣ антоновскихъ яблокъ, состоятъ подъ ея начальствомъ. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимаетъ семидесятилѣтній слуга Поликарпъ, чудакъ необыкновенный, человѣкъ начитанный, отставной, скрипачъ и поклонникъ Віотти, личный врагъ Наполеона или, какъ онъ говоритъ, Бонапартинки, и страстный охотникъ до соловьевъ. Онъ ихъ всегда держитъ пять или шесть у себя въ комнатѣ; ранней весной по цѣлымъ днямъ сидитъ возлѣ клѣтокъ, выжидая перваго «рокотанья», и, дождавшись, закроетъ лицо руками и застонетъ: «Охъ, жалко, жалко!»—и въ три ручья зарыдаетъ. Къ Поликарпу на подмогу приставленъ его же внукъ, Вася, мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарпъ любитъ его безъ памяти и ворчитъ на него съ утра до вечера. Онъ же занимается и его воспитаніемъ.

Съ помѣщицами Татьяна Борисовна мало водится: онѣ неохотно къ ней ѣздить, и она не умѣетъ ихъ занимать, засыпаетъ подъ шумокъ ихъ рѣчей, вздрагиваетъ, силится раскрыть глаза и снова засыпаетъ. Татьяна Борисовна вообще не любитъ женщинъ.

Тургеневъ.

ЧЕРТОПХАНОВЪ.

Въ жаркій лѣтній день возвращался я однажды съ охоты на телѣгѣ; Ермолай дремалъ, сиди возлѣ меня, и клевалъ носомъ. Заснувшія собаки подирыгивали, словно мертвыя, у насъ подъ ногами. Кучеръ то и дѣло сгонялъ кнутомъ оводовъ съ лошадей. Бѣлая пыль легкимъ облакомъ неслась вслѣдъ за телѣгой. Мы въѣхали въ кусты. Дорога стала ухабиствѣе, колеса начали задѣвать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянулъ кругомъ... «Э!—заговорилъ онъ,—да здѣсь должны быть тетерева. Слѣзмете-ка». Мы остановились и вошли въ «площадь». Собака моя наткнулась на выводокъ. Я выстрѣлилъ и началъ было заряжать ружье, какъ вдругъ, позади меня, поднялся громкій трескъ и, раздвигая кусты руками, подѣхалъ ко мнѣ верховой. «А па-азвольте узнать,—заговорилъ онъ надменнымъ голосомъ,—по какому праву вы здѣсь а-ахотитесь, мюлевый сдари?» Незнакомецъ говорилъ необыкновенно быстро, отрывочно и въ носъ. Я посмотрѣлъ ему въ лицо: отроду не видалъ я ничего подобнаго. Вообразите себѣ, любезные читатели, маленькаго человѣка, бѣлокурога, съ краснымъ, вздернутымъ носикомъ и длиннѣйшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка съ малиновымъ суконнымъ верхомъ закрывала ему лобъ по самыя брови. Одѣтъ онъ былъ въ желтый, истасканный архалукъ съ черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всѣмъ швамъ; черезъ плечо висѣлъ у него рогъ, за поясомъ торчалъ кинжалъ. Чахлая, горбоносая, рыжая лошадь шаталась подъ нимъ, какъ угорѣлая; двѣ борзые собаки, худыя и криволапыя, тутъ же вертѣлись у ней подъ ногами. Лицо, взглядъ, голосъ, каждое движеніе, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомѣрной, небывалой; его блѣдно-голубые, стеклянные глаза разбѣгались и косились, какъ у пьянаго; онъ закидывалъ

голову назадъ, надувалъ щеки, фыркалъ и вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, словно отъ избытка достоинства—ни дать, ни взять, какъ индѣйскій пѣтухъ. Онъ повторилъ свой вопросъ.

— Я не зналъ, что здѣсь запрещено стрѣлять,—отвѣтилъ я.

— Вы здѣсь, милостивый государь,—продолжалъ онъ,—на моей землѣ.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать,—возразилъ онъ,—я съ дворянникомъ имѣю честь объясняться?

Я назвалъ себя.

— Въ такомъ случаѣ, извольте охотиться. Я самъ дворянинъ и очень радъ услужить дворянину... А зовутъ меня Чертоп-хановымъ, Пантелеемъ.

Онъ нагнулся, гикнулъ, вытянулъ лошадь по шеѣ; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась въ сторону и отдала одной собакѣ лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопхановъ закипѣлъ, зашипѣлъ, ударилъ лошадь кулакомъ по головѣ между ушами, быстрѣе молніи соскочилъ наземь, осмотрѣлъ лапу у собаки, поплевалъ на рану, пихнулъ ее ногою въ бокъ, чтобы она не пицала, уцѣпился за холку и вдѣлъ ногу въ стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвостъ и бросилась бокомъ въ кусты; онъ за ней на одной ногѣ въ припрыжку, однако, наконецъ-таки, попалъ въ сѣдло; какъ изступленный, завертѣлъ нагайкой, затрубилъ въ рогъ и поскакалъ.

Чертопхановъ, Пантелей Еремѣичъ, слылъ во всемъ околоткѣ человѣкомъ опаснымъ и сумасброднымъ, гордецомъ и забіякой первой руки. Служилъ онъ весьма недолгое время въ арміи и вышелъ въ отставку «по несприятности», тѣмъ чиномъ, по поводу котораго распространилось мнѣніе, будто курица не птица. Происходилъ онъ отъ стариннаго дома, нѣкогда богатаго; дѣды его жили пышно, по-стенному, т.-е. принимали званныхъ и незванныхъ, кормили ихъ на убой, отпускали по четверти овса чужимъ кучерамъ на тройку, держали музыкантовъ, пѣсенниковъ, гаеровъ и собакъ, въ торжественные дни поили народъ виномъ и брагой, по зимамъ ѣздили въ Москву на своихъ, въ тяжелыхъ колымагахъ, а иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ сидѣли безъ гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремѣича досталось имѣніе уже разоренное; онъ, въ свою очередь, тоже сильно «пожуировалъ» и, умирая, оставилъ единственному своему наслѣднику, Пантелею, заложенное село Безсоново, съ тридцатю пятью душами мужеска и семьдесятю шестью женска пола, да четырнадцать десятинъ съ осьминникомъ неудобной земли въ пустоши Колобродовой, на которыя, впрочемъ, никакихъ крѣпостей въ бумагахъ покойнаго не оказалось. Покойникъ, должно сознаться, престраннымъ образомъ разорился: «хозяйственный расчетъ» его сгубилъ. По его понятіямъ, дворянину не слѣдовало зависѣть отъ купцовъ, горожанъ и тому подобныхъ «разбойниковъ», какъ онъ выражался; онъ завелъ у себя всѣ возможные ремесла и мастерскія: «и приличнѣе и дешевле,—говаривалъ онъ,—хозяйственный расчетъ!» Съ этой пагубной мыслью онъ до конца жизни не разстался; она-то его и разорила. Зато потѣшился! Ни въ одной прихоти себѣ не отказывалъ. Между прочими выдумками соорудилъ онъ однажды, по собственнымъ соображеніямъ, такую огромную, семейственную карету, что, несмотря на дружныя усилія согнанныхъ со всего села крестьянскихъ лошадей, вмѣстѣ съ ихъ владѣльцами, она на первомъ же косогорѣ завалилась и разсыпалась. Еремѣй Лукичъ (Пантелеева

отца звали Еремѣемъ Лукичемъ) приказалъ памятникъ поставить на косогорѣ, а впрочемъ, нисколько не смутился. Вздумалъ онъ также построить церковь, разумѣется, самъ, безъ помощи архитектора. Сжегъ цѣлый лѣсъ на кирпичи, заложилъ фундаментъ огромный, хотъ бы подъ губернской соборъ, вывелъ стѣны, началъ сводить куполъ: куполъ упалъ. Онъ опять—куполъ опять обрушился, онъ третій разъ—куполъ рухнулъ въ третій разъ. Призадумался мой Еремѣй Лукичъ: дѣло, думаетъ, не ладно... колдовство проклятое замѣшалось... да вдругъ и прибажи перепоротъ всѣхъ старыхъ бабъ на деревнѣ. Бабъ перепороли, а куполъ все-таки не свели. Избы крестьянамъ по новому плану перестраивать началъ, и все изъ хозяйственного расчета; по три двора вмѣстѣ ставилъ треугольникомъ, а на серединѣ воздвигалъ шесть съ раскрашенной скворечницей и флагомъ. Каждый день, бывало, новую затѣю придумывалъ: то изъ лошуха супъ варилъ, то лошадямъ хвосты стригъ на картузы дворовымъ людямъ, то ленъ собирался кропивою замѣнить, свиней кормить грибами... Вычиталъ онъ однажды въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» статейку харьковского помѣщика Хряка-Хрупскаго о пользѣ нравственности въ крестьянскомъ быту, и на другой же день отдалъ приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью харьковского помѣщика наизусть. Крестьяне выучили статью; баринъ спросилъ ихъ: понимаютъ ли они, что тамъ написано? Приказчикъ отвѣчалъ, что какъ, молъ, не понять! Около того же времени повелѣлъ онъ всѣхъ поданныхъ своихъ, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать, и каждому на воротникѣ нашить его нумеръ. При встрѣчѣ съ бариномъ всякъ, бывало, такъ ужъ и кричить: такой-то нумеръ идетъ! а баринъ отвѣчаетъ ласково: ступай съ Богомъ!

Однако, несмотря на порядокъ и хозяйственный расчетъ, Еремѣй Лукичъ понемногу пришелъ въ весьма затруднительное положеніе: началъ сперва закладывать свои деревеньки, а тамъ и къ продажѣ приступилъ; послѣднее прадѣдовское гнѣздо, село съ недостроенною церковью, продала уже казна, къ счастью, не при жизни Еремѣя Лукича,—онъ бы не вынесъ этого удара,—а двѣ недѣли послѣ его кончины. Онъ успѣлъ умереть у себя въ домѣ, на своей постели, окруженный своими людьми и подъ надзоромъ своего лѣкаря; но бѣдному Пантелею досталось одно Безсоново.

Пантелей узналъ о болѣзни отца уже на службѣ, въ самомъ разгарѣ вышеупомянутой «непріятности». Ему только что пошелъ девятнадцатый годъ. Съ самаго дѣтства не покидалъ онъ родительскаго дома, и подъ руководствомъ своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, выросъ баловнемъ и барчукомъ. Она одна занималась его воспитаніемъ; Еремѣю Лукичу, погруженному въ свои хозяйственныя соображенія, было не до того. Правда, онъ однажды собственноручно наказалъ своего сына за то, что онъ букву рцы—выговаривалъ: арцы, но въ тотъ день Еремѣй Лукичъ скорбѣлъ глубоко и тайно: лучшая его собака убила въ дереву. Впрочемъ, хлопоты Василисы Васильевны насчетъ воспитанія Пантюши ограничились однимъ мучительнымъ усиліемъ: въ потѣ лица наняла она ему въ гувернеры отставнаго солдата изъ эльзасцевъ, нѣкоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала какъ листъ передъ нимъ: ну,—думала она,—коли откажется—пропала я! куда я дѣнусь? гдѣ другого учителя найду? Ужъ и этого наслу-наслу у сосѣдки сманила! И Биркопфъ, какъ человѣкъ смѣтливый, тотчасъ воспользовался

исключительностью своего положенія: пилъ мертвую и спалъ съ утра до вечера. По окончаніи «курса наукъ» Пантелей поступилъ на службу. Василисы Васильевны уже не было на свѣтѣ. Она скончалась за полгода до этого важнаго событія отъ испуга: ей во снѣ привидѣлся бѣлый человѣкъ верхомъ на медвѣдѣ. Еремѣй Лукичъ вскорѣ послѣдовалъ за своей половиной.

Пантелей при первомъ извѣстіи о его нездоровьѣ прискакалъ сломя голову, однако не засталъ уже родители въ живыхъ. Но каково было удивленіе почти-тельнаго сына, когда онъ совершенно неожиданно изъ богатаго наслѣдника превратился въ бѣдняка! Немногіе въ состояніи вынести такой крутой переломъ. Пантелей одичалъ, ожесточился. Изъ человѣка честнаго, щедраго и добраго, хотя вѣсломнаго и горячаго, онъ превратился въ гордеца и забіяку, пересталъ знаться съ сосѣдями,—богатыхъ онъ стыдился, бѣдныхъ гнушался,—и неслыханно-дерзко обращался со всѣми, даже съ установленными властями: я, молъ, столбовой дворянинъ. Разъ чуть-чуть не застрѣлилъ становаго, вошедшаго къ нему въ комнату съ картузомъ на головѣ. Разумѣется, власти, съ своей стороны, ему тоже не спускали и при случаѣ давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка онъ былъ страшная и со втораго слова предлагалъ рѣзаться на ножахъ. Отъ малѣйшаго возраженія глаза Чертопанова разбѣгались, голосъ прерывался... «А, ва-ва-ва-ва-ва,—лепеталъ онъ:—пропадай, моя голова!»... и хотѣлъ на стѣну! Да и сверхъ того, человѣкъ онъ былъ чистый, не замѣшанный ни въ чемъ. Никто къ нему, разумѣется, не ѣздилъ... И при всемъ томъ душа въ немъ была добрая, даже великая, по-своему: несправедливости, притѣсненія онъ вчужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горой. «Какъ?—говорилъ онъ, неистово стуча по собственной головѣ.—Моихъ трогать, моихъ? Да не будь я Чертопановъ...»

Тургеневъ.

И В И Н Ы.

— Володя! Володя! Ивинны!—закричалъ я, увидѣвъ въ окно трехъ мальчиковъ, въ синихъ бекешахъ съ бобровыми воротниками, которые, слѣдуя за молодымъ гувернеромъ-щеголемъ, переходили съ противоположнаго тротуара къ нашему дому.

Ивинны приходились намъ родственниками и были почти однихъ съ нами лѣтъ; вскорѣ послѣ пріѣзда нашего въ Москву мы познакомились и сошлись съ ними.

Второй Ивинъ — Сережа былъ смуглый, курчавый мальчикъ, со вздернутымъ, твердымъ носикомъ, очень свѣжими, красными губами, которыя рѣдко совершенно закрывали немного выдавшійся верхній рядъ бѣлыхъ зубовъ, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойкимъ выраженіемъ лица. Онъ никогда не улыбался, но или смотрѣлъ совершенно серьезно, или отъ души смѣялся своимъ звонкимъ, отчетливымъ и чрезвычайно увлекательнымъ смѣхомъ. Его оригинальная красота поразила меня съ перваго взгляда. Я почувствовалъ къ нему непреодолимое влеченіе. Видѣть его было достаточно для моего счастья; и одно время всѣ силы души моей были сосредоточены въ этомъ желаніи: когда мнѣ случалось провести дня три или четыре, не видавъ его, я начиналъ скучать, и мнѣ становилось грустно до слезъ. Всѣ мечты мои, во снѣ

и наяву, были о немъ: ложась спать, я желалъ, чтобъ онъ мнѣ приснился; закрывая глаза, я видѣлъ его передъ собой и лелѣялъ этотъ призракъ, какъ лучшее наслажденіе. Никому въ мірѣ я не рѣшился бы повѣрить этого чувства, такъ много я дорожилъ имъ. Можетъ-быть, потому, что ему надоѣдало чувствовать безпрестанно устремленными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мнѣ никакой симпатіи, онъ замѣтно больше любилъ играть и говорить съ Володей, чѣмъ со мною; но я все-таки былъ доволенъ, ничего не желалъ, ничего не требовалъ и всѣмъ готовъ былъ для него пожертвовать. Кромѣ страстнаго влеченія, которое онъ внушалъ мнѣ, присутствіе его возбуждало во мнѣ, въ не менѣе сильной степени, другое чувство—страхъ огорчить его, оскорбить чѣмъ-нибудь, не понравиться ему: можетъ-быть, потому, что лицо его имѣло надменное выраженіе, или потому, что, презирая свою наружность, я слишкомъ много цѣнилъ въ другихъ преимущества красоты, или, что вѣрнѣе всего, потому, что это есть непремѣнный признакъ любви, я чувствовалъ къ нему столько же страха, сколько и любви. Въ первый разъ, какъ Сережа заговорилъ со мной, я до того растерялся отъ такого неожиданнаго счастья, что поблѣднѣлъ, покраснѣлъ и ничего не могъ отвѣчать ему. У него была дурная привычка, когда онъ задумывался, останавливать глаза на одной точкѣ и безпрестанно мигать, подергивая при этомъ носомъ и бровями. Всѣ находили, что эта привычка очень портитъ его, но я находилъ ее до того милою, что невольно привыкъ дѣлать то же самое, и чрезъ нѣсколько дней послѣ моего съ нимъ знакомства бабушка спросила: не болятъ ли у меня глаза, что я ими хлопаю, какъ филинъ. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но онъ чувствовалъ свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблялъ ее въ нашихъ дѣтскихъ отношеніяхъ; я же, какъ ни желалъ высказать ему все, что было у меня на душѣ, слишкомъ боялся его, чтобы рѣшиться на откровенность; старался казаться равнодушнымъ и безропотно подчинялся ему. Иногда вліяніе его казалось мнѣ тяжелымъ, неспособнымъ; но выйти изъ-подъ него было не въ моей власти.

Мнѣ грустно вспомнить объ этомъ свѣжемъ, прекрасномъ чувствѣ безкорыстной и безпредѣльной любви, которое такъ и умерло, не излившись и не найдя сочувствія.

Странно, отчего, когда я былъ ребенкомъ, я старался быть похожимъ на большого, а съ тѣхъ поръ, какъ пересталъ быть имъ, часто желалъ быть похожимъ на него. Сколько разъ это желаніе—не быть похожимъ на маленькаго—въ моихъ отношеніяхъ съ Сережей останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемѣрить. Я не только не смѣлъ поцѣловать его, чего мнѣ иногда очень хотѣлось, взять его за руку, сказать, какъ я радъ его видѣть, но не смѣлъ даже называть его Сережа, а непременно Сергѣй: такъ ужъ было заведено у насъ. Каждое выраженіе чувствительности доказывало ребячество и то, что тотъ, кто позволилъ себѣ его, былъ еще *мальчишка*. Не пройдя еще чрезъ тѣ горькія испытанія, которыя доводятъ взрослыхъ до осторожности и холодности въ отношеніяхъ, мы лишали себя чистыхъ наслажденій пѣжной дѣтской привязанности по одному только странному желанію подражать *большимъ*.

Еще въ лакейской встрѣтилъ я Ивиныхъ, поздоровался съ ними и опрометью пустился къ бабушкѣ: я объявилъ ей о томъ, что пріѣхали Ивины, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто это извѣстіе должно было вполне осчастливить

ее. Потомъ, не спуская глазъ съ Сережи, я послѣдовалъ за нимъ въ гостиную и слѣдилъ за всѣми его движеніями. Въ то время, какъ бабушка сказала, что онъ очень выросъ, и устремила на него свои пронизательные глаза, я испытывалъ то чувство страха и надежды, которое долженъ испытывать художникъ, ожидая приговора надъ своимъ произведеніемъ отъ уважаемаго судьи.

Молодой гувернеръ Ивинныхъ Herr Frost, съ позволенія бабушки, сошелъ съ нами въ палисадникъ, сѣлъ на зеленую скамью, живописно сложилъ ноги, поставивъ между ними палку съ бронзовымъ набалдашникомъ, и съ видомъ человека, очень довольнаго своими поступками, закурилъ сигару.

Въ палисадникѣ было очень весело. Игра въ разбойники шла какъ нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не разстроило всего. Сережа былъ разбойникъ: погнавшись за проѣзжающими, онъ споткнулся и на всемъ бѣгу ударился коленомъ о дерево такъ сильно, что я думалъ, онъ расшибется вдребезги. Несмотря на то, что я былъ жандармомъ, и моя обязанность состояла въ томъ, чтобы ловить его, я подошелъ и съ участіемъ сталъ спрашивать, больно ли ему. Сережа разсердился на меня: сжалъ кулаки, топнулъ ногой и голосомъ, который ясно доказывалъ, что онъ очень больно ушибся, закричалъ мнѣ:

— Ну, что это? Послѣ этого игры никакой нѣтъ! Ну, что жъ ты меня не ловишь? Что жъ ты меня не ловишь?—повторялъ онъ нѣсколько разъ, искоса поглядывая на Володю и старшаго Ивина, которые, представляя проѣзжающихъ, припрыгивая, бѣжали по дорожкѣ и вдругъ взвизгнувъ и съ громкимъ смѣхомъ бросились ловить ихъ.

Не могу передать, какъ поразилъ и плѣнилъ меня этотъ геройскій поступокъ: несмотря на страшную боль, онъ не только не заплакалъ, не показалъ и виду, что ему больно, и ни на минуту не забылъ игры.

Вскорѣ послѣ этого, когда къ нашей компаніи присоединился еще Илинъка Грапъ, и мы до обѣда отправились наверхъ, Сережа имѣлъ случай еще болѣе плѣнить и поразить меня своимъ удивительнымъ мужествомъ и твердостью характера.

Илинъка Грапъ былъ сынъ бѣднаго иностранца, который когда-то жилъ у моего дѣда, былъ чѣмъ-то ему обязанъ и почиталъ теперь своимъ непремѣннымъ долгомъ присылать, очень часто, къ намъ своего сына. Если онъ полагалъ, что знакомство съ нами можетъ доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствіе, то онъ совершенно ошибался въ этомъ отношеніи, потому что мы не только не были дружны съ Илинъкой, но обращали на него вниманіе только тогда, когда хотѣли посмѣяться надъ нимъ. Илинъка Грапъ былъ мальчикъ лѣтъ тринадцати, худой, высокій, блѣдный, съ птичьей рожицей и добродушно-покорнымъ выраженіемъ. Онъ былъ очень бѣдно одѣтъ, но зато всегда намаженъ такъ обильно, что мы увѣряли, будто у Грапа въ солнечный день помада таетъ на головѣ и течетъ подъ курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что онъ былъ очень услужливый, тихій и добрый мальчикъ; тогда же онъ мнѣ казался такимъ презрѣннымъ существомъ, о которомъ не стоило ни жалѣть, ни даже думать.

Когда игра въ разбойники прекратилась, мы пошли на верхъ, начали возиться и щеголять другъ передъ другомъ разными гимнастическими штуками. Илинъка съ робкой улыбкой удивленія поглядывалъ на насъ, и когда ему пред-

лагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсѣмъ нѣтъ силы. Сережа былъ удивительно милъ; онъ снялъ курточку—лицо и глаза его разгорѣлись—онъ безпрестанно хохоталъ и затѣивалъ новыя шалости: перепрыгивалъ черезъ три стула, поставленные рядомъ, черезъ всю комнату перекатывался колесомъ, становился кверху ногами на лексиконы Татищева, положенные имъ въ видѣ пьедестала на средину комнаты, и при этомъ выдѣлывалъ ногами такія уморительныя штуки, что невозможно было удержаться отъ смѣха. Послѣ этой послѣдней штуки онъ задумался, помигалъ глазами и вдругъ съ совершенно серьезнымъ лицомъ, подошелъ къ Илинкѣ: «Попробуйте сдѣлать это; право, это не трудно». Грапъ, замѣтивъ, что общее вниманіе обращено на него, покраснѣлъ и чуть слышнымъ голосомъ увѣрялъ, что онъ никакъ не можетъ этого сдѣлать.

— Да что жъ въ самомъ дѣлѣ, отчего онъ ничего не хочетъ показать? Что онъ за дѣвочка... Непремѣнно надо, чтобъ онъ сталъ на голову!

И Сережа взялъ его за руку.

— Непремѣнно, непременно на голову! — закричали мы всѣ, обступивъ Илинку, который въ эту минуту замѣтно испугался и поблѣднѣлъ, схватили его за руку и повлекли къ лексиконамъ.

— Пустите меня, я самъ! Курточку разорвете! — кричала несчастная жертва.

Но эти крики отчаянія еще болѣе воодушевляли насъ; мы помирали со смѣху; зеленая курточка трещала на всѣхъ швахъ.

Володя и старшій Ивинъ нагнули ему голову и поставили его на лексиконы; я и Сережа схватили бѣднаго мальчика за тоненькія ноги, которыми онъ махалъ въ разныя стороны, засучили ему панталоны до колѣнъ и, съ громкимъ смѣхомъ вскинули ихъ кверху; младшій Ивинъ поддерживалъ равновѣсіе всего туловища.

Случилось такъ, что послѣ шумнаго смѣха мы вдругъ всѣ замолчали, и въ комнатѣ стало такъ тихо, что слышно было только тяжелое дыханіе несчастнаго Грапа. Въ эту минуту я не совсѣмъ былъ убѣжденъ, что все это очень смѣшно и весело.

— Вотъ теперь молодецъ! — сказалъ Сережа, хлопнувъ его рукою.

Илинка молчалъ и, стараясь вырваться, кидалъ ногами въ разныя стороны. Однимъ изъ такихъ отчаянныхъ движеній онъ ударилъ каблукомъ по глазу Сережу такъ больно, что Сережа тотчасъ же оставилъ его ноги, схватился за глазъ, изъ котораго потекли невольныя слезы, и изъ всѣхъ силъ толкнулъ Илинку. Илинка, не будучи болѣе поддерживаемъ нами, какъ что-то безжизненное грохнулся на землю и отъ слезъ могъ только выговорить:

— За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бѣднаго Илинки, съ заплаканнымъ лицомъ, взъерошенными волосами и засученными панталонами, изъ-подъ которыхъ видны были печистенныя голенищи, поразила насъ; мы всѣ молчали и старались принужденно улыбаться.

Первый опомнился Сережа.

— Вотъ баба, нюня, — сказалъ онъ, слегка трогая его ногою: — съ нимъ шутить нельзя... Ну, полно, вставайте.

— Я вамъ сказалъ, что ты негодный мальчишка, — злобно выговорилъ Илинъка и, отвернувшись прочь, громко зарыдалъ.

— А-а! Каблуками бить да еще браниться! — закричалъ Сережа, схвативъ въ руки лексиконъ и взмахнувъ надъ головою несчастнаго, который и не думалъ защищаться, а только закрывалъ руками голову.

— Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ!.. Бросимъ его, коли онъ шутокъ не понимаетъ... Пойдемте внизъ, — сказалъ Сережа, неестественно засмѣявшись.

Я съ участіемъ посмотрѣлъ на бѣдняжку, который лежа на полу и спрятавъ лицо въ лексиконахъ, плакалъ такъ, что, казалось, еще немного, и онъ умретъ отъ конвульсій, которыя дергали все его тѣло.

— Э, Сергѣй! — сказалъ я ему: — зачѣмъ ты это сдѣлалъ?

— Вотъ хорошо!.. Я не заплакалъ, надѣюсь, сегодня, какъ разбилъ себѣ ногу почти до кости.

«Да, это правда, — подумалъ я. — Илинъка больше ничего, какъ плакса, а вотъ Сережа — такъ это молодецъ... что это за молодецъ!..»

Я не сообразилъ того, что бѣдняжка плакалъ вѣрно не столько отъ физической боли, сколько отъ той мысли, что пять мальчиковъ, которые, можетъ-быть, нравились ему, безъ всякой причины, всѣ согласились ненавидѣть и гнать его.

Я рѣшительно не могу объяснить себѣ жестокости своего поступка. Какъ я не подошелъ къ нему, не защитилъ и не утѣшилъ его? Куда дѣвалось чувство состраданія, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыдъ при видѣ выброшеннаго изъ гнѣзда галчонка, или щенка, котораго несутъ, чтобы кинуть за заборъ, или курицы, которую несетъ поваренокъ для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мнѣ любовью къ Сережѣ и желаніемъ казаться передъ нимъ такимъ же молодцомъ, какъ и онъ самъ? Незавидныя же были эти любовь и желаніе казаться молодцомъ! Онѣ произвели единственныя темныя пятна на страницахъ моихъ дѣтскихъ воспоминаній.

Л. Толстой.

Мареенка.

Мареевка была свѣжая, бѣлокурая, здоровая, склонная къ полнотѣ дѣвушка, живая и веселая.

Она прилежна, любитъ шить, рисуетъ. Если сядетъ за шитье, то углубится серьезно и молча, долго можетъ просидѣть, сядетъ за фортепiano, непременно проиграетъ все до конца, что предположитъ; книгу прочтетъ всю и долго рассказываетъ о томъ, что читала, если ей понравится. Поетъ, ходитъ за цвѣтами, за птичками, любитъ домашнія заботы, охотница до лакомствъ.

У ней есть шкафикъ, гдѣ всегда спрятанъ изюмъ, черносливъ, конфеты. Она разливаетъ чай, и вообще присматриваетъ за хозяйствомъ.

Она любитъ воздухъ; ей нужды нѣтъ загорѣть: она любитъ, какъ еще лица, зной.

Желанія у ней вращаются въ кругу ея быта: она любитъ, чтобы Святая недѣля была сухая, любитъ святки, сильный морозъ, чтобы сани скрипѣли и за носъ щипало. Любитъ катанье и танцы, толпу, праздники, прїѣздъ гостей и

выѣзды съ визитами — до страсти. Охотница до нарядовъ, украшеній, меленхъ бездѣлокъ на столѣ, на этажеркахъ.

Но несмотря на страсть къ танцамъ, ждетъ съ нетерпѣніемъ лѣта, поры плодовъ, любитъ, чтобы много вишенъ уродилось, и арбузы большіе, и яблоковъ пародилось бы столько, сколько ни у кого въ садахъ.

Мареенку всегда слышно и видно въ домѣ. Она то смѣется, то говоритъ громко. Голосъ у ней пріятный, грудной, звонкій, въ саду слышно, какъ она пѣсенку поетъ наверху; а черезъ минуту слышишь ужъ ея говоръ на другомъ концѣ двора, или раздается смѣхъ по всему саду.

Еще въ дѣтствѣ, бывало, узнаетъ она, что у мужика пала корова или лошадь, она влѣзетъ на колѣни къ бабушкѣ и выпроситъ лошадь и корову. Изба ветха, или строеніе на дворѣ, она попроситъ лѣску.

Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидѣла въ углу, какъ убитая, Мареенка каждый день ходила къ ней и сидѣла часа по два, глядя на нее, и приходила домой съ распухшими отъ слезъ глазами.

Если мужикъ заболѣвалъ трудно, она приласкается къ Ивану Богдановичу, лѣкарю, и сама вскочитъ къ нему на дрожки и повезетъ въ деревню.

То и дѣло проситъ у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. Дѣвкамъ даетъ старыя платья, велитъ держать себя чисто. Къ слѣпому старику носить чего-нибудь лакомаго поѣсть, или дать немного денегъ. Знаетъ всѣхъ бабъ, даже ребятишекъ, по именамъ, послѣднимъ покупаетъ башмаки, шьетъ рубашонки и креститъ почти всѣхъ новорожденныхъ.

Если случится свадьба, Мареенка не знаетъ предѣла щедрости: съ трудомъ ее ограничиваетъ бабушка. Она даетъ бѣлье, обувь, придумаетъ какой-нибудь затѣйливый сарафанъ, истратитъ всѣ свои карманные деньги и долго послѣ того экономничаетъ.

Только пьяницъ, какъ бабушка же, не любила, и однажды даже замахнулась зонтикомъ на мужика, когда онъ, пьяный, хотѣлъ ударить при ней жену.

Когда идетъ по деревнѣ, дѣти отъ нея безъ ума: они, завидя ее, бѣгутъ къ ней толпой, она раздаетъ имъ пряники, орѣхи, инюго приведетъ къ себѣ, умоетъ, возится съ ними.

Всѣ собаки въ деревнѣ знаютъ и любятъ ее; у ней есть любимыя коровы и овцы.

Она никогда не задумывалась, а смотрѣла на все бодро, зорко.

Когда не было никого въ комнатѣ, ей становилось скучно, и она шла туда, гдѣ кто-нибудь есть. Если разговоръ на минуту смолкнетъ, ей ужъ неловко станетъ, она зѣвнетъ и уйдетъ, или сама заговоритъ.

Въ будни она ходила въ простомъ шерстяномъ или холстинковомъ платьѣ, въ простыхъ воротничкахъ, а въ воскресенье непременно нарядится, зимой въ шерстяное или шелковое, лѣтомъ въ кисейное платье, и держитъ себя немного важище, особенно до обѣдни, не сядетъ гдѣ попало, не примется ни за домашнее дѣло, ни за рисованіе, развѣ послѣ обѣдни поиграетъ на фортепіано.

«Счастливое дитя! — думалъ Райскій, любуясь ею. — Проснешься ли ты, или проиграешь и пропоешь жизнь подъ защитой бабушкиной «судьбы»?

— Пойдемъ, Мареенка, гулять, — сказалъ онъ однажды вскорѣ послѣ пріѣзда. — Покажи мнѣ свою комнату и комнату Вѣрочки, потомъ хозяйство, познакомъ съ дворней. Я еще не оглядѣлся.

Онъ ничѣмъ не могъ сдѣлать ей больше удовольствія. Она весело побѣжала впередъ, отворяя ему двери, обращая его вниманіе на каждую мелочь, болтая, прыгая, напѣвая.

Въ ея комнатѣ было все уютно, миниатюрно и весело. Цвѣты на окнахъ, птицы, маленькій кіотъ надъ постелью, множество разныхъ коробочекъ, ларчиковъ, гдѣ напрядано было всякаго добра, лоскутковъ, нитокъ, шелковъ, вышиванья: она славно шила шелкомъ и шерстью по канвѣ.

Въ ящикахъ лежали ладонки, двойные сросшіеся орѣшки, восковые огарочки, въ папкахъ засушено было множество цвѣтовъ, на окнахъ лежали найденные на Волгѣ въ песокъ цвѣтные камешки, раковинки.

Стѣну занималъ большой шкапъ съ платьями—и все въ порядкѣ, все чисто прибрано, уложено, завѣшено. Постель была маленькая, но заваленная подушками, съ узорчатымъ шелковымъ на ватѣ одѣяломъ, обшитымъ кисейной бахромой.

По стѣнамъ висѣли англійскія и французскія гравюры, взятые изъ стараго дома и изображающія семейныя сцены: то старика, уснувшаго у камина, и старушку, читающую библію, то мать и вучу дѣтей около стола, то снимки съ Теньеровскихъ картинъ, наконецъ голову собаки и множество вырѣзанныхъ изъ книжекъ картинъ, съ животными, даже нѣсколько картинокъ модъ.

Она отворила шкапъ, оттуда пахнуло запахомъ сластей.

— Не хотите ли миндалю? — спросила она.

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, изюму? Это кишмишъ, мелкій, сладкій такой.

Она разгрызла орѣхъ и взяла въ ротъ двѣ изюминки.

— Пойдемъ въ комнату Вѣры: я хочу видѣть! — сказалъ Райскій.

Мареенка съ братомъ поднялись на лѣстницу, прошли большую переднюю, коридоръ, вошли во второй этажъ и остановились у двери комнаты Вѣры.

Райскій уже нарисовалъ себѣ мысленно эту комнату: представилъ себѣ мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не такъ, какъ у Мареенки, а иначе.

Онъ съ любопытствомъ переступилъ порогъ, оглядѣлъ комнату и — обманулся въ ожиданіи; тамъ ничего не было!

Простая кровать съ большимъ занавѣсомъ, тонкое бумажное одѣяло и одна подушка. Потомъ диванъ, коверъ на полу, круглый столъ передъ диваномъ, другой маленький письменный у окна, покрытый клеенкой, на которомъ однакоже не было признаковъ письма, небольшое старинное зеркало и простой шкапъ съ платьями.

И все тутъ. Ни гравюры, ни книги, никакой мелочи, почему бы можно было узнать вкусъ и склонности хозяйки.

Гончаровъ.





Первый чинъ. Съ карт. *Петрова.*

4. Чиновники и разночинцы.

Р е в и з о р ъ.

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
(Народная пословица).

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій, городничій.

Анна Андреевна, жена его.

Марья Антоновна, дочь его.

Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ.

Жена его.

Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья.

Артемиѣ Филипповичъ Земляника, попечитель богоугодныхъ заведеній.

Иванъ Кузьмичъ Шпекинъ, почтмейстеръ.

Петръ Ивановичъ Добчинскій } городскіе помѣщики.

Петръ Ивановичъ Бобчинскій }

Христіанъ Ивановичъ Гибнеръ, уѣздный лѣкарь.

Степанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приставъ.

Свистуновъ }

Пуговицынъ } полицейскіе.

Держиморда }

Характеры и костюмы.

Замѣчанія для господъ актеровъ.

Городничій, уже постарѣвшій на службѣ и очень не глупый, по-своему, человѣкъ. Хотя и взяточникъ, но ведетъ себя очень солидно: довольно серьезень, нѣсколько даже резонеръ; говоритъ ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, какъ у всякаго, начавшаго тяжелую службу съ низшихъ чиновъ. Переходъ отъ страха къ радости, отъ низости къ высокомерию довольно быстръ, какъ у человѣка съ грубо-развитыми склонностями души. Онъ одѣтъ, по обыкновенію, въ своемъ мундирѣ съ петлицами и въ ботфортахъ со шпорами. Волоса на немъ стриженные, съ просѣдью.

Анна Андреевна, жена его, провинціальная кокетка, еще не совсѣмъ пожилыхъ лѣтъ, воспитанная вполнину на романахъ и альбомахъ, вполнину на хлопотахъ въ своей кладовой и дѣвичьей. Очень любопытна и при случаѣ выказываетъ тщеславіе. Беретъ иногда власть надъ мужемъ потому только, что тотъ не находится, что отвѣчать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоитъ въ выговорахъ и насмѣшкахъ. Она четыре раза переодѣвается въ разные платья въ продолженіе пьесы.

Бобчинскій и Добчинскій, оба низенькіе, коротенькіе, очень любопытные; чрезвычайно похожи другъ на друга; оба съ небольшими брюшками, оба говорятъ скороговоркою и чрезвычайно много помогаютъ жестами и руками. Добчинскій немножко выше и серьезнѣе Бобчинскаго, но Бобчинскій развязнѣе и живѣе Добчинскаго.

Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья, человѣкъ, прочитавшій пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ. Охотникъ большой на догадки, и потому каждому слову своему даетъ вѣсъ. Представляющій его долженъ всегда сохранять въ своемъ лицѣ значительную мину. Говоритъ басомъ съ продолговатой растяжкой, хрипомъ и сапомъ, какъ старинные часы, которые прежде шипятъ, а потомъ уже бьютъ.

Земляника, попечитель богоугодныхъ заведеній, очень толстый, неповоротливый и неуклюжій человѣкъ, но при всемъ томъ проныра и плутъ. Очень услужливъ и суетливъ.

Почтмейстеръ, простодушный до наивности человѣкъ.

Прочія роли не требуютъ особыхъ изъясненій: оригиналы ихъ всегда почти находятся передъ глазами.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Комната въ домѣ городничаго.

ЯВЛЕНІЕ I.

Городничій, попечитель богоугодныхъ заведеній, смотритель училищъ, судья, частный приставъ, лжкаръ, два квартальныхъ.

Городничій. Я пригласилъ васъ, господа, съ тѣмъ, чтобы сообщить вамъ пренепріятное извѣстіе: къ намъ ѣдетъ ревизоръ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. Какъ, ревизоръ?

Артемій Филипповичъ. Какъ, ревизоръ?

Городничій. Ревизоръ изъ Петербурга, никогда. И еще съ секретнымъ предписаньемъ.

Аммось Федоровичъ. Вотъ-те на!

Артемій Филипповичъ. Вотъ не было заботы, такъ подай!

Лука Лукичъ. Господи Боже! еще и съ секретнымъ предписаньемъ!

Городничій. Я какъ будто предчувствовалъ: сегодня мнѣ всю ночь спились какія-то двѣ необыкновенныя крысы. Право, такихъ я никогда не видывалъ: черныя, неестественной величины! пришли, полюхали — и пошли прочь. Вотъ я вамъ прочту письмо, которое получилъ я отъ Андрея Ивановича Чмыхова, котораго вы, Артемій Филипповичъ, знаете. Вотъ что онъ пишетъ: «Любезный другъ, кумъ и благодѣтель» (*бормочетъ вполголоса, пробывая скоро глазами*)... «и увѣдомить тебя». А! вотъ: «спѣшу, между прочимъ, увѣдомить тебя, что пріѣхалъ чиновникъ съ предписаніемъ осмотрѣть всю губернію и особенно нашъ уѣздъ (*значительно поднимаетъ палецъ вверхъ*). Я узналъ это отъ самыхъ достовѣрныхъ людей, хотя онъ представляетъ себя частнымъ лицомъ. Такъ какъ я знаю, что за тобою, какъ за всякимъ, водятся грѣшки, потому что ты человекъ умный и не любишь пропускать того, что плыветъ въ руки...» (*остановясь*) ну, здѣсь свон... «то совѣтую тебѣ взять предосторожность: ибо онъ можетъ пріѣхать во всякій часъ, если только уже не пріѣхалъ и не живетъ гдѣ-нибудь инкогнито... Вчерашняго дня я...» Ну, тутъ ужъ пошли дѣла семейныя: «сестра Анна Кирилловна пріѣхала къ намъ съ своимъ мужемъ; Иванъ Кирилловичъ очень потолстѣлъ и все играетъ на скрипкѣ...» и прочее, и прочее. Такъ вотъ какое обстоятельство?

Аммось Федоровичъ. Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь не даромъ.

Лука Лукичъ. Зачѣмъ же, Антонъ Антоновичъ, отчего это? Зачѣмъ къ намъ ревизоръ?

Городничій. Зачѣмъ! Такъ ужъ, видно, судьба! (*Вздохнувъ.*) До сихъ поръ, благодареніе Богу, подбирались къ другимъ городамъ; теперь пришла очередь къ нашему.

Аммось Федоровичъ. Я думаю, Антонъ Антоновичъ, что здѣсь тонкая и больше политическая причина. Это значитъ вотъ что: Россія... да... хочетъ вести войну, и министерія-то, вотъ видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, пѣтъ ли гдѣ измѣны.

Городничій. Экъ куда хватили! Еще умный человекъ! Въ уѣздномъ городѣ измѣна! Что онъ, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не дойдешь.

Аммось Федоровичъ. Итъ, я вамъ скажу, вы не того... вы не... Начальство имѣетъ тонкіе виды: даромъ, что далеко, а оно себѣ мотаетъ на усь.

Городничій. Мотаетъ или не мотаетъ, а я васъ, господа, предупредилъ. Смотрите, по своей части я кое-какія распоряженія сдѣлалъ, совѣтую и вамъ. Особенно вамъ, Артемій Филипповичъ! Безъ сомнѣнія, проѣзжающій чиновникъ захочетъ прежде всего осмотрѣть подвѣдомственные вамъ богоугодныя заведенія — и потому вы сдѣлайте такъ, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецовъ, какъ обыкновенно они ходятъ по-домашнему.

Артемій Филипповичъ. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надѣть и чистые.

Городничій. Да. И тоже надъ каждой кроватью надписать по-латыни или на другомъ какомъ языкѣ... это ужъ по вашей части, Христіанъ Ивановичъ, всякую болѣзнь: когда кто заболѣлъ, котораго дня и числа... Нехорошо, что у васъ больные такой крѣпкій табакъ курятъ, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бъ ихъ было меньше: тотчасъ отнесутъ къ дурному смотрѣнію или къ неискусству врача.

Артемій Филипповичъ. О! насчетъ врачеванья мы съ Христіаномъ Ивановичемъ взяли свои мѣры: чѣмъ ближе къ натурѣ, тѣмъ лучше—лѣкарствъ дорогихъ мы не употребляемъ. Человѣкъ простой: если умретъ, то и такъ умретъ; если выздоровѣетъ, то и такъ выздоровѣетъ. Да и Христіану Ивановичу затруднительно было бъ съ ними изъясняться: онъ по-русски ни слова не знаетъ.

Христіанъ Ивановичъ *издаетъ звукъ, отчасти похожій на букву и и несколько на е.*

Городничій. Вамъ тоже посоветовалъ бы, Аммосъ Ѳедоровичъ, обратить вниманіе на присутственныя мѣста. У васъ тамъ въ передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашнихъ гусей съ маленькими гусенками, которые такъ и шныряютъ подъ ногами. Оно, конечно, домашнимъ хозяйствомъ заводится всякому похвально, и почему жъ сторожу и не завести его? только, знаете, въ такомъ мѣстѣ неприлично... Я и прежде хотѣлъ вамъ это замѣтить, но все какъ-то позабывалъ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. А вотъ я ихъ сегодня же велю всѣхъ забрать на кухню. Хотите — приходите обѣдать.

Городничій. Кромѣ того, дурно, что у васъ высушивается въ самомъ присутствіи всякая дрянь, и надъ самымъ шкафомъ съ бумагами охотничій арапникъ. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а тамъ, какъ пройдетъ ревизоръ, пожалуй, опять его можете повѣсить. Также засѣдатель вашъ... онъ, конечно, человѣкъ свѣдущій, но отъ него такой запахъ, какъ будто бы онъ сейчасъ вышелъ изъ винокуренного завода, — это тоже нехорошо. Я хотѣлъ давно объ этомъ сказать вамъ, но былъ, не помню, чѣмъ-то развлеченъ. Есть противъ этого средства, если уже это дѣйствительно, какъ онъ говоритъ, у него природный запахъ: можно ему посоветовать ѣсть лукъ, или чеснокъ, или что-нибудь другое. Въ этомъ случаѣ можетъ помочь разными медикаментами Христіанъ Ивановичъ.

Христіанъ Ивановичъ *издаетъ тотъ же звукъ.*

Аммосъ Ѳедоровичъ. Нѣтъ, этого уже невозможно выпнать: онъ говоритъ, что въ дѣтствѣ мамка его ушибла, и съ тѣхъ поръ отъ него отдастъ немного водкою.

Городничій. Да я такъ только замѣтилъ вамъ. Насчетъ же внутренняго распоряженія и того, что называетъ въ письмѣ Андрей Ивановичъ грѣшками, я ничего не могу сказать. Да и странно говоритъ: нѣтъ человѣка, который бы за собою не имѣлъ какихъ-нибудь грѣховъ. Это уже такъ самимъ Богомъ устроено, и волтеріанцы напрасно противъ этого говорятъ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. Что жъ вы полагаете, Антонъ Антоновичъ, грѣшками? Грѣшки грѣшкамъ—рознь. Я говорю всѣмъ открыто, что беру взятки, но чѣмъ взятки? Борзыми щенками. Это совсѣмъ иное дѣло.

Городничій. Ну, щенками или чѣмъ другимъ—все взяты.

Аммось Ѳедоровичъ. Ну, пѣтъ, Антонъ Антоновичъ. А вотъ, напри-
мѣръ, если у кого-нибудь шуба стоитъ пятьсотъ рублей, да супругѣ шаль...

Городничій. Ну, а что изъ того, что вы берете взятки борзыми щен-
ками? Зато вы въ Бога не вѣруете; вы въ церковь никогда не ходите; а я, по
крайней мѣрѣ, въ вѣрѣ твердъ и каждое воскресенье бываю въ церкви. А вы...
О, я знаю васъ: вы если начнете говорить о сотвореніи міра, просто волосы
дыбомъ поднимаются.

Аммось Ѳедоровичъ. Да вѣдь самъ собою дошелъ, собственнымъ
умомъ.

Городничій. Ну, въ иномъ случаѣ много ума хуже, чѣмъ бы его со-
вѣтъ не было. Впрочемъ, я такъ только упомянулъ объ уѣздномъ судѣ; а по
правдѣ сказать, врядъ ли кто когда-нибудь заглянетъ туда: это ужъ такое за-
видное мѣсто, самъ Богъ ему покровительствуетъ. А вотъ вамъ, Лука Лукичъ,
такъ, какъ смотрителю учебныхъ заведеній, нужно позаботиться, особенно на-
счетъ учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались въ разныхъ кол-
легіяхъ, но имѣютъ очень странные поступки, натурально, неразлучные съ уче-
нымъ званіемъ. Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, вотъ этотъ, что имѣетъ толстое
лицо... не вспомню его фамиліи, никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы,
взошедши на кафедру, не сдѣлать гримасу, вотъ этакъ (*дѣлаетъ гримасу*), и
потомъ начать рукою изъ-подъ галстука утюжить свою бороду. Конечно, если
онъ ученику сдѣлаетъ такую рожу, то оно еще ничего: можетъ-быть, оно тамъ
и нужно такъ, объ этомъ я не могу судить; но вы посудите сами, если онъ
сдѣлаетъ это посѣтителю—это можетъ быть очень худо: господинъ ревизоръ
или другой кто можетъ принять это на свой счетъ. Изъ этого, чортъ знаетъ,
что можетъ произойти.

Лука Лукичъ. Что жъ мнѣ, право, съ нимъ дѣлать? Я ужъ нѣсколько
разъ ему говорилъ. Вотъ еще на-дняхъ, когда зашелъ было въ классъ нашъ
предводитель, онъ скривилъ такую рожу, какой я никогда еще не видывалъ.
Онъ-то ее сдѣлалъ отъ добраго сердца, а мнѣ выговоръ: зачѣмъ вольнодумныя
мысли внушаются юношеству.

Городничій. То же я долженъ вамъ замѣтить и объ учителѣ по исто-
рической части. Онъ ученая голова—это видно, и свѣдѣній нахваталъ тьму, но
только объясняетъ съ такимъ жаромъ, что не помнить себя. Я разъ слушалъ
его: ну, покаместъ говорилъ объ ассиріянахъ и вавилонянахъ—еще ничего, а
какъ добрался до Александра Македонскаго, то я не могу вамъ сказать, что съ
нимъ сдѣлалось. Я думалъ, что пожаръ, ей Богу! Сбѣжалъ съ кафедры и, что
силы есть, хватъ стуломъ объ полъ! Оно, конечно, Александръ Македонскій ге-
рой, но зачѣмъ же стулья ломать? отъ этого убытокъ казнѣ.

Лука Лукичъ. Да, онъ горячъ! Я ему это нѣсколько разъ уже замѣ-
чалъ... Говоритъ: «Какъ хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничій. Да, таковъ уже неизъяснимый законъ судебъ: умный
человѣкъ—или пьяница, или рожу такую состроить, что хоть святыхъ
выноси.

Лука Лукичъ. Не приведи Богъ служить по ученой части! Всего бо-
ишья: всякій мѣшается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный че-
ловѣкъ.

Городничій. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянетъ: «А, вы здѣсь, голубчики! А кто, — скажетъ, — здѣсь судья?» — «Ляпкинъ-Тяпкинъ». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вотъ что худо!

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. Объясните, господа, что, какой чпповникъ ѣдетъ?

Городничій. А вы развѣ не слышали?

Почтмейстеръ. Слышалъ отъ Петра Ивановича Бобчинскаго. Онъ только что былъ у меня въ почтовой конторѣ.

Городничій. Ну, что? какъ вы думаете объ этомъ?

Почтмейстеръ. А что думаю? — война съ турками будетъ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. Въ одно слово! я самъ то же думалъ.

Городничій. Да, оба пальцемъ въ небо попали!

Почтмейстеръ. Право, война съ турками. Это все французъ гадитъ.

Городничій. Какая война съ турками! Просто, намъ плохо будетъ, а не туркамъ. Это уже извѣстно: у меня письмо.

Почтмейстеръ. А если такъ, то не будетъ войны съ турками.

Городничій. Ну, что же, какъ вы Иванъ Кузьмичъ?

Почтмейстеръ. Да что я? Какъ вы, Антонъ Антоновичъ?

Городничій. Да что я? Страху-то нѣтъ, а такъ, немножко... Купечество да гражданство меня смущаетъ. Говорятъ, что я имъ солоно пришелся; а я, вотъ ей Богу, если и взялъ съ иного, то, право, безъ всякой ненависти. Я даже думаю (*беретъ его подъ руку и отводитъ въ сторону*), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачѣмъ же въ самомъ дѣлѣ къ намъ ревизоръ? Послушайте, Иванъ Кузьмичъ, нельзя ли вамъ, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибываетъ къ вамъ въ почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этакъ немножко распечатать и прочитать: не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія или, просто, переписки. Если же нѣтъ, то можно опять запечатать; впрочемъ, можно даже и такъ отдать письмо распечатанное.

Почтмейстеръ. Знаю, знаю... Этому не учите, это я дѣлаю не то, чтобъ изъ предосторожности, а больше изъ любопытства: смерть люблю узнать, что есть новаго на свѣтѣ. Я вамъ скажу, что это преннтересное чтеніе. Иное письмо съ наслажденіемъ прочтешь — такъ описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше чѣмъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ!»

Городничій. Ну, что жъ, скажите, ничего не начитывали о какомъ-нибудь чиновникѣ изъ Петербурга?

Почтмейстеръ. Нѣтъ, о петербургскомъ ничего нѣтъ, а о костромскихъ и саратовскихъ много говорится. Жаль, однакожъ, что вы не читаете писемъ: есть прекрасныя мѣста. Вотъ недавно: одинъ поручикъ пишетъ къ пріятелю, и описать балъ въ самомъ игривомъ... очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый другъ, течетъ, — говоритъ, — въ эмпиреяхъ: барышень много, музыка играетъ, штандартъ скачетъ...» съ большимъ, большимъ чувствомъ описалъ. Я нарочно оставилъ его у себя. Хотите, прочту?

Городничій. Ну, теперь не до того. Такъ сдѣлайте милость, Иванъ Кузьмичъ: если на случай попадется жалоба или донесеніе, то, безъ всякихъ разсужденій, задерживайте.

Почтмейстеръ. Съ большимъ удовольствіемъ.

Аммось Ѳедоровичъ. Смотрите, достанется вамъ когда-нибудь за это.

Почтмейстеръ. Ахъ, батюшки!

Городничій. Ничего, ничего. Другое дѣло, если бъ вы изъ этого публичное что-нибудь сдѣлали, но вѣдь это дѣло семейственное.

Аммось Ѳедоровичъ. Да, нехорошее дѣло заварилось! А я, признаюсь, шелъ было къ вамъ, Антонъ Антоновичъ, съ тѣмъ, чтобы попотчевать васъ собачонкою. Родная сестра тому кобелю, котораго вы знаете. Вѣдь вы слышали, что Чептовичъ съ Варховинскимъ затѣяли тяжбу, и теперь мнѣ роскошь: травлю зайцевъ на земляхъ и у того, и у другого.

Городничій. Батюшки, не мила мнѣ теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидитъ въ головѣ. Такъ и ждешь, что вотъ откроется дверь — и шашть...

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же, Добчинскій и Бобчинскій (оба входятъ запыхавшись).

Бобчинскій. Чрезвычайное происшествіе!

Добчинскій. Неожиданное извѣстіе!

Всѣ. Что, что такое?

Добчинскій. Непредвидѣнное дѣло: приходимъ въ гостиницу...

Бобчинскій (*перебивая*). Приходимъ съ Петромъ Ивановичемъ въ гостиницу...

Добчинскій (*перебивая*). Э, позвольте, Петръ Ивановичъ, я расскажу.

Бобчинскій. Э, нѣтъ, позвольте ужъ я... позвольте, позвольте... вы ужъ и слога такого не имѣете...

Добчинскій. А вы сообразитесь и не припомните всего.

Бобчинскій. Припомню, ей Богу, припомню. Ужъ не мѣшайте, пусть я расскажу, не мѣшайте! Скажите, господа, сдѣлайте милость, чтобъ Петръ Ивановичъ не мѣшалъ.

Городничій. Да говорите, ради Бога, что такое? У меня сердце не на мѣстѣ. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петръ Ивановичъ, вотъ вамъ стулъ. (*Всѣ усаживаются вокругъ обоихъ Петровъ Ивановичей.*) Ну, что, что такое?

Бобчинскій. Позвольте, позвольте; я все по порядку. Какъ только имѣлъ я удовольствіе выйти отъ васъ послѣ того, какъ вы изволили смутиться полученнымъ письмомъ, да-съ — такъ я тогда же забѣжалъ... ужъ, пожалуйста, не перебивайте, Петръ Ивановичъ! Я уже все, все, все знаю-съ. Такъ я, вотъ изволите видѣть, забѣжалъ къ Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотилъ къ Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашелъ вотъ къ Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встрѣтился съ Петромъ Ивановичемъ...

Добчинскій (*перебивая*). Возлѣ будки, гдѣ продаются пироги.

Бобчинскій. Возлѣ будки, гдѣ продаются пироги. Да, встрѣтившись съ Петромъ Ивановичемъ, и говорю ему: слышали ли вы о новости-то, которую

получилъ Антонъ Антоновичъ изъ достовѣрнаго письма? А Петръ Ивановичъ ужь услыхали объ этомъ отъ ключницы вашей, Авдотьи, которая, не знаю за чѣмъ-то, была послана къ Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинскій (*перебивая*). За боченкомъ для французской водки.

Бобчинскій (*отводя его руки*). За боченкомъ для французской водки. Вотъ мы пошли съ Петромъ-то Ивановичемъ къ Почечуеву... Ужъ вы, Петръ Ивановичъ... этого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли къ Почечуеву, да на дорогѣ Петръ Ивановичъ говоритъ: «Зайдемъ, говорить, въ трактиръ. Въ желудкѣ-то у меня... съ утра я ничего не ѣлъ, такъ желудочное трясеніе...» да-съ въ желудкѣ-то у Петра Ивановича... «А въ трактиръ, говорить, привезли теперь свѣжей семги, такъ мы закусимъ». Только что мы въ гостиницу, какъ вдругъ молодой человѣкъ...

Добчинскій (*перебивая*). Недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ...

Бобчинскій. Недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ, ходитъ этакъ по комнатамъ, и въ лицѣ этокое разсужденіе... фizioномія... поступки, и здѣсь (*вертитъ рукою около лба*) много, много всего. Я будто предчувствовалъ и говорю Петру Ивановичу: «Здѣсь что-нибудь неспроста-съ». Да. А Петръ-то Ивановичъ ужь мигнулъ пальцемъ и подозвали трактирщика-съ, — трактирщика Власа: у него жена три недѣли назадъ тому родила, и такой пребойкій мальчикъ, будетъ такъ же, какъ и отецъ, содержать трактиръ. Подозвавши Власа, Петръ Ивановичъ и спроси его потихоньку: «Кто, говорить, этотъ молодой человѣкъ?» а Власъ и отвѣчаетъ на это: «Это», говорить... — Э, не перебивайте, Петръ Ивановичъ, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей Богу, не расскажете: вы пришепетываете, у васъ, я знаю, одинъ зубъ во рту со свистомъ... «Это, говорить, молодой человѣкъ, чиновникъ», да-съ, «ѣдущій изъ Петербурга, а по фамиліи, говорить, Иванъ Александровичъ Хлестковъ-съ, а ѣдетъ, говорить, въ Саратовскую губернію и, говорить, престранно себя аттестуетъ: другую ужь недѣлю живетъ, изъ трактира не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и ни копейки не хочетъ платить». Какъ сказалъ онъ мнѣ это, а меня тутъ вотъ свѣше и вразумило. «Э!» говорю я Петру Ивановичу...

Добчинскій. Нѣтъ, Петръ Ивановичъ, это я сказалъ «э!»

Бобчинскій. Сначала вы сказали, а потомъ и я сказалъ. «Э!» сказали мы съ Петромъ Ивановичемъ. «А съ какой стати сидѣтъ ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ въ Саратовскую губернію?» — Да-съ. А вотъ онъ-то и есть этотъ чиновникъ.

Городничій. Кто, какой чиновникъ?

Бобчинскій. Чиновникъ-та, о которомъ изволили получить нотіцію, — ревизоръ.

Городничій (*въ страхѣ*). Что вы, Господь съ вами! это не онъ.

Добчинскій. Онъ! и денегъ не платитъ, и не ѣдетъ. Кому же бѣ быть, какъ не ему? И подорожная прописана въ Саратовъ.

Бобчинскій. Онъ, онъ, ей Богу, онъ... Такой наблюдательный: все осмотрѣлъ. Увидѣлъ, что мы съ Петромъ-то Ивановичемъ ѣли семгу, — больше потому, что Петръ Ивановичъ насчетъ своего желудка... да, такъ онъ и въ тарелки заглянулъ. Меня такъ и пропало страхомъ.

Городничій. Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ! Гдѣ же онъ тамъ живеть?

Добчинскій. Въ пятомъ номерѣ, подъ лѣстницей.

Бобчинскій. Въ томъ самомъ номерѣ, гдѣ прошлаго года подрались проѣзжіе офицеры.

Городничій. И давно онъ здѣсь?

Добчинскій. А недѣли двѣ ужъ. Приѣхалъ на Василя Египтянина.

Городничій. Двѣ недѣли! (*Въ сторону.*) Батюшки, сватушки! Выносите, святыя угодники! Въ эти двѣ недѣли высѣчена унтеръ-офицерская жена! Арестантамъ не выдавали провизіи! На улицахъ кабакъ, нечистота! Позоръ! поношенье! (*Хватается за голову.*)

Артемій Филипповичъ. Что жъ, Антонъ Антоновичъ?—ѣхать парадомъ въ гостиницу.

Аммось Ѳедоровичъ. Нѣтъ, нѣтъ! Впередъ пустить голову, духовенство, купечество; вотъ и въ книгѣ «Дѣянія Іоанна Масона»...

Городничій. Нѣтъ, нѣтъ; позвольте ужъ мнѣ самому. Бывали трудные случаи въ жизни, сходилили, еще даже и спасибо получалъ. Авось, Богъ вынесетъ и теперь. (*Обращаясь къ Бобчинскому.*) Вы говорите, онъ молодой человѣкъ?

Бобчинскій. Молодой, лѣтъ двадцати трехъ или четырехъ съ небольшимъ.

Городничій. Тѣмъ лучше: молодого скорѣе пронюхаетъ. Бѣда, если старый чортъ; а молодой—весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь самъ, или, вотъ хоть съ Петромъ Ивановичемъ, приватно, для прогулки, навѣдаться, не терпятъ ли проѣзжающіе непріятностей. Эй, Свистуновъ!

Свистуновъ. Что угодно?

Городничій. Ступай сейчасъ за частнымъ приставомъ; или нѣтъ, ты мнѣ нуженъ. Скажи тамъ кому-нибудь, чтобы какъ можно поскорѣе ко мнѣ частного пристава, и приходи сюда. (*Квартальный бѣжитъ впопыхахъ.*)

Артемій Филипповичъ. Идемъ, идемъ, Аммосъ Ѳедоровичъ! Въ самомъ дѣлѣ можетъ случиться бѣда

Аммосъ Ѳедоровичъ. Да вамъ чего бояться? Колпаки чистые надѣлъ на больныхъ, да и концы въ воду.

Артемій Филипповичъ. Какое колпаки! Больнымъ велѣно габержъ супъ давать, а у меня по всѣмъ коридорамъ несетъ такая капуста, что береги только носъ.

Аммосъ Ѳедоровичъ. А я на этотъ счетъ покоенъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто зайдетъ въ уѣздный судъ? А если и заглянетъ въ какую-нибудь бумагу, такъ жизни не будетъ радъ. Я вотъ ужъ пятнадцать лѣтъ сижу на судейскомъ стулѣ, а какъ загляну въ докладную записку—а! только рукой махну. Самъ Соломонъ не разрѣшитъ, что въ ней правда, и что неправда. (*Судья, попечитель богоугодныхъ заведеній, смотритель училищъ и почтмейстеръ уходятъ и въ дверяхъ сталкиваются съ возвращающимся квартальнымъ.*)

ЯВЛЕНИЕ IV.

Городничій, Бобчинскій, Добчинскій и квартальный.

Городничій. Что, дрожки тамъ стоятъ?

Квартальный. Стоятъ.

Городничій. Ступай на улицу... или, нѣтъ, постой! Ступай, принеси... Да другіе-то гдѣ? неужели ты только одинъ? Вѣдь я приказывалъ, чтобы и Прохоровъ былъ здѣсь. Гдѣ Прохоровъ?

Квартальный. Прохоровъ въ частномъ домѣ, да только къ дѣлу не можетъ быть употребленъ.

Городничій. Какъ такъ?

Квартальный. Да такъ: привезли его поутру мертвеца. Вотъ уже два ушата воды вылили, до сихъ поръ не протрезвился.

Городничій (*хватаясь за голову*). Ахъ, Боже мой, Боже мой! Ступай скорѣе на улицу, или нѣтъ—бѣги прежде въ комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петръ Ивановичъ, поѣдемъ!

Бобчинскій. И я, и я... позвольте и мнѣ, Антонъ Антоновичъ!

Городничій. Нѣтъ, нѣтъ, Петръ Ивановичъ, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожкахъ не помѣстимся.

Бобчинскій. Ничего, ничего, я такъ: пѣтушкомъ, пѣтушкомъ побѣгу за дрожками. Мнѣ бы только немножко въ щелочку-та, въ дверь этакъ посмотреть, какъ у него эти поступки...

Городничій (*принимая шпагу, изъ квартальному*). Бѣги сейчасъ, возьми десятскихъ, да пусть каждый изъ нихъ возьметъ... Экъ шпага какъ исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулинъ—видитъ, что у городничаго старая шпага, не прислалъ новой. О, лукавый народъ! А такъ, мошенники, я думаю, тамъ ужъ просьбы изъ-подъ полы и готовятъ. Пусть каждый возьметъ въ руки по улицѣ... чортъ возьми, по улицѣ—по метѣ! и вывели бы всю улицу, что идетъ къ трактиру, и вывели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты тамъ кумаешься, да крадешь въ ботфорты серебряныя ложечки, — смотри, у меня ухо остро!.. Что ты сдѣлалъ съ купцомъ Черныаевымъ? А? Онъ тебѣ на мундиръ далъ два аршина сукна, а ты стянулъ всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

ЯВЛЕНИЕ V.

Тѣ же и частный приставъ.

Городничій. А, Степанъ Ильичъ! Скажите ради Бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный приставъ. Я былъ тутъ сейчасъ за воротами.

Городничій. Ну, слушайте же, Степанъ Ильичъ! Чиновникъ-то изъ Петербурга пріѣхалъ. Какъ вы тамъ распорядились?

Частный приставъ. Да такъ, какъ вы приказывали. Квартальнаго Пуговицына я послалъ съ десятскими подчищать тротуаръ.

Городничій. А Держиморда гдѣ?

Частный приставъ. Держиморда поѣхалъ на пожарной трубѣ.

Городничій. А Прохоровъ пьянъ?

Частный приставъ. Пьянъ.

Городничій. Какъ же вы это такъ допустили?

Частный приставъ. Да Богъ его знаетъ. Вчерашняго дня случилась за городомъ драка — поѣхалъ туда для порядка, а возвратился пьянъ.

Городничій. Послушайте жъ, вы сдѣлайте вотъ что: кварталный Пуговицынъ... онъ высокаго роста, такъ пусть стоитъ, для благоустройства, на мосту. Да разметать наскоро старый заборъ, что возлѣ сапожника, и поставить соломенную вѣху, чтобы было похоже на планировку. Оно, чѣмъ больше ломки, тѣмъ больше означаетъ дѣятельности градоправителя. Ахъ, Боже мой! я и позабылъ, что возлѣ того забора навалено на сорокъ телѣгъ всякаго сору. Что это за скверный городъ! только гдѣ-нибудь поставь какой-нибудь памятникъ или, просто, заборъ—чортъ ихъ знаетъ откуда и панесутъ всякой дряни! (*Вздыхаетъ*). Да если пріѣзжій чиновникъ будетъ спрашивать службу: довольны ли?— чтобы говорили: «Всѣмъ довольны, ваше благородіе»; а который будетъ недоволенъ, то ему послѣ дамъ такого неудовольствія... О, охъ, хо, хо, хъ! грѣшенъ, во многомъ грѣшенъ. (*Беретъ вмѣсто шляпы футляръ*.) Дай только, Боже, чтобы сошло съ рукъ поскорѣе, а тамъ-то я поставлю ужъ такую свѣчу, какой еще никто не ставилъ: на каждую бестію купца наложу доставить по три пуда воску. О, Боже мой, Боже мой! ъдемъ, Петръ Ивановичъ! (*Вмѣсто шляпы хочетъ надѣть бумажный футляръ*).

Частный приставъ. Антонъ Антоновичъ, это коробка, а не шляпа.

Городничій (*бросая коробку*). Коробка, такъ коробка. Чортъ съ ней! Да если спросятъ: отчего не выстроена церковь при богоугодномъ заведеніи, на которую, назадъ тому пять лѣтъ, была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорѣла. Я объ этомъ и рапортъ представлялъ. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажетъ, что она и не начиналась. Да сказать Держимордѣ, чтобы не слишкомъ давалъ воли кулакамъ своимъ; онъ, для порядка, всѣмъ ставитъ фонари подъ глазами — и правому, и виноватому. ъдемъ, ъдемъ, Петръ Ивановичъ! (*Уходитъ и возвращается*.) Да не выпускать солдатъ на улицу безо всего: эта дрянная гарнизона надѣнетъ только сверхъ рубашки мундиръ, а внизу ничего нѣтъ. (*Всѣ уходятъ*.)

ЯВЛЕНІЕ VI.

Анна Андреевна и Марья Антоновна входятъ на сцену.

Анна Андреевна. Гдѣ жъ, гдѣ жъ они? Ахъ, Боже мой! (*Отворяя дверь*.) Мужъ! Антоша! Антонъ! (*Говоритъ скоро*). А все ты, а все за тобой. И пошла конаться: «Я булабочку, я косынку». (*Подбѣгаетъ къ окну и кричитъ*.) Антонъ, куда, куда? Что, пріѣхалъ? ревизоръ? съ усамп! съ какими усамп?

Голосъ городничаго. Послѣ, послѣ, матушка!

Анна Андреевна. Послѣ? Вотъ новости, послѣ! Я не хочу послѣ.. Мнѣ только одно слово: что онъ, полковникъ? А? (*Съ пренебреженіемъ*). Уѣхалъ! Я тебѣ вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашилию сзади косынку, я сейчасъ». Вотъ тебѣ и сейчасъ! Вотъ тебѣ ничего и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что почтмейстеръ здѣсь, и давай передъ

зеркаломъ жеманиться: и съ той стороны, и съ этой стороны подойдетъ. Воображаетъ, что онъ за нею волочится, а онъ, просто, тебѣ дѣлаетъ гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что жъ дѣлать, маменька? Все равно, чрезъ два часа мы все узнаемъ.

Анна Андреевна. Чрезъ два часа! покорнѣйше благодарю. Вотъ одолжила отвѣтомъ! Какъ ты не догадалась сказать, что черезъ мѣсяцъ еще лучше можно узнать! (*Слышится въ окно.*) Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, тамъ пріѣхалъ кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машетъ руками? Пусть машетъ, а ты все бы такъ его разспросила. Не могла этого узнать! Въ головѣ чепуха, все женихи сидятъ. А? Скоро уѣхали! да ты бы побѣжала за дрожками. Ступай, ступай, сейчасъ! Слышишь, побѣги, разспроси, куда поѣхали; да разспроси хорошенько: что за пріѣзжій, каковъ онъ, — слышишь! Подсмотри въ щелку и узнай все, и глаза какіе: черные или нѣтъ, и сію же минуту возвращайся назадъ. Слышишь? Скорѣе, скорѣе, скорѣе, скорѣе! (*Кричитъ до тѣхъ поръ, пока не опускается занавѣсъ. Такъ занавѣсъ и закрываетъ ихъ обѣихъ, стоящихъ у окна.*)

Гоголь.



Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ.

Молчалинъ.

(Изъ комедіи „Горе отъ ума“.)

Александръ Андреевичъ Чацкій, молодой, образованный человѣкъ новаго направленія.

Алексѣй Степановичъ Молчалинъ, чиновникъ, секретарь Фамусова, управляющаго казеннымъ мѣстомъ въ Москвѣ.

Лиза, служанка въ домѣ Фамусова.

Чацкій, потомъ *Молчалинъ*.

Чацкій. Ахъ, Софья¹⁾! Неужели Молчалинъ избранъ ей!

А чѣмъ не мужъ? Ума въ немъ только мало.

Услужливъ, скромненькій, въ лицѣ румянецъ есть. (*Входитъ Молчалинъ.*)

¹⁾ Дочь Фамусова.

Вотъ онъ, на цыпочкахъ, и небогатъ словами...

Какою ворожкой умѣлъ къ ней въ сердце влѣзть! *(Обращается къ нему.)*

Намъ, Алексѣй Степанычъ, съ вами

Не удалось сказать двухъ словъ.

Ну, образъ жизни вашъ каковъ?

Безъ горя нынче, безъ печали?

Молчалинъ. Попржнему-съ.

Чацкій. А прежде какъ живали?

Молчалинъ. День за день, нынче, какъ вчера.

Чацкій. Къ перу отъ картъ, и къ картамъ отъ пера?

И положенный часъ приливамъ и отливамъ?

Молчалинъ. По мѣрѣ я трудовъ и силъ,

Съ тѣхъ поръ, какъ числюсь по архивамъ,

Три награжденія получилъ.

Чацкій. Взманили почести и знатность?

Молчалинъ. Нѣтъ-съ, свой талантъ у всѣхъ...

Чацкій. У васъ?

Молчалинъ. Два-съ: умѣренность и аккуратность.

Чацкій. Чудеснѣйшіе два! и стоятъ нашихъ всѣхъ!

Молчалинъ. Вамъ не дались чины; по службѣ не успѣхъ?

Чацкій. Чины людьми даются,

А люди могутъ обмануться.

Молчалинъ. Какъ удивлялись мы!

Чацкій. Какое жъ диво тутъ?

Молчалинъ. Жалѣли васъ.

Чацкій. Напрасный трудъ.

Молчалинъ. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,

Изъ Петербурга воротясь,

Съ министрами про вашу связь,

Потомъ разрывъ...

Чацкій. Ей почему забота?

Молчалинъ. Татьянѣ Юрьевнѣ?

Чацкій. Я съ нею не знакомъ.

Молчалинъ. Съ Татьяной Юрьевной?

Чацкій. Съ ней вѣкъ мы не встрѣчались.

Слыхалъ, что вздорная...

Молчалинъ. Да это, полно, та ли-съ?

Татьяна Юрьевна!.. извѣстная... Притомъ

Чиновные и должностные

Всѣ ей друзья и всѣ родные.

Къ Татьянѣ Юрьевнѣ хотъ разъ бы съѣздить вамъ...

Чацкій. На что же?..

Молчалинъ. Такъ. Частенько тамъ

Мы покровительство находимъ, гдѣ не мѣтимъ.

Какъ обходительна, добра, мила, проста!

Балы дастъ; нельзя бѣгаче,
Отъ Рождества и до поста,
И лѣтомъ праздники на дачѣ.
Ну, право, чтобы вамъ въ Москвѣ у насъ служить?
И награжденья брать, и весело пожить?
Чацкій. Когда въ дѣлахъ, — я отъ веселій прячусь;
Когда дурачиться, — дурачусь;
А смѣшивать два эти ремесла
Есть тѣмъ охотниковъ; я не изъ ихъ числа.
Молчалинъ. Простите. Впрочемъ, тутъ не вижу преступленья.
Вотъ самъ Ома Оомичъ — знакомъ онъ вамъ?
Чацкій. Ну, что жъ?
Молчалинъ. При трехъ министрахъ былъ начальникъ отдѣленья;
Переведенъ сюда...
Чацкій. Хорошъ!
Пустѣйшій человѣкъ изъ самыхъ безтолковыхъ!
Молчалинъ. Какъ можно? слогъ его здѣсь ставятъ въ образецъ!
Читали вы?..
Чацкій. Я глупостей не чтецъ,
А пуще образцовыхъ.
Молчалинъ. Нѣтъ, мнѣ такъ довелось съ пріятностью прочесть;
Не сочинитель я...
Чацкій. По всему замѣтно.
Молчалинъ. Не смѣю моего сужденія произнести...
Чацкій. Зачѣмъ же такъ секретно?
Молчалинъ. Въ мои лѣта не должно смѣть
Свое сужденіе имѣть.
Чацкій. Помилуйте, мы съ вами не ребята;
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?
Молчалинъ. Вѣдь надобно жъ зависѣть отъ другихъ.
Чацкій. Зачѣмъ же надобно?
Молчалинъ. Въ чинахъ мы небольшихъ.
Чацкій (почти громко). Съ такими чувствами; съ такой душою,
Любимъ!.. Обманщица смѣялась надо мною ¹⁾!

Молчалинъ и Лиза.

Молчалинъ. Мнѣ завѣщалъ отецъ:
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятія —
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чиститъ платье,
Швейцару, дворнику, для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника, чтобы ласкова была.
Лиза. Сказать, сударь, у васъ огромная опека.

А. Грибоедовъ.

¹⁾ Софья призналась Чацкому, что любитъ Молчалина.

Толстый и тонкій.

На вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги встрѣтились два пріятеля: одинъ толстый, другой тонкій. Толстый только что пообедалъ на вокзалѣ, и губы его, подернутыя масломъ, лоснились, какъ спѣлыя вишни. Пахло отъ него хересомъ и флеръ-д'оранжемъ. Тонкій же только что вышелъ изъ вагона и былъ навьюченъ чемоданами, узлами и картонками. Пахло отъ него ветчинной и кофейной гущей. Изъ-за его спины выглядывала худенькая женщина съ длиннымъ подбородкомъ — его жена, и высокій гимназистъ съ прищуреннымъ глазомъ — его сынъ.

— Порфирій! — воскликнулъ толстый, увидѣвъ тонкаго. — Ты ли это? Голубчикъ мой! Сколько зимъ, сколько лѣтъ!

— Батюшки! — изумился тонкій. — Миша! Другъ дѣтства! Откуда ты взялся?

Пріятели троекратно облобызались и устремили другъ на друга глаза, полные слезъ. Оба были пріятно ошеломлены.

— Милый мой! — началъ тонкій послѣ лобызанія. — Вотъ не ожидалъ! Вотъ сюрпризъ! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавецъ, какъ и былъ! Такой же душонокъ и щеголь! Ахъ ты, Господи! Ну, что же ты? Богатъ? Женатъ? Я уже женатъ, какъ видишь... Это вотъ моя жена, Луиза, урожденная Ванценбахъ... лютеранка... А это сынъ мой, Нафанаилъ, ученикъ III класса. Это, Нафана, другъ моего дѣтства! Въ гимназіи вмѣстѣ учились!

Нафанаилъ немного подумалъ и снялъ шапку.

— Въ гимназіи вмѣстѣ учились! — продолжалъ тонкій. — Помнишь, какъ тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратомъ за то, что ты казенную книжку напирской прожегъ, а меня — Эфіальтомъ за то, что я ябедничать любилъ. Хо-хо... Дѣтьми были! Не бойся, Нафана! Подойди къ нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбахъ... лютеранка.

Нафанаилъ немного подумалъ и спрятался за спину отца.

— Ну, какъ живешь, другъ? — спросилъ толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь гдѣ? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежскимъ ассессоромъ уже второй годъ и Станислава имѣю. Жалованье плохое... ну, да Богъ съ нимъ! Жена уроки музыки даетъ, я портсигары приватно изъ дерева дѣлаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто беретъ десять штукъ и болѣе, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-какъ. Служилъ, знаешь, въ департаментъ, а теперь сюда переведенъ столоначальникомъ по тому же вѣдомству... Здѣсь буду служить. Ну, а ты какъ? Небось, уже статскій? А?

— Нѣтъ, милый мой, поднимай повыше, — сказалъ толстый. — Я уже до тайнаго дослужился... Двѣ звѣзды имѣю.

Тонкій вдругъ поблѣднѣлъ, окаменѣлъ; но скоро лицо его искривилось во всѣ стороны широчайшей улыбкой; казалось, что отъ лица и глазъ его посыпались искры. Самъ онъ съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородокъ жены сталъ еще длиннѣе; Нафанаилъ вытянулся во фронтъ и застегнулъ всѣ пуговицы своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень пріятно-съ! Другъ, можно сказать, дѣтства и вдругъ вышли въ такіе вельможи-съ! Хи-хи-съ.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот топъ? Мы съ тобой друзья дѣтства — и къ чему тутъ это чинопочитаніе!

— Помилуйте... Что вы-съ... — захихикалъ тонкій, еще болѣе съеживаясь. — Милостивое вниманіе вашего превосходительства... въ родѣ какъ бы живительной влаги... Это вотъ, ваше превосходительство, сынъ мой Нафанаилъ... жена Луиза, лютеранка, нѣкоторымъ образомъ...

Толстый хотѣлъ было возразить что-то, но на лицѣ у тонкаго было написано столько благоговѣнія, сладости и почтительной кислоты, что тайнаго совѣтника стошнило. Онъ отвернулся отъ тонкаго и подаль ему на прощанье руку.

Тонкій пожалъ три пальца, поклонился всѣмъ туловищемъ и захихикалъ, какъ китаецъ: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаилъ шаркнулъ ногой и уронилъ фуражку. Всѣ трое были пріятно ошеломлены.

А. Чеховъ.

Діаконъ Филиппъ Сперанскій.

Богатый и одинокій купецъ Лаврентій Петровичъ Кошевѣровъ пріѣхалъ въ Москву лечиться, и такъ какъ болѣзнь у него была интересная, его приняли въ университетскую клинику.

На другой день надъ головою Лаврентія Петровича появилась надпись на черной досочкѣ: «Купецъ Лаврентій Кошевѣровъ, 52 л., поступилъ 25 февраля». Такія же досочки и надписи были у двухъ другихъ больныхъ, находившихся въ восьмой палатѣ; на одной стояло: «Діаконъ Филиппъ Сперанскій, 50 л.», на другой — «Студентъ Константинъ Торбецкій, 23 лѣтъ». Бѣлыя мѣловые буквы красиво, но мрачно выдѣлялись на черномъ фонѣ, и когда больной лежалъ навзничъ, закрывъ глаза, бѣлая надпись продолжала что-то говорить о немъ и пріобрѣтала сходство съ надмогильными оповѣщеніями, что вотъ тутъ, въ этой сырой или мерзлой землѣ, зарытъ человѣкъ.

Діаконъ изъ Тамбовской губерніи въ клинику поступилъ на одинъ день раньше Лаврентія Петровича, но былъ уже хорошо знакомъ съ обитателями всѣхъ пяти палатъ, помѣщавшихся наверху. Онъ былъ невысокаго роста и такъ худъ, что при раздѣваніи у него каждое ребро вытѣплялось, а животъ втягивался, и все его слабосильное тѣло, бѣлое и чистое, походило на тѣло десятилѣтняго несложившагося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, изсѣра-сѣдые и на концахъ желтѣли и закручивались. Какъ изъ большой, не по рисунку рамки выглядывало изъ нихъ маленькое темное лицо съ правильными, но миниатюрными чертами. Отецъ діаконъ, какъ всѣ его называли, охотно и откровенно рассказывалъ о себѣ, о своей семьѣ и о своихъ знакомыхъ, и такъ любознательно и наивно спрашивалъ о томъ же другихъ, что никто не могъ сердиться, и всѣ такъ же откровенно рассказывали. Когда кто-нибудь чихалъ, о. діаконъ издалека кричалъ веселымъ голосомъ:

— Исполненіе желаній! За милую душу! — и кланялся.

Къ нему никто не приходилъ, и онъ былъ тяжело боленъ, но онъ не чувствовалъ себя одинокимъ, такъ какъ познакомился не только со всѣми больными, но и съ ихъ посѣтителями, и не скучалъ. Больнымъ онъ ежедневно по нѣскольку разъ желалъ выздоровѣть, здоровымъ желалъ, чтобы они въ весельи

и благополучіи проводили время, и всёмі находилъ сказать что-нибудь доброе и пріятное. Каждое утро онъ всѣхъ поздравлялъ: въ четвергъ — съ четвергомъ, въ пятницу — съ пятницей, и что бы ни творилось на воздухѣ, котораго онъ не видалъ, онъ постоянно утверждалъ, что погода сегодня пріятная на рѣдкость. При этомъ онъ постоянно и радостно смѣялся продолжительнымъ и неслышимымъ смѣхомъ, прижималъ руки ко впалому животу, хлопалъ руками по колѣнямъ, а иногда даже билъ въ ладоши. И всѣхъ благодарилъ, — иногда трудно было рѣшить, за что. Такъ, послѣ чая онъ благодарилъ угрюмаго Лаврентія Петровича за компанію.

— Такъ это мы съ вами хорошо чайку попили, — по-небесному! Вѣрно, отецъ? А? — говорилъ онъ, хотя Лаврентій Петровичъ пилъ чай отдѣльно и никому компаніи составить не могъ.

Онъ очень гордился своимъ діаконскимъ саномъ, который получилъ только три года тому назадъ, а раньше былъ псаломщикомъ. И у всѣхъ — и у больныхъ, и у приходящихъ — онъ спрашивалъ, какого роста ихъ жены.

— А у меня жена очень высокая, — съ гордостью говорилъ онъ послѣ того или иного отвѣта. — И дѣти всё въ нее. Гренадеры, за милую душу!

Все въ клиникахъ — чистота, дешевизна, любезность докторовъ, цвѣты въ коридорѣ — вызывало его восторгъ и умиленіе. То смѣясь, то крестясь на икону, онъ изливалъ свои чувства передъ молчащимъ Лаврентіемъ Петровичемъ и, когда словъ не хватало, восклицалъ:

— За милую душу! Вотъ какъ передъ Богомъ, за милую душу!

Около одиннадцати часовъ приходили доктора и студенты, и начинался внимательный осмотръ, длившійся часами. Лаврентій Петровичъ лежалъ всегда спокойно и смотрѣлъ въ потолокъ, отвѣчая односложно и хмуро; о діаконѣ волновался и говорилъ такъ много и такъ невразумительно, съ такимъ желаніемъ всёмі доставить удовольствіе и всёмі оказать уваженіе, что его трудно бывало понять. О себѣ онъ говорилъ:

— Когда я пожаловалъ въ клинику...

О нянькѣ передавалъ:

— Онѣ изволили поставить мнѣ клизму...

Онъ всегда съ точностью зналъ, въ какомъ часу и въ какую минуту была у него изжога или тошнота, въ какомъ часу ночи онъ просыпался и сколько разъ. По уходѣ докторовъ онъ становился веселѣе, благодарилъ, умилялся и бывалъ очень доволенъ собою, если ему удавалось при прощаніи сдѣлать не одинъ общій поклонъ всѣмъ докторамъ, а каждому порознь.

— Такъ это чинно, — радовался онъ, — по-небесному!

И еще разъ показывалъ молчащему Лаврентію Петровичу и улыбающемуся студенту, какъ онъ сдѣлалъ поклонъ сперва доктору Александру Ивановичу и потомъ доктору Семену Николаевичу.

Онъ былъ боленъ неизлѣчимо, и дни его были сочтены, но онъ этого не зналъ, съ восторгомъ говорилъ о путешествіи въ Троицко-Сергіевскую лавру, которое онъ совершитъ по выздоровленіи, и о яблонѣ въ своемъ саду, которая называлась «бѣлый наливъ», и съ которой нынѣшнимъ лѣтомъ онъ ожидаетъ плодовъ. И въ хорошій день, когда стѣны и паркетный полъ палаты щедро заливались солнечными лучами, ни съ чѣмъ несравнимыми въ своей могучей силѣ и красотѣ, когда тѣни на снѣжномъ бѣлѣ постелей становились про-

зрачно-синими, совсѣмъ лѣтними, — о. діаконъ громко напѣвалъ трогательную пѣснь:

«Вышую небесъ и чистѣйшую свѣтлостей солнечныхъ, избавляющую насъ отъ клятвы, Владычицу міра пѣснями почитимъ!..»

Голосъ его, слабый и пѣжный теноръ, начиналъ дрожать, и въ волненіи, которое онъ старался скрыть отъ окружающихъ, о. діаконъ подносилъ къ глазамъ платокъ и улыбался. Потомъ, пройдясь по комнатѣ, онъ вплотную подходилъ къ окну и вскидывалъ глаза къ голубому, безоблачному небу: просторное, далѣкое отъ земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественною пѣснью. И къ ея торжественнымъ звукамъ робко присоединялся дрожащій человѣческій голосъ, полный трепетной и страстной мольбы:

«Отъ многихъ моихъ грѣховъ немощствуетъ тѣло, немощствуетъ и душа моя: къ Тебѣ прибѣгаю, Благодатный, надеждъ ненадежныхъ, Ты мнѣ помози!..»

Кончивъ пѣснь, онъ подходилъ къ Лаврентію Петровичу и рассказывалъ, какую бумагу ему дали при посвященіи.

— Вотъ такая огромная, — показывалъ онъ руками, — и по всей буквы, буквы... Какія черныя, какія съ золотой тѣнью. Рѣдкость, ей Богу!

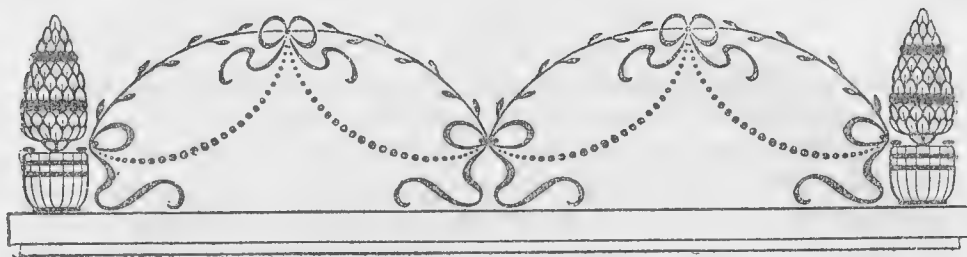
Онъ крестился на икону и съ уваженіемъ къ себѣ добавлялъ:

— А внизу печать архіерейская. Огромная, ей Богу, — чисто вотрушка. Одно слово, за милую душу! Вѣрно, отецъ?

И онъ закатисто смѣялся, скрывая свѣтлѣющіе глаза въ сѣти тоненькихъ морщинокъ. Но солнце пряталось за сѣрой снѣжной тучей, въ палатѣ тускнѣло, и, вздыхая, о. діаконъ ложился въ постель.

Л. Андреевъ.





5. Инородцы и иностранцы.

Лезгинъ Нурра.

Слѣва отъ моего мѣста на нарахъ помѣщалась кучка кавказскихъ горцевъ, присланныхъ большею частью за грабежи и на разные сроки. Ихъ было: два лезгина, одинъ чеченецъ и трое дагестанскихъ татаръ. Чеченецъ былъ мрачное и угрюмое существо; почти ни съ кѣмъ не говорилъ и постоянно смотрѣлъ вокругъ себя съ ненавистью, исподлобья и съ отравленной, злобно-насмѣшливой улыбкой. Одинъ изъ лезгиновъ былъ уже старикъ, съ длиннымъ, тонкимъ, горбатымъ носомъ, отъявленный разбойникъ съ виду. Зато другой, Нурра, произвелъ на меня съ перваго же дня самое отрадное, самое милое впечатлѣніе. Это былъ человѣкъ еще не старый, росту невысокаго, сложенный какъ Геркулесъ, совершенный блондинъ съ свѣтлоглубыми глазами, курносый, съ лицомъ чухонки и съ кривыми ногами отъ постоянной прежней ѣзды верхомъ. Все тѣло его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказѣ онъ былъ мирной, но постоянно уѣзжалъ потихоньку къ немирнымъ горцамъ и оттуда вмѣстѣ съ ними дѣлалъ набѣги на русскихъ. Въ каторгѣ его всѣ любили. Онъ былъ всегда веселъ, привѣтливъ ко всѣмъ, работалъ безропотно, спокоенъ и ясенъ, хотя часто съ негодованіемъ смотрѣлъ на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всякимъ воровствомъ, мошенничествомъ, пьянствомъ и вообще всѣмъ, что было нечестно, но ссоръ не затѣвалъ и только отворачивался съ негодованіемъ. Самъ онъ во все продолженіе своей каторги не укралъ ничего, не сдѣлалъ ни одного дурного поступка. Былъ онъ чрезвычайно богомоленъ. Молитвы исполнялъ онъ свято; въ посты передъ магометанскими праздниками постился какъ фанатикъ и цѣлыя ночи выстаивалъ на молитвѣ. Его всѣ любили и въ честность его вѣрили. «Нурра—левъ», говорили арестанты; такъ за нихъ и оставалось названіе льва. Онъ совершенно былъ увѣренъ, что по окончаніи опредѣленнаго срока въ каторгѣ его воротятъ домой, на Кавказъ, и жилъ только этой надеждой. Мнѣ кажется, онъ бы умеръ, если бы ея лишился. Въ первый же мой день въ острогѣ я рѣзко замѣтилъ его. Нельзя было не замѣтить его добраго, симпатизирующаго лица среди злыхъ, угрюмыхъ и насмѣшливыхъ лицъ остальныхъ каторжныхъ. Въ первые полчаса, какъ я пришелъ въ каторгу, онъ, проходя мимо меня, потрепалъ меня по плечу, добродушно смѣясь мнѣ въ глаза. Я не могъ значаща понять, что это означало.

Говорилъ же онъ по-русски очень плохо. Вскорѣ послѣ того онъ опять подошелъ ко мнѣ и опять, улыбаясь, дружески ударилъ меня по плечу. Потомъ опять и опять, и такъ продолжалось три дня. Это означало съ его стороны, какъ догадался и узналъ потомъ, что ему жаль меня, что онъ чувствуетъ, какъ мнѣ тяжело знакомиться съ острогомъ, хочетъ показать мнѣ свою дружбу, ободрить меня и увѣрить въ своемъ покровительствѣ. Добрый и наивный Нурра!

Достоевскій.

Татаринъ Алей.

Дагестанскихъ татаръ въ тюрьмѣ было трое, и всѣ они были родные братья. Два изъ нихъ были уже пожилые, но третій, Алей, былъ не болѣе двадцати двухъ лѣтъ, а на видъ еще моложе. Его мѣсто на нарахъ было рядомъ со мною. Его прекрасное, открытое, умное и въ то же время добродушно-наивное лицо съ перваго взгляда привлекло къ нему мое сердце, и я такъ радъ былъ, что судьба послала мнѣ его, а не другого кого-нибудь въ сосѣди. Вся душа его выражалась на его красивомъ, можно даже сказать, прекрасномъ лицѣ. Улыбка его была такъ доверчива, такъ дѣтски простодушна, большіе черные глаза были такъ мягки, такъ ласковы, что я всегда чувствовалъ особое удовольствіе, даже облегченіе въ тоскѣ и въ грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родинѣ старшій братъ его (старшихъ братьевъ у него было пять; два другихъ попали въ какой-то заводъ) однажды велѣлъ ему взять шашку и садиться на коня, чтобъ ѣхать вмѣстѣ въ какую-то экспедицію. Уваженіе къ старшимъ въ семействахъ горцевъ такъ велико, что мальчикъ не только не посмѣлъ, но даже и не подумалъ спросить, куда они отправляются? Тѣ же не сочли и за нужное сообщать ему это. Всѣ они ѣхали на разбой, подстеречь на дорогѣ одного богатаго армянскаго купца и ограбить его. Такъ и случилось: они перерѣзали конвой, зарѣзали армяннина и разграбили его товаръ. Но дѣло открылось: ихъ взяли всѣхъ шестерыхъ, судили, уличили, наказали и сослали въ Сибирь, въ каторжныя работы. Вся милость, которую сдѣлалъ судъ для Алея, былъ уменьшенный срокъ наказанія; онъ сосланъ былъ на четыре года. Братья очень любили его и скорѣе какою-то отеческою, чѣмъ братскою любовью. Онъ былъ имъ утѣшеніемъ въ ихъ ссылкѣ, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались на него глядя, и когда заговаривали съ нимъ (а говорили они съ нимъ очень мало, какъ будто все еще считая его за мальчика, съ которымъ нечего и говорить о серьезномъ), то суровыя лица ихъ разглаживались, и я угадывалъ, что они съ нимъ говорятъ о чемъ-нибудь шутиломъ, почти дѣтскомъ, по крайней мѣрѣ, они всегда переглядывались и добродушно усмѣхались, когда, бывало, выслушаютъ его отвѣтъ. Самъ же онъ почти не смѣлъ съ ними заговаривать: до того доходила его почтительность. Трудно представить себѣ, какъ этотъ мальчикъ во все время своей каторги могъ сохранить въ себѣ такую мягкость сердца, образовать въ себѣ такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубѣть, не развратиться. Это, впрочемъ, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узналъ его впоследствии. Онъ былъ цѣломудренъ, какъ чистая дѣвочка, и чей-нибудь скверный, циническій, грязный или несправедливый, насильный поступокъ въ острогѣ зажигалъ огонь не-

годованія въ его прекрасныхъ глазахъ, которые дѣлались оттого еще прекраснѣе. Но онъ избѣгалъ ссоръ и брани, хотя былъ вообще не изъ такихъ, которые бы дали себя обидѣть безнаказанно, и умѣлъ за себя постоять. Но ссоръ онъ ни съ кѣмъ не имѣлъ: его всѣ любили и всѣ ласкали. Сначала со мной онъ былъ только вѣжливъ. Мало-по-малу я началъ съ нимъ разговаривать; въ нѣсколько мѣсяцевъ онъ выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Онъ мнѣ показался чрезвычайно умнымъ мальчикомъ, чрезвычайно скромнымъ и деликатнымъ, и даже много уже разсуждавшимъ. Вообще, скажу заранѣе: я считаю Алея далеко не обыкновеннымъ существомъ и вспоминаю о встрѣчѣ съ нимъ, какъ объ одной изъ лучшихъ встрѣчъ въ моей жизни. Есть натуры до того прекрасныя отъ природы, до того награжденныя Богомъ, что даже одна мысль о томъ, что онѣ могутъ когда-нибудь измѣниться къ худшему, вамъ кажется невозможною. За нихъ вы всегда спокойны. Я и теперь спокоенъ за Алея. Гдѣ-то онъ теперь?..

Разъ, уже довольно долго послѣ моего прибытія въ острогъ, я лежалъ на нарахъ и думалъ о чемъ-то очень тяжеломъ. Алей, всегда работающій и трудолюбивый, въ этотъ разъ ничѣмъ не былъ занятъ, хотя еще было рано спать. Но у нихъ въ это время былъ свой мусульманскій праздникъ, и они не работали. Онъ лежалъ, заложивъ руки за голову, и тоже о чемъ-то думалъ. Вдругъ онъ спросилъ меня:

— Что, тебѣ очень теперь тяжело?

Я оглядѣлъ его съ любопытствомъ, и мнѣ показался страннымъ этотъ быстрый прямой вопросъ отъ Алея, всегда деликатнаго, всегда разборчиваго, всегда умнаго сердцемъ; но, взглянувъ внимательнѣе, я увидѣлъ въ его лицѣ столько тоски, столько муки отъ воспоминаній, что тотчасъ же нашелъ, что ему самому было очень тяжело и именно въ эту же самую минуту. Я высказалъ ему мою догадку. Онъ вздохнулъ и грустно улыбнулся. Я любилъ его улыбку, всегда нѣжную и сердечную. Кромѣ того, улыбаясь, онъ выставлялъ два ряда жемчужныхъ зубовъ, красотѣ которыхъ могла бы позавидовать первая красавица въ мірѣ.

— Что, Алей, ты вѣрно сейчасъ думалъ о томъ, какъ у васъ, въ Дагестанѣ, празднуютъ этотъ праздникъ? Вѣрно, тамъ хорошо.

— Да, — отвѣчалъ онъ съ восторгомъ, и глаза его просіяли. — А почему ты знаешь, что я думаю объ этомъ?

— Еще бы не знать? Что, тамъ лучше, чѣмъ здѣсь?

— О, зачѣмъ ты это говоришь!..

— Должно-быть, теперь какіе цвѣты у васъ, какой рай?

— О-охъ, и не говори лучше.

Онъ былъ въ сильномъ волненіи.

— Послушай, Алей, у тебя была сестра?

— Была, а что тебѣ?

— Должно-быть, она красавица, если на тебя похожа.

— Что на меня! Она такая красавица, что по всему Дагестану нѣтъ лучше: Ахъ, какаа красавица моя сестра! Ты не видалъ такую! У меня и мать красавица была.

— А любила тебя мать?

— Ахъ! Что ты говоришь! Она, вѣрно, умерла теперь съ горя по мнѣ. Я любимый былъ у нея сынъ. Она меня больше сестры, больше всѣхъ любила... Она ко мнѣ сегодня во снѣ приходила и надо мной плакала.

Онъ замолчалъ, и въ этотъ вечеръ уже больше не сказалъ ни слова. Но съ этихъ поръ онъ искалъ каждый разъ говорить со мной, хотя самъ изъ почтенія, которое онъ неизвѣстно почему ко мнѣ чувствовалъ, никогда не заговаривалъ первый. Зато очень былъ радъ, когда я обращался къ нему. Я спрашивалъ его про Кавказъ, про его прежнюю жизнь. Братъ не мѣшалъ ему со мной разговаривать, и имъ даже это было пріятно. Они тоже, видя, что я все болѣе и болѣе люблю Алея, стали со мной гораздо ласковѣе.

Алей помогалъ мнѣ въ работѣ, служивалъ мнѣ, чѣмъ могъ, въ казармахъ, и видно было, что ему очень пріятно было хоть чѣмъ-нибудь облегчить меня и угодить мнѣ, и въ этомъ стараніи угодить не было ни малѣйшаго униженія или исканія какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, которое онъ уже и не скрывалъ ко мнѣ. Между прочимъ, у него было много способностей механическихъ; онъ выучился порядочно шить бѣлье, тачать сапоги и впоследствии выучился, сколько могъ, столярному дѣлу. Братъ хвалили его и гордились имъ.

— Послушай, Алей,—сказалъ я ему однажды,—отчего ты не выучишься читать и писать по-русски? Знаешь ли, какъ это можетъ тебѣ пригодиться здѣсь, въ Сибири, впоследствии?

— Очень хочу. Да у кого выучиться?

— Мало ли здѣсь грамотныхъ! Да хочешь, я тебя выучу?

— Ахъ, выучи, пожалуйста!—и онъ даже приветалъ на нарахъ и съ мольбою сложилъ руки, смотря на меня.

Мы принялись съ слѣдующаго же вечера. У меня былъ русскій переводъ Новаго завѣта—книга, не запрещенная въ острогѣ. Безъ азбуки, по одной этой книгѣ, Алей въ нѣсколько недѣль выучился превосходно читать. Мѣсяца черезъ три онъ уже совершенно понималъ книжный языкъ. Онъ учился съ жаромъ, съ увлеченіемъ.

Однажды мы прочли съ нимъ всю нагорную проповѣдь. Я замѣтилъ, что нѣкоторыя мѣста въ ней онъ проговаривалъ какъ будто съ особеннымъ чувствомъ.

Я спросилъ его, нравится ли ему то, что онъ прочелъ?

Онъ быстро взглянулъ, и краска выступила на его лицѣ.

— Ахъ, да!—отвѣчалъ онъ,—да. Иса святой пророкъ, Иса Божій слова говорилъ. Какъ хорошо!

— Что жъ тебѣ больше всего нравится?

— А гдѣ Онъ говоритъ: «Прощай, люби, не обижай, и враговъ люби». Ахъ, какъ хорошо Онъ говоритъ!

Онъ обернулся къ братьямъ, которые прислушивались къ нашему разговору, и съ жаромъ началъ говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потомъ съ важно-благоклонною, то-есть чисто-мусульманскою улыбкою (которую я такъ люблю, и именно люблю важность этой улыбки), обратились ко мнѣ и подтвердили, что Иса былъ Божій пророкъ, и что Онъ дѣлалъ великія чудеса; что Онъ сдѣлалъ изъ глины птицу, дунулъ на нее, и она полетѣла... и что это и у нихъ въ

книгахъ написано. Говоря это, они вполне были увѣрены, что дѣлають мнѣ великое удовольствіе, восхваляя Ису, а Алей былъ вполне счастливъ, что братья его рѣшились и захотѣли сдѣлать мнѣ это удовольствіе.

Письмо у насъ пошло тоже чрезвычайно успѣшно. Алей досталъ бумаги (и не позволилъ мнѣ купить ее на мои деньги), перьевъ, чернилъ, и въ какихъ-нибудь два мѣсяца выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьевъ. Гордость и довольство ихъ не имѣли предѣловъ. Они не знали, чѣмъ возблагодарить меня. На работахъ, если намъ случалось работать вмѣстѣ, они наперерывъ помогали мнѣ и считали это себѣ за счастье. Я уже не говорю про Алея. Онъ любилъ меня, можетъ-быть, такъ же, какъ и братьевъ. Никогда не забуду, какъ онъ выходилъ изъ острога. Онъ отвелъ меня за казарму и тамъ бросился мнѣ на шею и заплакалъ. Никогда прежде онъ не цѣловалъ меня и не плакалъ. «Ты для меня столько сдѣлалъ, столько сдѣлалъ, — говорилъ онъ, — что отецъ мой, мать мнѣ бы столько не сдѣлали: ты меня чело-вѣкомъ сдѣлалъ, Богъ заплатитъ тебѣ, а я тебя никогда не забуду»...

Достоевскій.

Исторія Карла Ивановича.

Поздно вечеромъ наканунѣ того дня, въ который Карлъ Ивановичъ долженъ былъ навсегда уѣхать отъ насъ, онъ стоялъ въ своемъ ваточномъ халатѣ и красной шапочкѣ подлѣ кровати и, нагнувшись надъ чемоданомъ, тщательно укладывалъ въ него свои вещи.

— Позвольте, я помогу вамъ, Карлъ Ивановичъ, — сказалъ я, подходя къ нему.

— Богъ все видитъ и все знаетъ, и на все Его святая воля, — сказалъ онъ, выпрямляясь во весь ростъ и тяжело вздыхая. — Да, Николенька, — продолжалъ онъ, замѣтивъ выраженіе непритворнаго участія, съ которымъ я смотрѣлъ на него: — моя судьба быть несчастливымъ съ самаго моего дѣтства и по гробовую доску. Мнѣ всегда платили зломъ за добро, которое я дѣлалъ людямъ, и моя награда не здѣсь, а оттуда, — сказалъ онъ, указывая на небо. — Когда бы вы знали мою исторію и все, что я перенесъ въ этой жизни!.. Я былъ сапожникъ, я былъ солдатъ, я былъ *дезертиръ*, я былъ фабрикантъ, я былъ учитель, и теперь я нуль! и мнѣ, какъ сыну Божию, некуда преклонить свою голову, — заключилъ онъ и, закрывъ глаза, опустился въ свое кресло.

Замѣтивъ, что Карлъ Ивановичъ находился въ томъ чувствительномъ расположеніи духа, въ которомъ онъ, не обращая вниманія на слушателей, высказывалъ для самого себя свои душевные мысли, я, молча и не спуская глазъ съ его добраго лица, сѣлъ на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вамъ скажу свою исторію и все, что я перенесъ въ этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните стараго друга, который васъ очень любилъ, дѣти!..

Карлъ Ивановичъ облокотился рукой о столикъ, стоявшій подлѣ него, понюхалъ табакъ и, закативъ глаза къ небу, тѣмъ особеннымъ, мѣрнымъ, горловымъ голосомъ, которымъ онъ обыкновенно диктовалъ намъ, началъ такъ свое повѣствованіе:

— *Я был несчастлив ишо во чрева моей матери.* Das Unglück verfolgte mich schon im Schoosse meiner Mutter!—повторилъ онъ еще съ болѣющимъ чувствомъ.

Такъ какъ Карлъ Ивановичъ не одинъ разъ, въ одинаковомъ порядкѣ, однихъ и тѣхъ же выраженій и съ постоянно-неизмѣняемыми интонаціями, рассказывалъ мнѣ впослѣдствіи свою исторію, то я надѣюсь передать ее почти слово въ слово; разумѣется, исключая неправильности языка, о которой читатель можетъ судить по первой фразѣ. Была ли это дѣйствительно его исторія, или произведеніе фантазіи, родившееся во время его одинокой жизни въ нашемъ домѣ, которому онъ и самъ началъ вѣрить отъ частаго повторенія, или онъ только украсилъ фантастическими фактами дѣйствительныя событія своей жизни,—не рѣшилъ еще я до сихъ поръ. Съ одной стороны, онъ съ слишкомъ живымъ чувствомъ и методическою послѣдовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывалъ свою исторію, чтобы можно было не вѣрить ей, съ другой стороны, слишкомъ много поэтическихъ красотъ въ его исторіи; такъ что именно красоты эти вызвали сомнѣнія.

«Мужъ моей матери (я звалъ его папенька) былъ арендаторъ у графа Зомерблатъ. Онъ не любилъ меня. У меня былъ маленькій братъ Johann и двѣ сестры; но я былъ чужой въ своемъ собственномъ семействѣ! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie ¹⁾! Когда Johann дѣлалъ глупости, папенька говорилъ: «Съ этимъ ребенкомъ Карломъ мнѣ не будетъ минуты покоя!» и меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорилъ: «Карлъ никогда не будетъ послушный мальчикъ!» и меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мнѣ: «Карлъ, подите сюда въ мою комнату», и она потихоньку цѣловала меня. «Бѣдный, бѣдный Карлъ! — сказала она, — никто тебя не любитъ, но я ни на кого тебя не промѣняю. Объ одномъ тебя проситъ твоя маменька, — говорила она мнѣ:—учись хорошенько и будь всегда честнымъ человѣкомъ, Богъ не оставитъ тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden,—sagte sie,—und der liebe Gott wird dich nicht verlassen» ²⁾! И я старался. Когда мнѣ минуло четырнадцать лѣтъ и я могъ итти къ причастію, моя маменька сказала моему папенькѣ: «Карлъ сталъ большой мальчикъ, Густавъ; что мы будемъ съ нимъ дѣлать?» И папенька сказалъ: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадимъ его въ городъ къ г. Шульцъ, пускай онъ будетъ сапожникъ!» и папенька сказалъ: «Хорошо», und mein Vater sagte «gut» ³⁾. Шесть лѣтъ и семь мѣсяцевъ я жилъ въ городѣ у сапожнаго мастера, и хозяинъ любилъ меня. Онъ сказалъ: «Карлъ—хорошій работникъ, и скоро онъ будетъ моимъ Geselle» ⁴⁾. Но... человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ... въ 1796 году была назначена Conscription, и всѣ, кто могъ служить, отъ восемнадцати до двадцати перваго года, должны были собраться въ городъ.

«Папенька и братъ Johann пріѣхали въ городъ, и мы вмѣстѣ пошли бросить Loos ⁵⁾, кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащилъ дур-

¹⁾ Повтореніе предыдущей фразы: „Я былъ чужой въ своемъ собственномъ семействѣ!“

²⁾ Повтореніе словъ матери.

³⁾ И мой отецъ сказалъ: „Хорошо“.

⁴⁾ Товарищъ.

⁵⁾ Жребій.

ной нумеро — онъ долженъ быть Soldat, я вытащилъ хорошій нумеро — я не долженъ быть Soldat. И папенька сказалъ: «У меня былъ одинъ сынъ, и съ тѣмъ я долженъ разстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen» ¹⁾).

«Я взялъ его за руку и сказалъ: «Зачѣмъ вы сказали такъ, папенька. Пойдемте со мной, я вамъ скажу что-нибудь». И папенька пошелъ. Папенька пошелъ, и мы сѣли за маленькій столикъ. «Дайте намъ пару Bierkrug» ²⁾, сказалъ я, и намъ принесли. Мы выпили по стаканчикъ, и братъ Johann тоже выпилъ.

«— Папенька! — я сказалъ: — не говорите такъ, что у васъ былъ одинъ сынъ, и вы съ тѣмъ должны разстаться, у меня сердце хочетъ *выпрыгнуть*, когда я этого слышу. Братъ Johann не будетъ служить — я буду Soldat. Карлъ здѣсь никому не нуженъ, и Карлъ будетъ Soldat.

«— Вы честный человекъ, Карлъ Ивановичъ! — сказалъ мнѣ папенька и поцѣловалъ меня. — Du bist ein braver Bursche! sagte mir mein Vater und küsste mich ³⁾!

«И я былъ Soldat!»

«— Тогда было страшное время, Николенка, — продолжалъ Карлъ Ивановичъ, — тогда былъ Наполеонъ. Онъ хотѣлъ завоевать Германію, и мы защищали свое отечество до послѣдней капли крови! und wir vertheidigten unser Vatenland bis auf den letzten Tropfen Blut ⁴⁾!

«Я былъ подъ Ульмъ, я былъ подъ Аустерлицъ! я былъ подъ Ваграмъ! Ich war bei Wagram ⁵⁾!

— Неужели вы тоже воевали? — спросилъ я, съ удивленіемъ глядя на него. — Неужели вы тоже убивали людей?

Карлъ Ивановичъ тотчасъ же успокоилъ меня на этотъ счетъ.

«Одинъ разъ французскій Grenadier отсталъ отъ своихъ и упалъ на дороге. Я приближалъ съ ружьемъ и хотѣлъ проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon ⁶⁾, и я пустил его!

«Подъ Ваграмъ Наполеонъ загналъ насъ на островъ и окружилъ такъ, что никуда не было спасенья. Трое сутокъ у насъ не было провіанта, и мы стояли въ водѣ по колѣнки. Злодѣй Наполеонъ не бралъ и не пускалъ насъ! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen ⁷⁾!

«На четвертые сутки насъ, слава Богу, взяли въ плѣнъ и отвели въ крѣпость. На мнѣ былъ синій панталонъ, мундиръ изъ хорошаго сукна, пятнадцать талеровъ денегъ и серебряные часы — подарокъ моего папеньки. Французскій Soldat все взялъ у меня. На мое счастье у меня было три червонца, которые маменька зашла мнѣ подъ фуфайку. Ихъ никто не нашелъ!

1) Повтореніе словъ отца.

2) Кружка пива.

3) Повтореніе предыдущей фразы.

4) Повтореніе послѣдней фразы.

5) „Я былъ подъ Ваграмъ!“

6) Но французъ бросилъ свое оружіе и кричалъ „пардонъ“ (просилъ прощенья).

7) Повтореніе предыдущей фразы.

«Въ крѣпости я не хотѣлъ долго оставаться и рѣшился бѣжать. Одинъ разъ, въ большой праздникъ, я сказалъ сержанту, который смотрѣлъ за нами: «Г. сержантъ, нынче большой праздникъ, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, двѣ бутылочки мадеръ, и мы вмѣстѣ выпьемъ ее». И сержантъ сказалъ: «Хорошо». Когда сержантъ принесъ мадеръ и мы выпили по рюмочкѣ, я взялъ его за руку и сказалъ: «Г. сержантъ, можетъ-быть, и у васъ есть отецъ и мать?..» Онъ сказалъ: «Есть, г. Мауеръ...» — «Мой отецъ и мать, — я сказалъ, — восемь лѣтъ не видали меня и не знаютъ, живъ ли я, или кости мои давно лежатъ въ сырой землѣ. О, г. сержантъ! у меня есть два червонца, которые были подъ моею фуфайкой, возьмите ихъ и пустите меня. Будьте моимъ благодѣтелемъ, и моя маменька всю жизнь будетъ молить за васъ всемогущаго Бога».

«Сержантъ выпилъ рюмочку мадеры и сказалъ: «Г. Мауеръ, я очень люблю и жалю васъ, но вы плѣнный, а я Soldat!» Я пожалъ его за руку и сказалъ: «Г. сержантъ!» *ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Serjant»* ¹⁾!

«И сержантъ сказалъ: «Вы бѣдный человекъ, и я не возьму ваши деньги, но помогу вамъ. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатамъ, и они будутъ спать. Я не буду смотрѣть на васъ».

«Онъ былъ добрый человекъ. Я купилъ ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надѣлъ сапоги, старый шинель и потихоньку вышелъ за дверь. Я пошелъ на валъ и хотѣлъ прыгнуть, но тамъ была вода, и я не хотѣлъ испортить послѣднее платье: я пошелъ въ ворота.

«Часовой ходилъ съ ружьемъ *auf und ab* ²⁾ и смотрѣлъ на меня. «*Qui vive?*» *sagte er auf ein mal* ³⁾ и я молчалъ. «*Qui vive?*» *sagte er zum zweiten Mal*, и я молчалъ. «*Qui vive?*» *sagte er zum dritten Mal*, и я *былъ*. Я *припнулъ въ вода, влезалъ на другую сторона и пустилъ*. *Ich sprang in's Wasser kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube* ⁴⁾).

«Цѣлую ночь я бѣжалъ по дорогѣ, но когда разсвѣло, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался въ высокую рожь. Тамъ я сталъ на колѣнки, сложилъ руки, поблагодарилъ Отца небеснаго за свое спасеніе и съ покойнымъ чувствомъ заснулъ. *Ich danke dem Allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein* ⁵⁾).

«Я проснулся вечеромъ и пошелъ дальше. Вдругъ большая нѣмецкая фура въ двѣ вороныя лошади догнала меня. Въ фурѣ сидѣлъ хорошо одѣтый человекъ, курилъ трубочку и смотрѣлъ на меня. Я пошелъ потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шелъ потихоньку, и фура ѣхала потихоньку, и человекъ смотрѣлъ на меня; я шелъ поскорѣе, и фура ѣхала поскорѣе, и человекъ смотрѣлъ на меня. Я сѣлъ на дорогѣ; человекъ остановилъ своихъ лошадей и смотрѣлъ на меня. «Молодой человекъ, — онъ сказалъ, — куда вы идете такъ поздно?» Я сказалъ: «Я иду въ Франкфуртъ». — «Садитесь въ мою фуру, мѣсто есть, и я довезу васъ... Отчего у васъ ничего нѣтъ съ собой, борода ваша не брита, и

¹⁾ Повтореніе предыдущей фразы.

²⁾ Взадъ и впередъ.

³⁾ „Кто идетъ?“ сказалъ онъ первый разъ.

⁴⁾ Повтореніе предыдущей фразы.

⁵⁾ Я поблагодарилъ всемогущаго Бога за Его милосердіе и съ покойнымъ чувствомъ заснулъ.

платье ваше въ грязи?» сказалъ онъ мнѣ, когда я сѣлъ съ нимъ. «Я бѣдный человѣкъ, — я сказалъ, — хочу наняться гдѣ-нибудь на *фабрику*; а платье мое въ грязи оттого, что я упалъ на дорогѣ». — «Вы говорите неправду, молодой человѣкъ, — сказалъ онъ, — по дорогѣ теперь сухо».

«И я молчалъ.

«— Скажите мнѣ всю правду, — сказалъ мнѣ добрый человѣкъ: — кто вы и откуда идете? Лицо ваше мнѣ понравилось, и ежели вы честный человѣкъ, я помогу вамъ».

«И я все сказалъ ему. Онъ сказалъ: «Хорошо, молодой человѣкъ, поѣдьте на мою канатную фабрику. Я дамъ вамъ работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

«И я сказалъ: «Хорошо».

«Мы пріѣхали на канатную фабрику, и добрый человѣкъ сказалъ своей женѣ: «Вотъ молодой человѣкъ, который сражался за свое отечество и бѣжалъ изъ плѣна: у него нѣтъ ни дома, ни платья, ни хлѣба. Онъ будетъ жить у меня. Дайте ему чистое бѣлье и покормите его».

«Я полтора года жилъ на канатной фабрикѣ, и мой хозяинъ такъ полюбилъ меня, что не хотѣлъ пустить. И мнѣ было хорошо. Я былъ тогда красивый мужчина, я былъ молодой, высокій ростъ, голубые глаза, римскій носъ... и Madame L... (я не могу сказать ея имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

«Когда она *видѣла* меня, она *сказала*: «Г. Мауеръ, какъ васъ зовутъ ваша маменька?» Я сказалъ: «Karlchen».

«И она сказала: «Karlchen! сядьте подлѣ меня».

«Я сѣлъ подлѣ ней, и она сказала: «Karlchen! поцѣлуйте меня».

«Я *его* поцѣловалъ.

Тутъ Карлъ Ивановичъ сдѣлалъ продолжительную паузу и, закативъ свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться такъ, какъ улыбаются люди подъ вліяніемъ пріятныхъ воспоминаній.

«Да, — началъ онъ опять, поправляясь въ креслѣ и запахивая свой халатъ, — много я испыталъ и хорошаго и дурного въ своей жизни; но вотъ мой свидѣтель, — сказалъ онъ, указывая на шитый по канвѣ образокъ Спасителя, висѣвшій надъ его кроватью, — никто не можетъ сказать, чтобы Карлъ Ивановичъ былъ нечестный человѣкъ! Я не хотѣлъ черною неблагодарностью платить за добро, которое мнѣ сдѣлалъ г. L..., и рѣшился бѣжать отъ него. Вечеркомъ, когда всѣ шли спать, я написалъ письмо своему хозяину и положилъ его на столъ въ своей комнатѣ, взялъ свое платье, три талеръ денегъ и потихоньку вышелъ на улицу. Никто не видалъ меня, и я пошелъ по дорогѣ».

«Я девять лѣтъ не видалъ своей маменьки и не зналъ, жива ли она, или кости ея лежатъ уже въ сырой землѣ. Я пошелъ въ свое отечество. Когда я пришелъ въ городъ, я спрашивалъ, гдѣ живетъ Густавъ Мауеръ, который былъ арендаторомъ у графа Зомерблатъ? И мнѣ сказали: «Графъ Зомерблатъ умеръ, и Густавъ Мауеръ живетъ теперь въ большой улицѣ и держитъ лавку *ликеръ*». Я надѣлъ свой новый жилетъ, хорошій сюртукъ — подарокъ фабриканта, хорошенько причесалъ волосы и пошелъ въ ликерную лавку моего папеньки. Сестра Marielchen сидѣла въ лавкѣ и спросила, что мнѣ нужно? Я сказалъ: «Можно

выпить рюмочку ликеръ?» И она сказала: «Vater! Молодой человекъ просить рюмочку ликеръ». И папенька сказалъ: «Подай молодому человеку рюмочку ликеръ». Я сѣлъ подлѣ столика, пилъ свою рюмочку ликеръ, курилъ трубочку и смотрѣлъ на папеньку, Mariachen и Johann, который тоже вошелъ въ лавку. Между разговоромъ папенька сказалъ мнѣ: «Вы, вѣрно, знаете, молодой человекъ, гдѣ стоитъ теперь наше *арме*». Я сказалъ: «Я самъ иду изъ *арме*, и она стоитъ подлѣ Wien»¹⁾.—«Нашъ сынъ,—сказалъ папенька,—былъ Soldat, и вотъ девять лѣтъ онъ не писалъ намъ, и мы не знаемъ, живъ онъ, или умеръ. Моя жена всегда плачетъ о немъ...» Я курилъ свою трубочку и сказалъ: «Какъ звали вашего сына, и гдѣ онъ служилъ? можетъ-быть, я знаю его...»—«Его звали Карлъ Мауеръ, и онъ служилъ въ австрійскихъ егеряхъ», сказала мой папенька. «Онъ высокій ростомъ и красивый мужчина, какъ вы», сказала сестра Mariachen. Я сказалъ: «Я знаю вашего Karl».—Amalia!—sagte auf einmal mein Vater²⁾.—«Подите сюда, здѣсь есть молодой человекъ, онъ знаетъ нашего Karl». И моя милая маменька выходитъ изъ задня дверю. Я сейчасъ узналъ его. «Вы знаете наша Karl», онъ сказалъ, посмотрѣлъ на мене и весь блѣдный за...дро...жалъ!.. «Да, я видѣлъ его», я сказалъ, и не смѣлъ поднять глаза на нее; сердце у меня *припнуть* хотѣло. «Karl мой живъ!»—сказала маменька,—слава Богу. Гдѣ онъ, мой милый, Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще разъ посмотрѣть на него, на моего любимого сына; но Богъ не хочетъ этого», и онъ заплакалъ... Я не могъ терпѣть... «Маменька! — я сказалъ, — я вашъ Карлъ!» И онъ упалъ мнѣ на руку...

Карлъ Ивановичъ закрылъ глаза, и губы его задрожали.

«Mutter!—sagte ich,—ich bin ihr Sohn, ich bin ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme»³⁾, повторилъ онъ, успокоившись немного и утирая крупныя слезы, катившіяся по его щекамъ.

«Но Богу не угодно было, чтобъ я кончилъ дни на своей родинѣ: Мнѣ суждено было несчастье! das Unglück verfolgte mich überall!..⁴⁾ Я жилъ на своей родинѣ только три мѣсяца. Въ одно воскресенье я былъ въ кофейномъ домѣ, купилъ кружку пива, курилъ свою трубочку и разговаривалъ съ своими знакомыми про Politik, про императоръ Францъ, про Napoleon, про войну, и каждый говорилъ свое мнѣніе. Подлѣ насъ сидѣлъ незнакомый господинъ въ сѣромъ Ueberrock⁵⁾, пилъ кофе, курилъ трубочку и ничего не говорилъ съ нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still⁶⁾. Когда Nachtwächter прокричалъ десять часовъ, я взялъ свою шляпу, заплатилъ деньги и пошелъ домой. Въ половинѣ ночи кто-то застучалъ въ двери. Я проснулся и сказалъ: «Кто тамъ?» «Macht auf»⁷⁾! Я сказалъ: «Скажите, кто тамъ, и я отворю». Ich sagte: «Sagt wer ihr seid und ich werde aufmachen»⁸⁾. «Macht auf im Namen des

¹⁾ Подлѣ Вѣны.

²⁾ „Амалия!“ тотчасъ же сказалъ мой отецъ.

³⁾ — Маменька! — сказалъ я, — я вашъ сынъ, я вашъ Карлъ! — и она упала мнѣ на руки.

⁴⁾ Несчастье преслѣдовало меня всюду.

⁵⁾ Въ сѣромъ сюртукѣ.

⁶⁾ Онъ курилъ свою трубку и молчалъ.

⁷⁾ Отворите!

⁸⁾ Повтореніе предыдущей фразы.

Gesetzes» ¹⁾! сказалъ за дверь. И я отворилъ. Два Soldat съ ружьями стояли за дверь, и въ комнату вошелъ незнакомый человекъ въ сѣромъ Ueberrock, который сидѣлъ подлѣ насъ въ кофейномъ домѣ. Онъ былъ шпионъ! Es war ein Spion ²⁾!.. «Пойдемте со мной!» сказалъ шпионъ. «Хорошо», я сказалъ... Я надѣлъ сапоги und Pantalon, надѣвалъ подтяжки и ходилъ по комнатѣ. Въ сердцѣ у меня кипѣло: я сказалъ—онъ подлецъ! Когда я подошелъ къ стѣнкѣ, гдѣ висѣла моя шпага, я вдругъ схватилъ ее и сказалъ: «*Ты шпионъ; защищайся! du bist ein Spion, vertheidige dich!*» Ich gab ein Hieb направо, ein Hieb ³⁾ налѣво и одинъ на голову. Шпионъ упалъ! Я схватилъ чемоданъ и деньги и прыгнулъ за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems ⁴⁾, тамъ я познакомился съ генералъ Сазинъ. Онъ полюбилъ меня, досталъ у посланника паспортъ и взялъ меня съ собой въ Россію учить дѣтей. Когда генералъ Сазинъ умеръ, ваша маменька позвала меня къ себѣ. Она сказала: «Карлъ Ивановичъ! отдаю вамъ своихъ дѣтей, любите ихъ, и я никогда не оставлю васъ, я успокою вашу старость». Теперь ея не стало, и все забыто. За свою двадцатилѣтнюю службу я долженъ теперь на старости лѣтъ идти на улицу искать свой черствый кусокъ хлѣба. *Богъ сей видитъ и сей знаетъ и на сей Его святое воля, только васъ жалко мнѣ, дѣтки!*» заключилъ Карлъ Ивановичъ, притягивая меня къ себѣ за руку и цѣлуя въ голову.

Л. Толстой.



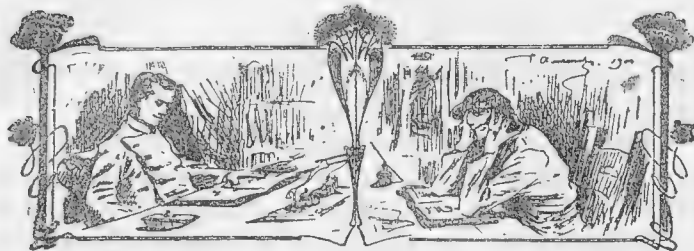
¹⁾ Именемъ закона отворите!

²⁾ Повтореніе предыдущей фразы.

³⁾ Ты шпионъ; защищайся! Я далъ ударъ направо, ударъ налѣво...

⁴⁾ Я схватилъ мой чемоданъ и кошелекъ съ деньгами и выпрыгнулъ за окошко.

Я пришелъ въ Эмс...



6. Характеры, поступки и настроенія, имѣющіе общечеловѣческое значеніе или психологическій интересъ. Передовые люди (интеллигенція).

Старшій братъ.

Я былъ только годомъ и нѣсколькими мѣсяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вмѣстѣ. Между нами не дѣлали различія старшаго и младшаго; но именно около того времени, о которомъ я говорю, я началъ принимать, что Володя не товарищъ мнѣ по годамъ, наклонностямъ и способностямъ. Мнѣ даже казалось, что Володя самъ сознаетъ свое первенство и гордится имъ. Такое убѣжденіе, можетъ-быть и ложное, внушало мнѣ самолюбіе, страдавшее при каждомъ столкновеніи съ нимъ. Онъ во всемъ стоялъ выше меня: въ забавахъ, въ ученіи, въ ссорахъ, въ умѣннн держать себя, и все это отдаляло меня отъ него и заставляло испытывать непонятныя для меня моральныя страданія. Ежели бы, когда Володѣ въ первый разъ сдѣлали голландскія рубашки со складками, я сказалъ прямо, что мнѣ весьма досадно не имѣть такихъ, я увѣренъ, что мнѣ стало бы легче и не казалось бы всякій разъ, когда онъ оправлялъ воротнички, что онъ дѣлаетъ это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, какъ мнѣ иногда казалось, понималъ меня, но старался скрывать это.

Кто не замѣчалъ тѣхъ таинственныхъ, безсловесныхъ отношеній, проявляющихся въ незамѣтной улыбкѣ, движеніи или взглядѣ между людьми, живущими постоянно вмѣстѣ: братьями, друзьями, мужемъ и женой, господиномъ и слугой, въ особенности когда люди эти не во всемъ откровенны между собой. Сколько недосказанныхъ желаній, мыслей и страха быть понятымъ выражается въ одномъ случайномъ взглядѣ, когда робко и нерѣшительно встрѣчаются ваши глаза!

Но можетъ быть меня обманывала въ этомъ отношеніи моя излишняя воспримчивость и склонность къ анализу; можетъ-быть, Володя совсѣмъ и не чувствовалъ того же, что я. Онъ былъ пылокъ, откровененъ и непостояненъ въ своихъ увлеченіяхъ. Увлекаясь самыми разнородными предметами, онъ предавался имъ всею душой.

То вдругъ на него находила страсть къ картинкамъ: онъ самъ принимался рисовать, покупалъ на всѣ свои деньги, выпрашивалъ у рисовальнаго учителя,

у папа, у бабушки; то страсть къ вещамъ, которыми онъ украшалъ свой столѣтъ, собирая ихъ по всему дому; то страсть къ романамъ, которые онъ доставалъ потихоньку и читалъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ... Я невольно увлекался его страстями; но былъ слишкомъ гордъ, чтобъ идти по его слѣдамъ, и слишкомъ молодъ и несамостоятеленъ, чтобъ избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовалъ столько, какъ счастливому, благородно-откровенному характеру Володи, особенно рѣзко выражавшемуся въ ссорахъ, случавшихся между нами. Я чувствовалъ, что онъ поступаетъ хорошо, но не могъ подражать ему.

Однажды, во время сильнѣйшаго пыла его страсти къ вещамъ, я подошелъ къ его столу и разбилъ нечаянно пустой разноцвѣтный флакончикъ.

— Кто тебя просилъ трогать мои вещи?— сказалъ вошедшій въ комнату Володя, замѣтивъ разстройство, произведенное мною въ симметріи разнообразныхъ украшеній его столика.—А гдѣ флакончикъ? Непремѣнно ты...

— Нечаянно уронилъ; онъ и разбился, что жъ за бѣда?

— Сдѣлай милость, никогда не смѣй прикасаться къ моимъ вещамъ, — сказалъ онъ, составляя куски разбитаго флакончика и съ сокрушеніемъ глядя на нихъ.

— Пожалуйста, не командуй,—отвѣчалъ я.—Разбилъ, такъ разбилъ; что жъ тутъ говорить!

И я улыбнулся, хотя мнѣ совсѣмъ не хотѣлось улыбаться.

— Да, тебѣ ничего, а мнѣ *чего*, — продолжалъ Володя, дѣлая жестъ поддержки плечомъ, который онъ наслѣдовалъ отъ папа: — разбилъ, да еще и смѣется, этакой неспособный *мальчишка*!

— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

— Не намѣренъ съ тобой браниться,—сказалъ Володя, слегка отталкивая меня: — убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебѣ говорю, не толкайся!

Володя взялъ меня за руку и хотѣлъ оттащить отъ стола; но я уже былъ раздраженъ до послѣдней степени: схватилъ столъ за ножку и опрокинулъ его. «Такъ вотъ же тебѣ!» и всѣ фарфоровыя и хрустальныя украшенія съ дребезгомъ полетѣли на полъ.

— Отвратительный мальчишка!..—закричалъ Володя, стараясь поддержать падающія вещи.

— Ну, теперь все кончено между нами,—думалъ я, выходя изъ комнаты: —мы навѣкъ поссорились».

До вечера мы не говорили другъ съ другомъ; я чувствовалъ себя виноватымъ, боялся взглянуть на него и цѣлый день не могъ ничѣмъ заняться; Володя, напротивъ, учился хорошо и, какъ всегда, послѣ обѣда разговаривалъ и смѣялся съ дѣвочками.

Какъ только учитель кончилъ классъ, я выходилъ изъ комнаты: мнѣ страшно, неловко и совѣстно было оставаться одному съ братомъ. Послѣ вечерняго класса исторіи я взялъ тетради и направился къ двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мнѣ хотѣлось подойти и помириться съ нимъ, я надулся и старался сдѣлать сердитое лицо. Володя въ это самое время поднялъ голову и съ чуть замѣтною, добродушно-насмѣшливой улыбкой, смѣло посмо-

трѣлъ на меня. Глаза наши встрѣтились, и я понялъ, что онъ понимаетъ меня, и то, что я понимаю, что онъ понимаетъ меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказалъ онъ мнѣ самымъ простымъ, несколько не патетическимъ голосомъ: — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидѣлъ.

И онъ подалъ мнѣ руку.

Какъ будто, поднимаясь все выше и выше, что-то вдругъ стало давить меня въ груди и захватывать дыханіе; но это продолжалось только одну секунду: на глазахъ показались слезы, и мнѣ стало легче.

— Прости... ме...ня, Вол...дя! — сказалъ я, пожимая его руку.

Володя смотрѣлъ на меня, однако, такъ, какъ будто никакъ не понималъ, отчего у меня слезы на глазахъ...

Л. Толстой.

Катенька и Любочка.

Катенькѣ шестнадцать лѣтъ; она выросла; угловатость формъ, застѣнчивость и неловкость движеній, свойственныя дѣвочкѣ въ переходномъ возрастѣ, уступили мѣсто гармонической свѣжести и граціозности только что распустившася цвѣтка; но она не перемѣнилась. Тѣ же свѣтло-голубые глаза и улыбающійся взглядъ, тотъ же, составляющій почти одну линію со лбомъ, прямой носикъ съ крѣпкими ноздрями и ротикъ съ свѣтлой улыбкой, тѣ же крошечныя ямочки на розовыхъ прозрачныхъ щечкахъ, тѣ же бѣленькія ручки... и къ ней по-прежнему почему-то чрезвычайно идетъ названіе *чистенькой* дѣвочки. Новаго въ ней только густая русая коса, которую она носитъ какъ большія, и молодая грудь, появленіе которой замѣтно радуется и стыдитъ ее.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась съ нею вмѣстѣ, она во всѣхъ отношеніяхъ совсѣмъ другая дѣвочка.

Любочка невысока ростомъ, и, вслѣдствіе англійской болѣзни, у нея ноги до сихъ поръ еще гусемъ и прегадкая талія. Хорошаго во всей ея фигурѣ только глаза, и глаза эти дѣйствительно прекрасны — большіе, черные, и съ такимъ неопредѣлимо-пріятнымъ выраженіемъ важности и наивности, что они не могутъ не остановить вниманія. Любочка во всемъ проста и натуральна; Катенька же какъ будто хочетъ быть похожею на кого-то. Любочка смотреть всегда прямо и иногда, остановивъ на комъ-нибудь свои огромные черные глаза, не спускаетъ ихъ такъ долго, что ее бранятъ за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротивъ, опускаетъ рѣсницы, щурится и увѣряетъ, что она близорука, тогда какъ я очень хорошо знаю, что она прекрасно видитъ. Любочка не любитъ ломаться при постороннихъ, и, когда кто-нибудь при гостяхъ начинаетъ цѣловать ее, она дуется и говоритъ, что терпѣть не можетъ *нужностей*; Катенька, напротивъ, при гостяхъ дѣлается особенно нѣжна къ Мими¹⁾ и любитъ, обнявшись съ какою-нибудь дѣвочкой, ходить по залѣ. Любочка — страшная хохотунья и иногда, въ припадкѣ смѣха, машетъ руками и бѣгаетъ по комнатѣ; Катенька, напротивъ, закрываетъ ротъ платкомъ или руками, когда начинаетъ смѣяться. Любочка всегда сидитъ прямо и ходить опустивъ руки; Катенька держитъ голову нѣсколько на бокъ и ходить сложивъ руки. Любочка всегда

¹⁾ Гувернантка.

ужасно рада, когда ей удастся поговорить съ большимъ мужчиной, и говорить, что она непременно выйдетъ замужъ за гусара; Катенька же говорить, что всѣ мужчины ей гадки, что она никогда не выйдетъ замужъ, и дѣлается совсѣмъ другая, какъ будто она боится чего-то, когда мужчина говорить съ ней. Любочка вѣчно негодуетъ на Мими за то, что ее такъ стягиваютъ корсетами, что «дышать нельзя», и любитъ покушать; Катенька, напротивъ, часто, поддѣвая палецъ подъ мысъ своего платья, показываетъ намъ, какъ оно ей широко, и бѣсть чрезвычайно мало. Любочка любитъ рисовать головки; Катенька же рисуетъ только цвѣты и бабочки. Любочка играетъ очень отчетливо Фильдовскіе концерты, нѣкоторыя сонаты Бетховена; Катенька играетъ варіаціи и вальсы, задерживаетъ темпъ, стучить, безпрестанно беретъ педаль и, прежде чѣмъ начинать играть что-нибудь, съ чувствомъ беретъ три аккорда *arpeggio*.

Но Катенька, по моему тогдашнему мнѣнію, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мнѣ нравится.

Л. Толстой.

Дмитрій Неклюдовъ.

Какъ только Дмитрій вошелъ ко мнѣ въ комнату, по его лицу, походкѣ и по свойственному ему жесту, во время дурного расположенія духа, подмигивая глазомъ, гримасливо подергивать головой на бокъ, какъ будто для того, чтобы поправить галстукъ, я понялъ, что онъ находился въ своемъ холодно-упрямомъ расположеніи духа, которое на него находило, когда онъ былъ недоволенъ собой. Въ немъ были два различные человѣка, которые оба были для меня прекрасны. Одинъ, котораго я горячо любилъ, добрый, ласковый, кроткій, веселый и съ сознаниемъ этихъ любезныхъ качествъ. Когда онъ бывалъ въ этомъ расположеніи духа, вся его наружность, звукъ голоса, всѣ движенія говорили, казалось: «Я кротокъ и добродѣтеленъ, наслаждаюсь тѣмъ, что я кротокъ и добродѣтеленъ, и вы всѣ это можете видѣть». Другой—котораго я только теперь начиналъ узнавать и предъ величавостью котораго преклонялся, былъ человѣкъ холодный, строгій къ себѣ и другимъ, гордый, религіозный до фанатизма и педантически нравственный. Въ настоящую минуту онъ былъ этимъ вторымъ человекомъ.

Л. Толстой.

Поручикъ Козельцовъ.

Въ концѣ августа, по большой ущелистой севастопольской дорогѣ, шагомъ, въ густой и жаркой пыли, ѣхала офицерская телѣжка.

Въ повозкѣ спереди, на корточкахъ, сидѣлъ денщикъ въ нанковомъ сюртукѣ и сдѣлавшейся совершенно мягкой, бывшей офицерской фуражкѣ, подергивавшій вожжами; сзади, на узлахъ и выюкахъ, покрытыхъ солдатскою шинелью, сидѣлъ пѣхотный офицеръ въ лѣтней шинели. Офицеръ былъ, сколько можно было заключить о немъ въ сидячемъ положеніи, не высокъ ростомъ, но чрезвычайно широкъ, и не столько отъ плеча до плеча, сколько отъ груди до спины, онъ былъ широкъ и плотенъ; шея и затылокъ были у него очень развиты и напряжены. Такъ называемой талии—перехвата въ срединѣ туловища—у него не было, но и живота тоже не было: напротивъ, онъ былъ скорѣе худъ, особенно въ лицѣ, покрытомъ нездоровымъ желтоватымъ загаромъ. Лицо его было бы красиво, если бы не какая-то одутловатость и мягкія, не старческія,

крупныя морщины, сливавшія и увеличивавшія черты и дававшія всему лицу общее выраженіе несвѣжести и грубости. Глаза у него были небольшіе, каріе, чрезвычайно бойкіе, даже наглые; усы очень густы, но не широкіе и обкусанные, а подбородокъ и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крѣпкою, частою и черною двухдневною бородой. Офицеръ былъ раненъ осколкомъ въ голову, на которой еще до сихъ поръ онъ носилъ повязку, и теперь, чувствуя себя уже съ недѣлю совершенно здоровымъ, изъ симферопольскаго госпиталя ѣхалъ къ полку.

Проѣзжіи офицеръ, поручикъ Козельцовъ, былъ офицеръ недюжинный. Онъ былъ не изъ тѣхъ, которые живутъ такъ-то и дѣлаютъ то-то, потому что такъ живутъ и дѣлаютъ другіе: онъ дѣлалъ все, что ему хотѣлось, а другіе ужъ дѣлали то же самое и были увѣрены, что это хорошо. Его натура была довольно богата мелкими дарами: онъ хорошо пѣлъ, игралъ на гитарѣ, говорилъ очень бойко и писалъ весьма легко, особенно казенныя бумаги, на которыхъ набилъ руку въ свою бытность баталіоннымъ адъютантомъ; но болѣе всего замѣчательна была его натура самолюбивою энергіей, которая, хотя и болѣе всего основанная на этой мелкой даровитости, была сама по себѣ черта рѣзкая и подозрительная. У него было одно изъ тѣхъ самолюбій, которое до такой степени слилось съ жизнью, и которое чаще всего развивается въ однихъ мужскихъ и особенно военныхъ кружкахъ, что онъ не понималъ другого выбора, какъ первенствовать или уничтожаться, и что самолюбіе было двигателемъ даже его внутреннихъ побужденій: онъ самъ съ собой любилъ первенствовать надъ людьми, съ которыми себя сравнивалъ. *Л. Толстой.*

Ф у с т о в ъ.

Новаго знакома моего звали Александромъ Давыдовичемъ Фустовымъ. Онъ жилъ у своей матери, довольно богатой женщины, статской совѣтницы, въ отдѣльномъ флигелькѣ, на полной свободѣ, такъ же, какъ я у тетушки. Онъ числился на службѣ по министерству двора. Я привязался къ нему искренно. Въ жизни моей я еще не встрѣчалъ молодого человѣка болѣе «симпатичнаго». Все въ немъ было миловидно и привлекательно: его стройная фигура, его походка, голосъ, и въ особенности его небольшое, тонкое лицо съ золотисто-голубыми глазами, съ изящнымъ, какъ бы кокетливо вытѣпленнымъ носикомъ, съ неизмѣнно-ласковою улыбкой на алыхъ губахъ, съ легкими кудрями мягкихъ волосъ надъ немного суженнымъ, но бѣлоснѣжнымъ лбомъ. Правъ Фустова отличался чрезвычайною ровностью и какою-то пріятною, сдержанною привѣтливостью; онъ никогда не задумывался, всегда былъ всѣмъ доволенъ; зато ни отъ чего не приходилъ въ восторгъ. Всякое излишество, даже въ хорошемъ чувствѣ, его оскорбляло. «Это дико, дико», говаривалъ онъ въ такомъ случаѣ, чуть-чуть пожмаясь и прищуривая свои золотистые глаза. И удивительныя же были глаза у Фустова! Они постоянно выражали участіе, благоволеніе и даже преданность. Я только впоследствии времени замѣтилъ, что выраженіе его глазъ зависѣло единственно отъ особеннаго ихъ склада, что оно не мѣнялось и тогда, когда онъ кушалъ супъ или закуривалъ сигарку. Аккуратность его вошла между нами въ пословицу. Правда, бабка его была изъ нѣмокъ. Природа надѣлила его разнообразными способностями. Онъ отлично танцевалъ, щегольски ѣздилъ вер-

хомъ и плавалъ превосходно, столярничалъ, точилъ, кленилъ, переплеталъ, вырѣзалъ сплутки, рисовалъ акварелью букетъ цвѣтовъ или Наполеона въ профиль въ лазоревомъ мундирѣ, съ чувствомъ игралъ на цитрѣ, зналъ множество фокусовъ, карточныхъ и иныхъ, и свѣдѣнія имѣлъ порядочныя въ механикѣ, физикѣ и химіи, но все въ мѣру. Одни языки ему не дались: даже по-французски онъ изъяснялся довольно плохо. Онъ вообще говорилъ мало, и въ нашихъ студенческихъ бесѣдахъ участвовалъ больше оживленною мягкостью взгляда и улыбки. Я не удивлялся Фустову; удивляться въ немъ было нечему, но я дорожилъ его расположеніемъ, хотя въ сущности оно выражалось только тѣмъ, что онъ во всякое время допускалъ меня до своей особы. Въ моихъ глазахъ Фустовъ былъ самымъ счастливымъ человѣкомъ на свѣтѣ. Жизнь его текла именно по маслу. Мать, братья, сестры, тетки, дядя,—все его обожали, онъ жилъ съ ними со всеми въ ладахъ необыкновенныхъ и пользовался репутаціей образцоваго родственника.

И. Тургеневъ.

Благоразуміе.

Поразмысливъ аккуратно,
Я избралъ себѣ дорожку
И иду по ней безъ шума,
Понемножку, понемножку!

Впрочемъ, я вѣдь не безстрастенъ,
Я не холоденъ душою,
И во мнѣ вѣдь закипаетъ
Ретивое, ретивое!

Если кто меня обидитъ,
Не спущу я, какъ же можно!
Изъ себя какъ разъ я выйду,
Осторожно, осторожно!

Безъ ума могу любить я,
Но любить, конечно, съ толкомъ;
Я готовъ и правду рѣзать,
Тихомолкомъ, тихомолкомъ!

Если бъ братъ мой захлебнулся,
Я бъ не сталъ махать руками,
Тотчасъ кинулся бы въ воду,
Съ пузырями, съ пузырями!

Радъ за родину сразиться!
Пусть услышу лишь картечь я—
Грудью лягу въ чистомъ полѣ,
Безъ увѣчья, безъ увѣчья!

Послужу я и въ синклитѣ
Такъ, чтобъ вѣдали потомки,
Но ужъ если пасть придется—
Такъ соломки, такъ соломки!

Кто мнѣ другъ, тотъ другъ мнѣ вѣчно,
Все родные сердцу близки,
Всѣмъ союзникамъ служу я,
По-австрійски, по-австрійски!

А. Толстой.

Коль любить, такъ безъ разсудку.

Коль любить, такъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку,
Коль ругнуть, такъ сгоряча,
Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!

Коли спорить, такъ ужъ смѣло,
Коль карать, такъ ужъ за дѣло,
Коль простить, такъ всей душой,
Коли пиръ, такъ пиръ горой!

А. Толстой.

ДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

По улицѣ столицы мчится въ припрыжку молодой еще человекъ. Его движенія веселы, бойки; глаза сияютъ, ухмыляются губы, пріятно албѣтъ умиленное лицо... Онъ весь—довольство и радость.

Что съ нимъ случилось? Досталось ли ему наслѣдство? Повысили ли его чиномъ? Спѣшить ли онъ на любовное свиданіе? Или просто—онъ хорошо позавтракалъ,—и чувство здоровья, чувство сытой силы разыграло во всѣхъ его членахъ? Ужъ не возложили ли на его шею твоей красивый осьмнугольный крестъ, о, польскій король Станиславъ!

Нѣтъ. Онъ сочинилъ клевету на знакомаго, распространилъ ее тщательно, услышалъ ее, эту самую клевету, изъ устъ другого знакомаго—и самъ ей поверилъ.

О, какъ доволенъ, какъ даже добръ въ эту минуту этотъ милый, многообщающій молодой человекъ!

И. Тургеневъ.

Е л е н а С т а х о в а .



Елена вернулась въ свою комнату, сѣла передъ раскрытымъ окномъ и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечеръ около четверти

часа у окна своей комнаты вошло у ней въ привычку. Она бесѣдовала сама съ собою въ это время, отдавала себѣ отчетъ въ протекшемъ днѣ. Ей недавно минулъ двадцатый годъ. Росту она была высокаго, лицо имѣла блѣдное и смуглое, большіе сѣрые глаза подъ круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лобъ и носъ совершенно прямые, сжатый ротъ и довольно острый подбородокъ. Ея темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной, въ голосѣ тихомъ и неровномъ, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое,—словомъ, что-то такое, что не могло всѣмъ правиться, что даже отталкивало иныхъ. Руки у ней были узкія, розовыя, съ длинными пальцами, ноги тоже узкія; она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь впередъ. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потомъ страстно привязалась къ матери, и охладѣла къ обоимъ, особенно къ отцу. Въ послѣднее время она обходилась съ матерью, какъ съ больною бабушкой; а отецъ, который гордился ею, пока она слыла за необыкновеннаго ребенка, сталъ ея

бояться, когда она выросла, и говорилъ о ней, что она какая-то восторженная республиканка, Богъ знаетъ, въ кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во вѣки вѣковъ», требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали, самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человѣку потерять ея уваженіе, — а судъ произносила она скоро, часто слишкомъ скоро, — и ужъ онъ переставалъ существовать для нея. Всѣ впечатлѣнія рѣзко ложились въ ея душу: не легко давалась ей жизнь.

Она съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра; нищія, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ; милостыню она подавала заботливо, съ невольною важностью, почти съ волненіемъ. Всѣ притѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробы, даже насѣкомыя и гады, находили въ Еленѣ покровительство и защиту: она сама кормила ихъ, не гнушалась ими. Мать не мѣшала ей, зато отецъ очень негодовалъ на свою дочь, за ея, какъ онъ выражался, пошлое нѣжничанье, и увѣрялъ, что отъ собакъ да кошекъ въ домѣ ступить негдѣ. «Леночка, — кричалъ онъ ей, бывало, — иди скорѣй, паукъ муху сосетъ, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибѣгала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая», проницательно замѣчалъ отецъ; но она его не слушала. На десятомъ году Елена познакомилась съ пищею дѣвочкой Катей и тайкомъ ходила къ ней на свиданіе въ садъ, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушки Катя не брала. Она садилась съ ней рядомъ на сухую землю, въ глуши, за кустомъ кропивы; съ чувствомъ радостнаго смиренія ѣла ея черствый хлѣбъ, слушала ея рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидѣла и все говорила о томъ, какъ она убѣжитъ отъ тетки, какъ будетъ жить на *всей Божьей волѣ*; съ тайнымъ уваженіемъ и страхомъ внимала Елена этимъ невѣдомымъ, новымъ словамъ, пристально смотрѣла на Катю, и все въ ней тогда — ея черные, быстрые, почти звѣриныя глаза, ея загорѣлыя руки, глухой голосокъ, даже ея изорванное платье — казалось Еленѣ чѣмъ-то особеннымъ, чуть не священнымъ. Елена возвращалась домой и долго потомъ думала о нищихъ, о Божьей волѣ; думала о томъ, какъ она вырѣжетъ себѣ орѣховую палку, и сумку надѣнетъ, и убѣжитъ съ Катей, какъ она будетъ скитаться по дорогамъ въ вѣнѣхъ изъ васьковъ: она однажды видѣла Катю въ такомъ вѣнѣхъ. Входилъ ли въ это время кто-нибудь изъ родныхъ въ комнату, она дичилась и глядѣла букой. Однажды она въ дождь бѣгала на свиданье съ Катей и запачкала себѣ платье: отецъ увидалъ ее и назвалъ замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся — и страшно, и чудно стало ей на сердцѣ. Катя часто напѣвала какую-то полудикую, солдатскую пѣсенку; Елена выучилась у ней этой пѣсенкѣ... Анна Васильевна подслушала ее и пришла въ негодованіе.

— Откуда ты набралась этой мерзости? — спросила она свою дочь.

Елена только посмотрѣла на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорѣе позволить растерзать себя на части, чѣмъ выдать свою тайну, и опять стало ей и страшно, и сладко на сердцѣ. Впрочемъ, знакомство ея съ Катей продолжалось недолго; бѣдная дѣвочка занемогла горячкой и черезъ нѣсколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночамъ заснуть не могла, когда узнала о смерти Катн. Последнія слова нищей дѣвочки безпрестанно звучали у ней въ ушахъ, и ей самой казалось, что ее зовутъ...

А годы шли да шли; быстро и не слышно, какъ подсиѣжныя воды, протекала молодость Елены, въ бездѣйствіи виѣшнемъ, во внутренней борьбѣ и тревогѣ. Подругъ у ней не было: изъ всѣхъ дѣвицъ, посѣщавшихъ домъ Стаховыхъ, она не сошлась ни съ одной. Родительская власть никогда не тяготѣла надъ Еленой, а съ шестнадцатилѣтняго возраста она стала почти совсѣмъ независима; она зажила собственною своею жизнью, но жизнью одинокою. Ея душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было: никто не стѣснялъ ея, никто ея не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то безмысленнымъ, не то непонятнымъ. Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи. Потомъ она утихала, даже смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное, безымянное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталыя, не взлетѣвшія крылья, но эти порывы не обходились ей даромъ. Какъ она ни старалась не выдать того, что въ ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась въ самомъ ея наружномъ спокойствіи, и родные ея часто были въ правѣ пожимать плечами, удивляться и не понимать ея «странныхъ».

И. Тургеневъ.

Горними тихо летѣла душа небесами.

Горними тихо летѣла душа небесами,
Грустныя долу она опускала рѣсницы;
Слезы, въ пространство отъ нихъ упадая звѣздами,
Свѣтлой и длинной вилнся за ней вереницей,

Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:
Что ты грустна? и о чемъ эти слезы во взорѣ?
Имъ отвѣчала она: «Я земли не забыла,
Много оставила тамъ я страданья и горя.

Здѣсь я лишь кликамъ блаженства и радости внемлю,
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби, ни злобы —
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы».

А. Толстой.

Ты жаждалъ правды, жаждалъ свѣта.

Ты жаждалъ правды, жаждалъ свѣта,
Любовью къ ближнему согрѣта
Всегда была душа твоя.

Не суету и наслаждение —
Добру высокое служенье
Считалъ ты цѣлью бытія.

И, провозвѣстникъ жизни новой,
На подвигъ трудный и суровый
Ты съ юныхъ дней себя обречь...

Съ горячей вѣрой, съ сердцемъ чистымъ,
Ты бодро шель путемъ тернистымъ,
Тщеславныхъ помысловъ далекъ.

Давно ужъ нѣтъ тебя межъ нами,
Но надъ правдивыми сердцами
Еще ты властвуешь досель.

И, духомъ падшихъ ободряя,
Горитъ звѣздой въ ночи — благая,
Тобой указанная цѣль!

Плещеевъ.

С о ф і я Б.

Я заѣхалъ къ одному помѣщику, старинному знакомому моего отца, съ давнихъ поръ поселившемуся въ городѣ Т... Я съ нимъ лѣтъ двадцать не видался; онъ успѣлъ жениться, овдовѣть и разбогатѣть. Въ теченіе нашей бесѣды въ комнату нерѣшительными, но легкими шагами, словно на цыпочкахъ, вошла дѣвушка лѣтъ семнадцати, тоненькая и худенькая. «Вотъ,—сказалъ мнѣ мой знакомый:—старшая моя дочь Софи, рекомендую; замѣнила мнѣ покойницу: хозяйничаетъ въ домѣ, за братьями и сестрами наблюдаетъ». Я вторично поклонился вошедшей дѣвушкѣ (она между тѣмъ молча опустилась на стулъ) и подумалъ про себя, что на хозяйку, на воспитательницу она мало похожа. Лицо у ней было совсѣмъ дѣтское, круглое съ маленькими, пріятными, но неподвижными чертами, голубые глазки, подъ высокими, тоже неподвижными, неровными бровями, глядѣли внимательно—почти изумленно, точно они начали замѣчать что-то для нихъ неожиданное; пухлый ротикъ, съ приподнятой верхней губой, не только не улыбался, но, казалось, не имѣлъ этой привычки вовсе; на щекахъ нѣжными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь, стояла розовая кровь подъ тонкой кожей. Пушистые бѣлокурые волосы висѣли легкими гроздьями съ обѣихъ сторонъ небольшой головы. Грудь дышала тихо, и руки какъ-то неловко и строго прижимались къ узкому стану. Голубое платье падало безъ складокъ—по-дѣтски—на маленькія ножки. Общее впечатлѣніе, производимое этой дѣвушкой, было не то, чтобы болѣзненное, но загадочное. Я увидѣлъ передъ собою не просто робѣвшую провинціальную барышню, но существо съ особеннымъ, для меня неяснымъ, отпечаткомъ. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполне понималъ, и только чувствовалъ, что мнѣ еще не удавалось встрѣтить болѣе искреннюю душу. Жалость... да! жалость возбуждала во мнѣ эта молодая, серьезная, настороженная жизнь—Богъ вѣдаетъ почему! «Не отъ земли сея», думалось мнѣ, хотя, собственно, въ выраженіи

лица не было ничего «идеального», и хотя въ гостиную mademoiselle Sophie¹⁾, очевидно, появилась для того, чтобы исполнить роль хозяйки, на которую намекалъ ее отецъ.

И. Тургеневъ.



Мадонна Сикстинская. Съ карт. Рафаэля.

Мадонна Рафаэля.

Склоняся къ юному Христу,
Его Марія осѣнила,
Любовь небесная затмила
Ея земную красоту.
А Онъ, въ прозрѣніи глубокомъ,
Уже вступая съ міромъ въ бой,
Глядитъ впередъ—и яснымъ окомъ
Голгоѳу видитъ предъ собой.

А. Толстой.

¹⁾ Мадмуазель Софи.

Единственный сынъ.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтми не всегда полезны для дѣтей... они скорѣе вредны бываютъ. Притомъ я у матушки былъ одинъ... а единственные дѣти большею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же и здоровьемъ я былъ довольно слабъ—въ матушку, на которую я и лицомъ очень походилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ—и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты—сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, будто я стою передъ полузакрытой дверью, за которой скрываются невѣдомыя тайны, стою и жду, и мѣлю—и не переступаю порога—и все размышляю о томъ, что тамъ такое находится впереди—и все жду и замираю... или засыпаю. Если бы во мнѣ билась поэтическая жилка—я бы, вѣроятно, принялся писать стихи; если бы я чувствовалъ склонность къ набожности, я бы, можетъ-быть, пошелъ въ монахи; но у меня ничего этого не было—и я продолжалъ мечтать—и ждать.

И. Тургеневъ.

Добрая женщина.

Есть въ Сибири и почти всегда не переводится нѣсколько лицъ, которыя, кажется, назначеніемъ жизни своей поставляютъ себѣ—братскій уходъ за «несчастливыми», состраданіе и соболѣзнованіе о нихъ, точно о родныхъ дѣтияхъ, совершенно безкорыстное, святое. Не могу не припомнить здѣсь вѣрнѣе об одной встрѣчѣ. Въ городѣ, въ которомъ находился нашъ острогъ, жила одна дама, Настасья Ивановна, вдова. Разумѣется, никто изъ насъ, въ бытность въ острогѣ, не могъ познакомиться съ ней лично. Казалось, назначеніемъ жизни своей она избрала помощь ссыльнымъ, но болѣе всѣхъ заботилась о насъ. Было ли въ семействѣ у ней какое-нибудь подобное же несчастье, или кто-нибудь изъ особенно дорогихъ и близкихъ ея сердцу людей пострадалъ по такому же преступленію, но только она какъ будто за особое счастье почитала сдѣлать для насъ все, что только могла. Многого она, конечно, не могла; она была очень бѣдна. Но мы, сидя въ острогѣ, чувствовали, что тамъ, за острогомъ, есть у насъ преданнѣйшій другъ. Между прочимъ, она намъ часто сообщала извѣстія, въ которыхъ мы очень нуждались. Выйдя изъ острога и отправляясь въ другой городъ, я успѣлъ побывать у ней и познакомиться съ нею лично. Она жила гдѣ-то въ форштадтѣ, у одного изъ своихъ близкихъ родственниковъ. Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна; даже нельзя было узнать, умна ли она, образована ли? Замячалась только въ ней, на каждомъ шагу, одна безконечная доброта, непреодолимое желаніе угодить, облегчить, сдѣлать для васъ непременно что-нибудь пріятное. Все это такъ и видѣлось въ ея тихихъ, добрыхъ взглядахъ. Я провелъ, вмѣстѣ съ другимъ изъ острожныхъ моихъ товарищей, у ней почти цѣлый вечеръ. Она такъ и глядѣла намъ

въ глаза, смѣялась, когда мы смѣялись, спѣшила соглашаться со всѣмъ, что бы мы ни сказали; суетилась угостить насъ хоть чѣмъ-нибудь, чѣмъ только могла. Поданъ былъ чай, закуска, какія-то сласти, и если бъ у ней были тысячи, она бы, кажется, имъ обрадовалась только потому, что могла бы лучше намъ угодить да облегчить нашихъ товарищей, оставшихся въ острогѣ. Прощаясь, она вынесла намъ по сигарочницѣ на память. Эти сигарочницы она склеила для насъ изъ картона (ужъ Богъ знаетъ, какъ онѣ были склеены), оклеила ихъ цвѣтной бумажкой, точно такую же, въ какую переплетаются краткія арифметики для дѣтскихъ школъ (а можетъ-быть, и дѣйствительно на оклейку пошла какая-нибудь арифметика). Кругомъ же обѣ папиросницы были, для красоты, оклеены тоненькимъ бордюрикомъ изъ золотой бумажки, за которую она, можетъ-быть, нарочно ходила въ лавки. «Вотъ вы курите же папироски, такъ, можетъ-быть, и пригодится вамъ», сказала она, какъ бы извиняясь робко передъ нами за свой подарокъ... Говорятъ иные (я слышалъ и читалъ это), что высочайшая любовь къ ближнему есть въ то же время и величайшій эгоизмъ. Ужъ въ чемъ тутъ-то былъ эгоизмъ—никакъ не пойму.

Достоевскій.

Б е р е з н и к о в ъ.

...Слава Богу, зима стоитъ настоящая, снѣжная, морозная, съ вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, пройтись и проѣхаться на свѣжемъ, холодномъ воздухѣ, хорошо и дома посидѣть во вьюгу и пургу, жарко растопивъ печку и взявъ въ руки хорошую книгу.

Въ одинъ изъ такихъ вьюжныхъ вечеровъ, какъ-то на-дняхъ, я и одинъ мой пріятель мирно коротали время, попивая чай, читая, кто книгу, кто газету, и испытывая самое современнѣйшее изъ удовольствій, удовольствіе нестѣснительнаго молчанія.

Нашъ молчаливый дуэтъ, обѣщавшій окончиться мирнымъ и молчаливымъ сномъ подъ шумъ метели, былъ нарушенъ появленіемъ новаго, но не молчаливаго, а, напротивъ, весьма разговорчиваго лица. Ничего особеннаго не представляетъ это новое лицо, но сказать о немъ два слова необходимо. Это былъ молодой малый или, лучше сказать, «парень» лѣтъ двадцати, по фамиліи Березниковъ. Происхожденія онъ былъ купческаго, и лѣтъ десять тому назадъ отецъ его торговалъ краснымъ товаромъ въ одномъ изъ окрестныхъ тихихъ уѣздныхъ городковъ и здѣсь же десять лѣтъ назадъ умеръ, оставивъ вдовѣ и сыну небольшой деревянный домъ и флигель съ лавкой. Мать Березникова не продолжала торговли, лавку продала, домъ подновила и отдала подъ помѣщеніе уѣздной управы, а сама стала жить съ сыномъ во флигелѣ. На деньги, которыя остались отъ продажи лавки и которыя получались съ управы, жили они не богато, но и не бѣдно; мать молодого Березникова занималась тѣмъ, что пила чай, плакала, ходила въ церковь да баловала своего сына, а сынъ росъ и ничего не дѣлалъ. Но что-то помѣшало ему сдѣлаться соврасомъ, шатуномъ, полюбить трактиръ, бильярдъ и кулацкую наживу; какая-то врожденная деликатность отталкивала его отъ этого, и хоть онъ ничего не дѣлалъ, но хотѣлъ что-нибудь дѣлать и притомъ хорошее. Въ настоящую минуту это былъ дюжій, здоровый и сильный парень, который дѣлалъ и думалъ то, что заставлялъ его дѣ-

латъ случай, хотя случай этотъ, повторяю, никогда не отзывалъ его ни въ кабаккую, ни въ кулацкую компанію. Единственный сынъ у матери, онъ не подлежалъ воинской повинности, не нуждался въ кускѣ хлѣба, былъ совершенно свободенъ, здоровъ и силенъ, но вопросъ «что дѣлать?» тѣмъ сильнѣе угнеталъ его въ деревенской и уѣздной глуши, что «нажива», которою этотъ вопросъ разрѣшается всего чаще, не прельщала его.

— Что мнѣ дѣлать? Скажите, пожалуйста!—иногда какъ бы въ изнеможении вопрошалъ этотъ здоровый и румяный юноша, неожиданно явившись изъ какихъ-нибудь странствованій, которыя онъ любилъ дѣлать пѣшкомъ и даже бѣгомъ!..

— Да вы что бы хотѣли дѣлать?

— Да чорта мнѣ хотѣтъ? Кабы я хотѣлъ, я бы не спрашивалъ...

— Вы что знаете?

— Да ни чорта я не знаю!..

— Такъ какое же вамъ дѣло? Ничего не знаете и ничего не хотите.

— Такъ неужто мнѣ пропадать?

— Ну, возьмите какое-нибудь мѣсто... на желѣзной дорогѣ... въ управѣ.

— За какимъ же чортомъ?

— Ну, все-таки будетъ занятіе!

— Да за какимъ же чортомъ мнѣ это занятіе? Жрать? Такъ у меня и безъ него есть, что ѣсть: пошелъ къ матери, похлебалъ щей—вотъ и все, а строить тамъ въ конторѣ или въ канцеляріи всякую ерунду—зачѣмъ это? Мнѣ надо знать, что я пользу дѣлаю кому-нибудь, тогда я согласенъ....

— Такъ подумайте хорошенько, можетъ, и выберете какое-нибудь дѣло...

— Ужъ я думалъ, и вижу, что камень на шею, да въ воду—одно! Впрочемъ, нѣтъ ли у васъ книгъ какихъ-нибудь? Я хочу читать. Надо читать до зарѣзу, одно спасенье... Дайте мнѣ книгъ, пожалуйста, сколько у васъ есть.

Послѣ такихъ разговоровъ Березниковъ уходилъ домой, унося съ собою цѣлый ворохъ книгъ, связавъ ихъ собственнымъ кушакомъ (онъ ходилъ въ русскомъ платьѣ). Книги были всегда самаго разнообразнаго содержанія и собранія кой-какъ: третья часть одного сочиненія, вторая другого, тутъ и романъ съ иностраннаго, и брошюра объ уходѣ за скотомъ, и толстый отчетъ земскаго собранія. Нахватавъ всего этого такъ, зря, безъ разбору и толку, и притомъ второпяхъ, подъ давленіемъ мысли о неотложнѣйшей необходимости читать «до зарѣзу»,—онъ немедленно же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходилъ домой «читать» и пропадалъ на недѣлю, на двѣ. Черезъ двѣ недѣли онъ приносилъ ворохъ прочитанныхъ книгъ и на вопросъ—«Ну, что?» отвѣчалъ: «Прочиталъ все... Башка трещитъ, Богъ знаетъ, до чего... Все хорошо и любопытно—а точно кирпичами голову заложило... Чистая смерть! Ужъ я дрова сегодня рубилъ цѣлый день—никакъ въ чувство не приду». Заходилъ разговоръ о систематическомъ чтеніи, о томъ, что такъ читать нельзя, что отъ такого безалабернаго чтенія можетъ получиться отвращеніе къ книгѣ. Березниковъ всегда соглашался, говорилъ: «Да-да-да, вѣрно», но прибавлялъ: «Только ужъ послѣ... теперь у меня башка ничего не приметъ... теперь я пойду провѣтриться... у меня есть знакомые охотники на тетеревовъ»... И уходилъ, пропадалъ опять недѣлю, двѣ-три, принося потомъ цѣлый ворохъ всевозможныхъ, хотя и въ высшей степени безпорядочныхъ разсказовъ и наблюденій:

— Ну, теперь опять давайте книгъ.

Но систематическое чтеніе никогда не удавалось; препятствовали этому живыя встрѣчи съ людьми. То идя домой съ книгами, Березниковъ встрѣтится съ овчинниками и такъ заинтересуется ихъ бытомъ, мастерствомъ и разговоромъ; что пристанетъ къ нимъ и проживетъ, «протаскается» съ ними до тѣхъ поръ, пока не пропадетъ интересъ, не станетъ скучно; и опять не нападетъ унылая минута съ неразрѣшимымъ вопросомъ, «что дѣлать?» то встрѣтится съ учителемъ и вздумаетъ самъ готовиться держать экзаменъ, натащитъ домой Ушинскаго, Корфа, Евтушевскаго, но какая-нибудь новая встрѣча съ какими-нибудь голубятниками или столярами увлекала его къ живому наблюденію, и начатое приготовленіе въ учителя ничѣмъ не оканчивалось, или во всякомъ случаѣ откладывалось въ долгій ящикъ.

Несмотря на беспорядочность жизненнаго опыта, исполненнаго случайныхъ встрѣчъ, мало-по-малу кое-что изъ вычитаннаго имъ переходило въ личныя наблюденія и иногда объясняло даже то или другое знакомство, напр., съ учителями, съ мастеровыми. Хотя и крайне беспорядочно и безобразно, но голова Березникова работала, вычитанное переносила въ жизнь, а видѣннымъ проверяла прочитанное. Но, въ концѣ-концовъ, въ головѣ этой царствовалъ все-таки хаосъ и беспорядокъ, не приводившій его ни къ чему опредѣленному, кромѣ какой-то страсти перемѣнять мѣсто, чтобы не скучать, не томиться бездѣльемъ. Знакомыхъ, и отцовскихъ, и своихъ, много было у него и въ городѣ, и по деревнямъ, между учителями, священниками, крестьянами и въ особенности между крестьянами, занимавшимися какимъ-нибудь мастерствомъ: портными, бондарями, дубильщиками, валяльщиками, и вездѣ онъ не былъ чужой, потому что приходилъ «любопытствовать» и любилъ болтать самъ. Корыстныхъ цѣлей въ немъ никто не видѣлъ, а побалагурить всякій былъ не прочь; да кромѣ того, Березниковъ и не надѣдалъ своими посѣщеніями и не всегда былъ празднымъ зрителемъ того, что дѣлаютъ люди: онъ всегда готовъ былъ подсобить и не только, въ чемъ могъ, а и въ томъ, чего не могъ.

— Ну-ка ты, парень, чего сидишь-то, лясы точишь, поди-ко, принеси дровъ, видишь, хозяйка хвораетъ, и намъ недосугъ! — скажетъ ему какой-нибудь овчинникъ среди бесѣды о томъ, о семъ, и Березниковъ не только притащитъ охапку дровъ, но и наколетъ ихъ еще на двое сутокъ впередъ.

— Добрый парень!—вотъ что говорили про него знакомые, и мы скажемъ про него то же самое.

Г. Успенскій.

П р и з ы в ъ.

Довольно демонъ радости
Леталъ съ мечомъ карающимъ
Надъ русскою землею!
Довольно рабство тяжкое
Одни пути лукавые
Открытыми, влекущими
Держало на Руси!
Надъ Русью оживающей
Святая пѣсня слышится:

То ангель милосердія,
Незримо пролетающій
Надъ нею,—души сильныя
Зоветь на честный путь:

Нейди просторною
Дорогой торною:
Страстей раба,

По ней громадная,
Къ соблазну жадная
Идетъ толпа.

О жизни искренней,
О цѣли выпренией
Тамъ мысль смѣшна,

Кипитъ тамъ вѣчная,
Безчеловѣчная
Вражда—война

За блага бренины...
Тамъ души плѣнныя,
Въ цѣпяхъ умы,

Ключомъ кипящая,
Тамъ жизнь мертвящая,
Тамъ—царство тьмы...

Иные — чистые
Пути тернистые
Обрѣтены...

Иди къ униженнымъ,
Иди къ обиженнымъ —
По ихъ стопамъ,

Гдѣ трудно дышится,
Гдѣ горе слышится,—
Будь первый тамъ!

Н. Некрасовъ.

О Г О Н Ъ К И.

Какъ-то давно, темнымъ осеннимъ вечеромъ, случилось мнѣ плыть по угрюмой сибирской рѣкѣ. Вдругъ, на поворотѣ рѣки, впереди, подъ темными горами, мелькнулъ огонекъ.

Мелькнулъ ярко, сильно, совсѣмъ близко...

— Ну, слава Богу! — сказала я съ радостью, — близко ночлегъ!

Гребецъ повернулся, посмотрѣлъ черезъ плечо на огонь и опять апатично налегъ на весло.

— Далече!

Я не повѣрилъ: огонекъ такъ и стоялъ, выступая впередъ изъ неопредѣленной тьмы. Но гребецъ былъ правъ: оказалось, дѣйствительно, далеко.

Свойство этихъ ночныхъ огней — приближаться, побѣждая тьму, и сверкать, и общаться, и манить своею близостью... Кажется, вотъ-вотъ еще два-три удара весломъ, — и путь конченъ... А между тѣмъ — далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, какъ чернила, рѣкѣ. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, въ безконечной дали, а огонекъ все стоялъ впереди, переливаясь и маня, — все такъ же близко, и все такъ же далеко...

Мнѣ часто вспоминается теперь и эта темная рѣка, затѣненная скалистыми горами, и этотъ живой огонекъ. Много огней и раньше и послѣ манили не одного меня своею близостью. Но — жизнь течетъ все въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..

В. Короленко.

Христосъ и апостолъ Іоаннъ.

Народъ кипитъ; веселье, хохотъ,
Звонъ лютней и кимваловъ грохотъ,
Кругомъ и зелень, и цвѣты,
И межъ столбовъ, у входа дома,

Парчи тяжелой переломы
Тесьмой узорной подняты.
Чертоги убраны богато,
Вездѣ горитъ хрусталь и злато,

Возницъ и коней полноъ дворъ;
Тѣснясь за трапезой великой,
Гостей пируетъ шумный хоръ,
Идетъ, сливаясь съ музыкой,
Ихъ перекрестный разговоръ.
Ничѣмъ бесѣда не стѣснима,
Они свободно говорятъ
О ненавистномъ игѣ Рима,
О томъ, какъ властвуетъ Пилать,
О ихъ старшинъ собраньи тайномъ,
Торговль, миръ и войнъ,
И мужъ томъ необычайномъ,
Что появился въ ихъ странѣ:

«Любовью къ ближнимъ пламенѣя,
Народъ смиреннѣе онъ училъ,
Онъ всѣ законы Моисея
Любви закону подчинилъ.
Не терпитъ гнѣва онъ, ни мщенья,
Онъ проповѣдуетъ прощенье,
Велитъ за зло платить добромъ.
Есть неземная сила въ немъ:
Слѣпымъ онъ возвращаетъ зрѣнье,
Даритъ и крѣпость, и движенье
Тому, кто былъ и слабъ, и хромъ.
Ему признанія не надо,
Сердце мышленье отперто,
Его пытающаго взгляда
Еще не выдержалъ никто.
Цѣля недугъ, врачуя муку,
Вездѣ Спасителемъ онъ былъ,
И всѣмъ простеръ благоую руку
И никого не осудилъ.
То, видно, Богомъ мужъ избранный.
Онъ тамъ, по бнполю Иордана,
Ходилъ, какъ посланный небесъ,
Онъ много тамъ свершилъ чудесъ.
Теперь пришелъ онъ, благодушный,
На эту сторону рѣки;
Толпой прилежной и послушной
За нимъ идутъ ученики».

Вино струится, шумъ и хохотъ,
Звонъ лютней и кимваловъ грохотъ,
Куренье, солнце и цвѣты—

И вотъ къ толпѣ, шумящей праздно,
Подходитъ мужъ благообразный.
Его чудесныя черты,
Осанка, поступь и движенья,
Во блескѣ юной красоты,
Полны огня и вдохновенья;
Его величественный видъ
Неотразимой дышитъ властью,
Къ земнымъ утѣхамъ нѣтъ участья,
И взоръ въ грядущее глядитъ.
То мужъ на смертныхъ непохожій,
Печать избранника на немъ,
Онъ свѣтель, какъ архангелъ Божій,
Когда пылающимъ мечомъ
Врага въ кромѣшныя оковы
Онъ гналъ по манію Иеговы.

И вслѣдъ за нимъ, съ спокойнымъ
видомъ,
Подходитъ къ хранимъ другой.
Въ его смиренномъ выраженьи
Восторга нѣтъ, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очеркъ дивнаго чела.
То не пророка взглядъ орлиный,
Не прелесть ангельской красы —
Дѣлятся на двѣ половины
Его волнистые волосы;
Поверхъ хитона упавая
Одѣла риза шерстяная
Простою тканью стройный ростъ,
Въ движеньяхъ скромнѣе онъ и простъ;
Ложась вокругъ устъ его прекрасныхъ,
Слегка раздвоена брада —
Такихъ очей благихъ и ясныхъ
Никто не видѣлъ никогда.
И пронеслося надъ народомъ
Какъ дуновение тишины,
И чудно благостнымъ приходомъ
Сердца гостей потрясены.
Замолкнулъ говоръ. Въ ожиданьи
Сидитъ недвижное собранье,
Тревожно духъ перевода.

А. Толстой.



Моисей. Съ статуи *Микель-Анджело*.

Пророкъ.

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынь мрачной я влачился,
И шестикрылый серафимъ
На перепутьѣ мнѣ явился;
Перстами, легкими какъ сонъ,
Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверзлись вѣщія зѣницы,

Какъ у испуганной горлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.

И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замерзшія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ,
И сердце трепетное вынулъ,

И уголь, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынь я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
«Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!»

А. Пушкинъ.

Пророкъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Вѣчный Судія
Мнѣ далъ всевѣдѣнне пророка,
Въ очахъ людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я сталъ любви
И правды чистыя ученія:
Въ меня всѣ ближніе мои
Бросали бѣшено каменья.

Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,
И вотъ, въ пустынь я живу,
Какъ птицы—даромъ Божьей пищи.

Завѣтъ Предвѣчнаго храня,
Мнѣ тварь покорна тамъ земная,

И звѣзды слушаютъ меня,
Лучами радостно играя.

Когда же черезъ шумный градъ
Я пробираюсь торопливо,
То старцы дѣтямъ говорятъ
Съ улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Глупецъ — хотѣлъ увѣрить насъ,
Что Богъ гласитъ его устами!

Смотрите жъ, дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ!
Какъ презираютъ всѣ его!»

М. Лермонтовъ.

Иуда.

I.

Христосъ молился. Потъ кровавый
Съ чела поникшаго бѣжалъ...
За родъ людской, за родъ лукавый,
Христосъ моленья возсылалъ;
Огонь святого вдохновенья
Сверкалъ въ чертахъ Его лица,
И Онъ съ улыбкой сожалѣнья
Сносилъ послѣднія мученья
И боль тернового вѣнца.
Вокругъ креста толпа стояла,
И грубый смѣхъ звучалъ порой...
Слѣпая чернь не понимала,
Кого насмѣшливо пятнала
Своей безсильною враждой.
Что сдѣлалъ Онъ? За что на муку

Онъ осужденъ, какъ рабъ, какъ тать,
И кто дерзнулъ безумно руку
На Бога своего поднять?
Онъ въ міръ вошелъ съ святой лю-
бовью,

Училъ, молился и страдалъ—
И міръ Его невинной кровью
Себя навѣки заняталъ!..
Свершилось!..

II.

Полночь голубая
Горѣла кротко надъ землей;
Въ лазури ласково сияя,
Поднялся мѣсяцъ золотой.
Онъ то задумчивымъ мерцаньемъ
За дымкой облака сверкалъ,



То снова трепетнымъ сіяньемъ
Голгоу ярко озарялъ.
Внизу, окутанный туманомъ,
Виднѣлся городъ съ высоты.
Надъ нимъ, подобно великанамъ,
Чернѣли грозные кресты.
На двухъ изъ нихъ еще висѣли
Казненные; лучи луны
Въ ихъ лица блѣдныя глядѣли
Съ своей безбрежной вышины.
Но третій крестъ былъ пустъ. Друзьями
Христосъ былъ снятъ и погребенъ,
И ихъ прощальными слезами
Гранитъ надгробный орошенъ.

Чѣе затаянное рыданье
 Звучить у средняго креста?
 Кто этотъ человѣкъ? Страданье
 Горитъ въ чертахъ его лица.
 Быть-можетъ, съ жаждой исцѣленья
 Онъ изъ далекихъ странъ спѣшилъ,
 Чтобъ Иисусъ его мученья
 Всесильнымъ словомъ облегчилъ?
 Ужъ онъ готовился съ мольбою
 Упасть къ ногамъ Христа—и вотъ,
 Вдругъ отовсюду узнаеть,
 Что Тотъ, Кого народъ толпою
 Недавно какъ царя встрѣчалъ,
 Что Тотъ, Кто свѣтъ зажегъ надъ
 міромъ,
 Кто не кадилъ земнымъ кумирамъ
 И зло открыто обличалъ,—
 Погибъ, заброшенный презрѣньемъ,
 Измятый пыткой и мученьемъ!..
 Быть-можетъ, тайный ученикъ,
 Склонясь усталой головою,
 Къ кресту Учителя приникъ
 Съ тоской и страстною мольбою?
 Быть-можетъ, грѣшникъ непрощенный
 Сюда, измученный, спѣшилъ,
 И здѣсь, колѣнопреклоненный,
 Свое раскаянье излилъ?—
 Нѣтъ, то Иуда!.. Не съ мольбой
 Пришелъ онъ—онъ не смѣлъ молиться
 Своей порочною душой;
 Не съ тѣломъ Господа проститься

Хотѣлъ онъ—онъ и самъ не зналъ,
Зачѣмъ и какъ сюда попалъ.

Когда на муку обреченный,
Толпой народа окруженный,
На мѣсто казни шелъ Христось
И крестъ, изнемогая, песь,
Иуда, притаившись, видѣлъ
Его страданье и созналъ,
Бого безумно ненавидѣлъ,
Чью жизнь на деньги промѣнялъ.
Онъ понялъ, что ему прощенья
Нѣтъ въ безпристрастныхъ небесахъ,—
И страхъ, безсильный, робкій страхъ,
Угрюмый спутникъ преступленья,
Вселился въ грудь его. Всю ночь
Въ его больномъ воображеньи
Вставалъ Христось. Напрасно прочь
Онъ гналъ докучное видѣнье;
Напрасно думалъ онъ уснуть,
Чтобъ все забыть и отдохнуть
Подъ кровомъ молчаливой ночи:
Предъ нимъ, едва сомкнетъ онъ очи,
Все тотъ же призракъ роковой
Встаетъ во мракъ, какъ живой!

Вотъ Онъ, истерзанный мученьемъ
Апостолъ истины святой,
Измятый пыткой и презрѣньемъ,
Распятый буйною толпой;
Богъ, осужденный приговоромъ
Слѣпыхъ, подкупленныхъ судей!
Вотъ Онъ!.. Горить нѣмымъ укоромъ
Небесный взоръ Его очей.
Вѣнецъ любви, вѣнецъ терновый
Чело Спасителя язвить,
И, мнится, приговоръ суровый
Въ устахъ разгнѣванныхъ звучить...'
«Прочь, непорочное видѣнье,
Уйди, не мучь больную грудь!..
Дай хоть на часъ, хоть на мгновеніе
Не жить... не помнить... отдохнуть..
Смотри: предатель твой рыдаетъ
У ногъ твоихъ... О, пощади!..

Твой взоръ мнѣ душу разрываетъ...
 Уйди... исчезни... не гляди!..
 Ты видишь: я готовъ слезами
 Мой поцѣлуй коварный смыть...
 О, дай минувшее забыть,
 Дай душу облегчить мольбами...
 Ты Богъ... Ты можешь все простить!

 А я? Я зналъ ли сожалѣнья?
 Мнѣ нѣтъ пощады, нѣтъ прощенья!»

VI.

Куда уйти отъ черныхъ думъ?
 Куда бѣжать отъ наказанья?
 Устала грудь, истерзанъ умъ,
 Въ душѣ—мятежныя страданья.
 Безмолвно въ тишинѣ ночной,
 Какъ изваянье, безъ движенья,
 Все тотъ же призракъ роковой
 Стоитъ залогомъ осужденья...
 А здѣсь, вокругъ, горя луной,
 Дыша весеннимъ обаяньемъ,
 Ночь разметалась надъ землей
 Своимъ задумчивымъ сіяньемъ.
 И спитъ серебряный Кедронъ,
 Въ туманъ прозрачный погруженъ...

VII.

Бѣги, предатель, отъ людей
 И знай: нигдѣ душѣ твоей
 Ты не найдешь успокоенья:
 Гдѣ бъ ни былъ ты, вездѣ съ тобой
 Пойдетъ твой призракъ роковой
 Залогомъ мукъ и осужденья.
 Бѣги отъ этого креста,
 Не оскверняй его лобзаньемъ:
 Онъ святъ, онъ освященъ страданьемъ

На немъ распятаго Христа!

 И онъ бѣжалъ!..

VIII.

Поль-небосклона
 Заря пожаромъ обняла
 И горы дальняго Кедрона
 Волнами блеска залила.
 Проснулось солнце за холмами
 Въ вѣнцѣ сверкающихъ лучей.
 Все ожило... шумить вѣтвями
 Лѣсъ, гордый великанъ полей.
 И въ глубинѣ его струями
 Гремить серебряный ручей...
 Въ лѣсу, гдѣ вѣчно мгла царить,
 Куда заря не проникаетъ,
 Качаясь, мрачный трупъ виситъ;
 Надъ нимъ безмолвно разстплагетъ
 Осина свой покровъ живой
 И изумрудною листвою
 Его, какъ друга, обнимаетъ.
 Погибъ Иуда... Онъ не снесъ
 Огня глухихъ своихъ страданій,
 Погибъ безъ примиренныхъ слезъ,
 Безъ сожалѣній и желаній.
 Но до послѣдняго мгновенья
 Все тотъ же призракъ роковой
 Живымъ упрекомъ преступленья
 Предъ нимъ вставалъ во тьмѣ ночной.
 Все тотъ же приговоръ суровый,
 Казалось, съ устъ Его звучалъ,
 И на челѣ вѣнецъ терновый,
 Вѣнецъ страданія лежалъ!

Надсонъ.

Церковная пѣснь ¹⁾.

Егда славнѣи ученицы на умовеніи вечери просвѣщахуся, тогда Иуда зло-
 честивый сребролюбіемъ недоговавъ омрачашеся, и беззаконнымъ судіямъ Тебе
 праведнаго Судію, предаетъ.

Виждь, имѣнній рачителю, сихъ ради удавленіе употребивша: бѣжи, нессы-
 тья души, Учителю таковая дерзнувшія.

Иже о всѣхъ благій, Господи, слава Тебѣ.

¹⁾ Великочетверговый тропарь.



Распятіе. Съ карт. Ванъ-Дика.

Слово въ великій пятокъ.

Одному благочестивому пустыннику надлежало сказать что-либо братіи, ожидавшей отъ него наставленія. Проникнутый глубокимъ чувствомъ бѣдности человѣческой, старецъ вмѣсто всякаго наставленія воскликнулъ: «Братія, давайте плакать!»—и всѣ пали на землю и пролили слезы.

Знаю, братія, что и вы ожидаете теперь слова назиданія; но уста мои не-

зольно заключаются при видѣ Господа, почивающаго во гробѣ. Кто осмѣлится разглагольствовать, когда Онъ безмолвствуетъ?.. И что можно сказать вамъ о Богѣ и Его правдѣ, о человѣкѣ и его неправдѣ, чего стократъ сильнѣе не говорили бы сіи язвы? Кого не тронуть онѣ, тотъ тронется ли отъ слабаго слова человѣческаго? На Голгоѣѣ не было проповѣди: тамъ только рыдали и били *въ перси своя* ¹⁾. И у сего гроба мѣсто не разглагольствію, а покаянію и слезамъ.

Братія! Господь и Спаситель нашъ во гробѣ: начнемъ же молиться и плакать. Аминь.

Иннокентій.

Притча рабби Менахема.

Однажды Богъ сжалился надъ землею, сплошь покрытою зломъ и бѣдствіями. И сказалъ: «Я пошлю людямъ моего любимаго ангела, котораго еще не видѣла земля»... И онъ позвалъ къ себѣ невиннаго ангела, которому имя «Невѣдѣніе зла».

Во взорѣ небожителя была такая глубокая ясность, такая тихая радость и кротость невинности, что всякій разъ, когда взоръ Бога, слишкомъ долго обращенный на грѣшную землю, омрачался,—Онъ смотрѣлъ въ лицо своего любимца, въ его синіе, сіяющіе глаза, и самъ прояснялся... Ангелъ предсталъ передъ Богомъ въ своей бѣлоснѣжной одеждѣ и поднялъ на него свои взоры, въ которыхъ искрилось юное невѣдѣніе...

И Богъ сказалъ своему ангелу: «Лети вотъ туда, на землю, пусть люди увидятъ твою ясность и устыдятся мрачнаго позора. Устыдятся и бросятъ. Твое невѣдѣніе такъ сильно, что и они забудутъ о порокахъ».

Ангелъ улыбнулся и тихо понесся къ землѣ.

Многіе его видѣли, и кому случалось взглянуть въ его чистые глаза, тотъ просвѣтлялся... И несчастный забывалъ свое горе, а злой забывалъ свою злобу, и кругомъ ангела злоба смолкала, а онъ лѣтѣлъ дальше, и попрежнему глаза его были ясны, потому что онъ не вѣдалъ зла.

Однажды онъ лѣтѣлъ надъ землею и увидѣлъ въ лѣсу человѣка. Человѣкъ шелъ по тропѣ, прислушиваясь къ лѣсному шуму, и озирался, потому что за нимъ гнались люди.

Но ангелъ не зналъ, зачѣмъ люди гонятся за человѣкомъ, и хотѣлъ спуститься къ несчастному и предстать передъ нимъ въ чашѣ, сіяя своей чистотой и кроткой невинностью.

Но въ это время тотъ человѣкъ подошелъ къ жилищу другого человѣка, который сидѣлъ на порогѣ, и, упавъ въ изнеможеніи передъ домомъ, бѣглецъ сказалъ:

— Я не могу идти дальше, я утомленъ, и за мною погоня, и меня убьютъ. Дай мнѣ пріютъ и защиту подъ твоимъ кровомъ.

И человѣкъ отвѣтилъ:

— Я знаю, кто тебя гонитъ: ихъ отцы и дѣды всегда гнали невинныхъ, а мои отцы и дѣды давали пріютъ слабымъ и угнетеннымъ!.. И я дамъ тебѣ пріютъ. Войди въ мой домъ и усни... Но прежде дай, я разобью твои цѣпи, какъ дѣлали мои отцы и дѣды и завѣщали мнѣ.

¹⁾ Лук. XXIII, 48.

И онъ сломалъ цѣпи и сильной рукой бросилъ ихъ далеко, сказавъ:

— Да не осквернится домъ отцовъ моихъ и домъ моихъ дѣтей цѣпями рабства!

И гонимый человекъ вошелъ въ домъ и уснулъ, а ангелъ все слышалъ и видѣлъ и ничего не понималъ, потому что имя его было Невѣдѣніе.

Онъ склонился надъ истомленнымъ, и улыбка заиграла на устахъ спящаго, и душа его стала ясна, а сонъ крѣпокъ.

И потомъ ангелъ подошелъ къ хозяину, сидѣвшему на порогѣ, но хозяинъ не увидѣлъ ангела Невѣдѣнія, потому что взоры его были устремлены въ лѣсъ. Онъ сторожилъ сонъ своего гостя.

Тогда ангелъ полетѣлъ дальше.

И невдалекѣ встрѣтилъ людей, усталыхъ, измученныхъ и разъяренныхъ. Потъ и злоба застилали ихъ глаза, и они не видѣли, что передъ ними ангелъ, а только спрашивали, — не видѣлъ ли онъ человека въ цѣпяхъ.

И ангелъ, протянувъ съ ясной улыбкой руку къ дому, гдѣ видѣлъ человека въ цѣпяхъ, сказалъ:

— Идите за мной, — онъ тамъ.

И самъ пошелъ впереди и привелъ ихъ къ дому, гдѣ бѣглецъ спалъ съ улыбкой на лицѣ, потому что душа бѣглеца была ясна.

И только хозяинъ слышалъ шаги людей и увидѣлъ идущихъ, онъ быстро поднялся и вошелъ въ домъ.

И, разбудивъ спавшаго, сказалъ ему:

— Братъ, ты отдохнулъ. Уходи изъ моего дома и спѣши уйти подальше, потому что сюда приближается погоня...

Человекъ испугался и сказалъ:

— Они убьютъ меня въ лѣсу. Я слишкомъ долго спалъ у тебя и потому не успѣю уйти... Горе мнѣ, я погибъ.

Но хозяинъ отвѣтилъ:

— Уходи скорѣе, а я займу ихъ здѣсь. Отцы и дѣды завѣщали мнѣ хранить сонъ гостя, и еще никто не страдалъ отъ того, что спалъ въ моемъ домѣ.

Бѣглецъ повѣрилъ и пошелъ въ лѣсъ, а хозяинъ взялъ оружіе и сталъ на порогѣ.

И люди погони, подойдя, увидѣли хозяина и сказали:

— Въ твоёмъ домѣ есть человекъ, котораго мы ищемъ убить. Отдай намъ его.

Но хозяинъ отвѣтилъ:

— Ваши отцы и дѣды всегда гнали невинныхъ, а мои отцы завѣщали мнѣ хранить сонъ гостя.

Тогда люди обнажили мечи, а ангелъ стоялъ и не понималъ ничего, потому что имя его было Невѣдѣніе.

И сталь скрестилась со сталью и громко звенѣла и визжала, оспаривая жизнь человека, который защищалъ жизнь другого...

И долго сталь сверкала, скрежетала и звенѣла, пока, наконецъ, съ короткимъ шипѣніемъ змѣи не впиалась въ грудь защитника. И онъ упалъ на порогъ своего дома, обогранный кровью...

Эта кровь брызнула изъ раны и попала на бѣлоснѣжную одежду ангела и осталась на ней алымъ пятномъ. А слухъ ангела былъ пораженъ предсмертнымъ стономъ человѣка, котораго онъ погубилъ по невѣдѣнію...

Гонители же кинулись въ домъ и никого не нашли. И, выйдя оттуда, сказали хозяину:

— Вотъ ты солгалъ, скрылъ отъ насъ истину и самъ умираешь

А хозяинъ отвѣтилъ:

— Я скрылъ отъ васъ истину, но моя правда ясна передъ Богомъ, потому что я умираю, защитивъ слабого, какъ дѣлали мои отцы и дѣды. И свою кровь я завѣщаю моимъ дѣтямъ и дѣтямъ вашимъ.

И съ этими словами онъ умеръ, а ангелъ, слышавшій всѣ слова, не понималъ ихъ смысла, потому что его имя было Невѣдѣніе...

Но лишь только взглядъ ангела упалъ на алую кровь, — ея отблескъ отразился въ его глазахъ, и они потеряли свою прежнюю ясность... Онъ поднялъ ихъ на людей съ выраженіемъ жалобы и испуга, а затѣмъ, въ ужасѣ смерти, поднялся къ престолу Бога и сталъ передъ Нимъ. И Богъ взглянулъ въ его глаза и на его одежду...

Ангелъ стоялъ передъ Нимъ, и въ глазахъ его не было ясности, а было смущеніе, и боль, и стыдъ, потому что онъ былъ обогрѣнъ кровью. И глаза ангела были мутны, потому что въ нихъ не было уже чистаго невѣдѣнія прежнихъ временъ, но они не засіяли еще скорбнымъ познаніемъ.

И Богъ омрачился, а ангелъ сказалъ съ упрекомъ:

— О Адонаи, Адонаи!.. Вотъ куда Ты послалъ своего любимца... вотъ что люди сдѣлали со мною... на моемъ сердцѣ теперь камень...

И Богъ, глядя на ангела, заплакалъ:

— О люди, люди! Родъ жестоковый и несправимый, что вы сдѣлали съ моимъ любимцемъ! Исполнилась мѣра долготерпѣнія Моего, и Я пролью на васъ гибель...

И, обратившись къ ангелу, спросилъ:

— Какъ это случилось съ тобой, и гдѣ потерялъ ты свою прежнюю ясность?

Тогда ангелъ разсказалъ Адонаю все, что съ нимъ было:

— Въ лѣсу я видѣлъ человѣка въ цѣпяхъ и другого, сидѣвшаго на порогѣ хижины. Они говорили что-то о гоненіяхъ и о защитѣ, но я ничего не понималъ. Потомъ утомленный человѣкъ вошелъ въ хижину, а я полетѣлъ дальше... Я хотѣлъ предстать передъ ними, но они меня не видѣли, потому что были заняты другимъ...

— Имъ не нужна была твоя ясность, — сказалъ Богъ. — Ранѣе ты долженъ бы предстать передъ гонителями, а передъ гонимымъ послѣ.

— Я не зналъ, — сказалъ на это ангелъ. — И дальше я встрѣтилъ другихъ людей, которыхъ глаза застилали потъ и вражда. Они спрашивали, не глядя на меня, гдѣ человѣкъ въ цѣпяхъ. Я улыбнулся имъ и указалъ хижину...

Богъ поникъ головой и сказалъ:

— Горе, великое горе!.. Ты сдѣлалъ не то, что было нужно.

А ангелъ разсказалъ до конца и воскликнулъ:

— Ты самъ послалъ меня на землю. Ты виновенъ въ томъ, что случилось, а не я!.. Сними же тяжесть, которая давитъ мнѣ сердце, сними съ моей

одежды эти отвратительныя алые пятна!.. Сдѣлай, Предвѣчный, чтобы я не *зналъ*, какъ прежде, чтобы въ душѣ моей опять воцарилась ясность святого невѣдѣнія...

И ангелъ, рыдая, склонился передъ престоломъ Бога.

Но Богъ отвѣтилъ:

— Не знаешь самъ, о чемъ просишь. Я не сдѣлаю этого, но сдѣлаю другое: вмѣсто *Невѣдѣнія* я дамъ тебѣ *Скорбное пониманіе*.

И Богъ разсказалъ ангелу, какая кровь обагрила его одежду, и сказалъ ему:

— Я заповѣдаю тебѣ носить эту кровь, какъ святыню. Это чистая кровь, пролитая на защиту слабого. И, зная это, ты будешь скорбѣть, а невѣдѣніе никогда къ тебѣ не возвратится... Даже и я не могу изгладить на скрижаляхъ временъ то, что разъ было въ прошедшемъ. И неужели ты хочешь, чтобы назади осталось все то, что было, а въ твоемъ сердцѣ царила бы ясная радость... Того ли желаешь, о томъ ли просишь?..

И, пока Богъ говорилъ, въ глазахъ ангела исчезла смущенная боль, и засвѣтилось въ нихъ скорбное знаніе, и онъ ужаснулся, и упалъ передъ престоломъ Божиимъ, и воскликнулъ:

— Нѣтъ, Всемогущій!.. Не хочу ясности невѣдѣнія!.. Оставь мнѣ навсегда мою скорбь.

И Богъ поднялъ ангела и сказалъ:

— Ты попрежнему будешь моимъ любимцемъ, и моя любовь станетъ къ тебѣ еще больше... Но отнынѣ имя тебѣ будетъ уже не *Невѣдѣніе*... Твое имя *Великая скорбь*...

И ангелъ поднялся и поднялъ глаза на Бога; и Богъ опять съ любовью смотрѣлъ въ эти глаза и видѣлъ въ нихъ... скорбь.

И ангелъ сказалъ:

— Теперь, Господи, отпусти меня опять на землю... Я спесу священную кровь праведника дѣтямъ его и дѣтямъ убійцъ... И пусть, когда они вырастутъ, ясность замѣнится въ ихъ глазахъ скорбью познанія... И тогда первые будутъ, готовы встать на защиту слабыхъ, по бычаю своего рода, и будутъ исполнять завѣщаніе отцовъ до тѣхъ поръ, пока дѣти гонителей поймутъ всю скорбь, истекающую изъ завѣщанія насильниковъ...

И, преклонясь передъ престоломъ Бога, ангелъ поднялся и, тихо взмахнувъ крылами, понесся къ землѣ, а Богъ съ любовью слѣдилъ за тихимъ полетомъ Скорби.

В. Короленко.





П о и с к и.

Ищите его по долинамъ,
Гдѣ быстрыя рѣки журчатъ,
На горныхъ вершинахъ ищите,
Гдѣ жалобно птицы кричатъ,
Въ пустынь, гдѣ странниковъ звѣзды
Путемъ незнакомымъ ведутъ.
Того, кто мнѣ жизни дороже,
Быть-можетъ, найдете вы тутъ.

Искали они его всюду,
Киня безпредѣльной враждой;
Искали въ оврагахъ, поросшихъ
Высокой, шумящей травой,
И бѣшено къ горнымъ ущельямъ
Своихъ они гнали коней;
Но тщетно: онъ былъ ужъ далеко...
Позорныхъ избѣгъ онъ цѣпей.

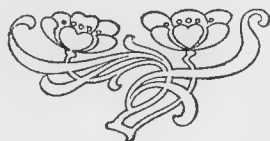
Чего они мнѣ не сулили,
Чтобъ я имъ сказала, въ какихъ
Мѣстахъ отдаленныхъ укрыться
Изгнаннику легче отъ нихъ.

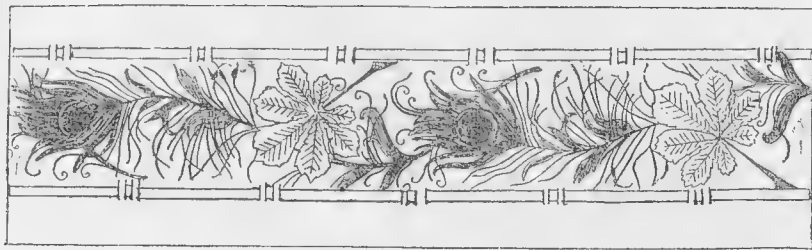
Глупцы! Если бъ даже корона
Наградой быть мнѣ могла,
Улыбку гонимаго ими
Коронѣ бы я предпочла!

Украдкой ему приносила
Я хлѣба, вина и плодовъ;
Въ объятяхъ его проводила
Я много счастливыхъ часовъ.
Отъ мѣстъ, гдѣ мой милый укрылся,
Бѣгите, враги! у него
Въ запасѣ есть мѣткія пули...
Онъ не щадятъ никого!

Искали они его всюду,
Въ долинахъ, въ лѣсу и въ горахъ
И крикомъ своимъ наводили
На женщинъ и дѣвушекъ страхъ;
А въ чащѣ лѣсной, гдѣ сплелся
И дубъ, и орѣшникъ, и вязъ,
Я сонъ бѣглеца охраняла,
Къ его изголовью склоняясь...

Плещеевъ.





7. Историческіе лица и типы; героическіе образы.

Т а р а с ъ Б у л ь б а

Булба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человекъ; когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламенемъ объялся древле-мирный славянский духъ и завелось казачество — широкая разгульная замашка русской природы, и когда всѣ порѣчья, перевозки, прибрежныя положія и удобныя мѣста усялись казаками, которымъ и счету никто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ ихъ: «Кто ихъ знаетъ! У насъ ихъ раскидано по всему степу: что байракъ, то козакъ» (гдѣ маленький пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бѣды. Въмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общою опасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, намѣсто удѣльныхъ князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе казаковъ и выгоды таковой бранной, сторожевой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетманы, избранные изъ среды самихъ же казаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско; его бы никто не увидалъ; но въ случаѣ войны и общаго движенія, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ

только червонецъ платы отъ короля, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ, — воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевозки, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво, и былъ вольный казакъ.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ; весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего права. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь казаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ своими казаками производилъ надъ ними расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили въ чемъ старшинъ и стояли предъ ними въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были басурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаѣ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.

Гоголь.

Сыновья Тараса Бульбы.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ казакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать побольше о сыновьяхъ его. Они были отданы по двѣнадцатому году въ кievскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимою дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ. Его возвратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержать его въ монастырскихъ службахъ цѣлыя двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совѣтовалъ дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду

съ лучшими. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, никакъ не избавлялся неумолимыхъ розокъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ — обобрать чужой садъ или огородъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпримчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ, не выдавалъ своихъ товарищей; никакія плети и розги не могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ, никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямоушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время.

Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе, и какъ-то болѣе развитыя. Онъ учился охотѣ и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощью изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кнѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восемнадцать лѣтъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокою, нѣжную. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать казаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы.

Гоголь.

М а з е п а.

Кто спидеть въ глубину морскую,
Покрытую недвижно льдомъ?
Кто испытующимъ умомъ
Проникнетъ бездну роковую
Души коварной? Думы въ ней,
Плоды подавленныхъ страстей,
Лежатъ погружены глубоко,
И замыселъ давнишнихъ дней,
Быть-можетъ, зрѣетъ одиноко.
Какъ знать? Но чѣмъ Мазепа злѣй,
Чѣмъ сердце въ немъ хитрѣй и лож-
нѣй,
Тѣмъ съ виду онъ неосторожнѣй
И въ обхожденіи простѣй.

Какъ онъ умѣетъ самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужія тайны разрѣшать!
Съ какой довѣрчивостью лживой,
Какъ добродушно на пирахъ,
Со старцами старикъ болтливый,
Жалѣетъ онъ о прошлыхъ дняхъ,
Свободу славить съ своевольнымъ,
Поносить власти съ недовольнымъ,
Съ ожесточеннымъ слезы льетъ,
Съ глупцомъ разумну рѣчь ведетъ!
Немногимъ, можетъ-быть, извѣстно,
Что духъ его неукротимъ,

Что радъ и честно, и бесчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ;
Что ни единой онъ обиды,
Съ тѣхъ поръ, какъ живъ, не забы-
валъ;
Что далеко преступны виды
Старикъ надменный простиралъ;

Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчины для него.

А. Пушкинъ.

Князь Серебряный.

Лѣта отъ сотворенія міра семь тысячъ семьдесятъ третьяго, или по нынѣшнему счисленію 1565 года, въ жаркій лѣтній день, 23 іюня, молодой бояринъ князь Никита Романовичъ Серебряный подъѣхалъ къ деревнѣ Медвѣдевѣ, верстъ за тридцать отъ Москвы.

За нимъ ѣхала толпа ратниковъ и холопей.

Князь провелъ цѣлыхъ пять лѣтъ въ Литвѣ. Его посылалъ царь Иванъ Васильевичъ къ королю Жигимонту подписать миръ на многія лѣта послѣ бывшей тогда войны. Но на этотъ разъ царскій выборъ вышелъ неудаченъ. Правда, Никита Романовичъ упорно отстаивалъ выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшаго посредника, но Серебряный не былъ рожденъ для переговоровъ. Отвергая тонкости посольской науки, онъ хотѣлъ вести дѣло на чистоту и, къ крайней досадѣ сопровождавшихъ его дяковъ, не позволялъ имъ никакихъ изворотовъ. Королевскіе совѣтники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушіемъ князя, выведали отъ него наши слабыя стороны и увеличили свои требованія. Тогда онъ не вытерпѣлъ: среди полного сейма ударилъ кулакомъ по столу и разорвалъ докончальную грамоту, приготовленную къ подписанію. «Вы де и съ королемъ вашимъ выюны да оглядчики! Я съ вами говорю по совѣсти, а вы все норовите какъ бы меня лукавствомъ обойти! Такъ де чинить неповадно!» Этотъ горячій поступокъ разрушилъ въ одинъ мигъ усилъхъ прежнихъ переговоровъ, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, къ счастью его, не пришло въ тотъ же день отъ Москвы повелѣніе не заключать мира, а возобновить войну. Съ радостью выѣхалъ Серебряный изъ Вильны, смѣнилъ бархатную одежду на блестящія бахтерцы, и давай бить литовцевъ, гдѣ только Богъ посылалъ. Показалъ онъ свою службу въ ратномъ дѣлѣ лучше, чѣмъ въ думномъ, и прошла про него великая хвала отъ русскихъ и литовскихъ людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами болѣе пріятнаго, чѣмъ красиваго лица его были простосердечіе и откровенность. Въ его темно-сѣрыхъ глазахъ, осѣненныхъ черными рѣсницами, наблюдатель прочелъ бы необыкновенную, безсознательную и какъ бы невольную рѣшительность, не позволявшую ему ни на мигъ задуматься въ минуту дѣйствія. Неровныя, взъерошенныя брови и косая между ними складка указывали на нѣкоторую беспорядочность и непоследовательность въ мысляхъ. Но мягко и опредѣлительно изогнутый ротъ выражалъ честную, ничѣмъ непоколебимую твердость, а улыбка—безпритязательное, почти дѣтское добродушіе, такъ что иной, пожалуй, почелъ бы его ограниченнымъ, если бы благородство, дышащее въ каждой чертѣ его, не ручалось, что онъ всегда достигнетъ сердцемъ, чего, мо-

жеть-быть, и не сумѣть объяснить себѣ умомъ. Общее впечатлѣніе было въ его пользу и рождало убѣжденіе, что можно смѣло ему довѣриться во всѣхъ случаяхъ, требующихъ рѣшимости и самоотверженія, но что обдумывать свои поступки не его дѣло, и что соображенія ему не даются.

Серебряному было лѣтъ двадцать пять. Роста онъ былъ средняго, широкъ въ плечахъ, тонокъ въ поясѣ. Густые русые волосы его были свѣтлѣе загорѣлаго лица и составляли противоположность съ темными бровями и черными рѣсницами. Короткая борода, немного темнѣе волосъ, слегка оттѣняла губы и подбородокъ.

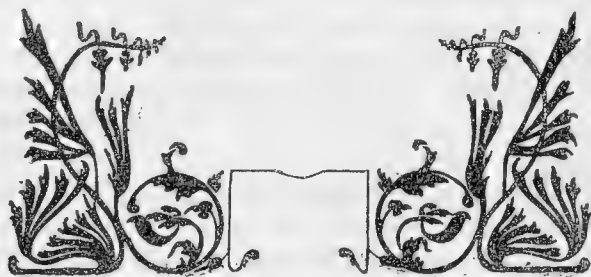
А. Толстой.

Наль, царь Нишадекій.

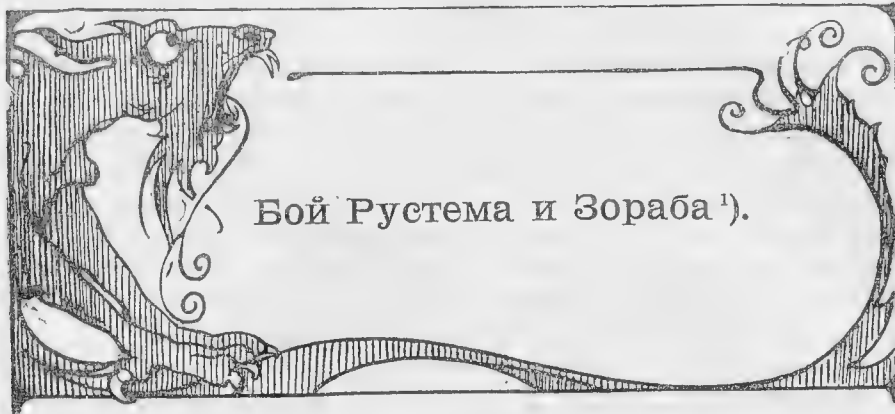
(Изъ древней индійской поэмы „Магабгарата“.)

Боги свѣта мрачнымъ богамъ отвѣчали: по волѣ
Нашей выборъ свершился въ Видарбѣ¹⁾; и младъ, и прекрасенъ
Наль; лишь одною бѣ, лишенною смысла, онъ могъ быть не избранъ, —
Онъ, непорочный, уставовъ святыхъ постоянный блюститель,
Книгъ духовныхъ внимательный чтецъ, своимъ правосудно
Правящій царствомъ; онъ, у котораго въ домѣ усердно
Приняты съ почестью, съ сладко-душистыми жертвами боги;
Онъ, правдивый, твердый и кроткій, людьми и богами
Чтимый; онъ, строгій обѣтовъ хранитель, онъ, одаренный
Набожнымъ сердцемъ, великой душою, смиреніемъ и силой;
Онъ, въ которомъ терпѣнье, умѣренность, благость въ единый
Образъ божественной прелести слиты.

Жуковский.



¹⁾ Въ Видарбѣ совершился обрядъ выбора жениха царской дочерью Дамаянти: она избрала Наль.



Бой Рустема и Зораба¹⁾.

Рустемъ воспламенился;
На Грома онъ вскочилъ,
И, грозно кригнувъ, поскакалъ...
И всё очами вслѣдъ за нимъ
Въ глубокомъ страхѣ устремились.

Первый бой.

Онъ поскакалъ туда, гдѣ богатырь,
Съ нимъ однокровный, ждалъ, гдѣ сынъ
его родной
Стоялъ, противъ отца вооруженный.
Завидѣвши одинъ другого, оба
Заржали громко пламенные кони,
Рустемовъ Громъ и конь Зорабовъ,
Сынъ Грома—тотъ, отца принесшій
На убіеніе сына: этотъ,
Принесшій сына, чтобъ погнѣбъ
Рукой отца; но какъ родные
Они привѣтственнымъ другъ друга
ржаньемъ
Окликнули... О горе! Неразумнымъ
Звѣрямъ былъ внятенъ голосъ крови,
А въ глубину души отца и сына
Онъ не проникъ — такъ бѣдный чело-

вѣкъ,
Въ безуміи страстей своихъ, и звѣря
Слѣдъ порожденнаго слѣдѣй бываетъ —
Для витязей то родственное ржанье
Призывомъ было въ бой свирѣпый,
И въ нихъ зажглось удвоенное пламя.
Остановясь одинъ противъ другого,
Отецъ и сынъ издалека другъ друга
Смертельнымъ окомъ молча озирали.
А той порой двѣ рати съ двухъ сто-

ронъ,
Свидѣтелями поединка,

Въ порядкѣ вышли боевомъ;
Ведомые могучимъ Тусомъ,
Полки блестящіе Ирана
Построились передъ шаграми;
А Баруманъ²⁾ туранскія дружины
По склону вытянулъ горы,
Однимъ крыломъ ихъ къ замку присто-

нивши.

И тихимъ рати строемъ
Одна противъ другой стояли,
Какъ двѣ на двухъ концахъ против-

ныхъ неба

Стоять грозой чернѣющія тучи;
Желанье боя только въ двухъ
Избранныхъ витязяхъ горѣло;
А вокругъ ихъ все молчало, рокового
Событія со страхомъ ожидая.

И начали богатыри съѣзжаться.
И сблизились и видѣли другъ друга
Уже въ лицо. Зорабъ,
Къ отцу влекомый тайной силой,
Съ весельемъ руки потирая,
Воскликнулъ: «Здравствуй, старый бо-

гатырь,

¹⁾ Это стихотвореніе взято изъ поэмы
„Рустемъ и Зорабъ“, составляющей часть
большой персидской эпопеи „Шахъ-Наме“
поэта Фирдуси. Въ поэмѣ воспѣвается
борьба персовъ, жителей Ирана, съ туран-
цами. Рустемъ — богатырь иранцевъ, Зо-
рабъ — богатырь туранскаго войска, сынъ
Рустема, отъ брака съ Темной, царицей
Семенгама, находившагося между Ираномъ
и Тураномъ; онъ родился, когда ужъ не
было Рустема въ Семенгамѣ.

²⁾ Предводитель туранскаго войска.

Какому я подобного и соинный
 Не видывалъ! Моя завидна участь:
 Я лѣтами еще полуребенокъ
 А мнѣ съ такимъ обдержаннымъ въ бою
 Желѣзнымъ воинномъ досталось
 Впервые силу испытать.
 Великъ твой ростъ, плечами ты ши-
 рокъ;

По много взяли силъ твоихъ
 И годы и сраженья;
 Съ моею молодостью крѣпкой,
 Сѣдой боецъ, твоя не сладить ста-
 рость».

На щеки розовыя сына
 Взглянувъ, Рустемъ сказалъ: «Не горя-
 чись,

Прекрасный, огненный младенецъ;
 Земля тверда, хотя и холодна:
 А воздухъ тепелъ, но уступчивъ.
 Я на своемъ вѣку немало
 Полей сраженья перешелъ,
 И многимъ войскамъ, гордымъ силой,
 Помогъ въ сырую землю лечь;
 Ихъ много спитъ, въ ея глубокомъ
 ложѣ

Моей рукою погребенныхъ;
 Ты скоро самъ то испытаешь,
 Когда тебя съ другими положу я
 Убитого во глубь земли холодной.
 Когда же паче ожиданья
 Моей руки ты избѣжишь,
 То ужъ тебѣ никто, ни человекъ,
 Ни крокодилъ, ни левъ не будутъ
 страшны.

Но слушай, милое дитя,
 Мнѣ жаль тебя, мнѣ жаль такую
 Младую душу изъ такого
 Прекраснаго исторгнуть тѣла;
 Ты съ туркомъ, пальма красоты,
 Не сходишь; я подобнаго тебѣ
 Не знаю и въ самомъ Иранѣ;
 Мнѣ жаль тебя». Такую рѣчь
 Привѣтно нѣжную услышавъ,
 Зорабъ почувствовалъ, что въ немъ
 Вся внутренность затрепетала.
 И онъ сказалъ: «О бодрый старецъ мой,
 Я объ одномъ спрошу тебя смиренно;

Отвѣтствуй мнѣ по правдѣ: кто ты?
 У нашихъ праотцевъ благой
 Обычай былъ себя передъ сраженьемъ
 Именовать... Какой-то голосъ
 Мнѣ тайно говоритъ, что ты
 Рустемъ, зеленого шатра
 Владѣтель». Такъ сказалъ Зорабъ...

И такъ надъ ними близко,
 Неузнанное пролетѣло
 Мгновеніе, которымъ гибель
 Могла бъ въ спасеніе обратиться
 И злоба въ нѣжную любовь...
 Но темный духъ нашелъ тутъ на Ру-
 стема;

Онъ отвѣчалъ: «Я не Рустемъ;
 И знать тебѣ нѣтъ нужды о Рустемѣ.
 Я подданный, а онъ—державный князь;
 Тебѣ жъ не съ нимъ считаться, а со
 мною;

Я у тебя въ долгу: вчера я, вѣдай,
 Во время пира, въ Бѣломъ Замкѣ¹⁾
 Ночное совершилъ убійство».

При этомъ словѣ гнѣвомъ вспыхнулъ,
 Какъ туча молніей, Зорабъ,
 И разомъ оба поскакали,
 Зорабъ направо отъ Рустема,
 Рустемъ направо отъ Зораба;
 И, отскакавъ во весь опоръ
 На выстрѣлъ изъ лука, оборотили
 Коней; и быстро полетѣли
 Другъ противъ друга двѣ грозы.
 И начался межъ сыномъ и отцомъ
 Упорный бой. Сперва на всемъ скаку
 Они пустили копыя —
 Со свистомъ пронизали
 Они щиты, подставленные имъ,
 И, пролетѣвъ сквозь нихъ, воткнулись
 въ землю.

Тутъ обнаженными мечами
 Они разить другъ друга принялись —
 Мечи, скрестясь на ударѣ,
 Переломились разомъ оба;

¹⁾ Пограничная крѣпость иранцевъ, ко-
 торую взялъ Зорабъ. На пирѣ туранцевъ
 тайно явился Рустемъ, убилъ Синда, дру-
 га Зораба, и скрылся незамѣченнымъ.

Они, мечей обломки бросивъ,
Желѣзныя схватили булавы.
Чего копье не тронуло, то мечъ
Разсѣкъ; чего не тронулъ мечъ,
То раздробила булава —
Такъ бились витязи, упорствомъ
И силою одинъ другого стоя;
И оба тягостно стонали;
На шлемахъ блеска не осталось,
Всѣ перья съ гребней облетѣли,
И ни одно кольцо на ихъ кольчугахъ
Не уцѣлѣло; всѣ избиты
Ихъ были члены; потъ ручьями
Бѣжалъ съ ихъ жаркихъ лицъ;
Подъ ними кони ихъ дымились.
Такъ на небѣ двѣ тучи громовыя,
Сшибаясь, блистаютъ и гремятъ
И молніи на молніи бросаютъ;
Онѣ другъ друга истребить
Не могутъ, но подъ ихъ войною
Земля приходитъ въ трепетъ,
Ихъ градъ тяжелый губитъ жатву,
И вся подъ ними сторона
Становится пустыня, какъ великимъ
Сраженіемъ растоптанная нива;
Когда жъ ихъ силы истощатся,
Онѣ расходятся и грозно
Издалека другъ на друга сверкаютъ
И глухо, ропотно гремятъ.
Такъ витязи, истративъ силы,
На время бой упорный прекратили.

Отецъ и сынъ избиты были оба.
Сошедъ съ коней, они имъ дали волю
Вздохнуть; а сами разошлись
И издали дивилися другъ другу.
Такъ говорилъ съ самимъ собой Зо-
рабъ:

«Не можетъ быть, чтобъ этотъ звѣрь,
Столь яростно меня терзавшій,
Былъ мой отецъ; хотя и вижу въ
немъ

Всѣ признаки описанные мнѣ,
Но о такой неимовѣрной злости
Мнѣ мать не говорила; въ ней
Любовь къ нему родиться не могла бы,
Когда бъ ея очамъ явился онъ

Съ такимъ лицомъ чудовищнаго тигра.
Но онъ и самъ называлъ себя
Убійцей Синда... нѣтъ! онъ не Ру-
стемъ;

Я клятвы долгъ святой исполню
И отомщу убійствомъ за убійство». —
Въ то время и Рустемъ съ собою
Такъ разсуждалъ: «Не отъ простой
Онъ матери; она, конечно,
Не человѣческой, а великанской
Породы: въ возрастъ его
Подобной силы не имѣлъ я.
Рустемъ, Рустемъ, остерегись;
Сбери всю крѣпость, старый богатырь;
Два войска смотреть на тебя;
Бѣда и стыдъ, когда съ тобою
Турченокъ безбородый сладитъ
И, возвратясь въ Семенгамъ,
Разскажетъ сыну твоему
О поношеніи отца его Рустема». —
Такъ, отдыхая, размышляли
Отецъ и сынъ. Тѣмъ временемъ ихъ
кони,

Усталые отъ жаркой схватки,
Но пощаженные въ бою,
Провѣтрились, остыли, освѣжились
И приготовились слова
Своихъ могучихъ сѣдоковъ
Нести на смертный поединокъ.

Еще усталые, чтобъ силы обновить,
Они за луки и за стрѣлы
Схватились. Двѣ первыя стрѣлы
На воздухъ слетѣлись остріями
И обезсиленные пали
На землю; вслѣдъ за ними частымъ
Дождемъ другія зашумѣли:
Такъ вихремъ сыплются сухіе
Съ деревьевъ листья при осеннемъ
Свистѣющемъ вѣтрѣ; такъ
Кругомъ ульевъ, когда согрѣетъ ихъ
Лучомъ весеннимъ солнце,
Сверкаютъ и жужжать, роясь, пчелы.
И непрестанно въ ихъ рукахъ
Сгибались и разгибались луки,
Визжали рѣзко тетивы;
И съ нихъ стрѣла слетала за стрѣлою,

И вслѣдъ за каждой изъ очей
Взоръ смертоносный вырывался.
Но то была лишь шутка боевая:
Отъ панцирей отпрыгивали стрѣлы,
Ихъ остріе ломалось объ шлемы,
Въ щиты вонзаясь, на нихъ
Онъ густой щетиною торчали;
Такъ солнца острые лучи,
Гранить могучій осыпая,
Ему пронзить не могутъ твердой груди,
И лишь ея поверхность разжигаютъ.
Истративъ стрѣлы, наконецъ,
Противники свои пустые
Колчаны бросили и на коней
Вскочили оба, чтобъ начать
Войну губительную снова.

Слетѣвшися на коняхъ, они
Вцѣпились крѣпкими руками
Другъ другу въ кушаки. Рустемъ
Сидѣлъ на Громѣ какъ желѣзный;
Что онъ ни схватывалъ рукою,
Сжималось въ ней, какъ мягкій воскъ;
Но онъ, схвативъ Зораба за кушакъ,
Былъ изумленъ его сопротивленьемъ:
Какъ не колеблется утѣсь,
Обвитый кольцами удава,
Такъ былъ Зорабъ неколебимъ,
Обхваченный Рустемовой рукою.
Но и Зорабъ напрасно мышцы
Напрягъ, чтобъ пошатнуть Рустема:
Какъ не колеблется земля,
Обвитая струей воздушной,
Такъ былъ Рустемъ неколебимъ,
Обхваченный Зорабовой рукою.
И вдругъ, кушакъ отцовъ покинувъ,
Какъ бѣшеный, Зорабъ впился руками
Въ его серебряные кудри,
Разсыпанные по плечамъ,
Въ сраженъи выпавъ изъ-подъ шлема;
Онъ мнилъ, что вдругъ сорветъ его съ
сѣдла;
Но онъ на немъ, какъ вылитый изъ
мѣди,
Не покачнувшись, усидѣлъ;
Одинъ лишь клочъ серебряныхъ сѣдинъ
Въ своихъ рукахъ Зорабъ увидѣлъ;

Онъ задрожалъ при этомъ видѣ.
«Ты, богатырь неодолимый
Подъ сѣдинами старика!—
Воскликнулъ онъ.—Зачѣмъ, зачѣмъ
Съ моею молодостью сильной
Свою выводилъ старость въ бой?
О, сердце у меня въ груди повороти-
лось,

Когда въ моей рукѣ остались
Твои сѣдые волосы!
Мнѣ показалось, что обидѣлъ
Богонепреступною рукою
Я голову отца святую!
О, для чего же мы другъ друга
Должны такъ яростно губить?
Уже ль другихъ здѣсь не найдется
Противниковъ, чтобъ успокоить
Въ насъ жажду огненную боя?»
Такъ воинъ молодой сказалъ;
А старый мрачно и безмолвно
Отворотилъ грозящее лицо.

И вдругъ, какъ волкъ, врывающійся въ
стадо

Овецъ, онъ кинулся съ мечомъ
На рать туранскую. Зорабъ
При этомъ видѣ повернулъ
Коня и яростный, какъ тигръ,
Изъ тростника въ табунъ коней
Однимъ влетающій прыжкомъ,
Явился межъ дружинъ Ирана;
И началъ мечъ его сверкать,
Какъ молнія, направо и налѣво;
И люди вокругъ меча валялись,
Кто безголовый, кто пронзенный
Насквозь, кто пополамъ
Пересѣченный. Той порой
Рустемъ, уже достигшій строя
Дружинъ туранскихъ, вдругъ остано-
вился,

И, обративъ глаза на рать Ирана,
Увидѣлъ, что въ ея рядахъ
Разстроженныхъ происходило;
Подумалъ онъ о бѣшенствѣ Зораба,
Подумалъ онъ о страхѣ Кейкавуса,
И быстро, не взглянувъ на турковъ,
Къ своимъ на помощь поскакалъ:

Онъ тамъ въ толпѣ густой увидѣлъ,
Какъ разсыпалъ рубины крови
На яркій поля изумрудъ
Своимъ мечомъ Зорабъ. И онъ вос-
кликнулъ:

«Остановись! Зачѣмъ на слабыхъ
Такъ бѣшено ты нападаешь?
Чѣмъ провинились они передъ тобою,
Что вдругъ на нихъ ты кинулся не-
жданный,

Какъ звѣрь голодный на добычу?»
Зорабъ, его увидя, изумился.
«А ты, мой старый богатырь,—
Воскликнулъ онъ,—за что на бѣдныхъ
турковъ

Такъ яростно ударилъ? Чѣмъ они
Тебя обидѣли? Но вижу,
Что снова ты въ сраженіе вызвать
Меня желаешь—я готовъ».
На то Рустемъ отвѣтствовалъ: «Ужъ день
Смѣнила ночь; она покою
Принадлежитъ, а не сраженію.
Послушаемся ночи; завтра,
Лишь на востокъ солнце, витязь неба,
Свой мечъ подыметъ золотой и землю
Имъ облеснетъ, мы бой возобновимъ;
Будь здѣсь, а я здѣсь буду:
Мы пѣшіе, борьбою
И боемъ рукопашнымъ дѣло
Начатое окончимъ; оба войска
Сраженія свидѣтелями будутъ;
Увидимъ мы, которое изъ двухъ
Богатыря оплачетъ своего».

Они разстались; сумраченъ былъ ве-
черъ,

И темное тревожилось небо:
Оно какъ будто въ погребальный
Покровъ заранѣ облакалось.

Второй бой

Когда павлинь денницы распустилъ
Широко хвостъ свой разноцвѣтный,
И голову подъ черное крыло
Угрюмый воронъ ночи спряталъ,
Рустемъ проснулся, опоясалъ

Губительный свой мечъ,
И, боемъ дышащій, вскочилъ
На огнедышащаго Грома;
И бурею на избранное мѣсто онъ
Помчался. Какъ звѣзда, пророкъ
Великихъ бѣдствій, пламеннымъ хво-
стомъ

На небесахъ блистаетъ ночью темной,
Такъ бѣдоносно шлемъ косматый
Блисталъ на головѣ Рустема.
Когда сошлись соперники на мѣстѣ,
Назначенномъ для поединка,
Двѣ рати съ двухъ сторонъ,
Свидѣтелями боя,
Въ порядкѣ вышли боевомъ:
Ведомые могучимъ Тусомъ,
Блестящіе полки Ирана
Построились передъ шатрами;
А Баруманъ туранскія дружины
По склону вытянулъ горы,
Однимъ крыломъ ихъ къ замку при-
слонивши.

Къ сопернику приблизившись, Зорабъ
Его спросилъ, привѣтно улынувшись:
«Покойно ль спалъ ты эту ночь,
И весело ль проснулся? Рано, рано
Ты поднялся, мой старецъ многосильный:
Прекрасенъ этотъ день—таковъ ли бу-
детъ

Прекрасенъ вечеръ, мы не знаемъ.
Но посмотри, какъ утро молодое
Вершины горъ озолотило;
Цвѣты всѣ утреннимъ виномъ
Напоены, и утренняя свѣжесть
На паству манитъ пастуховъ:
Невидимо подъ вѣтвями деревъ
И видимо въ лазури неба
Поютъ проснувшіяся птицы;
Ручьи сіяя льются;
На солнцѣ блещутъ берега;
Трава росой сверкаетъ...
Приличенъ ли такой всемірный празд-
никъ

Кровавому убійству? День такой
Не лучше ль милой жизни
Еще намъ уступить? Послушай, другъ,
Сойди съ дракона своего

На этотъ свѣжій дернъ; заключимъ
Въ виду обѣихъ нашихъ ратей
Здѣсь перемиріе, забудемъ
На этотъ день и мщеніе, и злобу:
Пусть будетъ поле крови
Для насъ палатой пировой.
И знакъ подамъ—и передъ нами
Вино заблещетъ въ кубкахъ,
И пиръ устроится роскошный,
И звонко заиграютъ струны,
И дружно мы отпразднуемъ съ тобою
День возрожденія прекрасной,
Всеоживляющей весны;
Желѣзный шлемъ ты снимешь съ го-

ловы,

А я вѣнкомъ живыхъ цвѣтовъ украсу
Твои мнѣ милыя сѣдины;
И, сидя за виномъ, мы будемъ
Бесѣдовать радушно о войнѣ,
О бранныхъ подвигахъ, и всѣмъ, что

знаю,

Я подѣлюсь съ тобой отъ сердца;
А ты свою откроешь мнѣ породу,
И славное свое мнѣ скажешь имя.
О! не упорствуй, другъ; скажи,
Скажи его—мы не должны
Такъ чужды быть другъ другу; насъ
Съ тобой вчера побратовала битва».

—

Такъ съ откровенностью младенца
Рустему говорилъ Зорабъ—
Ему во грудь изъ водъ, изъ глубины
Небесъ, изъ зелени полей
Проникнулъ тайный голосъ
Природы; на щекахъ его
Горѣло жаркое желанье;
Такъ раскрывается младая
Распуколька отъ теплаго весны
Дыханія; но если на нее
Дохнетъ морозомъ бурный сѣверъ,
Она сжимается и увядаетъ;
Такъ отъ морозныхъ словъ Рустема
Увяла вдругъ въ душѣ Зораба
Едва зацвѣтшая надежда.
«Дитя мое,—сказалъ Рустемъ,—не для
того
Сюда пришли мы, чтобъ, роскошно

На луговомъ коврѣ покоясь,
Бесѣдовать; на смертный бой
Пришли мы. Если ты
Еще годами отрокъ,
То я ужъ не дитя. Ты видишь,
Что для борьбы кушакъ стянулъ я туго;
И здѣсь давно я жду, чтобъ боевую
Съ тобой начать работу, чтобъ нарвать
Съ тобой тѣхъ розъ, какія только въ
нашемъ

Саду родятся. Свѣжесть утра
Для ратнаго благопріятна дѣла;
Она моимъ состарѣвшимся членамъ
Живую крѣпость придаетъ.
Итакъ, пока не наступилъ
Палящій зной, начнемъ
Свой мужественный споръ. Я не слы-
халъ,

Чтобъ для однихъ разсказовъ о бояхъ
Соперники на мѣстѣ боя,
Вооруженные, сходились;
Я бьюся дѣломъ, не словами.
По имени жъ себя не прежде назову,
Какъ положивъ тебя въ крови на землю:
Тогда узнаешь, чья рука тебя убила».

—

Зорабъ, воспламененный гнѣвомъ,
Воскликнулъ: «Будь по-твоему, упрямый
Старикъ! Своей судьбы никто
Не избѣжитъ; и мы увидимъ скоро,
Кто здѣсь кого принесть ей въ жертву
долженъ».

На землю спрянулъ онъ съ коня,
И громко зазвучало
Его оружіе. Рустемъ
Сошелъ поспѣшно съ Грома; тяжкій
Звукъ отъ меча его раздался,
И изъ ноженъ до половины
Онъ выпрыгнулъ. Въ молчаньи оба
Къ бѣжавшему вблизи потоку
Они пошли съ конями. У воды
Росло тамъ дерево; къ нему
Они коней ретивыхъ привязали;
И тамъ Рустемовъ Громъ
Оставленъ былъ съ конемъ Зораба.
Привѣтливо они другъ друга
Обфыркали и, ознакомясь,

Между собой нѣмую завели
Бесѣду; какъ друзья давнишніе, они
Подножную траву щипали вмѣстѣ,
И головы протягивали дружно
Къ ручью за свѣжею водою,
И шеями другъ друга обнимали,
Какъ будто угадавъ,
Какое близкое родство межъ ними было.
А между тѣмъ отецъ и сынъ
На мѣсто боя грозно шли,
Другъ другу смерть въ душѣ готова.

Они плотнѣй стянули кушаки.
И рукава до самыхъ плечъ
Могучихъ засучили;
Ужасно ихъ наморщили лица,
И загорѣлись глаза,
И, разомъ бросясь другъ на друга,
Какъ разозлившіеся тигры,
Они руками обхватились:
Два тѣла вдругъ слились въ одно,
Вокругъ котораго четыре
Желѣзные руки, какъ змѣи,
Въ него вдаваясь, переплетались.
Какъ будто сплавленные крѣпко
Они другъ друга, грудь на грудь,
Тѣснили, перли, гнули, жали—
Напрасно; камень и желѣзо
Могли бы руки ихъ расплюснуть,
Но пошатнуть не могъ ни сына
Отецъ, ни сынъ отца; дыханье
Спиралось въ ихъ груди; глаза ихъ,
кровью

Налитые, какъ уголья горѣли;
Ихъ ноги были врыты въ землю —
Но ни одинъ не могъ другого
Ни потрясти, ни наклонить,
Ни приподнять, ни сдвинуть съ мѣста;
Напрасны были ихъ порывы,
Напрасны были ихъ напоры,
Напрасно было ихъ боренье,
Ихъ трепетанье, ихъ кипѣнье —
Неодолимъ, неколебимъ
Остался каждый. Наконецъ,
Отбросивъ тщетную борьбу,
Они рѣшились испытать,
Кому кого удастся

Поднять съ земли и опрокинуть.
И, разорвавшись, разомъ отскочили
Отецъ и сынъ, и, разомъ снова
Сбѣжавшіеся, какъ крючья, руки
За кушаки засунули другъ другу.
И вдругъ Рустемъ тряхнулъ Зораба
Такъ сильно, что съ земли
Взорвалъ его на воздухъ; какъ свинецъ,
Всей тяжестью Зорабъ на грудь отца
Обрушился и повалилъ
Его на землю подъ себя.
Не зная самъ, какъ могъ онъ очутиться
На немъ, его къ землѣ онъ придавилъ
Колѣномъ, выхватилъ кинжалъ,
И былъ готовъ пронзить имъ грудь
Подъ нимъ лежавшаго Рустема.

Рустемъ, увидя надъ собою
Желѣзо, возопилъ: «Остановись!
Что хочешь дѣлать? Если ты
Породой знаменитъ, не осрамляй
Ни самого себя, ни предковъ
Постыднымъ дѣломъ: межъ суровыхъ
Родяся турковъ, ты не знаешь
Обычаевъ Ирана—знай же,
Что здѣсь никто, кому въ борьбѣ
Соперника удастся одолѣть,
Его не умерщвляетъ, но ему
Даетъ съ собою испытать
Въ другой разъ силу; если жъ и тогда
Онъ побѣдитъ, то властенъ онъ
И умертвить врага, и дать ему пощаду.
Таковъ святой иранскій нашъ обычай;
И стыдъ тому, кѣмъ будетъ онъ на-
рушенъ!»

Такъ говорилъ Рустемъ, прибѣгнувъ
(Чтобъ отъ себя погибель отвратить)
Къ обману. «Я,—отвѣтствовалъ Зорабъ,—
Не слыхивалъ, чтобъ гдѣ такой обычай
Водился; но скажи мнѣ, соблюдалъ ли
Его Рустемъ?» На это возразилъ
Рустемъ: «Какое дѣло намъ
До твоего Рустема? Если жъ
Ты хочешь знать, то и Рустемъ
Обычаю Ирана былъ покоренъ».
При этомъ словѣ опустилъ
Зорабъ кинжалъ, и руку подаль

Лежачему, чтобъ онъ съ земли поднялся.
Легко повѣрилъ онъ: простому сердцу
Коварство было незнакомо;
Незлобный, какъ младенецъ, былъ онъ
Великодушенъ, какъ герой;
А темная рука судьбы
Его къ погибели стремилась неизбежно.
Обманомъ спасшійся Рустемъ
Негодовалъ, что для спасенья
Былъ принужденъ обманъ употребить;
Поднявшися съ земли, онъ отряхнулся,
И противъ воли покраснѣлъ,
Взглянувъ на сына; а Зорабъ
Ему сказалъ съ усмѣшкой: «Отдохни,
Мой старый богатырь; я скоро
Опять здѣсь буду, и тогда,
Какъ слѣдуетъ, начатое мы кончимъ».
Сѣвъ на коня, онъ поскакалъ
Въ ту сторону, гдѣ по горѣ
Туранское стояло строенъ войско;
Вдругъ передъ нимъ вскочила анти-
лопа, —
И весело за нею онъ погнался,
Забывъ о близкомъ часѣ роковомъ.

Третій бой.

Рустемъ, избавясь отъ бѣды,
Одинъ остался; нѣсколько мгновений
Онъ былъ объятъ глубокой думой;
вдругъ —
Какъ будто что напомнилось ему —
Пошелъ поспѣшнымъ шагомъ
Къ потоку, гдѣ его могучій Громъ
Подъ деревомъ привязанный стоялъ.
Была недалеко оттуда
Утесистая дебрь. И много лѣтъ
Прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ этой
дебри
Имѣлъ Рустемъ свиданье съ горнымъ
духомъ.
Въ то время былъ онъ одаренъ
Такою непомерной силой,
Что не врагамъ однимъ, и самому
Ему она была во вредъ:
Его земля не выносила;
Когда онъ шелъ по каменному краю,

Какъ на пескѣ, глубокіе слѣды
Отъ ногъ его на камняхъ оставались.
Такъ нѣкогда съ тяжелою добычей
Отнятою у турковъ, онъ
Во мракѣ ночи пробирался
Съ трудомъ великимъ тою дебрюю;
При каждомъ шагѣ увязали
Его по щиколотку ноги въ землю;
Онъ ее, какъ плугъ желѣзный, рыли.
Вдругъ близъ него во тмѣ раздался
Осиплый хохотъ. «Кто хохочетъ?» гнѣвно
Спросилъ Рустемъ. Глухой отвѣтъ
былъ: «Я!» —

«А ты кто?» — «Горный духъ». — «Чему
смѣешься?» —

«Смѣюсь тому, что ты, силачъ,
Съ своей не можешь сладить силой;
Она чрезмѣрна для тебя.
Отдай на сохраненье мнѣ
Ея излишекъ; если,
Когда отъ лѣтъ твои разслабнутъ члены,
Она тебѣ понадобится снова,
Приди сюда и кликни — я откликнусь,
И отъ меня ее сполна опять
Получишь ты безпрекословно».
И духу горному Рустемъ
На сбереженъе отдалъ
Излишекъ силы. И теперь,
Когда отъ лѣтъ его разслабили члены,
Пришелъ онъ въ дебрь у духа взять
Обратно ввѣренный залогъ;
Онъ чувствовалъ, что силой половиной
Ему не одолѣть Зораба.
И въ ярости съ собой онъ говорилъ:
«Онъ жить не долженъ; имъ въ виду
Ирана былъ я опозоренъ;
Онъ смѣлъ копьемъ стать на грудь
Упавшаго къ ногамъ его Рустема;
И имъ къ постыдному обману
Рустемъ, дотолѣ безпорочный,
Былъ приневоленъ, чтобъ спасти
Свою обруганную жизнь.
Не потерплю, не потерплю,
Чтобъ на одной землѣ со мною
Хоть мигъ одинъ могъ дышать
Создатель моего позора».

Такъ думалъ онъ, вступая въ глубину
Утесистой, пустынной дебри.
Тамъ на престолѣ скалъ мохнатыхъ
Сидѣлъ могучій духъ. И онъ увидѣлъ,
Что кто-то, мрачный, озирался
По сторонамъ, ущельемъ шель;
И понялъ духъ, что путникъ
Искалъ свиданья съ нимъ; густою мглой
Была его покрыта голова,
Какъ шлемомъ; онъ дохнулъ, и мгла
Слетѣла съ головы; и духъ
Сталъ видимъ, хмурый и туманный;
И онъ спросилъ: «Къ кому пришелъ ты?»—
«Къ тебѣ,—отвѣтствовалъ Рустемъ.—
Я узнаю тебя; ты все таковъ же,
Какимъ давно на этомъ мѣстѣ
Со мною встрѣтился впервые;
Не устарѣлъ, не посѣдѣлъ; а ты
Меня узналъ ли?» Темный духъ
Отвѣтствовалъ: «Съ трудомъ; ты сталъ
И старъ, и сѣдъ. Скажи жъ, зачѣмъ
тебя

Твои хилѣющія ноги
Въ мою пустыню принесли?»
Рустемъ сказалъ: «Отдай обратно
Мою мнѣ силу. Я донинѣ
Доволенъ былъ однимъ ея участкомъ;
Теперь она нужна мнѣ вся.
Отдай мнѣ, духъ, ея излишекъ,
Оставленный тебѣ на сохраненье».
Духъ отвѣчалъ: «Рустемъ, навѣки
Теряетъ силу человекъ,
Когда она его сама съ годами,
Медлительно, неудержимо
И неозвратно покидаетъ;
Но ты свою мнѣ силу,
Во цвѣтѣ лѣтъ, по доброй волѣ
На сбереженіе отдалъ самъ—
И мной тебѣ она сбережена:
Въ груди гранита моего
Цѣлѣе, чѣмъ въ твоей груди,
Неизмѣненная, она
Лежитъ. Но для чего, Рустемъ,
На плечи дряхлыя свои
Такой великій грузъ ты хочешь
Такъ поздно возложить? Остерегись,
Съдой боецъ; ты на себя

Наша рѣчь. Кн. III.

Кладешь бѣду. Твое желанье
Исполнить я не отрекуся,
И если ты рѣшился твердо
Взять отъ меня залогъ свой роковой,
Возьми, по знай: возьмешь не на благое,
А на губительное дѣло.
Еще не поздно; мой совѣтъ
Спасителемъ; прими его, Рустемъ:
Оставь свою въ покоѣ силу;
Ты славныхъ дѣлъ немало совершилъ—
Доволенъ будь; страшуся я,
Что на себя своимъ послѣднимъ дѣломъ
Ты бѣдствіе великое накличешь,
И самъ своею силою
Свою погубишь силу».

Тѣмъ временемъ Зорабъ, съ охоты
На мѣсто боя возвратясь,
Въ недоумѣніи стоялъ и озирался—
Рустема не было. И онъ не зная,
Дождаться ли его, или удалиться.
А съ неба день ужъ начиналъ
Сходить, и тѣни становились
Длиннѣе. Но... Зорабовъ часъ ударилъ;
Зорабъ остался; онъ подумалъ:
«Соперникъ мой меня
Здѣсь долго утромъ ждалъ—
Я вечеромъ его дожидаться долженъ.
А вечеръ вышелъ не таковъ,
Какимъ его намъ утро обѣщало,
И солнце сѣло, въ небесахъ
Зарю кровавую оставя.
Но гдѣ же онъ?..» И въ этотъ мигъ
На заревѣ заката отразился,
Какъ темный метеоръ, огромный станъ
Рустема;

Зорабъ невольно содрогнулся.
Какъ будто чародѣйной силой
Преображенный, чудно
Блестающій, помолодѣлый,
Представился очамъ его Рустемъ.
Онъ на него глядѣлъ въ недоумѣніи,
И, не посмѣвъ спросить, гдѣ онъ такъ
долго
Промедлилъ, шопотомъ сказалъ: «Долж-
ны ли
Мы продолжать? До наступленія ночи

Успѣмъ ли?..» — «Успѣмъ!» перебилъ
Его слова Рустемъ сурово.
И вышли — яростный отецъ
На сына съ силою двойною,
И на отца оторопѣлый сынъ
Съ полуразрушенною силой.
Восходить день, когда нисходитъ ночь,
Восходить ночь, когда нисходитъ день —
Такъ и теперь настала чередъ Рустему.
Вечерней мглою затянувшись,
День удалившійся простеръ
Полутуманное мерцанье
Надъ мѣстомъ бѣдствія и крови;
Два воинства стояли тамъ
Безмолвными свидѣтелями боя...
Но какъ онъ былъ? И что свершилось?
Того ни чье не зрѣло око...
Они сошлись — и выигъ всему конецъ;
Рустемъ рванулъ — Зорабъ упалъ къ его
погамъ;
Рустемъ давнулъ — и въ грудь Зораба
Глубоко врѣзался кинжалъ.

Зорабъ, смертельно пораженный,
Сказалъ: «О ты, невѣрный обольститель!
Такая ль отъ тебя награда
За то, что былъ ты мною пощажень?
Ты небыллицей о Рустемѣ,
Ты именемъ Рустема жизнь мою,
Какъ воръ ночной, укралъ. Но будь
Ты птицей въ воздухѣ или рыбою въ
водѣ,

Не избѣжишь, хотя и въ гробѣ
Лежать я буду, мщенья отъ Рустема,
Когда раздастся всюду слухъ
(А онъ раздастся скоро),
Что здѣсь предательски зарѣзанъ
Тобою сынъ Рустема и Темины».
Отъ этихъ словъ затрепеталъ
Рустемъ, какъ будто вдругъ ударомъ
грома
Пронзенный, съ головы до ногъ.
«Что говоришь ты, сынъ бѣды? —
Воскликнулъ онъ. — Скорѣе отвѣчай:
Кто твой отецъ?» — «Я сынъ Рустема
и Темины, —
Съ блеснувшей гордостью на блѣдномъ

Лицѣ сказалъ Зорабъ. —
Отецъ мой стражъ Ирана многославный;
А мать моя краса и слава Семенгама.
И ею былъ сюда я посланъ
Отыскивать отца, столь много лѣтъ
Съ ней разлученнаго. Чтобъ могъ
Меня Рустемъ признать за сына,
Я долженъ былъ ему повязку, на про-
щаньи

Имъ данную Теминѣ, показать;
И чтобъ сберечь ее вѣрнѣй,
Не на рукѣ, а на груди
Всегда носилъ я ту повязку;
Открой мнѣ грудь — увидишь самъ.
Такъ говорилъ онъ; отъ страданья
Душа рвалась изъ Рустема.
Дрожа, какъ листъ, одежду онъ рас-
крылъ...

И тамъ (увидѣлъ онъ) сидѣлъ,
Какъ жаба черная на бѣлыхъ розахъ,
Въ груди кинжалъ до рукояти
Въ нее вонзенный, какъ въ ножни.
Его Рустемъ изъ раны вынулъ;
И быстро побѣжала съ жизнью
Струя горячей крови;
И яркимъ пурпуромъ ея
Рустемова повязка облилася.
Онъ поблѣднѣлъ, ее увидя,
И глухо прошепталъ,
Какъ будто задушенный:
«Зорабъ, ты — сынъ мой... Я — Рустемъ!»

И долго, ужасомъ окамененный,
Смотрѣлъ онъ мутными глазами
На сына. Вдругъ онъ дико застоналъ...
Такъ стонетъ тигръ: въ кусты залегши,
Ярмый жаждой крови, ждетъ онъ,
Чтобъ мимо быкъ изъ стада пробѣжалъ
Его когтямъ въ добычу.
И вдругъ его единственный тигренокъ,
Имъ въ логѣ брошенный, шумя
Въ кустахъ, бѣжитъ: и на него,
Слѣпой отъ голода, отецъ въ остерве-
пѣнны

Бросается, его когтями
На части рветъ и вдругъ,
Узнавши, кто такъ жалко

Трепещется подъ лапами его,
Пускаетъ стонъ, какого никогда
Не издавалъ дотолѣ,—стонъ
Разорваннаго сердцемъ тигра —
Таковъ былъ страшный стонъ Рустема;
Такъ заставъ, со вѣхъ онъ ногъ,
Какъ будто вдругъ убитый изповалъ,
На сына грянулся. Всю память поте-
равъ,

Впервые сердцемъ сокрушенный,
Недвижимымъ, окостенѣлымъ
Лежалъ онъ мертвецомъ. Его холодной
Рукою стиснутый, смертельно блѣдный,
Смертельно раненый, лежалъ съ нимъ
рядомъ сынъ;

Еще его лилася кровь,
Еще приподымало грудь ему
Дыханіе; онъ чувствовалъ; онъ видѣлъ;
Онъ радовался, умирая,
Что близко былъ отецъ,
Его отецъ, его убійца,
Котораго такъ жадно онъ желалъ,
Такъ силился найти, и, наконецъ, такъ
страшно
Нашелъ... И онъ теперь (какъ нака-
нунѣ

Ему привидѣлось во снѣ)
Въ его объятіяхъ лежалъ съ любовью
дѣтской.

Тѣмъ временемъ, не видя ничего,
Въ вечернемъ мракѣ оба войска
Стояли, молча. Вдругъ отъ мѣста бое-
вого

Дошелъ до нихъ протяжный стонъ;
И все опять утихло;
И каждый угадалъ,
Что тамъ бѣда великая свершилась.
Но долго заглянуть туда
Не смѣлъ никто; когда же, наконецъ,
Нашлись отважные и подойти
Дерзнули къ мѣсту роковому,
Они сперва тамъ встрѣтили коней,
Подъ деревомъ стоявшихъ праздно.
Увидя, что престолъ Рустемовъ Громъ
Былъ пустъ, они пришли въ великій
ужасъ,

И опрометью въ станъ
Всѣ бросились, крича: «Рустемъ
Убить! На Громъ нѣтъ Рустема!»
Тогда нашелъ на войско трепеть;
Какъ море въ бурю, тяжело, глубоко
Оно заволиновалось; страшный
Мятежъ въ немъ загремѣлъ;
И шумною волною
Оно все хлынуло впередъ
Но прежде, чѣмъ оно прійти успѣло
къ мѣсту,

Достигъ туда его далекій шумъ;
И имъ Рустемъ близъ сына
Отъ сна смертельнаго къ смертельному
утраданью

Былъ пробужденъ; и тяжело
Онъ застоналъ — но тихимъ словомъ
сынъ
Его смирилъ. Последнее дыханье,
Последній свѣтъ души своей онъ со-
бралъ,

И на его блѣднѣющихъ устахъ
Чуть слышную музыкой зазвучала
Прискорбно-сладостная рѣчь;
И тихо рѣчь лилася
Какъ теплая, слабѣющая кровь,
Все медленнѣй бѣжавшая изъ груди.

«Отецъ, пока еще во мнѣ
Есть жизнь, пока еще оттуда
Никто не подошелъ, къ моимъ словамъ
Склони твой слухъ. О! лучшее изъ нихъ,
Мое сладчайшее, мной въ первый разъ
Пронзенное на свѣтъ слово:
Отецъ! произношу
Въ послѣдній жизни часъ; имъ горечь
смерти

Усладжена, за гордое желанье
По славѣ подвиговъ достойнымъ
Рустемовымъ назваться сыномъ,
И за надежду нѣкогда съ нимъ вмѣстѣ
Надъ всею властвовать землею,
Которой самъ теперь я сталъ подвла-
стенъ,

Недорого я заплатилъ. О чемъ же,
Рустемъ, крушишься? О, не плачь!
Не ты, не ты меня убилъ;

Въ утробѣ матери на то
И быть звѣздами предназначень;
На то и Синдъ напрасно ею
Быль посланъ, чтобъ отца мнѣ указать;
На то и ты былъ долженъ Синда ночью
Убить, чтобъ ужъ никто не могъ
Насъ во-время другъ съ другомъ по-
знакомить.

Когда молва о гибели моей
До милой матери достигнетъ,
Заплачетъ жалобно о сынѣ
Безъ жалобъ на отца она.
Ты ей пошли мои доспѣхи
И возврати повязку роковую,
Напрасно данную тобою ей,
А ею мнѣ; позволь, чтобъ Баруманъ
Назадъ отвелъ мои дружины съ миромъ,
Онъ сюда пришли за мною,
И безъ меня въ сраженіе не пойдутъ;
Не мсти Хеджиру ¹⁾ за упорство,
Съ какимъ онъ, вопреки
Моимъ всѣмъ просьбамъ и угрозамъ,
Тебя назвать отрекся... Ахъ, о томъ
Я умолялъ напрасно и тебя;
Пускай впольнѣ останутся Гудерсу ²⁾
Его всѣ восемьдесятъ сыновей,
Тогда, какъ твой единственный лежать
Здѣсь будетъ мертвый; пусть владѣсть
Хеджиръ и Бѣлымъ Замкомъ;
Мое же тѣло повели
Отнести въ Сабулъ ³⁾ и положить
Туда, гдѣ всѣ положены
Мои прославленные предки;
А здѣсь пускай раскинуть надо мною
Рустемовъ царственный шатеръ.
Такъ навсегда съ землею я прощаюсь...
Пришелъ какъ молнія; ушелъ какъ
вѣтеръ...
А ты, Рустемъ, въ послѣдній разъ те-
перь
На отходящее дитя свое взгляни,

¹⁾ Одинъ изъ начальниковъ Бѣлаго замка, котораго одолѣлъ въ единоборствѣ Зорабъ.

²⁾ Приближенный персидскаго шаха Кей-кавуса.

³⁾ Владѣнія Рустема.

И прежде, чѣмъ оно утратить силу
слышать,
Промолви вслухъ: Зорабъ, ты—сынъ
Рустема».

Такъ, умирая, говорилъ
Прекрасный юноша. Рустемъ молчалъ;
Напрасно сплился уста
Онъ растворить, онъ загвождены
Желѣзной судорогой были.
И молча онъ смотрѣлъ, какъ тихо гасла
Вдругъ догорѣвшая лампада.
Такъ на послѣднюю струю
Зари вечерней смотритъ путникъ;
Когда жъ и слѣдъ ея на небесахъ
Исчезнетъ, одинокъ, въ пустынѣ тем-
ноты

Онъ остается, и ему
Ужъ никакого на пути
Не руководствуетъ сіянье—
Такъ для Рустема жизни свѣтъ
Съ душой Зораба гасъ навѣки.
Тѣмъ временемъ и громъ, и шумъ
Дружинъ бѣгущихъ приближался;
Рустемъ въ разстройствѣ скорби
Неистово отъ сына поднялся,
И къ войску выступилъ навстрѣчу,
Окровавленный, весь въ пыли,
Съ могильной блѣдностью лица,
Обезображенного горемъ.
Его никто въ Иранѣ столь ужаснымъ
Не видывалъ... но громозвучнымъ кри-
комъ

По войску радость пробѣжала,
Когда предъ нимъ Рустемъ живой
явился.

Такой подъемлетъ крикъ дружина,
Увидя надъ собой внезапно
Свою хоругвь, спасенную изъ рукъ
Ее схватившаго врага:
Она изорвана въ лохмотье,
Но спасена. Такъ все заликовало
Рустема встрѣтившее войско.
И, ставъ предъ нимъ, растерзанный
печалью,
Томимый гордостью, волнуемый стыдомъ,
Рустемъ сказалъ: «Сюда, вожди Ирана,

Сюда, вельможи Кейкавуса!
Смотрите всё, какую службу
Рустемъ Ирану отслужилъ;
Вотъ онъ лежитъ, вамъ грозный бога-
тырь;

Моей рукой разрушенъ страхъ Ирана.
Я много боевъ совершилъ,
Я бился днемъ, я бился ночью,
Но никогда еще я не принесъ
Такой, какъ нынѣ, жертвы славы:
Смотри, Иранъ! Рустемъ своей рукою
Здѣсь за тебя убилъ родного сына». —
Такъ говорилъ Рустемъ, и голосъ
Его не трепеталъ; и были сухи
Его глаза; и былъ онъ страшно тихъ.
Тогда они увидѣли въ крови
Простертаго героя молодого;
Еще за часъ цвѣтущій, какъ весна,
Прекрасный, какъ живая роза,
И полный силы, какъ орелъ —
Теперь онъ передъ ихъ очами
Лежалъ безгласный, недвижимый,
Покрытый блѣдностію смерти.
Рустемъ взглянулъ ему въ лицо...
«Еще онъ живъ! — воскликнулъ онъ. —
Скорѣй гонца отправьте къ шаху
Молить, чтобъ мнѣ прислалъ немедля
Три капли чуднаго бальзама,
Всѣ исцѣляющаго раны,
Который онъ всегда съ собой имѣетъ...
Три капли, чтобъ спасти Зораба,
Чтобъ милый сынъ мнѣ живъ остался».

—
На крыльяхъ къ шаху прилетѣлъ
Гонецъ, и такъ сказалъ: «Рустемъ
Убилъ Зораба, но Зорабъ —
Рустемовъ сынъ; о немъ отецъ
Рыдаетъ горько, и его печалью
Всѣ пораженные рыдаютъ; ими
Къ тебѣ я присланъ, шахъ державный,
Молить, чтобъ ты благоволилъ немедля
Три капли дать бальзама,

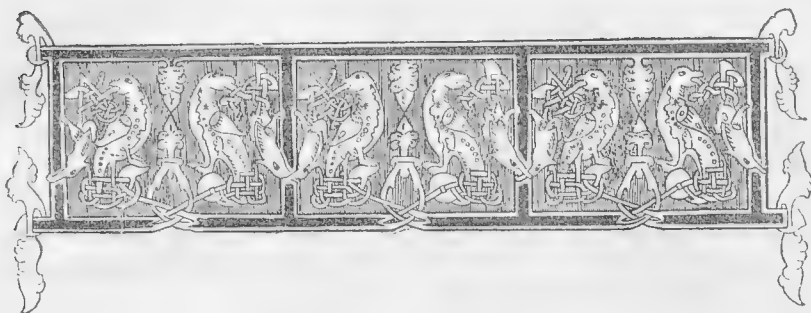
Который при себѣ
Всегда имѣешь;
Три капли, чтобъ спасти Зораба,
Чтобъ живъ Рустему сынъ остался».
Но шахъ отвѣтствовалъ на это,
Не торопясь: «Благодаренье Богу!
Рустемъ спасенъ, а врагъ лежитъ уни-
тый;

Ему покойно, я тревожить
Его не стану: всѣмъ моимъ бальзамомъ
Пожертвовать готовъ я для Рустема;
Но капли дать не соглашусь для турка.
Ирану и одной ужъ силы
Рустемовой довольно черезъ мѣру;
Когда же съ нимъ такой могучій
Соединится сынъ, ихъ обонхъ
Не выдержать Ирану.
Но если такъ Рустемъ желаетъ,
Чтобъ я въ бѣдѣ ему помогъ,
Пускай свою отложитъ гордость,
И самъ сюда придетъ,
И просить милости у шаха на колѣняхъ».
Гонецъ, увидя, сколь упоренъ
Былъ царь, не сталъ терять безъ пользы
словъ,

И поспѣшилъ съ его отвѣтомъ
Къ Рустему. При такомъ жестокомъ
Отказѣ вся пришла въ волненье
Душа Рустемова; борьба
Межъ скорбію и гордостію въ ней
Такая началась, что паръ
Отъ головы богатыря поднялся;
Онъ судорожно трепеталъ;
Не могъ пойти, не могъ остаться;
Но, наконецъ, передъ судьбою
Смирненно голову склонилъ;
И въ землю пасть за сына передъ шахомъ
Пошелъ... но десяти шаговъ переступить
Онъ не успѣлъ, какъ ужъ его
Настигла вѣсть: все кончилось; Зорабу
Теперь ничто не нужно, кромѣ гроба.

В. Жуковский.





Былины объ Ильѣ Муромцѣ.

1. Бой Ильи Муромца съ Жидо-виномъ

Подъ славнымъ городомъ подъ Кіевомъ,
На тѣхъ на степяхъ на Цыцарскіихъ,
Стояла застава богатырская:

На заставѣ атаманъ былъ Илья Муромецъ,

Подъатаманье былъ Добрыня Никитичъ младъ;

Ясаулъ Алеша, поповскій сынъ;

Еще былъ у нихъ Гришка, боярскій сынъ,

Былъ у нихъ Васька Долгополый.

Всѣ были братцы въ разѣздыщѣ:

Гришка боярскій въ тѣ поры вравчимъ жилъ;

Алеша + Поповичъ ѣздилъ въ «Кіевъ-градъ»;

Илья Муромецъ былъ въ чистомъ полѣ,
Спалъ въ бѣломъ шатрѣ;

Добрыня Никитичъ ѣздилъ ко синю морю,

Ко синю морю ѣздилъ за охотою,

За той ли за охотой молодецкою:

На охотѣ стрѣлять гусей, лебедей.

Ѣдетъ Добрыня изъ чиста поля,

Въ чистомъ полѣ увидѣлъ ископыхъ великую,

Ископыхъ велика — поль-печи.

Учалъ онъ ископыхъ досматривать:

«Еще что-то за богатырь ѣхалъ?»

Изъ этой земли изъ жидовскія

Проѣхалъ Жидовинъ могучъ богатырь

На эти степи Цыцарскія!»

Проѣхалъ Добрыня въ стольный Кіевъ-градъ,

Прибиралъ свою братію приборную:

«Ой вы гой еси, братцы-ребятушки!

Мы что на заставушкѣ устояли?

Что на заставушкѣ углядѣли?

Мимо нашу заставу богатырь ѣхалъ».

Собирались они на заставу богатырскую,

Стали думу крѣпкую думати:

Кому ѣхать за нахвальщикомъ?

Положили на Ваську Долгополага.

Говорить большой богатырь Илья Муромецъ,

Свѣтъ-атаманъ, сынъ Ивановичъ:

«Неладно, ребятаушки, положили:

У Васьки полы долгиа,

По землѣ ходитъ Васька заплетается;

На бою, на дракѣ заплетется;

Погинетъ Васька по-напрасному».

Положились на Гришку на боярскаго:

Гришкѣ ѣхать за нахвальщикомъ,

Настигать нахвальщика въ чистомъ полѣ.

Говорить большой богатырь Илья Муромецъ,

Свѣтъ-атаманъ, сынъ Ивановичъ:

«Неладно, ребятаушки, удумали:

Гришка — рода боярскаго:

Боярскіе роды хвастливые;

На бою, на дракѣ призахвастается,

Погинетъ Гришка по-напрасному».

Положились на Алешу на Поповича:

Алешкѣ ѣхать за нахвальщикомъ,

Настигать нахвальщика въ чистомъ полѣ,

Побить нахвальщика на чистомъ полѣ.
Говорить большой богатырь Илья Муромецъ,

Свѣтъ-атаманъ, сынъ Ивановичъ:
«Пеладно, ребяташки, положили:
Увидить Алеша на нахвальщикѣ
Много злата-серебра;
Злату Алеша позавидуетъ,
Погинетъ Алеша по-напрасному».
Положили на Добрыню Никитича:
Добрынюшкѣ ѣхать за нахвальщикомъ,
Настигать нахвальщика въ чистомъ полѣ,

Побить нахвальщика на чистомъ полѣ,
По-плечъ отсѣчь буйну голову,
Привезти на заставу богатырскую.
Добрыня того не отпирается,
Походитъ Добрынюшка на конюшій дворъ,

Имасть Добрыня добра коня,
Уздаетъ въ уздечку тесмяную,
Сѣдлалъ въ сѣдельшко черкасское,
Въ торока вяжетъ палицу боевую —
Она вѣсомъ та палица девяносто пудъ,
На бедра беретъ саблю вострую,
Въ руки беретъ плетъ шелковую,
Поѣзжаетъ на гору Сорочинскую,
Посмотрѣлъ изъ трубочки серебряной,
Увидѣлъ на полѣ чернизину,
Поѣхалъ прямо на чернизину;
Кричалъ зычнымъ звонкимъ голосомъ:
«Воръ, собака, нахвальщина!
Зачѣмъ нашу заставу проѣзжаешь?
Атаману Ильѣ Муромцу не бьешь челомъ?»

Подъ-атаманью Добрынь Никитичу?
Ясаулу Алешѣ въ казну не кладешь
На всю нашу братію наборную?»
Учулъ нахвальщина зыченъ голосъ;
Поворачивалъ нахвальщина добра коня,
Попуцалъ на Добрыню Никитича:
Сыра мать-земля всколебалася,
Изъ озеръ вода выливалась,
Подъ Добрыней конь на колѣнца палъ.
Добрыня Никитичъ младъ
Господу Богу возмолится,
И мати Пресвятой Богородицѣ:

«Унеси, Господи, отъ нахвальщика!»
Подъ Добрыней конь посправился —
Уѣхалъ на заставу богатырскую.
Илья Муромецъ встрѣчаетъ его
Со братією со приборною...
Говоритъ Илья Муромецъ:
«Больше не кѣмъ замѣнитися:
Видно, ѣхать атаману самому!»
Походитъ Илья на конюшій дворъ,
Имасть Илья добра коня,
Уздаетъ въ уздечку тесмяную,
Сѣдлаетъ въ сѣдельшко черкасское,
Въ торока вяжетъ палицу боевую —
Она вѣсомъ та палица девяносто пудъ,
На бедра беретъ саблю вострую,
Въ руки беретъ плетъ шелковую,
Поѣзжаетъ на гору Сорочинскую;
Посмотрѣлъ изъ кулака молодецкаго,
Увидѣлъ на полѣ чернизину,
Поѣхалъ прямо на чернизину,
Вскричалъ зычнымъ громкимъ голосомъ:
«Воръ, собака, нахвальщина!
Зачѣмъ нашу заставу проѣзжаешь?
Мнѣ, атаману Ильѣ Муромцу, челомъ не бьешь?»

Подъ-атаманью Добрынь Никитичу?
Ясаулу Алешѣ въ казну не кладешь
На всю нашу братію наборную?»
Услышалъ воръ-нахвальщина зыченъ
голосъ:

Поворачивалъ нахвальщина добра коня,
Попуцалъ на Илью Муромца.
Илья Муромецъ не удробился.
Сѣхался Илья съ нахвальщикомъ.
Впѣрвые палками ударились,
У палокъ цѣвля отломались,
Другъ дружку не ранили;
Саблями вострыми ударились,
Востры сабли приломались,
Другъ дружку не ранили;
Вострыми копытами кололись,
Другъ дружку не ранили;
Бились, дрались рукопашнымъ боемъ,
Бились, дрались день до вѣчера,
Съ вѣчера бьются до полуночи,
Съ полуночи бьются до бѣла свѣта:
Махнетъ Илейко ручкой правою,

Поскользнить у Илейка ножка лѣвая;
Паль Илья на сыру землю:
Сѣлъ нахвальщина на бѣлы груди,
Вынималъ чинжалнице булатное,
Хочетъ вспороть груди бѣлыя,
Хочетъ закрыть очи ясныя,
По-плечъ отсѣчь буйну голову.
Еще сталъ нахвальщина наговаривать:
«Старый ты старикъ, старый, матерый!
Зачѣмъ ты ѣдишь на чисто поле?
Будто неѣмъ тебѣ, старику, замѣнитися?»

Ты поставилъ бы себѣ келейку
При той пути—при дороженькѣ;
Сбиралъ бы ты, старикъ, во келейку;
Тутъ бы ты, старикъ, сытъ-питаненъ
былъ».

Лежить Илья подъ богатыремъ.
Говорить Илья таково слово:
«Да неладно у святыхъ отцовъ написано,

Неладно у апостоловъ удумано:
Написано было у святыхъ отцовъ,
Удумано было у апостоловъ:
«Не бывать Ильѣ въ чистомъ полѣ
убитому;

А теперь Илья подъ богатыремъ!»
Лежучи у Ильи втрое силы прибыло:
Махнетъ нахвальщину въ бѣлы груди,
Вышибалъ выше дерева жароваго,—

Паль нахвальщина на сыру землю,
Въ сыру землю ушелъ до-поясъ.
Вскочилъ Илья на рѣзвы ноги,
Сѣлъ нахвальщину на бѣлы груди.
Недосугъ Илюхѣ много спрашивать.
Скоро споролъ груди бѣлыя,
Скоро затмилъ очи ясныя,
По-плечъ отсѣкъ буйну голову,
Воткнулъ на копье на булатное,
Повезъ на заставу богатырскую.
Добрыня Никитичъ встрѣчаетъ Илью
Муромца,

Съ своей братьей приборною.
Илья бросилъ голову о сыру землю;
При своей братьѣ похваляется:
«Ѣздилъ во полѣ тридцать лѣтъ,
Экого чуда не наѣзживалъ».

2. Илья Муромецъ и поганое Идо- лище.

Приѣзжаетъ Идолище поганое во стольно-
Кіевъ-градъ,
Со грозою, со страхомъ съ великимъ,
Къ тому князю ко Владимиру,
И остановился онъ на княженецкій
дворъ,

Посылалъ посла ко князю ко Владимиру,
Чтобы князь Владимиръ стольно-кіевскій
Ладилъ бы онъ ему поединщика,
Супротивъ его силушки супротивника.



Богатырская застава.

Приходилъ посланникъ ко Владимиру,
И говорилъ посланникъ таковы слова:
«Ты, Владимиръ, князь стольно-киевскій!
Ладь-ка ты поединника во чисто поле,
Поединника и супротивника съ силуш-
кой великою,
Чтобы могъ онъ съ Идолищемъ попра-
виться».

Тутъ Владимиръ князь ужаснулся,
Приужаснулся да и закручинился.
Говоритъ Илья таковы слова:
«Не кручинься, Владимиръ, не печа-
луйся.

На бою-ка мнѣ смерть не написана;
Поѣду я въ раздольице чисто поле
И убью-то я Идолища поганого».
Обуль Илья лапотки шелковые,
Подсумокъ одѣлъ онъ черна бархата,
На головушку надѣлъ онъ шляпу земли
греческой,

И пошелъ онъ къ Идолищу поганому.
И сдѣлалъ онъ ошибку не малую:
Не взялъ съ собою палицы булатныя,
И не взялъ онъ съ собою сабли вострыя.
Идетъ-то дорожкой—пораздумался:
«Хощь иду-то я къ Идолищу поганому,
Ежели будетъ не пора мнѣ-ка не вре-
мечко,

И съ чимъ мнѣ съ Идолищемъ будетъ
поправиться?»

На тую пору, на то времечко
Идетъ ему навстрѣчу каличище Иванище,
Несетъ въ рукахъ клюху девяносто пудъ.
Говоритъ ему Илья таковы слова:
«Ай же ты, каличище Иванище!
Уступи-тко мнѣ клюхи на времечко,—
Сходить мнѣ къ Идолищу поганому».
Не даетъ ему каличище Иванище,
Не даетъ ему клюхи своей богатырскоюй.
Говоритъ ему Илья таковы слова:
«Ай же ты, каличище Иванище,
Сдѣлаемъ мы бой рукопашечный:
Мнѣ на бою смерть вѣдь не написана,—
Я тебя убью, мнѣ клюха и достанется».

Разсердился каличище Иванище,
Здынулъ эту клюху выше головы,
Спустилъ онъ клюху во сыру землю.
Пошелъ каличище,—заворыдалъ.
Илья Муромецъ едва досталъ клюху изъ
сырой земли.

И пришелъ онъ во палату бѣлокаменну,
Къ этому Идолищу поганому,
Пришелъ къ нему и поздравствовалъ.
Говоритъ ему Идолище поганое:
— Ай же ты, калика перехожая,
Какъ великъ у васъ богатырь Илья
Муромецъ?—

Говоритъ ему Илья таковы слова:
«Толь великъ Илья, какъ и я».
Говоритъ ему Идолище поганое:
— Помногу ли Илья вашъ хлѣба ѣстъ,
Помногу ли Илья вашъ пива пьетъ?—
Говоритъ ему Илья таковы слова:
«По столько ѣстъ Илья, какъ и я,
По столько пьетъ Илья, какъ и я».
Говоритъ ему Идолище поганое:
— Экой вашъ богатырь Илья!
Я вотъ по семи ведеръ пива пью,
По семи пудъ хлѣба кушаю.—
Говоритъ ему Илья таковы слова:
«У нашего Ильи Муромца батюшка былъ
крестьянинъ,

У его была корова ѣдучая:
Она много пила-ѣла и лопнула».
Это Идолищу не слюбилося:
Схватилъ свое кинжалнище булатное,
И махнулъ онъ калiku перехожую
Со всея со силушки великия.
И пристранился Илья Муромецъ въ сто-
ронушку маленькую:
Пролетѣлъ его мимо-то булатный ножъ,
Пролетѣлъ онъ на вонную сторону съ
простѣночкомъ.

У Ильи Муромца разгорѣлось сердце:
Схватилъ съ головушки шляпу богатыр-
скую земли греческой,
И ляпнулъ онъ въ Идолище поганое,
И разсѣкъ онъ Идолище напополамъ.





Садко, богатый гость.

(Новгородская былина.)

Жилъ-былъ Садко, богатый гость.
 Все-то у Садка по-небесному:
 На небѣ солнце—во теремѣ солнце,
 На небѣ звѣзды—во теремѣ звѣзды,
 На небѣ мѣсяцъ—во теремѣ мѣсяцъ:
 Все-то у Садка по-небесному.
 Во славномъ во Новѣградѣ
 Какъ былъ Садко-купецъ, богатый гость.
 А прежде у Садка имущества не было:
 Одиѣ были гуселки яровчаты;
 По пирамъ ходилъ и игралъ Садко.
 Садка день не зовуть на почестенъ
 пиръ,

Другой не зовуть на почестенъ пиръ,
 И третій не зовуть на почестенъ пиръ:
 По томъ Садко соскучился.
 Какъ пошелъ Садко къ Ильмень-озеру,
 Садился на бѣль-горючъ камень
 И началъ играть во гуселки яровчаты.
 Какъ тутъ-то въ озерѣ вода всколы-
 балася,

Тутъ-то Садко дерѣпался,
 Пошелъ прочь отъ озера во свой во
 Новгородъ.

Садка день не зовуть на почестенъ
 пиръ,

Другой не зовуть на почестенъ пиръ,
 И третій не зовуть на почестенъ пиръ:
 По томъ Садко соскучился.
 Какъ пошелъ Садко къ Ильмень-озеру,
 Садился на бѣль-горючъ камень
 И началъ играть во гуселки яровчаты.
 Какъ тутъ-то въ озерѣ вода всколы-
 балася,

Тутъ-то Садко перѣпался,
 Пошелъ прочь отъ озера во свой во
 Новгородъ.

Садка день не зовуть на почестенъ
 пиръ,

Другой, не зовуть на почестенъ пиръ,
 И третій не зовуть на почестенъ пиръ:
 По томъ Садко соскучился.

Какъ пошелъ Садко къ Ильмень-озеру,
 Садился на бѣль-горючъ камень
 И началъ играть во гуселки яровчаты.
 Какъ тутъ-то въ озерѣ вода всколы-
 балася,

Показался царь морской,
 Вышелъ со Ильменя со озера,
 Самъ говорилъ таковы слова:
 «А и же ты, Садко новгородскій!
 Не знаю, чѣмъ буде тебя пожаловать
 За твои за успѣхи великіе,
 За твою-то игру нѣжную:
 Аль безсчетной золотой казной?
 А не то ступай во Новгородъ
 И ударь о великъ закладъ,
 Заложь свою буйну голову,
 И выряжай съ прочихъ кушцовъ
 Лавки товара краснаго,
 И споръ, что въ Ильмень-озерѣ
 Есть рыба—золоты перья.
 Какъ ударишь о великъ закладъ,
 И поди—связи шелковый неводъ,
 И приѣзжай ловить въ Ильмень-озеро.
 Дамъ три рыбины—золоты перья:
 Тогда ты, Садко, счастливъ будешь».
 Пошелъ Садко отъ Ильменя отъ озера,

Какъ приходилъ Садко во свой во Новгородъ,

Позвали Садко на почестенъ пиръ.

Какъ тутъ Садко новгородскій

Сталъ играть во гуселки яровчаты;

Какъ тутъ стали Садка понаивать,

Стали Садку поднашивать,

Какъ тутъ-то Садко сталъ похвастывать:

«А и же вы, купцы новгородскіе!

Какъ знаю чудо чудное въ Ильмень-озеръ:

А есть рыба—золоты перья въ Ильмень-озеръ».

Какъ тутъ-то купцы новгородскіе

Говорятъ ему таковы слова:

— Не знаешь ты чуда чуднаго.

Не можетъ быть въ Ильмень-озеръ рыба—золоты перья.

«А и же вы, купцы новгородскіе!

О чемъ же бьете со мной о великъ закладъ?

Ударимъ-ка о великъ закладъ:

Я заложу свою буйну голову,

А вы залагайте лавки товара краснаго!»

Три купца повыкинулись,

Заложили по три лавки товара краснаго.

Какъ тутъ-то связали неводъ шелковый

И поѣхали ловить въ Ильмень-озеро.

Закинули тоньку въ Ильмень-озеро,

Добыли рыбку—золоты перья;

Закинули другую тоньку въ Ильмень-озеро,

Добыли другую рыбку—золоты перья;

Третью закинули тоньку въ Ильмень-озеро,

Добыли третью рыбку—золоты перья.

Тутъ купцы новгородскіе

Отдали по три лавки товара краснаго.

Сталъ Садко поторговывать,

Сталъ получать барыши великіе.

Во своихъ палатахъ бѣлокаменныхъ

Устроилъ Садко все по-небесному:

На небѣ солнце—и въ палатахъ солнце;

На небѣ мѣсяцъ—и въ палатахъ мѣсяцъ;

На небѣ звѣзды—и въ палатахъ звѣзды.

Потомъ Садко-купецъ, богатый гость,

Зазвалъ къ себѣ на почестенъ пиръ

Тыихъ мужиковъ новгородскихъ,

И тыихъ настоятелей новгородскихъ:

Оому Назарьева и Луку Зиновьева.

Всѣ на пиру наѣдалися,

Всѣ на пиру напивалися,

Похвальбами всѣ похвалялися.

Иный хвастаетъ безсчетной золотой казной,

Другой хвастаетъ силой—удачей молодецкою,

Который хвастаетъ добрымъ конемъ,

Который хвастаетъ славнымъ отечествомъ,

Славнымъ отечествомъ, молодымъ молодецествомъ,

Умный хвастаетъ старымъ батюшкомъ,

Безумный хвастаетъ молодой женой!

Говорятъ настоятели новгородскіе:

«Всѣ мы на пиру наѣдалися,

Всѣ на почестномъ напивалися,

Похвальбами всѣ похвалялися.

Что же у насъ Садко ничѣмъ не похвастаетъ?

Что у насъ Садко ничѣмъ не похваляется?»

Говоритъ Садко-купецъ, богатый гость:

— А чѣмъ мнѣ, Садку, хвастаться?

Чѣмъ мнѣ, Садку, похвалиться?

У меня ль золота казна не тѣшится,

Цвѣтно платьице не носится,

Дружина хоробра не измѣняется.

А похвастать не похвастать безсчетной золотой казной:

На свою безсчетну золоту казну

Повыкуплю товары новгородскіе,

Худые товары и добрые! —

Не успѣлъ онъ слова вымолвить,

Какъ настоятели новгородскіе

Ударили о великъ закладъ,

О безсчетной золотой казны,

О денежкахъ тридцати тысячахъ:

Какъ повыкупить Садку товары новгородскіе,

Худые товары и добрые,

Чтобъ въ Новѣградѣ товаровъ въ про-
дажѣ болѣе не было.

Ставалъ Садко на другой день ранымъ-
рано,

Будилъ свою дружину хоробрую,
Безъ счета давалъ золотой казны
И распускалъ дружину по улицамъ тор-
говымъ,
А самъ-то прямо шелъ во гостинный
рядъ,—

Какъ повыкупилъ товары новгородскіе,
Худые товары и добрые
На свою безсчетну золоту казну.
На другой день ставалъ Садко ранымъ-
рано,

Будилъ свою дружину хоробрую,
Безъ счета давалъ золотой казны,
И распускалъ дружину по улицамъ тор-
говымъ,
А самъ-то прямо шелъ во гостинный
рядъ:

Здвойнѣ товаровъ принавезено
На тую на славу на великую нового-
родскую.

Опять выкупилъ товары новгородскіе,
Худые товары и добрые
На свою безсчетну золоту казну.
На третій день ставалъ Садко ранымъ-
рано,

Будилъ свою дружину хоробрую,
Безъ счета давалъ золотой казны
И распускалъ дружину по улицамъ тор-
говымъ,
А самъ-то прямо шелъ въ гостинный
рядъ:

Втройнѣ товаровъ принавезено,
Втройнѣ товаровъ принаполнено,
Подоспѣли товары московскіе
На ту на великую на славу нового-
родскую.

Какъ тутъ Садко пораздумался:
«Не выкупить товара со всего бѣла
свѣта,—

Още повыкуплю товары московскіе,
Подоспѣютъ товары заморскіе.
Не я, видно, купецъ богатъ нового-
родскій:

Побогаче меня славный Новгородъ».
Отдавалъ онъ настоятелямъ новгород-
скимъ
Денежекъ онъ тридцать тысячей.

На свою безсчетну золоту казну
Построилъ Садко тридцать кораблей.
Тридцать кораблей, тридцать черленихъ;
На тѣ на корабли на черленые
Свалилъ товары новгородскіе.
Поѣхалъ Садко по Волхову,
Со Волхова во Ладожско,
А со Ладожска во Неву-рѣку,
А со Невы-рѣки во сине море.
Какъ поѣхалъ онъ по синю морю,
Воротилъ онъ въ золоту орду,
Продавалъ товары новгородскіе,
Получалъ барыни великіе,
Насыпалъ бочки-сороковки красна зо-
лота, чиста серебра,

Поѣзжалъ назадъ во Новгородъ,
Поѣзжалъ онъ по синю морю.
На синемъ морѣ сходилась погода
сильная,
Застоялись черлены корабли на синемъ
морѣ:

А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаются кораблики черленые;
А корабли нейдутъ съ мѣста на синемъ
морѣ.

Говоритъ Садко-купецъ, богатый гость
Ко своей дружины ко хоробрыя:
«А и же ты, дружинишка хоробрая!
Какъ мы вѣкъ по морю ѣздили,
А морскому царю дани не плачивали:
Видно, царь морской отъ насъ дани
требуется,

Требуется дани во сине море.
А и же, братцы, дружинишка хоробрая!
Взимайте бочку-сороковку чиста серебра,
Спускайте бочку во сине море».

Дружина его хоробрая
Взимала бочку во сине море:
А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаются кораблики черленые;
А кораблики нейдутъ съ мѣста на си-
немъ морѣ.

Тутъ его дружина хоробрая
Брали бочку-сороковку красна золота,
Спускали бочку во сине море:
А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаютъ кораблики черленые;
А кораблики все нейдутъ съ мѣста на
синемъ морѣ.

Говоритъ Садко-купецъ, богатый гость:
«Видно, царь морской требуетъ
Живой головы во сине море».
Дѣлали жеребья волжаны,
А самъ Садко дѣлалъ на красномъ на
золотѣ,

Всякъ свое имя подписывалъ,
Спускали жеребья во сине море:
Какъ у всей дружины хоробрыя
Жеребья гоголемъ по воды плывутъ,
А у Садка-купца ключомъ на дно.
Говоритъ Садко-купецъ, богатый гость:
«А и же, братцы, дружина хоробрая!
Этыя жеребья не правильны:
Дѣлайте жеребья на красномъ золотѣ,
А я сдѣлаю жеребей волжаны».
Дѣлали жеребья на красномъ на золотѣ,
А самъ Садко дѣлалъ жеребей волжа-
ный,

Всякъ свое имя подписывалъ,
Спускали жеребья на сине море:
Какъ у всей дружины хоробрыя
Жеребья гоголемъ по воды плывутъ,
А у Садка-купца ключомъ на дно.
Говоритъ Садко-купецъ, богатый гость:
«А и же, братцы, дружина хоробрая!
Видно, царь морской требуетъ
Самого Садка богатаго въ сине море.
Несите мою чернильницу вальяхнужную,
Перо лебединое, листъ бумаги гербовой».
Онъ сталъ имѣннице отписывать:
Кое имѣнье отписывалъ Божьимъ цер-
квямъ,

Иное имѣнье нищей братцѣ,
Иное имѣнье молодой жены,
Остатнее имѣнье дружины хоробрыя.
Говорилъ Садко-купецъ, богатый гость:
«А и же, братцы, дружина хоробрая!
Давайте мнѣ гуселки яровчаты
Поиграть ли мнѣ въ остатнее:

Больше мнѣ въ гуселки не игрывати,
Али взять мнѣ гуселки съ собой во
сине море?»

Взимають онъ гуселки яровчаты...
Самъ говоритъ таковы слова:
«Свалите дощечку дубовую на воду:
Хоть и свалюсь на доску дубовую,
Не толь мнѣ страшно принять смерть
на синемъ морѣ».

Свалили дощечку дубовую на воду,
Потомъ поѣзжали корабли по синю
моря,

Полетѣли, какъ черные вороны.
Остался Садко на синемъ морѣ.
Со тоя со страсти со великія
Заснулъ на дощечкѣ на дубовой.
Проснулся Садко во синемъ морѣ,
Во синемъ морѣ, на самомъ днѣ.
Сквозь воду увидѣлъ некучись красное
солнышко,

Вечернюю зорю, зорю утреннюю.
Увидѣлъ Садко во синемъ морѣ:
Стоитъ палата бѣлокаменная.
Заходилъ Садко въ палату бѣлокаменну:
Сидитъ въ палатѣ царь морской.
Голова у царя, какъ куча сѣнная.
Говоритъ царь таковы слова:
— А и же ты, Садко-купецъ, богатый
гость!

Вѣкъ ты, Садко, по морю ѣзживалъ,
Мнѣ, царю, дани на плачивалъ,
А нонъ весь пришелъ ко мнѣ во по-
дарочкахъ.

Скажутъ, мастеръ играть въ гуселки
яровчаты;

Поиграй же мнѣ въ гуселки яровчаты.—
Какъ началъ играть Садко въ гуселки
яровчаты,

Какъ началъ плясать царь морской во
синемъ морѣ,

Какъ расплясаяся царь морской.
Игралъ Садко сутки, игралъ и другія,
Да игралъ еще Садко и третій,
А все пляшетъ царь морской во синемъ
морѣ —

Во синемъ морѣ вода всколыбалася,
Со желтымъ пескомъ вода смутилася,

Стало много гинуть имѣнницевъ,
Стало много тонуть людей праведныхъ:
Какъ сталъ народъ молиться Миколы
Можайскому:

Какъ тронуло Садко во плечо во правое:
— А и же ты, Садко новгородскій!
Полно играть въ гусельники яровчаты!—
Обернулся—глядитъ Садко новгородскій:
Ажно стоитъ старикъ сѣдатый.
Говорилъ Садко новгородскій:
«У меня воля не своя во синемъ морѣ,
Приказано играть въ гусельки яровчаты».
Говоритъ старикъ таковы слова:

— А ты струночки повырывай,
А ты шпенечки повыломай,
Скажи: у меня струночекъ не случилось,
А шпенечковъ не пригодилось,
Не во что больше играть:
Приломались гусельки яровчаты.
Скажетъ тебѣ царь морской:
Не хочешь ли жениться во синемъ

морѣ
На душечкѣ на красныя дѣвушкѣ?
Говори ему таковы слова:
У меня воля не своя во синемъ морѣ.
Опять скажетъ царь морской:
Ну, Садко, вставай поутру ранешенько,
Выбирай себѣ дѣвицу-красавицу.
Какъ станешь выбирать дѣвицу-краса-

вицу,
Такъ перво триста дѣвицъ пропусти,
И друго триста дѣвицъ пропусти,
И третье триста дѣвицъ пропусти:
Позади идетъ дѣвица-красавица,
Красавица-дѣвушка Черनावушка.
Бери тую Чернаву за себя замужъ...
Будешь, Садко, во Новѣградѣ,
А на свою безсечету золоту казну
Построй церковь соборную Миколы Мо-

жайскому.—
Садко. струночки во гуселькахъ повы-

дернулъ,
Шпенечки во яровчатыхъ повыломалъ.
Говоритъ ему царь морской:
— А и же ты, Садко новгородскій!
Что же не играешь въ гусельки яров-

чаты?
— У меня струночки во гуселькахъ вы-
дернулись,
А шпенечки во яровчатыхъ повылома-

лись,
А струночекъ запасныхъ не случилось,
А шпенечковъ не пригодилось.—

Говоритъ царь таковы слова:
— Не хочешь ли жениться во синемъ
морѣ

На душечкѣ на красныя дѣвушкѣ?—
Говоритъ ему Садко новгородскій:
«У меня воля не своя во синемъ
морѣ».

Опять говоритъ царь морской:
— Ну, Садко, вставай поутру ране-

шенько,
Выбирай себѣ дѣвицу-красавицу.—
Вставалъ Садко поутру ранешенько,
Поглядитъ — идетъ триста дѣвушекъ
красныхъ:

Онъ перво триста дѣвицъ пропустилъ,
И друго триста дѣвицъ пропустилъ,
И третье триста дѣвицъ пропустилъ:
Позади шла дѣвица-красавица,
Красавица-дѣвица Черनावушка:
Бралъ тую Чернаву за себя замужъ...
Какъ проснулся Садко во Новѣградѣ,
О рѣку Чернаву на крутомъ кряжу,
Какъ поглядитъ, ажно бѣжать
Свои черленые кораблики по Волхову.
Поминаетъ жена Садка со дружиной во
синемъ морѣ:

— Не бывать Садку со снѣя моря! —
А дружина поминаетъ одного Садка:
«Остался Садко во синемъ морѣ!»
А Садко стоитъ на крутомъ кряжу,
Встрѣчаетъ свою дружинишку со Вол-

хова.
Тутъ его ли дружина сдивовалася:
Остался Садко во синемъ морѣ,
Очутился впереди насъ во Новѣградѣ.
Встрѣчаетъ дружину со Волхова!»
Встрѣтилъ Садко дружину хоробую
И повелъ въ палаты бѣлокаменны.
Тутъ его жена зрадовалася,
Брала Садко за бѣлы руки,
Цѣловала во уста во сахарныя.

Началь Садко выгружать со черленых	Состроилъ церкву соборную Миколы
кораблей	Можайскому.
Имѣннице, безсечету золоту казну.	Не сталъ больше ѣздить Садко за сине
Какъ повыгрузилъ съ черленыхъ ко-	море,
раблей,—	Сталъ поживать Садко во Новѣградѣ.



Садко. Съ карт. Рѣпина.

Пляска морского царя.

Ударилъ Садкѣ по струнамъ трепака,
Самъ къ чорту шлетъ царскую ласку,
А царь, ухмыляясь, упёрся въ бока,
Готовится, дрыгая, въ пляску:

Сперва лишь на мѣстѣ поводитъ усѣмъ,
Щетинистой бровью киваетъ;
Но вотъ запыхтѣлъ и надулся какъ
сомъ,

Все болѣ его разбираетъ.

Покачивая началъ, плечьми шевеля,
Подпрыгивать мимо царицы,
Да вдругъ какъ пойдетъ выводить вен-
зеля,

Такъ всё затряслись половицы.

«Ну,—мыслить Садкѣ,—я тебя заморю!»
Съ досады быстрѣй онъ играетъ,
Но, какъ ни частить, водяному царю
Все болѣе силъ прибываетъ.

Пустился навывертъ пятами мѣсить,
Закидывать ногу за ногу,
Откуда взялася, подумавъ, прыть?
Глядѣть индо страшно, ей Богу!

Бойре въ испугѣ ползутъ окорачъ,
Царица присѣла ажъ на полъ,
Пищать — инъ царевны, а царь себѣ
вскачъ

Знай, чешетъ ногами обѣ-полъ.

То, выпята грудь, на придворныхъ онъ
претъ,

То, скорчившись, пятится бокомъ,
Ломаетъ колѣнца и взадъ и впередъ,
Виляетъ загрѣбомъ и скокомъ.

И все веселѣй и привольнѣй ему,
Колѣнца выходятъ все круче —
Темнѣе становится все въ терему,
Надъ моремъ сбираются тучи...

Но шибче играетъ Садкѣ, осерча,
Сжавъ зубы и брови нахмуря,

Онъ злится, онъ дергаетъ струны
сплеча —

Вверху подымается буря...

Вотъ дальними грянулъ раскатами
громъ,

Сверкнуло въ пучинномъ просторѣ,
И огненнымъ свѣтомъ зардѣла кругомъ
Глубокая прѣзель моря.

Вотъ крики слышались тамъ высоко,
То гибнуть пловцы съ кораблями...
Отчаяннѣй бьетъ пятернями Садкѣ,
Царь бѣшенѣй мѣситъ ногами!

Въ присядку понесъ его чортъ ходу-
помъ,

Онъ фыркаетъ, пышетъ и дуетъ,
Гремитъ плясовая, колеблется домъ,
И море реветъ и бушуетъ...

И вотъ пузыри отъ подстѣбны пошли,
Садкѣ уже видитъ сквозь стѣны:
Разбитые ко-дну летать корабли,
Крутятся средь пла и пѣны;

Онъ видитъ—морякъ не одинъ пото-
нулъ,

Въ немъ сердце исполнилось жали,
Онъ сильною хваткой за струны рва-
нулъ, —

И, лопнувъ, онъ завизжалъ.

Спотынувшись на мѣстѣ, сталъ царь
водяной,

Ногою подъятой болтая:

«Никакъ подшутилъ ты, Садкѣ, надо
мною?»

Противна мнѣ шутка такая!

Не въ пору, невѣжа, ты струны по-
рвалъ,

Какъ разъ когда я расплясался!
Такого колѣна никто не видалъ,
Какое я дать собирался!

Зачѣмъ здоровѣ ты струнъ не при-
 пасть? И съ ними кончанскіе старосты пьютъ
 Здоровье Садку круговое.
 Какъ буду теперь безъ музыки?
 Аль ты, неумытый, плясать въ сухо-
 плясь «Повѣдай, Садко, уходилъ ты куда?
 На чудскую Емь, аль на Балты?
 Велишь мнѣ, царю и владыкѣ?» Гдѣ бросилъ свои расшивныя суда?
 И безъ вѣсти гдѣ пропадалъ ты?»
 И плѣсомъ чешуйнымъ въ потылицу
 царь Поетъ и на гусяхъ играетъ Садко,
 Хватилъ его, ярости полный, Поетъ про царя водяного:
 И вотъ завергълся Садко, какъ кубарь, Какъ было тамъ жить у него нелегко,
 И вверхъ понесли его волны... И какъ ужъ онъ пляшетъ здорово;
 Сидитъ въ Новѣградѣ Садко невредимъ,
 Съ нимъ вящшіе всѣ уличане: Поетъ про походъ, безъ утайки, про
 На скатерти браной шипитъ передъ
 нимъ Какая чему была чередъ —
 Вино въ венецейскомъ стаканѣ. Качаютъ въ сомнѣніи всѣ головой,
 Не могутъ разсказу повѣрить.
 Степенный посадникъ, и тысяцкій тутъ, А. Толстой.
 И старыхъ посадниковъ двое,

Митрополитъ Филиппъ.

Среди холодныхъ волнъ Бѣлаго моря, на островѣ Соловецкомъ, въ пустынѣ одинокой, знаменитой святостью своихъ первыхъ тружениковъ Савватія и Зосимы, сіялъ добродѣтелями игумень Филиппъ, сынъ боярина Колычева, возненавидѣвъ суету міра въ самыхъ цвѣтушихъ лѣтахъ юности и служа примѣромъ строгой жизни для иноковъ - отшельниковъ. Государь слышалъ о Филиппѣ, дарилъ его монастырю сосуды драгоценныя, жемчугъ, богатые ткани, земли, деревни, помогалъ ему деньгами въ строеніи каменныхъ церквей, пристаней, гостиницъ, плотинъ, ибо сей игумень былъ не только мудрымъ наставникомъ братіи, но и дѣятельнымъ хозяиномъ: очистилъ лѣса, проложилъ дороги, осушилъ болота каналами, завелъ оленей, домашній скотъ, рыбныя ловли, соляныя варницы, украсилъ, сколько могъ, пустыню, смягчилъ суровость климата, сдѣлалъ воздухъ благоуханный.

Безсмертный Сильвестръ кончилъ дни свои въ монастырѣ Соловецкомъ, любимый, уважаемый Филиппомъ. Вѣроятно, что они вмѣстѣ съговаривали о перемѣнѣ Иоаннова права; вѣроятно, что первый открывалъ игумену свою душу, нѣкогда блаженную исправленіемъ юнаго царя, устройствомъ и счастьемъ царства; сіи бесѣды могли приготовить Филиппа къ великому его подвигу, хотя онъ, ревностно труженика удаленный на край вселенныя, и не могъ ожидать такой славы.

Никто, безъ сомнѣнія, не мыслилъ о немъ, кромѣ Иоанна; отвергнувъ Гермогена, царь вздумалъ—мимо святителей, мимо всѣхъ архимандритовъ—вести Филиппа на митрополию, желая изъяснить тѣмъ свое особенное уваженіе къ христіанскимъ добродѣтелямъ и показать, что самыя отдаленныя пустыни не скрываютъ ихъ отъ глазъ его.

Филиппъ, царскою милостивою грамотою призываемый въ Москву для совѣта духовнаго, отслужилъ литургію, причастилъ всю братію и со слезами въѣхалъ изъ своей любимой обители, какъ бы предчувствуя, что одно мертвое тѣло его туда возвратится.

За три версты отъ Новгорода встрѣтили смиреннаго соловецкаго игумена всѣ жители сей древней столицы съ привѣтствіемъ, съ дарами и съ моленіемъ, да ходатайствуютъ за нихъ передъ трономъ: ибо носился слухъ, что Іоаннъ угрожалъ имъ гнѣвомъ.

Царь принялъ Филиппа съ отъѣиною честію, обѣдалъ, бесѣдовалъ съ нимъ дружелюбно и, наконецъ, объявилъ, что ему быть митрополитомъ. Пустынный инокъ изумился, плакалъ, не хотѣлъ сей блестящей тягости; убѣждалъ его «не вѣрять бремени великаго лади малой». Царь былъ непреклоненъ. Тогда Филиппъ предложилъ условіе, сказавъ царю: «Повицуюсь твоей волѣ, но умири же совѣсть мою, да не будетъ опричнины! да будетъ только единая Россія! ибо всякое раздѣленное царство, по глаголу Всевышняго, запустѣетъ. Не могу благословлять тебя искренно, видя скорбь отечества». Іоаннъ имѣлъ власть надъ собою; остановивъ движеніе гнѣва въ сердцѣ своемъ, отвѣтствовалъ тихо: «Развѣ не знаешь, что мои хотятъ поглотить меня, что ближніе готовятъ мнѣ гибель?» и доказывалъ необходимость сего учрежденія; но скоро, выведенный изъ терпѣнія смѣлыми возраженіями старца, велѣлъ ему умолкнуть.

Однажды, въ день воскресный, въ часъ обѣдни, Іоаннъ, провождаемый нѣкоторыми боярами и множествомъ опричниковъ, входитъ въ соборную церковь Успенія. Царь и вся дружина его были въ черныхъ ризахъ, въ высокихъ шлякахъ. Митрополитъ Филиппъ стоялъ въ церкви на своемъ мѣстѣ; Іоаннъ приблизился къ нему и ждалъ благословенія. Митрополитъ смотрѣлъ на образъ Спасителя, не говоря ни слова. Наконецъ бояре сказали:

— Святой владыко! се государь: благослови его!

Тутъ, взглянувъ на Іоанна, Филиппъ отвѣтствовалъ:

— Въ семъ видѣ, въ семъ одѣяніи странномъ не узнаю царя православнаго; не узнаю и въ дѣлахъ царства... О, государь! Мы здѣсь приносимъ жертву Богу, а за алтаремъ льется невинная кровь христіанская. Отколѣ солнце сіяетъ на небѣ, не видано, не слыхано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно! Въ самыхъ невѣрныхъ, языческихъ царствахъ есть законъ и правда, есть милосердіе къ людямъ, а въ Россіи ихъ нѣтъ! Достояніе и жизнь гражданъ не имѣютъ защиты. Вездѣ грабежи, вездѣ убійства и совершаются именемъ царскимъ. Ты высокъ на тронѣ, но есть Всевышній Судія нашъ и твой. Какъ предстанешь на судъ Его, обогранный кровію невинныхъ, оглашаемый воплемъ ихъ мукъ, ибо самые камни подъ ногами твоими вопіютъ о мести?.. Государь! вѣщаю, яко пастырь душъ: боюся Господа единого!

Іоаннъ трепеталъ отъ гнѣва, ударилъ жезломъ о камень и сказалъ голосомъ страшнымъ:

— Черпецъ! доселѣ я излишне щадилъ васъ, мятежниковъ; отнынѣ буду, каковымъ меня нарицаете!—И вышелъ съ угрозою.

На другой день были новыя казни...

Изобрѣли доносъ, улики, представили Іоанну и велѣли митрополиту явиться на судъ. Царь, святители, бояре сидѣли въ молчаніи. Игуменъ Паисій стоялъ

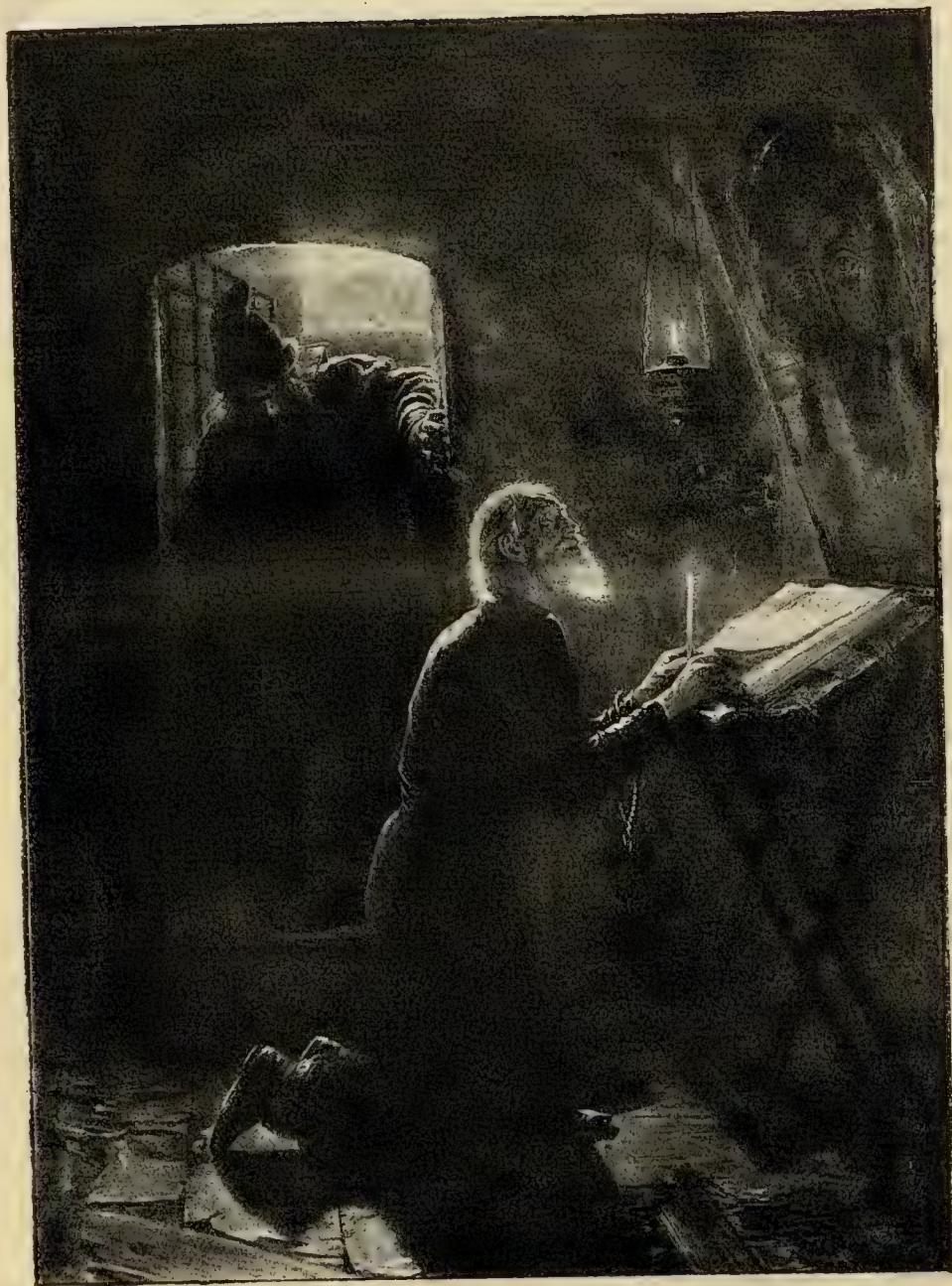
и клеветалъ на святаго мужа съ неслыханною дерзостію. Въмѣсто оправданія безполезнаго митрополитъ тихо сказалъ Паисію, что злое сѣяніе не принесетъ ему плода возжелѣннаго, а царю: «Государь, великій князь! ты думаешь, что я боюсь тебя или смерти? Нѣтъ! Достигнувъ глубокой старости безпорочно, не зная въ пустынной жизни ни мятежныхъ страстей, ни козней мірскихъ, желаю такъ и предать духъ свой Всевышнему, моему и твоему Господу. Лучше умереть невиннымъ мученикомъ, нежели въ санѣ митрополита безмолвно терпѣть ужасы и беззаконія сего несчастнаго времени. Твори, что тебѣ угодно. Се жезлъ пастырскій, се бѣлый клобукъ и мантия, коими ты хотѣлъ возвеличить меня. А вы, святители, архимандриты, игумены и все служители алтарей, пасите вѣрно стадо Христово! Готовьтесь дать отчетъ и страшитесь небеснаго Царя еще болѣе, нежели земного». Онъ хотѣлъ удалиться; царь остановилъ его; сказалъ, что ему должно ждать суда, а не быть своимъ судіею, принудилъ его взять утварь свѣтительскую и еще служить обѣдню въ день архангела Михаила (8 ноября).

Когда же Филиппъ въ полномъ облаченіи стоялъ передъ алтаремъ въ храмѣ Успенія, явился тамъ бояринъ Алексѣй Басмановъ съ толпою вооруженныхъ опричниковъ, держа въ рукѣ свитокъ. Народъ изумился. Басмановъ велѣлъ читать бумагу: услышали, что Филиппъ соборомъ духовенства лишенъ сана пастырскаго. Воины вступили въ алтарь, сорвали съ митрополита одежду свѣтительскую, облекли его въ бѣдную ризу, выгнали изъ церкви метлами и повезли на дровняхъ въ обитель Богоявленія. Народъ бѣжалъ за митрополитомъ, проливая слезы; Филиппъ съ лицомъ свѣтлымъ, съ любовію благословлялъ людей и говорилъ имъ: «Молитесь!»

На другой день привезли его въ судную палату, гдѣ былъ самъ Іоаннъ, для выслушанія приговора. Филиппу, будто уличенному въ тяжкихъ винахъ и волшебствѣ, подлежало кончить дни въ заточеніи. Тутъ онъ простился съ міромъ великодушно, умирительно; не укорялъ судей, но въ послѣдній разъ молилъ Іоанна сжалиться надъ Россіею, не терзать подданныхъ, вспомнить, какъ царствовали его предки, какъ онъ самъ царствовалъ въ юности ко благу людей и собственному. Государь, не отвѣтствуя ни слова, движеніемъ руки предалъ Филиппа воинамъ. Дней восемь сидѣлъ онъ въ темницѣ, въ узахъ; былъ перевезенъ въ обитель Николая Старого, на берегу Москвы-рѣки: терпѣлъ голодъ и питался молитвою. Между тѣмъ Іоаннъ пестреблялъ родъ Колычевыхъ, прислалъ къ Филиппу отсѣченную голову его племянника Ивана Борисовича и велѣлъ сказать: «Се твой любимый сродникъ: не помогли ему твои чары!» Филиппъ всталъ, взялъ голову, благословилъ и возвратилъ принесшему. Опасаясь любви гражданъ московскихъ къ сверженному митрополиту, слыша, что они съ утра до вечера толпятся вокругъ обители Николаевской, смотрятъ на келью заключеннаго и рассказываютъ другъ другу о чудесахъ его святости, — царь велѣлъ отвезти страдальца въ Тверской монастырь, называемый Отрочимъ, и немедленно избралъ новаго митрополита, троїцкаго архимандрита, именемъ Кирилла.

Освободивъ себя отъ архипастыря строгаго, непреклоннаго, и давъ сей важный санъ инокъ добродѣтели, но слабодушному, безмолвному, Іоаннъ могъ тѣмъ смѣлѣе, тѣмъ необузданнѣе свирѣпствовать: дотолѣ губилъ людей, оттолѣ цѣлые города.

Н. Карамзинъ.



Послѣднія минуты митрополита Филиппа. Съ карт. Новоскольцева.

С л о в а р ь .

Аванпостъ—стража, стоящая на караулѣ впереди войска.

Агрономъ—человѣкъ, знающій науку о томъ, какъ вести сельское хозяйство.

Администрація—управленіе дѣлами (государственными или частными); всѣ лица, занимающія должности по управленію дѣлами.

Адонай—еврейское слово, значитъ, Господь.

Акварель—краски, растираемые съ водой; живопись на бумагѣ красками, растираемыми съ водой.

Аккордъ—согласное сочетаніе нѣсколькихъ одновременно звучащихъ тоновъ.

Аксамитъ—бархатъ (въ старину); ткань въ родѣ бахромы, изготавливается въ Персін.

Активный—дѣятельный, предпріимчивый.

Акцентъ—особенность въ произношеніи словъ; удареніе на словахъ въ разговорѣ.

Амбразура—отверстіе въ укрѣпленіи, за которымъ стоитъ орудіе, и черезъ которое производится пальба.

Амміакъ—газъ съ особымъ неприятнымъ острымъ запахомъ, образуется при гніеніи.

Амосовская печь—особаго устройства печь, служащая для нагреванія большихъ помѣщеній: около нея устроена камера, въ которую входитъ холодный воздухъ, нагревается тамъ и затѣмъ по отводнымъ трубамъ распределяется по помѣщенію.

Амплуа—родъ ролей, на которыя назначается актеръ въ театрѣ, напр.: стариковъ, героевъ, купцовъ и т. п.

Анализъ—разложеніе цѣлаго на составныя части; работа ума, при которой мысль переходитъ отъ общаго къ частному, все болѣе и болѣе углубляется въ подробности, выдѣляетъ ихъ и разбирается въ нихъ.

Антиподы—люди, живущіе на противоположной сторонѣ земного шара (на другомъ концѣ діаметра).

Антрепренеръ—содержатель театра, содержатель и распорядитель труппы актеровъ.

Антресолы—верхній полуярусъ въ домѣ, покои, отдѣленные отъ верхней части заднихъ комнатъ, тогда какъ переднія остаются во всю вышину.

Апатія—равнодушіе ко всему, безучастіе, отсутствіе интереса, упадокъ энергіи, бездѣйствіе, вялость.

Апатично—вяло, безучастно.

Апелляція—обращеніе въ высшій судъ въ случаѣ недовольства приговоромъ низшаго суда.

Арба—повозка разнаго устройства (въ родѣ большой телѣги съ 4-мя колесами или двуколая), употребляется въ южной Россіи.

Арго—созвѣздіе южнаго полушарія.

Арpeggio, арпеджіо—музыкальная фигура, когда берутъ аккордъ не сразу, а звукъ за звукомъ.

Археологъ—ученый, занимающійся изслѣдованіемъ древностей.

Ассоціація—общество, товарищество, союзъ.

Атрибуты—знаки, присвоенные кому-либо (божеству, лицу) для отличія отъ другихъ, напр., богъ морей у древнихъ грековъ и римлянъ, Нептунъ, изображается съ трезубцемъ, богиня мудрости Аенна—съ совою, атрибуты царей—скипетръ, держава и т. п.

Аудиторіи—комнаты въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ для чтенія лекцій.

Аффектація—неестественное, напускное выраженіе чувствъ въ рѣчахъ или движеніяхъ.

Байгушъ—нижній изъ кочевыхъ инородцевъ, обнищавшій киргизъ.

Баритонъ—мужской голосъ, по высотѣ занимающій средину между теноромъ и басомъ.

Басонъ—тесма съ узорами, употребляется для обшивки служительской одежды и обивки мебели и дорожныхъ вещей.

Бахтерцы—суконное или бархатное полукафтанье, покрытое металлическими бляхами и полукольцами, замѣнявшее латы или кольчугу.

Бергамотъ—плодъ, вида небольшой круглой груши, очень пріятнаго вкуса.

Беретъ—женскій головной уборъ въ видѣ шапочки съ перомъ.

Бѣрца—голени.

Бешметъ—стеганный татарскій полукафтанъ, поддевка.

Бортъ (пчелин.)—дуплистое дерево или пень, въ которомъ водятся пчелы; выдолбленная колода для пчелинаго улья.

Ботфорты — сапоги съ длинными голенищами, выше колѣнъ, съ раструбомъ и подкольной вырѣзкой (употребляются при верховой ѣздѣ).

Брезентъ — крашеная или смоленая толстая парусина для покрывки и защиты чего-либо (отъ дождя, пыли и пр.).

Бричка — легкая полукрытая повозка (съ кожанымъ верхомъ).

Брустверь — земляной валъ или иное укрѣпленіе, изъ-за котораго отстрѣливаются отъ непріятеля.

Будуаръ — дамскій кабинетъ, особая дамская комната въ богатыхъ домахъ, гдѣ барыня занимается и принимаетъ близкихъ знакомыхъ.

Буколическая (жизнь) — пастушеская, сельская жизнь, представленная въ привлекательномъ видѣ.

Бунтъ (товар.) — партія товара, сложенного въ большую кучу, напр., кули съ зерномъ или мукой складываются въ видѣ большой кучи и закрываются и обшиваются рогожами, это и будетъ бунтъ.

Бурмистръ — начальникъ надъ вотчиной, поставленный отъ помѣщика, изъ крестьянъ; главный староста.

Бюргеръ — нѣмецкій гражданинъ, городской житель (купецъ, мѣщанинъ).

Вага — поперечный брусочъ въ передней части кареты (или другого экипажа) для прикрѣпленія дышловыхъ постромокъ и пристяжныхъ вальковъ.

Валекъ (въ упряжи) — округлый брусочъ, на концахъ котораго прикрѣпляются постромки для пристяжныхъ лошадей.

Вариации (муз.) — музыкальныя сочиненія съ внезапными переходами къ новымъ мотивамъ.

Вахмистръ — старшій унт.-офицеръ (фельд-фебель) въ кавалерійскомъ войскѣ.

Вербовать — набирать добровольцевъ или нанимать солдатъ въ войска.

Вибрація — дрожаніе (звуковъ).

Войтъ — староста, управляющій.

Волжаны — сдѣланный изъ таволги (прутника въ родѣ мелкой ивы, часто употребляется на кнутовища).

Волошскіе орѣхи — грецкіе орѣхи.

Волтижоръ — исполняющій трудныя тѣлодвиженія передъ зрителями.

Вошина — соты безъ меда.

Гаеръ — площадной шутъ, забавляющій зрителей пошлыми остротами, кривляньемъ, смѣшными гримасами и т. п.

Гармонично — стройно, соразмѣрно, согласо.

Гарниръ (въ кушаньѣ) — приправа къ кушанью, служащая для его украшенія.

Гастрономія — искусство готовить хорошіе столы (поваренное искусство).

Генераль-маршъ — барабанный бой для похода отдѣльной части арміи.

Гирлянда — плетенье изъ цвѣтовъ въ видѣ длинной цѣпи или шнура, употребляется для украшеній: обвиваютъ колонны,

вѣшаютъ по стѣнамъ, располагая разными фигурами.

Габеръ-супъ — овсяный супъ.

Голубецъ — надмогильный крестъ съ кровелькой; крытый деревянный срубъ надъ могилой и на немъ крестъ (ставились прежде, теперь запрещено).

Городничій — прежняя должность начальника полиціи въ уѣздныхъ и заштатныхъ городахъ, наблюдающаго и за общимъ порядкомъ и благоустройствомъ въ городѣ.

Гуашъ — живопись водяными красками съ прибавленіемъ гуммаарабика или бѣлизы, — густокроющими красками.

Гяуръ — такъ турки (инода и другіе магометане) называютъ человѣка другой, не магометанской, вѣры.

Дезертировать — сбѣжать изъ войска.

Decorum — благопристойность, приличіе, красивость.

Денникъ — некрытая загородъ при дворѣ, чтобы держать скотъ днемъ и въ хорошую погоду; хлѣвъ, сарай, навѣсъ.

Джигитъ — наѣздникъ (ловкій, смѣлый).

Дискредитированная (власть) — потерявшая довѣріе или признаніе въ глазахъ другихъ.

Дискредитировать — лишить довѣрія, уваженія.

Дискъ — металлическій или деревянный кругъ, который древніе греки бросали въ цѣль.

Діалектикъ — ловкій спорщикъ, умѣющій заговорить и убѣдить, иногда сбить съ толку, слушателя.

Діана — богиня игры и охоты у древнихъ римлянъ (то же, что Артемида у древнихъ грековъ).

Драдедамъ — полусуконо, легкое суконо.

Драхва, дрофа, дудакъ — большая степная птица, имѣющая вкусное мясо.

Единоувѣрцы — старообрядцы, исповѣдующіе господствующую православную вѣру съ сохраненіемъ старописанныхъ иконъ и старопечатныхъ церковныхъ книгъ.

Епитрахиль — облаченіе священника, надѣвается на шею и спускается спереди лонизу (въ видѣ узкаго фартука).

Жарбвое (дерево) — рослое, высокое, съ чистымъ стволемъ.

Жерлица — уха для щуки съ крючкомъ на длинной проволоцѣ, — ставится на ночь, съ берега, при чемъ удище втыкается въ землю.

Зѣгодя — заранѣе, заблаговременно, за-долго.

Идеалистъ — человѣкъ, который думаетъ о жизни и интересуется ею не такъ, какъ она есть въ дѣйствительности, а такъ, какъ она могла бы быть, по его мнѣнію, или какъ онъ хотѣлъ бы её видѣть; мечтатель.

Идеаль — мысленное совершенство, къ которому стремятся или принимаютъ за образецъ.

Иллюзія — обманъ чувствъ или воображенія; кажущееся, мнимое.

Импровизировать — говорить рѣчь, сочинять что-нибудь безъ подготовки.

Инициатива — начинаніе, починъ.

Инкогнито — прибыть куда-либо тайно, подъ видомъ другого лица, скрывая свою личность.

Инструкція — предписаніе или руководящія правила, по которымъ надо дѣйствовать.

Инструментъ — орудіе, приборъ для какой-либо работы.

Интеллигентный — просвѣщенный, стремящійся къ разумной жизни, имѣющій широкіе интересы.

Интелигенція — самая образованная и самая благородная по своимъ стремленіямъ и интересамъ часть общества, передовые люди.

Интонація — отгѣненіе голоса въ разговорѣ или чтеніи: удареніе, токъ и другія свойства.

Интродукція — вступительная часть въ музыкальномъ сочиненіи.

Иронія — язвительная насмѣшка, насмѣшливый образъ рѣчи; пронический — язвительный, насмѣшливый.

Истерика — болѣзненное состояніе нервовъ, при которомъ бываютъ разнообразныя, но не опасныя припадки; истерически — болѣзненно, рѣзко, нервно.

Истецъ — тотъ, кто обращается съ жалобой или прошеніемъ въ судъ; тотъ, на кого жалуются, называется отвѣтчикомъ.

Ирь — травянистое растеніе: *Asotus salinus*, аиръ, касатикъ; растетъ по отмелямъ рѣкъ и озеръ.

Кабалистическій — загадочный, таинственный.

Калиберъ — простыя долгія дрожки на малыхъ рессорахъ.

Камердинеръ — комнатный слуга.

Камлотъ (матерія) — суровая шерстяная ткань съ примѣсью шелка или бумаги.

Капитель — верхняя расширенная часть колонны, обыкновенно ей стараются придать красивый видъ.

Карьера — успѣхи по службѣ или въ общественномъ положеніи; жизненный путь, который проходитъ человѣкъ, чтобы достичь извѣстнаго служебнаго или общественнаго положенія.

Катастрофа — ужасное происшествіе.

Каузь — ящикъ, по которому вода стекаетъ на колесо у водяной мельницы.

Кашка — травы, похожія на клеверъ, съ красными и бѣлыми цвѣточными головками: трилистникъ, дятлина и др.

Квартирмейстеръ — офицеръ, располагающій войска на квартиры и заведующій пріемкою для нихъ продовольствія.

Кельнеръ — слуга въ заграничной гостиницѣ или ресторанѣ.

Кизякъ — сухой навозный кирпичъ для топлива.

Клиника — больница, въ которой учатъ готовящихся въ врачи распознавать и лѣчить болѣзни.

Клоунъ — шутъ, выступающій на сценѣ въ циркахъ.

Кокора (у барки) — копань — дерево съ частью корня, употребляется на постройку барокъ и лодокъ; суховатый пенъ или замытое дерево на днѣ рѣки.

Колодезня — крышка на ульѣ.

Колтунъ — ботѣзнь волосъ, при которой они перепутываются въ плотныя, въ родѣ войлока, космы.

Комендоръ — старшій матросъ; старшій изъ прислуги у пушки.

Компатріотка — соотечественница.

Компетентный — хорошо знающій какое-либо дѣло; полномочный.

Компромиссъ — уступка въ требованіяхъ, сдѣлка для того, чтобы достигнуть соглашенія.

Конвульсія — судорога, сведеніе членовъ тѣла.

Конопляники — мѣста, засѣваемые коноплей, обыкновенно находятся между гумнами и дворами.

Консервы — съѣстные припасы въ готовомъ видѣ, изготовленные и сохраняемые такъ, чтобы долгое время не портились.

Контральто — низкій женскій голосъ, низкій альтъ.

Кордегардія — зданіе для военнаго караула, караульня; гауптгаха.

Кордонъ — пограничная стража, располагается цѣпью по пограничной линіи.

Коржики — прѣсныя лепешки, засушенные лепешки на салѣ.

Коринеская колонна — колонна, имѣющая наверху украшеніе въ видѣ листьевъ.

Коты (обувь) — башмаки съ высокими перодами, или круглые, будто съ отрѣзанными голенищами, съ алою суконною оторочкой.

Кредиторъ — занмодавецъ.

Крыжъ — крестъ; рукоятъ сабли, имѣющая видъ креста.

Крынковская винтовка — длинноствольное, малокалиберное (съ небо ышимъ діаметромъ ствола) ружье, выработанное Крыкомъ; въ войскахъ оно было въ употребленіи въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія.

Ктиторъ — церковный староста.

Кузина — двоюродная сестра.

Культипка — остатокъ отрѣзанной руки или ноги; безрукій или безпалый человѣкъ.

Куть — уголь; красный куть — передній уголь (гдѣ иконы).

Лабораторія — помѣщеніе для производства химическихъ работъ и храненія химическихъ веществъ и приборовъ.

Лагунъ — боченокъ съ втулкой на одномъ днѣ; кадка съ раздвижною вырѣзкою въ верхнемъ днѣ; полубочка для корма скота.

Лампасъ — прошивка въ видѣ ленты съ наружной стороны брюкъ по всей длинѣ ихъ.

Лаунъ-теннисъ — игра мячомъ, въ которой мячъ отбивается широкой сѣтчатой лопаткой и перелетаетъ черезъ натянутую на границѣ между игроками сѣтку.

Лафетъ — станокъ у пушки.

Летокъ — отверстіе въ ульѣ для входа и выхода пчелъ.

Литографія — заведеніе, гдѣ печатаютъ и изготовляютъ рисунки съ камня: дѣлаютъ рисунокъ на камнѣ и съ него получаютъ оттиски; рисунокъ, изготовленный литографскимъ способомъ.

Лозунгъ — условное секретное слово, которое говорятъ часовымъ для того, чтобы они узнавали и пропускали своихъ.

Луда — холодная иловатая сѣрая почва; синяя глина; жесткая почва.

Лычъ — травянистая часть огородныхъ овощей (рѣдьки, моркови, картофеля); комлевой отрубъ бревна.

Лягушки-жерлянки — родъ жабъ.

Майданъ — сборное мѣсто мошенниковъ для игры въ карты, орлянку и проч.

Малышка — мелкая, недавно вышедшая изъ икры рыбка.

Манія — помѣшательство на одномъ какомъ-либо предметѣ; манія преслѣдованія — помѣшательство, при которомъ больному кажется, что всѣ его преслѣдуютъ, противъ него что-нибудь замышляютъ.

Мародеръ — солдатъ-грабитель, самовольно отлучившійся изъ арміи для грабежа.

Мастодонтъ — очень большое допотопное животное, похожее на слона и мамонта, находять его въ землѣ, въ Азіи и Америкѣ.

Медуника — травянистое растеніе (донникъ, желунець).

Меланхолическая (картина) — тоскливая, унылая, печальная, наводящая грусть и задумчивость.

Мелодія — основные звуки пѣсни или другого музыкальнаго произведенія, взятые въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Меркурій — богъ торговли (обмана и краснорѣчія), вѣстникъ другихъ боговъ (у древнихъ грековъ и римлянъ).

Метрономъ — приборъ съ маятникомъ, служить для того, чтобы отбивать тактъ въ музыкѣ (измѣрять время, въ теченіе котораго должны звучать каждый тонъ или происходить остановка).

Механически — безсознательно, безотчетно, подобно тому, какъ дѣйствуетъ машина.

Мизантропическое (лицо) — выражающее неудовольствіе, ненависть, отвращеніе.

Мизантропъ — человѣконенавистникъ; человѣкъ, избѣгающій общенія съ другими людьми изъ нерасположенія къ нимъ.

Миниатюрный — очень маленький.

Мокой — акула.

Морокъ — мракъ, сумракъ, темнота и густота воздуха; сухой туманъ; облака, тучи.

Мортира — короткая, наклонно стоящая пушка для метанія бомбъ и гранатъ.

Моціонъ — прогулка, движеніе человѣка для здоровья.

Мочка (при пряжѣ) — пчотокъ, веретено съ пряжей.

Мыкальничъ — лукошко для храненія мочекъ или веретенъ съ пряжей, пчотокъ.

Начетчикъ — грамотей, занимающійся чтеніемъ церковныхъ книгъ и обученіемъ по деревнямъ грамотѣ; у старообрядцевъ — человѣкъ, начитанный въ старопечатныхъ книгахъ, знатокъ ихъ церковныхъ дѣлъ и службъ.

Нечуй-вигеръ — травянистое растеніе, *Pilosella pilosella*, желтомахорочникъ.

Ночевка — долбленая деревянная утварь въ видѣ маленькаго корытца или глубокаго подноса, съ двумя выступами по краямъ, чтобы брать за нихъ руками.

Оборъ — тесьма или шнуръ, которымъ обвиваютъ голень для прикрѣпленія обуви (оборы бываютъ, напр., у лаптей).

Однотворцы — мелкіе землевладѣльцы, происшедшіе отъ пограничныхъ поселеній изъ дворянскихъ дѣтей и служилыхъ людей XVII в.; сами они причисляли себя къ дворянамъ, но занимали среднее положеніе между бариномъ и крестьяниномъ.

Олеографія — дешевыя раскрашенныя картины, исполненныя литографскимъ способомъ (см. литографія).

Олифа — дѣянное или конопляное вареное масло для краски.

Опаль — цѣнный камень молочнаго цвѣта съ огнистымъ радужнымъ отливомъ.

Оригинальный — особенный, своеобразный, непохожій на другихъ; подлинный.

Оригиналъ — подлинникъ.

Осьминникъ — площадь земли около $\frac{1}{4}$ десятины (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ около $\frac{1}{8}$ и $\frac{1}{3}$ десятины).

Отара — стадо, гуртъ овецъ.

Официальный — такой, какой требуется по правиламъ службы; правительственный.

Павильонъ — бесѣдка.

Пангаузъ — кладовая, складъ для товаровъ въ тюкахъ.

Панегирикъ — похвальное слово.

Панический (страхъ) — внезапный безотчетный страхъ, захватывающій иногда цѣлое общество.

Панорама — круговая картина, нарисованная и расположенная такъ, что зрителю кажется, какъ будто онъ видитъ дѣйствительные предметы и самъ находится среди нихъ; картина, рассматриваемая въ увеличительное стекло; красивый видъ въ природѣ.

Пантомима — театральное представленіе безъ рѣчей, посредствомъ мимики, жестовъ и различныхъ тѣлодвиженій.

Паралитикъ — человѣкъ, разбитый параличомъ, лишившійся силъ дѣйствовать тѣми или другими частями тѣла.

Пароль — условное слово или фраза, раздаваемая войску или часовымъ, чтобы отличить своихъ отъ чужихъ.

Партикулярное (платье) — частное, обыкновенное, неформенное.

Патетический — трогательный, возбуждающий чувства и страсти.

Пауза — остановка в музыке на показанное знакомое время.

Паяц — балаганный шут.

Педант — человек, который к стати и не к стати старается показать свою ученость и свысока относится к славам других; мелочный и придирчивый в требованиях человек, упорно держащийся раз заведенного порядка во всем его подробностях.

Пейзаж — вид какой-нибудь местности; картина природы; картина, изображающая вид местности.

Пергамент — телячья или другая кожа, выделанная для письма на ней.

Перебался (перепался) — испугался, переполошился.

Пересѣкъ — кадка из распиленной пополам бочки.

Перронъ — каменная площадка со ступенями у крыльца дома; платформа на железнодорожной станции.

Перспектива — вид предметов так, как они представляются глазу, т. е. čímь дальше, тѣмь меньше, прямые углы в видѣ косыхъ и проч.; видѣ вдаль, вперед на все предметы, находящиеся на пути.

Плацъ-майоръ — помощник коменданта; заведующий полицейскою частью в больших крепостях.

Плерезы — бывшая обшивки на черном траурномъ платьѣ.

Плошка — плоский глиняный сосуд или черепокъ, в него вливаютъ сала и зажигаютъ, когда требуется большое освѣщеніе (во время иллюминацій).

Плутонъ — богъ подземнаго царства (у древнихъ грековъ и римлянъ).

Побратима — большая деревянная чаша или ендова, изъ которой разливалось пиво или другое питье по маленькимъ чашкамъ и стаканамъ.

Погребница — срубъ и крыша, зданіе надъ погребомъ.

Подсѣдъ (въ лѣсу) — поросль, молодой лѣсъ, молодежникъ.

Полури — музыкальное сочиненіе, составленное изъ разныхъ пѣсенъ, или танецъ, составленный изъ разныхъ танцевъ.

Португя — перевязь для ношенія оружія (сабли, пика) в видѣ ремня черезъ плечо или пояса съ застежкой.

Поззія — особое свойство предметов и явленій природы и жизни вызывать возвышенное, пріятное настроеніе; красивыя произведенія писателей, вызывающія такое настроеніе.

Прессъ-папье — накладывается на письменномъ столѣ на бумагу, чтобы прижать ее къ столу, дѣлается обыкновенно изъ камня или металла съ разными украшеніями.

Примадонна — первая (главная) пѣвица въ оперѣ.

Программа — расписаніе представленій или пѣсень, которыя будутъ исполнены въ театрѣ или концертѣ; перечень вопросовъ, на которыхъ надо почему-либо остановить вниманіе.

Профиль — боковое очертаніе, рисунокъ въ боковомъ видѣ.

Райны — южныя тополи; ракиты.

Рационалистъ — основывающійся во всемъ на разумъ (а не на чувства).

Редутъ — небольшое полевое укрѣпленіе, наскоро построенное во время войны.

Резонерствовать — пустословить въ формѣ дѣльной, серьезной рѣчи.

Резонеръ — актеръ, представляющій на сценѣ человека здравомысленнаго, спокойнаго, умѣреннаго, разсудительнаго.

Рельефъ — выпуклость на плоскости.

Ригоризмъ — строгая исполнительность, пунктуальное исполненіе долга, обязанностей.

Ритмичный, ритмическій — мѣрно расположенный, появляющійся черезъ одни и тѣ же промежутки времени.

Роковая (цифра) — имѣющая очень важное, рѣшающее значеніе для чьей-либо судьбы, для чьей-либо жизни.

Романтикъ — человекъ, увлекающійся поэзіей, искусствомъ и жизнью въ прикрашенномъ видѣ.

Рюшъ — матерія въ родѣ кисеи для обивокъ; сборчатая нашивка изъ тюля и кружевъ подъ передней частью женскихъ нѣпапокъ.

Рядчикъ — мелкій промышленникъ, занимающійся поставкой рабочихъ для работъ (рядить или подражаетъ ихъ на работы).

Сажелка, сажалка — запруда или яма съ водою для мочки конопли.

Сантимъ — французская монета около 1/4 копейки.

Сатрапъ — такъ назывались намѣстники областей персидскаго царства.

Секундъ-майоръ — чинъ младшаго (второго) майора, существовавшій до императора Павла I.

Семафоръ — приборъ, устроенный на столбѣ или на мачтѣ для подачи сигналовъ (на желѣзныхъ дорогахъ, въ гаваняхъ, на корабляхъ и т. п.).

Сенсація — возбужденіе, подъемъ чувствъ.

Серенада — вечерняя или ночная любовная или пріятельственная музыка (пѣсня), обычно подъ окномъ любимаго или чествуемаго человека.

Сержантъ (гвардіи) — старшій унтеръ-офицеръ или фельдфебель.

Сибаритствовать — нѣжиться, роскошно жить.

Силуэтъ — изображеніе предмета в видѣ тѣни отъ него.

Симметрия — соразмѣрность, соотвѣтствіе въ расположеніи одинаковыхъ предметовъ или частей, напр., части правой и лѣвой половинъ тѣла расположены симметрично однѣ по отношенію къ другимъ.

Симптомъ — признак наступленія чего-нибудь (напр., болѣзни), случай, предвѣщающій появленіе чего-нибудь.

Симфонія — музыкальное сочиненіе, написанное для игры на нѣсколькихъ инструментахъ; согласіе, стройность звуковъ.

Скатъ — морская рыба разныхъ видовъ, съ сплюснутой сверху внизъ передней частью тѣла; у одного вида тѣло покрыто чешуями въ видѣ шиповъ, другой дѣластъ ядовитые уколы иглой въ хвостѣ.

Скептикъ — человѣкъ, который ничего не принимаетъ на вѣру, а требуетъ строгихъ доказательствъ; человѣкъ, который во всемъ сомнѣвается; недоувѣрчивый, сомнѣвающійся человѣкъ.

Слеги — жерди, когорыя кладутся на стропила при устройствѣ крыши, на слепы кладутъ дрань и теся или солому.

Спорядной — живущій рядомъ.

Стихія — главное, основное вещество въ природѣ (прежде ихъ насчитывали четыре: земля, вода, воздухъ, огонь).

Сьеста — время послѣобѣденнаго отдыха у южныхъ европейцевъ; отъ латинскаго слова *sexta* — шесть, значить, шестой часъ послѣ восхода солнца, т.-е. полдень.

Сѣчка — изрубленная солома для корма скота.

Талантъ — мѣра вѣса и денегъ у древнихъ грековъ и римлянъ, различная въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ; въ гомеровское время талантъ золота вѣсилъ 3 золотн. 90,1 доли и равнялся нашимъ 10 руб. золотомъ, изготовлялся въ видѣ продолговатыхъ округлыхъ брусочковъ.

Талеръ — серебряная монета разной цѣнности: въ однихъ государствахъ 92 к., въ другихъ до 1 р. 28 к., 1 р. 40 к.

Талиновыи — изъ тальника.

Тамбуринъ — итальянскій бубень, — круглая рама съ натянутой на ней кожей, увѣшанная колокольчиками и бубенчиками.

Тафта — гладкая, тонкая шелковая ткань.

Тендитный — нѣжный, деликатный.

Технологъ — человѣкъ, научно подготовленный вести фабричное или заводское производство.

Титаническій — сильный, мощный.

Трель — переливъ, быстрая смѣна однихъ и тѣхъ же звуковъ въ музыкѣ.

Торбкъ — битая торная дорога; торокомъ — скоро, безъ задержки, подобно катящемуся потоку воды.

Травянка — полевая гвоздика (*Dianthus*); травянистая, несъѣдобная тыква.

Транспарантъ — прозрачная картина.

Траншея — ровъ, для прикрытія солдатъ отъ выстрѣловъ при подходѣ къ неприятелю (при осадѣ крѣпости).

Тузлукъ — рассоль для соленія рыбы и икры.

Тулятиса — прятаться, укрываться, хоропиться за что-либо.

Туръ (укрѣпленіе) — корзина изъ хвороста, набиваемая землей, для защиты отъ пудъ.

Универсальный — всеобщій, повсемѣстный.

Ущербъ — убыль, уменьшеніе. Ущербаться — уменьшиться, убавиться.

Фаворитъ — любимецъ царей или вельможъ.

Фамиллярность — обращеніе запросто, по-семейному, на короткую ногу.

Фанатикъ — изувѣръ; человѣкъ, слѣпо дѣйствующій во имя своей вѣры или своихъ убѣжденій и враждебно относящійся къ людемъ другой вѣры или другихъ убѣжденій.

Фантазія — способность ума выдумывать, воображать что-нибудь несуществующее, необыкновенное; творческая сила ума у художника.

Фантастическій — несбыточный, мечтательный, причудливый.

Фатъ — пустой, мелкій, запятый собою (своей вѣшностью) человѣкъ.

Фермеръ — владѣлецъ или арендаторъ хутора (фермы).

Ферязъ — старинная русская мужская одежда, длинная, съ длинными рукавами.

Фестоны — зубцы округлые или другой формы, встрѣчающіеся въ отдѣлкѣ женскихъ платьевъ, занавѣсей и т. п.

Фигляръ — паяцъ, шутъ, потѣшающій публику ломаньемъ, кривляньемъ, остроуміемъ и т. п.

Филистеръ — неученый, необразованный; такъ студенты за границей называютъ необразованное мѣщанство.

Фистула — головной голосъ (не глубокий, обыкновенно непріятный).

Флегматическій — вялый, спокойный, лѣнливый.

Флигель-адъютантъ — адъютантъ при государѣ.

Фонъ (картины) — грунтъ, основная краска, на которой вырисовываются фигуры и узоры картины.

Форштадтъ — предмѣстье города.

Фризъ — грубая, ворсистая шерстяная матерія.

Фронтонъ — украшеніе у постройки въ видѣ треугольника, обыкновенно дѣлается или вверху передней стѣны, или надъ входомъ въ зданіе.

Ханжа — притворяющійся набожнымъ, лицемеръ.

Хитонъ — нижняя одежда у древнихъ грековъ, въ родѣ длинной рубашки.

Хламида — верхняя одежда у древнихъ грековъ, въ родѣ плаща, маптіи, накидки.

Хроника — лѣтопись.

Центавръ — созвѣздіе; въ сказаніяхъ древнихъ грековъ, центаврами назывались существа, у которыхъ голова, руки и туловище — человѣческія, а остальная часть тѣла лошадиная.

Цивилизація — развитіе народа, вслѣдствіе котораго жизнь его становится все болѣе и болѣе разумной и удобной: рас-

пространяется просвѣщеніе, смягчаются нравы, расширяется пониманіе своихъ и чужихъ правъ и обязанностей и пр.

Цинично — безстыдно, грязно, грубо, неприлично.

Цынга — болѣзнь, при которой развивается малокровіе, худосочіе, выѣстъ тѣла, пухнутъ и синѣютъ десны, и изъ нихъ сочится кровь, появляются опухоли и кровотеченія въ ногахъ, иногда язвы, — обыкновенно бываетъ при голодовкахъ.

Цѣвьѣ (у боевой палицы, служившей оружіемъ въ самыя древнія времена) — стержень, рукоятъ.

Чабанъ — овечій пастухъ.

Чапыжникъ — частый кустарникъ; растеніе *Caragana fruticosa*.

Чибисъ — пиголица, болотная птица.

Шандалъ — подсвѣчникъ.

Шаманъ — въ родѣ жреца у сибирскихъ инородцевъ грубой языческой вѣры, дѣйствующій подобно нашимъ колдунамъ, прежнимъ волхвамъ и т. п.; по вѣрованіямъ инородцевъ, онъ имѣетъ власть надъ злыми духами, можетъ ихъ умилостивлять, отгонять и проч.

Шлагбаумъ — опускающаяся и поднимающаяся перекладина для прегражденія пути на дорожныхъ заставахъ.

Шлыкъ — колпакъ.

Штандартъ — флагъ съ чернымъ двуглавымъ орломъ на золотомъ полѣ; знамя конскаго полка.

Штуцеръ — короткоствольное ружье съ нарезками въ дулѣ (внутри ствола) для вѣрности.

Штына (чугунная) — слитокъ, брусокъ; плась.

Щебрець — травянистое растеніе, богородская трава.

Закъ — мифическое лицо у древнихъ грековъ: сынъ бога Зевса, по смерти сдѣлавшійся однимъ изъ судей въ подземномъ царствѣ.

Экзекуція — наказаніе; исполненіе судебного приговора надъ кѣмъ-либо.

Экспедиція — дальняя поѣздка для научныхъ изслѣдованій, военныхъ дѣйствій и т. п.

Элегантный — изящный, пріятный, красивый по внѣшности и въ обращеніи.

Эмпирей — у древнихъ такъ называлось послѣднее небо, гдѣ будутъ блаженствовать праведники.

Энклитическія (частіцы) — большею частію, односложныя слова (союзы, мѣстоименія и др.), утратившія самостоятельное удареніе и произносимыя въ связи съ предыдущимъ словомъ.

Эпиграмма — коротенькое стихотвореніе, выражающее острую насмѣшку, колкое замѣчаніе.

Эпосъ — стихотвореніе, въ которомъ говорится о жизни и подвигахъ героевъ.

Эскизъ — легкій очеркъ, набросокъ сочиняемой картины (или литературнаго произведенія).

Этикетъ — установленный или обычный порядокъ поведенія, обращенія съ другими, оказанія чести и т. п. (при дворѣ и въ свѣтскихъ кругахъ).

Эфесъ — рукоятка сабли.

Эффектный — произволящій сильное впечатлѣніе, поразительно дѣйствующій на чувство.

Яшма — твердый камень различнаго цвѣта: зеленовато-желтый съ краснымъ отбѣнкомъ и др.

Списокъ произведеній для дополнительнаго и самостоятельнаго чтенія учениковъ¹⁾.

Андреевъ, Л. Баргамотъ и Гараська.

- Книга.
- На станціи.
- Бень-Товитъ.
- Набатъ.
- Петька на дачѣ.
- Жили-были.

Гаршинъ, В. Денщикъ и офицеръ.

- Изъ воспоминаній рядового Иванова.

Гончаровъ, И. Слуги стараго вѣка: Валентинъ. Антонъ. Степанъ съ семьей. Матвѣй.

- Сонъ Обломова.

Гоголь, Н. Сорочинская ярмарка.

- Ночь передъ Рождествомъ.
- Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетюшка.
- Носъ.
- Шинель.
- Коляска.
- Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.
- Ревизоръ.
- Женитьба.

Горькій, М. Ярмарка въ Голтвъ.

- Зазубрина.
- Дружки.

Григоровичъ, Д. Петербургскіе шарманщики.

- Пахарь.
- Смедовская долина.

Достоевскій, Ф. Слабое сердце.

Жуковскій, В. Перн и ангель.

- Сидъ.
- Роландъ оруженосецъ.
- Налъ и Дамаянти.
- Сраженіе съ змѣемъ.

Карамзинъ, Н. Вѣдная Лиза.

- Наталья, боярская дочь.
- Марса-посадница.

Короленко, В. Сонъ Макара.

- „Соколинцевъ“.
- Парадоксъ.
- Государевы ямщики.

Лермонтовъ, М. Мцыри.

- Хаджи-Абрекъ.

Никитинъ, И. Кулакъ.

Пушкинъ, А. Кавказскій плѣвникъ.

- Скупой рыцарь.
- Барышня-крестьянка.
- Пиковая дама.
- Полтава.

Толстой, А. Іоаннъ Дамаскинъ.

- Смерть Іоанна Грознаго, др. въ 5 дѣйств.
- Царь Ѳедоръ Іоанновичъ, др. въ 5 дѣйств.
- Царь Борисъ, др. въ 5 дѣйств.
- Князь Серебряный.

Толстой, Л. Дѣтство и отрочество.

- Три смерти.
- Севастопольскіе рассказы: Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ 1854 года, Севастополь въ маѣ мѣсяцѣ 1855 г., Севастополь въ августѣ мѣсяцѣ 1855 года.
- Ходите въ свѣтъ, пока есть свѣтъ.

Тургеневъ, И. Хоръ и Калинычъ.

- Касьянъ съ Красивой-Мечи.
- Малиновая вода.
- Олнодворецъ Овсянниковъ.
- Бурмистръ.
- Контора.
- Два помѣщика.
- Татьяна Борисовна и ея племянникъ.
- Смерть.

¹⁾ Болѣе подробный списокъ будетъ помѣщенъ въ Методическомъ руководствѣ къ „Нашей рѣчи“.

Тургеневъ, И. Пѣвцы.

- Свиданіе.
- Чертопхановъ и Недопюскинъ.
- Конецъ Чертопханова.
- Петръ Петровичъ Каратаевъ.
- Поѣздка въ Полѣсье.

Успенскій, Г. Петкина карьера.

- Медикъ Хрипушинъ.
- Мишка.
- Алифанъ.

Чеховъ, А. Мальчики.

- Орденъ.
- Смерть чиновника.
- Капитанскій мундиръ.
- Хамелеонъ.
- Переполохъ.
- Злоумышленникъ.
- Дѣтвора.
- Старый домъ.
- Послѣдняя могилка.

Чеховъ, А. Мелюзга.

- На святкахъ.
- Пересолилъ.
- Налимъ.
- Лошадиная фамилія.
- Студентъ.
- Мертвое тѣло.

Былины: Волхъ Всеславьевичъ.

- Вольга Святославовичъ.
- Ссора Ильи Муромца съ княземъ Владимиромъ.
- Добрыня Никитичъ.
- Алеша Поповичъ.
- Дюкъ Степановичъ.
- Василій Буславъ.

Историческія пѣсни: Щелканъ Дудентьевичъ.

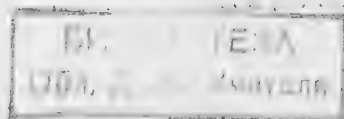
- Грозный царь Иванъ Васильевичъ.
- Взятіе Казанскаго царства.

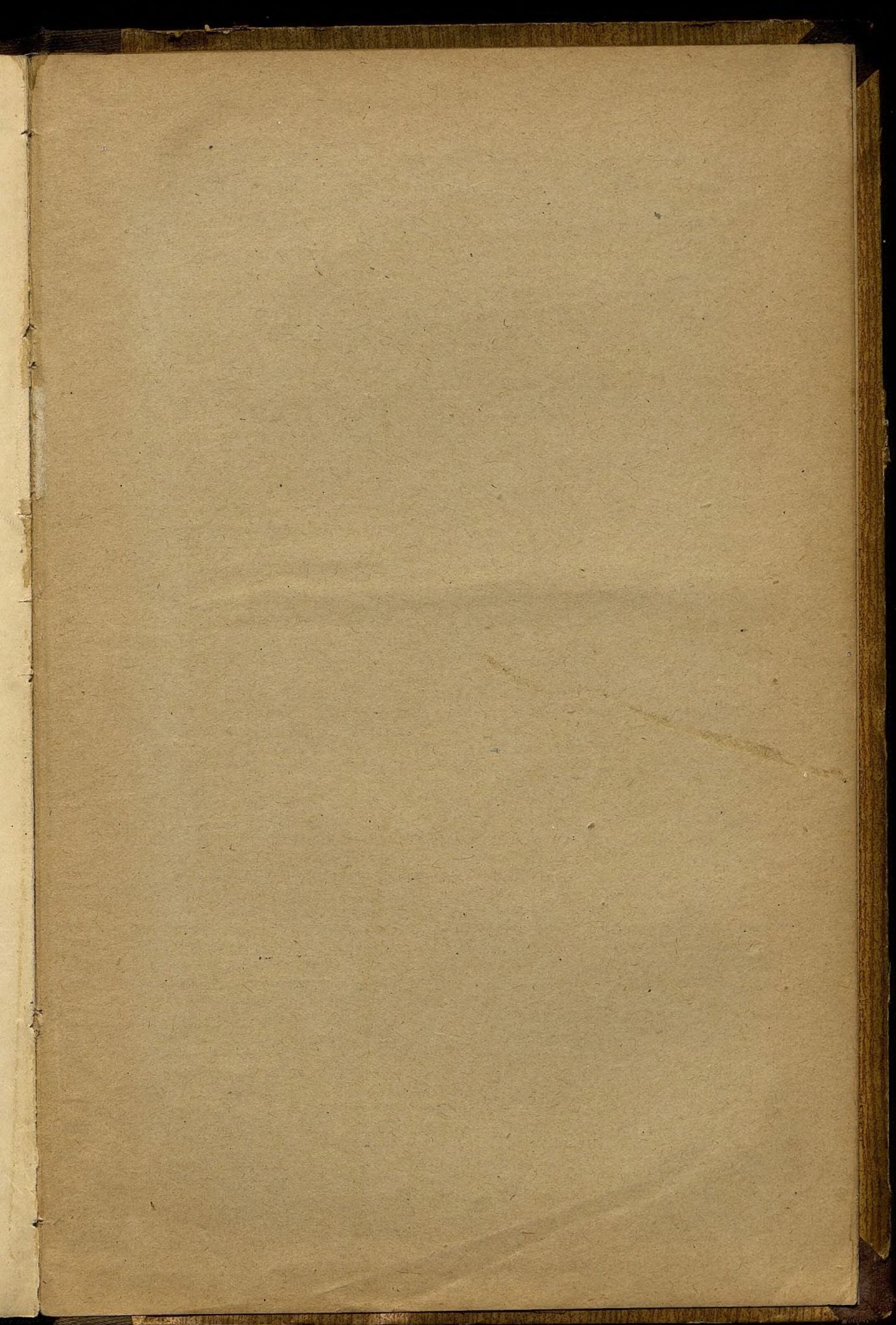
Алфавитный указатель статей.

	Стр.		Стр.
Андрей Николаевич Полтевъ, <i>И. Тургенева</i>	395	Дружки, <i>М. Горькаго</i>	182
Баргамотъ, <i>Л. Андреева</i>	332	Дума сокола, стих. <i>А. Кольцова</i>	196
Березниковъ, <i>Г. Успенскаго</i>	452	Дѣвицы-красавицы, стих. <i>А. Пушкина</i>	224
Благоразуміе, стих. <i>А. Толстого</i>	445	Дѣтство Обломова, <i>И. Гончарова</i>	122
Бой Ильи Муромца съ Жидовиномъ.	486	Дядя Акимъ, <i>Д. Григоровича</i>	277
Бой Рустема и Зораба, стих. <i>В. Жуковского</i>	473	Евгенія Степановна Аксакова и Василій Васильевич Угличининъ, <i>С. Аксакова</i>	372
Бурмистръ, <i>И. Тургенева</i>	260	Егда славнии ученицы, церковная пѣснь	461
Бѣглець (горская легенда), стих. <i>М. Лермонтова</i>	243	Единственный сынъ, <i>И. Тургенева</i>	451
Варвара, <i>Г. Успенскаго</i>	313	Елена Стахова	416
Вельможа, басня <i>И. Крылова</i>	175	Ермила Гпринъ, стих. <i>Н. Некрасова</i>	99
Вечеръ въ Бессарабіи, <i>М. Горькаго</i>	10	Ефремъ, <i>И. Тургенева</i>	266
Вновь я посѣтилъ, стих. <i>А. Пушкина</i>	160	Желѣзная дорога, стих. <i>Некрасова</i>	106
Возвращеніе въ родной домъ, <i>И. Тургенева</i>	158	Забитая, <i>Г. Успенскаго</i>	329
Война, <i>В. Гаршина</i>	251	Захаръ, <i>И. Гончарова</i>	271
Волостной судъ, <i>Н. Астырева</i>	86	Ивины, <i>Л. Толстого</i>	404
Воспитаніе Штольца, <i>И. Гончарова</i>	129	Илья Ильичъ Обломовъ, <i>И. Гончарова</i>	385
Врагъ и другъ, <i>И. Тургенева</i>	135	Илья Муромецъ и поганое Идолище, былина	488
Въ Москвѣ на Трубной площади, <i>А. Чехова</i>	168	Интеллигентная семья, <i>А. Чехова</i>	49
Выборъ жениха, стих. <i>В. Жуковского</i>	201	Исповѣдь, <i>Л. Толстого</i>	152
Вѣтка Палестины, стих. <i>М. Лермонтова</i>	157	Исторія Карла Ивановича, его же	433
Вячеславъ Иларіоновичъ Хвалыинскій, <i>И. Тургенева</i>	370	Іуда, стих. <i>С. Надсона</i>	458
Генералъ Бетрищевъ, <i>Н. Гоголя</i>	369	Казнь военно-плѣнныхъ, <i>Л. Толстого</i>	233
Глухой край (сонъ Обломова), <i>И. Гончарова</i>	73	Какъ и братъ къ сестрѣ	226
Голодные, <i>М. Горькаго</i>	176	Касьянъ съ Красной-Мечи, <i>И. Тургенева</i>	255
Горе, <i>Л. Толстого</i>	55	Катенька и Любочка, <i>Л. Толстого</i>	442
Горними тихо летѣла душа небесами, стих. <i>А. Толстого</i>	448	Князь Серябряный, <i>А. Толстого</i>	471
Гребенскіе казаки, <i>Л. Толстого</i>	102	Коль любить, такъ безъ разсудку, стих. <i>А. Толстого</i>	445
Гроза, <i>Л. Толстого</i>	15	Конецъ свѣта (сонъ), <i>И. Тургенева</i>	25
Дикій баринъ, <i>И. Тургенева</i>	395	Крестьянинъ Иванъ Аванасьевъ, <i>Г. Успенскаго</i>	310
Діаконъ Филиппъ Сперанскій, <i>Л. Андреева</i>	426	Крестьянская жизнь, <i>А. Чехова</i>	79
Дмитрій Неклюдовъ, <i>Л. Толстого</i>	443	Крестьянскіе работники, <i>Г. Успенскаго</i>	104
Добрая женщина, <i>Ф. Достоевскаго</i>	451	Кубокъ, баллада (изъ Шиллера) <i>В. Жуковского</i>	197
Довольный человекъ, стих. въ прозѣ <i>И. Тургенева</i>	446	Куликовская битва, <i>Н. Карамзина</i>	227

Стр.	Стр.
Лезгинъ Нурра, <i>О. Достоевскаго</i> . . . 429	Плюшкинъ, <i>Н. Гоголя</i> 360
Лѣсъ и степь, <i>П. Тургенева</i> 1	Пляска морского царя, стих. <i>А. Тол-</i>
Мадонна Рафаэля, стих. <i>А. Толстого</i> . 450	стого 496
Мазепа, <i>А. Пушкина</i> 470	Повѣяло черемухой, стих. <i>К. Р.</i> . . . 7
Макаръ, <i>В. Короленко</i> 319	Подневольный трудъ, <i>О. Достоевскаго</i> . 175
Максимъ Ивановичъ Скотобойниковъ, <i>О. Достоевскаго</i> 333	Поиски, стих. <i>А. Плещеева</i> 467
Малые ребята, <i>Г. Успенскаго</i> 136	Поручикъ Козельцовъ, <i>Л. Толстого</i> . 443
Маниловъ, <i>Н. Гоголя</i> 367	Послѣдній лучъ, <i>В. Короленко</i> 33
Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ, <i>П. Тургенева</i> 396	Послѣдняя борьба, стих. <i>А. Кольцова</i> . 21
Мароенька, <i>П. Гончарова</i> 408	Похороны Плюшечки, <i>О. Достоевскаго</i> . 144
Митрополитъ Филиппъ, <i>Н. Карамзина</i> . 497	Поѣздка на долги, <i>Л. Толстого</i> . . . 11
Молчалинъ, <i>Грибоедова</i> 422	Призывъ, стих. <i>Н. Некрасова</i> 454
Море въ движеніи, <i>М. Горькаго</i> 7	Прислужники, <i>О. Достоевскаго</i> 306
Морозъ въ Сибири, <i>В. Короленко</i> . . . 38	Притча о человѣческой жизни, стих. <i>В. Жуковскаго</i> 41
Москва передъ вступленіемъ Наполе- она, <i>Л. Толстого</i> 230	Притча рабби Менахема, <i>В. Коро-</i>
На постояломъ дворѣ (изъ стих. „Поч- леги“), стих. <i>Н. Некрасова</i> 308	ленко 463
На станціи, <i>М. Горькаго</i> 71	Пророкъ, стих. <i>А. Пушкина</i> 457
Набатъ, <i>Л. Андреева</i> 46	Пророкъ, стих. <i>М. Лермонтова</i> . . . 458
Наль, царь Нишадскій, стих. <i>В. Жу-</i>	Прощаніе Ректора съ Андромахой (Изъ „Иліады“ Гомера) <i>Гнѣдича</i> . 204
ковскаго 472	Путь, стих. <i>А. Кольцова</i> 67
Наталя Саввишна, <i>Л. Толстого</i> . . . 297	Пѣвецъ, <i>Л. Толстого</i> 186
Не грусти, что листья..., стихотвор. <i>П. Сурикова</i> 365	Пѣвцы, <i>П. Тургенева</i> 190
Новый годъ, стих. <i>А. Плещеева</i> 152	Пѣсня, стих. <i>А. Кольцова</i> 86
Ноздревъ, <i>Н. Гоголя</i> 365	Пѣсня, стих. <i>А. Кольцова</i> (Ахъ, зачѣмъ мечя...) 226
Ночной смотръ (изъ Цедлица), стих. <i>В. Жуковскаго</i> 237	Работа арестантовъ, <i>О. Достоевскаго</i> . 172
Огоньки, <i>В. Короленко</i> 455	Разговоръ, <i>П. Тургенева</i> 40
Огонекъ, стих. <i>Анюткина</i> 42	Разстройство арміи, <i>Л. Толстого</i> . . . 232
Однодворецъ Овсянниковъ, <i>П. Турге-</i>	Ревизоръ, комедія <i>Н. Гоголя</i> 411
нева 392	Русская женщина, стих. <i>Н. Некра-</i>
Ока, <i>Д. Григоровича</i> 30	сова 318
Охота на дупелей, <i>Л. Толстого</i> 27	Русскій языкъ, стих. въ прозѣ <i>П. Тур-</i>
Палата № 6, <i>А. Чехова</i> 170	генева 252
Парусъ, стих. <i>М. Лермонтова</i> 45	Русь, стих. <i>Н. Некрасова</i> —
Пахарь Иванъ Анисимычъ, <i>Д. Гри-</i>	Садко, богатый гость (новгородская былина) 490
горовича 279	Садъ Плюшкина, <i>Н. Гоголя</i> 9
Первыя воспоминанія Нечочки Незва- новой, <i>О. Достоевскаго</i> 161	Сватовство, стих. <i>А. Толстого</i> 220
Перекутъ, стих. <i>Кольцова</i> 329	Слезы людскія, стих. <i>О. Тютчева</i> . . . 86
Перчатка, повѣсть (изъ Шиллера) <i>В. Жуковскаго</i> 199	Слово въ великій пятокъ, <i>Иннокентія</i> . 462
Петербургъ и провинція, <i>П. Гончарова</i> . 64	Случай съ классикомъ, <i>А. Чехова</i> . . . 52
Петровъ, <i>О. Достоевскаго</i> 320	Смерть мальчика, <i>Г. Успенскаго</i> . . . 83
Петръ Петровичъ Пѣтухъ, <i>Н. Гоголя</i> . 354	Солдатское житье, <i>В. Гаршина</i> 245
Пиръ у царя Алкиноя (Изъ „Одиссеи“ Гомера), стих. <i>В. Жуковскаго</i> 208	Солнечное затменіе, <i>В. Короленко</i> . . . 21
Платонъ Каратаевъ, <i>Л. Толстого</i> . . . 292	Сосна, стих. <i>М. Лермонтова</i> 7
Пловецъ, стих. <i>Н. Языкова</i> 8	Софія Б., <i>П. Тургенева</i> 449
Плѣнный рыцарь, стих. <i>М. Лермон-</i>	Стансы, стих. <i>А. Пушкина</i> 58
това 200	Старая графиня и ея воспитанница, <i>А. Пушкина</i> 343
	Старосвѣтскіе помѣщики, <i>Н. Гоголя</i> . 346
	Старшій братъ, <i>Л. Толстого</i> 440
	Степанъ Михайловичъ Багровъ, <i>С. Аксакова</i> 374

	Стр.		Стр.
Сушиловъ, <i>О. Достоевскаго</i>	303	Ужь ты, нива моя, нивушка, стих.	
Сыновья Тараса Бульбы, <i>Н. Гоголя</i>	469	<i>А. Толстого</i>	260
Тайное горе, стих. <i>И. Никитина</i>	165	Уличный гаеръ, <i>Д. Григоровича</i>	165
Тарасъ Бульба, <i>Н. Гоголя</i>	462	Усадьба въ великорусской Украинѣ,	
Татаринъ Алей, <i>О. Достоевскаго</i>	430	<i>И. Тургенева</i>	78
Татьяна Борисовна Богданова, <i>И. Тургенева</i>	400	Фустовъ, <i>И. Тургенева</i>	444
Твердая торговля, <i>Г. Успенскаго</i>	119	Хоръ и Капинычъ, <i>И. Тургенева</i>	253
Толстый и тонкій, <i>А. Чехова</i>	425	Христосъ и апостолъ Іоаннъ, стих.	
Госка, <i>А. Чехова</i>	68	<i>А. Толстого</i>	455
Три смерти, <i>Л. Толстого</i>	58	Цѣдовальникъ Николлай Ивановичъ,	
Туча (плачь сосѣдки по убитомъ громомъ-молніей)	18	<i>И. Тургенева</i>	269
Ты жаждалъ правды, жаждалъ свѣта, стих. <i>А. Плещеева</i>	448	Челкашъ, <i>М. Горькаго</i>	325
Ты почто, злая кручинушка, стих. <i>А. Толстого</i>	225	Чертопхановъ, <i>И. Тургенева</i>	401
Ужь какъ палъ туманъ на синемъ море, народная пѣсня.	229	Четвертый бастионъ, <i>Л. Толстого</i>	239
		Южное небо, <i>И. Гончарова</i>	43
		Юродивый Гриша, <i>Л. Толстого</i>	289
		Я большой, <i>Л. Толстого</i>	141





H. 435k

